

Анастасия  
ЦВЕТАЕВА

ВОСПОМИНАНИЯ



## Annotation

"Воспоминания" (впервые изданы в 1971 г., первое полное издание – 1995 г.) А.И.Цветаевой, дочери основателя Музея изобразительных искусств, историка и искусствоведа И.В.Цветаева, и сестры Марины Цветаевой, принадлежат к несомненным шедеврам автобиографической прозы. Ярко и проникновенно пишет она о своем детстве и юности, вспоминает родителей, сестру Марину, с которой ее связывала тесная дружба, родных, друзей, разнообразную и богатую встречами жизнь в Москве и на даче в Тарусе, путешествия в Италию, Швейцарию, Германию, пребывание в Крыму. Перед взором читателя проходят события эпохи и личной жизни А.И.Цветаевой, воспроизводится атмосфера жизни научной и творческой интеллигенции, возникают образы Волошина, Пешковой, Горького и многих других известных лиц. Ни один серьезный биограф Марины Цветаевой не может обойтись без книги ее: "помимо переданных в ней деталей, семейной атмосферы, облика юной Марины, о чем уже никто не расскажет, там приведены в нескольких вариантах ее стихи, о которых сама Марина забыла..." Анастасия Ивановна Цветаева, скончавшаяся 5 сентября 1993 года, за три недели до своего 99-летия, знала, что настоящее, четвертое издание ее "Воспоминаний" в ближайшие годы выйдет в свет. Всю дальнейшую работу по подготовке, осуществлявшейся после смерти автора, взяла на себя Маэль Исаевна Фейнберг-Самойлова, для которой книга стала последней редакторской работой.

- 
- [Анастасия Ивановна Цветаева](#)

- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ РОССИЯ ГЛАВА 1. ФОТОГРАФИЯ. ИЗ МАМИНОГО ДНЕВНИКА. ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ МУСИ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. РАННИЕ ВОСПОМИНАНИЯ. ГОЛОСА МОСКВЫ. ШАРМАНЩИК
- ГЛАВА 2. БУРСКАЯ ВОЙНА. ДЕЛО ДРЕЙФУСА. МАМИНЫ РАССКАЗЫ. ПУШКИН
- ГЛАВА 3. ДЕТСКАЯ МОСКВА
- ГЛАВА 4. НАШ ОТЕЦ И ЕГО ДЕТИЩЕ - МУЗЕЙ. НАША МАТЬ. ДВА ЖЕНСКИХ ПОРТРЕТА. ДЕДУШКА И ТЬО
- ГЛАВА 5. СМЕРТЬ ДЕДУШКИ. АНДРЮШИН ДЕДУШКА ИЛОВАЙСКИЙ. ПАПИНЫ БРАТЯ
- ГЛАВА 6. БРАТ АНДРЮША И ЕГО РЕПЕТИТОР. АРЕСТ РЕПЕТИТОРА. ЛОМКА МРАМОРА НА УРАЛЕ ДЛЯ МУЗЕЯ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ. ПРОФЕССОРА. ДОКТОР ЯРХО. ЕЛКА
- ГЛАВА 7. НАША СТАРШАЯ СЕСТРА ЛЁРА. ПЕНИЕ ЛЁРЫ. ЕЕ И МУСИНЫ КНИГИ. ЖИВЫЕ КАРТИНЫ
- ГЛАВА 8. НАШ ДОМ
- ГЛАВА 9. ТАРУСА. ПРАЗДНИК У ХУДОЖНИКА ПОЛЕНОВА. НАШЕ ЛЕСНОЕ ГНЕЗДО. ЦАРСТВО ТЬО. ДОМ ДОБРОТВОРСКИХ
- ГЛАВА 10. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКАТУЛКИ. ПАНОРАМА. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ЛАНТЕ. ВОЛШЕБСТВО ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
- ГЛАВА 11. ЗИМА. РОЖДЕСТВО. МАСЛЕНИЦА. ВЕСНА. ЧУЖИЕ ДЕТИ. ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ
- ГЛАВА 12. ВЕСНА. ВСТРЕЧА С ОКОЙ. ТЬО. ПРОШЛОГОДНИЙ МЯЧ. ПРЕТОРИУС. БЕШЕНАЯ СОБАКА И ХЛЫСТОВКИ. ДОЖДЬ. ОСЕНЬ
- ГЛАВА 13. НАША МОСКОВСКАЯ ЗИМА 1901-1902 ГОДОВ. МУСИНА ГИМНАЗИЯ. «ЗОЛОТЫЕ КУДРИ\*. НОВЫЙ РЕПЕТИТОР. МАМИН ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО. КНИГИ. МУСИН ХАРАКТЕР. МАМИНЫ

РАССКАЗЫ. МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА. РАМС.  
ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

- ГЛАВА 14. ВЕСНА 1902 ГОДА. НОВАЯ  
ГУВЕРНАНТКА - РЕВОЛЮЦИОНЕРКА МАРИЯ  
ГЕНРИХОВНА. АНДРЕЕВЫ
- ГЛАВА 15. ЛЕТО 1902 ГОДА. МАРУСИНЫ  
ИМЕНИНЫ. ПОЕЗДКА РОДИТЕЛЕЙ НА УРАЛЬСКИЕ  
ЛОМКИ МРАМОРА. ЧЕЛКАШ И ГРОМИЛО. КИСКА И  
СТИХИ ПУШКИНА. ЯРМАРКА. ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ  
В РОССИИ
- ГЛАВА 16. ОСЕНЬ 1902 ГОДА. МАМИНА БОЛЕЗНЬ.  
ПРОЩАНИЕ С ДОМОМ. ОТЪЕЗД В ИТАЛИЮ
- ЧАСТЬ ВТОРАЯ ИТАЛИЯ ГЛАВА 1. ГЕНУЯ.  
КАМПОСАНТО. ПРИЕЗД В НЕРВИ. ВОЛОДЯ  
МИЛЛЕР. ВСТРЕЧА МАРИНЫ С МОРЕМ. СВОБОДА!
- ГЛАВА 2. «РУССКИЙ ПАНСИОН». ЕГО ХОЗЯИН.  
ПАПИН ОТЪЕЗД. ЖИЗНЬ НА СКАЛАХ. ВОВА  
КУРДЮМОВ
- ГЛАВА 3. ЕЛКА 1902 ГОДА В НЕРВИ. ПРИЕЗД  
КОБЫЛЯНСКОГО. ЕЩЕ НОВЫЕ ДРУЗЬЯ. СТИХИ  
МАРУСИ. ТЯЖЕСТИ ЖИЗНИ
- ГЛАВА 4. БЕДА НАД ВОЛОДЕЙ. СМЕРТЬ РЕВЕРА.  
БУРЯ НА МОРЕ. НЕСЧАСТЬЕ С МУСЕЙ.  
КОБЫЛЯНСКИЙ. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВЕЯНИЯ
- ГЛАВА 5. ПОЕЗДКА В САНТА-МАРГАРИТА. ЛИНА  
КАВАЛЬЕРИ. КАЛЕКА. БОГАТЫЕ НИЩИЕ. ПРИЕЗД  
ТЕТИ. РАССТАВАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ. БИТВА ЦВЕТОВ
- ГЛАВА 6. ЗАТОЧЕНИЕ. «БОРИВАЖ». ПРИЕЗД  
ТИГРА. КОШЕЧКА. КОММУНА В ВИЛЛА ТОРРЕ
- ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ШВЕЙЦАРИЯ ГЛАВА 1. ЛОЗАННА.  
ОТЪЕЗД ТЕТИ. ПАНСИОН ЛАКАЗ
- ГЛАВА 2. ПРИЕЗД МАМЫ. УШЬ. В АЛЬПАХ.  
РАЗЖАЛОВАННЫЙ ГИД. ФОТОГРАФИЯ МАРУСИ.  
ЖЕРТВА КАМНЕЙ. «ДУРНАЯ ТРОПА»
- ГЛАВА 3. СНОВА ЛОЗАННА. БЕСЕДЫ С МАРУСЕЙ.  
УРОКИ МУЗЫКИ У МОСЬЕ БИШОФ. М-ЛЬ ЖАНН

- ГЛАВА 4. ЗИМА В ЛОЗАННЕ. ПРИЕЗД КРИЧЕВСКОГО. МАРИЯ ОССОРИО
- ГЛАВА 5. ИСПЫТАНИЕ. ВЕСНА 1904 ГОДА. ШИЛЬОНСКИЙ ЗАМОК. ПРАЗДНИК НАРЦИССОВ
- ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЕРМАНИЯ ГЛАВА 1. ЛАНГАККЕРН. НОВЫЕ ДРУЗЬЯ. «ЛИХТЕНШТЕЙН». СКАЗКИ МАТЕРИ. МАРИНИНЫ ЛЮБИМЫЕ КНИГИ. ПЕЙЗАЖ ШВАРЦВАЛЬДА
- ГЛАВА 2. ПАНСИОН БРИНК
- ГЛАВА 3. ОСЕНЬ 1904 ГОДА С МАМОЙ ВО ФРЕЙБУРГЕ
- ГЛАВА 4. ЗИМА 1904-1905 ГОДОВ. ВЕСТИ ИЗ РОССИИ. ПРИЕЗД ПАПЫ. ПОЖАР МУЗЕЯ
- ГЛАВА 5. КОНЕЦ ЗИМЫ ВО ФРЕЙБУРГЕ. НОВЫЕ ПОДРУГИ. ЛАЗАРЕТ
- ГЛАВА 6. ВЕСНА. УГРОЗА ИСКЛЮЧЕНИЯ
- ГЛАВА 7. САНКТ-БЛАЗИЕН
- ЧАСТЬ ПЯТАЯ КРЫМ ГЛАВА 1. ПУТЬ В РОССИЮ. СЕВАСТОПОЛЬ
- ГЛАВА 2. ЯЛТА. ЗАРЕЧЬЕ. СЕМЬЯ ВЕБЕР. ПРИЕЗД ВОЛОДИ ЦВЕТАЕВА. ПАРК ЭРЛАНГЕРА. ПЕРЕЕЗД НА ДАЧУ ЕЛПАТЬЕВСКОГО. ЯЛТА-ДАРСАНОВСКАЯ. НАША ХОЗЯЙКА И ПАНСИОНЕРЫ. НИКОНОВЫ
- ГЛАВА 4. ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА БАХТУРОВА. УЧЕНЬЕ. МАМИНА БОЛЕЗНЬ. ПРИЕЗД ПЕШКОВЫХ
- ГЛАВА 5. РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЯЛТА. МАКС И КАТЯ ПЕШКОВЫ. ДРУЖБА С ВАРВАРОЙ АЛЕКСЕЕВНОЙ. СТРАСТЬ К УЧЕНЬЮ. МАРИНИНЫ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СТИХИ
- ГЛАВА 6. ЯЛТИНСКАЯ ВЕСНА 1906 ГОДА. ЭКЗАМЕНЫ. МАССАНДРА. ПРИЕЗД ТЕТИ. ПРОЩАНИЯ. ОТЪЕЗД
- ГЛАВА 7. ДОМА!
- ГЛАВА 8. СМЕРТЬ МАМЫ
- ГЛАВА 9. ПОСЛЕ МАМЫ

- ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ ЧАСТЬ ШЕСТАЯ  
ОТРОЧЕСТВО С НОВА МОСКВА ГЛАВА 1. БЕЗ  
МАМЫ. ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА. ПАНСИОН ФОН  
ДЕРВИЗ. МАРИНА И ЛЁРА
- ГЛАВА 2. НЕМКА И ЕЕ РЕФОРМЫ. БРАТ АНДРЕЙ И  
ИХ ДРУЖБА С МАРИНОЙ. СРЕДИ  
РЕВОЛЮЦИОННОЙ МОЛОДЕЖИ. ГОДОВЩИНА  
МАМИНОЙ СМЕРТИ
- ГЛАВА 3. ВЕСНА 1907 ГОДА В ТАРУСЕ С ЛЁРОЙ.  
ПРИЕЗД АННХ АЖЕРОН
- ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ МОСКВА. ТАРУСА ГЛАВА 1.  
ДОМА. МАРИНИНА ОБИДА. ГИМНАЗИЯ  
ПОТОЦКОЙ. ДРУЖБА С ГАЛЕЙ ДЬЯКОНОВОЙ И  
АНЕЙ КАЛИН. У ИЛОВАЙСКИХ
- ГЛАВА 2. РАЙКА. ВИНОГРАДОВЫ. СЕРЕЖА  
ЮРКЕВИЧ
- ГЛАВА 3. МОСКОВСКАЯ СЕМЬЯ. ЛИДИЯ  
АЛЕКСАНДРОВНА ТАМБУРЕР, ПРОЗВАННАЯ  
МАРИНОЙ «ДРАКОННА». СТИХИ МАРИНЫ
- ГЛАВА 4. МАРИНА НА ЧЕРДАКЕ. АНДРЕЙ И  
ЛАТЫНЬ. СТИХИ В НАСМЕШКУ. ПРОЗВИЩА.  
НЕДОРАЗУМЕНИЕ В МОЕЙ ГИМНАЗИИ
- ГЛАВА 5. ЛЕТО 1908 ГОДА В ТАРУСЕ. МАРИНИНА  
ПОДРУГА. СМЕРТЬ МАЛЕНЬКОЙ СОНИ. С  
МАРИНОЙ У ОКИ. ПЕРЕПЛЕТНОЕ РЕМЕСЛО
- ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ МОСКВА И ТАРУСА ГЛАВА 1.  
ПЕРЕВОД «ОРЛЕНКА» МАРИНОЙ. УВЛЕЧЕНИЕ  
НАПОЛЕОНОМ. ЗИМА
- ГЛАВА 2. В ГИМНАЗИИ ПОТОЦКОЙ. ЗИМНИЕ ДНИ.  
ПОДАРКИ. МАМИНЫ ДНЕВНИКИ
- ГЛАВА 3. ТРАВЛЯ ПАПЫ МИНИСТРОМ ШВАРЦЕМ. В  
ТЕАТРЕ КОРША
- ГЛАВА 4. МАРИНА. ПЛАТЬЕ С СУХАРЕВКИ.  
ВСТРЕЧА С БРЮСОВЫМ
- ГЛАВА 5. НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

- ГЛАВА 6. СКАЗОЧНИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАПЫ ИЗ КАИРА. ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР
- ГЛАВА 7. НАЧАЛО ЛЕТА 1909 ГОДА В ТАРУСЕ. ОТЪЕЗД МОНАХОВЫХ. ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА. СТИХИ МАРИНЫ ИЗ ПАРИЖА
- ГЛАВА 8. ДВЕ ЛИДЫ. МОИ РЕБЯТА
- ГЛАВА 9. ОСЕНЬ. ПОЖАР. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЛЕТА 1909 ГОДА С МАРИНОЙ, ВЕРНУВШЕЙСЯ ИЗ ПАРИЖА
- ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ МОСКВА. САКСОНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ ГЛАВА 1. ВЫДУМАННЫЙ МАРИНОЙ «ЮРИЙ». АНДРЕЙ. НАШИ ВЕЧЕРА
- ГЛАВА 2. МАРИНА И САРА БЕРНАР. ПЕРЕВОДЧИК ГЕРАКЛИТА НИЛЕНДЕР. ВСТРЕЧА С АНДРЕЕМ БЕЛЫМ. ПИСЬМО МАРИНЫ. ЕГИПЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ГОЛЕНИЩЕВА. МАРИНА И ПАПА
- ГЛАВА 3. ПРОСВЕТ В ДЕЛЕ ПАПЫ С МИНИСТРОМ ШВАРЦЕМ. КОНЬКОБЕЖЦЫ НА ПАТРИАРШИХ ПРУДАХ «ЗИМНЯЯ СКАЗКА». ВСТРЕЧА С НЕЖДАННЫМ ГОСТЕМ
- ГЛАВА 4. РАЗМЫШЛЕНИЯ. ОЦЕНКА МАРИНЫ «ЗИМНЕЙ СКАЗКИ». ЕЕ СТИХИ
- ГЛАВА 5. ВТОРАЯ РЕВИЗИЯ. НОВАЯ БЕДА. ЗИМОЙ В ТАРУСЕ
- ГЛАВА 6. ВСТРЕЧА. ВЕСНА 1910 ГОДА. ХУДОЖНИК ЛЕВИ И МАРИЯ БАШКИРЦЕВА
- ГЛАВА 7. ЛЕТО 1910 ГОДА. ДРЕЗДЕН. СИКСТИНСКАЯ МАДОННА. СЕМЬЯ ПАСТОРА. ПОБЕДА НЕДОСТОЙНОГО МИНИСТРА ШВАРЦА
- ГЛАВА 8. СТАРОСТЬ И ЮНОСТЬ. СКАЗОЧНИЦА. СТИХИ МАРИНЫ
- ГЛАВА 9. ЖЕРТВА АВГУСТА СИЛЬНОГО. ГРАФИНЯ ФОН ПОЗЕН. ЭСКАПАДА. ОТЪЕЗД ХЕЛЬМУТА. НАШ ОТЪЕЗД, ПЕШКОМ ПО САКСОНСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ. МАГДЕБУРГ. ВИТТЕНБЕРГ

- ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ ЮНОСТЬ. МОСКВА. КРЫМ. МОСКВА ГЛАВА 1. ПРИЕЗД ДОМОЙ. ОБЩАЯ С МАРИНОЙ ГИМНАЗИЯ БРЮХОНЕНКО. УЧИТЕЛЯ И ПОДРУГИ
- ГЛАВА 2. ПОХОРОНЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО
- ГЛАВА 3. МАРИНИНА КОМНАТА. «ВЕЧЕРНИЙ АЛЬБОМ». МАКС ВОЛОШИН
- ГЛАВА 4. ДРУЗЬЯ МАРИНЫ. ВРЕМЯ. КНИГИ
- ГЛАВА 5. ВСТРЕЧА НА ЛЬДУ
- ГЛАВА 6. В КОКТЕБЕЛЬ
- ГЛАВА 7. ДОМ ВОЛОШИНА
- ГЛАВА 8. СЕРЕЖА. ТРАГЕДИЯ ЕГО СЕМЬИ
- ГЛАВА 9. ФЕОДОСИЯ. ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ЛАМ ПСИ. СТАРЫЙ КРЫМ
- ГЛАВА 10. В МОРЕ. ПИСЬМО БОРИСА
- ГЛАВА 11. ПРИЕЗД БОРИСА. ЧТО ТАКОЕ МЕССАЛИНА. ВЫЗОВ НА ДУЭЛЬ. НАШ ОТЪЕЗД
- ГЛАВА 12. ГЕЛЬСИНГФОРС. БОРИС. КНИГИ
- ГЛАВА 13. ЭСБО. ХОЗЯИН ГОСТИНИЦЫ. «ИДИОТ» ДОСТОЕВСКОГО
- ГЛАВА 14. МОСКВА ОСЕНЬЮ 1911 ГОДА. МАРИНА, СЕРЕЖА, БОРИС И Я
- ГЛАВА 15. МАРИНИНА НАЧИНАЮЩАЯСЯ ИЗВЕСТНОСТЬ. НАШЕ ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. В. БРЮСОВ. УЧАСТИЕ МАРИНЫ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПОЭТОВ
- ГЛАВА 16. ПЕЧАЛИ. РАЗГОВОР С МАТЕРЬЮ БОРИСА. РАЗГОВОР С МАРИНОЙ
- ГЛАВА 17. ВИЗИТ МАТЕРИ ТОЛИ ВИНОГРАДОВА. МАРУСЯ ТРУХАЧЕВА. У ЭФРОНОВ. ЮЛИЯ ОБОЛЕНСКАЯ. СЕНЯ ФЕЙНБЕРГ
- ГЛАВА 18. ВЕСТЬ И РЕШЕНИЕ. РАЗГОВОР С МАРУСЕЙ ТРУХАЧЕВОЙ
- ГЛАВА 19. БРАТ АНДРЕЙ И ЕГО ДРУГ ВАЛЕВСКИЙ. ВМЕСТО НАШЕГО «ВДВОЕМ» С МАРИНОЙ – «ВЧЕТВЕРОМ»



- [ГЛАВА 20. НИЛЕНДЕР](#)
- [ГЛАВА 21. ВСТРЕЧА НАМИ В ДВУХ МАМИНЫХ СТАРИННЫХ ШУБАХ СЕРЕЖИ ЭФРОНА НА НИКОЛАЕВСКОМ ВОКЗАЛЕ](#)
- [ГЛАВА 22. ОСЕНЬ 1911 ГОДА](#)
- [ГЛАВА 23. ФОТОГРАФИИ НАШЕГО ДОМА - НА ПАМЯТЬ. ОТЪЕЗД](#)
- [ГЛАВА 24. ВАРШАВА. БЕРЛИН](#)
- [ГЛАВА 25. ШВЕЙЦАРИЯ. МОНТЕ-КАРЛО. ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА. РАССТАВАНИЕ](#)
- [ГЛАВА 26. ОДНА В ВАРШАВЕ. БУКЕТ В ЦИРКЕ. РИМ. КАТАКОМБЫ. ФЛОРЕНЦИЯ. ВСТРЕЧА С ГАЛЕЙ ДЪЯКОНОВОЙ](#)
- [ГЛАВА 27. ЛУИДЖИ ЛЕВИ](#)
- [ГЛАВА 28. ВЕНЕЦИЯ. НЕРВИ. ПАРИЖ](#)
- [ГЛАВА 29. СНОВА МОСКВА](#)
- [ГЛАВА 30. ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ1](#)
- [ГЛАВА 31. ДОМ НА СОБАЧЬЕЙ ПЛОЩАДКЕ](#)
- [ГЛАВА 32. ПОИСКИ РОМАНТИЧЕСКОГО ГНЕЗДА](#)
- [ГЛАВА 33. НАХОДКА. ДОМ В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ](#)
- [ГЛАВА 34. ЛЕТО. МАРИНА. СЕРЕЖА. ТЬО](#)
- [ГЛАВА 35. РОЖДЕНИЕ СЫНА](#)
- [ГЛАВА 36. ОСЕНЬ И ЗИМА В ДОМИКЕ НА СОБАЧЬЕЙ ПЛОЩАДКЕ. БОРЯ БОБЫЛЕВ](#)
- [ГЛАВА 37. ДОМ МАРИНЫ. РАССКАЗ НЯНИ](#)
- [ГЛАВА 38. ЗИМА. ПОВЕСТЬ. КОНЕЦ](#)
- [ГЛАВА 39. ПРИЕЗД В ЯРЦЕВКУ](#)
- [ГЛАВА 40. ПРОЦЕССИЯ](#)
- [ГЛАВА 41. ИЗ МАРИНИНОГО ДНЕВНИКА ЛЕТА 1913 ГОДА. ЖИЗНЬ В ЯРЦЕВКЕ](#)
- [ГЛАВА 42. РАЗРЫВ И ОТЪЕЗД](#)
- [ГЛАВА 43. СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ](#)
- [ГЛАВА 44. СМЕРТЬ ПАПЫ](#)
- [ГЛАВА 45. ПОСЛЕ ПАПЫ. СНОВА ФЕОДОСИЯ](#)
- [ГЛАВА 46. МАРИНА, СЕРЕЖА И АЛЯ. ДНЕВНИКИ МАРИНЫ](#)

- [ГЛАВА 47. МЫ И МАКС. «УЕДИНЕННОЕ»](#)
- [ГЛАВА 48. ВЕЧЕР У БОГАЕВСКИХ. СТИХИ МАРИНЫ И МАКСА](#)
- [ГЛАВА 49. ЧТЕНИЕ СТИХОВ](#)
- [ГЛАВА 50. У ХУДОЖНИКА ХРУСТАЧЕВА. МАСТЕРСКАЯ ВОЛОШИНА. ВЕРЕСАЕВ](#)
- [ГЛАВА 51. БУРЯ В ОТУЗАХ](#)
- [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ МОСКВА. ПЕТРОГРАД ГЛАВА 1. МОСКВА](#)
- [ГЛАВА 2. «МОЙ ДОМ!» \(ДОМ В БОРИСОГЛЕБСКОМ\)](#)
- [ГЛАВА 3. МАРИНА И ПЕТЯ ЭФРОН-МАРИЯ ИВАНОВНА КУЗНЕЦОВА](#)
- [ГЛАВА 3. МАРИНА И ПЕТЯ ЭФРОН. МАРИЯ ИВАНОВНА КУЗНЕЦОВА](#)
- [ГЛАВА 4. ВОЙНА. ВЕСТЬ ИЗ ПЕТРОГРАДА](#)
- [ГЛАВА 5. БОРИС В КАЗАРМАХ. МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА](#)
- [ГЛАВА 6. ПЕТРОГРАД](#)
- [ГЛАВА 8. ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ И ЕГО БРАТ АЛЕКСАНДР](#)
- [ГЛАВА 9. «ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ» ДМИТРИЯ СМОЛИНА](#)
- [ГЛАВА 10. АЛЕКСАНДРОВ. РАЗВОД С БОРИСОМ](#)
- [ГЛАВА 11. ОЛЕС ЗАКРЖЕВСКИЙ. МОЕ ГОРЕ](#)
- [ГЛАВА 12. СОБЫТИЯ. МАЙЯ. МАРИНА И МАНДЕЛЬШТАМ. БОРИС И ФРОНТ](#)
- [ГЛАВА 13. ПОЕЗДКА В ПЕТРОГРАД. СМЕРТЬ МАВРИКИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА И АЛЕШИ](#)
- [ЧАСТЬ ВТОРАЯ МОСКВА ГЛАВА 1. СНОВА С МАРИНОЙ](#)
- [ГЛАВА 2. ЖИЗНЬ МАРИНЫ. НАШ ДОМ. ЛЁРА. ДРУЗЬЯ. ДРАКОН НА. АНДРЕЙ](#)
- [ГЛАВА 3. ВИНОГРАДОВ. НИЛЕНДЕР И СОЛОВЬЕВ. МОЯ РАБОТА](#)

- ГЛАВА 4. У РОДИТЕЛЕЙ ГАЛИ ДЬЯКОНОВОЙ.  
РАССКАЗ МАРИИ ИВАНОВНЫ. МАЙЯ КУДАШЕВА
  - ГЛАВА 5. НА НОВОМ МЕСТЕ. ВЕСТЬ О СЕРЕЖЕ.  
ГЛАВКУСТПРОМ. В. ВЕРЕСАЕВ. СЕРЕЖА СОКОЛОВ.  
ПЕЧЬ
  - ГЛАВА 6. ИСПЫТАНИЕ. АНДРЮША ТРУХАЧЕВ.  
ПРОЩАНИЕ С МАРИНОЙ
  - ПОЕЗДКА К ГОРЬКОМУ ВСТРЕЧА С МАРИНОЙ
  - ПОСЛЕДНЕЕ О МАРИНЕ
-

**Анастасия Ивановна Цветаева**

**Воспоминания**

# **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ РОССИЯ ГЛАВА 1. ФОТОГРАФИЯ. ИЗ МАМИНОГО ДНЕВНИКА. ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ МУСИ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. РАННИЕ ВОСПОМИНАНИЯ. ГОЛОСА МОСКВЫ. ШАРМАНЩИК**

В моей памяти – унесенная жизнью фотография четырехлетней Муси, двухлетней Аси.

Большелобое, круглое лицо старшей, на котором вспыхивают мне зеленью, в сером тоне фотографии, глаза Марины, взрослый взгляд на детском лице, уже немного надменный сквозь растерянность врожденной близорукости.

Взгляд чуть вбок – на сверкающее на тонкой цепочке граненое сердечко не ее, а маленького существа рядом.

Объектив фотоаппарата поймал это мгновение: полыхнувшее к чужому – аметисту ли, хризолиту? – как мотылек – к свече.

И лицо рядом, – младенческое, детские губы, своей мягкостью оттеняющие твердый, волевой абрис тех; волосы – чуть вьющийся пушок. Родственное сходство черт.

Первое воспоминание о Марине. Его нет. Ему предшествует чувство присутствия ее вокруг меня, начавшееся в той мгле, где рождаются воспоминания.

Давнее, как я, множественное, похожее на дыхание: наше «вдвоем», полное ее, Мусино, старшинства, своеволия, силы, превосходства, презрения к моей младше, неумениям и ревности к матери. Наше «вместе» – втроем, полное гордости матери своим первенцем, крепким духом, телом и нравом; полное любования и жалости к младшей, много болевшей.

В этом жарком течении плыло наше детство.

Марина родилась 26 сентября 1892 года в Москве. Я -14 сентября 1894 года там же.

Когда меня еще не было на свете, в детской стояли две кровати: Андрюши, круглобрового, кареглазого, и его сводной сестры Муси, круглолицей, с русыми волосиками и глазами цвета крыжовника.

Мама Мусю не смогла кормить. Ей взяли кормилицу. Мусина кормилица была цыганка, нрав ее был крутой. Когда дедушка, мамин отец, подарил ей позолоченные серьги, она, в ярости, что не золотые, бросила их об пол и растоптала.

В мамином дневнике много лет спустя мы прочли: «Четырехлетняя моя Маруся ходит вокруг меня и все складывает слова в рифмы, – может быть, будет поэт?»

Крестная мать Муси, Надежда Александровна Сытенко, красавица, светловолосая и синеглазая, жившая недалеко от нас в Мамоновском переулке', пригласила к себе крестницу. В комнатах со шкурами зверей на полу, с зимним садом и летающими птицами мама сказала Мусе: «Ничего не трогай, не урони со стола мелочей». Вскоре четырехлетняя Муся, молча, громко дыша от натуги, перетащила через комнату тяжелое кресло. На всеобщее удивление она отвечала, что мама запретила ей трогать мелкие вещи. «Приходи, Мусенька, – звала в конце визита Надежда Александровна, – у нас твои любимые конфеты, комнаты большие, есть где побегать...» – «Комнаты и у

нас большие, - ответила Муся со вздохом, - а вот конфеты у мамы заперты...»

Рассказ мамы о первом Мусином театре: в антракте, в ложе Большого театра, не перегибаясь через ее край, думаю, от страха глядеть вниз, а может быть, от природной близорукости не видя ничего, кроме края балкона, Муся, наслаждаясь апельсином, сосредоточенно отколупывала сильными пальцами тугую золотистую шкурку и кидала ее вниз, в партер.

Мнится мне, что мое самое раннее воспоминание -солнечный, синий день, наш переулок (Трехпрудный), я стою на скамеечке, врезанной в нишу рядом с воротами. Няня поправляет синюю вуальку, спуская ее на лицо от очень яркого солнца и слепящего снега. На мне белая шубка, тоже сверкающая. От этого сверкания и синевы - чувство счастья.

Мне было год четыре месяца, когда мама повезла фотографировать меня на Кузнецкий мост, к Фишеру.

1 Ныне - переулок Садовских.

Записей о нас было в мамином дневнике много, но - все книги дневника погибли. Записи привожу по памяти. Не раз вспоминала мама смешной случай: она ехала со мной лет трех на конке. На остановке кондуктор крикнул: «Кузнецкий мост!» - «И вецные французы!» - добавила я. Раздался смех пассажиров, оглядывались - взглянуть на младенца, цитировавшего «Горе от ума».

Еще из маминого дневника: мы (пять лет и три года) играем - Муся продает, я покупаю.

- Пацём? - спрашивает Ася.

М у с я: Я - задаром продаю!

Ася: Как дорого!

Марина росла, как растет молодой дубок.

Андрюша (наш сводный брат, старше Муси на два года) был выше ее, но она с ним справляется, она сильная. (В пылу драк каждый из нас имеет свою

специальность: Андрюша «щипается», Муся кусается, а я царапаюсь.)

Муся хвасталась уменьями, недоступными Андрюше и мне: складывать язык трубочкой, шевелить ушами и разводить веером и двигать по желанию пальцами на ногах. Мы очень старались, не выходило, смотрели на Мусю с почтением и завистью.

Детская. Вечер. Нас троих одевают куда-то, к кому-то, Мусины русые волосы распущены, чья-то рука их связывает лентой. Ее светлые зеленые глаза, с немного высокомерным взглядом, блестят – она сейчас будет дразнить или что-то выдумывает. Но сейчас – некогда. Обе наши головы нетерпеливо, как кони от мух, отмахиваются от надеваемых на нас кружевных, больших, по плечи, крахмальных воротничков, нашей муки. Андрюша уже готов. На нем коричневый костюмчик, а на мягком поясе – фарфоровая пряжка с нарисованной головкой маркизы. Он очень хорош. Я люблю его большими карими глазами, круглыми бровками. Но Муся, лицо которой я не могу воспринять отдельно от себя, как воспринимаю Андрюшино, – родней, нужнее, неотъемлемее: это сама я, мы.

Другой вечер – в музыкальной школе В. Ю. Зограф-Плак-синой в Мерзляковском переулке. В ученическом концерте выступила учившаяся там Муся. Ей было семь лет. Мать учила ее с шести или пяти: рука была большая, способности же ее были – праздник для мамы, страстного музыканта и

прекрасной пианистки. Детство наше полно музыкой. У себя на антресолях мы засыпали под мамину игру, доносившуюся снизу, из залы, игру блестящую и полную музыкальной страсти. Всю классику мы, выросши, узнавали как «мамино» – «это мама играла...». Бетховен, Моцарт, Гайдн, Шуман, Шопен, Григ... Под их звуки мы уходили в сон.



И вот – первое выступление Муси! Когда я увидела ее на эстраде, с распущенными по плечам русыми волосами, собранными надо лбом, под бант, в платье в мелкую зеленую, черную и белую клеточку, со спокойным, как будто ленивым достоинством сидевшую, как взрослая, за роялем и, не обращая внимания на зал, глядевшую на клавиши; когда я услышала ее игру и всеобщую похвалу ей – сердце раскрылось такой нежностью к старшей подруге игр, так часто кончавшихся дракой, – что я иначе не могу назвать мое чувство в тот вечер, как состоянием влюбленности.

Я никого, кроме нее, не видела. Я не сводила с нее глаз.

Я не понимала, как до сих пор не видела ее такой, не восхищалась и не гордилась ею. Старшие потом говорили, что, равнодушная к залу, чувствуя только рояль и себя, она начала было привычно считать вслух: «...раз и два, и» – но, увидев знаки Валентины Юрьевны или мамы, стала играть без счета.

Дома, ночью, я помню ее все такую же, широкое, высоколобое родное лицо, глаза – цвета крыжовника, победные и немного насмешливые.

Я не знала, чем выразить нежность и как удержать ее в грубости детских буден, ссор и всего, что придет завтра. Это завтра пришло. Тот вечер – в сердце каким-то цветением радости...

Мы идем – няня и я – по Патриаршим прудам. Справа – пруд за изгородью. У няни в руках оловянная птичка. Она купила ее своим племянникам Коле и Ване. Боль расставания с птичкой еще сильнее от безысходности: хотеть ее себе, когда Коля и Ваня ждут ее, – нельзя. Тусклый блеск олова, очертания птицы томят меня нестерпимо! Няня меня уложит и унесет птичку – им...

С Мусей и няней я сижу в их детской у стола под висячей лампой с большим плоским, снизу белым,

кругом. Мы перелистываем картонные листы книги, перерезанной на три части; собираем странное существо с головой, например, гуся,

туловищем почтальона с сумкой и ногами девочки в башмачках, или – голова мальчика, туловище птицы, лапы кошки. Сочетаний было множество, интересу не было конца и восхищению, как ловко и точно были пригнаны очертания фигур друг к другу.

Из игр того времени помню еще – блестящие листы плотной бумаги, которую надо было равномерно зачеркивать карандашом: и тогда на глянце проявлялись затейливые рисунки – пара овец, девочка с корзинкой, домик с деревьями.

Другая игра состояла из мягких, гнущихся медных листов с узкими вырезами. Держа лист на бумаге, надо было обводить карандашом вырезы – и на бумаге получалась картинка. Но едва ли не чудеснее всего были китайские или японские цветные, будто бы деревянные или соломенные, легкие на руке кусочки: бросишь в блюдце с водой – расцветают в китайских человечков, в цветы, зонтики, веера. Их, как лакомство, нам совала старшая сестра Лёра, любившая все красивое и необычное, в минуту, когда надоедало вешать на края таза бумажки – «желанья», к которым подплывал горящий огарок в ореховой скорлупе, или когда после сидения в платяном чулане (мамино наказание) было так трудно жить.

Уж прискучили сияющие феерической зеленью, фиолетовые с розовым и серебряным блеском (лопаются все, не удержишь) мыльные пузыри! И в миг, когда звали – есть, спать, – мокрое дно блюдца расцветало волшебной китайской жизнью ослепительных цветных миниатюр...

И еще были игры с магнитом. Он был колдовской. Его приносил Андрюша. И было имя – его кто-то сказал: «Математик Магницкий»...

Кажется, еще целую жизнь проживи, не забудешь вкуса, запаха и уюта накрошенных в блюдечке теплого молока калача или булки. И никогда, – думаю, ни одного разу за жизнь, – не было, чтобы сочетание молока и белого хлеба не вернуло память к тем дням, к тому часу детского отхода ко сну.

Из раннего детства помню еще вечера в зале с Августой Ивановной, высокой немкой с пучком на макушке, наш бег в такт подпеваемой нами песенке:

Fuchs! Du hast die Gans gestohlen,  
Gib sie wieder her!

Sonst wird dich der Jager holen Mit dem Schie?gewehr.

(«Лиса! Ты украла гуся, отдай его назад! Или тебя достанет охотник своим ружьем».)

И любимая песенка Августы Ивановны:

Ach, du lieber Augustin,  
Augustin, Augustin!

Глупый, подмигивающий, веселый мотив.

Как-то лепится к этому вечеру другой. Мне мало лет. Зала. Мама у себя. Я одна. За окнами (ставни еще не закрыты) несутся санки. И я говорю себе: «Бояре проехали...» Позже кто-то пробовал разубедить меня, доказать – тщетно. Так я навсегда запомнила, что жила в старину боярскую, потому что бояре проехали мимо окон зала, где я была...

Но еще давнее – еще более странное – воспоминание: я, крошечная, одна хожу по нижним комнатам дома (зале и передней) с новым ощущением осмотра дома, знакомства с ним. В радостном сознании переезда откуда-то, обретения, новизны. Что это было? Никакая объективность не подтверждала чувств того утра: в этом доме я родилась, из него выезжала только в Тарусу. Может быть, именно оттуда приехав и подросши за лето, я вдруг осознала и увидела наш дом...

Как вычеркнуть из памяти, из сердца бродячих друзей, красивших жизнь? В однообразии хоть и милых, детских буден они врывались криком своим так внезапно, и с ними шло – волшебство. Эти крики у каждого на особый мотив.

– Мо-че-ные я-а-блоки... Яблоки моче-ны... – И когда, мытые-перемытые, они к нам попадали – какой чудный вкус. Какой винный запах.

Был другой крик: «Костей! Тряпок!» И хоть он совсем к нам не относился – мы и его встречали, как доброго друга, и бежали к окнам. Он входил, широким, вельможным жестом кидая калитку, худой, плечистый, в сером халате, татарин; шапочка его держалась на макушке чудом, потому что он шел, задрав голову кверху, и редкая – у всех них та же -бородка прыгала в такт, по мосткам. Нам говорили (горничные, няни), что они все – князья, и мы, не понимая, что

это, смотрели на них еще неотрывнее, сиюсь понять (от объяснений, что такое «князь», дело не становилось понятней).

А еще милей – был точильщик, когда, пройдя к черному ходу, сняв с плеча свой нелегкий станок, он, окруженный голубями, начинал точить вынесенные ему ножи, блеща ими, как птичьими крыльями, пробуя их на палец, шутя с горничной (в шали, подрагивавшей от осеннего холода или мороза). И мы выбегали, неся свои заветные – перочинные, глядя, как вертится колесо, – день замирал, как заколдованный, и расставанье было нелегко!

Но из всех голосов, врывавшихся так в наш день, всего родней и нужней – был голос шарманщика. О, за него, летя с лестницы, не слушая мадемуазель или фрейлейн, мы готовы были на вечное наказание! Яростно вдевая руки в подставленные нам рукава пальто, мы задыхались, пока нас застегивали, топотали на месте, как кони, и когда дверь черных сеней,

провизгнув свою обычную жалобу, пропускала нас во двор – мы всем существом рушились в мелодический дребезжащий разлив шарманочных звуков, подступающих, подмывающих, как море – песок, забыв нацело то, что было за минуту, не желая ничего, кроме – слушать и слушать волшебную неуклюжиху на одной ноге с одной вертящейся рукой, – и уйти вместе с ней со двора... Что? «Пой, ласточка, пой...»? Конечно! «Варяг»? Нет, до него – до японской войны – оставалось еще пять лет. Вальс «Дунайские волны», быть может?.. Музыка была, верно, невысокого качества, но, на наше детское ухо и страсть к мелодии, – расстроенность шарманки искупалась мелодией нацело, и ее приход -с попугаем или без – был праздником. Где кончили, при рождении граммофонов и радио, свой сказочный век эти драгоценные ящики, бродившие с куском музыки по всей земле?

## **ГЛАВА 2. БУРСКАЯ ВОЙНА. ДЕЛО ДРЕЙФУСА. МАМИНЫ РАССКАЗЫ. ПУШКИН**

К ранним воспоминаниям просятся отзвуки жизни, где-то шумевшей по шару земному и долетавшей до детских ушей: война англичан с бурами; негодование старших, в их разговорах, о жестокости англичан, о героизме доблестного маленького народа. В те дни вся бумага в доме была

изрисована нашими изображениями воюющих (лучше всех, ¡ как старший, рисовал брат: длинные англичане с трубкой в зубах и маленькие буры в широкополых шляпах). Мы страстно жалели буров. Шаржи на королеву Викторию переходили из рук в руки: маленькая, толстая, носатая, с короной на голове.

Дело Дрейфуса! Сколько бесед, сколько волнений! Протест против неправоты к нему, невиновному и преследуемому. Мы, дети, ненавидели угнетателей, ждали победы добра...

Сенсация иного рода – был слух о маньяке, длинной кривой иглой взрезавшем на улице кишки прохожим. Джек Потрошитель! Кто не помнит это страшное имя! Мы шептались о нем в детской, надоедали им маме.

Дошел и до нас рассказ о приехавшем в Россию персидском шахе: он восхитился красотой европейской музыки, услышав, как настраивают инструменты перед началом оперы.

Дело Дрейфуса, бурская война. Как сжималось от этого сердце! И как оно ширилось, наполнилось от картинки с головой сенбернара и рассказа мамы о том, как над Сан-Готардским перевалом, где потом, чудом каким-то, была проведена железная дорога (мама

проезжала там с дедушкой), -монастырские собаки ищут сбившихся с пути. Громадные, длинношерстные, добрые сенбернары находят замерзающих, отрывают их из снега, и если путник очнется, суют ему к лицу бочонок с ромом, привязанный к их ошейникам. Если же человек без сознания, - сенбернары бегут и зовут людей, и те, с веревками, носилками, фонарями, пускаются в путь по горам.

Мамины рассказы! О чем? О чем только не!!

О старом короле Лире, изгнанном дочерьми, которым он; отдал корону и царство, о его ночи под грозой в поле... О] молодом Людовике Баварском, любившем луну и пруды, музыку, отрекшемся от престола, поселившемся в лесу, во дворце Бург, жившем ночью под музыку Вагнера - театр и оркестр, - а днем спал. Он утонул в озере (или бросился в него). Мама с дедушкой плыли по этому озеру на лодке. Мама, сняв с пальца кольцо, опустила с ним руку в воду,! разжала руку - и оно, замедленное водой в падении, ушло, золотонув, в глубину... Это мы понимали.!

И вот в какой-то час наш пришел е е час воспоминания, как она узнала об этом - из книги, некогда, или от своего учителя: фигура Сократа. Его философия. Слова: «Я знаю, что я ничего не знаю». Суд. Чаша яда. Мужественная, горькая смерть. О том, как доложили Людовику XVI, что на улицах Парижа - толпы, что идут в Версаль, кричат: «Долой короля!», что войска переходят на сторону народа... Следующие слова запечатлелись в мозгу ужасом и восторгом.

- Mais, mais... c'est une revolte cela! - сказал король Франции.

- Non,Sire,-отвечал приближенный, медленно и торжественно, - c'est la Revo-lu-ti-on!1

Со страстной любовью к отцу своему мама рассказывала

о путешествиях с ним за границей, о поездке по Рейну, реке легенд, текущей меж гористых берегов, о старых замках на утесах, о местах, где пела Лорелея. Мы уже знали о ней знаменитую немецкую песнь Гейне. И родным становился зеленый пенистый Рейн.

Муся уже читала мамины детские книги – три тома «Детского отдыха» с трогательными, захватывающими рассказами, «Задушевное слово», четыре тома чистяковского собрания рассказов – «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». Как в тумане, мне помнится заглавие «Лето в Ревеле». Был рассказ «Охотник Степан»: о его гневе на верного друга, собаку Дружка, укравшую окорок, закопавшую его в лесу; следуя поверью, что положенный на сонную голову платок (с намерением узнать снящийся сон), затем переложенный тебе на голову, повторит тебе этот сон, – Степан увидел сон Дружка и решает расстаться с ним – за измену. Но в тот миг, когда, продав своего многолетнего друга – пса – другому охотнику, он стоит у отчаливающего парохода и Дружок, поняв, завыл и стал рваться с цепи в воду, – Степан понял, что изменник не Дружок, а он, Степан, и был готов все отдать за Дружка, но пароход уходил, и Муся глотала слезы, я ревела под мамино чтение, и разлука их, человека с собакой, неисцелимая, так и протащилась с нами на всю жизнь.

Был рассказ: бедная мать, отдавшая богачам крошку сына, через годы приходит к нему в гости – радостно, купив на

1 – Но, но... ведь это же – мятеж!

– Нет, сир, это – Ре-во-лю-ция! (франц.)

последние гроши дешевую игрушку. Барчонок чуждается незнакомой, плохо одетой женщины, не глядит на ее подарок. С того дня мы понесли с собой слезы матери, в темной улице повторявшей слова: «Не понравилось...»



Часто мама, взойдя к нам в детскую, – как мы любили ее приходы, – читала нам рассказы Чехова, Чирикова, Телешова, книжки «Донской речи». Как мы боялись, что у мамы будет мигрень, помешает прийти к нам! А на другой день, изменив, как Дружок, мы с Андрюшей крались к посудному шкафу в передней (мама забыла ключи) и тащили к себе пирожные, как тот – окорок... А потом слезы – мамины, наши...

Болезни. Это была совсем особая жизнь. Ничем не похожая на обычные дни – точно все куда-то уехало. Нет, это ты уезжал каждый раз в знакомое по прошлому разу царство. Полутьма, затененная лампа, запах и вкус лекарства. Жар и боль головы. Мечешься... Голоса. Все пропало. Просыпаешься, встать не можешь. Мама, ложка лекарства, рот отворачивается. Слезы; у подбородка мокро. И опять все пропало, и опять тот пустой сарай, и нитка дрожит и тянется, и ты с ними один, и тот, уже бывший, ужас держит, и некуда из него уйти. Знаешь, что сейчас, вот сейчас будет еще страшней. Нет спасенья! У тебя нет ни ног, ни рук, весь глаза и боль головы, которая наполняет сарай. Нитка подымается и дрожит, от нее нельзя оторваться. Как они все бросили меня одну с ней? Ближе. Наваливается. Нечем дышать. Пустота сарая уже позади тебя и вокруг, ты – в ней. Но пока нитка висит, еще можно. Если она оборвется – конец... Голос доктора (детский доктор Ярхо) где-то над головой. В маминой руке – термометр. Сейчас мама заденет им нитку – я кричу, это не мой голос... Они не понимают, не видят! Круг от лампы делается светлей – я проснулась или я засыпаю? «Сорок, одна десятая» (голос мамы). Термометр под мышкой – плывет... Все пропадает.

...Были копилки. (Зачем? Кто их выдумал?) Глиняные: когда они будут полны, их разобьют и деньги из них высыплются. Копейки, две, три, пятак, много темных, некоторые чуть золотистые по краям, сбоку.

Иногда вдруг одна золотая – это «новая». Нельзя оторвать глаз! И спускаешь ее осторожно, прощаешься, в длинную узкую

дырку. Гувернантка говорила: «Копи, а накопишь, купишь себе куколку!» Что мы куколок ни за что не купим, про то знали мы (что понимает гувернантка! Она все детство, наверное, проиграла в куклы!). Нет, мы купим – альбомы, перочинные ножи, ту шкатулку в окне, книги... Монетки, которые давали нам старшие, падали с глухим звоном внутрь. Там уж, наверное, много их, целое монетное царство, гора! Как в подземелье у Гауфа. У Муси копилка была собака, коричневая с черным. Дырка была у нее между ушей. У меня кошка, серая, с голубым байтом – он уже совсем темный. У Андрюши – конская голова, она тяжелее наших.

И вот наставал день – монетка не лезет. Копилка – полна! Как билось сердце: для того чтобы увидеть деньги, надо разбить копилку! Ни Муся, ни я – не могли. Разбивал, зажмурясь, Андрюша или гувернантка. Ни Лёры, ни мамы почему-то не помню при этом. Стук, паденье, треск – и какое отчаянье! Мокрые от слез руки пытались узнать в кучке глиняных обломков – погибших кота, пса... Ноги убегали под рев наш от места гибели. Я не помню ни счета монет, ни – покупок. Это, может быть, было всего – раз? Разве можно было опять-таки ради денег – разбить насмерть собаку или кошку? Своей волей их уничтожить? Чудовищность такого конца повторенью не подлежала.

Не в тот ли день детского горя родилось Маринино и мое отвращенье к богатству, подозрение, что оно, как те монеты, купалось в слезах...

Одно из удивительных впечатлений детства был фотограф. В Москве ли кто-то нас снимал, во дворе, под кустами желтой акации, или в Тарусе, на площадке перед домом, между тополей, – обладатель

фотографического аппарата был таинственен и чем-то напоминал Чернилку из гофмановской сказки: он вдруг исчезал под куском черного сукна, став сразу меньше, нагнувшись, и начинал двигаться к нам, неся на себе высокий треножник, на котором колебалось непонятное сооружение, покрытое чем-то черным, свисавшим, и все это было похоже на живое странное существо. Так и прошло оно через детские годы, и почему из этого являлись блестящие карточки с изображениями людей -нас!- было невозможно понять.

Другие девочки, с няней, старой, уютной, в светлом фартуке, в темной, в сборку юбке, в широкой, навывпуск, кофте, в темном платке с цветочками, идут за руку с няней, и мне жаль, что уже нет у меня такой няни, что моя уже в прошлом.

За руку с мамой я вхожу в Страстной девичий монастырь. Он в начале Страстного бульвара. Широкие серые каменные плиты. Прохлада. Тишина. Высокие потолки. Длинная галерея ведет мимо церкви, запертой. Мы идем к монашенке, по делу. Что-то о белье. Жадно вдыхаю я незнакомый мир монастырский, чью-то жизнь, такую иную, чем моя. Силуэт колокола. Гулкость шагов по каменным ступеням. Желтое лицо монахини. Ее келья... Этот день запомнился навсегда.

А напротив Страстного монастыря, через площадь, горят в начинающихся сумерках светло-желтые фонари вокруг памятника Пушкину. С четырех сторон ступени. Столбы -широкие внизу, \ьке кверху, где разветвляются на три ветви, и каждая поднимает во мглу фонарь, точно граненый бокал, ->?же внизу, шире наверху, - бокал с такой же угольчатой крышкой, налитый вином света, и посередине, выше тех трех, - четвертый - заздравная, кверху поднятая люстра, -и так с четырех сторон. Заложив руку за край одежды, за тяжелые, неподвижные складки, стоит, задумавшись, Пушкин. Лицо и волосы его знакомы с младенческих лет. Нет, не

так: он есть и был всегда, как есть и были – лес, луга, река, небо. И сетью серебристых звездочек-искр сыплет на него снег ставшее уже темно-синим небо. Когда оно стало синим? Только что – голубое! Гуще стала тьма в складках одежды, и начинает сесть курчавая голова, все кружится от медленного кружения снега, и гуще становятся поднятые в синюю мглу золотые бокалы света... Ступеньки уже совсем белые... Мама спешит, тянет за руку, а ноги маленькие, заплетаются – не от одной усталости, от упрямства еще раз взглянуть на знакомые гирлянды цепей от тумбы к тумбе. Я слушаю о том, что такое «дуэль», о том, как на дуэли был убит Пушкин... и кажется, что всегда, всегда были эти строки, давно, как лес и как небо:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,  
К нему не зарастет народная тропа...

## ГЛАВА 3. ДЕТСКАЯ МОСКВА

Великий пост. Мама и я ходим из лавки в лавку в рыбном ряду. Это – Охотный ряд. В огромном чану – рыбы. Серебристой россыпью заиндевело мелочи искрятся крошечные снетки. Весело и людно кругом. Сверкает снег, как на картинке с Дедом Морозом. Пахнет сайками и блинами. На! салазках – опарницы, бутылки: квасы, сбитень. И почему-то [вертится в голове, хоть не московское, пушкинское:

! С кувшином охтенка спешит,

| Под ней снег утренний хрустит...

(А я говорила: «К Фонтанке охтенка». Той же, где: «Чижик, Чижик, где ты был?» – «На Фонтанке воду пил».)

! Александровский сад, его несхожесть ни с какими московскими скверами. В него сходили – как в пруд. Тенистость! его, сырость, глубина. Что-то упоительное было в нем.

; Особенные дети, с особенными мячиками, были там. Купы | деревьев – словно куски дубов, гроты. И была высокая! зубчатая стена, за которой – Кремль. Тот Кремль, где | Царь-пушка, Царь-колокол и где живет царь.

В Александровский сад нас водили редко; чаще на 1 ближние – Тверской и Страстной бульвары и на Патриаршие пруды. Об Александровском саде на всю жизнь осталась тоска.

Магазины старой Москвы... Мы любили ходить в самый! «простой» из них, близкий к нам, детям, был – Севастьянов:

! небольшой магазин, вкусно пахнущий сдобным и сладким.

, Отсюда раз в неделю шла нам плетенная из лучинок

! корзиночка с десятком пирожных и конфеты-завсегдатаи:

; клюква в сахаре (папино любимое нам - детям), пастила, мармелад. Тут мы брали «на книжку».

Севастьянов был на Тверской. На Тверской же, дальше: по направлению к Охотному, - Филиппов: большой хлебный | магазин и кондитерская с мраморными столиками, где мы с; мамой присаживались съесть пирожки с капустой, горячие. Черный филипповский хлеб славился на всю Москву и за ее пределами.

Сиу, Эйнем, Абрикосов - шоколад,, торты, конфеты и карамели, волны запахов у подъездов и фонарей. У Сиу были - розовые шары, матовые. У кого-то - голубые, как луны. К подъездам подлетали санхи, кто-то откидывал полость. Выносили пакеты, и санки уносились вдаль. У Никитских ворот был Бартельс. Его мы ужасно любили: небольшой, невысокий, уютный. Круглые столики. Мы пили чай, кофе, иногда шоколад. Туда мать нередко водила нас -Андрюшу, Мусю и меня.

Но выше всего - на сказочной высоте - дарил Елисеев: залы дворцового типа, уносившиеся ввысь. Заглушенность шагов (опилки) давали ощущение ковра. Люстры лили свет, как в театре. В нем плавилась цвета и запахи фруктов всех видов и стран. Их венчали бананы из 1001 ночи. Выше всего царил ананас: скромный, как оперение соловья, с темно-волосатой шкуркой, с пучками толстых листьев вверху, заключающий подобие райского плода - несравненность вкуса и аромата: влажность - жидкость; вязкость - почти хруст на зубах; золотистость почти неземная - как пение соловья. Унося скромную покупку, мы не сразу осознавали приобретение. Шли, так обеднев утерей лицезренной красоты...

Нашими любимыми игрушками были два рыночных, по 25 копеек, купленных няней кота: большие, из грубо раскрашенного ситца, в сидячей позе, набитые соломой.

Еще мы любили рождественские и новогодние картинки (лесная избушка с рыжим окошком, голое дерево и горящий снег или колокола в воздухе с осыпанной блестками лентой, лесные звери вокруг Деда Мороза на бертолетовом или борном снегу). Они висели над кроватями, крася день и отход ко сну. В ту пору были светящиеся насквозь открытки, сиявшие зеленовато-лунным блеском, – зг(мки, ночи, пейзажи, здание Большого театра. Это тоже были друзья, страстно любимые. Кстати о Деде Морозе. На наших елках ему не было роли. Может быть, потому, что наши деды, и Мейн и Иловайский, были каждый – такой особенный, так не похожи на обычных, сходных с Дедом Морозом? В картинках Деда Мороза мы ценили лишь блестки, усыпавшие снег.

Леший – к нему, под тенью лесов, была нежность. Водяной – дух всех вод – звал, топил, был таинственен, как Лесной царь. Даже Домовой – казалось, рукой подать до Деда Мороза? – и тот был хоть смешноват, страшноват, но свой (лес, вода, дом). Но существо – миф о существе, связанном лишь с одним из видов погоды, был целым рангом ниже. Не воплощалось. Так мы чувствовали. Мы просто

немного стеснялись, что кому-то он – звучит же? Так, как звучит колокольчик тарусского тарантаса? Звучи т?..

Помню вечер – весна или осень, – когда прошла весть о первом электрическом трамвае, на смену конке появившемся в Москве. Рассказы, дивования, разговоры... С кем-то я иду вверх по Палашевскому переулку. В честь чего иллюминация – цветные фонарики? Провожали ли мы Лёрину – ее детства – бонну, мисс Шпейер? Что-то было от нее в этом вечере,

синем, ветреном, с полыхающими фонариками, со сборами – смотреть первый трамвай. Но память о маленькой седой головке с наколкой, с ласковым личиком и нерусской речью, свою умиленность ею я помню сквозь тревогу, что меня могут не взять на трамвай – «маленькую»... И было жаль милую конку, шумную, со скачущими вверх по Трубной мальчишками на конях (припрягали, чтобы вывезти по горе конку), этот знакомый мирок, с детства наш, потому что кто-то сказал: «Трамвай вытеснит конку»...

Вторая новинка, осиявшая Москву светом и блеском, был многоэтажный магазин Мюр и Мерилиз на Театральной площади. Сколько рассказов, сколько восхищений, споров, сборов, прогулок и поездок туда!.. Думаю, долгое время до его открытия москвичи обходили стройку, все выше подымавшуюся в небо, увенчавшуюся наконец остротой башенок, засверкавшую стеклами... Как долго еще ждать – ходили -смотрели, – покуда стекла стали аквариумами света, налившимися волшебством предметов, плававших в этой световой воде. И все же это было ничто рядом с тем, что охватило нас, когда мы вошли туда в первый раз! Этажи! Сверканья! Бредовая множественность вещей! Невиданный взмах лестниц! Блеск стекла и посуды! Картины! Чучела медведей! Украшения! Игрушки!

И вот мы стоим перед тем, что давно обсуждают в Москве и рассказ о чем – сказочен: лифт. Комнатка, светлая, как сам свет, легко, воздушно скользит вверх и вниз, увозя и привозя дам, господинов, детей, проваливаясь в пролеты этажей с бесстрашием колдовства, выныривая из пропасти с неуязвимостью заколдованности... Стоять и смотреть! Без конца! Когда же чья-то рука крепко берет мою руку и мы двигаемся к тому, что зовется «лифт», – мужество покидает меня, и я уже готовлюсь к своему «и-и-и»... Но поза и лицо



Муси отрезвляют меня: она боится, я это отлично вижу, -она такая бледная, как когда ее тошнит, но она немножечко улыбается уголками губ и шагает вперед, к лифту. Ноги ступают как в лодку, упругую на волнах, и, объятые блеском, точно ты в зеркале, мы медленно скользим вверх мимо проплывающих потолков (он потолок и пол сразу)... Мы нагулялись по этажам, по всем отделам - до сытости. Не могли больше глаза принимать в себя вещи, когда нас повели еще раз к лифту. Он ехал вниз. Пол оборвался под нашей ногой, полетел, как во сне, страшным скольжением, в теле сделалась слабость, ступни ошпарило страхом, и я залилась, к стыду и презрению Муси, на весь Мюр и Мерилиз «и-и-и»...

## **ГЛАВА 4. НАШ ОТЕЦ И ЕГО ДЕТИЩЕ - МУЗЕЙ. НАША МАТЬ. ДВА ЖЕНСКИХ ПОРТРЕТА. ДЕДУШКА И ТЬО**

Отец наш - профессор Московского университета - читал там и на Высших женских курсах историю изящных искусств. Он был много лет директором Румянцевского музея и основал Московский Музей изящных (теперь изобразительных) искусств (на Волхонке).

Родился он в семье, выделявшейся трудолюбием, высокими этическими правилами и необычайным дружелюбием к людям. Его отец, наш дед, был сельским священником в селе Талицы, Владимирской губернии; строгий и добрый, рачительный хозяин, он заслужил глубокое почитание округа. Старший сын его, Петр, пошел по его стопам; второй, Федор, был инспектором гимназии, третий был наш отец; четвертый, Дмитрий, - профессор русской истории. Росли папа и братья его без матери, в бедности. Мальчики ходили босиком и пару сапог берегли, обувая их лишь в городе. В двадцать девять лет отец уже был профессором. Он начал свою ученую карьеру с диссертации на латинском языке о древнеиталийском народе осках, для чего исходил Италию и на коленях излазил землю вокруг древних памятников и могил, списывая, сличая, расшифровывая и толкуя древние письма. Это дало ему европейскую известность. Российская академия присудила ему премию «За ученый труд на пользу и славу отечества». Болонский университет в свой 800-летний юбилей удостоил отца

докторской степени<sup>1</sup>. Погружение в классическую фи1  
В 1948 году Министерство народного просвещения  
Италии за научные труды в области исследования  
италийских древностей наградило покойного Ивана  
Цветаева почетной медалью.

лологию с памятниками древности и музеями  
Европы пробудило в отце интерес к истории искусств, и  
в 1888 году он возглавил кафедру изящных искусств  
Московского университета. Так он перешел от чистой  
филологии к практической деятельности основателя  
Музея слепков работ лучших мастеров Европы для нужд  
студентов, не имевших средств ездить за границу  
изучать в подлинниках древнюю скульптуру и  
архитектуру. Здесь, как и в филологическом изучении,  
его трудолюбию не было конца. Его беспримерная  
энергия в этом бескорыстном труде изумляла всех  
знавших его.

Проект такого музея был встречен холодно, многие  
сомневались в возможности его создания, мало кто  
верил в его успех. Один из веривших был мамин отец, А.  
Д. Мейн. Но было ясно, что финансировать такое  
грандиозное дело университет не в силах, а царское  
правительство может не захотеть прийти на помощь.  
Отец обратился к широким слоям общественности, к  
частной благотворительности. В комитет по созданию  
музея вошли представители аристократии и купечества,  
а также художники В. Д. Поленов, В. М. Васнецов, А. В.  
Жуковский, архитектор Г. И. Клейн, главным  
жертвователем стал Ю. С. Нечаев-Мальцев, известный  
промышленник. Отец увлек его идеей Московского  
Музея изящных искусств и в течение многих лет писал  
ему почти ежедневно: письма эти являют собой дневник  
строительства Нового Музея.

Царское правительство помогло только одним: дало  
площадь бывшего Колымажного двора, где помещалась  
старая пересыльная тюрьма.

Уступчивый и нетребовательный в жизни, отец проявлял невиданную настойчивость в преодолении препятствий на пути к созданию задуманного – такого и в Европе не было

- Музея слепков, а препятствий было много. Занятость и усталость нисколько и никогда не делали его раздражительным. Простой, добродушный и жизнерадостный, он в домашнем быту был с нами шутлив и ласков.

Помню я его седеющим, слегка сутулым, в узеньких золотых очках. Простое русское лицо с крупными чертами; небольшая редкая бородка, кустившаяся вокруг подбородка. Глаза – большие, добрые, карие, близорукие, казавшиеся меньше через стекла очков. Его трогательная в быту рассеянность создавала о нем легенды. Нас это не удивляло,

папа всегда думает о своем Музее. Как-то сами, без объяснений взрослых, мы это понимали.

Папе шел сорок шестой год, когда родилась Марина, сорок восьмой – когда родилась я.

В нашей матери, Марии Александровне Цветаевой, урожденной Мейн, отец нашел себе верного помощника по труду -созданию Музея. Свободно владея четырьмя иностранными языками, она не раз ездила с отцом в художественные центры Европы, вела всю его переписку. Маме в годы моих ранних воспоминаний исполнилось тридцать лет. В отце ее была сербская и немецкая кровь, мать ее была полька. Высокая, темноволосая (в раннем детстве нашем мама носила прическу, затем сняла косу, и над высоким лбом ее я помню волнистые волосы). Черты ее удлинённого лица не были так женственны и гармоничны, как у первой жены отца, – та была красавица, – но высокий лоб, блеск карих, умных глаз, нос с горбинкой (длиннее, чем требовал канон красоты), рот -в уголках его затаилась тонкая горечь, гордая посадка головы

- во всем этом была суровая юношественность. Строгая романтика ее отрочества (книги, музыка, живопись, - она училась играть на фортепьяно у Муромцевой, любимой ученицы Николая Рубинштейна, а искусству кисти - у художника Клодта, - «Последнюю весну» его в Третьяковской галерее любили многие в то время) в семнадцать лет увенчалась и любовью, оборвавшейся в самом начале, подобно любви Лизы и Лаврецкого в «Дворянском гнезде». Впрочем, герой был более похож на Андрея Болконского... Виной их разрыва был упорный отказ его жены дать развод давно оставившему ее мужу. Как и Лизе, маме пришлось пережить прощание с тем, кого она любила, в их лучший день. Ему была посвящена целая книжка маминого дневника. Имя нам осталось неизвестным. В записях значились одни инициалы: С. Э.

Мать знала покойную Варвару Дмитриевну, урожденную Иловайскую, - бывала с отцом на раутах у Цветаевых. Любовалась ею, ужаснулась смерти ее от родов и голосу, обращенному над могилой к вдовцу: «На чаёк с вашей милости!» Об этом она писала в своем дневнике. Она вступила второй женой в дом, в котором еще пахло смертью. Она плохо рассчитала свои силы по отношению к старшей из этих детей и не справилась ни с замкнутым нравом той, ни

с горячим нравом своим, оставив в падчерице своей навсегда недобрую память.

Может быть, плохо рассчитала она свои силы и как женщина и жена, нежданно начав страдать от приездов в дом художника, писавшего - по фотографиям, локону, атласному корсажу, по указаниям безутешного мужа - портрет умершей красавицы предшественницы, дух которой еще веял в доме. Может быть, не все удалось утопить в книгах, тетрадях дневника и в рояле, может быть, много ошибок она сделала в доме, куда вошла? Но на брак с человеком на поколение старше, не

увлекательным ни наружностью, ни всем складом пожилого уже ученого, не понимавшего музыки – ее главного таланта и страсти, согласилась она из-за желанья превозмочь трудом воспитания чужих детей, простой человеческой жизнью – трагизм своей первой любви. Материальных соображений тут не было – она была обеспечена своим отцом. Нелегко получила она и согласие отца на брак с пожилым профессором. Дед наш хотя глубоко уважал отца и его бескорыстный труд по созданию первого в Европе педагогического Музея скульптуры и живо заинтересовался этим Музеем, но не находил основателя его подходящим мужем для своей единственной дочери, для которой он мечтал об ином.

Из дневников матери знаю о случае, когда, приехав к дочери после ее замужества, дед наш застал ее в слезах: с холста на мольберте с прелестной полуулыбкой глаз и рта, с розой у голубого корсажа смотрела в залу своего дома – ушедшая. Помнится, будто наш дед захотел указать мужу дочери на его неделекатность, но дочь удержала его, – ведь в своем дневнике она упрекала себя в ревности – «К кому же? К бедным костям на кладбище?..».

И портрет был закончен, повешен в зале, вознесен выше голов человеческих, на бессмертную высоту Памяти. И быть может, о ней, угасшей в расцвете, о себе той, семнадцатилетней, о нем, угасшем для нее тоже в расцвете любви, обо всех, кто были, и всех, кто придут и пройдут, – гремели, ниже портрета, но взвиваясь выше него, выше потолка сумеречной вечером залы, – Бетховен и Гайдн, Григ и Моцарт, Верди и Шуман, Чайковский, шубертовская неоконченная симфония и Шопен, Шопен... Шопен... Под них мы засыпали. Нередко играла с мамой в четыре руки ее подруга

Тоня – синеглазая, красивая, нежная. Их лица были оживлению, музыка наполнила дом радостью. Тогда все

говорили о пианисте Гофмане. Его имя гремело. На его концерты ломилась вся Москва. Мама не пропускала ни одного. Как драгоценность хранила его портрет с дарственной надписью.

Запах сигар, блеск манжет, узкое, старое, уже серо-желтое (заболевал раком), ласковое к нам лицо с чуть вниз, к вискам («как у сенбернаров»), глазами. Дед! Мама была на него похожа больше, чем на свою красавицу мать, польку, Марию Лукиничну Бернацкую; от ее двадцатисемилетней жизни остался в маминной с папой спальне портрет (увеличенная фотография – темноокое, с тяжелыми веками, печальное лицо с точно кистью проведенными бровками, правильными, милыми чертами, добрым, горечью тронутым ртом (много позже узнали мы, что она была с дедом несчастна, и еще мы узнали, что впервые встретились они на балу...). Черный атлас старинного покроя кофты, широкой (дагерротип, с коего была увеличена фотография, относился ко времени ее беременности мамой). И память смутно хранит тусклость жемчужин на этом портрете – на руке ли? в ухе, серьгой? Старинной моды два локона, строго, по одному у щеки, прямой пробор темных волос, и через все, надо всем – этот тяжелый взгляд куда-то вбок, мимо, вдаль, взгляд весомый, как сама печаль, как – быть может – ожидание смерти? Родами? Если так, то не много ошиблась: умерла, оставив дочь девятнадцати дней. Раз, перебирая реликвии своего девичьего письменного стола, показывала нам мать на темном дагерротипе: пожилое женское лицо, худое, еще красивое, но уже и страшное чуть смуглой строгостью старости -иноземности? – и у ее плеч два разительно непохожих лица, сына и дочери (каждый – в отца, своего? ибо сводные брат и сестра): лет двенадцати кадетик, худенький, печальный, с еще детской пухлостью щек, – маленький Александр Мейн, годами тремя старше девочка, на пороге девического расцвета.

Пышные волосы какой-то надменной волной по плечам. Лоб широкий, высокий, точеный, с горбинкой нос. А глаза -преисполненный собой, рассеянный взгляд, заливающий все, как река в половодье. Не эти ли волосы, не над этим ли лбом - Мусины, на эстраде музыкальной школы? И не этот ли взгляд два поколения цвел на лозаннской фотографии

Муси-Марины, в ее одиннадцать лет? Не тот ли, с горбинкой, нос? Дедушка, его сводная сестра Мария. И их мать.

Жадно впитывали мы все эти лица, имена, как вдыхали легенды Рейна, где пела и губила корабля Лорелея, и предания заколдованного Дуная, где жили Гульбрандт и Ундина.

Жили в то время Тетя и дедушка в Москве, в Неопалимовском переулке.

«Тетя» была бывшая экономка дедушки, бывшая бонна мамы, для нее им выписанная из Швейцарии, - некрасивая и в молодости, старинная, с «блажами», смешная, одаренная множеством комических черт. Но когда, собравшись на родину на вызов своего умиравшего отца - пастора, она не выехала из России, потому что мама, лет семи, в слезах повисла у нее на шее, не пуская ее уезжать, дедушка оставил ее в доме при маме и до дня маминого замужества, - а тогда, в благодарность за отданную дому жизнь, чинно обвенчался с ней (для чего она приняла православное крещение).

От их дома на Плющихе, в Неопалимовском переулке, помню лишь угол двора с собачьей будкой (собаки были Мусиной и моей страстью). Уютные, углом друг к другу (пристройки?), крыши большого дома, целое царство крыш. Паркет парадных комнат и дедушкин выезд - Красавчик (или Милый?) и Огурчик, два темных коня.



Мы, конечно, бывали у Тети и дедушки, но когда дедушка умер, мне не было пяти лет, и я не помню того, что об этом доме и о них унесла с собой Марина. Приезд их к нам был всегда праздник, но дороже всего – Рождество. До потолка залы высокая елка в серебряно-золотом дожде и цепях и -троллями в горе веток – сияющее волшебство шаров, голубых, синих, зеленых. Запахи: горячего воска (свечей), мандаринов и дедушкиной сигары. Но счастье начиналось с искры: звонка, приезда дедушки. Его же рукой зажженный, бежал по белому фитилю с ветки на ветку, от свечи к свече – огонек, пока вся елка не вспыхивала, как гроздь сирени росой. Худоба строго одетого, желто-седого дедушки, полнота атласом обтянутой, в талию, а от талии невообразимая широта платья в раструбах и сборках, Тети (Тьо, как она нам называла

себя «по-русски», чаще же, по-французски, «La tante»<sup>1</sup>, в третьем лице), родной город ее был – Невшатель.

Подарки Тети и дедушки были особенные, непохожие на более скромные – родителей. Не говоря уже о нюрнбергских куклах, но другими, волшебными нам, игрушками был полон мамин «дедушкин шкаф», открывавшийся мамой лишь изредка, – где жужжала огромная заводная муха, сияли какие-то затейливые беседки, сверкали зеркальцами зеленооставенных окон швейцарские шалб, перламутром переливалось что-то, что-то звенело, играло, меж фарфоровых с позолотой статуэток, где жили цвета павлиньих перьев и радуг стеклярус и бисер, где дудка ворковала голубем, где музыкальный ящик менял на валике своем, под стеклом, мелодии, – и по сей день живут в душе сказкой вроде Щелкунчика. Все эти вещи, обожаемые нами, Муся и я делили мысленно, на будущий день раздела их нам – словесно – выменивали, жадно борясь за обладание желаемым. Это давалось с трудом: нам

нравилось то же самое, почти всегда! Как и в книгах или в том, что нам рассказывала мать, мы не терпели никакой общности – вещи или герой книги могли быть только или Мусины, или мои. Так мы разделили две наилюбимейшие поэмы: «Ундину» взяла Муся, «Рустема и Зораба» получила -взамен – я. Так мы делили – все. Не по-скаредному, нет, -по страсти. И платили безрассудно щедро: чтобы получить какой-нибудь бубенец, обеим равно нужный, другая додари-вала впридачу то, и другое, и третье – без счету! Понимая, как трудно – той – уступить! Три раза стукались лбами – и пути назад не было.

Мама не любила хозяйства – так нам после говорили о ней, и хоть я помню, как она метила по канве – затейливыми, по печатным тетрадочкам образцов, буквами – белье, и даже вышивала порой, крестиком, и заказывала обеды и ужины, и поливала цветы; и помню гневные стычки между ней и бонной или экономкой Августой Ивановной, . долговязой немкой, – но все это делалось поверхностью сердца. И как ни строга она была к нам, и как ни долги и пылки были ее нам нотации – мы никогда не восставали против нее. Оттого ли, что мы обе были – в нее, и понимали ее с полуслова,

– 1 Тетя (франц.).

мы ее жарко любили. Именно жар был в наших отношениях с матерью, и его – хоть отец был к нам всегда добр – не было в отношении к отцу. Отец нам был скорее – дед: шутливый, ласковый, но далекий. С матерью же общение было самое тесное, хотя мы и жили в отдалении – она внизу, мы, дети, на антресолях.

Она постоянно читала нам вслух, забирая нас вниз, к себе, от гувернантки (то француженки, то немки). В высокой, зимой холодной «маминой гостиной» с большим книжным шкафом и книжными полками, картинами, с ковром поверх старого холодного паркета,

сидя за своим ореховым письменным столиком, при свете зеленого фарфорового абажура ее -еще с девических лет - лампы, она читала нам свои любимые, еще ее детства, книги, а мы на ковре слушали ее мастерское чтение. Не мы одни: большая перламутровая раковина, сиявшая, как заря, и в которой шумело море. И голубые шары, три - как основа, и на них четвертый, и как ни верти их - все так же: один сверху и снизу три - такие голубые, светлые, темные, такие глубоко голубые, что - синие, как мамино сапфировое кольцо. И такие тяжелые и прохладные, точно их можно пить, и потому, что никак нельзя, точно вода заколдованная, их гладишь, и лижешь, и жмешь, руками и глазами глотаешь.

Раковина была Мусина, шары - мои; затем мы менялись, и счастьем нового обладания не было ни дня, ни краю. Так мы менялись всем, все деля. Только одно осталось на все детство: «Ундина» - навек Маринина, «Рустем и Зораб» -мой.

С первых лет мы начинаем разговор друг с другом и с мамой и с «А помнишь...». У нас (и у мамы, должно быть) сосет тоской по всему, что было, что живет уже только в душе; что - «прошло»... Лирика началась с первого вдохнутого и выдышанного воздуха, с первого глотка, с первого звука, первого запаха, с первого осознания - «живу».

К Мусиным семи годам, когда я из отдельной с няней моей детской перешла к Мусе в детскую, брат наш Андрюша поселился в меньшей комнатке нашего детского верха - в одно окошко на крыше, в голубях и тополях. Над его кроватью из овальной черной багетной рамки улыбалось так похожее на него лицо в венке полевых цветов, с распущенными волосами, - в бусах и лентах. Глядел ли он на нее,

которую не помнил? Ему был девятый день, когда она умерла. Теперь ему было девять лет. Уже шли

разговоры о подготовительном и первом классах 7-й гимназии, об экзамене, о репетиторе...

Папе в это время было пятьдесят два года, маме - тридцать один год.

## **ГЛАВА 5. СМЕРТЬ ДЕДУШКИ. АНДРЮШИН ДЕДУШКА ИЛОВАЙСКИЙ. ПАПИНЫ БРАТЯ**

О тех временах, когда в доме не было еще ми Муси, ни меня (Мере было восемь-девять лет, Андрюше - год-два), нам рассказывали, что до нас в доме доживала свой век глубокая старушка, бабушка первой жены папы, Варвары Дмитриевны Иловайской, - «Мамака». Это имя пугало. Мы боялись рассказов о ней, чуждого, страшного - старости. Оттолкновение от нее, ведущей к самому непонятному - смерти, - было как судорога, хватавшая горло и сердце. Умереть? Мы умираем - тоже? - этому нельзя было поверить.

В весенний день моих четырех с половиной, Мусиных шести с половиной лет мы провожали больного дедушку на Брестский вокзал. Он ехал за границу лечить рак желудка. Из окна вагона дедушка сказал: «Ну, подавайте мне мелюзгу...» Нас ввели в вагон. Поочередно он поднял нас на руки, поцеловал. Его желтые щеки были худы. Высокий рост, узкое лицо, в черном. На голове с сединой черная шелковая дорожная шапочка необычного вида.

Мы страстно любили вокзалы, шум, гул паровозных гудков, волшебство круглых, как луна, белых стеклянных ламп на кронштейнах, незнакомые лица, первый, второй звонок...

После отхода поезда нас, детей, повезли прокатиться на дедушкиных лошадях в Петровский парк. Экипаж мягко подпрыгивает на рессорах; слева от меня сидит Муся; она, как и я, в дедушкиной (подарок)

белой шерстяной кофточке (полупальто), пушистой, с пышными рукавами. Мы в широкополых соломенных шляпах. Синий, солнечный день. По бокам шумят и уходят назад весенние ветви: стройные стволы Петровского парка напоминают Тарусу.

Ввиду близившейся смерти, дедушка купил Тете в Тарусе дом с фруктовым и липовым садом и разделил между ней и мамой собранный им за жизнь экономией и трудом капитал.

Позднее мама рассказала нам: «Ася была опасно больна, когда пришла весть, что дедушка при смерти. Ехать к нему? А Ася? – И я осталась. Вот так и вы, дети, когда-нибудь бросите меня умирать без себя, останетесь с заболевшим ребенком...»

Судьба не наказала ее: я выздоровела, и мама успела к умиравшему дедушке – он умер при ней. Умирая, он выразил ей свое глубокое уважение перед ее нравственной личностью. В нем она теряла старшего, самого старого друга. Она, плача, проводила его в неведомый мир. Он горестно оставлял ее жить – в этом, трудном.

Помню день, когда в Тарусу пришла телеграмма: «Дедушка тихо скончался вчера вечером».

Мусе было почти семь, мне почти пять лет.

Мать не утешилась от этого горя до самой своей смерти. Дедушка шестидесяти трех лет лег на Ваганьковское кладбище, рядом с молодой своей женой, маминой матерью, под такую же белую мраморную плиту с белым невысоким массивным мраморным крестом. Тетя окружила их могилы оградой – под крышей, как часовня, той же оградой обведя кусок пустой земли, для себя, и безвыездно поселилась в своем домике в Тарусе. Мы видели ее теперь только летом.

В маминой гостиной, под высоким потолком, на ковре, у ее ног, при свете зеленого абажура, мы

слушали мамины рассказы о ее детстве – о дедушкиной усадьбе «Ясенки» (под Сходней), где мама ездила верхом девушкой, о взятой ей в дом подруге Тоне, жившей с ней с восьми до семнадцати лет. Их воспитывали Тетя и дедушка как сестер, одинаково одевали, учили (к ним ходили учителя). В семнадцать лет Тоню выдали замуж за художника, но и после брака она часто бывала у мамы. Как встарь, играли они вечерами в четыре руки на рояле.

Раз, показав нам дагерротип, где был снят кадетиком дедушка со своей матерью и подростком-сестрой, мама нам рассказала, как, окончив кадетский корпус, дедушка вышел на улицы Петербурга, не имея никого на свете, кроме сводной сестры Марии. Он поехал к ней. Она была замужем за богачом (двадцать семь домов, но игрок). В богатом особняке лакей доложил о нем барыне; та ехала в гости. Она велела провести его в одну из гостиных и заставила долго ждать. Вышла к нему на минуту разодетая красавица, надушенной ручкой потрепала брата по щеке, не спросила его ни о чем, дала золотой и извинилась, что спешит в гости. Оскорбленный юноша вышел из ее палат, бросив золотой швейцару, за ним хлопнули тяжелые двери, – и он вычеркнул из сердца сестру. До дня, когда узнал о ее разорении. Тогда он стал ежемесячно посылать ей деньги, заработанные трудом.

Мария Степановна Комкова один раз была у дедушки. «Я была очень маленькая, – сказала мама, – она подержала меня на руках. Теперь, после смерти дедушки, я буду продолжать его волю – посылать ей ежемесячно деньги. Она старая и бедная. Ее красота и богатство прошли, как сон...»

Из самой мглы детства, как стены и воздух дома, помню появление в зале и папином кабинете седого и строгого старика. «Андрюшиного дедушки». Это был тесть отца по первому браку, историк Д. И. Иловайский.

Его правильное, красивое, холодное лицо, обрамленное пышным седым париком и седой раздвоенной бородкой, глухое к быту и к нам, неродным внукам, не освещалось улыбкой, а лишь слегка наклонялось к нам, когда, не прерывая беседы с отцом, он произносил всякий раз одни и те же слова, путая нас: «Это Муся? Ася?» Различать же нас, хотя мы и были похожи, было довольно легко: по резко различной нашей величине. Муся – большая и плотная, я – маленькая и худая.

Мы его боялись (стеснялись), он был чужой, он приходил из какого-то своего дома, «каменного» (оттого «Андрюшин дедушка» был еще тверже и холодней). Слова же «от Старого Пимена», которые он, не застав порой отца, оставлял о себе вместо визитной карточки, навевали нам и на этого «Старого Пимена» – «иловайский» холод, и на Дмитрия Ивановича клали добавочную тень таинственности – тень «Старого Пимена». И только позднее мы узнали, что это – церковь в переулке Тверской, у которой стоял дом Иловайских, с полукруглыми окнами, в глубине двора.

В кабинете со стены на нас смотрел из овальной большой рамы папин умерший брат, дядя Федя. Полное лицо, темные, большие глаза, умные. В нем было сходство с папой. «На дядю Федю смотрите? – сказала мама. – Он был очень добрый. Очень хороший ушел человек».

Старшего папиного брата – дядю Петю – мы видели только раз: он приехал к нам и привез Мусе куклу. Старшей. О младшей он еще не знал? У нашего чуланчика над лестницей (в него нас иногда запирали в темноту, в висящие платья, за провинности) нас переодевали, чтобы идти вниз. Помню, как горела свеча в подсвечнике. Мне было обидно, что про меня дядя Петя не знал (хотя кукол мы не любили – мы их носили вниз головой, за ноги, как кур, несли их «продавать на рынок»).



Внизу, в парадных комнатах, мы увидели маленького священника в темной рясе, с длинными белыми волосами и седой бородой. Он ласково посмотрел на нас папиными глазами.

## **ГЛАВА 6. БРАТ АНДРЮША И ЕГО РЕПЕТИТОР. АРЕСТ РЕПЕТИТОРА. ЛОМКА МРАМОРА НА УРАЛЕ ДЛЯ МУЗЕЯ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ. ПРОФЕССОРА. ДОКТОР ЯРХО. ЕЛКА**

Я мало пишу о брате Андрюше: может быть, оттого, что он не всегда принимал участие в Мусиных и моих играх? Были драки меж нас троих, были совместные выходы притворно примерных детей к гостям, поездки в театр (редкие), елки и пасхальные дни, – но общей интимной жизни втроем не было: Андрюша был старше нас на два и четыре года, уже начинал учиться и вообще – был другой. Никакой лирики, ни страсти к уюту, ни страстной любви к собакам и кошкам, ни жажды все вспоминать... жадно заглядывать в будущее – этого ничего в нем не было. Мы таскали вместе сладости, нас наказывали, нам вместе дарили подарки, мы отнимали их другу друга, – но чувство, что Андрюша – другой, более вялый, чем мы, угрюмее, насмешливее, – присутствовало. У нас, детей, нежности друг к другу, ласки – не было, она казалась смешной; мы все дразнили друг друга. Была ли Муся заводилой тут? По властности и лукавству своей природы? Она дичилась, избегала поцелуев – была резка, недоступна. Но и в Андрюше была, в его некоей угрюмости и привычке дразнить, – грубоватость.

Мама Андрюшу любила – любовалась им и старалась не быть к нему строже, чем к нам. Особенно она нежна была к нему в первые его годы, когда еще не было нас. Он был очень красив – в мать, а те, кто не знал, что это пасынок

мамы, видя их вместе, – у обоих были удлинённые лица карие глаза, темные брови, – говорили: «На маму похож».

Иногда мамин гнев рушился на нас, как гроза, – особенно она карала нас за ложь, – но рушился он равно на всех нас троих.

Ожидая первенца, мама мечтала о сыне, которого уже мысленно назвала, в честь своего отца, Александром. Но родилась дочь – Марина. Ту же мечту мама лелеяла и перед моим рождением, но и в этот раз ее мечта не сбылась: я была ее последним ребенком.

Репетитор Андрюши, Аркадий Александрович Ласточкин, студент, маленький человек с добрым, милым лицом, обладал, видимо, своеобразным шармом, так как я привязалась к нему с некоей даже страстностью. Собственно, это была любовь. Мне шел четвертый год. Не скрывая своих чувств к нему, возбуждая общий смех, я, гуляя с няней, выходила встречать его, возвращавшегося из университета по Тверскому бульвару. Зорко следила я за идущими (парами, группами и одиночками) студентами; издали еще – скорее чутьем или привычкой близоруких узнавать не лица, а общие контуры | человека – я, завидев его, бежала навстречу; он, с ласковейшей улыбкой, сажал меня на скамеечку, садился рядом, и я, начинала высчитывать (может быть, это были наущения няни, | научавшей, что делать - в любви), сколько лет осталось | до нашей свадьбы: мне четыре года – пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, – дальше счет спотыкался.

Мне было блаженно видеть его. Довольно крупное его лицо при маленьком росте, нежность женственных его черт и особая пристальность сияющих глаз – все это было чудесно.

Дома он рассказывал мне сказки, то есть всегда одну (о рыбаке и рыбке) – и очень плохо. Я это понимала и, нежно жалея его за его косноязычие, спотыкание, прощала ему их, услаждалась его голосом. Муся, бывшая тут же, обнятая им, как и я, вела себя сочувственно, не оспаривая качеств избранного, помогая; и – в доброте всего этого сохраняя некий оттенок отдаленности и старшинства, деликатный холодок неучастования. Так мы сидели втроем в детской, возле печки, каждый исполнен своим, под рассказ, незадачливо звучащий чем-то вроде: «Было, эдак, море. Синее море. И был, эдак, старик. Да. А у старика была, эдак, старуха...

И было у них корыто. Ничего у них, эдак, не было, кроме одного корыта...» («Не так», – отзывалось насмешливо-кри-тически, с юмором в Мусе, умиленно его неточностям – во мне.) Но воспитание диктовало – молчание.

И, мыслью далеко, в революционной работе, за которую его вскоре арестовали, он продолжал ласковую свою несуразицу, отдававшую веселым умилением в моем четырехлетнем сердце: «И сказал, эдак, мужик рыбке: «Дай нам хату, рыбка, – нет у нас, эдак, хатки, одно корыто...» И вынесла ему рыбка корыто, а оно, глянь, обернулось хоромами и в них царица сидит, и была это его баба – «царица»...» И так он плел без конца. Печь трещала, за окном валил снег, черный кот слушал, сверкал желтыми глазами. В зале били стенные часы.

Какими слезами я заливалась в день, когда дом взволновался вестью об аресте Аркадия Александровича... У окна гостиной, с ненавистью глядя

на толстяка городского, я ждала папиного возвращения: он уехал хлопотать за арестованного студента...

Просьбу профессора исполнили: студент был выпущен. На Рождество мама, купив кукольную голову, сшила тело, красную рубаху, синие шаровары и подарила мне мальчика «Аркашу». И эту куклу, несмотря на нелюбовь к куклам, я берегла, пытаюсь перенести на нее часть своей любви. Но любовь шла шире: я собирала по углам комочки пыли – за серый цвет (цвет студенческой тогдашней тужурки). Я допивала капельку из его рюмки: она мне казалась волшебной...

Вечерами отец сидел в кабинете, погруженный в работу. Заграничную его переписку по делам начинавшегося Музея вела мать. Горели две стеариновые свечи под зелеными абажурами; полуседая уже голова папы склонялась над бумагами, блестели очки; знакомая рука (руки у меня мамины, у Муси были папины) быстро выводила, каждую отдельно, чернильные буквы своеобразного, типа славянской вязи, почерка.

Деятельность по устройству Музея усиленно развивалась и на горах Урала, в Лондоне и в Афинах, в Берлине, Париже и Риме, во Флоренции и в Равенне.

мамы, видя их вместе, – у обоих были удлинённые лица, карие глаза, темные брови, – говорили: «На маму похож».

Иногда мамин гнев рушился на нас, как гроза, – особенно она карала нас за ложь, – но рушился он равно на всех нас троих.

Ожидая первенца, мама мечтала о сыне, которого уже мысленно назвала, в честь своего отца, Александром. Но родилась дочь – Марина. Ту же мечту мама лелеяла и перед моим рождением, но и в этот раз ее мечта не сбылась: я была ее последним ребенком.

Репетитор Андрюши, Аркадий Александрович Ласточкин, студент, маленький человек с добрым, милым лицом, обладал, видимо, своеобразным шармом, так как я привязалась к нему с некоей даже страстностью. Собственно, это была любовь. Мне шел четвертый год. Не скрывая своих чувств к нему, возбуждая общий смех, я, гуляя с няней, выходила встречать его, возвращавшегося из университета по Тверскому бульвару. Зорко следила я за идущими (парами, группами и одиночками) студентами; издали еще – скорее чутьем или привычкой близоруких узнавать не лица, а общие контуры человека – я, завидев его, бежала навстречу; он, с ласковейшей улыбкой, сажал меня на скамеечку, садился рядом, и я начинала высчитывать (может быть, это были наущения няни, научавшей, что делать – в любви), сколько лет осталось до нашей свадьбы: мне четыре года – пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, – дальше счет спотыкался.

Мне было блаженно видеть его. Довольно крупное его лицо при маленьком росте, нежность женственных его черт и особая пристальность сияющих глаз – все это было чудесно.

Дома он рассказывал мне сказки, то есть всегда одну (о рыбаке и рыбке) – и очень плохо. Я это понимала и, нежно жалея его за его косноязычие, спотыкание, прощала ему их,

‘ услаждалась его голосом. Муся, бывшая тут же, обнятая им, как и я, вела себя сочувственно, не оспаривая качеств избранного, помогая; и – в доброте всего этого сохраняя некий оттенок отдаленности и старшинства, деликатный холодок неучаствования. Так мы сидели втроем в детской, возле печки, каждый исполнен своим, под рассказ, незадачливо звучащий чем-то вроде: «Было, эдак, море. Синее море.

И был, эдак, старик. Да. А у старика была, эдак, старуха...

И было у них корыто. Ничего у них, эдак, не было, кроме одного корыта...» («Не так», – отзывалось насмешливо-кри-тически, с юмором в Мусе, умиленно его неточностям – во мне.) Но воспитание диктовало – молчание.

И, мыслью далеко, в революционной работе, за которую его вскоре арестовали, он продолжал ласковую свою несуразицу, отдававшую веселым умилением в моем четырехлетнем сердце: «И сказал, эдак, мужик рыбке: «Дай нам хату, рыбка, – нет у нас, эдак, хатки, одно корыто...» И вынесла ему рыбка корыто, а оно, глянь, обернулось хоромами и в них царица сидит, и была это его баба – «царица»...» И так он плел без конца. Печь трещала, за окном валил снег, черный кот слушал, сверкал желтыми глазами. В зале били стенные часы.

Какими слезами я заливалась в день, когда дом взволновался вестью об аресте Аркадия Александровича... У окна гостиной, с ненавистью глядя на толстяка городского, я ждала папиного возвращения: он уехал хлопотать за арестованного студента...

Просьбу профессора исполнили: студент был выпущен. На Рождество мама, купив кукольную голову, сшила тело, красную рубаху, синие шаровары и подарила мне мальчика «Аркашу». И эту куклу, несмотря на нелюбовь к куклам, я берегла, пытаюсь перенести на нее часть своей любви. Но любовь шла шире: я собирала по углам комочки пыли – за серый цвет (цвет студенческой тогдашней тужурки). Я допивала капельку из его рюмки: она мне казалась волшебной...

Вечерами отец сидел в кабинете, погруженный в работу. Заграничную его переписку по делам

начинавшегося Музея вела мать. Горели две стеариновые свечи под зелеными абажурами; полуседая уже голова папы склонялась над бумагами, блестели очки; знакомая рука (руки у меня мамыны, у Муси были папины) быстро выводила, каждую отдельно, чернильные буквы своеобразного, типа славянской вязи, почерка.

Деятельность по устройству Музея усиленно развивалась и на горах Урала, в Лондоне и в Афинах, в Берлине, Париже и Риме, во Флоренции и в Равенне.

Под Златоустом были открыты ломки мрамора. На Волхонке, на голой площади бывшего Колымажного двора, мы смотрели на глыбы белого и серого мрамора, подбирали маленькие сверкавшие кусочки. Они горели, как звездное небо.

Профессор Брандт, маленький, чернобородый, – и от бороды ли, широкой и во все стороны, угольно-черной (уголь – сосед огня, в печах, кострах детства), или от необычайного пылающего взгляда черных глаз, был он нам, детям, человеком из сказки, совсем отдельно от всех папиных посетителей. Языковед профессор Брандт в те годы был увлечен эсперанто; схватив кого-нибудь из нас, пробежавшего, он заставлял нас, знавших немецкий, французский, угадать, что он скажет на эсперанто, и ликовал от наших ответов. А его дочь Агнюша, раз придя в детскую, оказалась -волшебницей: она умела исчезать... Это свойство ее придало ценности в наших глазах ее отцу.

Из папиных гостей помню еще его ученика, молодого Аполлона Аполлоновича Грушка, высокого, изысканно вежливого. У него были классически правильные черты лица.

Помню характерно русское, доброе лицо Николая Ильича Романова. Он был голубоглаз, носил бороду. Часто бывал у папы, тоже ученик его и друг, молодой тогда ученый Алексей Иванович Яковлев, высокий,



плотный, приветливый. С нами он всегда шутил. Он был сын Ивана Яковлевича Яковлева, известного языковеда, составителя чувашской письменности.

...Детство! Вбеганье старшего брата - в пригготовительном, первом? - тоненького, в сером гимназическом мундирчике, блеск карих горящих глаз и крик:

- Ну? Кто сумеет? «Сухая трава» - понимаете? - «сухая трава» - написать в четырех клеточках, чтоб по одной букве в клетке! Ну?!..

Мое замершее от бессилия и восхищения дыханье: он-то умеет! Молчание. И когда, снизойдя в нашу младшесть, неуменье, надменно он ронял:

- С-е-н-о!..

И в мою радость - ведь правда же! - падающий презрением, разочарованный голос Муси:

- Фу-у...

А когда на тарусской даче, в саду, Андрюша и Муся, гнушавшиеся моих детских качелей с палочками-загородочками, закрутили, вертя и вертя мой стульчик со мной, там сидевшей, пока он не поднялся высоко над землю, пока веревка не заплелась тугой двухструйной косой, и вдруг, отступив, отпустили, вихрь пружинного разворачивания огласился моим отчаянным криком: от воздушного толчка и кругового полета показалось, что срывается с плеч голова... Но уже кончался винт! Еще раз мотнув меня, на этот раз в обратную сторону, качели вяло замерли. Андрюша и Муся стояли пристыженные. Оба сделали какое-то движение ко мне, Андрюша взялся запоздалой рукой за веревку. Но Муся мгновенно справилась с собой.

- Трусиха! - бросила она. - Пойди маме пожалуйста! Больше не будем с тобою играть!

Спрыгнув с качелей, из-за загородочек, я уже стыдилась своего страха. Будь я на месте Муси, я бы

так же смеялась над ней. Мы нежно любили друг друга, но на той глубине, где скрывается правда.

Нашей общей поездкой в Большой театр (моею – первой) помню «Спящую красавицу». Сиянье, полет и музыка -всплески знакомого «мамино» грома из провала оркестра, гроты рубиновых волн занавеса, тяжелое золото лож и пылающий хрусталь люстры. Само бытие театра как чуда было уже – откровение. Я не помню, как засыпала принцесса, уколов пальчик, ни ведьмы, ни волшебницы, ни поцелуя принца. Их, может быть, вглотнула насовсем себе, целиком, Муся, мне не оставив?

И были мирные часы сидения возле мамы, читавшей томики немецких стихов или разбиравшей лекарства, взвешивавшей их на крошечных весах с роговыми чашечками (мама страстно интересовалась медициной, работала сестрой милосердия в Иверской общине). Пустые пузырьки (из-под лекарств) с заостренным носиком сбоку – чтобы капать, круглые и овальные коробочки с узором цветочков, аккуратные и изящные веера рецептов, гофрированные зонтики бумажных колпачков пузырьков, от которых пахло таинственно, нежно – и хотелось сохранить их навеки.

В одном из Марининых юношеских стихов<sup>1</sup> есть слово «курлык»:

Детство: молчание дома большого,  
Страшной колдуньи оскаленный клык,  
Детство: одно непонятное слово,  
Милое слово «курлык\*.

Вдруг беспричинно в парадной столовой  
Чопорной гостье покажешь язык,  
И задрожешь, и заплачешь под слово,  
Глупое слово «курлык».

Бедная Fraulein в накидке лиловой,  
Шею до боли стянувший башлык,  
Все воскресает под милое слово,

Детское слово «курлык».

Вот происхождение этого слова: зимними вечерами мы любили прилечь возле мамы на ее постели, в тихой спальне, в час, когда угасали звуки дня и дом еще не ожил, – в вечер. Под меховой шубой (в нижних комнатах было холодно) мы лежали втроем, мама и мы обе, говоря о чем вздумается, пока не приходил сон. С нами засыпал черный кот Вася, и когда, в общем тепле и уюте, его кто-нибудь трогал, он еще глубже уходил в теплую раковину своего тела и, еще круче вывернув мордочку кверху, из теплоты пушистого живота, односложно промурлыкивал одно и то же. Мы это переводили «курлык». От него и все наши сонные короткие вечера стали зваться делать «курлык». Он нарушался приходом папы, оживанием вечера, ужином.

Все детство нас лечил детский врач Ярхо. Мама сохранила к нему навсегда благодарность за его приезд в Тарусу на ее отчаянный зов, когда я заболела. Он поехал тотчас же, в чем был, попал без зонта под грозу, приехал, до костей промокнув.

Доктор Ярхо был черный: черная бородка, волосы черные, глаза тоже черные, добрые, черный костюм. Весь заросший, нос немного крючком. Он был ласков, приходил каждый раз, как кто-нибудь из нас заболел, с ним входил уют. Мне

1 В этой книге я привожу часто несовершенные еще юношеские стихи Марины, выражающие то далекое время.

кажется, даже сквозь полусон, на самом краю кошмара, когда сознание двоилось, почти уж отсутствовало – здесь, в смуте, в смятенье жара, самый его приход ощущался как появление сказочного доброго духа.

Предшествовала же болезни – простуда. Никакая заразная детская болезнь в дом наш за все детство (кроме, может быть, ветрянки) не вошла.

Незаметно подошло Рождество. Дом был полон шорохов, шелеста, затаенности за закрытыми дверями залы – и прислушивания сверху, из детских комнат, к тому, что делается внизу. Предвкушалась уже мамина «панорама» с ее волшебными превращениями. Запахи поднимали дом, как волны корабль. Одним глазком, в приоткрытую дверь, мы видели горы тарелок парадных сервизов, перебиваемых накануне, десертные китайские тарелочки, хрустальный блеск ваз, слышали звон бокалов и рюмок. Несли на большом блюде ростбиф с розовой серединкой (которую я ненавидела), черную паюсную икру. Ноздри ловили аромат «дедушкиного» печенья. (Тетя не приедет в Москву теперь издалека. В прошлом году ведь не приезжала...) Рассерженный голос мамы, суета, беготня; Лёра, не любящая эксцессов маминого хозяйства, – у себя в комнате. Крадемся туда – в ее мир, влекущий, особенный. Она рисует. То карандашом, то углем, то на атласе, масляными красками, – завиваются лепестки роз. Пахнет духами. Я чищу ей зубным порошком ее часовую цепочку из «американского золота». Это медь? Спорим. (Андрюша поясняет уже снисходительно, ему одиннадцать лет. Он учит латынь и греческий.)

Я чищу усердно. Цепочка горит уже, как десятирублевый золотой, что мне вчера дала мама снести Лёре, – и каждый месяц ношу и боюсь потерять по лестнице. Вася, черный, чудный наш кот, мяукает: ищет ростбиф. Во дворе лает цепная собака. Вот бы к ней! Но нельзя – гувернантка злится.

Кто-то приехал – в гости. Другие заезжали без папы, оставив визитные карточки. Так проходит еще целый день – до сочельника.

О! Настало же! Самое главное, такое любимое, что – страшно: медленно распахиваются двери в лицо нам, летящим с лестницы, парадно одетым, – и над всем, что движется, блестит, пахнет она, снизу укутанная

зеленым и золотистым. Ее запах заглушает запахи мандаринов и восковых свечей.

У нее лапы бархатные, как у Васи. Ее сейчас зажгут. Она ждет. Подарки еще закрыты. Лёра в светлой шелковой кофточке поправляет новые золотые цепи. Шары еще тускло сияют – синие, голубые, малиновые; золотые бусы и серебряный «дождь» – все ждет... Всегда зажигал фитиль от свечи к свече дедушка. Его уже нет. Папа подносит к свече первую спичку – и начинается Рождество!

Как долго идет зима! Когда еще запахнет блинами на улицах? Когда загудят колокола, в пост? А потом будет Пасха – такая чудесная... еще лучше, чем Рождество. Ночь будет темная... Нас, может быть, возьмут ночью в Кремль? И раздастся благовест.

## **ГЛАВА 7. НАША СТАРШАЯ СЕСТРА ЛЁРА. ПЕНИЕ ЛЁРЫ. ЕЕ И МУСИНЫ КНИГИ. ЖИВЫЕ КАРТИНЫ**

Как Муся зналась мной с первых лет вблизи меня, так Лера, старшая, зналась где-то вдали. Она появлялась и исчезала, и память первых детских лет моих о ней – туманна. Но среди фотографий я время от времени окуналась взглядом в пышный серый мех (пальто с капором?), из которого на нас с Мусей глядели большие светлые глаза девочки, в которой было что-то родное и которая очень мне нравилась, привлекала, нежно взволновывала и томила отсутствием. «Это Лёра, – говорили мне, – Лёра, когда была маленькой» (однако мне она на фотографии была большой, потому что была там старше меня). И от этого, от неясности, пробуждавшейся этим пояснением, что девочку больше нас звали маленькой и что эта девочка была – Лёра (которую мы видели редко и гораздо более взрослой, чем та чудесная, милая девочка), с давних лет моих рождалось смутное понимание, что этой девочки – нет, что она была, что никогда мы не сможем играть с ней, ни говорить.

Няня, мама – кто-то из них добавил: «Когда еще мама ее была жива», – и это больше отдалило и приблизило нам эту девочку – в чем? (а! вспомнила – это был не мех, пух), в пуховых шубке и капоре, острее сделало боль по ней: у нее была мама (другая, не наша – потом она умерла, умерла). Как же она жила без нее? Может быть, смутно являлось мне и еще одно чувство – что та Лёра была одета лучше, чем мы (та мама ее так

одевала... нежила?). Мы были одеты проще, суровей. На миг повеяло какой-то другой

жизнью, ушедшей, но бывшей, - и все пропадало под весом жизни, быта нашего дня, и жизнь шла дальше.

Страницы семейного альбома, - оставляя позади облик еще круглолицей Лёры, с еще детской неоформленностью черт, пухлостью губ и большей нежностью абриса носа, хоть уже почти точеного, - дарили другую Лёру, мне казавшуюся совсем взрослой: в темном платье, в белой пелеринке, в белом фартуке, гладко назад зачесанную; она глядела на меня теми светлыми глазами, но они чуть улыбались, и лицо было много мельче, чем на детской фотографии, где лицо было крупно.

Мне было лет пять, когда мама взяла меня на Лёрино институтское торжество. Я помню миг перехода Староекатерининской площади и приближения к желтому с белым зданию старого Екатерининского института<sup>1</sup>. Помню высокий зал, что-то золотое и белое, портреты в рост в золоченых рамах, лес девушек в таких же платьях и пелеринах, как Лёра, вопросы о том, кто я, мамин ответ и себя, поднятую на руки и передаваемую на уровне лиц улыбающихся мне институток. «Лорина сестра, Лорина сестричка...» Я хочу поправить, что Лёра - не Лора, но не слышно, и столько новых слов («акт», «шифр», «выпуск»...). Жадно впитывая все незнакомое, я ищу глазами Лёру и радуюсь, что мы с мамой сейчас увезем ее с собой.

Лёра была на десять лет старше Марины и на двенадцать лет - меня. На семь с лишним лет старше ее родного брата Андрюши. Она никогда нас не обижала, заступалась за нас перед вспыльчивой мамой. С нами шутила, тормошила нас, поддразнивала (меня - за хныканье и залихватый плач на «и»). Она была - особенная, ни на кого не похожая. Из нас она отличала

Мусю - за резкую определенность желаний и нежеланий, ум, характер, раннее развитие - и часто пробовала отстоять ее от маминой строгости. Муся платила ей пылкой любовью. Лёра поселилась на антресолях, в моей бывшей детской, рядом с Андрюшиной комнаткой, через две двери от нашей детской. С мамой у нее бывали нелады; мы чуяли это, не разбираясь в причинах, не понимая их.

С Лёрой в доме нашем поселилось праздничное. Ее комната была - особый мир. Моему уму он был недоступен, но волновал и влек. Муся имела доступ к ее книжному шкапу

1 Ныне Центральный Дом Советской Армии.

(мамы ее, чем-то отличавшемся от всего нашего): невысокий, ореховый, необычной формы, с двумя узкими зеркалами на створках. На полках жили непонятные книги (английские), в них цвели немыслимой красоты цветные картинки. Сердце от них пылало, как те лужайки, озера и цветущие рощи и облака, - и, раз, по настоянию Муси, мы вырезали самое восхитившее, грубым, безвозвратным движением ножниц, причинившим Лёре столько же горя, сколько мечталось счастья и от этого - нам! Потом были негодующие мамины нотации и наши слезы, наказания и непоправимое ощущение пустоты в сердце, жалости и стыда.

Была - новогодняя елка, подрезанная, переносимая из залы наверх, в Лерину комнату, через неделю после Рождества, к Новому году, голос Лёриных гостей, свет, гул, запахи духов и яств праздника, куда нас не пускали. Ее милое, внезапно приближавшееся на миг, с улыбкой, лицо, шутливое слово, лакомство в руку и звук ее пения - чистый высокий голос, - романсы и песни, где дышало, сияло изящество, прихоть и фация - отзвук, быть может, времен до наших, живших некогда



в доме. И были цветы, маслом, на кусках светлой клеенки, на шелку подушек – рукой Лёры.

И была боль от горячих щипцов у виска, когда Лёра нас завивала и, смеясь, нам внушала: «Pour etre belle, il faut souffrir»<sup>1</sup>. И были граненые пробки от флаконов духов, – как от них пахло! И голова кружилась от сломанных в гранях радуг, огней, искр...

Помню споры о том, хорош или плох запах модных тогда духов «Пачулы»; детское упоение нюхать выдыхавшиеся запахи пустых, из-под духов, пузырьков причудливых форм; страстную любовь к одним и оттолковение от других; одни пузырьки были любимые, другие – противные и враждебные; это определялось сразу, с первого нюха.

В те годы цвели в Лёриной комнате, Мусиной и Лёриной, – книги: «Лэди Джэн, или Голубая цапля» и «Маленький лорд Фаунтлерой». И еще была любимая мамина книга, страстно полюбленная Мусей «История маленькой девочки» Сысоевой: о ее детстве дома, о смерти матери, годах в дружеской чужой семье, брате – в кадетском корпусе,

<sup>1</sup> Чтобы быть красивой, надо страдать (франц.).

отъездах и встречах, чужих колокольчиках и поездах, от которых рвалось сердце. С этими книгами Муся не расставалась долгие годы.

Любовь к необычному, только совсем иначе, чем мама, поддерживала в нас и Лёра, устраивала, сама принимая участие, «живые картины» – «пантомимы», освещенные бенгальским огнем. Зала – темным жерлом – фоном; гостиная пылала вспышками зеленого – малинового – желтого великолепия. Лица были мертвенны, горящи, фееричны. Мы все на миг – сказочны. Жадно лилось это фантастическое вино, и мило улыбалось нам родное лицо Лёры, строя гримасы, отвращая меня от рева (что «кончилось»), обещая, что будет – еще... Во всем она помогала нам – в рутине дня:

заступалась, когда во внезапной для него вспышке строгости папа, заметив вдруг, что я не хочу есть того-другого, настаивал, чтобы я, как все, ела черную икру, и я, глотая слезы (и тем делая икру еще солонее), пытаюсь проглотить ее (жевать было еще тяжелее), пробовала прилепить кусочек меж обеденным столом и прижатой к нему моей салфеткой, когда уж насмешливый Мусин глаз мучил меня, когда мать готовилась вспыхнуть о моем малодушии и обмане, папа -увидеть и понять, - Лёрина шутка вдруг смещала все, как бенгальский огонь в гостиной. Лёра ненавидела нотации, сцены. В ее почти угрюмом отворачивании от них была грация иного прикосновения к жизни, и мы, не осуждавшие маму -потому что любили, - все же тянулись и к Лёре.

Мама была к нам строга, вспыльчива, кричала, читала нотации, ненавидела ложь, требовала мужества. Но была ли мама тяжела нам? Нет. Другой матери у нас не могло быть. Мы любили маму, понимали, не осуждали. Она нас не гнула, то есть не ломала; мыгнулись и выпрямлялись сами.

Иногда мама с Лёрой пели дуэтом. Нравилось слушать высокий Лёрин и низкий мамин голос. Мы любили печальные, удалые песни: «Вот мчится тройка почтовая // Вдоль по дороге столбовой...» (этот мотив, казалось, был вечно - как барашки в небе, как луна... как строки пушкинские, будто зимним воздухом написанные: «Сквозь волнистые туманы // Пробирается луна...// На печальные поляны // Льет печальный свет она...»). Но грусть этих строк, распахивая сердце еще во что-то, и вдыхала заодно печальный мотив мамино гитарного:

Не для меня придет весна,  
Не для меня Буг разольется,  
И песня радости польется  
Не для меня, не для меня...

## ГЛАВА 8. НАШ ДОМ

Дом, куда второй женой вошла мама, где родились Марина и я, был дан в приданое Д. И. Иловайским дочери своей, Варваре Дмитриевне, матери Лёры и Андрюши. Дом, обожаемый именно нами – Мусей и мной (Лёра и Андрюша относились к нему прозаически), был не наш. Мы росли в чужом доме. Наследниками его была Лёра и Андрюша. Выросшие, мы должны были в будущем его покинуть.

С улицы (в Трехпрудном переулке, меж Тверской и Бронной) – № 8, одноэтажный, деревянный, крашенный – сколько помню его, с 1897 года, – коричневой краской, с семью высокими окнами, воротами, над которыми склонялся разлтый серебристый тополь, и калиткой с кольцом; нажав его, входили в немощеный, летом зеленый двор; мостки вели к полосатому, красному с белым парадному, – над ним шли антресоли.

Под антресолями со стороны двора – низкие комнаты: передняя, столовая, бывшая девичья и спальня. Огибая справа заднюю сторону дома, шли мостки к ступенькам черного хода, к кухонному флигелю. Эта часть двора кончалась закоулком, заросшим желтыми акациями и тополями и упиравшимся в высокий дощатый забор, – тут колодец «домиком» с длинной рукояткой; визг ручки колодца в закоулке двора, когда воду качали, – в первые годы детства. Затем он заглох, и в жизнь нашу вступил водовоз; открывались ворота, заливалась лаем собака, громыхали колеса, плескалась вода из бочки, зимой похожей на обледенелый замок.

В маленьких сенях черного хода – пусто. Там – лишь дверка в чулан, – в чулане живут керосин и воронка.

Две толстых, обитых клеенкой и ветошью двери ведут в дом.

Уже шестьдесят лет – со дня, когда я в последний раз в него вошла. Его давно нет. Мне изменяет память. Мне чудится, что вторая, внутренняя дверь имеет в себе квадраты стекла. Какая-то из них – кажется, наружная – издает всегда одну и ту же жалобную ноту; она лишь бывает длинней, если идешь медленно, и короче, если зевок двери краток. В

маленьких, теплых сенцах – темно, на столике – керосинка, на ней широкая белая, эмалированная, с голубыми прожилками и с дырочками для пара кастрюля, в одном месте изогнутая «носиком». От нее знакомый запах подгорелого молока. Налево от нее дверь в бывшую девичью; там – комод с отделениями для круп, кофе, чая, сахара. Далее, пройдя столик с керосинкой, – узкая маленькая дверка в коридорчик, ведущий в спальню. Эта дверка оклеена, как стены, обоями. Внизу шуршит, как стариковские туфли. Она не похожа на дверь. Вплотную к ней – подножие лестницы в антресоли. Коричневая, крашенная масляной краской, дверь помещается на высоте трех ступеней, но она обычно раскрыта. Напротив нее – высокие белые двухстворчатые двери в залу. Зала – угловая пятиоконная комната, очень высокая, как и все фасадные комнаты. Когда из рук улетает воздушный шар, красный, зеленый, пахнущий резинкой (когда тронешь его, он прилипает к пальцу и издает тонкий, легкий, отпрядывающий звук), – приходит горничная или дворник с половой щеткой и со стула достают (под движение наших сложенных в мольбе и страхе рук: вдруг лопнет!) тычущееся об потолок сокровище.

Приходили полотеры; сдвигали диваны и кресла и плясали, босые, на щетках по золотистому паркету. Пахло особенно.

С нами, детьми, они шутили, обувались, одевались и, получив деньги, исчезали неведомо куда.

В зале – рояль и два зеркала между окон на улицу. Узкие, высокие, с подобием столиков-полок. По наружным стенам – филодендроны в кадках. В наружном углу – полукруглый зеленый диван; его выемка глубока и уютна. Спинка его – из трех полуovalов, пружинная, как и сиденье, окаймлена выгнутыми ободками орехового дерева; выпуклая резьба – гирлянды.

На белых с золотом обоях – высоко висит над залой портрет. Молодая женщина нежной и приветливой красоты с полуулыбкой смотрит с портрета из рамы красного дерева. Голубой шелк корсажа, роза, волна каштановых волос, удлиненный овал лица, большие карие глаза, тонкий очерк носа – что-то от оленя, от лани в пугливом? – нет, победном!

– и все же застенчивом очаровании. И Андрюша, ее сын, наш старший брат, похож лицом на оленя. Это – Лёрина и Андрюшина мама. Молча смотрит она на жизнь оставленного

ею дома, на нас, на наши, ей на смену пришедшие, дни. Вечером, вбок от нее и ниже, загорается матовый шар стенной лампы. Тогда портрет погружается в полутьму.

Из залы – в низкую столовую, где круглый стол и самоварный столик с желтой медной доской; окно; на стенах репродукции с картин Рафаэля – Мадонна с младенцем и Иоанн Креститель, в круглой, тяжелой черной раме, ивановское «Явление Христа народу». Позднее мы видели его оригинал в папином Румянцевском музее.

Другая дверь из залы ведет в переднюю; там есть что-то колдовское: правая стена ее не стена, а тонкая стенка, в которой ходит раздвижная красная (металлическая) дверь; за ней узенькая комнатка; там сундуки Лёриной мамы. Когда мы увидели видения этих

вещей? Это были видения: веер, гнувшийся в руке, перья как ветер; застежки, ожерелья, брошки, сверкавшие, как тарусские камни с кристалликами; туфельки с каблуком столь высоким, что по высоте он равнялся ступне, – туфли Сандрильоны!.. Кружева, наряды, бальные, сброшенные Золушкой, когда пробил ее час... Теперь – это Лёрино приданое, и его сушат весною во дворе.

Парадная дверь меж зеркалом, вешалкой и ларем вела ко второй, наружной – через ступень, о которую мы с Мусей, сколько прожили в отцовском доме, всегда спотыкались по близорукости. Эта последняя «холодная» передняя была просторна и по обе стороны имела шкафы-кладовки, где жили совсем необычайные вещи, обожаемые равно и нами и Андрюшей; я их не помню и, ошибаясь, быть может, в их названиях (но не ошибаясь в их сущности), произвольно их назову. Это было то, что выложил из себя дом, не нужное ему ни в какой момент дня, но к неведомому моменту – живущее. Может быть, что-то медицинское в картонках, формалиновая лампочка; фонарь, сломанный; какое-то колесо; трубка, поршень. Мне кажется, там пахло нежданно, соломой, лекарством. Всегда наспех, урывками, – уж звали, гнали, – удавалось увидеть, унюхать – и уже расставание! Так в сарае (куда раскрывались ворота) жили санки: настоящие, для коня. Разве от этого не горело сердце? Я до сих пор за них (санки без коня!) люблю наш давно исчезнувший дом.

Дверь из залы вела в гостиную (одно время в ней стоял и папин письменный стол; тогда следующая комната звалась

«мамина гостиная»). В первой за залой комнате (зала и комнаты за ней шли анфиладой), в гостиной по углам – вогнутые белые кафельные печи. Цвет гарнитура темно-красный; ковер на полу; на столе, крытом бархатной скатертью, стоячая лампа с затейливым

стеклянным абажуром, вазочка для визитных карточек. Два высоких круглых столика с пятисвечными канделябрами; в них стеариновые свечи; меж окон – полукруглое ореховое трюмо на ножках, с отодвигавшимися вбок подставочками для подсвечников. Зеркало отражало висящую с потолка люстру – свечей на двенадцать, радужные огоньки хрустальных подвесков. В углах на белых круглых колоннах-постаменты – бюсты греческих богов.

По стенам – картины в золотых рамах, главным образом мамина работа: Шильонский замок, копии пейзажей – высокие деревья, морская даль. Муся и я больше всего любили маленькую картину: синяя лунная ночь, снег, следы на снегу, вдали – смутное очертание деревни, и на холме – волк, в профиль, на снегу его голубая тень.

Следующая комната, где стены были почти сплошь заняты рядами папиных книжных полок, снизу доверху, и маминым книжным шкафом, – была угловая, очень холодная. Сидя за своим маленьким письменным столом, мама зимами держала ноги в меховом мешке. Высоко – в раме – голова Зевса. Ниже – филин на ветке. И фасад (с колоннадой) будущего папиного Музея. Я любила, залезши под огромный папин письменный стол, рыться в его корзине для ненужных бумаг, рисовать на них. На стене резная овальная полка с северским и саксонским фарфором. Низкий, пузатый пепельно-зелено-ватый диванчик и тяжелые низкие мягкие кресла, сплошь крытые тем же штофом. Ковер – во весь пол: серый, и по нему вязь желтоватых листьев.

Спальня – квадратная, низкая, в два окна, по правой стене видны молодые акации и колодец; в третьем – кухонный флигель и сарай. На окнах – занавесы, темно-оливковые, с ткаными цветами и с помпонами по моде тех лет, подобранными внизу в петлю. Зимой они

склоняются над морозными пальмами и хрустальной игрой холода, и уютно жить в доме!

Комод с зеркалом. Дедушкин шкаф, глубокий, низкий, шкатульчатый. В нем – кожаные картонки с папиной треуголкой (когда он в парадном мундире едет «представляться» кому-то в Петербург по делам Музея); и, как большая

игрушка, папин «шапокляк» – цилиндр на пружине – выскакивает сам вверх. А потом – опять плоский! Блестит. И вот тут живет панорама с горой громоздких и легких картонок панорамных картин; в шкафу пахнет особенно: чем? Так, наверное, пахло всегда – в старину. Умывальник широкий, шкафчиком, с мраморной доской лежачей и другой – стоячей; в нем ранее был кран; сейчас умываются в фарфоровом белом с синими цветами тазу, из такого же кувшина: иногда в кувшине – льдинки. Под окном сундук; в левом углу – бабушкин комод с витыми колонками. Над ним – икона с красной лампадкой. Изголовьями ко внутренней стене сдвинутые рядом кровати упираются в поперек поставленную бабушкину кушетку, обитую оливковой узорчатой тканью. Над кроватями – бабушкин портрет в год ее смерти и маминого рождения, в ее двадцать семь лет. Она умерла еще моложе, чем Лёрина и Андрюшина мама. Темные ее глаза с тяжелыми веками мягко и печально глядят на нас.

Рядом с маминым ночным столиком – маленькая дверка; за ней – коридорчик, узкий, темный, ведущий к черному ходу. Мерещится мне сейчас, что между низкой дверью в кабинет и дверкой в коридорчик была – лежанка; но на ней никогда никто не лежал, и может быть, от этого я ее плохо помню. А может быть, ее и не было?

Справа и слева в коридорчике было два шкафа, и над левым – еще стенной шкафчик.



Волшебное существо – лестница! Она живет в доме не похожей ни на что жизнью... Уют широких перил с выточенными перекладинами, стоящими, как две кегли, одна на другой, с блюдечком посередине.

Душа лестницы – это бег. Он пролетает по ней с утра до ночи вверх и вниз, и он не знает утомления. А тело лестницы стоит, отдавая свои ступени под счастье – бежать. Лестница, спутник детства, его радостей и плача! Сколько моих слез (когда я убегала от обидевших старших детей -к маме) видала ты, сколько счастья лететь вечером к маме делать «курлык», смотреть панораму, слушать рояль, бегать по анфиладе высоких комнат и – низкой спальней и коридорчиком, мимо шуршащей двери – опять в залу! Но «верх», где мы жили и куда вводила нас лестница, коричневая, как весь наш дом, был особым, другим миром. Внизу было холодно зимами, наверху – тепло. Жарко. Низкие комнаты с веселыми обоями, полом, крытым узорчатым коричневым линолеумом, небольшими окнами в небо и тополиные ветки, то клейкие и пахучие, то в длинных одуванчиках инея.

Напротив лестницы – Лёрина квадратная комната. Она -над спальней и, как спальня, выходит двумя окнами в уголок двора, где акации и колодец, а одним – на мостик в кухню; только это глубоко внизу. Отсюда, как из Андрюшиной и наших комнат, близко видны голуби и слышно их курлыканье.

Страстно любимый Мусей Лёрин книжный шкафчик со вставленными в створки зеркалами; направо – диванчик, кресло и стол. Тут Лёра рисует цветы.

В Андрюшиной комнатке – кровать, над ней портрет его мамы, в овальной раме, и столик; за ним он учится. Напротив низенькой балюстрады над лестницей еще дверь в проходную комнатку, за которой собственно детская – длинная, с тремя окнами; два – с видом на крыши домов и купол Палашевской церкви, третье, в

глубине, - в серебряный тополь у ворот. Напротив окон глубоко выдается в комнату белая с синим, блестящая кафельная печь. По бокам Мусина и моя кровати, обе по той же стене, Мусина ближе к двери.

Что еще есть в детской? Не помню. Вид ее будущих лет, после мамы, затмевает мне память. Но одно цветет нерушимо: сердцем детской - висячая лампа над столом. В стеклянном резервуаре - зеленое керосиновое море. Оно мутно сияет и плещется, когда лампу тронешь рукой. Над горелкой и стеклом - белый круг, над его отверстием на потолке - золотое пятно. От горячей лампы пышет свет, жар. Лампа плавает в воздухе, как волшебная рыба. От нее убегает темнота. За вещами всюду вспыхивают их тени. Мусина рука тянется к книге - читать...

А рядом - зрелище черного хода соседнего двора. Из окна Лёриной комнаты, бывшей моей детской, - наружная лестница, где в сумерках женщина в темной шали несла воду, желтый свет в окошке кухни (отдельного флигелька); длинный низкий флигель, где жила семья Андреевых, нам мало знакомых; цепной пес в своей глубокой будке под тополями.

И помнится мне в нашем зеленом дворе та пора весны, когда уже после дней цветения в траве желтых цветов - стоячей мохнатой мягкой метелочкой - появлялось столько

же легких и пышных шариков, которые, сорвав, не знаешь, на что дивиться: на белое ли молоко (нам говорили -ядовитое) стебля, на ровную ли круглость - вот-вот облетит! - пушинок цвета пыли? Чем-то они напоминали мыльные пузыри. Мы начинали дуть на пушистые шарики. Оттого они назывались одуванчики. Пахло тополями. У старых стволов из земли выбивались молодые побеги.

## **ГЛАВА 9. ТАРУСА. ПРАЗДНИК У ХУДОЖНИКА ПОЛЕНОВА. НАШЕ ЛЕСНОЕ ГНЕЗДО. ЦАРСТВО ТЬО. ДОМ ДОБРОТВОРСКИХ**

Летами мы жили в Тарусе, куда ездили всем домом с Курского вокзала до Ивановской станции (Тарусской) и оттуда семнадцать верст по невероятной (обрывами, то глинистой, с глубокими колеями, то песчаной) дороге – до парома (позже – до станции Ока и оттуда пароходом).

За Окой на холмах виднелась Таруса. Также рано запомнилось слово «Поленово», неотделимое от на закате мерцавшей розовым огоньком поленовской церковки села Бёхова, за Окой. Там жил папин знакомый художник, Василий Дмитриевич Поленов.

Нашу поездку к нему помню глуше, чем, вероятно, помнила Марина, которой в то время было лет восемь. Помню волнение от чужой, неведомой нам жизни, дома; волнение от лиц, имен, голосов большой семьи (мы и в Москве жили обособленно, редко бывали в гостях), от запахов и вещей чужих, влекущих комнат, – и поляны почти такие же волшебные, как вокруг нашего лесного обиталища за Тарусой, шум высоких крон деревьев, смену солнца и луны над ними и серебро Оки за ветвями. Из деревянного шкафчика на повороте лестницы полный, полуседой, добрый Василий Дмитриевич вынимал нам и дарил – каждому по одному – маленькие этюды (они стояли стоймя, как книги). Помню Маришу и Олю Поленовых (наших с Мусей

однолеток) и маленькую рыжекудрую красавицу Наташу.

Праздник. Гости приглашены принять участие в клейке фонарей из цветной бумаги – для иллюминации – на приз. Жюри – Василий Дмитриевич. Гирлянды картинок и бумажных фонарей развешаны меж деревьев; цветные луны, полумесяцы, овалы, квадраты со светящимися узорами и силуэтами. Мамин фонарь получил первый приз. Если

Марина нигде не упомянула подробнее о том, что было изображено на нем, – я в тумане памяти вижу силуэт женщины на фоне каких-то сияющих гор, лесов, рек.

К часу иллюминации я была сонная; цветные ракеты, золотистые, вертящееся и рассыпающееся колесо смешивались с ветвями осенних берез, зажигая их расплавленным заревом волшебного ночного пожара. Распахнутые в ночь окна с высунувшимися головами гостей и огромный костер, горевший вслед нам, отъезжающим, кидает свет на поляны, купы дерев, великаны корни сосен и круто изгибавшийся, колеистый, темневший путь. Качало и трясло, как море, колеса тархтели, спускались, проваливались в шумевшую ветками ночь. Я еще слышала Мусин голос и мамин ответ, но слова падали мягко, как в воду, – я спала.

Едем шагом, в гору – тяжело,

В сонном поле – гром...

Ася, слышишь?

Спит, бедняжка,

Проспала паром!

Впереди Ока блеснула

Жидким серебром...

Ася глазки разомкнула, -

- «Подавай паром!»

Таруса. Маленький городок на холмах, поросших березами, на левом берегу Оки. Яблочные и ягодные сады. Собор на площади (там же бывает ярмарка) и красная с белым Воскресенская церковь – на крутом холме. Это – на полпути к даче, где мы живем; на холме, пониже, часовенка, точь-в-точь как на картине «Над вечным покоем».

Дороги – песчаные и кремнистые; разлив тропинок. Идя домой от Тети или Добротворских (два родных дома в Тарусе), нагруженные яблоками, сливами, вишнями и крыжовником, мы подбираем сверкающие, как от папиного Музея, камешки. Но папины – гладкие, горят, мраморные, а эти – в них, как звезды, вкраплены горящие искры. Считаем, у кого больше и у кого больше горения на острых кусках камней. Мама тоже собирает. По дороге – пересекает ее ручей – родниковая вода: «как хрусталь». А о камнях мама говорит: «кристалл» (это – разное, но от обоих этих слов -холодок счастья в груди).

Вечер. Тот конец Оки (мы идем высоко над нею) – в синей дымке. Небо над водой лиловое, от месяца – струи

серебра. А другой конец речной ленты – в ржавом золоте, в золотых перьях облаков; и это еще беспокойное, но уже успокаивающееся закатное небо опрокинуто в зелено-алом, быстро гаснущем лоне вод... Мы вертим головы то назад, то вперед, – нельзя оторваться и невозможно решить, что лучше. И мы уже делим: Мусе – этот, синий, с месяцем конец Оки, мне – тот, золотой, с закатом.

На почти зеркальной полоске воды посередине – силуэт лодочки. И с нее, далью потушенный, как вечерняя синева позади, голос доносится: «Чудный месяц плывет над рекою...» Каждый раз, как этот мотив начинается (и еще мамино «Не для меня придет весна»), в носу начинает щипать, как от фруктовой

шипучки. Я знаю, что у Муси – тоже, и я боюсь на нее посмотреть, чтобы не заплакать.

«Чуд-ный ме-сяц плы-вет на-а-ад ре-ко-ю...»

Когда мы подходим к подъему на нашу длинную гору, она темная, как дубрава у замка Рингштеттена из «Ундины». Жутко. На болоте, далеко, кричит коростель. И так свежо вдруг стало...

Май, июнь, июль, август, часть сентября, – сколько дней, сколько утр в нашем гнезде меж тополей, берез, ив, кустов бузины и черемухи – столь густой чаще древесной, что прорубали ее, чтоб с балкона виднелась Ока, протекавшая под горой влево к Серпухову, Бёхову, справа – от Велегова, Алексина.

Дачу мы снимали у города, много лет подряд.

Простой серый дощатый дом под ржавой железной крышей. Лесенка с нижнего балкона сходит прямо в сирень. Столбы качелей; старая скамья под огромной ивой еле видна – так густо кругом. В высоком плетне – калитка на дорогу. Если встать лицом к Оке, влево грядки, за ними – малина, смородина и крыжовник, за домом крокетная площадка.

Две террасы (одна над другой, столбиком); балюстрада нашей детской доверху продолжена перекладинами, чтобы мы не упали. Перед террасами – площадка меж четырех тополей; между двух из них – мои детские, стульчиком, с загородками качели. А настоящие качели между четырех орешников, носящих наши четыре имени: Лёра, Андрюша, Муся и Ася.

Внизу, под дачей, – пески, Ока, луг. Позади дачи – «большая дорога» – молодым леском выход в поле. Справа от дачи, если лицом к Оке, – «старый сад» – поляны одичалых кислейших яблок. Мы, дети, их подбираем, режем, нижем на нитки и сушим. Есть их – нельзя. Рот сводит! Вся усадьба, некогда звавшаяся «Песочное», часть когда-то большого имения. Деревня Пачёво – далеко за полем, куда ведет «большая дорога»

(в отличие от сети троп, бредущих по лесу и кустарнику). Пачёвская долина – волшебные дубравы с высохшим руслом речки – вожаделенная цель прогулки, почти не по силам мне (Муся одолевает все). Туда можно полем и через хвойный скат и заколдованную Пачёвскую долину, и тогда мимо хижины угольщика и высоких лиловых цветов (стержень – дудка), мимо огромных сосен и лугом – домой; или, начав с луга, сосен, угольщиков и дудок, – в колдовскую тишь Пачёвской долины (деревня где-то вверху, за дубравами) и по сосновому холму, вверх, полем – домой. Мы знаем, «Лесной царь» – «Кто скачет, кто мчится» – было в Пачёвской долине.

Помню приезд к нам Аркадия Александровича. Мне шел пятый год. С любопытством поняла, что уже не люблю его. С крокетной площадки его голос сказал: «Эх, промахнулся!» «Как глупо! – отозвалось во мне. – Надо «ах» или «ох», а он – «эх»...»

Клеенка стола, белые чашки с голубым ободком, кувшины сирени, жасмина, сливки, самовар, уют. Гудки парохода. Деревья, грибы, купанье, грозы. Жара. И деревья, деревья...

Полноценнее, счастливее детства, чем наше в Тарусе, я не знаю и не могу вообразить. Водила нас мать и сама ходила в холстинковых платьях, в дождь в дешевых, с «ушами», на резинке, по-деревенски, башмаках. Ни Муся, ни я не любили «хороших» платьев и, надевая их – в гости, злились. Но ради того, чтобы идти к Тете (Тьо), – мы их терпели. Шли туда обычно семьей или мама с нами, тремя младшими детьми. Играть, шуметь, бегать, драться – у Тети было нельзя, и за столом надо было сидеть очень чинно. Но весь быт Тети был так уютен, наряден, красив, особен, что мы любили ходить к ней. В нашей даче, кроме рояля, все было почти по-деревенски просто. У Тети в доме были ковры, чехлы на мягкой мебели, дорогие сервизы,

занавесы, венский шкаф - часы, игравшие, как оркестр. За столом подавала прислуга в белой наколке, тарелки были нагретые, перед прибором каждого из нас ждала коробка шоколадных конфет с

«серебряными» или «золотыми» щипчиками. Бульон – в толстых чашках; для нас жарили цыплят. Чай пили на веранде с резными деревянными украшениями, на белоснежной скатерти. Нас ждали отборные яблоки. Сад у Тети был расчищен; клумбы с цветами, песок, большой плодовый сад, сирень, липовая аллея, кусты ягод.

Иногда Тетя готовила и сама, сердито гремя посудой, тогда мы ели чудные швейцарские кушанья.

Но самой большой достопримечательностью, важней всего этого и синих с золотом бокалов с мятной водой, подаваемых за столом – полоскать рот после еды; важнее вида на Оку с крыши дома, куда вела лестница; даже важнее белого пса Лебеди (как его звала Тетя) и трех кошек тигровых – Мити, Миши и Катиши – и вывезенного из Крыма пестрого кота leTartare1 – была сама Тьо: зиму и лето в белых фланелевых балахонах с оборками, маленькая, толстая, с подобием (крошечного!) шиньона, с черной наколкой на седеющей голове, в дедушкиных черепаховых очках на кончике носа (что она не видит в них, до нас не доходило; носила, видимо, от пиетета к памяти дедушки «Alxinge», как она выговаривала сокращенно «Александр Данилович».

Медовой струей, лучом солнечным ложился на сердце рассказ Тети о старых годах в Невшателе, когда около десяти часов вечера мирный городок засыпал, по улицам сторожа били в медную доску, оповещая горожан, что наступает время сна. «Gue, bon gue, il a sonne dix heures...»<sup>2</sup>, все тушили огни, отходили ко сну. Мы вторили Тьо, впадая в уютный, неповторимо дорогой мотив. А если где-нибудь в окне был свет – приходили



узнать, что случилось, не заболел ли кто, не нужна ли помощь...

Все в доме было полно дедушкой; в глубокой полутемной спальне с лампадой его увеличенный портрет в пальто и шляпе, с сигарой в руке (больной уже, худой, старый), – его книги, его картины, его карманные часы, его фонограф, в котором на одном из валиков, белых, похожих на его манжеты, после чьего-то пения раздавался – шипеньем и рокотом – голос дедушки: «Браво... браво...»

1 Татарин (франц.).

2 Ухе пробвло десить часов... (франц.).

Тьо душила нас в объятиях, закармливала, задаривала и без конца рассказывала о прошлом. Мы уходили в него с головой и расставаться было тяжело, хоть и шли на свою свободу. Мусе и мне было обидно, что у Добротворских к чудачествам и расточительности Тьо относились с добродушной иронией.

Со стороны матери у нас не было, кроме дедушки и его сестры, никаких родных (где-то в Польше Бернацкие, но мы ничего не знали о них). Со стороны же отца мы в Тарусе знали Добротворских, земского тарусского врача Ивана Зиновьевича (дядю Ваню), высокого и немного по-доброму насмешливого; жену его Елену Александровну, папину двоюродную сестру, полную, седую, улыбавшуюся нам, но с каким-то приглядыванием, от которого нам – Мусе и мне – было не по себе. Она очень любила Лёру, Андрюшу; маму и нас – не так.

Лёра и Андрюша чувствовали себя у них как дома, мы – нет. Дети их были сверстники Лёры, на десять и более лет старше нас.

Их дом, наверху главной, сходящей к собору, улицы, которая звалась Калужской, – большой, серый, с резными украшениями окон, с балконами, уступами железной крыши, с цветными стеклами окон парадного

хода - был уютен, приятен, гостеприимен. Густой, заросший сад, липовая аллея, площадка крокета, гамак. Поляны яблонь, груш, слив, ягодник, вишенник, веранда, где вечно кипел на столе самовар, осы, жужжащие над вазочками с разнородным вареньем и медом, сладкие пироги, ватрушки и особенно любимые ржаные сдобные лепешки, которые пекла на сметане пожилая ласковая Катя, многолетняя помощница Елены Александровны. Дом был с мезонином, с особыми запахами, с кафельными печами, лежанками, со звонким боем часов, с расстроенным старинным фортепьяно, на котором никто не играл. Иван Зиновьевич, добрый гений уезда, едущий в любую погоду к больным, крупный, уютный, с разговором на «о», с всегда прямо глядящими синими глазами, сходит по скрипучим ступенькам на двор, где его ждет лошадь. В ослепительной жаре прямо пахнет ромашкой. Гуси и утки отдыхают в тени под сиреневыми кустами. Огромный рыжий пес Барон, гроза входящих во двор, громыкает цепью...

У Добротворских была большая лодка-ялик (у нас - маленькая плоскодонная), и - всегда неожиданно - они заезжали за нами на нашу дачу. Причаливали, кто-нибудь шел к нам вверх по крутой, заросшей березами и кустами, горе. Или просто звали, криком, с реки.

Ясные дни - светлые вечера - детство... - неторопливо идущее время - как хорошо это было, каким маленьким земным раем это предстает мне теперь.

...И была еще - радуга! Она наставала - внезапно, появлялась неожиданно, и в ее незванности, в забвенье о ней была тайна. Она взносилась над московским двором и ниспадала в верхушки тарусского леса, всегда неполная, склоненностью своего отрезка лишь намекая на то, какая она вся, но, кажется, всему детству не удалось ее увидеть в ее совершенстве. А если на миг ее

плавный верх венчал вечерние облака, то следующее мгновенье затуманивало ее дымным золотом тучи, и виденье таяло в детской душе, как утихающий звук песни. Но если кто-то отваживался обуздать восхищение, измерить радугу любопытствующим глазом, запомнить ее цвета (то, что не удалось в т о т раз словить, как лиловый цвет ее верхней дуги, наружной, переходит в розовость, та - в огненность, пламенность

- в желтизну, и как желтое, слившись с встречающей синевою, становится сияющей зеленью), - ум переставал понимать, синева вдруг оказывалась тонущей в первично лиловом, которое было сверху дуги, а очутилось снизу; в глазах, в голове делалось кружение бессилья, и начать снова попытку измерить сияние не было сил. Ты стоял, потерявшись, под небом, которое плыло и менялось, а радуга, блаженно покоилась в своей невесомости, и безукоризненная правильность ее склоняющегося очертания уже таяла.

Но была еще добавочная радость в появлении радуги: вера в няней сказанное - радуга означает, что больше не будет дождя. Мы, те же мы, которые прыгали под дождем, наслаждаясь им, как сухая земля под нами, встречали радугу как сообщники и кричали в нее пронзительно, как спуская с лука стрелу: «Не будет больше дождя, не будет!» Но уже нет и радуги - где же она б ы л а? - как слабое эхо Пачёвской долины, еще розовело, синело легкой струей над елью старого сада, но уже не было ни сиянья, ни очертания сиянья, одна

память сердца и глаз о еще раз утраченном - и когда же оно придет вновь?..

...А пока мы наслаждались плодами лета - у бедного отца нашего шла страда: в уральских ломках обнаруживались неудачи, добываемые с великим трудом залежи камня часто оказывались в трещинах или с песчаными прослойками, непригодными,

приходилось относить их ручным способом в сторону и заново углубляться за чистой породой. В таких исканиях шли иногда недели, а летнее время, в этом труде драгоценное, проходило... Но отец духом не падал, твердо веря в начатое дело. Отголоски этих забот доходили до нас из постоянных деловых бесед родителей.

# **ГЛАВА 10. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКАТУЛКИ. ПАНОРАМА. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ЛАНТЕ. ВОЛШЕБСТВО ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ**

...Из той же мглы первых воспоминаний зарождения и роста Музея, бесед о нем отца с мамой, с Андрюшиным и нашим дедушкой, рядом с пылающим костром елки и рояльным громом вместо колыбельной песни проявляются на пластинке памяти еще три детские драгоценности: две музыкальные шкатулки и панорама.

Шкатулки: длинная, низкая, желтая, с разводами более темного дерева (инкрустация), с поднимающейся крышкой, под которой другая, с вправленным в нее стеклом. А под ним – серебряное волшебство вала, обрызганного, точно росой, блестками шипов, о которые цепляются снизу колесики. Валик перекрыт палочкой серебра, и на нем, сбоку, горит алый рубин. Если глядеть на него – он похож на один из голубых шаров на столе маминой гостиной: он так же сияет темно-розовым посередине и вспыхивает темно-красным, почти черным, по всему ободку, как шар сияет голубым посередине и темно-синим, почти черным, по краям. Шкатулка – пахнет: чем – не скажешь, но она так сильно пахнет собой, что кажется, она пахнет еще чем-то. Как у Тети пахнет в передней? Маминым сундуком? Дедушкиным печеньем? – хрупкое, покрыто розовой глазурью, и если надавить – пустота. А рядом с рубином – бабочка, то есть она делается как бабочка, когда

начинает вертеться: она жужжит и появляется возле рублина, а это потому, что мама «завела», от этого непонятного слова что-то начинает вертеться, как бабочка, и тогда летишь и падаешь куда-то потому что началась музыка.

Это совсем другое, чем рояль; нет, не совсем другое: на тарусский рояль она почти не похожа; только это очень маленькая музыка, она звенит – прижато и будто внутри что-то сломано – чуть-чуть. И все звуки слышишь будто через желтое стекло. Похожа на мамины рассказы о ее детстве, – как будто эти звуки – давно. Особенно понимаешь это, когда старшие заводят вторую, новую шкатулку, которую на Рождество подарили Андрюше, там музыка – синяя: как через синее стекло в нее смотришь. И она не насмехается над маминкой, но немножко все-таки посмеивается. Она громче, в ней «Тореодор», и «Па-де-катр», и всякие новые танцы, и она гордится, что у нее нет валика – «валики отошли в прошлое», – а кружки, их снимают и надевают, их можно сколько угодно – а в маминкой только четыре мотива, и они один за другим, всегда одинаково. Андрюшина – «новость». Ящичек квадратный и выше, и темней, и на ножках, а внутри на крышке – картинка: летит Фортуна и по голубому небу сыплет цветы. Старшие хвалят Андрюшину. А Муся и я любим мамину. Мама сказала – «Шотландский», а Муся говорит, что Ася позабыла название, по-французски – на узорчатой этикетке – написано: «Экосэз». А потом все вдруг вздрагивают, вал перепрыгивает вбок, и начинается другое, и снова опять другое. Полонезы? Вальс? Танец кукол? – чудятся мне на стариннейшей этикетке с потемневшими золотыми разводами, там, где у Андрюши летит противная Фортуна со своим золоченым рогом изобилия, тонким, косым почерком – слова (их кто-то читает и понимает: «An der blauen Donau»<sup>1</sup>, я еще не могу); Андрюшина

- под елкой, в зале, везде. Мамина - в спальне, на бабушкином комодe и в маминой гостиной. И мамина - редко. И тогда это волшебный вечер. Тогда все вспоминается, что еще было без нас, когда-то.

Панорама: большой - больше аршина, и в пол-аршина шириной и высотой, полированный ящик. С торца в доску вправлена огромная лупа, диаметром вершка в три. На двух третях верхней крышки - шарниры, поднимающие и опу1 «У голубого Дуная\* (нем.).

скающие последнюю ее треть; она стоит под острым углом, и на внутренней ее стороне - зеркало (это - когда надо дать картинам панорамы «день»). Задняя стенка ящика - тоже на шарнирах. Она опускается плашмя на стол - тогда, пока еще не вставили картину, видно огромную лампу, а верхнюю крышку с зеркалом наглухо закрывают (это - когда надо картинам панорамы дать «ночь»). Картины - двойные: в них на поверхности сияет день - небеса, города, пейзажи, и в них, на подклеенных сзади темных глубинах папиросных бумаг и потайных темных штрихах под кругом светящейся (на фоне зажженной лампы) прозрачной луны, - цветет ночь, горит над старинными городами иллюминация, стоят в иностранных парках дамы в робронах и старинные мужчины, все в черном, в цилиндрах. В этих картинах - их несколько полных коробок - живет весь Теодор Гофман и какие-то из героев Андерсена. Каждая картина приклеена на легкую узкую черную деревянную рамку, и сзади - не по-русски -название. Когда берешь ее в руки (но мама сейчас же отбирает - в руках волшебнo-легко, нет веса, как во сне. Но разве расскажешь трезво о панораме, в которой жили чужие страны, над ними стояли магические слова «Venise»(Венеция), «Bois de Boulogne» (Булонский лес), «Constantinople»... Это же тот самый Константинополь, где на базаре увидел колдунью

будущий Карлик Нос, мальчик из сказки Гауфа! Наши головы тычутся, старательно отодвигая другую, чтобы завладеть лупой, через которую wpłyваешь в панораму, как входят через порог в дом. Но Мусина голова крепче, и ее кулак тихонько (чтоб мама не увидела) бьет меня в бок, и моя, несмотря на жар сопротивления, отодвинутость орет о себе благим матом, и в гневной защите мамино: «И не стыдно тебе, Муся? Старшая...» - и в Мусином мне в ухо: «Вот ты у меня потом узнаешь...» - тонет мое залиvistое, одновременно торжествующее и испуганное «и-и-иии...» (буква, на которую я плакала все раннее детство и с которой я оказывалась на маминых руках). Но Мусе уже все равно: Венеция безраздельно ее, никакая Ася не суется, не мешает! Пока меня утешает мама, ей приходится бороться лишь вялые попытки Андрюши. И под его незаметный пинок и шипенье ей в ухо - она блаженно проваливается в ночь венецианской темницы (после голубых небес и каналов Венеции - мамина рука сняла с «дня» отраженное сверкание зеркала и открыла

сзади крышку в жерло лампы): своды в багровом пламени факела, кто-то темный и чьи-то цепи...

Ненавистная Асина голова опять лезет в лупу! Со вздохом, незаметно толкая меня, Муся уступает мне место...

Мамина рука уносит вверх то, что так глотаешь! - всегда рано... Как улетающий занавес в «Спящей красавице» - страшное своей тупой силой сияние лампы через гигантскую лупу не успевает сделать жизнь совсем нетерпимой: мамина великанья рука уже опускает по желобкам стенок - другое, Мусино? мое? волшебство: «Toulon», город Тулон! Воздушный шар поднимается в небо, мужчины в черных фраках и дамы в сияющих атласных раструбах смотрят ему вслед. И вновь закрытием зеркала, освещавшего день, глубина панорамы погружается во тьму, и над Тулоном вдруг



проступает радугой мост над рекой, под его арками брызги лунного света и череда огней. Не помним имен, не знаем, какой город. Это – Мусино (мое будет после) -полукруглые окна, высокие двери, группы старинных людей с чемоданами, корзинами, виадук, силуэт подходящего поезда, – кончено с днем! (Нам давно пора спать, мама торопит.) Ночь падает на вокзал шарами светящихся матовых фонарей, сигнальных огней над рельсами, – а наши сердца рвутся вслед уходящему в даль поезду, мы слышим его жалобный крик...

Кавалькада в лесу, гирлянды цветных фонарей, ночные дубравы, луна над замком – Рингштеттен! – Дамаск, какая-то гавань, корабли, розовая тишь моря, – неведомые страны и города.

Где взяла наша мать силу – видя такую страсть к панораме – показывать нам ее так редко? (Несколько раз в год лишь слышали мы всегда внезапно: «Дети, идемте вниз

– будем смотреть панораму». Как мы летели...)

Но и мы – это не менее удивительно – никогда не приставали к маме с просьбой. Панорама наставляла, как приходит праздник, когда ему пора... Оттого ли панорама за все детство нам не наскучила? О, неужели могло бы наскучить такое? Лицо уже прильнуло, пылая, к непомерно большой лупе, глаза, погружаясь в темный коридор панорамного ящика, глаза обжигаются о луну над дубравой.

Религиозного воспитания мы не получали (как оно описывается во многих воспоминаниях детства – церковные традиции, усердное посещение церквей, молитвы). Хоть празднования Рождества, Пасхи, говенья Великим постом -родители придерживались, как и другие профессорские семьи, как школы тех лет, но поста в строгом смысле не соблюдалось, рано идти в церковь нас не поднимали, все было облегчено.

Зато нравственное начало, вопрос добра и зла внедрялись мамой усердно (более усердно, чем, может быть, это надо детям? пылко, гневно при каждом проступке: иногда растя в нас скуку слушать одно и то же и тайный протест).

Но зато образы тех людей, которые жили по этим, нам не удававшимся, не прививавшимся правилам, как мама сумела внедрить их в нас!

Дерзновенный полет Икара и гибель за похищенный огонь прикованного к скале Прометея, все герои мифологии и истории, Антигона, Перикл, Бонапарт, Вильгельм Телль, Жанна д'Арк, все подвиги, смерть за идею, все, чем дарили нас книги, исторические романы и биографии, и доктор Гааз, отдавший жизнь заключенным больным людям, герой уже девятнадцатого века, – как насаждала в нас мать поклонение героическому! И имена английских писателей Томаса Кар-лейля и Джона Раскина я слышала от нее в мои одиннадцать лет, в болезнь ее последней зимы.

И была еще книга, навсегда поселившаяся в душе, – «Божественная комедия» Данте в иллюстрациях Гюстава Доре. Их было два тома: огромных, красных с золотом – Чистилище, Ад и Рай. Необъяснимо это, в моей памяти об этих книгах, что как раз обратное содержанию этих частей, где при чтении в зрелые годы слабее всего входил в сознание Рай, – в детстве, в картинах во всю страницу, отчего-то не вошли в душу Ад и Чистилище; ужасы их, может быть, отвращая, миновали сердце, взятое в плен светлыми сводами Рая. Высокие остроконечные горы, сумрачные ущелья, покидаемые Данте, его скорбный профиль орла, струи одежды; первая вечерняя, последняя утренняя звезды, – и свет, свет, все ярче, чем выше, льющийся сверху, перья облаков, переходившие в перья ангельских крыл, их

несметное множество, – все это наполнило сердце такой радостью, что она тлеет в нем до сих пор.

Мама редко показывала нам эти книги, – как и панораму. Годы спустя, ею покинутые, мы полно, как свое, приняли строки поэта о Данте и Беатриче.

Мне было девять, Биче восемь лет,

Когда у Портинари мы впервые с ней встретились...

Хочу не в очередь, может быть, – но где этому очередь? -сказать об одном: оно было постоянным ощущением с первых лет: страсть к слову, в буквальном смысле, к буквам, что ли, его составлявшим? Звук слов, до краев наполненный их смыслом, доставлял совершенно вещественную радость. Только начав говорить – и почти сразу на трех языках, мы оказались – хочешь не хочешь – в таком сообществе, как попавший, по сказке, в горную пещеру к драгоценным камням, которые стерегли гномы.

Драгоценное существование слова, как источника сверкания, будило в нас такой отзвук, который уже в шесть-семь лет был мукой и счастьем владычества. К каким-то годам написание первой стихотворной строки или своей первой фразы прозы было желанным освобождением от перенасыщенности чувством слова. Заткнув, на бегу словесного вихря, эти камни в это ожерелье, те – в другое, мы могли отдохнуть в ощущении чего-то сделанного. Д е, т с т в о же, рог изобилия, задарив, не давал опомниться, мучил созвучиями, как музыка, опьянял и вновь и вновь лил вино – и это среди гувернанток, репетиторов, приходящих учительниц, этого не знавших, хотевших от нас всегда только одного -трезвости!

Мама – да и то не так все же, как требовал наш, Маринин особенно, свободы и творчества ищущий дух!..

Немецкие слова die Ode, die Wüste, unheimlich, sonderbar, wundervoll, die Höhe, die Tiefe, der Glockenklang, Weihnachten (глушь, пустыня,

таинственно-жутко, чудесно, высота, глубина, звук колокола, Рождество), и сколько еще их было с французскими splendeur, eclat, tenebres, naufrage, majestueux, jadis, le reve (великолепие, блеск, мгла, кораблекрушение, торжественный, когда-то, сновидение), и все, чем переполнена первая же книга, дарил двойной смысл тому, что старшие звали «изучением языка». На этом «языке» (сколько их впереди еще было! Родители знали французский, немецкий, английский, итальянский, мать хотела возле него, как гитару возле рояля, -еще и испанский...) мы отплывали от учивших нас, как на корабле, и каждое из этих слов было – талисман. Так заколдованным словом КагтПьяНп (Кармильхаан), которое -в гауфовской сказке (откуда я помню только пещеру и край гибели) – спасало звуком своих букв, кем-то произносимых, -горевшее, как темный карбункул! А русские слова? Не ими ли пылало сердце в сказке о Василисе Премудрой, о бесстрашных витязях, о каких-то тридцатых царствах?.. Они полновластно царили в сердце моем, младшей, уснувшей в поздний вечерний час под чтение вслух детям старшим, постигшим главное слово – «Летучий Голландец», главную непостижимость, любимую, – ее унеся или ею уносимая в -сон. Может быть, этой органической усладой «языка» объясняется, что я не помню трудностей «изучения» языков? Это было просто вхождение в свой дом, где все узнавалось.

О Марине же – и говорить нечего. Ее одаренность была целым рангом выше моей, она с первых лет жизни – по народной пословице – «хватала с неба звезды»...

## **ГЛАВА 11. ЗИМА. РОЖДЕСТВО. МАСЛЕНИЦА. ВЕСНА. ЧУЖИЕ ДЕТИ. ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ**

Когда после долгих дней осени – рыжих верхушек деревьев, то обрызнутых в ветре солнцем, то поливаемых скучно текущими дождями, – и казалось, никогда не перестанет течь, захлебываясь на лету, вода из водосточных труб и вспоминался Ной и всемирный потоп, – когда вдруг холодало по-новому в этот раз, но знакомому издавна, когда мама и Августа Ивановна с няней или горничной Машей насыпали дом серебристым запахом нафталина вынимаемых из сундуков шуб; когда еще мы спали, а уже трещали вовсю звонкими березовыми дровами печи, и все же мы просыпались в детском счастье утреннего уюта от узнаваемого комнатного холодка, – тогда вдруг детская сияла вся, – точно ее всю, по обоям, побелили и кто-то, несший теплые чулки и лифчики, объявлял радостно, как подарок:

– Ну, дети, скорей вставайте! Сегодня выпал первый снег!

И тогда, босиком, дрожа у уже запушенных внизу, как в белом меху, окон, мы видели с высоты антресолей всю любимую глубину двора, где еще вчера топали ноги по сухому ли холоду, по лужам ли, – такую бесконечно иную, стихшую, глухо ушедшую в белизну, еще не исчерченную следами, не считая Васиных (белых от т а к о й черноты?!..), праздничную и победную после стольких месяцев борьбы с плескавшей и облетавшей осенью. И все говорили: «Пришла зима!»

И тогда, только тогда – раньше оно не думалось, точно сгнуло за жаркой завесой лета, – начинало

медленно брезжиться, приближаться, словно во сне обнимая, подкрадываться, всего более на свете любимое, не забытое – о, нет, нет! – разве оно могло позабыться? – Рождество. И тогда наступал счет месяцев и недель. Не заменимая ничем – елка! В снегом – почти ярче солнца – освещенной зале, сбегав вниз по крутой лестнице, мимо янтарных щелок прикрытых гудящих печей, – мы кружились, повторяя вдруг просверкавшее слово. Как хрустело оно затаенным сиянием разноцветных своих «р», «ж», «д», своим «тв» ветвей. Елка пахла и мандарином, и воском горячим, и давно потухшей, навек, дедушкиной сигарой; и звучала его – никогда уже не раздастся! – звонком в парадную дверь, и маминой полькой, желто-красными кубиками прыгавшей из-под маминых рук на квадраты паркета, уносившейся с нами по анфиладе комнат.

Внизу меж спальней, коридорчиком, черным ходом, девичьей и двухстворчатыми дверями залы что-то несли, что-то шуршало тонким звуком картонных коробок, что-то протаскивали, и пахло неназываемыми запахами, шелестело проносимое и угадываемое, – и Андрюша, успев увидеть, мчался к нам вверх по лестнице, удирая от гувернантки, захлебнувшись, шептал: «Принесли!..» Тогда мы, дети («так воспитанные?» – нет, так чувствовавшие! что никогда ни о чем не просили), туманно и жадно мечтали о том, что нам подарят, и это было счастьем дороже, чем то счастье обладания, которое, запутавшись, как елочная ветвь в нитях серебряного «дождя», в путанице благодарностей, застенчивостей, еле уловимых разочарований, наступало в разгар праздника. Бесконтрольность, никому не ведомого вожделения, предвку-шенья была слаще.

Часы в этот день тикали так медленно... Часовой и получасовой бой были оттянуты друг от друга, как на резинке. Как ужасно долго не смеркалось! Рот

отказывался есть. Все чувства, как вскипевшее молоко, ушли через края – в слух.

V 'a

Но и это проходило. И когда уже ничего не хотелось как будто от страшной усталости непомерного дня, когда я, младшая, уже, думалось, засыпала, – снизу, где мы до того были только помехой, откуда мы весь день были изгнаны, - раздавался волшебный звук – звонок!

Как год назад, и как – два, и еще более далеко, еще дальше, когда ничего еще не было, – звонок, которым зовут нас, только нас! только мы нужны там, внизу, нас ждут!

Быстрые шаги вверх по лестнице уж который раз входящей к нам фрейлейн, наскоро, вновь и вновь поправляемые кружевные воротники, осмотр рук, расчесывание волос, уже спутавшихся, взлетающие на макушке бабочки лент – и под топот и летящих и вдруг запинаящихся шагов вниз по лестнице – нам навстречу распахиваются двухстворчатые высокие двери... И во всю их сияющую широту, во всю высь вдруг взлетающей вверх залы, до самого ее потолка, несуществующего, – она! Та, которую тащили, рубили, качая, устанавливали на кресте, окутывая его зелеными небесами с золотыми бумажными ангелами и звездами. Которую прятали от нас ровно с такой же страстью, с какой мы мечтали ее увидеть.

Как я благодарна старшим за то, что, зная детское сердце, они не сливали двух торжеств в одно, а дарили их порознь: блеск украшенной незажженной ели сперва, уже ослеплявшей. И затем – ее таинственное превращение в ту, настоящую, всю в горящих свечах, сгоравшую от собственного сверкания, для которой уже не было ни голоса, ни дыхания и о которой нет слов.

...Она догорала. Пир окончен. Воздух вокруг нее был так густ, так насыщен, что казался не то апельсином, не то шоколадом: но были в нем и фисташки, и вкус

грецких орехов, и... Елочные бусы со вспыхнувшей нитки насыпались на игрушечную, немыслимой зелени траву в моей плоской коробке с пестрыми блестящими коровками, лошадками, овцами и в лото старших детей.

Золотые обрезки книг в тяжелых, с золотом переплетах, с картинками, от которых щемило сердце; цветные карандаши, заводные колеса, над которыми трудился Андрюша, янтари и искусственная бирюза бус. Куклы! Этот бич Мусин и мой - куклы, в которые мы не умели играть и которые дарились педагогически, каждый год.

Близко держа к близоруким глазам новую книгу, Муся уже читала ее, в забвенье всего окружающего, поглощая орехи, когда с елки, вспыхнув огненной гибелью нитки, упал синий шар!

Его легкая скорлупка, сияющая голубым блеском, распалась на куски таким серебристым каскадом, точно никогда не была синей и никогда не была - шар.

В наш горестный крик и в крик старших, кинувшихся нас оттащить от осколков, капали догоравшие свечи. Теплый воск, тлевшие иглы елочных веток...

Я глядела вверх. Там, на витой золотой ниточке, качалась от ветерка свечки маленькая танцовщица, и папье-маше ее пышной юбочки было нежно, как лебяжий пух. Гигантская тень елки, упав на стену и сломавшись о потолок, где тускло горела Вифлеемская звезда, осенила темневшую залу над мерцанием цепей и шаров, спрятавшихся под мех веток. В догоравшем костре елочной ночи рдела искра малинового шара, под тьмой отражая огонь последней свечи.

Но волна шла еще выше - та, следующая: блаженство проснуться на первый день Рождества! Сбежав по лестнице, войти вновь к ней - уже обретенной, твоей насовсем, на так еще много дней до дня расставания! Смотреть на нее утренними,



всевидящими глазами, обходить ее всю, пролезая сзади, обнимать, нюхая ее ветки, увидеть все, что вчера в игре свечного огня было скрыто, смотреть на нее без помехи присутствия взрослых, без отвлеканья к не рассмотренным еще подаркам, ко вкусу всего на свете во рту. Не черная, как вчера, в провалах, а залитая через оконную густоту морозных наростов желтящимися солнечными лучами, она ждет нас, в хрусталь превратив все свое вчерашнее серебро и фольгу. Вспыхнув утренними искрами всех разноцветностей, только сейчас по-настоящему горя всем колдовством плодов – зеленью толстых стеклянных груш (даже не бьются, падая!), алых пылающих яблок, рыжих живых мандаринов (им немножко стыдно, что они не стеклянные, что их можно съесть...). Роскошь чуть звенящих, почти невесомых шаров -самых хрупких, самых таинственных!

В коробках стояли Тетины куколки в швейцарских костюмах; таких крошечных мы любили за то, что волшебные и не надо ни шить им, ни гладить, ни класть их спать. В девочкиной игре в куклы поражала утилитарность увлеченности. Эти куколки требовали одного: любования. Того именно, что мы так умели... Книжки лежали распахнутые, и я сразу все смотрела, окликавая Мусю, которая, рухнув в выбранную, читала взасос, что-то мыча мне в ответ. И челюсти уставали жевать орехи.

А вечером, в первый или второй день Рождества, мама показывала нам панораму, и мы засыпали, уже не помня, где мы, после всего случившегося... Весь дом спал.

Опустив тонкую руку с обручальным кольцом на шелк черной кофты, тускло светясь в темноте спальни локоном и нежной щекой, юная бабушка из рамы смотрела на свою дочь и на нас печальной улыбкой

темных глаз с тяжелыми веками, с точно кистью проведенными бровками.

Через неделю елочное убранство уходило на год спать в глубины широчайшего «дедушкиного шкафа».

И продолжалась зима – до Крещения, до масленицы, до Великого поста. Гудели волны колокольного звона. Дни становились длинные. Пекли пироги с грибами.

Масленица! Склон зимы, удлинившиеся дни, поздние закаты, сосульки, увесившие крыши особняков и старых московских домиков. Мучные лавки, и из форток запах блинов; запах саяк на рынках – их нам никогда не покупали, это была чужая пленительная еда (как и сбитень, которого я за все детство свое не попробовала и рецепт коего – сколько ни добивалась потом у старых людей – так и остался мне тайной). Но блины пекли, и тогда мостками, от кухни в дом, накинув шаль, спешила горничная с горой блинов, воздушно и маслено отлипавших на столе друг от друга. Мы считали, сколько штук мы съедим, кто больше.

Растопленное сливочное масло в судке, сметана, селедка, икра. Нам наливали немного вина в воду.

А мимо окон мчались санки за санками, катила по снегу Русь, как в сказке, цокали копыта коней с бубенцами, и обрывки песен, тающие вслед исчезающей за поворотом в Палаши тройке, пробуждали в Мусе и мне – тоску...

Мы вспоминали Оку. «Чудный месяц», песни той масленицы и говорили друг другу: «А помнишь?».

Москва нашего детства: трамваи как диковинка; мирные, медленные конки; синие ватные халаты извозчиков, пролетки, тогда еще без резиновых шин. Медленность уличного движения. Пешеходы меж лошадиных голов. Домики тихих, уютных

улиц. Вывески, крендели, калачи. Разносчики. Керосиновые фонари...

Небо становилось синей, и в нем плавали круглые облака.

Пасхальная ночь! Все уходили из дома, дети оставались одни с няней и гувернанткой. Ночь была – как пещера: пустая, но полная ожиданием часа, когда прокатится над Москвой и Москвой-рекой первый удар колокола, с колокольни Ивана Великого, – и, кидаясь в его голос, заждавшимся трепетом своих голосов все колокола Москвы и всех московских окрестностей заголосят, заликуют неслышанным хорovým трезвоном, испуская в черную, как глухое сукно, ночь такое количество звуков, что, перегоняя все горелки детских игр и все симфонические концерты старших, перезванивая колокольным сияющим щебетом все колокольчики русских дорог и все весенние рощи, звуки, захлебнувшись собой, вырвутся из своего царства – и тогда над Москвой-рекой полетит к ним на помощь воинство царства соседнего – слепящее серебро, золото, олово, медь, слившиеся, жар всех Жарптиц всех русских сказок, и, взлетая вверх, под тучи, обронит в холодные весенние воды, окаймленные огоньками, перья всех цветов и красок со всех художнических палитр.

По-московски это называлось – «ракеты». А вокруг Царь-пушки царята всех пушек, не в силах стерпеть, выпустят на свободу из жерл ядра свои суворовским и кутузовским грохотами, – и уж ничего нельзя будет понять, ни увидеть, ни услышать...

Припав к окнам с открытыми форточками и подрагивая от холода, мы, тайно или с доброго разрешения, вскочив с постелей, ждали, когда вспыхнет кремлевским заревом темнота над крышами Палашевского переулка. Тогда и свой голос подаст оттуда ближняя наша церковка.

Но во дворе раздавались голоса и шаги, и мы, забыв запрет, сон, все, – кидались навстречу объятьям, пасхе,

куличу и подаркам. И свежий, весенний пахнувший землей воздух, ворвавшийся со двора со взрослыми!

Бледным золотом апрельских лучей наводненная зала, парадно накрыт стол, треугольник (как елка!) творожной пасхи, боярскими шапками (бобрового меха!) куличи, горшки гиацинтов, густо пахнущих, как только сирень умеет, и таких невероятных окрасок, точно их феерическая розовость,

фиолетовость, голубизна – приснилась. Но они стоят на столе! Ярмарочное цветение крашеных яиц, и огромный, сердоликом (чуть малиновее) окорок ветчины.

Как горели лбы (тайком, нагнувшись под стол, о них разбиваемых крутых яиц – подражание Андрюше), как прямо пахло от ломтей кулича, как пачкались в выковыривании изюминок и цукатов пальцы и как, противной горой, наваливалось пресыщение, когда крошка самого вкусного отказывалась лезть в рот! Каплями янтаря и рубина остатки вин в оставленных рюмках! И ненасытное счастье безраздельного обладания: новые книги, новые цветные карандаши, новые перочинные ножи, шкатулки, альбомы, новые яйца: стеклянные, каменные, фарфоровые – не считая бренности шоколадных, сахарных.

«А Муся уже провалилась в книгу», – слышится голос мамы.

И в то время как она с головой, как Ундина в родной Дунай, окунулась в колодец легенды, – я, прищурясь одним, приложив к другому глазу таинственное стеклышко яйца, глотала его пустоту, за которой у его глухого конца светилось какое-то волшебное изображение.

Нам еще дарили тоненькие цветные карандаши (сверху цветные), и этот цвет был сияющий: упоительно-синие, упоительно-зеленые, розовые, сверкавшие, как сверкают только золото или серебро в

елочных украшениях. Писали они черным цветом. А еще: похожее на те яйца – с виду карандаш – нарядный, в оправе. Повернешь его кончиком к глазу, а там, в тугу в него вставленном стеклышке, светится далекий крошечный город или еле различимые зрением картины из библейских рассказов, сияющие насквозь. И казалось, что зрелище это – в конце длинного коридора внутри карандаша; а на самом деле вся крошечная светящаяся панорама помещалась в еле видном стеклышке. Эти карандаши жили среди других, как волшебницы среди обыкновенных людей.

И вдруг мысль: не может быть других отца и матери, кроме наших!.. Я возражала себе: а другие дети? У них же другие отец и мать, и дети живут – так как же?.. С другим отцом, – например, молодым, с другой матерью? Тут был тупик понимания.

Но в сознании были и другие закоулки: как можно жить в д р у г и х комнатах? Не знать про папин Музей, про мамины «Ясенки»... иметь другое лицо? Безответность на это чуялась – везде. Тут не могли помочь старшие, как не могли помочь страху в темноте. Можно было только вывести из темноты, но спасти от нее – нет. И так как это, в мыслях, бессилие старших над чем-то твоим изначально была тоже, в свою очередь, темнота, то ребенок выкарабкивался из нее, как мог, сам. В этом жила одна из тайн детства.

Повиснув (вцепясь и ногтями!) на Андрюшином поясе, я визжала отчаянно, не давая ему – убежать с моим красным стеклянным яйцом.

Дни тянулись к весне, зала делалась все теплей: вытащенные из нафталина, знакомые и позабытые, смешные и милые, надевались драповые пальто с пелеринками и плоские матросские беретки. Новые калоши с блестящими бугорками подошв упоенно шагали в новые лужи двора.

Гувернантки менялись – то из-за необходимости говорить на другом языке, то по какой-нибудь тайне, нам, их поведения,

– вместо мадемуазель Мари – фрейлейн такая-то, а die stille Strasse<sup>1</sup> (была ли то Спиридоновка? Малая Никитская? Гранатный?) – была все та же, и та же была весна. И те же были «другие дети», которых никто не знал, но которых нам всегда ставили в пример. В том, что они не знали нас и всего нашего, а мы – их, была какая-то заколдованность. Это были те самые, у которых другие отцы и матери, но те же голуби под похожими крышами ворковали во всех дворах.

И вот однажды жизнь привела нас в соприкосновение с этими другими детьми. Провожатой нашей понадобилось за чем-то в чужой двор высокого нового дома. Мы, может быть, никогда еще не видали такого двора. Каменность несколько-этажных стен, их серый цвет (наш дом был шоколадного цвета, и ближние были тоже цветные, уютные, деревянные, как большинство домов тех улиц той Москвы). Меж каменных стен солнцем залитые, пустые, как во сне, площадки. И туда, как и мы, забрел лоточник с грушами и виноградом. Пока фрейлейн говорила с кем-то, все произошло как продолжение сна: к лотку подбежали мальчик и девочка наших лет, лучше

<sup>1</sup> Тихая улица (нем.).

нас, наряднее одетые, и купили, каждый выбрав, что захотел: мальчик – груш, девочка – винограда. С затаенной завистью, но и с каким-то почти осуждением смотрели мы, как продавец подал им бумажные пакеты – по фунту – и как они, не видя нас или делая вид, что не видят, занятые своею покупкой, ушли, заглядывая в пухлую, прохладную полноту мешочков, говоря о чем-то своем... Мы глядели им вслед. Мы молчали. Мы и друг другу не хотели сказать. Мы, думаю, дали зависти пролететь мимо, – эта птица была нам чужда. Но так

крепко задумалось в обеих нас в тот миг что-то, заглянув в чуждый блеск иного быта, – что, может быть, все будущее наше презрение к комфорту, к заманчивости богатства уже в нас зарождалось. «А где дети?» – гувернантка испуганно позвала нас.

Но помню настоящее горе: придя домой, мы узнали, что в наше отсутствие мать отдала в фургон для бедных детей – наших обожаемых лошадей: вороную – Андрюшину, гнедую – Мусину и без названия цвета, белесую, некогда со светло-желтыми волосами, ростом мне выше пояса – мою Палладу.

Никакие увещания не помогли. Никакие «бедные дети»,

«у них совсем нет игрушек, а ваши лошади уже старые, их уже с чердака сняли...»

Мать была потрясена нашим горем. Пробы нас устыдить, укоры в жадности – не помогли: мы ревели в три ручья. Мы бегали на чердак – дышали пылью опустевших конюшен, прощались навеки – заочно. Как должны были полюбить наших коней те, чужие, бедные приютские дети, чтобы перекрыть наше горе!

А у мамы опять мигрень...

## **ГЛАВА 12. ВЕСНА. ВСТРЕЧА С ОКОЙ. ТЬО. ПРОШЛОГОДНИЙ МЯЧ. ПРЕТОРИУС. БЕШЕНАЯ СОБАКА И ХЛЫСТОВКИ. ДОЖДЬ. ОСЕНЬ**

В эту весну 1901 года мы особенно рано выехали на старую тарусскую дачу. Был апрель. Деревья роц, лесов и пригорков стояли легкой зеленоватой смутой (вдали), унизанные зелеными бусинами (вблизи). И щебет птиц был голосом этих рассыпанных по ветвям ожерелий, зеленых, пронизанных солнцем...

А

Тарантасы, ныряя из колеи в колею, с ухаба на ухаб, по песчаным откосам, щедро сыпали звенящую, разбивающуюся трель бубенцов, оглашая окрестность счастьем пути, ожиданий, приезда!

«Едем, едем!» – заливчато дребезжали они, все ближе и ближе к заветным местам, и дух захватывало от краешка далекого поворота, за которым откроется – вот сейчас, вот сейчас! – знакомый вожделенный ландшафт. Глаза впивались. Голос пресекался. Ноги рвались бежать, перегнать коренника и пристяжную, сердце билось, как птица, где-то под горлом -и память о том, что было год назад, и два, и давно, делала счастье таким прочным, как вросшие в землю деревья, кивавшие нам со всех бугров, тянувшие нам зеленые апрельские руки.

Но смутно мне открывалась особая статья Мусиного чувства, не моя! Жажда отчуждения ее радости от других, властная жадность встречать и любить все –



одной: ее зоркое знание, что это все принадлежит одной ей, ей, ей, - больше, чем всем, ревность к тому, чтобы другой (особенно я, на нее похожая) любил бы деревья - луга - путь - весну - так же, как она. Тень враждебности падала от ее обладания - книгами, музыкой, природой - на тех (на меня), кто похоже чувствует. Движение оттолкнуть, заслонить, завладеть безраздельно, ни с кем не делить... быть единственной и первой - во всем!

Мама улыбается. В ее улыбке и жалобное, и удалое. Лёра дружески кивает нам. Андрюша - в другом тарантасе, с новой фрейлейн - пожилой; у нее квадратные щеки и странное имя - Преториус. Колеса тяжело въезжают в светлый речной песок; горы кончились, потянулись речные кусты, повеяло сыростью. Она с нами, невидимая еще, но уже все помнящая, и когда мы уже забыли леса и холмы, предали их, безраздельно предались ей - когда от внезапной прохлады, от водного ветра, рвущего волосы, шляпы - с голов, лицо опьяненно плывет ей навстречу, - тогда, вдруг (о чудное слово, опороченное литераторами), как ни жди, как ни дыши, как ни нюхай, - вдруг взблескивало вдали узкой, узчайшей полоской, непомерным, меж землей и воздухом, блеском, и он начинал расплескиваться - и там, за кустами, и там... И дикими от упоения голосами мы кричали: «Ока! Ока...» И тогда - на другом уж, калужском берегу появлялись очертания Тарусы: домики, и сады, и две церкви: справа - низко, прямо над рекой - собор; круто наверху, на холме, слева - Воскресенская церковь. Но уж и их мы не видели, потому что кидались в спор старших, как ехать - ньюм (холмами, над Окой, влево) или верхом (вправо, через Соборную площадь, вверх по горе, заезжая к Добротворским, в объезд городка, рощами, полем и мимо орехового оврага, по «большой дороге», подъезжая к даче - сзади, а не от реки). Старшим было

легко решить: где с грузом багажа легче проехать. Но – нам! Выбрать! Из двух драгоценностей!

И когда давно лошади уже бежали, звеня бубенцами о нас, по верхней – или по нижней – дороге и никто нас не слушал, мы все еще вслух жалели о пути, которым н е едем, потому что сердце вмещало оба, не отдавало!

Из-за старого сада, из глуши надлуговых рощ – сказочный звук: кукушка! Как год назад – и как два, – как давно, как всегда... Я считаю. Не птичий, совсем другой звук! Молоточек легко роняет его – настойчивый, и всегда чуть прощальный, двойным легким стуком – в воздух, синий, и теплый, и которому нет лет.

Роясь под нижним балконом, я, не веря глазам, нашла свой потерянный, прошлогодний мяч (не очень большой, серый). О нем было столько слез! Кочерга долго гоняла его под домом, в отдушину... не выкатила! Остался там! Не верю счастью: он т у т! Чуть сырой, но весь целый, круглый, тугой, м о й! Не лопнул! Он мок, мерз, один, целую зиму!.. Сам выкатился? Я прижала и глажу его, нюхаю (оглядываюсь – никто не видит?), пробую чуть на язык... Неужели может быть большее счастье? Не может!.. «Де-ти, где вы? – Лёрин голос из окна. – Ужинать!» По клавишам, перегоняя друг друга, мамины руки. Мама играет! Ноги бегут вверх по балконной лестнице – сами собой.

Из Москвы приехавший папа огорченно рассказывал маме, что время идет, а мрамор все лежит в горах Урала, и никакие телеграммы Музея не сдвигают его с векового ложа, недостаточное знание местных условий, нехватка средств перевозки явились новой помехой. Вертясь возле мамы, я слушала эти не совсем понятные слова, но не решалась спросить. С папой приехал муж маминой подруги детства Тони, художник Юхневич, увековечить нашу любимую дачу

в ее густой зелени. Он написал ее маслом, сбоку, на фоне деревьев. Меня заставили постоять вдали, в красном платице.

Пожилая неуклюжая из-за толщины, вся какая-то квадратная, фрейлейн Преториус не поспевала за нами и была возле нас – один сплошной вздох, но в минуту опасности отличилась неожиданным мужеством. Прямо на нее, расположившуюся с нами на бугорке под березами, бежала откуда ни возьмись бешеная собака: пена у рта, опущенный хвост – но крепкая еще рука Преториус нанесла ей по голове удар мирным толстеннейшим словарем, – и собака – от неожиданности, что ли? – побежала дальше. Это возвысило фрейлейн в наших глазах. Но собаку было жаль: побили, да еще бешеная!

Думаю, что от необычной «дачной» природы тарусской, столь богатой горками и пригорками, и от нас, детей, не по вкусу ее немецким понятиям о детях, Преториус отдыхала, несмотря на далекий холмистый путь, – только у Тети.

Беседы с хозяйкой, старше ее, чужеземной, как и она, в этой стране (некогда, как и она, гувернанткой, ныне же барыней), уют воспоминаний о прошлом – все наполнило душу фрейлейн усладой и отдыхом от сложного узора нашей семьи.

Но уют, шедший от Тью, от старинных, устарелых ее привычек, от раз навсегда заведенного, комфортабельного ее быта, чинного, хоть и праздничного, – и праздничного, несмотря на порой чрезмерную нам, детям, чинность, уют, на который дети так падки (как кошки), искупали все запреты и все замечания, сыпавшиеся на нас, как из рога изобилия. Лейтмотив же их был один: «Мунечка, ne sois pas violente», «Анечка, ne sois pas agacante»<sup>1</sup> Мусино гневное своеволие, как и моя склонность всюду лезть, все спрашивать и жаловаться на грубость со мной старших детей – вошли в поговорку. Тью не одобряла

многое в нашем воспитании, считая его вольным, но, нежно любя маму и видя сложности ее жизни, извиняла ей.

На диванчике под дедушкиным портретом – серый призрак его, с худым, уже тающим в памяти лицом, с сигарой в руке, уходил в сгущающиеся сумерки полутемной комнаты – Тьо рассказывала нам и Преториус о прошлом. В эти часы глаза

1 Не будь так резка. Не будь назойлива (франц.).

Т

Муси становились совсем другие – светлые, широко раскрытые; они были печальны и тихи, и я знала слово, которым звалось то, что в них жило и томилось: слово «тоска»... как облако, оно обнимало нас, и не было тоске утешенья – потому что безутешна была даль, в которую ушло детство Тети, у синего Невшательского озера, и подруга ее юности Лоор, и мамино детство, и дедушка, – и в которую уйдет Тьо и когда-нибудь мы...

И когда за нами приходили ушедшие к Добротворским старшие и надо было идти домой – приходилось сделать усилие, чтобы вернуться ко дню. Молодежь шла провожать нас – горделивая старшая Надя, добродушная, с лукавинкой, младшая, Люда, молчаливый, застенчиво улыбающийся Саня. Мы хватали с дороги обломки камней, сверкавших как звезды. Карамели таяли во рту.

И был еще один тарусский мирок, делавший лето зеленой, жару – жарче; сад на Воскресенской горе, где жили «Кирилловны». Их было всего две: Мария, повыше, и Аксинья, потолще. Но вокруг них жило еще много женщин в ситцевых платьях и белых платочках, и звали их люди «хлыстовки». Они жили в ягодном, густом саду и были шумно-приветливы: угощали ягодами, брали на руки, ласкали, певуче приговаривая и веселя, и жизнь сразу становилась певучей, как их голоса, веселой, как

хоровод, и немножко хмельной, как когда в праздник дадут капельку вина в рюмке.

Смутно мы слышали, что хлыстовки как-то особенно верят в бога, но когда раз, придя из Таруссы в рядом с нами простирившийся «старый сад», они там натрясли себе уйму одичавших яблок, - в нашу тягу к хлыстовкам, таким ласковым, замешалось у Марины - чувство удивленья и интереса, у меня - смутного осуждения. Они были старинно-хозяйственны, гостеприимны. Они отличали Мусю за ее ум и крутой нрав; особенно любила ее молодая Маша, некрасивая, говорливая. И было вокруг них - колдовство.

Но все это - и радушный, веселый дом Добротворских, и мирок Тьо на фоне озер, Альп и заветных воспоминаний, и хлыстовки, их жаркий быт, чуть жутковатый, - все тонуло в счастье вернуться домой, в наше лесное гнездо, так странно звавшееся «дачей», в музыку, пение, сирень и жасмин, в тополя, ивы, березы, в уже расцветшие над ними звезды.

По утрам Муся играла на рояле. Она делала большие успехи. Мама гордилась ею. Но в чтении у них выходили неприятности. Муся стремилась читать книги взрослых, мамой ей запрещенные. Развита она была не по годам.

Вечерами, за роялем, пели. Мамин голос был торжественней, и была в нем, в русских песнях, - удаль и печаль. В Лерином - звучало иное, грациозное веселье, жившее в доме до нас, при первой папиной жене, ее маме. Читая Маринино «Мать и музыка», не могу не возразить на то, что она там пишет о Лёре: Марина очень любила Лёру и в детстве и в отрочестве. Разойдясь с Лёрой, позднее, она невзлюбила в с е в Лёре и, не считаясь с явью, перенесла свое позднейшее чувство на - детство, тем исказив быль. Такое Марине было свойственно по ее своеволию - с былью она не

считалась, создавая свою. (Мама в ее писаниях кажется мне тоже упрощенной, схематичной.)

В то лето запомнилась, кроме повторных далеких прогулок в Пачёво, наша частая ближняя прогулка «на пеньки», тропинкой, молодым леском, меж полян, со срубленными деревьями, к выходу на луг. Мама и мы ложились на траву, говорили бог весть о чем. Это было что-то сходное с зимним «курлык».

По Оке плыли плоты. Вечерами на них горели огни. Плотогоны порой появлялись на берегу; тихие рыбаки, жившие на берегу по пути к Тарусе, да и многие тарусские, не любили их, боялись; они пили водку и при случае могли и пугнуть озорной удалью мирных людей.

Этим летом появился новый пароход, вдобавок к старым, «Ласточка» и «Екатерина», - «Иван Цыпулин».

Он гудел иначе, бил воду колесами круче. В страхе пропустить волны, мы звали мать бежать с горы купаться, узнавая еще у поворота от Алексина и Велегова - его гудок. От него шли большие волны. Муся плавать научилась быстро, воды не боялась; мама, плававшая отлично, радовалась ее смелости. Ее имя - Марина - обязывало. Мы знали, что Марина значит - Морская, как и то, что меня мать назвала Асей (Анастасия - Воскресшая) из-за тургеневской «Аси» - «Прочтете позднее!».

Но раз отличилась и я. «Плыви!» - сказала мать, держа меня, шестилетнюю, на вытянутых руках. Я не поняла; подражая ей, бросилась с ее рук - в воду; мутная зелень -

в глазах; я захлебнулась, потеряла сознание. Мать, в ужасе, бросилась вперед, за исчезнувшей мной, и успела схватить меня за пятку. С тех ли пор начался мой страх воды?

Иногда подолгу лил дождь. Тогда наступала новая жизнь: мы начинали видеть дом. Еще вчера он был сквозной, открыт в сад и во двор, он был их частью.

Теперь оживали все его уголки. Уютна была эта внезапная утрата всех прелестей жары, листвы, беготни на свободе. Мы шумно населяли собой сразу весь дом, наполненные кувшинами и крынками полевых и садовых цветов нижние комнаты, где нежданно трещали, дымя, затопленные печи. Только теперь мы замечали, что, войдя в дом из сеней, выходявших во двор без ступеней, мы оказывались в столовой, высоко поднятой над садом, куда сходила крутая лестница, видная нам из окна (наш дом стоял на отлогом скосе холма). Мы вдруг замечали, как потемнело серебро на салфеточных кольцах, как низок, глубок деревенский буфет у балконной двери, что рояль – коричневый, что диван потерт. Что веер из желтого твердого пальмового листа – расколот. Мы забредали в спальню, выходящую окнами в густую сирень и – под углом – на заросшую крокетную площадку. Вдруг оживала, блестя под стеклом, мамина бёклиновская «Вилла у моря» - скалы, каменные ступени выбитой в них лесенки, сходящей к волнам, фигура женщины, рвущиеся в ветре хвойные ветви.

В кухню надо было бежать через угол сеней – низкую полутемную, с маленькими, по-деревенски, окошками и такую жаркую, точно она вся была – печь; там пахло ржаными лепешками, как у Добротворских на кухне, тушеной говядиной с зарумянившейся в соку картошкой. Нас ласково встречала кухарка, угощала только что вынутыми из духовки пирожками. Мы бежали вверх, в наши две светелки под крышей, по которой стучал дождь, – налево Мусина и моя, направо – Андрюшина.

Теперь оживало все то, что мы за обычным вбеганьем и выбеганьем не замечали: разных узоров одеяла на раскладных полотняных кроватях, грубые милые табуретки с глиняными тазиками; ведро было звонкое.

Наше с Мусей окно глядело туда же, куда под нами -боковое окно спальни, в провалившийся глубоко огород за крокетной площадкой и кустами малины, окаймленные густотой высоких деревьев, скрывавших от нас «сторожевскую

поляну» с плохоньким домом сторожки и городской богадельней. Из Андрюшиного окошка было видно то же, что из рояльного окна столовой, под ним - тропинка в «старый сад» с громадной елью и низкими кронами яблонь.

Но в дождь больше всего мы ценили верхний балкон, где в уютной клетке мы всласть слушали дождь, хлещущий ветер, клекот летящих по желобам ручьев, смотрели на бурные светлые струи и гнали палками листья по желобам свежевываемых гулких крыш.

Жар, лившийся с неба, жег шею, лицо, лоб. Босые ступни обжигались о раскаленную землю. Разве забудешь счастье припасть к краю ковша, почерпнутого почти на бегу из старой огромной бочки в сарае, полутемном, спасенном от солнца в тот час? Отчего вода в бочке оставалась холодной? Она была почти как ручей, родниковой, по пути к городу из-под камня. Было ли, позже, наслаждение большее в жизни, чем тот ковш!

По сторонам колеистой дороги появлялись маминны «им-мертели» (не те позже узнанные и увиденные соломенно-жесткие, пестрые - солнышками - бессмертники) - мелкие серо-пепельные, мягче кошачьих лап, легкие яйцевидные шарики. Мама и мы встречали их как друзей! Мы знали, что по-французски «immortel» значит «бессмертный». Они не увядали, как все. А потом что-то начинало делаться с летом, все как-то изменялось - облака, деревья, появлялись другие звуки и запахи, и мы, в горе, уж думали, чо это кончается лето, - когда по особенно синему небу,



паутинками в «старом саду», запаху грибов и сырой соломы – мы узнавали еще новую радость, – это вовсе не «лето уходит», а это «пришла осень»!

Изменники! Забрзжившую грусть мы отдавали за новое счастье, бездумно купаясь в щедро льющейся роскоши сентябрьских рощ! Мы не успевали. Это было состояние опьянения. Точно зеркалом освещенной панорамной картиной открывался волшебный осенний мир. Чья-то рука так быстро меняла картины, что только бегом могли ноги поспеть и грудь хоть немножечко надышаться: стволы и пеньки грибной рощи, где мы всей семьей – впервые – набрали уж целую корзину грибов. Мама надевала нам головные платочки, Мусин-голубой, мой – розовый. Верхом, качая загорелые ноги, скачет на гнедой лошадке баба, спеша на гумно. Таинственность

этого слова зажигает мгновенно на нашем бегу предчувствие того, что настанет сейчас: над криком мужиков и кружащимися у молотилки в необычной упряжи лошадьми, над пестрыми платьями и платками помогающих в молотье баб – летящий мягкий желтый «снежок» половы. Смутна память – о «когда мы были маленькие» – о цепах, взлетающих над рожью, давно, когда еще не было молотилки.

Вечер. Рояльные звуки из окон в музыкой гремящую листву. За аллеей «большой дороги» огненная полоска заката, под тучей. Грушевые карамели во рту – длинными зелеными карандашиками, от сосанья из мутных делающиеся блестящими, прозрачными и тоненькими... Всей семьей мы выходим в вечерний осенний ветер, из леса – в поле. О чем-то говорят старшие, о своем. Бежим вперед, дышим ветром, машем хлыстами с листиками на конце. Уют дороги меж деревьев вдруг обрывается об огромное неприятное поле. Полоска заката уж совсем узенькая, как осколок

грушевой карамельки. Ветер бушует, платки рвутся с голов. У, к а к холодно!.. Поворачиваем домой.

Только наутро мы узнавали, по какому лесу мы шли вчера темным вечером, обходя овраг, поросший ореховыми кустами. Как мог стать он таким пестрым, рыжим, рядом – светло-желтым и потом – бурым, розовым и темно-красным, малиновым! Только теперь видно, какие разные кусты это были все лето, перемешавшиеся в зеленой гущине овраговой кручи! А опушка леса «большой дороги» всегда была такая зеленая, что даже синяя, там, где дубы – дубы были плохо видны, заросшие осинами и березами, – а теперь их каждая ветвь как выточенная, каждый лист вырезной, точеный, как желудь и желудевая чашечка, – и вместо синевы, темно-зеленой, – все дубы играют в красное и в золотое, всеми ветками – и они совсем отдельно стоят от осин и кустов. Дуб – это царь деревьев, как лев – царь зверей. А у грибов царь – белый гриб! А у ягод – совсем нет царя, потому что малина – лучше клубники, а земляника – лучше малины, а полевая клубника лучше, чем земляника, а куманика... – и так идет без конца...

Поля – сжаты (стриженые). У дорог – те, осенние, на светлом мясистом стебле – цветы: шапочка мелких, светло-розовых, как в прошлом году. И – на зеленых, узелками, стеблях – крупные синие цветы с плоскими лепестками. Годы поздней мы узнали имя: цикорий. Кучи соломы; мы в нее зарываемся. Как она пахнет! Яма в «старом саду», летом заросшая густо, снова, как год назад, полна зеленой воды,

И в упавшей коряге желобок полон воды. Звук пастушьей дудки. Сторожевские дети роют у края холма пещерку, над ней проделывают дырку для дыма, жгут под ней костер и пекут картошку. Убежав от фрейлейн, несем туда стащенную на кухне еду.

Отступили назад летние запахи – бузинный, тополиный, липовый; запах горячей от солнца малины, запах купанья; речных лопухов, матово-зеленых, с белой подкладкой, -пряный, немного противный и все-таки родной. Пахнет прелыми листьями, грибами – и этим пахнет не просто в воздухе, а – в ветре. Запахи не стоят и не веют, как летом, а – несутся, несутся! И мы несемся с горы отчаяннее, чем летом: скоро все кончится! Каждый день мы в тоске выбегаем в «старый сад» и на «большую дорогу»: глядеть, как много уже со вчера листьев сорвано ветром – как все пустей ветки, все больше неба, все меньше леса. Но в то время, как глаза печалились, – ноги радовались, загребая все глубже гущу лиственного ковра.

Наконец ветер срывал все, почти совсем все, и свистел в ворохах голых веток. Тогда под ногами – они шли в мягком по щиколотку – оказывалась вся сброшенная сверху краса -малиновая, желтая, рыжая, – но она бурела, гасла, превращалась в шорох, в смесь слишком сухого и слишком сырого, и мы все это на бегу ворошили. Начинался уют осени. Ока не плыла медленным голубым зеркалом, она была сине-свинцовая и сердитая, и по ней – рябь. Шли дожди. На нашем верхнем балконе, за прямыми его, как дождевые струи, серыми решетниками, одетые в драповое, мы низали бусы, срывая темно-янтарные ягодки с густых рябиновых кистей. И как терпеливо и жадно ни старался рот прожевать... проглотить – ничего, кроме огорчения, не получалось от упрямой рыжей мякоти – такой горькой, что дрожали даже игла и нитка, пронзавшие красавицы ягоды.

А когда после таких двух-трех дней дождя мы вновь выбегали на солнце, было так холодно и мокро, руки делались красные, и хотелось – и было стыдно – идти греться в кухню. От луж все кругом было другое,

чужое... И впервые за все лето вдруг вспоминалась – Москва.

А уж в доме – сборы. Мы уезжаем. Тюки, корзины, портпледы. Ямщики, тарантасы. Запах лошадиного пота, страстно любимый (Муся его хочет – себе, мне уступает запах дегтя – колеса, травинки). Некогда спорить, потом!

В миг, когда начинает дребезжать колокольчик, детей рассаживают меж взрослых, и замер дух перед счастьем пути – в сердце кто-то поворачивает нож расставания.

– Прощай, Таруса! Прощай, Ока! – в слезах кричим мы. Вечно бы так ехать. И никогда не догонишь даль! Но и в блаженстве дороги – темные пятна. (Это все виноваты старшие: ну что из того, что Мусю опять тошнит? Большая беда!) Подымается шум. Никто не хочет сидеть рядом с Мусей: ни мама, ни Лёра. «Давайте ее мне, – мирно говорит папа. – Мятных пастилок? Ничего, ничего! Все пройдет, все пройдет!» – повторяет папа, похлопывая по плечу Мусю, – а вот и станция уже видна! И вот уж и это умчалось куда-то вместе с отъезжающими от станции тарантасами, уж не нам звенят колокольчики... Как слабо уже! Ведь только что так громко звенели!

– Мам, а помнишь...

Но мама не слышит. Мусю, кажется, уж опять укачало? «Муся, сядь сюда, лицом к движению».

Я гляжу на бледное лицо Муси. Мне жаль ее, но я тайно горжусь. Я вот маленькая и «слабая» – а меня никогда не тошнит! Мама устает от дороги и сердится. Лёра – всегда спокойна. Она ласково говорит с Мусей, старается ее отвлечь, рассмешить. Муся улыбается ей через силу.

Та-та-там, тат-татам, та-та-там...

Я сплю, привалясь о толстый портплед.

# **ГЛАВА 13. НАША МОСКОВСКАЯ ЗИМА 1901-1902 ГОДОВ. МУСИНА ГИМНАЗИЯ. «ЗОЛОТЫЕ КУДРИ\*». НОВЫЙ РЕПЕТИТОР. МАМИН ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО. КНИГИ. МУСИН ХАРАКТЕР. МАМИНЫ РАССКАЗЫ. МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА. РАМС. ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ**

«Москва. Как много в этом звуке...» Вечер. Черно. Блеснул вокзал. Матовые шары стенных ламп, высокие окна, велика-ний самовар и всякая снедь с шоколадом и мячиками апельсинов. Ватага носильщиков в белых фартуках, с бляхами на груди (наш такой ласковый, точно он нам родной), и извозчики ласковые, особенно этот старый (а зато молодые -веселые). Нас рассовали меж взрослых, заткнули в пролетки,

6\*

как дорожный багаж, и я уже хнычу потому, что хочется чтобы верх пролетки был поднят (так уютно под его круглым шатром), а кто-то сказал, что дождя не будет, чтобы верха пролетов спускали. «Ася, да ты замолчишь или нет? Затянула свое «и-и-и»! Какая мука с этими детьми ездить! Бери с Муси пример: она никогда не плачет».

Мы переезжаем огромную площадь перед Курским вокзалом. (Она блестит от дождя, в лужах светлые столбики от фонарей: они дрожат и переливаются – желтые, совсем как от месяца отражение в Оке.) Подковы лошадей чмокают о мокрые булыжники. Москва!

Одноэтажные, двухэтажные домики (окраина), сияние низких магазинных окон, золоченый крендель над булочной, запах жареных пирогов, борща из раскрытых в свет дверей трактира. Грохот колес по камням мостовой. Поворот из переулка в переулок. Церковки... Москва: сон прошел.

Садовая! Широкая, тихая улица: большие дома, особняки.

Мы – дома. Все тот же милый дом обнял нас летним запахом пустых комнат, нафталина, печенья, еще чего-то. Стуком ставен, знакомыми голосами, суетой! Уже несут самовар. В белом молочнике с синей выпуклой ласточкой – ручкой – сливки.

– А на дворе опять дождь! – говорит кто-то.

В эту осень Маруся поступила, девяти лет, в первый класс 4-й гимназии на Садовой, близ Кудринской<sup>1</sup>. Это было тяжелое, многооконное здание двух цветов – светло- и темно-желтого.

Но то, что случилось со мной, когда я первый раз с гувернанткой зашла за Мусей в переднюю гимназии, – меня потрясло. Сколько я ни слыхала о том, как дразнят там новичков (в мужских гимназиях их даже жестоко били, шел слух, что какому-то мальчику вывихнули или сломали ногу, волокли его по лестнице), – это все было – рассказ о где-то там, о ком-то... Но когда я оказалась окружена толпой девочек в коричневом и черном, заплясавших вокруг меня, дергающих меня, кричащих, строящих мне рожи, – я была ошеломлена и готовилась к реву. Уже шла мне на помощь гувернантка. Но не

менее, чем озорство девчонок, потряс меня холод, с которым не заступалась за меня Муся.

1 Ныне площадь Восстания.

Возмущенная, я шла с ней рядом по Садовой и Ермолаевскому переулку – домой, где мы снова будем сестрами, такими похожими, связанными целым миром всего. Обиды от нее дома – не потрясали, они были в порядке вещей. Но обида такая – ее примыкание к врагам – была нова. Я понимала, что заступиться за меня ей мешает стыд, но будь только это – она бы чувствовала вину передо мной. А этого не было. Как в дурном сне – такие бывали во время инфлюэнцы, простуд с жаром, – Муся в час наших приходов за ней каждый раз вдруг душевно примыкала к дразнящим. Эти заходы в гимназию стали мне ежедневной мукой. Но маме я, помнится, ничего не сказала – тогда, по крайней мере.

Но однажды, когда девочка, с которой Муся дружила более, чем с другими, Несмеянова, запрыгала с другими передо мной, крича: «Цветашка, цветашка, красная рубашка», – я, для себя неожиданно, ответно завизжала ей в лицо: «Несмеяшка, несмеяшка, желтая рубашка!» Контраст моего маленького роста (я была очень мала, казалась младше своих лет) и дерзкой в отчаянии самозащитой – произвел магическое действие: с этого дня меня перестали дразнить. Честь была спасена. Тень, павшая на мои дни, исчезла.

Утро. Я прокрадывалась вниз узнать, не проснулась ли мама. Нет, еще спит. Косые лучи солнца, выпуклые, будто трехмерные от кружащейся в них мельчайшей пыли, перерезают гостиную.

Мама зовет! Бегу в спальню, влезаю на темно-красное ватное одеяло, ложусь к маме. Затем мы – в столовой. Пьем желудевый кофе с молоком из кружек с синими птицами и едим мелкую-мелкую (завитушками) сдобу от Севастьянова, после чего – урок с мамой. Это

уже вторая зима. Я пишу неплохо, прямым почерком. Это немножко как рисовать.

Я помогала маме поливать филодендроны, залезала под рояль, за которым стояла недосыгаемая для взрослых пальма в кадке. Держала вытянутые руки с надетым на них мотком шерсти, которую мама сматывала в клубок; выдергивала нитки канвы из-под крестиком вышитых мамой меток (букв славянского узора).

В эту зиму мама начала учить меня музыке. Но радостей, даримых ей Мусей, не последовало; способности мои были средние, прилежание к игре – еще ниже. К тому же и рука была мала.

Однажды Маруся (мы все чаще звали ее так) принесла из гимназии маленького формата книжку «Золотые кудри» (автором мне мерещится Эллиот, но может быть и ошибка). Забыла ли она ее дома в парте или оставила, чтобы прочесть после, – но книжка попала мне в руки, и я читала ее не отрываясь. Что-то восхитительное было в ней: девушка в золотых кудрях – башня замка (может быть, ее звали Эллен?). Чей-то далекий путь, чья-то разлука, и над полем с костями (битва) ветер и реянье птиц. Сердце пылало почти как от Ундины, распахивалось шире и шире – в эту минуту вошла Маруся. Увидев мое восхищенное и растерянное лицо, она молча подошла ко мне, взяла книгу, оттолкнула меня и спрятала книгу в парту. Только тогда, надменно торжествуя победу, она проронила: «Читаешь чужие книги? Без спросу?» Своего ответа не помню – он потонул в горе о прерванном счастье, о ее жестокости. Но спорить, просить было невыносимо.

Разлука с «Золотыми кудрями» была суждена, как разлука героев в книге. Спорить было не о чем. Маруся унесла книгу и никогда не принесла ее вновь. И я знала, что ее страдание ревности оттого, что в ее наедине с книгой вкрался третий, – не менее сильно, чем мое.



Был ясный зимний день над полем, над чьими-то костями летали птицы. Я не успела перевернуть страницу. Нам было девять и семь лет.

Мама не узнала об этом. У нас и от нее были тайны. Она бы вошла праведным гневом в наши мученья, а тут и гнев ничему не помог бы. Мама была прямее дочерей. Стариннее. И ее: «Как? Мои дети...» – не спасло бы тут ничего.

У Андрюши был новый репетитор, Александр Павлович Г-в. Он был невысок, носил высоко назад зачесанные густые белокурые волосы, усы и бородку. Голубые глаза его смеялись, и довольный хохот полнил дом. Он ходил в студенческом. Этот человек подействовал на воображение Маруси. Она написала ему письмо – и оно вызвало его смех и поправки красным крестиком – ошибок. Узналась история старшими. Были слезы в горько обиженных глазах Муси. Была ли мама деликатна – или резка с Мусей? Могло быть и то и другое.

Но вскоре это заслонилося увлечением Александра Павловича Лерой. Конечно, мама и папа косились на происходившее. И кажется, именно в это время виновник его был переселен в отдельную комнату, в кухонный флигель. Там вечерами горел зеленый абажур керосиновой лампы. «Может быть, Александр Павлович пишет Лёре письмо...» – думали мы.

Это были времена студенческих беспорядков, сходок, собраний. Слова «педель», «казаки», «нагайки», имя Льва Толстого. Споры о смертной казни. Цвел и занимал умы и сердца Художественный театр. Заманчиво звучали непонятные слова: «Потонувший колокол», «Чайка». Повторялось странное, чудное слово «Раутенделейн». Мама, Лёра, приезжавшая молодежь Добротворских, сыновья дяди Пети, наши двоюродные – медик (будущий врач-психиатр) Сережа, брат его студент Володя и сестра их Саша (тоже медичка)

Цветаевы, все говорили о Художественном театре, благоговели перед ним.

В эту зиму нас, детей, вновь, как и в прежние годы, повезли в Большой театр. Уж теперь Маруся не бросала из ложи, как в детстве, «вниз» апельсиновых корок. Завороженно она смотрела отроческими уже глазами на медленно подымавшийся занавес, пурпуровый, на взмах дирижерской палочки (дирижер во фраке был похож на Чернилку из сказки Гофмана «Чудесное дитя»). Медленно погасал чудовищный цветок люстры.

Вечерами читали вслух французский роман «Le vaste, vaste monde»<sup>1</sup> (перевод с английского «The wide, wide world»). Я не помню ни одной сцены оттуда, ни фабулы того, что так входило в душу маме и Мусе, – но помню трепет о каком-то одиночестве (бескрайнем жизненном пространстве) вокруг девочки. Некрасивое, худое, скуластое лицо мадемуазель Мари, монотонное чтение... Я засыпала. О другом английском романе мама говорила с восхищением: «Вырастете – будете читать «Джейн Эйр». Мама превосходно знала английский – «аглицкий», как говорили тогда. Среди маминых книг стояла тоненькая переплетенная книга «Она ждала». Новелла Пауля Гейзе, перевод Марии Мейн – мамы. Много лет спустя, уже после мамы, мы прочли эту повесть о верной женской любви

<sup>1</sup> «Широкий, широкий мир\* (франц.).

к человеку, из жизни той юной женщины давно ушедшему. Может быть, мама, переводя, помнила С. Э.? По-прежнему вечерами приходил иногда «курлык»: лежание с мамой под шубой на ее постели, с черным котом Васей, и засыпание, пока не раздадутся папины шаги по мосткам – ужин, чай. По-прежнему мама приходила наверх читать нам вслух какую-нибудь любимую книгу: мы кидались усаживать ее на стул, уложенный подушками, увешанный одеялами... Милое мамино лицо улыбалось, она поправляла на плечах свою

клетчатую шаль, раскрывала книгу... Блаженные часы жизни!

В гимназии ли простудилась Маруся? Она слегла с крупозным воспалением легких. Мама ухаживала за ней умело – была сестрой милосердия в Иверской общине, строго исполняла советы доброго доктора Ярхо. Но однажды выздоравливавшая Маруся попросила меня тайком принести ей из буфета кусок холодного мяса. Сердце у меня билось, я летела с ним, как лиса с петухом. Марусино наслаждение было велико, но результаты проделки невеселы. Мусе стало хуже. Мне попало – бранили. Но натура Муси победила и осложнение болезни, и саму болезнь. Она встала.

Как могла я так долго не рассказать о ней? Акушерка, помогавшая маме при нашем рождении, Мария Васильевна Иванова. Это был один из милейших людей, встреченных нами в жизни. Ниже среднего роста, но не кажущаяся маленькой по стройности и худобе, всегда в черном, она стоит – руки за спину – у печки в детской и, улыбаясь какой-то терпкой, жалкой улыбкой, что-то рассказывает – такое же горькое и скромное, как сама. У нее сестра Александра, которая часто болеет – и потому у нее трудный характер. Иногда Мария Васильевна негодует на нее. У них множество каких-то дальних родственников, двоюродных племянников, о которых надо заботиться, хоть и не из чего; кому зашить, заштопать, кого накормить, кому постирать, кого пустить переночевать. Живет она за Москвой, в Реутове, при родильном доме, и из рассказов ее встает что-то огромное, неуютное; мне мерещатся какие-то черные чугунные лестницы (говорила ли она о них? или я их изобрела?), затурканные, злые друг к другу люди, бедность, ссоры, гул какой-то страшной жизни, в которой Мария Васильевна бьется со своей сестрой Александрой и тощими студентами-племянниками. И помнится сын ее,

восемнадцатилетний Саша, умиравший от чахотки в Сухумской больнице, ждавший ее, мать, слышавший гудок парохода, ее везшего, просивший врачей поддержать его жизнь до нее. Была ли невыполнима его просьба или не была выполнена? Он умер за несколько минут до ее прихода в больницу. Мы видели его фотографию – у него были те же тонкие черты, что у матери, те же огромные черные глаза, тот же скорбный рот...

Как Марина ее любила! И как она любила Марину...

Мы любили ее приходы, ее добрый смешок, ее тихий голос, ее задушевную ласковость. Сколько могло ей быть лет? Такие люди не имеют возраста. Смуглость худых щек была старческая. Волосы, туго заплетенные, – черны. Еще была у нее дочь Лиза, красавица, гимназистка. Мы ее не видали.

Иногда вечерами мы играли в карты – в дурака, в ведьму (азарт ужаса нахождения у себя пиковой дамы делал вторую игру любимей первой). Но самой любимой была игра в рамс.

Я не помню ее сути, но до сих пор помню трепет и радость этой игры и знаю, что было и нечто благородное, делавшее ее выше всех других игр. Помню торжество козырного рамса; может быть, я неверно взяла слово «благородное», может быть, надо «торжественное»? Эту игру я до сих пор по памяти чту. По субъективной аналогии назову игру в горелки. И в беспредельном «кругу» тарусской «сторожевской» поляны за дачей, и в более узком – залы в Москве – память о жарком лете и радости этой игры имеет в себе нечто от рамса.

Елка 1901 года была для Маруси особенной: первые ее каникулы. И хотя, учась отлично и готовя уроки неучитываемо быстро, она успевала и читать, и рисовать, и играть на рояле, и драться со мной, как до гимназии, все же, думаю, Рождество загорелось ей в

этом году еще ярче. И панорама, и подаренная Андрюше игра «китайские тени» – набегающая гонка черных силуэтиков на фоне полукруглого экрана круглого картонного сооружения, и бенгальский огонь Лёри-ных «живых картин» – все просияло ей ослепительней, перед потуханием о тяжелые двери 4-й московской гимназии. С Несмеяновой она дружила по-прежнему – озорной, некрасивой, насмешливой девочкой.

В музыкальной школе успехи ее росли. «Маруся будет музыкантом, – говорила мама, – Ася – художницей... Все,

что мне не далось до конца в жизни, – они...» Может быть, играя в пустой нашей зале, горя за роялем еще больше, чем за палитрой и книгой, даже чем за дневником (начатым с девических лет – черные томики росли, уж был начат девятый), – мама мечтала о зале, полной слушателей, способных оценить ее игру? Папа был к музыке – глух, ее отец, с нею игравший в четыре руки, умер... Мама так и не узнала, что слово, стихи – отстранят с Мусинога пути музыку.

Я не сказала, какие книги читала нам теперь вслух мама: колдовского «Щелкунчика» Гофмана и его волшебное, светлое «Чудесное дитя», «Без семьи» Гектора Мало (по-французски). Маруся, знавшая язык много лучше меня, страстно полюбила эту книгу и так часто говорила с мамой о ней, что я с детства сохранила в памяти имена Виталиса и Реми, собак Зербино, Капи и Дольче, обезьянки Жоли-Кёр, так жалобно умиравшей в стужу, заболев в переходах бродячей труппы. Научившись читать легко, с пяти-шести лет, хоть и позже Муси (читавшей в четыре года по вывескам), я в шесть лет читала с увлечением книги. Уроков же чтения совсем не помню.

Вслед за Мусей я читала любимую сказку всех нас: андерсеновскую «Снежную королеву». Что-то было

общее между Марусей и Маленькой разбойницей, и Маруся любила ее иной любовью, чем Ундину, Русалочку, Герду. Мне кажется, в ее любви к Маленькой разбойнице было некое панибратство, узнавание себя в другом, молчаливый кивок. Была в Марине с детства какая-то брешь в ее соотношениях с дурным и хорошим: со страстью к чему-то и в непомерной гордости она легко и пылко делала зло. Нелегко на добро сдавалась! Насмехалась, отрицала суд над собой. Но зато когда уж приходила к раскаянию, – то скупыми на вид, тяжкими своими слезами сжигала свою вину. Помню и во всю жизнь потом – ее лицо таких дней и часов: светлые, светлее обычного от заплаканности и мук застенчивости, глаза. Выражение отрешенности, отсутствия – среди тех, за обиды которым каялась. Словно прислушивалась к чему-то одной слышимому, что одно было ей непреложно.

А мама в эту зиму особенно увлекалась медициной. Много работала в Иверской общине сестер милосердия. Часто бывала на симфонических концертах. Читала «Жизнь Иисуса» Э. Ренана, показывала нам репродукцию поленовского Христа, идущего по берегу Генисаретского озера, непохожего на другие изображения Христа. Она читала Генриха Ибсена, не пропускала ни одной пьесы Художественного театра.

Еще одно событие произошло в этом году: к Тете из Невшателя приехала ее подруга юности, долгожданная Laure (Loor). Погостив у Тью в Тарусе, она проездом остановилась у нас. Маленькая, седая старушка. Она спала на диване в гостиной, мало говорила. Из разговоров старших мы узнали, что подруги встретились не так, как того ждали в юности, и Лоор уехала в Невшатель разочарованная в своей Сусанне. Летом, глядя поверх черепаховых дедушкиных очков, Тетя. сказала о Лоор что-то туманное нам и грустное...

Уют дома, где родился и где идет детство! Он кажется вечным. Кто мог знать, что это идет последний год детства нашего в этом доме, что неожиданные события уведут нас из него так надолго, что детство кончится так далеко от этого дома...

Портрет Андрюшиной мамы, в молодости умершей, смотрит на нас. Зала уже темна. Только отблеск далекой лампы - в трюмо, черно-серебряном. Как пахнет елкой! мандаринами, воском! Какие предстоят чудные утра, -просыпанье с мыслью - Рождество! Мы кружимся, взявшись за руки - вцепившись согнутыми четырьмя пальцами в такие же две руки, ноги - к центру кружения, тела - резко откинутае, образуя с полом залы острый угол. О, как чудно так кружиться - голова летит, уже ничего не видно, так страшно и так ужасно приятно! «А я тебя сейчас отпущу!»

- испытующе-лукаво, громким шепотом мне - Муся. Я судорожно вцепляюсь в ее пальцы, ошпаренная ужасом, -хоть знаю, что она дразнит, не сделает. Зала кружится -окна летят, сливаясь в светлую полосу. «Дети, опять! -кричит мама. - Перестаньте сейчас же!» Все так на свете кончается! Приходится перестать...

Как в раннем детстве, мы иногда ходили в Александровский сад, в его волшебную глубину. На ту улочку, которую Преториус звала «die stille Strasse». Ходили в пассажи. Их стеклянные потолки, пустые фонтаны, чучела стоящих медведей пленяют нас, как в самом раннем детстве. Мы - те

И были еще - Воробьевы горы, - в этих горах жили американские горы - как же про них рассказать? Спорили: «Неверно, это французские горы...» Мы не слушали. Было некогда: сердцебиение начиналось, еще когда среди старших мы подходили к ни на что не похожему сооружению из взнесенных, и падающих, и снова взнесенных горбатостей, обретя билеты, право на приобщение к полету, толклись с расширенными

зрачками в ожидании зова. Когда же, удерживаемые и подталкиваемые, мы переступали какой-то порог, водружась на сиденье посреди пустоты, высоко над Москва-рекой, не видя ни ее, ни светящейся дали, – ощущали, что внезапно что-то уходит из-под ног, и в свисте ветра, прыжка сумасшедшего, мы, вцепясь в перила, обрамлявшие сиденья, ухали в пропасть и, взлетев, рушились еще ниже в непрерывном полете – ты- переставал быть, ты только дышал и боялся, летел, пропадал, цепляясь за пол ступнями, и единственно твоим было биение сердца, захлебнувшегося собой. Нет, не так и не то: наслаждение, хрупкое, как свист ветра в ушах, как эти взлетания и уханья в бездну, которые сейчас прекратятся... Взлет уже глаже, и по устающей сгорбленности, распрямляясь, вылетанье к концу, внезапно под ноги легшему... И тогда, обессиленные, под говор старших, медленно вверх по тропинке, в море кустов, – к той террасе крынкинского ресторана, где шипучка, грушевая и пирожные и откуда – сиянье высоты, воздуха, и Москва вдали – россыпь жемчужин, и шелковым ручейком – блеск реки...



## **ГЛАВА 14. ВЕСНА 1902 ГОДА. НОВАЯ ГУВЕРНАНТКА - РЕВОЛЮЦИОНЕРКА МАРИЯ ГЕНРИХОВНА. АНДРЕЕВЫ**

Весна. Уже тает снег, идут дожди, вечера длинные, светлые. Мы уже в драповых пальто с пелеринками, в матросских беретах. В этот год нас взяли «на вербу» - вербный базар на Красной площади. Как я боялась, что меня, младшую, не возьмут! Но Лёра настояла, меня взяли.

Огромная площадь полна народу. Местами приходилось проталкиваться. Вербные игрушки - «тещины языки», с писком вылетающие на проходящих, надувающиеся колбасой; свинки, тоненько визжа, испускающие дух, морские чертики, «американские жители» в колбах с подкрашенной водой, в стеклянных трубках с резинкой на круглом отверстии - все верещало, оглушало, сверкало. Жареный миндаль в бумажных тюбиках, орехи, вязкие сладкие стручки, турецкие бобы и маковники (последние мы не ели, не нравились). Гармоника, цимбалы, балалайки... Синяя небесная эмаль весеннего дня, вновь после зимы, облака над Кремлем!

К весне мама отпустила гувернантку и взяла нам русскую немку. Ее звали Мария Генриховна. Мы почти все время говорили с ней по-русски. Высокая, ширококостная, худая. В ней было что-то жалобное. Мы скоро узнали, что она много страдала, что она - «за народ», «против царя». Она тоже привязалась к нам. Это была первая гувернантка, с которой у нас завязались интимные отношения, и первый человек,

заговоривший с нами на тему народной печали. Ластясь к ней, мы называли ее «Киска». Мы были счастливы, что она будет с нами в Тарусе. Это был друг.

В эту весну у нас произошло знакомство с детьми, жившими в нашем флигеле, Андреевыми, Таней и Верой. Киска способствовала этому сближению. До нее мама нам не разрешала знакомств с чужими детьми. Мы росли обособленно, как росла и она. Детей мы видели в скверах и на бульварах. В гости к «знакомым» мама не ездила, лишь в театры и концерты. Не знаю почему, Марусе больше понравилась младшая, моя однолетка, Верочка, а мне -девочка много старше меня, Таня. Верочка была маленькая, круглолицая, с белокурой косичкой. Таня - темная, высокая, тоненькая. Так мы и разделились, по две. Изредка лишь играли все вместе, с Андрюшей. Во дворе пахло голубиным пометом и сырой землей. Она готовилась к первой травке. Мы бегали с кусками черного хлеба с солью (взяв их в кухне - мама не позволяла бегать с куском). Почему мама не позволяет? - это так вкусно!

Облака были совершенно серебряные. Ворковали голуби. Из окна шли звуки рояля - хроматические гаммы. Муся готовила урок в музыкальную школу. Пальцы ее летели по клавишам так быстро. (Мои - так медленно!)

«Ася, мама зовет!» - «Иду!» - кричу я, выбегая навстречу Киске. Как я ее люблю! Ее глаза, светлые, ее лицо, когда она говорит: «Это есть истина»...

Смутно чувствовала я, входя со всей семьей нашей в университетскую церковь, что Киска не любит церкви. Мне было жаль. Мне смутно хотелось слить и церковь и «это есть

истина\* - в одно. Чтоб было радостней всем, Маруся лучше понимала ее настроенность и жарче рвалась к ней, к тому, что стояло за ней. С мамой мы не говорили о Киске, чуя, что она «не поймет», поймет - не одобрит!

Из маминых слов о «Жизни Иисуса» Ренана мы понимали, что в церковь она ходит иначе, чем папа – сын и брат священника. Но было ясно, что и с «Кискиной истиной» маме не совсем по пути. Высокий потолок (а не купол) церкви давал домашний уют службе. Народу было не много – профессорские семьи. Мне было семь с половиной лет – мне полагалось исповедоваться; младенческое право на причастие без исповеди уже было утрачено. Но – была эта исповедь, по-моему, «ненастоящая» -говорил «вместо меня» священник, – и потому мне первая исповедь не запомнилась. Помню позолоту и свет. Давно мы уже знали популярную Священную историю. Адам и Ева, Каин и Авель. Моисей в камышах в корзинке, найденный египетской принцессой, дочерью фараона. Всемирный потоп. Ноев ковчег, Авессалом, повисший на волосах, Иона и кит, Иисус Навин, сказавший солнцу: «Остановись!»; море, расступившееся, чтобы пропустить евреев и задержать войска фараона. Золотой телец и скрижали, Ааронов зацветший жезл, борьба Давида и Голиафа, Сара и Агарь, 850-летний Мафусаил – спутав хронологию, жили в голове, в сердце -рядом со звездой, волхвами, пастухами, с сияющим младенцем на соломе в кормушке-яслях. И все эти чудеса, войны, гибель целых народов тихо кончались простым рассказом об Иисусе и рыбаках. Все это было так знакомо – отдельными рассказами и упоминаниями с детства. Разве оно могло не быть? Так отчего же Киска не ходит в церковь? И смотрит на нас так особенно, когда мы идем?

Мы знали, что Христос был еврей, как и Божья Мать. Мама с детства приучила нас любить и уважать евреев, рассказывала о неправде против них, о преследованиях и погромах. Помню, однажды, при нас, услышав от Иловайского слово «жид», она запретила ему произносить его при детях.

Мы были рады, в этом мама и Киска похожи: Киска тоже ненавидела гонителей евреев.

Наступила Пасха.

Мы с Андрюшей летали по дому, пробуя, приставая, мешая, а Маруся утянет изюму, сядет в уголке с книгой, радуясь, что ей не мешают – меньше смотрят за ней, чем

всегда. В ночь старшие ушли в Кремль слушать перезвон всей Москвы. Мы у себя наверху ждали их, ловя отсветы фейерверков и слушая в форточки, раскрытые по-весеннему, гул и трезвон. И никто из нас не знал, не предчувствовал, что это – последняя весна нашего детства, что скоро дом наш останется пуст.

И снова мелькают верстовые столбы мимо вагонных окон, снова поезд везет нас, радостных, из Москвы в Тарусу, в наше летнее, любимое, цветущее и горящее солнцем, овеянное ветром и запахами тополей и сирени, насиженное родное гнездо.

# **ГЛАВА 15. ЛЕТО 1902 ГОДА. МАРУСИНЫ ИМЕНИНЫ. ПОЕЗДКА РОДИТЕЛЕЙ НА УРАЛЬСКИЕ ЛОМКИ МРАМОРА. ЧЕЛКАШ И ГРОМИЛО. КИСКА И СТИХИ ПУШКИНА. ЯРМАРКА. ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ В РОССИИ**

Снова добрый дом Добротворских встречает нас, по пути к даче, гостеприимной веселостью. Все подросли немного, чуть изменились. Только сад – липы и яблони – стоят те же, более медленные в росте, чем мы. И солнце – как сто лет, как тысячу лет назад и как будет через сто, через тысячу -делает воздух раскаленным зеркалом и зажигает меж листьев синее кружево. Все тот же рыжий Барон гремит цепью...

Оставив нас на Марию Генриховну, убедясь в нашей привязанности друг к другу, мама уехала с папой на Урал, где он хотел ближе ознакомиться с условиями добывания мрамора, свидеться со знатоками. Оттуда нам шли письма.

Лето ползет медленно, как золотая бархатная гусеница. Осыпались в кувшинах черемуха, сирень, жасмин; пестреют вместо них в кувшинах и крынках душистыми охапками полевые цветы. Стоя на цыпочках, мы в прозрачном, тонкоствольном вишеннике рвем с веток над головами спелые, темно-красные вишни. Решетами несут землянику, полевую клубнику, душистую, зеленую, с розовыми бочками, черная смородина – пахнет лесными клопами; из белой и

красной варят чудное желе. Кипят тазы с вареньем, мы лижем пенки.

Вся правая сторона заросшего высокой, густой зеленью сада стоит в великаний рост – заросль из «Спящей красавицы»? Под ней – малинник, и мы подолгу7 пропадаем в нем, пробежав туда тропинками между грядок или просто прыгая через них.

Елочки, носящие наши имена, выросли; мы меряемся об их ухе переросшие нас стволы. В Боголюбскую – крестный ход. Воскресенская гора полна народом. Мы вспоминаем прошлый год... С Урала шли письма.

В Марусины именины (17 июля – Марина) пекут сладкие пироги – «воздушный» ягодный, – он как пух! Его высоко несут над столом и торжественно ставят. На другом Маруся рассматривает слепленную ею из теста, по разрешению Лёры, мыш – она стала золотая и чуть-чуть подгорела. Лёрины зеленые глаза – тот же цвет, что у Маруси, как незрелый крыжовник (мои – темнее), – улыбаются ей. Киска и та веселая на Марусином празднике. Она загорела, как все мы, и даже поправилась, хоть она с нами везде целый день.

...Папа и мама вернулись из Златоуста! Сколько радости, сколько рассказов! Точно эхо уральских гор прокатились они по нашему лесному домику. Мы слушали, как в диких горах и дремучих хвойных лесах засверкал целый мраморный город, к нему вьется вверх новая железная дорожка, по ней везут белоснежный искристый мрамор.

Но на другой же день папа уехал давать отчет об удачной поездке – мрамор идет в Москву! И в то время, как мама говорила: «И нам с папой хочется верить, что жизнь в городе этом не заглохнет в горах после построения Музея, ведь уже четвертый год население кормится вокруг этого великолепного камня, – не должен этот мраморный город замереть... Дети, ваш отец начал великое дело не только в Москве, но и в

горах Златоуста...» - мы уже мечтали о том, что и мы поедем туда...

(В этот ли год Муся съездила с мамой в Тулу? На пароходе, на несколько дней? Должно быть, за год до того.) Иногда мы с мамой, без Киски, ходим мимо поляны с «пеньками» на луг, молодым березово-осиновым леском, примыкающим к «старому саду». Лежим, как бывало (на траве), смотрим, как плывут облака. Возвращаемся берегом, мимо плывущих плотов, редких лодок. И все плывет и плывет куда-то вся наша счастливая жизнь.

В это лето у нас пропала собака. Ее звали Громило. Она была большая, черная, с желтым у лап и морды, шумная, озорная, улыбающаяся. Мы и мама тоже очень грустили о ней. Но через несколько дней она показалась из лесу, медленно идя к дому. Мы бросились к ней вне себя от радости,

но, побежав, стали как вкопанные, Рост, порода, расцветка - все было то же, но морда была уже и выражение ее - другое. Это был не Громило, и мама назвала ее Челкаш (по рассказу Горького). Все очень удивились этой странной замене. Откуда пришел Челкаш? Почему именно тогда, когда пропал Громило? Он остался у нас, а Громило не вернулся, и мы, дети, решили, что Громило прислал вместо себя Челкаша.

Звук гамм, Ганон и серьезные уже пьесы Муси неслись через сад, по лесу и вниз по горе, к реке. С реки крик, это Добротворские заехали за нами на лодке.

Как каждое лето, мы бывали у Тети. Там было все то же. Вечером спичечная коробка звала к себе во мгле комнаты фосфорической светящейся спинкой.

Два с детства любимых шкафа со вставленными в круглых рамах картами полушарий - Западного и Восточного, как и в детстве, таили в себе тайны дедушкиных книг. В сундуках жили тайны Тетиних вещей - нафталиновых, уютных, старинных. В

маленькой гостиной высокие дедушкины стоячие, как шкафчик, часы с помощью трех больших металлических кругов (каждая пьеса имела три) играли, как целый оркестр. Мы узнавали вальсы Штрауса. Муся готова была слушать без конца. Но Тетя звала пить чай или посидеть на мягком диванчике под дедушкиным портретом.

А у Добротворских в саду (чьи-то именины) иллюминация, цветные фонарики меж лип. Мы играем в игры, взрослые и дети – вместе. С нами подросток, Толя Виноградов<sup>1</sup>, плотный, некрасивый, в парусиновой рубашке. У него умное лицо, синие глаза. Он на семь-восемь лет старше меня. Я его замечая и запоминаю.

Мы идем назад поздно вечером. Нас провожают с лодок -песни. Камни сверкают кристаллами по дороге, это – стихи, которые так любит мама:

Выхожу один я на дорогу;  
Сквозь туман кремнистый путь блестит;  
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,  
И звезда с звездою говорит.

Как и Пушкина, Лермонтова убили на дуэли. Ему было двадцать шесть лет!

<sup>1</sup> Будущий писатель, автор романов «Три цвета времени» (о Стендале), «Осуждение Паганини» и др. Сад у хлыстовок Кирилловен и их сестер-подруг разросся еще пышнее. «Тироль» мамин – круча над длинной выдолбленной колодой, по которой течет вода из родника, – еще гуще зарос зеленью.

Ярмарка. Сияющий синий день. Вся Соборная площадь переполнена народом. Звуки балалаек, гармоник, пицалок, дудок, песни. Блещущий ряд разложенных на столах и рогожах, на земле – ножей, пил, инструментов. Запах красного кумача – он пахнет касторкой, Муся не хочет стоять возле него. Игрушки, посуда, одежда, материи, обувь, запах лыка и карамелей с начинкой. Балаган. От жары, от шума и от



пестроты чуть кружится голова. На обратном пути милый голос Киски рассказывает о крепостном праве, о Некрасове, о трудной жизни народа. Она часто говорит нам стихи Пушкина. Муся читает его запоем, пряча от мамы то, что «для взрослых». Но одни стихи, подаренные нам Киской, мы повторяем все время. Муся просто больна ими. Вслед за «Памятником», который она знает давно, она твердит, и я за нею – бредем ли вдоль дорог, бежим ли по уже скошенной траве, просыпаемся ли в своей верхней светелке, волны веток

- только они да небо видны из окна, -

Прощай же, море! Не забуду Твоей торжественной красоты,

И долго, долго слышать буду Твой гул в вечерние часы

Мы знаем его все наизусть, и мы мечтаем о море. Киска видала его – мы должны его увидеть!

Лето кончается. Уже режем и сушим ломтики диких яблочек «старого сада», кислые, как лимон, и нанизываем на нитки. В дождь мы сидим на верхнем балконе и нанизываем ягоды рябины, прокалывая их терпкую рыжую мякоть иглой: эти ожерелья мы носим. Или мы «удим»: спускаем бечевку в сад, и кто-то из нас подвязывает там что-то – как хочется знать что! Сейчас, сейчас увидим! Руки спешат, перебирают бечевку... Что-то тяжелое. Ого-го! Калоша! Андрюша хохочет внизу. Теперь моя очередь. О, я уже придумала, что я привяжу!

Молотьба. Горы соломы, ее упоительный запах.

Мы летим вниз по горе, по песчаному откосу, мимо баньки, как избушка Бабы-Яги, скрытой невероятной гущиной деревьев. К «вершине» (оврагу, лишь вверху одним боком

доходящему до дороги, длиной уходящему в холм, поросший лесом).

Последний день. Подан тарантас.

...Прощай же, море! Не забуду Твоей торжественной  
красы,

И долго, долго слышать буду... -

бормочем мы, глазами, полными слез, глядя на  
исчезающую Тарусу... Предчувствовали ли мы, что  
столько лет ее не увидим?

## **ГЛАВА 16. ОСЕНЬ 1902 ГОДА. МАМИНА БОЛЕЗНЬ. ПРОЩАНИЕ С ДОМОМ. ОТЪЕЗД В ИТАЛИЮ**

Поезд - осенние пейзажи - полет верстовых столбов, кружение деревьев, то обрызнутых, то облитых золотом,

^ скольжение полей, скошенных... И все летит, и кружится, и скользит куда-то, и мы летим, и кружимся, и смотрим в лицо Киски...

Москва... Сумерки. Первые огни. Как все знакомо, как дорого! А какое счастье - въезжать в Москву!

С Садовой, по Ермолаевскому переулку, въезжаем в наш Трехпрудный. Нас ждут. Кипит самовар. Пахнет нафталином. Несут самовар. И жизнь началась и готова была длиться, как столько раз было, - когда грянула весть: мама, слегшая, казалось, в инфлюэнце, - больна чахоткой! Все детство мама болела только мигренями. Чахотка! Жар, доктора, суета в доме, запах лекарств. Странное слово «консилиум». Остроумов, ассистент знаменитого Захарьина, говорит, что это началось еще давно, в год моего рождения (у мамы тогда вся шея была в опухших железках). Или нет: это не он говорит, а другой доктор, а он - что мама заразилась на операции туберкулезной ноги в Иверской общине: ее пилили, мама держала, помогая профессору. По дому - шепот, толки... Нас не пускают. Доктора шлют маму на Кавказ! Мама отказалась ехать без нас. Мы жалеем маму, но ликуем. Мы увидим Кавказ, море! Мама лежит не в спальне - в гостиной, где спала Тетина Лоор, там высоко - воздух. Вечером разносится слух, что мама

хочет звать нас – прощаться. Маме хуже. Мы замираем, слушаем... Нас не зовут. Мама уснула,

ночь. Наутро другая весть колышет дом наш верх, нас: маму везут в Италию, только Италия может спасти маму. И мы едем с ней!

Каким особенным стал дом с того мига, как мы узнали, что покидаем его! Все умножилось – каждый бег вверх, вниз по лестнице, все комнаты, каждый уголок каждый пролетающий миг, все стало дороже во сто крат – в страшном настоящем расставанье. И позже, потом, в этом огромном потом, после наставшем и продолжавшемся, – ни одно расставание с человеком, с тем, кого всего неизлечимее любишь, от кого отрывали нас поезд, война или другой человек, – не было ново, несмотря на оглушающую силу свою.

Внизу, в зале растут портпледы, тюки, скрипят корзины, стучат и щелкают замки чемоданов, снуют люди, хлопают дверями приглушенно потому, что в доме больной. Наверху мы шепчемся, заглядываем, прощаемся, разрываем себя между счастьем узнать Италию, увидеть море и стольких незнакомых людей и горем – покинуть дом, потерять Киску, которых никакая Италия не может заставить забыть, потому что они есть, но без нас есть, а мы, мы... Ждем, когда доктора позволят маме ехать.

По дому шли ропот и голоса одобрения – о почти насильственном отъезде с нами Лёры, ехать не хотевшей.

День настал. Осенний вечер. Ждут карету – маме нельзя на извозчиках. Мы вновь и вновь обегаем дом, взлетая на наши обожаемые антресоли, по нашей лестнице – когда-то мы увидим ее? Черный Васька, взъерошенный от объятий, тоже, как и мы, в дорожной лихорадке. Весь багаж обнюхан им поштучно. Кот напутствует вещи в иные края и дома. Пес, мокрый от вылетаний из будки на дождь – еще раз с нами обняться

(в суете за нами мало следят), – ободряет нас мокрым носом, ушами, лапами, хвостом. Тополя сыплют нам листья. Голуби, прощаясь, воркуют.

Карету подали. Тащат багаж, укладывают в пролетки. Мы несемся наверх. Сиротливо сидит на толстом соломенном заду

тряпичный кот с давно затертой мордой, – давний, любимый кот. Ему не позволили ехать. Вот когда-то малиновая рубашка с оторванным рукавом над вылинявшими синими шароварами моего заброшенного Аркаши. Нам тогда было четыре и шесть, теперь нам восемь и десять. Муся, вскочив коленями на кровать, целует картонную картинку собаки, я – кошку, и обе мы, каждая свою, рождественскую картинку, где в последний раз нам искрами сверкает бертолетовый снег.

– Маруся, Ася? Где вы?

Это – последний миг. Еще раз мы оглядываемся, впивая в себя вид детской, и, толкая друг друга, плача уже о другом, о том, как же мы сейчас расстанемся с Киской, летим к ней, ждущей нас у лестницы с заплаканными, как и наши, глазами. Большая, неуклюжая, за это еще больше любимая; волосы, прямо назад ото лба зачесанные, глаза светлые -еще светлее от слез...

Мы одеты. Но мы хотим еще раз обежать нижние комнаты – нас зовут, кто-то кричит: «Опоздают на поезд...» Последний взгляд в залу: узор филодендронов у окон, портрет Бетховена над роялем, высокие белые двери, раскрытые в гостиную, за ней кабинет. Сердце бьется. Дверь сеней выводит свою жалобную ноту, там тащат что-то. Мы присаживаемся на мгновение, кто где, и выходим в распахнутые парадные двери вслед за папой и мамой, Андрюшей, Лёрой и Киской. Из-под серебряных вензелей гимназической фуражки глаза Андрюши глядят на нас как-то совсем иначе. Но он

стесняется, отводит взгляд, как он похож сейчас на свою мать! Когда мы увидим его? Он один из нас остается в Москве. Его берет к себе его дед Иловайский. Он будет ходить в гимназию. Папа – у дверцы кареты, он усаживает маму. Мама зовет нас, мы садимся напротив нее. Мы высовываемся, стараемся еще увидеть Киску. Ничего не видно от слез!

Лошади перебирают ногами, цокая копытами по лужам мостовой.

– Я уже больше не вернусь в этот дом, дети... – говорит мама. Ее лицо в сумраке кареты бело, темнеют глаза. Голос дрожит.

– Ну что ты, мама! – говорим Маруся и я в один голос, одной интонацией.

– Что ты, что ты, дружок, что ты, Маня... – взволнованно говорит папа, – в Италии – расцветешь...

Карета трогается. Лошади заворачивают в переулок. За окном мелькают мокрые, черные улицы, огни. Сеет мелкий беспросветный дождь. Ветер. Столбики света – отраженье огней – дрожат в черных лужах. Стекло кареты в слезах.

Мы покинули Москву осенним вечером 1902 года.

Марине исполнилось десять лет, мне – восемь.

# **ЧАСТЬ ВТОРАЯ ИТАЛИЯ ГЛАВА 1. ГЕНУЯ. КАМПОСАНТО. ПРИЕЗД В НЕРВИ. ВОЛОДЯ МИЛЛЕР. ВСТРЕЧА МАРИНЫ С МОРЕМ. СВОБОДА!**

Как уютно засыпать на поднятых вагонных полосатых, красных с белым, диванах купе второго класса, под мягкое покачивание поезда, друг напротив друга, Марусе и мне (мама и папа тихо говорят внизу). Уже выпит чай с молоком и печеньем, поданным нам снизу папой, и опущен полукруглый синий колпачок на потолочном фонаре. Темноватый свет, таинственный. Он делает родным наше купе, точно мы уже давно живем, едем в нем не первую ночь. Усталые от пережитых прощальных дней, мы лежим, смотря во мглу и друг на друга, не желая еще уснуть, наслаждаясь наставшей новизной дорожного уюта. Волнение предстоящего, только теперь осознанное, качает нас вместе с ритмом поезда. Беспечность восьми и десяти лет не дают нам думать вплотную - о маме. Мы - с ней, в Италии она выздоровеет! - эгоистически успокаиваем мы свою совесть и счастливыми, жадными глазами глядим вперед...

Утро. Мы стоим у окон, неумоимо глядя на убегающую за ними осень, бушующую ветвями, на штабеля дров, рельсы, встречные поезда, от которых рябит в глазах, в мгновенном испуге. Внезапная неподвижная - не летит! живет, как и мы до вчера жили, - станция, спующие незнакомые люди...

По телеграмме в Варшаве нас встретил папин младший брат, дядя Митя, профессор русской истории, с семьей.

Оглушенные, освеженные польским щебетом, дивясь, слушая во все уши, так говорила мамина мать, мы стояли на перроне, отвечая на вопросы об имени и о возрасте, о том, жалеет ли мы Москву, хочется ли в Италию. Маленький, полный, подвижный дядя Митя, окладистая борода, быстрые

какие глаза, - он похож на папу и совсем другой! Нет, его мы не хотели бы иметь отцом: быстрый, горячий, шутит нам непонятно, он н е наш! Его жена, Елизавета Евграфовна, выше его. Близко поставленные к очень горбатому носу, глаза ее смотрят на нас пристально, остро, но взгляд их добр, улыбка худого, птичьего лица - ласкова. Она говорит с мамой. А мы, на московском вокзале расставшиеся с братом Андрюшей с той же вялостью, как он с нами (мы в его жизни были как-то не очень нужны, он, должно быть, мало терял, нас провожая), с любопытством смотрим на нашего двоюродного брата Володю: полная противоположность Андрюше. Похожий на мать и ее любимец, живой, энергичный, он деловито бежит по перрону, стремясь к паровозу -рассмотреть работу его поршней и колес. «Инженер будет!»

- сказал кто-то из старших<sup>1</sup>. В то время не было такого множества инженеров, как теперь, и эти слова - звучали.

Володя понравился нам! Что-то было родное в его повадке, и в тех минутах, на какие он оторвался от паровоза, - для нас, не было Андрюшиного пренебрежения к «девчонкам», а дружеский, зоркий взгляд карих глаз, повернутый от колес

- к нам. Мы б ы л и бы друзьями - если бы не третий звонок! Мы уже стоим у окон, в вагоне, а перрон, дрогнув, поплыл



- руки, платки, последние пожелания...  
Хлестнувшая слух щебечущая польская речь - умчалась.  
Мама опять плохо!

В Вене мы остановились в гостинице - мама не могла ехать дальше. Лекарства не помогали. Надо было говорить с докторами. Притихшие под тучей внезапной маминой болезни, мы не до дна души, конечно, были подавлены, мир оставался, жизнь шла, жажда впитать и видеть была -сильней. Широкие парадные улицы, витрины, непохожие на московские, коляски и упряжь коней, дома с цветами на каменных балконах - все было оглушающе ново.

Непохожий на московский сад, много детей, чудно и так легко одетых, и недовольные слова Лёры о том, как выглядят здесь наши тяжелые пальто и ботинки, о которых она, верно, тщетно пыталась возразить, выводя нас, - папа, занятый

1 Будущий профессор архитектуры В. Д. Цветаев. возле больной, верно, махнул рукой - веди, мол, как есть, чтобы не вынимать ничего, не мешкать, не беспокоить маму. Крупное, цветущее здоровьем лицо Марины высоко над моим плечом, надменно озирало мелких венских детей с их локонами, шляпами, элегантными жакетами, матросками и голыми коленями - самоутверждением перебарывая стыд идти мимо них в московских калошах и драповом пальто, старом уже, с тяжелой полупелериной.

Я вижу крутые волшебные горы Тироля, леса, водопады, городки у подножий, бурные речки, мостики, летящие назад селенья с готической колокольней, купы деревьев, вновь и вновь перерезаемые мгновенным мраком туннеля, пожирающим пейзаж и вновь его дарящим, выбрасывая из себя наш поезд, словно игрушку, - в новые потоки гор, водопадов и речек, городков, круч и долин, ослепительно свежих, пахнущих осенней травой, сверкающих солнцем,

лилово-зеленый бархат освещенностей и теней. Мама нам улыбается. Голос Муси: «Мама, как похоже на наш тарусский Тироль!»

Италия – близилась. Мы ехали в Нерви, под Генуей. Мама была слаба, но уже не было страха не довезти ее. Синяя эмаль не нашего неба над миндальными и апельсинными рощами. Было тепло. Мы не отходили от окон. Видя, что маме чуть лучше, папа повеселел. Кажется, и Лёре, ехавшей из Москвы против воли, меньше думалось о Москве, летя по холмам и равнинам Италии.

– Скоро будет море, дети, – сказал папа, хорошо знавший Италию, – глядите вон туда...

Мы прилипли к окнам. Сердце билось, заглушая стук поезда.

– Где, где?..

– Ну, вон, вон оно! Левее, неужели не видите?

– Это? – У кого-то, а вернее, что у обеих это сказавших, пресекся обидой голос. Далеко и плоско, крошечно зажата между каких-то неровностей пейзажного рельефа, блеснула серебристой синевою узенькая полоска. Мы ждали, что оно вылетит к нам навстречу из-за поворота, сияющее и огромное, такое, как дышало и билось в стихах Пушкина. Муся, легко и часто красневшая от обиды и застенчивости, должно быть, покраснела в тот миг. Она молчала, сощуриив близорукие зеленые глаза на обманувшую даль. Высокомерно смотрела

она и мимо меня, хныкавшей: «Разве это море? Это совсем не море, совсем даже непохоже...»

Неудачно было и второе свидание с морем. Генуэзская гавань. Папа, видевший наше огорчение, повел нас смотреть его – в порт. Да, оно было бескрайне. Где, за линией воды, в Тарусе были кусты и тот берег, тут был сплошной блеск, кончавшийся о небо. И все-таки – мы ждали чего-то другого. Пушкинское

разбудило, вернее, вызвало в нас нечто такое, чего и в помине не было в Генуэзском; как большие игрушки, плескались корабли в плавных струях мутной воды, пахнувшей дегтем, нефтью. И оно было срезано каменным бортом гавани. Тут царило не море, а бочки и ящики, темнокожие от солнца матросы, канаты, лодки, трапы – все, что мешало морю и нам. И, сконфуженные морем еще раз, мы чинно брели рядом с папой, силясь не выдать себя, чтобы не обидеть его хлопот о нас.

На другой день папа повел нас на знаменитое Генуэзское кладбище СашробапЮ(Святое поле). Мама предупредила нас, что настоящих произведений скульптуры, как те, что мы знали по папиному Музею, вернее – так как музей еще строился – по каталогам скульптуры, там мало или их вовсе нет. Что на могилах, заказанных генуэзской знатью, купечеством, – мраморные изваяния, создания средней руки художников. «Встретится вам, может быть, и безвкусица -аллегии «Скорбь», «Отчаяние», – вставил папа, – не бог весть каких мастеров, но в общем и целом это вам даст понятие». «А «аллегория», – пояснила мать, это...»

Мы слушали потому, что надо же слушать слова старших, когда они так хотят объяснить. И все-таки с Кампосанто случилось наоборот, чем – с морем. Оно понравилось нам так сильно и искренне, что и Микеланджело бы не помог! Темная, резная хвоя кипарисов, густая, как шерсть на дворняге (с подпушком!), невиданного цвета лиловое небо, запах лавра, растопленный в нежной жаре дня (после московских осенних дождей, и под этим – взмах мраморных крыл в каменной тишине кладбища, города склепов и памятников над когда-то тут ходившими, дышавшими, как и мы. Что за дело могло быть нам, в десять и восемь лет, что поза плачущей мраморной женщины, коленопреклоненной у мраморной плиты, –

не в меру патетична? И не то ли, что именно мы чувствовали меж могил, выражал чей-то точеный

мраморный палец у мраморных губ? Не та же ли серебряная тишина сковывала их - и нас? Завороженные, ходили мы по белому городу мертвых, воскрешая под спудом недвижимых глыб - жизнь смолкших под ними людей.

И вот мы стоим на итальянской площади перед памятником Гарибальди и слушаем папин рассказ о нем, о его подвигах и значении в жизни итальянского народа.

Возвращаемся по аллее пальм, в первый раз виденных, в звонком цокоте итальянской речи, из которой жадно ловим -Муся знает уже много слов - веселое колдовство, пришедшее к нам со всеми этими «чинкуента», «чентезимо», «чапелетти», «куанта коста», «буоне дия», «буона сера», «ариведерчи», - в котором пойдет наша жизнь. В Нерви мы едем завтра. Папа уже съездил туда, нашел пансион, где мы все будем жить, он называется «Pension Russe» («Русский пансион»); его хозяин - немец, с юности живущий в Италии; у нас будет квартира в четыре комнаты, во втором этаже, окнами в сад. Маме немного лучше. Лера читает синюю с красным книжку

- итальянский самоучитель. Муся жадно ждет минуты -завладеть им.

Генуэзская гостиница. Снизу - запах ресторана, он смешан со звуками оркестра. Стоит синяя ночь, в ней розовые шары фонарей. В узких улочках на веревках меж домов -белье. Далеко - рокот моря.

Хозяин «Русского пансиона», Александр Егорович Мер, придя узнать о здоровье мамы, привел с собой младшего, одиннадцатилетнего, сына. Они стояли рядом, похожие друг на друга, как могут одиннадцать лет походить на сорок, и улыбались оба той же удалой улыбкой; высокий, широкоплечий, легкий, худой отец, с

длинной, широкой рыжей бородой, в широкополой шляпе, – и Володя, в не первой свежести матроске, рыжеголовой, веснушчатый, такой же широкий, как у отца, нос с озорно подрагивающими ноздрями, лукавый взгляд синих глаз, застенчивых и дерзких, отцовских, у того лишь подернутых лаком тридцати – сверх Володиных -прожитых лет. Но и в отце было что-то веселое и свободное, что мы мгновенно в себе назвали словом «разбойничье» и что жадно понравилось нам. Так оно шло к этой новой, непонятной стране, где нигде не было моря, которым она славилась. И к нашему неизвестному в ней будущему!

Александр Егорович не похож ни на одного из людей которых мы знали, и Володя ни на одного из мальчиков -он сразу нам – чудный! Видимо, он тоже на нас глядел с одобрением, отмечая (стриженные волосы, матроски) нечто мальчишеское. Весело, хоть и чинно, попросил Александр Егорович у мамы позволения отпустить нас в сад под эскортом Володи: «У нас большой сад, надо же вашим девочкам осмотреться у нас, погулять, сынишка им все покажет!»

Мама колеблется. Вид Володи не очень надежен. Мы умоляюще смотрим на маму. За нас, конечно, вступается, «ручается», Лёра – и мы уже бежим сломя голову вниз по лестнице вслед за Володей.

Не будь его – мы бы, наверное, с размаху больших ожиданий, разочаровались в том, что звалось – сад; сада, собственно, не было: прозрачные аллеи меж куртин с невысокими деревцами (они оказались апельсиновыми и лимонными). Ничего сходного с русской тенистостью сире-нево-липовых садов. Но мы были поглощены Володей и счастьем, что мы – в Италии, и это проносило нас над реальностью.

Мы слушали, что живем на улочке, зовущейся Каполунго, что в «Русском пансионе» – столько-то пансионеров, какие и кто, что у Володи есть брат,

Жорж, ему шестнадцать лет, но он только чуть выше Володи; он – слабый, он не умеет драться. Матери у них нет. Она умерла. Давно. Жорж похож на нее. Отец не любит Жоржа. Они раньше жили в Германии. Володя не знает немецкого. Он учится в итальянской школе. Это? Лаин (белый с желтым короткошерстый пес). Еще есть Балин – ненастоящая такса. У нас денег нет? Жаль. А то бы можно купить чапелетти (леденцы). Их можно очень долго сосать! Шоколад тоже можно купить, близко. Володя говорит на несколько ломаном русском, но и это нам весело. Нам навстречу проходит старик в полосатой рубашке (полосы поперек, как у осы) с короткими рукавами. Очень странный старик. На голове – чулок, только короткий. Бороды и усов нет, бритый – с седой щетиной (она блестит, как рыба чешуя). Он почти чернокожий – такой загар. Нос у него – больше, чем орлиный, висит крючком и немного как груша. Садовник, говорит нам Володя, рыбак. Есть еще много молодых рыбаков – Нандо, Орландо. Володя ездит с ними на лодках. Один? Ему позволяют? Мы с завистью, с уважением

глядим на нашего друга. Что друг – ясно, мы точно всю жизнь жили вместе! И, молча, мы уже делим. Володю Муся, конечно, захочет себе! Мне отдаст – Жоржа, я Володю люблю, Жоржа – нет. Потому что он не похож на Володю.

фруктовые куртины кончились. Мы идем по дороге, пересекаемой железнодорожным мостиком. Слева – двухэтажный бескрыший дом. Там живут рыбаки. Впереди – зеленая садовая дверь. Мы в первый раз видим агавы и кактусы. В листьях агав, пыльно-толстых, длинных, зеленых, что-то есть от слоновьего хобота. Легкая жара южного неба томит нас.

Москва, холодный, дождливый вечер отъезда живет в памяти не более ярко, чем сон. Воздух пахнет какой-то особенной хвоей. Это – пинии! Если оглянуться –

пинии, одинокими кронами по две, по три, темно зеленеют здесь и там по всему пейзажу Нерви, его белых плоскокрыших домов. Отчего шум в воздухе? Володя открывает тугую железную зеленую дверь, и мы входим в еще одно отделение сада: оно кончается решеткой (перилами), оно точно висит. Несколько деревьев склонилось над белым, с зелеными ставнями павильоном, другие стоят по краю перил. Воздух шумит еще сильнее – ветер свистит в ушах. Чем пахнет так? Неужели можжевельник? (Таруса...) Где-то жгут костер... Нет, – не только! Чем, чем? Нюхаем воздух, как псы.

– Володя! – крикнула Муся, поспевая за ним, бежавшим вперед, в то время как я отставала, и что она хотела сказать ему, я не знаю, потому что она закричала без слов в ужасе: Володя, разбежавшись, перекинул ногу через кончавшиеся перила. В испуге, паническом, что он перелетит туда, где ничего нет, Муся вцепилась в его курточку, висая на нем, оттягивая назад всей своей тяжестью.

Но в то же мгновение что-то непомерное, неизведанное и родное отвело ее глаза, голову – вбок, туда, где в пустоту и, казалось, из пустоты – но синезеленой и бьющейся – к ее лицу и выше – взлетело огромное, ослепительное, воздушное, с тем самым запахом, что был сильнее, чем пинии, с тем шумом, что вдруг вспыхнул грохотом и, обдав нас солью, рухнул вниз, в зеленую синеву, которая уже вновь подымалась.

Нестерпимый блеск серебра и зелени, занявшей всю даль, разжимал ее руки, и она оглохла, онемела, вся, с головы до ног. Перед нами расстилалось – море...

– Это – Маленькая Марина! – пояснил, лукаво смеясь Володя. – БаСгап(1еМаппа-там, в Нерви! – Он указал направо на полосу серых грифельных скал. – Ее – Ася, – сказал он кивнув на меня, только что добежавшую, – а тебя – как?

- Меня? - сказала Маруся немного высокомерно, точно он должен был знать сам, точно этот вопрос был лишний, разве ее могли звать иначе?! - Марина...

Волны взлетали одна за другой каскадами пены до самых пиний; мы стояли мокрые, задыхаясь от радости, что никто не знает, где мы. Володя - по словам Александра Егоровича, - «показал нам сад»: выйдя крутой узкой лесенкой, высеченной в грифельных скалах, к морю, мы облазили все мокрые камни и выступы, поехали с Нандо в лодке вдоль берега и два раза, в первый же день, упали в воду меж крупных крабообразных камней. Мы сушились на солнце, опаздывая к обеду, мы царствовали на скалах, мы пировали - свободой и морем, мы загорали, голодные и ликующие, позабывшие дом и своих.

И навек подружился с отчаянным сорванцом, разбойником и бродягой - Володей.

Мне кажется, ни в одном из стихов Марины о детстве так не сказалась вся сущность ее натуры, как в написанном позднее - с воспоминанием о детстве. Тут нет гипербол. Так она чувствовала, так она жила. Каждый ее день был праздник ее воли, полный столкновений и горестей. С этим она вставала - с этим отходила ко сну. Вот эти стихи:

...Чтобы пел надменный голос:  
- Гибель - здесь, а там - тюрьма.  
Чтобы ночь со мной боролась,  
Ночь сама!  
...Чтобы все враги - герои,  
Чтоб войной кончался пир,  
Чтобы в мире было двое:  
Я и мир!



## **ГЛАВА 2. «РУССКИЙ ПАНСИОН». ЕГО ХОЗЯИН. ПАПИН ОТЪЕЗД. ЖИЗНЬ НА СКАЛАХ. ВОВА КУРДЮМОВ**

Трехэтажное белое здание выходило на узкую улочку Каполунго. Позади него – апельсиново-лимонный сад, выходящий – лесенками – на скалы. В первом и втором этажах – комнаты пансионеров; в третьем – несколько комнаток и

•!o

большая зала-столовая (табльдот). Кушанья берут через окошечко из кухни горничные, от старой толстой Моники.

Глаза разбегаются – столько новых людей! Все к нам приветливы, ласковы и все отмечают Мусю за ее раннее развитие, ум, талантливость. Хотя Жорж тоже дружит с нами, но мы мало любим его; нельзя поверить, что он – брат Володи...

Мама поправляется. Тяжелое состояние, в котором ее привезли, вызвало особые заботы о ней доктора Манджини.

Он лечит ее новой сывороткой доктора Маральяно, и лечение очень успешно. Маленькие – столбиком – деревянные коробочки из-под сыворотки мы берем себе: в них мы держим камешки, собственно кусочки морем отшлифованных стекол (кто-то сказал – из разбитых карманных плевательниц, цветных, матовых, овальных и круглых, тускло горящих зеленым, желтым, голубым огоньком). Коллекция их растет, они – как драгоценные камни. Мы проводим весь день вне дома – на грифельных скалах у моря, с Володи и Жоржем.

Тайком мы жжем костры, жарим уже жаренные, унесенные с наших тарелок рыбки, спрятанные за столом. Мы жуем и сосем прозрачные чапелетти – отрезочки длинных тонких карамельных батонов, в каждом отрезке узор цветка, – этого в России не было. Еще более тайком мы учимся от Володи и Жоржа – курению; это очень противно, но отставать от мальчиков нельзя. Муся уже немного говорит по-итальянски – знает много слов, очень много. Она уже пытается читать любимую Володину книгу «Il Siogge» («Сердце»)1 – из итальянской школьной жизни. Лёра, как всегда, стоит за нашу свободу и, так как мама еще не выходит, отпускает нас в сад, беря слово, что не будем прыгать по скалам, чтоб не упасть в море. Папа уже мечтает о поездке по Италии по делам Музея, мама – о пианино напрокат. Д-р Манджини еще не разрешает, но мама уже перебирает струны гитары и больше не говорит про смерть.

За Лёрой ухаживает Александр Егорович, хотя он много старше ее. Мы, дети, уважаем их дружбу. Рад ли папа, что увез ее из России? Несмотря на внешнюю воспитанность и ум Миллера, о нем ходят слухи, что он вел слишком «широкую жизнь», что с женой был груб, что она умерла

1 Э. Д'Амичиса, в русском переводе – «Школьный год\*».

«от горя». Многие осуждают его за слишком вольное воспитание Володи, за то, что, видя в нем «свою кровь», он смотрит сквозь пальцы на его озорство. Но как хозяин пансиона отец Володи талантлив: он умеет объединить своих крайне разнообразных пансионеров в веселую и дружную семью. Немец по рождению, он по духу – итальянец. Италия – его вторая родина. Он, конечно, не покинет ее.

В третьем этаже – в комнатке подешевле и победней (он приехал при нас) – поселился очень

больной молодой немецкий служащий, Ревер. Худой, с глазами навыкате, потными руками, он жалобный, и мы жалеем его. Он очень беден, родители с трудом смогли послать его лечиться. Он счастлив, по-детски, что он – в Италии! Он лишь о ней м е ч т а л с детства! Но болезнь мучит его, он так кашляет... Он очень застенчив; но с нами, детьми, шутлив.

Д-р Манджини качает головой. Но «Италия ведь делает чудеса» – это повторяют все больные в Нерви. И еще – что скоро, уже скоро будет названо средство от чахотки, над которым работает доктор Б. (забыла его имя), который просит чахоточных «держаться» – он уже заканчивает свой победоносный труд...

Италия! Маме – страна ее выздоровления, Лёре – радованье красотой неба, моря, молодостью и вдумчивость в странные повороты судьбы; папе – с юности ведомая ему страна древности и ее памятников, которые он собирался вновь посетить, встав от постели выздоравливающей мамы. Страна прославленного искусства, «сокровищница мира», «бесценная диадема», раскинувшая под лиловым небом свои жемчужины – Рим, Флоренцию, Венецию, Милан, Падую, Помпею... Нам – страна впервые обретенной свободы на грифельных скалах над зеленью средиземных волн, запах жженных пиний и «фрутти димаре», вкус сорванного с ветки апельсина, горсти сушеного винограда. Вдруг раздающиеся под окнами звуки оркестра, бродячие музыканты, их серенады, тарантеллы, «Санта-Лючия» и «О соли мио», топот срывающихся вниз по лестнице ног; страна внезапно нам подаренного итальянского dolce far niente (сладость ничегонеделания)!

Папа, успокоенный маминым состоянием здоровья, вскоре уехал в поездку по городам Италии – для Музея.

Две лесенки, выбитые в скалах, идут к морю: та, что вправо, – крутая и узкая, без перил, под нависшими

ветками пиний, чуть изогнутая, как ведет скала, на более отлогие пласты грифеля – к тем, другим камням, что частью уже под волной – мокрые, как тюлени, с острым запахом водорослей, обросшие раковинами, таинственные под хлещущей их водой – как морское дно.

Налево – «пластина», с «Маленькой Марины» туда ведет более широкая и отлогая лестница. «Пластина» – покатая грифельная плита, по которой мы, дети, легко ходим и держимся, где наше любимое место: костры, куренье, чапе-летти, шоколад, разговоры и рассказы о прошлом, мечты. Над «пластиной» – круто нависающие ломкие пласты грифеля, по которым можно – хотя и трудно – взобраться, цепляясь за кусты сухих трав, к перилам «Маленькой Марины» («Марина» – прогулка над морем).

Пока д-р Манджини и папа были заняты выздоравливающей мамой – мы свободны жить на скалах, учить язык итальянской улицы и искусство жить вне дома, как дикари. Володя – первоклассный учитель. А солнце жжет наши стриженные веселые головы.

Есть в Нерви чудный сад – БауагеПо (Лаварелло), где зеленые густые поляны и тенистые большие деревья, которые так пахнут (это – лавр, нет, не лавр? Что это?). Сердцу блаженно, и, лежа на траве с Володей, обнимая белых шпицев Фидо и Стеллу, уже не помнишь ничего на свете...

Если, сидя на «пластине», глядеть направо – там Генуя, а налево – мыс Портофико далеко высунулся в море, как медведь, морду на лапы. На закате он совсем золотой, а позже такой бледный, точно его вовсе нет. Когда долго глядишь в море, а солнце так нежно жжет лоб, виски, щеки – кажется, тебя нет – одна даль, одно море. С поднятого весла Орландо медленно капают капли...

Высоко над Нерви, на Сант-Иларио - кладбище. Сколько могил! Не только исконные жители Нерви легли тут, под замшелые памятники; тут упокоились многие из тех, кто приезжал сюда лечить проклятую чахотку, но кого она отвоевала у солнца, у моря Италии, у ее садов, пиний и лавра... Возле каменной ограды кладбища - темная зелень высоких свечеобразных кипарисов. Свищут птицы. В синюю пахучую тишину мерно поднимаются снизу звуки волн. Через месяц после приезда в Нерви мама стала выходить из своей комнатки. Теплый воздух (она спала с открытым окном) возвращал ей жизнь. Д-р Манджини радовался еще одной новой победе сыворотки доктора Маральяно. Доктор был веселый, красивый человек с щегольской, обрамляющей лицо бородкой, приветливый ко всем, - но мы, дети, были к нему равнодушны. Чего-то в нем не было.

С появлением пианино возобновилась наша игра на рояле. Мусю и здесь все хвалили, а для меня гаммы и упражнения были мукой. Да еще и Володя ждет! Зато какой восторг был - окончив, бежать сломя голову на «пластину»! По пути уже сжималось сердце, - в природе Володи было мучительное лукавство: он мог глядеть в лицо своими синими милыми глазами - и лгать. Он умел притворяться другом - и посмеиваться. И я чуяла, что Муся - как в гимназии с Несмеяновой - не будет меня защищать; наоборот, высмеет Володе мои невыгодные черты - плаксивость, передавание маме всего («Сплетница-газетница, московский листок!» - мне Андрюшино гимназическое). И в счастье итальянской, уже родной природы, в сладость апельсина, закушенного, -лезвием вонзалась тоска одиночества.

Бутылочки лимонада, их приносил на скалы Володя, закрытые стеклянным шариком, вынимаемым из горлышка! Душистые брызги летели, как пена волны: предвкушение питья. Запрокинув голову, пьет Володя и

часто отрывается -Мусе, та - мне. И были собаки, наши нежные спутники и друзья! Неотделимый от Володи Лаин, такой быстрый, что прежде нас взлетал на «пластину» и вверх по крутой скале, белый с желтым, ласковый, умный, такой совсем русский! На высоких ножках, с поднятой головкой, звонко лающий, забияка, игрун. И - Балин - мамин любимец, часто прыгавший к ней на кровать, ложившийся у ног - для чего мама подстилала свой маленький тигровый плед. Вывернутые лапки Балина, низкий рост и черная с желтым раскраска изобличали таксу; большой объем и вес говорили о помеси. Он плавал, как рыба, обегал за день еще больше нервийских мест, чем Володя; урчал, как кот. Он был такой милый, такой ласковый, что и маме и нам казалось, что «за всю жизнь» мы не любили так ни одного кота, ни одной собаки... Когда, открыв пасть, он, задыхаясь от бега, высовывал дрожащий

язык и застенчиво, благодарно чмокал, убирая язык в хлопнувшую коробкой пасть, озорно играя глазами, - мы говорили, обнимая и целуя его: «Мама, не будем! Эхинококки, мы знаем! Не будем! Мама, как же мы уедем из Нерви, когда ты выздоровеешь? Как же Балин останется?»

И были еще голуби. Мы голубей обожали - в Москве, на свободе. За цвет, за их говорок, за весенний запах помета, за их стаю над детским двором. Но у Володи была голубятня. Тут было - другое: коллекционерство. Не осуждая, мы - не участвовали. Мы их молча жалели.

Вечер. Мы у Рёвера, в его маленькой комнатке под крышей. Ему нечем нас угостить, он нас занимает иначе: наклонясь над стеклом керосиновой лампы, он жжет папиросную бумажку, и ее обугленное тельце, скрутясь черной скорлупкой - без веса, - легким облачком поднимается над горячим столбиком воздуха. «Die Seele fliegt! - говорит Рёвер, его худое, обтянутое

кожей лицо жалобно освещено снизу. -Seht doch, die Seele fliegt!»<sup>1</sup>

Как море пахло! Как ныряла в волну и снова поверх волны, рыбкой и чайкой, лодка Нандо или Орландо, как искрился жаркими льдинками в море столб солнца; как томилось оно, синяя чешуйками рыбьими, бледнея и исчезая вдали... И как билась она, к нам подошедшая даль, о камни у ног, затевая немыслимую игру зелени и блеска, темных глубин меж камней и пенных высот. Тяжесть волн разбивается в воздухе пенными пышностями, на лету превращаясь в дождь, на наши мальчишеские головы, матроски, тяжелые и мокрые от камней, засунутых под резинку блузок...

Любимо море – рыбаками, моряками, художником и поэтом, но никто не способен любить его так, как дети, как любили его тогда – мы!

Доктор Белозерский, немолодой уже, иногда заходил к нам с мандолиной, мама брала гитару. Силы к ней возвращались с каждым днем.

В нашу жизнь на скалах пришло событие: петербургский мальчик одиннадцати лет, Вова, выше Володи, хорошо одетый, круглолицый, бледный, голубоглазый, с белокурой челкой на лбу, с виду чинный, благовоспитанный, приехав<sup>1</sup> Душа летит! Смотрите же – душа летит! (нем.).

ший в сопровождении пожилой гувернантки лечиться после перенесенной болезни. Звали ее «Фрам» (по-нашему -«Фрамша»). Матери у него не было, строгий отец. Как падает камень в пруд, вызывая всплеск и круги, так впал в нашу четверку Вова. Том Сойер и Гек Финн мерили свои силы, так было с Володей и Вовой. Но одно почуял Володя: этот больной, избалованный, худенький мальчик – не боится его! Своеобразная гордость и упрямство Вовы заслужили уважение Володи, и Вова скоро и прочно занял меж нас свое

место. Мы же, Муся и я, не изменив Володе, стали дружить и с Вовой.

Наступило Рождество. Новые люди поселились в «Русском пансионе».



## **ГЛАВА 3. ЕЛКА 1902 ГОДА В НЕРВИ. ПРИЕЗД КОБЫЛЯНСКОГО. ЕЩЕ НОВЫЕ ДРУЗЬЯ. СТИХИ МАРУСИ. ТЯЖЕСТИ ЖИЗНИ**

Приехали, списавшись с нами, Александра Александровна Иловайская с заболевшими чахоткой Сережей и Надей (дети Д. И. Иловайского от второго брака). Сережа, студент, лицом походил на мать – ее правильные черты; но ее большие темно-карие глаза, горделиво-чопорные, в нем были смягчены, теплы. В Наде соединились красота матери и отца, но сходство с отцом было явно. Как хороша! В улыбке ее -ироничной – нежность; волосы каштановые, пышные; прелестный румянец. Не верилось, что Сережа и она – больны!

Маруся тайно полюбила Надю за ее обреченность, скрывая эту любовь от всех.

Одновременно с ними приехал Владислав Александрович Кобылянский. Мы в первый раз увидели его у елки. Мы не отрывали от него глаз. Его увидев, мы просто им заболели. На него глядеть – ждать, что он что-то скажет, поглядит, усмехнется (именно усмешка была у него, не улыбка), бояться, что вдруг встанет, уйдет. Удлиненное, худое, обросшее черной бородкой лицо, длинноносое, темноглазое, насмешливое и внимательное. Недобрый и нежный, большой рот. Ум, недоверчивость, знание себе цены, гордыня. Не оторвать глаз!

Зеленые, мохнатые, пахнувшие Москвой хвойные ветки, качающиеся от шелестящих цепей (мы их клеили

все, большие и дети), от шаров, синих и розовых, от золотых и

серебряных картонажей, и на фоне этой знакомой, щемящей душу прелести давней – новая прелесть незнакомого человека.

А Владислав Александрович смотрел на нас, словно понял, чем он сразу для нас стал, и тешился этим, поддразнивал. Но не только нас он заметил из всех пансионеров, а – мимо сияющей красоты Нади – увидел, зорко, маму, чуть ли не в первый раз в этот вечер поднявшуюся в столовую, к табльдоту.

Это еще не был табльдот, в тот вечер сочельника. Долго, широко, шумно кончались приготовления к елке (должно быть, это была пиния). Накрывание праздничных столов, блеск стекла и сервизов, ваз с фруктами, бутылок вина, гроздья синего сушеного винограда, светлый шелк дамских платьев, мамины руки на клавишах пианино. И сине-вечернее итальянское небо в распахнутые над садом окна. Лампы, свечи в канделябрах. Рождество на чужбине, без снега, без холода, с шумом моря – непонятное Рождество! И еще новые люди: худой, остролицый Герб! (такое странное имя!), поляк. Похожий на петуха! Его подруга, маленькая, круглолицая, добрая (курица!). О чем-то переговариваются полужрмами, шутками Кобылянский и Герб. Александр Егорович хлопочет над занавеской, из-за которой он будет выкидывать пакеты с подарками. Лёра у елки, кончает развешивать украшения, яблоки, мандарины. С ней Сережа и Надя. Вова, Жорж, Володя и мы помогаем разбирать елочные свечи – отнимаем их друг у друга за понравившийся цвет. Две пожилых сестры, немки, вполголоса напевают знакомые нам елочные песни: «Stille Nacht» и «Oh, du frohliche...»<sup>1</sup>. И сквозь весь этот шум, шелест, блеск, стук, сквозь все запахи и все голоса – длинный, пристальный взгляд Кобылянского, изучающий, чуть

смеющийся. Он сидит под ветками елки (а Герб м е ч е т с я по столовой). Мамины руки летают по клавишам, гремя, замирая, царствуя.

Какой был счастливый вечер! Больше полстолетия прошло – а он жив! Как было светло от свечей и ламп! Сколько людей, какое дружество друг к другу! Как вылетали из-за занавески подарки – сколько радости, смеху, поздравлений! Где еще найти такую огромную, шумную, веселую, невидан1 «Тихая ночь», «О ты, радостная пора» (нем.).

ную семью, со всех стран света собравшуюся! Не меньше детских горят глаза взрослых. И вот – первая спичка (здесь они серные, в плоских коробочках, зажжешь их и о башмак -показал Володя – и о стену) наклонена к первой елочной свече, тухнут лампы и канделябры, и огромная тень хвойного великана упала на потолок и на стену, она множится, крепнет, дышит от зажигаемых – сразу, с боков, сверху (кто-то стоит на стуле) – свечек, и в комнате снова светло, -поглотив рухнувшую на нас темноту, горит на смену ламп гигантская люстра, лесная, пышным трепещущим треугольником живых веток, озаряя на нее глядящих, собранных здесь в первый и, наверное, в последний раз! Запах, запах! Муся и я нюхаем воздух. (Переглянулись – дедушкой! Это в чуть отведенной от губ руке Кобылянского – папироса, в прокуренном мундштуке... Отчего же она пахнет сигарой?) Но уже летел по губам и ушам детский шепот, что Кобылянский и Герб – революционеры, что царь посадил их в крепость, они бежали с каторги, Кобылянский переплывал под пулями реку, – и он не может вернуться в Россию, пока не будет в ней революции!

Восторг бежит по детским существам от таинственных слов, непонятных, – и уж по-иному не отрываются глаза от человека, отряхающего пепел, – огневой точкой он падает мимо веточки, – и это тоже

кажется полным значения. Точно брошенный талисман! Волнистые, отброшенные с высокого лба волосы, змеящаяся усмешка рта; огромный черный, мягкий, завязанный крупным бантом галстук, так несходный со строгим очертанием мужских галстуков, – все полно вызова людям иной, чем его, жизни, все дышит оттолкновением от принятых норм жизни, – и все это сразу становится каноном для нас, Маруси и меня. Как мы могли жить вчера и все годы и дни до вечера, когда мы его не знали, не знали, что он – есть?!

Как было понятно, что он не шумит, как Герб, не подымает тостов «за народ», не спорит, не кричит над бокалом, – а, освещенный теперь вновь зажженными лампами, лишь упрямее, выше держит горделивую голову.

Как смеется рыжая борода Александра Егоровича, какие строгие стрелы мечут в него темные глаза Иловайской, как весело улыбается Надя, сколько сушеного синего винограда

поедаем мы с Мусей – и немного шумит от вина и от позднего часа в голове.

Прижимая к груди свои два обретенных альбома для стихов – Марусин кожаный, темно-красный, мой – малиновый, плюшевый, мы бродили, счастливые, между взрослых.

– Твоя мама чудесно играет, – сказал Кобылянский Мусе, – я давно не слышал подобной игры!

Как удержалась Марина сказать, что она тоже играет? Что она будет музыкантом?

Леру просят петь. Мама перелистывает ноты. Доктор Белозерский берет мандолину. Море шумит. Первое Рождество на чужбине!

Чужбина! Счастье и горе ее...

Мамино здоровье поправлялось. Манджини торжествовал. Сыворотка Маралья но спасла еще одного. Лечение Сережи и Нади было начато.

Сыворотка – и молодость... Только один Рёвер был худ и бледен, глаза неестественно яркие. Ривьера, делавшая чудеса, медлила. А он ли ее не любил! Не его ли - в Мусин альбом – было по-немецки написанное стихотворение, воспевавшее райскую красоту морских берегов, синюю эмаль неба, зелень кипарисов и пальм? Описание было в вопросительной форме (о, где такое возможно?) и в конце строфы содержало ответ, торжественно-восхищенный: «Das kann ja nur die Riviera sein!»<sup>1</sup> К ней он стремился с начала болезни, задлившейся. Для пути и лечения там родители его долго собирали пфенниг за пфеннигом, марку за маркой... И вот он, бедный немецкий служащий, – на Ривьере!.. Ступать по этой чужеземной драгоценной земле уже было блаженство! Одна картина табльдота была – роскошью! И была в Рёвере застенчивая скромность: не ставить себя в ряд с другими, не требовать себе быстрого исцеления от этой целящей природы. Он только благоговел перед ней, исходил улыбками и поклонами – не одним нам, детям, а каждому встречному

– брату по общей судьбе дышать этим воздухом, жить в прославленной веками Италии... И не было в нем даже того, тоже скромного, но все же себя оценивающего достоинства, которое дышало вокруг внимательного к нашей семье

<sup>1</sup> Это может быть только Ривьера! (нем.).

архитектора Арнольда: за Арнольдом было прошлое, его архитектура, его уже не юношеский возраст. У Рёвера не было возраста: он был – как ребенок, почтительный ко всему и всему радующийся. И казалось, не было у него и прошлого – может быть, потому, что оно было так скромно (тихие, каких миллионы, родительские сени и конторка клерка); он весь был – в будущем, в том, куда, через идущее здоровье, через Ривьеру, распахнется жизнь. И была в

нем такая внимательность ко всем... Этот тихий восторг не гас в нем ни на минуту; он озарял его день так, как озарен бывает день именин ребенка, свадебный день человека.

Это была пора, когда мы, дети (думаю, вожаком этого дела была самая главная из нас, самая выдающаяся – и умом, и талантом, и характером – Маруся), всем стали давать имена животных. Арнольд был Сенбернар, мама – Пантера, Маруся – Овчарка, я – Мышка... Владислав Александрович – Тигр; о Гербе и его подруге я уже говорила. Петух, Курица. Я не помню имени Рёвера; может быть, он был – Кролик? Чутко прислушивающийся ко всему?.. Удивительно, что Лёре имени не дали. Не помню имени и Александра Егоровича и ни одного из мальчиков. Но данные имена привились.

Теперь, когда от нашей семьи отошел призрак смерти и болезнь ежедневно бледнела и таяла, – к нам приходили «на огонек», посидеть, послушать мамину игру, Лёрино пение (иногда под мамину гитару), выпить русского чая, даже – попеть хором студенческие и революционные песни тех лет.

Ездил ли папа в это время по городам Италии для Музея? (Я не помню его с нами в те вечера.) Пели мы – потому что и мы в это пение вошли, сразу, жарко полюбив новые песни: «Из страны, страны далекой», «Не осенний мелкий дождичек» (эти две песни я помню особенно). Но, возможно, пелись и все те, что были в ходу в ту эпоху: «По пыльной дороге телега несется» и «Вы жертвою пали...»; «Варшавянка»? «Марсельеза»? Или эти пришли – позднее? Только помню угольком в сердце это странное в ребенке, еще ничего не видевшем, никогда об этом не думавшем, – внезапное тоскование по этому кем-то угнетенному народу, за который другие «жертвою пали в борьбе роковой»... И притихнуть, внезапная, в десять и восемь лет, перед

этими – кто как Киска, как Тигр... Рядом с этим – все было мало. Оно еще не было названо, оно только реяло, но обжигание о него

было достоверно. И хотелось идти за этими песнями с кем-то, кто идет погибать. Мамино родное, любимое лицо чуть опущено над гитарой, большая белая рука с голубыми жилками трогает струны, и гулкой, темно-золотой, как эти струны, пылью тихо звенит нескончаемая, непонятная печаль. Тигр сидит в своем всегдашнем уголку дивана; он никогда не поет, он только иногда говорит что-то насмешливое или почти что злое, но его глаза и рот усмеваются, и дороже его, кажется, никого. «Сквозь волнистые туманы пробирается луна...» – начинает низким голосом своим мама. Удалое и жалобное в ее улыбке, особенно когда запекает другую – тоже московскую и тарусскую – песню, родную вдвойне в этом чужбинном, как сон, дом: «Вот мчится тройка почтовая...»

Это так бывает – это даже закон жизни: она распаивается вдруг, как огромная радуга. Рог изобилия жизни! Так в этот год было с нами: Тироль – море – Володя – Италия – мамино выздоровление – Тигр, – и вот нам смотрит в глаза новый друг, еще друг, и ее имя – за какой-то особенный разрез глаз, очень широких, и их пристальное, как бы удивившееся выражение – «Испуганная кошечка». Из тех, особенных, нам новых людей, к которым – мы теперь понимаем – принадлежала и Киска, которые жили на каторге за то, что против царя, – Александра Ивановна Доброхотова. Она не одна. С ней ее друг («муж» – так у них не говорится), по-нашему Кот Мурлыка, высокий, круглолицый, в очень мелких кудрях, Кричевский. Они оба добрые и такие к нам ласковые... А Маруся – она совсем делается новая, будто взрослая – с ними, с Гербом и его подругой. Они говорят с Марусей как с равной, интересуются ее стихами: она пишет стихи о

них, царских врагах, и она полна новой страсти, сердцем учуянной, в воздухе словленной: ненависть к тирану-царю.

Резкий, шумный, насмешливый Герб – и тот не задирает, как всех, Мусю. Он у в а ж а е т ее. Ее круглое, с упрямым подбородком лицом, с отведенными по-мальчишески назад с чудесного лба, высоко, не гладко, упрямо, на густые пряди рассыпающимся русыми волосами, с глазами не по годам гордыми, – гордость в них борет застенчивость, и нежданно добр зеленый, крыжовниковый цвет этих дерзко глядящих глаз, и нежданно насмешлив светящийся в этой доброте огонек...

Что-то роднит всех их с этой удивительной девочкой пишущей стихи и дневник, играющей трудные музыкальные пьесы, имеющей такую талантливую, умную, горделивую мать. Инстинктом чувствуют они, что Мусина мать к ним насторожена. Боится за дочь? И радуются и гордятся, что Муся – уже их...

Тигр и все, кто приходит к нам «на огонек», часто спорят. Они спорят – о партиях: против царя есть много партий, и члены каждой думают по-своему о том, что должно стать, когда свергнут царя.

Каждая партия уличает другую в ошибках, в неполной преданности народу, и слово «народ» звучит тоже заманчиво, непонятно, и от него бьется сердце. От всего этого кружились наши головы.

Было утро. В каком-то детском огорчении я, плача, шла по саду. От слез глаза не видели ни апельсиновых деревьев, ни идущего по дороге Арнольда, ни бегущего – он к Володе бежит, мимо меня – Лаина, ни кактусов и агав... Я бежала прочь от всех, но везде были люди. Было только одно место, где можно было скрыться и плакать, – в туалетной. Я бежала туда. Тут я вырывала измену Маруси, лукавство Володи и горе моей младшести.



Пол был серым, каменным, он блестел множеством вправленных в него круглых стеклышек и камешков, пестрых. Пахло озоном. Взрывы волн вдали. Слезы брали силы, но по-иному, и возвращали их. Устав и отдохнув, я шла жить дальше.

## **ГЛАВА 4. БЕДА НАД ВОЛОДЕЙ. СМЕРТЬ РЁВЕРА. БУРЯ НА МОРЕ. НЕСЧАСТЬЕ С МУСЕЙ. КОБЫЛЯНСКИЙ. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВЕЯНИЯ**

Пришла беда. В ярости стыда и негодования, поймав Володю на воровстве у кого-то из пансионеров, Александр Егорович творит нещадную расправу над сыном, – даже Лёре он не открывает дверь, в которую она стучится.

– Воришка! – кричит взбешенный отец, полосуюя ремнем сына, а тот крик и вой под ударами превращает в обвинение:

– Я не воришка, я – вор! – вопит он, задыхаясь, в лицо отцу. И мы, слыша, в слезах, ликуем от восхищения...

А Лёре все-таки открыл дверь Александр Егорович!

Папы не было – он ездил по городам Италии. Маме старались помочь советом наши новые друзья: каждый по-своему – Герб жестикулируя и крича, Курочка застенчиво улыбаясь, Александра Ивановна с доброй, но твердой горечью, даже гордец Тигр, все стояли за то, чтобы нас разъединить с Володей. Лёра пожимала плечами над такой крутой мерой (вызовет обратное), предлагала присмотр. Дни томительно шли.

Пробегая вниз после завтрака одна, Муся увидела в приоткрытую дверь Рёвера – голую ступню, далеко высунувшуюся из-под одеяла, – кровать кончалась у самой двери комнатки. Что-то заставило Мусю остановиться. Или она задела ногу с разбегу нечаянно?

Ступня была холодна. С диким криком бежала Муся вниз по лестнице. Не зовя людей, а – от смерти, в первый раз встреченной. Тишина Рёвера гналась за ней. День сверкал. Моника стучала ножами. Мусин крик разрезал дом, день – пополам.

Смерть Рёвера потрясла всех. Так скоро даже д-р Манджини не ждал ее. На похороны пошли все. Многолюдное шествие за катафалком, цветы, ветки кипарисов и пальм. Медленный подъем в гору, расспросы, кого везут, качанье головами о возрасте умершего, – это, конечно, было самое большое торжество в жизни больного бедняка иноземца. Но его-то ему и не суждено было увидеть и услышать. Важно, сурово, впервые без улыбки, плыл он, окруженный толпой, к своему последнему жилищу, и старики – мать и отец – не шли за ним. В этот горчайший в их жизни час они, может быть, говорили о том, что весна, море принесут их сыну здоровье, он все слал им цветные открытки с лазурью и зеленью, с пеной волн у скал, с Торре-Грапалло и Аллеа-дель-Пальма, с майской «битвой цветов». Быть может, и ландшафт Сант-Иларио (гора, по которой подымалось погребальное шествие) попал им в руки, но они не узнают, что за этими высокими кипарисами, за низкой оградой каменной, высоко над морем Италии лег их единственный сын...

День был полон какого-то особого великолепия. Море внизу лежало тихое, плаваясь в серебре солнечного столба. Эмаль неба напоминала помпейские фрески. Кипарисы не были темны, как вечером, – резьба их сказочной гущины поражала ярко-зеленым цветом. Щебет птиц висел за рощей, рассыпанный по кустам и могилам.

Где еще есть такой край! Как его имя? «Kannst du das Land, wo die Zitronen blühen?»<sup>1</sup> Гётевская строка лишь вопрошала об этом крае – ей отвечал молчаливый Рёвер. Его ответ остался записан в альбомы девушек и

детей: земной рай, волшебное цветущее видение: «Es kann ja nur die Riviera sein...»<sup>2</sup>

Комья земли падали о гроб, спущенный в яму. «Помнишь, – сказала мне Муся, – как и я, взглянувшая на небо,

– и мы, задыхаясь слезами, обе в один голос: – Die Seele fliegt!..»<sup>3</sup> Над синей, безоблачной бездной так бледно, что скорее угадывалось, реяло перышко белизны...

Зима кончалась. Мама вела переписку с Тетей, прося ее приехать весной и свезти нас в пансион в Лозанну, где мы бы могли учиться и продолжать французский язык. Слово «Лозанна» нам нравилось: оно звало куда-то, и было совсем неизвестно, чем оно станет нам. Приезд сюда Тети мы осознавали как нелепый, даже невысказанный (Она – и Тигр! Она – и Кошечка! И Герб! Она – и Александр Егорович!), но, по-своему радуясь событию ее приезда, мы тайком рассказывали о ней Володе, хвалили ее щедрость, обещали ему от нее и денег, и шоколаду, и чапелетти.

– А она драться не будет? – деловито осведомлялся Володя.

– Говоришь, строгая?

Как мы и ждали, запрет видеться с мальчиками не стал явью, – как-то не получалось. В саду, на скалах мы не могли их не видеть. Ходить за нами следом? Кому? Нас только чаще звали домой, дольше держали дома после завтрака и обеда, и мама уговорилась с Александрой Ивановной о занятиях с нами русским, чтобы не пропадала зима.

Вечер. На море шторм. Такой грохот и рев, что даже с Володей я не пошла бы сейчас к морю. Но мама вышла в сад, я иду за ней, жмусь к ней, и мне только немного страшно. Луна в тучах прыгает, как оловянный шар. Ветер рвет мамино платье, как платье той женщины на

картине Бёклина, оно закручивается вокруг ног. Ветер и меня закручивает в мамино платье.

1 «Знаешь ли ты край, где цветут лимоны?» (нем.)

2 «Это может быть только Ривьера...» (нем.)

3 «Душа летит!» (нем.)

- Тебе не холодно, Ася? Застегни пальто!

Мне весело. В Италии - и так холодно! Точно море летит на нас - воздушное! Я наклоняю голову, чтобы дышать. Внезапно сбоку от дорожки, по которой мы идем к железнодорожному мостику, выходит из темноты меж апельсиновых деревьев Кобылянский. На круглой застежке его плаща -отсвет луны. Широкополая - мама зовет ее «разбойничья» -шляпа, черная, как и плащ, делает его похожим на какого-то человека из книги. Плащ пляшет в ветре, шумный, как ветер, то взмахивается, как крыло, раздувается, как парус, то льнет и запахивает нас с мамой. Мы идем теперь втроем, как одно. Это так чудесно мне, так весело! Мы идем на «Маленькую Марину». Тяжелая резная железная дверь скрипит на петлях - и мы вступаем в заколдованный мир: море ревет, и холод тут не такой, как за дверью, - еще больше! и мокрый потому, что волны за перилами, взлетая, рассыпаются пеной, и все летит на нас! Дождь идет - снизу! Что-то кричит, должно быть, Тигр, наклоняя лицо, заграждая рукою рот, но я ничего не слышу. Может, мама услышала? Крик его доносится к нам, как шепот. Мне трудно смотреть на них вверх. Я прыгаю на месте и кричу в ветер, в волны изо всех сил. И все-таки мы все - немые! Агавы и кактусы (обычно они, как слоны, неподвижны) - рвутся из земли. Но она держит. Борясь с бурей, с пеной, с плащом, мы подходим к перилам. Только на миг... Оглушенные водным грохотом, мы отскакиваем в ту минуту, когда волна, взлетев, обдает нас соленым вихрем, успев все трое все-таки увидеть бурю на море! Серебряные, черные, оловянные,

скачущие хляби, а по ним, их сминая, крутя, низвергая, летит уже, вставая на дыбы, волна. Под пляшущим шаром луны его кидают друг в друга тучи! И это – вперед, бесконечно...

Мы идем назад еще теснее, чем шли, вид водяного хаоса нас испугал и сблизил, но когда море позади, я смелею, бегу впереди мамы и Тигра, хлеща воздух подхваченной веткой, крича: «Ма-ру-ся! Во-ло-дя!» (Вову, знаю, его Фрамша не пустит сейчас из дома.) Но мама и Тигр идут медленно, до меня долетает звук голосов, теперь они слышат друг друга. Глухое туманное счастье купает меня в этой буре. А если бы Тигр был наш отец вместо папы? – чувствую я вдруг всем существом. Я люблю папу, конечно, но маму, Мусю и Тигра – больше всех на свете...

Я обертываюсь. Как они далеко! Почему они идут так медленно? Я хочу повернуть к ним назад, но у дома, впереди меня, слышны крики, и кто-то пробежал с фонарем. Не видя кто, только чуя что-то случившееся, я оборачиваюсь к маме назад, рвусь бежать от нее к дому, но теперь они идут быстро. Мама увидела, что люди и что я ей машу... Мама почти бежит. Тигр рядом с ней, он что-то говорит ей. Мама не слушает.

«Маруся... Муся... Володя...» – слышим мы у дома голоса. Запыхавшись, подбегаем. Опережая нас, спешит доктор Манджини.

– Где? Наверху?

– Нет, нет, во втором! Бежала-то она сверху...

Кто сказал нам? Как мы узнали? Не помню. Маруся, на бегу за Володей, на повороте крутой лестницы, там, где нет перил, упала вниз.

У нее разбита о камень голова! Я реву и бегу за мамой. Муся лежит в чьей-то комнате на кровати – без сознания... и Манджини осматривает рану. Меня уводят. Мама бледна, рот закушен, она ничего не говорит.

Стоит рядом с Манджини, держит Мусину голову, он промывает и перевязывает ее.

- Глубокая, - говорит Манджини. - Большая потеря крови.

Кобылянский стоит рядом с мамой, что-то шепчет ей, ободряет. Муся чуть качнула головой. Глаза закрыты. Я тоненько хнычу, всхлипывая. Мешаю. Мне велят замолчать. Тигр предлагает перенести Марусю в его комнату - она близко, и там удобнее. К нам нести далеко. Мама колеблется. Спрашивает, по-итальянски, Манджини. «Не надо трогать. Пусть пока здесь. Поздней возьмем на носилки».

Мама садится возле кровати. Муся, всегда розовая, сейчас совсем белая. Я не знала, что таким может быть человек.

«С черной лестницы, той, с железными перилами. На повороте от второго этажа...»

Мамин голос: «Уведите Асю, пусть ляжет. И принесите мне шаль на плечи. Я буду здесь ночь».

Я не хочу, но мама строга, и я подчиняюсь. Муся лежит все так же, закрыв глаза. От белых бинтов голова ее - чужая. Небо над садом темно, луны нет. Ветер. Взрывы волн. Мне страшно.

Натура Маруси взяла верх над болезнью: она поправилась.

Во все те зимние и полувесенние дни я не помню ни папы, ни Лёры. Может быть, они вдвоем ездили по городам Италии? Здоровье мамы крепло, и она мечтала о посещении медицинских лекций в Генуе - вольнослушательницей. Это ей позднее удалось. (В оставшихся после нее толстых клеенчатых тетрадях долго хранились рисунки по анатомии и другим медицинским дисциплинам, мастерски исполненные тонко очиненными карандашами - черным и красным.) Музыкой она занималась все больше.

Тигр! Мы недаром (не «мы», а Муся, конечно) дали ему это имя. Как и мама, мы знали, что эта встреча колеблет основы нашей жизни. Уже одна насмешливость, с которой он на эту жизнь, сложившуюся жизнь семьи, глядел, – звала куда-то. Он, казалось, отвергал все то, в чем мы жили, – уклад семьи, общества. Не это ли общество выбросило его на дорогу, не оно ли запретило ему въезд в Россию? И хоть он часто спорил и со «своими» – другими революционерами-эмигрантами, – но и они как-то признавали его первенство. Мама и мы впервые встречали такого человека. Впервые мы слышали, что отвергалось все, среди чего мы жили, – даже Бог. В этом последнем мама не соглашалась с ним и его товарищами. Но мы в вопросе о Боге сдались бездумно и скоро: то, как, еле касаясь этой темы, просто не снисходил к ней Тигр; как улыбались несуществованию Бога – Кот Мурлыка и Курица, Герб; как умно, терпеливо, убедительно говорила об ошибочности религии Кошечка, устремив на нас большие синие глаза, отвело нас от Бога и молитв – легко, так легко, может быть, оттого, что, в сущности, религия была от нас далека. Никакой бабушки, няни, нас растивших, у нас не было; мы и мама в церковь ходили потому, что ходил папа, в семье священнической выросший. Мама же вообще была верующая, но по-своему.

Но новые мысли об обществе, его неправдах, о новых веяниях жизни, по-видимому, потрясли маму, заставили ее глубоко задуматься. Под эти разговоры мы теперь засыпали, как в Москве – под классическую музыку. Маруся окунулась в новое со страстью, точно всегда знала, что оно так и будет, что все, что ее томило дома, стесняло, что ей мешало, будет отмечено! В эту зиму она сразу выросла на несколько лет. Настолько, что эти новые люди стали относиться к ней почти



как к ровне. Герб ловил ее в саду, просил прочесть стихи написанные и спрятанные, восхищался, обещал напечатать их в революционном журнале. Маме все хвалили Мусю, предсказывали ей будущее. Мама смотрела на дочь с гордостью, пристально, задумываясь над ней.

## **ГЛАВА 5. ПОЕЗДКА В САНТА-МАРГАРИТА. ЛИНА КАВАЛЬЕРИ. КАЛЕКА. БОГАТЫЕ НИЩИЕ. ПРИЕЗД ТЕТИ. РАССТАВАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ. БИТВА ЦВЕТОВ**

Как решилась мама ехать туда с нами на лодке, в такой шумной компании, в такой ветреный день, по таким волнам? Сколько было лодок? Две? Нас было много народу. И путь был не близок. Зелень волн, бурно качающих лодку, синий купол неба, ссора Герба с Кобылянским (тот хотел, как исход какого-то безумного пари, прыгнуть в воду). Помню, как мама и еще кто-то держат им руки, уговаривая, заставляя сесть во имя всего разумного, во имя детей, наконец...

Страх своего я не помню. За Тигра был страх, но за лодку! И конечно, никакого осуждения, один тайный восторг...

Я помню огромную ресторанный залу, много света, много стекла (окна? окна на море!), блеск, столы табльдота, много людей, чужих, среди которых тонет наша компания. Вина, фрукты. Музыка, звук волн. Прелесть итальянского говора. Побледневшее лицо Кобылянского, он курит и курит.

Как долго все это длится? Уже начало ночи? Небо за высокими окнами слилось с морем, это – напряженная зеленая синева. Музыка! Смычки, струны, феерический вид оркестра. Вдруг что-то делается в конце залы, вспыхивает общим волнением, бежит сдержанным, – но разве сдержишь? -шепотом, и глаза всех устремляются

к дверям. Может быть, встают все? Драгоценное имя, доносимое, шелестит по губам итальянцев и иноземцев. Имя, принадлежащее Красоте, ни с чем не сравненной, потому что она – Первая в мире!

La signora Lina Cavalieri!..1 Она вошла в зал, окруженная свитой, и я помню точеный профиль величавой и прекрасной женщины, знаменитой актрисы. Что-то жемчужное. Темно1 Лина Кавальери (итая.).

волосое. Темноглазое. И с протянутой руки ожившей статуи -текущая пена кружев...

Обратный путь ночью – в омнибусе. Тигр сидит у окна; рядом с ним, прижавшись к нему, – Муся, с обожанием глядит на его черты, вспыхивающие тенями и светом от тусклого фонаря. Рядом с Мусей – Володя; сзади них – мама и я. (Скамеечки были, как только позже появились в русских трамваях, – поперечные.)

И вот неугомонный Володя фальшиво (но страстно желая насолить Тигру) запел: «Боже, царя храни...» В ужасе Муся зажала Володе рот и, что-то шепча ему на ухо, повелительно-умоляюще, заставила замолчать. Мерно покачивался омнибус, синяя итальянская ночь кралась за окнами, и в Мусином бледном оконном зеркале отражалось лицо Тигра. Прижавшись к маме, я сидела, счастьем преодолевая дремоту. Счастьем вдруг наславшей тишины, близости с мамой и с нашим стихшим Тигром, счастьем еще далекого – точно всегда так будем ехать – пути с ним...

Весенний день. Насыпь у нашего железнодорожного мостика. И я – с кем-то из мальчиков, вяжу букетики фиалок. Темно-лиловых, душистых. Скоро будет битва цветов! Экипажи поедут по Аллеа-дель-Пальма! Море шумит. Нас повезут в Лозанну (а может быть, в Цюрих). Странное это слово «Цюрих» мы слышали от Тигра. Мама сказала: «Скоро приедет папа. Он с Лёрой в Риме».

Балина еще более жалко, чем Лаина. Но маме остается Балин. А нам?..

Теперь я часто держалась возле дома, близ мамы, где уже не было ощущения болезни, где я не мешала, где вечерами, а порой и днем собирались на звуки музыки и где часто бывал Тигр. Но однажды я сорвалась. Тигр, сидевший на диване в нашей столовой, послал меня узнать, что делает мама, почему она не идет. Я вышла в мамину комнатку. Мама, сидя на стуле спиной к двери, наклонясь над постелью, плакала. Я вышла, закрыла дверь и, по внезапному насмешливому озорству, сказала:

- Разливается слезами...

Ответ мой взорвал его.

- Уходи от меня, дурная девочка, я не хочу с тобой разговаривать! - сказал он мне.

И долго я жила в стыде совершенного и в опале. Как могла я поступить так, зачем, отчего? Так любя маму никогда, ни до, ни после, не обидев ее ничем сходным. Может быть, и она никогда не узнала о моем поступке.

Папа, приехав из поездки по Италии, привез нам с Мусей из Пизы темные бархатные шапочки, шитые золотом и серебром, и мы в этих шапочках сняты, одетые в шерстяные платья (значит, зимой). А переписка о нашей отправке учиться в Лозанну продолжалась, Тетя собиралась выезжать сюда из Тарусы.

Весна близилась. Дружба с Кошечкой крепла. Мы чувствовали, что, уважая за его прошлое Кобылянского, она его недолюбливает, и мы тайно знали почему: Кошечка, как и московская Киска наша, была насквозь хорошая, к людям она относилась как к друзьям, - но в иных знала врагов. Такие же были и Кот Мурлыка, и Курочка, и, может быть, Герб, несмотря на свой шумный нрав, а Кобылянский стоял совсем в стороне от людей, даже и от своих. Он был горд. Никакого братства к

другим в нем не было. Кошечка же и ее друзья были именно братья; они собирались поселиться, сняв домик, коммуной. И целая новая Россия роилась где-то там, вдали, и все там были – такие же. Все это чуя и любя их, мы и от них берегли свою привязанность к Тигру.

В один из этих счастливых дней весны мы пережили потрясение: мы бежали, Муся и я, вслед за Володей по первому этажу, когда в парадную с улицы, всегда закрытую дверь, раздался неясный стук. Или точно кто-то возится у самой двери? На бегу Володя рванул запор, и мы замерли: на тротуаре Каполунго, пытаюсь преодолеть порог, ползло и кланялось что-то нечеловеческое: голова с уродливым лицом, грудь и руки, шагавшие вместо ног, и вокруг тяжелого торса, перекидывающего под собой искалеченные, и все еще живущие в лежачем положении, обрубки ног... И все это -просило, ныло, невнятно, о милостыне. Но ужас был сильнее сознания и жалости! Мы летели прочь, спотыкаясь друг о друга и о ступени. Что стало с калекой – не знаю. В моих глазах он все еще ползет с протянутой ладонью в двери «Русского пансиона», в синеве итальянского безмятежного дня.

Но были в Нерви двое нищих, фотографии которых продавались в магазинах, их все знали, они назывались «богатые нищие». У них в банках было золото, но они просили, и им подавали. Один был очень высок, с длинной, жилистой шеей, с седой трясущейся головой. Другой – низкий и плотный, моложе. Просили они врозь. Их объединяла.тишь фотография: их слава.

Я сбегала по широким крутым ступеням, ведущим к нашей квартире, а навстречу вбегал, хохоча, московский Александр Павлович. За ним, тяжело путаясь во множестве юбок, медленно поднималась – Тьо.

Только что преодолевшая нижний марш лестницы во всегдашнем негодовании, что все не так и не то, Тьо

уже сжимала меня в своих крепких, душных объятиях, закатив, от умиления и эмоции встречи, глаза... «Анечка, Мунечка... Maisouestdonc ta soeur, cherie?» («Где же твоя сестра, милочка?»)

Мы кое-как вскарабкивались на площадку. В дверь входила Муся. Ох!.. Глаза Тьо совсем закатились от одобрения: «Oh. comme elle a grandi, Мунечка, etcommelaTante.elleade l'embonpoint!.. («Как она выросла! И, как тетя, она имеет в полноту!») – умиленно любуюсь и кидая вокруг нас обе свои короткие сильные руки. – Et ou est votre mere, ma cherie?» «Где же ваша мама, моя дорогая?») «Ма-аня»... Слезы брызнули из глаз Тьо. Подавленные в первый миг более, чем обрадованные, мы улыбались и, целуя ее, отвечали ей, как во сне. Но через два часа мы сидели втроем на «Маленькой Марине», усадив Тьо в парусиновое кресло, сами на маленьких стульчиках, и слушали вздохи о том, что мама окружена какими-то brigands,4ТО это? И этот разбойник в черной шляпе, этот галстук, как не носит никто! Мы, войдя в ее мирок, слушали, в невозможности объяснить ей что-либо. Раскаленная зеленая морская даль метала искры серебра, лучилась и таяла.

Узнав, что Лёра уехала с папой в Рим, Александр Павлович сказал маме: «Я поеду в Рим (он грассировал), возьму Валерию Ивановну и увезу ее в Россию». Это была, должно быть, мечта, с которой он, – а не только ради поездки в Италию, – так охотно взялся сопровождать Сусанну Давыдовну (Тетю), не поверив, должно быть, холодным словам Леры, давно разочаровавшейся в нем. «Вы, может быть, и поедете в Рим, Александр Павлович, – ответила ему мама, – но Валерия Ивновна не захочет, чтобы вы увозили ее, и не поедет с вами в Россию».

Тетя, конечно, не остановилась в «Pension Russe», се отвратил богемный стиль жизни «des brigands», и взяла две комнаты в маленьком, но фешенебельном отеле,

уединенном в зеленом саду «Beau Rivage» («Бориваж» – «Прекрасные берега»).

Волнение предполагавшегося переезда к Тете в «Бориваж», расставание с мамой, которая собиралась ехать в Рим, к папе, и вернется уже после вашего отъезда с Тетей в Лозанну, во французский пансион-интернат (мама должна была, по настоянию докторов, остаться еще на одну зиму в Нерви), весенний ветер над скалами и морем, отчаяние наступающих разлук с нашими взрослыми друзьями, последние часы с Володей, Вовой и Жоржем – все слилось в одно!

Трость Тигра; узнав свое прозвище, он где-то разыскал себе трость с серебряным набалдашником, изображавшим голову тигра и передние лапы его, прижатые, притаившиеся в прыжке. Трость, как и широкополая черная шляпа, и огромный бант против моды тех дней, завязанный пышным бантом, – были частью его.

Но мы чуяли какой-то перелом в отношении мамы к нему. Он все так же бывал у нас, сидел в уголке дивана вечерами, – но теперь он больше молчал, а мама – больше играла, ездила на медицинские лекции в Геную и готовилась к Риму.

Фотография кабинетного размера (Владислав Александрович Кобылянский сидит в непринужденной своей и чуть иронической позе, а по обе руки – Маруся и я; Маруся у его правой руки, я – у левой, в темно-серых, с черной каймой воротников, матросских платьях, коротковолосые, русые вокруг его ослепительной черноты) осталась нам как вещественное доказательство яви тех дней.

Последние костры на «пластине», меж двух лесенок, выбитых в грифеле скал, последние «Муся», «Ася», «Володя», выведенные осколком скалы на грифельных пластах над морем, под пиниями. Так же каплют светло с поднятого весла морские струйки, так

же ослепителен столб солнца, так же тает правый мыс Партфино о тающий горизонт. Так же пахнет морскими водорослями; то же крутое знакомое очертание выступающей из волн скалы Лягушка, откуда мама вчера (она уже купается! так поправилась!) бросилась в море и плыла далеко! Но нам уже все не то!.. Потому, что через все это, вместо захлебнувшегося: «Приехали!», нить, скользкая, как рельсы, вдаль – «Уезжаем»...

' - Ww ! -

Невероятность присутствия Тьо здесь, в нашем Нерви! Ожившие воспоминания о доме в Трехпрудном, елках, дедушке, о Тарусе!

В гостях у Тети, в роскоши чинного «Бориважа». Сидя по обеим сторонам широких крепких рук, мы рассказывали ей о смерти Рёвера и выдумывали такое благонамеренное про Кошечку, что, может быть, сохранит нам и в «Бориваже» уроки с ней.

К Тигру приехала его знакомая Ольга Осиповна. Мама говорит, что она отличная пианистка, знает несколько языков, мама очень хвалит ее. А мы – непонимающими и осуждающими глазами смотрим на Тигра. Зачем ему нужна эта чужая, незнакомая нам? Как это может быть?

А в двухэтажный дом у мостика, возле садовников, приехала и живет – игуменья. Мы не знаем, что это. Объясняют туманно. Она из России. Она лечится? Высокая, вся в черном, худая и желтая. Мы вошли с ней по крутой железной лесенке в тихие, особенно пахнущие комнаты. Она дала нам по иконке, бумажной. Она очень странная. С головы на плечи тянется черное. С ней другая монахиня, ниже и толще. И с ней шестилетний мальчик, тоже весь в черном (как в халате, подпоясан ремешком). У него волосы, как у девочки, по плечам. Светлые, на концах вьются. Глаза голубые. Володя смотрит на него неодобрительно.



Показал ему тихонько кулак. И как там, в омнибусе из Санта-Мар-гарита (когда Володя запел: «Боже, царя храни», дразня Тигра), Муся шепчет ему, чтобы он перестал. Этот мальчик будет монашек! И от этого слова таинственно на душе и страшно.

Маруся писала стихи. Буйный Герб, не признававший ни бога, ни дьявола, всегда споривший и шумевший, стихал и глядел добро, когда брал черную клеенчатую тетрадочку, которую давала ему в руки Маруся. О ее стихах начинали серьезно говорить старшие. Хвалил их и Тигр. Мама задумчиво глядела на дочь.

Мечтала она о другом пути для Муси! Музыка! Увы, из Марусиных стихов того времени я помню только несколько строк:

Взвейся, взвейся, наше знамя,  
В голубой простор,  
Чтобы все тебя видали  
Выше снежных гор...  
Ей было десять лет.

...Битва цветов! Все на улицах! По Аллеа-дель-Пальма в два ряда – туда и назад – экипажи, цветами переполненные до неузнаваемости своих очертаний. Лошади, как их хозяйки, красавицы, украшенные цветами. В воздухе – летящие, раскручивающиеся серпантины, путаница их цветных лент, град конфетти. Он засыпает и ветки пальм, и они, покачиваясь, сыплют их вниз, разноцветной росой. Из окон, в толпе, с балконов – всюду музыка. Кобылянский подошел вплотную к коляске, в которой ехала с Надей Александра Александровна Иловайская, и в упор бросил ей в лицо горсть конфетти. Высоко поднятая, в высоком воротнике белого шелкового платья, аристократическая голова сорокалетней красавицы (урожденной Коврайской) в маленькой белой соломенной шляпе на каштановом шиньоне, дрогнула, лицо блеснуло молнией

гнева, но «разбойник» уже смешался с карнавальной толпой.

Загорелые, усталые, в измятых платьях, в «папиных» бархатных шапочках (формой напоминавших тюбетейки), увешанные бумажными карнавальными сокровищами, мы вернулись домой вместе с компанией взрослых, счастливые, как все в этот день...

## **ГЛАВА 6. ЗАТОЧЕНИЕ. «БОРИВАЖ». ПРИЕЗД ТИГРА. КОШЕЧКА. КОММУНА В ВИЛЛА ТОРРЕ**

Одноэтажный дом в пышных кустах. Лавр. Розы. Гравий дорожек. Мы две - единственные дети маленького отеля. Чинно. Тишина. К морю выхода нет. Море - сон. Оно кончилось. Мы у Тети. Мама уехала. Мы в заточении.

Все кончилось! Неужели это мы, в аккуратно выглаженных платьях, в новых платьях, ботинках, в шляпах с цветами из шелка и с лентами, мы в перчатках, сегодня утром катались с Тетей в экипаже по Нерви, по т о й самой Аллеа-дель-Пальма, мимо нашего Лаварелло, и море искрилось вдали, как чужое, как на картинках...

У Тети одна комната, у нас - другая, смежная, но даже когда мы сидим у себя, Тетя видит (чувствует!) каждый наш шаг и без усталости исправляет наши манеры, чтобы привезти в Лозаннский пансион «не каких-нибудь дикар'а», а «благовоспитана малышки р'ебенки!»

Какая-то «дама» постоянно сидит у Тети, что-то похожее на «компаньонку», держится подобострастно, повторяет нам каждое Тетино слово. От нее нам еще тошней.

М

Так особенно, по-Тетиному, блестят стекла. В их распахнутых створках отражаются благовоспитанные кусты, и мы смотрим друг на друга с безнадежным унынием. За столом, за маленьким табльдотом, куда мы спускаемся с Тетей и этой противной «дамой», всего

несколько человек, и все, как на подбор, противные! Салфетки блещут глаженной белизной, ими страшно вытереть руки и рот, болтать ногами – нельзя.

– Мунечка забиль, а Анечка еще и не знала, как надо держать за столом, – с бесконечной энергией и в невинной ласковости говорит Тетя. Она никогда не ела руками поджаренную в дыму костра рыбу, никогда не падала в море, никогда не бегала по скалам. Но она сделала необычное предложение: за каждый день, когда мы послушны, она дает нам каждой по лире (мы эти лиры будем копить для Володи!). Но их нелегко добыть... Мы стараемся честно, изо всех сил. Это превращает день в пытку. Мы совсем не живем – мы усердно играем других, несуществующих Мунечку и Анечку; мы вносим в эту труднопереносимую игру долю ожесточения. Мы даже и увлекаемся на первых порах, хоть в глубине где-то чуть стыдно перед Тетей, искренно верящей в то, что под ее влиянием мы – исправляемся...

И не знаю, как бы мы выжили среди всей этой тягости, в этом крошечном садике, где нам позволялось «играть», вдали от людей, от друзей, от моря, – если бы мама, предчувствуя все это, не убедила Тетю в необходимости нам учиться русскому языку – продолжать уроки с Александрой Ивановной.

Приходы нашей дорогой Кошечки были райским простором в адовой тесноте дня. Как мы ее ждали! Как бежали навстречу! Каким любимым было это лицо из той жизни, появлявшееся, как сон, в э т о й... Широко раскрытая синева ее глаз оказалась нежданно спокойной и смелой перед персоной Тети. «Важность» Тети не вызвала в ней ни тени подобострастия, замечавшегося в других людях в «Бориваже». Чуждательства Тети, ее тонность, патетичность ее рассказов, с закатыванием глаз и жестами пухлых коротких рук, – все, что было с рождения нам так

знакомо, и, хоть по-своему, и любимо, но задлившись, раздражало (вместо в и з и т о в нас к ней - в совместную жизнь), не действовало, никак - на Кошечку. Она держалась просто, спокойно и в своем немногословии нравилась, видимо, и Тете, выделяясь из осуждаемых ею «ses gens»<sup>1</sup>.

Сказала ли Александра Ивановна нам что-нибудь о Тетиных лирах за хорошее поведение? Или перед этим синим взглядом они прозвенели - стыдом? Сами? Ответно ли, от близости с Кошечкой, проснулось в нас - достоинство, гражданское мужество? - мы отказались от лир за поведение. Тетин в дедушкиных очках изумившийся взгляд, испытывая, обратился к нам. Затем последовало молчание, перешедшее во вздох со всплеском рук. И в умиленном экстазе посыпались похвалы нашему благородству... Как была трогательна Тетя в этот миг!

Вскоре симпатия тети к Кошечке дошла до того, что она разрешила нам - какое невероятное счастье! - бывать у Александры Ивановны. О, какие же это были блаженные часы! В это время уже осуществилась мечта Александры Ивановны и ее друзей поселиться «коммуной» на окраине Нерви. Далеко от парадных улиц, от «Большой Марины», с живописной развалиной башни Торре Грапалло, где играла музыка, от Аллеа-дель-Пальма, жили теперь наши друзья в маленьком доме на самом берегу моря. Тут не было скал - плоский берег, усыпанный камешками, и мало людей. Звался домик villa Torre. Помнится, был он с башенкой. В пустых комнатках со скупой мебелировкой весело хозяйничали Кошечка и ее подруга, маленькая, круглолицая Курочка, добро и дружески встречали нас ласковый, кудрявый Кот Мурлыка и худой, горбоносый (действительно похожий на свое прозвище - на петуха) неугомонный Герб. Вдали от Тигра, которого, он, видимо, недолюбливал, хоть и своего, от Александры

Александровны, чей барский вид его раздражал, от Александра Егоровича, с которым он часто спорил, – здесь, среди товарищей, дома, он был – другой. И тут мы его полюбили. Как хорошо нам было у них!

Добродушно подшучивали Герб и Кричевский над нашей муштровкой, над нашими парадными платьями, лентами и перчатками, над Тетей. Но вдруг, меняя тон, как моряк -направление паруса, Герб, положив руку на плечо Мусе, начинал о том, как сложна жизнь, как настоящ и й человек должен быть готов вынести все, не дрогнув, если у него есть цель.

1 «Этих людей».

На уютной спиртовке закипал чайник. Нас звали пить чай. Мы тоскливо поглядывали на часы. Мои руки хватили дочитанную Мусей книжку. «Солдатский подвиг»! Как билось сердце! Как оно молча клялось быть таким, как эти солдаты. Они отказались стрелять в крестьян, которые взбунтовались.

Смело, братцы, песнь затынем,  
Удалую, в добрый час!

Мы в крестьян стрелять не станем,  
– Не враги они для нас!..

У горла клубок, от слез не видно листка, он дрожит в детской руке.

И тихо возвращаемся мы в нашу «тюрьму», как мы звали «Бориваж», провожаемые Кошечкой по улицам Нерви, забегая иногда на минуту в «Русский пансион». Сердце вспыхивает при встрече с Володей и Вовой, они кажутся уже не нашими, изменившимися, жадно вбираем мы в себя вид знакомого пейзажа, где жили, где бегали, не зная, что оно кончится, но Кошечка ждет, надо идти. Тетя рассердится, опаздывать нельзя, и идем по Каполунго, присмирив...

Мама часто присылала нам виды Рима – Форум, Колизей, Римскую Кампанию. Строки ее, мелким наклонным почерком, от которого билось сердце, были

полны тепла, интимности, вхождения во все подробности нашей жизни. Она просила нас быть ласковыми с Тетей, не огорчать ее, жалеть, радовать, она находила именно те слова, которые нас трогали и успокаивали наш бунт, и мы вдруг будто бы прозревали в мир каких-то иных чувств, кроме чувства стесненности и мечты об утраченной свободе. Избегая глаз друг друга, в которых – кто знает? – мог оказаться насмешливый огонек, мы вдруг делались моложе, как в детстве, дома, и жизнь с Тетей, теряя горький вкус критики, становилась на час, на день полна вскрывшегося тепла, утерянной общением с Вилла Торре прелести. вспыхивали воспоминания о Тарусе, о диванчике под дедушкиным портретом, о рассказах Тети о ее детстве в Невшателе, о детстве Мани и Тони, о Ясенках, и, засидевшись с Тетей, как прежде, мы слушали о Женевском озере (которое мы вскоре увидим), о тихой старинной Лозанне, где мы будем учиться. Стриженными головами с еще плохо отросшими волосами, на которых некрепко держались банты, мы терлись о плечи Тью, постигая, что и она – сон, что скоро и ее мы не увидим, и нам делалось стыдно за свою борьбу с ней. А наутро мы по-новому избегали

глядеть друг на друга, ожидая прихода Кошечки, и в мозгу ли, в сердце ли кружилось опять: «Смело, братцы, песнь затынем, удалую, в добрый час...»

Весна шла. Из Лозанны тетя получила письмо из пансиона о том, что свободные места для нас есть. Тетя начала собираться. Мы сидели у окна во втором этаже, с тоской глядя на не любимый нами сад, на далекую полосу моря. Вдруг – все вспыхнуло и пропало из глаз: над кустами опостылевшего сада, меж веток деревьев, мелькнула «разбойничья» черная шляпа... Тигр!!! Мы летели с лестницы, кинув за собой двери, не отвечая на изумленный окрик Тети, и уже висели обе на нем, прижимаясь к его груди, отвечая и спрашивая, ликуя,

ожив, не замечая замершей у окна наверху Тети с отвращением позднее вновь и вновь повторявшей, как это было ужасно, как невоспитанно; как неприлично так бросаться на этого страшного brigand, так кричать, так вести себя в приличном пансионе... А Тигр смеялся, садясь с нами на скамейку, и спрашивая, неужели мы еще ни разу не пробовали освободиться от наставлений Тети, соорудив над дверью сосуд с водой, из которого она вылилась бы на Тетю, когда та вошла бы в комнату, чтобы бранить нас?

Блестели ненавистные кусты «Бориважа»; мы задыхались от счастья, глядя в его лицо, видя вновь нежную, немного едкую улыбку, слыша любимый голос! Владислав Александрович уезжал, приехал вчера, и пришел, и еще придет...

Не успел ли он, или Тетя заторопилась ехать, - но этот его приход к нам был единственный<sup>1</sup>. Положась на Александру Ивановну, в один из последних дней в Нерви Тетя отпустила нас в прощальный визит из Вилла Торре зайти в «Русский пансион». Незабвенный день. Тихо, длинно, чуть наискосок (так наискосок бежит, если смотришь сзади, собака), плещутся волны о плоский берег у милой Вилла

После февральской революции Кобылянский вернулся в Россию уже тяжело больной туберкулезом. Он был редактором газеты в Крыму, а потом заведующим австро-итальянским отделом Наркоминдела. Он тотчас же разыскал Марину в Москве, что было очень нелегко, так как она сменила фамилию. Встретились они как родные. Узнав, что я в другом городе, он написал мне письмо, где рассказал о волнении, которое он испытал, прочитав мою первую книгу, где он нашел свое имя и память о нем.

Он сказал Марине: «В тяжелые минуты жизни дух вашей матери всегда витал вокруг меня, поддерживая и утешая\*. Он сказал, что навсегда прощаясь с ним, мама



просила его не оставлять нас своей дружбой, что он смог выполнить только спустя много лет. Он умер в 1919 году от туберкулеза и похоронен на Ваганьковском кладбище, где мама. '

Торре, пустой вещами, полной дорогими людьми. Последний час с друзьями! Завтра они приедут проводить нас на вокзал, поезд отходит вечером. Неужели мы уезжаем?

Тени залили улочки Нерви прохладой. Их разрезает длинный золотой луч. Закат. Мы спешим. Тетя ждет. Кошечка обещала не опоздать. Готовы наши прощальные фотографии – Кошечка и мы; как и на тех, с Тигром, снятых еще в «Русском пансионе», мы сидим по обе стороны, и все трое смотрим вперед – на того, кто глядит. На нас темно-голубые новые платья, на Кошечке темный жакет. Ее широкое доброе лицо чуть улыбается. Светлые глаза широко открыты. Так мы расстаемся с Тигром и с ней – навсегда!..

Монастырский дом. Нас увидела монашенка. Зовет. Мы вбегаем по лесенке. Мальчика-монашка не видно, в высоких комнатах полутемно и прохладно. Особенно пахнет. Матушка игуменья желает нам всегда быть добрыми и хорошими. Она крестит нас – благословляет. Мы прощаемся, нас ждут. Жоржа нет. Володя с Лаином бежит нам навстречу. Лаин нас узнал, радуется...

Каполунго! Жадно сознавая неповторимость часа, мы впиваем все углы домов, поворот, фасад «Русского пансиона». Мы больше никогда не вбежим в эти ворота! Ветер рвет деревца куртин. Кошечка ждет нас. Мы бежим по знакомым дорожкам. Неужели мы не увидим Вову? Он куда-то ушел с Фрамшей...

– А меня отдают в колледж! – говорит Володя. Он смотрит на нас застенчиво. Мы давно не видались. Выбегаем на «Маленькую Марину». Тут мы в первый раз увидели море...

Но тогда была буря! Море совсем тихое. Бледное. Ветерок колышет наклоненные ветки пиний. И они прощаются! Мы сбегает на крутую лесенку, высеченную в серых скалах. Сколько тут было всего! Все кончено. Горло перехвачено. Муся отводит глаза.

- Вы больше уже не придете? - говорит Володя, рыжая голова наклонилась к Мусе: «А ты мне будешь писать?» - «Буду!..»

Последним движением скрипит за нами железная зеленая дверь, мы бежим по дорожке, через железнодорожный мостик - к воротам. Как вышло, что мы никого не увидели из тех, кто нас знает, из прежних? Какой-то пустой час!

Некогда ни о чем додумать. Володя, Володя! И море, наше море... Мы не увидим их никогда!

Но мы еще раз оказались в «Русском пансионе». Из Рима привезли Леру, больную, в брюшном тифу. Нас привели с ней проститься на второй этаж. Нас не пустили дальше дверей. Лёра лежала без сознания, очень желтая, волосы ее были распущены, В слезах, в жалости и страхе мы постояли на пороге, еле узнавая ее. Нас звали. Там мы расстались на долгие годы с Лёрой, нашей заступницей.

Суэта отъезда позади. Прощание с хозяйкой «Бориважа», багаж, носильщики. Мы в вагоне. Тетя укладывает мелкие вещи, усаживает нас, хлопчет. Но мы умоляем ее: еще есть время! Они, проводившие нас, еще там! Нельзя! Только у окна! Кондуктор успокаивает Тетю: еще десять минут до отхода! И вот мы на перроне с нашими друзьями. Тигра нет! Обещания писать, не забывать... Кричевский, может быть, будет в Лозанне. Найдет нас там! Придет непременно! Нам жмут руки, нас целуют. Тетя зовет. Синие глаза Александры Ивановны в слезах, как и наши. Мы стоим у окна, и высовываемся, и высовываемся, вырываясь из рук Тью.

Перрон дрогнул - плывет. Фонари, свисток поезда...  
Дым! Слезы. Последние отзвуки голосов... Стук колес,  
все быстрее, быстрее. Ночь. Только отъехав, Муся  
написала стихи (помню из них начало):

Нерви мое дорогое,  
Тебя покидая в слезах,  
Я уехала ранней весной,  
И то в жизни был первый мой шаг...

# **ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ШВЕЙЦАРИЯ**

## **ГЛАВА 1. ЛОЗАННА. ОТЪЕЗД ТЕТИ. ПАНСИОН ЛАКАЗ**

Наш путь в Лозанну – горе у вагонных окон. Никакая степень Тетиной расточительности, баловства и забот не смягчила его. Я даже не помню пейзажей кончавшейся Италии, начинавшейся Швейцарии – все дрожало в слезах.

Лозанна. Крутокрыший старинный город, тонущий в купах зелени, башенки, шпили готических церквей, густые каштаны, милый французский говор, знакомый с детства, – все кажется сном после живого сердечной болью Нерви – плоскокрышего, блещущего морем, полного бурных людей, бурных чувств, бурь... И каким-то сном среди швейцарского уюта и старины стоит новейший (блеск, дороговизна, холод, роскошь) отель Боусит, многоэтажный, великолепный, с лифтами, балконами, табльдотом, где Тетя сняла комнаты.

Две вещи помешали нашей вражде с Тетей (за то, что она вырвала нас из Нерви: страстная, спервого взгляда привязанность к Лозанне (точно когда-то в ней родились, точно именно этот город мы видели с детства, во сне) и близящаяся разлука с Тьо. Разлука! То, чего нельзя ни перенести, ни назвать. Что все покрывает. От этого снова, как в Нерви, ничего не видно от слез и внутри как пружина... И еще эта нестерпимая боль – подарки: швейцарские шале с кусочками зеркал под переплетами крошечных окон, швейцарские куколки, парами мальчик и девочка в национальных костюмах, в бархате и атласе, шапочки, корсажи, волшебные сияющие из магазинных коробок, какими Тьо пытается усладить наше поступление в

пансион... Невинно не зная, скромно не допуская, что не пансион – горе, а немислимость ее исчезновения, что в этом-то и есть горе, которое рухнет на нас... В каждом углу, в темноте подстерегающее раскаяние – грубости к ней, приехавшей к нам и уезжающей; к той, дедушкиной, елочной, той, тарусской, с липами и собакой «Лебеди», с корзинами яблок России; к ней бориважной, и теперешней в Боусит, от которой останется по шале и по паре куколок, – и все эти платья и шляпы, и наставления и вздохи, и благословения и рассказы... Почти изменяя Нерви, мы льнем к ней!

А каштаны шумят, Леманское озеро блещет (где-то на его берегах Лоор, подруга Тьо, грустная после неудачного свидания с Сусанной), остроконечные башенки купаются в солнце, и на Бульвар де Граней, 3, стоит серый каменный дом с маленьким садом, где в пансионе Лаказ начнется наша новая жизнь.

Бесшумное скольжение лифта вверх, по обрезах этажей, по квадратной узенькой пропасти. Элегантный жест ливрейного лакея, открывающего резную дверь, выплыванье Тети на плюш коридора, наши шаги ей вслед. Наши комнаты: блеск (фарфор умывальника, зеркала!), полированность кроватей и туалетов, ворс скатертей и ковров, распахнутые в дымки и дали города окна, кружение головы над еле видимым внизу лабиринтом улиц, домов, садов... Иголочками пылают шпиль кафедрального собора – и той церкви, ненавистной нам сейчас, куда нас будут водить. И как одно пачёвское дерево лежат с птичьего полета сады, превращенные высотой в древесные капли...

Неведомым лежит будущее наше, передаваемое Тетей в руки сестер Лаказ, видевших нас только однажды. Тетин поезд отходит завтра.

Тепло, крепко легли две коротких полных руки мам на плечи. Наши головы ответно прижаты к ним. Синий туман за окном застилает внизу Лозанну. Слезный

туман застилает глаза. Жаркое тройное объятие. Тройной всхлип.

Навек затворились за Тяо тяжелые пансионские двери. Ласковая мадемуазель Маргерит ведет нас наверх, в нашу комнату. Скоро ужин. «Маленькая моя, плакать не надо! Ты увидишь, как у нас хорошо... Мы живем как одна большая семья!»

Мы поднимались по узенькой лесенке. Что-то в ней напоминало Трехпрудный. Широкий коридор мерцал сумраком стеклянных дверей. Напротив стояли шкафы. В глубине была раскрыта дверь.

- Вот и ваша комната... А напротив живут три сестры египтянки - Ольга, Астина и Аглаэ, - говорила добрым голосом маленькая, старенькая мадемуазель Маргерит, - они так же далеко от своей родины, как вы. Аглаэ столько же лет, сколько тебе, Marousse... А ты, Асья, - самая маленькая из всех живущих! Никто тебя не будет обижать. Не бойся!

Мы стояли в дверях комнаты, по левому боку которой помещались в ряд две кровати, за второй светлело окно. Две тумбочки. У противоположной стены - платяной шкаф. Тут почти на полтора года улеглась, как кошка, наша жизнь.

Старшая из сестер Лаказ, мадемуазель Люсиль, ничем не походила на младшую. Выше ее, плотнее, с румянцем на смуглых щеках, блеском горделивых карих глаз, горбоносая, красивая, строгая, она могла казаться моложе вечно озабоченной, погасшей, со смятым личиком, старчески доброй мадемуазель Маргерит. Но была она старшей и царила над сестрой и пансионом безраздельно, и сестра подчинялась ей охотно и с обожанием. Обе - пламенные католички, их советник и учитель - аббат, нередко говорящий и с пансионерками. Средних лет, круглолиц, умен, в обращении мягок. К нему и к церкви Муся отнеслась враждебно. Когда нас по субботам и воскресеньям водили в костел - по

воскресеньям дважды: утром к мессе и в четыре часа дня к «Salut» («салю») и давали нам монетки – положить на церковное блюдо, Маруся останавливала мою руку. Резко: «Ты хочешь, чтобы на твои деньги еще одну церковь построили?» Я сконфуженно опускала руку с монеткой.

Все первые недели в пансионе помню наши беседы с пансионерками и старше нас о том, что ада и рая нет -выдумки (как пугались наши старшие подруги!) и что Бога нет, его выдумали богатые, чтобы бедные не роптали... Все, что было насаждено в нас обитателями Вилла Торре и насмешками Тигра, – жило в нас. Но и дня не прошло от первой такой беседы, как тема ее дошла до наших начальниц и до аббата. Искренне нас полюбила м-ль Маргерит (интимно еще и за нашу страстную нежность к ходившему за ней по пятам белому ее Шпицу, перед которым мы стояли на коленях и, несмотря на все запреты, целовали его, уверяя своим долгим опытом, что у собак эхинококков н е т!..). Горестно убивалась она о нашем безбожии и, бессильная нас убедить,

передала нас, особенно старшую, упрямую, умную, своей сестре и мосье л'аббэ. Маруся была вызвана в комнату м-ль Люсиль, крайнюю возле лестницы, куда учениц звали лишь в важных случаях, и там не раз повторялись с ней – сперва с одной м-ль Люсиль, затем и с мосье л'аббэ – долгие убеждающие беседы, полные понимания детской души, ласки, терпения, страстной решимости заполучить эту заблудшую душу.

Большая квадратная комната египтянок напротив нашей, с распахнутой дверью, приветливо звала нас. Десятилетняя Аглаэ, самая серьезная, талантливая из трех, скоро стала подругой Маруси. Маленькая, очень смуглая, черноглазая, с напуском черных волос и черной тяжелой косой. Она была полна душевной энергии.

Старшая сестра Аглаэ, двенадцатилетняя Ольга Матосьян, была неспособна, глупа, но горяча и сердечна... С виду почти подросток, она и кузина их, одиннадцатилетняя Астина Филипосьян, были рослые, физически развитые, сочетали религиозность с жадой удовольствий и нарядов, с сознанием своего богатства – все три были дочерьми крупных армянских торговцев, живших в Египте. Аглаэ резко отличалась от них своей серьезностью.

Атмосферой пансионата Лаказ была – общая дружба, и мы попали в нее совсем для себя неожиданно. Не за то нас тут встретили тепло все, что мы были Овчарка и Мышка, Муся и Ася, как в Нерви, а за нашу судьбу девочек, отец которых далеко, в холодной, дикой России, а мать – больна, каждый старался облегчить нам именно эту тяжесть. Но ни одна из этих двадцати чужеземных девушек не упускала случая внушить нам, что наши «друзья» в Италии, говорившие нам, что нет Бога, – это наши враги! С отважным, готовым к бою лицом, слушала долго Маруся такие речи. Вдаль зорко, широко раскрыты были ее светлые глаза, равнодушные и надменные.

Жили старшие пансионерки внизу, по три-четыре в комнатах по обе стороны коридора. Внизу же помещалась столовая (в остальные часы классная для старших). Напротив тяжелых входных дверей была дверь в гостиную – с пианино и мягкой мебелью, где мы проводили вечера. За нею – стеклянная терраса с большим столом и книжными полками. Тут занимались младшие под присмотром м-ль Маргерит. На

уроках присутствовал белоснежный Шпицу. Выразительность его черных глаз из вороха стрел лунной шерсти, обаяние собачьего ума не оставляли никакого сомнения, что он не хуже нас усваивает древнюю историю, географию, задачи арифметики и бесчисленные времена французских глаголов.



Минуты рекреаций мы гурьбой, взрослые и маленькие, проводили в крошечном садике: огромный платан посредине, подстриженные кусты по бокам, гравий под ногами, и чудом тут умещались и азартные игры младших. Любимая Марусина была: полное сложных правил воинственное наступление двух рядов девочек друг на друга. Она была неутомима в этой игре. Были и проходящие девочки – восьмилетняя неспособная, но добрая Бланшет Милью, дочь пансионского профессора, и ее возраста англичаночка Вайолетт – большое, лиловоглазое беби с бантом у виска, горделивое и невнятное в своем произношении существо.

Жизнь в пансионе Лаказ, несмотря на строгость морали, была так весела и уютна, все так уважали, так ценили м-ль Люсиль и мосье л'аббэ и любили м-ль Маргерит, что мы, вступившие сюда не без враждебности, помня насмешки вилла-торревцев над Тетиным и пансионским воспитанием, оказались бессильными не полюбить окружающих нас людей. Все дольше останавливался пронизывающий взгляд карих глаз м-ль Люсиль на уклоняющихся светло-зеленых глазах Маруси, все чаще говорил о ней мосье л'аббэ. Все больше отмалчивалась на мои вопросы Муся. Что-то чуя, я перестала спрашивать.

День начинался часов в восемь: нас будила милая маленькая м-ль Маргерит со Шпицу. Из комнаты египтянок несся говор, споры, запах зубного эликсира. Завтракали в столовой, вокруг длинного стола. На большой рекреации м-ль Маргерит, гремя ключами, вносила белый хлеб и круглые шоколадки и молоко. Как это было вкусно! Как шумно! Как весело!

После обеда мы, младшие, не учились. Мы шли гулять в крохотный садик. Нам позволялось влезать на нижние разлапые ветви платана. Мы облакачивались на массивные каменные перила, составлявшие заднюю

стенку садика, – он нависал над дорогой, – и следили за проезжающими повозками, нередко запряженными осликами, за добротными старыми швейцарцами-пешеходами в странных широкополых

шляпах. Мы уже знали, что девиз Швейцарии: «Un pour tous et tous pour un» («Один за всех и все за одного»). Под окнами пансионеров благоухали розы.

Из Италии, от мамы, шли письма: папа и выздоровевшая давно от тифа Лера были в России, мамино здоровье крепло, она собиралась навестить нас и пожить вблизи нас перед отъездом нашего пансиона на лето в Альпы. Мы ждали ее, писали ей. В ответ на ее картолинки с знакомыми контурами Аллеа-дель-Пальма, Торре Грапалло, берегов Генуи, памятников Гарибальди, итальянских полуголых детей с гроздью винограда или тарелкой макарон – щемило сердце, но весть, что Жорж и Володя поступают в Генуэзский колледж, фотографии растолстевшего Володи у щегольской тележки, в которую он запрягал Лаина, – давало чувство куда-то от нас летящей жизни и право и нам жить – своею...

В воскресенье мы подолгу бывали в костеле. Он был не похож на русскую церковь, но стоять долго было неуютительно не только потому, что часть службы католики сидят, но и оттого, что в руках держишь служебный молитвенник с картинками и следишь за возгласами аббата. После обеда мы часто ездили на парохде вокруг Леманского (Женевского) озера. Спускались к озеру старыми узкими улочками к набережной Уши, к ослепительному покою и блеску водного серебра и голубизны с мутневшими в туманах берегов жемчужинами селений – Монтрё, Террите, Невшатель. (Тетин родной город, она когда-то... была в нем – маленькой!) В этом шаре воздуха и воды наступало такое успокоение, такая упоенность синевой, скольжением, дыханием, что в нем пропадали на час все разлуки, все оставленное позади, все навеки

несовместимое: Киска, м-ль Люсиль, Тигр, мосье л'аббэ, мама с гитарой и м-ль Маргерит со Шпицу.

Иногда мы ездили или ходили в Синьяль, на ферму в лесу, где бродили лани у пруда, плавали лебеди и по берегам сладко пахло синими ирисами. Или гуляли еще по другим окрестностям. По пути мы заходили в придорожную гостиницу, пили молоко, ели хлеб с медом и сыром. Крутые, из черепиц крыши над сказочными видами домиков, затерянных среди деревьев, дававших уют в зной, отдых, еду и питье, как любовно они легли в покой памяти!

## **ГЛАВА 2. ПРИЕЗД МАМЫ. УШЬ. В АЛЬПАХ. РАЗЖАЛОВАННЫЙ ГИД. ФОТОГРАФИЯ МАРУСИ. ЖЕРТВА КАМНЕЙ. «ДУРНАЯ ТРОПА»**

Однажды меня позвали в гости к Бланшет Мильо. Мы играли в несложную игру в маленьком садике, когда отозванная в дом Бланшет бросилась ко мне с криком: «Ася, скорей, скорей! Твоя мама приехала! За тобой пришли... О, счастливая!» Как я бежала к маме! Муся уже там...

Милое, милое лицо, такое родное! Как мы без него жили? Две наши головы у маминых плеч! Как мама нам улыбается! Только она так может! Незаменяемость человека! Неповторимость его черт, движений, привычек! Тайна голоса! Именно ее мы ждали, именно ее нам не хватало! Только ей одной мы хотели рассказать все!.. Мы ластились о маму, как зверята о зверя, впервые так, став проще после разлуки, перед новой разлукой, не зная, что можно так стосковаться!

После уроков и обеда мы ненасытимо бродили с мамой вокруг Лозанны, мы сидели за столиками прибрежного ресторанчика Уши за стаканами гренадина или кофе. Закат медленно опрокидывал в озеро розовую желтизну неба, небесно-водяной пар начинал темнеть, мерцал первой звездой. Медленным взмахом палочки подымал дирижер над оркестром вечернее рождение музыки, и старый город, как замок

Рингштеттен в дни Гульбрандта и Ундины, затихал тьмой садов и блеском лунных ночей.

- Дети, жизнь идет полосами, вы это увидите, когда вырастете, - говорила мама, - и вы вспомните мои слова! - И, прерывая нас, желающих сказать, что мы уже вспоминаем: - Вот Ясенки мои и наша дача в Тарусе, наш московский дом и Нерви - это все полосы. И вот это сейчас, мой приезд - полоса тоже. И она тоже пройдет, как сон... Иногда очень трудно оторваться от чего-нибудь дорогого в жизни, - но и оно может пройти... Если надо!

Мы слушали маму, и ее слова отзывались в нас. Над Уши зажигались цветные фонарики иллюминации, жаркие в падавшей синеве вечера, под исчезающим небом. Искрами холода леденели голубинки звезд, безнадежно затерянные в пространстве. И во всем этом плавилась музыка раскаленной своей печалью, и неслась, как ветер над озером, опрокинувшим в себя небо, - гостиница замка обрезала о синеву прихотливые очертания башенок и зубцов. В нем останавлю\*

к

вались, когда приезжали, родные наших подруг-египтянок Это был самый дорогой отель. Их богатство нас от них отдаляло. В нем была струйка тоски...

Через несколько лет, вспоминая те вечера, Марина написала стихотворение «Оисьбу»:

Держала мама наши руки,  
К нам заглянув на дно души,  
О этот час, канун разлуки,  
О предзакатный час в Оисьбу!..

Мы ненасытно рассказывали маме о нашей жизни. Но я улавливала, что Маруся избегала говорить о м-ль Люсиль и мосье л'аббэ. Так было в Нерви, мы молчали, сначала тоже не рассказывали маме о наших друзьях-революционерах. М-ль Люсиль и мосье л'аббэ - наши новые друзья. И мы это скрываем от мамы? - неясно

неслось во мне. Но вслед за Марусей я тоже молчала о них. Почему? Я бы сказать не сумела.

Вечером мама отводила нас в пансион. Нас встречали ласково, весело, добро, завидуя нам, что мы – с матерью. Как засыпалось! Завтра, после уроков и обеда, мама снова зайдет за нами, и мы поедем с ней в Синьяль – смотреть ланей. М-ль Маргерит тушила лампу и желала нам доброй ночи.

Чистые, веселые швейцарские дороги с игрой солнца и тени, с поклонами встречных. Хороши? Нет слов... А где-то в сердце – видится поле по дороге к Пачёво, тощая рожь, родная, межи и тропинки, ширь, жар и даль... Тоска по России сплавляла маму и нас – в одно. Мы и не говоря, с ползвуча, понимали друг друга. И всегдашнее наше, с ранних лет – «а помнишь?».

Мы рассказывали о нашем расставании с Тьо.

– Да, дети, Тетя – это удивительный человек... Такая преданность нашей семье...

Каждый день мы ходили еще в какие-нибудь окрестности Лозанны... Мы проходили мимо садов, пахнущих розами; от их запаха хотелось закрыть глаза... Но в эту минуту из окна раздавался звук рояля, и розы в нем сжигало, как в пламени. И тогда в мамином лице было то самое, уже с детства так любимое: грусть в нем была, и была в этой грусти – отвага, и какое-то горе веяло у ее рта. И мы жались к ней одним движением. А потом мама в маленькой своей комнате варила

на спиртовке русский чай, а мы бежали по знаменитой Лозаннской лестнице – в нижнюю улицу, в булочную, и опять вверх по широким каменным ступеням, и ветер трепал тонкие бумажные кульки с золотистыми хрустящими хлебцами с изюмом. Высокий шпиль собора, крутые крыши, старинная архитектура... К маме пить чай! Как мы бежали! Мамин отъезд близился. Мы с пансионом ехали в Альпы. Мама

говорила нам об эдельвейсах, серебристых высокогорных цветах с чашечками в виде звезды. О легендах, связанных с ними.

- А я, дети, вернусь в Италию по настоянию докторов, проживу там еще одну зиму, пока вы будете жить тут с подругами и добрыми м-ль Лаказ. Вы и за эти месяцы так сильно подвинулись во французском языке, как же вы будете говорить тогда! И папе какая радость, и Тете!.. Моя мечта - чтобы вы знали и английский и итальянский, как я, - не меньше, чем я знаю! Больше!.. А когда эта зима пройдет, мы с папой поедem в Германию. Там вы поступите в пансион на год, а я поселюсь возле вас, чтобы медленно привыкать мне к более холодному климату. А потом - в Крым! А в Москве я велю себе отделать ту комнату на чердаке, которая над нашим парадным - выше всего. Там чище воздух, там будет моя спальня.

- Мама, а ты говорила - в Цюрих? - сказала Маруся.

- Может быть, в Цюрих, - как-то затуманившись, ответила мама, - если я решу жить в Цюрихе, я вам напишу. Вы большие уже, вы можете уже - сами...

- Мам, мам! - пристала я. - Что? Что можем? Что сами?

- Ничего, дети. Об этом говорить рано. Это еще все не решено.

- Мама не может жить всегда в Италии, - повторяли мы ее слова в пансионе, - потому что в Москве у нас дом, и папа - профессор Московского университета, и в Москве будет папин Музей древней скульптуры, вся семья там, мама не хочет жить в чужих краях. Она вылечится и вернется в Москву не сразу, а понемногу... Вылечится!

Живой кусок от живого куска! Так мы отрывались от мамы. Последняя прогулка! Последний чай!

Поезда мчали нас прочь друг от друга. Маму - в Геную, нас - предгорьями, все круче, все свежей, - как в

Тироле, бегут селенья, церковки, речки, водопады, мельницы – к

>4

белому великану, высящемуся над всем хором одиночек и горных цепей, – к Монблану. А в голове те два названия -Фрейбург, Цюрих. Поезд летит.

Раскаленная синева. Ослепительный блеск снегов, такого множества его, что он не растает от летнего солнца! Мы, Маруся и я, две русские девочки в голубых платьях, в соломенных шляпках, с альпийскими палками в руках. Наш пансион, и гиды, и мул, везущий в корзинах через седло нашу одежду: когда пансионерки окажутся в облаках, где свежо и сыро, они наденут пальто, мы с Марусей – наши красные шерстяные полудлинные кофточки. Еще выше – те места, откуда текут ледники; еще выше – горы и еле проходимые тропинки путешественников. Выше – последние горные гостиницы. Еще выше – вершина Монблана. Там так холодно, что путники замерзали. Мы – возле гостиницы, построенной на половине Южного зуба (острозубые ледяные пики), будем кататься на санках с покатыми снежных спусков. Как в московском дворе!

Мы уже поднимаемся вслед за гидом по дороге в горы. Она еще широка. По разрозненным рядам пансионеров кое-где медлит рассказ: отец нашего гида (нам показали его у выхода из Аржантьер) тоже был гид, и однажды в опасном месте все шедшие впереди (связанные друг с другом веревкой), поскользнувшись, оторвались и повисли. Они висели над пропастью, связанные веревкой с теми, кто еще не сорвался, ближний к краю был наш гид. За ним туристы, позади всех – отец гида. Видя, что упавшие перетягивают, сын сейчас сорвется и погибнут все (а всех все равно не спасти), старый гид, рванувшись вперед, перерезал веревку перед сыном... И те полетели вниз... Старого гида судили. Его лишили звания горного проводника. И



он доживает свой век. Доживает бесславно. Сердце бьется безумной жалостью к нему! Ведь он не погубил тех, он спас остальных. И -«бесславно». Его никогда не забудешь...

Поляны синих маленьких цветов. Очень синих. Это жансианы. Подождите! Выше – рододендроны, розовые, тугие, крупные. Помнится, те и другие без запаха. Запах ушел в цвет: синева и розовость – нельзя отвести глаз. Рвем охапками, с альпийской почтой цветы пойдут в картонных коробках, сбрызнутые водой, – по всему свету – всем родным.

И в Египет, и в Москву, и в Тарусу, и в Нерви! И на открытках будет штемпель альпийской почты!

Привал. Гостиничка. Серый хлеб, свежий сыр, молоко. Отдых. Марина, ждавшая от меня нытья в пути, молчит, явно ко мне милостива. Горжусь. Цепкими ногами в горных, как у всех, башмаках с гвоздями на подошвах, я иду, не отставая от взрослых, хотя ноги уже болят. И все-таки я устала в одной из первых дальних прогулок, и меня приютили на муле, маленьком темно-сером конике, а он упрямо не хотел, чтоб я на нем ехала, и конец моей езды был сразу торжеством и фиаско: мул летел под (отлогую) горку; я, уцепясь, не упала! Это было так лихо и почти даже весело, но я трусила изо всех сил и вопила, и все бежали ко мне...

На высоком плато, откуда был виден весь свет, где жгло солнце и дул ветер, мы скользили вниз по наклонной наледи – на санках. Летом! Настоящее волшебство!

Марусин, уже бисерный, почерк шелестел пером по открыткам; я, высунув от усердия язык, быстро корябала (тоже уже мелко) приветы в Италию и Россию.

На фотографиях этого дня, долго у нас хранившихся, весь пансион и гиды на леднике. Марина выше меня по крайней мере на полголовы и куда шире в плечах. Казалось, года четыре разницы, – а всего два.

Обе в широкополых соломенных шляпах, щурясь от солнца, смеемся; у Марины чудесная полуулыбка, счастливое, застенчивое просияние. Богатыренком стоит она на фоне льдин Гласье де Боссон. В чуть сощуренном взгляде – отвага. Сейчас эта фотография живет только в моей памяти.

Аржантьер – чистенькая старинная деревушка, где мы живем в маленьком отеле. Там проще и вольнее, чем в Шамуни, где мы жили в отель де ля Курда, где был важный табльдот, за которым я осрамилась, спихнув под стол стручковую фасоль в масле (с «нитками»), Я ее ненавидела. Когда мы встали из-за стола, она предательски темнела на золотом паркете, и я опозоренно плакала своим «и-и-и», пойманная, как вор.

Наше счастье был Шпицу, спутник всех наших прогулок. Но однажды случилась беда: при переходе сияющего голубого ледника он упал в «кревас» (трещину). Его вынимали ремнями с привязанными к ним досками. На бедную его

хозяйку жалко было смотреть. Белоснежная шерсть была в крови: Шпицу выбил зуб. Он скулил, дрожал, но, для нашего ободрения и смущенный вниманием, пытался взвизгнуть, игриво подняв мордочку, но визг перешел во взвизг боли, и мы обе, одним движением, стали возле него на лед на колени, обнимая, утешая и плача. Наша длинная вереница сочувственно шла назад, не dokonчив прогулку. Никто не роптал, жалость к раненой собаке не показалась никому сентиментальностью.

Маруся дружила со старшими, особенно с Мице Вайдман -веселой и всеми любимой озорницей. Ей было шестнадцать лет. Шалости ее никогда не были злы. Голубоглазая, с русой косой, горбоносая, с резкими движениями, смехом и выразительной мимикой, она напоминала клоуна. Горячего нрава, она была очень добра. Все старшие пансионерки относились к Марусе

как к равной. Они поражались ее развитию, ее уму и талантам: училась она без всякого труда, во всем шла впереди других. Было просто трудно поверить, что ей скоро одиннадцать лет.

Иногда мы все лазили по холмам, собирая чернику. Ее было много, часы сбора были упоительны. Рот, язык, зубы - синие. Солнце нежно жжет, руки и ноги - в царапинах от колючек...

Прогулки в горы продолжались. С начала лета говорилось

о самой опасной - на Мовэ Па (Дурная тропа). Немало путешественников оборвалось там в пропасть, и много ходило об этом рассказов. В ожидании этой экскурсии мы поднимались по менее опасным дорогам: ходили на Гласье де Боссон, на ледник Ледяное море. С нами были и другие экскурсанты. На этом леднике мы стали свидетелями катастрофы: вдруг откуда-то сверху посыпалась лавина, и с криком: «Камни, камни!» - люди бросились врассыпную. Но один остался. Он лежал на льду неподвижно, из его головы текла кровь. Камни еще падали, хоть реже, - к нему люди кинулись, оттащили его, подняли. Мы видели, как рвется, треща в воздухе, под чьими-то усилиями что-то белое, как люди расступаются, кто-то наклоняется, делает перевязку. Наши начальницы и пансионерки шептали молитву. Раненого пронесли мимо нас. Он был без сознания. Его большая борода была вся в крови. Солнце сверкало на ледяных пиках гор. Бархатными коврами ползли по горам - ниже - леса Синим холодом дышало

Ледяное море. В наших руках были веселые альпийские палки с острыми наконечниками. Недосягаемым снежным конусом лежал равнодушный к людям Монблан. Будет ли жив? Эта мысль билась во всех нас. Много дней мы не знали о нем. Наконец он появился: у дверей отеля де ля Курон он сидел в кресле, укутанный, несмотря на жару, в теплые пледы;

голова его все еще была забинтована. Лицо было почти такого же цвета, как бинты. Он потерял огромное количество крови.

Как будто полуживыми глазами он глядел на зеленую нарядную долину у подножья чуть было не сгубивших его гор.

И вот мы на Мовэ Па – узенькая, одному только пройти, тропинка высоко в горах, по краю пропасти. Справа – почти отвесная скала и в ней, местами качаясь на вырвавшемся скреплении, вдоль скалы, проволока, за которую можно местами придержаться. Поньше не понимаю, зачем вели туда пансионеры с детьми. На месте, где почти ежегодно случались несчастья! Сорваться – означало смерть. Мы связаны веревкой не были, но были с нами два гида. Перед вступлением первого гида на Мовэ Па я, самая маленькая и юркая, выбежала вперед веселой детской припрыжкой, не сознавая опасности и не слыша испуганных криков за собой. Отозвать меня было уже нельзя. Я бежала беспечно, мне тропинка не казалась узкой. Я слегка придерживалась за проволоку и даже сорвала выросший в расщелине скалы цветок. Только один человек из тех, кто шел сзади, за меня не боялся: Маруся. Привыкши лазить по почти отвесной «пластине» нервийской, мы страха не ощущали. Маруся была, конечно, горделиво спокойна за меня, что я не сорвусь. Но обе начальницы и пансионеры шли, замерев от ужаса, и молились, не отрывая от меня глаз. Зато что началось, когда мы прошли Мовэ Па! Все на меня обрушилось, кричали гида, начальницы бранили меня, что я не люблю свою маму, что я не жалею их, дурная, глупая девочка, – ч т о бы они сказали маме, если бы я сорвалась?

Я разливалась плачем, а лукавый Марусин глаз косился на меня одобрительно.

На белой дороге, за которой знакомый пейзаж Аржантьер, освещенные солнцем домики с остроконечными, цвета темного серебра, крышами, столбик колокольни, купы садов, - наша вереница, выходящая на далекую горную прогулку. Длинные утренние тени повторяют всех нас на белизне дороги, растянувшись в длину, - смуглое, продолговатое лицо м-ль

Люсиль, горбоносое, строгое, полное величавости, которой так совсем лишены добрые, какие-то смятые черты маленькой м-ль Маргерит. А Маруся еще выросла в Альпах! Я такая маленькая рядом с ней, и наши тени повторяют эту разницу.

## **ГЛАВА 3. СНОВА ЛОЗАННА. БЕСЕДЫ С МАРУСЕЙ. УРОКИ МУЗЫКИ У МОСЬЕ БИШОФ. М- ЛЬ ЖАНН**

Мы ждали приезда кузины м-ль Люсиль - м-ль Жанн. О ней говорили, что она очень строга, очень религиозна, что только какие-то семейные обстоятельства помешали ей стать монахиней. Наши сердца уже тянулись к ней в таинственном уважении. Теперь в церкви мы уже не стояли нахмурясь, скучая, враждебные к происходящему.

Как произошел этот «душевный переворот»? Мало-помалу или «вдруг» - и на этот вопрос не сумею ответить, потому что не помню как.

Как в родной, на лето покинутый дом, входят пансионерки в тяжелые двери серого каменного любимого пансиона Лаказ - Бульвар де Граней, 3. И подумать, что еще четыре месяца назад мы не знали, что он е с т ь! Весело расселяемся мы по своим комнатам, и лозаннский день идет так, точно и не было Шамуни и Аржантьер. Еще одна полоса, как сказала мама в Уши, - позади. В воскресенье, после мессы, до обеда, все мы сядем писать длинные письма домой о том, что такое Альпы. О Монблане, на который взойдет только самый-самый смелый человек на свете! И полетят наши письма: в Россию, в Египет, в Германию, Англию, Испанию -по всему свету...

А через полгода с отъезда из Нерви мама стала получать от нас письма, как мы потом узнали из ее писем к папе, встревожившие ее по-новому. Смысл ее жалоб был тот, что трудно воспитание детей, особенно

в ее положении больной и вдали. Намучась нашей чрезмерной свободой в Италии, дружбой с Володей и пугаясь чрезмерной же нашей любви к чужим взрослым, ей казался разумным шаг с помощью вызванной на помощь Тети – поместить нас во французский пансион! И что же! И здесь получилось совсем не то, чего она ждала! «Это просто невероятно, какие воспитатели эти католики! Это какие-то монахини становятся, а не девочки!» – писала мама. Мы никогда не узнали, что отвечал ей отец, но думаю, что успокаивал, как делал всегда, глядя на жизнь с позиции пятидесяти пяти прожитых лет. Он верил, что все обойдется, что тревожиться не надо.

А пока мама получала наши недетские письма, не знала, что отвечать:

Когда наставал вечер, и египтянки шли в свою комнату, и м-ль Маргерит со Шпицу кончала свой вечерний обход (на ее попечении были младшие), как только шаги ее затихали на лестнице, по которой она спускалась, – мы тихо вставали с постелей, становились на колени на коврики и начинали молиться. Усталые, мы засыпали, счастливые исполненным долгом, а наутро нас встречал день: с шумом, с солнцем, с воспоминаниями о другой, вольной жизни, о веселье революционных песен, о скалах, о лжи старшим, о свободе, о Пачёвской долине, где проскакал Лесной царь (а Лесной царь – это что? божество природы, язычество, грех?).

Добрая м-ль Маргерит, не подозревая о нашей ночной молитве, ни о бурях в нас, раздавала нам учебники и тетради, и я садилась учить древнюю историю, учить по старинке, наизусть, о каком-нибудь короле Мидас с ослиными ушами, арифметику, географию и неправильные глаголы.

Для занятий музыкой понадобилось – ввиду нашей близорукости – показать Марусю и меня окулисту. Нас

повезли к знаменитому тогда Дю-Фур. Он надел на нас круглые, совиные очки. Впрочем, я стала носить их позднее, с десяти лет. Маруся же их надела.

Музыку преподавал у Лаказ большой знаток, очень старый и очень строгий мосье Бишоф, дававший уроки в некоей коронованной семье (какой страны? О нем ходил такой рассказ). Сгорбленный, седобородый, блестящий пианист, требовавший от нас, учениц, подлинного увлечения и прилежания; он до нас – за годы – поставил всего одно «пять» некой легендарной усидчивости девушке, проводившей за роялем все свое свободное от уроков время. Но и «четыре» его было чрезвычайной редкостью, и с такими счастливыми днями был связан чудесный обычай: не только виновница его, но и все пансионерки отпускались – через улицу – в кондитерскую Юрлимана закупать себе сладостей.

Муся, любившая чтение еще больше, чем свою игру, все же много раз получала «четыре» у мосье Бишофа. Но мне радостно вспомнить тот день, когда за мое, самой младшей рояльное прилежание все пансионское население Лаказ проследовало, сияя и тормоша меня, через солнцем залитый Бульвар де Граней к зеркальным окнам кондитерской, к

солнцем сбрызнутым витринам воздушных, эфирных, причуд, ливейших, как из Шехеразады, сладостей, пирожных и тортов.

Все эти веселые, ласковые обычаи уснащали детский быт сурового, казалось бы, католического пансиона.

В пансион прибыли новые: Кончитта и Кармен Ангуло, сестры-испанки. Кончитте было четырнадцать лет. Выше всех нас, младших, она была смугла, имела резкие черты, большие темные глаза навывкате. Кармен было девять; смуглая и черноволосая, как сестра, она была красивей, скромней и тише. Мы полюбили обеих, и



они быстро вошли в наш крут. Говорили они по-французски плохо.

Наступила осень. Становилось холодно. С нашего милого платана слетали листья: желтые, лапчатые. Служанка зажигала уголь в печке на террасе в чугунном столбике с трубой; это – калорифер. Прилежно учились мы до обеда. На большой перемене, тепло одетые, мы выбегали в сад. Как весел и дружен был обед в столовой за длинным столом! Шли гулять по Бульвар де Граней, мимо каких-то подвальных решеток, откуда шел запах супов, пирожков, жареного. По тем улицам, где мы так давно бежали к маме, и тонкий бумажный мешок трепетал в ветре, мы несли к чаю булки с изюмом... В мокрых садах облетали последние лепестки цветов. Как весной тут пахло розами, как сладко!

Старыми улочками мы выходили к Уши. Неприветно лежало озеро, холодным металлическим зеркалом, мутным, -по нему шли то волны, то рябь. Завтра воскресенье, к мессе. Потом письма домой. В четыре часа принесут блюдо с пирожными. В тот раз Маруся не подошла к нему. Она дала всем все выбрать. Она взяла те три последние, что остались: сухие, миндальные и плоские, без крема. Самые невкусные! Я смотрела на нее, замерев. Знала, как ей трудно. Но она права: именно так надо! Завтра на блюде останутся шесть худших, и тогда мы их возьмем.

Бывали у нас представления. Помню одно под названием «Тетин приезд», в котором мне дали роль горбатой тетки. Дети встречают некрасивую, маленькую старую тетку недружелюбно. Но она всех очаровывает добротой, всесторонней помощью. В сцене апофеоза она стоит среди полюбившей ее молодежи, с улыбкой произнося слова: «Нельзя судить о

дереве по его коре!» Сколько труда, приготовлений! На спину мне приделали под платье подушку,

причесали, надели старушечий чепец. Роль я выучила легко и сыграла недурно.

Как аплодировали девятилетней тетке! Как было весело! Под ковром и картинами открыли дверь в соседнюю комнату -получилась сцена. А публика - начальницы, учителя и пансионерки - сидели на рядами поставленных стульях, получился настоящий театр.

А затем приехала м-ль Жанн. Высокая, выше м-ль Люсиль, худая, во всем темном, с сухим, тонким смуглым лицом с чертами правильными и красивыми, если бы не чрезмерная худоба. У нее было лицо мученицы. Легко, бесшумно двигалась она меж нас, но каждый, на кого взглядывали ее большие темные глаза, пристальные, печальные, строгие, как бы пронизывался чувством, понимал, что надо опомниться, что надо иначе жить. Весь пансион, еще с прежних приездов, любил м-ль Жанн какой-то особой любовью. Рассказы о ней, долгое ожидание! Маруся с первого взгляда страстно привязалась к ней. И та заметила Марусю сразу. С этого дня Маруся стала неузнаваема: где был ее крутой нрав, ее вспышки гордости, дерзости? Уж не приходилось мосье л'аббэ и м-ль Люсиль звать ее, говорить с ней; все свободное от классных и домашних занятий время (а домашние уроки Маруся готовила быстрее всех, учась блестяще по всем предметам) она проводила в комнате м-ль Жанн. И ночью я теперь всегда засыпала первая.

## **ГЛАВА 4. ЗИМА В ЛОЗАННЕ. ПРИЕЗД КРИЧЕВСКОГО. МАРИЯ ОССОРИО**

Близилось Рождество. С последней елки в Москве было два года. Казалось – много лет! Из Москвы прибыли «гостинцы», как писал нам папа, – любимые пастила, мармелад и клюква в сахарной пудре, всего много, коробками. И большой круглый филипповский черный хлеб. Положив посылку в свой шкаф и не трогая, мы предвкушали счастье угощать подруг. Изредка к папиным письмам были приписки Андрюшиной рукой – мелкий, узкими буквами, очень косой почерк. Он писал о гимназии, отметках, о катании на коньках. Благодарил за открытки с видами. Но ни он о нас, ни мы о нем – не скучали. Но когда, редко, приходило письмо из Италии, от Володи Миллера, или его карточка – потолстевшего, в форме колледжа, тогда вспыхивала тоска по нему, по скалам, морю, по утраченному любимому детству. Но кого мы вспоминали – это Лёру. Непонятно и странно, но нам иногда казалось, что она могла нас, может быть, лучше понять сейчас, чем мама? Мамины письма мы очень любили, читали и перечитывали ревностно. Но когда однажды мама нам написала: «Владислав Александрович женился, у него очень хорошая, образованная жена, прекрасная музыкантша», -Маруся, чуть сузив глаза, зло сказала мне: «Та, наверное! Помнишь ее?» Вскоре мама получила наш отклик. Маруся не дала мне прочесть, что писала о Тигре – маме. Но я помню свои строки. «Мама, почему Тигр женился? Мама, напиши, почему! Ведь он говорил, что это – мещанство... он – вольный орел. Как же он мог?»

Как год назад в Нерви столовая, так теперь гостиная наша была полна ворохов цветной, серебряной и золотой бумаги, и мы вечерами клеили елочные украшения. Тут же громоздились глубокие картонные коробки, полные прежних чудес, шелеста, шуршаний и блеска... Скоро, скоро - «Ноэль»!

Стояла зима. Лежал снег, и улицы Лозанны были сказочны, как на картинках любимой Марусиной книги «Давид Копперфильд». Мы на прогулках с м-ль Маргерит останавливались перед витринами магазинов, игрушечных, писчебумажных, и смотрели на обрамленные искрами морозных узоров предметы, пригодные стать подарками друг другу (везде меж пансионеров был шепот, улыбки, тайны). В магазине Макка - коробки сургуча всех цветов: серебряного, бронзового, золотистого, коробки всевозможной бумаги для писем, с конвертами всех фасонов, цветов, с блеском, тонких и толстых. Чернильницы в виде собак, лошадей, кошек, птиц, человечков. Альбомы для стихов, для рисования, для открыток. Шкатулки от деревянных до перламутровых и черепаховых, блестящие, резные с выпуклыми альпийскими цветами, плюшевые. Разрезательные ножи, карандаши в причудливых футлярах и россыпь перочинных ножей (опять черепаха и перламутр, кость, металл, дерево). А книги! Прильнув к прилавку, как в Москве у Вольфа, жадно глотаем французские названия: «Серебряные коньки», знакомое с детства «Без семьи», Голландия, кораблекрушения, море и хижина рыбаков. В переплетах синих и голубых, темно-красных, зеленых с золотом. А снег, как в России, вьется, хлещет,

щеки горят, и везде - предпраздничная суэта у запущенных инеем витрин. Выходим нагруженные пакетами, в двери с вертушкой, пропускающие выходящих по одному. Таких дверей в России мы не видели, это ново и весело.

Наша пансионская елка стоит убранный, закрытая в гостиной. Старшие, сюрпризом для нас, убрали ее и закрыли. Вечером она будет гореть, и будут бенгальские свечи, обмен подарками, песни, торты, яблочное вино. Да, но до елки у пансионерок есть дело: младшие понесут из дома елочку, убранный, блестящую, и угощение в бедную семью к консьерж (привратнице). Как забыть восторг ее сына и дочери при виде нас, вносящих нежданно в раскрытые двери - Праздник?

В один, кажется воскресный, день нас - Мусю и меня - вызвали вдруг в гостиную. «К вам пришел ваш русский знакомый, - сказали нам, - он из города, где лечится ваша мама. Причешитесь скорее и идите, он вас ждет». С бьющимися сердцами мы сошли вниз по лестнице. В гостиной стоял нервийский Кричевский. Все тот же, высокий и плотный, с кудрявой головой, немного неловкий, с таким большим телом и такой застенчивый, точно мальчик. Весело двинулся он нам навстречу и остановился в недоумении. Он хотел что-то сказать и запнулся.

- Здравствуйте, - сказали мы вежливо и ступили к нему. Острая жалость пронзила нас. Такой добрый, приехал... Но не верит в Бога, смеется над Богом, он - враг.

- Вы очень изменились, - сказал Кот Мурлыка, бережно пожав наши руки. - Выросли. Очень. И вообще...

Он рвался через какую-то преграду.

- Ну, как вы живете? Как учитесь? Ты как, Муся? Пишешь стихи? А музыка? И ты, Мышка, тоже играешь?

- Да, и я недавно получила «четыре», как Карла, и мы ходили в кондитерскую к Юрлиману. Когда «четыре», нам позволяют.

Мы отвечали, и он спрашивал. Маруся попросила его сесть. Он поблагодарил, не сел.

- Я ведь так, ненадолго... - смущенно говорил он. - Да, вы так изменились! Привыкли к своему пансиону?

- Да, нам тут хорошо. А как Кошечка?

- Кошечка просила вас навестить. Она болела, теперь здорова.

- Передайте ей наш привет.

- Передам. А я тут ждал вас и думал: какие-то они стали?

А вы вон как. Это кто же? - спросил Кричевский потерянно.

- Святая? - Он стоял перед маленькой статуей.

- Это, - ответила Маруся очень серьезно, - Мадонна!

- А-а-а! - протянул наш гость. - Вот вы какие. А я думал...

Ему было нечего сказать. Он стоял и смотрел на нас, и мы на него. Потерянно. Внутри - бушевало. Но этого нельзя было показать.

Он еще что-то спросил. Мы ответили. Потом он заторопился. Мы проводили его до дверей. Когда тяжелая дверь закрылась за ним и за нею раздался его уходящий шаг - Маруся резко отвернула лицо. (Плачет?) «Подглядываешь?» Но я уже ревела, как в детстве.

Воскресенье. Уже вечер. Дневной чай отпит как надо - Маруся и я исполняем наш долг, вольно на себя взятый: мы пережидаем, когда все, даже Терезинет с ее грациозной улыбкой, самая тихая из всех, ученая, умница, выберет свои три пирожных, - она берет из оставшихся, никогда не бежит, не хватает, - и затем мы получаем наши шесть штук, нелюбимых, почти что всегда сухих миндальных. Жарко пышут угли в столбике чугунной печки. За стеклом качаются руки платана. Он весь белый. Сегодня Бланшет не ушла домой, она с нами. Ее мама лежит в больнице.

На ферме Синьяль, где летом были лани и ирисы у пруда, зимой - каток. Нас повезли туда всем пансионом. Многие умели кататься, скользили по льду, как

вальсировали по паркету, в сапожках, с маленькой муфтой, в теплых кофточках, шитых в талию, в широких платьях. Маруся боролась со льдом и коньками отважно, хоть и без увлечения, – все, что ее отрывало от книги, скорее мешало ей. Но я на коньках была в отчаянии: я падала и вновь падала, ноги меня не держали, это была – мука. Наконец я замерзла так, что от боли в руках и ногах заплакала громко, навзрыд. Чьи-то руки схватили меня, и удивительной красоты лицо повернулось ко мне: на днях приехавшая шестилетняя американочка Мэри (по-французски Мари) Оссорио. Она не

понимала, о чем я плачу, хотела узнать. Она каталась с горки на санках, в меховой шубке и шапочке, покрасневшая, веселая. Поняв, в чем дело, она тотчас же сняла с себя теплые меховые варежки и протянула их мне. Убежденно и в то же время удивительно вежливо она натягивала их на мои замерзшие в тонких перчатках пальцы и тащила меня на гору, к своим санкам, не замечая моих коньков. Мы отвязывали их и смеялись, на разных языках говоря что-то, и санки мчали нас под гору, – так началась одна из самых чудных дружб моей жизни.

Мягкие, прямо в меня глядящие, темные большие глаза с непередаваемым выражением ласки. И мы летим, летим с горы, и вновь лезем и лезем в гору, и снова летим с горы.

Годы и годы позднее вспоминала Марина несколько раз пережитые нами особенные лозаннские утра. Проводы на вокзал пансионеров. Всем пансионом ехали провожать уезжавшую. Всегда утром. Незнакомые улицы, утреннее солнце, волнение прощанья – и знакомое, родное с детства зрелище вокзальной суеты, вновь куда-то зовущие гудки поездов, запах железнодорожной гари... Третий звонок, слезы расстающихся девушек, отход поезда – и в необычном

утреннем часе возвращение в пансион, пустота после подруги, из нашей жизни исчезнувшей, вдруг ставшей такой нужной, и долгая печаль, которая, кажется, никогда не кончится, вслед...

...Помню поездку всем пансионом в театр, потрясшую нас, многие из младших плакали. Самой пьесы я не помню. Память сохранила только впечатление от театра, темные ложи, бледный свет, кудри придворных и лица каких-то людей, которых постигали несчастья в доблести и благородстве...

На уроки гимнастики ездил весь пансион. Большой зал с темно-желтым паркетом, от которого пахло каким-то необычным керосином. Мы нюхали воздух: «Московским чуланом». Египтянки, особенно подруга Маринина – Аглаэ, чудно делали гимнастику. Мы – не делали. Мама считала, что девочкам если она и нужна, то особая, и воздерживалась от общей. Я любила смотреть на синие матросские платья, слушать музыку, улавливать ритм. Несколько раз за жизнь я ловила вдруг где-то тот особенный запах керосином пахнущего паркета и тотчас же оказывалась в том зале.

...Масленичный карнавал. Маски, писк за окном, хохот, веселящаяся толпа...



## **ГЛАВА 5. ИСПЫТАНИЕ. ВЕСНА 1904 ГОДА. ШИЛЬОНСКИЙ ЗАМОК. ПРАЗДНИК НАРЦИССОВ**

Это случилось 1 апреля. На нас рухнула беда. Придавленные ею, в ужасе, в непонимании, мечась перед жестокостью факта, что нельзя оправдаться, мы, младшие, покрытые презрением старших и всех, кто еще вчера нас любил, заливаясь слезами, не имея ни одного друга, были в совершенном отчаянии. А случилось вот что: кто-то без подписи, анонимно, прислал нашим начальницам на 1 апреля такое мерзкое по содержанию письмо, что нам его не изложили подробно. И в то же время нас, младших, обвинили в присылке его! Трех египтянок, двух русских. Не рассказывая нам сказали: «Вы знаете, что вы сделали! Не удивляйтесь, не лицемерьте! Присланное вами письмо говорит само за себя. В день, когда во всем мире люди имеют обычай невинно подшучивать друг над другом, вы облили грязью своих начальниц, так вас любящих. И покрыли грязью самих себя!..» Все попытки наши узнать больше – терпели фиаско. На вопросы наши – не отвечалось. Нас стыдили и, называя бессовестными, заставляли молчать. Отчаянные, непонятные для получателей письма летели в Каир, в Москву, в Нерви...

Но нам пришло утешение, усвоенное от тех самых старших, которые так жестоко теперь обвиняли нас. Раз мы невинны, рассудили мы, и обвинение ошибочно, значит, это испытание, нам посланное. И мы должны его вытерпеть! Правда восторжествует, сказал кто-то

из нас, и мы будем оправданы! Мы должны только терпеливо дожидаться этого дня! И, укрепляя себя и друг друга, мы старались не обвинять никого в несправедливости, утешать друг друга - и ждать...

Каждая наша попытка узнать приводила старших в неистовое негодование. В то самое негодование, против которого мы, невинные, боролись в себе. Выхода не было. И мы призывали помощь. Сколько дней так продлилось? Много... Кто? Ольга? Аглаэ? Или Маруся? - принесла нам несколько дней спустя добавление к сведению о письме? В письме были недостойные рисунки, комические, ночной горшок, и упоминалась комната м-ль Люсиль, и она сама, и м-ль Маргерит, и мосье л'аббэ... И были стихи с насмешками над ними, роняющие достоинство наших начальниц. Мы плакали еще больше. Кажется ли мне, что Маруся, самая умная и отважная, решилась на разговор с м-ль Люсиль?

Или ее вызвали к м-ль Люсиль? Я помню одно: мрак дней, чувство непосильной тяжести, слезы. Мне было девять лет. Марусе одиннадцать. Нашим подругам - одиннадцать, двенадцать, тринадцать. С нами не разговаривали. От нас, проходя, отвертывались. Казалось, не хватит слез! Ни сил учиться! Жить день, гулять в зазеленевшем саду... Горе спаяло нас.

Как могли наши наставники так беспощадно обойтись с нами? Я не помню, как это случилось и что нас оправдало.

Но день настал, и нам вдруг вернули утраченное доверие и сказали, что дело выяснилось, что виноваты не мы и что все счастливы снять с нас такое чудовищное подозрение. И в слезах примирения и облегчения, еще более обильных, чем слезы отчаяния, к нам вернулась наша прежняя жизнь, любовь старших и радость дня.

Мы писали папе: о шедшей между Японией и Россией войне, спрашивали о Музее. Он отвечал нам,

что Музей растет, сообщал радость последних удач. Но, убедясь, что мы хорошо освоились с французским, он просил меня писать ему по-русски, - «а то, матушка, позабудешь родной язык...» (после моего вопроса: «Папа, как ты думаешь, кто победит: «Япон или мы?», переводя с французского «le Japon»),

...Сады распускались. Говорили о празднике нарциссов. Мы снова играли в любимую Марусину игру, где два ряда наступали друг на друга, захватывали заветную черту, побеждали. Платан начинал шуметь ярко-зелеными, невероятной новизны листьями. На ветках нижних, разлтых -сидела Мице, уча урок. Кончитта, как всегда, ссорилась с Ольгой или Астиной. Ей не передавалась психология религиозности - она была непосредственный, веселый дикарь. Сестра ее, младшая, Карменсита, тихая и прекрасно учившаяся, смотрела на нее с укором. Я играла с Вайолетт, лиловоглазой англичанкой с огромным бантом у виска; она не выносила Бланшет. «Она - глупая», - говорила Вайолетт, ухитряясь в эти несложные французские звуки впустить свое английское, мяукающее - и мне казалось - надменное произношение. Ученье стало веселей. Зазубривание столбцов древней истории и географии давалось легче. Марусе же учение вообще не давало труда. Она глотала книги, перечитала все тома «Материнского воспитания» и много других

книг на полках веранды: Расина, Корнеля, Виктора Гют (она вместе со старшими учила французскую литературу).

Я кончаю зубрить времена неправильных глаголов, знаю уже все. Немецкий язык! Чужой, скучный. Чужой, немецкий пансион! Куда мы поедем. Мама пишет нам, что еле дожила год без нас.

Национальный швейцарский праздник - «Fete des Vouchers» (праздник мясников). Процессия в старинных нарядах, алебарды, бархат, позолота, музыка,

знамена... Город разукрашен. Вся Лозанна на улицах. Мы под открытым небом, смотрим театральное представление.

На неделю весенних каникул мы поехали в Бэ-ле-Бэн (Vex les Bains). Высокие травы парка, комнатки горной гостиницы, походы в горы, с щемящей – уже год почти! – памятью о Шамуни и Аржантьер. Великолепная весна сырых долин и цветущих деревьев. Поездка в Грот-о-фэй. Фонтаны у входа в пещеры, бой струй, пена, волны... Легенда о феях. И все это залито струями бенгальских огней,

Мы входим в Шильонский замок. Впереди – вода, как мамины голубые (синие) шары, стеклянные (три и сверху один). А у стен зелень, мох, вонь воды. Страшные владения Бонивара. Мы входим на трапмостик, ведущий к Шильон-скому замку через темно мерцающую вокруг деревянных столбов воду. Детство и юность входят во мрак, сырость и цвель истории. Мы поворачиваем за угол скользкой каменной стены, мы трогаем ржавую цепь, впаянную в нее. Мы выглянули в стенное отверстие над водой, куда выбрасывали тела умерших узников. Был блестящий солнечный день. Леманское озеро лежало серебряным слитком, и по серебру таяла зеркальная голубизна...

А водная синяя пучина горит и дальше, как в Нерви, -сплошной блеск. Она была такой и в тот час, когда, взрезая ее, вглубь тяжело спускалось в нее тело, чтоб лечь – в тину? на камни?.. Навек!

А где-то в Уши – подобие будущего синематографа, но неподвижного: мы сидим рядами и смотрим сменяющиеся картины волшебного фонаря – «туманные картины». Наполеон обходит ночью посты. Он видит заснувшего часового. Он останавливается. Бедняк, ты пропал, солдат!.. Возле тебя, спящего, на посту стоит – Император! Сердца бьются, Маруся не отрывает глаз от своего кумира – он и мамин. Как тот

гренадер (Гейне? со стыдом думаю я, нетвердо уверенная в слове, – девять лет, стыдно! – как когда наутро после чтения нам мамой «Ундины» я спросила Мусю с мученьем: «У-нин-да?» И услышала уничтожающе верный, презрительный Мусин ответ), – гренадер? Который и жену и детей пускал нищими – лишь бы служить своему Императору в беде...

Душа той весны – Праздник нарциссов: город, опьяневший от этого запаха, всенародное празднество, процессии, шествия... Кони в белой упряжи, дети в колясках причудливых форм, бой цветов, дети в коляске – огромном яйце, в коляске – цветочной вазе, в гнезде, в домике, в колеснице... Все в белом среди гор нарциссов, в запахе их, столь сильном, что нигде, никогда более не повторяется за жизнь. Ему равен лишь запах у тарусской сирени в детстве – в жар и свежесть распахнутых окон нашего старого лесного гнезда...

Весь день длится этот неземной праздник. День превращений. Нарциссы поят душистым вином все улицы, окна, толпу...

И еще один день – в гостях у Мари Оссорио, за городом. Мы рвем примулы на лугу: первые желтые цветочки. Из пенковых трубок мы пускаем мыльные пузыри.

Весна! Чудное личико Мари... До вечера еще далеко, какое счастье!

...Скоро, скоро приедет мама – как год назад, когда я была у Бланшет. Мама! Мама!..

# **ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЕРМАНИЯ ГЛАВА 1. ЛАНГАККЕРН. НОВЫЕ ДРУЗЬЯ. «ЛИХТЕНШТЕЙН». СКАЗКИ МАТЕРИ. МАРИНИНЫ ЛЮБИМЫЕ КНИГИ. ПЕЙЗАЖ ШВАРЦВАЛЬДА**

Как и год назад, пансион Лаказ собирается в горы, в Альпы. Но мы уже не едем туда - наша жизнь, как перекасти-поле, катится дальше... Папа из России, мама из Италии приехали за нами, и мы едем, едем все вместе в леса Шварцвальда, незнакомые леса - сосны и ели, высокие, густые, как в сказках Перро.

Нас провожают, как столько раз провожали и мы учениц. Они вернутся в пансион, а мы... Последние пожелания, последние слезы, и поезд, стуча колесами, уносит нас из Лозанны.

Мама, папа... неужели опять вместе?

Фрейбург. Средневековые башни, крутые крыши домов, маленькие площади (круглые старинные булыжники, широкие плиты). Пласты солнца, покой, тишина, фонтаны, бассейны, купы деревьев, узкие улочки, как солнечные лучи между каменных стен. И везде гастхаузы, большие цветные вывески, навесы с изображением названия.

Башня с мозаичным изображением св. Георгия на коне над драконом, дома как в андерсеновских сказках, сады, черепичные крыши, развесистые старые деревья.

Широкая ландштрассе, обсаженная фруктовыми деревьями, медленно поворачивая, поднимается в гору, минуя чистые, нарядные деревни. На поворотах дороги

- распятие. В синеве - облака. И коляска останавливается перед острокры-шим домом в два этажа. Над входом скульптура - большой

деревянный, старой позолоты ангел. И надпись: «Gasthaus zum Engel»<sup>1</sup>. Навстречу выходит хозяин, герр Мейер, плотный, круглолицый, с сияющим румяным лицом. На белой рубашке - подтяжки. Он ведет нас наверх, в предназначенные нам комнаты, - папа их выбрал вчера. Уютная деревянная лестница напоминает наш московский дом; спокойные, светлые комнаты. Все просто, добротно: кровати, столы, комоды. Через час, когда мама разложила вещи по местам, нам кажется, мы живем здесь уже год... Только ноздри еще ширятся от новых, чужих запахов деревянных стен, деревянных резных диванов. А кто поставил нам эти букеты?

- Мам, кто? - пристаю я. - Наверное, хозяйка, да?

- Там девочка, - говорит Маруся, - большая, с тяжелыми волосами, светлые глаза и большой лоб.

- Уже все рассмотрели? - добродушно говорит папа.

Вирштубе<sup>2</sup> - большая низкая комната (или гастштубе -

Gaststube<sup>3</sup>), столы, лавки, стулья с высокими спинками и далеко выступающая кафельная, вся из разноцветных, блестящих, узорчатых кирпичиков - печь. По стенам картонные листики со стихами - о гостях и хозяевах, о доброй кружке пива, о добром «Гастхауз цум Энгель», - как нравится, как все хорошо! Еще никогда нигде так хорошо не было! Точно это наш дом, и мы тут когда-то жили, - и мы снова вернулись. Мы точно забыли, что это наш дом, а теперь вспомнили, да?

- Дети, о чем это вы? Муся, бери тарелку! - С большого подноса мама снимает все прелести шварцвальдской жизни: холодную курицу, яичницу-глазунью (папа любит ее со студенческих лет), картофельный салат, серый хлеб, масло и самое чудное

- ауфшнитт. На блюде - тонкие ломти колбас всех сортов, ветчины вареной, копченой. Но на другой день мама попросила хозяев, чтобы мы обедали и ужинали на воздухе, за столом под огромной липой.

Мариле, Карл. Дружба вспыхнула сразу. Карл все время с нами, и Мариле, как только не надо ей помогать матери, бежит к нам (и уже грусть, что неужели мы и с ними расстанемся?). Мариле с Марусю или чуть выше, плотная, с

1 Гостиница Ангела (нем.).

2 Хозяйская комната (нем.).

3 Комната для гостей (нем.).

тяжелым, упрямым лбом, глаза серо-синие, пристальные. Лет ей тринадцать, она старше Маруси. Карлу десять, как мне. Светлоголовый, веселый. Маленький шварцвальдский бурш. Но в дружбе с этими детьми нет никакого озорства.

А вокруг - высокие холмы и долины, дороги, тропинки, заколдованные хвойные леса, склоны, цветущие кусты, лужайки. Вот Марусино царство, вот мое. Сколько их, вот так, по два, рассыпано по тем никогда поздней не увиденным окрестностям Лангаккерна! Какие же это были утра! Карл и Мариле помогают родителям по хозяйству, а мы убегаем вдвоем далеко от дома, мимо бурного потока Борербаха, заросшего, как в Пачёво в Тарусе, наклонившимися купами кустов, уже вырастающими в деревья, - дальше, вверх, вниз, туда, где в глубине высоких, темных сосен и елей, в густой золотой хвойной мгле от почти отвесных редких солнечных лучей, живет лесная волшебница.

Марусино царство - под ветвями деревьев, над горстью тропинок, - бегут врозь, вниз - к моему. У Маруси вереск и чуть наклоненное, как будто падает, дерево, и сверху ей видно - мое, а за моим - даль, потому что лес бежит по перевалу вниз и вбегает в



заросль кустов, высокой травы. За старым дубом (а корни – как лапы) – все голубое, в тумане, и точно от солнца пыль по всей дали, там, где уже не видно ничего.

За Марусиным царством – лес, и входы в него как в пещеру. А над ним – перистые облака. Они тянутся медленно и так высоко, – это те самые, как в книге с иллюстрациями Гюстава Доре, где дантовский Рай. Их так много. И они так высоко...

И были царства в других местах, новые, вновь найденные, мы находили их, как клады, упивались ими. Иногда менялись: ручей на замшелые пни (как вещами).

Мама чувствовала себя хорошо. Иногда мы выходили всей семьей на длинную лесную прогулку в самую глубь шварцвальдского леса. Опираясь о папину руку, идет мама, как годы назад в Тарусе, и папин голос мерно рассказывает ей о Музее, о том, как и кто помогает ему в труде его созидания, о своих планах, надеждах. Мы идем по их сторонам, слушая, нагибаясь иногда – за шишкой, за веткой, за палочкой, иногда бежим вперед и назад, им навстречу.

Птица кричит... А луна поднялась, встав над долиной желтым большим шаром, плывет темно меж сосен маленьким голубым, – она выплыла, и все стало голубым, светлым, а тени как черный бархат.

Но мы повернули и выходим на ландштрассе, и уже видны крутые, с пристройками, крыши нашей милой гостиницы, и стоит на пороге герр Мейер, отец Карла, а под липой накрыт стол.

Вечерние чтения! Мама читает нам по-немецки «Лихтенштейн» Гауфа. Несчастный герцог Ульрих, река Неккар, бои, рыцарь Георг, Мария, образ девушки в узорчатом окне... Мама чудно читает! Мы не помним, что скоро ночь. И когда раздается папин голос: «Дети, пора спать», – мы кидаемся к маме, прося защиты, нельзя прервать сейчас, надо кончить главу...

- Morgen ist auch ein Tag...1 - ласково говорит фрау Мейер.

По воскресным дням к нам в горы приезжали и приходили из города гости - семьями, компаниями и по двое, по трое... Вся большая площадка перед домом до самой нашей липы, под которой мы часто обедаем-ужинаем, была уставлена столиками и стульями, и воскресенье гудело перед гостиницей Ангела как улей. Празднично одетые веселые гости, толстые отцы семейств с не менее тучными женами, с цепочкой детей, расцветали за вкусным столом, за пенистым пивом, за хрустящими, посыпанными солью кренделями; удалые бурши пели песни, а между них - приодетая фрау Мейер и, в лучшей рубашке, в подтяжках, краснощекий ее муж разносят подносы и кружки, и шаг в шаг за отцом, в воскресной одежде, десятилетний Карл несет то, что не смогли захватить отец с матерью.

В эти дни мы обедали в доме, а вечером раньше шли к себе, днем уходили на далекие прогулки. Как помню одну из них! Во Фрейбурге ли был папа или писал в Москву по музейным делам, мы пошли втроем - мама и мы. Дорога вела все глубже в лес, среди сосен и елей. Особенная хвойная тишина была кругом. Шагов было почти не слышно. И была золотистая мгла в полусумерках среди опустившихся - почти до земли - ветвей елок и затемнивших небо густыми кронами сосен, начинавших шуметь и качаться где-то высоко, под

1 Завтра тоже день... (нем.)

облаками. И был лучший, быть может, из земных запахов - запах смолы. И была такая тишина, какой не бывает на свете: она бывает только в лесах Шварцвальда...

И мама рассказала нам сказку. Мама так чудно рассказывала! Но я помню теперь только одну суть:

мать и две дочери шли через темный, глубокий лес. А навстречу им шел разбойник. Он сказал женщине: «Я тебя уведу с собой, а твоих дочерей убью». Но мать, в отчаянии, так просила его о пощаде, что он сказал: «Хорошо, я убью только одну, а какую – ты сама выберешь». Но мать отказалась от выбора. Она предложила зажечь в придорожной часовне две свечи, назвав свечи именами дочерей, и какая раньше сгорит... (мама не договаривает...).

Разбойник дал согласие. Зажженные свечи горели совсем ровно и погасли в одну и ту же минуту. Это чудо материнской любви так поразило разбойника, что он отпустил и мать и ее дочерей и один ушел в леса.

Мы шли, прижавшись к маме, по хвойной тропинке, и не было слышно шагов. А веселые бурши будут бить сегодня об пол бокалы (обычай субботы) и петь свои студенческие песни.

Перед сном, уйдя в наши верхние тихие комнаты, мы слушали «Лихтенштейна», книгу, шедшую по главам, как по лестнице, в глубь тайны, пока поздний час – луна в ветках окна и голос ночной птицы – не прерывали явью волшебное книжное счастье.

А внизу пели зашедшие поужинать студенты. До поздней ночи до нас доносились звуки их шумных песен. Звучал оттуда папой нам давно, с детства, подаренный студенческий гимн времен его юности, латинский «Гаудеамус игитур». А каждое субботнее пиршество кончалось глухим ропотом разбиваемого об пол стекла. Но мы уже не слышали. Мы уже давно спали.

Наступил сенокос. Над лугами – густой, как в лесах, запах смолы, – так теперь парит в воздухе огромной птицей запах свежего сена. И в лугах, как в Тарусе, мягкие его горы, пружинящие под ногами, когда мы с Мариле, Карлом и Петерле взбираемся наверх, помогая его собирать, подавать, и пляшем, и падаем, и катимся

вниз, и лезем, и дышим -и не надышаться! А колется... Вокруг веселые, дружелюбные лица старших, никто не кричит на нас, не укоряет, знают: когда же веселиться, если не сейчас?

Как в раннем детстве Маруся вжилась в «Историю маленькой девочки» Сысоевой, как в Италии она страстно полюбила «И Сиогге» («Сердце») Д'Амичиса (повесть из жизни итальянских школьников), а в Лозанне полюбились ей книги Сельмы Лагерлёф, так теперь она вошла в чтение немецких книг с наслаждением жарким и поглощенным. Родными были Марине все иностранные языки, которых она касалась. Итальянский она читала не учась. Словесные корни латинские были ей – во всех их многообразных изменениях -родными, органически легкими.

Лежим и читаем. Марина – Heidi (о девочке в горной хижине), я – легенды Шварцвальда. Тень деревьев медленно переползает по нас, и мы ползем за ней, сросшиеся с землей и травой, как ящерицы, зеленоглазые, как они. Что это? Настораживаемся. Головы подняты: как псы нюхают, так мы слушаем воздух. Перерастая жужжание пчел, золотой пылью звенит – далеко и сверху – медленная мелодия. Это мама взяла гитару: «Не для меня придет весна-а, Не для меня-а... Буг разольется...» Книги – закрыты. Наперегонки мчимся к ней.

«Гастхауз цум Энгель» стоял выше деревень, и мы с родителями иногда спускались туда. Шварцвальдские дома -коричневые, как белый гриб и подберезовик, с крутой, низко спускающейся крышей, такого же цвета галерея обходила стены дома. Они были похожи на резные игрушки, рассыпанные по бокам дорог и холмам, у перекрестков, где возвышалось распятие. Шварцвальдские долины! Это была ожившая сказка Гримма! Удивительны были плодовые деревья с двух сторон ландштрассе, плоды их не рвали дети прежде

времени – по какой разумности? Или рвать их было -грех? На скамейках у домов сидели древние старики с длинными трубками и старухи с рукоделием или с грудными детьми на руках, все одеты пошварцвальдски, как мы видели на открытках во Фрейбурге. Над ними плыли облака в синеве, и после дождя опрокидывалась, как в Тарусе над Окой, радуга виденьем цветного растопленного стекла. Вечером, когда начиналось предчувствие заката, из долин неслись перезвоны далеких церковок. Они были непреложны, как утро и вечер, это был мелодический голос тишины долинной и горной, и на этот зов с горных пастбищ сходили по одному, по два дети, гоня маленькое стадо коз или овец. С таким же тонким

звоном привешенных к шее колокольчиков, какой слышался бубенчиками в русской дали. А затем падала ночь, гриммов-ская, звездная, шатром покрывая дома, холмы, шум сосновых и еловых морей.

По воскресеньям юноши и девушки в шварцвальдских нарядах пением и танцами радуют стариков. И через все это летит наше детство!..

Утра становились свежей, вечера – длиннее, пахло соломой, облетали листья. Мы убегали, хлеща прутьями с шелестящими листьями на кончиках теплый еще воздух. Перочинные ножи рьянее вырезали в лесу палки, скоро -пансион...

Скоро отъезд! Долина. Мокро – после дождя. Низкое место – везде незабудки, влажный голубой ковер. Вдали ветряная мельница. Мимо нас проходит несколько человек сельских жителей. С ними – учительница, молодая, бледная, в красном платье. Она нам улыбается – и проходит, что-то говоря по-немецки спутникам, и ее легкое, как лепесток мака, платье, полыхая, погасает вдали. И навек ложится в память сердца этот неповторимый миг.

И вот воскресенье! В последний раз мы видим, как герр и фрау Мейер, ловко неся подносы, подают гостям пиво и кушанья, и жужжит перед домом звук веселых голосов обедающих фрейбуржцев – мы слышим его в последний раз! Сегодня не сияет лицо Карла, когда он несет за отцом тарелки, бутылки, в его глазах слезы от близящегося прощанья со мной. А сизые, как голубь, глаза Мариле глядят исподлобья, как туча. Вот она и Маруся мелькнули за домом.

В наших комнатах – пледы, ремни, чемоданы, и под отрывки бесед о войне на Востоке, о наших врагах – японцах я помогаю маме укладывать мелкие вещи и натягивать ремень туго, но так, чтобы не лопнул. Я очень люблю это делать, очень стараюсь.

...Слезы, рукопожатия, обещания приехать еще, писать, взмахи платков и наш путь на лошадях – позади. Мы во Фрейбурге. Мы проехали городские ворота Санкт-Мартине Тор. Крутая крыша ратуши, пласты солнца по тихим улицам и улочкам узким, как в Генуе. Маленькие площади, фонтан, порталы собора.

Мы в гостинице. Завтра папа поведет нас в пансион Бринк. Мама будет жить рядом с нами, в соседней улочке, папа уже

нашел комнату по ее вкусу: высоко, мансарду, под крутой крышей, мама говорит – для легких так нужно. Под ее окном река, старый мост. А пока мы сидим в ресторане гостиницы. День еще наш сегодня, еще целый день!

Скоро папа простится с нами, он едет в Москву, в наш дом в Трехпрудном... к нашему «колоссальному младшему брату» Музею.

## ГЛАВА 2. ПАНСИОН БРИНК

Ваальштрассе, цейн. Узкая улочка, в которой не помню садов (откуда взялась такая, неприветливая, в уютном старом городке?). Глухо отсутствуют в памяти двери в пансион Бринк, словно их поглотила тоска нашего вхождения в них.

У стен каменной лестницы на второй и выше цвета не было.

Что было в первом этаже? Классы. Туда входили приходящие ученицы-счастливицы, имевшие дом и родных. Мы видели их только на уроках. Нам, пансионеркам, было запрещено дружить с ними. Пансион Бринк был темницей.

И мечта была одна: на свободу!

На втором этаже помещались комнаты сестер Бринк -фр-н Паулины и фр-н Энни. Где-то в тех этажах жила и экономка фр-н Келлер. Должно быть, в третьем были наши дортуары – две высокие, большие, под углом друг к другу комнаты; обедать мы спускались вниз, в длинную столовую с темными портьерами и тяжелым длинным столом. Выше всего помещались классные и самая мучительная из всех «нумероу ахтцейн». В нее мы входили после обеда и прогулки, должны были там находиться с четырех до семи и в совершенном молчании делать уроки. Попробовав эту муку -окончив уроки в полчаса-час, сидеть два – два с половиной недвижно (читать не разрешалось), мы взмолились маме, и она стала на эти часы брать нас к себе. Исключение это для нас было сделано из-за маминой болезни.

Фрейлейн Паулина Бринк, встретившая нас с папой и мамой в своем приемной кабинете, звавшемся «зеленая комната», была, думается, тоже в зеленом

платье – так величественно она поднялась из глубин своей прудово-тинной комнаты, – худая, высокая, с длинным дряблым лицом и мутными зеленоватыми глазами навывкате. Полуседые волосы, связанные на макушке пучком, делали ее еще выше. Младшая сестра ее, фрейлейн Энни, на голову ниже ее, теряла также

и в величавости. «Фальшивая\*», – решили мы обе сразу – и пылко ее возненавидели. К старшей же начальнице ненависти не получилось – она была до того вся насквозь такая, какой казалась, – строгая, чинная, – что ни для фальши в ней, ни для ненависти к ней не было места. Даже была на дне этой чинности доля старинной немецкой ласковости, которую она сразу же и залила мой молодой возраст, отметив, что я буду в ее пансионе самой младшей, но, надеется, послушной девочкой. В сладкой же улыбке фрейлейн Энни Маруся и я с первого взгляда почуяли опасность и беды. Перед сестрой своей фрейлейн Энни благоговела, и самостоятельной власти в пансионе у нее не было, – это было передаточное звено: она все видела, все слышала и все доносила сестре. И была еще в пансионе экономка фрейлейн Келлер – средних лет, русая, сероглазая, с полным лицом, миловидная и приветливая. В профиль она походила на горбоносую птицу. Но это была добрая птица. Она присутствовала за столом, вместе с фрейлейн Энни раздавала нам пищу. Это была именно «пища» – скудным количеством и однообразием, и одной из главных сторон жизни пансионеров была постоянная мечта о еде. Мы вставали в шесть с половиной часов, и вставание наше было фантастическое: тренированный на послушание даже во сне слух пансионеров еще из далей и глубин коридора узнавал тоненький, жидкий, зловещий – еще без серебра – рокоток зажатого (в руке спешащей будить нас) колокольчика, и, как русалки с речного дна, подымались из белизны простыней полуспящие девичьи



тени и, протирая очи, отводя спутавшиеся косы, спотыкаясь сонными ногами о складки коврика и обувь, встречали – стоя – фигуру в распахнутой двери, в поднятой руке которой теперь серебряно, рьяно, яростно гремел колокольчик. И уже он отгремел! Сунув ноги в ночные туфли, пансионерки теснились вокруг вошедшей, принимая из ее руки каждая по крошечному билету, на котором было напечатано слово «auf!» (встать!). О, недаром просыпались и вставали так пансионерки, недаром стоя встречали он колокольчик: в конце триместра те, что могли представить все, день за днем билету с «auf!», – получали в торжественном присутствии всех начальниц, воспитательниц и учениц похвалу за борьбу с ленью и цветную картинку на память – овечку с пастушком, или девочек под зонтом, или кошечку, или собачку.

Мы же – Маруся и я... бунтующий ли дух пробуждался в нас от этих колокольчиков, билетиков и картинок или «русский дух», враждебный немецкому пансиону, – только почти всегда не хватало в сонме русалок у двери – нас.

Холодноватыми зелеными озорными глазами, изменяя себе, лозаннской, посматривала Маруся на пансионерок, потягиваясь, распрямляя плечи богатыренка, откидывая назад густые, полуотросшие, могла их уж плести в косу, волосы.

Я же, еще ластясь к подушке и одеялу, дразнила злополучную Гретхен Третчлер, соню и медленницу, путавшуюся испуганно ногами в длинной ночной рубашке – «Опоздала! Опоздала! – а я и не тороплюсь!» – и кувыркалась в постели, пока гневный окрик худой, смуглой, с шиньоном угольной черноты м-ль Мейс не заставлял меня встать.

Мы тут никого не любили! Нам весь день было тошно. Мы ждали только того блаженного часа, когда мама брала нас к себе... Переглядываясь, без слов

сообщая друг другу, что вспомнилось, мы умывались каждая в своем тазу на нашем двойном умывальнике, вытирали вокруг каждую каплю, причесавшись гребнем и головной щеткой, спеша, вычесывали всегда застревавший там злополучный волос и по второму звонку (на одеванье и умыванье полагалось какое-то немыслимо ничтожное количество минут) в шеренге двигались, попарно, вниз, в столовую. Восемь минут, нам кажется, давалось на глотанье кружки почти кипящего молока (без блюдец!) и сухой белой булочки. Затем следовала прогулка. Почему нас всегда водили на ту же гору Шлоссберг, превращая прогулку в подобие пытки? Вероятно, по недостатку воображения.

А мама приступала к выполнению своего плана -постепенно привыкать к более холодному климату. Она сняла себе, рядом с улицей, где помещался пансион Бринк, маленькую комнатку на Мариенштрассе, цвай, - мансарду с чердачным окошком высоко над рекой, протекающей через Фрейбург. Мамину комнату, где мы провели с ней много блаженных часов, помню отчетливо: длинная, с окошком в конце, - дверь и окно были в торцах ее узкой шкатулки -друг напротив друга. У правой стены - мамина кровать, за ней - столик, где на спиртовке кипел русский чай. По левой стене - пианино, взятое напрокат; за ним, напротив маминой

кровати, - диванчик. На нем спали мы по очереди с субботы на воскресенье - для двух нас сразу не было места.

Уют маминой мансарды с окошком на зеленоватые струи реки, наши беседы о прошлом и будущем, воспоминания о Нерви, Москве, Тарусе, Лозанне, Лангаккерне, вечернее чаепитие, мамина игра на пианино, гитара, сумерничанье на диванчике втроем, как подруги, - каждая из нас натягивала на себя конец клетчатой маминой шали, окутывавшей всех нас трех, - какой контраст это был с Ваальштрассе, цейн, откуда

мы вырывались на три часа и куда должны были вернуться! Неотвратимо, как бой часов на городской башне. Один вид дверей пансиона Бринк, тяжелых и темных, точно люк в каменном корабле, поглощавших нас, как Харои -душу... Стиснутые в тоске зубы, озноб. Уже позвонили, сейчас откроется дверь!

Не опоздали! Стрекочет в руке фрейлейн Келлер колокольчик – к ужину! Еле успеваем вымыть руки – и парами, в шеренгу, вниз по лестницам. Белым, мертвенным светом горят в высоте газовые колпачки. Мы их ненавидим. В сердце – память о добрых керосиновых в Москве и в Лозанне лампах. В гостиной швейцарского пансиона они цвели как цветы... Рассаживаемся за длинный стол. Фрейлейн Энни и фрейлейн Келлер – меж нас, в середине стола. Фрейлейн Паулина возглавляет стол.

На тарелки с узором цветов каждой из нас положен тончайший кусочек мяса. Если это копченая ветчина, она темно-розовая и прозрачная – через нее виден узор тарелки. Тощий гарнир. Самое страшное – тугие, жилистые края каждого кусочка. Они должны быть проглочены, – их надо разгрызть зубами и, как хочешь, протолкнуть через горло! На тарелке имеет право остаться только кость. Иногда вместо мяса нам дают картофельный салат или бобы. На третье, как всегда, полукисель-полупюре из кислого ревеня, без сахара – отвратительнейшее кушанье. Доедаем. Всем – мало. Куском серого хлеба старшие, и Маруся, стараются заткнуть пустоту в животе. Но уже собирают тарелки, щеткой сметают на поднос со стола крошки и фрейлейн Паулина начинает читать вслух «Путешествие Свена Гедина». А я начинаю дремать...

Ярче всех я помнила из Марусиных подруг Дору Хаке-винкель. С ней, семнадцатилетней, помню, сошлась двенадцатилетняя Маруся. Но я не сказала, что Маруся училась одновременно в двух классах: по

некоторым предметам в четвертом, по другим – в седьмом. И подружки седьмого приняли ее как равную. С ними она училась и английскому, у мисс Кесбет – нашей сменной (они с м-ль Мейс через день менялись) воспитательницы. Дору любил и уважал весь пансион, и сама фрейлейн Паулина. Дора была вспыльчива, но, должно быть, по справедливым поводам, потому что старшие бывали к ней тогда снисходительны и любовно говорили ей: «Дора! Не делай же снова твое бетховенское лицо!»

Классы (четвертый и седьмой) Маруси были наверху. Мой (третий) – в первом этаже. Маленькая, светлая, веселая комнатка. Парты в три ряда. Я забываю пансион Бринк: тут царствует добрая фрейлейн Реут, маленькая, худенькая, ласковая, хотя правила поведения – строгие. На первой парте – Эрина Зинауер – круглолицая, некрасивая, со вздернутым носиком, с кудрявой темной головкой, веселая. Рядом – Лени Бургер, прилежная, тихая, с косами цвета льна, синеглазая. За ними сижу я с застенчивой, легко краснеющей, темно-русой Ильзой Фаулер. Первая ученица – примерная Хульда Кранф, полнолицая, светлоглазая, сидящая так неподвижно, что все любят ее. Им по восемь (в первый класс они пошли в шесть), только мне – десять. Но я без труда начинаю понимать ьо-немецки – арифметику, географию (мы проходим родной их город Фрейбург, его историю, с ним связанные легенды). Когда кто-нибудь провинится – повернется, или уронит резинку, или сделает –

о ужас! – кляксу, виноватая стоит, втянув голову в плечи, опустив глаза, краснея, и никто над ней не смеется, все жалеют ее. Само понятие озорства тут немыслимо. Когда раздается звонок к концу классов, я с тоской прощаюсь с подружками, среди которых я – старшая, и плетусь вверх по лестнице назад, в свое заточение, в котором я – младшая.

Мимо закрытых калиток немецких садиков и дворов мы шли строго парами, в молчании. Крутые черепичные или железные крыши напоминали Лозанну. Осенние цветы так же пахли – влекуще и нежно, пласты солнца светло горели на уютных маленьких площадях. Но строгий голос м-ль Мейс и быстрый шаг вперед не давали полюбоваться. Подъем на Шлоссберг был крут, и в дождь – тяжел. Мы шли, осужденные на прогулку, – только проливной дождь мог от нее спасти. Лишь на миг, розовея и сверкая в закатных красках, внизу, город пылал шпилями и окнами собора, отражавшими солнце, и уже надо обходить верх Шлоссберга и готовиться идти вниз. Но мы уже переглядывались: скоро к маме, – и девочки, видя наши радостные лица, сочувствовали и завидовали нам.

Я не сказала о главной муке нашего дня – «шлехте нотен»<sup>1</sup>: «О» получали за нарушение «Ordnung» (порядка), «б» – за погрешность в Betragen (поведении). Может быть, были еще и другие, но частота и ядовитость этих двух затемняют в памяти остальные. И были они еще разные по величине. Было маленькое «о» и большое «О», Кусало злой мухой «б» маленькое, осой или даже змеей – большое. Оно было зловеще и страшно, о нем шептались испуганно самые старшие. За него вызывали в зеленую комнату, к Vorsteherin<sup>2</sup>, – а за три больших «Б» исключали из пансиона.

Одежали нас «шлехте нот’ами» – попеременно м-ль Мейс и мисс Кесбет, и, сказав провинившейся, что она получила дурную отметку и какую, они записывали их в тетрадку. О них в определенные сроки письменно сообщалось родным. Хорошо, что мама была добрым гением: принимая их всерьез лишь в половину, она облегчала нам их получение. Мы рассказывали маме – все. Маленькое «о» получали за каплю воды возле умывального таза, за волос в головной щетке, за не туго натянутую вокруг тюфяка простыню (ее надо было

натянуть без единой сборки, ровно, до блеска ее как бы металлической поверхности). Маленькое «б» появлялось мгновенно, как только играющая на пианино вздумывала откинуть голову с намерением заглянуть в окно. В этой сети дурных отметок мы жили как под тучей комаров, – но от них было нельзя отмахнуться! Попав сюда с воли лесов «Вальдфрау», Маруся и я терпели укусы дурных отметок героически. Поразительное несходство жизни французского пансиона Лаказ и немецкого – Бринк печально изменило наше поведение. Тут, где не взывали к нашей душе, где не говорилось о больших важных вещах, где не звали нас под стяг Добра, на бой со Злом, а механизировали «добро и зло»

1 Дурные отметки (нем.).

2 Начальница (нем.).

под жужжанье дурных отметок, – мы сразу же остыли к этой борьбе со злом, сдались на маленькие грехи с озорным и насмешливым равнодушием. И зоркий глаз фрейлейн Паулины, шепоты и подслушивания фрейлейн Энни почтили недобрым вниманием так отличавшуюся в ученье Марусю.

## **ГЛАВА 3. ОСЕНЬ 1904 ГОДА С МАМОЙ ВО ФРЕЙБУРГЕ**

Суббота! Счастливейший, упоительный день! Уже с утра живешь как в чаду: все неважно, все летит, улетает, – все погаснет в час, когда ты, ты, Маруся (как Ася сегодня), уйдешь с мамой не до ночи, а на вечер, на ночь и на весь завтрашний, сияющий день воскресенья! Ну конечно, немного жаль – ее, ту, которая останется на ночь и утро в пансионе, – но ведь она была с мамой в ту субботу, она тогда ликовала, она засматривалась вперед, в то завтра, и она могла жалеть тебя (а может быть – и не жалела? она даже бросила веселый взгляд на тебя, оскорбив твои сборы в тюрьму своим неуместным весельем!..). В сущности, и жалеть ее, может быть, вовсе не надо? Она ведь и в будущую субботу пойдет к маме и останется тут на диванчике? И в прошлую, и в будущую, два раза! А твой – только сегодняшней день... Марусин торжествующий взгляд холодно-останавливался на мне – и в тот миг куда-то рушилось все торжество счастья, – несчастно, как черный тарусский пес Челкаш, глядело лицо уходившей... Но уже обнимала мама несчастную, и повторялся рассказ-мечта о будущей жизни вместе, всегда вместе, все всегда вместе. Жарче пылает синий огонь спиртовки, темным золотом горят стаканы с московским чаем, папой присланные нам пастила, мармелад, клюква в сахаре, грушевые карамели и, чтобы напомнить Лозанну, сдобные хлебцы с изюмом и по марципановому прянику... еще есть время, не плачь, уходящая, впереди еще целый час, больше часа, почти два часа еще! Еще будем читать вслух – ну что, что будем читать? Детские рассказы Телешова и Чирикова?

В издании «Донской речи»... Или Марусин «Родник», выписанный ей папой (Асе – «Детское чтение», чтоб не забывала русский язык...). Сказки Мюзаус? А может, легенды Шварцвальда? А может, перечтем «Лихтенштейн»? «Мама, мама, «Вильгельм Телля» и Гесслера!» И уж блестят глаза, слезы высохли – впереди еще полтора часа...

По лесенке – шаги. Это хозяйка несет маме письмо. Знакомые – как славянская вязь – буквы, все – отдельно. От папы. «Мам, мам, читай! Васька жив?? А как Музей папин?» И пока мама, с улыбкой махнув мне рукой, читает письмо (а Маруся уже провалилась в книгу о Вильгельме Телле), я на диванчике, крепко прижавшись к маме, погружаю зубы в витую сдобную булку с изюмом, как кот зажмурил глаза.

Еще на полчаса продвинулась на часах стрелка, но уже нет вообще времени: по оба бока от мамы, в маленькой немецкой мансарде – как в высоком московском папином кабинете – мы идем, незримо, за маминим голосом, читающим о далеких временах Швейцарии, о кантоне Ури, о тиране Гесслере, о герое Вильгельме Телле, борющемся за свою страну. Он – как Тигр... – хочу, но не смею прервать я. Молчит и Маруся. Нас нет – есть только мамин голос, есть только они – там, меж швейцарских гор. И когда настает час мне идти – я, на мамин зов, одеваюсь почти машинально. Я еще не понимаю: пансион! Я – в Ури...

И вот прошел ужин в пансионе, и беседа с нами фрейлейн Паулины, и чтение Свена Гедина, под которое я, как всегда, в десятом часу, в каких-то льдинах Северно-Ледовитого океана засыпаю, и просыпаюсь, с кем-то под руку шагая вверх по лестнице в дортуар, прошла и ночь – рядом с пустой кроватью Маруси, – прошли вставанье под колокольчик и горячее молоко со страхом ошпариться – и уже заповедный звонок: за мной мама с Марусей.



Утро. Улицы. Воля! Широкие пласты солнца по старым каменным плитам, крутокрышие домики, площадь – как колодец меж домов. Порталы собора. Втроем всходим на горбатый мост над маленькой зеленоватой рекой. По бокам моста – каменные рыцари.

– В Италии, дети, есть мост, крутой, полукруглый, -Понте Веккио. Когда-нибудь будете там, – может быть, уж без меня... Вчера у меня опять что-то поднялась температура...

– Ну, что ты, мама, – мы в один голос, – пройдет!

Мама слушает нас, задумчиво улыбаясь... Мы на миг вдруг

все три останавливаемся возле каменного рыцаря и смотрим, как молча бегут по водной бездне струи... И в тихом их шуме звучит мамин голос:

Где судьба бы вам жить ни велела,  
В шумном свете иль в сельской тиши,  
Расточайте без счета и смело  
Все сокровища вашей души!

– Мам, я уже все четверостишия помню, – говорит Маруся.

Мы идем по старинному, золотому от солнца городу.

А

на башенных часах стрелка подходит к полудню, и начинается гулкий, торжественный, медленный бой старых, как мир, часов...

– И вот, дети, у входа на такой же, как этот, мост в Италии Данте увидел идущую с подругами – Беатриче. Он знал ее с детских лет и любил, но она казалась ему не живой женщиной, а видением – так высока была его любовь. Он стоял как будто каменный, как вот этот рыцарь, а она проходила, и платья подруг оведали ее, как будто ей поклонялись, – она была прекрасней и строже всех, – и все волнение Данте художник изобразил движением руки – к сердцу, никем в тот миг не замеченным. Я не знаю, дети, так ли на той картине,

но так должно было быть у того моста в тот миг! А когда-нибудь, – продолжает она, осветив своих дочерей взглядом, – вы вот этот миг вспомните, как вспоминаем с вами осень в Тарусе и московские зимы. А жизнь будет лететь, все будет проходить и кончаться, и кто-нибудь другой будет сидеть у рояля, – меня уж не будет с вами...

– Ну, что ты, мама, – будешь, будешь! – сливая два голоса в один, слово в слово, тон в тон, отчаянно говорим мы.

А таинственная птица жизнь летит своей вещью дорогой, часы пробили раз, два, и уже три, и четыре, осеннее солнце уже наклоняет над старинным германским городом краснеющие лучи, и в их предзакатном золоте горят корешки книг, и край раскрытой клавиатуры, и горячие золотые столбики русского чая, и переплет мансардного окошка.

– Дети, – говорит мама, накладывая нам на блюдечки варенья – его капельки как мамин рубин в кольце, – скоро во Фрейбург приедет со своей труппой великий трагик Эрнст Поссарт, он играет «Короля Лира» – я вам рассказывала его – помните? И вот, дети, – говорят, Эрнст Поссарт, приезжая в город, пополняет свой хор – голосами живущих в этом городе. Если они ему подойдут, и мне говорили, –мамин голос стал медленен, но в него уже впал Марусин:

– Подойдет, подойдет непременно!.. Мам, и ты будешь петь в его хоре! Ведь такой низкий женский голос, как твой, редкий, – помнишь, в Лозанне тебе сказали...

И в конце каждого вечера голос начальницы: «Помните, дети, этот день никогда не вернется, – на слогах приседает голос, – но завтрашний день придет снова -чтоб мы исполнили свой долг... Чтобы...» – я сплю.

Осень. Последние листья огоньками летят в ветвях тихого, чистого немецкого кладбища. Медленно бредем, мама, Маруся и я, по дорожкам, глядя на памятники, свежие холмики земли. И, как в Москве, несутся издали звуки железнодорожных гудков – протяжно, жалобно. Милое мамино лицо под полями темной фетровой шапочки улыбается нам тою ее особенной жалостливою улыбкой, от которой с детства щемит сердце. Как от гудка поездов.

– Помните, дети, – говорит она, – никогда не будьте жадными, не жалеете ничего другим. Кто знает, с кем встретитесь, чье влияние на вас будет... И если я умру, и вы будете жить без меня...

Ветер шелестит замерзшими льдинками на ветвях, кружит пестрые листья. Мы поворачиваем по боковой дорожке – и останавливаемся: одна как другая могилы, ряд к ряду, – одинаковые кресты, могилы-сестры звенят обледенелыми травинками. Столько одинаковых! Мама ступает к ним, наклоняется, читает.

– Дети, это все сестры милосердия, погибшие во время эпидемии, – говорит она дрогнувшим голосом. Она хочет еще что-то сказать, но ее дыхание перехватывает, и мы молча стоим, как одна все три, не можем идти дальше.

– Дети, – говорит мама, и ее карие глаза горят под дугами высоких бровей, – Эрнст Поссарт приехал и будет завтра слушать голоса. А вчера я слушала лекцию, профессор похвалил мои записи и рисунки по анатомии. Если б вы знали, дети, как интересна медицина, какие в ней предстоят открытия, – и в который раз мама упоминает имя врача, обещавшего в самые ближайшие годы – средство, излечивающее туберкулез.

– И тогда, мам, тебе не надо будет делать себе комнату из мансарды в Москве – да? И ты будешь по-

прежнему жить внизу, и мы будем приходить к тебе в твою гостиную и будем

сидеть на ковре, как в детстве, и ты будешь читать нам вслух...

- Да... - говорит мама, будто не слышит, - учись, дети, языкам, много и хорошо их знать - это большое богатство...

Я рада, что Маруся учит английский и что немного помнит итальянский. Мне хочется начать испанский, если найду время в своем дне, между музыкой и медициной. Надо найти... Ведь живопись я сейчас совсем забросила...

## **ГЛАВА 4. ЗИМА 1904-1905 ГОДОВ. ВЕСТИ ИЗ РОССИИ. ПРИЕЗД ПАПЫ. ПОЖАР МУЗЕЯ**

На уроке рукоделия я – худшая, но, стараясь, вскоре овладеваю вязаньем крючком и корплю со рвением над моим штаубтух (тряпочкой для вытирания пыли). Вяжу двумя нитками сразу: черной и красной; я увлечена их пестрым узором. Но когда я пытаюсь заразить своим увлечением Марусю – я встречаю ее удивленно-непонимающий взгляд: она ненавидит свое рукоделие всем пылом души, стремящейся даже от нотных строчек к книжным; к крючку в ее руках, надменно путающемуся в омерзительных нитках, она ощущает полное отвращение. И на мне на миг замирает ее отталкивающий меня, подозрительный ко мне взгляд.

– Тебе нравится этот штаубтух?

И, однако, и в наших суровых условиях бывали добрые обычаи, – когда был чей-нибудь день рождения, к столу подавался огромный сладкий пирог с числом зажженных свечей, соответствовавшим числу лет, исполняющихся в тот день пансионерке. И нам, Марусе и мне, в сентябре (мне) 27-го по новому стилю и 9 октября Марусе уже прополыхало десять и двенадцать свечей на двух сдобных пирогах с вареньем. Подавали в высоких стаканах апфельвайн (яблочное вино), и все хором пели на особо веселый мотив: «Hoch soll sie leben! hoch soll sie leben! hoch! hoch! hoch!» Дословно: «Да живет она высоко, высоко – высоко – высоко!»

В эти зимние дни, придя к маме, мы узнали о смерти – от чахотки – Нади и Сережи Иловайских. Им было двадцать и двадцать один год. С виду цветущие, красивые, милые, любимые всеми. Позднее мы

слышали, 4ТQ мать их, Александра Александровна, в отчаянии похоронив их и заболев той же болезнью, вернулась в сырое имение Иловайских в Крюкове и безвыездно заперлась в нем, оплакивая детей. Не

веря заграничным лечением, она стала лечиться народным средством – овсяной кашей – и вылечилась. Она никогда не узнала о страстном горе по Наде той самой «Муси», которую Надин и Сережин отец, Дмитрий Иванович, неизменно все наше детство путал с «Асей», невзирая на разницу нашего вида. Закусив губы от боли, которую она не хотела делить ни с мамой, ни со мной, она оплакивала нежную красавицу Надю, которую так полюбила в Нерви...

Но совсем отдельно от пансиона шла моя школьная жизнь. Думаю, что и Марусина классная жизнь была и теплей и богаче нашего дня. Как весело мы шагали – в час географии

– по улицам родного моим восьмилетним подругам Фрейбур-га, изучая жадными детскими глазами один за другим памятники города, слушая обо всем, что с ними связано в истории города и страны. Солнце хрустальным великолепием холодных уже лучей пылало на крутокрыших домах, фонтанах, садах, старых башнях, и навсегда ложились в сердце легенды края, события, имена. Помню, как раз одна из моих одноклассниц, проходя мимо кустов сада, сорвала крошку веточку с двумя-тремя листиками. И как обрушилась на нее речь негодующей учительницы, как она обличала ее непозволительную душевную грубость, сгубившую ни за чем нежный росток... Помню слова: «Oh, wie roh...» («О, как грубо...») – и слезы провинившейся, красной, устыженной. И думаю неутешно: и в эту страну, в ту Германию, пришел фашизм?

Я не сказала, с каким вниманием, с какой болью следила мама за ходом русско-японской войны. Имена

генералов Куропаткина, Стесселя то и дело мелькали в ее беседах с нами. Сдача японцам Порт-Артура, вызвавшая всеобщее негодование, взволновала ее чрезвычайно. К имени Стесселя стали добавлять слово «изменник». И затем страшная весть о Гапоне, провокаторе, о Кровавом воскресенье.

Беда приходит – как счастье: вдруг. В карете на обратном пути с пьесы из театра Поссарта, где пела в его хоре, мама простудилась и слегла. Врач определил плеврит. Жар не спадал. Маме лучше не делалось. Папе была послана телеграмма. Он ответил, что выезжает.

Папин приезд, его озабоченное, доброе лицо – он кажется постаревшим, – смена врачей, консилиум и зловещие слова: «рецидив», «активный процесс». Папа шлет телеграммы в Москву, что задерживается. Идут разговоры о помещении мамы в санаторий. У нас сжаты сердца: что будет там с мамой? И как будем мы без нее, после счастья близости с ней, – в хмуром пансионе, где после Рождества снова суровые будни, где мы теперь со всеми готовим уроки в ненавистном «нумероу ахтцейн»... Дальше уже шли слезы – о маминой болезни, о бедном папе, приехавшем на такое горе, о том, что маму будут ждать в хоре Поссарта, а она не придет, – обо всем, от чего ком в горле и чему невозможно помочь...

В одну из ночей маминой болезни, когда папа не отходил от нее, в дверь дома постучали, и стук был настойчив и громок. Внизу поднялся переполох. Все проснулись, захлопали двери, слышались голоса, сквозь окна на улицу упали столбики света от зажженной впопыхах керосиновой лампы, и как раз когда папа, следя за маминым беспокойным сном, больше всего хотел, чтобы шум внизу стих скорее, – шум стал подниматься, расти. Заскрипели ступеньки лестницы, и шаги стали все ближе и ближе, затем постучали в дверь, и в руки папы передали телеграмму.

Сообщение из Москвы было кратко: «Горит в Музее».

Когда я хочу представить себе эту минуту в папиной жизни – я, как над бездонным колодцем, закрываю глаза. Не хочу ее повторять. Ни описывать. Достаточно, что она пришла ночью зимой начала 1905 года и что такая телеграмма была передана в руки папы, собиравшего и воплощавшего Музей – столько лет!

Кто, в безумье смятения, увидав пламя над Музеем, послал такую весть через пространство, равное трем дням пути? Проснулась ли мама и вместе ли они обсуждали рухнувшее на них горе? Или папа один с неслыханной вестью стоял над постелью мамы, метавшейся в жару?

Уже много лет спустя, держа в руках архивный материал Музея, я прочла письма папы тех дней.

Из письма папы к архитектору Музея Р. И. Клейну.

«Эту ночь и утро засыпали меня телеграммами о несчастьи, постигшем нас в Музее. Пять депеш лежит передо

мною, из них три с советами не волноваться и не двигаться в обратный путь. Дмитриев, желая утешить, во второй извещает: «Пожар потушен. Сгорело мало.» Только из Вашей депеши я узнал, в каком пункте здания случилась непоправимая беда. Еще ночью, когда в первой телеграмме Дмитриева я прочел «Горит в Музее Ал. П1», у меня была мысль о поджоге. Первый вопрос жены был: «А застраховали ли вы ваше художественное имущество?» И потом: «Дежурят ли дворники при всех входах ночью и стоят ли сторожа при всех кладовых?» Что мог я сказать на это, кроме – нет, нет и нет?

Вестей же из Москвы не было – целую неделю.

Меня осыпали вопросами о причине несчастья, качали головами и, как могли, старались говорить слова утешения. Мое положение было тем тяжелей, что состояние моей больной, М.А. Цветаевой, за эти дни не улучшилось ни на йоту... Письма, полученные на



рассвете, были прочитаны с перерывами от слез, наконец совсем лишивших меня возможности видеть строки; доканчивала строки уже Мария Александровна... Но настоящее чувство утраты пришло после, когда холод, дрожь и слабость в ногах не дают мне покоя. Пошел я с телеграммами и письмами к Ю.С.чу – дорогой должен был останавливаться: не хватало воздуха для дыхания. Оттого проходил так долго, что это привело жену в беспокойство. Но с завтрашнего дня надо взять себя и свое горе в руки. Как и что делать впредь для хотя бы частичного возвращения погибшего, теперь не придумать.

Но при разборе пепла от ящиков и соломы надо употреблять решета, чтобы не выкидывать мелких вещей: хирургических инструментов и других предметов бытовой жизни древних».

Из писем папы к Ю.С. Нечаеву-Мальцеву:

«...Столько чудных вещей погибло, достать которые стоило мне столько трудов, хлопот, времени. Чем, между прочим, пополнить Египетский зал или Римский, я совсем не знаю. Ваш весь дар из Каира и великолепные статуи Залы Ротонды Ватикана, отлитые специально для нас, погибли.

О постигшем нас несчастье я написал поставщикам гипсов в Рим, Флоренцию и Париж».

Лечить маму в ее мансарде было невозможно. Болезнь не сдавалась. Врачи советовали перевезти маму в санаторий в Санкт-Блазиен, недалеко от Фрейбурга. Мама ехала туда, почти безнадежно говоря о выздоровлении.

– Моя песня спета... – горько повторяла она.

– Полно, Маня, полно, голубка, в тебе столько еще сил, ты поправишься там, вот увидишь, – убеждал папа.

– Мам, ты так же говорила в Москве, когда мы ехали в Нерви... – говорила Маруся, – а как быстро поправилась!

- До лета недолго, а летом мы с детьми приедем к тебе и будем вместе гулять, - ободрял папа.

Мама, которую пожирала температура, печально кивала. Она знала медицину, понимала тяжесть случившегося. Ей не хотелось нас огорчать.

Я не помню ни прощания с мамой, ни папиного отъезда в Россию. Почему там? Какой-то туман лежит на тех днях. Помню только частые мамины открытки с видами Чернолесья, с описанием санаторного дня, со скупыми сообщениями, что жар все держится, с нежными расспросами о нашей изменившейся жизни.

## **ГЛАВА 5. КОНЕЦ ЗИМЫ ВО ФРЕЙБУРГЕ. НОВЫЕ ПОДРУГИ. ЛАЗАРЕТ**

В пансионских днях – событие: живет в интернате милая, немного озорная, умная Гретхен Фехнер, и мы обе – Маруся и я – дружим с ней. Ей на год больше, чем мне, на год меньше, чем Марусе. В ее зеленоватых глазах огонек лукавства – приятного, дружеского. Волосы в две светлых косы, маленькие пухлые губы. Она, как и мы, читала много книг, у нее ученый отец – только строгий. Она с жадностью слушает о Москве, нашем доме, о папе, Тьо, Лёре, Андрюше, о нервийских друзьях, о пансионе Лаказ. Она все понимает, и жизнь наша с ней стала теплей, интимней. Она не терпит Гретхен Третчлер, насмешничает. Гретхен Фехнер умеет хранить тайны. И умеет любить. У нас трех – жаркая, веселая дружба, в ней оттенок некоего бунтарства. В церкви, куда мы ходим по воскресеньям, мы откровенно скучаем.

Маруся первая, за ней я заболели свинкой. По-немецки особенно противно звучит слово «мумс». Крайняя заразность этой болезни – недели на две – разлучила нас с подругами, уведя из дортуара в школьный лазарет, куда к нам приходили

только врачи и девушка-горничная, принося еду, Маруся начала выздоравливать, я же еще томилась в плену жара и сильных болей, металась, иногда плакала – и Маруся теперь не насмешничала, явно жалела меня. Это меня грело. Только что выйдя из мучений этой противной болезни, она понимала, что не малодушие вызывает мой плач. После голодания из-за тяжелой боли горла при глотании на смену пришел настоящий голод –

выздоровление. Обед и ужин мы - пожирали. Как ценился каждый кусочек хлеба! Он был как пирожное. Мы еле доживали до завтрака. Мечта о еде наполнила день. Даже в постелях, друг напротив друга, мы наслаждались воспоминанием о крутых яйцах (утром нам приносили по одному -но всмятку), холодных дорожных тарусских котлетах, фи-липповских пирожках с капустой, нервийских золотых рыбках, вторично жаренных на костре, булочках с маслом и ветчиной.

Большая светлая комната, тишина. Томительно тянется день. (В лазарете полагались еще меньшие порции, чем в пансионе!) Только одно могло нас отвлечь от пустоты желудка - книги: тома «Gartenlaude» («Садовая беседка»), журнал, знакомый нам еще с детства, и стопки повестей из школьной жизни... Маруся лежит, с головой уйдя в рассказ «Neid» («Зависть») - на обложке девичья головка со светлой косой. После Маруси я глотаю историю дружбы двух девушек, нарушение дружбы - зависть; сердце колотится, так все понятно, и так их жаль! Одну за другой мы прочли повесть «Der blaue Schleier» («Голубой шарф»), где знакомство детей-соседей, о котором жарко мечталось, происходит из-за забытого на дереве шарфа девочки, заболевшей, у нее Mums (наша болезнь). Шарф заражает детей-соседей, болезнь соединяет два дома в крепкую дружбу... А за окнами лазарета - крик, шум, песни: Fastnacht (масленица!), -карнавальные звуки несутся к нам приветом с московской «вербы» - писком, визгом, музыкой улиц.

Завтра Маруся уходит из кранкенциммер<sup>1</sup>, а я... Но что случилось со мной, когда на другое утро мне, в опустевшую комнату, где я со страхом провела ночь, внесли вместе с кружкой кофе, яйцом всмятку и хлебом... глаза не верили! -

<sup>1</sup> Комната для больных.

а горничная смеется и тянет мне на тарелочке – мягкую, густо намазанную внутри маслом булочку, и из нее свисают концы ломтгов ветчины! От Маруси! Эта она, она сказала фрейлейн Паулине – и та, умилясь, исполнила! Неужели Маруся попросила для меня... мы никогда не просим! -и я смеюсь и плачу – все вместе!..:

Горничная ушла. Я одна с лукулловым пиршеством, присланным мне Марусиной рукой. Я буду есть медленно, очень медленно... чтобы долго-долго не быть голодной. И -читать! Как в том чудесном чужом саду выздоравливает от свинки девочка, а дети, которых она, не зная того, заразила шарфом (а они не знают, что уже заболевают), смотрят в щелку забора на ее окно...

## **ГЛАВА 6. ВЕСНА. УГРОЗА ИСКЛЮЧЕНИЯ**

Зима сдавала. Мамины письма шли часто, но вести были все те же: неспадающая температура, неопределенны высказывания докторов. Было совсем непонятно – что же дальше, как пойдет жизнь, поедем ли мы в Ялту и, после, в Москву или еще куда-то? Папа и Тетя молчали об этом, Лёра писала редко. В грусти пансионских дней только одно стало нам ясно: 25 июля, день летних каникул, наше освобождение, и папа, приехав, возьмет нас к маме, в Санкт-Блазиен.

Как мы ждали этот день! У Маруси строгость пансиона вызывала все растущее ожесточение. Она замыкалась, в ее глазах затаивались протест и насмешка. В иные дни она и от меня отдалялась. Я же, мягче ее, рушилась в тоску неутешную.

Наставала весна.

А над нами уже собралась гроза.

В то время как мы разбирали папину посылку с огромным филипповским черным хлебом и сладостями и угощали подруг, фрейлейн Энни обнаружила у Маруси принесенную с урока рукоделия связанную ею крючком, тайно, фигурку с хвостом и рожками, в вязаном же платице. Это вызвало не только гнев и отвращение старших, но и смущение среди пансионерок. Младшие, не вникая, просто испугались шалости, озорной, небывалой. Старшие почуяли в этом поступке нечто глубже, опасней. История была доложена фрейлейн Паулине. Марусю вызвали в «зеленую комнату». Какой там был разговор – я не знаю. Маруся прошла мимо нас с высоко

поднятой головой, с пылающим лицом. В «зеленую комнату» вызвали кое-кого из старших воспитанниц. Дерзость Маруси, ее непокаянное поведение связали с ее авторитетом среди старших, усмотрели ее вредное влияние на подруг.

А далее случилось вот что. Мы с Марусей все лето говорили на «своем языке» (к слогу добавляли его повторение с буквой «п» в начале – «мы пойдём» звучало «мыпы попойдепем»), В пансионе мы легко перенесли этот «язык» на немецкий и заразили им учениц. Кроме того, каждая из нас выдумала свой шрифт – каждая буква была рисунок какой-либо вещи, и мы «насобачились» писать так с большой быстротой. Посвятив в ключ к своему языку Лени Бургер, я на переменах и на уроке завела с ней иероглифическую переписку. Записка была перехвачена сердитой учительницей географии. Добрая фрейлейн Роут не дала бы такой ход «делу» – и над моей головой, озорной, и над гладенькими льняными косичками Лени Бургер грянула гроза. Допрашивали! Стыдили! Пугали! Вызывали в «зеленую комнату», запретили (Лени, бедняге, невинной) общенье со мной... «Эти русские принесли к нам революционный дух своей страны!» - пронеслось по пансиону. Делу дали ход.

Девочки с жадностью пожирали ломти черного русского хлеба, сравнивая его с немецким пряничным Pumpernickel (пумперникель). И в Москву, к папе, пошло письмо от начальницы пансиона о том, чтобы нас взяли ранее летнего срока. Это звучало чем-то вроде исключения. Время до ответа шло томительно. Мудрый ответ папы, что, ввиду болезни матери и невозможности ему из России еще раз приехать во Фрейбург, он просит не беспокоить мать до лета и оставить нас в пансионе, решил дело мирно. Маму пожалели, папе оказали уважение, нас оставили.

Как мы ждали дня отпуска! Казалось, не доживем... Мир за решетками пансиона Бринк казался невероятно прекрасным. Даже мысль о маминой болезни не омрачала его нам по-настоящему: к маминой болезни мы привыкли за два с половиной года. К тому же раз уже мама победила ее. Почему Крым – мы уже мечтали о нем, снова море, – не вернет маме силы?

Еще жарче цвела теперь наша тройная дружба – Маруси и меня с Гретхен Фехнер, светловолосой насмешницей, так нас полюбившей. Но и тут – и везде – поздно! Отъезд стоит

за решетками сада пансиона Бринк, где плывут в ручье голубые форели, все уплывает, все уже снова делается сном. Права фрейлейн Паулина, говоря, прижимая мою голову к своей груди: «Этот день никогда не вернется...»

Маруся еле сдерживает слезы, а я уже реву в три ручья...



## ГЛАВА 7. САНКТ-БЛАЗИЕН

Наша гостиница при самой дороге, которая ведет в мамин санаторий. У хвойного леса зелено-синие ели. Стеклянные террасы, где лежат больные.

У нас с папой две смежных комнаты во втором этаже. Сразу, войдя, хоть нам и понравилась служанка Анна Хоберле, – потянув, «как псы», воздух нового жилья, мы без слов, только переглянувшись, поняли, что любить это место не будем! Все любили – Москву, Тарусу, Нерви, Лозанну, Лангаккерн, даже Фрейбург за пределами пансиона. А вот эти комнаты, – и, может быть, и весь Санкт-Блазиен – не полюбим. И неизвестно почему. Ну и пусть! И не надо...

Вместо ласки Мейеров в «Гастхаузе цум Энгель» – шум и неразбериха внизу, в «гастштубах» (комнатах для гостей). Никакого уюта. Одна нажива вокруг келлера (погребца) с пивом и винами.

Мама! Свидание было вчера. Она нашла нас очень выросшими. Марусю – особенно. «Совсем Backfisch»<sup>1</sup> – смеясь, сказала она. Мама – такая же, ничуть не худее, – эгоистически говорим мы себе. Только на щеках – румянец. Это, конечно, нехорошо... мы знаем, румянец – чахоточный, но ведь он у всех в маминем санатории. Зато – хвойные леса! И доктор прекрасный! Мама поправится, и мы осенью переедем в Ялту. В Ялте – море: оно Черное, так называется потому, что оно – темно-синее, – почти черное...

Мы шли бродить по пригоркам, обрывам, лесным полянкам, окаймляющим чистенький городок, как «два бурша», два сказочных «Geselle» (подмастерья из Гофмана или Гауфа). О чем только не говорили мы! Мы были и мы, и не мы, мы шагали по ландштрассе, иногда

запевали что-то, при встречах с людьми на миг принимали чинный вид, а потом на нас

1 На немецком языке «подросток\* в переводе «печеная рыба». Но это совсем странное слово. И Маруся совсем не похожа на рыбу – наоборот.

нападал смех, мы переглядывались, подталкивали друг друга воображали себя странниками, идущими в далекий путь! Спросив о часе, мы пугались, бежали назад.

Нашим спутником был чудный огромный пес, черный с желтым, длинно- и кудрявошерстный (вроде сенбернара) ньюфаундленд, по имени Тюрк. С ним нас (он принадлежал гостинице) спокойно отпускал папа. Тюрк обожал нас, как мы его, и не дал бы никому нас трогать. Иногда мы ходили гулять с папой. Часто папа шел, задумавшись о Музее, не замечая, сколько пройдено, и на этих прогулках – вперед и вперед по ландшафтной трассе – я, как меньшая и слабее здоровьем, иногда изнывала. Но сказать об этом было стыдно, и я не просила пощады. Мы заходили в придорожные гостинички соседних сел и деревень, закусывали и шли дальше.

Идем, пристыженные папиной простой, ясной душой, такой не похожей на наши, и нам жаль его всем пылом наших озорных и печальных сердец – и ничем этой розни помочь нельзя – и чем же можем порадовать папу! Нам, после наших, отступивших куда-то, лозаннских молитв, одиноко и бездомно; в этой грусти и без мамы мы (кажется нам) – старше папы... У него есть кумир Музей, у нас, сейчас, – нет. И в наступающей тишине нашей нескладной беседы какая-нибудь из нас (Марина, старше и зорче), чтобы прервать эту даль, это молчание меж нас и соединиться с папой, задает вопрос – о Музее. И вот, точно только это и было надо назвать, папин рассказ о любимом, чем занято сердце, чему отдано столько труда, прочной и доброй крышей

протягивается над нами. Слушая о последних шагах, о новых коллекциях, жертвователях, о Нечаеве-Мальцеве, главном и крупнейшем из них, о сортах цветного мрамора, распланировке зал, о целом сонме будущих стеклянных крыш над музеем, мы проходим остающиеся километры нашего похода-прогулки, благодарные за тепло и за страстную папину увлеченность делом, в которое мы, по Эоловому существу своей природы, проваливаемся бездумно, как в детстве.

- ...Опыт, дети, показал и то, - говорит папа, - что учиться приходится не только у специалистов, но иногда и у людей, от которых ожидать помощи, по-видимому, было бы трудно, к примеру - у старых служителей европейских музеев. Один такой случай был со мной во Фрейбурге ~ вашем, другой - Наумберге.

Ваш Фрейбург-в-Брайзгау славен, главным образом, своим собором XIII века, замечательным архитектурным сооружением. И вот, гуляя по Фрейбургу, я зашел в один магазин религиозных изваяний, чтобы спросить, нет ли там копий портала и деталей собора. Ответ был отрицательный, но один из рабочих посоветовал мне побывать в конторе Строительной комиссии собора и там навести справку. Я прямо оттуда пошел по данному мне адресу. Но был час обеда. Я никого в бюро не нашел, вынужден был вступить в беседу со старым, седым слугой этого учреждения. Старый служитель, услышав, чего я ищу в моем путешествии, дал мне нужный адрес того завода, и я сейчас же отправился туда. И вы тоже, дети, будьте всегда всесторонне внимательны ко всякой работе, которой вы будете заняты, и не пренебрегайте простыми людьми - никогда...

Ближкий закат золотой пылью освещал плывущий нам навстречу Санкт-Блазиен, по деревьям

ландштрассе бежит трепет, я плетусь, уже еле поспевая за бодрым шагом их двух, но радостно чую отдых. Нас встречает широкая улыбка Анны Хоберле, прося прощения, что непустила с нами Тюрка, а он, забыв великаний свой рост, прыгает вокруг нас, как когда был щенком, на лету ухитряясь лизнуть. «Ну-ну-ну... - урезонивает его папа, - эдакий богатырь...»

Мама переехала к нам. Веселее, теплей стали дни. Полевые цветы, пахнущие Тарусой... но мамина слабость вносила несходство с летом Лангаккерна. Только иногда она, опершись о папину руку, выходила гулять.

По просьбе ли мамы, когда она еще жила в санатории, мы пошли сниматься? Папа снялся с Марусей, оба в рост. Маруся в очках, волосы заплетены, гладки. Она в английской кофточке и в юбке, полувзрослая. Я снята в темном платье и кисейном фартуке, волосы по плечам, со лба - назад, под круглую детскую гребенку; улыбаюсь. А рядом - на прощанье - темный, в яви - черный с коричневым -обожаемый собачий великан Тюрк.

...Было лето 1905 года. После начала русско-японской войны. Россия всколыхнулась. Неудачи войны вызывали все большее недовольство царским режимом. Мама внимательно читала газеты. Отклики разговоров доносились и до нас. Но мы уже собирались - в Россию.

В который раз в жизни, бродячей, - чемоданы, тюки, корзины... Мама, кашляя и улыбаясь папе и нам, укладывает вещи. Мы все помогаем ей. Как ободряет ее папа! Как ласковы они друг с другом! У них никогда нет ссор. Вчера полвечера они увлеченно писали (папа диктовал по-русски -мама переводила на французский) письма по музейным делам.

- Дорогой помощник мой... - говорил папа. - Я тебя утомил, дружок мой...

- Что ты, что ты!.. - отвечала бодро мама.

Мы стараемся больше помочь в укладке вещей.

- Ну, иди, иди, - добро говорит маме Марусе. - Мне папа и Ася помогут! Нет у тебя таланта к этому. Иди, читай!

Маруся благодарно глядит на маму. Завтра - в путь!  
В Россию...

# **ЧАСТЬ ПЯТАЯ КРЫМ ГЛАВА 1. ПУТЬ В РОССИЮ. СЕВАСТОПОЛЬ**

Неровность памяти! Так помнить отъезд из Москвы осенью 1902-го и не помнить отъезд из Фрейбурга три года спустя! Из всего пути из Германии в Ялту я помню – смутно -видение светлых широких улиц Мюнхена, статую Баварии -гигантскую фигуру женщины – камень? металл? – в кудрях которой (поднявшись по нескончаемой лестнице) – окошки, чудный вид на город и даль. И другое видение – темно-серых торжественных зданий, музеев. С папой мы ходили по музейным залам. Жадность наших глаз, впитывающих все в перекачено поле нашего трехлетнего путешествия. Мы едем как-то иначе, чем ехали из Москвы? Граница Австрии и России – городишко Волочисск. От близости к России у мамы и у нас замерло сердце. Три года вдали от родины!

Замерло – и не отпускает. Будто и не было этих трех лет. Будто не жили мы в других местах, с людьми, которых нельзя забыть! Жадно смотрим вперед! Да мы только того и ждали, чтобы возвращаться назад! Задавленное необходимостью жить там, где велела мамина болезнь, ожидание вернуться томило нас – только воспоминаниями. Теперь оно рвется из нас, как пламя костра, тлевшего, в который бросили веток, высохших на ветру. Горит в нас самая сущность наша, любовь к своему, то, что иссушает вдали человека, что зовется тоска по родине... А тот, через кого эта Россия в нас поет сейчас, торжествуя свидание, почти старый уже, добрый папа, из владимирских просторов пришедший, из самых старых добрых русских глубин, только улыбается, на нас трех глядя, все умиряя...

Какие города? Словно из сна – Краков. Спешка, общий вагон, нет билетов! Теснота. Поезд летит. Ночь.

Волочисск. Это – два городка, слитых именем, разделенных границей. Австрия – чистота нарядных улочек, домики блеск витрин, сытые кони, коляски. Россия – пыльные колеи, булыжники, домишки, тощие лошаденки, старые, как мир, извозчичьи пролетки... Первая плакучая березка, первый звук русской речи! И вот мы у входа в русскую гостиницу! Бегут, снимают вещи, мы спрыгиваем на русскую землю!

Папа помогает маме; под руку с ним, окруженная нами, она входит в свежевыкрашенные двери. Рассыпается в любезностях и хвалах только конченному ремонту хозяин, и прислуживающие уже тащат багаж в «самые лучшие комнаты», и папа уже озабоченно: «А не заболит ли у тебя, голубка, голова от этой масляной краски? Сейчас велю открыть окна...»

А мы нюхаем! Воздух! Эту самую краску, от которой пахнет весной московской, андреевским флигелем, детством! Но уже нас нюхают, прыгая на нас, собаки. Мама зовет, а мы не можем расстаться, рыжая и серая, лохматые, у одной глаза – еле мерцают, из шерсти, и как лают, как лижут нас!

Вечер в гостинице с распахнутыми окнами, с три года не виденным самоваром, начищенным под Жар-птицу, с дорожными и гостиничными яствами, с отдыхом, разговорами – что за вечер! Плакучая береза за окном и та радовалась, пыль за окном и то была родная пыль... Это было состояние блаженства. Мы слушаем русские голоса, гром колес по камням, где-то – гармошка... Мы никак не хотели спать! Ночь! Чудная, черная, настоящая – запах свежести, шелест ветвей... Да и спать было трудно: никогда еще нами, Марусей и мною, не виденные клопы гуляли хороводами по новым обоям и измучили маму. Мы, может быть, и поспали с грехом пополам, – но мама глаз не сомкнула.

Севастополь. Большая гостиница. В ней пахнет, как в Генуе из ресторана, и так же звенит оркестр музыки... Мама болеет. Мы тут проживем несколько дней. Из окна коридора вниз видно, как в глубокий колодец, во двор. Мы с наслаждением едим русский борщ с пирожками. Мы с папой пойдем к морю! Море... Мы не видели его с Нерви... Папа режет огромный арбуз. Ветер пахнет водорослями. Маруся запоем читает все ту же любимую немецкую «Heidi», о девочке, жившей в хижине на горах. Она ее любит, как

«Суоге» в Италии! Мама легла отдохнуть. Папа ведет нас на Приморский бульвар.

Как пахнет морем! Так бьется сердце, приближаясь к нему, точно мы вновь – с Володей – выходим на «Гранде-Марина». Запах родной, и морская звезда, и водоросли, точно куча сетей. Но цвет моря совсем другой: не зеленое, как Средиземное, а темно-синее.

На другой день Маруся осталась с мамой, я с папой иду по улицам Севастополя. Ветер. Витрина книжного магазина. Смотрит ли папа на книги? Как я увидела маленькую книжечку «Загадочных картинок», мою страсть находить: «где кучер?» «где девочка?» – находить их в изгибах деревьев, в очертании крыш, в облаке... Сердце замирает. Попросить папу купить? Невозможно! Никогда! Мы никогда не просим. Ведь просить – стыдно. Это мы знали с детства. Я стоически ухожу от окна. Но когда я шагаю с папой по тротуару, боль в сердце достигает такой остроты, расставание с загадочными картинками превышает мои силы.

– Папа, – говорю я, не помня себя от стыда, – там в окне книга... Маленькая! «Загадочные картинки»...

Больше я не могла говорить.

– Картинки? – отозвался вызванный из задумчивости папа.

– Так тебе их купить?



И он повернул, я – за ним. Я шла в горячем вихре стыда. Но счастье его смело. Когда папа заплатил за него двадцать пять копеек серебряными монетками и книжка оказалась в моих руках, я шла назад счастливая. Но когда мы вошли в комнату, где нас ждала мама, и она увидела в моих руках купленное, я, должно быть, выдала лицом непрочность моего счастья. Мама сразу поняла, что не папа выбрал мне эту книжку, – это ей было ясно. Она ничего не сказала. Она только на меня поглядела. И стыд победил счастье. Оторвавшись от книги, неумолимый взгляд Маруси уже шел за каждым моим движением, беспощадно-насмешливо. Глаза ее были чуть суженными, в невыразимом презрении. И только папа, давно забыв о покупке, не замечал этой трагической пантомимы.

Графская пристань. Белый мрамор колонн, на солнце сверкающая пена волн, медленных и ленивых, искры, от которых щурить глаза. Не так ли стояли мы у таких же волн на берегу возле Вилла Торре с Александрой Ивановной,

Кричевским, а Тетя ждала нас в «Бориваже»? С этого – два с половиной года!

– Дети, я тут вот, на этом месте, была с Тоней и с дедушкой, молодая, – полувздохом говорит мама.

Отъезд в Ялту близился. Но уехать из Севастополя, не увидев «Севастопольскую панораму»? Мама, перемогаясь, поехала с нами. Уже мы знали о героях обороны, об адмиралах Нахимове, Корнилове, о Малаховом кургане! Маруся знала наизусть знаменитые строки Ростопчиной, и я повторяла их вслед за нею:

Двенадцать раз луна всходила И заходила в небесах,

А все осада продолжалась,

И поле смерти расширялось В залитых кровию стенах...

И вот мы далеко, высоко над городом. Затмевая туман моря, отделяет нас от него круглая, как маленький горизонт, картина Севастопольской обороны. Медленно поворачиваемся мы, охватывая глазами нескончаемое полотно, впивая лица всех борющихся, падающих и павших, которые, презрев смерть, все еще живут здесь – чтоб помнили их потомки. Что общего было в панораме с Генуэзским Кампосанто? Но мы сразу взглянули друг на друга, Маруся и я. Легкий кивок. Вспомнить другое сейчас та не могла. И не для вопроса и не для сообщения – просто от долга назвать кто-то из нас: Кампосанто...

Море до Ялты так качало наш пароход, что мы обе измучились. Мама, помнится, не страдала от качки, папа тоже. Маруся выражала свое отношение к качке – беспрерывно. Я крепилась долго, но – сдалась.

## **ГЛАВА 2. ЯЛТА. ЗАРЕЧЬЕ. СЕМЬЯ ВЕБЕР. ПРИЕЗД ВОЛОДИ ЦВЕТАЕВА. ПАРК ЭРЛАНГЕРА. ПЕРЕЕЗД НА ДАЧУ ЕЛПАТЬЕВСКОГО. ЯЛТА- ДАРСАНОВСКАЯ. НАША ХОЗЯЙКА И ПАНСИОНЕРЫ. НИКОНОВЫ**

Широко раскинувшийся правый бок Ялты назывался Заречьем. Там мы поселились на даче старика Вебера, звавшейся «Квисисана», по-итальянски «Здесь излечиваются». Двухэтажная, обвитая зеленью, в наших комнатах было темновато. Это маме не нравилось. Жили мы на первом этаже. Была осень, дули ветра. Погода и жилище были

неуютны. Но Маруся и я носились в полном восторге от новизны и неожиданностей запущенного сада, новых людей, голосов, запахов. Что может быть упоительнее незнакомых мест со всей их волшебностью в детстве и отрочестве, когда на все, что встречается, есть излишек сил!

Семья Вебера – странная, нам непонятная, и в этой несхожести с другими семьями нам как рыбе в воде... Сам Вебер доктор – старый, обросший сединой, и в нем - важность. Он недоступен: появляется, проходит, на фоне семьи. Жена его больная. Из детей знаем старшую, Веру: бледная, круглолицая, темноглазая, с двумя темными косами, упрямая, своевольная, сразу становится кумиром Маруси. Той страсти, с которой

Маруся вглядывается, старается вжиться в это пленительное воображение видение, уже навстречу идет слух: Вера – революционерка... Какие-то люди ее окружают, она говорит мало, серьезна и гневна, и не в том ли тайна семьи, что между нею и родителями спор о революции? Минуя свою сверстницу Олю, Маруся рвется к страшей.

Занятые устройством на новом месте и вопросом маминого лечения, мама и папа, давшие нам свободу (пока еще не найдя нам учительницы), не знали о новом в Марусиной жизни. Пока я в дождливые дни с Олей и ее братом Шурой, моим одноклассником, упивалась жизнью чужой детской, давно мною утраченной, в большой полутемной комнате мастерил с ними что-то из дерева и из картона – Маруся пропадала в одной из дальних комнат, у Веры и ее друзей. Сад ли Вебера выходил к морю? Или до него надо было идти? И сами Веберы, и их дом, и тот бок ялтинских улиц и моря покрыт во мне туманом. Сон! Берег моря звался Чукурляр. В этом странном слове – глухие звуки прибоя, осеннего, свинцового, холодный ветер, крупные серые круглые камни, и мы – с мальчиком Шурой – худым, круглолицым, как сестра, приветливым. Тревогав нашем «у моря»: убежали ли? догоняет ли нас младшая девочка – или мама болеет и ждут врача? Или снова «буря на море»?.. Но в нашу любовь к морю клином входит тревога: не то море! Нет скал, вместо Володи малознакомый Шура, недовольство папы и мамы дачей Вебера, возможность переезда... Мы кидаем в волны камни, и почему-то вдруг, остро, тоска: нет Лёры. Так она далеко!.. К нам ходит учительница Мария Ивановна Кандыкина – высокая, грузная, пожилая, резкая, с низким голосом темная, с проседью. Мы учимся хорошо, как всегда, со страстью готовим уроки. Нас хотят подготовить к весне в четвертый и второй классы гимназии. О Марусе сомнений нет, а я сильно забыла

русский. На предварительном «экзамене» у бабушки на вопрос: «Кто был Иосиф?» запнулась, забыв слово «плотник», покраснев ответила: «Он был ein Zimmermann» (немецкое плотник). Бабушка улыбнулся, потрепал меня по плечу. Мне предстояло пройти предметы русских подготовительного и первого. Не помогали древняя история лозаннской зимы, ни география Баденского герцогства и города Фрейбурга. Но я быстро осваивалась с русским правописанием (как Маруся, обладала зрительной памятью). И (тут уж мы расходились с Марусей, арифметику покорявшей как вид насилия) увлекалась решением задач. Мария Ивановна нас хвалила. Но и она, как все здесь, не нравилась маме. Сколько мы прожили в «Квисисане»? Недолго. Папа искал другую квартиру нам с мамой перед тем, как вернуться в Москву, к Лёре, Андрюше, Музею. Между нами и Веберами что-то произошло, и в этом главную играла роль Маруся: восторженно, неосторожно ею о Вере сказанное дошло до ушей ее отца, между ним и дочерью произошло неприятное объяснение. За это ли бранили Марусю? Испугались ли за Марусю, что она уж слишком не по летам сблизилась с революционным кругом Веры? Быстро было принято решение о переезде. Мы будем жить в левой, противоположной Заречью стороне Ялты - на Дарсановской горе, на даче писателя (его в Ялте не было) С.Я.Елпатьев-ского. Он печатался в сборниках «Знание». Мама его читала.

Мы сидели с мамой на увитой диким виноградом террасе веберовской «Квисисаны», когда, скрипя гравием, к нам стала подходить высокая, худая, остроносая дама. Она еще издали улыбалась, и что-то «ужасно знакомое», до почти испуга, было вскочившим Марусе и мне в ней. За ней шел подросток в гимназическом мундире, черноглазый, прямоносый... И в то время, как мама вставала навстречу, мы уже

молнией неопровержимого знания - «Володя!», Володя Цветаев, тот самый маленький, бойкий, одержимый страстью к паровозу - в Варшаве на вокзале, три года назад! Наш двоюродный брат, сын дяди Мити. Просто, родственно, стремительно и весело началась наша дружба. Уже полубасок Володи рокотал

вопросами о загранице - короткие, неожиданные, мужского склада вопросы, и рассказы - сочные, мужественные, не лишённые мальчишеской похвальбы, - и наши рассказы об Италии, Шильонском замке, пансионах. Как весело стало нам! Пока его мать, Елизавета Евграфовна, беседовала с мамой, сочувствуя ее болезни, давая дельные, заботливые советы, стараясь наполнить маму бодростью, верой в выздоровление, мы уже обошли сад. Володе он был мал, он звал нас в свой, в известный в Ялте парк Эрлангера, где они с матерью остановились. Мама ласково смотрела на Володю - ее неисполнившаяся мечта о сыне - и такой удачный, способный, энергичный, живой... Елизавета Евграфовна «таяла», глядя на Володю, - не чаяла в нем души. У Володи, как будет скоро у нас, по всем предметам - пятерки.

На другой же день мы пошли к ним. Свобода, огромный холмистый сад, ветер, воля, прыжки белого с рыжим пса Бушуя, Володя, рогаткой пугавший мальчишек, его меткая стрельба, задор, бьющий через край, рассказы четырнадцатилетнего обо всех невероятных вещах на свете, и тяжелые кисти винограда, синего и зеленого, которыми он щедро нас угощал, и хождение с ним по холмам парка Эрлангера - все это было как будто из книги - отдельная веселая глава. О японцах, войне, позорно проигранной, Володя говорил, как взрослый. Мы куда-то шли, Володя распугал мальчишек рогаткой, погнался за ними - он не мог без борьбы и побед. Нам нравилось его обхождение с нами: в нем не было пренебрежения к «девчонкам»,

бывшего часто в нашем брате Андрюше. Он был дружелюбен, открыт, прям и жаль нам было расстаться! Они уезжали в Москву. В последний раз над уже почти нашим парком Эрлангера пронеслись облака, дул осенний ветер, за нами летел огромный, пушистый Бушуй... Завтра уж мы тут не будем!

За столом у Вебера только и разговору, что о постыдном мире с японцами. «Шапками думали их закидать, а отдали Сахалин, Порт-Артур». - «А Курильские острова?»

«Ялта - красавица!» Как понятно стало это ходячее слово - как только мы очутились на Дарсановской горке! Насколько темна и туманна наша та - заречная - Ялта, настолько ясна (точно вчера это было!) - Ялта дарсановская. Вверх, вверх, меж стенок садов, изгибается дорога, мимо аптеки, женской гимназии, мимо дворца эмира Бухарского,

пока не упирается в дачу Елпатьевского: белая, двухэтажная, с двухэтажной террасой, в полдома шириной, свободная от тени и зелени, открытая ветру и взгляду на море, далеко внизу, за домами, сизо-синей чертой. За дачей - округлость горы, пустой и свободной, обитаемой только собаками, которых там - стая, диких, голодных, с которыми начата жаркая дружба, подкрепляемая жарким кормлением. Все, что можно и что нельзя, уносится нами - собакам.

Жизнь на новом месте устроилась сразу, ясно и прочно. Лечить маму стал доктор Ножников, лечивший пол-Ялты. Седенький старичок. Он разрешил маме понемногу играть на взятом напрокат пианино, навещая ее часто. Но сколько я ни стараюсь, вспомнить не могу ни одной маминой прогулки на даче Елпатьевского. Сад был невелик, пустоват, сзади переходил в горку. Папа уехал в Москву в конце осени и часто писал нам. Пока позволяла погода, мама много часов проводила на верхней террасе, где сперва стоял и обеденный стол.

Елизавета Федоровна Лужина снимала на даче Елпатьевского весь второй этаж и от себя сдавала жильцам комнаты. Нам она сдала две, смежные: большая была мамина, меньшая – Марусина и моя. Из маминой комнаты была дверь на террасу. Туда же выходили двери других жильцов. С наступлением холода столовая перешла в дом. Жили как одна семья: тепло входили в вопросы здоровья друг друга, если кто болел – навещали, предлагали услуги, помощь. За столом, куда выходила и мама, было весело. Беседа не умолкала. Хозяйка была хлебосольна. Ее речь, своеобразная, комичная, придавала веселье дням. Пожилая, полная, быстрая. У нее смуглое, остроносое лицо, когда-то красивое, карие глаза. Вся ее жизнь – быт, она пышет им. Постоянно, того не зная, говорит смешные вещи. Через каждые несколько фраз она вспоминает свою дочку Манюшь – ждет ее приезда. Все уже знают, что «Манюшь» выходит замуж, что ее мужа зовут «Федюшь». За глаза мы так и зовем ее «хозяйкой» – это слово к ней очень идет. Кроме нас, у нее еще трое жильцов. Средних лет «хохол» – высокий, полный Прокофий Васильевич, добродушный, словоохотливый, ласковый. У него длинные, пушистые рыжеватые усы и борода, серые глаза. Его сосед, Зиновий Грацианович, – много моложе, миловидный, безусый, легко краснеющий, немного застенчивый. Их

соседка – бойкая девушка, армянка, имя ее не помню – смешлива, упоена молодостью. К ней, кажется, равнодушен Прокофий Васильевич. Эти люди, тесно сжившиеся, охотно принимают маму и нас в свой круг. С Марусей говорят как с почти уже взрослой, видя ум и талантливость, ее самолюбие и застенчивость, не могут с ней взять шуточный тон. Со мной он усвоен всеми, и я на него иду. К маме хозяйка очень заботлива. Мы все под ее крылом.



За окнами столовой, за покинутой нами террасой, бушует норд-ост. Большая керосиновая лампа уютно освещает всех нас. Ужин позади. Марусе и мне надо кончить готовить уроки, но мама еще не встает идти, и мы тоже медлим, слушая обычный меж современных нам людей спор. Уже второй год спорят о японской войне. О роли России, о политических партиях. Чем бы ни начался разговор, он непременно переходит в спор о политических убеждениях. Прокофий Васильевич – самый «левый»; тщетно пытается примирить Зиновия Грациановича с его резкими суждениями их веселая соседка, спор не кончается. Иногда и мама вступает в беседу. Ее отточенная речь – убедительна, блещет логикой. Не женский ее ум сразу дает ей первое место среди спорящих. Но порою то, что она говорит, встречает в Прокофии Васильевиче мягкое осуждение, как слишком «правая» установка. Впрочем, мама говорит редко. Чаще слушает, склонив, как всегда, голову чуть набок, и в уголках ее рта – горькая полуулыбка. Вспоминает ли она те же споры в Нерви, Тигра, Герба? Молчит ли оттого, что все чаще думает и говорит о смерти? Болезнь угнетает ее.

Но как хорошо нам, когда стихает холодный ветер, закатные лучи сквозь стекла итальянских окон и двери на террасу засыпают золотой пылью мамину комнату и вдали видно синевой вспыхнувший кусок – море! Я уже кончила уроки, Маруся учит богослужение, как трудно! С ужасом думаю я, как она понимает? И наизусть! Я клею «лифт», соображая, как он будет подниматься по навощенной веревочке между стен из коробок. Скоро придет новый номер журнала «Труд и забава» (папа мне выписал). Мама говорит, что меня надо отдать в Строгановское училище – я все время что-нибудь мастерю. Слова эти влекут меня, но я мечу, может быть, выше, где-то во мне тлеет вера, что именно я изобрету

летательный аппарат! Я увлечена Эдисоном, который столько

изобрел! Кто-то пошутил - что я выйду замуж за Эдисона и мы вместе уже будем изобретать. Закрыв испанскую книгу (она учится этому языку), мама играет. Все та же клетчатая московская шаль у нее на плечах. Шопена играет она, Бетховена, Чайковского, и Маруся на миг отрывается от зубрежки - у нее светлые, потерянные в дали глаза. Стук в дверь, негромкий. На пороге - хозяйка. У нее умиленное лицо!

- Ну и играете же вы, Мария Александровна! - медово восклицает она. - Сердце так все у меня перевертывается... и вывертывается... Хоть бы скорее дочка моя приезжала -уж больше ее музыку никто не любит! Не помешала?

- Что вы, пожалуйста!

Но кашель мучил маму. Она сама занималась с нами музыкой. Я помню успехи Маруси и мамину гордость ею. Но было одно, что уже начало разъединять Марусю и маму: революция. В то время как мама, прислушиваясь и задумываясь, старалась а этом хаосе высказываний найти то, что ей всего ближе (кровь ее отвращала), Маруся рвалась к по-новому, ей теперь, в тринадцать лет, звучащему - зрелее, чем в ее нервийскую зиму, революционному движению. Любовь к Вере Вебер не умерла в ней. Ревниво, как всегда, оберегая свой тайный кумир, она страдала от утраты с присущей ей особенностью: даже имя, сказанное, причиняло ей боль. Она могла бы ударить меня, назови я Веру. Но я чужла ее тоску, хоть и молчала о ней.

Над нами жили какие-то люди, фамилия их была Никоновы. Мы не знали их. Там был юноша революционер, и мать его (ходил слух) - тоже революционерка! У них бывают собрания... Марина рвалась к ним, я это знала и не выдавала ее. Путей туда не было. Во дворе я играла с Марусей Никоновой,

сестрой Андрея, сероглазой, стриженной, упрямой, нравящейся мне девочкой моих лет. Взбегая, с собаками, по наружной лестнице, ведущей к ним, я видела маленькую старушку, бабушку Маруси, к ним же идти не решалась.

А день шел своим чередом: с утра приходила к нам Мария Ивановна, и мы занимались с ней, спросив заданное, задав и объяснив новое, она уходила, и мы, чуть отдохнув, снова садились учиться. Никогда не учились мы ни до ни после столько, как в тот год в Ялте. И, не хвастаясь, удивительно

было у нас прилежание: ни мама, ни Мария Ивановна не понукали нас. Сами предметы звали, каждый своим голосом.

А когда последний был кончен – был уже темный вечер. И мы не роптали, на кого было роптать? Надо же сдать экзамены в русскую гимназию после двух иностранных школ! Зато как мы отдыхали! С каким рвением кидались на каких-нибудь полчаса во двор – успеть все! Все обежать, наобниматься с собаками – лохматыми и грязными Бобкой, желто-белым когда-то, с Топкой – толстяком мышинового цвета, стариком с тяжелой одышкой и глазами навывкате. Он жил на даче через дорогу, у старушек сестер Карбоньер, и специально приходил к нам. Взбежать на горку, увидеть черту моря, тучи, хлебнуть ветра, приручить кого-нибудь из стаи одичавших собак. Иногда я вылетала прямо со ступенек – в игру в камешки с Марусей Никоновой, ее подругами Наташей Боровко и Асей Таргонской, избалованной капризницей Асей Розановой, дочкой врача и дачевладельца, или в прыгалку, считая, кто кого перепрыгнет! Раз, в азарте, я чуть не слетела в лестницу погреба, устояла, ошпаренная испугом. В этих играх Маруся не участвовала. Говорит с кем-то, смотрит на лестницу Никоновых, по ней кто-то взошел.

### ГЛАВА 3. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ

Везде разговор о стачке печатников. «Как будем жить без газет? Мы отрезаны от событий...» Но в начале октября грянула еще более грозная весть – забастовка рабочих Казанской дороги. Небывалое! И тут уже совсем невероятная вещь: все железные дороги бастуют! (Одна, царская, Николаевская, еще действует...) Наконец, гром в небе: всеобщая забастовка! Хозяйка бежит, растерянная: «Как же теперь Манюшь и Федюшь приедут?» «Вот что наделали ваши лохмачи», – причитает она, обращаясь к Прокофию Васильевичу. А тот радуется, сияет: «Мы накануне великих событий! О них мечтал Пушкин, Некрасов». Но в его радость: «Слыхали?» – входит Зиновий Грацианович. Его застенчивое лицо возбуждено, голос перехвачен горем. «Читали? Трепов сказал: «холостых залпов не давать, патронов не жалеть». Что будет?» – «Ну, будет теперь везде – этого не миновать! – отвечает Прокофий Васильевич, шагая медведем по камнате, ероша желтый густой мех своей «прически», другой рукой дирижируя в воздухе. – Ничего этим не остановишь! Вот

увидите, испугается царь-батюшка!» – «И даст конституцию?»

– «Так вы же сами говорили, что не она нужна, а...» – «Манюшь, моя Манюшь...» – повторяла хозяйка. Мы выбегали во двор. Издалека, еле слышно, – в Заречье – пели «Вы жертвою пали в борьбе роковой...». Маруся смотрит в ту сторону, откуда звуки, где живет Вера... Похоронный марш! Ветер нес слова, они крепки. «Манифестация? – сказал кто-то, пробегая. – Утром кричали: «Долой самодержавие!»

И вот 17 октября экстренный выпуск известил всех, что царь выпустил манифест – дал конституцию!

Многие радовались. По улицам шли толпы. Портреты царя. «Это только оттяжка!» – говорили другие. «Обман! – твердил Прокофий Васильевич. –

Словом думает утешить, испугался, я же говорил. Но цари – народ хитрый...»

А вечер рвет последние листики с молодых деревьев, лучи солнца все холодней. «В этом прославленном Крыму зима не находка!» – ворчит Прокофий Васильевич. У него снова повысилась температура. Зиновий Грацианович кашляет, приуныл. Только одна их соседка не устает подзадоривать и подшучивать, помогает не сдаваться болезни. Да Елизавета Федоровна, внося своим появлением с индюком на блюде веселье, говорит о болезнях и их излечении таким уверенным тоном, что каждый готов верить, что еще один индюк, такой, как зажаренный, – и не будет от чахотки и следа! Или начнет, мимо чахоток, рассказывать – и как тут устоишь! «Моя дочка такая хорошенькая!..» – говорит она в упоении, то закатывая, то сощуривая карие глаза, и нежданно для всех: «Усё кривляется!..»

Над нашим уютom, над размеренным ходом переполненных учением, лечением, дружбами дней прокатился раскат грома: всю ночь над нашим потолком, по полу Никоновых, – стук шагов, возня, глухие, упорные звуки: обыск! Недаром Маруся вчера прибежала особенная с их лестницы. У них было собрание «нелегальное». Мама, не добившись от нее толку о том, где она пропадала, долго не могла уснуть. «Кого-то увели...» – идет утром по дому шепот. «Скрывался?» – «Нашли...»

На губах у всех имя Думбадзе. Он над Ялтой – как маленький царь. Пробегая в аптеку, Маруся и я (мама разбила термометр) слышали слово «Думбадзе» в отрывках разговора на улице, приглушенное, называемое с оглядкой.

А из Москвы – тревожные вести: на улицах – беспорядки! Манифестации, слухи о готовящемся вооруженном восстании, требования отмены смертной

казни, студенческие сходки и опять, как в детстве, слова «нагайки», «казаки»... Газеты, письма, все прочитывается мгновенно, со страхом и трепетом, но «газеты замалчивают...». «Вчера задержали письмо». Волна арестов катится по Ялте, на соседней даче был обыск. Мама запретила Марусе ходить к верхним (нашла-таки путь туда!). Нина Васильевна Никонова, высокая, дородная, молодая еще женщина, хоть у нее восемнадцатилетний сын, вчера говорила с Марусей и мной так ласково... Как странно подумать, что ее – «схватят, посадят в тюрьму»... ореол опасности делает еще милее ее широкое, с ясными глазами лицо с большим лбом. Простое серое платье с высоким воротом делает ее еще мужественнее.

Собирался дождь. Я с ее девочкой, сероглазой, похожей на мальчика, Марусей, забежала в их комнаты. Узкие кровати, чисто, мало вещей. Как странно иметь бабушку! -думаю я, впивая чужой уют. Красавец Андрей прошел мимо нас – худой, темные кудри. Над ним – тот же ореол, что над матерью.

В Москве – вооруженное восстание! Газеты приходят неаккуратно, и в отрывках вестей, в страхе за близких жильцы нескольких комнат Елизаветы Федоровны мечутся, соединенные встречами за столом, в такой тревоге, точно у всех нас 40° температуры. В Москве – папа, Лёра, Андрюша.

У хозяйки – Манюсь и Федюсь. И у всех – друзья, родственники... В Москве – битва! Давно ли по улицам Ялты шли демонстрации, приветствовавшие манифест 17 октября, в котором царь давал народу – конституцию... Но она оказалась неправдой? Спор за нашим столом не смолкает. Названия партий кидаются в бой друг с другом, как живые существа. Мама с волнением читает последний выпуск экстренной телеграммы. От папы пришло только одно письмо – и снова нет! В эти дни тревог все с полуулыбкой

открывают у меня «дар предсказания». «Сегодня газеты не будет», – говорю я, и газеты нет. «Сегодня не будет, а завтра», – и завтра газета приходит. «Вот не будет, не будет», – твержу я следующие дни, улыбаясь своему «чутью». И газеты нет. «26-го (помнится, так?), – говорю я, – будет экстренная телеграмма». Все, улыбаясь мне, ждут. Но уже

Л

настал вечер. «Э...» – дразнит меня Прокофий Васильевич. «Не надо, – говорит кто-то, – она и сама уж...» Но я держусь. «Будет!» – говорю я упрямо. Но уже темнеет. Мама, усталая от тревоги, собирается лечь. Вдруг сквозь ветер, сквозь все звуки дома слух улавливает далекое, будто комар, растущее... Крик! Мы выбегаем кто в чем наружу: «Вечерний выпуск! Экстренная телеграмма...»

Зиновий Грацианович, Маруся и я, еще кто-то сзади галопом несемся с горы. Значит, я угадала!

В этом ли выпуске, или в следующей газете, до или после, не помню: мама, нагнувшись над планом баррикад, напечатанным в московской газете, по памяти отмечает недообозначенное – переулки и улицы возле Бронных. «Наш дом с двух сторон в опасности, дети! Я только тем успокаиваюсь, что надеюсь, что папа с Андрюшей и Лёрой переберутся к кому-нибудь, может быть ближе к Музею...» Сколько убитых!

А раненых...

Тревожные дни! Сколько их прошло? Какие споры! Одним казалось ясно, что всякое восстание будет подавлено войска-ми, что кровь революционеров льется напрасно. Другие твердили, что это – начало конца монархии. |

Мамин страх о наших домашних кончился письмом папы: все живы, из дома уходили на несколько дней. Хозяйка звала! и звала свою дочку. Та – собиралась.

«Вот увидите, какая моя Манюсь! – говорила хозяйка. – Как цветок! Да и Федюсь, пишет, не хуже!»

Ялта, зима 1905-1906 года – первый год, когда я совсем не помню дней Рождества. Было ли это в дни тревог о Москве? Неужели не было у нас елки? Наверное, хозяйка ее нам устроила. Была, конечно. Но в моей памяти ее нет.

А кумиры Маруси – множились. Лейтенант Шмидт! Как звучало его имя в тот год! Как пылали сердца о черноморском броненосце «Потемкин», как гулко неслась весть о гибели: людей, шедших на смерть! В хаосе споров о том, не за призрак ли бьются люди, не зря ли кладут свои головы, возможен ли переворот в России, возможен ли он и к чему приведет в такой отсталой стране, царской, – как во тьме черноморской ночи над тьмой смертного приговора светлели в душу Маруси глаза героя, обреченного лейтенанта Шмидта.

После вести о суде над ним и о его казни Маруся замкнулась в себе, таила от старших свою потрясенную горем душу. Это была рана. Она не позволяла прикасаться к ней.



## **ГЛАВА 4. ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА БАХТУРОВА. УЧЕНЬЕ. МАМИНА БОЛЕЗНЬ. ПРИЕЗД ПЕШКОВЫХ**

Мама наконец удалось найти нам другую учительницу. Нам жаль, мы уже привыкли к суровой и доброй Марии Ивановне. Вот уж и с ней расставание... Нашу новую учительницу зовут Варвара Алексеевна Бахтурова. Она горбата, у нее милый голос, глубокая улыбка, светлые глаза, русые волосы. Живет она на даче Карбоньер, где Топка. Сперва Варвара Алексеевна стала ходить к нам, затем, ввиду маминой болезни, предложила заниматься у нее. Мама согласилась – Бахтурова ей пришлась по душе: в ней сочеталась искренность с тонкостью, непосредственность ласковости с умом, дальновидность. В такие руки не страшно было отдать нас. Мы же с первого урока привязались к новой учительнице с радостным жаром. Она сразу стала нам родным человеком, и учение с ней – праздником. Было сходство в ней с Кошечкой, Александрой Ивановной Доброхотовой, но та была серьезней, тише, малоречивей. Варвара Алексеевна была веселей, разговорчивей, горячей, шутливей, и в наши дни, омраченные маминым невыздоровлением после прошлогоднего рецидива, вошла веселая ласка. Видно, и она быстро полюбила нас. Учила она чудесно, была очень требовательна, задавала много, и огорчить ее было нельзя. Мы стали еще прилежней. Шли мы на урок бегом, врывались в тихий сад к лупоглазому толстяку Топке, уже сопевшему нам навстречу и поднимавшему короткие серые лапы, чтоб

поздороваться. Варвара Алексеевна уже весело нас приветствовала – горбатая, ласковая, прелестная!

Уже я стояла, прощаясь, терлась о нее головой, за мной и Маруся, а длинные, с тонкими пальцами руки прижимали наши две головы, и доброе, худенькое, светлоглазое лицо ее сияло нам счастливой и гордой улыбкой. Да, в ней была гордость, и мы это любили в ней. Это была легкая льдинка в ее веселой ласковости.

И еще одна радость вошла в наши дни – новый друг из мира животных: белая большая гладкошерстная собака, не по породе, а просто именем Лайка. Она жила на лестнице

бывшей никоновской квартиры, где Маруся вместе с нами двумя в холодные вечера устраивала ей «берлогу» из тряпок на площадке лестницы. Собака была озорная, полюбила нас безраздельно, стала украшением нашего дня. Вместе мы взлетали на минутку на горку, – дикие псы почему-то Лайку не трогали, – и слетали вниз, кувыркаясь друг через друга, чтобы через мгновение расстаться до следующего дня. День был набит делом до отказа: уроки с Варварой Алексеевной, урок музыки, бег в аптеку для мамы, обед, снова уроки, чай, снова уроки – до ужина, а еще чтение и еще кому-то письмо! И среди этой занятости – встреча с Лайкой, Бобкой и Топкой, с Дарсановской горкой, с ветром и небом звездным и синей морской чертой, – все это было тоже делом – как задачи, как грамматика, как география, как уют короткого вечера с мамой.

А на нашу хозяйку свалилось счастье: наконец приехала Манюсь! С Федюсем! Какой же в доме поднялся шум! Хозяйка летала по дому, ни на миг не смолкая, по пути непрекращаемых вопросов успевая швырять на колоссальную плиту нашей кухни – сковороды и ставить кастрюли и над варкой и жаркой праздничных кушаний успевая рассказать, и даже и повторить рассказ, и помочь Манюсь разложить вещи, и

перекинуться словом с каждым из нас, тоже за нее сияющим. И нацеловаться, в слезах, с дочкой, и насмотреться на зятя – и все же вовремя подать к столу, и выйти, не опоздав, навстречу Манюшь, уносящей суповые тарелки – с невероятной величины жареным индюком на блюде, которого больные, над сияньем золотого портвейна в рюмках, встретили победными кликами! Помню мамину веселую и все же в углах губ чуть жалобную улыбку, с которой она смотрела на тех, кто сидел напротив, на простое человеческое, женское, мужское счастье, воплотившееся наконец в Манюшь и Федюшь. В расцвете красоты и молодости, смуглая, похожая на мать, но красавица: кареглазая, с вьющимися у висков и на лбу каштановыми волосами, убранными в шиньон, с точеными чертами продолговатого лица, пышным и все-таки детски-трогательным ртом, Манюшь блистала взглядами радости на Федюшу и на мать, и та не сводила с нее глаз, и под тяжестью пристального, жадно изучающего материнского взгляда ежилась застенчивый Федюшь, неказистый, широколицый, с рыжими высячими усами и растерянными, большими, совсем

светлыми, ребяческими глазами, в которых от рождения не поколебавшаяся доброта искрилась еще и влюбленностью.

С их приездом жизнь стала еще уютней, обеды и ужины вокруг общего стола еще теплей. Эти шумные трапезы в столовой, соединявшие больных и здоровых, сдружившие десяток разных, чужих людей, были контрастом с тревогою дня, с вестями из Москвы, и известиями газет, с приходами доктора Ножникова, все более приглядывавшегося к маме. Картина болезни была неясна, необычна. Седенький старичок, столько лет лечивший «пол-Ялты», недоумевал. Насколько быстро поддалась болезнь три года назад в Нерви,

радуя доктора Манджини, настолько она упорствовала теперь. Ножникову удавалось успешно лечить случаи много тяжелей, а тут... ведь ни малейшей каверны, а температура не падает, самочувствие не улучшается. Мама теперь часто лежала. Всю середину и конец дня мы с уроками проводили за большим столом в ее комнате, он стоял посредине, недалеко от маминой кровати, но к себе близко мама нас не подпускала, не целовала - берегла. После ужина иногда мама по-прежнему нам читала вслух рассказы из сборников «Знание» Андреева, Чирикова, Телешова, Чехова (не было еще двух лет со смерти Чехова - от чахотки). Ярко помню страшный рассказ Серафимовича «Мечь» (в издании «Донской речи»); рыбаки, поймав у своих сетей вора, протащили его на веревках три раза под водой от проруби к проруби. Он еще был жив в первый раз. В последний - это был длинный неподвижный ком льда. В беспощадности этой мести нам захватило дыхание, тень легла на наши полудетские дни.

На мамину беду, зима в том году в Ялте была суровая, на море то и дело штормы. Два итальянских окна ее комнаты, под углом друг к другу (первое - с видом на далекое море), дрожали. Мамин кашель не стихал. И вот однажды ночью яростный норд-ост разбил правое окно, и в темноте к маме с воем и треском влетели куски разбитых стекол, снег, хаос, холод, вой... Бедная мама с трудом зажгла лампу, с ужасом увидела случившееся. Разбуженные шумом, повскакали в соседней комнате и мы, забежала хозяйка, прислуга... Может, эта ночь принесла ухудшение маме? Болезнь ее стала обостряться. Мы то и дело бежали в аптеку - то за лекарством, то снова разбит термометр, то вызвать Ножникова. Весна, так опасная чахоточным больным, близилась,

летела на жестоких ветрах и более пугала, чем радовала. Конечно, наши юные годы все же дышали по-

своему в этих бурях, для нас родных и веселых, напоминавших Тарусу, детство, нервийские штормы. Летя вниз с горы по извивавшейся мимо дач дороге, мимо (мы уже бывали в ней) женской гимназии, мы успевали заглянуть сверху в сад эмира Бухарского (о нем мы знали только его имя!), застыть на один миг над единственным псом, не сдавшимся нашей ласке, цепным, за что мы и прозвали его «Страшный зверь». И вниз – для мамы. Мы жалели маму, утешали ее и наперерыв помогали ей.

Я не помню отъезда Никоновых. Они уехали внезапно. Наверху теперь жили, на месте Никоновых, – другие, и эти другие были – Пешковы, жена и дети Максима Горького. Мы еще их не знаем, но видели, и Маруся уже, кажется, заболевает очарованием этой молодой женщины, стройной, с нежным смуглым лицом. Тонкие черты, мягкие, светлые под тьмой ресниц прямо глядящие глаза, ласково и испытующе, и с непередаваемой прелестью застенчивости, грациозной в этом серьезном человеке. Она революционерка, как и Нина Васильевна Никонова. Снова наверх по наружной крутой лестнице идут, вечером, неизвестные люди, снова Маруся рвется туда – там собрание... Только что начала она себе завоевывать место среди приходивших к Никоновым, с ней говорили как с равной, интересовались ее стихами (теперь она их прятала от мамы), и вот внезапный их отъезд прервал ее тайные хождения наверх! Не зная Екатерину Павловну, не пойдешь...

В эту зиму Маруся встретила с книгой, вошедшей в число ее самых любимых. Она и взрослая ее вспоминала. «Очерки детства» Семена Юшкевича. Она мне дала ее, и мы обе приняли ее в сердце. Что это была за книга! Какое-то зеркальное отображение: тем, юным, было столько лет, как нам, они жили в русском приморском городе, они слушали те же революционные

песни, и была в книге весна, и была, как у нас, гора, куда они выбегали в ветер, – они просто вошли из книги в наш дом и сад и стали жить с нами. И был там – калека Алеша, ему было четырнадцать лет, его навещали друзья, крепкие и здоровые, они слушали его рассказы, а он им рассказывал – сны. Сны у него -продолжались; в них разворачивались события, он там был

сильным и мужественным, он боролся за угнетенных, делая чудеса храбрости. А жизнь, в которую он пробуждался нищим калекой, он считал дурным сном и верил, что вся неправда, что его окружает, кончится, сон – доснится!

Маруся прятала книгу себе под подушку, не расставалась с нею.

# **ГЛАВА 5. РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЯЛТА. МАКС И КАТЯ ПЕШКОВЫ. ДРУЖБА С ВАРВАРОЙ АЛЕКСЕЕВНОЙ. СТРАСТЬ К УЧЕНЫЮ. МАРИНИНЫ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СТИХИ**

А в Ялте продолжались аресты, обыски. Думбадзе и его помощники после Московского восстания «работали» с еще большим рвением. Называли имена новых, присланных из Москвы для водворения порядка, и за нашим столом как никогда разгорались споры. Неуловимая чуждость начинала реять между мамой и Марусей. Слушая мамины утверждения, что наилучшей платформой является платформа конституционалистов-демократов, умеренная, бескровная, Маруся только крепче сжимала недобрые сейчас губы, и в углах их затаивалась тень насмешки. Там, наверху, не о том говорили! По России шла волна покушений, экспроприаций – эти слова шелестели не только в газетах. А я, не входя во все это - мои одиннадцать лет были еще детством, – играла во дворе с сыном Екатерины Павловны, восьмилетним Максом, чем-то похожим на Володю Миллера, – озорным, лукавым, прелестным. Сияющие глаза, как у матери смелостью преодолевающие природную застенчивость взгляда, подвижность, шаловливость – все нравилось. Будь он старше – это была бы настоящая дружба. О сестре Макса, Катюше, чудной пятилетней девочке, говорили,

что она похожа и на мать и на отца. По Ялте ходил рассказ, может быть выдумка, что когда незадолго приезжал туда Максим Горький, остановился у жены, с которой уже разошелся из-за актрисы Андреевой (мы с Марусей ненавидели эту актрису), будто бы Горький и Екатерина Павловна сидели на балконе и бинокли всей Ялты были направлены на балкон той дачи. Заметив это, Горький будто бы встал, раскланялся и задернул занавеску террасы. Катя была другая, чем Макс: сосредоточенней, серьезней, она в игре уговаривала брата, когда тот кидался (очень любил и метко кидал) камнями или хвастался. Она неизменно, как старшая, - а была на три года моложе, -

усоветничала его. Говорили, у нее музыкальный слух. Она была очень правдива, не капризничала, как дети ее лет и мы, старшие дети, ее не только любили - уважали. Макс тоже не обижал ее. К нам во двор приходили сестры Боровко - Нина, моих лет, рыжекудрая, худенькая, бледная, добрая, нежная; чуть постарше Катюши Пешковой - помню кудрявую русую головку ее сестры Наташи. Они жили на своей даче, под горкой, близко, были скромно одеты, что нам нравилось. В те времена дети культурных семей насмешливо встречали детей купчески-мещанского типа, разодетых, нарядных. Мы считали, что это - стыдно, смешно. Мы не любили праздничных платьев, их надо было беречь, о них помнить.

Наша дружба с Варварой Алексеевной крепла и крепла. Может быть, мама и ревновала немного, но не показывала этого. Для нас же уроки с ней были счастьем. С книгами и тетрадями мы летели к ней через дорогу, радуясь каждой встрече. Маленькая, легкая, с кокетливой накидкой или платком на плечах, скрывавшим немного ее горб, она идет нам навстречу, протягивая обеим свои длинные и прохладные руки\* улыбаясь особенной, глубокой улыбкой, в которой



светились игра и лукавство, постоянное нащупывание, ласковое, неосуждающее, так ли уж велика, как мы показываем, наша любовь к ней, и этот поддразнивающий холодок, веянье прозрачной стенки меж нею и нами делали нашу к ней любовь еще жарче. Мы не можем ее доказать! Что она думает, что ее, горбатую, нельзя так любить! Так мы же добавочно, кроме любви к ней, именно этот ее горб любим, горе всей ее жизни – быть иною, чем все, с первых лет детства. Мы ненавидели тех грубых, идиотских детей, которые, может быть, ее дразнили (ведь есть же такие выродки!). Как бы мы колотили их!.. Кулаки сжимались – и мы кидались целовать ее.

– Мартыся! – кричали мы, вне себя от нежности, и повисали на ней, и вместе, смеясь и ластясь, шли к столу. А там – цвели учебники географии, карты стран, островов, морей, там мы могли увидеть точкой на «сапожке» Италии – нашу Геную с Гарибальди и Кампосанто, там голубело озеро Леман с нашими Уши, там зеленел и золотел долинами и лесами наш покинутый Шварцвальд! Там сжатыми в четырех-и шестистрочных условиях задач открывались их недомыслимые глубины, от которых с ироническим высокомерием отворачивалась, преодолев их, Маруся и в которых с наслаждением, как в загадочных картинках, купалась я – как в тех бассейнах, из которых и в которые выливалась-вливалась «одновременно» вода из труб, – и откуда я тащила, как хвост ребуса, как Кощееву смерть из яйца, проглоченного уткой, тех самых купцов с их аршинами бархата и сукна и все тайны именованных чисел и головокружительные измышления и сочетания, которыми, как огнем вулкан, дышал учебник арифметики Евтушевского с задачами по 12-15-20 действий и больше! Там Маруся раскусывала орехи дробей – и кидалась в тьму русской истории: в имена князей и царей, хронологию войн и

воцарений, во мрак Чингисханов, Баты-ев... И не там ли она забыла учебниковы тайны стихосложения, на этом ученическом столе своих тринадцати лет, чтобы в тридцать, уж давно став первоклассным из первоклассных поэтов, иметь право недоуменно сказать: «Хорей? дактиль? анапест? И еще какие-то? Ей-богу, не знаю... Писала, как слышу...»

Дожила ли до Марусиного литературного имени Варвара Алексеевна Бахтурова, так нежно любившая свою блестящую и надменную ученицу, так любимая ею?

Иногда, посланные мамой купить что-нибудь, мы, пробежав длинный путь с Дарсановской горы в город, на набережную, вылетали к морю, в его стихию, пену и блеск волн, оглушительных, грозных. И стояли, зажав покупки, чтоб не утратить их, как сон, в соленом, сверкающем грохоте, вдруг, на миг, в бреши наших занятых дней дыша – и как надышаться? нервийской свободой? Италией! Детством. С которых прошло уже три года... Всего?

Это было в марте. В конце? Не помню. Была ночь. Мы проснулись от голоса мамы, звавшего. Это был не ее голос! Мы бросились в ее комнату (дверь к ней всегда открыта). В свете свечи, видимо мамой зажженной, мы увидели ее изменившееся, полное ужаса, и все-таки самообладания, лицо, услышали слова, так часто звучавшие в последние годы – о ком-то!

– Кровохарканье, – глухим, слабым, не маминым голосом выговорила мама. В руке ее была чашка, наполовину полная – темным.

И в то время, как глаза ее, на нас глядевшие, говорили: конец... голос сказал:

– Дети, разбудите хозяйку... к Ножникову! И – лед...

Кто-то из нас бросился к Елизавете Федоровне, кто-то остался с мамой.

Я больше ничего не помню об этой ночи. Не могу ее вспоминать. Как папину ночь, когда горел Музей. Эти две ночи – были. В наши комнаты вошла, в них поселилась болезнь. Не та, что в них жила до сих пор! До сих пор маму доктора, даже Ножников, ее состоянием недовольный, отличали от других больных. С этой ночи мама вышла на дорогу, по которой шли все. Шла весна, опасная для чахоточных. В первый раз за все четыре весны мама встретила ее как тяжелобольная: кровохарканьем. Сколько пролежала мама с холодом на голове, глотая кусочки льда? Мне кажется -долго... Она гнала нас, мы старались возле нее задержаться. Бедная мама!

Насколько я помню, кровохарканье не повторилось. Но мама лежала, глотала лед. Ей в это время шел тридцать восьмой год. Каверны не было. Значит, была надежда. Но мама порой подолгу глядела на нас, занимавшихся за столом, молча, с тяжелой печалью. Не раз повторяла: «Вырастете, и я вас не увижу... Какие-то вы будете?» В другой раз с горькой улыбкой: «И подумать, что каждый прохожий сможет вас увидеть, а я не увижу!» Мы, конечно, кидались к ней, споря, переубеждая, напоминая отъезд из Москвы и выздоровление в Нерви, но она останавливала нас жестом (не подпускала к себе) и словом: «Тогда было другое...» И она более не говорила нам, что устроит нам в бывшей детской – две комнатки, не называла слово «Москва». Карие, жалостливые, добрые, более не гневные уже глаза ее казались особенно велики и ярки; на щеках – характерный для чахотки румянец. Пряди волнистых темных волос надо лбом, высоким. Горькие складки у рта. Только раз я помню гнев на ее лице в эту зиму, но, должно быть, это было до кровохарканья: она была на ногах и пылко выговаривала Марусе за самочинный уход наверх, на революционное собрание взрослых.

А весна - наступала. Менялись краски моря и неба, зацветали веточки в садах, у подножья Дарсановской горки, пахло землей, ветер нес запахи, и мы, после глыбы занятий, из комнаты, пахнувшей лекарствами, выбегали с желтым

Бобкой и серым Топкой, с красавицей Лайкой, по-собачьи нюхали воздух, узнавая весну, мгновенно одуревая от мчавшихся облаков, ветра, смеси холода и тепла, детских голосов, мячей, прыгалок, арсенала весенних дворов... И -наверх, на горку! Округлую,пустынную, где еще больше ветра и тишины и откуда видна вся Ялта с далеким краем Заречья, где осталась часть сердца. Друзья из собачьей стаи, дикой, которых мы кормили и которых, худых и огромных, ласкали, выбегали к нам неизвестно откуда, огрызаясь на Бобку и Лайку. Карбоньеровский, ожирелый, тяжелый, мышастый, с глазами навывкате и с одышкой, сюда не отваживался. По морю шли пароходы, напоминая о «Потемкине», о лейтенанте Шмидте... Горели первые звезды. Со вздохом мы шли назад.

В эти дни к маме дошли - сама ли Маруся дала их, по своему желанию или по настоянию мамы, о них услышавшей, - стихи Маруси. Вот что я из них помню:

Не смейтесь вы над юным поколеньем!

Вы не поймете никогда,

Как можно жить одним стремленьем,

Лишь жаждой воли и добра...

Вы не поймете, как пылает

Отвагой бранной грудь бойца,

Как свято отрок умирает,

Девизу верный до конца!

Так не зовите их домой

И не мешайте их стремленьям,

- Ведь каждый из бойцов - герой!

Гордитесь юным поколеньем!..

Новые друзья появились у Маруси: в нижнем этаже поселились муж и жена Фосс, с маленькой дочкой. Он был высок, худ. Она – миниатюрна, пышноволоса (шиньон, напуск), русая. Лучащиеся глаза – сама женственность. Маруся стала ходить к ним, читать им свои стихи. Фоссы были революционеры. Маруся ходила меж нас, детей, как ходит раненый зверь. Озираясь, таясь. События прошедшей зимы – Гапон и расстрел рабочих, мирно шедших к царю (с иконами! и петицией), восстание, судьба Марии Спиридоновой, казнь Шмидта – вошли в нее ранами. Закусив губы, со свойственной ей в случаях увлечения или страдания мало сказать «замкнутостью», она сторонилась всех движением затравленного. Брезгливо и гневно она подозревала всех (особенно близких – маму, меня и тех, что садились с нами

за стол, – хозяйку, Манюсь и Федюсь, даже доброе Прокофия Васильевича, самого революционного из всех в нашей квартире!) в желании вмешаться в ее мучения о героях, кумирах, в ее страсть к революции, к ее будущему. В эти часы она отдалялась от мамы, Варвары Алексеевны от всего, что еще веяло детством. Лёра была теперь нужна ей – вот кто! Лёра, ее главная, ее вечная защитница, с детства. Лёра, которая ее так любила и отличала, так ценила ее стихи и которая встала бы за нее горой! Она не побоялась бы и маме сказать, что Маруся уже – не ребенок, что ей нельзя запрещать (это Маруся – знала). Но Лёры, именно Лёры не было с нею! И Марусе надо было зализывать и эту рану. Глубоко ли входила в ее сознание мамина болезнь в эту трудную для самой Маруси пору? Думаю, острием, как и все, что врывается в сердце. Но никогда она еще не была так неровна и резка, как в ту зиму. А вокруг только и слышно, что: забастовка – расстрелы, каторга – «долой царя», «долой самодержавие», «провокаатор», «шпик», «охранка», «казнь» и «долой смертную казнь»,

и (перекрывая маминых Шопена, Шумана, Шуберта, Грига, Моцарта и Бетховена, с детства знакомый хор из «Жизни за царя») несутся звуки «Варшавянки», «Марсельезы» и по-русски:

Отречемся от старого ми-и-ра,  
Отряхнем его прах с наших ног,  
Нам не надо златого ку-ми-и-ра,  
Не-на-вистен нам царский чертог...

И жалобными, страшными, какими-то призрачными крыльями траура веет в воздухе, над солнечной Ялтой, детьми, собаками, кавернами и лекарствами, будто бы всегда хоровое, родное, непобедимое:

Вы жертвою пали в борьбе ро-ко-вой  
Любви без-завет-ной к наро-о-о-ду...  
Горло в ком: похоронный марш.

## **ГЛАВА 6. ЯЛТИНСКАЯ ВЕСНА 1906 ГОДА. ЭКЗАМЕНЫ. МАССАНДРА. ПРИЕЗД ТЕТИ. ПРОЩАНИЯ. ОТЪЕЗД**

Экзамены медленно приближались. Варвара Алексеевна познакомила нас с начальницей - полной, строгой и приветливой дамой. Но страницы немецких глагольных групп, двенадцати, кажется, которые мы, бродя по саду у Дарсановской горки, учим наизусть, - тяжки. Одолеваем и их. После них - так чудно прыгать, гоняя камушек по земле из квадрата в квадрат, и ссориться в игре с Асей Таргонской или Ниной Боровко. Но Макс бежит, он чуть не попал камнем в д-ра Ножникова - стесняется. И вот я несусь по саду, таща его на плечах: я - конь, он - всадник. А Катя стыдит Макса: «Асе же тяжело...»

А как чудно, найдя воплощение мечты в журнале «Труд и забава», воплощать ее шаг за шагом! Калейдоскоп! Бросить все - скакалку, серсо, мяч, игру в камешки и, наскоро поцеловав Бобку, резать, обмеривать диаметр стекла (резать его в воде - ножницами - два круга!), клеить призму из (мама позволила, заплатила, стекольщик нарезал) трех стеклянных полосок - на черной бумаге, подложенной, они - как бледное зеркало! И - главный труд: бить, в тряпке молотком, горстку разноцветных стеклышек, долго заботливо собираемых... Синие, желтые, зеленые, одно - красное... И когда все кончено - вечера отречений от игр и детей, - прильнув глазом к еще не оклеенной трубке, глотать жадное волшебство многоконечной звезды, лучащей, брызжущей в стороны

руки и ноги, звездами, струйками, коронами и венками, пестрым ворохом друг в друга падающих цветных снежинок, гномьих сокровищ! И - передавать бережно трубку маме, с любовью ее берущей, не могущей на меня наглядеться, как я на те звездочки, улыбающейся нежностью и печалью в мое счастье, кричащее ей:

- Мам, мам, не поворачивай, смотри так: так держи: ожерелье! Зеленое и лиловое! А то красное стеклышко -отразилось везде, и везде - как твой рубин, на коронах зеленых...

- Прекрасно, Ася... Очень красиво! Непременно тебя отдадим в Строгановское... (Мама сказала: отдадим -значит, она не умрет!)

Вставала ли мама играть после кровохарканья? Музыка! Мамина жизнь! Они уходили - вместе? Понимали ли мы это на четырнадцатом и двенадцатом годах жизни? Ухудшения на было - это утешало. И была самая жаркая наша пора: повторение всех предметов - к экзаменам. Это был чад работы и радости - мы сдали первый на «пять», второй - на «пять»... Стояла изумительная весна! На нежную жару дня падали поздние теплые сумерки, окунаясь в прозачно синюю

‘!’•Ч

ночь. Мы видели только первые звезды; когда над Ялтой опрокидывалось звездное небо - мы уже спали: надо было рано вставать, повторять, повторять...

Мамина болезнь и экзамены почти прекратили Марусины уроки музыки, и это было добавочное мамино горе.

Ялта - в цветущих садах - была вся как огромный сад. Уже начиналась летняя жара. Цвет моря был совсем другой, чем зимой, оно напоминало Италию, хотя Средиземное было зеленой. Мы ждали папу, он писал часто и собирался к нам -за нами, везти нас в Тарусу. Таруса Марусе и мне представлялась еще нереальной. Мы еще не чувствовали отъезда. Экзамены брали силы



и время, остальное шло на вечера с мамой, на бег. Мы всегда бежали, в аптеку за мамиными лекарствами, к доктору Ножникову. Знакомый путь, вниз, с горы, мимо дворца эмира Бухарского, женской гимназии, теперь уже не страшной, а своей, где мы одну за другой одерживали победы, где нас хвалили и знали... «Страшный зверь» все так же лает на нас (на нас, глупый!), м шум моря все ближе и ближе... Ступени, шелестя, жарким ритмом отбрасывают пространство, какая радость в беге!

Наконец последний экзамен сдан! Даже не верится, что кончены часы с задачами по пятнадцать-двадцать действий, сладкое головокружение в царстве бассейнов, купцов, аршин, золотников, поездов, пароходов, смолкли меры веса, объема, Марусины, ей ненавистные, дробы (для меня лишь слово), этимология и синтаксис. Борнео, Ява, Целебес, мысы, проливы! На миг остановилась жизнь, замерла. Столько жданный день круглых пятерок, похвал, маминой радости, поздравлений вдруг оказывается совсем другим, чем мы думали. В нем совсем другие пружины, неожиданные, незнакомые, поднимают нас в какой-то взрыв грусти... Кончилось! Победили, и - пустота. Жаркий крымский день кажется нам чужим, лишенным ежечасного труда, смены предметов, мечты о получасе отдыха. Или мы чужие стали тут? И потому уезжаем? Холодок удивления и отчужденности летит на миг -надо всем, что еще вчера было наше. Уж по-иному бежим мы по саду...

Кто предложил? Варвара Алексеевна! Поехать с нами в Массандру. Их было две: Нижняя и Верхняя. Нижняя у моря? Моря в этой поездке не помню. Я помню пышность деревьев, одуряющую силу лесных, раскаленных запахов, - мы позабыли Россию. Блаженство жары! Что так пахнет? Травы? Цветы! Их дыханье растворено в горячем недвижимом воздухе, как

их вкус растворен в меду. Не воздух звенит! Несчетными голосами, невидимым струнным звуком, это звенит тишина. Мы пробрались через траву, густую, высокую, оглянувшись, ахнув, упали, примяв, обняв, задыхаясь, дыша ею... Мы в детство упали свое, давно срезанное косою отъезда, - где мы? В «старом саду» тарусском? - Массандра? Может быть -это рай?

Три человека в траве по плечи, в ее шелково колыхнувшемся леску, над которым подымается лес ветвей, безветренные ветви деревьев, зеленые кусты кустов. Солнце полдня купает нас в синем зеркале, и глаза вдруг не могут смотреть, мы зажмуренно замираем в зеркальном блеске, это мы растворились в его звоне и запахе, это нас уже нет - он есть, он был тот же с дней детства в «старом саду» тарусском, это мы забыли его... Две девочки, большая и маленькая, прижались к горбатой женщине, прислушиваясь, глотая, нюхая, как обожаемые ими кошки и псы, счастье вновь обретенного детства, которое они мнили - прошедшим. В нем стрекозы звенят, задевая парящим маревом щеки и губы; звон полета пчелы вкраплен в жар воздуха, реющего как мираж... Годы забвенья!.. Итальянские скалы, взрывы средиземных волн, гладь Леманского озера с парусами лодок, шварцвальдские сосны и ели - и снова черноморские волны, ветер на выжженной Дарсановской горе. А оно терпеливо ждало, царство родных запахов, раскаленных в солнце ветвей, оно дышало без нас, для нас, оно звало нас тарусским неслышным криком пароходным меж лугов над Окой... Как пахнет жара! Хватаем гущину травы руками, еле веря, что она - есть, мы забыли траву! Забыли стрекоз! Папоротники! Бузину, мяту, ромашку... Мы - молчим? Мы говорим несвязно? Счастливое лицо горбуни смеется во всю ширь блаженства, длинные руки прижали к убогим плечам наши две головы. Никого

вокруг нас. Мы заколдовали Массандру... Мы одни у детства в гостях!

Живя с мамой все время, мы не замечаем в ней перемены, которую, приехав, увидел папа. Ободряя ее, не показывая тревоги, уверяя ее, что она поправляется и что лето в Тарусе, на старой даче, принесет ей добро, он, однако, решил, что

для переезда надо вызвать Тетю, и вскоре пришел ответ что Тетя с радостью собирается к нам.

На дом приехал юрист. Мама составляла завещание, нас отозвали, двери в комнату были заперты, кого-то впускали -свидетелями... Папа, расстроенный, старался не показать волнения. Мы, впервые слыша слово «завещание», почуяли в нем опасность маме. Шепот... Сердце сжато страхом, тоской...

Тетя приехала не одна - с компаньонкой, тарусской вдовой, пожилой Верой Никитичной. В путь нас собралось шесть человек и котенок. Везти маму пароходом было нельзя. Решено было ехать лошадьми до Севастополя, - кажется, семьдесят верст. Мама вспоминала, как они всей семьей ездили в Крым в ее юности, - и какой неописуемо прекрасный вид из Байдарских ворот, только тогда они ехали в обратном направлении - из Севастополя в Ялту, и из этих ворот, после скучного пути, вдруг открывалась волшебная панорама. Теперь мы поедем по панораме, она кончится у Байдар. Тетя была все та же, чуть серей волосы! Те же черепаховые дедушкины очки, те же пышные платья на полном маленьком теле, те же крепкие, толстые руки, которыми она нас обнимала, тот же душный, с «прпрпр», шутливый поцелуй в шею и те же патетические французские восклицания удивления тому, как мы выросли, изменились. Прочным бытом, волей к уютной, благовоспитанной жизни веяло от нее. Сердце Маруси ныло от близкой разлуки с миром тех людей, которых она коснулась так близко у Никоновых и

Пешковых. Она не говорила мне об этом. Но светлы и пусты тоскующей пустотой были ее глаза, когда из-под говора Тети вдруг, слабо, издалека, раздавалось (кто пел?): «По пыльной дороге телега несе-е-ется, в ней два жандар-ма си-дят... Сбейте око-вы, дайте мне во-о-ли...»

Последние дни! Уезжаем из Ялты! Больше не увидим Дарсановскую нашу гору! Этой полосы, синей, под облаками, за башней дворца эмира Бухарского, – не будет! Лайку оставляем! Бобка лежит, не знает, что нас завтра не будет! Мы забываем, что едем домой, в Тарусу, все будущее сейчас -враждебно. Жизнь кончается – здесь.

Мы прощаемся и прощаемся с Варварой Алексеевной, и снова мы у нее или она у нас, и никак нельзя поверить, что мы больше ее не увидим!

Мы взбегаем наверх по никоновской, теперь пешковской (Лайкиной) лестнице (тут мы смотрели на звезды и в один голос говорили (сколько раз!): «Знаете ли вы крымскую ночь? Нет вы не знаете крымской ночи») проститься к Екатерине Павловне. Прелестная, молодая – и такая всегда серьезная!

И в этой серьезности – такая застенчивая, в полуулыбке, женственной, не по-женски твердого, горького в выражении сдержанности в решимости рта. Мы протягиваем ей два альбома, наши, нервийские. Марусин – кожаный, мой -плюшевый, темно-красные. Застенчиво, в один голос: «Напишите нам на память что-нибудь». И жена маминого любимого современного писателя пишет нам, почти двенадцати- и четырнадцатилетним, слова, живущие в моей памяти до сих пор: «В борьбе обретешь ты право свое! – Марусе Цветаевой – Е.Пешкова». «Лишь тот достоин жизни, кто ежедневно ее завоевывает! – Асе Цветаевой – Е.Пешкова».

Мы летим вниз по лестнице. Максик и Катя! Такие родные нам, такие разные. Уклоняющиеся в недетский

час прощанья мальчшеские глаза Макса. Прямо глядящие, не по-детски серьезные глаза Кати.

Нина и Наташа Боровко, Ася Таргонская, даже гордячка Ася Розанова – все во дворе. Говорить неловко. (Маринино шестнадцать лет спустя: «Отъезд, как ни кинь, – смерть...»)

Как мчатся над нашей горкой облака!..

Все! Лошади поданы. Мы стоим на дороге перед дачей Елпатьевского, над дачей Карбоньер. Все вышли провожать.

В последний раз мы видим лица хозяйки, Манюсь и Федюсь, Зиновия Грациановича, Прокофия Васильевича, их веселой соседки, обеих сестер Карбоньер, всех девочек, Варвары Алексеевны. Она улыбается своей глубокой – чуть горечи в ней – улыбкой.

– Шестнадцать ног у лошадей! – раздается вдруг голос сосредоточенно считавшего Максима.

Успевают ли кто-нибудь засмеяться? Папа ведет маму под руку. Как всегда, его лицо – ободряюще добро. Мама старается идти. Старается улыбаться знакомым. Прямо держится, из всех сил! Она, как и мы, видит в последний раз эту черту моря... У коляски! Папа помогает маме войти.

Путь? Сказочная красота пейзажа под слепящим солнцем июньского дня. Волшебство разлива гор, далей, долин, цветения... Это то, что мама увидела в молодости, выехав

из Байдарских ворот. Сейчас мы едем – по волшебной панораме. Она закроется скоро о ворота Байдарские. (Тогда она маме из Байдарских ворот – открылась!) Теперь она с нами, на тридцать восьмом году жизни, совершает обратный путь.

## ГЛАВА 7. ДОМА!

Я не помню городов, мимо которых мы ехали, в двух- или трехдневном пути, - помню одно, как мы подъезжаем на лошадях к Тарусе! От когда-то Ивановской, теперь Тарусской станции - до Тарусы семнадцать верст. Взволнованная близостью родных, сердцу любимых мест, мама сидит в тарантасе, как будто! не ее мы везем больную, - радостная! Волнение придает ей силы. Она улыбается нам какой-то восхищенной улыбкой. На ее бледном, устаюм от трудного ей пути лице карие глаза блестят неопишным блеском, Кончен долгий путь ожиданий, надежд... Призраки этих лет, мест, встреч кончаются об этот жаркий июньский час, об эту бегущую, шелестящую зелень, роши орешников, о песчаные овраги, ветви дубов, о серебряный трепет осин... Те же деревни. Точно не было этих лет! Так же пылит большак, перерезанный кудрявым узором теневых веток, так же бегут с лаем собаки, так же, застась рукой, смотрят вслед бабы, загорелые, как земля, и желтоголовые ребятишки, спугнутые лошадьми, бегут прочь. Мы глотаем это всей жадностью глаз и сердца, узнающего, тянущегося к вновь увиденному своему, и глядим на маму, в которой отражается наш восторг. Мы не верим, что это мы! Мы так ехали столько лет назад, в то последнее русское лето с Киской, когда еще здорова была мама, когда еще ничего не было, что пришло потом...

Привал... Нам несут молока, -те же рыжие крынки! Черный теплый хлеб разламывается, как лепешка. Пахнет дымом, жильем. Присмирившие собаки, отогнанные, ушли, ворча; широким шатром лежит на дороге тень от дома, слившаяся с тенью березы.

И вот уже и это – сон, и снова дребезжат бубенцы, возвещая полям, что мы едем, – и уже близятся очертания другой деревни.

Прудок, утки, купы деревьев, крутой спуск дороги, осыпающаяся колея, скрежет наклонившихся колес – минутный страх – вынесло! Снова рысцой бегут лошади... Бубенцы, поля, бубенцы...

– Едем, едем! – заличато звенели они, все ближе к заветным местам, и дух захватывало от краешка далекого поворота, за которым откроется – вот сейчас, вот сейчас – знакомый ландшафт! Тетя, глядя на нас, плакала. Глаза впивались. Голос пресекался. Ноги рвались бежать, перегнать коренника, пристяжную, сердце билось, как птица, где-то под горлом... Мама улыбается. В ее улыбке и жалобное и удалое. Колеса тяжело въезжают в светлый речной песок. Потянулись речные кусты, повеяло сыростью. Горы кончились. Она с нами, невидимая еще, но уже все полнящая, и когда мы уже нацело забыли леса и холмы, предали их и безраздельно предали ей – когда от внезапной прохлады, от водного ветра, рвущего за уши, волосы, шляпы с голов, лицо опьяненно плывет, е й навстречу – тогда, всегда вдруг (о, чудное слово!), как ни жди, как ни дыши, как ни нюхай, – вдруг взблескивало вдали узкой, узчайшей полоской, непомерным меж землей и воздухом блеском, и он начинал расплескиваться – и там, за кустами, и там... и дикими от упоения голосами мы закричали: «Ока, Ока!»

И тогда – впереди, за ней, над ней, другим уж – калужским берегом появились очертания Тарусы, домики и сады и две церкви, вырезанные резцом на небе; справа – низко, прямо над рекой – собор; круто наверху, на холме, слева – Воскресенская церковь. И, как годы назад, начался было разговор о том, как надо ехать: «низом» (холмами, над Окой, влево) или «верхом» (вправо, через Соборную площадь, вверх по

отлогой горе и полями), – но тотчас же потух, потому что ясно, что с заездом – хоть на минутку, к Добротворским! И лошади, проехав по мосту и площадь, взяли вверх, в гору.

Наверху главной Калужской улицы ямщики останавливают лошадей: дом Добротворских! Серый, с резными балконами, с мезонином, с купами лип... Сердце и ширится и сжимается сразу! Круглолицая, краснощекая, голубоглазая, только чуть седей, Елена Александровна встречает нас широчайшей, добрейшей, приветливейшей улыбкой. (Она, и дочь ее Люда, и служанка Катя вышли к нам – мама из коляски не выйдет, ее надо скорей везти домой). Объятыя, поцелуи, удивленья над тем, как мы выросли... Уютное

Катино лицо (чуть резче тени морщин), она не постарела ничуть! Зато Люда, на полголовы выше, глядит уж совсем взрослой, рыжая коса заложена на затылке, и немного девичьей насмешливости лукавится в уголках зеленоватых глаз. Уже прощаемся, папа торопит доехать до вечерней свежести. Иван Зиновьевич – у больного.

«Андрюша с Лёрочкой ждут», – говорит, отступая от тарантасов, Елена Александровна. «Трогай!» – кричит папа, и лошади взмахом копыт, залившимся бубенцовым громом, выносят нас на тенистый березовый большак мимо разбросанных по холмам рош. Реже домики – и уже опять листва позади, снова – поле, последнее на сегодня и совсем, навсегда – наше поле! Почти четыре года скитаний въезжают с нами знакомым до боли глаз поворотом к оврагу, к въезду на нашу, детскую, «большую дорогу», по которой им, ждущим, уже слышны наши топот и бубенцы.

Мы не отрываем глаз от маминых. Они сияют! Она приподнялась и глядит на ветви и колеи, на прошедшие тут годы. Сердца наши бьются, в их беспорядочном ритме шелестят и качаются ветки, звенят колокольцы, –



и все шире – волшебней – еще шире, еще волшебней! – раскрывается знакомая панорама сомкнувшейся – густо, размыкаются реже – выросшие без нас березы «большой дороги», и топот коней, из рыси перешедших в галоп, несет нас вперед – чуть снижается путь – к разлету стволов и ветвей направо «старого сада» с темной высью дремучей ели, налево – широко – распахнутых нам навстречу все тех же, серых, старых, решетчатых ворот перед заросшим двором дачи...

Над вниз сходящей к Оке дорогой, мимо кустов бузины (пахнет ею, и самоварным дымком, и сиренью... сумасшедшая гущина запахов), и мы въезжаем в нее бегом коней, тряской дребезжащих тарантасов, пляской ошалевших в быстроте бубенцов, непомерным счастьем приезда!

А навстречу нам уже кто-то бежит, крики и голоса, жар распахнутых в солнце окон, окунутых в лиловую гущу сирени, в зеленый холодок еще не цветущих жасминов, по которым лежит тень.

Лошади круто берут влево, тарантасы въезжают во двор – и мы среди них, озирающиеся, дышащие, стесняющиеся и рвущиеся, и к маме прижавшиеся, слившиеся с нею в одно. А на крыльце – в светлой кофточке Лёра. Больше трех лет

не видалась!.. Папа помогает маме выйти из тарантаса. Из дверей сеней выходит худощавый юноша в парусиновой рубашке, узколицый, смуглый, с волнистыми темными волосами.

– Андрюша!.. – (и в ее голосе – слезы?) говорит мама. – Господи! Тебя не узнать...

Андрюша смущенно подходит к нам. Это Андрюша! Смотрим и не верим глазам. А уж Лёра тормозит нас, смеется, что-то говорит маме, и – как потом мы с Марусей сознаемся друг другу – у нее голос совсем неожиданный, и ее и не ее, и как мы в один голос решаем: «как будто из-под земли!»

Мама вошла в дом сама, устранившись от помощи, высокая, в своей дорожной длинной тальме, и в ее походке, во всей ее стати этого входа в нашу старую дачу в этот час не было, казалось, ни тени болезни. Она прошла в свою новую, – направо от сеней, окнами в жасмин, – комнату, перестроенную для нее из двух маленьких комнаток пристройки, где когда-то гостили у нас Надя и Сережа Иловайские, теперь оба умершие от чахотки. Вспомнила ли мама в той комнате о них, двадцатилетних? Умылась, переоделась и вышла к вечернему столу, как в былые годы, – казалось, без усилия, одна.

Как будто не было этих лет, мы все сидим за столом среди веток сирени, окунутых в кувшины: косые лучи солнца, как встарь, зажигают синие каемки тарелок и чашек, желтую медь самовара. Прислуга носит кушанья, рыжие крынки молока, и янтарный огонек горит в вазочке яблочного варенья. Шум, говор, вопросы и ответы – вперемежку, рассказы обо всем сразу, и блаженство быть дома, в воплотившемся сне, превосходит всю страсть ожидания! Папа, Лёра, Тетя, Андрюша, мама. Мы! Все!

Но недолго сидит за столом мама. Она встает и подходит к роялю! «Расстроен немного», – говорит она, в то время как большие белые пальцы ее пробегают арпеджио по клавишам.

– Пригласим настройщика, Маня, – говорит папа, радостно глядя, как она садится за рояль, слыша, как из-под рук ее несутся звуки давно не слыханной силы. Ведь она давно не играла! С начала ухудшенья, с зими...

Тетя беспокоится, она хочет шепнуть, что «Мане играть -вредно...» – но не смеет спугнуть этот вихрь бодрости, сегодня поднявший маму. И, вместо просьбы поберечь себя, она, сама для себя неожиданно, просит

маму сыграть ту самую вещь которую она играла в юности, – «помнишь?». О, мама помнит!

Она играет, улыбаясь Тете, и ту, и еще другую, и еще и еще...

Завороженные, сидим мы на старом диване (красный с синим узор ромбиками, от него пахнет детством) и слушаем мамины любимые вещи, знакомые с младенчества, для нас безымянные, так давно мамой не игранные. А мама открывает тетрадь нот, прижимая пальцами страницы, и улыбается Лёре, начинает петь, и Лёра подходит к роялю, и они поют в два голоса, как пели до Италии, до всего... О, как сладко слушать эту знакомую песнь, годы дремавшую, видеть блеск маминых глаз, – болезни н е т, ее этот вечер сжег! В иве, в тополях за окнами, пропавших в синеве ночи, щелкают птицы, запах сирени входит – прохладой. И нет уже ни позднего часа, ни взрослых, ни детей, ни будущего, ни прошлого, ни нас... Ничего в мире нет, кроме песен!

## ГЛАВА 8. СМЕРТЬ МАМЫ

Этот вечер был - единственный. Здоровья мамы хватило на одно торжество приезда. Нет, не то. Никакого здоровья не было - но торжество свидания с родным домом, родными деревьями и полями дало ей силы на этот вечер. Но не только это! Она гордо вошла в дом такой, как его почти четыре года назад покинула: сама, без помощи, не снизойдя принять болезнь во внимание. Отстранила ее - и вошла. Смотрела в сад, на орешники, елки, тополя, старую иву, на просвет Оки \ за распутившимися березами, на заокскую даль, где прошла ее молодость, наше детство. Она дышала сиренью, запахами летнего вечера. Может быть, услышала песню косцов с луга?! Эрнста ли Поссарта и его хор, в котором полтора года назад еще пела, она вспомнила, когда подошла к роялю, когда взглядом попросила, позвала вместе спеть Лёру? Она не пела с того вечера, с того фатального представления во Фрейбурге, на обратном пути с которого ехав, она в ненастный день простудилась и начался ее рецидив. В час торжества, торжества ее голоса, замеченного Поссартом, занавес пал не только на подмостки театра в финале сыгранной пьесы - занавес пал и на ее жизнь...

Я не знаю, сразу ли слегла мама после приезда в Тарусу, выходила ли еще к столу, вышла ли во двор, в сад и в «старый сад», прошла ли хоть раз, опершись о руку папы, по «большой дороге» или по дороге к «пенькам»? Думаю, нет. Думаю - я бы помнила. Я вижу ее только в ее новой комнате с двумя низкими окнами в жасминные кусты. На постели. Постель стояла справа от двери, вдоль стены. В комнату солнце проникало через верхние жасминные ветки. И была зеленая полумгла. Наутро после приезда я вошла в нашу кухню.

Там были Андрюша и сторожев Миша. «Ты умеешь вырезать свистульки?» – спросила я брата. Он поглядел на меня, в его взгляде боролись угрюмость, застенчивость. Ему стало меня жаль. «Ну умею, – сказал он, – тебе вырезать?» Я хотела сказать, что я умею, -делюсь с ним этой радостью, но что у меня есть мечта о другом – сделать нечто вроде ряда длинных трубок, как я видела в органе и на картинах в музеях, – но было ясно, что Андрюша торопится. И так было странно глядеть в лицо этого малознакомого юноши, выросшего из товарища нашего детства, знакомиться с ним, понимать, что ему неловко со мной и что он меня совсем не знает, – я уж слышала его: «Ладно, сделаю...» Он уже уходил. Он еще бросил на меня неуловимо изучающий, бегло и застенчиво жалеющий взгляд – и уже они шли, Андрюша и Миша, а я смотрела им вслед.

Зато как ласково, просто, по-родному, и восхищенно глядела на Андрюшу мама, как любовалась им! Он присаживался на край ее кровати, улыбаясь смущенно, а она говорила ему: «Ты похож на неаполитанского юношу! И эта широкополая шляпа очень идет тебе! Я очень рада, что ты учишься играть на гитаре. А на мандолине ты очень недурно играешь – я вчера слышала...»

Прошло несколько дней, быстрых для нас, долгих дней болезни для мамы. И я услышала, как она сказала своему Андрюше, которого пятнадцать лет назад приняла после его умершей матери, годовалым, когда и нас еще не было: «Я тебе оставлю мою гитару...» Она не сказала «подарю», – «оставлю»! О, мы понимали, о чем она! Маруся была тут же. И в быстром переглядывании нашем по обеим прошел озноб.

Иван Зиновьевич часто навещал маму. Он говорил бодрые слова, но глядел озабоченно. Папа почти не отходил от мамы. Лёра часто заходила к ней.

Вскоре после нашего приезда в Тарусу туда дошла весть что больна скарлатиной дочка Екатерины Павловны и Горького Катюша Пешкова, провожавшая нас вместе с братом Максом в Ялте до экипажей. Разговор о ней я помню у постели мамы. Лицо мамы было жалобное, печальное. Она хоть мало знала, но помнила Катю, слышала о том, какая это замечательная, умная и хорошая девочка с большими музыкальными способностями. Бедная Екатерина Павловна, что теперь с ней?

Тетя настаивала на том, чтобы маму поселить не на даче, далеко от доктора и аптеки, а у нее в доме, в Тарусе, под ее крыло. Но мама, уклоняясь ли от чрезмерной заботливости Тети, или не желая обременять уже старую Тетю своей болезнью, не согласилась.

Шла вторая половина июня. Уже цвел жасмин. Тяжелые лиловые гроздья сирени в кринках и кувшинах сменила легкая зелень жасминных веток, осыпанных серебристыми ароматными звездами.

Утрами Маруся и я играли на рояле. Звукам Марусиной игры мама радовалась. Когда же я изнывала над гаммами, Ганоном и маленькими этюдами – из маминой комнаты через две открытые двери часто доносилось среди кашля: «Правая врет! Левая врет!» В жару было так трудно преодолеть лень...

К нам стала раза два-три в неделю, по маминому желанию, приходиться рекомендованная для этой цели портниха – учить нас шить, и мы, сидя на верхнем нашем детском балконе, старались усвоить типы швов – «вперед иголку», «вперед и назад» и «машинный шов» (для крепости), который нашим близоруким очкастым глазам представал верхом мученья. Шили мы- какие-то мешочки и рубашки и от медленности нашего шитья и жары их цвет становился сомнительным. Помню вздох, с которым Маруся – в первый ли раз? или в который-то?

- в задумчивости взяв в руки иглу, взглянула беспомощно, с отчаянием на портниху-учи-тельницу. Вдела, вставила кончик иголки. А теперь -куда? влево? Зеленые близорукие глаза ее смотрели с подозрением на два сложенных белых края материи, по которым должен был пойти шов. Ей было одинаково неудобно шить вправо или влево. Велено было - влево, и ее игла медленно поползла вперед.

Шли и гудели по Оке пароходы, на грядках перед стеной малинных зарослей подымалась овощная зелень, лето и жизнь шли своим чередом, а Иван Зиновьевич все чаще приходил к маме, приезжал из Москвы другой доктор, и они советовались друг с другом. Затем грянули слова «Воспаление легкого». К маминой болезни - чахотке - еще это! Решено было выписать из Москвы сестру милосердия. Мама задышалась от кашля, задышалась от жары, просила настезь держать окна и дверь. В комнате пахло жасмином и лекарствами. Мы заходили к маме часто, но ненадолго. Мама отсылала нас на воздух. К нашей кухарке приехала взрослая дочь, высокая девушка. Думается, ее звали Женя. Им, а может быть, еще и другим, мама раздавала свои немногочисленные платья. Маруся, присев возле мамы, спросила:

- Мама, ты раздашь все платья, - в каком же ты поедешь в Москву?

- Оденут какое-нибудь... белое! - отвечала мама.

Так, несколько раз, немногими словами, она говорила о том, что скоро умрет. Но мы жили с ней почти четыре года ее болезни, и тяжелое состояние ее мы видели не в первый раз. И никто не знает будущего. И пока человек болеет, заботы дня - о его жизни. Так было и в нашем доме в те дни.

В уголке двора, между сараем и плетнем, я развела себе игрушечный садик, натаскав земли, сооружала крошечные горки, втыкала в них ветки - это были сады

и рожи. Увлеченно, как вырезаньем свистулек из свежих, сочных веток в первую неделю, занималась я теперь этим, забывая даже бежать к сестре Миши Лёнке. Так несколько дней я была ближе к маме, чаще забегала к ней.

– Когда Ася входит, мне кажется, солнышко входит с ней! – сказала мама с улыбкой. Маруся радовала ее, конечно, не меньше, но вид Маруси был уже взрослый (ей осенью исполнялось четырнадцать лет), я же, еще ребенок, по-детски оживляла ее. Но однажды моя беседа с мамой кончилась неудачно. После ухода докторов я вбежала в мамину комнату.

– Мам, ну что они сказали? Мама, что? – повторяла я с нетерпением.

Как-то однозвучно, серьезно ответила мама:

– Воспаление второго легкого!

– И больше ничего? – сказала я (желая сказать: а больше ничего не сказали?).

– Ну, с меня и этого довольно... – с горечью ответила мама.

Мне стало стыдно за свою глупость, но как было поправить ее? Глупые слова были сказаны. Я все же попыталась пояснить, что я хотела сказать.

Помню мамины слова в Тарусе: «Мне жаль музыки и солнца!» И как не раз уже: «Все увидят, какие вы будете, а я – не увижу...» И наше «Ну, что ты, мама...» падало теперь – хоть с таким же жаром сказанное\* в какую-то напряженную тишину.

Тетя бывала теперь ежедневно. Ночами дежурила сестра милосердия. Приближался июль. «Дедушка скончался в июле, – сказала мама, – и я тоже в июле умру...»

Мы слушали, возражали, не верили, – как можно поверить в никогда не виденную смерть? В смерть человека – самого близкого, с которым связан, как с воздухом, без которого не было жизни ни одного дня?



Но, оглядываясь на маму, я теперь дивлюсь ее неженскому мужеству. Как мало она сказала о своем горе расставания с жизнью! Я не видела в ее глазах слез. Только печаль и горечь. И физическое страдание: она задыхалась. Уже не один день она сидела поперек кровати, облокотясь о стену, и все просила, чтобы был сквозняк – дышать. Ей говорили, что нельзя, что ей станет хуже. Она качала головой: «Откройте! Я хочу дышать. Так легче». Она почти не спала. Все понимали, что она, знающая медицину, понимает свое положение. Болезнь не уступала. Как мама одолела ее в тот первый вечер приезда, так теперь болезнь беспощадно одолевала маму, и она только отмечала фазы своей болезни, мужественно, со стойкой горечью называла их.

Настал июль, шли его первые дни. Мама перестала спать. Ей не хватало воздуха. Она дышала с трудом. Она не спала уже трое или четверо суток. Она все сидела поперек кровати, когда бы мы ни входили, и немного, казалось, мимо нее -она была чуть в глубине от его струи – шел сквозняк. Он доходил и до нее, но ей и в нем было душно. Она была очень бледна. Темные волосы высоко надо лбом привычно волнистыми прядями. Одежда на было – простыня. Очень блестели глаза! Такой я помню ее в тот день 4 июля, котором Андрюша, по-мальчишески еще, сказал (может быть, сам не веря слову «смерть»?): «А вдруг мама умрет на мои именины?» Но мама жила. Она позвала нас обеих прощаться. Мы пришли. Мамин взгляд встретил нас у самой двери. Кто-то сказал: «Подойдите...» Мы подошли. Сначала Марусе, потом мне мама положила руку на голову. Папа, стоя в ногах кровати, плакал навзрыд. Его лицо было смято. Обернувшись к нему, мама попыталась его успокоить. Затем нам: «Живите по правде, дети! – сказала она. – По правде живите...»

Выражение ее голоса звучит во мне до сих пор. И Папины сдерживаемые рыдания.

- Ну, а теперь идите гуляйте, - сказала нам мама, погладив наши головы, - ведь нехорошо здесь...

Подавленные, молча, еле понимая, мы вышли. Почему не бросились мы к ней обняться, еще услышать, еще увидеть ее? Где был Андрюша, ее первый питомец?

Был жаркий день. Приходил и ушел Иван Зиновьевич Добротворский. Маме давали бульон. Для поднятия сил - шампанское, - его, кажется, привезла Тетя. Мама понимала: попытки продлить жизнь. Она сказала что-то имевшее смысл: уже? Я не помню вечера этого дня, как не помню и сестру милосердия - ни имени, ни лица. Знаю, что мы купались в Оке, на обычном месте под дачей, с Лёрой, где купались с мамой все детство. Берег был песчаный, песок очень тонкий и светлый, почти серебряный, пахучие речные лопухи с белой подкладкой, как у серебристых тополей. Самый край берега у воды был темней - от тихой, мелкой набегавшей волны, и в этом потемневшем песке торчали длинные блестящие яйцевидных перламутровых раковин, двустворчатых, или их - горбиком - спинка, зеленоватая, как тина. По ту сторону Оки были кусты, отражавшиеся в речном зеркале, и луга. На этот берег шла, за нешироким лужком, дорога, огибая наш крутой холм, поросший березами, - целая роща. Наверху холма, видная меж берез только в одном просвете, была наша давняя, детская, так долго желанная,жданная дача, в которой теперь лежала, задыхалась, мама. Оттого ли мы не шли к ней, что знали - не пустят? Или мы боялись ей мешать? Пережидали и этот, как были уже, приступ болезни? Мама ведь всегда их побеждала! Мама же хотела звать нас прощаться еще в Москве, в начале болезни...

Когда мама в этот день - 4 июля 1906 года - позвала нас проститься, было около четырех часов дня.

Следующий день - 5 июля - был так же синь и жарок. Была пора молодых лесных орехов, их было

много. После обеда Лёра позвала Марусю и меня – пойти рвать их. Мы пошли по «большой дороге», к оврагу. Там, остановясь на опушке нашего леса, мы вынимали их коричневатые, светлые еще шарики из тугих, толстых (кислых, если пробовать зубом) светло-зеленых ореховых гнезд. Мы отгибали ветки с шершавыми, круглыми, формой похожими на липовые, листьями и медленно углублялись в лес по краю оврага. О чем говорили – не помню. Вдруг мы увидели мелькавшую за ветками, шедшую по дороге дочь кухарки Женю. Она явно искала нас. Увидев, она окликнула Лёру. Лёра отошла от нас, пошла навстречу. Женя что-то говорила ей, мы не слышали. Лёра сделала Жене знак идти домой и вернулась к нам. Мы смотрели, как Лёра подходит. Она положила нам руки на плечи, левую – Марусе, мне – правую, «Умерла мама! – сказала она тихо. – Пойдемте домой».

Ни Маруся, ни я ничего не ответили. Молча повернули мы с Лёрой назад. Оглушила ли нас весть, подобной которой мы никогда не знали? Только помню – и помню-то глухо -какую-то тишину, с нами шедшую. Незнакомо шли шаги по заросшим колеям (по ним три недели назад скакали лошади, звеня бубенцами, везя нас, счастливых и радостных, подъезжавших. Как сияло у мамы лицо!). Но ни тени воспоминания об этом не было в тот час. Мы медленно шли. Молча. Ведь никаких слов не было. Может быть, понимали: Лёра нарочно, зная, увела нас из дому? Шаги шли навстречу пустоте.

В той комнате, где сутки назад мама, сидя поперек белой постели, встретила нас взглядом, и ее глаза мучились и горели, она утешала папу, сказала нам прощальные слова о правде и подержала руку на Марусиной и моей голове, -лежало, чуть на боку, покрытое тело, и желтое, неподвижное лицо, с чертами, напоминавшими мамины, было подвязано чем-то белым под подбородком. Глаза были закрыты, лицо -незнакомо

худое – было страшно, не хотелось глядеть на него, а – отвести глаза. Мамы в комнате не было. Это была не мама, и к этому не было никаких путей. Мы молча одна за другой поцеловали желтый лоб, так нам сказали, и послушно кому-то, кто говорил, вышли из комнаты.

В доме почему-то было много людей. Все говорили шепотом. Мама скончалась тихо, уснула и не проснулась. С

ней не было никого – ушли, чтобы дать ей поспать. Сестра милосердия дала ей выпить, не помню, шампанского или бульону. Она отпила. Сказав: «Пролила», вытерла или дала себя обтереть, легла на бок. Уснула. Было около четырех часов дня.

В то утро или днем она сказала: «Это начинается агония». Папа? или Тетя? предложили ей причаститься. Она отклонила. Не хотела того, чего не знала, что считала – обрядом.

Плакали папа, Тетя. Жалея папу и нас, плакала Елена Александровна. Я больше ничего не помню об этом дне.

## ГЛАВА 9. ПОСЛЕ МАМЫ

Не знаю, боялась ли Маруся – маму мертвую. Думаю, да, потому что мы всегда чувствовали похоже. Я боялась маму, даже комнаты, где она лежала – сначала на столе, потом в гробу. Идя, я косилась на дверь, как на что-то враждебное. Елена Александровна посоветовала папе не шить нам черные платья. Нам сшили темно-серые. Из Москвы приехал «морожельщик», ввиду стоявшей жары он замораживал тело мамы, то есть обложил ее пузырями со льдом и эфиром. Маму должны были везти хоронить в Москву, на Ваганьковское, рядом с дедушкой и бабушкой. Гроб привезли тоже из Москвы, серебряного цвета (металлический, с белыми костяными украшениями). От него еще мертвее и чуждее, страшнее было лицо мамы, неузнаваемое, холодное, восковое, осунувшееся, с церковной полоской на лбу, окруженное белым, вместо знакомых – исчезнувших – волнистых темных волос.

В доме пахло эфиром и гвоздичным маслом – от морожельщика. Молодой и противный, он шутил с сестрой милосердия, рассказывал анекдоты о мертвецах (слово «мертвец» и «покойник» были одинаково страшны, отвратительны). Среди знакомых и незнакомых людей глаз ловил папу, Лёру, Тетю, Елену Александровну – своих. В эти дни я совсем не помню Андрюшу. И вообще – не было дня.

Небывалое просто, как все, что мы постоянно видим. Оно приходит и становится в ряд вещей, где ему нет и не может быть места.

На Воскресенскую гору, за часовней над Окой, везут маму в гробу по дороге, где она все наше детство ходила с нами от Тети и Добротворских на дачу, где она жила столько июней, июлей и августов и где она вчера –

5 июля – умерла. 1906 год. Мы встречали его в Ялте, с хозяйкой, Манюсь и Федюсь, звенели бокалы в двенадцать часов ночи, поднятые

за здоровье всех, – и вот уже мамы нет, мамы нет! Мамы, тоже со всеми чокавшейся...

Колокола звенят, встречая гроб. Жаркий день синь. Ворот серого платья липнет к Марусиной и моей шее. Как Тетя плачет! Мы не плачем. Не можем. Нас раздражают взгляды и шепот: «Сиротки...» – «Где?» – «Какие?» – «Да вон те, вон...» Какие противные голоса!

Кудрявая тень дерева мечется по колеям. Гроб вносят в церковь.

В полумгле вдруг отступившего солнечного дня, впусившего в окна по одному короткому лучу света, медленно движется толпа входящих людей. Начинается богослужение. Отупев от того, что вчера совершилось, а вчера стало так невероятно давно, и устав от бессмысленной нам толчеи людей, разговоров, расспросов, мы стоим, не чувствуя горя по маме оттого, что люди требуют от нас горя и шепчут о нас. На повторяемое слово «сиротка» я обертываюсь и показываю кому-то язык. Мы не молимся. Мамы тут нет! Мы очень устали за сутки привыкать к тому, к чему привыкнуть нельзя. Ноги болят стоять.

Бедные девочки, большая и маленькая! Не упрекайте себя в бесчувственности, не ужасайтесь своему равнодушию. Горе придет – потом. Потом! Завтра, через неделю, и через год, и через годы и годы, когда это все кончится, когда отдохнет сердце и отдохнут ноги, когда все всё позабудут, – тогда подступит сиротство, подойдет и станет, как человек. И станет нечем дышать в том веселом дневном часе – без гроба, без пения и без людей. Тогда мама проснется в нас – своей совершившейся далью, невозможностью быть, немислимостью не быть. Отворенная дверца шкафа, пахнущего нафталином и упорствующего тенью

запах духов; мамин мольберт, пустой; звук отворяемой крышки рояля; стук ставни в зале, стукнувший из самого детства, вспыхнувшая зелень стеклянного абажура – кто-то понес по гостиной мамину лампу, – вот тогда придет вой.

А пока – переезд в Москву выпадает из памяти нацело. Как, с кем едем с вокзала? Разумеется, с Лёрой? Не помнятся улицы, по которым едет на кладбище гроб. Наш переулок, Трехпрудный, наш дом. Тупо видим, как перед ним останавливается катафалк и стоит. Мама не знает, что ее тело прощается с домом, где она прожила столько лет. Только потом мы вспоминаем вечер осени 1902 года, час отъезда из Москвы в Италию, слова мамы: «Больше я не вернусь в этот

^.1

дом...» Сколько раз мы эти слова, торжествуя о маминых выздоровлениях, – радостно осмеивали – в Италии, и в Лозанне, в Лангаккерне. Но, значит, такие слова не говорят даром. Мама не вернулась в наш дом.

...Мы едем в карете. Почему-то вдвоем – Маруся и я. К окну кареты подходит господин, темноволосый, темноглазый, с бородой. Кто-то ему сказал, что мы – «дочери Мани», – он говорит глубоким, теплым голосом и смотрит на нас особенным взглядом больших карих глаз – точно он хочет запомнить нас на всю жизнь. Он говорит, что он – Миша Поляков, брат Зины и Раи, друг маминной юности. В этом «Миша» (человек с бородой, держащий в руке шляпу) – ужас прошедших, канувших лет Маниной жизни... Манины дочери! Беспомощные, полыхнувшие ужасом слова о сходстве дочерей – с матерью.

Переехав Садовую, карета вслед за катафалком и другими каретами поворачивает к Пресне. Как недавно мама читала об этой Пресне в ялтинских газетах, о Московском восстании. Миша идет рядом с нами, рука

на окне кареты, он не может расстаться с дочерьми Мани, не может оставить нас.

...Возле могил дедушки и бабушки, где мы бывали с мамой, слева от их мраморных белых крестов и плит, – холм рыжего песка, и возле него – длинная прямоугольная яма. Тесно, между могил – люди. Папа? Тетя? Лёра? Андрюша? Миша? Я не помню, как несут, опускают гроб. Как бросают комья земли, засыпают могилу, как служит панихиду священник. Что-то вытравило все это – из памяти. Слабо вижу пустой, полутемный, мне кажется, летом не виданный, дом в Трехпрудном. Усталость и дремота души.

После маминых похорон в памяти – провал. Я ничего не помню о Тарусе после мамы, а мы дожили там, вернувшись, все лето, то есть около трех недель июля и август. О семи неделях – ни одной зацепки в памяти, ни одного случая, ни одного дня. Точно и не жили мы там до осени. Это все-таки знаменательно: столько же прожито было в Лангаккерне и в Санкт-Блазиен – и о них написано по большой главе. Но и трех строк нечем заполнить мне о лете 1906 года после смерти мамы. Я не помню ни Добротворских в то лето, ни Тети, ни наших домашних на даче, ни отъезда Маруси в Москву (вероятно, с Лёрой и Андрюшей к началу учения). По своей воле, попросив папу, Маруся – ее все чаще называли Мариной – поступила в интернат гимназии фон Дервиз.

Я осталась одна с папой на даче; с кем-то из прислуги Моя первая разлука с Мариной! Я не помню прощанья Видимо, шел сентябрь.

Одиноким жизни моей с папой на даче я тоже не помню Из моих дней ушла мама, ушла в интернат Маруся. Одна ли я ходила с дачи к Добротворским или с папой? Что я теперь часто у них бывала – я помню. Сидела в кухне и в комнате возле, где спали Катя и толстая, новая у них Маша. Ела яблоки, сливы,



подсолнухи, иногда говоря с ними иногда – за журналом детским, из книг детства Нади, Сани и Люды. Их уже тоже не было – уехали учиться в Москву.

Иногда я садилась за старенькое темно-желтое фортепьяно (рояль без хвоста), стоявшее в проходной комнате, и играла все свои детские пьески или подбирала аккорды к песням. Музыка пробуждала тоску одиночества, я закрывала крышку, выходила на балкон, в стеклянную дверь возле фортепьяно. С балкона был вид на Оку, как и из верхних комнат. В комнате рядом с Сашиной, ничьей, где потолок шел косо, под крышей, где пахло пылью, лежали горы слив, желтых, почти с яйцо, я заводила старую музыкальную шкатулку, сестру маминой, и слушала золотой звон вальсов и старых песен.

Однажды мы – папа и я – были у Добротворских. Обедали. Вдруг папа стал как-то странно клониться вбок над тарелкой – сидя падать. Мгновенно бросились к нему Иван Зиновьевич и Елена Александровна, поддержали, но он падал, и они, подхватив его под руки, полуповели-полупонесли в кабинет дяди Вани (Ивана Зиновьевича) – маленькую комнатку за залой, где был письменный стол, диван и книги. На этот диван они уложили папу. С ним случился удар.

Добротворские взяли меня к себе. Сколько я прожила у них – я не знаю. Папа болел, дядя Ваня (как теперь и я звала Ивана Зиновьевича) лечил его, выжидая возможность перевезти в Москву. Так полтора или два месяца спустя папиных рыданий у постели мамы его здоровье рухнуло. Ни переезда нашего в Москву, ни первых дней в московском доме – не помню. Папу положили в клинику. В доме жили Лёра, Андрюша и Люда. Я жила с ней в бывшей детской, где мама мечтала устроить нам две комнатки, разделенные занавеской, Марусе и мне... Маруся жила в интернате.

Была осень 1906 года. Нам минуло четырнадцать и двенадцать лет.

# **ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ**

## **ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ОТРОЧЕСТВО**

### **СНОВА МОСКВА ГЛАВА 1. БЕЗ**

### **МАМЫ. ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА.**

### **ПАНСИОН ФОН ДЕРВИЗ.**

### **МАРИНА И ЛЁРА**

Огромная пустота, которая пала на дом, на меня, вытравливает из памяти ту первую осень без мамы. Как умела она жить одной жизнью с нами, сурово и нежно! Прекращать ссоры, одним взглядом призвать к порядку, покачиванием головы – вразумить. Она навсегда осталась нам Матерью с большой буквы, без тени упрека в ее сторону. Обожаемой, стоящей над всеми героизмом и той честью, с которой она вышла из боя с собою, из битвы между счастьем и долгом, в ней и утратив силу бороться с болезнью. Отдала любимого, не разбила жизнь мужу, уже старевшему, доброму нашему отцу. Это вело нас за руку десятилетия спустя в нашем бою с жизнью. Какая радость быть рожденными от такого сильного и чистого человека, бескорыстно прожившего жизнь, как наш отец, от такой трагически, доблестно прожившей ее женщины, как наша мать! Трагедии себе не хочет никто, с нею рождаются. Благодарность обоим, мир их праху!

Кто мог изменить что-нибудь в моей рухнувшей детской жизни? Не мог и папа. Помимо того, что он после мамы сильно и долго болел, – но и по крайней занятости и по возрасту. Воспитание Марины и мое было с детства предоставлено маме. Кто бы мог ее заменить? Место мамы Лёра не могла занять. Она была

и ласкова и добра, но и она, как папа Музеем, была занята революционным движением, педагогической работой, друзьями – и было ей в это время двадцать четыре года! Ей непосильной нагрузкой был наш дом. Дом – не наш, по закону не Маринин и не мой, Андрюшин и Лёрин, но наш по прожитому в нем детству пламенно нами любимый, «шкатулка шоколадного цвета» (йз письма мне Марины в годы нашей разлуки), и – позднее в стихах:

В переулк сходи Трехпрудный,  
В эту душу моей души...

Дом, о свидании с которым, как с живым существом, мама и мы обе мечтали все годы странствий, этот дом мы увидели, почти не заметя, в тумане маминых похорон, когда катафалк с гробом остановился на миг у ворот по дороге к Ваганькову. Из этого дома, в него еле войдя, Марина попросилась у папы – к неизвестным подругам, в интернат, на какую-то улицу за Гороховым полем. В этом доме я теперь жила с Лёрой и Людой Добротворской, выйдя из младенчества, в котором они меня помнили, меня выросшую не зная. Да и их я почти не видела, только за ужином и ложась спать. В гимназии я не училась – папа берег меня от утомления, боясь, при моей худобе и сходстве с мамой, злой наследственности. Ко мне ходила учительница, готовя меня в третий класс гимназии Потоцкой. Кто-то подсказал папе эту фамилию. Школа эта слыла либеральной, более легкой по режиму для учениц.

Когда вернулся из клиники папа, произошло событие, которым он нам с Марусей (она приезжала домой с субботы на воскресенье) задумал, добрый отец, дать радость, облегчить пустоту без мамы: помня нашу страстную привязанность к нашей второй ялтинской учительнице Варваре Алексеевне Бахтуровой, папа списавшись с нею, выписал ее из Крыма –к нам в дом. Горбатая, смеющаяся, обаятельная, в какой-то серой

нарядной тальмочке, с чемоданчиками, сияя от встречи с нами, она вошла в наше исчезнувшее детство и поселилась в нижней близ черного хода, свободной, когда-то «девичьей» комнате (где мама в раннем детстве нашем вынимала из компартиментов комода – крупы, муку, кофе, чай, сахар). Занялась, против склонности своей, хозяйством, стала пытаться наладить нашу распавшуюся жизнь. Мы встретили ее ласково, – но полгода, легшие между нами с дня расставания, странным образом нарушили прежний пыл отношений: он не повторился!... Как это могло стать? Такая умница, нас так любившая, – у нас в доме; почему она осталась среди нас -одинокой? Может быть, то что Марина была в интернате, а

рядом со мной жил Андрюша, хмурый, уединенный, насмешливый? Как могло стать, что я не прильнула к Варваре Алексеевне – Мартысе – всем сердцем, не согрелась о ее ласковость? Одна из непонятных страниц! Неужели это я, со старшим братом, школьничая – недостойно, приладив через печь антресолей резиновую камышовую трубку, через которую мы самодельным поршнем спускаем воду и она брызжет в комнату Мартыси? Где был мой стыд? Поняла ли Мартыся, что она тут ни к чему, с нашей не вернувшейся к ней любовью, соскучилась ли с хозяйством? Осенним ли, зимним ли днем мы с Марусей печально, ласково попрощались с нею, проводили ее, со стыдом и пустотой в душе, до извозчика. Улыбка ее, горб, длинные руки, чемодан... И глядели вслед, и нас тряс озноб у ворот покинутого ею дома. Может быть, мы всем, кроме мамы, представляли трудными – потому после смерти маминой ни одна родственница папина не взялась за наше воспитание? Каждая из них наблюдающим глазком, сбоку, глядела на нас, оценивая способности («способные!»), извиняя недостатки («мать у них тоже была со странностями»). Да мы и были

трудны, наверное, всем, кто был на нас не похож. Так мы и жили без старших после мамы, то есть со старшими, но как-то вне их. Скажи же нам тогда кто-нибудь слово жалости к нам и вырази упрек – той же Лёре, что не стала нам воспитателем, – мы, девочки со странностями, ответили бы: «Воспитывать? А зачем? Чтобы на роль классной дамы Лёра отдала свою жизнь?» И мы нежно и скрытно, по-прежнему, совсем также любили Лёру, ходили на огонек в ее флигель, к ней и ее революционным друзьям.

В эту зиму, когда папа вернулся домой из клиники, его стал часто навещать Иловайский. Он приходил к своему осиротевшему, вторично осиротевшему зятю. Когда-то, много лет назад, он приходил к нему после смерти своей дочери. Со стены на портрете она все еще сияла красотой – улыбка, локон, голубой корсаж, роза. Он медленно проходил мимо, ее не видя, не подымая к ней головы. Зала, гостиная, кабинет. Так было годы и годы, в течение которых место его дочери было занято мамой. В памяти моей смутно – то есть без фактов, – но твердо живет воспоминание о том, что Дмитрий Иванович с большим уважением относился к маме и что часто беседа велась втроем. Теперь и мамы не стало. При

встрече с ним мы вежливо здоровались. Только один вопрос он задал Марине, поступившей в гимназию, – по какому учебнику русской истории учат. Получив в ответ не свою фамилию, нахмурился. Во многих гимназиях того времени учебником русской истории Иловайского, как реакционным, не пользовались.

Бывал у нас дядя Митя. Младший брат папы был похож и не похож на него. Не застав брата, ожидая его, он загребал меня за плечо по-медвежьи и, обняв, шагал и шагал по зале, опустив грустную седую бороду (лопатой), уйдя в свои думы, забывал, что с ним шагаю, томясь, и я. Как и все братья его, пройдя суровую школу

бедности, некогда семинарист, он теперь был профессором и писал ученый труд о Василии Шуйском.

У папы – до глубокой ночи на его большом столе, заваленном бумагами, две горящих свечи под абажуром. Его согнутая фигура над столом. И, как годы спустя, всегда тот же свет, когда, вдруг охваченная жалостью к папе, спросишь, прощаясь на ночь: «Папа, что ты делаешь?» – «Учусь, голубка...» Ночь.

Неутомимой энергией, бескорыстным трудом дней и ночей воздвигался Музей на Волхонке, наполнялся коллекциями слепков, которые шли в Москву на папино имя со всех концов света. Нередко папа звал Марину (если ее не было – меня) писать под его русскую диктовку немецкие или французские письма по делам Музея. И теперь еще слышу его голос:

– Ма-ру-ся... Напишем-ка с тобой французское (или немецкое) письмецо...

Странно, что, оторванная от детей среди которых я прожила четыре последних года (Нерви – Лозанна – Фрейбург и Ялта), за две зимы привыкши уже к школьной жизни, я не просила о школе, не бунтовала, не заявляла своей воли, как Маруся. Я жила в каком-то анабиозе. От рождения не разлучавшаяся с Марусей, маму нацело потеряв, я теперь как факт, вне нас лежащий, приняла то, что только в субботу и в воскресенье вижу ее, одну из всех так мне близкую, остальные дни я толкалась между взрослых. Радовали вечером синева неба, огоньки домов надо льдом залитого во дворе катка, маленькие коньковые победы.

В субботу (с дворником Ильей, мордастым лукавым парнем, в своем отгороженном уголке при кухне, рядом со

светлой, большой комнатой горничной и кухарки, учившимися при керосиновой лампочке немецкому языку), я ехала за Марусей на конке. У Трубной, перед подъемом по Рождественскому бульвару, припрягали

еще лошадей, мальчишки вскакивали верхом на передних, и с криком, грохотом, цоканьем копыт все это взбиралось по булыжникам горы. Дальше передних лошадей отпрягали, мальчишки верхом скакали на них назад, вниз, а наш путь продолжался.

Падал снег. Мы входили в тяжелые дубовые двери пансиона фон Дервиз – удивительно напоминавшего мне ненавистный пансион Бринк – и ждали. Сверху несся затишенный гул мне неведомой, мрачной, по рассказам Марины, жизни русского интерната, от строгостей которого – после свободы ее ялтинской жизни, близ друзей-революцио-неров – протестом билось ее бунтарское сердце, и я по-детски малодушно радовалась, что еще не учусь в русской гимназии, которая ничуть не лучше зверского пансиона Бринк. Бедная Марина, от тоски по маме бросившаяся в интернат, в пасть к льву! Глухо вспоминалось что-то из разговоров мамы и Маруси – о школах в романах Диккенса, и страхом тоскливым сжималось сердце о моем скором поступлении в русскую школу. Правда, слухи о гимназии Потоцкой (называли еще гимназию Кирпичниковой) были утешительные: «Там борются за новое воспитание», – в то время как у «фон Дервиз, как и везде, сурово проводятся в жизнь требования сверху». Но все это было в гадательном будущем. Пока же я, замерев, ждала Марину.

Наконец вниз по лестнице сходила она в коричневом гимназическом, почти длинном, платье, в черном фартуке. Ее теперь уже никто не звал Марусей – одна я еще порой упорствовала, да и то уже привыкла к «Марине». Ей было четырнадцать с половиной лет: она выглядела взрослой; для своего возраста большая, плотная, она носила косу – недлинную, но довольно толстую; иногда она закладывала ее вокруг головы. Глаза, светло-зеленые, пристальные, без очков, она часто щурила – от сильной близорукости. Часто



отводила взгляд, вспыхивая застенчивостью. Очень часто краснела – во все и так розовые щеки, – и это мучило ее, делало еще резче. Нос с горбинкой, несильно выдающийся, с правильно очерченными ноздрями был короче, чем у меня и у мамы, – правильный. Подбородок и рот – волевые. Губы

с углубленными уголками, единой тенью – начало улыбки. Высокий, широкий, прекрасный лоб. Волосы над ним она носила, как и все почти, «напуском», но не пышным, не беспорядочным, – строгим. Красивой ее в те годы конца отрочества, начала юности было назвать нельзя. Она мало обращала внимания на одежду – еще более по революционности своей тех лет. Крайне мешали ей – при людях – легко ранимое самолюбие, нежданная для нее самой резкая реплика. Портили Марину очки. Сменив их в шестнадцать-семнадцать лет на пенсне, затем сняв и его, похудев, подрезав волосы прической «пажа», она к своим девятнадцати-двадцати годам стала просто красавицей.

Ко мне она относилась теперь как к младшей, с появившейся далью взрослости. Я писала уже о том, что внутренняя нежность наших отношений с Мариной не выражалась вовне: мы не целовались, насмешничали, дрались. Но ее присутствие всегда меня грело, поддерживало. Теперь и оно изменялось: отстраняясь от меня по возрасту (она очень росла, я – мало), она льнула к Лёре и ее друзьям и мало бывала со мной. Реже теперь мы вдвоем вспоминали что-то из прошлого, – Марина как бы избегала этого. О маме не говорили. И было одно в доме – по папиной ошибке, не признанной им, – что отравляло нам воспоминание о маме: ее портрет в гробу.

Увеличенный, в такой же раме, каким был гроб, – светлый металл и белые костяные украшения, – он висел над турецким серым диваном в папином кабинете, и мы боялись его – до конца нашей жизни в

доме – до наших замужеств. Мама на нем была крайне худа, в профиль, нос казался слишком длинным, и отсутствие взгляда, закрытые веки, отсутствие знакомых темных прядей волос высоко над лбом, замененных церковным венчиком, белизной у лица и цветами, – делало лицо совершенно чужим – страшным. Портрет был – не мама. Неосторожно заказанный портрет, затем, чтоб мы помнили маму, он испортил нам все наше отрочество и юность в любимом доме, отнял у нас папин кабинет, в детстве некоторые годы бывший той «маминой гостиной», с сердцем его – зеленым фарфоровым абажуром керосиновой лампы на мамином письменном столике, с чтением «Ундины», «Рустама и Зораба»... Сказать об этом папе мы не могли. Это бы обидело его, он бы подумал, что это неуважение к маме.

Печально шел мой первый недетский год – между разнообразных взрослых, и даже приходы Маруси не возвращали мне ничего из прошлого в мой день, ничего детского. Марина была не со мной, а с ними, ее принимали как взрослую, она носила почти длинные платья, между нами, казалось, не два, а все четыре года.

Стол, освещенный керосиновой лампой с круглым, простым, из зеленого картона, абажуром, и милое Лёрино лицо, наклоненное над ее занятием. Она выжигает по дереву: разрезательные ножи, рамки, шкатулки. Вот уже готов нож, и я глажу его, рассматриваю темно-золотистые узоры и тонкой загорелой линией выведенные слова. Как с нашим временем слито слово «лозунг», так было слито с тем временем «революционных зорь» слово «девиз». Так и здесь из-под иглы на шнуре, шедшей к выжигательному прибору, незримой лавой выгорали огненным ручейком слова девизов или стихов:

Какая даль, какой простор!

Взгляни, взгляни вперед,  
Туда, где грозный вал встает  
Громадой синих вод.  
Пусть застигнет их прибой!  
С опасностью борясь,  
Кто встретить смерть готов смеясь, -  
Безумец, но герой!

Или - строки из «Песни о Соколе» Горького, из его «Буревестника».

Возле Лёры помню я смутно ее подруг. Помню тени каких-то мужчин в русских рубашках, с пышными волосами -тип революционной молодежи того времени. Звали они друг друга «товарищ», говорили о каких-то собраниях. Все это зажигало Марусю, мне же было невнятно, при мне не все говорилось. Иногда - или это было годом позднее? - Марина уходила куда-то - на собрание? Она не говорила мне, я молча глядела вслед. Мои друзья были - цепной пес и мой выросший в полукота ялтинский Маленький Кис.

## **ГЛАВА 2. НЕМКА И ЕЕ РЕФОРМЫ. БРАТ АНДРЕЙ И ИХ ДРУЖБА С МАРИНОЙ. СРЕДИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ МОЛОДЕЖИ. ГОДОВЩИНА МАМИНОЙ СМЕРТИ**

В наш дом въехала приглашенная папой – вести хозяйство – немка-экономка, Елизавета Карловна Мюттель. Среднего роста, старая, полная, седая, горбоносая, с пристальными светлыми глазами, почему-то всегда суженными. Кудреватые седые волосы, разделенные прямым пробором. Какое-то трясение видится мне в ней – смешок ли любезной веселости или мерцание отводимого вбок взгляда? Помню «немку» (мы между собой так ее звали), живущую в нашей столовой, из которой, точно в большие праздники, обеденный стол переставлен в залу, под висячую лампу, вынесенную из маленькой, с детства неизменной столовой. Это новое устройство было неприятно, искусственно, но Елизавета Карловна была в нем, конечно, не виновата – она хотела улучшения и старалась по своему разумению. Нам же был чужд и ненужен вид всегда освещенной залы, где самое ее волшебное в детстве – пустота паркета, над которой вечерами мгла поблескивала полосками двух трюмо, теперь была заставлена прозаичностью ежедневных встреч за едой. Вместо того чтобы входить – по зову к столу – из высокой полутьмы в низкую освещенную уютность маленькой нашей столовой, где жил круглый стол, а в углу – самоварный столик с желтой медной

доской и желтым пышущим самоваром (и стол и самовар были живые существа, третье – висячая, с белым матовым абажуром, лампа) – мы теперь не входили, а выходили из разных комнат в высокую залу, к длинному обыкновенному столу (куда вынесли – круглый?) – и самоварный столик терялся, как мы, в холодной пространности незнакомой ему залы. Самовар, думаю, перестал сразу кипеть, вынесенный из своего Диккенсова уголка.

Теперь «немка» старалась «принять гостей». На столе появились вазочки с различными сортами варенья, вместо Лёриной нескончаемой (доливалась в спешке, со смехом -кипятком) банки рябинового варенья, тарусского; в молочнике с синей ласточкой, заглядывающей в нутро белого фарфора, -вместо молока теперь густели сливки. На обед вместо векового в нашем детстве пирога с капустой (любимого!) появились пирожки с – рисом, с саго и ненавистные изделия с морковью. Скатерти и салфетки – блистали немецкой белизной, самовар горел – как у Тети.

Но, как в детстве, неслись с далекого вокзала заунывные в своем стремительном отрывании, отлетании гудки поездов, точно мы все еще едем куда-то (кто-то – едет!..)

Папа, бедный, мужественный, добрый папа, хотел, может быть, бодро принять новый вид дома и трапез, как проявление хоть чьего-то порядка. Вижу его за столом, беседующим с сыном Елизаветы Карловны – Павлом Карловичем (Андрей его за глаза звал Полканыч). На лице папы – внимательный, добрый интерес к каждому; на лице Полканыча – почтительность: он говорит с профессором. На Полканыче – зеленый голстук, в тот раз был пунцовый. Полканыч – худой, глаза у него карие, выпуклые, но такие же сладкие, как у матери (он еще не вкусил

жизненной кислоты, потому что под крылышком матери, и потому глаза его не кисло, а начисто -сладкие). У него длинные холеные усы, над ними потешается Андрюша.

Странная была юношеская жизнь нашего брата! Он мог -одним штрихом – очертить человека, но никогда не лез ни с кем в дружбу, как бы сторонясь встречного. В нем было неожиданное остроумие, указывающее на большую наблюдательность, но, как у Лёры, в нем было желание молча отвернуться от всего, что не нравилось. Друзей у него не было – то есть в доме их не бывало. Иногда только во двор приходили, – но он принимал их в раскрытом сарае – высокий гимназист и маленький мальчик-кадетик. Что-то они мастерили, чинили. И – все. Но, видно, и его затронула революционная пора, по крайней мере он вместе с Мариной (между них завязывалась дружба) уходил куда-то «на собрание».

Заходил к Лёре, и среди ее товарищей, где-нибудь в уголку, был виден его тонкий силуэт в темно-серой форме -светло-серые, щегольские он презирал. Узкое его лицо, большие карие, застенчиво отводящие несколько мрачный взгляд, глаза, грация материнских тонких черт всего его уклончивого существа напоминал – оленя. Стань он под портрет своей матери – все бы увидели разительное их сходство. Но портрет парил далеко, высоко на стене залы, и тут, в Лёрином мире, были заняты другим: знать, что -свой, дружески сжать руку; «не проболтаться» – было ясно. Он почти всегда молчал. И мимо его молчаливого сочувствия и интереса те – другие, постарше, пошумнее, зрелее, кидались в не умолкавший в те годы спор о том, к какой партии ты принадлежишь, какая спасет Россию...

Но больше всего, должно быть, брат Андрей любил музыку – наследие матери-певуньи: из-за его запертой двери часто неслись мандолинные искры; он выучивал сложные вещи, приходил ко мне, совал мне в руки

балалайку или гитару, на которых научил меня играть: и тарусский марш «Тоска по родине» и «Память о бурской войне» перепевалась, перепевалась вдвоем.

Я знала, что Маруся пишет повесть – «Четвертые» – в толстой клеенчатой тетради. Пишет о старших подругах, переселив их из седьмого в четвертый (Маруся училась в четвертом) класс. Проскальзывали имена: «Маргарита Ватсон», «Ирина Ляхова» и «Валя Генерозова», но скоро исчезли под тремя вымышленными именами: Инна Свет, Рита Янковская и Елена Гриднева. Преображая имена, Марина, конечно, освещала своим восхищением и сущности своих героинь. Бунтарский дух ее создавал драматические положения – те, которых она искала, поступив в интернат, нужный ей как плацдарм для собственных ее действий, проявлений ее недовольства окружающим, особенно – нестерпимым для нее духом интерната.

Как случилось, что Марина дала мне прочесть эту повесть? Но я сижу и читаю тонкий, круглый, мелкий, кудрявый ее почерк – своеобразную легкую вязь. Я не помню канву описанных Мариной событий, но жива в памяти юная романтика отношений, в последней главе – весна, разлука героинь повести. В яви же они были на несколько лет старше Марины, учились в старших классах.

Иногда мы ездили всей семьей (кроме Лёры) к дяде Мите. От семейных поездок Лёра уклонялась. Дядя Митя был директором Коммерческого училища на Остоженке – большого розового здания с колоннами<sup>1</sup>. Кабинет, зала, гостиная, будуар Елизаветы Евграфовны, столовая, комнаты сына, дочерей. Обстановка была новой и богаче нашей, но уюта (кроме, может быть, будуара) не было. Хлебосольево было старинное. Но мы стремились домой. В наш милый дом, где господствовала свобода.

Зима шла, проходила, первая зима после мамы. Была, наверное, с помощью немки, и елка, и масленица с блинами -я их не помню. Уже таял каток и во дворе, и на Патриарших,

1 Ныне институт иностранных языков.

И

куда иногда ходила с Людой и, по воскресеньям, с Мариной, вспоминая каток в Лозанне.

Скоро весна - и мои экзамены. Но вот беда. Папа хочет, чтобы мы говорили по-немецки с Елизаветой Карловной, а все лето говорили бы по-французски - с девочкой из французского пансиона, она приедет к нам на дачу. Французская девочка в Тарусу - зачем она? По пятам за нами будет ходить? Все про нас немке сплетничать будет! Ну, ничего, Лёра не даст нас в обиду.

Либеральная гимназия Потоцкой, где я буду учиться, помещалась на Петровке, в доме Самариной, желтом, двухэтажном. Я сдавала экзамены в третий класс легко, на пятерки. Стоя перед учителем русского, на предложение сказать мое любимое стихотворение - я без колебания начала Некрасовское:

В полном разгаре страда деревенская...

Доля ты! русская долюшка женская!

Вряд ли труднее сыскать.

Не учитывая, что гимназия - либеральная, я увлеченно бросала «начальству» (как я воображала) - обвинение:

Бедная баба из сил выбивается,

Столб насекомых над ней колыхается,

Жалит, щекочет, жужжит!

Голос готов был пресечься. Как я любила Некрасова! Я получила «пять».

После экзамена я пошла в третий класс. На столе парты, спиной к окну полупустого класса, сидит тоненькая, длинноногая девочка, в коротком



коричневом платье. Узкое лицо, русая коса с завитком на конце и необычайные глаза: узкие, карие, внимательный взгляд и такие густые, длинные ресницы, что на них – потом оказывается – «можно положить рядом две спички». В лице – упрямство и та степень застенчивости, которая делает движения резкими. Ее пристальный взгляд – насмешлив. В ней нет ни тени игры – естественность, возведенная в самобытность. Как она нравится мне! Наша дружба загорается – сразу.

...Марину исключили из гимназии фон Дервиз. Подробности этого она скрыла от нас. Недавно я нашла подруг Марины и попросила их написать, что они помнят о

Маринином исключении из гимназии. Вот что написала Ирина Ляхова:

«Марина был бунтарь. Начальство боялось ее влияния на соучениц, так как все считали ее выдающейся. Она была в гимназии нежелательна из-за своей революционности. От увлечения отроческими романтическими героями она сразу перешла на революционную литературу, она просто дышала революцией. Начальство очень обрадовалось, когда от нее отделалось».

И вот еще несколько строк из воспоминаний о Марине писательницы С. И. Липеровской

«...В 1906 учебном году внимание всех гимназисток привлекала «новенькая» пансионерка, очень живая, экспансивная девочка с пытливым взглядом и насмешливой улыбкой тонких губ; высокий лоб. Смотрела на всех дерзко, вызывающе, не только на старших по классу, но и на учителей и классных дам.

Спокойствие гимназисток было нарушено – они почувствовали себя вовлеченными в бурю новых ощущений, переживаний. Мятежница с вихрем в крови звала к мятежу, к бурному выражению чувств, к

подъему. Многое изменилось под влиянием Марины. К ней обращались за советом, какую книгу прочесть. Марина сама приносила книги – сборники «Знания», стихи Бунина, рассказы Куприна. Звучало имя Горького. Увлекал Степняк-Кравчинский; Андрей Кожухов стал любимым героем. Марина пополняла арсенал недозволенных книг. Страстность вносила в споры о новых людях Чернышевского, Тургенева, Горького, о жизни в будущем...

Марина Цветаева оставалась в гимназии фон Дервиз недолго. Ее дерзости учителям и всем начальствующим лицам не могли не встретить сопротивления. Ее вызывали к директору, пытались уговорить, примирить, заставить подчиниться установленным порядкам, но это было невозможно. Марина ни в чем не знала меры, всегда шла напролом, не считалась ни с какими обстоятельствами. Из комнаты директора был слышен громкий голос Марины: «Горбатого могила исправит! Не пытайтесь меня уговорить. Не боюсь ваших предостережений, угроз. Вы хотите меня исключить -исключайте! Пойду в другую гимназию – ничего не потеряю. Уж привыкла кочевать. Это даже интересно, новые лица...»

Отцу Марины пришлось перевести дочь в другую гимназию»

И вот свидетельство ее подруги Вали Гене розовой:

«Преклоняясь перед борцами революции, Марина мечтала и сама принимать участие в борьбе за свободу и светлое будущее людей. Марина старалась меня познакомить с революционным движением, снабжая меня запрещенными в то время книгами. В атмосфере, царившей у нас в пансионе, Марина считалась «неблагонадежной», и боялись ее влияния. Говорили, что ей предложили уйти от нас за «свободомыслие». Марина уверяла, что в предстоящей ей в будущем личной жизни она будет свободной от пут заурядного

семейного быта, отдаваясь целиком работе на революционном и литературном поприще».

## **ГЛАВА 3. ВЕСНА 1907 ГОДА В ТАРУСЕ С ЛЁРОЙ. ПРИЕЗД АННХ АЖЕРОН**

Когда Марину исключили из гимназии фон Дервиз, была весна. Лёра выехала с нами в Тарусу. Никогда еще мы не жили в лесном нашем гнездышке одни с Лёрой – и только раз в детстве такой ранней весной. Был апрель, ветви только одевались листвой, рощи были сквозные. Доносился голос кукушки. Тарусская старушка Александра готовила нам еду, все было предельно просто и весело. Дружба Лёры с Мариной грела меня, давая иллюзию семьи. К Лёре приехал ее ученик. Вместе вставали мы иногда смотреть восход солнца, ездили на лодке собирать ландыши, жгли костры. Зубы стучали от холода на рассвете. Лёра укутывала меня, полусонную, теплым платком. Свистали птицы. Щебет их делался так громок перед появлением спящего солнечного диска! Ока отражала нежный пожар восхода. Как удивительно трещал костер, кидая вверх разноцветное пламя... Как чудно пахла дымом печеная картошка! Пенье наше несло по реке, голос Лёриного ученика рос, как темный молодой дуб среди зарослей нашего девического хора... Как весело кивает нам Лёра, мы играем с ней, как щенята, и вдруг – все сразу кончается! Везут из Москвы вещи, едет немка и с ней Анна Ажерон – французская девочка. Тяжелая приземистая, с большим коричневым лицом, черными глазами и толстой черной косой. Она много смеется и ничего не понимает, ей

точно уже сорок лет! Марина тоже не хочет Анна Ажерон, она тоже находит, что деревенская, беловолосая, гневная Лёнка – куда нам нужней! Ничего,

мы с Мариной не дадимся в обиду: пусть она не притворяется доброй, Анна! Будет смотреть на нас – сладко? И за нами следить?..

Ока все так же течет, голубая, по лугам, изгибаясь к Игнатовской горе, влево, и пропадая – вправо – за Велеговом, так же стоит над старой серой дачей – жара, так же пахнет тополиными листьями, и птицы свищут. А мамы – нет... Мы с Анна Ажерон ходим к Тьо. Терраса и сад с кустами сирени и клумбами, похожий на картину «Бабушкин сад» Поленова, только нарядней, пленяет не только Анна, но и немку. И как шесть-семь лет назад наша гувернантка Преториус восхитилась, увидев Тетю, ее дом, садовое хозяйство на швейцарский лад, – так теперь как две капли воды повторяется оживление немки Елизаветы Карловны Мюттель – в обществе Тьо, в чинных старинных нарядных комнатах, где бьют и играют дедушкины венские часы-оркестр, горит красная медь пузатого самовара и светится лампада перед дедушкиным портретом – на полочке, на ней цветы. Мы с Анна ходим по саду, бродим по дальней липовой аллее и выдумываем ей всякую всячину – она легковерна, всему верит; и мы уже сговорились с Лёнкиным братом, шестнадцатилетним сторожевским Мишей, – вывести ее на Ивана Купала ночью смотреть «клад».

Канун Ивана Купала. Шепчемся, переглядываемся, – как бы не сорвалось! Надо, чтоб папа уснул и чтобы улеглась немка. Тогда, сняв башмаки, на цыпочках, вниз по лестнице, через кухню мы вылезаем в окошко во двор – только бы не залаял на сторожевской поляне их пес, черный с желтым, цепной наш любимец – Сугонка! У «старого сада» нас будут ждать Миша и его двоюродный брат Ваня. Как по писанному: босиком – замирая от страха при скрипе ступеньки, при поднятии крючка на двери в сени – жара низкой кухни, распахнутое во двор окно – и в унисон (Марина и я)

шканье на Анна, которая вдруг испугалась, что скажет папа, что сделает немка, - и не лезет в кухонное окошко! Миг отчаяния - как заставить ее? И в два голоса, жарким шепотом ей с двух сторон - в уши (по-французски): «А клад? А сокровище? Ведь эта ночь не повторится! Ну, хорошо! Мы

- без тебя...»

Анна испуганно лезет в окошко. Огромные, мощные лопухи холодят босые ноги, мы выбегаем за ворота, в темноте что-то движется к нам: Миша и Ваня. Шепот, и по лужайкам «старого сада» шагаем, надев башмаки, прислушиваясь, не проснулись ли в доме. Нет, там темно. Мы пробираемся в чащу и (часов ни у кого нет, папа Марине подарит к пятнадцатилетию, в сентябре) стараемся определить: который час? «Наверное, без пяти двенадцать, - говорит Миша, и еле слышно: - Пора начинать, а то отец ружья хватится!» В ту же минуту - выстрел. Что-то сверкнуло, Анна закричала... Схватив ее за руки, мы испуганно полетели в глубь чащи. «Видела? Огонь! Слышала? - говорили мы, выйдя на лесную поляну. - А папоротник как цветет в Иванову ночь - видела, как огонек побежал?» - «Видела... побежал» - в испуге повторяла Анна «Ну вот! а треск был - это злые духи клад охраняют, пугают!» - «Уйдем! Домой! Боюсь!» - плакала Анна Нам стало жаль ее и вдруг стыдно, что ее обманываем, и, успокаивая ее, говоря, что теперь худшее позади, надо искать клад, мы вели ее на следующую поляну, дальше от дома, чтобы другой дорогой возвращаться домой, про себя недоумевая, как объяснить отсутствие клада. Но, шагнув раз-другой, - мы остановились, пораженные не менее Анна посреди поляны лежала - горела - мигала - прямо перед нами в темноте - груды светящегося серебра! Один миг был

- совершенно безумный: мы оказались - в сказке! В следующий миг шепот догнавших нас мальчиков

сбросил нас с неба на землю. «Гнилушки! – шептали они Марине и мне.

- Пень это – светится!» И тогда с торжеством обернулись к Анна: «Видишь? Клад! А хотела – домой!» Миша на ухо: «Кстати ведь как?.. Светляки у меня в кармане взяли да вдруг погасли...» Обомлевшая Анна и все мы собирали горстями сияющие куски и прятали в карманы, в платки... Нагруженные сокровищами, шли мы домой, считая, за сколько мы продадим наш клад. Анна сияла. Бедная! Как плакала она через минуту – от вида потухших кусков серебра, превращенных в гнилушки хитростью обобранных нами бесов. «Кидай их, кидай, а то серебро сожжет тебе руки!» – говорили мы ей в тот горестный для нее миг...

Эскапада наша осталась тайной.

Наступила годовщина маминой смерти. Мы должны были ехать в Москву на могилу, где будет отслужена панихида. Лёра, устроившаяся под Москвой, в Подольске, после кладбища хотела взять нас к себе погостить. Мы и радовались

- как всегда – перемене, и было жаль уезжать из Тарусы. Вечерами мы ходили гулять со сторожевскими ребятами, и Марина шла с нами. Лугом, вдоль опушки леса, далеко, где после конца тропинки открывался, вправо, вид на Пачёвскую долину, с детства бывшую нам волшебной. У этой зеленой дельты при луне – стояло несколько высочайших сосен с голым стволом и кронами, как у пиний. Тут как-то особенно стрекотали кузнечики, слышался крик болотной птицы, и была глубокая, водяная тишина. Там, впереди, в лесу, жили угольщики, были обожженные круги на земле и росли толстые зеленые дудки с лиловыми цветами. Когда над всем этим выплывал шар луны – было ясно, что в эту долину заманивал гётевского младенца Лесной царь, а деревья – те, что возле замка Рингштеттен...

Мы жгли костры, пекли картошку, грели промокшие от обильной росы ноги, вылив воду из башмаков – в них хлюпало. Марина рассказывала что-то из французских, немецких книг, и свое вплетая, романтическое, необычайное,

– ребята слушали, не сводя с нее глаз. Но Анна портила все

– просилась домой, боялась, ныла. Мы уходили, заботливо, по-крестьянски, затоптав костер, возвращались домой под угрозы Елизаветы Карловны – «Скажу папе!»

Как жалко расставаться с шалашом! Мы со сторожевскими ребятами Ваней и Лёнкой построили его в чаще, согнув, связав верхушки, он густ, на земле – мох, мы прячемся туда от дождя. Неделя шла за неделей – и примерная Анна (уже она – Аня) уже одичала, перестала сторониться ребят и не увезет ли с собой во французский пансион русские тарусские ухватки – к ужасу своих прежних подруг?

...На Ваганьковском кладбище – в густых кустах и деревьях – шум листвы, неумолчное щебетанье птиц, и в почти праздничной тишине позеленевших могильных плит и свежих деревянных крестов по узким тропинкам – редкие силуэты людей.

Над маминной могилой, непонятной, ее не вместившей, ветви деревьев качаются... Черная гранитная лежачая плита. Над могилой – деревья и небо. «Вот и мне, дети, такую

поставьте, когда я умру, – говорил папа, – стоячие памятники

– падают, а лежачие...» – «Что ты, папа!» – в один голос прерывали его мы от нестерпимой жалости, но папа продолжал: «Вот соберусь с силами, поеду на родину, в Талицы, поставлю такие же лежачие черные плиты – отцу, матери, брату». Над таинственной и чужой могилой (к привыканью к которой надо



приложить старания всей своей жизни, и все-таки ничего не поймешь) качаются ветви, с них взлетает и вновь возвращается птица, и тот же отрезок щебета, вновь повторяемый, делает еще невозможней мамину смерть.

У близкой могилы, через тропинку, кадит священник, возглашая старческим голосом, маленькая старушка в черном подпевает ему. Сейчас и к маме придут петь. Псаломщик подходит к папе. Маруся стоит, опустив голову, трогает веточку. Новые горшочки цветов стоят у могилы. Мамины любимые анютины глазки. Маруся их выбрала. Никто не говорит ничего. Тут мы стояли с мамой - у дедушки. Жизнь остановилась - и ждет...

Пахнувший нафталином, с полузакрытыми ставнями дом. Зала без Елизаветы Карловны снова на час - наша. Шумит самовар. В раскрытой крышке самовара - сложенные кольцом

- яйца вертятся на пару. Маруся тронула клавиш, и длинный его звук ужалил тишину дома. Нет, Маруся не будет играть. Она закрывает крышку, тихо отходит от рояля, ходит по квадратам паркета - наискось через залу, взад и вперед. Все позади - ее блестящие музыкальные успехи, сонаты Бетховена... все мамины надежды с ней... Со смерти мамы Марина не подходит к роялю. Пожирающим огнем темных глаз смотрит на нас со стены Бетховен.

Мы приехали в Подольск с Лёрой уже ночью, ничего не видя в темноте, и ощупью (спичек не было) пробрались в Лёрину комнату. Лёра любила жить в бедной деревенской обстановке. Хозяева избы спали. По пути мы наткнулись на теленка, потом заорали на нас гуси. Лёра шикала на них и на нас, мы - тоже, давясь от смеха. Нам страшно хотелось пить. Воды не было. Лёра нашла в темноте бутылку с кумысом, открыла ее - пробка с шумом вылетела, птицы

закричали еще громче, мы от смеха падали. Маруся жадно припала к бутылке, поперхнулась, отпила и – я толклась возле, ожидая питья себе, – молча протянула мне бутылку. В полутьме я не успела понять веселья ее лукавых глаз,

метнувших на меня веселящийся взгляд. Я хлебнула огонь 1 Кумыс был – давний. Слезы брызнули из глаз, я еле' отдышалась, но Лёра уже утешала: «Сейчас пройдет!»!

Наутро мы увидели на окнах комнаты яркие, в крупных! цветах занавески, простую – почти никакую – мебель. Лёра любила именно простоту и яркие краски. Но увы, шел дождь не переставая шел два дня. Помню, как идем обедать в деревенскую столовую, сеет дождь, небо в тучах, безнадежная тоскливость русского сельского пейзажа, лужи, ступенчатое' крыльцо, маленькие окошки, околица.;

И снова – праздник тарусской природы, рощи, холмы, [Ока и несказанная прелесть родного места – и его не нами | одними воспетая красота. 1

Помнится, Марина и Анна уехали в Москву раньше меня. | Я, как год назад, жила с папой у Добротворских. Папа, зная, | что догоню, оставил меня еще подышать воздухом, В холодные дни двери на террасу были закрыты. |

Как год назад, в осень после смерти мамы, я подходила к фортепьяно, проигрывала свои полузабытые детские пьески. Проходила в своем сером капотике полная, круглолицая Елена Александровна. «Вот мама бы радовалась, что ты, играешь...» – говорила она, с минуту стояла и вдруг сразу,1 точно очнувшись, – такая была у нее манера, – меняя; призадумавшееся выражение на обычное, спешила к делам! дня. Заходила пожилая, еще красивая их служанка Катя, ^ угощала теплой ватрушкой, говорила

со мной тем тоном,;: каким говорят с маленькими. А я пела отрывки из Лёриных ' романсов.

После исключения из гимназии фон Дервиз Марина попросила папу - и он согласился - отдать ее в гимназию Алферовой. Нам было пятнадцать и тринадцать лет.

# **ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ МОСКВА. ТАРУСА ГЛАВА 1. ДОМА. МАРИНИНА ОБИДА. ГИМНАЗИЯ ПОТОЦКОЙ. ДРУЖБА С ГАЛЕЙ ДЬЯКОНОВОЙ И АНЕЙ КАЛИН. У ИЛОВАЙСКИХ**

Я уже почти подошла ко времени, когда Марина начала писать стихи о нас двух, посвящать мне стихи, когда нас стали, видя вместе, похожих – с той же улыбкой и тем же голосом, – звать «Сиамские близнецы», хоть я и была худее и ростом ниже Марины. Ее интернат кончился, мы теперь много бываем вместе.

Так же приходил к Елизавете Карловне в воскресенье «Зоун», и старая Германия воплощалась за нашим невеселым столом образом седовласой, голубоглазой и чинной немки -хозяйки хоть и чужого, но семейственного стола и образом приличного, кротко-гордого своим достоинством сына и конторщика, почтительно-веселого, вежливого Полканыча.

Изредка сумерки заставляли в нашей бывшей детской все ту же – только волосы черные на висках дрогнули серебром

– худенькую смуглую Марию Васильевну, как в раннем детстве нашем, за трудом целой жизни не заметившую свою уж угасшую (в дочери цветет!) красоту! Большие, черные теплые, ласковые ее глаза, вечно горькие, как и рот (памятью о страшной смерти сына ее Саши). Она стоит, прислонясь к белой низкой кафельной печке с синими полустертыми обводками, руки – назад, и хоть она говорит о племяннике Мишке, о

дочери Лизе, о сестре Александре, но Саша с ней неизменно. Оттого мы с ней так особенно (по чьему-то внутреннему повелению) бережны – в сторону все занятия и любимые книги, когда она входит.

А чудятся за Марией Васильевной. – какие-то чугунные лестницы. (Почему? Не знаю. Но, конечно, они и Марусе

чудятся, не одной мне...) И гул родильного дома, общежитие бедноты. И вот ей уж надо снова туда, а нам – снова одним, потому что...

– Мару-ся, а напишем-ка с тобой письмецо, французское...

Папин голос, Марина, потягиваясь, встает от книги, я

беру географию или задачник... Снизу – в мое внезапное мгновение счастья – разбегающийся прилив вальса Durand<sup>1</sup> по клавишам, – это Марина, кончив письмо, села вдруг за рояль -ия лечу вниз по лестнице. Мои руки о горячие кафели печи в зале – мое всегдашнее теперь место, когда Марина на минуту сядет за рояль. Среди взрослых я больше молчала, сознавая себя младшей. Наедине же с Мариной я часто возраста не чувствовала, так кровно сходны были наши состояния, чувства, отношения к людям. Те же нравились мне, что ей, те же отвращали. То, что Марина была резче меня и угрюмей, – не мешало. Я с детства привыкла к ее большей гневности, своей большей мягкости. Понимание же было с полуслова, со взгляда...

Была осень, когда мы поехали в гости к Лериной крестной, Анне Александровне Адлер. У нее была дача в Сокольниках, пышная сервировка стола. Новость тогда – пианола. Подруга покойной матери Лёры и Андрея жила на широкую ногу. Бывшая красавица, она хромала, но и это казалось у нее почти грациозным. Светская дама, любезная, была нам чужда, нам было у нее неловко. Ее знакомый – седеющий блондин в пенсне, с русой

бородкой – Ш-н, внимательно в нас вглядывавшийся, еще больше смущал нас. После прогулки по саду, среди золотых ветвей в синей осенней эмали, мы пили чай, когда он или его соседка по столу, гостья, сказали вполголоса друг другу – о Марине, что она похожа на Ольгу из «Евгения Онегина».

– Помните? «Кругла, красна лицом она...»

Недосказанная строка промчалась в мозгу. Как мне было

больно за вспыхнувшую Марину, за ее боль, за ее невозможность сделать единственное, что сейчас хотелось, – встать и уйти. Как прикованная, она претерпела свою муку. И для чего была борьба с тоской все часы визита до этого, ее щедрое рассыпанье юмора в сыгранной «словоохотливости»,

1 Дюран (франц.).

которым она «занимала» их? Бисер перед свиньями! «Вот так светские люди!» – думала я в отвращении.

Какой это был удар по Марининой тайной ране – по ее страданию о не той наружности, какую она хотела! Она ненавидела свою розовость, свой здоровый вид, свое крепкое, ширококостное тело (толстой она никогда не была).

С той осени Марина училась в гимназии Алферовой, но мало рассказывала о ней, ее не любила. Мне же в гимназии Потоцкой было хорошо. Учителя относились к нам как к равным. На уроках французского и немецкого мне было нечего делать; узнав это, наша начальница Варвара Васильевна Потоцкая, полная, розовощекая, преподававшая нам французский, стала давать мне проверять на уроке всю пачку письменных работ класса.

Но пора вернуться к событиям. Они, революционные, шли по России, их дух витал в моей гимназии, в противоположность Марининым гимназиям.

Но не за то ли она выбирала себе школы враждебные, что там могла утолять свой бунтарский дух?

Наш учитель географии С. Г. Григорьев походил на нервийских революционеров. Его же типа была и Е. Н. Ор-ловская, вскоре его сменившая в нашем классе. Среди «старших» нам показывали тех, кто «работает» (то есть ходит на политические собрания, связан интересами со взрослыми членами передовой семьи, кто, может быть, даже и «состоит членом», может быть, хранит – прокламации?).

От всего этого билось сердце и происходила внутри великая путаница. Я читала «Экономические очерки» Баха, откровенно в них ничего не смысля, но трудилась для славы. Для какого-то славного будущего! Марина все еще пропадала у Лёры, иногда с Андреем. (Их теперь в доме уж никто не звал «Андрюша», «Маруся». Я одна была Ася, по-прежнему.) И эта Ася отличилась: увидев в гардеробной шляпу Жени Зеликиной (такой доброй ко мне, такой хорошей подруги), я – чтобы ее научить «пролетарскому духу» – пробежала с этой шляпой по всему этажу, насмехаясь над лентами, вишенками и прочей белибердой барства. Покрасневшая из-за меня добрая Женя простила мне эту выходку, желая, милая, спасти и шляпу и дружбу! Сощуря близорукие глаза, протирая очки и залихватски заломив назад берет (картуз бы, собственно, надо!), я зачерпнула на ходу, тремя пальцами,

из мешка подсолнухов на глазах у розовощекого мальчика-продавца в фартуке, «защитника» хозяйского добра, не побоялась его поднятого кулака. «Из протеста» несколько дней я носила две пары очков, друг на друга, чем прославилась на всю гимназию. Старшие звали меня «шес-тидесятница» (чем я, хоть и не знала, что это, гордилась).

Да, это все так было. Но не так уж просто, как шутится. Под этими смешными вещами была – суть.

Суть была волнение от нервных, но по-новому услышанных строк, -в них еще плескался длинный прибой по камням возле Вилла Торре, где коммунальщики жили царские эмигранты в Нерви. Ветер средиземный еще трепал листики агитационной революционной книжки, тоненькой: «Солдатский подвиг»:

Смело, братцы, песнь затынем Удавую, в добрый час!

Мы в крестьян стрелять не станем, -Не враги они для нас!..

...Волнение! Хорошее слово... Я не боюсь его. В нем дышат эти «волны», когда-то хлынувшие в него.

Описанию личности Гали Дьяконовой позднее и Полем Элюаром и другими людьми искусства была посвящена не одна книга, стихи и статьи. И может быть, мой долг -рассказать, какой же Галя была в детстве. Один из самобытнейших характеров, мною встреченных. Взгляд ее узких, поглощающих глаз, движение волевого рта - и она была милее, нужнее всех, что глядели на меня с восхищением. Темы, все, были - общие. Стихи, люди, начинающиеся в вихре раждавшегося вкуса - причуды. В ней, пожалуй, сильнее моего - некое оттолкновение; во взлете брови вдруг вспугивающий весь пыл застенчивости короткий взрыв смеха (в ее брате Коле повторенный кровным сходством). Она хватала меня за руку, мы неслись.

Чувство юмора в Гале было необычайно: смех ее охватывал как стихия. Как нас с Мариной. Только была в ней Марине и мне не присущая, какая-то ланья пугливость, в которой было интеллектуальное начало, только внешне выражаемое мгновенной судорогой смеха, вскипающего одним звуком, почти давящим ее; взлетали брови, все ее узенькое лицо вспыхивало, и, озираясь на кого-то, на что-то ее поразившее, отпугнувшее, она срывалась с места: не быть здесь. Так некая часть ее сущности была - в убегании, в



ускальзывании от всего, что не нравилось. Не осуждая, не рассуждая, она, может быть еще не осознав, – отвертывалась. Девочкой в матроске, с незаботливо заброшенной на плечи

– пусть живет! – косой, кончавшейся упрямым витком. Быть занятой ее толщиной, холить? Стараться – над косами?

Гордиться? Взлет бровей, короткое задыхание смеха.

Мне казалось, я всегда знала Галю. Мы сидели – Марина, Галя и я – в воскресенье, в субботу вечером с ногами на Маринином диване в ее маленькой (через одну от моей) комнате и рассказывали друг другу все, что хотелось, подумалось, было. Мы водили Галю по нашему детству, дарили ей кого-то из прошлого, вздохом покрывая безнадежность подобного предприятия, и от тайной тоски легко рушились в смех, прицепившись к какому-нибудь несклад-ному выражению, словесной ошибке, поглощая из кулечка душистые, вязкие ирисы, любимые всеми нами больше других конфет.

– Нне отлипает! Яз-зык прилип... – вдруг, еле ворочая им, говорил кто-то из нас, и делалось так смешно, что от смеха было больно, потому что в эту бездну, ненасытимую, как одиночество (его поправ!), вместе летели трое, связанные, как горцы. «Не тает...» – продолжал язык борьбу с ирисом. «Нне растает...» – еле выговаривал утешающий. Пароксизм смеха походил на страшный рассказ Эдгара По.

– А бывало у тебя так, Галя?! (я).

– А так с вами бывало, Галочка? (одновременно со мной Марина).

Иногда Марина рассказывала нам, как, бывало, летом ребятам у костра, какой-нибудь страшный рассказ или легенду, где-то прочтенную или вновь творимую во время рассказа. Иногда читала стихи.

Не меньше, чем Галя, Марина полюбила мою другую подругу – Аню Калин. Мой пылкий подробный рассказ об Ане, ее уме и талантах Марина выслушала с жарким вниманием. «Позови ее к нам обязательно!» – сказала она. Воскресные свидания с Галей и Аней стали нашими счастливыми днями. Вечер мы неизменно проводим на Маринином диване в ее маленькой комнатке на антресолях, в полутьме. Мы рассказывали о нашем детстве в России, о годах и друзьях

за границей. И они с упоением слушали Маринины стихи. Когда Галя восхитилась одним стихотворением, Марина сказала: «Нравится? Я вам его, Галочка, посвящу». Это были стихи «Мама в саду», напечатанные в первом Маринином сборнике «Вечерний альбом».

Ане Калин Марина написала акростих.

С маминой смерти прошло полтора года. Ее отсутствием был полон дом. Пустота, тишина нижних комнат переносила память в детство. Тогда здесь звучал рояль. Мы без конца рассказывали Гале и Ане о маме, ее образ оживал перед нами. Марина читала стихи к маме. Вот их последние строфы, особенно нами любимые:

...С ранних лет нам близок, кто печален,  
Скучен смех и чужд домашний кров...

Наш корабль не в добрый миг отчален  
И плывет по воле всех ветров!

Все бледней лазурный остров – детство,  
Мы одни на палубе стоим.

Видно, грусть оставила в наследство

Ты, о мама, девочкам своим!

Мы никогда не говорили о семьях и о среде Гали и Ани

– о нужде первой, богатстве второй (у родителей Ани была вилла в Остенде, на море). Мы не спрашивали, где Галин отец, помогает ли он семье. Галя держалась с достоинством истинной гордости – совершенно просто,

естественно, независимо, не снисходя спросить, почему хуже других одета, не снисходя замечать свои платья (то, что из Сандрильон и делает героинь бала, за руку только с Судьбой!). И когда на Маринином диване мы говорили о будущем! -неизвестном - всех нас: путешествия, люди, зовущие гудки поездов, - Галя слушала Марину, точно глотала живую воду.

Часы шли, Гале надо было идти, мы выходили из темноты, жмурясь от света зажженной керосиновой лампы. От тоски ли вечного расставания - вот еще одно - чуть знобило? От холода ли нижних высоких комнат, когда, спустясь волшебной лестницей нашего детства, мы входили в полутемную залу с лунными полосками зеркал?..

А за Аней Калин еще не пришли. Она садится за рояль. Каштановой россыпью волосы по плечам. Неужели ей двенадцать лет? Я стою у печки, грею руки о теплые изразцы. Марина ходит по зале медленным отсутствующим шагом, слушает «Танец Анитры». Вспоминает ли Марина брошенную

свою игру? Грига Аня играет, маминого Грига, по нашей просьбе - «В пещере горного короля» и «Шествие гномов»,

- и корабль дома скользнул в волны музыки, и плывет, и куда мы плывем в ней?

Но горе опять близко. Стук в двери: «Барышни, за Анечкой пришли!»

Да, с маминой смерти прошло всего полтора года. Но будь она жива, что было бы? Этого уже нельзя себе представить! Мы уже не те!.. Жизнь в доме шла уже совсем по-другому...

Зачем мне понадобилось к Иловайским? За чем-то послали, верно. Как сейчас стоит передо мной дчинный каменный особняк в глубине двора в Старопименовском переулке. Полукруглые окна в глубоких нишах. Не в две ли стороны разветвлялась широкая лестница во второй

этаж? Это не были антресоли, как у нас, потому что поворот лестницы привел меня в некое подобие залы, где стояло кресло. В этом кресле сидел седоволосый старец в халате. Лицо его было словно выточено, очень красиво. Но то, что находилось на его плече, было прекрасно: это был огненного цвета – нет, светлее огня, большой длинношерстный кот. От Лёры ли я знала, что его зовут Мандарин? Не мог же снизойти от своих исторических ледяных высот ко мне Дмитрий Иванович Иловайский и поведать мне имя кота! Кот сидел, мурлыкая, не обращая на меня никакого внимания. Подоконники были на значительную высоту заложены чем-то ровным: я догадалась (увидеть я этого по близорукости не могла), что это кипы «Кремля», газеты, издаваемой Дмитрием Ивановичем. (О «Кремле» кто-то пошутил, что он его издатель, подписчик и читатель в единственном числе.) Больше я ничего не помню об этом доме и больше там никогда не была.

Шла зима, вторая без мамы. Наступило и Рождество. Как всегда, принесли елку, поставили в зале. Теперь она не была такая большая, как в детстве, не до потолка. Не помню, кто из моих подруг у меня был. Традиции подарков, тайны и торжества праздников ушли вместе с мамой. Хоть, помня ее желание, папа осенью, к Марининому пятнадцатилетию, купил ей черные карманные часики, и она носила их, как

все старшие гимназистки, на тонком черном шнурке через шею – за поясом платья. Но мамины елки – кончились!

Я ходила на каток, позванивая на ремешке коньками. Под музыку – играл военный духовой оркестр – люди кружились, их заметали снежинки. Высоко в небе горели голубоватые фонари. Я возвращалась домой поздно.

В Трехпрудном строили шестиэтажный дом – против нашего, на месте бывшей лачужки с лавочкой Бухтеева

-«Бухтейки», где мы в детстве покупали на копейку подсолнухов или на две конфет. В кабинете и гостиной было теперь меньше солнца.

Все больше места в моей жизни занимала гимназия. Мы любили наших учителей – серьезную, внимательную к нам (преподавала нам русский) Л. А. Воскресенскую; веселого увлеченного и увлекавшего нас географией С. Г. Григорьева. Но ближе всех подошла к нам вскоре его сменившая Елена Николаевна Орловская. Мы чувствовали ее причастность к революционным настроениям. Простота и ласка ее обращения

- волнует, точно она, глядя на нас, думает: «Вырастете и к тому же придете! Больше идти некуда...» И мы, с тревогой и доверием в ответ, чувствовали себя чем-то вроде ее подруг, сообщниц. В ее присутствии я становилась счастлива. Счастлива – потому что сильна. Словно чьей-то рукой снимались все тяжести с сердца, все сложности дня. Жизнь протягивалась вперед одной прямой стремительной линией, путь по ней был понятен потому, что рядом с тобой шли такие, как Елена Николаевна, Мария Генриховна, Кобылян-ский, и ты делаешься – как они!

Елена Николаевна завела по субботам – в вечерний час

- собрания нашего третьего класса в помещении гимназии -чтение, беседы и чаепитие.

Эти собрания были не обязательны. Иных девочек и не отпускали родители, половина класса. Состав был довольно пестрым.

Я никогда не пропускала суббот – и как бы могла я? Я ими жила. Я читала Елене Николаевне стихи Марины «Жертвам школьных сумерек», так мной любимые.

К моим субботам, к рассказам о Елене Николаевне Марина отнеслась с полным сочувствием, интересовалась, расспрашивала.

Суббота. По Москве – колокольный звон. По улицам и переулочкам идут люди в церковь. Вот идет «типическая» няня-старушка в уютной шубенке, из-под которой выглядывает фартук. Летом она одета, конечно, в широченную, в сборках юбку, в кофту поверх нее, в платочек – мысиком сзади – с цветочной каймой. Она ведет за руку ребенка. Он тащит ноги, отстают, запрокидывает голову в небо, туда, где гремят и гудят колокола. Как знакома мне эта няня, вечная русская няня, все та же в разного цвета платочках и юбках, в шалях, и кацавейках, и шубках! Такая была у Пушкина, и моя няня, и я так же шла с ней за руку по этому Палашевскому переулку, отставала, смотрела на звезды, слушала колокольный звон... Лечу мимо, сердце бьется, боюсь опоздать в гимназию. Все уже, наверное, собрались, сейчас начнут читать Короленко.

...Тверская. Огибаю бульвар (в нем верста сейчас замерзших деревьев). Памятник Пушкину, занесенный снежком. Знакомая с детства чугунная рука занесена, со шляпой, за чугунную спину, кудри – под падающий снег. Пролетаю. Тверская, Козицкий. Здесь, в одном из бахрушинских домов, живет мать Вари Изачик, тарусской (у родных, болеет).

Отряхая снег, вбегаю в тяжелые двери гимназии. Гимназия без швейцара Адама в ливрее, без его седой бороды и смеющихся глаз. Какая другая гимназия – вечером! Таинственная, темная, а вдали наверху – свет, это наш свет, там меня ждут! Все другие от вечера (совсем другие, чем утром!) девочки, кто в форменном, а кто в домашнем платье, радостные, свободные, вокруг книжного и чайного стола!

Одним духом взбегаю по широкой, полукругом поворачивающейся лестнице дома Самариной, в разгорающийся навстречу звук голосов. Там, где утром мы ходим по две, по три, кружащейся толпой, в перемену, – сейчас стоит стол, на тарелках – баранки

или пряники, недорогие конфеты и в кружках жестяных – чай.

Елена Николаевна увидела, кивает, улыбается. «Опоздала, Настя? Жаль, мы уже». В ее руках раскрытая книга. Она читает нам вслух рассказы своего выбора, ее милый, гибкий голос придает силу и прелесть страницам, я слушаю, не отрывая от нее глаз.

Увидев на катке девочку в бархатной черной курточке, я заболела желанием выйти на лед – в такой. Как случилось, что я решилась сказать папе, что мне тяжело кататься в моей старой шубке, и описала – нужно мне? Папа посоветовался, думаю, с Елизаветой Евграфовной, женой дяди Мити, а та, имевшая ко мне слабость, должно быть, одобрила мою мечту – и вот мы с папой на Тверской, у Охотного, в добротном старинном магазине тканей и сукон. Увы, папа не соглашается на бархат, выбирает плюш, притом – мятый; я, удерживая слезы, стою у прилавка. Так же стою перед портным Володиным, папиным любимцем, который перелицовывает папе костюмы (и постоянное папино огорчение узнавать, что он уже лицован, а в третий раз – не выходит...).

– Прибавьте, прибавьте, – говорит папа, видя палец Володина, зажимающий цифру на сантиметре, – и в ширину и в длину – дочка растет...

И вот я стою в отчаянии перед зеркалом Лёриной мамы в гостиной: тяжелое сооружение из «мещанского», как я считаю, мятого плюша мне ниже колен, у плеч – буфы, ненавистные. Но я ведь должна ходить в этом на каток, раз сшили? И меня озаряет мысль: папа забудет длину, если не станет видеть пальто ежедневно, и тогда... Я уйду на каток. Я катаюсь с трудом, но не выйти на лед в папиной, мне так трогательно подаренной вещи было бы бессовестно. И только эта мука дает мне право через короткое время изнемочь и приступить к операции: дверь на крючке,

пальто разложено на ковре; и я с большим трудом, с бьющимся сердцем режу сперва плюш, потом – ватную подкладку. От туго сжатых ножниц боль и следы на руке, слушаю, не идут ли, шью. Много дней удалось мне всякими ухищрениями уходить на каток так, чтобы папа меня не увидел. Необычность операции, укоротившей пальто не менее чем на двадцать сантиметров, страх, теперь, после ее совершения, и неизбывное чувство вины – все это гасило страдания от неизменности буфов, дав размах коньковым шагам, легкость коленям. Но что почувствовала я, коща месяца полтора-два спустя я по оплошности своей попала на глаза в обрезанном пальто – папе! Все сжалось во мне – и замерло. Мужество было готово покинуть меня. Что сказать? Как выйти из положенияч?.. В голове – шаром покати!

– А еще говорила – длинно! – сказал весело папа. – Видишь, как уже подросла...

Чудный, трогательный папа, в течение десятков лет даривший двум женам и трем дочерям вишневые материи на платья, цвета, не оцененного ни одной из них. Дарил – и забывал, довольный покупкой, по рассеянности не замечая, что вишни цветут в сундуке...

В один из зимних дней, спеша, боясь, что папа вернется, я без спроса унесла из кабинета печатный отчет, читанный им в Комитете Музея. На первой странице стояло крупным шрифтом:

ПАМЯТИ

МАРЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ЦВЕТАЕВОЙ и

АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВИЧА МЕЙНА

многолетних сотрудников по Музею

Где о маме тут? Вот, вот...

«Редким совершенством владевшая также и практически четырьмя иностранными языками, превосходная переводчица лучших беллетристов Италии, Германии, Франции (а я и не знала, что со



стольких языков, – говорю я себе), отличная пианистка и большая любительница палитры, она горячо отдалась делу созидания нашего просветительного учреждения. Не один раз она ездила в художественные центры Западной Европы, принимая живое участие и в разработке требований для нового Музея, и в собирании памятников искусств для наших коллекций. Область классической скульптуры она знала, как, может быть, немногие женщины в нашем отечестве: она вела в течение целого ряда лет дневники и записи по музеям, особенно увлекал ее Альбертикум, знаменитый музей Дрездена. Здесь она нарисовала и первый план будущего Московского музея.

(Мама его нарисовала? – говорю я немо себе, а я и не знаю это...)

Она ездила на Урал для ознакомления с производящимися там у нас ломками белого мрамора. (Сердце забилось, – я помнила мамины письма, в детстве, из Златоуста в Тарусу. И вот наша жизнь вошла в книгу! Читаю дальше.) Когда осенью того же года внезапно ее поразил неизлечимый недуг,

то и больная, в Италии, в Германии и на Южном берегу Крыма, она до самой преждевременной кончины (5 июля 1906 г.) не переставала думать об успехах нашего Музея. И одной из ее предсмертных печалей была горечь сознания невозможности увидеть свою Москву, свой дом и Музей. (Слезы мешают читать. Из папиных слов ожила мама вдруг, подошла, стала рядом.) Делая предсмертные распоряжения, Марья Александровна завещала значительную долю своего состояния в вечный капитал Музея изящных искусств для составления из процентов при нем отделения библиотеки имени ее отца. Об этой любви ее многих лет к нашему делу, любви большой и искренней, но скрывающейся от других и потому мало кому ведомой, доложить ныне Комитету я счел сердечным долгом».

Я отнесла назад в кабинет папин доклад и бросилась 1 сказать о нем Марине, но оказалось - она о нем знала, прочла его раньше меня.

## **ГЛАВА 2. РАЙКА. ВИНОГРАДОВЫ. СЕРЕЖА ЮРКЕВИЧ**

Наша общая любовь была - Андрюшина белая с черным большая веселая охотничья собака Райка (мы звали ее Рай-рай-рай). Она жила перед чуланчиком с платьями, над лестницей, куда нас в детстве сажали за провинность. Иногда она выла на привязи. Андрей выходил с хлыстом. Марина и я бросались ее защищать.

Андрей, как и в детстве, «щипался, как гусь», Марина, как и в детстве, могла укусить. Я - царапалась. И кулаки мы пускали в ход, каждый в свою силу, пока Андрей, устыдясь, не впрыгивал в свою комнату, увлекая за собой Райку, и через минуту из-за его запертой двери сыпались искорки мандолины...

Но дрались мы иногда и порознь, Андрей с Мариной или со мной. Иногда - я с Мариной. Все мы были вспыльчивы, и нам не приходило в голову, что мы уже большие. Мы действовали мгновенно, не думая, - вернее, не в силах побороть гнев или кажущуюся обиду, - а потом (о Марине и о себе знаю, что так, ибо это было постоянное терзанье детства и юности) мучились угрызениями совести.

И вот в один прекрасный день Райка пропала. Ее выпустил из ворот въезжавший во двор водовоз. Ее не было день, ночь. Дворник Илья поехал за Москву, к собачникам. Райка сидела

в клетке и отчаянно завизжала, увидев его. Потребовали хозяина - мы все трое поехали выручать Рай-рай-раю. Был весенний день. С крыш капало. Солнце плавящим блеском накрывало Москву. Мы шли,

трое, по дороге к собачьей тюрьме, почти потеряв из вида город...

Как мы кинулись друг к другу – Райка, Марина и я! Как кричал на нас Андрей! Как мы на него кричали! Как упоенно лаяла о свободе Райка, прыгая до небес!

По улицам шли, под корочкой льда, ручьи, и мы, Галя, Аня и я, разбивали этот стеклянный ледок ногами, первый раз снова выйдя в беретах. Неужели зима прошла? Еще нигде не было видно земли, но мы уже тянули-носом – землей пахнет! Небо было все в бредущих облаках, «из серебряной ваты», – это все еще длилось детство?

Моя дружба с Аней все крепла. Мы ходили друг к другу по воскресеньям. Марина посвятила Ане стихи. Они нравились друг другу все больше. У Гали я не любила бывать, как, видимо, и она у себя, и мы больше болтались по весенним улицам – уроки мы делали быстро.

А у Марины началась новая дружба, не гимназическая: с Ниной Виноградской; их связывала и Таруса; их коричневый дом стоял в Тарусе над самой крутизной «Тироля», в купе деревьев. У Нины был брат, теперь двадцатилетний Толя (тот самый, до Италии, мальчик в парусиновой – ворот, вышитый крестиком, – рубашке, которого я, семи лет, запомнила у Добротворских в саду, в липовой аллее, когда делали из бумажных фонариков иллюминацию). Жили Виноградовы в Москве, в маленькой уютной квартирке близ Храма Спасителя. Мать их была полька, голубоглазая, седовласая, с пристальным взглядом, всегда улыбавшаяся ласково, но лукаво, как бы заглядывая в душу. От ее взгляда было неловко, хоть она была к нам очень приветлива. Тот же заглядывающий в сердце взгляд был у Нины, но она была красива – прямоносая, синеглазая, с подрезанными над

плечами волосами, каштановыми, прямыми; в ее лице была отвага.

В эту ли зиму? – думается, в эту, – к нам навверх, в нашу бывшую детскую, пришел снизу, из парадных комнат, брат Мариной подруги по гимназии Сони Юркевич, Сережа. Первый наш взрослый гость! В студенческой сине-зеленой

тужурке, стройный, смуглый, с худым лицом, на котором синели большие, под прямыми бровями, застенчивые глаза. Он сидел на маленьком нашем красном диванчике и говорил о чем-то с Мариной, «наверное, о революционном», – думала я, не очень слушая, любуясь Сережей. Так же неуверенно, то вспыхивая, то преодолевая застенчивость, мгновенно переходившую в гордость, взглядывала на него Марина. Смотрел на нас и он, неловко оглядывая беспорядочную, но уютную комнату, вставал, прохаживался, осваивался, раздавался смех, он чувствовал, что тут хорошо, что ему рады, что он нравится, и ширилась счастьем узенькая юношеская грудь. Встряхивались темные, густые, упрямые кудри над высоким лбом.

Дворник мешал дрова в печке.

## **ГЛАВА 3. МОСКОВСКАЯ СЕМЬЯ. ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ТАМБУРЕР, ПРОЗВАННАЯ МАРИНОЙ «ДРАКОННА». СТИХИ МАРИНЫ**

Лидия Александровна Тамбурер. Ее жизнь, все, что ее окружало, начиная с самых неподходящих такой женщине мужа, сына и матери и самой неподходящей «специальности», все было нереально – в чрезмерной реальности. Как пациенты к зубному врачу мы и попали к ней.

Привел нас к ней папа. Быть может, то, что она знала о недавней маминой смерти, и повернуло ее к нам так по-матерински, так нежно?

Высокая (мамин рост), статная, темноволосая (чуть серебрятся), тонкое смуглое лицо; она чертами напоминала Екатерину Павловну Пешкову, взгляд же был – совершенно иной. Полжизни ее было прожито, многое – позади, и через всю ее ласковость она глядела на каждого с неким юмористическим недоверием.

Наше понимание было почти бессловесным. И однако, мы без конца говорили. Эти беседы ничего не исчерпывали, ничего не поясняли – они тянули нас в попытку постижения других – в себе и себя в других. Несколько сложнее нашей другой нежной дружбы – за два года до того, в Ялте, с Варварой Алексеевной...

Но там мы общались со старшей душой, Марина -отроческим, я – еще детским сердцем. Сценой общения было

- учение, книги, природа, окружающие. И собственно, душа

Варвары Алексеевны так и осталась нам неизвестной, как душа старшего - детям. Мы грелись в ее любви, она - в нашей. Но из второй встречи ее с нами, годом позже, в Москве, ничего не вышло... Туте Лидией Александровной отношения продлились на годы и годы. Тут уже не было детства. Мое ушло вместе с мамой. Отрочество здесь было мое, Маринина юность. Зрелость лет старшей с нами говорила о себе печальной улыбкой, подавленным вздохом. Но, заражаясь от нашего возраста, вспыхивало в ней еще не угасшее веселье, юмор, страсть к необычному. Наши встречи были нам - праздником!

Мать ее - один из персонажей этой московской квартиры (нового образца, в новом доме) - была огромная грузная старуха с отвисшей нижней губой (губы и у дочери ее были полные, но - как тропический цветок - невинные в своей пышности). Седая, с оплывшим лицом, с тройным подбородком, мать походила на ведьму. Именно тем, что были в ней следы - говорили - когда-то замечательной красоты. В сером капоте, шлепая туфлями, плавала она по комнате, как посаженная в аквариум жаба, и над колыхавшимся телом были страшны черные дуги бровей - будто снятые со лба юной красавицы. Одно из первых воспоминаний ее дочки было - как по высокой зале она, крошечная, прицепившись к сверкающему материнскому шлейфу, старается ехать на нем, а на шлейфе бабочки, осыпанные бриллиантами, дрожат на тонких стеблях... Нас мать Драконны жаловала. Мы ее почти боялись и тем любезнее отвечали на ее вопросы, в тоске отводя глаза.

Не менее сказочным персонажем был муж Драконны, -маленький, толстый, седо-рыжий, он мог быть ей отцом. Усы и борода, проседь делали его еще

старше. Говорил он с сильным немецким акцентом. Был он биржевым маклером. И был у него и Драконны сын – одиннадцатилетний худенький мальчик, рыженький в отца, бледный и, кажется, милый, но тихий, «не в нас», под эгидой отца так занятый уроками, что мы редко его видели.

Как-то, когда мать хотела взять его с нами за город, отец не пустил. Она настаивала, был такой чудный день! «Пусть твоя полофина едет за город, – сказал «рыжий черт», как Марина и я его втихомолку звали, – а моя полофина будем дома учить грамматик». На пороге, готовая к отлету с нами,

Драконна только подняла в ответ брови, в юморе мига была вся безнадежность ее жизни. И острая жалость к сыну...

Так жила наша Драконна, как и имя ее, своей таинственной жизнью, то в белом халате провожая пациентов из зубоврачебного кабинета в высокую торжественную переднюю, то – в своей гостиной, в черном шелковом платье. С улыбкой тянула она нас сесть на диван, у стоячей лампы с абажуром – таким большим, светло-тусклым, – так горят лепестки гигантского цветка. Рука Драконны поправляет растрепавшиеся темные волосы, зеленоватые на смуглом лице глаза мерцают в предвкушении беседы.

И был еще один в этой семье, кого уже не было, но который жил в ней нерушимо, первый сын Лидии Александровны, умерший трех лет Сережа. Он смотрел на нас со страниц семейного альбома, с большой, выцветшей немного

– или коричневатого тона – кабинетной фотографии, круглолицый, большеглазый, с выражением обаятельной насмешливости. От этого взгляда, детского, навсегда прерванного, ушедшего в темноту «того света», у Марины и меня сразу заняло сердце, и, прослушав рассказ матери, его без ума любившей (в



мать был сын!), слушали мы с чем-то захолонувшим в груди, как он умер, всего несколько часов проболев. Мы никогда не спрашивали о нем, но он стал нашим, как и ее, кумиром. Вошел тенью в элизиум наших теней.

Драконна не говорила с нами о «рыжем черте». Но в том привычном, хоть и сдержанном, тоне отдаленности, с тенью превосходства и все как бы не кончающегося о таком муже недоумения, с которым она обращалась с ним, все было ясно.

Было непонятно, как мы жили, ее не зная. Вот в эту гостиную с широкополой, как старинная шляпа, лампой и отсветами уличных фонарей с Поварской, в магический час, когда, блеснув, ложились на ночной покой зубоврачебные инструменты белого лакированного кабинета, – вошел Лев Львович Эллис<sup>1</sup>.

Поэт и переводчик Лев Львович Кобылинский, сын известного талантливого педагога Льва Ивановича Поливанова. В 1970 году в издательстве «Наука» вышел сборник стихотворений Бодлера, куда вошли переводы Эллиса.

?]

Худой, в черном сюртуке. Блестящая лысина, черноволосый, зеленоглазый, с удлинённым лицом, тонкие черты лица, очень красивый рот – «доктор», маг из средневекового романа.

Жил Эллис в бедности, без определенного заработка, от стихов к статье, делал переводы, не имел быта. Комната в номерах «Дон» на Смоленском рынке и хождение днем – по редакциям, вечером – по домам друзей, где его встречали радостно, как желанного гостя, слушали последние стихи и вместе с ним уносились в дебри мечтаний и споров о роли символизма, романтизма. Часто голодный, непрактичный, он обладал едким умом и блестящей речью, завораживающей самых разнородных людей. И был у него еще один талант, которым он покорял людей

не менее, чем певучим стихом: талант изображения всего, о чем он говорил, – более: талант превращения, перевоплощения такой силы и такой мгновенности, которая не под стать и самому искусному актеру, всегда связанному принудительностью роли данного часа, несвободой выбора.

Эллис, в своей полной материальной неустроенности, был. насмешлив, неблагодарен до самого мозга костей, надменен к тому, у кого ел, повелителен к тому, от кого зависел. Импровизатор создаваемого в миг и на миг спектакля, он не снизошел бы к доле актера, которая должна была представляться ему нищетой.

Вхает острой бородки, взмах черных рукавов сюртука, вспев своеобразного грассирующего голоса:

...Я в тебе полюбил первый снег,  
И пушистых снежинок игру,  
И на льду обжигающий бег,  
И морозный узор поутру...

Эллис упоенно, как знаток, говорил нам о вальсе и после трактата-дифирамба о нем показывал, как танцует писарь, как – офицер, как – кадет перед выпуском, и со стихами на устах – вместо дамы в объятиях – заскользил, самозабвенно, в классическом вальсе – один...

И снова – стихи.

Молча слушает, стыдясь слова, Марина стихи поэта вдвое старше ее, первого поэта, в жизни встреченного, от застенчивости щуря светлые близорукие глаза.

В моей жизни тех дней сыграла странную роль увиденная картина маминого учителя живописи Клодта «Последняя весна», – девушка, умирающая у залитого лучами солнца окна, в кресле. Мамина ялтинская весна. пышное длинное платье, на волосах сеточка – старина. Дни маминой молодости, может быть бабушкиной?

Бабушка умерла двадцати семи лет, мама – тридцати семи... Да, и я умру рано, наверное,

– как бабушка и как мама. Чахотка, которой так боится для меня папа из-за моего сходства с мамой? Из-за чего он неохотно согласился отдать меня в гимназию. Все мне говорят: «Какая ты худая, бледная рядом с Мариной!» Ну что ж. Я, как мама, уеду из России осенью с морозящим дождем – на те берега Средиземного моря, где прошла зима нашего с Мусей детства. Я буду сидеть в таком же кресле.

Над мрамором балюстрады – вечнозеленые кипарисы, как над Рёвером на Сант-Иларио. А все будет цвести... Марина не посмеялась надо мною, она посвятила мне стихи, будто бы провожая меня в Италию. Ненапечатанные, они живут только в моей памяти.

Асе

Гул предвечерний в заре догорающей  
В сумерках зимнего дня.

Третий звонок. Торопись, отъезжающий,  
Помни меня!

Ждет тебя моря волна изумрудная,  
Всплеск голубого весла,  
Жить нашей жизнью подпольною, трудною  
Ты не смогла.

Что же, иди, коль борьба наша мрачная  
В наши ряды не зовет,  
Если заманчивей влага прозрачная,  
Чаек серебристых полет!

Солнцу горячему, светлому, жаркому  
Ты передай мой привет.

Ставь свой вопрос всему сильному, яркому  
– Будет ответ!

Гул предвечерний в зарю догорающей  
В сумерках зимнего дня,  
Третий звонок.

Торопись, отъезжающий,  
Помни меня!

## **ГЛАВА 4. МАРИНА НА ЧЕРДАКЕ. АНДРЕЙ И ЛАТЫНЬ. СТИХИ В НАСМЕШКУ. ПРОЗВИЩА. НЕДОРАЗУМЕНИЕ В МОЕЙ ГИМНАЗИИ**

Справляясь с уроками так легко, что не замечала, когда их делала, Марина, занятая чтением или писанием стихов, иногда просто не могла идти в гимназию. Делать это открыто, без неприятных объяснений с папой, она не решалась, и в такие утра до ухода папы в Румянцевский музей (где он директорствовал) Марина скрывалась на чердаке.

Я таскала ей туда «попоны» – наспех схваченное пальто или шаль, – и, дрожа от мороза у слухового окошка, чтобы читать, Марина дожидалась от меня сигнала, что папа ушел, можно вылезать.

К завтраку брат Андрей приходил домой. Внизу слышалось его: «Опять котлеты? Котлеты и битки, битки и котлеты?» Глотал что-то наскоро и легкими прыжками взбегал по лестнице, хохотал над Мариной: «Ага, матушка, намерзлась! Так тебе и надо! Люди в гимназию ходят, учатся, а она на чердаке книжки читает!» – «Не твое дело!..»

Жалобная нота дверей, шаги по мосткам – ушел в гимназию. Тогда начинались блаженные часы Марины.

Такие сцены (Андреевы приходы из близкой 7-й гимназии к завтраку) я помню, когда, простудясь, была дома – и весь мой второй и пятый класс, когда я училась дома с учительницей.

Андрей учился без увлечения, ненавидел папин любимый латинский и нередко получал плохие отметки. Репетировал его сам папа: «Ну-ка, Андрюша, почитаем-ка по-латыни», - говорил он, входя в Андрееву комнату. Андрей хмуро принимался читать. И часто из-за закрытой двери начинали звучать голоса, папа выходил, покраснев, пылая негодованием.

- Скоти-ина... - гремел его добрый обиженный голос в ответ на сыновнюю дерзость, - ду-би-на... - И в такт папиным шагам вниз по лестнице эти слова раздавались почти торжественно, но вздохом горестного возмущения.

Однажды Марина написала - на смех - стихи. Что ее толкнуло к ним? Чье-то восхищение какими-нибудь, ей казавшимися слабыми? Но когда они, озорные, родились, мы стали озорничать ими везде, где было не лень: не у друзей, у знакомых.

Но вот эти стихи:

Придет весна и вновь заглянет  
Мне в душу милыми очами,  
Опять на сердце легче станет,  
Нахлынет счастье - волнами.  
Как змейки быстро зазмеются  
Все ручейки вдаль грязных улиц,  
Опять захочется смеяться  
Над глупым видом сытых курицев.  
А сыты курицы - те люди,  
Которым дела нет до солнца,  
Сидят, как лавочники - пуды  
И смотрят в грязное оконце.  
Мы удовлетворенно смотрели кругом.

Но я помню, что в одном маленьком семейном кругу их

- хвалили, не поняв, что они - на смех. Тогда мам стало стыдно и жаль слушавших - доверчивых, добрых.

...Наставала весна. Запах талой земли одурял. Повелительно вспоминался какой-то недожитый в сознании день детства, когда точно так же пахло, еще голубиным пометом и черным хлебом и еще (но их еще нет пока) тополиными почками...

Давно ли – Галя, Аня и я – били галошами лед, сливая лужицы в ручеек, освобождая путь воде лететь, как и мы, по улицам. Береты сдвинуты со лба, лбы подставляем – солнцу, а рты жуют ирис или прозрачную фруктовую карамель – шашечками, они сладко и кисло (не разберешь) липнут к нёбу...

Как летят над крышами облака! Какое синее (невозможно поверить в такой цвет) – небо! Как над Лаварелло в Нерви – даже лиловое... Мы бредем по Никитской мимо песочного цвета дома с пестрым красным узором стенных кирпичиков, в нем что-то вербное, праздничное.

Марина проводила свободные часы в своей маленькой (в одно окно во двор, бывшей Андрюшиной) комнатке. Она писала стихи и читала мамины любимые книги, беря их из большого книжного маминого шкафа в папином кабинете. Это были сочинения Гёте, Шиллера, Жан-Поля (Фридриха Рихтера), Беттины Brentano, Виктора Гюго. Она зачитывалась до глубокой ночи, а когда ее отрывали, звали – выходила

из своей комнаты с лицом отсутствующим и на вопросы или надменно отмалчивалась, или огрызалась. Она для своего возраста была большая, плотная, и Андрюша и я звали ее «Мамонтиха». На это она не обижалась, как и я на «Паршивка» (за худобу и небольшой рост), и звали меня также «Кропотунья» за еще не прошедшую страсть к мастеренью чего-то. (В моих пропавших вещах были письма Марины с обращением: «Cher Cropton».) Коробки и картонки с немыслимым содержанием все еще жили возле моего маленького (мамино) письменного стола.

В гимназиях у обеих нас ученье шло легко, отлично, но беспокойство характеров, резкие выходки создавали нам двойственную славу. Не помню, по какому случаю, но в каком-то гимназическом конфликте в нашем классе произошли волнения и споры; я примкнула к меньшинству. Была ли Аня против меня в этой истории? Я сама точно не знала, права ли я, – дело было сложно и смутно. Я боролась из страсти к борьбе, – бросала вызов. О нас говорили. Елена Николаевна пыталась уладить конфликт. К моему поведению в гимназии отнеслись неодобрительно, дело дошло и до нашей семьи. Кто-то из родных ехал в Тарусу, папе подали мысль отправить меня туда до конца ученья: «Догонит!» Мне вменили в обязанность летом пройти дроби – я обещала и уехала в Тарусу. Стояла сияющая еще до жары весна. Учить дроби? Я обещания не выполнила. Я так никогда и не прошла их. Поздней – как-то их поняла и, косолапо с ними обходясь (с «простыми» – самыми трудными), имела к ним даже некую нежность – за свою перед ними вину: никогда не пройдя их какое-то «перекрестное опыление» умножения или деления. Десятичные же – о них я позднее открыла Америку, – что нечего о них думать, они «просто как целые числа».



## **ГЛАВА 5. ЛЕТО 1908 ГОДА В ТАРУСЕ. МАРИНИНА ПОДРУГА. СМЕРТЬ МАЛЕНЬКОЙ СОНИ. С МАРИНОЙ У ОКИ. ПЕРЕПЛЕТНОЕ РЕМЕСЛО**

В это лето к Марине приехала гостить ее подруга Соня Юркевич: невысокая, голубоглазая, светловолосая. Она вместе с нами ходила по нашим любимым местам, мы катались на лодке, купались, жгли костры. Как всегда, заезжали за нами на своей большой лодке Добротворские – Саня и Люда, и мы то в их, то на двух лодках ездили по зеркальной в

тихие вечера Оке, и один конец ее (мой) был, как в детстве, золото-розовый, а другой – дымно-синий (Маринин), лило- [вый. То серебряный рог месяца, то рыжая полная луна Г колебали свое легкое водное отражение. И, как прежде, | неслась с чьей-то далекой лодочки все та же песнь «Чудный месяц плывет над рекою» – точно не было Нерви, Лозанны, Ялты... точно мы – те!

Стояли тихие, знойные летние дни. Марина проводила I дни с Соней Юркевич, я – с Лёнкой, давней моей деревенской [подружкой. Я еще в раннем детстве полюбила ее, на три I года меня моложе, за ее решительный гневный характер, за строгое личико, за темно-синие глаза и льняные волосы. Теперь она погрубела, заострилась, засмуглилась несходящим деревенским загаром. У нее, как у нас, умерла мать, давно болевшая. Домом правила полная, веселая Люба, но и она стала строже, деловитей после матери. С нами

теперь ходил! шестилетний Колька, белобрысый, черноглазый озорной, на все отвечающий поговоркой: «Охота была!» С нами он увязывался на качели на «сторожевской поляне», за нами в шалаш, за нами купаться, не боялся ни плотогонов, ни стариков и старух – богаделов и богаделок, которых в суеверном каком-то страхе избегали даже мы с Лёнкой. По-прежнему ходил, припадая на ногу, сухорукий, с желтобелой бородой, в ссоре нечаянно убивший огурцом в висок другого старика, отбивший каторгу Осип, и всегда внезапно, как большой гриб в рощице берез и осин, появлялась в синем широком платье старая Аграфена с больными глазами. Были и такие, что вовсе не выходили из дому. Жизнь шла, как годы назад.

Среди лета умерла младшая из сторожевских детей, трехлетняя синеглазая Соня. Вслед за Лёнкой я вошла в избу. Знакомая, душная смесь запахов – черного хлеба, щей, пота (ею пропахло все, даже дети) – встретила еще на пороге. Но теперь тут была толчея от женщин, говоривших притушенными голосами. В маленьком гробике лежал восковой ребенок, украшенный цветами, и в нем не было ничего сходного с розовощекой крикуньей Сонькой. Рёвер, мама. Это было в третий раз. Страшная метаморфоза смерти в жалобности нищеты была еще страшней в своей обнаженности. Моему возрасту это было почти не под силу. Я поспешила выйти на воздух. Солнце, синева, щебет птиц вернули мне

чувство жизни. Но в нем был стыд за себя. Притихший Колька не прыгал по скрипучему коридору, вдоль комнат богаделов и богаделок, проходил, шагая как взрослый. Мелькало заплаканное лицо старшей Любы, сумрачное -Семена. И вот мы идем по тропинкам между холмов высоко над Окой, вслед за маленьким гробом, под полуденным равнодушным солнцем. Я прошла со всеми на кладбище, но не помню ни могилы,

ни похорон. Я шла домой по крутой лестнице, земляной, которую лопатой вырубил (ступеньки крутые, порастают травой) давно Сережа Иловайский, -когда-то он с сестрой Надей гостил у нас в новой, для них сделанной пристройке, еще до Италии... (Потом из двух комнаток, новых, сделали одну - окна в жасмин. В ней болела и умерла мама...) По «Сережиной лестнице» Марина и я никогда не ходим: страшно на нее ставить ноги; ступени живые, а он - под землей, сколько лет.

- Марина, идем?

- Сейчас допишу...

Мы выходим на луг. Тишина. Справа - зеркальце болота. Через луг к пескам. Там особая речная тишь... Наше любимое место. Но далеко идти.

Таруса позади исчезла.

Берег крут, кое-где порос травой. Ложимся головой к краю на теплый песок и смотрим вниз, на воду.

- На будущее лето поеду в Париж, - говорит Марина, - непременно!

- А Тарусу не жаль?

- Жаль...

Жара. Далекий крик птицы. Плавные струи реки, справа налево, справа налево, против часовой стрелки.

- Марина, из головы не выходят стихи, чьи - не знаю...

Знойный день стоит над степью,

Чуть колыхнется трава,

Непрерывной длинной цепью Плавно реют облака.

- Не очень хорошие... - сонно отзывается Марина. - Какая это рифма «трава - облака»...

Уснула! Подбородок на руки, как пес.

На полуслове. Начинаю засыпать и я.

А в доме Тьо все было так же торжественно, мирно, ^ в нашем детстве...

Был летний день, когда мы переступали порог к Тете вся жизнь осталась по ту сторону тяжелой калитки

ее добротных и парадных ворот. Тут была своя жизнь, прочная, неколебимая, о нее разбивались все впечатления дня. Так было с детства, и оно не менялось. Детство, отрочество - здесь были равны. Пахло, густо, ромашкой. Заслышав шаги, Тетин пес залаял.

Марина критически оглядела мои расчесанные на косой ряд волосы, делавшие меня своей манерой лежать, при длинном носе, похожей на Гоголя, поправила воротник, «Идем?» На Марине было светлое платье, длинное, как носили тогда. Ее русые волосы были подняты надо лбом с напуском и заколоты. Я знала, что ей - как и мне - неприятно носить очки: помимо того, что это портит, стекла для близоруких уменьшают размер глаз. Но снять их, оказаться в тумане неясностей лиц и вещей было еще хуже. Так мы входили, удержав вздох, «в гости» - даже и к Добротворским: там было много людей - то Надин, то Людин, то их матери глаз скользили по нас, наблюдая. От этого мы были свободны, входя к Тете, - для нее мы были все те же Муся и Ася, как десятилетие назад. Надо было только, чтобы одежда и волосы были в порядке, все остальное пропадало в ее любви. Она была всегда неизменна, в нее мы входили как в нагретую комнату. Никаких наблюдений над нами тут не было, Тетя не наблюдала, она жила. Она сидела сейчас на террасе в белом фланелевом капоте с оборками и глядела поверх дедушкиных черепаховых очков куда-то вверх, - казалось, на верхушку ближней липы. Эта липа цвела, и в воздухе было блаженство. Тьо отдыхала.

После чая так же было прохладно в самую жару в спальне, где перед портретом дедушки стояли на полочке цветы «любим Манин анютин глазки». И начинались безутешные воспоминания о маме, о дедушке. С портрета смотрел углем написанный

высокий седой худой человек в шляпе, в сером пальто и с сигарой в руке. Мамин отец!

Раздавался мелодичный звон: венский шкафчик – часы.

В маленьких гостиных все так же мебель стояла в чистейших полотняных чехлах с оборками, два шкафа с сине-зелеными географическими полушариями на дверках; черный, годы,

после дедушки и мамы, молчащий рояль. И, зовя на воздух, в рай сада, на столе террасы темным золотом начищенной меди шар самовара. А за ним – кусты отцветшей сирени, клумбы, песок дорожек, глубь фруктового и липового сада, обнесенного высоким, непроницаемым забором.

Как встарь, Тетя сидит в своем пышном, оборчатом платье (фасон всех ее платьев – всегда один, давно уже без перехвата в талии, как у маленьких девочек, только до полу), гладко причесанными полуседами волосами и черной муаровой наколкой на макушке, спустив на кончик носа дедушкины черепаховые очки, полный двойной подбородок. Обняв нас крепкими полными руками, она рассказывает нам о тарус-ских – и уездных – бедняках, просящих ее помощи. Это было – как будто из хрестоматии: «Pauvres gens! On doit les plaindre! Le bon Dieu veut que les uns aident les autres. Grand-papa me le disait toujours!»<sup>1</sup>

Папа ездил по делам Музея за границу, с нами побыл недолго. Но когда приезжал в Тарусу на отдых – брал лопату, шел в огород и работал там с увлечением.

Лёра тоже бывала в Тарусе неподолгу, ездила летами в самые разнородные места, – я запомнила из ее позднейших поездок – и Лондон, и Крым, и Алтай, где она скакала верхом по диким местам со старым, опытным проводником.

Как и год назад, Марина и Андрей, уехали в Москву к началу гимназических занятий, а меня оставили еще

пожить у Добротворских. На осенних хлебах – яблоках, сливах, грушах, на отличном домашнем столе Добротворских -молоко, масло, творог от своих коров, яйца от своих кур, смоквы и мармелады своего изготовления. Живя у Добротворских, я выразила желание учиться переплетному ремеслу. Папа дал согласие, и Елена Александровна пригласила старенького тарусского переплетчика – давать мне уроки переплетения. Но чем более я увлекалась процессами склеивания и обрезания книг, тем прохладней относился к моему увлечению старичок переплетчик. Вскоре Катя, прислуга Добротворских, открыла этот секрет: бедный старичок встревожился, что растит себе конкурента... Смеясь, я старалась разрушить его подозрения.

1 Бедные люди, их надо жалеть. Бог хочет, чтобы одни помогали другим. Дедушка мне это всегда говорил (франц.).

Грела переписка с Аней и Галей, конвертики их писем ожидания встреч с ними, и все шире раскрывалось множество книг моему пониманию. Я читала недочитанное у Тургенева, влеклась к Ирине из «Дыма», за ее, как мне казалось, «таинственность». Жалела Джемму, ненавидела Марию Николаевну из «Вешних вод», тянулась к Асе, к Зинаиде из «Первой любви». День был полон через край! Сад шуршал упавшей листвой. Уютно было засыпать в Людиной комнате с Катиным котом в ногах. В кухню к Кате и Маше я часто ходила, грелась в их тепле и уюте. За перегородкой, за русской печью была их комнатка, две пышных постели с горой подушек и ватными одеялами, за окном бушевала непогода.

К моему дню рождения папа в Москве подарил мне полный набор переплетных инструментов – большие деревянные тиски на деревянных винтах; помню круглый нож, помню из них и другие ножи, и то, как

трудно было обрезать книги и зажимать их в тиски. Может быть, оттого и продлилось это увлечение недолго и недолго моя комната пахла столярным клеем и переплетным коленкором. Я вернулась к более женскому занятию - выпиливанию, которому сопутствовал любимый аромат древесной свежей пыли из-под узоров распиливаемой тончайшими пилками фанеры - пилки продавались десятками разных номеров, они легко звенели, и советом мне помогал Андрей. Марина ко всему этому была совсем равнодушна. В эту осень нам минуло: Марине шестнадцать, мне четырнадцать лет.

# **ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ МОСКВА И ТАРУСА ГЛАВА 1. ПЕРЕВОД «ОРЛЕНКА» МАРИНОЙ. УВЛЕЧЕНИЕ НАПОЛЕОНОМ. ЗИМА**

Когда начала Марина свой перевод «L'Aiglon» (Э. Ростан, «Орленок») – может быть, еще в конце лета, в Тарусе? Всю зиму своих шестнадцати лет она от него не отрывалась. Каждый свободный час она проводила за тетрадями в своей маленькой комнатке, у окна, за подаренным ей папой большим, мужского фасона, письменным столом с темно-красным сукном. В ту ли осень она выбрала обои для своей комнаты? Темно-красное небо, усыпанное маленькими золотыми звездами. Между столом и стоящим у противоположной стены, параллельно, диваном помещался только стул. Тут Марина, забыв обо всем, день за днем, и часто глубоко в ночь кидалась в бой несходства двух языков, во вдохновенное преодоление трудностей ритма и рифмы. Любимейший из героев, Наполеон II воплощался силой любви и таланта, труда и восхищенного сердца, – в тетрадь. Перевоплощался из французского языка – в русский. Все более кованный, с каждым днем зревший стих наполнял ее волнением. Встав, она шла ко мне: «Кончила акт! Послушай...» Она ценила мое одобрение ее труду и восхищение героем, который был не моим, а ее кумиром, которого я не оспаривала. Но, читая, сердце ее, быть может, не раз падало, как в детстве, непереносимой ревностью, страхом, что я, другая, по-



настоящему полюблю «Орленка», что он будет не только ее?

Чувство естественного, диктуемого благородством, отречения предполагалось, полагалось во мне – сейчас первой, привычной слушательнице Марины, ее перевода торжественных и трогательных строк Ростана.

Ревниво оберегала она и само дело перевода от случайных глаз и слухов. Сейчас для нее не существовало ничего, кроме «Орленка» и ее работы над ним. Она выписывала из Парижа, через магазин Готье на Кузнецком все, что можно было достать по биографии Наполеона, -тома, тома, тома. Стены ее комнатки были увешаны его портретами и гравюрами Римского короля, герцога Рейхш-тадтского. Марина любила первую жену Наполеона, смуглую Жозефину, и ненавидела мать «Орленка», вторую жену Наполеона – «белобрысую» австриячку Марию-Луизу, для которой, чтоб иметь сына, он должен был оставить любимую, но бесплодную Жозефину. Боль, с которой говорила об этом Марина, и боль, с которой она удерживала себя от слов, -были равны. Словно о себе она тосковала, с такой страстью вжилась она в судьбу Наполеона! Кого из них она любила сильнее – властного отца, победителя стольких стран, или угасшего в юности его сына, мечтателя, узника Австрии? Любовь к ним Марины была раной, из которой сочилась кровь. Она ненавидела день с его бытом, людьми, обязанностями. Она жила только в портретах и книгах. «L'imagination gouverne le monde!» («Воображение правит миром!») – повторяла она слова Наполеона. И тотчас же... «Et j'ignore absolument ce que je saurais être dans l'action» («И я совершенно не знаю, чем бы я смог быть – в действии» -слова его сына).

(Это двойное утверждение было взято Мариной эпиграфом в ее первую книгу стихов «Вечерний альбом».)

Поглощенность Марины судьбой Наполеона была так глубока, что она просто не жила своей жизнью. Полдня запершись в своей узенькой комнатке, увешанной гравюрами и портретами, оружейная французскими книгами, она с головой уходила в иную эпоху, жила среди иных имен. Все, что удавалось достать о жизни императора Франции, все превратности его судьбы, было прочтено ею в вечера и ночи неотрывного чтения. Она входила ко мне и читала вслух, половину уже наизусть зная, оды Наполеону Гюго, показывала вновь купленную гравюру – Наполеон на Св. Елене, перевешивала на стену у своего стола овальный портрет отрока Рейхштадтского, знаменитый портрет Лоренса – нежное личико мальчика лет девяти, с грациозной благожелательностью и с недетской печалью глядящее из коричнева

ватых волнистых туманностей рисунка, словно из облаков. Ни одна из жен Наполеона, ни родная мать его сына, быть может, не оплакали их обоих с такой страстной горечью, как Марина в шестнадцать лет!

Быт, окружавшие ее люди – все было вдали. Все было только помехой к чтению. Лишь вконец устав, она выходила из своей комнаты, близоруко щурясь на всех и вся, с минуту смотрела, слушала, уж вновь готовая уйти в себя и к себе.

На Кузнецком, у Готье, ей сообщали о новой присылке книг из Франции, о выписанных ею трудах. В предвечерние часы мы нередко ходили туда, вспоминая маму, подходя к книжному магазину Вольфа, куда мы ездили с ней в детстве. Синева дневного неба опрокидывалась в зеленоватую бирюзу сумерек, по ней вспыхивали бледные янтари фонарей. Розовые шары света висели над входом в кондитерскую Сиу. Мчались санки, засыпая снежной пылью прохожих. В светлых витринах Аванцо и Дациаро пылали, в тоненькой окантовке, в багетных рамах, цветные репродукции

картин европейских мастеров. На миг и Марину подхватывало волшебство вечера. Уже темнела синева небесного шатра с первой звездой, далеко несся гудок куда-то уходящего поезда, в острый морозный воздух врывалась струя весны.

Иногда – и все чаще – мы шли в синематограф. От картин тех лет в памяти – светлый туман. Каждый наш поход туда погружал нас в романтику, обогащал еще одной печалью, трагедией еще чьей-то судьбы. Проходило несколько дней, и Марина снова входит ко мне. Постоит у раскрытой форточки, лицо – в клубы морозного пара. Помолчит. Отойдет. Знаю, она вспоминает маму. Как передаваемый пароль: «Тоска, а?.. Хочешь, пойдём в синематограф?» И мы шли.

Только в присутствии посторонних она не говорит: «Тоска, а?» Подходит к печке и делает на изразцах руками свою всегдашнюю тень «гуся». (Она говорит «лебедь»!) И я сейчас же своего «кролика». Спорим, чья тень лучше. Но галантно друг другу: «Твоя!»

Всегда внезапно, всегда вечером и всегда зимой раздавался звонок, и входил Дмитрий Иванович Иловайский. Он снимал громадную шубу, горничная вешала ее – от вешалки оставались видны рожки и ножки, – проходил залой, гостиной, к папе в кабинет. Там долго раздавались их голоса. Летом я никогда не видала Лёриного и Андрюшиного дедушку. В

другом одеянии, кроме шубы, мы представить его себе не могли. Этим только я могу объяснить, что в своем гротескном описании открытия Музея Марина в жаркий последний день мая старого стиля описала его – в шубе. И – кстати о шубах. Я ходила в переделанной мне из приданого его дочери Варвары Дмитриевны синей шубке. Подкладка была темно-коричневого, старинного шелка, и по нему, как звезды в небе, множество пуговиц того же коричневого цвета. Под ними, между синим верхом и подкладкой, был лисий

мех, Видимо, он лез, и его обезвредили этим шелком. Я, равнодушная к внешней нарядности, не интересовалась этими переделками, – тепла, уютна – и все... Но любила спросить: «Угадайте, чей это мех?» (подымая уголок подкладки). «Белка? Волк? Кенгуру? Лиса?» – отгадывали спрошенные. «Нет, – торжествуя, говорила я, – все равно не угадаете! Это мех историка Иловайского!..»

Уже давно все мы спали, а в кабинете горели под абажуром две свечи, папина седая голова наклонялась к бумаге, рука с двумя обручальными кольцами привычно-быстро выводила – каждую отдельно – буквы, напомиравшие славянскую вязь. «Удивление в этой мраморной части Музея возбуждают монументальные наличники дверей, ведущих в Главный зал и в два боковые зала (в залы Олимпии и Пергамский)...»

В пристрастии папы к свечам, может быть, крылось его стремление к благообразию, так часто нарушавшемуся нашими керосиновыми лампами, которые мы оставляли гореть, выходя из своих комнат; разгораясь, они коптили черным снегом, засыпая все вокруг. В папином кабинете было холодно, но чисто, за окном летел белый снег.

«Стужа в моем доме такая, – писал папа архитектору Музея Клейну, – что существовать мне внизу становится тяжело; лишь детям на антресолях тепло и уютно. Я же сижу в валенках выше колен и в осеннем пальто и – окоченелый».

Наступали рождественские дни. Холод в нижних комнатах резко подчеркивал тепло нашего верха. Окна в зале, гостиной и кабинете обрастали изнутри льдом и опушкой снега. Но нас, находившихся внизу неподолгу, красота сталактитовых палм по снежным россыпям алмазных искр – хватала за душу; стоишь и не оторвешь глаз!

Папа ходил в теплом халате. Где был теперь мамин меховой мешок, куда она в холода ставила ноги, сидя перед своим письменным столом у лампы с зеленым фарфоровым абажуром? Вот бы папе... Но искать что-нибудь в нашем доме, где мало людей и много вещей, было напрасно. Выходя на улицу, мы тоже надевали валенки, то - чесанки, черные, тонкие, купленные нам папой, с галошами, то - толстые для снегов, годные и для Тарусы. (Иногда нам их подшивали, и мы особенно их любили, как старых друзей.)

## **ГЛАВА 2. В ГИМНАЗИИ ПОТОЦКОЙ. ЗИМНИЕ ДНИ. ПОДАРКИ. МАМИНЫ ДНЕВНИКИ**

Гимназия, куда я с третьего класса вступила, была первой моей русской школой. Мне не с чем было ее сравнить. Как я жалею теперь, что по молодости не отдавала себе ясного отчета о том месте, какое занимала либеральная гимназия Потоцкой среди московских средних учебных заведений, и не осознала всех ее особенностей для моего будущего. Из класса в класс экзаменов у нас не было, отметок не ставили

- чтобы не ради них, а ради знания учились учащиеся, отметки об успеваемости учителя делали у себя. На все эти нововведения начальство косилось, и выпускные экзамены в нашей гимназии происходили в присутствии представителей учебного округа, которые к выпускницам - придирались. В гимназии Потоцкой была широко развита самодеятельность

- каждый класс в содружестве с учителями устраивал вечера: один класс - вечер Древней Греции, другой - вечер Средневековья, третий - из эпохи Древнего Египта; пьесы для этих вечеров писали учителя, ученицы разыгрывали их. Ставились отрывки из Фонвизина, сцены из «Горя от ума». Но, может быть, не только на выпускных экзаменах проявлялся недоброжелательный интерес свыше - к оппозиционным настроениям нашей гимназии. Слишком резко порядки ее и обычаи отличались от другого, правительственного типа гимназий.

И вот в гимназии Потоцкой пронесся слух об одном из преподавателей старших классов, что он «шпик». (Может быть, даже провокатор?) По гимназии шли толки. Имя было громкое, известное в Москве. Помню его – худенького, бесцветного, спускающегося по лестнице Ане и мне навстречу. «Знает?» – думалось мне в то время, как мы взбегали

через ступеньку (широкие, каменные – вверху поворачи-вающиеся, плавно) в торжественном старинном доме Сама-риной.

– Знает, что мы знаем?

Навстречу нам шла шестиклассница Надя Крандиевская известная в гимназии своими талантливыми скульптурами. Она недавно вылепила Брандта, героя ибсеновской пьесы, шедшей в Художественном театре. Полная, розовая, русая, с пристальными синими глазами. «Шестидесятница?!» – с улыбкой сказала она мне – мою прошлогоднюю кличку – и тем отвлекла меня от мысли об услышанном. Подтвердился ли слух? Ни развития, ни развязки этого я не помню.

...Зима шла. Поверх меховых шапочек – шерстяные платки того цвета, где сливаются серый с коричневым, – от него еще нежней лепестки розы на Марининых щеках. Я знаю, как она страдает от них, как она их ненавидит, как она старается меньше есть, совсем мало ест, к папиному огорчению, льет себе в еду уксус... Но каждый бы залюбовался этим румянцем на нежной белой коже, зеленью ее глаз (на морозе она снимает очки) под мехом шапки, серебряным от инея. И все в инее! Деревья двора Палашевской церкви, которым выходим на Тверскую, в белых коралловых зарослях, сегодня от мороза туман, небо не синее, а серо-розовое, за ним стоит почти малиновый шар солнца, от холода – без лучей.

Под руку, носы в меховые воротники – мы идем по Тверской, как и все, возбужденные близостью елки. В замерзших окнах, в оттаявших местах – как в детстве, ангелы с золотыми трубами, Дед Мороз (медведь между елок!), елочные украшения, гирлянды серебряных и золотых дождей, сверкающих голубых, зеленых, малиновых шаров. На прилавках – золотая бумага. Покупаем – будем клеить цепи. «А помнишь!» Только еще сказала Марина, а я уже в один голос с ней: «Лозанна, магазин «Моск’а», письма маме!» Вздох, два нутра. И, жадно гася тоску, топча ее, чтобы не задушила, кидаемся в выбор покупок: подарков себе и друг другу, делая вид, что все себе, тонко играя в счастье обладанья вещью, чтоб та поверила, что это не ей, скромно, ответно, опущенные глаза – кто кого переиграет? Не для себя же играешь, не в свою гордость, для нее, чтоб она поверила, что ты не догадываешься...

Цветные палочки сургучей, коробки почтовой бумаги с серебрянкой по краю, с двумя колокольчиками у левого уголка, серебряными, или с одной лиловой фиалкой -Маринины французские, наполеоновские (и он же в одеко-лоновых флаконах в аптекарских магазинах). Костяные разрезательные ножи всех размеров и видов, чернильницы, бювары, толстые кожаные книжки в одну линейку, для дневников – весь волшебный аксессуар нашей жизни. Увешанные пакетами (долго копили деньги!), идем вниз по Тверской, мимо Елисеева и Филиппова, мы сейчас свернем к Столешникову, туда, к магазинам Аванцо и Дациаро. Там бывают гравюры, Марина будет искать что-нибудь о Первой империи и рамку для портретов Жозефины и маленького сына Наполеона.

Огромные цветные шары фонарей, розовых и голубоватых, делают улицы сказочными. Пожимаясь от мороза, радостно входим в гостеприимные хоромы



художественного магазина; где у длинных витрин любители и знатоки рассматривают и выбирают репродукции с портретов – все богатство картинных галерей Европы. А я – я бросаюсь в россыпь своего нового увлечения: серия открыток с картин Баллестриери (кто еще теперь помнит их? Целая эпоха в жизни таких вот и постарше девочек, как была тогда я). Их двое – везде, эти вечные он и она, и от их «вместе» куда-то падает сердце. Смотришь на них – и ты уже не у Аванцо, а там, в том вечере в театре Корша, – «Эрос и Психея»... Но как же похож он на Кобылянского, Тигра, – темный, волнистые волосы, борода. (Но как не похожа на маму – она!)

Марина зовет меня. Она отобрала, что ей нужно. «А ты?»

– «Я?» «Не сейчас, – думаю я, -, в другой раз...» «Я ничего не нашла (притворно равнодушно). Идем?» А на посиневшей улице мороз еще крепче.

– Магия вечера! – говорит Марина. – Пойдем выбирать пейзажи или завтра? – Завтра. – Замерзла? – Нет, я... – Я подымаю глаза. Профиль Марины – как резцом на гравюре: горбинка носа, что-то с той картины, где вполоборота, молодой Бонапарт на фоне знамени. Я сразу забываю о Баллестриери, потому что в такт шагу раздается упоенно-мечтательное, торжественно-упоенно: «Je voudrais que mes cendres reposent aux bords de la Seine, – пафос наполеоновских слов почти перехватывает голос Марины, – au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé!»<sup>1</sup>

Валенки глушат наш – он чеканен, в такт стихам, шаг. О, это еще более торжественно, чем то, когда Людовику XVI докладывают о шуме, о толпах народа на улицах, и в ответ на его еще не растерявшееся, еще только недоуменное: «Mais,, mais c'est une revolte, cela!» – раздается медленное, беспощадное, упоенное: «Non, Sire, c'est la Re-volu-tion!»

И когда, как в этом «завтра», Марина без меня пошла и купила всю серию Баллестриери? Положила мне под подушку! Я стала ложиться и (Как она поняла? Я же ничего не ска...). Мы сдержанно сияем, обе! («Сдержанный человек»,

- сказала, годы спустя, Марина, - это значит, есть что сдерживать».)

Этой осенью или зимой к нам поступила в дом экономкой Евгения Николаевна Вязьмитинова - маленькая, худенькая, смуглая, горбоносая. Ее карие глаза, большие, с тяжелыми веками, имели в себе что-то трепетное и печальное. Не лишенная веселости, она была очень скромна, несла с собой атмосферу чинности и уюта - не внешних.

Такого человека на нашем веку еще не было в нашем доме. И судьба ее была примечательна. Она рассказала нам ее - беззлобно, как поучительный случай, будто не ей он разбил начертанный ею себе «идеал» жизни.

Оставшись сиротой, она в шестнадцать лет, воспитанная в религиозной семье, задумала идти в монастырь.

Узнав о ее мечте, пожилая женщина, назвавшая себя монахиней, обещала ей помочь вступить в монастырь. У Евгении Николаевны после родных было полторы тысячи. Доверчивая девушка поехала с неизвестной женщиной. По дороге в монастырь они заночевали в гостинице. Когда Евгения Николаевна проснулась - спутницы ее не было. Исчезли и деньги.

С тех пор - уже около трех десятилетий - вновь жила она по людям, стараясь скопить нужную сумму. Комната Евгении Николаевны (бывшая девичья, внизу, у черного

1 Я бы хотел, чтобы прах мой покоился на берегах Сены, посреди народа французского, который я так любил! (франц.).

хода) стала самой уютной в доме. В ней горела лампадка перед образами и было много бумажных икон, изображавших жизнь святых. Был особый запах здесь – цветы ли пахли на окнах или была смесь запахов, – казалось, именно так пахнет в монастырях. Горела печь, трещали березовые дрова. Все любили заходить в этот уголок – и мы, и горничная, и кухарка – старая горбунья, ласковая Татьяна. Со всеми была внимательна Евгения Николаевна, А когда кончались заботы дня – она шла в залу, к роялю, и оттуда по дому лились наивные, как ее цветочки на окнах, звуки «Молитвы девы» и других старинных мелодий.

Как и когда черные толстые книжки маминых дневников попали нам в руки? Мы читали их и оживали в маме, и она оживала в нас. Папа, разумеется, не знал об этом. Их было, думается, девять. В одной из них, более тонкой, была история маминой любви, в ее семнадцать лет, к некоему «С. Э.», артиллерийскому офицеру. Мелкий, тонкий, наклоненный, остробуквенный почерк мамин рассказывал об этой первой любви. В знакомом, четком, тонком, без помарок, почерке, пережившем маму, билась кровь сердца – и наша кровь. Было почти физически больно читать. Но и нельзя оторваться.

Нет, С. Э. не походил на Лаврецкого – как мне тогда казалось. Много больше – на князя Андрея Болконского, думаю я теперь. Г о р е ч ь в нем была и тонкость суждений. Судьба же сходная с судьбой Лаврецкого – такая же жена, не дававшая развода, решила мамину жизнь. Пять лет тосковала мама о С. Э. В дневнике был адрес няни С. Э., данный им маме при расставании, – «там всегда сможете обо мне узнать». Годы спустя мы, в двадцать – двадцать два года, давно уже замужем, вдруг пошли по этому адресу искать следы этой няни... Но и дома-то того на Молчановке уже не было... Только, идя к Драконне, мы молча обертывались на

полукруглый угол дома – вход по лесенке в аптеку Мерзляковского переулка: тут в последний раз встретились, лет семь спустя, мама и С. Э. У мамы уже была Марина, она сказала ему об этом. И что муж ее – ученый, профессор...

Другие книжки дневников последовательно говорили о маминой жизни с папой, о ее ревности к умершей Варваре Дмитриевне, о смерти бабушки, о нас – маленьких. О Марине, о ее раннем развитии...

Самая последняя книжка кончалась словами: «Мне 32 года, у меня муж, дети, но» – дальше была густая шерстка аккуратно вырезанных листков. Кто-то – Лёра? – сказал нам, что их вырезал папа...

Сквозь туман морозных узоров уже виднелись в окнах особняков мохнатые тени елочных лап. Завтра эти елки будут лить на улицу сиянье свечей. У нас тоже извлекались из глубин стенного шкафа (в коридорчике к спальне) вороха коробок с шарами, цепями, дождем, золотыми и серебряными картонажами, от них пахло пылью и детством. Угрюмо-насмешливый, а в сущности добрый и застенчивый Андрей слетал по лестнице с каким-нибудь замечанием и, унимая примчавшуюся за ним прыжками собаку, дразнил нас маленькими деточками, которым делают елку, задевал по голове меня, «Бэбу», спорил, что мало цепей золотых – «куда задевали?», сгрызал прошлогодний, забытый грецкий орех и уносился наверх, в свое мандолинное одиночество, радуясь, быть может, не менее нас и не меньше, чем в детстве, что

– Рождество... Но «держал фасон», с гордостью восемнадцатилетнего и деловито собирался в Тарусу, куда мы на Рождество никогда не ездили – мороз, неуют пути.

Но зато – как цвело упорное счастье мое и Марины, когда, прожив всегда немного стеснительные часы самого воп-лощенья праздника, семейного, мы

просыпались наутро, освеженные и умиротворенные сном, заново, как будто в первый раз – а может быть, еще сильнее потому, что в который, – вplывая из сна в явь осознания наставшего наконец праздничного утра (после тягот, приготовлений, ожиданий, суеты накануне)... Тишина праздничного утра в доме была достоянием – нашим.

Не вставая (Марина в такие дни приходила спать в мою комнату), окружив себя купленными и перекрестно подаренными сокровищами, ластя о них глаз, мы блаженно проваливались в начало первой выбранной книги, уносясь в другие века.

«Хочешь конфет? – окликает меня Марина. – Я уж не могу больше!» – «Я тоже». – «Вставать будем?» – «Давай, я сейчас дочитаю...»

Дворник нес дрова топить печь.

Медленно водит Марина ручку в маминой желтой музыкальной шкатулке, уже льется водяная россыпь звуковых искорок – точно кто-то нажимает сердце, почти боль, так знакома мелодия, так грозно встают дни, когда она так же струилась из этого волшебного ящичка, мама чудится в нем! Мама, которой нигде нет! Я босиком бегу к другой, Андрюшиной музыкальной шкатулке, ищу жадно, ставлю круг, выбранный, пускаю серый металлический круг кружиться под вертящейся сбоку «бабочкой», исчезающей от быстроты, как исчезают спицы колес. «Toreador, prends garde a toi...» Кармен сжигает с пути все виды тоски. Мы выброшены ' из себя, спасены!

## **ГЛАВА 3. ТРАВЛЯ ПАПЫ МИНИСТРОМ ШВАРЦЕМ. В ТЕАТРЕ КОРША**

В январе 1909 года в Румянцевском музее обнаружилась покража гравюрных листов.

В одном из антикварных магазинов Москвы великий князь (его имя не помню, – знаток гравюр, он искал там чего-нибудь для своей коллекции) рассмотрел недоуничтоженные признаки принадлежности гравюр Румянцевскому музею. Энергичные меры, предпринятые папой, раскрыли, что следы ведут к некоему Кознову. Знакомый Шурова, хранителя Музея, Кознов сумел вынести из особого зала для чтения, куда пускали лишь доверенных читателей, ценные гравюры – и продать их!

Несмотря на то, что папа добился возврата трех четвертей похищенного, вокруг папы поднялась травля.

За созывом экстренного Совета музеев последовало донесение министру просвещения Александру Николаевичу Швар-цу.

В прошлом папа и он учились одновременно в университете. Но папа жил скромной жизнью студента-труженика, а Шварц был совсем иного типа человеком. Денег ему всегда «не хватало», и он согласился на предложение товарищей – собрать денег по подписному листу, ему в помощь. Папа об этом знал, Шварцу в этом деле помог. Этому теперь Шварц забыть – на министерском посту не мог, как человек малодушный и подлый. Не имея никаких научных заслуг, он карьеру свою сделал с помощью светских связей. Он принялся за дело преследования папы – со рвением. Назначили

ревизию, поручив ее князю Чегодаеву, человеку в делах науки и искусства малограмотному. Какой только

лжи не писали в газетах! Травля разрасталась. Папа вел себя с большим достоинством и мужеством, но тяжело переживал клевету. Директора обвиняли в небрежности, нерадении.

Все время, в течение которого продолжалась безобразная ревизия, полная несправедливых обвинений, папа приходил домой еще позднее обычного, обессиленный, и с горечью рассказывал нам о новых огорчениях и о своих попытках к вынужденной самозащите.

Такое говорилось о папе, отдавшем столько лет и сил Румянцевскому музею, - энергии, благодаря которой Румянцевский музей обогатился многими ценностями и, недавно, еще большой Солдатенковской коллекцией. Папа впервые в Музее ввел порядок - директору являться на службу с часа его открытия наравне с низшими служащими. И не было грязи, которую бы не лили теперь на него, и в травле принимал первейшее участие министр народного просвещения.

Помню взволнованные приезды младшего брата папы дяди Мити, его негодование, их беседы. Все папины друзья, профессора Яковлев, Грушка, Романов и многие другие, навещали нас, выражая свое сочувствие.

В ответ на безграмотную и ложную ревизию папа, не щадя ночей, написал пространный ответ - опровержение, где доказал неправоту возводимых на него обвинений, и собирался печатать его в виде объемистой брошюры. А в это время министр Шварц прислал папе недопустимого тона приказ, где предписывал в трехдневный срок подать в отставку. Помню, как папа, взойдя к нам наверх, сообщил нам это. Мы старались, как могли, утешить его, хоть ласковым словом, его поддержать. Папа, скромный профессор, приказу министра не подчинился, в отставку не подал и

разослал в соответствующие инстанции (из них помню Сенат) свой ответ на клеветническое обвинение. Чем, однако, кончится все это дело, было еще понять нельзя.

Мы старались быть внимательными к папе, но от застенчивости, от неумения выступить в такой взрослой роли

- смущались. М а м ы не было! Она была нужна ему в эти дни...

Иногда мы ходили в театр Корша и покупали билеты. Почему из нескольких пьес, там виденных, я запомнила «Дети Ванюшина?» Трагедия нестройной семьи, двух поколений, в ином бытовом плане разрешившаяся, чем-то напоминала нескладность и нашей семьи, мало слитой (кроме нас с Мариной) друг с другом. Там было - все куда бросче, грубей, примитивней, даже с элементом пошлости в молодежи, нам чужой. Но что-то роднило: «щуки, раки, лебеди» наших двух этажей - папа с его Музеем, латынью и греческим, Андрей с мандолиной, охотничьим псом и ненавистью к латыни, Маринины стихи, ее немецкие и французские книги, мой каток и подружки, Роденбах, Лермонтов, которого я начинала уже по-настоящему любить, и Лёрины ученики, ее воскресная школа и выставки, ее «прочь из дому», от всего старинного, прошлого, которое так лелеяли Марина и я...

Любили ли мы театр? О, да! Игру актеров? О, нет!

В игре почти каждого была фальшь, срыв и безвкусица. Иногда было стыдно смотреть... и всегда жалко актера. Само дело заключало в себе порок: играть кого-то, играть роль (не свою). И конечно, нравилось, когда что-то тут удавалось актеру! Были тронуты, аплодировали вместе с толпой, (Милый, сумел что-то!) Да, но как плохо ни играли в театре, в самом театре было волшебное начало, с детства любимая тайна. Глубины партера сверху (куда Муся в детстве кидала апельсиновые шкурки). Висячие Семирамидины



сады -ложи... Подвешенность – балконов, амфитеатров (элемент римского цирка!). Гаснущие люстры, бра, фееричность театра, встречавшего нас как соучастников (что бы там в нем ни шло!). Пьеса всегда была в придачу к театру, к самому факту его существования, подарочного, в котором никому, конечно, не было дома так, как – нам. (Выход из домов, в никуда, во все, в то, что снится.) Театр – это всегда все та же «Спящая красавица», которая спит, век за веком, сто лет, все никак не может проснуться! В своем зеленолиственном темном и паутинном лесу. Тот же принц, не могущий найти, – все ищет! Красавицу! (А когда нашел – занавес, и всем сразу пора домой.)

Выходя и входя – «и зачем только вышли из дому!». Этот вечный шепоток сердца! Дома ведь Лес – вечен. Сон -недоснился! Там-то ведь нет этой последнеактовой лжи, что принц – принцессу нашел! «Свадьба!» Свадьба, поглощающая

всю сказку, вместе с театром и занавесом, тьмой, трепетом люстр, как великан глотает корабль. Точно и не было ничего – одна свадьба! И плетешься на свой вековечный верный (как пес) чердак, в свое несвадебное, яростной мечты одиночество!

Наше же одиночество, двойное, сиамско-близнецовое, гонкуровское, было еще странней. Как странней, чем «на чердак» (тоже поза, актерская?) – возвращаться на «рядом, бок о бок с чердаком!». Дверь на чердак была прямо, а к нам – направо, в бывшую детскую, под углом – общая с детской, чердаковая стенка...

## **ГЛАВА 4. МАРИНА. ПЛАТЬЕ С СУХАРЕВКИ. ВСТРЕЧА С БРЮСОВЫМ**

Ни для кого, кроме родных, так не грянула весть о смерти матери Варечки Изачик, тарусской приятельницы, Анны Ивановны Изачик, как для Марины. Она затосковала по умершей, долго болевшей, еще не старой, незнакомой ей женщине, с одной Марине свойственной силой. Эта боль пала на нее как настоящий недуг. Все отошло, все стало только помехой. Так не было с Мариной давно – с дней смерти Нади и Сережи Иловайских. Отсутствующими глазами смотрела она кругом, еще больше уединялась, еще круче сторонилась всех. О, но если бы задел ее тут кто-нибудь вопросом, насмешливым словом, – если бы посмел Андрей,

– Марина бы кинулась всей собой в драку, мертвой хваткой, без слов, в молчаливой ярости молотила бы ненавистного врага...

Взрывы гнева – это была стихия, Маринина. Другая стихия

– застенчивость. Мученье стесняться было почти не под силу: взойти в чью-то гостиную, где люди, в сеть перекрестных взглядов, под беспощадно светлым блеском ламп, меж ненавистных шелковых кресел, ширм, столов под бархатной скатертью – было почти сверх сил. Окаменев, готовая себя разорвать за то, что снова покраснела до корней волос, она шла как на казнь, с недвижимым – ни один мускул! – лицом, опустив глаза, почти прекрасная в эти минуты! А на нее, наблюдая, глядели. Ох, если б она подняла глаза! В них было бы что-то от взгляда древней Медузы. Белая

раскаленность презренья! Замученность чуждостью окружающего. Стать! Моя дорогая Марина...

Весной 1909 года мы поехали с Лёрой на Сухаревку. В детстве нашем мама покупала там томики немецких стихов, очищая их затем действием формалиновой лампочки. Лессинг, Гейне, Улаид... Теперь мы ехали «посмотреть». Зрелище огромного базара с лавочками диковинного разнообразия и над ним сама мать-старина, Сухарева Петровская башня, уступчатая (красная, помнится), островерхая. Крики зазывания, вся история Москвы еще жила в этом смешении кусков роскоши и скарба! (Тут, думаю, был и Диккенс...) И вот тут Лёра выбрала мне... прелестное кремовое шелковое платье

- легкое, как лепесток, все из оборок, - платье из сказки!

- Папе, Настаська, не говори, где купили, рассердится, запретит, - скажет, опасность заразы. А мы его дадим в чистку - и будешь в нем картинка... - сказала Лёра. - А спросит, скажу - из сундука моей мамы...

И через неделю я «блистала» - кудри, шелковые воланы

- в упоенье от новизны быть не девочкой, а мотыльком. И пришедшая в гости Анастасия Дмитриевна Модестова, дочь папиного умершего друга, сказала, любуясь, Марине: «Ваша сестра - как севрская статуэтка в этом чудесном старинном платье... И эта весна кругом...» Мы незаметно переглянулись... «Да, оно все лежало в сундуках, - ответила Марина,

- дождалось Аси!»

Так мое первое шелковое платье в четырнадцать лет пришло в наш старинный дом с древнейшей московской толкучки, окутанное строгой тайной. А. Д. Модестову Марина и я полюбили, и она - нас. Ее несколько визитов к нам, закреплявших крепкую

дружбу наших отцов, до сих пор в памяти. Тонкая, круглолицая, смуглая, черноглазая, выросшая в Италии (дочь итальянки), – она была нам привет из Нерви в весенние московские дни. Как было легко с ней, как радостно! И ей было хорошо с нами.

Пахло тополями. «Верба» с «тещиными языками» и калеными орехами! Моченые яблоки – все позади. Скоро Пасха с гиацинтами меж окорока, кулича, крашенных яиц, треугольной творожной башни.

В один весенний день я ехала на трамвае по бульварному кольцу «А», как часто, с книгой стихов. На этот раз это был сборник Брюсова. Перевертывая страницу, я подняла глаза и заметила, восхищенно, с испугом: напротив меня сидел Валерий Брюсов. Я знала его по портретам. Перебарывая

сердцебиение, я, будто глядя в книгу, а на деле – наизусть начала вполголоса (а когда шум трамвая заглушал, то и громче) читать – в воздух – его стихи:

Близ медлительного Нила, там, где озеро Мерида в царстве пламенного Ра,

Ты давно меня любила, как Озириса Изиды, друг,  
царица и сестра,

И клонила пирамида тень на наши вечера...

И я продолжала читать вслух.

Брюсов не мог не слышать, не узнать своих стихов. И он не смог скрыть этого. Его лицо стало встревоженным, вспыхивало – он не знал, как повести себя. Я – и жалела его, и забавлялась. Я понимала отлично, как мой вид – девочка в очках, с волосами до плеч – полнил его недоумением. Наконец он не выдержал – встал и направился к выходу. Я встала тоже. Я уже проехала свою остановку (Страстную площадь), но ему (я знала от Эллиса, он живет на Цветном бульваре) было рано выходить. Мы молча выходили вместе. Тогда я, от волнения взмахнув своей (длинной, с капюшоном) пелериной, держа на ветру

широкополую шляпу, пересекла ему путь: «Кланяйтесь Эллису!» -«От кого?» Он вежливо остановился. «От Аси Цветаевой». Он поклонился, притронулся к шляпе. Кивнув, я уже шла от него. Сердце билось... Зачем я сделала это? Я не знала сама. Я, не заражаясь Мариной нелюбовью к нему, так любила стихи Брюсова! А его - своим непонятным поведением - испугала... Но Марина совсем иначе отнеслась к происшедшему. Она возмутилась не мною, а Брюсовым. Вот строки из стихов об этом Марины. Она назвала их

#### НЕДОУМЕНИЕ

...Ты такой неробкий,  
Ты, в стихах поющий новолунье,  
И дриад, и глохнущие тропки,  
Испугался маленькой колдуньи?

Далее строфа про какой-то «шипящий кубок» мне не понравилась, но возражать Марине было бесполезно.

## ГЛАВА 5. НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Он стал чаще бывать у нас. В ту пору Льву Львовичу, должно быть, из всех домов Москвы, где он бывал (у половины Москвы!), больше всего хотелось к нам. Взмах трости, ее ожесточенный стук о тротуар, он летел, как на крыльях, в чем-то немыслимо-меховом на голове (зимой, в морозы). Но шла весна, кончились меховые шапки, и Эллис снова был в своем классическом котелке. Войдя, легким движением руки его иначе надев, вздернув бородку: «Брюсов!»

Брюсов был его кумир. Нежно любил он и Андрея Белого. Любил? Перевоплощался в них, едва назвав. Скрестив на груди руки, взглянет, надменно и жестко, что-то сделает неуловимое с лицом – «Валерий Яковлевич» тех лет, когда он писал: «желал бы я не быть Валерий Брюсов!» На время чтения этой строки Эллис был им, за него, как Наполеон за уснувшего на миг часового. Но начнет рассказывать о Борисе Николаевиче – и уже сами собой взлетают в стороны руки, обняв воздух, глаза стали светлы и рассеянны, и уже летит к нам из передней в залу не Эллис – Андрей Белый!

В разговорах Марины часто мелькали слова: «Мусагет», «Весы», «Скорпион». Марина знала о них, где-то порой бывала, читала журналы по искусству.

Маринин творческий дар Эллис чтит, слушал ее стихи, восхищался. Хвалил ее перевод «Орленка» (сам будучи известным переводчиком). С первого дня учуял и ее нрав, ни с чем не мирящийся. Меня нежно порицал: «за чрезмерное поклоненье уму» – «так нельзя»...

Мы нередко бывали у Виноградовых. Дружба крепла. Как-то так разделялись, что я – с Толей, Марина – с Ниной. Толе было более двадцати лет. Большой,

тяжелый, с русой бородкой, ледяными и ласковыми голубыми глазами. Он дружил с Сергеем Михайловичем Соловьевым (племянником Владимира, философа, и Всеволода, романиста, внуком историка Сергея Соловьева). Толя часто упоминал о «Сереже» и о его родовом имени Дедово. Однажды мы его увидели: полный, темноволосый, с чудными, как у Владимира, глазами. Шутили - всерьез - о его связанности с Элладой, с древностью, упоминали его сказки (уже напечатанные). Писал и стихи. Был весьма образован. В нем чувствовалась огромная, еще непочатая сила и счастье, тайное, ее ощущать

в себе. Эллиса Толя любил (чуть насмешливо) и хорошо еще изображал.

Толя был очень почтительный сын, нежный брат.

Когда они к нам приходили, брат Андрей сменял насмешливую угрюмость на шутливость, любезную. Нина поддразнивала его, лукавя синевой глаз, но он не был ее героем. За чайным столом было уютно. Домой они всегда провожали нас.

Марина уже кончала перевод «Орленка», когда Толя сказа-и ей, что он уже переведен Щепкиной-Куперник.! Марина не поверила. Держали пари. И Толя доказал, что перевод Щепкиной-Куперник есть. Марина очень огорчилась, : пожалала плечами... Блистательный перевод Марины, которым восхищались и Эллис, и Лидия Александровна, и Толя, которому бы поклонился Ростан, если бы знал русский. И ростановские строки (героически добросовестной - в меру сил своих!) той переводчицы: «Si jeune encore, si svelte», переведенные смехотворно прозаично: «Молоденький да тоненький такой!»... Судьба!

Мысль дать второй перевод, видимо, не приходила Марине в голову или не шла в душу, чьи-то руки и рифмы уже трогали обожаемые ростановские

страницы? Я больше никогда не слыхала о Маринином переводе «Орленка». Где он теперь? Неужели утерян?

Все последнее время папа собирался в Каир, на конгресс археологов. Настал день отъезда. Мы провожали его на вокзал, неловко толклись рядом с ним на перроне, жалея его за таких нескладных детей, на него не похожих, не умеющих выразить ему то живое чувство к нему, которое ожило в нас, бесполезное без проявления и тягостное своею беспомощностью. Со двора пахло тополями, землю, я ела пасху с черствыми ломтями кулича и читала, читала... Курлыкали голуби, как в детстве, черный кролик мелькал в зеленой траве, откуда он явился, этот наш кролик?

Папа слал нам письма с пути, из Афин и из всех городов, через которые ехал. Увы, события последующих лет уничтожили все, что я хранила. Чудесные письма! Полные зоркого глаза на все, ко всему интереса, благожелательности, теплого юмора. Сколько дружеского восхищения трудом человеческим, какое вхождение во все, что кругом. Сколько тонкой, разносторонней наблюдательности! И какая скромность о себе... Но почему-то он не получал наших ответных писем.



## **ГЛАВА 6. СКАЗОЧНИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАПЫ ИЗ КАИРА. ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР**

Мы уже ждали скорого возвращения папы. Шли последние дни Андреевой и Марининой гимназии. Эллис все чаще приходит к нам. Длинные весенние вечера без него теряли смысл.

Мы ждали его каждый день, и он приходил. То, что не было папы, что низ дома был теперь, как и верх, весь – иаш, создавало в доме особую, к чему-то прислушивающуюся, тревожную и проникновенную свободу. Прежде мы бывали в зале, столовой и наверху, в наших комнатах. Теперь, в какой-то неназванный, непонятный час, мы шли в кабинет, на папин серый, с турецким рисунком и спинкой, старый диван. Там начинались Эллисовы рассказы. Под маминым портретом – в гробу.

Темнело. Дворник закрывал – и они стучали – ставни. Тогда начиналась ночь. Эллис сидел, между нас, порой вскакивал, представляя что-то, кого-то, и снова возвращался к нам, не прекращая рассказа. Вечер? Май? Дом, переулок? Мы – в тропиках. Мы едем на носороге. Только днем он притворился – диваном...

Книги, читанные о тропиках, кораблях, путешествиях, – нищета после этой фантазмагии, этих сказок движенья, дыханья!..

...Дня с ученьем, буднями – не бывало! Снова вечер, и мы втроем на сером диване, снова сумерки, и хлопают ставни, затихает дом, всколыхнулась сказка, и мы уже плывем, догоняем папу, воздух горяч, чист, это – Нил, его священные тростники...

Через несколько лет Марина написала о той весне нашей поэму «Чародей», которую посвятила мне. Вот отрывки из нее:

...Он вылетает к нам, как птица,  
И сам влетает в нашу сеть.  
И сразу хочется кружиться,  
Кричать и петь.  
Прыжками через три ступени  
Взбегаем лесенкой крутой  
В наш мезонин – всегда весенний  
И золотой,  
Где невозможный беспорядок,  
Где точно разразился гром  
Над этим ворохом тетрадок  
Еще с пером,  
Над этим полчищем шарманок,  
Картонных кукол и зверей,  
Полуобгрызенных баранок,  
Календарей,  
Неописуемых коробок  
С вещами не на всякий вкус,  
Пустых флакончиков без пробок,  
Стеклянных бус,  
Чьи ослепительные гроздьа  
– Cinquantes, eclatantes grappes,  
– Блестя, опутывают гвозди  
Для наших шляп.  
Два скакуна в огне и мыле  
– Вот мы! Лови, когда не лень!  
Мы говорим о том, как жили  
Вчерашний день.  
О том, как бегали по зале  
Сегодня ночью при луне.  
И что и как ему сказали  
Потом во сне,  
И как – и мы уже в экстазе!

- За наш непокоримый дух  
Начальство наших двух гимназий  
Нас гонит двух,  
Как никогда не выйдем замуж,  
Так и останемся втроем!  
О, никогда не выйдем замуж,  
Скорей умрем!  
Нас - нам казалось - насмерть раня  
Кинжалами зеленых глаз,  
Змеей взвиваясь на диване!  
О, сколько раз  
С шипеньем раздраженной кобры  
Он клял вселенную и нас -  
И снова становился добрый...  
Почти на час.  
Священнодействия - девизы  
- Витийства - о король плутов!  
Но нам уже доносят снизу,  
Что чай готов.  
Среди пятипудовых теток  
Он с виду весит ровно пуд;  
Так легок, резок, строен, четок,  
Так страшно худ.  
Да нет - он ничего не весит!  
Он ангельски, бесплотно - юн!  
Его лицо как юный месяц  
Средь полных лун.  
Упершись в руку подбородком,  
О том, как вечера тихи,  
Читает он.  
Как можно теткам  
Читать стихи?  
О, как он мил и как сначала  
Преувеличенно учтив<sup>1</sup>  
Как, улыбаясь, прячет жало  
И как, скрестив

Свои магические руки,  
Умеет – берегись, сосед!  
– Любезно предаваться скуке  
Пустых бесед!  
Но вдруг – безудержно и сразу<sup>1</sup>  
– Он вспыхивает мятежом,  
За безобиднейшую фразу  
Грозя ножом.  
Еще за полсекунды чинный,  
Уж с пеной у рта, взвел курок,  
Прощай, уют, и именинный  
Прощай пирог!  
Чай кончен.  
Удлинились тени,  
И домурлыкал самовар.  
Скорей на свежий, на весенний  
Тверской бульвар!  
Нам так довольно о Бодлере!  
Пусть ветер веет нам в лицо!  
Поют по-гоголевски двери,  
Скрипит крыльцо...  
В больших широкополых шляпах  
Мы, кажется, еще милей.  
И этот запах, этот запах  
От тополей!  
Играет солнце по аллеям...  
Как жизнь прелестна и проста!  
Нам ровно тридцать лет обеим,  
Его лета.  
О, как вас перескажешь ныне  
– Четырнадцать – шестнадцать лет!  
Идем – наш рыцарь посредине,  
Наш – свой – поэт.  
Мы, по бокам, как два привеска,  
И видит каждая из нас:  
Излом щеки, сухой и резкий,

Зеленый глаз.  
Крутое острие бородки -  
Как злое острие клинка,  
Точеный нос и очерк четкий  
Воротничка.  
Уса, взлетевшего высоко,  
Надменное полукольцо...  
И все заглядываем сбоку  
Ему в лицо.  
А там, в полях необозримых,  
Служа небесному царю,  
Чугунный правнук Ибрагимов  
Зажег зарю.  
На всем закат пылает алый,  
Пылают где-то купола,  
Пылают окна нашей залы  
И зеркала.  
Рояль умолкнул.  
Дребезжащий  
Откуда-то - на смену - звук.  
Играет музыкальный ящик,  
Старинный друг,  
Весь век до хрипоты, до стопа,  
Игравший трио этих пьес:  
Марш кукол. «Auf der blauen Donau»  
И Экоссез.  
Под вальс невинный, вальс старинный  
Танцуют наши три весны,  
Холодным зеркалом гостиной  
Отражены.  
Так, залу окружив трикраты,  
Тройной тоскующий тростник  
- Вплываем в царство белых статуй  
И старых книг.  
На вышке шкафа, сер и пылен,  
Видавший лучшие лета,

Угрюмо восседает филин  
С лицом кота.  
С набитым филином в соседстве  
Спит Зевс, тот непонятный дед,  
Которым нас пугали в детстве,  
Что - людоед.  
Как переполненные соты  
Ряд книжных полок.  
- Тронул блик  
Пергаментные переплеты  
Старинных книг.  
Цвет Греции и слава Рима,  
- Неисчислимы тома!  
Здесь - сколько б солнца ни внесли мы,  
Всегда зима!  
Последним солнцем розовея,  
Распахнутый лежит Платон.  
Бюст Аполлона - план Музея  
- И все - как сон...

Был жаркий день, когда мы и Андрей поехали встречать папу. На вокзале - мне помнится - низкая крыша у перрона, мало народу, долгое ожидание. Наконец вот поезд! Глаза

смотрят с тревогой, - люди идут, где же папа? Неужели мы пропустили его?.. О, вот он! Мы бросаемся навстречу. В сером своем пальто, в шляпе с полями, очки... Но неузнаваемый цвет лица! Восклицания, поцелуи.

- Папа, ты как негр! Как кафр!

- Да-а, там солнышко - не щадит... Ну, а вы тут как, без меня? Дошли ли к вам, наконец, мои письма?

- Доходили, но неаккуратно. А наши ты получал?

Рассказ за рассказом. Едем домой.

Дома, распаковав чемодан, папа раздает нам подарки. Помню бусы - египетские. Какие-то каменные,

яркие, пестрые, удивительные. «А это вот из Афин, а это...»

Немного смущаясь, что это – как в сказке – подарки, с пути, мы набрасываем на головы легкие шелковистые шарфы. Марина в зеленовато-серебряном – вдруг на миг – как русалка: глаза-то морские, зеленые!

– А это, Андрюша, тебе... А вот это – Лёре...

Марина с вдруг забившимся сердцем:

– Папа, а я поеду в Париж?

– Поедешь, поедешь...

Увы, я не помню – так, чтоб их повторить, – рассказов папы. (Не сохранились у меня его письма. Это был бы целый клад...)

...И вот последний вечер у нас Эллис. Неужели мы расстаемся с ним?.. Папа говорит с ним о городах Запада. Эллис мечтает уехать из России, он задыхается здесь...

...Был, как и год назад, выпускной вечер гимназии Потоцкой в Благородном (или Дворянском) собрании<sup>1</sup>. Мы с Галей пошли. В больших торжественных залах музыка, знакомые лица гимназисток вмиг переносят меня назад, в милый утраченный дом Самариной на Петровке. Бьется сердце от встреч, от музыки. Хорошо, что Галочка рядом! Она схватывает мою руку, тянет меня, – всегда прочь, всегда куда-то вперед. Ее узкое смуглое личико оживленно, от расширенных зрачков глаза – почти черные, китайские ее, пушистые от густых, длиннющих ресниц, глаза. Как кружит вальс по залам танцующие пары! Вдруг я перестала чувствовать, слышать, вся перешла в глаза: близко от меня ко мне вполоборота у края танцующих, в белом полудлинном

<sup>1</sup> Теперь Дом союзов.

платье, вальсирует – Аня. С пожилым человеком. Я хватаю за руку Галю – она не видела Аню, и мы спешим прочь вперед...

...Вскоре Марина впервые одна уехала за границу, учиться на летних курсах при Сорбонне французской литературе, а мы с Евгенией Николаевной – в Тарусу.



## **ГЛАВА 7. НАЧАЛО ЛЕТА 1909 ГОДА В ТАРУСЕ. ОТЪЕЗД МОНАХОВЫХ. ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА. СТИХИ МАРИНЫ ИЗ ПАРИЖА**

...И вот, после всех – растаявших полос жизни, после разлук, горестей, горечей детства и отрочества – безоблачная, вновь точно в годы младенчества, безоблачная пора счастья! Я не стыжусь штампованных слов, даже подобного соединения их, два штампа! («Безоблачная» плюс тусклость слова «пора» – да еще расштампованное слово «счастье!».) О, я упиваюсь их первоначальным звуком, переводыханьем их смысла – точно одна на необитаемом острове я их – услышала? (Птица спела? – Я впервые произнесла?) Стою на лугу, у изгиба дороги, отходящей, как ответвляется мысль, вбок и вверх, через мостик из трех бревнышек над ручьем вершины, текущим меж низких кустов ежевики; стрекочут -кузнечики? (может, это они прострекотали?) слово «счастье» – крутое, полное шелеста это «а», ширящееся, туго сходящееся к устью своей короткой водопадной реки в это «сть» и тотчас размыкающее стеснение этой слитности (грусть пусть?) коротким, тихим, по лугу разливающимся, размыкающим, ддящимся «е»... И нет ему конца, унеслось в бесконечность!.. Если так чувствуешь, так говоришь слово, то и пишешь его безбоязненно! Суд глупцов, вещающих о «сносившемся» слове! И м сносилось, мне – нет! Как не сносилось само счастье – в творчестве ли, в любви, в отреченье, где горечь стала сладостью

следующей ступени, уже не сознавая его, в безоблачности наставшей тишины, в нее протянувшегося слуха... Ужели меня остановят слухи об избитости слова, пущенные теми, кто бил его?

Поворот дороги, мостик, кусты - высокие - ива, низкие - ежевика. Влево (лицом к Оке) - Таруса, вправо - отлогий холм, где за березами-тополями не видно - наш дом. Впереди - Ока.

Я стою, и мои четырнадцать (а пятнадцать - уже куковали? Нет? Был уж не апрель месяц, май?) - иволгой заливались в лесу.

Я лукавлю. Я спрягаю прошедшее время, подделываясь под явь дней. Но тот день не прошел - разве он мог пройти? То четырнадцатилетие, прислушивающееся к своему круглому, как рай, счастью - потому и не могло быть в тот час до дна вглотнута, что оно не имеет дна. Потому оно так и томило - бездонность (и дожило нерушимо в памяти до глубокой старости), что даже и в четырнадцать лет сердце не могло справиться с ним. Но тот час - нерушим и вечен, у него нет имперфекта. У Латыни вечности только одно время: оно - *Semper Idem*<sup>1</sup>.

Я стою и слушаю летний вечер, на мне мое - уже появилось любимое - платье, бледно-розовое, у меня на плечах вьются волосы, я иду в Тарусу, где мои друзья - Толя и Нина, я взойду на их гору, в коричневый деревянный дом с резными балконами, которые шумят деревьями над кручей маминого «Тироля», где протекает ручей; хлопнет кольцо калитки, мы выйдем все вместе, Нина с Катей и Костей Некрасовым, я - с Толей. Мы будем идти вниз по горе - к духовой музыке на бульваре, дорожками меж старых деревьев, холмами над Окой.

Толя будет говорить что-нибудь ласково-насмешливое о качестве музыки, будет идти туда как бы нехотя - с высоты своих образованных двадцати с

лишним лет, а мне музыка напоминает детство, маму, и мне будет – грустно. Представляя себе все это, как будто оно уже было, я иду одна вниз и вверх по холмам, по песчаной и каменистой дороге, мимо часовни, мимо ключа, где мы, маленькие, всегда пили по пути от Добротворских, и с мамой собирали камни с горящим звездным боком – кристаллами...

Евгения Николаевна внесла в дом старой дачи, нашего лесного гнезда, – уют стареющего девичества, какую-то особую чистоту, заботу о добром деревенском разнообразии пищи; особых форм и теста пеклись пирожки, настаивался хлебный и ягодный квасок, сменялись любовно букеты

1 Я всегда тот же (лат.).

полевых и садовых цветов в крынках и кувшинах. Иногда она стояла на нижнем балконе с видом на тополя, черемуху березы, Оку и в просвет между них радостно вдыхала в свою уже старую грудь благодать летнего утра с запахом сада. В эти минуты мне бывало почти стыдно быть такой трудной, противоречивой – рядом с ее простой чистотой, быть счастливой – рядом с ее многолетним несчастьем. Но это касанье к чужой душе было мимолетно, как мотыльковое касанье к вянущему на стебле цветку. Я уже взбегала – мимо бывшей Лериной комнаты – на наш верх, с пустой Марининой, направо, светелкой, налево – в мою. Парусиновая раскладная кровать, столик, где я пишу дневник и письма к Марине и Гале. Табуретка в углу, глиняный умывальный тазик; в распахнутом окне – далекие купы деревьев по плетню сада, липы сторожевской поляны, опустевшей – семья Семена Монахова (Миша! Лёнка!) – переехала в Серпухов, у богаделов – новый сторож... Как свыкнуться с их отсутствием?

Как щебечут птицы! От нагретой солнцем крыши в платяной светелке – жарко. Хватаю выбранное платье,

бегу. Напротив – чердак. Мы там и в детстве (дети так любят чердаки!) редко бывали, он был прост и глух, без волшебных закоулков московского, но пахло в нем так же: пылью, старьем, паклей, птичим пометом...

Бегу одеваться. Это первое лето, что у меня столько платьев: дело рук Евгении Николаевны, перешившей мне часть Марининых, из которых она выросла.

Двор зарос лопухами. Как десять лет назад, у сарая, на скамье, стирает горничная, как когда-то Ариша... А мамы нет. Совсем, нигде нет – и это понять нельзя. От этого исчезновения не избавит ни дружба с Толей, ни Эллис, ни Драконна, никто. С этим надо жить, нести на себе этот камень. И я не понимала – в этом же дворе, три года назад! – что мама скоро исчезнет – не ценила дней ее жизни, сколько раз я не забежала к ней, когда могла! Хоть на минуточку... Как бы я забежала сейчас – вошла б и не вышла бы, – чтобы дольше с ней быть, надыхаться, запомнить! Я ведь уж не совсем помню лицо мамино – не каждую черточку! Голос – еще звучит...

У решетчатых ворот – кусты бузины, грозди темно-красных ягод. – Ася, идите пить водичку черносмородинную! – зовет Евгения Николаевна.

Оборачиваюсь. Стоит, в двери дома, в сенях, маленькая, в сером капотике; смуглое яйцевидное личико, нос с горбинкой, глаза карие, под тяжелыми веками, добрые. В руке – бутылка с прозрачной водичкой из листьев черной смородины, холодная, с погреба, там – еще снег! Я бегу за ней в дом.

...Толя и я прошли долгий путь лугом в ту самую даль, к высоким соснам, где лиловые цветы на длинных стеблях – дудках, черные круги на земле от костров – угольщики жгут уголь, – где и мы с Мариной и ребятами еще год назад жгли костры. Огибая тропинкой лес, входим в Пачёвскую долину, Толя и я. Какая тишина сразу! Водная... Точно дно реки – а речка, сейчас

высохшая от жары вон там, далеко, у того края долины, под ветлами. Но вся долина кажется дном реки.

Мы вступили на зеленую от пронизанных солнцем орешниковых ветвей тропинку, по правому боку долины.

Была вдруг нежность меж нас и простота. (Так бывает от тоски, что скоро расстанутся.)

Толя шел слева, большой, взрослый, по русой бородке его – по чужому, вдруг ставшему близким, лицу бежали круглые пятна солнца, серебряные в зеленом сумраке веток.

Через канаву у поворота тропинки лежало упавшее дерево. Я остановилась. И смеюсь и серьезно:

– Перейдите по стволу на ту сторону! (Тоном приказа -и просьбы.)

Я ждала улыбки, остроумной реплики, лукавого спора, всего, но не этого: молча, он уже шёл, стремительно, тяжелый, большой, – и на миг стал идти с осторожной медленностью для успеха – и легко и сосредоточенно, двойственным шагом – через длинное, корявое, тонкое дерево. Радостно спрыгнул – развел в сторону руки. С полупоклоном. Кто из нас был счастливее в тот миг? Он теперь весь был на солнце. Я – еще в зелени веток. Хорошо, что он не видел ясно мое лицо!

От Марины часто шли письма. Она училась в Alliance Francaise<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Летние курсы, где проходили французскую литературу.

Вскоре Марина прислала мне свои новые стихи отрывок из них: ^

В ПАРИЖЕ

Дома до звезд, а небо ниже,

Земля в чаду ему близка.

В большом и радостном Париже

Все та же тайная тоска.

Шумны вечерние бульвары,  
Последний луч зари угас,  
Везде, везде все пары, пары,  
Дрожанье губ и дерзость глаз.  
Я здесь одна. К стволу каштана  
Прильнуть так сладко голове!  
А в сердце плачет стих Ростана,  
Как там, в покинутой Москве...

Уже скоро три года с маминой смерти!.. Скоро ехать с папой на Ваганьково кладбище. Затем – в Куркино, имение Захарьиных, – пригласили. Жаль уезжать.

Ветер наклоняет веточки бузины над черной гранитной плитой; в земляной четырехугольник у ее подножья только что посадили лиловые и желтые анютины глазки.

Стоим, папа и я. Год назад с нами была Марина.

Сзади могил дедушки и бабушки под той же оградой – пустое место, откупленное для себя Тетей.

Молчим, папа и я. Лицо папы опущено, смотрит на черный камень,, задумался. В летнем небе сияющие облака плывут медленно – меж вершин деревьев.

Почему я не чувствую маму – именно тут? В доме Трехпрудного, по «большой дороге», на тропинке «к пенькам», везде. Здесь – напрягаю волю, воображение, чтобы ее ощутить, – голова и сердце пусты. Только папу жаль и стыдно своей бесчувственности.

– Пойдем, голубка... – говорит папа, и я, оглядываясь на анютины глазки, мамой любимые, схожу за папой на тропинку, идем прочь.

## ГЛАВА 8. ДВЕ ЛИДЫ. МОИ РЕБЯТА

Еще одна полоса позади, мама!

У меня новые маленькие деревенские подруги. Две Лиды - Шпагина и Зябкина. Лида Шпагина, десятилетняя, избалованная, из мещанской семьи, шепчет мне все нехорошее о той Лиде. Лида Зябкина - одна из одиннадцати детей дьячка, выросла среди братьев в бедной семье, сорванец, работница, скачет верхом, командует младшими, она прокалена солнцем, худа. К Лиде Шпагиной питает презрение.

У Лиды Шпагиной брат Шурка, «горе» семьи, первый озорник по Тарусе, способный паренек лет тринадцати. «Он у нас отпетый!» - говорит, как старшая, Лида.

Я не помню, как начали к нам приходиться крепко со мной сдружившиеся сыновья рыбаков: Мишка Дубец и Гарька Устинов. Еще приходят с ними два мальчика - Ленька Пудель и Ленька Молокосос. Последний - совсем маленький, лет с виду восьми.

Меня им дразнит Андрей, знающий его прозвище. Все они приходят к нашей горе, версты полторы по холмам, и располагаются «на бугорке» под березами, там, где дорога песчаная начинает подниматься к нам. Сюда схожу я, и мы идем куда-нибудь по лугу, к тем же далеким соснам, иногда едем на лодке (я приношу сверху весла), жжем костры, поем: «Варяг», «Трансвааль», «Коробушку», «Из-за острова на стрежень», «Есть на Волге утес» и песню о Ермаке - «Ревела буря, дождь шумел». Хором - их мальчишеские голоса, басок Мишки Дубца и наши, девочкины. Андрей не находит нужным вмешиваться. Он знает, что от этих мальчиков мне обиды не будет. Мишка - невысок, но

крепок, попробуй кто-нибудь затронуть меня! Гарька тонкий, стройный, с очень узким смуглым лицом. Глаза – темно-золотые угли. Он очень застенчив.

Шелестели длинные ветви плакучих берез, где-то кричал, далеко на лугу, коростель. Зеркальная река отражала угасанье заката. Дубец строгал мне можжевеловую палочку, Гарька сидел, обняв руками колени, глядя на закат. Пудель рассказывал страшный рассказ не хуже «Бежина луга», которого не читал!..

Ясный вечер, первые звезды. Сидим у реки, под березами, решаем, идти ли по лугу, жечь костер, не поздно ли, не ждет ли меня Евгения Николаевна – закрыть на ночь дверь, – она и Татьяна, горбатая повариха, и горничная рано ложатся. Андрей с ружьем за плечом уже прошел домой. Опять

коростель кричит... И снова лодка движется против течения-; к Велегову. Вечер.

Песни и звезды. Дубец смотрит, что-то тихо говорит 1 Гарьке. Слышу:

– Трое их, четверо... Шурка Шпагин! Не с добром они...

– Миша, не надо, не задевай их! – говорю я.

– Вы, Ася, не знаете их, – отвечает уклончиво Дубец; его некрасивое удалое лицо – сумрачно. Гарька отвернулся к реке.

Лида Зябкина спит, головой на моих коленях. Лодка приближается; в очки вижу несколько голов. Все тихо. Лодка-напротив нас. Вдруг раздается с нее, по реке, звонко, голос насмешливый, дерзкий. И хохот. Я не поняла слов. Но как удивилась: как будто Барон с цепи, пес Добротворских, сорвались с бугра Мишка Дубец и Гарька, нагибаются -горстью камни – и, изогнувшись всем телом, ловко, как в Музее папином, метатели диска, швыряют они их, мечут в лодку! Молча, вместо ответа! А я кричу на них, возмущенная, бегу, хочу вырвать у них камни...



- Перестаньте же, убить можете!.. Ч т о с вами?  
- А им так и надо... - обертывает ко мне пылающее лицо Гаря.

- Пусть мурло свое держат в другой раз! - кричит Мишка Дубец, и град камней летит через воду - недолет, перелет...

- Попало! - Разом, как по команде, оба бросают камни: с лодки крик, она поворачивает... И на мое сердитое: «Что вы сделали? За что их?» - в два голоса:

- Вы ведь не знаете, Ася, что они кричали! Да вам и не надо знать... В другой раз не полезут...

Мне давно говорили о братьях Успенских с Воскресенской горы - Шуре и Сереже, чья мать, Надежда Даниловна, с симпатией обо мне отзывалась и иначе не именовала меня, как «атаман».

А раз атаман, - значит, шайка? Братья стали приходить к нам. Семнадцатилетний Шура Успенский! Вот он сходит со своего далекого Воскресенского холма и приближается к подножью нашей горы медленно - нерешительно? - но неуклонно. Почему боишься человека, уже ставшего частью твоей жизни? Смуглость, пристальный взгляд, застенчивая улыбка. Дружба крепнет с первого дня. И все дни до отъезда

в Калугу в гимназию он прихोидт к нам. Его несколько язвительный ум и печаль, с ним идущая (может быть, он -революционер?), полнят мои вечера каким-то драгоценным волнением!

Наша шайка едет на лодке - пикником, набрав на книжку в лавке Позднякова в Тарусе баранок, пряников, мармелад с шоколадом, в «светлых», как зовет серебряные Лида Шпагина, бумажках, и мы едем вверх по Оке, к Велегову, к Улаю, - там, на другом берегу, далеко, будем пить чай.

Август. Желтые листики, свежий ветерок. По глади реки

- сизая хмури, первые звезды. Пир - позади, теперь - песни, мальчишески-девический хор. Как он звонок, хрустелен по воде, а горит как костер навстречу - перебивают! - звукам духовой музыки...

А плоты плывут, плотогоны зажгли огоньки, они отражаются в струях - столбиками. Луна подымает, незаметно, все выше, свой шар, а полушар неба темнеет и обнимает землю. Шура встал, бросил весла. Сережа садится грести, гребет и Дубец.

Как последние дни тяжелы! Как не можешь понять, почему раньше не подружались? Жили рядом - не виделись, друг друга боялись!

## **ГЛАВА 9. ОСЕНЬ. ПОЖАР. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЛЕТА 1909 ГОДА С МАРИНОЙ, ВЕРНУВШЕЙСЯ ИЗ ПАРИЖА**

Осень 1909 года была из чистого золота. Эфир неба от синевы был лилов. Глаза - пировали. Это был праздник природы! Когда я выходила на бугорок навстречу девочкам и ребятам, верней, сбегала к ним сверху, из золота нашей березово-тополиной рощи, было что-то подобное опьянению. Но ведь только такая щедрость земли и неба могла затопить хоть частью, пыланье разлуки - уехала часть нашей шайки... Потому и полны золотых россыпей ветки, холмы - утешают!

Все в Тарусе знали Маню Е-цову и Мишу Д-сова. Они давно-давно уже ходят вместе, все любят эту парой. Маня - тоненькая, в сиянье каштановых кудрей, связанных лентой, Миша - белокур, тонок, застенчив. Они так хороши вместе! И вдруг... Миша уехал учиться, и Маня стала ходить в обществе усатого ротмистра! Мы - четыре девочки -вознегодовали. И далеко над Тарусой, где в рощах за домом

Добротворских было устроено гулянье, пошли следом возмутившей нас парой, решив устыдить Маню. Мы щ,, и громко, я дерзче всех, называли имя ею покинутую ^ может, простерли свое вмешательство и дальше, потому^ вдруг взбешенный ротмистр, оглянувшись, крикнул щ, какую-то угрозу. Мы вспыхнули, чуть поотстали, но не совсец сдались, а шли за злополучной парой поодаль, как Маниц совесть. Однако на таком расстоянии, чтобы ее кавалер и, мог сделать попытки расправиться с нами, как он грубо

обещал. От него ли, нами задетого, пошел обо мне слух, что я с моими кострами и ребятами сожгла будто бы на лугу-стог сена? Слух был дурен, опасен, и было трудно защитить себя. Защитил меня стог – не сгоревший. Связан ли был этот случай с тем, что действительно произошло? Темным вечероц мы – Дубец, Гарька, Ленька, Пудель, Молокососик и а -жгли костер – далеко на лугу, у сосен. Он уже догорал. Как вдруг кто-то из ребят вскочил, озираясь. За ним встали и мы... Над лесом, в стороне Тарусы, что-то странно светлело и вспыхивало.

– Пожар! – крикнул кто-то, и, как по команде, мы бросились затапывать угли костра. Забросав их землей, убедаясь, что угли потухли, мы пустились бежать. Когда после долгого бега по изгибу дороги мы вылетели на луг, плаш взвивалось над холмом нашей дачи.

– Дача горит! – охнул кто-то из нас. Мы утроили силы. Как мы бежали! И на бегу я, захлебнувшись горем и бегом, отдавала распоряжения:

– Если еще можно войти наверх, в мою комнату, -хватайте только ящик стола – там мои дневники, Маринины письма, ее новые стихи (я задыхалась), или прямо в окно кидайте весь стол!

– В сад! Папы, Андрея нет, в Москве...

Как мы бежали! Как мы м о г л и так бежать? Но и я бы, кажется, не побоялась огня! Дача, родная дача!

– фу-ты... Стоп! – вдруг крикнул кто-то из них и стал, тяжело дыша, – не дача горит, – дальше! В Тарусе!..

Ох, как отлегло от души! Мы бежали и шли, а пожар отступал. Горел сарай – за Тарусой. Мы дошли туда далеко за полночь. Роща была освещена почти дневным светом. Пожарники очень старались, но и пожар старался вовсю, а

колодец был далеко. Мальчишки бросились помогать. Головни летели, искры сыпались, близ

висящие ветки трещали, свертываясь, как от мороза. Долго простояла я с девочками -вся Таруса была тут, - до света. Сарай с сеном сгорел.

...Тайна памяти! Точно нажатая пружина шкатулки подалась, и я вдруг вспомнила, как это все было: именно в этот день в Тарусу прибыл калужский губернатор, князь (Горчаков? Голицын?), имя угасло в памяти - громкое. Он въехал как раз по той дороге, от Истомина, где сейчас горело. Тарусские власти, предупрежденные о его приезде, построили у въезда на Калужскую улицу высокую арку, украсили ее зеленью и цветами, задан был богатый обед. Был также и торжественный смотр пожарников. Надо же было, после стольких волнений, отойдя ко сну, быть поднятыми ночью (все власти!) этим неладным сараем, кто его знает отчего загоревшимся... И надо же было ему стоять так далеко от колодцев... Бедные горе-герои пожарники! Их дружно жалели все. Дружно спорили о виновнике беды. Усталые, мы уже на рассвете пошли назад. Звезды гасли. Арка все еще стояла. (Губернатора мы днем тоже ходили смотреть - высокий, пожилой, бравый - по арке.) Я еле шла от усталости. Мальчишки проводили меня домой, в волшебном подымавшемся тумане. Ока светлела, разгоралась, отражая близящийся восход.

А в домике Тьо все так же шли дни, размеренные, уютные, швейцарские. В тот же час вскипал кофе на блистающей чистотой керосинке, те же запахи «дедушкиного» печенья, Тетиного одеколона, так же распахивались стеклянные двери на террасу - впуская аромат сада, так же ждали меня отборные яблоки и сливы и всплески рук о «Мунечка»:

- A Paris seule! Oh! Une jeune fille de seize ans! Quelle horreur! Oh, si la pauvre Mania le savait!<sup>1</sup>

- Marina'a presque dix-sept ans!<sup>2</sup> - пыталась я. Не помогало.

1 В Париже! Одна! О! Шестнадцатилетняя девушка!  
Какой ужас! О, если б бедная Маня эта знала! (франц.)

2 Марине почти семнадцать лет! (франц.)

- Une jeune fille! A Paris! Dans cette horreur de ville!  
Cerauvrepere ne sait plus ce qu'il fait... Toujours occupe  
avec son musee...1 - И вдруг сламывалось ее  
настроение: - Ah, oui, ce musee, c'est une superbe chose,  
grand-papa le disait toujours... Il faut bien espererque tout  
serabein avec Мунечка, que le bon Dieu la gardera...2

И она обнимала меня, и мы выходили на террасу и с  
пег на дорожку, как на картине Поленова «Бабушкин  
сад».

По калужскому берегу Оки - литые из золота рощи,  
холмы. У дорог - осенние цветочки, те, нашего детства,  
мамины, на толстом влажном стебле, с кроной мелких  
-розовых «незабудочек». Иммортели - пыльно-серые,  
легкие, Мама их любила. Они есть, а мамы нет...

Хлеб убран. Везде - запах соломы. Холодные утра и  
вечера. Скоро Москва! На даче - топят, но печи дымят, и  
я дольше задерживаюсь у Добротворских - «погреться»,  
Взбегаю наверх, в Санину комнату, - он уехал, и в углу  
сложены огромные желтые сливы - как крашенные яйца.  
Лежанки, книги, мешок сушеных яблок, орехи. Скрип  
двери, входит высокий добрый человек с синими  
глазами, седой, говорит на «о» - дядя Ваня. В крылатке  
- ездил к больному в уезд, был дождь. Елена  
Александровна зовет к столу - он заставлен лепешками,  
пирожками, вареньем, смоквами; свежий мед. Оса  
вьется над медом. Я зову Евгению Николаевну.  
«Сейчас!» Она говорит с Еленой Александровной о  
монастыре в «Дугнах». Та напишет о ней письмо  
игуменье, знакомой, и, может быть, ее согласятся  
принять без денег.

Самый конец лета с нами в Тарусе провела  
приехавшая из Парижа Марина. Она застала меня с  
сонмом девочек, с еще новыми подругами Шурочкой и

Олей Михайловыми и двумя маленькими Лидами. Она читала нам свои парижские стихи, рассказывала о Париже, о Лувре, о Саре Бернар. Марина сразу обратила внимание на Шурочку, а та не отрывала от нее глаз, – как слушала!

1 Молодая девушка! В Париже! В этом ужасном городе! Этот бедный отец, он уже не знает, что он делает!.. Всегда занятый своим Музеем... (франц.)

2 Ах, да, этот Музей, это великолепная вещь, дедушка это всегда говорил... Будем надеяться, что все будет хорошо с Мунечкой, что господь ее сохранит... (франц.)

Знакомство наше с Шурочкой Михайловой сразу стало дружбой. В ней, десятилетней талантливой смуглой цыганочке, поющей и танцующей и позднее выступавшей у Поленовых, – частичка души Ани, говорит Марина.

Настороженная ко всему, что касалось искусства, Шурочка слушала Марину внимательно и восхищенно.

Вечерами приходили мальчики – после своего рабочего дня. Вечер был их, и они проводили его неизменно с нами. Марина, девочки, я ходили с ними вдоль Оки ко входу в Пачёвскую долину, к соснам, и там, на неизменном нашем месте, жгли костер. Вставала низкая луна, рыжим шаром, желтея, подымаясь, Марина рассказывала о Франции. Когда мы опоминались – высоко в небе стоял голубой шар. Мы тушили костер и пускались в обратный путь.

Однажды перед самым отъездом, ища зачем-то Марину, я забежала в ее комнату. Ее не было. На столе лежала распахнутая тетрадь. Я не удержалась от искушения. На последней исписанной страничке стояло:

...Всего хочу: с душой цыгана

Идти под песни на разбой.

За всех страдать под звук органа

И амазонкой мчаться в бой;

Гадать по звездам в черной башне,  
Вести детей вперед сквозь тень...  
Чтоб был легендой – день вчерашний,  
Чтоб был безумьем – каждый день!  
Дальше было бело. Я побежала искать Марину.  
...Утро отъезда было золотое и синее всех утр...

Когда наши тарантасы отъезжали и поравнялись с мостиком у бугорка там, где летом росла ежевика, мы и провожавшие нас ребята и девочки увидели наверху, «над вершиной», на холме, полуспрятанных за кустами – наших врагов. Шурку Шпагина и его друга Ветку: они тоже пришли проводить... Былая вражда щедро смыта этим вниманием.

Великолепной, флорентийской синевы небо сверкало над блещущим в ветре золотом ветвей, похожих на гроты и на волны, – но они рвались от стволов. Ветер стихал, и они замирали литыми кущами такого невероятного цвета, что

глаза пили и не могли напиться. А через минуту и восхищение стихло – пошли литься слезы прощанья, губы слизывали их от застенчивости, стыда. Тренькали бубенцы, Евгения Николаевна считала, все ли вещи... (Если бы знали мы, что не вернемся сюда долгие годы!)

В сентябре Марине минуло семнадцать, мне пятнадцать лет.

Иван Владимирович Цветаев

1903 год

Максимилиан Волошин Коктебель. 1910 год (?)



# **ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ МОСКВА. САКСОНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ ГЛАВА I. ВЫДУМАННЫЙ МАРИНОЙ «ЮРИЙ». АНДРЕЙ. НАШИ ВЕЧЕРА**

В Тарусе ли еще, или уже в Москве Марине в голову пришла мистификация вроде «Пютуа» из Анатоля Франса? Теперь никто не помнит ее. Устно и в письмах Марина рассказывала небывшее приключение – похищение меня из Тарусы неким «Юрием», наше (его и меня) пребывание за Окой, в пещерах Улая, поиски, погоню, сопротивление и, наконец, мое возвращение домой в отчаянии после того, как на моих глазах вооруженные люди увели связанного Юрия, -настоящая глава жизни Казановы или иных авантюристов прошлого века! Поборов мои сомнения жаркими уверениями -«только подумай, как будет интересно!..» – Марина просила меня не разоблачать выдумку – «и даже очень правдоподобно, что ты отмалчиваешься, скрываешь... пойдет такая легенда и никогда не умрет совсем...» Я пожимала плечами, смеялась.

- Ну, а если до папы дойдет?

- Во-первых, не дойдет – кто же ему скажет? – а затем -ведь он-то знает, что этого не было, скажет – «чепуха», и все.

И Марина стала писать (хоть бы вспомнить теперь -кому!) письма о моем удивительном Юрии, у которого карие «золотые» глаза – чудные! – и совсем белокурые волосы, а «ходит он так легко, как будто не касается

земли»... Волосы Юрия (по всегдашнему любованию Марины вьющиеся) вились.

Она так упоенно о нем писала и читала мне, что я с каким-то оттенком зависти к той Асе, которая решилась бежать с этим Юрием на Улай, все больше выгравалась в

игру, в фантастический образ Юрия. Помню, как в зале я в ответ на вопрос какой-то Марининой гостьи улыбаюсь и отмалчиваюсь, храня уговор с Мариной. Но так как ответные письма о странном приключении были, думаю, куда менее романтичны, чем Маринины, то дело о Юрии стало понемногу угасать.

Стареющая Евгения Николаевна тем временем собиралась в путь. Мечта жизни наконец воплощалась, ответ из Калуги пришел утвердительный, и, благословляя день и час, когда поведала свою историю Елене Александровне Добротворской, она в волнении укладывала свои скромные пожитки, на ее худых смуглых щеках появилась тень румянца, а я смотрела на нее, сопоставляя ее с Лизой из «Дворянского гнезда», и недоумевала. В последний раз коснулись маленькие, старые уже руки клавиш рояля в нашей заколдованной зале. Аккорды «Молитвы девы» медленно зажигали тишину дома, сумерек, предотъезда, наши семнадцать, пятнадцать лет.

И ее, как Варвару Алексеевну, мы проводили до ворот -и остался наш дом снова ничей - наш!

Как год назад, звонок Эллиса мгновенно вырывал нас из дня. Если папы не было, мы оставались внизу, в зале, гостиной и кабинете; бродили по ним, говоря и не замечая, что ходим, опоминаясь только от звука закрываемых со двора ставен, отчего вдруг начинала слепнуть зала, двумя окнами выходящая во двор, затем раздавался стук кинутой калитки, и зала темнела вся, последними тремя окнами на улицу. Тотчас же в ответ обозначались темные провалы зеркал,

отражавших свет низкого солнца столовой, и зала обретала выход куда-то через черное зеркальное серебро.

Высокие белые двустворчатые двери в гостинную и дальше – в кабинет – были раскрыты, и стук с улицы гасил окна гостиной. Кабинет еще светлел впереди. Но вот и его первое окно, глухо стукнув, смежило веки, сейчас повторится это и у второго окна – и весь фасад дома и крыши, утопая в уличном сумраке, станут уже не домом – кораблем? Гостинная становилась лишь коридором между залой и кабинетом: ее глубина исчезала, ощущалась только та ее часть, которой мы шли, повернув назад, к более зримой зале, а за ними, в кабинете, тонули во тьме. Зевс на книжном шкафу, папин письменный стол, рама с фасадом будущего Музея, книжные полки и в углах, у окон гостиной, – головы Аполлона и Дианы.

В этих многочасовых вечерах отсутствовал быт. Мне кажется, не существуй вокруг, кроме нас, жизни дома – не сходи с верха брат Андрей взглянуть на часы, не нажми он кнопку звонка- почему запаздывают с ужином, не беги через двор в ответ на звонок горничная, накинув шаль, не внеси она кипящий самовар, не начни зажигать лампы и не позови она ужинать, – мы бы никогда не вспомнили, что у нас «гость», что гостя надо угощать, что пора – есть.

Наливали Эллису чаю, подвигали варенье.

И вдруг, переглянувшись обе, в тот же миг вспоминали ту, которой уже четвертый год нет с нами.

Приходил папа, в кабинете загорались две свечи под абажурами – и дом с полутемными залой и гостиной, преобразясь в преддверие некоего храма науки, начинал служить ей, мы уже уходили наверх, к себе, в низкие уютные комнаты, а внизу оставались папа за письменным столом, книжные полки и фасад будущего Музея – высоко на стене, надо всем.

У брата Андрея наверху обычно было тихо, если только он не играл на мандолине и не бранил собаку (теперь это была другая – Гера, сеттер-леверак, белая с серым). У Андрея по-прежнему никто не бывал в гостях. Он теперь уже был студент (юрист, к огорчению папы), и мы с Мариной любовались им – так он был хорош в сине-зеленой (электрик) студенческой форме с золотыми пуговицами, – стройный, тонкий, узколицый, с каштановыми волнистыми прядями волос. Он напоминал молодого генерала 12-го года. В нем была гармоническая смесь женственного начала (сходство с матерью) с мужественным, мужским началом, отрывистым, насмешливым, через застенчивость, которую он побеждал повелительными окриками, и была в нем, теперь выросшем, уже и грубоватость и – вкось, быстрый, осуждающий бросок взгляда – темно-золотого, нерусского, напоминающего Италию, – в нем и в Лёре, со стороны первой жены Д. И. Иловайского, матери Варвары Дмитриевны, была румынская кровь.

С Эллисом у Андрея не вышло никаких отношений: как все от нас идущее, он был чужд Андрею, но Андрей никогда не позволял себе ничего враждебного по отношению

к нашим знакомым, а с Виноградовым даже охотно, по-видимому, встречался.

Летели желтые листья во дворе, шумел ветер, а мы уносили вслед за Эллисом.

– Все было как надо, как должно быть, – говорил он, и его чуть сузившиеся – над этой чужой и страшной в своем благополучии жизни – глаза глядели нам в самое сердце, – Вся семья села в поезд – с нянюшками, мамушками, баулами и корзинками, и поезд отошел от города, где они до сих пор жили... И никто не заметил, что они сели не в тот (Эллис взвился в зловещем восторге) поезд!.. И вместо Пемзы, куда они думали

ехать, они приехали в Вятку! И все в их жизни пошло – навыворот.

Знакомые старческие шаги за дверью, дверь нашей бывшей детской раскрывалась, папа с горячей свечой в подсвечнике стоял на пороге.

Мгновенный переброс взглядов (Маринин – в мой): поздний час. Но что папа жалует Эллиса – зналось: увидев его, он что-нибудь говорил доброе и шел снова вниз по темной лестнице через залу, гостиную, в кабинет.

День пропадал куда-то, был вечер, уже горели по дому лампы, вея детством, от вещей лежали густые тени, за окном была тьма. Давно простучали внизу ставни, сверху и через двор неся звонок брата Андрея и его голос: «Подавайте, подавайте ужин, – заснули?» Сойдя с лестницы, мы оказывались в столовой у несмолкающего торжества самовара, уходившего из-под крышки, приподнятой ожерельем яиц, как в детстве, и, щурясь от света, мы брались за еду неохотно, со стесненным сердцем, видя, как почти жадно, бысто ест Лев Львович, стыдя себя, что не раньше его покормили, -ведь у него нет дома! А в зале огромный мрак бетховенских глаз глядел, как при маме, мимо нас, в пустоту...

## **ГЛАВА 2. МАРИНА И САРА БЕРНАР. ПЕРЕВОДЧИК ГЕРАКЛИТА НИЛЕНДЕР. ВСТРЕЧА С АНДРЕЕМ БЕЛЫМ. ПИСЬМО МАРИНЫ. ЕГИПЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ГОЛЕНИЩЕВА. МАРИНА И ПАПА**

Я училась дома. По школьным предметам не помню учительницы, пожилая француженка давала мне уроки литературы: я же увлеклась русской, а из этих занятий запомнила только «Le Cid» Корнеля, пьесы Мольера, мою

вежливую невнимательность и неизбывную скуку, Галю я видела теперь реже, но дружба длилась.

Марина скучала в новой, опять, гимназии (Брюхоненко на Кисловке) самым отчаянным образом. Мы говорили о том, что, может быть, я, весной сдав экзамены, на будущий год буду ходить туда же – хоть в переменах будет нам с кем разговаривать: друг с другом. Наша близость к этому времени достигла некоего апогея.

В свободное от чтения и стихов время, уверенная теперь в полном моем понимании, Марина шла ко мне, говорила последние стихи, и мы повторяли их вместе, в один голос, - у нас были до удивительности сходные голоса и все интонации те же. Затем тоже часто в один голос, с полувопросом: «Пойдем?» – и мы шли. Мы шли по Тверской (всегда вниз, по дороге к Охотному,

никогда – вверх, к Брестскому, теперь Белорусскому, вокзалу). Тот бок, к Тверским-Ямским, по ту сторону Садовой, – был чужой.

Марина зачитывалась Гёте и Жан-Полем, немецкий, как второй язык (если третьим считать французский), не переставал быть родным. Французским ее увлечением. Кроме всего исторического материала о наполеоновских войнах были оды Гюго, посвященные Наполеону, она едва ли не все их знала наизусть, упоенно их повторяла. Вскоре должна была приехать в Москву великая актриса, la grande Sarah<sup>1</sup> – Сара Бернар. Еще от мамы слышали мы о ней и о ее сопернице по мировой славе – Элеоноре Дузэ. Марина, конечно, знала о них все, что она могла найти в книгах.

В 1909 году летом Марина увидела Сару Бернар на сцене в Париже. После одного из спектаклей «Орленка» или «Дамы с камелиями» Марина дождалась ее и передала ей ее фотографии – для подписи на память. Это был ее новый кумир. Два своих портрета актриса подписала, «Souvenir de Sarah Bernhardt»<sup>2</sup>, а на третьем, на котором была нехороша, где ее белокурые волосы казались седыми из-под меховой шапочки, она написала размашисто через лицо: «Ce n'est pas moi!!!»<sup>3</sup>(три восклицательных знака).

1 Великая Сара (франц.)

2 На память о Саре Бернар (франц.)

3 Это не я!!! (франц.)

Все чаще садилась за рояль Марина, по памяти о своих отроческих годах игравшая то, что не забывалось, или разбирая по нотам. Я становилась рядом, руки – о печку, и слушала, и мы переговаривались, а вокруг вечерело... Затем Марина возвращалась в свою темно-красную комнату с маленькими золотыми звездами на обоях, и я тоже шла к себе, к дневнику. В нем я крепла. Это был самый верный друг, это было – с двенадцати лет – начало моего литературного труда.

Еще год назад мы встретили у Виноградовых друга Толи, о котором он и до того часто упоминал, как и о «Сереже Соловьеве», Владимира Оттоновича Нилендера, молодого филолога, папиного ученика.

В тяжелых темных глазах Соловьева, в его известности и в его необращенье на нас внимания нас что-то отпугивало и смущало. Нейлендер (как мы почему-то выговаривали его фамилию), наоборот, был приветлив, нервно-оживлен, его жесты были гибки и внезапны, лицо бледное, брови над желтыми глазами подымались треугольниками, и весь он был из каких-то всплесков, движений, вспыхиваний, улыбок, глубоких, длинных, появляющихся там, где у другого был бы смех. Смеха не помню. Но была странная обаятельная манера еле уловимой насмешливости надо всем и над собой тоже. Что-то было родное в нем. Но мы его видели раз или два и недолго – он ли уходил, когда мы пришли? Или обратно? Мы едва знали что-либо друг о друге. Как-то упомянув о нем, Толя сказал, что Нилендер был моряком. Это не вязалось с его обликом, казалось таинственным. Его имя нам в разговоре называл и Эллис, они жили в тех же меблированных комнатах на Смоленском (там жил и Андрей Белый). Называли, но иронически – еще Бориса Садовского, поэта, тоже там жившего, в юности «белоподкладочника». Гуляя, мы зашли к Эллису в его «Дон», в его неуютную комнату в пустом коридоре, послушали стихи, помешали ложечкой золотой столбик чая в стакане и уже собирались домой, когда в комнату вдруг вошел Андрей Белый. Его донельзя светлые, не то пристальные, не то мимо глядящие, поразительные глаза на миг остановились на нас, прозвучала наша фамилия, рукопожатие – и мы ушли. Это была пора (наша или эпохи?), когда все казалось значительным. Взгляд – вещим. Встреча



не случайной. Улыбка человека – или голос его – все выросло в символ.

Есть ли время фантастичнее, беспокойнее юности? Разве детство... Но кто назвал счастьем – их вдохновенный хаос?

И везде – соблазн, и везде – разлука, и всему (мука гордости) сомкнутые уста. И – не те слова! Целый день. Целую юность – слова-прятки, слова-завесы, слова-призраки, пока придут слова-признаки, названья вещей.

В то время Марина уже начала печататься. Вот уцелевшее ее письмо к Эллису:

«Москва, 2 декабря 1910 г.

Милый Эллис,

Вы вчера так внезапно исчезли, – почему? В Мусагете было очень хорошо. Мне про него даже снились сны. У меня к Вам просьба: перемените, пожалуйста, в двух моих стихотворениях для альманаха следующие места:

1) Мальчик с розой

Написано: Надо:

Крепко сжал Уронил

Но к губам его И к губам его...

2) На бульваре

Написано: Надо:

Ручку сонную Ручки сонные...

разжала

Как я отвыкла от людей и от разговоров! При малейшем разногласии с собеседником мне уже хочется уйти, становится так скверно! В Мусагете много милых и мне симпатичных людей. Я довольна, что там бываю, но... Будет ли в воскресенье что-нибудь у Крафта? И в ком часу и что именно? Привет. А мой сонет?»

(На конверте штампель с медведем или волком.)

Все чаще слышали мы от папы о коллекции египетских оригиналов Голенищева. Разоренный наследниками, он был вынужден продать ее. Америка

предлагала 500 тысяч; он медлил, ища путей оставить ее в России. Русское правительство оценило ее в 350 тысяч. Старик коллекционер согласился потерять 150 тысяч – лишь бы его детище осталось на родине. Она была перевезена на хранение в Эрмитаж, и теперь шел вопрос о том, куда же будет она передана – в какое-нибудь хранилище Петербурга или в новый Московский (папин) Музей. Как волновался папа о том, что ввиду неготовых еще к приему такой драгоценности запасных зал, из-за недостаточного штата охраны – Музею откажут, как он старался преодолеть эти помехи, как бился над ускорением работ!

Увлечение Марины Наполеоном не утихало – оно продолжало жить в ней как буря. Она его прятала в себе, но оно, как солнце, рассыпало из себя протуберанцы. А комната ее по-прежнему пылала портретами – его, и Римского короля, и, более поздних лет, – герцога Рейхштадтского. Их теперь было столько, что не хватало стен: Марина купила в Париже все, что смогла там найти. И в киоте иконы в углу над ее письменным столом теперь был вставлен – Наполеон. Этого долго в доме не замечали. Но однажды папа, зайдя к Марине за чем-то, увидал. Гнев поднялся в нем за это бесчинство! Повесяв голос, он потребовал, чтобы она вынула из иконы Наполеона. Но неистовство Марины превзошло его ожидания: Марина схватила стоявший на столе тяжелый подсвечник, – у нее не было слов!

Это был жест отчаяния. Самозащита зверя, кусающего, когда отнимают берлогу. Такой берлогой и был Марине весь этот культ Наполеона, и все ее культы, и Надя Иловайская, и Анна Ивановна Изачик, и лейтенант Шмидт. В преклонении перед ними скрывалась, как в последний приют, душа ее, по безмерной гордости, не находя себе признания и дела. Забываясь – насколько хватит! – в колдовском

ритменном даре. Папин крик на нее мобилизовал мгновенно все защитные силы. И так из этого дома взяв самую крошечную комнату, она хотела ее в полное владение себе. Посягательство на ее мир тут – она не могла дать и отцу. И он понял! Не ее, а предел ее непонимания. Пожалел – и ушел, в

двойной горечи, затворив дверь. А она, может быть, плакала, бурно, как в детстве, каюсь в невозвратно содеянном.

С семнадцати лет Марина начала курить. Сперва -скрывая. Щадя папу, не курила при нем. От Лёры, которую мы видели изредка, она не скрывала этого, но вообще уже не была близка к ней. Уходя с головой (и выше головы) в чтение, в страсть любить книги взамен людей, зарываясь в них, как зверь в шерсть матери, она жила не столько в доме нашем, сколько в том доме, где жил в «Детстве» своем «Багров-внук», в семейной аксаковской хронике, в переписке Беттины Brentano с Гёте, Элоизы с Абеляром, в парижской мастерской Марии Башкирцевой, где стояли на окне гиацинты или гвоздики, а за ним сидел и гудел Париж с Сеной и Нотр-Дам. В книгах В. Гюго, в «Иеста Бёрлинг» Сельмы Лагерлёф, страстно любимой книге. Не хватало глаз, часов в дне! Но было ли и это пробуждение? А Лёра жила, уехав из дома, чтобы не заниматься хозяйством, работала в воскресной школе, водила куда-то экскурсии, развивала и просвещала людей, жила отдельно, к нам относилась хоть и тепло при встрече, но не без оттенка отдаленности. Приходила всегда ненадолго, за чем-нибудь. Впрочем, была ласкова.

...Эллис своими восторженными рассказами о Брюсове еще усилил во мне страсть к его стихам. Кроме в детстве выученных стихов Лермонтова, Пушкина, Некрасова, любившая до того только стихи Марины и Эллиса, я вошла, как в волшебный паноптикум, в тома

Валерия Брюсова. Это началось еще год назад, в четырнадцать лет.

Я еще не знала тогда, что стою на пороге двух моих самых любимых писателей: Лермонтова и Достоевского. Самых? А Гоголь! О, его я уже с детства, из маминых рук, с маминого чтения вслух любила. Смерть Тараса Бульбы... И как люди могли жить после этого, жить, как все живут, говорить о новостях дня, забыв, как огонь охватывал Тарасовы ноги – а он еще отдавал приказы – своим... Я закрывала книгу и – тут была, может быть, моя разница с Мариной – выбегала, на ходу одеваясь, во двор. Там был синь от мороза воздух.

Тополя – в инее. Или там сияла весна! Пахло тополиными почками! Кролик убежал за акации. Гремел цепью дворовый пес, возвращая к жизни и к детству. И я бежала прыжками

по мосткам в кухню за черным хлебом, и вмиг отрывало меня от смерти – воркованье голубей, жаркая тень, летевшая со мной, как пристяжная, лопухи, завивавшиеся в траве, -или кусок льда, звавший к конькам – лететь как птица! А уже поедает из рук моих дар Барбос, благодарно маша черным страусовым пером, – и не нахлебаться мне счастья! не надышаться всего! Если весна – шляпу соломенную с вешалки, и через две ступеньки – к Марине:

– Идем! Ну, идем! Ну, кончай скорее! Куда! Куда хочешь! В синематограф! А потом, хочешь, в Кремль? Почки уже зеленые... (точно это наше с ней производство!)

Марина одевалась, мы шли.

А там, за пределами не нашего, но обожаемого нами дома, и сугробного, тополиного, собачьего, голубиноного, кроликового двора, – нас ждала и встречала Москва с ветками в почках или инее, с Эйнемом, Сиу, Альбертом.

На Кузнецком был Вольф, тот, мамин, Мусин, куда мы ездили за книгами, когда Марина их уже понимала,

а я еще не умела читать (Я тогда, как Муся, жадно нюхала их запах печати, новизны, тайну их неразрезанных листов - никак не увидишь до конца, только кончик и часть картинок). Теперь мы шли не туда, а к Готье - он уже, наверное, приготовил Марине что-нибудь из Парижа...

Как недавно еще - года полтора назад! Я так увлекалась переплетаньем, радовалась подаренным мне папой инструментам этого ремесла, огромным тискам, круглому ножу на деревянных винтах и прочим и прочим... Куда-то отошли от сердца, и они лежат в забвенье...

Но нерушимо живут и в моем и в Маринином сердце - наши, мамина и Андрюшина (он давно ее отдал нам), музыкальные шкатулки, их золотистые и серебряные звуки, с все тем же «Тореодором» и «Голубым Дунаем». На это мы сдавались сразу - и нацело. От них веяло нашим младенчеством и чьею-то не нашей, совсем другой юностью... А вокруг, рядом с революционными девизами, выжигаемыми Лёрой на разрезательных деревянных ножах и шкатулках, жило еще совсем другое, противоположное девизам и тоже не наше увлечение молодежи книгами: Вербицкой «Историей одной жизни», «Саниным» Арцыбашева (что «все позволено» между мужчиной и женщиной) и «Гневом Диониса» Нагродской (о том же). Это было чужое.

## **ГЛАВА 3. ПРОСВЕТ В ДЕЛЕ ПАПЫ С МИНИСТРОМ ШВАРЦЕМ. КОНЬКОБЕЖЦЫ НА ПАТРИАРШИХ ПРУДАХ «ЗИМНЯЯ СКАЗКА». ВСТРЕЧА С НЕЖДАННЫМ ГОСТЕМ**

В декабре 1909 года было издано постановление Сената, признающее рапорт министра Шварца не дающим оснований для увольнения директора Румянцевского музея И. Цветаева.

Чуя, что дело для него повернулось плохо, министр Шварц – говорили – спешно выехал за границу. Честь папы, казалось, была восстановлена.

Как мы радовались в те дни!..

Однако старик Нечаев-Мальцев, знавший жизнь высших кругов, телеграфировал папе (когда все его поздравляли): «Победа не победа, а добрый урок быть осторожнее».

Из письма папы к архитектору Нового Музея Р. И. Клейну

«19 декабря 1909 г.

Дорогой Роман Иванович.

С ночи вчерашнего дня пришли ко мне из Петербурга депеши о заключении по моему делу Сената и поздравления моей «нравственной победе». Сенатское собрание единогласно, признав неосновательность обвинений министра Шварца, постановило: «все дело ему возвратить», этому я очень рад, даже и при том бесчувствии, которое охватило меня после столь злостной и столь продолжительной

травли меня и административной и газетно-репортерской...

Я, как-то совершенно неожиданно, сделался предметом злобы, клеветы и всяческого преследования со стороны лиц невысокой нравственной пробы, начиная от голодного газетного репортера и до министра Шварца, дружелюбно протянувшего первому свою властную десницу... Вы не сомневались в отсутствии моих вин, кроме недостатка мужества, чтобы вышвырнуть на улицу нравственных пошляков из казенной квартиры Румянцевского музея. Этого мужества у меня действительно не было и нет... Министру вернули его жалобу. Большого оскорбления для министра быть не может...»

В один из этих дней, придя к обеду, мы услышали радостный голос папы.

- Ну, дети, - сказал он, входя в столовую, - он казался помолодевшим! - могу сообщить вам добрую весть! Дело о Голенищевской коллекции наконец решилось в нашу пользу! Получено распоряжение о передаче ее нашему Музею!

- Поздравляем тебя, папа! - сказала Марина, смущенная тем, что не находит больше слов - в этот радостный для папы час.

Мы поцеловали папу. Он потрепал меня по волосам.

- Вот и оригиналы начали пополнять наш Музей... -счастливо сказал он, вставая и идя в кабинет, и аккомпанируя удаляющимся шагам, раздались знакомые, запомнившиеся ему со времен Варвары Дмитриевны, два-три такта какой-то ее арии...

Дом наш вздохнул после многомесячной тучи, над ним нависшей. 19 декабря! Это обычно совпадало с большими морозами. Солнце стояло в небе без лучей, как розовая луна, и небо было мгристо-розовое. Ресницы слипались. Мы выходили повязанные поверх меховых шапочек серыми мягкими шерстяными

платками, в кожаных перчатках с мехом внутри, темные валенки по-кошачьи ступали по снегу. Он сиял и скрипел, как картофельная мука. Мы шли быстро. Наши прогулки были коротки (мы промерзли и в шубах), и потому еще сгущеннее веселье этих целеустремленных выходов, в писчебумажные и книжные магазины и к Савостьянову – «на книжку» конфет.

Витрины горели бриллиантовой морозной пылью, мы шли выбирать трубки ланолина и калодермы, флакончики пробных духов, новые кожаные книжки для дневников и стихов, разрезательные ножи, ручки, горевшие янтарем, яшмой и перламутром, пачки почтовых бумаг с золотинкой по обрезу, пергаментных, шершавых, разных цветов, цветные чернила и разноцветные палочки сургуча для наших печаток М. Ц. и А. Ц. Не чуя уже пальцев в меховых перчатках, мы спешили домой разбирать драгоценности, прятать подарки друг другу.

А на катке все также гремит военный оркестр из раковины – будки и пар идет от ртов, дующих в золотые трубы, и пар струйками проносится от пролетающих конькобежцев, согнутых в три погибели, почти касающихся рукой льда (верней, черной палочкой кожаных коньковых чехлов, зажатой в руке). Их ноги в черном трико летят, как раскинутые крылья ласточек, почти невесомо скользит надо льдом тело – под мягким углом согнутый корпус и голова в вязаной шапочке, летит, сверкая норвежской сталью, нечеловечески длинным разбегом то правой, то левой ноги; неземная грация плавного взмаха отлетающей ото льда ноги жадно поит зрение – тех, что кружатся и несутся в меньшем кругу. Беговая дорожка окружает нас кольцом. Куда ни глянешь – летят они – конькобежцы – птицы, тренирующиеся для состязания, еле зримые в победной своей быстроте. Мы знаем их имена: Юдаев, Камжалов. Но над всеми – имя Ножникова. Он – первый!



(И я не вспоминаю, что когда-то фамилия эта уже перерезала наш с Мариной путь - доктор Ножников, мама, Ялта.)

Мороз пощипывает нос, концы пальцев, уши - под легкой волной волос, сжатых шапочкой. Как «снегурки» кажутся тяжелы моим ногам, владеющим искусством полета. Решено: я перейду на норвежские!

Что из того, что на Патриарших прудах нет ни одной женщины на норвежских! Только приходит иногда одна с катка Девичьего поля. У Эдуарда Брабеца! Непременно куплю! Ну что же, если велики! Перепают! Коле Рябову перепаивали: а он даже меньше меня! Чудно катается этот мальчик двенадцати лет, гордец, со мной, старшей, дружащий, как с мальчиком, за то, что хорошо катаюсь и никогда не устаю. Даже не захожу в теплушку! Я ведь на катке бываю по много часов, с четырех и до закрытия, - все девочки садятся, отдыхают - я отдыхаю на бегу! Не присаживаюсь! Но в мое горделивое счастье победы над льдом вдруг доносится начало вальса, золото труб взлетело в воздух, и задор поникает во мне в такт начинающемуся кружению.

В сине-серебряной тишине (небо в снежинках) проснулись все музыкой сожженные звуки голосов, бесед, крики мальчишек, скрип и шелест коньков. О! Как? Уже... Марш! Конец! Облегченно и спешно дуют рты и легкие солдат в радостно гудящие, звенящие трубы - отдых! Как смешно снять с ног крылья, стать меньше и идти ступнями, как все, тихой обувью, по снегу, плоско ступая, тихим переулочком от Патриарших прудов, Козихинским, мимо уютных керосиновых фонарей... Точно ты вдруг стал старым - или маленьким? - после мощи полета! Коньки позванивают на ремешке. Бросив калитку, мостками. Жалобная нота дверей черного хода. Стучу ногами, отряхивая снег. Иду залой в преднюю. Что-то мешает

мне в полутьме. Откуда-то снизу, нарочитой -догадываюсь - ужимкой - ко мне протягивается рука в мужском рукаве, белая полоска манжеты... Преграждая мне путь - и здороваясь. Кто-то рядом, Марина! Из полутьмы -смеющиеся лицо. Это Нилендер? Отступаю. Но он уже трясет мою руку. Они двое, невидимые мне в тени. Я видна им, и шапочка, и коньках...

- Ну, кто, говори!..

В его движение - уйти в тень. Готовая рассердиться, я -Марина же знает, что я не уверена в отчестве, - но кидаюсь, продолжая коньковый полет, в риск:

- Владимир Оттонович!

Какие-то слова вроде «браво», и больше я уж не могу на Марину сердиться! Потому, что, мне не давая уйти, она (просяще, боясь с ним - одна?) мне - что-то, что, требуя ответа, вовлекает меня в их беседу, и уж мы, как с Эллисом, втроем кружим и кружим по зале, размыкая кружение - в гостиную. Отчего легко, так просто с ним, как ни с кем? Никогда еще не было так. Этого - мы не говорим и не спрашиваем, но это как раз то, что с нами, хотя ни один из нас троих не сознается себе словами (слова - гордецы!). И через какое великолепное сито ироничности цедится эта рухнувшая на нас новизна.

Ни о чем еще не сказали - не рассказали, не спросили, все - не узнано, уж понято, уж срослись, как в детстве!

Сколько мы ходим по зале? Она стала не темная, свыклись, различаем лица друг друга, видим - движенья, но все это тонет в звуке его голоса.

Мы уже знаем много о нем, хоть он так мало рассказывал. У него была жена, звали ее Софья. Это было после морского училища. Ее с ним нет. Они были счастливы. «Ах, это было ужасно...» - говорит он, не замечая несходности двух своих фраз рядом, но мы поняли - именно так было с ним...

Про Виноградовых он сказал: «На столе – каравай на деревянном блюде и вышитые – «русский стиль» – полотенца, а на стене – Боттичелли...» И длинная, едкая улыбка под вдруг поднявшимися треугольником бровями – осветила – из

какой-то философской дали – его совершенно бледное и худое, не юношеское, нет, лицо. Его слова как будто насмешливы – а голос, ныряя, берет насмешливость под сомнение, он ироничен к своей иронии. И как все совсем по-другому, чем с Эллисом! Он не рассказывает – ни себя, ни мир, не засыпает наш дом драгоценностями вдохновенья и горечи, – но мы уже прикованы к нему крепчайшими узами дружбы, наш дом – его дом, его мир – наш мир.

Кто-то зажег в столовой висячую, нашего детства, лампу, она освещает рафаэлевскую Мадонну с Младенцем и Иоанном Крестителем в круглой раме, и свет лампы вырезал на паркете залы длинный-длинный световой треугольник; мы иногда входим в него, на повороте ходьбы. Мы окунаемся в него на мгновенье, что-то зажигается в нем из нашей одежды, в него попадает рука, край лица... Я не помню – пили ли мы чай, слышен ли был бой часов над роялем, – мы сидим на нашем красном детском диванчике в моей комнате (бывшей детской). Нилендер назвал ее «магический кабинет». Раза два он хотел уходить, что-то вспоминал, спохватывался. Даже рвался – «Лев ждет...», «Ответ на письмо,..». Не споря, мы смотрели на него, и он оставался.

Теперь мы уж на целую ступень дальше, в дружбе, чем внизу, в зале: идет непрерывный поток рассказов о прожитом. Уже он расстался с морским училищем, он переломил прошлое, он начал все еще раз. Он с головой ушел – в греков... Это слово он произносил с благоговением, с трепетом – нет, не так. Он захлебнулся ими, как тогда, с борта в море – волной, и

мы уже чуем, что это немного другие греки, чем папины – Аполлон, Зевс. И звучат иные слова: Немезида, Геката. И Гераклит Эфесский, которого он переводит, распростер над нами свою вдохновенную тайну. Мы знаем теперь, что нашему гостю двадцать три года – не так уж далеко он ушел от нас по лестнице лет! Но он кажется много старше... Мягкий свет керосиновой лампы освещает его лицо в резких тенях, у него глаза светло-карие, желтые; темные волосы глубоко отступают у висков, еще увеличивая лоб.

У него худые длинные пальцы, движенья длинные и внезапные. Он дома, в нашей детской, его родной комнате,

откуда он когда-то уехал в морское училище и теперь наконец: вернулся. Да, брат! Но какой страх, что он уедет!

А лампа начинает гаснуть, прогорела почти всю ночь? Искорки бегут от ее синеватой узкой коронки, и в комнате – и мы только сейчас заметили – полумгла. Мы уже не видим | ясно его лица, ни цвета его глаз. Затем мы видим, что лампа погасла, а в комнате новый и странный свет, очень бледный.

– Рассветает... – говорит кто-то из нас – и три сердца пугаются.

– Лев, Лев... – хватается за голову Нилендер. – Лев ждет! Марина, ответ на письмо, что я ему скажу?

Из обрывков фраз его и Марины я догадываюсь, что Эллис послал его к нам зачем-то и, может быть, до сих пор его ждет... Он хочет встать, охваченный чувством вины перед другом. Но – сильнее его тут – мы с улыбкой:

– Все равно уже сейчас! Он уже спит! – В один голос: – Не уходите...

Когда мы легли после его ухода, мне приснился сон – Альпы (нашего детства, где-то возле Шамунй и Аржантьф): сухой вереск, лилово-розовый, который

звался по-французски «bruyere». Из него мы когда-то у подножья гор плели корзиночки и слали их маме в Нерви, наполнив живыми цветами, сбрызнутыми перед отправкой водой. Я проснулась – счастливая.

– Мне снилось «ьгиуёге»!-сказала я Марине – она осталась спать на диване в моей комнате.

– Тебе? – с несказанным удивлением вскричала Марина, сразу просыпаясь. – Мне только что приснилась целая поляна «bruyere»! Розовая... Неужели тебе – тоже?

В ее голосе дрожало немножко недоверия. Но я на нее набросилась:

– Я же сказала первая!

Мой сон был доказан.

В этот день мы купили темно-синий кожаный альбом, книжку с золотым обрезом, назвали ее «Вечный альбом» и записали в нем все, что помнилось о том нашем вечере, из сказанного – им или нами: из наших бесед после него. Альбом мы надписали ему. Туда ли мы позже вписали новые Маринины стихи: «Сестры» («Им ночью те же страны снились...»)?

Марина мне рассказала, почему Владимир Оттонович все повторял: «Лев ждет» (Лев – Эллис): Эллис послал его к Марине с письмом, в котором он делал ей предложение, просил ее руки. Как она читала его, другу Льва Львовича, ответила ли на его письмо что-нибудь и передала Нилендеру до моего прихода с катка – мне неизвестно. Я не расспрашивала. Марина была крайне смущена неожиданностью предложения стать женой! «Чародея» нашего!

Что она, конечно, готовилась сказать (или уже сказала) «нет» – я знала. Марина – жена! Как он мог подумать! И кто же предлагал ей это! Эллис! Он хотел стать – чьим-то мужем? Все было совсем непонятно. Невероятно! Как он мог прислать ей такое письмо!

Я не знаю, ответила ли Марина письмом на письмо Эллиса, но вот ее ответ ему – выдержки из стихов:

### ОШИБКА

Когда снежинку, что легко летает,  
Как звездочка упавшая скользя,  
Берешь рукой – она слезинкой тает,  
И возвратить воздушность ей нельзя...  
Когда хотим мы в мотыльках-скитальцах  
Видать не грезу, а земную быль -  
Где их наряд?  
От них на наших пальцах  
Одна зарей раскрашенная пыль!  
Оставь полет снежинкам с мотыльками  
И не губи медузу на песках!  
Нельзя мечту свою хватать руками,  
Нельзя мечту свою держать в руках!..

30 декабря в условленные часы мы вышли, укутанные от большого мороза, из дому, взяли извозчика и поехали к Нилендеру. Мысль о том, что мы – «девушки» – едем к «молодому человеку», нам, естественно, не приходила в голову. Для нас он не был «молодой человек» – это был не наш лексикон, он принадлежал, может быть, сверстникам по гимназии? В том состоянии чувства высокой дружбы с Нилендером таких понятий не было.

В этот вечер наш друг Нилендер должен был нас ждать у себя. Легкими шагами, не чуя ступенек, мы избегаем по лестнице. Идем коридором. Находим дверь. Стучим. Молчание. Стучим, переглянувшись, еще. Ни звука. Дверь заперта. Его нет! Мы стоим с минуту молча. Затем Марина круто поворачивается, и быстро, еще быстрее, чем мы шли сюда мы уходим, спускаемся по ступенькам. Берем извозчика – и вот мы уже дома. Мне кажется, мы не сказали ни слова. Раздеваемся, вешаем шубы в передней. Согреваем руки. И Марина

садится к роялю и начинает играть. Я стою на моем месте у печки и слушаю.

Она играет «Танец Анитры», вызывая к жизни Аню... Рассыпающийся гирляндами вальс Durand и медлительную печальную мелодию «Für Elise» Бетховена и все, что льется по памяти с пальцев, когда-то, при маме, так много игравших. Затем она начинает немецкую песенку, знакомую с детства, и вдвоем мы впадаем в нее словами, наивными и не нашими, но которые так просто и так правдиво говорят о любви.

Дверь черного хода издает свою жалобную длинную ноту. Кто-то вошел. Марина обрывает аккорды аккомпанемента. Мы встаем. За дверями залы, в сенях, темную меховую шапку в руке и протягивая их нам обе, с мученьем в лице – на лице резкие тени – Нилендер!

– Ну, ну, простите! – таким горестным, таким виноватым голосом... Смотри на нас умоляюще, прядь волос упала на лоб... что было нам делать?

– Ко мне? (Полувопросом.) Ах, это было так ужасно, когда я пришел и узнал... Там чай, горячий, вы, наверное, в пути очень замерзли! Едемте!..

И вот уже извозчик («пожа-пожа...») везет нас троих -назад, в «Дон». Я сижу на коленях у Марины, держась за полость саней, следя, как быстро уносится снег, как горят фонари, как идет пар от лошадки. Уже заворачиваем на Арбат.

Маленькая лампа на столе светит по комнате слабо, и мы опять, как в тот первый вечер у нас, сидим на диване, неясно видя друг друга. Нилендер – посредине, слева – Марина, справа – я. Тени трамваев бегут по стене через незанавешенное окно, и откуда-то из глубины. Снизу, глухо, – звуки музыки. Синематограф? Ресторан? Не слышно мелодии, но неясные удары ритма по временам доносят смутное ощущение чего-то знакомого... Нам хочется, чтоб он как-то ближе вник в наш рассказ о том же детском сне, нам приснившемся,

-почему Альпы? Тот же вереск обеим! Марина уже хочет сказать об этом начатые стихи, но он вырывается из нашей тьмы, говорит свое, - что он хочет сказать нам? Мешает музыка снизу, бегущие по стене светлые тени трамваев, мешают вертящиеся в голове стихи Феогида - это он перевел!

Лучше всего человеку вовсе на свет не родиться И не видать никогда зоркого солнца лучей,

Если ж родился - скорее скрыться в воротах Аида И под покровом лежать тяжко-огромной земли...

Чай так и остался стоять на столе, остывший, никто не захотел пить. Что-то пытается он нам рассказать об Эллисе, это не удастся, но мы поймаем: он мучается тем, что, уйдя нести письмо, не вернулся до следующего дня, а «Лев - друг, Лев ждал...». А нам все равно, что он ждал! Зачем такое письмо?

- Да, наша встреча - чудо, - говорит он, - и такие отношения сестер - чудо тоже, и нет ничего дурного в нашей дружбе...

Затем его слова делаются туманными. Но в то время, как на лице Марины - непонимание, я вдруг, кажется, поняла, что он хочет - и не может решиться сказать: он стал на то место, с которого свела Эллиса - Марина? Он готов сделать Марине предложение, как Эллис? И стыдится рассеять ее иллюзию о дружбе? Кажется, я верно поняла! Бедный друг наш! Ведь Марина не хочет выходить замуж, значит, и с ним Марина расстанется?!..

Но если он не может быть - другом, он, наверное, хочет поговорить с Мариной - наедине? И в то время как он видит во мне девочку, необыкновенного подростка, я сижу перед ними - взрослая девушка, совсем обыкновенная сейчас! Но мне кажется, я старше, чем они оба. Я встаю.

- Я понимаю... - говорю я, но я избавлена от того, чтобы говорить дальше, - говорит Марина:



- А я не понимаю, - отдельно, как бы с высоты произносит она, - я совсем себе все не так представляла, зачем так... Нам было так хорошо вместе! Наша чудесная дружба...

- Нет, Марина, - говорю я. - Вам надо поговорить, тебе надо выслушать Владимира Оттоновича, я уйду. Поговорите без меня. И может быть, ты - передумаешь...

(Я не знаю, что говорю.) Они не отпускают меня, но я иду. Они встают тоже, одеваются, мы выходим. Бедная Марина! И бедный он. Насколько лучше была та волшебная Удружба, чем этот тупик, в который он ее завел! Я даю себя проводить - до дома.

- Ася, я скоро приду, - говорит Марина, - мы немного походим по переулку, и я приду!

## **ГЛАВА 4. РАЗМЫШЛЕНИЯ. ОЦЕНКА МАРИНЫ «ЗИМНЕЙ СКАЗКИ». ЕЕ СТИХИ**

Бедный гость наш! - думалось мне, - пришел с письмом друга - и сам вступил на тот же неверный путь... Марина же не хочет этого рода чувств, она признает только дружбу

- или преклонение. Она же ни за что не согласится на замужество, это ей так чуждо...

В конце того вечера хождения по улицам вокруг нашего дома с Нилендером Марина пришла, замерзшая, смутная и печальная, и целый вечер молчала. Я видела, что ей - тяжело. Что она что-то решает. Она была мне благодарна, что я не спрашиваю ничего. В обоюдном молчании о нем было столько несказанной нежности друг к другу, что, может быть, никогда ни до тех дней, ни после не были мы так близки.

Мне жизнью была дана удивительная радость в те дни: папа мне на Рождество подарил Полное собрание сочинений Лермонтова. Он был раскрыт мною, и я уже не оторвалась от него. Всего его я полностью полюбила. Но больше всего

- «Демона». Это было как опьянение.

Мариной мне подаренная толстая кожаная с золотым обрезом книжка, где я продолжала писать дневник, наполнялась восхвалениями Лермонтова, списанными местами из «Демона», и хоть этот дневник погиб со всем, что мной было до сорока трех лет написано, я ясно вижу те синие чернильные строчки...

Я купила у Брабеца норвежские коньки, исполнила свою мечту, и мне перепаяли их на мою, меньшую, обувь, и хоть я неслась наравне с Колей Рябовым,

маленьким красавцем и озорником, – я возвращалась домой раньше обычного и уходила с головой в Лермонтова. «Все приходит – поздно» -так и было с моим коньковым счастьем... В те недели я стала почти взрослой.

Прошел не один день, пока Марина нарушила молчанье.

– Кончено! – сказала она мне и тоном отчаяния: – В тот вечер, когда мы бродили по улиидм, – мы простились. И больше уже не увидимся...

Я ничего не спросила, я понимала: так и должно было быть. Теперь наша жизнь пошла опять как шла – вместе. Мы могли вспоминать и вдвоем, в один голос, говорить стихи, которые Марина писала одно за другим. Снова мы шли под руку по знакомым переулочкам и улицам, теперь отзывавшимся на тоску, обретшую имя.

Вот любимые тех дней четверостишья из стихов Марины о том вечере:

Снова поют за стенами  
Жалобы колоколов...  
Несколько улиц меж нами,  
Несколько слов!  
Город во мгле засыпает,  
Серп серебристый возник,  
Звездами снег осыпает  
Твой воротник...  
Смолкли без сил за стенами  
Жалобы колоколов.  
Несколько улиц меж нами,  
Несколько слов!  
Месяц склоняется чистый  
В души поэтов и книг.  
Сыплется снег на пушистый  
Твой воротник.

И вот еще Мариново обращение к нашему нежданному гостю, нашему сказочному брату, так

взволнованно принятому в наш дом в тот зимний удивительный вечер, вот ее оценка тех дней:

Наша встреча была, в полумраке беседа  
Полувзрослого с полудетьми,  
Хлопья снега за окнами, пенье метели...  
Мы из детской уйти не хотели,  
Вместо сказки не жаждали бреда  
– Бели можешь, пойми...

Лёра заходила всегда ненадолго, полная своих интересов, нам чуждых. Обращалась с нами как с младшими, – а мы уже младшими не были. Марина писала маме стихи, и мы их повторяли в унисон.

Одной из главных мук Мариной жизни было горькое недовольство своей наружностью: форма лица казалась ей слишком круглой, румянец – слишком ярким. И хоть толстой

она не была, но была плотной, и в те годы не была еще стройной, и тело свое ненавидела, как и румянец. Этот удержанный вздох всегда шел с ней. Ясное ощущение несоответствия ее души и внешности было трагедией тех лет Марины. Все более тоскующими глазами смотрела она на себя в зеркало, неподолгу – и отходила. Молча смотрела на тех, кто кругом: на красавца Андрея, на меня, которой любовалась, на кого-то случайного...

...Но в те ли дни мы особенно были рады «Дневнику» Марии Башкирцевой, такой родной нам и так трагически рано умершей? Все пленяло в ней – ранний ум, острый, и печаль, и самоанализ, и ее одиночество среди близких. Только одно из ее свойств в нас не находило отклика – ее тщеславие, ее жажда стать чем-то. Описание ее нарядов, стремление блистать в свете.

Этого в нас не было.

Все последнее время шел разговор о директорской квартире в новом Музее. В ней было много комнат, папа

намеревался от нее отказаться – ему тяжело было проститься с нашим домом – как и нам с Мариной. Но в один вечер, когда ей было светлей на душе, она сказала мне:

– Знаешь, Ася, если мы все-таки там окажемся – мы будем выкрадывать у вахтеров ключи и ночью, когда все спят, будем кружиться в лунных лучах в древней Элладе...

## **ГЛАВА 5. ВТОРАЯ РЕВИЗИЯ. НОВАЯ БЕДА. ЗИМОЙ В ТАРУСЕ**

А папино испытание продолжалось. В начале 1910 года, если я не ошибаюсь, была Шварцем прислана новая ревизия. С нею были связаны доносы двух служащих (за леность пониженных в должности). Об этом папа пишет в письме к Р. И. Клейну.

В марте 1910 года был издан указ Сената, вторично отвергавший домогательства Шварца. Вновь наш дом, как корабль на волнах, качнуло теплое течение. Увы, вскоре Шварц послал в третий раз рапорт в Сенат, настаивая на своем. В конце мая в разного направления газетах появились различные отклики на это событие.

И вот в это самое время случилась непонятная вещь, - по Москве она пошла скандалом: Эллис, завсегда у нашего

дома, вырезал несколько страниц из книг читальни Румянцевского музея. Мы удивились крайне. После этого Лев Львович уж не придет в наш дом, друг, так непонятно причинивший бедному папе новые неприятности! Эллису грозил суд. Зачем он это сделал? Книжки не ценные, не старинные, он мог бы их легко достать! Марина и я, огорченные за папу, осуждать все же не спешили: не мог Эллис сделать это тайно, злобно, сознательно!

По поводу этого высказывался позднее Андрей Белый: он целиком отбрасывает версию злоупотребления, намеренности, безобразного анархизма в общественной библиотеке: Эллис, пишет он, работая там, вероятно, имел с собой и свои книги и вырезал нужные ему для статей места из казенных книг, спутав их со своими. В той лихорадке, в которой

шла жизнь Эллиса, это объяснение совершенно правдоподобно. Ведь одна из вырезок, говорили, была из книги А.Белого – его соседа по номеру в «Доне», где они жили бок о бок!

Но это стало ясно позднее. Дело обошлось без суда, но Эллис не бывал у нас. Мы слишком хорошо знали Льва Львовича, чтобы заподозрить его в бесчестности.

Не обращая никакого внимания на нашу тоску, в Москве наступала весна: по ярко-синему небу бродили пышные, как сметана, облака, подтаивало, хрустел ледок сосуллек, солнце обливало улицы тем самым, нашего детства, светом, в котором плавилась золото и голубизна, и легкие помимо воли дышали жарче и глубже, сердце тянулось к ощущениям и воспоминаниям иным, чем те, что заколдовали нас – с Рождества.

Андрей собирался в Тарусу.

– Поедешь? – хмуро-весело спросил он меня. – Тогда собирайся! У папы возьми себе на дорогу денег. У меня нет. Я еду послезавтра! – И ушел к себе.

– Марина, поедем? – неуверенно позвала я, входя в маленькую комнатку над лестницей.

– Нет, – отвечала Марина, – а ты поезжай. Я уже купила билеты на все спектакли Сары Бернар. Через пять дней идет «L'Aiglon»! Может быть, потом – приеду... а может быть... -Она замолчала, потом отрывисто: – Не приеду. Простимся перед вашим поездом. Я вас провожу.

Я пошла к себе, недоумевая. Странные какие-то слова!

Марина приехала на вокзал проводить нас. Она казалась разнеженной и сдерживала себя. В последний миг она сунула нам сверток с апельсинами...

– Приезжай! – крикнула я ей.

Третий звонок... Марина долго бежала за поездом.

Дорогу в Тарусу не помню. Семнадцать верст на лошадях. Крепко укутанные, в деревенских санях, уложенных сеном, бубенцы; знакомые и еле узнаваемые в снегу деревни. Снег, снег, бубенцы...

Ока лежала огромной мороженой рыбой, застыв меж берегов, повернув хвост к Алексину, голову – к Поленову, к Серпухову, и в часы таянья ее чешуя сверкала на полувесеннем солнце мириадами слепящих алмазов. От этого блеска, от первых облаков, от синевы белизны было больно глазам. Разливался по взгорьям, по мосту, меж ракич, по летящим вверх и вниз улочкам звон колоколец и бубенчиков.

Переехав Оку – направо, за собор, к Тетиному дому. За окнами – движение занавесок, в ответ на звонок (потянуть к себе золотую шапочку выдвигной ручки – и по дому золотой плеск) – беготня, шаги, и мы в теплой передней. Уж Тьо обнимает меня пухлыми короткими руками в оборках. Увидав Андрея, было хотевшего улизнуть незамеченным, – «*Mon Dieu! Comme tu as grandi, Androucha! Mais tu es devenu un homme!..*»<sup>1</sup> Поцелуй, любованье, Андреево смущение и после отнекиваний на: «*Mais entre donc chez la Tante! Tu auras le temps d' aller chez tes Dobrotvorsky...*»<sup>2</sup> – поцеловав Тьо, Андрей отвечает, что поздно, его ждут, сбегает с крыльца, и мы видим в окно, как он прыгает в сани – и они мчат. А я попадаю целиком во владение Тети: жара, множество комнаток, уют, чудная еда, вопросы, восклицания, рассказы...

Я рассказываю, смешу Тетю, выбираю занятное и невинное, каждое событие раздувая как в лупу, – потому что именно такими они кажутся в этом доме, где их подами нет вовсе, где все вызывает внимание и бурный отклик. И тем же резцом, которым я обвожу все маленькие случаи жизни нашего дома и наших подруг, я заботливо и беспощадно отрезаю все то, что составляет настоящую нашу жизнь –



1 Боже мой! Как ты вырос! Ты же стал мужчиной!  
(франц.)

2 Но зайди же к Тете! Хватит у тебя времени пойти к твоим Добротворским! (франц.)

Маринину и мою, – потому что правда о нас – непонятна Тьо насовсем.

А Тетя зовет меня, любовно кормит, спрашивает:

– Когда же приедет Мунечка? Зачем ей так нужна эта Сара Бернар, когда Тетя ее так ждет!

За окном зимняя темнота, вьюга. Мы переходим в Тетину спальню. На ночном столике, как в детстве, светится спичечница, горит лампадка, и темная фигура стоящего в раме дедушки с сигарой в руке смотрит на нас, как десять лет назад. Потом Тетя заводит дедушкины часы-шкафчик, и оттуда звенит и гремит оркестр вальсами Штрауса, и мне совсем не хочется умирать на Ривьере – нигде! – хочется кружиться, кружиться, грустью музыки победить свою... Тоска, что Марины нет!

Масленичное катанье в Тарусе. Чудный весенний день, и по гористым снежным улочкам, в сверкающем морозе и таянье, санки с бубенцами, ржанье коней, хохот проносащихся компаний молодежи, обгоняющих друг друга. О! Мы с девочками Михайловыми не забыты! Сережа Успенский на паре подлетел к дому, где мы собрались, и мы, гордясь, что и мы помчимся сейчас, как взрослые, валимся друг за другом в сани – Оля и Шурочка, еще какая-то девочка и какой-то мальчишка и я. Сережино лицо сияет, но он старается казаться взрослым. Он очень вырос с лета, серые глаза под густыми бровями и застенчивы и задорны. Он пускает коней, и мы лихо проносимся улицей, вскрикивая на ухабах и на повороте к мосту и к белым привидениям огромных ветел над речкой. Бубенцы гремят серебряным плеском, и сном кажется мне Москва и

вчерашняя грусть! Мне весело! Вечером я увижу брата Сережи, Шуру...

Но при повороте дороги кони чего-то пугаются, Сережа не может справиться с их испугом, и ранее, чем мы успели понять, что случилось, – кони понесли. Они летели, не разбирая дороги, как обезумев, санки подбрасывало, кидало, люди что-то испуганно кричали нам, Сережа натягивал вожжи, как мог. Мы, девочки, поняли опасность, сидели молча, вцепясь друг в друга, боясь криком усилить страх. Но мужское в Сереже подсказало ему: с невероятным усилием он повернул лошадей на идущую в гору улицу, и они, пронесясь с разбегу по крутому подъему, вдруг стали, тяжело

дыша, перед чьими-то воротами. К нам бежали. Ничего не слыша от сердцебиения, мы выскакивали из саней...

Блины – позади, вдом кататься с гор на «подрезах». Теплый день, у домов тает, ребята бегут вверх по гористой улице с замороженными решетками, которые тоже оттаивают, но ребята летят на них, кружась, и крик такой, точно пожар, ничего не слышно! У нас длинные санки, и мы летим с горы, держась друг за друга. Щеки горят, дыхание захватывает, ветер в лицо! Вдруг кто-то из девочек нагибается ко мне: «Узнаешь? Видела, кто? Не узнала? Шурка Шпагин, что так озоровал летом, в кого Гарька с Дубцом камнями кидали – в лодке-то! Погоди, как бы опять чего с нашими ребятами не вышло!»

На вторых подрезах наших – Мишка Дубец и Гарька. Неужели драка будет, ссора? Сердце сжато страхом. В этот миг Шурка Шпагин, проносясь мимо нас, снимает шапку и кивает мне дружески! Как чудно! Значит, мы будем все вместе кататься? Какой сегодня день!..

Тетя, наверное, ждет меня к ужину! Что делать?!

На улице ночь. Из клуба замедленные звуки вальса. Входим. Яркое освещение, много народу. Ищу глазами

Шуру Успенского. Его нет. Мы кружим по зале, как все, в ожидании начала. Вдруг кто-то пересекает нам путь: Гаря. Он принаряжен, черные пряди гладко причесаны. Цыганские золотые глаза светятся радостью. Он подходит вплотную и тихо: «Ася, можно вас на минуту?» Я отхожу с Гарей, и толпа сразу отделяет нас.

- Ты, Гаря, что?

Отводя золотые глаза и очень волнуясь:

- Я хочу с вами поговорить. Может, выйдем?

Мы выходим на лестницу, и по ней - вниз. Холодно. Я в одном платье.

- Ася, - говорит он, - я давно хотел... Я так долго ждал вас! Вы не поймите неверно (он ужасно волнуется, голос дрожит). И за вас я готов... Я всю жизнь...

Мы стоим у выходной двери. Гаря понимает, что мне холодно, и, может быть, от этого, от страха, что я простужусь, он торопится, сбивается. Я смотрю на него. Мне жаль его.

- Я готов служить вам всю жизнь, Ася! Вы мне тогда писали, что...

Он опускает глаза, подымает их. Он испуган тем, что сказал. Мне очень холодно, я дрожу.

- Гаря, - говорю я, - да, я писала тебе, что ты - особенный. Но ты не понял меня - я не хочу лгать тебе.

Его узкое смуглое лицо больше не освещено глазами - он их опустил, и очень тихо:

- Я понял!..

Он мне уступает дорогу, как бы торопя меня отсюда (еще мне холодно, а ему тяжело) - вверх, где мне будет тепло, где музыка, Шура... Я жму его руку - слабую, узенькую. Крепко жму. Затем взбегаю по ступенькам. Я иду полкруга одна и вдруг останавливаюсь: в зале сидит Шура Успенский рядом с Марусей Н-ой и глядит ей в глаза. Ко мне не подходит.

Наш путь лежал мимо них. Когда мы прошли мимо Шуры, он мне поклонился. Но весь вечер ко мне не

подошел. Такая измена.

Девочки проводили меня до Тьо. Ложный стыд перед ними терзал меня не меньше, чем сам «крах»...

Музыкой, беседами с Тьо я старалась отвлечь себя от раненой гордости. Марине бы все рассказать!

...Но Марина не ехала к нам в Тарусу, и я волновалась очень. То, что она поехала провожать нас с Андреем на вокзал, когда мы уезжали в Тарусу, было странно, непривычно. И вела она себя не так, как всегда: была мягче, молчаливей, что-то в себе подавляла. И был мне какой-то намек на то, что спектакль «Орленок» с Сарой Бернар как-то связан с каким-то ее намерением. Она колебалась в чем-то, задумывалась. И на меня ложилась смутная догадка – не хочет ли она, – но дальше я и себе не договаривала. Спросить было бесплодно – не ответит. И слушать не будет. А теперь, когда она не ехала, меня взяла тоска, страх. Те апельсины стояли передо мной...

О, как я обрадовалась, когда неожиданно, без звонка, с черного хода, из той теплой проходной комнаты, где пахло нагретой керосинкой, кофе и печеньем, вошла вдруг закутанная Марина!

– Мунечка! – крикнула Тетя, протягивая к ней руки, в то время как служанка помогала Марине раскутаться, снять с головы платок, шапочку, затем Тетя испустила громкий крик и, видимо, зашаталась, потому, что служанка, с трудом подхватив ее, уже сажала ее в кресло, где она только что мирно готовилась разливать кофе. Но Тетя, закатив глаза,

охала и стонала и указывала рукой на свою талию. Мы тоже бросились к ней, видя, что ей дурно. Марина и женщина суетились возле завязок Тетиной юбки, путаясь в них. Но только тогда поняла я, в чем дело, когда полустоном Тьо выдавила из себя: «Les cheveux!»<sup>1</sup> Я за б ы л а сказать Тете, что Марине подруга посоветовала для ращения волос какую-то

жидкость, назвав ее Перуин Пето<sup>2</sup>, – что Марина стала втирать ее в волосы, и те стали катастрофически быстро желтеть. Жидкость оказалась перекисью водорода, и голова стала ярко-желтая! Снизу росли русые, приходилось подмазывать... Увидев такой Марину, Мунечку, Тетя была поражена в самое сердце, быть может решив, что Мунечка «вступила на опасную тропу!». Но патетизм Тьо на сей раз превзошел себя. Она еще раз охнула – и затихла, закрыв глаза...

На один миг мы в ужасе подумали, что Тетя умирает! Мы стояли, занемев. Служанка плакала. «У вас нет нашатырного спирта?» – шепнула ей Марина. Тьо приоткрыла глаза: «La Tante est morte!» – сказала она, закрывая их снова, и, переводя служанке: – «Умерла ваш барыня, от страдань, вот тут!» (она тронула себя пониже шеи, где были оборки)

– и, может быть желая поправить грамматическое время, так как служанка как-то странно хмыкнула, повеселев, – «ум-р, нет,- сказала Тьо, – умрѐет! Oh comme c'est affreux ce que tu as fait, pauvre enfant!»<sup>3</sup>

И, тронутая звуком собственного голоса и эпитета, сразу сменив гнев осуждения на приступ жалости, Тьо потребовала узнать, кто виновник этих крашенных волос! «Бэди дэвоч'к, без матерь! Если б их мать знал!..» (служанке), и, уже сев в кресло и вновь глядя на нас открытыми глазами поверх спущенных на середину носа дедушкиных очков, Тьо, усмиряя себя, сказала милостиво-торжественно: «La Tante vivra encore!» И по-русски: «Ваш барынь еще поживьѐт!» – и слезы и радость, и кофе со сливками, печенье, варенье, и призыванье наказанья на Мунечкину подругу, и – кормить, кормить замерзшую Мунечку... А потом – оркестровый вальс Штрауса

1 Волосы! (франц.)

2 Тогдашняя новинка для ращения волос.

З О, как ужасно! Что ты сделала, бедное дитя!  
(франц.)

из Венского леса, и уют, и воспоминания... И оброненное мне Мариной, странное – «Не удалось...» Большого бы она не сказала – я не спрашивала. Я была счастлива, что она здесь!

Только тридцать четыре года спустя, после Марины, из найденного ее прощального мне письма 1909 года я узнала

о тех днях. Но намеками – она сказала позднее, что револьвер дал осечку. В театре, на роستانовском «Орленке», которого играла Сара Бернар.

С этих недель и месяцев началась третья часть Маринино будущего первого сборника (после части «Любовь» - часть «Только тени»)..

Какой пищей для той поры был любимый Маринин роман Эмиля Золя «Le reve» (как перевести на русский? Я бы перевела «Сновидение». Переведено, кажется, словом «Грезы». Хоть бы уж лучше «Мечта»!). Невеста в день свадьбы, выходя из церкви, умирает на руках жениха. Марина обожала эту книгу. (Слово «обожала» я употребляю здесь потому, что его любила Марина. В те годы в ее контексте оно звучало не по-институтски. В нем звучала высокая нота...)

Наконец решился вопрос о квартире в Музее. На предложение папе музейной директорской квартиры он ответил, что из дома, где родились все его дети, где прошла жизнь, он не переедет. Предложил отдать эти комнаты под две квартиры будущим хранителям Музея – Назаревскому и Куприянову.

Назаревский часто бывал у нас, к нам с Мариной был очень внимателен. Папа не мог нахвалиться им – за эрудицию, разностороннее образование и неутомимость. У нас он сделался своим человеком, был бодрым и преданным помощником папы. Огромный, полный, с окладистой бородой, в которой уж сверкало

серебро. Лицо его казалось неестественно большим, глаза навыкате, и весь он был точно увеличенный в лупу. Позднее, прочтя «Человек, который был четвергом» Честертона, мы вспоминали Александра Владимировича Назаревского. Было трудно поверить, что кто-нибудь, кроме него, был назван там «Воскресеньем». Он как-то подходил к нашему дому, вошел, как домой, в его затаенную сказочность. Хотя и говорил обычно с папой о раскопках на Крите или же об экспозиции зал и о музейском хозяйстве, рабочих и о текущих делах. Но разве в гофмановском

• • -лгп^»-...

'X

«Чудесное дитя» не был гувернером - Чернилка, подымавшийся черной гигантской мухой - под потолок?! И «крестный» Дроссельмейер в «Щелкунчике»... Так, значит, Назаревский, таинственный «Воскресенье», - будет кружиться, вместо Марины и меня, по ночам в лунной Элладе?

## **ГЛАВА 6. ВСТРЕЧА. ВЕСНА 1910 ГОДА. ХУДОЖНИК ЛЕВИ И МАРИЯ БАШКИРЦЕВА**

Как мы любили звучавшие еще нам тогда стихи Некрасова на смерть безвременно погибшего Писарева:

Не рыдай так безумно над нкм,

Хорошо умереть молодым!

Беспощадная пошлость ни тени

Положить не успела на нем.

Становись перед ним на колени,

Украшай его кудри венком!

Все, что погибало, влекло Марину еще сильнее, чем меня. Я по своей природе была мягче, легче сходилась с людьми. Марина в то время жила только книгами.

Судьба братьев Гонкур, судьба Гейне с его *Ma1га22ег^габ'*, судьба глухого Бетховена, судьба Пушкина, Лермонтова. Судьба рано умершей художницы Марии Башкирцевой. Каждый погибавший герой книги и каждый внезапно умиравший, о ком она слышала, – были ее сверстниками, ее спутники. Я, конечно, смягчала ей жизнь. Без меня Марине было бы еще горше.

Наступила весна. Каток таял.

В один такой полувечер, синий, с первым весенним ветром, мы шли под руку по Арбату, когда вдруг – неисследимо короткий миг несомненного появления, присутствия, и двойной быстротой шага – навстречу Нилендер! Только успела сверкнуть знакомая глубокая, горестная улыбка, длинный всплеск руки, приподнявшей шляпу, и мы уж далеко от него, каждый в свое «вперед», мы – к его Смоленскому, он – в направлении к нашему дому, от которого мы шли.



Марина неслась вперед, побледнев, сдвинув брови. Вот ее стихи о том дне.

1 «Матрацная могвля». Имеется в виду многолетнее лежание в постели Г. Гейне, тяжело больного.

### ВСТРЕЧА

«...есть встречи случайные...»

(Из дорогого письма)

Гаснул вечер, как мы умиленный

Этим первым весенним теплом.

Был тревожен Арбат оживленный.

Добрый ветер с участливой лаской

Нас касался усталым крылом.

В наших душах, воспитанных сказкой,

Тихо плакала грусть о былом.

Он прошел – так неожиданно!

Так спешно!

Тот, кто прежде помог бы всему,

А вдали чередой безутешно

Фонарей лучезарные точки

Загорались сквозь легкую тьму...

Все кругом покупали цветочки,

Мы купили букетик... К чему?

В небесах фиолетово-алых

Тихо вянул неведомый сад,

Как спастись от тревог запоздалых?

Все вернулось. На миг ли? На много ль?

Мы глядели без слов на закат,

И кивал нам задумчивый Гоголь

С пьедестала, как горестный брат.

Март, 1910 г.

...Было 2 апреля старого стиля, – почему запомнилось число? Мы шли с Мариной по Тверскому бульвару в белых пикейных платьях, в широкополых соломенных шляпах. Черета деревьев – целая верста их аллея, онегинская, за спиной чугунного Пушкина была осыпана зеленью почек. Как запомнился этот день!

Весна, как бы ни ждали ее, настает всегда внезапно. Каждый год, и в этот год тоже, выйдя во двор, мы вдруг обнаруживали, что хлыстики тополей вокруг низа их стволов уже выпустили клейкие, пахучие, трогательно своей (ни на какую не похожей) формы листки. Зелени их почти отказывается верить глаз – до того она беспорочно ярка, точно в первый раз на земле! И низенький, густой, другого, более

бутылочного, оттенка мох, похожий на плесень, уже снова появился у ступенек погреба, возле собачьей будки, у углов сарая. А вдоль обоих флигелей, – главного, напротив парадного входа в наш дом, и кухонного, в противоположном углу двора, – встали ряды зимой не замечаемых молодых акаций, стройных кустиков, стенкой, с в е т л о-зеленой, и странно глазу после снега и инея снова поверить в явь этой кружевной тоненькой вязи, ничем не сходной с зеленью тяжелых тополиных листов. А когда пройдешь весь двор, то матово-серебряным шатром, почти не зеленым, трепещут осинным трепетом склоненные ветви серебристого тополя, огромного, осеняющего весь входной угол двора, крышу полосатого парадного, мостки и входящего в наше владение. Вдоль левой и правой стены дома – тоже акации, двор без сугробов стал больше, в нем столько чудных закоулков, особенно там, где в детстве еще качали колодец, следы его домика еще есть... Желтые, как маленькое солнце, цветы на пухлом стебле (в нем «молоко») – одуванчики!..

Но если бы только это: цвет, листва, трепет. Но – воздух! Ошалеешь, только распахнув дверь во двор. Так пахнет весной, что все чувства ожидания ее – как звезды перед солнцем. Весенний дух двора берет на руки, точно ты родился и тебя вынесли на воздух впервые. Никаких воспоминаний, кроме детских. Почти бежим (как тогда!) наискось по сырой земле и нюхаем

ее совсем так, как дворовый пес, даром что не наклоняем головы! Запах земли кажется драгоценней всех запахов, и как мы жили без него с самой осени (да осенью совсем не так пахнет, когда прель листьев, грибы...), сейчас земля после вчерашнего первого дождика – та же, как когда мы прыгали маленькими по этим мосткам, вертясь под легкими дождевыми струями, и кричали в них: «Дожьжик, дожьжик!» О, но что делается, когда гремит первая гроза и мы яростно скандируем (в семнадцать, пятнадцать как в семь, пять) все те же, до нас родившиеся:

...в начале мая,  
Когда весенний первый гром,  
Как бы резвяся и играя,  
Грохочет в небе голубом!..

И всеми легкими: «Грибной, грибной дожьжик! Солнце светит – и дощь идет»...А как от весны – глупеешь! Наравне с кроликом (летает по двору не хуже нас, от акаций к

акациям)... А трава сегодня на столько выросла со вчера! А голуби, голуби...

Весна! Мы тебя позабыл и!.. И не было ни Эллиса, ни Нилендера.

Мы были совсем одни, Марина и я, этой весной.

Шел разговор о поездке за границу. Папа хотел ехать в Германию по делам Музея и взять нас с собой, чтобы мы не забывали язык. Он списывался через германских знакомых с одной семьей под Дрезденом, где он намеревался устроить нас на пансион, а сам – ездить по городам, откуда в Москву должны были высылать коллекции слепков, делаемых первоклассными немецкими мастерами. Сначала нам понравилась мысль вдруг оказаться за границей, после уже пяти лет России. Но когда мы дохнули у себя во дворе и во всех дворах московских переулков русской весной – сжалось сердце: сейчас так особенно позвало в

Тарусу! И именно в этот раз мы от нее оторвемся, не увидим ни берез, ни бузины, ни Оки, ни лугов, ни «старого сада», ни поля за большой дорогой, где ореховый овраг... И к Тете не придем в ее сад... И какая там еще эта семья немецкая - Андрей говорит «пасторская» (хохочет) - «будет он вас там просвещать проповедями, протестантскими! А фрау пастор будет вас хозяйству учить! Вот так лето! А я буду гулять в Тарусе, охотиться, на лодке кататься, есть ягоды и яблоки у Добротворских!» И мы хотя, конечно, спорим, но в душе -согласны с ним.

Маринины занятия в гимназии кончились, мои экзамены были сданы, и уж намечался отъезд.

В ту весну мы встретили в гостях художника Леви, и эта встреча нас взволновала: он знал - говорил с ней, в Париже

- Марию Башкирцеву! Как мы расспрашивали его! Как жадно слушали его рассказ! Вот что я помню, кроме (кажется, иронического) упоминания о ее неудачной переписке с Гюи де Мопассаном: «Мария Башкирцева, несомненно, страдала слуховыми галлюцинациями. Помню такой случай: мы сидели, беседовали. Внезапно Мария настораживается, теряет нить беседы (прислушивается): звонок! Мы уверяем ее, что никакого звонка не было. Спорит, уверена в обратном. Так бывало не раз. Спала на очень узкой железной кровати в своей мастерской. Знала греческий. Читала в подлиннике Платона. Была очень красива».

Леви, уже пожилой, скорее полный, чем худой, русый с небольшой остроконечной бородкой, казался нам почти дорог отражая свет виденной им Башкирцевой. Мы уходили домой, будто рукой ее коснувшись, не сразу вошли в свою жизнь,

Сказала ли я, что Марина стала переписываться с матерью Марии, что та прислала Марине несколько фотографий дочери? От нее Марина узнала, что

дневников Марии было много, но что напечатаны они будут через десять лет после ее, матери, смерти. Мешало изданию нежелание семьи вскрывать их семейные отношения. С той переписки прошло более полувека. Об этих дневниках не слышно. Погибли ли они в огне войны? Как бесконечно жаль...

## **ГЛАВА 7. ЛЕТО 1910 ГОДА. ДРЕЗДЕН. СИКСТИНСКАЯ МАДОННА. СЕМЬЯ ПАСТОРА. ПОБЕДА НЕДОСТОЙНОГО МИНИСТРА ШВАРЦА**

Дрезден – густые купы деревьев, светлая Эльба в каменных берегах, лучащаяся жара солнца и, как всегда в пути, усталость от хождения по чужому городу. Магазины нас не прельщали, мы покупали необходимое наскоро и были рады прохладной тени деревьев по пути к фундаментальным серым зданиям музеев. Мы входили в музей уже привычно, сразу переносясь в детские годы, когда столько музеев мы обошли с папой (Вена

– Мюнхен – Генуя – Лозанна – Оренбург). Музеи – это был некоторым образом дом. Все музеи были немного папины. И папин был памятник знаменитому филологу Меммзену, о котором мы слышали с детства почти как о Зевсе, – что-то древнее, ученое, драгоценное, с чем связан папа. Я не помню, в каком городе я видела этот памятник. Но я помню великолепье знаменитой «Брюллевской террасы» между музеями и Эльбой, вед на нее – и с нее в нежную жару утра, и трепет слова «Альбертинум» еще до входа в музей. Прохлада зал и имя профессора Трей, папиного друга.

И маленькую – после зал – комнату, высокую и тихую как колодец. В ней говорят шепотом, ходят на цыпочках. Мы стоим – папа, Марина и я – и смотрим: по облакам, как по земле, идет к нам Девушка. Непередаваемой простоты и невинности. Волосы ее

трогает ветер, карие глаза смотрят на нас, губы дышат.  
А на руках ее на нее непохожий,

большелобый и крепкий младенец, неопикуемой  
глубины и внимательности полно его и детское и  
недетское лицо. Сикстинская Мадонна!

Вайсер Хирш<sup>1</sup>. Гористое место под Дрезденом.  
Столько зелени в этом городке, что только и видно –  
сады по уступам, в них тонут крыши вилл всевозможных  
стилей и вьется змейка фуникулера. Дом семьи пастора  
Бахман, где мы будем жить, – в горной части городка  
Вайсер Хирш, в Лохвиц. Уличка идет вниз, и на этом  
спуске стоит дом Бахманов.

Дом в норвежском стиле из темного дерева,  
островерхий с большим, обходящим его по второму  
этажу балконом, похож на швейцарский шале, на  
Шварцвальдсхауз (Чернолесье), где мы жили семь и  
шесть лет назад, с мамой. Перед ним

– очень маленький садик. Нам показывают наши две  
комнаты

– поменьше проходная, с окном на поднимающуюся в  
гору зелень и виллы; за ней комната больше, в два  
окна. Что ж, отлично! Не ссорясь, мы распределяем: в  
большой будет Марина, в маленькой, проходной – я. У  
окна я поставлю стол. Тут буду писать дневник, Марина  
поставит письменный стол в глубине другой комнаты.  
После обеда будем ходить в город, потом в купальню.  
Такая жара.

Андрей уехал. Мы остались одни в незнакомой  
семье.

Фрау Бахман, высокая, всегда занятая, серьезная,  
но ласковая женщина, старалась, чтобы нам было  
хорошо у них

– «gemutlich» (уютно). Жалея нас за то, что у нас  
умерла мать, она иногда вдруг, среди хозяйственных  
забот, устремляла на нас светлый взгляд всегда  
немного печальных глаз,

- выходила из своей жизни, заглядывая мудро и добро, без любопытства в жизнь чужой семьи, чужой страны - в чужую судьбу. Нам было легко с ней - даже как-то ближе и ловче, чем с детьми ее, подростками - Софией и Герхардтом. Это были большие дети. Веселые, робкие и невинные, какими мы и в детстве не были. Они были очень большие ростом, немного как великаны дети. София, темноглазая, носила волосы в две косы, горбилась и стеснялась. Герхардт, годом старше, еще выше сестры, был светловолосый, светлоглазый, ребячливо хмурый и очень застенчивый, были они оба в полном подчинении у матери, не бунтовали ни в чем

- это им не приходило в голову. День их шел по раз навсегда

1 Белый олень (нем.).

заведенному образцу. К нам они отнеслись просто, хорошо естественно - к приезжавшим они привыкли, мы были в доме не первые чужие дети на их веку.

Но самым замечательным в семье пастора был сам пастор. Мы в своей жизни еще никогда не видели пастора. Нет, одного видели в Шамунй-Аржантьер летом 1903 года: знакомого мамы по пансиону, отца девочки Айлии. Того самого, который в целях забавы нам, когда мы пришли в гости к его дочке, спрятался под стол, одевшись и загримировавшись орангутаном, и из-под скатерти задевал нас длинными лапами-руками, на которых - не туфли ли были? (И, кажется, рычал?) Мы тогда очень перепугались, смутились, в отвращении от непонятности происходившего, чем еще более смутился бедный пастор, гостеприимно захотевший нас развлечь... И были еще пасторы-проповедники в Томе Сойере и Геке Финне. Этим наш опыт кончился. Пастор Бахман не проповедовал ничего. Небрежно одетый, что так редко у немцев, так же причесанный, бородатый (русый с рыжинкой), он ходил по дому, ни на кого не обращая внимания, и делал только одно: играл на



рояле. Он был композитор, писал Симфонию. Звуки, лившиеся обильно и шумно из-под его рук, на симфонию похожи не были, но в них смешивались самые разнородные мелодии. Фрау пастор избегала говорить о деятельности мужа, по крайней мере первое время. Затем из ее уклончивых недомолвок мы поняли, что герра пастора считают больным и что он тяжело переживает непонимание людьми его музыкальных сочинений. «Он очень добрый человек, – добавляла она, – но немного нервен...» И тихонько вздыхала. И мы поняли, что в ее жизни – трагедия, и еще теплей стали относиться к ней. Пастора мы сторонились невольно, не понимая, как с ним надо говорить. Но его болезнь возбуждала уважение и сочувствие. И немного и восхищения даже пробуждалось в нас к нему за его долю отщепенца в том мире законности, порядка и скуки, в каком он – того не замечая – жил. Что-то в нем было родное...

И было еще одно удивительное в Норвежском доме: Софию и Герхардта никогда не кормили вдоволь. Они уходили из-за стола – голодные. И мы – за них – вспомнили наш голод в пансионе Бринк. София грустно терпела, жалобными глазами карими блеща на блюдо картофельного салата, манную запеканку с подливкой из компота, жидкое

варенье или кисель из ревеня, от которых ей было положено в тарелку, но так мало, что ей, Riesenkind'у (великаньему детенышу), не хватало... Герхардт был смелей. Хмурясь, он говорил матери – неизменно: «Mutier! Darf ich noch ein bisschen?» -на что получал неизменно тот же ответ: «Genug, Gerhardt!»<sup>1</sup>. А на наше удивление, как-то наедине с его матерью выраженное, она нам ответила с невозмутимой уверенностью: «Meine Kinder wachsen von Luft»<sup>2</sup>. Скупа она не была, – нас ни в чем не урезывала, кормила обильно, вкусно, пекла пироги (кухены). Но она верила, что желудок не должен

быть полон, и так воспитывала своих детей. К нашему удивлению, они действительно были здоровы и сильны. Но мы их очень жалели. Мы слишком помнили пансион Бринк!

Мы были не одни на пансионе у Бахман: кроме нас там жили еще мальчики-подростки: Кристьян пятнадцати и Хельмут семнадцати лет. Насколько был неинтересен первый – настолько выделялся Хельмут<sup>3</sup>. Единственный сын богатого и строгого отца, живший, как мы, без матери, он нам очень пришелся по душе, и мы быстро сдружились. Умный, воспитанный, много читавший. Невысокий, тонкий. Волевое начало Хельмута сквозило во всем.

Папино желание исполнилось: мы с каждым днем все больше вспоминали немецкий разговорный язык, ушедший, как и французский, из наших дней – с мамой. В застольных беседах принимал участие и Кристьян, истый юный немец мещанского типа.

Белобрысый, толстощекий, важный, он, однако, был добр и старался быть чинно-галантен, и было в нем тайное постоянное беспокойство, как бы не сплеховать в чем-нибудь. Хельмут, как и мы, чувствовал здесь комизм, и мы незаметно переглядывались.

А в то время когда мы с Мариной мирно жили в Норвежском домике, в «Московском вестнике» появилось сообщение, что ввиду увольнения со службы директора Румянцевского музея И. В. Цветаева министерство народного

1 «Мама, можно мне еще немножко?» – «Довольно, Герхардт!»\* (нем.)

г Мои дети растут от воздуха! (нем.)

3 В переводе «Хельмут\* (Hellmuth) – Светлое мужество (что очень Хельмуту подходило).

просвещения распорядилось о передаче музейного имущества и дел хранителю Музея. Следовала фамилия.

Каково же было душевное состояние папы, когда одним росчерком пера был так несправедливо отнят у него Румянцевский музей, на пользу которого он столько лет потрудился! В борьбе нечестного министра и честного профессора победил - первый!

Происками Шварца папа был уволен с места, где он беспорочно прослужил столько лет! Но Марина и я об этом узнали только при свидании с папой.

## **ГЛАВА 8. СТАРОСТЬ И ЮНОСТЬ. СКАЗОЧНИЦА. СТИХИ МАРИНЫ**

Жизнь в Вайсер Хирш шла своим курортным чередом: процветавшая система д-ра Зандера вызывала въявь невероятные зрелища – толстые без меры, с одышкой, мужчины и женщины, все в сандалях на босу ногу, приступом брали окрестные горы, после насильственно легкой пищи, прославляя систему и доктора и вздыхая о слабости своей воли, мечтающей об иной еде, о гладкой местности и удобной обуви. Мы, юные, сбегали им навстречу легким шагом и вновь взлетали крутыми тропинками с купанья, подвижные и легкие... и с содроганьем думали: старость!., зрелость!

Выше нас по зеленой горе жил знакомый Бахманов -скульптор Бродауф. Он иногда приходил к нам, и мы с фрау пастор ходили наверх к ним. Седая, молодая еще голова, взгляд темных пронизательных глаз, плотные плечи. Он входил – и с первого слова чувствовалось, что вошел своеобразный человек. Он был образован, умен, красноречив, разносторонен. С Бахманами они были старые друзья. Он одобрительно смотрел на нас, жалел, что не знает русского. Его приходы красили размеренную жизнь в пасторском доме. Иногда он говорил с пастором о музыке (не уступал доводам музыканта, – может быть, критиковал симфонию?). Раздавались спорящие голоса. Пастор выходил, иногда выбегал с разгоревшимися щеками. Затем все возвращалось на круги своя.

Однажды пришло приглашение на литературно-музыкальный вечер в семью Ш-р. Собрались туда только фрау пастор и мы. Герр пастор никогда не ходил в

гости. (Кстати - он никогда не отлучался и для пасторских занятий. Видимо,

пастором он был в прошлом.) Детей мать не взяла. Мы увидели богатую виллу, перед которой наш Норвежский домик казался избой. Но в просторных, светлых, с сияющими полами комнатах было пусто и официально. Мебель стояла по стенам. Хозяин, пожилой человек с большой лысиной, в пенсне, встретил нас любезно. Собралось уже много гостей. Ждали еще кого-то. От вида уютной светской обстановки мы сразу заскучали, жалея, что пришли сюда, а не взобрались меж зеленых садов в домик Бродауфа. Но через полчаса наше настроение резко изменилось: в дом приехала волшебного вида старушка, рассказчица сказок.

Ее усадили в кресло. И начался музыкальный вечер.

Он был очень «изысканный» и очень обыкновенный. Дамы пели по очереди, раскрыв рот и прижимая к груди обе руки с зажатой трубкой, нот. На них сверкали драгоценности, благоухали розы. Скрипач вдохновенно подражал Паганини; слушая рояль, мы вспоминали мамину игру. Всего лучше была виолончель, певшая низким медленным голосом о чьем-то прощании. В перерыве подали чай в исключительной красоты (саксонский фарфор?) чашках, на блюде - бутерброды, две вазочки с вареньем, причем обращалось внимание гостей, что в одной вазочке - варенье одного сорта, в другой

- другого (дамы ахали, отдавая дань любезности хозяйки); две золоченых тарелки с печеньем. Между гостей легче мотылька летал шепот о необычайном обилии угощения. Я обжигалась чаем и уголком глаз косилась на Марину. Но когда после нескольких претенциозно и сентиментально прочитанных стихов настал черед рассказчицы сказок - мы оживились: все повернулись к старушке, еще не древней, донельзя худой. Черный огонь глаз под густыми бровями, тонкий

нос, почти полное отсутствие щек; она была в черном старинном и старом платье; готовилась начать сказки. Кресло ей перенесли ближе; публика разместилась кольцом – и глуховатым голосом, тихим она стала рассказывать. Голос креп, взгляд обводил нас. Фабула, начатая, как начинаются все наивные сказки, усложнялась, запутывалась, поведение сказочных персонажей принимало зловещий оттенок – перед нами развертывалось восхитительное повествование! Мне – и, конечно, Марине – мы всегда одинаково чувствовали в таких случаях – хотелось понять, узнать, – свое она рассказывает? неужели свое? неужели чужое? Но где же она нашла такие сказки? Мы о них никогда не слышали.,.

Как мы страдали, когда по окончании, внезапно, раздались любезные аплодисменты! Ревниво смотрели мы на старую волшебницу, платочком вытиравшую лицо, на ее худую, желтую руку, несшую ко рту чашку остывшего чая, кивавшую соседке-даме, – улыбающуюся, отдохавшую перед следующей сказкой. (Отдыхать! Это было нам, юным, непонятно – разве можно отдыхать от такого? Оно же само есть от в с е г о отдых!) Загадка от загадок... Богатство и бедность, старость и молодость, красота и безобразие – это и было то, о чем, в колдовском разнообразии сочетаний, говорится в сказках. Да, но ведь всего этого никто, может быть, не понимал в той гостиной, кроме нас! Тут начиналась ревность. Мы чувствовали эту сказочницу своей, для нас она говорила – это нам было так явно... А между тем она о нас не знала совсем – не узнает. Она встанет и уйдет, хозяева проводят ее до дверей. Может быть, и заплатят ей

– за сказку. Она ведь, наверное, живет этим? А она могла бы полюбить нас, и может быть, – понять? И мы бы ее любили...

Говор гостиной стихал. Она продолжала.

Сказка шла за сказкой, и, может быть, толстокожесть слушателей даже и пронизалась чем-то в тот вечер? Как блистали старые глаза на помолодевшем чудесном лице! Это была импровизация? Или во вдохновении рассказа сплетались неведомые нам легенды, германские (но сколько мы их знали!) – с вымыслом, и в комнате возникали новые очертания сказочных призраков, новые сочетания все той же древней фабулы об испытаниях, разлуках, мужестве и надежде, о расцвете и отцветании, о выполненных заветах и обещаниях – и о мраке злой воли, мщениии и зависти, о заточеньях, предательствах, гибели... Наконец, устав, она смолкла. Ее благодарили, а она, еще светясь, остывала. Сейчас наступит ее телесная старость, отступившая на время ее труда!

Серая, еще не белая голова, старомодная, но небрежная прическа, – точно сами волосы на такой голове превращались во что-то, освобождались; худые плечи и руки, старенькое черное платье, только что бывшее почти «королевским», пока она говорила... И ее уход назад, в ее одинокую комнату

– со старым кофейником? любимой кошкой? Усталость членов, голоса, рушение в сон... Разве можно позабыть тебя, Сказочница?!

Мы возвращались с фрау пастор по темным улочкам, взволнованные, отдохнувшие и уставшие, жадно расспрашивая о старой фее. Да, она живет этим, одинокая давно уже. Это – ее хлеб...

В эти дни Марина написала:  
Волшебство немецкой феерии,  
Томный вальс немецкий и простой,  
А луга в покинутой России  
Зацвели куриной слепотой.  
Милый луг!  
Тебя мы так любили  
С золотой тропинкой у Оки...

Меж стволов снуют автомобили,  
Золотые майские жуки.

Семья Бахман (кажется, и сам пастор) часто ездила по утрам в семейные купальни. И были воздушные ванны (участки леса, отгороженные, где целые семьи ходили в рубашках - чтобы дать дышать телу). Мы иронически смотрели на такие занятия, участия в них не принимали. Да и весь «Белый олень» со своими санаториями, с сандеровским методом лечения от ожирения, все эти сандалиии, насильственные хождения по горам, молочная и овощная диета - были в наших глазах только юмористической темой.



## **ГЛАВА 9. ЖЕРТВА АВГУСТА СИЛЬНОГО. ГРАФИНЯ ФОН ПОЗЕН. ЭСКАПАДА. ОТЪЕЗД ХЕЛЬМУТА. НАШ ОТЪЕЗД. ПЕШКОМ ПО САКСОНСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ. МАГДЕБУРГ. ВИТТЕНБЕРГ**

Мы поехали экскурсией в близлежащее место, где в лесу стоял замок, некогда принадлежавший Августу Сильному (August der Starke). В живописном, глухом месте стоял он, лучше слов говоря о старине. Узкие бойницы, крепчайшие стены, простые суровые очертания. И была в нем высокая башня, окруженная галереей. Грубая кладка камня поражала. Что-то дикое, страшное, древнее, как сама земля и деревья этого леса. Гид рассказал нам – нет, не легенду, а жестокую, невероятную быль. Некогда Август дер Штарке приблизил к себе красавицу графиню фон Позен. Был ли он вдов – не помню. Графиня имела от него двух маленьких сыновей. Но кто-то донес Августу, что графиня ему изменила. В гневе не проверив злой слух и не слушая уверений возлюбленной он велел заточить ее в башню. Туда ей носили еду и питье, давали одежду, но не позволялось ей даже стоять у окна. Так, отдаленная накрепко от жизни, красавица графиня Позенская прожила в этой башне три четверти жизни. Детей своих она ни разу не видела с разлуки. И вот однажды она увидела в окне, как вслед за Августом мчатся на конях ее взрослые сыновья. Графиня,

потрясенная, узнав крошек сыновей в этих взрослых красавцах, крикнула их имена! Они было остановились, дрогнув, придерживая поводья – может быть, узнав голос матери! – но грозно торопил, отзывая их, голос отца – и, пришпорив коней, они неслись вслед, проскакав мимо башни, где томилась в заточении их мать.

Потянулись годы – еще полжизни! До глубокой старости дожила в башне графиня фон Позен и никогда более не увидела своих детей... А стража день и ночь ходила по галерее, стерегла ее до ее смерти.

Мы слушали страшный рассказ и смотрели на портреты графини. Они висят и теперь, может быть, – если не попала в них бомба во время войны, – на каменных стенах. Высокий парик, пудренный, тонкие черты, пышный наряд, покатые плечи. Улыбка цветущей юности трогает ее рот.

...Соскучилась ли Марина в покое и в мире? Но вскоре мы с Хельмутом решили сделать что-нибудь тайное, оживить нашу покоренную жизнь. В нашей затее – это было всего веселее – принял участие и Кристьян.

В тех рамках, что были нам доступны в Вайсер Хирш, мы задумали вот что: никому не говоря, отлучиться, якобы каждый по своим делам (будто в магазины, в парк, в купальню), и уехать в Дрезден – погулять вместе где-нибудь на окраинах, где меньше вероятности быть встреченными кем-нибудь из знакомых Бахманов. От Софии и Герхардта, благонамеренных и послушных, мы, конечно, должны были скрыть эскападу.

Были приняты все меры предосторожности. Мы вели себя, как всегда, естественно и весело, но Кристьян был так польщен тем, что участвует в головокружительной поездке, внес в наше предприятие столько своего восторга, что нам,

глядя на его праздничную, почти высокопарную манеру поведения, стало еще веселее. Он почувствовал себя взрослым, студентом-буршем. Он выступал со всей германской торжественностью, ведя меня под руку, будто невесту, и сиял от сознания своего достоинства так блаженно, что на него нельзя было спокойно смотреть.

Приближался отъезд Хельмута, за ним собирался приехать отец. Хельмут не раз слушал незнакомое звучание Марининых русских стихов; постигая их ритм, вслушиваясь в звук, он понимал, что жизнь столкнула его с настоящим поэтом. Да и в беседах с Мариной ему предстало ее своеобразие и талант. Ему было жаль, что скоро этому общению – конец.

Уже был подан экипаж. Мы все, София и Герхардт стояли на дороге. Как во всех случаях отъездов, София вспоминает прежде живущих у них (Schwedenkinder<sup>1</sup> Каролуса и Дагма-ру)... Так через год, через пять лет она будет вспоминать нас, ставших сном: «Marina, die älteste, und die jüngste – eigentlich hiess sie Anastasia, aber man nannte sie Asja, – die Russenkinder...»<sup>2</sup>.

И в тот миг, когда в дверях Норвежского домика появляется, выходя с фрау пастор, его отец, Хельмут осознает всю тяжесть прощанья с Мариной (это же прощанье на всегда)! Его лицо вспыхивает и гаснет, и он не знает, что делать с глазами. Но он вежливо склоняется в почтительном и церемонном поклоне и, пожимая протянутую ему руку, говорит голосом, на который он всем воспитанием своим надевает стальные латы: «Ich bin glücklich ihre Bekanntschaft gemacht zu haben!...»<sup>3</sup>

Как сказал когда-то его отец – и как скажет сын. И вот мы уже стоим на дороге и смотрим вслед уезжающему экипажу, звук колес все слабее, все тише... Все!

Приближался и наш отъезд. Ждали папу. Жаркие дни -перед сборами! Всего хочется с удвоенной силой: не хватает времени в дне все успеть: дописать письма, дневник, дочитать книгу, накупаться в бассейне, наплаваться! Мы поспеваем и в лес с фрау пастор, и сдруживаемся крепче с Софией (и Герхардт будто перестает нас дичиться), и герр пастор вчера

1 Шведские дети (нем.).

2 Марина, старшая, и младшая - ее имя было, собственно, Анастасия, но звали Ася... русские дети... (нем.)

3 Я счастлив тем, что был знаком с вами!., (нем.)

говорил с Мариной о музыке (он в последнее время все играет и играет, Симфония растет и растет...).

От папы пришло письмо, он едет к нам.

И папа приехал.

Когда коляска была нам подана, в разгаре прощаний к нам подошел Кристьян: он чинно-взволнованно шаркнул ногой и сказал: «Ich bin glücklich ihre Bekanntschaft gemacht zu haben!» - слово в слово повторив прощальные слова Хельмута!

Но вот уже и скульптор Бродауф идет с нами прощаться...

С семьей Бродауф мы тоже к концу лета сблизились. Их домик на крутой горе, густой, как сплошной сад, казался нам уже немного родным.

Приехав в Дрезден, мы пустились в пешеходное путешествие - втроем, папа и мы две, по Саксонской Швейцарии. Глаз не успевает смотреть, грудь - дышать. Крутизна гор -не хуже Тироля: резкость теней, зеленое золото освещенных лужаек, блеск водопадных струй, тропинки, уходящие в глубь лесов. Горные речки. Как я устала! Нет, они еще идут бодро. Но впереди - деревья, привал. А пастухи перекликаются особыми криками - пеньем, разве и тут Jodeln<sup>1</sup>, как и в Шварцвальде?

Как случилось, что в Магдебург и Виттенберг я поехала с папой одна? Почему не поехала Марина? Может быть, за ней – так как пора была в гимназию – заехал Андрей?

Как, еще не взрослая, я не до конца понимала, что значило для папы «увольнение с должности», и притом без пенсии, такое чудовищно несправедливое. Я радовалась, что он избавился от части работы.

– Теперь ты не будешь так уставать, папа! И уж скоро откроется твой Музей!

Магдебург – с вышины, утром от всего длинные тени по улицам, только проснувшись. Вороха черепичных крыш, почти розовых. И меж них, внизу, – купы зелени, рукой художника вставленные меж скосов теней и рыжих просветов. Чердачные окошки – и голуби. Я это вижу сверху из окна маленькой уютной гостиницы, куда мы с папой только что приехали с поезда.

1 Особое горное голосовое искусство, пастушье.

Свежо, без меры солнечно – и без меры любопытно жадной моей душе вдруг жить здесь, в незнакомом городе, в андерсеновском волшебстве тени и света, чьих-то окон, садов, голосов, которых я до сего не знала...

Магдебург: Вирштубе «хозяйская» – как в Шварцвальде, как на старых голландских картинах. Толстые фигурные стекла распахнутых окон, и на пестрой скатерти нашего столика – утренний завтрак – освещенный солнцем натюрморт. Резные высокие, старинные стулья. За соседним столом

– кружки пива, которым сто лет.

Магдебург – снизу: уступчатые крыши, как на картинках в старинных томах сказок, высь ратуши и острие собора; площади как колодцы. Посредине – с}х>нтаны. Игры детей в солнечных затонах дворов. Голуби в небе – стаей. Люди -из сказок Гримм и Гофмана. Тишина, благолепие. И залы, залы музея...

Виттенберг! Как будто я здесь родилась и давно живу -так знакомы по Фрейбургу узкие улочки, эти арки ворот и шпиль кафедрального собора, - о, да, это - детство, Лозанна...

Мы стоим перед распахнутыми дверями собора, лютеровского, и читаем на их свинцовых створках - его, Лютера, заветы. Он создал свою церковь, восстал против католической. В Виттенберге Мартин Лютер - как царь. Все - его, все - о нем. Сейчас папа поведет меня в ту комнату его дома, где на стене чернильное пятно (хранят!): это Мартин бросил в черта - чернильницей, когда тот явился Мартину...

...Теперь, когда я уже на почти десяток лет старше, чем тогда был наш отец, я, разбираясь в его архиве, прихожу в глубокое восхищение. С каким мужеством вынес он свое «увольнение от должности»! Как, подавив в себе чувства печали и негодования, - он даже на самое короткое время не прерывал своего труда по созданию нового Музея! Полученный удар не сделал его ни разочарованным в служении просвещению, ни озлобленным. Деловито и самоотверженно продолжал он работать день за днем, как пчела, собирая мед в соты, отдавая делу последние свои силы.

В середине лета, получив вопиющую по несправедливости отставку, он участвовал в оскорбительной процедуре передачи своим заместителям дел и инвентаря Румянцевского музея (из них один и был клеветник). А в июле он выезжает в научную командировку за границу для пополнения нового

Музея. Неутомимо и увлеченно трудится он в музеях Берлина и Дрездена, затем уединяется в глухой деревушке Саксонской Швейцарии и работает над оправдательными документами, опровергая клеветническую ревизию. И он еще находит в себе силы заехать за нами, взять нас с собою, на пешеходную

многодневную экскурсию по горным дорогам Саксонской Швейцарии, чтобы и мы любовались тамошней живописной природой. Берет меня с собой в нужные ему для Музея города

- Виттенберг, Магдебург...

В эту осень нам минуло - Марине восемнадцать, мне шестнадцать лет.

# **ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ ЮНОСТЬ. МОСКВА. КРЫМ. МОСКВА ГЛАВА 1. ПРИЕЗД ДОМОЙ. ОБЩАЯ С МАРИНОЙ ГИМНАЗИЯ БРЮХОНЕНКО. УЧИТЕЛЯ И ПОДРУГИ**

Синие кафтаны, извозчичьи, грохот колес по булыжникам, череда встреч с домами, неумирание радости, ежегодней, снова въезжать в Москву! Поворотом, последним – в Трехпрудный, и в сиянье глаз вплывал коричневый дом № 8 – деревянный, знакомый, наш, с серебристым тополем, выливающимся круглым ливнем ветвей, пепельных, до середины переулка – шатром.

И в позднем окне – шелест листов бессонной тетради, шелест рифм, оживающих ночью в восемнадцатилетии над столом Марины, под портретом Наполеона...

Старый дом встретил нас, как всегда, тем же запахом пыли, нафталина, летней запертости, скрипом дверей черного хода – их жалобную ноту, кажется, и «на том свете» узнал бы, – хлопаньем ставен, будивших комнаты после долгого сна, стуком вносимых вещей, звонками, голосами и, наконец, журчаньем поющего самовара, воцарявшегося на все той же медной доске самоварного столика.

Разговор с дороги оживленнее и дружнее, чем всегда, соотношения – сдвинуты, в них еще нота дорожного цыганского табора, печаль разлук, радость встреч, неустоявшееся вино пути, – завтра все станет на



места привычек и склонностей. За комнатами верха притаятся, ожив, где -мандолинное серебро, рокочущее, где - бормотанье стихотворной строки, ищущей рифмы, не ложащейся в ритм, где -побежит перо дневниковой страницей.

Папа, отужинав, уходит к себе в кабинет, мирно «напевая» нам с детства знакомый, неясный, только его обрывок

мелодии, который бы никто не сумел повторить из нас, но который мы все узнаем... Повторяя, неосознанно, десятки лет завиток смолкшего вокального упражнения первой жены, звуковой завиток, тут же замирающий в тишину. Острая жалость к папе, застенчивая и недоступная выражению.

И уже отшумел самовар. Потягиваясь, встает из нас кто-то первый, за ним - все.

Засыпаю. А в окно сквозь ветви тополя прокрадывается луна.

Марина училась в гимназии Брюхоненко на Малой Кисловке, и я с осени поступила туда же. С первых же дней, в переменах сходясь, вдвоем ходили по рекреационной зале, под высоким лепным потолком. Такого, чтобы сестры, старшая с младшей, минуя подруг, не считаясь с классом, были вместе день за днем, - не бывало. Обе в очках, русые, Марина - с подобранными по-взрослому напуском надо лбом, плотная, выше среднего; я - меньше и тоньше, с вьющимися до плеч волосами, но - как лошадки той же «породы» - та же улыбка, те же глаза, тот же смех, тот же голос - этим сходством и упорством ходить вместе мы обращали на себя внимание гимназии.

Начальница Мария Густавовна Брюхоненко, большая, полная, добрая, пожилая, являла резкий контраст со своим более молодым мужем, рыжеволосым, рыжебородым (узенькая бородка) Александром Николаевичем. Он ходил в вицмундире,

был розов, весел и необыкновенно увлечен своими предметами – естествознанием. Скоро отметил он мое вящее равнодушие к ним и подшучивал надо мной, быть может, боясь моего влияния на класс. Но напрасно, – я уже не искала признания, как так страстно – три и два года назад, и почти ни с кем не говорила серьезно. Подруги мои кротко принимали в сердце его пылкие уроки, увлекались физическими опытами и – что страннее было мне – формулами скучнейшей мне химии, как я – стихами. Раз на уроке (видя ли меня, погруженную в книгу неучебного типа) Александр Николаевич обратился в мою сторону: «Конечно, г-же Цветаевой (да, нас так называли!) покажутся прозаичными мои слова – да еще о звездах! – но я все же скажу, что звезды, падая, чиркают по воздуху, как спички по коробку!»

Учителем русского языка у нас был Юрий Алексеевич Веселовский, сын «того известного Веселовского». Наружностью несколько напоминавший карточного короля, шатен, приветливоликий, с даром речи. Не сразу, может быть, попав в тон, нужный для «этого возраста», он был, пожалуй, слишком «почтительно-церемонен» с нами, еще немножко детьми. Был в его уроках оттенок лекционности. Но от его вопросов и вдумчивого слушания ответов веяло нам еще незнакомой ответственностью, от которой делалось холодно и немного страшно. Сердце рвалось назад, в те пылкие годы, когда наказание стерегло за углом и ты ему бросал вызов! Наказания – никакого. Светлый взгляд вежливого учителя, слушающего тебя.

Третий из тех, кто запомнился, математик. Владимир Васильевич Голубев. Молодой, безбородый, безусый, очень высокий и очень худой, такой тонкий в своем вицмундире, что сгодился бы Гофману в его сказки. Он был язвителен, очень бледен, и темные глаза под очками были бы и красивы, если бы не были – как

нам по молодости казалось – злы. Что он любит одну алгебру и геометрию и в их очки смотрит на мир и на нас – было ясно. Он был беспощаден, полон иронии. Изысканно вежлив. Эта изысканность убивала. Он излагал теорему, будто вел резец по серебру или меди, – и насмешливо ждал вопросов. Их не следовало. Кто лишь пытался успеть за полетом его блистательной логики, кто, скромней, не пускался в этот опасный путь – и в мучительную тишину падал звук его голоса, и было сколько-то в нем -грусти, усталости его одиночества среди нас.

Та равнодушная даль, с которой я после лет учения дома пришла в этот старший класс новой гимназии, помешала мне запомнить ясно многих моих сверстниц, в то время как подруги по гимназии Потоцкой – жадно свежи в памяти. Помню сестер Гехтман, Лену и Берту, похожих лицом -горбоносых и светлоглазых, очень разных. Лена была – как молодой сеттер: подвижна, оживлена, светлые косы летали вокруг ее плеч, худеньких, она улыбалась, смотрела пристально и приветливо, застенчиво искала сближения. Берта была разумная, деловая, говорила меньше сестры. И прекрасно училась по точным наукам. И помню еще двух: Нину Мурзо и Таню Тургеневу. Нина, лишенная позы, открытая, с чувством юмора, не входя в смуту юности, брала от нее

лишь веселье и ясность, чем привлекала меня. Она откликалась на вопросы справедливости в школьной жизни, не имея притяжения к злу. Всякое же лишнее усложнение жизни ей было чуждо. Всегда была готова помочь, делая это просто и грациозно. Нина Мурзо послужила мостом сближения моего с братом Андреем. С ее входа в наш дом началась в нем новая эра: знакомство подруг – с Андреем, его взгляд на меня как на почти уже девушку. Нина была хороша, прелестна, смуглая, что-то восточное в продолговатом овале, в

больших темных глазах с тяжелыми веками, полукружия бровей, черных, прямой пробор темных волос. Нина, точно сошедшая с иллюстрации к тому восточных сказок, с ее легкой смущенностью в чужом доме, должно быть, очень нравилась Андрею, и когда, сев за рояль, она запела и звук ее чистого, – в нем был металл, – голоса наполнил залу и дом, – Андрей не ушел, слушал, хвалил, смущался. «Дивный терем стоит» пела в первый раз у нас Нина (будущая певица).

В моем классе училась младшая из трех сестер Тургеневых, средней из которых, Асей, была заинтересована Марина, встретив ее в литературном кругу. Младшую звали Таня. Это была шестнадцатилетняя девочка-девушка, с фарфоро-во-нежным лицом, в обрамлении русых, с золотом, пышных, волнистых волос, полулоконами падавших на плечи; голубые прозрачные глаза, легкий румянец – это была английская гравюра. Таня часто смеялась. Ее насмешливость готовилась в (близком!) будущем пленять – многих. Я любовалась ею, но в сердце мое она не входила. В ней было что-то пасторальное, от нее веяло тем, что всего неведомей было мне – с дней маминой смерти, – от нее веяло счастьем. Наши встречи были поверхностны, разговор не углублялся, мне казалось, что я ей не нравлюсь, – что все, что составляет жар моей жизни, она отметаёт беспечным движением руки. Когда кто-то входил в сердце Марины, она окружала его облаками ею воображенных свойств и не позволяла касаться не только к самому, теперь ей принадлежащему, человеку, но и к облакам ее преклонения: *Amour bleu!* Скольких окутала она им за свою юность.

«Только тени» назвала она раздел своей первой книги стихов. Они окружали ее с самого детства. Через них прошли два спутника, забредшие волею судьбы в

наш дом, Эллис, Нилендер, - и они стали тенью. С тенями бродила она

вечерами по зале. Встретив Асю Тургеневу, она не расставалась с ее образом, действительно глубоко притягательным.

В один из вечеров, войдя в дом с катка, я, еще не успев услышать голосов, потянув воздух (как в тот вечер, когда в первый раз увидела у нас Нилендера), поняла, что у нас -чужой. Пахло неизвестными папиросами (к Марининым я привыкла). Шагнув в залу, я увидела огонек. Он вспыхивал и гас, как золотой светлячок. Шли волны папиросного дыма, и - очень скупно - слышался разговор (он описан в Марининых воспоминаниях).

- Ася, познакомься: Ася Тургенева. А это моя сестра -Ася.

Из полутьмы залы, в косо́й луч света, падавший из столовой, протянулась женская рука - прохладная, тонкая, легкая, равнодушно сжала мою. И тогда, в преддверье того луча света, я увидела бледность лица, ореол кудрей и светлые большие глаза. Та же гравюра английская, что сестра, но зрелее, и четче, и холодней. Повелительней. Обаяние, да! Я его ощутила сразу - не собой, - только тем, что зовется вкус. И пошла, уклоняясь, к себе - чтоб не мешать. Зная, как жарок Марине каждый миг с этой холодной гостьей (сколько сил было Мариной затрачено, чтоб это видение вошло в наш дом...).

Узнав, что Таня, близко жившая, иногда по пути заходит за мной вместе идти в гимназию, Марина стала стараться узнать через меня что-нибудь об Асе. Спрашивала, дружу ли я с Таней, какая она, что говорит о семье, о сестрах.

Я, насмешничая, развенчивала Таню, не решаясь затронуть - ту. Но тайным знанием знала, что в отношениях Марины и Аси Тургеневой страдательное

лицо – Марина, а недооценивающая – Ася. В гордом ее облике, в ее «давании себя обожать» мне была неприятна Маринина роль.

...Новый Музей требовал уже всех папиных сил. Но служение это было безвозмездно, а уволен с основной должности он был без пенсии на старости лет... Жить приходилось на оплату университетских лекций. «Я разорен»,

– коротко писал папа кому-то, затем следовал длинный отчет о делах нового Музея, нашего «колоссального младшего брата», как мы называли его. С каждым днем папа на наших глазах старел. А работа по Музею все росла.

И вот осенью, когда мы вернулись из-за границы, Лидия Александровна обратилась к Марине и ко мне с серьезным разговором – о папе. В нем сказало ее многолетнее страдание о папиной домашней неустроенности, пошатнувшемся здоровье из-за травли министра Шварца, он останется совсем один, когда мы разлетимся из-под отчего крова: между папой и Андреем близости не было, да и Андрей мог жениться. Лёра дома не жила. Что ждало папу? А Музей все еще не открывался, и папа, болея, трудился через силу. Папе, по ее мнению, – и мы, выслушав, с нею согласились, – нужен человек, не наемный (не экономка), который бы прочно взял на себя заботу о его здоровье, режиме, уход за ним, надзор за его лечением. И такого человека она приискала – свою институтских времен подругу, Лидию Дмитриевну Ф-ую, пожилую, обеспеченную даму (что было важно, дабы никто не мог заподозрить ее в материальной заинтересованности).

– Это ваш долг – помочь мне в этом деле, – сказала нам Драконна, – вы узнаете ее и полюбите. А она уже любит вас, она вас видела у меня. Ей же во всем этом нужно одно: положение.

Знакомство было устроено. Мы быстро к ней привыкли, даже привязались, часто бывали у нее. Она искренне отнеслась к нам. Ее веселый нрав не обещал нам ущемления в свободе. Тогда произошел разговор Лидии Александровны

- с папой. Зная его скромность и спартанство, она, конечно, стала убеждать его, что этот брак необходим - для нас. Было сказано, думаю, следующее:

- Это ваш долг по отношению к дочерям. Им шестнадцать и восемнадцать лет, им нужен надзор и совет, они в таком возрасте... В доме будет человек, ведущий хозяйство, умеющий принять гостей, наблюдать за порядком. Им придется, может быть, выезжать в общество - с нею это будет возможно.

И папа, вздохнув, дал согласие. Уже намечались сроки для необходимых светских и церковных формальностей, когда папа передал Лидии Дмитриевне приглашение к дяде Мите. Мы понимали, что это значит, - и в этом визите мы встали как два «пажа» возле «дамы», чуя, как взволнованы и враждебны в своей подозрительности дядя Митя и его жена. Вечер прошел внешне - любезно. Лидия Дмитриевна блистала бриллиантами и мехами, оскорбленная устроенным ей «смот

ром», благодарная нам за дружбу. Наступление на папу после этого вечера пошло еще сильнее со стороны папиных родных (м. б., и Иловайских? о Добротворских не решаюсь, сказать, помня, как они сокрушались о его неустройстве). Была вызвана к дяде Мите я (Марину звать не решились: мой возраст было легче завоевать). Штурм я выдержала, заранее с Мариной предрешив мое поведение, - отвечая, что папе нужна забота, которую мы не в силах ему дать, и что Лидия Дмитриевна - прекрасный человек. Меня сочли глупой девочкой, подпавшей под чары авантюристки. Чуя беду, мы еще больше сблизились с Лидией Дмитриевной, бедной - в

ее богатстве... Наступление родных кончилось их победой - папе пришлось прислать Лидии Дмитриевне извинение и отказ. Он ссылаясь на свою старость, болезни, занятость, просил простить его за неловкость создавшегося положения. Лидия Дмитриевна держалась с большим достоинством, но нам было тяжело на нее смотреть. Мы не покидали ее. Папа же остался по-прежнему без забот о нем взрослого близкого человека.



## ГЛАВА 2. ПОХОРОНЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО

А теперь пора рассказать о событии, происшедшем осенью 1910 года, – о конце Льва Толстого и о том, как мы бежали из дома – на его похороны, со всей молодежью.

Сколько, во всем мире, писали о тех днях! Что я о них помню? Дни, сходные с теми, ялтинскими 1905-1906 года, когда мы жадно ждали вести о восстании в Москве, от своих. Весть, промчавшаяся осенью 1910 года по всей России, по всему земному шару.

Лев Толстой ушел из дому, из Ясной Поляны, покинул, с котомкой, дом и – исчез.

И затем, дни спустя, вторая весть, еще более страшная. Лев Толстой заболел и лежит больной на станции в маленьком станционном домике... Газеты – бюллетени здоровья – волнение всего мира, – все только и говорят что о Толстом. На улице незнакомые спрашивают друг друга: ничего не слышно? Вестей нет? Тревога, толки, осуждение жены, Софьи Андреевны... И третья, последняя весть: Лев Толстой умер!

Тогда вся Москва подымается – ехать на похороны! Переполнены – или остановлены – трамваи? Толпы. Студенческие демонстрации. Крики: «Долой смертную казнь!» (Одно из требований Льва Толстого – к правительству. Оно становится лозунгом дня.) Улицы запружены. Шепот, что вышлют казаков. Папа запрещает нам ехать, идти куда-то: могут быть беспорядки, стрельба. Можно потерять жизнь – за что? Чего добьмся? Кидаться очертя голову в толпу, которая разношерстна, в которой могут быть провокаторы...

Быстро, незаметно переглянувшись, мы поняли: папу не убедить. (Нас – тоже.) Лёры не было (может быть, она вступила бы с папой в переговоры?). Значит, надо уйти незаметно из дома. Другого выхода нет. Нам было жаль папу – он будет за нас тревожиться. Но с нами ничего не случится, мы чувствовали это твердо: разве нас могут -убить? Нелепо. Конечно, нет. Мы будем жить, – значит, все, что папу тревожит, ошибка. Мы вернемся домой! Но как сделать, чтобы уход не заметили? Мы подождали, когда папа ушел? или сел заниматься? – вернее – последнее. Затем мы бросились в переднюю, молниеносно надели шубки (морозило, был ноябрь), шапочки, и я уже хотела надеть на легкие туфли для тепла галоши или ботики, что попадетсЯ, – когда в кабинете послышался шум. Мы кинулись к черному ходу и, выйдЯ, прислушались. Нет, нечего. И тогда – по земле, чтобы не стучать по мосткам, – к воротам. На Марине были ботинки, из-за галош – не попасть на похороны? Мы уже спешили по переулку.

Еще за час мы зашли к Простаковым, жильцам, занимавшим бывший Лёрин флигель, и в счет квартирной платы попросили у них тридцать рублей. С этой суммой в кармане мы летели по Трехпрудному, мороз пощипывал мои ноги, но радость удачи и волнение, попадем ли на поезд, отвлекали и несли нас на крыльях. День шел к вечеру. Когда мы достигли вокзальной площади, через нее было трудно пробраться. Вокзал был окружен толпой. Все кричали. Мелькали шинели городских. Они оттесняли народ. Чудом нам удалось в вокзал протиснуться сквозь толпу! А там – там отходил последний поезд на станцию Козлову Засеку под Тулой<sup>1</sup> (туда ждали гроб с телом Льва Николаевича). Мы кидались от кассы к кассе – безнадежно: везде – толпа. Вдруг мелькнуло Марине знакомое лицо: девушка ее лет пробива<sup>1</sup> В нескольких верстах от Ясной Поляны.

лась к ней. Следом – бледный гимназист с растерянным лицом.

– У нас не хватает денег! – кричали они в отчаянье. – Попасть в Засеку можно, только взяв билеты первого класса! Второй класс весь продан! И билеты стоят двенадцать рублей, а у нас на двоих – двадцать!

– А у нас – тридцать! – сказала радостно Марина. – Сложимся, и хватит!

– Ура! – закричал бледный гимназист.

– Сашка, беги! Бери!.. – торопила, в испуге, что опоздаем, Маринина подруга (по какой-то из прежних гимназий).

Мы совали им деньги, считали – еще два рубля остается! Как вернемся на них назад – вчетвером, как едем, захватив только хлеба, – все было неважно!

– Бери! Купе! Целое! Чтоб вместе! – напутствовала гимназиста девушка, но тот уже исчез, летя к кассе.

– Сашка Кабанов – замечательный парень! – сказала она радостно. – Теперь дело в шляпе! Какое счастье, что мы вас встретили! Ведь не попали б! Такое событие – всемирное! Такая утрата! Быть русскими, быть близко – и не попасть на похороны... Долг каждого! Вас пустили? Как хорошо!

– Да, пустили! – усмехнулась Марина. – Мы...

Через полчаса, с усилием пробравшись через вокзал, мы сели в поезд. В первый раз все мы ехали на красных плюшевых сиденьях первого класса, еле их замечая от волнения, что – удалось! Что – едем! Что увидим – в первый раз (и в последний!) Льва Толстого! Героя! Замученного властью, отлученного от церкви за то, что хот<sup>^</sup>л думать по-своему, проповедовал, веря в Бога по-своему! А дома – жена, эта Софья Андреевна, отравившая жизнь гению! Ушел! Хоть умереть-то ушел из дому! Поезд мчался по черной ночи, так кидая вагоны, точно и он спешил. Саша Кабанов, узнав, что Марина – поэт, что у нее сборник стихов, был в

необычайном восторге. Он смотрел на Марину обожающим взглядом, совершенно чистым от всякой тени влюбленности, полный одного преклонения. Как много в те времена было таких юношей! Их мело через жизнь вдохновенной жаждой поклонения и подвига, служения, отдачи себя! Каким презрением клеймили они пшютов и белоподкладочников, видевших в жизни одно наслаждение земными благами, внешностью и деньгами.

Станция Козлова Засека. Ночь. Горят костры. У меня очень замерзли ноги. Марина жалеет меня: на ней более толстая обувь, а в моих тонких туфлях нога – как во льду. Я пробираюсь к кострам, стараясь не потерять своих. Студенты устраивают цепи, пытаюсь навести порядок в стихийно качающейся толпе; затягивают революционные песни. Ночь свежа. Ждут поезда с телом Льва Николаевича. Это имя – на устах всех. Никто не говорит «Толстой». Это сейчас кажется грубым. Тепло и почтительно звучат имя и отчество скончавшегося. Точно он еще с нами. Так мы ближе к нему. Но как долго! Как холодно! Перед рассветом становится еще холодней. Ожидание истощает. Я тщетно бью ногой об ногу – обе не согреваются. Крадется и наступает усталость. Ночь без сна и в волнении, с куском хлеба на брата, без питья, какой-то один час кажется не под силу. Лечь бы и... Но вот по толпе бежит трепет, шепот, голоса передают друг другу весть, что поезд идет! Цепи дрогнули, студенты из всех сил стараются сдержать толпу, издали слышен, растет шум, и у перрона станции Засека, светлея, с огнями в серости утра, останавливается, тяжело пыхтя, поезд. Мужчины обнажают головы.

От толпы отделяется полная, «сырая» женщина, старая, в черном, делает шаг вперед, роняет что-то, нагибается и дрожащим голосом (нам он кажется в совершенстве фальшивым): «Его палочка...» Мы

(пробравшиеся вперед), видящие это, горим белым пламенем презрения. Оно душит. «Какая дешевая игра!..» – уверенно думаем мы.

Если бы мне сказали тогда, что десятки лет спустя я буду плакать, ночью, над дневником этой женщины, дивясь жестокости Льва Николаевича, останки которого мы ждем сейчас с чувством, похожим на – обожествление...

Медленно, шаг за шагом и час за часом, мы шли по яснополянским дорогам, по замерзшим колеям, за гробом, и вошли в парк, и там, замерзая (я уже еле чувствовала ступни ледяными комочками в туфлях), еще медленней двигались к дому по облетевшим аллеям. Затем гроб внесли в дом. Кто-то вышел. Объявили, что прежде всего с покойным простятся близкие, а затем пропустят крестьян. Всех остальных – позже. Был миг, когда я была готова расплакаться, так ныли ноги и так не было сил. Марина решила войти в дом, назвать нашу фамилию и попросить денег на обратный путь. Сашу

Кабанова и его спутницу мы давно потеряли. Но нельзя было уйти, не поклонясь Льву Николаевичу. И мы побороли усталость и холод и достояли до своего черед. Вошли, еще много позднее, в дом, после всех родных, всех крестьян, - в низкую комнату, квадратную. Ближе к дальней левой стене стоял гроб на столе, в нем лежал в черной рубашке очень желтый, очень знакомый, только худее, с белой бородой, Лев Николаевич, и, проходя, многие крестились. В комнате икон не было – на него?

В этой комнате он писал «Войну и мир». Нежданная тишина в нем, бурном: молчал. Никогда не молчавший! Было всего странней то, что он, всегда так глядевший с портретов, во весь рост стоя, глядевший пронзительно (портреты Крамского, Репина, стольких), не глядит. В себя? Опустил веки. Лег, во весь рост.

Мы прошли, вышли. И, его увидев, решили на похороны -не остаться. Я еле шла, боль была почти нестерпимая. Встретив каких-то знакомых, мы взяли у них в долг три рубля и, сжав зубы, шагая по лопавшемуся льду, по колеям, дошли до станции. Мы тряслись, сидя в вагоне третьего класса, дремали, просыпались. Голодные и без сил, вернулись домой. Папы не было. Когда пришел, он узнал, что мы дома и спим.

## **ГЛАВА 3. МАРИНИНА КОМНАТА. «ВЕЧЕРНИЙ АЛЬБОМ». МАКС ВОЛОШИН**

Марина в ту осень 1910 года покинула свою верхнюю антресольную комнатку с золотыми звездами по темно-красному полю и переселилась вниз, в бывшую девичью, затем кладовую, в первую комнату от черного хода. У самой ее двери стоял тот столик в полутемных сенях, на котором в детстве кипятили нам на керосинке молоко в широкой белой, с голубыми жилками молочной кастрюле (и оно подгорало, тонко, этим начинавшимся знакомым до боли запахом прося себя снять). По ту сторону столика была маленькая, почти всегда открытая, дверка в темный коридорчик, ведущий в папину спальню, которая шуршала (по полу? по стене?), закрываясь. Еще миг – и была наша лестница в мезонин, крутая, коричневая, крашенная масляной краской, с тяжелой такой же дверью, тоже почти всегда раскрытой (она висела на петлях не внизу, а на несколько ступеней выше, потому

казалась, несмотря на свой вес, – легкой, непохожей» и двери).

И был, царствовал меж Мариной дверью и лестницей, над полутемными тесными сенцами тот жалобный скрип отворяемых и бросаемых дверей, двойных, черного хода, который был вестником почтальона или входивших, знакомых с домом – гостей.

Тут теперь жила Марина в квадратной комнате с низким потолком. С этой осени началось наше увлечение комнатными растениями. Помню один любимый куст Марины с ломким светло-зеленым стволом, ступенчатым и зелено-розовыми,

просвечивающими острыми листьями с серебряными пятнами. Поздней я узнала, что это был сердолист, из породы бегоний.

И было еще одно существо, жившее в той комнате с Мариной, кроме самого любимого, последнего из плеяды, кота. У этого существа был нежнейший голос благодаря не жестяной трубе, а деревянной: из раструбов этой трубы, темно-коричневой, лились звуки Глинки, и серенады Шуберта, и какие-то мелодии, от которых веяло мамой и детством и дедушкиным фонографом: это было его детище, шагнувшее через немного уже противное слово граммофон, который кричал истошными голосами о «Марусе, которая отравилась» и опошлял когда-то героическую «Дубинушку» из всех окон.

Маринин певческий зверь звался странным новым словом патефон, и он имел только отдаленное сходство со своим потомком того же имени, хлестким, ходким, с ручкой, чемоданчиком фокстротов, чарльстонов и твистов. Зверь пел Эоловым голосом, прося, чтобы кто-то не искушал его, и уговаривал волнения страсти, чтобы они унялись, и делал он это тихо, как будто всегда вел свой волшебный смычок по струнам виолончели, а когда Маринина дверь была закрыта -голос шел из-за нее, как издали, и звук был такой, как у певцов, поющих с закрытым ртом. И от этого мелодия и слова шли словно из глубины веков, из навек канувшего прошлого, и не живая любовь металась в звуках, а-воспоминание о любви.

В те месяцы крепи Маринины начинавшиеся литературные знакомства. Тогда ли я в первый раз услышала от нее имя Макса (Максимилиана Александровича) Волошина? Она посещала какие-то литературные вечера и, кончив работу по составлению своего первого сборника стихов «Вечерний



альбом», сдала его в печать<sup>1</sup>. Она назвала его так – в память того маленького синего кожаного альбомчика, который мы накануне наступившего 1910 года отвезли в «Дон», Владимиру Оттоновичу Нилендеру. В нем было три раздела: Детство – Любовь – Только тени. Он должен был выйти на толстой, шершавой, чуть кремовой бумаге, в темно-зеленой обложке, с темно-золотыми буквами заглавия. Среднего, широкого формата.

Из фамилий людей, с которыми встречалась она в литературном кругу, мне запомнились фамилии Адамовича, Машковцева, Ходасевича. Постоянно упоминались издательства «Мусагет», «Скорпион», журнал «Весы». Марину начинали знать среди писателей и поэтов.

То, что Марина не сказала мне, кого она ждет, а я догадываюсь, что это – Макс Волошин, о котором она не раз упоминала, показывает, что его приход значил для нее много. Первый ли раз он у нее, или был уже, когда я была на катке?

Сперва их голоса слышатся снизу, из залы, иногда затихают (ушли в гостиную?), затем шаги вверх по лестнице, и пчелиный звук их беседы доносится ко мне из Маринойой прежней комнатки. Беседа недолга. Выходят в узенький надлестничный проход... они идут сюда, ко мне! Голоса распахнулись, слова их голосового гула становятся явственны.

Я еле успела вскочить.

– Здесь живет моя сестра Ася. Ася, ты дома? Это Максимилиан Александрович Волошин.

Марина в темном платье и в черной шелковой шапочке вроде берета, с черной же оборкой на спрятанных, чуть отрастающих волосах.

Уже давно Мариныны нечаянно покрашенные волосы стали менять оттенки от желтого и морковного к зеленоватому, и, наконец, Марина обрила голову. По

чьему-то совету полагалось ее брить десять раз – тогда могли они завиться.

И Марина надела черный шелковый чепец с маленькой оборкой, очень ей не шедший. (Об этом чепце упомянуто в

1 В типографию Мамонтова. Видимо, Марина не захотела никакого контроля над собой, не снесла стихи ни в издательство «Мусагет», ни в «Скорпион», а печатала стихи за свой счет.

стихах М. А. Волошина, посвященных им ей после знакомства, после выхода ее первой книги – «Вечерний альбом».)

И с ней – я никогда еще не видела подобного человека. Первое чувство – желание глядеть, слушать, впивать – и подробно рассматривать: большой? – нет, совсем нет. Но огромный. Среднего роста. Нечеловеческая голова на плотных, очень широких плечах. Зевс с папиного шкафа! Гора кудрей, – борода – небольшая? Как горящая лава, упавшая с кратера головы. Каштановое, с рыжиной. Рука – не по-мужски, а большая и теплая, обнимает мою, глаза радостно, испытующе впивают мой встречающий взгляд. Глаза Пана с картины Врубеля?! Нет, не Пана. У того – пустые и страшные. Эти так светлы, как те, но взгляд вполз в душу и улегся там. Уютно, как свернувшийся кот. Макс удовлетворенно пускает мою руку на волю, а взгляд продолжается, и в нем плавно, бестревожно кружится комната, унося меня в мне неведомое доброжелательство, ободрение, успокоение, познание? Колдун! (Добрый колдун из Марининых стихов?)

Все видит, все знает, твой добрый зрачок,  
Сердца тебе ясны, как травы...

Медовая улыбка, сказать бы, – если б в ней не порхнуло мученье.

– Можно сойти – в залу? У меня астма, мне трудно тут дышать...

Он поворачивается, – «оно», вернее, – и все трое мы входим по лестнице. В столовой подают самовар. Марина явно стесняется процедуры чаепития, насильственной, как весь быт.

Она садится за рояль. Тоже полунасильственно, немножечко как сомнамбула. Перебирает ноты. Вздох.

– Я ведь когда-то играла. Мама мечтала, что из меня музыкант выйдет... Не вышло!

Макс, облегченно вздохнув во всю глубину нечеловеческих легких, ласково, торжественно, просто:

– Потому что поэт вышел... Как здесь хорошо дышать!

И в то время, как кто-то из нас, а может быть, и в два

голоса обе:

– А вы лечите астму?

Макс, подойдя ко мне (я стала на своем обычном месте у печки, руки назад о теплые изразцы), молча смотрит мне

в зрачки, до неприличия близко и неотрывно, так, что голова моя рвется с плеч. Широчайшая, нежнейшая из улыбок освещает огромное лицо Зевсово. Он отходит – с кошачьей легкостью. Нет, легкость детского воздушного шара! Вальс Чайковского полнит залу, подымаясь вверх с шаром, с Максом, с нами...

– Барышни, чай подан...

Улучив минуту, Марина мне шепнула: «А вот не посмеешь погладить его по волосам!..» И дразняще высокомерный взгляд<sup>1</sup>. (Где-то на дне тронутый теплотой ожиданья: а вдруг посмеет!)

– Трону! – шепотом же ответила я. С забившимся сердцем. Как поглажу? Этого я не знала. Но раз сказано – значит будет сделано. И вот я начала мучиться. Я боялась. Такой милый, чудный, близкий, так жизнью подаренный, ласковый, он был только что сейчас – и вдруг сделался такой «важный», далекий, совсем-

совсем чужой: сидит, говорит с Мариной о поэтессе Comtesse Matheu de Noailles, – разве я могу подойти, протянуть руку к его голове, – почему знать, что он скажет? Это же, может быть, глупо?.. А зачем обещала?.. Мертвая, я шагнула вперед. Кончить муку. Ведь все равно надо сделать! Я услышала свой – и все-таки незнакомый – голос:

– Максимилиан Александрович! Можно вас погладить по голове?

И раньше, чем я успела протянуть руку, – его наклоненная (по-бычьей и по-кошачьей) голова, с готовностью, у моей руки. Точно он только того и ждал (удивлялся, что все не гладят!).

Мои пальцы – в каштановых кудрях, густых и пружинных, как мох. И два лица. Его – и принявшее подарок, и дарящее. В огромной улыбке. И Маринино – одобряющее, ободряющее, хвалящее. Не знаю, какое лицо увидели в ответ они?

И вот он читает стихи – низким медленным голосом, впивая каждое слово, и смысл, и звучание его.

#### АКРОПОЛЬ

Серый шифер. Белый тополь,  
Пламенеющий залив.  
В серебристой мгле олив  
Усеченный холм – Акрополь.  
Ряд рассеченных ступеней,  
Портик тяжелых Пропилей,  
И за горами камней,  
В сетке легких синих теней,  
Искры мраморных аллей.  
Небо знойно и бездонно –  
Веет синим огоньком,  
Как струна звенит колонна  
С ионийским завитком.  
За извилами Кефиза  
Заплелись уступы гор

В рыже-огненный узор...  
Луч заката брызнул снизу...  
Над долиной сноп огней...  
Рдеет пламенем над ней он  
– В горне бронзовых лучей  
Загорелый Эрехтейон...  
Ночь взглянула мне в лицо.  
Черны ветви кипариса.  
А у ног, свернув кольцо,  
Спит театр Диониса.

«Жаль, папа не слышит! – думаю я. – Его Греция...»

Он читал еще – об Испании и кастаньетах, о Париже, где долго жил, и о своем Крыме, где живет, о Египте, говорил нам о Таи-Ах – гипсе египетском, им привезенном в Коктебель, и сказал посвященные ей стихи. И он как-то отождествлял с ней свою (он сказал «названую») жену Маргариту Васильевну Сабашникову (а потом мелькнуло в каких-то словах о ней, что она – не с ним).

Но мы просим – еще. И он читал нам одно за другим стихи о любимом его Коктебеле.

– Часть Крыма, где мы с матерью живем, – сказал Макс, -вулканического происхождения. Наш Крым не похож на Южный Крым. Он суровый, безлесный. Холмы, и дороги, и море. Земля, ее первозданность чувствуется там как нигде. Я был еще совсем юн, когда мая мать купила участок – там еще никого не было. И когда я долго там не живу – я тоскую по Коктебелю. Приедете – увидите, узнаете, и сами – я в этом уверен, полюбите эти места. Ася тоже приедет? Приезжайте, не пожалеете...

– Непременно приедем! – в один голос сказали мы.

Он рассказал нам о вымысле-мистификации, о созданной им Чарубине де Габриак.

Она была прекрасная поэтесса, он прочел нам чудную ее поэму, из нее я запомнила:

В небе вьется красный плащ...  
Я лица не увидела!

Ее звали Елизавета Ивановна Дмитриева. Она была учительница. Очень скромна, некрасива, невзрачна. Макс увлекся ее стихами, выдумал способ ей стать известной, создал миф об (испанке?) Чарубине де Габриак, и в сиянье этого имени, иноземности, воображенной красоты ее стихи взошли над Россией – как молодой месяц. А затем – затем люди все осквернили, уничтожили, а она больше не стала писать стихов. Был жестокий день, когда – на вокзале – группа поэтов ждала красавицу поэтессу с пламенным именем. Из вагона вышла незаметная маленькая женщина, – и один из ждавших, поэт! – повел себя недостойно, неповзволительно. Макс вызвал его на дуэль. Но минута столкновения яви с вымыслом решила ее участь. Она исчезла, стерлась, замолкла. И от нее остались – листки стихов...

– Марина, – сказал Макс, – я вас познакомлю с Аделаидой Казимировной Герцык. У нее, как у вас в этом году, вышел сборник стихов. Вы ее непременно должны узнать... Вы очень нужны друг другу. Она много старше вас. У нее трагическая судьба, говорите с ней громче – она глухая. Хотите, я скажу вам ее стихи?

– Очень хочу...

Макс прочел стихи. Марина их похвалила.

– Максимилиан Александрович, – спросила Марина, – когда вы приведете ее к нам?

– Я дам ей ваш адрес. Еще отрывок скажу. Что-то народное тут есть... Такие строки:

...Прежде, бывало, ночи  
Реют темны-темнисты.  
Звери вокруг зверисты,  
Лешия бродят думы...  
Песнями их разгоняешь,  
Песнями тьму просветляешь.

- Это просто заклинание, - сказала Марина, - колдовское что-то... «Реют темны-темнисты»...

- А «лешия думы», которые бродят? - спросил Макс...

- Три сборника наших вышло почти в одно время - сказала Марина, - ее, ваш и мой? Интересно... А как название вашего? Это такая важная вещь - название!

- «Стихотворения», но длинный подзаголовок: «Годы странствий. Amori Amara Sacrum. Звезда Полынь. Алтари в пустыне. Corona Astralis». А у Аделаиды Герцык, как у меня «Стихотворения», но без всякой латыни, одно слово.

Он поздно от нас ушел.

Вскоре после первого прихода к нам Макса Марина получила от него посвященные ей стихи. Вот строки из них:

К вам душа так радостно влекома...

О какая веет благодать От страниц Вечернего Альбома!

(Почему альбом, а не тетрадь?..)

Отчего скрывает чепчик черный Чистый лоб, а на глазах очки?

Я отметил только взгляд покорный И младенческий овал щеки...

...Ваша книга - это весть «оттуда»,

Утренняя благостная весть...

Я давно уж не приемлю чуда...

Но как сладко слышать: чудо есть.

Позже Марина рассказала мне о своей дружбе с Максом Волошиным.

- Какой это необычайный человек, если б ты знала, Ася! Совершенно ни на кого не похожий, он относится к человеку совершенно иначе, чем все, он не хочет себе ничего, - и ясно, что друг на всю жизнь: он все понимает, он дружит со всем миром, ему ничто не кажется странным, все во мне ему - почти без рассказа!

- понятно, он ничего не оспаривает, ничему не учит, он просто радуется человеку. Какой отдых с ним! И он любит Францию, как я!..

Он любит это место свое, Коктебель, больше всего на свете, хоть очень много путешествовал. Он - художник. Мы поедем туда.

- А папа позволит?

- Конечно, позволит. Макса все знают, папа о нем легко справится. И там его мать. И вообще он другой, чем все. Разве ты не видишь?

- Вижу, конечно. Поедешь?

- Поеду. Но раньше мне хочется в пушкинские места в Крым. В Гурзуф. Андрей мне вчера сказал, что с Тарусой у

нас, увы, кончено! Коварство: объявили торги на дачу. Петров, земский начальник, смеясь над ними, сказал Андрею, что не пойдет на торги, отговорил Андрея. А на другой день пошел - и купил дачу! Где мы столько лет жили, столько раз хотели ее купить у города.

- Я больше никогда не поеду в Тарусу. А ты?

Так сама жизнь подарила нам Коктебель - в год, когда отняла Тарусу.

- И знаешь, - сказала Марина, - я не буду кончать этот никчемный восьмой. Он ведь только педагогический... А я педагогом ни за что не буду. Я папе говорила. И может быть, я раньше тебя поеду в Гурзуф, а оттуда - съедемся в Коктебеле.

Так мы - в душе - и решили, а пока Марина продолжала учиться, и по-прежнему мы ходили вдвоем на переменах, любуясь Таней Тургеневой, Ниной Мурзо и маленькими дочерьми историка Дживелегова, двумя ослепительной красоты сестрами.



## **ГЛАВА 4. ДРУЗЬЯ МАРИНЫ. ВРЕМЯ. КНИГИ**

Саша Кабанов, с которым мы ездили на похороны Льва Толстого, стал бывать у нас. Пылкий, восторженный сверх всяких мер, он блаженствовал вблизи Марининых стихов и их творца, ничему у нас не удивлялся, все принимал на веру, все находил бесподобным и вносил в наш дом крыло юношеского трепета и счастья, которое хоть и казалось немного наивным, но – трогало умилением наши грустные и иронические головы.

А однажды к нам пришел – к Марине, вернее – человек совершенно другого типа. Полная противоположность Саше. Это был мрачный, мрачный прежде всего, замкнутый – нет, сомкнутый своими «начинаниями» – очень молодой человек. Он пришел с черного хода, снял шапку и постучал в ближайшую дверь. Она оказалась Марининой. Он вошел в протянутые кверху зеленые руки растений вокруг мужского большого письменного стола. В блеск книжных переплетов и стекол старинных гравюр, в портреты Наполеона и герцога Рейхштадтского, Марии Башкирцевой, Сары Бернар и мамы, мамы, глядевшей на него сверху и вбок – взглядом полунегодованья-полугордыни, которым она когда-то поглядела в Нерви под объективом фотографа, может быть думая о Тигре. Взгляд этот жил и жил с нами, после нее. (Это тот портрет, о котором Марина в своих «Воспоминаниях детства» писала, «где она так похожа на Байрона». Чертами –нисколько. Но вот этот взгляд, сверху и вбок...)

- Вы - Марина Ивановна Цветаева, автор «Вечернего альбома»? - спросил вошедший, небольшой, плотный, остроглазый, низколобый человек.

- Я.

- А я (он назвал свое имя - не помню). Я пришел с вами потолковать об убеждениях и о мнениях. Я не могу установить ваши по стихам. У меня много вопросов. Вы не заняты сейчас?

Что ему отвечала Марина? Но довольно скоро она привела его наверх ко мне и, только поведя в его сторону глазами, сказала все. И мы бросились в бой. Что мы только говорили! Это было совершенное вдохновенье отчаяния.

Мы говорили все, что нам шло в голову - и не шло в его. Бред за бредом. Ликовали, опьяняясь свободой вымысла и его все мрачневшим взглядом. Наконец Марина подвела его к окну, где за инеем светились окна фантастического здания типографии Левенсона - с башенками.

- А тут живет наш дед, он - феодальный барон, - сказала Марина. - И мы с Асей...

- ...каждый день ездим к нему в карете с «гербами», - продолжала я, - и он...

Но наш гость сказал твердо:

- Мне надо идти заниматься. Я, может быть, еще к вам приду.

Он еще приходил, и приходил Саша. Как жаль, что они никогда не встретились.

Вскоре в Маринину и в мою жизнь вошел - и надолго -еще один человек - Аделаида Казимировна Герцык.

Это была глубоко обворожительная женщина средних лет, некрасивая и глухая. «Поэт чистой воды», как кто-то сказал о ней. Одна из самых больших и сердечных дружб Марины. Они встретились как родные - на тех же любимых книгах. «Иеста Бёрлинг» Лагерлёф, книги Беттины Brentano («Разговор с

демонами», «Переписка Гёте с ребенком», писательница эта играла большую роль в общественной жизни Германии, в ее просвещенных кругах). Максом подаренная Марине Марселина Деборд-Вальмор, любимая современная французская поэтесса Марины М. де Ноай,

другие. Марина и Аделаида Казимировна читали друг другу свои стихи – вернее, Аделаида Казимировна стихи Марины читала в рукописи или в сборнике, так как была глуха. Она была замужем за издателем Дмитрием Евгеньевичем Жуковским, человеком совсем иного типа, чем она. Из-за своей глухоты, отрешенности и необычайной своей деликатности она ощущала себя в быту растерянной и беспомощной. Но, обладая волей, и добротой, и какой-то особенной отвагой, ей свойственной, жила мужественно и просто, готовая перенести все, что пошлет жизнь.

Ее глухота окружала ее стеной, отделив от людей, голосов, высказываний. На лице блуждала недоуменная полуулыбка, придававшая что-то жалобное ее круглому худому лицу с бледными глазами, неправильным носом, с русыми волосами на прямой ряд, чуть вьющимися, всему ее скромному существу. Она стралась не показывать своей печали. И был в ней тонкий юмор, отзывчивость на смех. Одаренность сквозила во всем. Ее руки, легкие, дарящие, были протянуты – к каждому. И была способность к восхищению и неспособность осудить человека. Основным ее чувством была благодарность – за мир. У нее был маленький сын, Даниил, Далик, она рассказывала о нем трогательные, смешные вещи, и позднее в толстом журнале был напечатан ее рассказ – о «ненаказуемости» мальчика (в рассказе он был – Котик). Из страниц вставал своеобразный, упрямый, маленький ее спутник, самобытный в проступках и озирающийся на наказания с равнодушием, всегда находящий выход своему

свободолюбивому существу, не кручинящийся, уютно приспособившийся и к неприятному. Нежный юмор звучал в этом рассказе, тонкая, вещая наблюдательность и вопрос, не учат ли н а с дети – более, чем мы – их...

Когда Марина ввела в мою комнату, в нашу бывшую детскую, Аделаиду Казимировну Герцык, она, в первый раз увидев наше антресольное жилье, остановилась на пороге двери с зеленым шаром стеклянной ручки, обвела все изумившимся и радостным взглядом.

– Как у вас хорошо... Это мне напоминает наше с сестрой детство! Моя сестра Женя... (Она говорила, как обо мне Марина: «Моя сестра Ася...»)

У нее был особенный выговор, не совсем русский, с кое-где прижатыми ускоренными звуками, с двойными согласными,

нечто вроде: «Какк у васс хорошшо...» (и все «а» были немного «э», и все «о\* – вроде – «ё»), Эта дикция (ее отец был поляк) придавала уют ее высказываниям, и как бы лаконична ни была фраза, в тепле ее необычных звучаний и крылся этот звуковой уют. На просьбу сказать стихи она ничего не ответила, улыбнулась (мы думали, не услыжала) и вдруг «заговорила стихом», словно это даже проще, чем обычной человеческой речью.

– Как удивительно! – сказала Марина, когда гостя наша замолчала. – Вы в одном стихотворении так сумели себя выразить, что мне кажется, я вас давно знаю...

Недослышав (?), гостя ответила:

– Мне – тоже, – и стала просить, чтобы Марина читала стихи. – И теперь я хочу слушать васс, Маринна, миллая...

Как трудно кричать стихи, думалось мне, но Марина, подойдя к Аделаиде Казимировне, стала читать. Она

читала очень громко, но лицо слушающей было недоуменно.

- А теперь скажем вдвоем! Вдвоем с Асей! - И мы стали читать.

- Ээто уддивительное чтение! - сказала наша гостья. -Но я плохо слышала, что...

Небольшие, некрасивые, очень светлые глаза Аделаиды Казимировны глядели необыкновенно приветливо и открыто, и было даже немного девического, детского любопытства в ее все оглядевшем и принявшем взгляде.

- Уди-ви-тельно у вас! - сказала она (и в слоговом делении слова мелькнуло сходство с Драконной. Та бы тоже могла сказать так). - Старинная комната! - удовлетворенно сказала она. - Таких все меньше делается в Москве! - И, шагнув в угол за маминим комодом, где голубел брошенный обрывок бумажной ткани с розанами, она, восхищенно подняв его легкими пальцами: - И этот куссок старого аттласса! Как это подходит к ваш шей коммнате...

Она была чудесна в тот миг, превращавшая своим взглядом и прикосновением ситец - в шелк. Волшебница!..

Марина сказала мне, что у Аделаиды Казимировны есть сестра - Евгения, переводчица, подруга Вячеслава Иванова. Немного моложе ее. И они очень дружны. И очень дружны с Максом.

Сколько лет прочной и сокровенной дружбы с обеими было начато этим ее первым приходом к нам.

...Открытие папиного Музея близилось. Папе все больше было работы. После преследования министром Шварцем, так стойко им выдержанного, заметно старел и перестал носить бороду, и его подбородок, теперь бритый (до того скрытый небольшой, негустой, чуть ширившей лицо бородой), казался - незнаком и делал лицо старше. Усы белели. Лоб, высокий, широкий,

переходивший в лысину, покрывался морщинами. Позднее сидение за письменным столом, все усложнявшаяся и накоплявшаяся работа и страдания, пережитые во время травли московскими газетами, не прошли даром.

Иногда, глядя на него, тревогой сжималось сердце: что, если не вынесет папино постарение – предстоящего еще труда? Что, если папа не доживет до открытия Музея? Вряд ли мы называли друг другу эти мысли, но они мучили нас - постоянно. Они приходили внезапно – точно кто-то качнул маятник времени в постоянно забываемой вечности. Нет, такого не могло быть, не должно быть. Двадцать два года труда, сверхсильного, несчитанного, безвозмездного, не снимавшего ни лекций, ни заседаний. Папа должен дожить до открытия Музея...

...За год – думаю, не ошибаюсь – произошло потрясшее весь мир событие: братья Райт совершили выдающиеся полеты. Газеты всех стран гремели статьями о сказочном событии. Вот бы очнуться Леонардо да Винчи, так мечтавшему об этом великом открытии! Строившему крылья наподобие птичьих, исчертившему россыпи чертежей дерзновенными попытками преодолеть вес, тяготение...

Вдруг: люди поднялись на воздух, – а мама не знает!

По-прежнему Марина входила ко мне – постоять у раскрытой в мороз форточки, дыша клубами холода. «Так мало ем – все с уксусом – и так мало худею! Хоть заболеть, что ли, – тогда, может быть, похудела бы... год назад сколько ставила ноги в таз со снегом – и ничего!» Или: «Тоска! У тебя тоже? Пойдем в синематограф!» И мы шли. Иногда попадали на – их было много тогда – полную романтики, сложного сюжета картину с участием Асты Нильсен, актрисы неподражаемого таланта и очарования. Ее худое лицо, острое книзу, огромные темные глаза, всегда

трагические роли, высокое мастерство создания образа, полного грации и горечи, мужества вынести все до конца, – в какое чудесное

содружество мы попадали, зайдя через ненавистное фойе, где столько людей и столько пошлости, – в темную залу с трепетом лунного экрана. Аста Нильсен! Ее невозможно забыть. И волшебная условность тех лет кинематографического искусства, состоявшая в заколдованном молчании экрана, перешагивание в мир теней, которых сопровождали пояснительные строки, – и постоянное, вдобавок к ним, угадыванье происходящего!

Иногда мы попадали на комедии Макса Линдера. Смех опьянял. Улицы большого города переносили за границу, в детство. Мы возвращались, отвлекшись от себя, от своих печалей, отдохнув хоть на час от размышлений и чувств.

Иногда Марина входила внезапно, спешно, с порога нахмутив брови (боясь, что промедлю с ответом):

– В каком ухе звенит?

И разочарованно: «Не угадала!» Иногда, улыбнувшись: «Верно!» – и, задумчивая, уходила к себе.

И была у Марины поговорка – для случаев, когда кто-нибудь хотел отплатить за что-то, выразить благодарность. Она отвечала, чуть сощутив глаза (привычка близорукости):

– На том свете – угольками...

И как-то, вытянув руки вперед, потирая ладонь о ладонь, пальцы о пальцы, стояла так с минуту, чуть втянув, застенчиво, плечи... Как вижу ее! Куда такое уходит? Повадка, неповторимая, человека, не повторенного в вечности. Иногда стояла, глядя вперед светлыми тоскующими глазами, остановясь мыслью на чем-то, потеряв окружающее, отсутствуя. Опоминалась, остро все на миг видя; вздохнув, уходила к себе.

Однажды, в зимний день, посыльный передал мне нарциссы, мои любимые цветы с Лозанны. Это случилось, когда папа был дома. Может быть, в первый раз папа вдруг осознал, что я расту, уже девушка, – и покосился на меня суровым взглядом из-под нахмуренных бровей и очков.

– Кто это присылает тебе зимой – живые цветы? – спросил он строго.

– Один студент. Он с Кавказа. Мы познакомились на гимназическом балу (словом «студент» я хотела себя защитить, что – взрослый, не мальчик...).

Но папе оно прозвучало иначе.

– эпа

– Студент! – сказал он. – А думала ли ты, что такое зимой – цветы для кармана студента? Сколького ‘он должен был лишиться себя, чтобы тебе купить и прислать этот букет? Вот – подумай. В нашей семье себе не позволяли таких вещей...

– Но, папа, я же не просила его... – сказала я беспомощно и устыженно.

– О таких вещах не просят, а их отстраняют. Мама была очень скромна и в нарядах и в украшениях. Я – студентом – снимал за городом сапоги, берег их. Мы живем подножным кормом, – что заработаем, на то живем. Не позволяй больше таких вещей. Запрети.

И он ушел к себе. Навстречу мне шел Анрдей.

– Что, матушка, попало? «Мы живем подножным кормом», наверное, да? – И смеясь, он унесся вверх по лестнице, и оттуда донеслась мандолина. Слов папы он не слышал. Но папа не раз повторял их, и он шутя о них догадался.

...Пришел Новый год.

В эту весну Марина особенно увлекалась дневниками Казановы. Она читала их во французском издании и, казалось, переселилась в страны его приключений. Ее восхищало пылкое разнообразие его



свойств и стремлений, его романтический авантюризм. Она рассказывала мне о нем, заходя ко мне. Затем она принесла мне прочесть «Манон Леско» аббата Прево и очень хвалила эту книгу. Мне Манон Леско не понравилась, показалась пустой и холодной. Но интересом своим к Калиостро Марина меня увлекла, и я зачитывалась в ту зиму французскими романами о нем – «Жозеф Бальзамо» и другими.

## ГЛАВА 5. ВСТРЕЧА НА ЛЬДУ

Музыка гремела, летел снежок, синее небо вечера медленно и плавно кружилось над нами, и казалось, что кружится голова.

Мы катались – мои друзья по катку – Валя Карлова, Жорж Смирнов, их знакомые – девушки Забалуевы, когда на полном бегу возле нас зашипели, резко затормозив о лед, лезвия норвежских коньков и, смеясь и еще как на бегу дыша, стал среди нас человек в пиджаке, в темно-желтой меховой шапке. Она была надета чуть вбок, и из-под нее, ею стройно схваченные, светлели подрезанные, как у Листа, пышные волосы. Синие глаза сверкали весельем насмешливым, и, кончая на лету кому-то брошенную фразу, витиеватую, юмористически-стилизованную, он поклонился одной из девушек Забалуевых, они взялись перекрестно за руки – понесли и скрылись из глаз.

– Кто это? – спросила я, чувствуя, что я должна мчаться с ним, а не девочка Забалуева! Что-то ослепительное, несомненное, никогда не виденное, пленительное, нужное было в этом подлетевшем и умчавшемся человеке. Все остановилось. Важным было только – его возвращение. Оно не замедлило. Он уже стоял перед нами, опуская руку Забалуевой, и, не замедляя на месте полета, перебирал лезвиями лед, смеясь и продолжая пародировать кого-то. В его брызжущем остроумии было столько захватывающей увлеченности и столько насмешничающего приглашения куда-то за предел катка и компании, грассирующее его «р» так дразнило, его стройное, легкое тело (изящное не деланным, а кровным изяществом), худое лицо, тонкий нос с горбинкой и ярко очерченными ноздрями – все было в совершенстве в

первый раз! Упоительно! Ни на кого не похоже! Дарило и отнимало себя.

- Вы не знакомы? - спросила Валя, маленькая, полная, легкая, ловкая в своей черной плюшевой жакетке и кокетливой шапочке, из-под которой на него и на меня взглянули ее темно-серые смелые глаза из-под тонких бровок.

- Ася Цветаева! - сказала я, подавая руку.

- Борис Т'р'ухачев! - так же быстро сказал он, и в два раза повторенном грассировании его имени и фамилии прозвучали стальные ноты. Что-то птичье в его лице -отдаленное сходство с мальчиками Горбовыми, в семье которых я училась танцевать два года назад во Власьевском переулке, тот же холодок выражения и четкость черт.

А музыканты начинают новое, золотые трубы взлетают ко рту солдат, и ритм начинающей колдовать мелодии трогает наши коньки. Борис замечает, что я на норвежских (одна -из всех женщин катка, - да будет благословенно наше право лететь!).

Сразу ли я осознала еще одну непривычность в Борисе, Борисе Сергеевиче? В то время как все были одеты по-зимнему, даже конькобежцы в шерстяных свитерах, - он был в легоньком пиджаке. Как мы неслись! Ни с кем за все

годы мои на катке я на знала такой быстроты! Ни с чем не сравнимое упоение.

Опьяненная этим странным содружеством, дыша легко в нескончаемом нашем полете, я говорю Борису Сергеевичу, что еще никто из моих знакомых не мог кататься так долго, как я, без отдыха. Н е присаживаясь.

Он принимает вызов. Он н е присядет! Я, иронически:

- Все просили пощады. Вот и вы попросите! Увидите!

Он не верит. И мы мчимся и мчимся, и под музыку, и без музыки, я сбоку вижу его лицо, смеющееся, разгоревшееся, темную синеву глаз, соболиного цвета шапочку. Я совершенно счастлива!

Вдруг легкая, над собой насмешничающая гримаса трогает его лицо: он утрирует? дразнит? замедляет бег, сжав наши перекрестно кинутые руки.

- Прошу пощады!

Как мы смеемся! Подъезжаем медленно к скамейке. Садимся. Смотрим друг на друга, а над нами - зимняя синева.

Но через весь смех, все остроумие, которым мы щедро обмениваемся (разительное чувство сходства, в чем-то основном, кровном!), - осознание такого интеллекта рядом, такой личности, что немного - уже не от неба в снежинках - покруживается голова. И пока я занята тем, как неподражаемо-иронично Борис Сергеевич произносит фамилию «Забауевы» (он не произносит «л», у него звучит: «вне уогики» и «на уодке»), я отмечаю, что мне нравится это «л» его (что-то детское в нем, умиляющее) и его «р», грассирующее (от него мне веет русской стариной, зная «Войны и мира», книги, которую я недавно прочла). Странно ощущение стояния у какой-то огромной *gouffre*<sup>1</sup> на краю, как перед открытым морем, откуда дует первозданным холодом, отрешенным и беспощадным, который тщится спрятать себя под маской веселья и шуток. Спрятать себя в этот талант беседы, блистательный и бессчетный в силах, протуберанцами плещущий в любой стиль, играющий, как лунный столб по струям (то - древнерусская витиеватость, то - галантность французовXVIIIвека, то - сугубо ученый слог). Кто он, этот изумительный человек, до мозга костей насмешливый и -

1 Бездонной пропасти (франц.).

чую! – до глубин сердца лиричный, не поддающийся осознанию и описанию, из них рвущийся, как угорь из рук?! И (сказал, ему двадцать семь лет) кутающийся в плащ словесной игры так искусно-привычно, точно ему все сорок -сто сорок! Уже не первую эру живет на земле.

Мы давно уже несемся опять, взявшись за руки перекрестно, как в салонных танцах, слитые в одно стройным, неумолимо правильным взмахом крылатых ног, – вот для чего я год назад встала на норвежские! Я и не знала, летя одна по с детства родным Патриаршим, – что так буду лететь вдвоем, вверив себя мужественным рукам, правящим гигантскими нашими шагами, сдвоенными в полете, так умело, уверенно ведущими поворот на лету, чуть отгибаясь влево и меня наклоняя и вновь выпрямляясь той природной стройностью, которой владеет в чаще олень, в море – парус.

– Асичка, сейчас последний марш будет! Уходим? – кричит мне, пролетая к выходу на своем нурмизе, с кем не вижу, Нина Мурзо. Ее лицо рагорелось. Как она прелестна сейчас!

На другой день, выходя из гимназии (почему-то я шла одна), думая о Борисе Сергеевиче, – мне имя это нравилось, волнуя сходством с тем героем из «Горбатовых» Всеволода Соловьева, который так долго жил в Индии, изучал магию... Я в задумчивости завернула за поворот одного из Кисловских переулков и готовилась переходить улицу, как вдруг из-за угла непринужденно и просто, как всякая сумасшедшая явь, вышел, не видя меня, легко пружиня шаг, стройный человек, в распахнутом пиджаке (был мороз), в темно-желтого цвета соболиной шапочке; ее мех был темнее волос, золотых при дневном свете и обрезанных, как у Листа, пышно и прямо. Что-то от Кирибеевича мелькнуло мне – тот молодец в «Купце Калашникове»

Лермонтова! – во взгляде синих, изумившихся и тотчас же засмеявшихся глаз, когда он узнал меня.

А весна подходила, грозя превратить лед катка – в снег и воду, вырвать из-под ног почву наших фантастических встреч.

Марина слушала мои рассказы о Борисе Сергеевиче с сердечным вниманием. Она понимала прекрасно, что этот человек ни с кем из наших друзей не идет в ряд.

В каком году был построен в Москве Казанский вокзал? Любование москвичей грандиозным зрелищем широко раскинувшегося массива нового вокзала в восточном стиле, радостно для глаз украсившего площадь со скучным, казенным Николаевским (Петербургским) вокзалом и кустарнорусским Ярославским. Были теплые дни, флорентийская эмаль неба обводила новые очертания над площадью, и плыли над мавританскими крышами пышные, как сбитые сливки, московские облака...

Марина собиралась в Гурзуф и списывалась с кем-то – о комнате. К концу моих экзаменов она должна была быть уже в Коктебеле, у Максимилиана Александровича Волошина. Я собиралась туда же. Это будет мое первое самостоятельное путешествие.

Приближались экзамены. Я не занималась, я была уверена, что хорошо сдам. Но все последние вечера я провела в обществе Б. С. Т. – у нас дома.

По пути на экзамен по химии я выучила на извозчике, 48 формул, почти незнакомых. Из них меня спросили две: воду и серную кислоту. Их помню – и только их:  $H_2O$  и  $H_2SO_4$  – до сих пор.

Я сдала географию на четверку. Я не успела перечесть весь раздел «Малороссия» – только один! – зато остальные знала отлично. Назубок выучила учебник, ходя между тополями и акациями двора. Ну что ж, не она же мне непременно достанется! И досталась -она. Мне пришлось попросить разрешения

переменить билет. Огорченный учитель: «В ы - переменить билет? Но я же не смогу поставить вам пять»... Я блестяще ответила про Финляндию - и получила «четыре». Это был предпоследний экзамен. Настал письменный экзамен русского языка. Я вошла в класс - на крыльях. Тема сочинения была «Творчество Екатерины Великой». Я его совершенно не знала! Даже не раскрывала! И совсем не любила ее, - наоборот. У двух ближайших подруг справа и слева - руки дрожали. Я села, блаженно

глядя на них, взяла перо - и первая кончила (волнуясь: а вдруг первой подаст - Алиса Говсеева?). Я хотела подать первой, сегодня, - но решила все же перечесть, и первой подала - она. В сочинении я доказала, что современники Екатерины были даровитее ее, что она и ее творчество преувеличено, развенчала ее в прах. Я не привела ни одного названия, кроме «Фелицы», - потому что не знала (все -«из головы»!). Умело лавируя меж неназванным, тоном девяностолетнего мудреца.

Через несколько дней Юрий Алексеевич Веселовский, заинтересованный моим свободомыслием, предложил мне прочесть это сочинение - рефератом... Я уклонилась, смеясь. Не до того было: в тот день я с Б. С. Т. собиралась в Зоологический сад, кататься на лодке.

Шли мои последние недели в Москве. Марина была уже в Гурзуфе. Марина писала о чудных пушкинских местах, о прелести своего одиночества, о волшебстве прогулок и солнечных (она очень любила загар) и лунных, о счастье быть у моря (то детское, пушкинское «К морю»)...

Моей души предел желанный!  
Как часто по берегам твоим  
Бродил я тихий и туманный,  
Заветным умыслом томим!..

Одна скала, гробница славы...

Там погружались в хладный сон

Воспоминанья величавы:

Там угасал Наполеон...

И еще писала о мальчике-татарине (как долго это -назад - было, если я забыла его имя - Осман? - Марина так часто вспоминала о нем...). Этот мальчик так привязался к ней, что пытается за ней ходить всюду...



## ГЛАВА 6. В КОКТЕБЕЛЬ

Я помню жаркое – серебро и синева – утро, камень в сердце о разлуке с Б. С. Т., вежливую улыбку, с которой я расплачивалась, и то, как коляска – под балдахинотом от солнца – парный извозчик – выезжает из незнакомого города; как ртутью там – синее, тут – голубое море, как шелестят пирамидальные тополя, и какой щебет в ветках! Он звенел,

лился, плескался, он почти перекрикивал море. Глыбы каменных дач за Шехерезадиными садами блистали на миг открывавшимися (в ветре отхлынули ветви) стеклами, серебряными и черными, как ночь.

И уже тянулась под растопленной лиловизной Максина иммерийская степь, холмистая, незнакомая, выжженная (он сказал – вулканическая?). Затем показались горы, еще смутные моим близоруким глазам очертания, над одной -точки. Двигутся? Как потом узнала, в Коктебеле – орлы.

Холмы, тая и вновь вырастая, сменяются, пепельно-желтые; шоссе, завернув, вытягивается светлой стрелкой, и вдруг, из-за пологой помехи холма впереди, где только что была даль под желтым пеплом, – как резцом выточенная от земли к небу, стоит незабываемая, не забытая и посейчас панорама: три горы от суши справа, к морю, – слева, падая в него крутым мысом, три горы, настолько разные, что только художник мог их поставить на сини небесного полотна: готические острия радугой – полукруг горы, поросшей зеленым лесом, и вновь скалы, громоздящиеся к хребту, коронообразному, рушащемуся в море крутым великаньим профилем, Зевсовым. Господи! Максинам! Да это же голова Макса!

И под углом к ней, наклоненной круто к морю, – плотно легший в море кусок (лежащей) груди... Не отрываю глаз. Невероятно! Кто-то – тот самый Художник? – высек из скал голову Макса, повернув ее к морю... Все три горы близятся, лошадки бегут по шоссе, пейзаж ярчает, просыпается из дали в близь, вспыхивает тенями, пластами света кидает от себя тень, становится частью дня, меня, моей настоящей здесь жизни – и взлетом кнута над понесшимися влево, к морю, лошадками – остается от меня справа, более уже не приближаясь. А навстречу синева моря, побеждая помехи садов, невысоких и редких, где сверкают в солнце распахнутые окна домов. Проселочная дорога дрожит и прыгает под колесами, мелькают плетни, а слева, далеко, образуя левый край бухты, гряда пепельно-желтых холмов, – тех, вулканических.

Совсем не похоже на Крым – Ялту, Чукурлар, Симеиз, Алупку, Массандру (1905-1906-й наш с Мариной год). Чья-то добрая рука для меня незаметно, неслышно снимает с души всю на нее лепную тяжесть, и прежние юные любопытство

и жадность всплеснулись во мне. Красная тень извозчичьего балдахина смешивается с запахом нежным, как тарусский жасмин (желтый куст!), в ощущении первозданного счастья, и, огибая плетень, мне – извозчик: «Волошина дача? Приехали!»

Ничего не поняв, не успев, путаюсь пальцами в кошельке, задираю голову к чему-то, что летит сверху по лестнице, с поворотами, белой, с дорожки сада, с другого конца – скрип гравия под легким бегом, и я меж двух – Макс и Марина! По руке – в их руках...

То, что летело откуда-то сверху и бурным, шумным прыжком обрушилось внизу мне навстречу, – был Макс.

Он стоял и так глубоко улыбался, как – не умеют улыбаться люди. Молчал, голову набок, смотрел и

радовался. Все понимал, входя в душу непонятно, неповторимо, – и я поняла, почему, еще подъезжая к его дому, я сбросила с плеч тяжесть: в этом доме жил Добрый дух. Мне сказала одна умная женщина, что Макс ей всегда казался Нептуном. Да, так. Зевс, Нептун – нечто природное, огромное, нечеловеческое. Распростершее руки – всему!.. Без меры интимное. И дарящее человеку – счастье!..

Загорелые, как два года назад папа, приехав из Каира, стояли передо мной они оба – и оба неузнаваемые с Москвы. Вместо бархатного чего-то на Максином («котовом», как пишет в «Живое о живом» Марина) животе и, как она мне рассказывала, цилиндра, на Максе была длинная холщовая рубашка, почти до колена, и чуть ниже колен такие же – как у заграничных мальчиков – короткие брюки; мощные голые ноги в сандалиях. На наклоненной в приветствии и пристальном радостном встречанье голове – Зевсовы кудри, чем-то тонким от ветра стянутые, пожелтелые от солнца. Широчайшая улыбка благожелательства, интереса, ожидания, вхождения в тебя как домой.

Но едва вглотив его, как и он меня, – Марина рядом! Марина? Это – Марина?.. Мальчишка!

Круто завившиеся, выросшие с Москвы кудри (после бритья – чудо!), тронутые золотом солнца, кожа кафра, лицо, шея, руки, ноги от колен голые (тоже в сандалиях) после городских каблуков, но что сандалии!.. шаровары! мальчишеские, широкие – Марина сейчас моложе меня, я стою перед ней в дорожном пальто, улаженном на мне Александрой

Олимпиаевной, в широкополой шляпе соломенной. Оглядываем друг друга. Смех.

– Хорошо доехала? А у нас тут... ну, увидишь!.. У Макса гостит испанка, Кончитта. Ни слова не говорит по-русски! Что, удивляешься? Шаровары? Тут все. И ты будешь –удобно!.. По горам. Тут такие горы – и живут

там орлы. (Вдруг.) Ну как Борис Сергеевич? Не приедет? Зови! Приедет? Уехал? Зови! (Чуть нахмурясь, взглянув на Макса.) Ася, ты видела Игоря Северянина? Нет? (Радостно.) Ну, увидишь! Идем! Макс, я покажу Асе комнату, о которой говорила Пра!

Голову набок, как гигантский игрушечный медведь, Макс глядел нам вслед, весь залитый полуденным солнцем, и солнце горело в его светлых глазах. Он улыбался.

Марина говорила:

- Тебе многое тут сперва покажется странным, потом привыкнешь. Но кое-что надо, чтобы ты знала заранее: Кончитта влюблена в Макса и устраивает ему сцены ревности. Он очень смущается, но никогда не обижает ее. Между ними ничего нет, конечно! Потом тут Игорь Северянин. Ты рада?

Помогая мне с чемоданом, она на ходу заглянула мне в лицо.

- Да-а... - неуверенно отвечала я. Я никогда не видела Марину - такой. Я - не понимала. Ее возбужденье казалось мне искусственным.

- Он, конечно, глуп, - продолжала она, - но он талантлив. И очень красив. Потом тут поэтесса Мария Папер. Помнишь ее стихи о материнстве, беременности? Она где-то достала меч и, опираясь на него, ходит в горы. Поза, но ты не смейся! Она очень самолюбива.

- А кто это - Пра, которая сказала про комнату?

- Мать Макса. Замечательная женщина! Самобытность. Ходит в мужском, с юности. Похожа на сказочного короля.

- А почему «Пра»?

- Там какая-то была, давно, мистификация. Что-то шуточное. Ее звали Праматерь - так осталось. Она первая поселилась в этом волшебном месте - тут еще никого не было, кроме Юнге.

В вихре имен я шла по гравию сада под сладкой жарой полдня, среди душистых деревцев, с желтыми чешуйками

цветов и веток молодых маслин. Невысокие, формой как нервийские кипарисы, гнулись в ветре юные пирамидальные тополя.

«Марина, чем это так пахнет? Чудно!» – «Дрок». Мы подходим к каменным ступеням балкона. «Вот твоя комната. Тут ключ. Рядом – моя».

Мы стояли у угла каменного дома с тяжелыми столбами террасы без перил – приподнятая над землей площадка. На ней было две двери, – крайняя, на которую показывала Марина, была близ угла, густо завитого диким вьющимся виноградом, другая дверь вела в комнату, выходящую на террасу – окошком.

– Разбирать сейчас вещи не будешь? Потом! Идем ко мне! И наверное, скоро обед. Обедаем внизу, все вместе.

Мы поставили чемодан в мою комнату – маленькую, неглубокую, с известковыми стенами. Кровать, стол, тумбочка, два стула, вешалка, умывальник – все просто, как в Тарусе. Родное – или чужое? Я потянула воздух. Родное. Исконная детская простота.

– Море тут какое! Купаться будешь? Войдешь – вылезать не хочется. Чудно! (Вдруг, неудержно.) Я давно не была так счастлива, как сейчас... Никогда, может?

Мы входили в Маринину комнату: узкая, длинная, с одним окошком, затененным тем самым виноградом, зарослью. У окна – столик, кровать.

– Хорошо тут... Стихи пишешь?

– Одно только написала... Или два. Не пишется! Ты в горы ходить будешь? Нет? Неужели боишься? Мы с Максом на Карадаг ходили... Опасно, конечно, но Макс знает все тропинки. (Просительно.) Сшей себе шаровары!

- Да не хочу я шаровары! Мне они и на тебе не нравятся! Ни за что не надену! О-о-о, а это что? Как горит!

- Чадры татарские, золотом шиты - всякими фалангами, сколопендрами... Ты себе их тоже купишь! Пра из них шьет кафтаны... Руки мой здесь! Идем?

Мы еще не подошли к тому заросшему виноградом балкону, куда Марина вела меня, когда до нас донесся смех. О, это был смех, несомненно, но какой смех! Это было чистое золото, катившееся тоже по золоту! Как, откуда - бог весть! Это было совершенное торжество звука - его мелодичности

- вздор! сама мелодия, то и дело прерываемая новой,

догонявшей ее волной, - и кажется, в ней было и любованье ею слуха - чьего? нашего? моего? - всех, кто т а к не умеет смеяться, - а может быть, самого смеющегося!

Марина:

- Испанка смеется! Слышишь? Вот она так - целый день! Кончитта...

Наш спешный двойной по грохоту гравия шаг слышали. Чьи-то головы высывались из-за виноградных веток. Легко, привычно вдвоем - одна выше - мы входили, обогнув зелень, в длинную тень, обрызнутую пригоршней солнечных пятен, когда я остановилась, взглянув вперед: залитая посреди яркой тени солнцем, словно нарочно так посреди всех в этом солнце, казалось, всплывшая выше всех, как морское дитя на дельфине посреди nereид, - сидела красавица: от великолепия головы в черных косах, абрикосового загара лица, от огромных темных глаз, от сверканья зубов не был виден наряд - исчезал! Только веер в рука мотыльково вспыхивал и гас, черный, в совсем янтарной руке.

- Что? Хороша испанка? - громко сказала Марина, любуясь лукаво моим восхищением, и (на мое ей: «Тише!..»):

- Да она же ничего не понимает!..

Новый раскат смеха и дрогнувший, всплеснувшийся веер.

- Вот так, когда не ревнует, - целый день смеется, я же тебе говорила... - И всем: - Моя сестра Ася!..

Рукопожатия, толкотня, пробираемся через скамьи у длинного узкого деревянного стола без скатерти. Посредине, над столом, невысокий, в полотняном кафтане, обшитом татарскими узорами, сверкая седой головой, возвышался над всеми Маринин сказочный король.

- Пра! Моя сестра Ася.

Король смерил меня великолепным взглядом, прибавив к нему высокомерный взмах головы и кивнув:

- Непохожи. Говорили, похожи... Ася? Отлично. Давайте, Ася, тарелку. Другим уже роздано.

Сказочной ложкой Пра зацепила, как ковшом воду, груду лапши с блюда, огромного, и, полив маслом с луком, передала мне. Тарелка шла из рук в руки, пока не достигла меня: я сидела недалеко от Кончитты, то и дело взглядывая на нее. Но и к Пра тянулся взгляд в восторге и любопытстве, в счастье узреть, ощупать глазами - не снится ли такое невероятие. От голосов за едой ничего не было слышно, - ели усердно, радостно. Пра добавляла еще. Опоздав, шел Макс. Пра бранила его, грозила не дать есть. Макс стоял играя в потерянность и печаль так чудесно, столько покорности было в его наклоненной, кающейся голове, что ему пошла по рукам и тарелка - увы, уже без добавки. Он ел жадно и аккуратно, как кот. А Кончитта смеялась! Ее разбирало! Казалось, она улавливала мой взгляд и добавляла мне восхищенья, как Пра - лапши. За лапшой дали кофе в стаканах и бублики с маслом. На этом обед

был кончен. Я вспомнила о мешке черешен в Марининой комнате. Я разглядела на черном веере – лиловость фиалок. Пра встала и вышла из-за стола, сверкнув темно-красными сафьяновыми сапожками. Она тоже была в шароварах. Рост ее был небольшой. Я допивала кофе, когда незаметно за моим плечом вставшая Марина шепнула:

– Смотри! Направо... Игорь Северянин! Он сидел за столом в конце, ты его не заметила. Он сейчас тут пройдет. Манерность походки, обрати внимание. Но красивые черты...

Оленьим движением отводя головой ветвь дикого винограда, выходил на дорожку высокий юноша, очень стройный, узко- и смуглолицый, тонкая рука с длинными пальцами намеренно медленно убирала со лба прядь волос. Он шел, уклоняя глаза, картинно ставя ноги в чувяках, широкий пояс обнимал узкий стан. Немного не доходя нас, стоявших у перил террасы, он остановился и медленно нагнулся к кусту (роз?). Мне по близорукости не был виден цветок, который он выбрал для своего жеста, но по его вытянувшемуся в наслаждении профилю надо было заключить, что он вдыхал аромат «царицы цветов».

Почему так вспомнились эти его строки:

Тусклые ваши сиятельства! Во времена Северянина  
Следует знать, что за Пушкиным были и Блок, и  
Бальмонт...

Северянин медленно разогнул стан и проследовал по тропинке. Мы смотрели ему вслед.

Я обернулась – ни Кончитты уже не было, ни Макса. Видно, она поспешила увести его с собой.

– А Марию Папер видела? Как! Марию Папер не видела? Вон же она – разве не видишь меч? Она ж его напоказ держит! А туника?

В группе стоявших у выхода в сад людей Марина указывала мне на выше среднего роста женщину,



опирающуюся на бутафорский меч. Мы пошли, чтоб увидеть ближе. У нее было широкое, смуглое лицо, очень большие, красивые -зеленоватые - глаза с густыми ресницами, широкий нос, темные волосы на прямой пробор, две косы. Увидев наш взгляд, она взмахнула мечом, как посохом, и, клюя им землю, пошла, кивнув кому-то:

- Иду в горы...

На ней была зеленая туника.

- И она всем читает свои стихи! Считает себя гениальной! Стихи ужасные! - шепнула Марина.

- А у Кончитты глаза черные?

- Золотые. Как смех. Она в России недавно - и сразу влюбилась в Макса.

- А он?

- Ну, а он... Он же не может «влюбиться», но он ее очень жалеет... Купаться - идем?

В море прямо с обеда, презирая медицину, сидеть в воде час, и снова, и снова сидеть до того, что по телу - гусиная кожа, и в морских волнах остается не часть, подвластная физическому закону учебника, сданного и забытого, а вес худеющего без меры тела (так что через неделю-две кружится голова и ходишь как в сонной одуре, - и ни матери, ни бабушки, ни теток - остановить. Небо, и вода, и горы, и коктебельские камни - таковы были дни нашей юности...).

Кого еще я запомнила за столом? Маленького, худого, невзрачного человека, которого называли Миша. С удивлением узнала я, что это - кузен Макса. Возле него и вокруг жили прыжки и лай фокстерьера Тобика, и когда Миша вышел из-за стола, они продолжались. Кто-то сказал вслед их удалявшимся очертаниям, - Макс, кажется, говорил, что Миша делает над Тобиком какие-то таинственные опыты? (Кто был по специальности Миша - не помню.) Миша хромал, и, чувствуя ли, что выпадает из стиля общей веселости и

что, может быть, над ним посмеиваются, он уходил с ущемленным видом. И Тобик хромал тоже...

Из остальных выделялись семья Фейнбергов, – собственно, часть семьи: Бэлла, старшая сестра, взрослая девушка среднего роста, с русым шиньоном. Глаза ее были сини и велики. Помню ее брата, подростка Леню, худенького, в тубетеечке, говорившего мягким и задушевым голосом, у него были очень добрые глаза. Он ходил за Максом, и они говорили о живописи. О Лене говорили, что у него большие художественные дарования, что рисунки его очень хороши. Брат его, Сеня, кто-то сказал, пианист и композитор. Бэлла оказывала Кончитте знаки внимания.

Кроме купанья, все в этот день были вместе, то на одной террасе, где обедали, то на разных балконах Макса, куда вели наружные лестницы, то в его мастерской. И мне удалось увидеть молчаливую – одна мимика гнева – сцену ревности Кончитты Максусу. Не знаю, кто из них в это время был прелестней: испанка ли, кидавшая в его сторону снопы молний из-под почти сошедшихся бровей, хватавшая и бросавшая черный фиалковый веер, взмахивавшая золотыми от загара руками и что-то звонко, непонятно восклицавшая, – или Макс, ставший поодаль, опустив глаза, порой пытавшийся ей что-то объяснить по-русски и по-французски – испанского он не знал.

– Подумай только! – шептала мне Марина. – Он же совершенно в нее не влюблен, – Макс «влюбленный» – это же невозможно, – он просто ею любит, как и все, и она случайно попала на его дачу – с кем-то приехала из друзей Пра, а теперь ему нет житья. И он в положении совсем безвыходном – потому что она думает, что он влюблен, потому что до него все влюблялись, и она привыкла...

– Но что она говорит ему, кто-нибудь понимает?

- Абсолютно никто... Ну, мы пропали! (Мне на ухо.) Сюда идет Мария Папер. Читать стихи. Умоляю тебя, не вздумай сказать, что не нравится, если она спросит. Она никогда не простит! Слушай бред - и молчи...

Это было вовремя. Потому что Папер, войдя, окинув всех одаривающим взглядом, оперлась на деревянный меч и начала выть бредовые строки. Все молчали, опустив глаза. На одну Кончитту этот вой подействовал успокоительно: она перестала сердиться и, сложив ручки на коленях, с интересом слушала непостижимое.

Вечером я сидела рядом с Кончиттой, не расставаясь с ней, и мы обе смеялись, ни слова не имея возможности сказать друг другу, и звук ее чудного хохота, неудержного, как поток с горы, несся в черную синеву вечера, осыпанного

звездами, в лунный плеск моря, в морской ветер, доноси в^;;;": дыхание дрока, сладостного, как жасмин.

В пику Марии Папер, вернувшейся со своим мечом с гор и которую никто не просил еще читать стихи (я шептала Марине, что жаль же ее, пусть читает! Марина отмахивалась), мы читали в унисон стихи Марины. Игорь Северянин, гуляя вдоль нашего чтения, перенюхал подряд все розы, наклоняясь над каждой. Он не читал стихов. Негодовал? Я смотрела на профиль Пра, горбоносый, на голубой глаз, на озорное и величавое ее существо и, слыша ее «р», помнила Б. С. Т. (как он был бы среди этого? И после того, как пройдет ночь, и я, оставшись одна от всего веселого бреда жизни, от непонятной Марины, очнусь в себя, в Б. С. Т., -как пойдет моя жизнь с завтра?).

- Ну как? - спросила меня Марина, когда мы расставались у ее двери. - Нравится Коктебель? Ты еще не была нигде -ни в деревне, татарской, под Сюрию-Кайя, - та, с остриями, ни на Святой горе; там, высоко, могила их святого, татарского. Увидишь Сердоликовую бухту! Лучше, чем Нерви...

- Море так шумит - как люди спят? Точно совсем рядом...

- А оно и есть рядом - ведь Максин дом на берегу. Этот, Пра, - дальше. Уснешь! И приснится Кончитта! А Северянин - красив, а глуп, правда? - увлеченно говорила Марина.

- Глуп... - согласилась я. - Стихи - умнее...

- А Макс - чудный!

- И Пра... У них какие-то удивительные отношения, - сказала я. - Когда мы сидели у Таи-Ах на тех двух диванах -ну, там, где полукруглые окна, высокие, - в мастерской, Пра зашла и за что-то рассердилась на Макса, как на мальчика.

А он стал отвечать ей, как старший - ребенку. Разъяснял -и очень терпеливо. А она все равно сердилась.

- Это потому, что они совсем разные, от разного исходят. Но замечательны - оба. И обожают друг друга. Пра ведь его воспитала одна. С мужем рано рассталась. С него, говорили, Толстой писал Стиву Облонского. Пра ушла, работала телеграфисткой, день за днем, год за годом, в бедности. Ведь это теперь - два дома, а доход от них все равно - грош, почти даром сдают друзьям. Стали лучше жить, когда Макс стал зарабатывать. А участок - пустыня была, дешево. Максов дом строился десятилетия, по кусочку. Оттого такая архитектура. Балконы - со всех сторон.

- У Пра один Макс был?

- Нет, была еще дочь Надя. Умерла пяти лет...

«А ведь Пра - застенчива... - вдруг подумалось мне, -такая с виду - мужественная, так смело своим поступком и поведением эпатирующая буржуа...»

Затем настал сон, под нервийский шум моря.

Когда я проснулась, стояло великолепное летнее утро, кидая по горам и с горы на гору тени, пахло дроком, и море лежало огромным мирным озером,

совершенно синим по бокам и совершенно серебряным под столбом солнца, и от него вправо и влево плавилась, вспыхивая длинными и мгновенными искрами, две полосы ртутно-синие. Даль же была вся растоплена в серебре. Татары шли с корзинками фруктов, другие продавали чадры.

Не слыша в Марининой комнате никаких звуков, понимая, что опоздала к завтраку, я шла, шурша гравием, по саду. На перилах вчерашней террасы, где обедали и ужинали, сидели – как странно! – рядом подружившиеся Марина и Северянин в беседе, такой углубленной, что меня не заметили. Но вот Марина обернулась на звук моего шага.

– Сереженька! – сказала она Игорю Северянину. – Пойдем с Максом в горы? Вы себя сегодня лучше чувствуете?

Слух меня не обманывал. Я мгновенно, всей собой ощутила, что я не должна обернуться. Подняв голову, я прошла на террасу. За столом еще сидели. При моем появлении Кончитта громко сказала Марии Папер:

– Верка, передай Асе масло. И бублики. Там есть еще кофе? Может, его подогреть?

Я не ослышалась. Кончитта говорила на чистейшем русском. И Марию Папер звали Верой. Значит, они меня... Все ясно. И Северянин... Значит... О, они ждут, что я всполошусь? Закидаю вопросами? Возмущусь?

Не дрогнув ни одним мускулом лица, я, поблагодарив, пила кофе, и теперь они глядели на меня во все глаза. Мистификация? Все весь день играли, а я верила, умилялась Кончиттой?.. Ну, хорошо же – сегодняшнего торжества их не будет: они хотят, чтоб я встала – и все то – сон? Они

ждут моего просыпания? Я – не проснусь. Усом не поведу, в удивлении! Вера? Сережа? Отлично! При первой возможности назову их так, – и не я, а они вспомнят себя Северянином и Папер! Я

прислушивалась, как назовут Кончитту, – не называли. А она сидела и улыбалась, и улыбка ее была хороша, как смех, и я не чувствовала нисколько негодования, на нее глядя. Она была все так же хороша, и золотые ее глаза (я сидела близко, и мне был виден их цвет) сияли.

Но одна вещь занимала меня: зачем Марине надо было, чтоб я повторила, что тот Северянин глуп? (Кажется глупым.) Я этого не находила, согласилась из «галантности», видя, что Марине этого хочется. Но теперь этого нельзя было изменить, Марина помнит. Зачем-то ей это было нужно? Тут что-то крылось. То, как она сидела рядом с этим Сережей, звала его «Сереженька»... Что я согласилась для нее, не находя его лицо глупым, – просто «с размаху», – теперь уже было нельзя доказать. Как глупо...

Я не помню, как я узнала, что Кончитта, Папер и Северянин – сестры и брат, – сама ли заметила их сходство?

Не помню, как в первый раз (в то же день?) мне сказала Марина о том, кем стал ей Сережа Эфрон и она ему.

Мы стояли – Марина и я – под шатром южных звезд, в дыханье дрока, в трепете масличных ветвей, и ее слова, как волны о черный берег, луной или фосфором под водой бились о мое одинокое без нее сердце:

– Он чудный, Сережа... Ты поймешь. Мы вечером будем у меня, – приходи! Втроем. Ты увидишь! Сестры еле отходили его, когда он узнал о самоубийстве матери и брата. Котик, в четырнадцать лет... Они обожали мать. Она не перенесла. Сережа и Котик росли вместе, как мы. Тоже два года разницы. Он болен, Сережа, – туберкулез. Мы, может быть, скоро уедем отсюда, он не переносит жару...

...«Мы». Значит, кончено мое «мы» с Мариной. А я... я? Будет ли у м е н я с Б. С. Т. «мы»?

## ГЛАВА 7. ДОМ ВОЛОШИНА

Макс и Пра жили во втором этаже. В углу комнаты я увидела воспетую им в стихах египетскую принцессу Таи-Ах. Огромные глаза и таинственная улыбка были душой этого удивительного дома. Но еще одно лицо женское глядело со

стен из мглы фотографии – ее тоже Макс называл в стихах этим египетским именем. Ее в доме не было, но память о ней наполняла комнаты: всюду со стен смотрели ее фотографии и портреты с большими темными глазами; волосы легкими прядями обрамляли девическое лицо, в нем была задумчивость и печаль. На одном из портретов ее в тубетейке она походила на какого-то сказочного мальчика:

– Кто это? – спросила я Пра.

– Жена Макса, Маргарита Васильевна Сабашникова. Талантливая художница.

Больше ничего не было сказано. В другой раз Пра при упоминании о ней, тут прежде жившей, добавила тепло, убежденно:

– Я очень люблю Марго...

Я больше ничего не спросила. Вокруг этого имени была тайна, как вокруг Таи-Ах... Я иду по комнатам. Как все необычно. Самодельные жесткие диваны, покрытые чем-то цветным, набросанные полотняные подушки, табуретки, скамеечки, книжные полки. В промежутках между окон – этюды, картины, фотографии в овальных рамках – стен не видать. И всюду – сухие степные, горные растения, пышные, легкие – в глиняных и керамических вазах. На полках и на столах – шкатулки с вделанными в них коктебельскими камушками – агатами, сердоликами и халцедонами. Пра из них мастерит всевозможные узоры на тарелках россыпями –

от них не оторвать глаз. Тут все болеют этой болезнью: ищут их на берегу, находят, собирают... Марина от них без ума.

Снизу крик – обед. Я сбегая, и, пока сходит Макс, я стою перед огромной гипсовой головой, в меня провалились две белые бездны: глаза Таи-Ах.

Я шла, глядя, как волнуется, рвется в ветре платье, запомнила его цвет, менявшийся калейдоскопически от набегавших на его складки теней лестничных перекладин и зеленой тени кустов. (И шестнадцать моих лет не знали ни йоты о том, как все то, что я сейчас видела, через тридцать лет уйдет под полы дома, где мы с Мариной живем летом

1911 года, как все эти книги, картины и маски и сама Таи-Ах, из стены вырванная, будут спущены в землю осенью 1941 года, во время Великой Отечественной войны, и как их туда будут носить и носить, задыхаясь, спотыкаясь, спеша, руки героической русской женщины, Максовой жены Марии (она

еще – в будущем!), руки двух малосильных беременных женщин и двух озорных мальчишек, и как этот клад, эта маленькая Атлантида, промолчит о себе под землей девятнадцать месяцев. Как самому дому Карадажьего великана будет грозить огонь, к снопу соломы ползший, как этот огонь в безумье женского мужества и бесстрашия остановит рука женщины. Как, вынутая в дни побед из недр Таи-Ах (гипс, переставший улыбаться под подвязанной заботливой рукой повязкой), высохнув, улыбнется вновь, водворяясь в ту же стену. Властительница Египта – вновь улыбнется уцелевшим...) Я ничего не знала. Складки платья вновь вспыхнули – солнцем. Я входила на террасу, где собирались еще молодые друзья Макса.

И был еще Людвиг Квятковский, поляк по отцу, сын простой, умной и доброй женщины. Ему было



шестнадцать лет, как мне. Он писал изумительные пейзажи. О нем говорили, сказал Богаевский: «Я отдал бы полжизни за то, чтобы иметь такое чувство красок, как у этого мальчика. Его владенье цветом поразительно». Лицо Людвига было лицо Вергилия: узкие смуглые щеки, огромные, длинного разреза, синие глаза. Орлиность в линии длинного носа. Суховатый уклончивый рот.

У Макса в то лето гостили два его друга: художник Константин Федорович Богаевский и Константин Васильевич Кандауров. Они спали на двух диванах по бокам Таи-Ах, и о них говорилось, что там спят «кости». Кандаурова я помню всегда смеющимся, яркие глаза, рыжеватую бороду. Богаевского запомнила сердечно и сразу – так он был обаятельно тих, застенчив, так много душевной прелести и убедительности было в его скромной, к каждому внимательной манере себя держать, в его худом лице и темных, под тяжелыми веками, глазах, в его улыбке под опущенными, словно стеснявшимися своей пышности, усами. Он мало говорил и всегда что-то доброе, умное. Его картины были у Макса -озаренная лучами архитектоника туч над деревьями, над руинами генуэзских башен и, как у Макса, Киммерия, их общая любовь.

## **ГЛАВА 8. СЕРЕЖА. ТРАГЕДИЯ ЕГО СЕМЬИ**

Был вечер, мы сидели втроем на полу в Мариной комнате по-татарски, на коврике, и пили из маленьких чашек

черный турецкий кофе: без гущи (с гущей – татарский). Мы это знали теперь, бывая в коктебельской деревенской кофейне (татарской) – Марина, Сережа и я.

Да, если бы я могла так подумать, я бы сказала: меж Мариной и мной встал Сережа. Но я не могла сказать так. Сережу любила Марина – и он любил ее ответной любовью, и Марина была счастлива. Волнение ее счастья передавалось мне за нее, радостью! за нее, которая никогда с детства не была счастлива, всегда одинока, всегда – в тоске.

Сережа полулежит на ковре, тонкая, чуть смуглая, -болея, он не загорает! – рука привычно отводит со лба темную прядь, и, улыбаясь глубокой своей, впитывающей нас, улыбкой, радостной, как все, что делает, пьет глотками маленькую чашечку кофе. У него узкое лицо, темный разлет бровей и под ними такие огромные, совершенно невероятные по красоте и величине глаза. Они серо-зеленоватые и сияют добротой и счастьем – быть так любимым, так ценимым, так приятным, быть сейчас с нами! Его радости хватает и на меня – он и меня в себя принял, он – наш, и мы обе – его, и как совершенно чудесно, что он мне – брат без малейшей смуты. Когда он начинает рассказывать о своем, о матери, брате, с которым рос, как Марина и я, и о другом брате, еще прежде умершем, – я проваливаюсь в это детство – с головой.

Мы кончили кофе, общипали несколько кистей винограда, мы иначе сели, Марина обняла руками колена, ее мальчишески короткие светлые кудри (так внезапно, после лет мечтаний о них, таким чудом вдруг на ее голове поселившиеся) почти утонули во мгле, только легкий сумрачный свет входит в окно – свет звезд? – за ветками дикого винограда.

Историю своей семьи Сережа, по просьбе Марины, в этот вечер рассказал мне.

Мать Сережи, Лили и Веры (у них есть еще сестра Нютя, в Петербурге, старшая, и брат Петя, в Париже, актер) была из рода Дурново, старых дворян. Она ушла из дома семнадцати лет – в революцию.

Партийная кличка ее была «Лиза большая». Она была членом «Народной воли» и «Черного передела». Царское правительство учредило опеку над имениями ее родных, чтобы Елизавета Петровна не могла отдать эти имения на

дело революции, если они по наследству перейдут к ней. Она была талантлива, образованна, хороша собой. Порвала с семьей по идейным причинам. Встретила прекрасного человека, революционера. У них было много детей, младший из них был Котик, с которым Сережа рос, как росли Маруся и я. И за год с небольшим до встречи с Мариной Сережа пережил непоправимое горе: трагически погибли Котик и мать, в один день.

На Сережу было нельзя смотреть. Мы не смотрели. Марина, как он, была – живая рана. И страстная тоска по ушедшей – поклонение, трепет, присяга верности его жизни снесли ее.

Проводив Сережу до его комнаты, мы стояли под крымскими звездами, Марина и я, как пять лет назад в Ялте, в последнюю мамину весну. Холодный трепет звездного неба шел по нас ознобом. И так же сладко пахнул дрок.

- Ну что? - спросила меня Марина. - Какой Сережа? (И руша в испытание, в искушение.) Кто лучше: Борис Сергеевич или он? (Как похоже на Марину! Я бы так не спросила - уклонилась бы в тень от вопроса.)

Чуть сжавшись под ним, как под трепетом звездным, отводя ее - попытку? желание? - меня искушить:

- Они - разные... - И с вынужденным холодком в голосе:

- Каждый по-своему хорош... - Но чтобы согреть, чтоб ее не зазнобило от моего ответа: - Сережа - очень хороший. Чудесный! Сейчас, наверное, утро скоро? Нигде уже нет огня, только мы...

Силы Мариной юности, без меры печальной, все сны ее одинокой дремоты, все собралось воедино: поднять его на руки, победить в нем гнувшую его утрату, дать ему жизнь! Она не сводила с него глаз. Каждый миг с ним было познание и любованье, все более глубокого погруженья в эту душу, самую дорогую из всех. Драгоценную, ни с чем не сравнимую. Это сердце, эта жизнь брала все ее силы, нацело ее поглотив. В его взгляде, на нее устремленном, было все ее будущее. Он никого еще не любил. Он пошел в ее руки как голубь. Он был тих. Он был отдан мечте, как она. Как она, он любил свое детство. Он утратил мать, как мы. Он рос с братом, как Марина со мной. Он родился в день ее рожденья, когда ей исполнился один год.

В ее стихах он понимал каждую строку, каждый образ. Было совсем непонятно, как они жили врозь до сих пор.

Я никогда за всю жизнь не видела такой метаморфозы в наружности человека, какая происходила и произошла в Марине: она становилась красавицей. Все в ней менялось, как только бывает во сне. Кудри вскоре легли кольцами. Глаза стали

широкими, вокруг них легла темная тень. Марина, должно быть, еще росла? И худела. Ни в одной иллюстрации к книге сказок я не встретила такого сочетания юношеской и девической красоты. Ее кудри вились еще круче и гуще моих. Я никогда не была красавицей, а Марина была ею лет с девятнадцати до двадцати шести, лет пять-шесть. До разлуки, разрухи, голода.

Летел на наши голоса коктебельский пес, и мы, присев, гладили его, трепали, отвечали на прыжки и объятья. Пес прядал, рыча, заглушая море, уверяя, что навеки – наш...

Короткая ночь! И уже разостлалось утро жарким серебром, трепетом маслин и молодых тополей, и три старых близнеца гор врезали в лиловую синеву свои три резкой разницы очертания: острия Сюрию-Кайя, плавный взмах Святой зеленой горы, крутые кудри Карадага.

Идут татары. Мне они говорили и третьего дня, и вчера, и сегодня, что у меня «рука легкая», – куплю у них – хорошо торгуют. Смеюсь, выбираю чадры с серебром и золотом, зеленой и малиновой шерстью – фантазии их узоров нет конца. Я начала себе, как Марине, воздушный ковер на стену: горит, не отвести глаз. Идут другие татары: корзины гнутся от черешен и абрикосов, – мы едим их око за оком<sup>1</sup>, еще око... Они идут из деревни, что на шоссе Феодосия – Отузы

– Судак, ступая по теплой земле пестрыми чувяками, на их руках прыгают, поскрипывая тяжестью фруктов, корзины. На их черных головах фески и тюбетейки, лица – как коричневый сафьян. Днем мы идем к шоссе, где почтовый ящик. Мне опять нет письма от Б. С. Т.!

Ходим в кофейню деревни пить кофе, ситро, покупать бублики. Мы пристрастились к чебурекам, выбирая посуше. Часами лежим на берегу, ища

коктебельские камешки: агаты, сердолики, халцедоны.  
У Марины – уж целая шкатулочка! Ей Сережа отдает свои.

Стихи Марины того лета:  
...Где-то в горах огоньки,  
Чья-то душа над могилой.  
Синие глазки у милой  
И до плечей завитки.  
Облаком пар из пекарен,  
Воздух удушлив и прян,  
Где-то рокочет фонтан,  
Что-то лопочет татарин...

И вот стихи Марины – Сереже, позже написанные,  
насыщенные тем, 1911 года, летом:

Как водоросли наши члены,  
Как ветви Мальмезонских ив,  
Так вы лежали в брызгах пены,  
Рассеянно остановив  
На светло-золотистых дынях  
Аквамарин и хризопраз  
Сине-зеленых, серо-синих  
Всегда полужакрытых глаз.  
Летели солнечные стрелы,  
И волны – бешеные львы.  
Так вы лежали, слишком белый  
От нестерпимой синевы...  
А позади была пустыня,  
И где-то станция Джанкой,  
И тихо золотилась дыня  
Под вашей длиною рукой.  
Так, утомленный и спокойный,  
Лежите, юная заря,  
Но взглянете – и вспыхнут войны,  
И горы двинутся в моря,  
И новые зажгутся луны,  
И лягут яростные львы

По наклоненью вашей юной  
Великолепной головы.

Я была счастлива счастьем Марины!

...Сердоликовая бухта! Такое есть только в детских снах, в иллюстрациях Доре к Данте, пещеры, подъемы, невосходимые тропы по почти отвесным уступам. Скалы, нависшие над морем, по которым пройдет один Макс, маг этих мест с отрочества. И только кисти Богаевского, Макса и Людвиг Квятковского могут их повторять на полотнах.

Они стоят, темные и золотые от режущего их на глыбы тени и солнца, рыжие и тяжелые, как гранит, и они тихи среди бьющихся о них волн, как вечность, о которую бьется

время, все земные человеческие времена. Они стоят равнодушные к грохоту волн Черного Киммерийского моря, к лодкам людей, которые к ним подплывают, с трудом, в обдающей их волне, спрыгивают на берег и карабкаются по огромным камням. Насытившись небом, в которое опрокинули головы, мы ложимся на камни, мелкие, и жадно, как все, что делает человек, роемся в сокровищах Сердоликовой бухты, показывая друг другу добычу, вскрикивая при каждом розовом, алом, почти малиновом камне, подернутом опаловой пеленой. У Пра и Макса их – шкатулки и россыпи, и лучшие они дарят друзьям.

Затем лодка принимает нас в себя, как камни в шкатулку, весло упирается в скалу, мы отчаливаем прыжками, и море принимает в себя нашу лодку бережно и любовно.

Позади виденьем тают Золотые Ворота, стерегущие драгоценную бухту. В море плещет дельфин крутой свинцовой спиной. Медуза – как большой прозрачный цветок, тонет в глубину синевы.

## **ГЛАВА 9. ФЕОДОСИЯ. ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ЛАМ ПСИ. СТАРЫЙ КРЫМ**

Едем в Феодосию. Марине она так понравилась. Сережа вспоминает, как Макс гимназистом (сам рассказывал) шел по Феодосийскому бульвару и как гимназистки, фыркая, его окликали: «Поэт, скажите экспромт!»

Он рассказывает о Феодосии. Старинный город, порт, старый, как Керчь. В порту – иностранные корабли, на улицах

– группы мусульман-паломников, едущих в Мекку. Они в пестрых шелковых халатах, чалмах, в цветных чувяках, и когда они входят в лавочки, где яркие материи нарочно на их вкус, и выбирают, по-своему говоря и трясая темными бородами, – это сказка из Гауфа, кусочек Константинополя... Обо всем этом дорогой рассказали Сережа и Вера, и все-таки, когда мы увидели феодосийские улицы, Итальянскую (главную) улицу с арками по бокам, за которыми лавочки с восточными товарами, бусами, сладостями, когда сверкнул атлас, рекой разливающийся по прилавку, и его пересек солнечный луч, золотой воздушной чадрой протянулся под арку – и когда из-под арки вышли два мусульманина, унося плохо завернутый шелк, и брызнула нам в глаза синева с плывущими розами, – бороды черней ночи показались нам

со страницы Шехерезады, ветер с моря полетел на нас – из Стамбула! И мы поняли – Марина и я, – что Феодосия – волшебный город и что мы полюбили его навсегда. Марина и я? Я ошиблась: Марина, Сережа и я!



- Ася, помнишь? - сказала Марина. - Когда мы везли маму в коляске из Ялты - не забыла Байдарские ворота? -помнишь, у самого горизонта брезжился город - еле видные точки, - о двух словах спорили: Феодосия или Балаклава!

- Конечно, помню...

- И, может быть, эта была - Феодосия... И вот мы -теперь в ней!..

Лиловость неба, генуэзские развалины, мыс моря у волнореза, маяк - все сейчас вправо и вниз за маленькими окнами квартирки Петра Николаевича Лампси (знакомый Макса, внук художника Айвазовского), где мы отдыхаем. Багетные рамы гравюр, полки со старинным фарфором, медальоны, миниатюры. Черный кожаный диван приютил нас всех. А хозяин, мировой судья, в красной феске, с огромным котом на плече, тигровым, трогает струны гитары и сладким, смешным голосом застенчиво напевает:

Век ю-ный, пре-лест-ный,

Стрело-ой пра-а-ле-тит,

Нам все в не-и-из-вест-ном Из-ме-ной гра-зит...

Полные пальцы привычно перебирают струны, кот немножечко ниже сполз с плеча, задние лапы и заснувший хвост почти касаются струн. Привычным, ловким движением (нельзя же будить кота) певец водворяет его на законном месте и, закатив, в счастье пеня, глаза, продолжает:

За-тмит-са сле-зо-ю Наш ра-а-даст-ный пир,

Изме-ной, гра-а-а-зо-ю Укра-сит-са мир...

И, глаза на мгновенье закрыв (кто же видит?), карие, с поволокой...

Ле-ти стрелой,

Наш век мла-дой!

Как слад-кий сон Ми-ну-ет он...

Пыльное золото гитарного звука кидает в нас (Марину и меня - без Сережи!) Нерви, бурю на море,

гитару в руках мамы.

Но взгляд Марины в глаза Сережи почти грозен от нежности, от невозможности жить без него.

А Бориса Сергеевича – нет...

– Ася, о чем ты думаешь сейчас?

– О – о том, что...

– Я понимаю: уехать. Из этой жары, да! Мы тоже скоро уедем. Но ты дождешься Бориса Сергеевича. Он придет, увидишься. А куда ты хочешь?

– Я совсем еще об этом не думала...

– Сережа жил в Финляндии. Ему там нельзя, там сыро. Но – чудно! Туманы, горы, камни, сосны, дома, как в Шварцвальде. Ведь Борис Сергеевич здоров? Поезжайте туда! Сережа тебе все расскажет...

...Петр Николаевич был одним из многочисленных внуков умершего Ивана Константиновича Айвазовского, художника-мариниста, в Феодосии – царившего. Он сделал для этого города слишком много, для того, чтобы его могли забыть. И он провел железную дорогу. Она проходит перед самым домом его – дворцом с несколькими входами. Вдоль стенки железной дороги посажены пирамидальные тополя. «Галерея (картин) Айвазовского» находится тут же, за углом дворца, а на площади, недалеко от дома и от низкого одноэтажного вокзала, стоит «Фонтан Айвазовского». Там богачи из крупных татарских семей и из караимских фамилий встречаются в маленьком ресторанчике для торговых сделок. Там и в водном, на море, «Паша-Тенэ», куда ведет дощатая дорожка – трап. В доме-дворце Айвазовского живут его более близкие и богатые родственники: в правом парадном – семья Лампси, в левом – старушка Айвазовская, которая не выходит – разве что когда по делу из дому, – «доживает свой век».

Но уже шла за нами Вера, и мы встали прощаться –спешить в Коктебель.

В Коктебеле от Бориса Сергеевича не было письма. Макс писал этюд: лиловые, рыжие, дымчатые холмы уже оживали под кистью. На днях все мы поедем на мажаре в Старый Крым, где у Макса – друзья.

За Ислам-Терехской степью – нет горизонта. Он растаял круглым видением отключившейся от земли жары и пошел согретой волной тушить даль, и по его следам заструилось что-то, чему нет названия, как горячий воздух над начавшим затухать костром.

– Какая там деревня? – спросил кто-то из нас Макса, показывая на далекие, перемеженные слоями зелени домики.

– Татарская? Ортай?

– Там нет никакой деревни, – сказал Макс, оборачивая к нам улыбнувшееся, загорелое, обветренное большое свое лицо Зевса, – это мираж, здешний...

– Мы ехали, – говорит кто-то, – и вдруг пароход далеко в воздухе, и мы стали смотреть: мираж или нет, – у меня лучше глаза, и я увидел, что труба-то у него – снизу, – это бывают такие миражи, когда все – вверх ногами.

Мы заспорили о том, бывают ли... В этот миг на мажару высоким скоком влетел, подпрыгнув, Мишин фокстерьер Тобик. Миша сбросил его, но Тобик взлетел тотчас же снова – только еще выше, так, что упал на нас. Уже рассерженно Миша сбросил его снова, и Тобик мгновенно вновь очутился у нас. «Это какой-то дождь из Тобика...» – философски пояснил Макс.

Уже темные сумерки. Мы подъезжаем к Старому Крыму. Все мы почти пропали в ночной теплой мгле. Тобик спит возле похрапывающего Миши. Макс что-то рассказывает. Огни Старого Крыма. Уже раскрылись двери, принимая поздних гостей.

– Входите, входите, пожалуйста! – кричал добрый низкий женский голос. – Добро пожаловать! Мы, Макс

Александрович, по правде сказать, гостей уложили и с Николаем моим Ивановичем спать залегли, но – что вы, что вы – мы рады дорогим гостям, милости просим!

В доме зажигались лампы, фигуры вставших кидали длинные тени навстречу нам, входившим. Через полчаса на столе уже кипел самовар и уничтожалось угощение, а еще через час, к середине ночи, был в доме разгар музыкального вечера: «Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали» -и маленькая, незаметная, некрасивая хозяйка дома пела нам старинные романсы. Несравненный, еще не начавший увядать в глуши и забвении голос ее, редчайшего тембра и силы, низкий, в котором слились мощь и нега, наполнил дом, тонущий 29-127

в музыке все глубже и глубже, пока из глубин ночи не вспыхнул рассвет и не начал новую ворожбу над нами, не хотящими спать. «Ночи безумные...» пела она, маленькая певица с неповторимым голосом – Олимпиада Никитишна Сербинова, и сколько нас было – внимали ей так, как внимал бы Театр оперы.

Голос пел. Он поднялся громом, он плыл грозой в наши распахнутые, как окна, сердца, и там, за пределами дома и сада, ночь внимала ему, приникнув к окну, слушая «Ночи безумные...»

Я помню еще цветение рассвета и наши сборы – дальше, пока не жарко, и сад, и нас на траве, в каплях росы, и кого-то под черным плащом у треножника, и – чтоб еще ярче, еще светлей – вспышку магния! И вот мы снова едем и едем вперед...

Мажара трясет, и Сережа, усталый, уснул под лучами восходящего солнца. Марина не спит. Она смотрит на него спящего, и вся страсть Жалости, Верности, Любаванья, вся Преданность и вся Печаль Мира – в ее похуевшем за ночь лице.

## **ГЛАВА 10. В МОРЕ. ПИСЬМО БОРИСА**

Буря на море? На паруснике?! Макс не отпустит!.. Но его нет, ушел в горы. Марины с Сережей нет. Пра не видно. А, на свой страх и риск!

Сейчас не пойму, как я, тонувшая в Оке в 6 лет, так легко согласилась – рванулась! – в 16 лет ехать на паруснике в море, так в тот день волновавшееся...

Ехали: силач и пловец немец Шааф, хилый Максин дядя, Миша – и я. Мишиного пса Тобика заперли, чтобы не поплыл вслед. Парус надулся, помчались. Пока мы плыли по бухте, было возволнованно-весело: с невероятной быстротой неслись мы, рассекая волны залива. Но скоро я поняла, искоса взглянув на Шаафа, что он не ждал, что нас понесет так! Пробурчал ли он что-то про «открытое» море, куда не хотел выходить? Только ветер так креп... Волны летели, яростно креня баркас, его наклоненный край шел почти у самой воды. Я закрыла глаза и села на дно. Шааф, вскочив, работал у паруса и кричал Мише, но тот в страхе прилип к корме, не помогал. Что-то не удавалось Шаафу – узел, который он рвал, был как сталь. Моряк кричал, приказывая Мише,

ругая его на чем свет! Тот – молчал. Я сжала тетрадь дневника, хотела было записать что-то... Конец? – вот сейчас – когда раздался сквозь свист и рев, совсем близко от моего уха крик мне Шаафа:

– Слушайте, Ася! Если мы опрокинемся, не хватайте меня за шею! Это мне помешает спасти вас. – Голос его был спокоен.

Вскочив на скамью, откинувшись всем телом назад, он продолжал рвать узел каната всей силой мышц. Узел

не поддавался. Мы неслись в открытое море!

Нас захлестывало. Слова Шаафа долетали порывами ветра, повторно и с разной силой:

- Ася! Если нас опрокинет, не бойтесь! Я пловец, по пятнадцать верст плавал, проплыть несколько верст мне легко. Только не хватайтесь за шею! Идите спокойно ко дну (иначе вас под баркас подтянет!). А когда вы выплывете, я вас оглушу и доставлю на берег. Поняли?

Несмотря на весь страх, смертный, я помню себя глядящей на Шаафа с чем-то вроде горького юмора.

«Вот человек, который меня не понимает. «Идите ко дну!» В нескольких верстах от берега!» И я что-то записала в дневнике. Тогда раздался, вместо моего, Мишин ответ моряку:

- А чем я виноват, что я не женщина? - кричал он, чуть не плача. - Ее вы будете спасать, а меня?..

Грянула немецкая брань Шаафа... «!..»

Баркас плясал, наклоняясь все круче. Рев, блеск. Я закрыла глаза... Миг - в этот миг руки Шаафа, одолев узел, что-то сделали мгновенное, невероятное - парус перехлестнулся... (как мы уцелели в сальто-мортале баркаса?) и стрелой понесло назад, вбок, не на Коктебель уже, но назад, от открытого моря. Мы летели по волнам, побеждая, рассекая их - как ножом.

Я не успела понять - ни вздохнуть - Шааф что-то крепил, привязывал - берег близился.

Буря была уже тише. Что это, Золотые Ворота? Мы летели к Сердоликовой бухте!

Когда мы, повернув еще раз, на веслах уже, приблизились к Коктебелю, стало видно, что берег полон народу - и на всех домах, балконах, на Максовых лестницах - люди. Затем мы разглядели, что у многих подняты руки к лицу. Вскоре стало понятно - к биноклям!

Опустив свой, Макс уже бежал вниз по наружной лестнице. Тут только мы увидели баркас рыбака Кафра, готовый к отплытию – нам в помощь.

Макс бежал и кричал. Я разобрала свое имя. В этот миг наш баркас опрокинулся – возле берега, и Шааф взял меня на руки, что-то сказав (плохое, должно быть!) попавшему в воду Мише. Я лежала на берегу, теперь без сил встать, незавидный трофей плавания, а Макс кричал на меня... (я не знала, что он может кричать так!) – о моей глупости, никого не спросив, не сказав... Было сказано и о папе... «Ведь ты могла утонуть... Пойми!»

Я поняла: я жива и еще больше люблю Макса! (А моря с тех пор – по сей день – боюсь.) В мокрой тетрадке дневника стояли слова, нацарапанные карандашом перед возможной гибелью. Они гласили: «Мокро и страшно». Моему юмору над ними не было конца. «Последние» слова ж и з н и!..

А Марина пришла с почты. Узнав все, она не испугалась: разве Ася могла погибнуть? Мы будем жить, жить... Она смотрела на меня таинственно и лукаво. Затем протянула письмо:

– От Бориса Сергеевича. На!

## **ГЛАВА 11. ПРИЕЗД БОРИСА. ЧТО ТАКОЕ МЕССАЛИНА. ВЫЗОВ НА ДУЭЛЬ. НАШ ОТЪЕЗД**

Я держу в руках синий конверт, небольшой, из почтовых, дешевых, случайных, драгоценней всех книг для меня и писем на свете, и иду с ним – в степь. Не к морю – шумит, и там – даль, она не нужна мне сейчас, – в степь, где еще не сверчат – еще не вечер – цикады, тишина, полынь и холмы. Там я вскрываю конверт.

Круглый, корявый, ни на чей не похожий. Любимый. Часть – карандашом, часть – чернилами. Столько любви, столько тоски! Он писал, что скоро приедет.

Что было, когда не было со мной на свете этого почерка, этих родных как-то по-страшному букв, стоячих и кое-где чуть, в спешке, наклонных, – нет, он не спешит, он романтически обдумывает каждое слово, он старается в слова вложить – себя.

Да, мы уедем в Финляндию, в тот туман, в те камни и горы, о которых говорила Марина, в прохладу – из этой жары, где все прилипает к телу, где ешь чебуреки с перцем и все время плюешь косточки черешен.

А затем произошла необыкновенно смешная история. Она началась с того, что Максин дядя, Миша (вспомнила! он был химик! и делал опыты над Тобиком, химические...), посвятил мне стихи. Это были стихи плохие, уровня немного вроде того, которые у Достоевского писал капитан Лебядкин: «Жил на свете таракан, Таракан с издетства, И потом попал в стакан, Полный мухоедства». Или из «Бесов»: «В хороводе других амазонок Улыбается с лошади мне



Аристократический ребенок»... Но все же – стихи, и трактовали они о некоей женщине, – шли описания ее «прелестей». Но я запомнила окончание, может быть потому, что оно меня поразило как -загадочное:

Простите вы, красы молодые!

Порок и страстность ваши я ценю,

Но ваш расчет и ваши мысли злые Я ненавижу и клянусь!

Кроме того, я в этих стихах являла собой «Мессалину».

Схватив листок с кривыми, мелкими, неровными буквами (Мише, кстати, было немало лет, он обрастал периодически седовато-рыжей щетинкой и, по болезненности, имел даже подстариковатый вид), я помчалась искать Макса или Елену Оттобольдовну – Пра.

– Макс, – кричала я еще на бегу, распахивая комнату за комнатой и не находя никого. – Макс. Пра! Кто такое -Мессалина? Меня так зовет Миша, и мне же надо знать: кто?

– Что такое? Мессалина? Ты? Миша? – сказала, снимая пенсне (она работала над новым шушуном), Пра и глянула на меня синими германскими глазами. Седые короткие пышные волосы, небольшой орлиный нос, маленький, будто еще девический, волевой рот. Она взяла у меня Мишин листок, вновь надела пенсне и стала читать. Я постояла за ее плечом, затем сорвалась с места и полетела искать Макса.

Я заметила, что Пра сердится.

Макс был у себя. Дверь была заперта. Он не отпер мне.

– Ася, я сейчас не могу, я пишу. Но как только я освобожусь, я приду. К маме? Стихи? Тебе? Миша? И Пра сердится? Хорошо, я скоро приду.

– Макс, прости, я только одну минуточку: а что это «Мессалина»?

- Мессалина - была женщина. А тебе это зачем нужно?

- Так меня назвал Миша.

- Что-о? - с шумом отодвинулся стул, щелкнул дверной ключ, и моим удивленным глазам предстал разъяренный Макс. Казалось, даже полынный веночек подпрыгивает на войлочной густоте кудрей. - Когда он тебе это сказал?

Испугавшись Макса, я уже жалела о сказанном. Наверное, надо было просто эти стихи - выбросить! Бедный Миша, что теперь будет?

- Миша, Ася, больной! Вероятно, так. Раз он мог сказать тебе... (Макс хотел успокоиться).

- Он не сказал, Макс, честное слово! Он это мне написал - в стихах!

- В стиха х?? Где они?

- У Пра. Она их читает...

Пра протянула сыну листок:

- Я тебе всегда говорила, что он сумасшедший. Написал какую-то галиматью...

Макс читал, и гнев в лице боролся с поэтическим и природным чувством юмора - в другое время он бы мог наслаждаться ляпсусами Мишиных стихов. Превозмог гнев - дочтя последние строки, он бросил бумажку и пошел вон из комнаты. Но я не хотела пустить его таким злым, и я должна была понять смысл строк о расчете - и о злых мыслях. Расчет? Может быть, он говорил - об у м е?1. И о каких злых мыслях он?

- Да ты не злись сам, Макс...

- Я не злюсь. Я просто иду поговорить с Мишей, -«кротко» сказал Макс. Но он уходил.

- Макс, это он про что? - сказала вдруг Пра. - Про те шестьдесят тысяч, этот ду-р-ак? - И «р» в «дураке» прозвучало особенно громко.

- Я думаю так, мама, - отвечал Макс, и сандалии захлопали по ступенькам - вниз, во двор, в комнату

Миши.

Макс летел с лестницы так, будто в нем не было семи пудов мужской красоты, как он говорил о себе. («Живое о

1 Втайне я хотела объяснить и как Мишино утверждение, что, несмотря на чувства мои, рассудок (ум) берет верх...

живом» - Марина Цветаева), Сандалии яростно топали по ступеням.

Дело о стихах разгоралось...

- Я ничего не понимаю, Пра, - сказала я, сев возле нее.

- Какие тысячи? А Миша действительно сумасшедший?

- А ты думаешь, Ася, нормальный человек пишет девушке такие стихи? Мише этому по наследству оставлено шестьдесят тысяч рублей. Вот он «ду-р-ак», думает, что все девушки, все женщины его увлекают, чтобы их получить...

Пра, может быть, не ожидала эффекта своих слов. В миг на нее взглянув и поняв, я упала в такой мешок смеха, что сразу уже, предчувствуя, что без боли над животом не обойдется, съехав возле нее на ковер, - надрывалась. Но и Пра - еще держа в руке пенсне (она собиралась братья за свой шушун) - хохотала, взглянув на меня, вторя мне, таким же внезапно родившимся хохотом, потом стал вторить нам ее кашель, и только он нам обеим помог.

...Только вечером я вспомнила: а ведь я так и не узнала, к т о же эта самая Мессалина!..

И вечером же Макс спросил меня, приходил ли Миша ко мне извиняться. А затем я узнала, что - я еле ушам поверила

- Макс вызвал Мишу на дуэль!..

А я должна ехать встречать Бориса.

Я волновалась – то не верила, то пугалась, то хотела идти к Пра (не знала, имею ли я право – Макс от нее скрыл!). Я помню Макса, стоящего со мной в комнате Пра, и мы говорили о Мише. Макс успокаивал меня: Миша образумится, не захочет идти на опасность, попросит у меня извинения! Но иначе он поступить с Мишей – не мог. Я помню этот разговор как во сне. Ходила ли я к Пра? Ничего ясного в моей памяти нет. Знаю только, что факт этого вызова – был. И что я уезжала – в смятении. (Все утешали меня – обойдется, Миша извинится, конечно: я отвечала, что мне его извинение не нужно и что ведь он сумасшедший? Мне объяснили, что не настолько, что есть вещи, которые нельзя делать. Может быть, это все говорил Макс?) Но он не шел.

Я помню свое потрясение и обиду, когда из вагона вышел совершенно неузнаваемый человек – плохо одетый (я так мечтала об элегантности – к его природной грации!). Он был в черных очках, и золотая пышность волос – ее не было, он остригся! Но был голос – его, его «р», его смех и то, как смущенно и весело он дал – был рад дать – вести себя по незнакомому вокзалу и городу, не воспринимал их, он глядел – на меня.

Поздно вечером мы подъехали к дому Макса. Холмы были темны, и стрекотали цикады.

– Борис Сергеевич, вы в первый раз видите море?

– Да, моря я никогда не видал...

Море уже шумело. Еще это счастье! Показать ему море.., Вместе стоять у него! Я еще не успела додумать, дочувствовать это, когда (коляска еще только останавливалась у калитки) Борис Сергеевич легким прыжком соскочил на землю и – пропал в темноте.

Я окликнула. Позвала. Его нет... Удивясь, огорчась, я пошла вперед, туда, где он исчез. Он стоял у моря,

сложив руки на груди, и потрясенным – и все-таки  
ледяным – голосом

– вдохновенно и отрешенно, забыв меня, забыв все  
на свете,

– и как дрожал, торжественно, голос:

Я видел море, я измерил Очами жадными его,

Я силы духа моего Перед лицом его поверил<sup>1</sup>.

Слова шли медленно, будто он их рождал – из себя.

Было что-то одержимое в его слиянности с морем,  
он был

– там, без остатка, весь. От обоих веяло холодом.

Я стояла одна, уже покинутая, в эту первую нашу  
ночь.

...Мы шли к дому, но как-то случилось, что не вошли  
в него, а пошли кружить вокруг, медленно и рассеянно,  
все большими кругами, пока не погасли один за другим  
огни в доме, и как-то иначе опрокинулось небо с яркими  
сначала, затем – куда-то отходящими звездами. Где-то  
залаяла собака и стихла. Жили мы – и морской прибой.

1 Стихи Полежаева.

Светало. Море лежало огромное и совсем тихое (мы  
не заметили, когда оно перестало шуметь), и в нем  
была свинцовая синева, а рядом было сияющее  
отсутствие цвета -перламутр, и там, где была даль, – ее  
не было, небо и море слились. Солнце, встающее,  
плавало или парило, было нельзя понять, и под ним и  
вокруг было легкое, бледное золото -розовое. И две  
наших длинных тени.

Теперь мы вместе стояли у моря. Вдвоем...

А наутро я увидела Мишу. Когда он успел встать?  
Жизни вокруг дома еще не было.

Миша шел и делал мне знаки. Гора падала с плеч. Я  
шла навстречу, уже улыбаясь, и когда он, спотыкаясь о  
слова, начал что-то невразумительное и виноватое и  
мелькало Максино имя, я, смеясь, быстро закончила

разговор. Он ошибся по-настоящему – в тех стихах ошибся: не завлекали в этот раз его 60 000, не.

Мы крепко жали друг другу руки, и я смеялась.

Мы уезжали. Мы в Феодосии. Мы не знаем, где сейчас Марина с Сережей, потому что мы не встретили их в городе, а они тоже тут, они уезжают в Уфимские степи, на кумыс.

День был жарок, синева неба – лиловая, шаг наш по дороге был звонок, мы прощались с горами, с морем, с Максом, с Пра, с Кончиттой. Людвиг пришел через горы, от его этюдов в сердце что-то захолонуло, и глаза на шестнадцатилетнем лице Людвига – Вергилиевы. А сегодня над нами колдует Феодосия и пирамидальные тополя. В них столько птиц, что кажется – еще больше, чем листьев! Неизвестно, это листья бьются о воздух или так сверкают щебеты птиц...

Наш поезд идет сегодня вечером. Но мы же должны увидеть Марину. И – чтобы встретились Сережа и Борис! Где ж они? Мы искали их всюду, и просто по улицам, и в том крошечном саду, где цапля с малиновым глазом, у музыканта Ребикова, – нигде!

Мы сидим у Петра Николаевича на кожаном черном диване. Как тогда, Петр Николаевич, извиняясь, что он в феске («холодно голове, хоть и лето, – поверьте, что так, ха-ха-ха!..»), взял гитару и трогает струны, они – жильные в этот раз, звук глухой, тихий – точно поют певцы с закрытыми ртами.

Мы ждем Марину с Сережей. Они должны прийти! Вещи их на вокзале. Их поезд отойдет раньше нашего – мы пойдем их провожать! Как это все-таки странно, до невероятности даже, что мы уезжаем с того же вокзала – и в тот же день!

А вот оно пришло – совершается.

Расставанье с Мариной! Даже и сейчас я не верю. Это то, что не ложится в голову, не вмещается в сердце, что разорвет его, вот сейчас. Оно живо только потому,

что в него не вошло это горе – реет, носится, тает, – и разум в него не верит. И еще потому, что рядом Борис Сергеевич. Он вступает в то место, где пустота от Марины. Он не даст мне досознать и дочувствовать, занимает мое внимание. Но и когда поезд уйдет – Марина будет со мной.

Я перелистываю тяжелые картонные страницы альбома, скользя глазами по лицам давно умерших, в старинных нарядах людей. Закрываю его. И рукой рассеянной и растерянной подымаю тяжелый том – монографию. Золотоосенний боскет; камзолы, пышные платья прошлых лет -Сомов... И вдруг, как это бывает и как это трудно описывать, – два каких-то рядом стоящих предмета, ощущения, впечатления сливаются в одно. Что-то вещее -вперед увиденное, несомненное, – ты его коснулся рукой...

В этот миг раздался звонок.

Смеясь, в комнату входили Марина и Сережа. Борис Сергеевич встал им навстречу.

Мы вчетвером стоим на перроне. Вечер. Летний закат -позден, над городом – тучи.

Мы все ходим и ходим взад и вперед, то все четверо, то, спутав узор в толкотне, по двое перекрестно, по двое, словно бы это равно, раз мы – мы. Вот они узнали друг друга, Сережа и Борис, и сейчас, простившись, разъедутся, разделив и увозя – нас.

В разговоре на вопрос Сережи Борис, засмеявшись, сказал, что им – равно лет. Я нахмурилась, насторожилась, но он так чудесно смеялся: Сережа старше меня на год, Борис Сергеевич на – полтора года? А я ведь тогда, на катке, поверила, что ему – двадцать семь! Но это все равно, совершенно. Все круче тучи, все золоче под ними закат, все сильнее морской ветер! Разговор о Финляндии – Гельсингфорсе, Эсбо, куда советует нам ехать Сережа. Там так дешево,

финны такие честные, прогулки в туманах так фантастичны – совершенно сказочная страна...

– Мы остановимся в Москве, в Трехпрудном, на несколько дней, – сейчас там нет ни папы, ни Андрея...

– Ты прочла, что папе доктора велели – в Наугейм? Для сердца.

– Да, но он не хочет, откладывает до весны...

– Господи, хоть бы скорей Музей открывался...

– А ты как с деньгами устроилась? Папе пока не напишешь? Макс будет пересылать?

– Первый звонок? (Нет, еще нет, показалось!)

Мы остановились на повороте нашего хождения, вдруг -глядим на них двух обе. Высокий Сережа в летнем пальто клёш, в соломенной мягкой шляпе над узким лицом... Черные брови плавно, по краю надбровья. Сиянье огромных глаз. Ниже – выше среднего роста стройная фигура Бориса – все тот же пиджак! – и под снятым сейчас кепи – светлая золотистость. Уступив мне, он снял очки, черные, мучившие меня три дня, и Марина, Сережа, я видим его глаза: большие, синие. Худоба щек. Тонкий нос, очерченные ноздри. Несли-янность ни с чем в лице!.. Но как он чудно смеется...

Облака в небе совсем черные.

– Ася! Хочешь, стихи скажем? Им, на прощанье?

Они оба становятся ближе к нам – и мы говорим в унисон, говорим и торопимся, заглушая первый звонок... Заката уж больше нет в небе.

На лицах Сережи и Бориса сейчас то же выражение удивления, поглощенности, которое бывает у людей, присутствующих при чем-то чудесном: два голоса – явно же с двух сторон! Но это же один голос, одни интонации – справа как слева, – какой-то разветвившийся голос... Но и больше: кто сказал, что они непохожи, Марина и Ася? Да, разные, – но ведь это тоже лицо глядит на них из обоих лиц (чуть



застенчивое читать перед ними двумя, так, в первый раз, при прощании, после целой жизни в этих стихах; сейчас – второй звонок, за ним – третий). Но их – тех, обоих – не т на перроне? Где они? в каких измерениях?

И хочется мне вспомнить слова русской песни – они ее вспомнят когда-нибудь!

На заре туманной юности Всею душою любил я милую...

(Это – второй звонок?)

...Мы ходим снова по перрону, томительно ожидая конца, возбужденные вокзальной суетой – и ее не замечая. Начиная и не кончая фразу, волнуясь, смиряя волнение, глядя на них двух – и видя лица друг друга.

В унисон: Ася! Марина! – а помнишь? Третий звонок!

– Ася! Ваш поезд когда отходит? Уж через час? Пиши!..

Рукопожатье. Мы никогда не целуемся.

– Трехпрудному передай привет!

...Они уже сели в поезд, сейчас третий звонок!

Какой ужасный шум на вокзале!

Вот они у окна, две головы рядом, выше – Сережина, ниже – Маринина, – и оба они что-то говорят нам, вперебивку, усиливая голос и ускоряя слова, а мы – уже от них отделенные – только что были вместе! одно целое! кем-то расколотое – стоим и на них смотрим, – они уже недосягаемы для нас...

Мы навсегда запомним, как они стоят, плечо к плечу, картина художника, отъездом вставленная в окно вагона в рембрандтовском свете и тени. Кончена наша, вдвоем, жизнь. Кончена!.. Марина переводит взгляд на Бориса. Неведомого, кому меня отдает.

Но поезд уже идет – и мы идем тоже, и он ускоряет свой шаг – и мы ускоряем свой, но он спешит в своем ускорении, и мы, чтоб не отставать, начинаем бежать. Словно срезало: все, что в тех, недосказанных, – переходит в один бег, все легчающий в отрывании от

перрона, все крепчающий, – это уже не бег, а полет! Каток, вспомни нас. Патриарший, – не мы ли неслись, даже глаза закрывая, плечо к плечу?

В раме окна что-то изменилось в картине – тревога, что мы так бежим? Знаки нам? Не бойтесь! Ножи норвежских коньков невидимо под нами, – и ведь открыты глаза...

Отрываемся! Они – улетают! Их отнимает даль, в которую и мы мчимся, уже не видны лица, окно стало частью вагона, –но они еще видят нас, может быть?! Мы летим! Не сдаемся! Двойное неприятье преград, невозможностей – не перрон, не вокзал! Полет в прощанье!

Вагон уже стал частью поезда... и вдруг все отрезало! Пустота, свет, последняя стенка вагона и колесный стук!

Кто-то схватил меня за руку. Еле дыша, я с разбегу стала, сжав Борисову руку. Впервые!

Мы стояли у самого края перрона! Еще миг – и мы оба с него...

Через час и мы покинули Феодосию. Без проводов, вдвоем – в ту даль.

Стоишь у двери с саквояжем,  
Какая грусть в лице твоём!

Пока не поздно, хочешь скажем В последний раз  
стихи вдвоем!

...Пусть повторяет общий голос Доныне общие  
слова,

Но сердце на два расколосось,  
И общий путь – на разных два.

...Пора. Завязаны картонки,  
В ремни давно затянут плед,

Храни, Господь, твой голос звонкий И мудрый ум в  
шестнадцать лет!

Когда над лесом и над полем Все небеса замрут в  
звездах,

Две неразлучных к разным долям Помчатся в разных поездах.

Так Марина описала тот день.

## **ГЛАВА 12. ГЕЛЬСИНГФОРС. БОРИС. КНИГИ**

Из Крыма через Москву летом 1911 года Борис и я проезжаем в Финляндию. Марина с Сережей в уфимских степях. Грозно и просто, как все, что уже совершилось - новое двойничество, отменившее наше с Мариной; вместо нее - бок о бок, плечом к плечу, с часа, когда на Патриарших прудах встретились, помчались по льду, взявшись за руки, - человек, кажется мне, мой навеки, как навеки, казалось, Марина. Через глухое молчанье двух адресов, еще не обретших друг друга (после - бок о бок - двух с Мариной комнат под коктебельскими звездами).

Площадь - привокзальная? Черепичные (?) крыши зданий вроде ратуш Магдебурга и Виттенберга, виденных всего за год до того. Средневековье? Страницы из сказок Андерсена? Скорей - Гофмана. Нечто призрачное и эфемерное в том туманном июле на той площади Гельсингфорса. Прямо передо мной фоном площади стоит гостиничный дом, название

ускользнуло из памяти. Его скупые, аскетические линии похожи на детский рисунок. Это - схема дома. Но у схемы есть вход и есть окна. Количество этажей? Мы живем во втором (или в третьем? Легкость взбеганья по лестницам тех лет смещает измерения высоты). Но стоит четко и твердо, как фигура паноптикума, женское очертание «служанки». Она стара и худа, но щеки ее, скорее тень щек - кирпична. Черты сухи и строги. Говор в совершенстве таинствен: финский язык нам неведом в той же мере, как ей - русский. Это устанавливает меж нами вполне призрачное общение. В нем главенствуют жесты. Руки служанки - бледнее кирпичного цвета,

фартук – бел. Имя ее – окрестил Борис – Субстанция. Так она зовется в отсутствии. Ее присутствие – театрально: она появляется всегда бесшумно и вдруг, как бы ни ждали ее появления на звонок. Она внезапна, как дух, но решить, целиком ли этот дух добрый, дружественный нам, трудно. Сперва мы принимали ее именно так. Все то время, что мы в гостинице ощущали и вели себя как «богатые иностранцы» (этому способствовала сама фантастичность нашей поездки, путешествия никак не названного союза «Борис – Ася»), Субстанция мнилась нам дуэньей и доброй феей, послушно и быстро уставлявшей наш стол роскошью яств.

Но когда монеты в наших кошельках стали менять цвет золота на цвет серебра или меди и заказы кушаний стали заметно скромнее, в немых движениях Субстанции засквозило легкое дуновение разочарования. И в трагический день, когда, не получив денежного перевода, высланного от родителей из Москвы, мы, сосчитав скудность кошельков, оказались бессильными уплатить за наши два номера по принесенному нам счету и долго и жарко, в два молодых голоса, упражнявшихся в русской элоквенции, пытались объяснить финской фее, что деньги непременно будут – уже едут по почте, – на отсутствующих щеках Субстанции выразилась смесь сомнения и укора.

От феи подуло холодом, наша «няня» исчезла. Перед нами стояла служанка Хозяев, неумолимый судья и блюститель финского неведомого закона. Мы были переселены в иные комнаты – в верхний этаж под крышу, из расточительных иноземцев превратясь в бедных студентов. Обеды кончились. Мы пили кофе и ели хлеб.

Гельсингфорс! Ты в моей памяти – в совершенстве призрачный город! Я ничего не знаю о тебе. Я помню

нерусские улицы, веяние Скандинавии, ветер с невидимых фиордов, невнятную речь, белокурость и светлоглазость встречных, старинные здания и блеклое, рыбьей чешуей лежащее море у плоской (?) печальной гавани. И сквер...

Гельсингфорс, ты - некий корабль из сказания, сходного с тем, о Летучем Голландце, и мы вдвоем, плечо к плечу, опершись о перила палубы. Так мы живем здесь. Мы отплываем. О, если б мы знали, куда! С нами - все, кого мы дотоле любили: книги, и имена друзей, и стихи Марины.

С пафосом произносит Борис имена Джона Стюарта Милля, Фихте, Шеллинга, Шопенгауэра, Юма и Локка, через которых подходишь, учась философии, к чтению Критики Чистого Разума! Скалы, именуемой «Кант».

...В андерсеновской сказке глыбами льда все не удавалось Каю досложить слово «Вечность» - звучит название этой книги, запечатанной семнадцатью ли? - печатями. И, венчая дремучий лес Индукций, Дедукций, Субстанций и Представлений, предутренним заревым холодом, вершиной вершин -имя Иммануила Канта! Вот в какой плащ оказалась укутанной я на семнадцатом году, в весну того, что именуется жизнью, в непонятном водовороте любви. И уже дальше и круче - имя Мигуэля Сервантеса... Дульцинея Тобосская! Странствующему Рыцарю пища - рыцарские романы. Хлеб? Бесхлебье? Случайность! Служанка гостиницы восстала -Субстанцией! И вихрь не моего бреда захватил меня и понес...

Туманно, случайными упоминаниями, без связи друг с другом, без желания сообщить что-нибудь проявлялось, как на фотографических пластинках, нечто о жизни Бориса: брат Сергей, поэт, революционер, мечтатель, живший в Париже,

- старший. Любимый брат. И другой - Николай: насмешливый и холодный, отметающий мечту и поэзию.

Глухо, сдержанно – есть и сестра. Несогласие отца с матерью. Кажется, они и живут где-то врозь.

...Ах, зато как бесследно все это сметалось вихрями юмора, как они над нами взвивались! Когда рушился смех на нас! кто сказал, что у Бориса холодное сердце, что оно подчинено уму беспощадному? Беспощаден смех, беспощаден приступ веселья, он сжигает все трудности, как соломой. Разве эта синь глаз – холодна? Она жжет! А как он потирает руки,

подходя к столу, где хлеб, кусочек сыра! Стилизуя по-диккенсовски этот жест. Да и нет ничего на свете, кроме мистера Пиквика, кроме его знаменитого клуба, кроме Ноздрева и Чичикова... Собакевича! И Коробочки! и Субстанции! Не меньше нас, больше переживет она, когда мы щедро, веселой рукой, уплатим ей по счетам за еду и за комнаты! Макса рукой – приписка на пересланном переводе – чудный, родной Макс! В Эсбо, где жил Сережа, нас, наверное, ждут письма от него и Марины... Мы завтра же выезжаем в Эсбо!

## **ГЛАВА 13. ЭСБО. ХОЗЯИН ГОСТИНИЦЫ. «ИДИОТ» ДОСТОЕВСКОГО**

Лес, скалы, туманы. Поросшие мхом камни, ручейки, журчащие под ногой. Вереск. Точно германские ландшафты-сен, белеют дороги от городка к городку.

Наше жилье – деревянный дом чуть вбок от дороги, высокие окна, белые занавески. Две комнаты, одна проходная. Окна во двор и на лес. В задней проводим большую часть суток. Там Борисов чемодан с Шопенгауэром, Сервантесом и Достоевским. Хозяин гостинички – бородатый, светловолосый (бородка скромная, как и он сам). Глаза его светлы до чрезвычайности, взгляд потерян вдали, на лице мелькает улыбка. То, что речь его совсем непонятна, в совершенстве идет к нему. Мы едим в столовой. Это большая комната, где накрыты длинный большой стол и столы маленькие. На столах – тарелки с супами, с закуской, салатами, сырами, творогом, пудингами, ветчиной, бутербродами, пирогами. Каждый ест, что он хочет. Входя, платит марку. Невероятная дешевизна! Мы тут растолстеем, как Собакевичи!

Как же мы – почти как в бреду – удивились, когда, платя по недельному счету, узнали, что в ту марку в скромную финскую марку, входит и комната! «Эльдорадо»! Тот рыцарь не знал путь в Эсбо! (Тот, детский, из песни, что пела сестра Лёра, что искал тщетно путь в Эльдорадо.) Уют, сытость, туманы и почти у самого дома – легендарный приснившийся лес! Лес из сказки. По нему ходят Красные Шапочки и подмастерья из Гауфа, в нем бормочут под камнями ручьи. Где-то у речки, меж скал, мы стреляем в цель, у



Бориса маузер, у меня – маленький велодок. Борис учит меня, это нежданно-весело. Почему нет Марины?! Как бы мы бродили

все вместе! С Сережей... Какие бы Марина тут писала стихи! Письма мы шлем друг другу...

Еще зимой Борис не раз говорил мне о Достоевском, дивясь тому, что я не читала его. А я не читала его (зная Тургенева, Гончарова, Льва Толстого и Алексея Константиновича Толстого и многих, многих других) – от какого-то озороства? От полудетской, должно быть, – надменности; сколько слышав о том, что какому-то – да всем! – Достоевский «открыл горизонты»? Я все шкуркой своей в ответ щетинилась: мне он их не откроет! Мне! Знавшей Тигра-ре-волюционера, царского эмигранта Владислава Александровича Кобылянского, бежавшего с каторги, под пулями переплывшего реку... знавшей Эллиса! Поэта и сказочника... Читавшей «Звонарь» Роденбаха! «Цветы зла» Бодлера! столько и столько! Мону Лизу и Леонардо... Я не хотела читать Достоевского потому, что его так превозносили. Мне казалось, что он враждебен всему тому романтизму, которым нам с Мариной дышалось. У этой аберрации были свои оправдания.

Но именно Достоевского, только его он будет читать! Он взял с собой два тома – любимый его «Идиот». Против воли я уступила и тут же поняла, какой Борис чтец!

Туман за окнами, летний пустой час. В комнате Бориса за спущенными беленькими занавесками началось мрачное священнодействие чтения вслух. Что же произошло, что я не отрываю глаз от Бориса, что все во мне замерло, холодок и жар, озноб всего существа, огонь вдруг задышавшего кратера? Так сдалась? Пошла за Борисом по колдовству его голоса! И он «открывает тебе горизонты»?

Борис? Никакого Бориса! Ни Эсбо, ни финского домика. Я – в вагоне. С князем Мышкиным. С Парфеном Рогожиным. С портретом Настасьи Филипповны Барашковой. Полчаса, час. Я – в Петербурге, неведомом. В доме Епанчиных. Я -Аглая. Я гляжу на Льва Николаевича Мышкина ее и своими глазами. Не сводя взгляд с его глаз, светлых, растерянных? и горящих. С глаз, которые глядят не насквозь, а помимо... Нет – не Аглая! Настасья Филипповна! Гибнет мое сердце. Как рогожинское... Как князя Мышкина! Как всех, кто о ней прочтет!

Час, два, три. Зажигается лампа. Мы у Иволгиных... Свихнувшийся генерал, враль, пьяница. Коля Иволгин, Ганя.

И снова она – везде, за каждым окном, каждой дверью. Та, которой имя наводит страх, та, которую оскорбляют, та гневом которой горит сердце! Я жила и не знала ее! Тайной и горем овеянная – перед ней в прах все героини Тургенева и Толстого! Не сравнима ни с кем! Не знала Мышкина! Что ж они все – все вокруг меня – об этом молчали? Да это же первая на земле книга! Все книги перед ней – в прах... Сжав Борисову руку, иду по ней – ведь это родной дом!.. Жила и не знала...

Сколько длилось чтение? Не знаю. Не отрывались! Чтение? Да разве это было чтение? Голос Бориса, отрешаясь от его существа, стал прозрачным и грозным.

Эшафот. Человек ждет смерти. Озирает площадь. Вот сейчас, сейчас, вот – разве это можно перенести? Но он перенес. Он простоял на возвышении эшафота. И ему «дарована жизнь»... Подмена жизни! Жизнь кончилась в те пять минут – и велели жить? «Так было! – сказал Борис, -с Достоевским. За народ. По делу Петрашевского».

Лихорадка, другая. В камине сто тысяч горят! Настасья Филипповна бросила! Барашкова – та, которую, та, про которую, та, которую все боятся! Хохочет! Ползи, Гаия, хватай из огня, еще выхватишь!.. Ганя, повернувшись, пошел прочь! Мещанин – герой! Но глаза пелена застлала – обморок. «Королева!» – кричит Рогожин! Но Достоевский, по всем направлениям жизни колдующий, не дает ни минуты роздыху. В книгу вступил Ипполит. Ипполиту всего восемнадцать. Умирает – чахотка! Задышается. Он говорит, знает правду – он хотел сказать о ней людям. Поздно: «Я хотел только четверть часа говорить – и всех увести за собой!» Но он умирает... Нас трясет его смертный озноб. Нас поит его страх, его желчь, его расставание с жизнью.

Судьбы, души бьются в смертельной битве, творец человеческих мук! А я думала, что высшее на земле – Леонардо и Мона Лиза...

Чист, как хрусталь, хлещет родник чувств. Лучи первозданного света. Жалость – страсть – самоотдача – обида – гнев – едва ли и миг забвенья. Плата по всем счетам! Чистоган! Настежь руки! Это – чтение? Этот восторг понимания? Бой за высшее натяжение струны? Бой! Погоня! Утопить в другом свою душу! Утолить собой!

Кончив первый том, Борис бросился к чемодану и ужален был страшною правдой – нет продолжения – взят не тот том!

Как мы дожили до утра? Поезд мчал нас в Гельсингфорс, в книжный магазин. Достоевский? Нет Достоевского! Вот, пожалуйста, Писемский... Фонвизин... Лесков... граф Салиас. Мы пустыми глазами глядим на сокровища букиниста – как теперь жить? Ехать в Москву – нет денег. Их ждать? Две недели, не меньше. Больше! Нам пришлось прервать чтение

– до Москвы.

Да, Борис романтик, как Марина и я. Но какой-то другой кладки. В Лермонтове он одержим другими строками. (Кто тогда знал, что Борис умрет еще моложе его, в годину беды над страной? Чужал свой близкий конец...)

Впервые во мне пробуждается жажда служенья другому, его неслиянность с миром. Один только человек мог бы это осознать: Марина. Она могла бы его «взять на себя», да. Его бы я могла уступить ей. Но Марина – с Сережей. Она взяла его на руки и будет нести всю жизнь. После пережитого Сережей двойного удара – самоубийства брата и матери – только Марина сможет вернуть ему жизнь. Значит, я обречена Борису... А иногда это все отступает. Мы перестаем ощущать мир врагом, людей судьями, день предстает блистательной авантюрой, все запутывается, как в старинном романе, мы бредем по туманным тропинкам финского леса, взбираемся на крутые скалы. Мы в Норвегии сто лет назад!

А за окнами – дождичек, а за окнами – гуще туманы, это осень началась? Скоро – в Москву... Скоро раскроем второй том «Идиота». Будущее полно – невероятным. Сча-стем? Какое странное слово «счастье», его невозможно понять...

Серое небо разорвалось клочком синевы, дождь повис на ветвях тихим сверканьем, и мы вышли в финляндскую осень. Мох был рыж, в солнце вечернем – красен. Оно стояло лиловым шаром – в туманах, отступивших за лес. Было тихо. Свистела птица. Мы шли, не зная куда. Тучи сдвинулись, дождь сеял тихо и ровно. Мы вернулись домой. Я попросила Бориса сесть у окна, стала рисовать его профиль. Сходство с профилем Леонардо да Винчи росло, рука волновалась и радовалась!

А жизнь удивляла. Мы просили хозяина дать нам счет за белье из стирки. Глаза хозяина смутились, почти

рассердились.

- Как? За белье? Деньги? Но это же входит в марку -негодую сказал он. Мы пробовали переубедить его. Тщетно

Что думает о нас сероглазый человек со светлой бородкой? Что мы - муж и жена? Но - две комнаты, две фамилии. Друг другу мы говорим «вы». Обрато Субстанции, оказавшейся материальной, он не имеет уваженья к деньгам. Его нестяжательность сказочна. Сказочен весь...

И вновь привидение средневекового города. Но мы уезжаем... Башни, шпили, крутые черепичные крыши. Струи тумана. Площадь, фонтан. Стайка белокурых детей... Летящие листья. Мы тут жили до князя Мышкина, до хозяина, еще не понимая: «Эсбо» - вон в тех окнах стояли мы, глядя на эту? площадь, какой другой она казалась тогда! Мы проходим. Наш путь - на вокзал. Мы никогда больше сюда не вернемся - нас ждут города всех стран...

Как гудят поезда! Странно, что и на финском вокзале -предотъездная суета...

Черная ночь! Отчего поезда хотят отходить всегда ночью? Их зовет ночь... Борис высунул голову за окно, летят искры, ветер треплет светлые волосы. Он оборачивается ко мне темной синью глаз.

## **ГЛАВА 14. МОСКВА ОСЕНЬЮ 1911 ГОДА. МАРИНА, СЕРЕЖА, БОРИС И Я**

В Москве, в доме, мне грянула весть, сжавшая сердце, остановившая день: папа болен. Он лежал в клинике. Грудная жаба. Врачи отправили его за границу на сердечный курорт...

Разъединясь с приездом в Москву по домам, мы неминуемо друг от друга отделились. Вместе были целое лето, но мы чужие по-прежнему. Коктебель с Феодосией, Эсбо с Гельсингфорсом.

Борис вновь в своей комнате, в квартире матери с братьями. Я – в моем «магическом кабинете» с приехавшими Мариной и Сережей. (Марина иногда жила внизу, иногда у меня, поселив Сережу в бывшей своей маленькой комнатке

– красной с золотыми звездами.) И от их счастья (а у них было именно счастье) – то странное, жаркое слово, которое не получилось у нас.

Борис ходил по моей комнате увлеченно, плавно взмахивая рукой, говорил с Сережей: «Трактат о мозге» профессора Сеченова... Жизнь животных Брема... Мензбира – о птицах...

еще взмах руки – у диковинной птицы столько-то «сантиметров от кончика клюва до кончика хвоста»... И тончайший разбор книги Отто Вейнингера «Пол и характер», о которой везде шум.

Сережа и Борис так подружились, точно они все детство вместе играли в Александровском волшебном саду и у Пушкина на Тверском бульваре. С Сережей Борис всегда безудержно остроумен и весел, говорит в разных стилях: то как Чичиков с Маниловым или герои

Пиквикского клуба, то Д'Артапьян из «Трех мушкетеров». Марина в свое наполеоновское святилище, где она более трех лет, заточась, поклонялась ему и его сыну, в комнату, где все было увешано французскими гравюрами Наполеона I и II, где она, запершись от всех на год, перевела кованым стихом роستانовского «Орленка», ввела юношу, такого же прекрасного, как тот, больного тою же болезнью. С таким же удлинненным лицом, с ореолом темных волос надо лбом, над великолепными глазами. Сокровище, дарованное ей жизнью, от которой она полтора года тому назад хотела уйти в смерть. Она поселила Сережу здесь, ожидая приезда папы и разговора с ним.

Марина была к слову «свадьба» не менее равнодушна, чем я. Мы понимали, что это надо обществу, папе. Для него это, конечно, надо было бы сделать. В таинство брака нас никто не учил верить. Материально же мы в мужьях не нуждались, были обеспечены матерью.

А что с Мариной случилось – она почти красавица! Я никогда ее не видела такой! Ей жизнь дала сразу все: Сережу, так ее понимающего, так преданно ее полюбившего после такого одинокого отрочества и юности. И нежданно – метаморфоза (ее наружность ей так не нравилась, так ее мучила! Румянец, полнота, прямые волосы, ей всегда казалось – коротка шея и недостаточно большие глаза...): глаза большие, она похудела, шея стала длинной, румянец легче, а волосы после десятикратного бритья в 1910 году завились крупными золотыми кудрями – когда она их отбрасывает привычным уже движеньем, пряди ложатся косым, как у меня, пробором. Она смотрит на Сережу обожающим, гордящимся взглядом – какой художник не стал бы ее писать? Их двоих! Потому что прекрасней Сережи – только Борис! Еще прекрасней!..

А как они хороши вдвоем: Сережа полулежит на диване, опершись о спинку, как всегда усталый (температурит),

длинный, в его легкой сутулости – тяжесть и тяжесть медленных его движений. И тяжесть в огромных, так часто застенчивых глазах с тяжелыми веками, ярких, не зеленых не серых, в алых губах, улыбающихся и радостно и задумчиво, тяжесть в густых темных прядях, которые он отводит со лба. И о чем бы ни говорили они – о поэзии, о театре, Камерном, где играет сестра Сережи, – их вкусы сходны.

Борис ходит по комнате, пружиня шаг, с неопишуемой фацией поворачиваясь у конца комнаты, легкий, стройный. Пронзителен синий взгляд, смеется рот, ширятся ноздри.,, Отброшена назад волна золотистых волос, пышных и легких, Прямо срезанных выше плеч. Юный Лист, Вагнер? И это дар – берет мертвой хваткой – любой стиль. Красноречье! И его, его «р»!.. Как они смеются вдвоем, заливаясь, как два помешавшихся соловья, заражая и нас, какая-то «оргия смеха»... А через час у ворот этот чинный поклон, как серпом срезан вечер веселья. Печально любуюсь, не сводит глаз, удержан вздох и оторван взгляд, смотрит выше и дальше меня, в ночь, точно его кто отзывает... Точно знает, что рано уйдет, здесь – гость, никаких прав загоститься! Туда ли глядит, где падает, как в «Купце Калашникове» сосенка «под смолистый под корень подрубленная...»? Еще стоит, еще тут, а я уж слышу звук уходящего шага, где шаги стихают – о ночь... Одна из моих горестей, что если Марина, старшая, крепкая, может с папой говорить о Сереже как муже (это так зовется, когда никак не расстанешься?), то я, младшая, несравнимая здоровьем с Мариной, не могу сказать папе, что я должна быть с Борисом! Сережа внушает доверие, Борис – нет. Папа меня не оставит с Борисом. Я должна тайком с ним быть? Это что, как говорят



женщины революционного типа, -«гражданский брак»? Но разве я хочу - мужа? Борис -муж? Я - жена? Кругом - столько женщин не придают «свадьбе» никакого значения... Да, но они хотят иметь мужа! А я - но я не совсем понимала, что между нами происходит с Борисом. Чувствовала вину перед ним. В нем проскальзывала тень раздражения (уловимого - мне!).

Но еще острее меня терзала тишайшая грусть, что уже нет мне «Б. С. Т.», как я звала его в дневнике. Эти драгоценные буквы - растаяли? Восхищенный, все сильнее привязывающийся... Неповторимые вечера! Какая боль! Какая

тайная нежность! Как было ясно, что он за меня пойдет на любого врага, если б был! Что час будущего прощанья грустен почти смертельно. И куда это все ушло?

Почему?

Хоть вера в Бога моя колебалась, но все же я молилась о папе, чтобы он выздоровел. Шли вести - ему лучше. Это было самое отрадное в тех моих днях.

Между тем слиянность Марины и Сережи росла с каждым днем. Они ждали приезда папы, видимо, без смятенья. Все в нашем доме - Андрей, Лёра, заходившие родные, прислуга - все понимали, что в доме гостит жених Марины. Жених старшей барышни. И Сережа всем нравился - мягкий, приветливый, обаятельный.

Борис был странен, фантастичен, входил и уходил непонятный. Блеском своей речи, остротой мысли он мог очаровать Марину, Сережу, людей высокого интеллекта. Для среднего человека он был вопросительный знак. Так что же я, его любящая?

Наконец пришел день, когда, заперев дверь, я села писать дневник. Я простилась с девичеством в дневнике, в тиши бывшей детской, наедине с собой.

# **ГЛАВА 15. МАРИНИНА НАЧИНАЮЩАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ. НАШЕ ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. В. БРЮСОВ. УЧАСТИЕ МАРИНЫ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПОЭТОВ**

Однажды, когда ее пригласили выступить с чтением стихов в обществе «Свободная эстетика»<sup>1</sup> в Литературно-художественном кружке в доме Вострякова, на Малой Дмитровке, она позвала меня ехать с собой:

- Вместе скажем стихи, ты их все знаешь.
- А удобно?
- Какое мне дело! Прочтем вместе - ведь получается же унисон? Мы же одинаково читаем...

Мы поехали. В большой комнате за эстрадой собрались за столом все поэты, которые должны были читать стихи. Председательствовал Валерий Яковлевич Брюсов. Худой, в черном сюртуке, с черным бобриком надо лбом и черной бородкой, с острым взглядом темных глаз, отрывистая, чуть лающая интонация - он витал над сборищем поэтов, как

1 Это чтение было 3 ноября 1911 года.

некий средневековый маг. Персонаж из его нашумевшего в литературных кругах романа о средних веках «Огненный Ангел» (Марина, конечно, читала его, я прочла много позже). Увидев меня рядом с Мариной, Брюсов внезапно оскалил белые зубы.

- Нас как-то больше, чем предполагалось, - поэтов за этим столом... - сказал он, учтивостью быстрого широкого жеста затушевывая дерзость.

Сказала ли, парировала ли Марина: «Я читаю вдвоем с сестрой!»? Промолчала ли надменно, успокоительно моргнув мне? Не помню.

(Боялся ли Брюсов, помня ту выходку мою в трамвае с его «Близ медлительного Нила...»? Ждал ли снова чего-нибудь дерзкого в моей излишней лиричности? Но за полтора года я стала много старше и выглядела уже полувзрослой, мне было шестнадцать лет.)

Среди нас был Владимир Маяковский. Он был нашего возраста. По близорукости я не рассмотрела его. Ему было семнадцать лет. Читал ли он в тот вечер - не помню. Я тревожилась перед этим первым выступлением в огромной зале. Когда мы вышли на сцену (может быть, в форменных гимназических платьях?), публика приветственно заволновалась. Но «по высокому тону» этого литературного собрания аплодировать было запрещено.

В два - одинаковых - голоса, сливающихся в один в каждом понижении и повышении интонаций, мы, стоя рядом, - Марина, еще не остригшая волос, в скромной, открывавшей лоб прическе, я - ниже и худее Марины, волосы до плеч, - читали стихи по голосовой волне, без актерской, ненавистной смысловой патетики. Внятно и просто. Певуче? Пусть скажет, кто помнит. Ритмично.

Мы прочли несколько стихотворений. Из них помню «В пятнадцать лет» и «Декабрьская сказка». Вот строки из «Декабрьской сказки»:

...Был замок розовый, как зимняя заря,  
Как мир - большой, как ветер - древний.  
Мы были дочери почти царя,  
Почти царевны...  
...Оленя быстрого из рога пили кровь,  
Сердца разглядывали в лупы...

А тот, кто верить мог, что есть любовь,  
Казался глупый.

Однажды вечером пришел из тьмы  
Печальный принц в одежде серой.

Он говорил оез веры, ах!

А мы Внимали с верой...

...Мы слишком молоды, чтобы забыть

Того, кто в нас развеял чары,

Но чтоб опять так нежно полюбить

– Мы слишком стары.

Был один миг тишины после нашего последнего слова -и аплодисменты рухнули в залу – как весенний гром в сад! Запрещенные в этом доме аплодисменты!

Мы стояли, смущенные (неумело кланяясь?) – откланиваясь, уходя, спеша уйти, а нам вслед неистово аплодировали... Выход или ли мы вновь? «Триумф», – говорили нам потом...

Это был первый вечер Марининой начинавшейся известности.

Из всех воспоминаний Марины о писателях я меньше всего люблю ее статью о В. Я. Брюсове: писать надо, думаю, только о тех, кого любишь. Но что Марина имела основание, кроме его критики стихов ее, не любить Брюсова -это я должна признать.

В декабре был Всероссийский конкурс на лучшее стихотворение на строки Пушкина:

Но Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах.

Стихи посылались анонимно, двумя конвертами – на верхнем был начертан девиз. Призы должны были распределяться по девизам. Только тогда вскрывался второй конверт, где была фамилия поэта и его местожительство.

Марина выбрала из уже написанных стихов подходящее -и послала. Увы, я не помню Марининога девиза<sup>1</sup>. Эти стихи получили первый приз. Но когда был

вскрыт адрес и узнано имя поэта – Брюсов перед всеми возгласил следующее:

«Первый приз не получил никто, а первый из вторых призов получила Марина Цветаева».

1 Но не идут из головы французские строки, ею в те годы повторяемые: «Ah, mieux vaut repartir aussitot qu'on arrive que de te voir faner, nouveaute de la rive...» с «Ах, лучше человеку уйти сразу после появления, чем видеть, как ты увядаешь, новизна берегов».

Думаю, согласится каждый, что такое заявление – смешно, ибо вне логики, и не убедило оно тогда никого.

Золотую медаль – круглую, как маленькое солнце, с изображением черного крылатого коня – Пегаса – Марина, получив, долго носила, брелочком на браслете, на тоненькой золотой цепочке.

В прессе Брюсов о Марине отозвался вяло. На поучающий отзыв Брюсова о «Вечернем альбоме» Марина ответила ему:

Улыбнись в мое окно,  
Иль к шутам меня причисли,  
Не изменишь все равно!  
«Острых чувств» и «нужных мыслей»  
Мне от Бога не дано.  
Нужно петь, что все темно,  
Что над миром сны нависли...

– Так теперь заведено, -Этих чувств и этих мыслей  
Мне от Бога не дано!

## **ГЛАВА 16. ПЕЧАЛИ. РАЗГОВОР С МАТЕРЬЮ БОРИСА. РАЗГОВОР С МАРИНОЙ**

Начиналась зима. Я редко видела Бориса. По тому ли, что наши отношения нисколько не влились в какую-то форму, потому ли, что вернулся из-за границы папа, но я, не разбираясь до дна в Борисе, не хотела огорчать папу рассказом о нем, ему непонятном, да и не видела надобности в каких-либо шагах внешнего порядка, могших слить наши жизни. Может быть потому, что мой поступок, в дневнике решенный, был все же ошибкой? Или мы были молоды?

Борис продолжал жить своей, мне неизвестной жизнью, не рассказывал о своей семье. Это был восемнадцатилетний юноша, и идея брака шла ему в голову не больше, чем мне. Я не знала его семьи. Я не знала ничего о нем, кроме узора наших внутренних отношений. Чему тут могло помочь -внешнее? Знакомство семей, «свадьба». Никогда в моей одинокой грусти не была я дальше от этих слов, чем тогда. Мне надо было понять суть дела меж нас. И она не давалась. Я росла. Борис оставался юношей.

А рядом были знакомые семьи Виноградовых и Юркевич (как милы, как внимательны ко мне Толя, Сережа...). И вскипали волны-гиганты: Эллис! Нилендер! Что сказали бы они мне теперь?..

И ужасно хотелось стихов! Марина писала их - и мы их читали, но мы не бывали наедине, она неразлучно с Сережей. Он назван ее женихом, наметился переезд Марины и Сережи к его сестрам, Лиле и Вере Эфрон, после знакомства с ними папы. Я не помню, какие и много ли разговоров было об этом у нас в доме: вся та

пора моего расставания с Мариной в моей памяти как горячечный бред. Из него я помню три события.

В наш милый старый дом с водовозом и керосиновыми лампами провели телефон. Его повесили в передней, и не старой, громоздкой формы шкатулку, коричневую, деревянную, с глубоким рупором такой же трубки, а нового типа черный плоский металлический аппарат с такой же плоской трубкой. Номер нашего телефона – его пет на земле уже семьдесят лет – был 1-81-08. В первую пору мы все, и папа, говорили в телефон слишком громко.

Новый бег мой, ускоренный, вниз по лестнице – и стоянье у серебряного провала трюмо, и отраженное в нем окно, как в аквариуме. И вот однажды так позванная и так стоя, видя свое теперь побледневшее лицо в рамке волнистых волос, печальное и отсутствующее, я услышала в трубке незнакомый женский пожилой и взволнованный голос:

– Вы Анастасия Ивановна?

– Да, я. Кто говорит?

– С вами говорит мать Бори Трухачева. Мой сын – мальчик еще! Вы должны понять это как взрослая женщина.

– Голос от волнения прерывался, и мне стало жаль, но как-то противно. Страшно? Я бы не сумела сказать. Женский голос продолжал говорить, развивать ту же тему, и было слышно усилие голоса скрыть раздраженность – негодование от разговора со мной (Настасья Филипповна!). Я запомнила еще это: «Мой мальчик пропадает из дома, возвращается иногда поздно вечером... он же должен учиться, поймите меня как взрослая женщина...»

Я услышала свой – тоже взволнованный и тоже желавший скрыть это – голос, и в нем была, в его сдержанности, вдруг какая-то лавина усталости:

- Я ничего не смогу вам ответить (пауза). Поговорите с вашим сыном... Всего доброго. - И я повесила трубку.

Я стояла, дыша какой-то жаркой, чужой пропастью. Покачивало меня чуть-чуть? Затем жизнь пошла дальше.

Теперь думаю: откуда было то - в такие юные годы - взрослое и сдержанное достоинство так ответить нападавшей? Не сказать, сколько мне лет, чья я дочь, что я моложе ее сына, что - откуда было все это у меня тогда, столько раз в жизни после от застенчивости, от тоски себя ронявшей и, как правило, бравшей не тот тон?

(И сейчас же, не в силах не сделать этого, я, более семидесяти лет спустя, хочу о ней сказать, так без вины меня тогда обидевшей, чтоб и тени на ее память не пало: ее, ничего от сына обо мне не знавшей, думающей по чьей-то ошибке, что мне тридцать пять лет! Как должна была исстрадаться она от такого ответа! И как обета нас - жаль...)

Почему не поговорила она с Борисом? Знала его закрытость, нежелание о себе говорить ни с кем. Или он о моих, ложно ей кем-то названных «тридцати пяти годах» не слышал тогда, - я узнала много позднее.

Я помню вечер, холодный и неприятный, переулки Арбата. Я иду провожать Марину в Кривоарбатский, в высокий дом, где она теперь будет жить. Марина уедет из Трехпрудного! Увезет свои книги, вещи... Одно это могло «разорвать мне сердце». Но оно «разорвано» стольким, и в общую чашу моего одиночества и непонятности жизни падает эта беда. Как этот ледяной, бесприютный переулок под ледяным черным небом, так бесприютна, таинственна жизнь. Мы идем плечо к плечу, под руку. Марина выше меня, шаг ее сейчас более упруг, чем мой, говорим. О чем? Слова срывает (сорвал, унес в пропасть) ветер. Мы почти дошли. Мы



замедляем шаг. Мы еще больше его замедляем. Мы стали перед парадным почти в углу изгибающегося переулка. Марине надо подниматься по этажам. Я туда не пойду. Мы избегаем лифтов.

- Ася, - вдруг говорит Марина (и смотрит? не смотрит?). (Как ужасно рвет полы наших пальто ветер!)  
- Ты в отношениях с Борисом - перешла? (что дальше было сказано: «порог», «предел», вряд ли я тогда услышала!)

- Да! - сказала я, протянув на прощанье руку, запахивая от ветра пальто.

- Молодец! - Медленно, с гордостью за меня, как старшая (и одновременно, может быть, как младшая? В тех сетях бившаяся все еще...). Марина крепко мне сжала руку. Взмах головы вверх - свет фонаря ей в глаза, в бледном сейчас лице - вопрос? Решимость? У рта, в уголках, - горечь,

задумчивость... мех шапочки кидает тень на лоб... Она вошла в парадное, мы расстались.

## **ГЛАВА 17. ВИЗИТ МАТЕРИ ТОЛИ ВИНОГРАДОВА. МАРУСЯ ТРУХАЧЕВА. У ЭФРОНОВ. ЮЛИЯ ОБОЛЕНСКАЯ. СЕНЯ ФЕЙНБЕРГ**

Ко мне приехала Надежда Николаевна, мать Толи Виноградова. Мы сидим с ней наверху в уголке, в бывшей детской, на диване, нам подали чай, и она все медлит заговорить о чем-то, хоть совсем ясно, что она приехала с каким-то намерением – между нами ровно-наравно – поколение.

Я смущена, не показываю смущенья, много говорю, весела, будто не удивлена посещением, и предчувствую в испуге, что ее будущий разговор со мной имеет целью -обратное телефонному разговору со мной матери Бори. Я очень боюсь, что она начнет его сейчас и что будет нам обоим страданье: мне – отказать, ей – слушать отказ через мать – сыну. И тогда я в отчаянии, что могу опоздать, и в горе, что мне некогда выбирать выражения, бросаюсь, как в волны, в туманный, но будто бы откровенный рассказ ей, как старшей и с детства меня знавшей, о чувстве, пришедшем в мою жизнь, о трудностях чувства – я точно прошу у нее помощи и защиты, а стремлюсь я только не обидеть ее, не допустить разговора и, вспоминая холодный тон Бориной матери и слыша ее тон мне навстречу, теплый и приглашающий, думаю о том, как странна жизнь...

Мать Толи уехала, не обиженная, грустная и растроганная, но старавшаяся скрыть огорчение. В этот вечер я стала старше еще на один год.

Борис захотел познакомить меня со своей сестрой Мару-сей. Она старше его на полтора года. Живет отдельно, не ладит с матерью и очень просила его приехать со мной к ней. Я волнуюсь. Радуюсь. Сестра Бориса не может мне быть чужой.

Я говорю об этом Марине.

- Иди, непременно. Интересно, какая... Расскажешь! Только не веди себя уж очень доверчиво! Кто знает! Когда? Завтра? Отлично. Послезавтра мы с Сережей будем тебя ждать...

Маленькая студенческая комнатка в Грузинах. У стола смеясь разительно - похожим на смех брата, хлопчет, готовя чай, высокая худенькая девушка, одетая просто, в юбку и кофточку. Пушистые, на прямой пробор, русые со светлой искринкой волосы, яркие под тяжелыми веками, кажутся не во всю ширь раскрытые глаза, тонкие бровки. Тонкие черты, Очень худенькое лицо, желтоватое. Что-то польское. Та же оживленность в выражении лица и в движениях, что у брата. То же грассирование, но легче. Насмешничающая шутливость. Нервные, тонкие ручки. Я сразу чувствую себя в присутствии личности. Я не знаю отношений Бориса и Маруси, но это его сестра, его кровь, столько явных сходств в (чуть) ином - это новая дружба, новая душа в мою душу!

Пируем по-студенчески. Маруся бедна, она в разрыве с семьей, значит, и ей недобро звучал тот голос, что меня по телефону просил - требовал - отпустить Бориса на волю. Я не держу его! С кем ему вольнее, чем со мной! Но что я могла в двух фразах по телефону... Вот ее дочь тут, отрезав себя ломтем.

Уплетаем хлеб с колбасой, чай с мармеладом. Без умолку говорим! Маруся курит без передышки. Белая шерстяная шаль, обнимая худенькие плечи, взмахивается, как крылья, от быстрых движений рук. Понятно, что эта женщина уже не выйдет из моей

жизни (как я – из ее). Такая встреча как опьянение, может быть, поэтому мне не удалось понять их взаимоотношений. Может быть, привычная с детства насмешка друг над другом? Несогласие каких-то перехлестнувшихся родных корешков? Но какое сходство! Она мне дорога – мучительно... О братьях – вскользь. О матери не упоминалось. Я пригласила Марусю к себе.

Марина уезжает! Она будет жить у Лили и Веры Эфрон в квартире, где много комнат (в них живут и Макс, Пра, бывает танцовщица Инна Быстрынина, художница Юлия Оболенская, художник Кандауров, композитор Сеня Фейнберг и брат его, молодой художник Леня Фейнберг, художник Людвиг Квятковский (моих лет), подруги Лили и Веры -Маня Гехтман и Маня Цирос, ее брат Леня Цирос и совсем еще юная Майя Кювилье). Квартира Эфронов, где собиралось множество людей искусства – о некоторых из них я сказала

– была названа (кажется, Алексеем Николаевичем Толстым) довольно грубым словом, в стиле его шуток, – «обормотником». Это слово привилось, бывшие и жившие там звались (почему?) «обормотами». Это же название жило и в коктебельском доме Волошина, где в те годы жил Толстой.

Хочется вспомнить Юлию Оболенскую, талантливейшую художницу и пленительного – при невидности, некрасивости, – умного, обаятельного человека. Маленькая, худенькая, смугло- и бледнолицая, кареглазая. Ее ум был едок, речь блистала метким остроумием, неожиданными оборотами, пестрела и жгла, как мазками, – кисть. И была она застенчива, и была в ней затаенная горечь (может быть, о ее, в жизни ей мешавшей наружности?). У нее были верные, преданные друзья.

И еще в память вошел молодой композитор и пианист Сеня (Самуил) Евгеньевич Фейнберг (позднее – профессор Московской консерватории, где работал сорок лет. Умер в 1962 году в Москве), старший брат Бэллы и Лени, встреченных мною в Коктебеле. Был Сеня тогда вольноопределяющимся. Выше среднего роста, худой, легкий, темноволосый. Резко подчеркнутая горбинка носа, большие прекрасные карие глаза, предельно смущавшиеся от взгляда, дичившиеся похвалы. А играл он – чудесно! Самозабвенно (и очень нервно, при игре его слышался не то вздох длившийся, не то хриплое дыхание). Мы слушали вдохновенную игру юного композитора в военной форме и понимали, что ему и среди нас нелегко.

## **ГЛАВА 18. ВЕСТЬ И РЕШЕНИЕ. РАЗГОВОР С МАРУСЕЙ ТРУХАЧЕВОЙ**

...Несколько дней я как в чаду от неуверенности, предположений, сомнений... Все решается на приеме у их знакомого, известного д-ра Ч-го. Я буду матерью. И чем больше волнуются вокруг меня, тем я спокойней. Так? Ну что, я очень рада. У меня будет сын? Ново и непонятно. Торжественно. И, может быть, это идет смерть!.. Нередко родами - умирают. Умерла мать брата Андрея. Умерла мамина мать. Молодые!

...Его сын! Полная этим тихим, радостным и трагическим чувством, заточась в нем, как в крепости, я с равнодушным удивлением смотрела в лица взволновавшихся друзей - женщин - и слушала рассуждения и споры обо мне: невозможно допустить это - организм не готов, молод. Опасно

для жизни. А душа наполнилась печалью и ликованием Молода? Опасность?

И я делалась нетерпелива: ребенок! Значит, в этом и был может быть, смысл всего, тайный, и я не пойму его, пока не обрету этого ребенка, разве я могу оттолкнуть его, единственно реальное во всем этом? Который захотел быть!

Я смотрю на моих милых женщин-друзей недоуменно и обиженно - они же не понимают самого главного во мне сейчас... И даже когда они начинают мне говорить о Борисе, о том, что важно, как он отнесется к ребенку, - я упрямо говорю, что нет, что это вовсе не важно. Он может не попать, а я поняла - и дело решенное. Пусть сын, пусть смерть, вот и все...

Они не сдаются. Это совсем невозможно!

Застенчиво и твердо я говорю: «Нет!» Я уеду за границу, роды будут там. А папа? Что я предлагаю тут?

То, что мне в слезах, вдруг мной восхитясь, предложила Драконна? Уехать за границу лечиться (папа так боится возможности мне заболеть, как мама), ехать учиться куда-нибудь в Дрезден или в Швейцарию, он же мне говорил об этом, о моем в будущем учении живописи или, может быть, -роспись по фарфору. Да? Так надо? Что ж, пусть отъезд называется - так!

Первой, кому я мое решение сказала, была, конечно, Марина. Она совсем за меня не испугалась. Оживилась, очень обрадовалась. Сережа поздравил меня. Я так согрелась возле них, так вошла в роль матери, точно уж давно живу в ней.

Маринин авантюрный дух шагал через все легко: «Устроим!» Марина веселилась, почти мне завидовала: «Как назовешь, если сын? Андрей? Если дочь?»

А вечером, когда я была у себя одна в комнате, вдруг медленно, осторожной рукой открылась дверь и вошла тонкая, высокая женщина, показавшаяся мне незнакомой, в голубовато-зеленоватом, длинном, как на сцене русалки, платье, горделивая маленькая голова, подвитые, странно зачесанные назад светлые волосы под тех же тонов ленту, полукружием надо лбом. Я шагнула навстречу. Я различила глаза с поволокой, подкрашенные, подведенные брови, театральный слой пудры, тонкий нос, и, когда улыбнулись губы, открыв кусочек жемчужного ожерелья и лицо, дотоле сценичное и таинственное, вспыхнуло тенью девичье озорство. Какой удар

в сердце! Полуиспуга - восхищенья, бесконечного интереса к метаморфозе - Маруся, сестра Бориса! Так вот какая она!.. Какой может быть... Восторгом, утраченным между мной и Борей, зажглась темпа верховой скачки дружба! Цветаевско-трухачевской крови (той, что «под сердцем», как писали в старинных

книгах, бьется пока еще неслышно во мне!)... Маруся, зорко взглянув на меня, - что произошло между Борисом и мной? Лицо ее изменилось, и тоном, так напомиравшим ее брата, интонацией маниакальной убежденности (и так дрогнуло их семейное «р») - «Напрасно!»... Пауза. «Мой брат вас бросит...»

Если бы я знала тогда, что эти слова - не более чем роль, на которую ее фантастическая душа вдохновилась, что она почти не могла жить вне ролей, щедро ей жизнью кидаемых под ноги, что она сама не знает, где фантазия и где правда (точно так же, как брат!..). Я знала, что Борис меня не бросит!

Но никто не знает будущего, и по мне пробежал холодок.

Она говорила мне о их несчастной породе, о недружной семье, о не выносящих друг друга отце и матери, о пьющем запоем брате Сергее, о жуире-отце, о матери-толстовке, о том, как она не могла с ними жить, с четырнадцати лет ей сняли комнату; она, Маруся, у них не бывает, ни в московской квартире матери, ни на хуторе у отца. Как близко мне ее девическое одиночество!

У меня еще не было такой подруги! Столько сходств! Я непременно ее познакомлю с Мариной!..



## **ГЛАВА 19. БРАТ АНДРЕЙ И ЕГО ДРУГ ВАЛЕВСКИЙ. ВМЕСТО НАШЕГО «ВДВОЕМ» С МАРИНОЙ – «ВЧЕТВЕРОМ»**

А в доме мы с Андреем снова устраиваем вечер. Толя и Нина Виноградовы, Нина Мурзо, Юркевичи (сестра и два брата), вот теперь и Маруся. Празднично. Весело – пение, вальс в зале, фрукты, вино, молодые лица... Смеются, танцуют, любят Андрея, тут и Нинин брат – он и ко мне так по-братски относится. Женя Мурзо и товарищ Андрея, новый, из польской семьи, светловолосый красавец Валевский, он ухаживает за Ниной (совсем иначе, чем Андрей, – умело, со светским лоском). Андрей делает вид, что не замечает, рядом с ним за столом Маруся и ее фейерверк остроумия. («Слишком уж умна!» – неодобрительно мне потом Андрей.) Глаза Нины блещут, ей радостен ее успех, она поет сегодня еще лучше!.. Ни Марины, ни Бори на наших вечерах. Марина – с Сережей... Зачем им люди? Андрей со мной почти нежен. Папа – в кабинете, работает при свечах.

Какой красавец Андрей! В студенческом мундире цвета, который вошел в моду и зовется «электрик» – темно-сине-зеленом. Темнокудр, смугл, строен. Какие глаза... А выше всех нас, со стены, с портрета, смотрит на сына – он ее копия – красавица мать, дав ему жизнь, жизнь отдавшая...

Как прошла бы моя та осень, будь Марина со мной? Но жизнь оторвала ее от меня именно тогда, когда я более всего в ней нуждалась. Внезапное одиночество, вызванное тем, что Борис не мог бывать у меня из-за

приезда папы, переезд Мари™ к Эфронам заставили меня отзываться на нежность друзей, давно меня знавших, и так как эта нежность не могла ничего изменить в моей жизни, с еще большей печалью возвращаться в себя. Совершался катастрофический «рост сознания». Это был рост не по месяцам, а по дням. И некому было сказать это, впрочем, я и не понимала всего... «Мой близнец», моя «неразлучная», столько лет глядевшая на меня – счастливую, всегда счастливее ее! В нашем «вдвоем» утешавшаяся, насколько могла, вдруг оказалась – так вдруг! – такой счастливой, какой я никогда не была... И ее новое «вдвоем» увело ее от меня и из дома!

Видя меня несчастной таким же сложным несчастьем, как было сложно ее счастье, – что она могла изменить в ее совершающемся уходе из дома, в ее поглощенности Сережей, в нашей вынужденной отдаленности? У Эфронов я бывала редко – там было так весело и так шумно, так несогласно с моими недоумениями! Любовь, к нам двум одновременно пришедшая, принесла Марине утешение, мне – безутешность.

Поняв, что я твердо решила, друзья стали устраивать мой отъезд. Д-р Ч-ий написал письмо папе, что мое здоровье требует лечения за границей. Папа, всегда беспокоившийся обо мне с детства, о моей хрупкости и сходстве с мамой, стал немедленно делать все, что требовалось для отъезда: поехал в банк, написал во все города, где я должна была остановиться, – у него везде были друзья, и стал объяснять мне, как я должна ехать, к кому обратиться, где у кого

поселиться в Италии. Я слушала с грустью. У меня не было никаких планов. Я уезжала – для папы, а ему этого нельзя было знать! Поедет ли со мной Борис, захочет ли ссориться с матерью? Я не спрашивала, а он,

видимо, не предполагал, что я в нем сомневаюсь? Может быть потому, что был слишком молод, чтобы в новости положения повести себя, «как должен был себя повести мужчина», – кто знает? Обоюдная горечь быть недопонятым была, без сомнения, с обеих сторон, и усталость от этих нам новых глубин, не по летам нашим.

Вот почему я не помню радости от сборов за границу вдвоем.

## ГЛАВА 20. НИЛЕНДЕР

Услышал ли Нилендер, что я уезжаю? В один осенний вечер он пришел к нам в дом. Кроме случайных встреч с ним на улице, поклон, и мы проходили, мы с Мариной не видели его с самого конца «Зимней сказки», с января 1910 года. Встреча в мае 1911-го моя с ним (Марина была в Гурзуфе) всколыхнула все сизнова: что-то было во Владимире Оттоновиче для нас и, должно быть, в нас (во мне на этот раз) для нет, что словно не бывало этих семнадцати месяцев... Он и я тогда, в мае, не могли расстаться. Как потерянные, все пустив из рук, мы бродили по улицам и, не насытись непрекращающимся разговором, простились у наших ворот.

Почему мы тогда простились, если это была все та же первая наша любовь? Потому что я любила Бориса, и вся была в мыслях о нем, и сказала о нем Владимиру Оттоновичу.

И я уехала в Крым, к Марине. Как это возможно, любя одного, любить другого? Так было. Утверждаю правду бывшего в моей жизни: моя встреча с Борисом, моя в него погруженность с часа встречи не вырвала из меня памяти о Нилендере, герое нашей первой любви с Мариной, не ослепили на него мое зрение, не оглушили слух.,.

Он стоит и смотрит, как в 1909 году... Улыбка глубиной, резкостью теней на худом лице напоминала гримасу. Желтые (такие светло-карие, что желтые) глаза, любимее нам всех глаз на свете, были в тени – два провала. Бобровая шапка, снятая, зажатая в одной из протянутых рук, была так потрясающе выразительна в его жесте мольбы: волосы, упав на лоб прядями, были так резко-темны на бледности лба.

Этот миг мы хранили все два года, как драгоценность (он был так навеки утрачен, навеки наш...). И вот он жив, как в волшебной архитектуре сна, мы стоим, он и я, в зале, в полосе вечерней сумятицы света и тени, ставен, зеркал, тьмы залы и света из низкой столовой, и без слов (какие мы можем сказать слова?) – смотрим. Только Марины нет! Но она – с нами, потому что ведь (не она ли это... годы спустя писала)

...Жизнь приходит не с грохотом и громом,

А так: падает снег,

Лапмы горят. К дому Подошел человек.

Длинной искрой звонок вспыхнул.

Вошел, вскинул глаза.

В доме совсем тихо,

И горят образа.

Мы ходим и ходим, как тогда, по зале, гостиной, до дверей кабинета и назад, точно не было этих без малого двух лет.

С первых слов я ему все о себе рассказала – ему, весной так желавшему мне счастья с Борисом, убеждавшему меня «не думать, только не думать...». Я ему раскрываю весь хаос моего положения, всю тьму непонятности будущего, жалость к Борису, жалость к папе, мечту, может быть, умереть, и восторг от того, что мы снова вместе, и невозможность расстаться с ним!

Все, что мучило меня в Борисе, – его одиночество, от которого знобило, как на ледяном ветру, его внезапное, почти стихийное, неизлечимое отбирание себя назад вдруг окунулось в такой родной жар пониманья, в такое нечеловеческое чутье, в такое даренье себя, в такое приятие всех моих мук, что (да есть ли они? Они – кончились?) я не помню ни жестов, ни слов, сказанных в тот вечер. Не помню, в каких комнатах он прошел, когда мы расстались. Я помню, что конец того дня был только началом его дальнейших приходов, потому что

вынужденность расставания была так явно нелепа, что ее можно было принять только с условием, что она продлится не более чем полдня. Как горячий ветер согревает продрогшее тело, так насыщало его волшебное чутье мое растерявшееся примолкшее сердце, так долго жившее возле Бориса любованием и служением, отвыкшее от внимания и тепла.

С Борисом всегда оставалась преграда, но в такой безысходной нежности братской, в сдержанности будто бы «чужих» – какое было рушение преград, какая органичная близость! Насмешливо чертила рука судьбы рисунок прощания – мы натыкались на корзины и чемоданы, я уезжала – с другим, с которым себя связала, который со мной ехал потому, что был связан со мной, а нельзя было развести рук, ни прекратить этот шаг по комнатной анфиладе, ни сумасшедшую эту беседу, родившуюся втроем, с Мариной тому три года, вновь начавшуюся вечер назад...

Напрягаю память: да, зала, гостиная, кабинет. Стук ставен, как три и четыре года назад с Эллисом, с Галочкой, с Аней Калин. Привычная жизнь кончавшегося, покидаемого дома. Жалобный звук дверей черного хода. Несли самовар. Молоко подгорало на керосинке, как в детстве, в той же широкой кастрюле, белой, с синими жилками. Сверху нестись мандолинные упражнения, скулила собака. Как случилось, что никто из друзей и подруг нам не помешал, не пришел? Судьба проявила щедрость в те дни: она знала, что вся наша встреча – прощание, что питаемся мы одним снадобьем: разрыв-травой!

## **ГЛАВА 21. ВСТРЕЧА НАМИ В ДВУХ МАМИНЫХ СТАРИННЫХ ШУБАХ СЕРЕЖИ ЭФРОНА НА НИКОЛАЕВСКОМ ВОКЗАЛЕ**

Сережа Эфрон уехал в Петербург на несколько дней. Но возвращение не замедлило, и мы собрались встречать.

Встреча совершилась по идее Марины: из сундуков маминого приданого были вынуты шубы конца прошлого века, моды поколения назад, и мы облеклись в них (зеркала по всему пути прохождения нашего: половинное над комодом в нашей бывшей детской, оба трюмо залы и большое полукруглое зеркало, в рост, в ореховой фасонной оправе, Лёриной мамы в гостиной – отразили нас двух – сновиденья из прошлого – комически-смешные – в век иных мод). В этом и заключался Маринин план: так встретить Сережу! На перроне Николаевского вокзала, в двадцатом веке, встретить его, так падкого на юмор, но по-юношески застенчивого, -это было как нестись с Воробьевых гор нашего с ним детства... Маринины зеленые глаза светились жаром лукавства и предвкушения: как-то он поведет себя, как поглядит, что скажет, что сделает? Интересно... Зеркала отражали – мы

стояли у разных потому, что не помещались вдвоем -раструбы девятнадцатого века без малого широты кринолина! – в Маринином стояла статная молодая женщина в крошечной собольей светло-желтой шапочке, наверху раздвоенной мягким сгибом внутрь, с узким краешком над волосами чуть темней цвета шапочки. Это – в век больших шляп и громадных муфт;

кисти рук едва помещались в невообразимо маленькой муфточке, собольей, на шелковом коричневом шнурке. А от талии, обтянутой как манекен, шли вбок и до полу (мамин рост!) тугае широты сборок коричневого верха шубы объемом в «синее море», что-то гоголевское (это в век манти, узких книзу, с японскими рукавами!). А лицо улыбалось!

А – в моем!.. В моем зеркале жалобно пресмыкалось невысокого роста девическое существо, утопая в темно-коричневом шелковом бархате, тоже в обтяжку до талии, у меня приходившейся так низко на боках, что и нежность бархатных кринолиновых богатств сама походила на реверанс: низ шубы лежал на паркете, и я его «грациозно» поднимала, поддерживала руками как в глубоком реверансе.

Бобровая муфточка ничтожно малого очертания болталась на шнурке – надо было еще чьих-то две руки, чтобы мои туда – сунуть! Бобровая кроха шапочка фасона, как у Марины, сидела высоко, почти как шиньон в волосах с завивающимися концами по плечам и брововому воротнику. Зрелище было – из сна!

Мы смеялись так, что могли упасть. Я заплеталась в смехе, в бархатных широтах-длиннотах до полной потери сил. И только часы заставили нас «взять себя в руки».

Что подумал извозчик, везший нас? Мы еле уместились под полостью, я то и дело сползала вбок, и Марина меня крепко держала.

Мы мужественно вышли на вокзал. Мы прошли по нему, делая вид, что не видим, не слышим, как глядели и что восклицали нам вслед: это все тонуло в том, что будет, когда Сережа выйдет из поезда! Оживленно беседуя, гипнотически заставляя встречных верить своим глазам, мы прогуливались по перрону, девятнадцатый век по двадцатому.



(И добро бы еще так! Но – мой вид! Вид идущего реверанса! Шлейфа – со всех сторон!.. Это был уж никакой век!) Неслыханность озорства налицо. Но ее отрицала серьезность

и невинность наших лиц, сыгранная – самозащитой -артистически.

... Я никогда не забуду тот вид, который из радостного ожидания увидеть Марину изменился – вдруг – на лице высокого красавца в меховой дохе, шедшего нам навстречу! Ужас – мольба – юмор – смех, побеждавший все это, и стыд, побеждавший смех, – кто когда-либо видел такое? А мы -первый миг, по крайней мере, – «выдержали марку», смотрели на него недоуменно-светло, наивно-серьезно, пока Сережа спешно, ни на кого не глядя, засовывал нас в карету. В другое мы бы не засунулись – по габаритам девятнадцатого века. И вот мы едем, уже спасенные от толпы зевак, по Москве и хохочем пламенным «трио», в свободе и отдыхе некоего старинного «дормеза», везущего нас домой.

– Но этого я вам никогда не прощу, Мариночка! – сказал Сережа.

## ГЛАВА 22. ОСЕНЬ 1911 ГОДА

Нам девятнадцать и семнадцать лет, точно по волшебству, одновременно, разлука пришла с двух сторон. Мы уезжаем -обе. И тут, по настоянию папы, пришел к нам труд делить мамино наследство.

Мы носим и раскладываем в опустевшие сундуки стопки полотняных простынь с мамиными инициалами – М. М. и М. Ц., – стопки белья. Пикейные, ватные одеяла...

Тальмы с лентами! Ротонды! На меху, тяжелые и уютные; все серебрится нафталином и пахнет детством, воскресают воспоминания, приютившиеся в глубинах вещей, в неуловимых, еще не ушедших запахах духов.

И материи! Мы их никогда не видели. Мама не любовалась ими, не вынимала, не прикладывала к себе, не шила из них платьев, – весь этот мир женщины был ей чужд. В черном строгом бархатном или в темно-коричневом с мелкими разводами, темно-зелеными, мы ее помним едущей на концерт или в театр. Даже было бы странно увидеть маму вот в таком – сияющем темными переливами, в синем, в вишневом, в серебрящемся, как все эти дремавшие в сундуках миры цвета и блеска.

Оно жило и ждало – нас? А мы стоим и грустим, потому что и не для нас они, как были и не для мамы, ибо в нас

нет беспечности, нет веселья, нет того, что смеется с картин Ватто.

Так проходит день. Мы очень устали от перекладки вещей. Звук закрываемых ставен рождает лунный блеск зеркальных полос, гонит мир вещей в саркофаг сундуков, мгновенно и властно рождая в зале память о маме – иную, невещественную. Но глаза Бетховена

пожирают залу, эфемерный звук замолчавшей маминой рояльной игры полнит дом и пробудившуюся душу. И тогда настает ночь.

Другой день приводит другие заботы – разбор книг, дележ. Освобожденный мамин шкаф в папином кабинете вновь принимает туда же Маринины теперь книги (Гёте – ей, Шиллера – мне; ей – Мильтона и Торквато Тассо; мне – «Божественную комедию» Данте); на миг заглядывают глаза в иллюстрации «Потерянного и Возвращенного рая», в обожаемые все детство рисунки Густава Доре. Пушкин – Марине, мне – Лермонтов. Так, полку за полкой, разделили мы надвое мамины сокровища на нескольких языках.

Шкаф – Марине; я пока буду держать книги в Лёрином, что в моей комнате. Мне – за шкаф – мамин письменный столик, ореховый тоже.

Панорама – мне, музыкальная шкатулка – Марине. Мамина фарфоровым столбиком (розы по белому), на бронзовом резном ободке лампа с тем любимым зеленым фарфоровым абажуром, при свете которого мы слушали мамино чтение, – Марине. Мне – и вот память мне изменяет... Может быть, музыкальную шкатулку и лампу – за панораму? Такое «в придачу» в дни дележа иногда поражало всех, кроме нас. Имея ту же страсть к той же вещи, в которой незримо другим жила только нам двум знакомая душа детства, мы, не находя равной, давали друг другу за нее еще, и еще – нагромождение, дивное всем в доме, – пока весы сердца не замирали в найденном равновесии. Так, за бабушкину чашку – простую, белую с золотым ободком – с ее молодым портретом... мы предлагали друг другу столько детских сокровищ!

Легко, пластично разошлись в наши руки две совершенно равно любимые вещи: перламутровая раковина, круглая с глубоким загибом, розовая, зеленая, голубая внутри, и в ней – шум моря... И четыре

шара, синих, стеклянных (в детстве всегда говорилось и думалось: три... потому что

таково было их неизменное основание, сверху же царил четвертый, и как ни ставь, оставалось все неизменным, как в ваньке-встаньке, – три шара, голубосиних, водяных (почти черных, сбоку, от синевы). Сверху – четвертый...) Раковину взяла Марина, шары – я.

Канделябры, люстра, висячая лампа, бра – все уходило из рук, приходило в руки, и усталость этих прощаний и встреч была к вечеру так велика, что мы ложились в полном изнеможении. А на завтра альбомы, отдельно – детские книги... Ноты... Девять книжек маминого дневника!..

Это были свежие раны, мы жили в бреду этого рокового подсчета, смотра, лицезренья, касанья. Мы прощались – с мамой! Еще раз, и последний! Мы не знали, что она еще с нами! Мы так давно похоронили ее в земле и в сердцах памяти. Мы поверили, что ее нет! А она еще была тут, в этих нам оставленных сундуках, в нам покинутых картинах, книгах, нотах, дагерротипах и фотографиях, в костяном веере, в перламутровом разрезательном ноже... В этих тарелочках и тарелках, сервизах, вилках и ножах, блюдах и вазах (китайских и заграничных), подносах, салфетках и скатертях... Которые она для нас берегла!.. Мы прощались -с домом. Мы прощались друг с другом (потому что ведь это мы расстаемся... своей волей!). Уходили в какие-то неизвестные жизни, вместе прожив жизнь...

Не хватало ни слов, ни чувств. Ни сил. Что это? Мы делим? Делим ту жизнь? Тот дом? Миг – и пригоршнями, в отчаянии, все вновь разрушая, отдавая, бросая, мы бы вераули, уступили друг другу – все... Но кругом были -люди. И мы трезвели. Вдруг делалось стыдно-смешно, может быть, и вновь, под надзором глаз, мы делили: за «Зиму» -«Весну», за «Лето» – «Осень»? Четыре тома Чистякова -красные тома «детского отдыха» еще

маминого детства, за «Охотник Степан» - «Не понравилось»... То, что давно стало воспоминанием, страницей наших, уже в пятнадцать лет нами написанных «автобиографий» - вдруг зашелестело под рукой, запахло - стало, восстав из праха. Непоправимо. Подойдя и став рядом - явью!

Меньше всего вниманья, конечно, мы отдавали драгоценностям: поделили их легко, равнодушно. Но случилась смешная вещь: серьги были одни, бриллиантовые. Мы разделили их по одной, решив, я - может быть сделать

кольцо? Серег мы не носили. Марина давно мечтала купить уличную шарманку, и на это нужны были деньги.

Затем, много позже, мы о чем-то неимущественном, разумеется, - о чем-то в быту - поссорились, как это бывало все детство и отрочество. Вспыхнув, перестали разговаривать. Я взяла свою серьгу и пошла продавать ее в ювелирные магазины. Везде качали головой, жалея, что одна: «Настоящую цену вам не дадут, и предлагать ее не хотим. Поищите вторую». Вернуться, просить у Марины вторую? Нет! В последнем, на углу Кузнецкого и Неглинной улицы, я отдала серьгу за эту низкую цену.

Придя домой, разговорясь с Мариной (мы обе уже остыли и встретились мирно), я узнала, что и она - как раз сегодня! - пошла продать свою серьгу и ходила по тем же магазинам, и ей говорили то же, - но она тоже не хотела просить у меня вторую и отдала свою за бесценок в соседнем с моим магазине...

Как мы смеялись потом вдвоем! Нет, вчетвером, с Сережей, с Борисом, над этой продажей!

Но сколько ни искала Марина по Москве - и в антикварных магазинах, и в музыкальных, и прямо по дворам, - так и не нашла она тогда шарманки.

Прошло три года. Устраивая новую квартиру свою в Борисоглебском, где выбрала себе странной формы,

уютную, небольшую комнату, уставляя ее старинными вещами, она нежданно нашла и купила шарманку, и привезла, и поставила ее в дальний угол возле чучела лисы, под светом синей волшебной люстры. Но шарманка – не играла. Никак: ручка вертелась – без звука. Начались поиски мастера. Тщетно! Фортепьянщики – не хотели. Настройщики – не умели. Шарманщики только головой качали. Никто не помог исправить замолчавшее уличное чудо. Так промолчала в своем колдовском углу сказочная шкатулка, душа нашего детства – до самого дня, когда Марина уехала из квартиры, оставив вещи стоять где были. И, может быть, сейчас еще живет где-нибудь ее музыкальное детище, в каком-нибудь уголке нашей бескрайней родины.

В эту пору нашего расставания с Мариной вошла в нашу жизнь Майя Кювилье. Я не помню первой с ней встречи. Ее не было, первой – так все было родное в ней, настоящее, так близко было от лица – к душе, от взгляда, улыбки, движений – к сердцу. Никаких внешних черт, все -внутренне. Майя – Психея! И как трудно о ней писать! От лица – к душе. Лицо? Ресницы? Брови? Не помню, их, по-моему, нет почти. Не в них дело. И не в форме глаз, удлинённых или круглых, – и не в цвете, карих или голубых; не очень большие, помиится, а цвет – табака? Нет, светлее, зеленый?.. Колдовство Майиных глаз – взгляд!.. Она встретила вас им – и вам уж некуда деться, он вошел в вас и тянет сердце, он поселился в вас, и вам ничего больше не надо, как только глядеть ответно на Майю, сесть рядом. Майе сколько лет? Четырнадцать? одиннадцать, семнадцать? Колдуньям лесным – нет лет! (Колдуньи бывают старые и молодые. Майя – молодая колдунья.) Она не просит у вас ничего – не цыганка! Но она просит всего – вас. Всего вас! Она уже овладела вами, потому что вошла как домой, и ей не надо ничего, кроме этого

нового дома. Это что, влюбленность? Майя – влюбилась? Майя всегда влюблена...

Майя – дочь русского и француженки. Была она за границей, у родных матери, и когда мы учились в пансионе Лаказ в Лозанне, Майя тоже жила и училась в Швейцарии.

Я увидела ее уже девушкой и поэтом, которая *marchait sur les astres*.<sup>2</sup> Марина и Майя страстно сдружились. В их лицах, «прическе пажа», как только волосы у Марины отросли и перестали лежать кольцами, – в их профилях было сходство. Были – пропали стереоскопические фотографии (где-нибудь, может быть, целы?) – Марина и Майя в профиль, в кофточках и шароварах, в Коктебеле, и Майя там еще больше похожа на Марину, чем я.

Майя пишет стихи. Прекрасные! По-французски. Она пишет о том, как она шагает по звездам, строки величавы и смелы, как она. Майя пишет о любви, о разлуке и встрече, о словах признаний, прощаний, о конце и о начале всего.

1 Будущая Майя Кудашева – жена Ромена Роллана, Марья Павловна Роллан". В 1927 году, когда я уехала к Горькому в Сорренто, Майя получила приглашение от Ромена Роллана в Швейцарию, где он жил. Они были в переписке о французских стихах Майи.

2 «Ходила по звездам» – строки из ее французских стихов.

Майя берет из французского языка слова изысканные и простые; в их смене – рука мастера и капризность женской руки. Майя – девочка, да, она пренебрегает арсеналом женских очарований – украшением и показом себя, модами причесок, нарядов. Но когда ее девичество детское взяло тебя в плен – тогда ты видишь, что жесток ее рот, как у зрелой из зрелых женщин, что хладен ее взгляд. И тогда ты вспомнишь, что где-то читал такое и она называлась

-Кармен? Потому, что чиста душа ее, в жадности принадлежа - встречному, и нигде не вьет гнезда мечта ее строф, ни над чьим окном. Хоть, как крылья ласточек, синих, остры ее строки, но они пролетают - разлуками, и как крик поездов уходящих - ласка ее посвящений, страсть ее любовных записок.

Я не сказала о Майином смехе. Он наступал с ошеломляющей внезапностью. Он уносил, как реки, все, что оказывалось кругом, делая дотопе прочно стоявшую вещь -водорослью плывущей. Опьяняющее чувство юмора срывало со своих мест - все. Мы только взглядывали на что-нибудь -и оно представало в сногшибательной смехотворности. Марина только вела бровью... Голосов не было. Мы давились. Все в слезах, мальчишеское лицо Майи было счастливо. Она задыхалась. От нее шли лучи. Лукавство ее глаз потопляло. Волосы, короткими прядями в восторге мотавшиеся по умному лбу, не могу назвать названием пошлой моды - «челкой». Майя была наша родная, не в нашем доме родившаяся сестра.

Я уезжаю! Мы едем сниматься к Доре на Кузнецкий: Художественная фотография. Доре снимает не так, как другие: а - туманно, со светом вдали или сбоку, а лица -как сновидение: в них не черты, а память о лице человека, выражение лица. Это не фотография - портрет. Доре снимает не всех, говорят (может быть, басня?). Он долго и много раз снимает Марину и меня - вместе и порознь, в три четверти, в профиль, и мы ходим - до пробных - как заколдованные. Осужденные? - не зная, какие будем, какие вышли, загордимся ли, взглянув друг на друга, - на память, на себя - «О, я - такая?» Или разочарованно: «Я - такая?... Н-н... непохожа...»

Мы смотрим и смотрим на эти - и мы и не мы - картинные (свет и тень!) изображения наших двух лиц. Мы? Мы -



такие? Это таких нас видят, когда мы не замечаем? Любопытно и чуть страшно, как когда наклонимся над колодцем и там что-то мерцает и тянет. Вот эти изображения на этом гибком картоне переживут нас. Останутся! Два лица, две полуулыбки, у обеих – волнистые волосы выше плеч. Это – мы: два лица девических прямо глядят, не улыбаются, но улыбка – в уголках глаз, губ – не улыбающихся. Маринина голова выше, она держит ее чуть даже высокомерно (застенчивость). Я гляжу добрее, веселее, чуть – лукавства, мои глаза – темнее. Маринин взгляд – светел. Ее черты правильнее моих. И – тени: тени – на нас и от нас, темным фоном, точно чье-то над нами – юности? – поднятое крыло. Тайна фотографа Доре – в освещении лиц. В его трепете, в незабвенности мгновения... И уж совсем такой я буду в чьей-то памяти, когда пройду, как все на земле, совсем тенью моей брошен вот этот портрет мой – об освещенный миг! – фон. Это пряди кудрей? или – тень их? Все отступает, все гаснет. И нестерпимо горит в этой тени, в этом свете семнадцатилетний взгляд! (словно для него одного – на память, для Нилендера, о второй «Зимней сказке»), и когда отойдет и она, как отойдет увозящей меня поезд, у него останется подаренный мной в спешке, в смятении, в горе -портрет...

Он приходил вечером, и я проваливалась в блаженную пропасть его понимания: он ни в чем не осуждал меня!.. С кем шли эти половины дней – до его прихода? Где была Галочка тогда? Губкой с доски смела жизнь все, что было не он. Я помню вечер, мы у меня наверху, в трех комнатах, где шла «Зимняя сказка». Горит белый матовый шар настенного бра – лампы, он как упавшая к нам луна. Под низким небом «магического кабинета» этот шар луны освещает наш путь по длине когдатошной детской и второй смежной и кидает тени

и плывет над нашим плечом. Празднично. Нежно и страшно. Куда мы идем?

... Эллис уехал в Германию, к Рудольфу Штейнеру. Стал его рьяным адептом. Тихая пристань? От этого - от чужой страны. Чужой! Была - самой близкой! Эллис...

- Вы можете увидеть его, Ася, вы остановитесь в Берлине!

- Я не хочу его видеть, зачем?

Как хорошо! Еще не завтра еду, а послпослезавтра! Завтра так много дел, но сегодня и завтрашний вечер - наш! Поезд отходит - вечером...

## **ГЛАВА 23. ФОТОГРАФИИ НАШЕГО ДОМА - НА ПАМЯТЬ. ОТЪЕЗД**

Фотограф прислал фотографии нашего дома! Радостно и немножко жутко глядеть. Смотрю в залу. Когда-нибудь - в другой стране, в другом веке? - кто-то взглянет вот так, и вспыхнут воспоминания, как сгорает мотылек па свече! Бумага - объектив - безупречная правильность сочетаний, и восстановлен (бывает, что сгорит у людей) - дом! Взгляд вполз змеей и, растворяясь в том воздухе, поселился в никогда уж несбыточной комнате... вечно живой, как жива мелодия все того же «Танца Анитры», той же «Лунной сонаты» Бетховена, все той же, не дрогнет единой нотой - «Элегии» Массне...

Зала, первая комната - тем, кто к нам шел! «Так вот какие там были окна...» пять окон! Меж них - филодендроны в кадках. Между трех окон, что выходят на улицу, - два трюмо. Круглый диван в углу, портрет Варвары Дмитриевны Иловайской, матери Андрюши и Лёры, о котором так плакала ревностью наша мать... Высоки потолки. Глубок блеск рояля. Сумасшедшее лицо Бетховена в раме. И горит тем вальсовым ледяным блеском - паркет.

И дом наш живет хоть на фотографиях, чтобы мы везде, где будем, могли окунуть в них глаза, и вспоминать, вспоминать наши детство и юность, и сказать друг другу: «А помнишь?»

Много друзей на вокзале вечером 3 декабря 1911 года, Борис выезжает другим поездом, той же ночью. Встретимся в Царстве Польском. Был первый звонок. Я никого не воспринимаю, хоть вижу всех. Неужели

опаздывает Нилен-дер? Я уже в поезде: вся – зрение, вся – слух. На пороге новой жизни я обращена в прошлое, к девичеству, к «Зимней сказке», к Марининой и моей первой любви. Вся – в прощании!

Второй звонок! Расталкивая людей, бежит по перрону человек с книгой в руке, с цветами... Читает номера вагонов. Домчал! Увидел меня – я стою на площадке. Вскрикивает, кладет мне в руки книгу, связку красных гвоздик, золоченую

ложечку. «Поймете все из книги!» Целует руку, взглянул в глаза...

Третий звонок! Он соскакивает уже на ходу, он бежит вместе с другими. Марина – впереди всех. Сережа, подруги, друзья... Еще увидела папу. Один стоит... Поезд идет... В руке зажат желтый французский томик «Le lus rouge» («Красная лилия») Анатоля Франса. Жадно нюхаю – всею собой – гвоздику. Я еще с ним, с ними... А поезд, не понимая, летит...

Об этом – стихами – Марина:

НА ВОКЗАЛЕ

Два звонка уже, и скоро третий.  
Скоро взмах прощального платка.  
Кто поймет, но кто забудет эти  
Пять минут до третьего звонка?  
Решено за поездом погнаться,  
Все цветы любимой кинуть вслед...  
Наимладшему из них – тринадцать,  
Наистаршему – под двадцать лет.  
Поезд догонять – что станет силы  
– «Добрый путь!» кричать до хрипоты  
– Самый младший не сдержался, милый:  
Две слезинки капнули в цветы...  
Кто мудрец – забыл свою науку,  
Кто храбрец – забыл свое «воюй!»  
«Ася, руку мне!» и «Ася, руку!..»  
(Про себя тихонько: «Поцелуй...»)

Поезд тронулся! На волю Божью!  
Общий вздох как бы одной души,  
И цветы кидали ей к подножью  
Ветераны, рыцари, пажи.

## **ГЛАВА 24. ВАРШАВА. БЕРЛИН**

Мы встретились в Варшаве. Борис был дружелюбен и оживлен, как всегда в пути и среди людей; казался почти мальчиком.

Тоска расставания с близкими опустилась на дно души. Глубже всего тлела память о покинутом Нилендере, любившем нас с Мариной еще в нашем отрочестве. О человеке, отданном еще раз по чувству долга перед Борисом.

Я положила в чемодан ложечку и книгу Анатоля Франса, решив теперь не читать ее. Но непонятность того, что мать Бориса считает меня тридцатипятилетней, ехала со мной.

Почему он не разуверит ее? Не снизошел по сыновней гордыне? Или – не знал об этом? Но и мне гордость мешала спросить, и не соглашалась я говорить о свадьбе. «Будет видно. Надо еще – выжит ь...» – уклонялась я.

Незадолго до того я прочла «Войну и мир», и смерть родами матери Николеньки Болконского жила в душе. Может быть, отсюда было мое ожидание того же? Как и первая жена папы, мать брата Андрея, так умерла. И мать мамы. Портреты этих двух юных женщин смотрели в доме со стен. Как судьба!

Варшава! Польша, страна наших предков! Не по этим ли улицам проходила, проезжала мамина мать, красавица Мария Бернацкая! Птичий щебет польского языка.

Марина и я – наполовину русские по отцу. По матери на четверть польки, на одну восьмую – германки, на одну восьмую – сербки.

Варшава принимает нас в шумные объятия Маршалков-ской, Уяздовской и Иерусалимской аллеи –

блистательных улиц своих. Летят нам навстречу, как во сне, гоголевские панны, одна восхитительнее другой! Серо- и синеглазые, и не глаза – очи! Тонконосые, пепельно- и светловолосые, темнобровые – как кисточкой провела им природа эти тонкие полоски под светлым пеплом волос, над светлой тьмой глаз. Губы во всем их разнообразии – горделивые, как огонь отводимых взглядов... Вот уже и нет их, вспыхнув, исчезли!

А наряды! Но только гоголевскому – ничьему больше! – перу описать их, и как бы мне ни хотелось, прекращаю: две прославленные польские панны – панна из «Вия» в гробу (обернувшаяся колдуньей) и та, из Бульбы, Андриева, на очи и кудри которой взглянув... «и погиб казак!» – останавливают мое перо.

Мы сидим в ресторане и едим нечто незнакомое, выбранное за непостижимость названья, и пьем веками прославленный польский мед. Предупредил ли метродотель Бориса, и пренебрег ли Борис предупреждением, или поверил Борисовой игре в поляка, но тот просто с восхищеньем глядел, как легко и свободно обращаются пан и пани со знакомым им польским медом. Итог получился нежданный. Пора идти! Мы остались сидеть, пораженные полной невозможностью встать. Мы сидели, как налитые свинцом, утерев нацело владение ногами, и смеялись, нагнув над фруктовыми тарелочками лица, дабы кругом не поняли, что с нами. И незаметно проверяли под

столом ноги, пока, наконец, моля судьбу о силе воли и талантах актерских, в с т а л и, и я, опираясь на руку Бориса, прошла через весь зал.

Я помню старую Варшаву: Stare Miastro, кривые улочки, узкие, как во Фрейбурге, Виттенберге, площади, окаймленные, как стены колодца, крутокрышими домами с тяжелыми воротами и наружными лесничками, от которых веяло романами Диккенса. И –

снова мчится поезд. Мы едем в Швейцарию, Италию и, конечно, в Испанию. Я увижу Галю Дьяконову. Мою подругу с тринадцати лет. Мою Галочку! Ее так любит, так ценит Марина. Она и Аня Калин -незабываемые подруги отрочества, подруги по гимназии Потоцкой. Галя на французской Ривьере лечится от туберкулеза. Мы приедем к ней (нам все равно куда ехать!). Боря! Он, конечно, понравится ей! О, она все понимает! Она так умна и так своеобразна - какая будет ее жизнь?

...Говорят, Аня Калин, в двенадцать лет так игравшая на рояле у пас в доме, учится пению. У нее голос. Где-то в Германии? В Лейпциге? Я ее так давно не видала... Увидимся ли мы когда-нибудь?

Только бы Марина писала мне часто...

Берлин! Фридрихсбанхоф, вокзал, знакомый по лету 1910 года, когда мы с Мариной ехали с папой в Дрезден, встречает нас. Любимый оркестр вокзальных звуков и запахов обратен действию «польского меда»: легким шагом проходим мы вслед за трэгером перроном и залами, а голова, глаза, слух опьянены гулом, грохотом, сверканьем фонарей, свистками паровозов, спешащей толпой.

Мы остановились в той же гостинице, где останавливались с папой по пути в Дрезден, - «Russischer Hof». Но как все иначе теперь! Тогда - старый герр профессор с двумя дочками, девочками. Теперь мы входим - юные иностранцы, и я прошу, если свободен, номер 309. По случайности - он свободен! Узнаю наши с Мариной кровати. Две деревянные, темно-желтые, полированные, широкие. Наши одяла! Фридрихштрассе, Унтер-ден-Линден, Тиргартен, сад с оголенными ветками и белыми статуями германских цезарей в безвкусном изображении.

В номер гостиницы ко мне и Борису пришел Эллис. Через кого мы списались? Впервые теперь Лев Львович



видел меня взрослой. Его тон был грустно-галантен, и грусти было так много, что галантности – мало совсем.

Эллис грустил в нашей комнате потому, что мы равнодушно слушали о Докторе (Рудольф Штейнер, глава антропософов. «Великий посвященный», как его тогда называли, огнем речей собравший весь цвет Европы. Умер после первой войны, пережив пожар, погубивший гигантский, только что достроенный антропософский храм в Дорнахе. При этом погибла колоссальная библиотека). Эллис не мог теперь говорить ни о чем, кроме него. Он звал нас на лекцию Доктора, которая будет сегодня там-то и там-то; эта лекция, он считал, совершенно необходима для нас, пропустить ее – почти преступление. Мы находимся в беспросветной тьме. Наши глаза откроются. Доктор укажет нам путь.

– О, если б вы только увидели доктора!.. У него нечеловеческое лицо! Он – сожжен духом. Это – сверхчеловек. Это – великий посвященный...

Но, печальные каждый по-своему и не веря в Докторову панацею, и Борис и я упрямо не соглашались идти слушать Штейнера.

Эллис стоял перед нами в длинном сюртуке, его тонкая черная фигура резко выделялась на фоне гостиничной «роскоши», отделялась от мебели, стен, окон – качественно; говоря о Докторе, он сам горел, сжигаемый – тем же? – огнем! Он подходил, казалось мне, на Месту Верлинг из книги Лагерлёф, на бродячего проповедника, расстриженного пастора, на монаха какого-то вдохновенного ордена – Францисканского, – но мне было жаль, что он как бы уже пришел «к тихой пристани», он, Чародей наш! Он – покорила свой непокорный дух. Как же это он сумел? Да! Из Эллиса исчез нацело сказочник, танцор, лукавец, исчез поэт! Больше – бунтарь, мятежом взрывающий поочередно по

ходу своего кругового хождения по домам Москвы – все души, ему на пути встречавшиеся.

Стоял перед нами, опершись о кресло гостиницы, забыв и страну, и планету, быть может, аскет-монах, палимый одной жаждой: преобразовать мир и увести его вослед Доктору Рудольфу Штейнеру.

Он не убедил нас идти слушать Штейнера. Мы вышли из гостиницы вместе. Эллис – на лекцию Доктора, мы – в

ресторан. Глаза Льва Львовича еще раз с печалью остановились на мне, знакомая рука пожала мою и Борисову.

Зимний берлинский ветер хлестал в лицо уходящего, трепал полы узкого, немодного его пальто. Трость стукнула несколько раз, утихая... Мы больше не встретились никогда.

## **ГЛАВА 25. ШВЕЙЦАРИЯ. МОНТЕ-КАРЛО. ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА. РАССТАВАНИЕ**

Я не знаю, почему мы выбрали Женеву из всех других городов. Борис стремился в страшные владения Бонивара, в Шильопский замок?

Мы входим на трап-мостик, ведущий к Шильонскому замку, через темно мерцающую вокруг деревянных столбов воду. Чуть сужены были глаза Бориса, чуть дрожали ноздри, когда мы поворачивали за угол скользкой каменной стены, трогали цепь, впаянную в нее, когда выглянули в стенное отверстие над водой, куда выбрасывали тела умерших узников.

Был блестящий солнцем день. Леманское озеро лежало серебряным слитком. Шагаю рядом с Борисом, переполненным касаньем к судьбе Шильонского узника. Сурово-сосредоточенно лицо Бориса, мрачен взгляд, оторвавшийся ото дня, перенесшийся назад, во мрак, в тайну истории.

Женева! Тень Жан Жака Руссо над тобой – как большое облако, оно осеняет твои мосты, струи озера и твои здания, сейчас опущенные снегом.

Помню один дождливый, со снегом, женевский вечер. Мы возвращались домой, когда нам навстречу двинулся горбатый безбородый человек. Он просил. Но, видно, устав не получать – улицы пустели, прохожие редкие спешили мимо него, – он пошел прочь и встретился нам. Мы открыли кошельки, вынули серебро, дали. Горбач притронулся к головному убору и исчез за углом. И тогда мы впали в какой-то транс. Мы не понимали, как мы могли дать ему так мало!.. Мы бросились за ним. Он исчез.

Мы кидались во все близлежащие улочки. Его не было. Но мы не могли успокоиться, не могли сдаться такой нестерпимой яви, что он ушел от нас – с такой малостью... Он просил! Ему не давали! Может быть, у него дети! Что делать? Все перестало существовать, кроме него. Мы метались, догоняя исчезнувшее, спешили вперед, возвращались. Заглядыали в ворота дворов... Все тщетно! Нищий горбач исчез, мы более не увидели его.

Маленькое государство Монако – между Италией и Францией – насчитывает чуть ли не 100 человек войска. Оно блещет военным снаряжением и дефилирует на дворцовой площади с непререкаемым чувством национального достоинства.

В государстве Монако – принц (или князь?). Он живет во дворце. Увы, нам не удалось его увидеть, как мы ни старались. Самое главное в государстве Монако – городок Монте-Карло. Он, как солнце, распространяет лучи далеко за пределы своего государства – по всем странам земного шара: в Монте-Карло съезжаются люди всех национальностей и садятся за игорные столы. Тут за рулеткой погибают богатейшие состояния и «всходят звездами» новые. Разорившиеся в одну ночь богачи пускают себе в голову пулю. Жив рассказ о человеке, потерявшем за игорным столом три миллиона и застрелившемся оттого, что у него остался всего один миллион!..

И вот в это самое Монте-Карло мы поехали, Борис и я. Борис, бредящий Достоевским, прочитавший его «Игрока».

Зеркала высокого торжественного входа в палатку игорного дома отражают наши движущиеся фигуры – «стройный молодой мужчина в элегантном серо-коричневом костюме, в темной мягкой шляпе» ведет под руку «молодую женщину в темно-зеленом мантио». Они идут уверенно (и «спокойно») среди других

входящих и выходящих приверженцев этой безумной жизни, этих падений и взлетов, в этом жаре отчаяния и азарта. Это, конечно, завсегда и гибельного палаццо – так «надменно» они озирают идущих, знакомые им двери, за которыми вершатся судьбы под доносящийся голос крупье. Звук сходен с криком филина. Но им, этой странной паре, не страшен ни голос крупье-филина, ни блеск глаз игроков, коршунов и их жертв, один шаг их, идущих под руку, плавный и легкий, говорит о их самообладании. Они разговаривают на каком-то своем языке (другим непонятно, что мужчина назвал маленькую сумму, которую поставит в первый, затем во второй раз), и вот они уже готовы пропасть в кружащемся омуте, где на миг иногда блеснувшие миражем

богатства исчезают как дым. Мужчина делает шаг, пропуская вперед свою спутницу, когда другой голос – совий – останавливает его близ двери. Стол, за столом человек – во фраке? сюртуке? – не запомнить, так феерически быстро он поднимается из-за стола.

«Madame, veuillez...» («Будьте любезны...»), – и он делает жест, знакомящий их с существованием на этом столе книги, распахнутой. Мадам была названа первой. Опрос посетителя: кто таков, страна, возраст. Ответ дамы записан: имя, фамилия, возраст, Россия. Дочь профессора Московского университета. Тогда совий голос: – Monsieur, veuillez...

Сердце мое начинает биться глухим предчувствием (так кажется мне сейчас, а тогда может быть...).

Желая, видимо казаться «важнее», назваться некой категорией людей (ибо его категория – изучателя Канта – не котируется в Палаццо Игры), Борис сообщает сове, что он студент. И тогда происходит метаморфоза в привычных сових ухватках: они перестают быть совиными, тая и в отдых от труда, и в тень отцовства: садясь назад в свое кресло, человек с прискорбием

(поучающе): «Pardon, mais les etudiants n'ont pas le droit de visiter» («Простите, но студенты не имеют права посещать») – и полное название знаменитых игорных домов Монте-Карло!

Мы стоим и смотрим. Мы утке не слушаем, что говорит страж, мы смотрим туда, куда мы не войдем, воспоминанье о чем кончится у его начала, и мы запоминаем навек мгновенную, как в калейдоскопе, картину: анфилады столов, зелень сукна, может быть, горки золота, лица над ними склоненные, лица стоящие за плечами сидящих. Слух ловит звук монет, шелест банкнотов, шепот, восклицанья, выкрикивание крупье, гул, сходный с пчелиным, затем мы повертываемся и молча, тем же шагом, каким вошли, ничем не выдав на всем скаку остановленного азарта, выходим в пальмовое княжество (насколько я помню, в 1912 году оно было королевство) – Монако, в сверкающий, словно в зеркале отраженный, блестящий день и мимо дворцовой площади, где, может быть, и сейчас марширует игрушечное войско, салютуя своему князю (принцу), идем к раскинувшемуся вперед, вправо и влево, сколько хватает глаз, – морю. Стоим и смеемся.

В Москве зима, а у нас, у Лазоревых берегов, на горе поросшей мимозами, – весна. Скоро Маринина свадьба.

В синюю звездную ночь высоко над морем за бутылкой вина и тортом мы вспоминали Москву. Мысленно поздравляя Марину и Сережу, подняв за них новогодние бокалы. Шел

1912 год.

На станции Лётрайас, у поезда, в который мы готовы были сесть, чтобы ехать в Ниццу, большой щенок попал под колесо, перебегая, должно быть пути. Он плакал и выл, беспомощно пытаюсь встать, и тащился дрожа, жалобно глядя на людей, не обращавших на него внимания, спешивших мимо.

Каким родным мне стал в этот миг Борис! Мы бросили поезд и занялись судьбой бедняги. Мы куда-то бегали, доставали материал для перевязки, ласкали и утешали песика, благодарно лизавшего руки, терпеливо давшего перевязать лапу. Затем ходили по всем станционным дверям, рассказывая случившееся, и устроили, наконец, щеночка у какого-то доброго сторожа. Тогда, взволнованные и нежные друг к другу, продолжали свой путь.

Таков был Борис. Но полон противоречий. И вот однажды он мне рассказал, как его брат Николай, получив на экзамене на аттестат зрелости, как тогда называлось, не ту отметку, которую, считал, заслужил, подошел к экзаменатору и дал ему пощечину. Негодование сжало мне горло. Овладев собой, я сказала ледяным голосом: «Какой грубый человек ваш брат!»

С этого начался наш первый разрыв с Борисом. Ни спора, ни объяснений. Но то, что последовало, – было решение Бориса уехать назад, в Россию. И я не попросила его остаться. От гордости? Не оспорила. Этому трудно поверить. И он собрался в путь.

Но я захотела проводить Бориса до русской границы, так как он плохо знал языки. И мы приступили к отъезду.

Борис бредил Испанией, и я, вспомнив это, предложила перед отъездом из Ниццы проехать туда на несколько дней -«на прощанье». Борис колебался. Его лицо дрогнуло сложными чувствами – желанием увидеть романтическую Севилью? Благодарностью мне? Восхищением моим мужеством? Кто знает? Но что-то сжалось у его рта и ноздрей, и он

ответил отрицательно – ехать так ехать! И мы поехали. Меня Испания не влекла.

Папины письма, письма Марины и друзей продолжали идти на Ривьеру, а мы уже выходили из поезда на так недавно покинутом вокзале Варшавы.

Поезд в Москву шел назавтра. И мы остановились в гостинице. Вечер провели весело, в цирке. В цирке была борьба. Внимание наше привлек борец -худой, темнокожий (смуглый), бородатый и немолодой. Его каждый раз клали на лопатки, и он, сердясь, не то ревел, не то выл, как животное. Был он нестерпимо жалок. Эта жалость снова сблизила нас. (Может быть, оба мы удержали вздох - о расставании?) Но гордость молодости диктовала *ne pas revenir sur ses pas*

На другой день поезд увез Бориса в Москву, а я осталась в Варшаве.



## **ГЛАВА 26. ОДНА В ВАРШАВЕ. БУКЕТ В ЦИРКЕ. РИМ. КАТАКОМБЫ. ФЛОРЕНЦИЯ. ВСТРЕЧА С ГАЛЕЙ ДЬЯКОНОВОЙ**

Я собиралась ехать на Запад на другой день, но жизнь судила иначе: неожиданно оказалась, что ехать за границу я с моим паспортом не могу – он давался на один выезд. Как несовершеннолетняя я не могла получить вторичную отметку на паспорте о выезде – без разрешения опекуна. Но мой опекун был папа! Как могла я телеграфировать ему из Польши, когда я считалась на Французской Ривьере? Расстроить его такой непонятностью я не могла. И я решила дать телеграмму дяде Мите: может быть, он сможет получить нужные мне бумаги в канцелярии генерал-губернатора. Я просила его не тревожить папу, сообщала, что здорова. Но когда я пошла за деньгами в отделение банка Юнкере, где у меня был аккредитив, выданный мне в Москве на Кузнецком в банке Юнкерса, оказалось, что в моей банковской книжке кончились все листочки, на которых записывались выданные мне деньги (мы брали небольшими суммами), – денег было еще много, но листочков на получение не было, и мне пришлось и по этому поводу запрашивать Москву.

1 не пересматривать раз решенного (франц.).

тш

Так я вынужденно осталась жить в гостинице с весьма тощим остатком наличных. Сидеть до ночи в номере не хотелось. Я вспомнила о вчерашнем бедняге

и решила идти в цирк. Борьбу я терпеть не могла (молодежь, русская, увлекалась борьбой, как Испания – боем быков), но я не могла забыть того, рычащего. Я купила, не щадя кошелька, бошьшой букет роз и гвоздик в пышной зелени и поехала в цирк.

– Этот букет, – сказала я, к счастью, русскому капельдинеру, – вы подадите по окончании состязания тому борцу, который вчера все проигрывал. Наверное, и сегодня тоже. Не ошибитесь: он темнокожий, с бородой, согнутый. Вот за услугу, если просьбу мою выполните, получите еще столько же! Прошу вас, не ошибитесь! – И я вручила капельдинеру букет. Он удивленно принял его (в его практике такого не значилось) и повторил «задание». Затем мы расстались, и я пошла на место.

И Марина, и я любили всегда цирк. (Позже Марина говорила, что цирк – это высокое искусство. «За ошибку – платят жизнью. Тут уже нет видимости! Только м а с - т е р с т в о!»)

(А не был ли это знаменитый цирк Чинизелли с высочайшим искусством наездничества, гремевший по всей Европе?) Но когда на арену вышла пара борцов, из которых один был мой – тот самый, – я ощутила нечто подобное тому, что в Монте-Карло парило над столами рулетки.

Партнер «бедняги» был сытый розовый немец, игравший бицепсами, красовавшийся почти женской грудью. Он, конечно, вмиг бы покончил с «дикарем», слабым и жалким, но для интереса публики длил мученье того. Но вот ловким жестом, показав свою мужскую красу, он положил дикаря на лопатки. Рукоплескания хлестнули арену градом. Победитель кланялся; побежденный, даже уже не рыча, уныло стоя в стороне, расправлял худое усталое тело.

В эту минуту на песок ступил капельдинер с моим великолепным букетом. Я превратилась в зрение. Все другие чувства замерли. Сердце будто остановилось.

Увидя букет, победитель молодцевато приосанился. Может, и крутанул ус? Сердце мое забилося сильнее, чем его: страх, что капельдинер, меня в толпе потерявший и не верящий во вторую мзду, может скривить душой и ему дать букет, стиснул меня почти физической болью. Еще миг, шаг -и я стала счастливейшим человеком на свете: бодро минуя победителя, того, кому в Греции, в Риме гремят рукоплескания, капельдинер (душа, друг!) прошел всю арену и вручил роскошь выбранных мною роз - побежденному!

И сразу вся патетика мига - с размаху, ласточкой! - в Жалость! но такую - палящую! Ту, нашу с Мариной, с Борисом, мышкинскую, о которой Рогожин: «Твоя жалость пуще моей любви»... О, как он, Дикарь, испугался, удивился - отступил, растерялся, но капельдинер настойчиво совал букет, как, наконец, поверил! как схватил, как прижал к груди! И в то время как (боковым зрением вижу...) тот, победитель-то, стоит как соляной столб, мой Дикарь кланяется, кланяется вместе с букетом, ошалело что-то ища в зале глазами, дикарскими. А я, верно, улыбалась глупейшей, блаженнейшей из улыбок, сама выходя из состояния мгновенного соляного столба. И уже ничего не вижу из вдруг появившихся слез: как мало могу для него сделать. А кажется, ушла бы в его берлогу, с ним...

Но был еще один счастливейший человек в этот вечер: капельдинер. И думаю, не одной мздой. Тем, как я благодарила его и как мы оба смеялись, как дети...

В этот час покинувший меня Борис, может быть, подъезжал к Москве.

На другой день я выехала на Запад. Поезд мчался, я глядела в окно, думала. Я ни в чем не каялась, я никого не винила. Все шло, как должно быть, раз так поступалось, как подсказывала душа. Встреча с Борисом дала много горечи? Но разве одной горечи?

Разве не столько же - радости? Понять меня во всем могла одна Марина! И я скоро с ней свижусь! Она написала мне, что после свадьбы они выедут за границу. Мы встретимся в Париже. Это будет - скоро. А пока мне надо ездить и ездить, чтоб заглушить тоску.

...Итак, Рим! Разочарование! Новый город, улицы, магазины, как все, везде. И только когда, взяв гида, выхожу на форум - остатки древней площади, развалины, колонны, синева небес, - тогда я стараюсь вникнуть, почувствовать:

«вот это - древний Рим...» В Колизее мы ходили долго Поражала колоссальность размеров этих полукруглых рядов частичная сохранность невероятной постройки. Тишина. Где-то на том конце проводилась экскурсия.

Помню Сикстинскую капеллу: свою запрокинутую голову боль шеи и озиранье скульптур потолка, что не «скульптуры» - не верится, - что живопись: тела, и тела, и тела, точно все тела с начала мира! Затем голова уже на плечах не держится - сын устал, - в руке зеркальце, в нем отражается потолок Сикстинской капеллы, но я уже ничего не воспринимаю, хочу домой, лечь.

Наутро я - в Соборе св. Петра. Высота, холод, золото (может быть, солнечные лучи?). Трепет леса свечей над спуском в гробницу апостола Петра. Просторная площадь Собора, направо от нее - Ватикан. Вечером я иронически записала в дневник: «112 метров высоты купола Собора св. Петра - к а к высоко!» (смысл был тот, что не поражает физическая высота!) Но я помню розоватое небо над Монте Пинчио, запах Нерви и запах лавра. Так было тут и пятьсот лет назад...

Римские катакомбы! Меня туда повез гид. Я ехала после Музея Ватикана, Колизея, Собора св. Петра через силу. Я стала очень уставать, но не пожалела потом, что поехала, презрев физическую слабость. Еще у входа в

катакомбы на меня пахнуло знакомым по лозаннскому пансиону духом католичества. Монахи продавали святые картинки с бумажным кружевом рамок, какие мы в Лозанне с Мариной хранили: Христа и Мадонну в венце звезд; маленькие кожаные складные иконки св. Екатерины, св. Терезы и других святых; перламутровые, костяные и стеклянные четки... День сверкал.

Я помню тьму подземных ходов, поворачивающихся, узких местами расширявшихся. Мы двигаемся при свете факелов.

Я старалась вообразить, что тут шли первые христиане, ждавшие смерти по воле императоров-язычников. Звук шагов то был тих под землей, то раздавался нежданно; пахло сыростью. И вот мы вошли в расширение, под землянные своды и остановились над гробом; под стеклом лежал скелет.

А вокруг черепа с дырами глазниц и оскаленными челюстями – россыпь кудрей, белокурых, схваченных наверху высоким резным гребнем. Золотость волос так горела, что

казалось, сбрызнута золотой пудрой. Стало тихо. Мы стояли смолкнув, и каждый, думаю, думал о себе – так... (Лермонтов, «Боярин Орша»): «Куда мне дальше? Может быть, во Флоренцию? Там я помню впервые увиденную галерею Уффици, водную тишину ее зал, малолюдность. Медленное от усталости передвижение по солнечным лучам, их перерезавшим.

Какой-то мост – полукругом? – его отражение в Арно, и серый, древний, как мир, камень уличных плит, по которым, казалось, раз в год пройдет человек. Отсутствие уличных звуков само было – звук. Я стояла над Арно, сравнивая его воду с коричневой водой Тибра, и мне показалось, что я люблю Флоренцию, что жить надо здесь... Как я назову ее, если это будет дочь? А – сына?» (Сердце хотело дочери, но моей печали и одиночеству утешением представал – сын...)

Я не помню названия места, где на французской Ривьере в то время лечилась от туберкулеза Галя Дьяконова, – что-то не то *Bean cite*, не то *Bian virage*, нет, и не Бордигера...

Был весенний день. Мы обе страшно обрадовались! Галя была в матроске, в широкополой девичьей шляпе, выглядела длинным подростком. Движением наших насмешек над нарядами подруг в зиму тринадцатилетия в гимназии Потоцкой она тыкала смуглым длинным пальчиком в мою шляпу и в мое манто и, подымая густые брови над узкими карими китайскими глазами, давилась смехом. Я была ей «Аська», девчонка, играющая в «даму», и веселью не было конца! Где-то мы что-то ели – в ресторане, – вспоминая Никитскую, весну четыре года назад, косхалву, вербу, «тещин язык», и «Американского жителя», и те карамели, «прозрачные», без которых не проходили наши московские встречи.

Нет, Галя не была еще в той шляпе! Ей надо было купить шляпу, и мы пошли по магазинам, и там, подавая нам несусветный выбор шляп – подносами, корзинками, корзиночками с целым садом цветов и лент, – продавщица обратилась ко мне – о Гале: «*M-elle voire fille*». Мы едва не упали с Галей от смеха! И Галя долго дразнила меня. Мы выбрали *M-elle* моей *fille* широкополую светлую шляпу с минимумом цветочных веток и продолжали меж пальм и садов наш озорной путь...

## ГЛАВА 27. ЛУИДЖИ ЛЕВИ

Я ехала в Венецию. Клонило ко сну. Усталая, душевно телесно, вне возраста, сидела я, облокотясь спиной о стенку вагона, головой – в уголок, готовая уснуть, когда отворилась дверь и вошел человек – высокий, худой, в пальто. Была ли на нем шляпа? Дорожное кепи? Не помню: только – лицо. Смуглое, узкое, горбоносое. Черные брови. Удивительно живые глаза... Взгляд его обежал новую комнатку его жизни, беглый приют – беглый взгляд! – он все вглотнул – стены, окно, цвет чемоданов, чьих-то, меня, еще каких-то спутни-ков-пассажи-ров, летящий за окном пейзаж. Он поклонился, положил саквояж, сел, еще раз оглядел все тем же быстро -вопиющим, умным взглядом И сел, дружелюбный ко всем, вдумчивый, скромный. Я закрыла вновь глаза, но в них стояло его лицо, нежданно родное, – где-то виденное? На кого-то похожее? – и во внезапной тихой радости – не захотелось спать.

Если он жив и мог бы прочесть мою запись – может быть, он сказал бы, что я ошиблась, что был не вечер, а полдень или раннее утро, и вообще все было не так. Может быть, его память сохранила все так, как было, – весь разговор, все слова, весь путь – наш и поезда?

Ни тем разговора – ни одного из начальных слов – ни пути. Даже не знаю, сколько мы вместе.

Ты – как круг, полный и цельный.

Цельный круг. Полный столбняк...

В этом столбняке памяти я стараюсь найти слова. Когда он вошел, я думала о моей предстоящей безрадостной жизни с Борисом. Как случилось, что вошедший и я начали говорить? Как случилось, что мы, говоря при других, так быстро психологически

сблизились? Что они уже нам не мешали... Став двое-тем столбняком, тем кругом, где, в вихревом движении колеса (фортуны?) стерся узор спиц и полет стал тою неподвижностью, которая зовется – Счастьем?..

Мне нечего предложить в ответ, кроме этих вопросительных знаков.

Он ехал из Англии. Его звали Луиджи Леви. Ему было, кажется мне, тридцать два года? (И вдруг: а не двадцать ли семь?) Он только что окончил курс в Оксфорде – а был

итальянец. Нет, значит, не тридцать два – двадцать семь. Он ехал домой, к родителям в Милан.

Что я сказала ему о себе? Если б вспомнить! Что -русская. Имя? Кажется, не назвала себя. Возраст? Отшучивалась. В шутке сказанных «двадцать семь» (как когда-то о себе в восемнадцать пошутил Борис...) я хотела упростить для спутника понимание моего усталого тона, моей невосторженной молодости, укуса змеи печали? (Намекнула ли я на Бориса рядом со мной? Но, умолчав, солгала ли? Со мной была только его тень. Только память о его необычности. И его ребенок во мне... И может быть, не музыка Паганини на этот раз прозвучала, как для Нилендера. В нашу последнюю встречу во мне для меня, а то, как опрокинут был им во мне Паганини, то, как (будем же говорить простые слова о сложной человеческой радости!) – то, как зажглось мое грустное, «двадцатисемилетие» – от взгляда – голоса – слов, ко мне обращенных? Может быть, раньше, чем мы осознали, что с нами, мы стали – счастливы?

Поезд летел. Мы, должно быть, уже были одни в купе, и мне кажется, был день – там, где-то. Мне казалось, что я без конца давно знаю Луиджи, так свыклась уже с необычностью его появления? Вошел как судьба! – так слита с ним, с его тонким умом, в



котором мне столько знакомо, с душой, в которой мне так просторно и так тепло!

С этим сердцем, в которое я вошла. «И не выйду!» (Это он говорит мне...) Так чудно мне в его французской речи, свободной, – редкое для итальянца произношение. Так таинственна Англия за его плечом – и только Милан страшен тем, что он летит нам навстречу (и что будет тогда?). Нет, эта мысль не достигает меня, я сейчас так свободна в том наставшем и тихом, под шумом крыл, – что сама смерть, меня стерегущая, стала поодаль (ждет свой час?!). Я боюсь, уже в его руках мои руки, – и что же он говорит мне...

– Вы та, которую я ждал и должен был встретить. Я никого не любил так, как вас! Я не знаю, почему вы одна. Куда, зачем едете. Но я не могу жить без вас. Всем существом моим прошу вас: вверьтесь мне! Мы поедем в Милан к моим родителям, я представлю им вас как мою невесту...

– Вы сумасшедший, – может быть, сказала я, сжимая его руки и пытаюсь отнять свои... – Вы не знаете меня, ничего не знаете о моей жизни...

О, зачем вы оставили меня, Борис, зачем уехали, когда мне так одиноко, зачем смогли от меня оторваться, когда я, может быть, скоро умру, зачем – зачем отдали меня этому новому чувству, этому человеку, с которым мне так жарко от его понимания – с вами часто – так холодно... И который (о, я это чувствую), который вам – враг, за то, что вы могли, хоть на время, меня оставить – потому что он -не может...

Милан близится. Я в каком-то ужасе. Но я все время пытаюсь опомниться. И зачем отравить счастье Луиджи и веру в наше будущее, эти его часы со мной! В человека интеллектуального, сильного, много видевшего, как влить яд слов, что мы сейчас расстанемся, что мой путь – не его путь, что врозь наши судьбы! Что я ношу ребенка другого и не знаю, по-

настоящему ли этот другой меня любит и будем ли мы вместе! Я не могу ему сказать, что его, Луиджи, родители мне – чужие. Что он должен забыть меня! Ждать и искать другую! (А мне навеки запомнить: то, что могло быть!..)

Не помню, была ли ему пересадка по дороге в Милан, или – я не помню карты Италии! Мне и сейчас ее затмевает лицо Луиджи. Поезд мечется по шпалам и рельсам, как мое существо. Снова натиск о Милане, его доме. Мольба! Мой отказ. Тогда, в горе, он идет мне навстречу: хорошо, он поедет в Милан один. Но все расскажет матери и отцу. Через три дня он будет в Венеции. У меня. Вместе! Он не может расстаться со мною на дольше. «Хорошо», – говорю я. Я лгу в п е р в ы й раз в жизни! Господи! Я лгу для него! Я не могу сейчас убить его, своей рукой! Я же понимаю, что с ним! Потому – потому что, не будь Бориса, я бы поехала с ним в Милан! Чтобы стали мне н е чужими – его родители! Он, вероятно, берет мои руки. Он целует их. Он почтительно сдержан. Так хорошо воспитан! Английское воспитание! Им он смиряет свою итальянскую душу. Но его глаза – безумны. Он смотрит на меня безотрывно. Старается поверить в мое обещание. Верит мне! Хочет запомнить лицо мое. На целых три дня! На целую жизнь разлуки! Знаю я...

Поезд летит по вечерним полям Италии. Из их синевы в нас падает молния.

– Я люблю вас! – говорит он. – Я не смогу никогда полюбить другую! Вы мне даете слово ждать меня в Венеции?

– Да! – в ужасе отвечаю я. «Господь, ко мне! То на одной струне этюд Паганини. Дай не затмиться разуму! Не растить моего ребенка в доме этого человека! Не сменить вот сейчас Москву и всех – на Милан! Как мне было бы чудно и тихо после всех мучительных сложностей с Борей, моего одиночества там, в России,

остаться с Луиджи, в его стране, в нашей с Мариной детства, Италии...»

Поезд стоит. Мы вдвоем на площадке вагона. Луиджи назвал мне гостиницу в Венеции, где я должна остановиться и ждать его. Через три дня -будем вместе!

Первый звонок. Он смотрит на меня неотрывно. В его карих глазах есть золото. Я запоминаю его лицо навек. Горечью последних минут. Ужасом расставания. Сейчас он сойдет - станет сном. Завтра я не поверю, что -был. Трезвость завтрашнего дня, ты - смертельна! От тебя уже сейчас - озноб. Луиджи говорит. Слушаю голос. Еще с ни м... Второй звонок! Он хватает мои руки. Он еще раз берет с меня обещание. Он заставляет меня повторить название гостиницы. Третий звонок... Я в испуге! Но он что-то прочел на моем лице - он вскакивает с подножки -назад, в вагон, взмахнув саквояжем...

- Сходите же, поезд трогается!

- Нет, не могу. Остаюсь!.. Обещайте мне еще раз...

- Обещаю! Сходите же, поезд идет... Вы расшибетесь...

- Вы обещали!..

Он спрыгивает с подножки - на ходу. Ночь сметает его, как призрак.

В руках визитная карточка: «Luigi Levi Via Nirone, 21».

Я стою одна на площадке вагона, закрыв глаза. В них медленно проступают слезы.

«Я не остановлюсь в той гостинице, и вы там не найдете меня...»

Думаю: зачем было это послано Жизнью? Борис - отошел, исчез... Взамен подошел Луиджи. Отместка?

...А ведь я и не рассказала никогда о Луиджи Борису. Чувством долга поборола его.

Я до сих пор не могу понять, как я могла удержать себя от письма Луиджи? Оно было нужно не только ему,

но и

мне – как хлеб – в те дни. Какая сила заставила меня уверить себя, что надо из его жизни исчезнуть, стать не больше чем сон... Почему в этой аберрации я прожила дни, недели месяцы, годы? Храня его имя у самого сердца – и этого не сказать ему... что не только он, но и я себе не простила мое молчание: кто, как не он, понял бы всей этим, быть может, утешился? Кто дал мне тогда право решать за него? Право дать ему возмутиться мною – вместо права другом войти в мою жизнь – и понять. И откуда была сила во мне отнять у себя долг, горькую радость ему о себе рассказать, объяснить – ведь он был самым близким мне человеком тогда!

Вернуть ему этим письмом – свободу! Ненаписанием -ввергнуть в отчаяние... То, что казалось мне помощью ему -просто исчезнуть, мне теперь кажется поступком невероятным, недопустимым. Единственным, которого было сделать нельзя. Но я его сделала. И как мне себя – простить?

Но и мне надо его – забыть! Иначе жить – невозможно...

В эти мои венецианские дни, в которых цвела любовь ко мне навеки погашенного, как погашают свечу, Луиджи Леви и мое, его зовущее сожаление о сделанном, моя просьба -простить (столь же пламенная, как его укор, рвавшийся ко мне через гущу той насильнопогашенности), страх его последней минуты на вагонных ступеньках – меня потерять, заставивший обратно вскочить в вагон, страх, уничтоженный нацело жаром моего обещанья! Обернувшегося – о б м а -н о м... Не любила – любила! в этом-то и был ужас! Полюбила, имея в себе дитя другого, и впереди, в этой разлуке с Борисом, может быть – одну смерть...

И пришел час рассказать о Луиджи Леви! Марина слушала – всею собой. Дослушала. (До его отчаяния в Милане: «Нет, не могу! Остаюсь!» И мое ему в горе:

«Сходите! Вы разобьетесь! мы встретимся - через три дня!..» И его мне последнее: «Вы обещали!»).

- Ася, - сказала Марина, и лицо ее было бледно, как его лицо в тот час, - в этом слове он оставил тебе всю свою в е р у в тебя... На высоте вашей встречи, на уровне ее душевного ч у д а... ни попытки поцеловать - италья-н е ц?.. - ни сыска о твоей жизни... потому, что т ы его жизнью стала! Э т о ты понимаешь? И как же ты...

Я этот миг - ждала (но она сейчас все осознает!). Как судьба стояла она передо мной. Как моя совесть. Как некая Парка, готовящаяся остановить, пересмотреть жизнь. Смять, рукой, нить жизни... Но слишком похожи душою мы были, чтобы ей не пойти путем, которым прошла я.

- Ася! - сказала она дрогнувшим голосом. - Да... Борисов ребенок! Хоть ты, как я, чувствуешь, что Луиджи бы его о б о ж а л... это же неизбежно! потому что ты - первая его большая любовь. Но...

Марина обо что-то запнулась.

- Милан... Италия... - сказала она вдумчиво, - русскому мальчику (скороговоркой: - Я уверена, у тебя будет с ы н! У нас - дочь...). Да... Борису бы - хороший урок! Ты знаешь, как я люблю Бориса, - но так оставить тебя. («Урок» -если бы в к н и г е! - я себе.) Но т ы не можешь так учить человека! Такой удар нанести! Ни мама бы не смогла - и ни я... Ася! - сказала она торжественно, медленно. - Раз он тебя полюбил, Луиджи, - значит, нет выхода! (Нить в руке Парки натянута, светится...) Его судьба - судьба твоего Луиджи - тебя потерять. Ася, т ы л ю б и ш ь Луиджи! Но ты не можешь ему подтвердить это, чтобы не усилить горя его, - когда он узнал бы - все! И ты хочешь, чтобы он счел тебя недостойной, беспечной - так ему легче будет... Да, ты права.

Я молчала. Она все поняла.

- И ты несчастна с Борисом... но другого выхода  
-нет...

## **ГЛАВА 28. ВЕНЕЦИЯ. НЕРВИ. ПАРИЖ**

Я в Венеции в первый раз. Ее вековое величие! Спеша в Париж к Марине, я делаю себе Венецию миражем: покину ее через два дня. Но я все же ее вижу! Ее улочки, улиц в Венеции нет. Улочки узкие, а меж домов переходы, высящие высоко в воздухе. У входных дверей фонари, как у Пушкина на Страстной площади. Горбатый мост. Замшелые ступени. Иду по средневековью в дни Данте, по Возрождению в днях Леонардо да Винчи. Мало прохожих. Поворачиваю – Канале Гранде – широкая морская река, по которой снуют гондолы. Гондольер гребет стоя двухсторонним веслом, прогружая его в воду то справа, то слева, разворачивая привычным – века! – грациозным движением.

Крошка, лет двух, ковыляет в метре от края набережной, за которым – волны. Никого. Я хватаю ребенка за руку, веду его к ближайшим дверям. По-французски, с итальянскими словами, поясняю и отдаю его женщине. Она, рассмеявшись, поет на венецианском наречии нечто, в чем различаю: «О, наши дети не падают в воду!..» – и берет ребенка с улыбкой.

Поворачиваю еще. Узкие каналы почти зеркальны. Торчащие из них столбы в зеленой тине издают запах цвели. Каменные ступени входных дверей сходят прямо в канал. Ни один детский театр не повторит театральных эффектов лазури, превращающейся в синюю мглу.

Что я помню в Венеции? Ночь. Черную зеркальность каналов, черную широту Лидо, огни, музыку – и пенье гондольеров.

О, эти венецианские дни моего одиночества! Только вы меня утешали, итальянское пение с гондол, детская нервий-ская Santa Lucia и нервийское детское O sole mio – Борис!., Всплеск весла гондольера, скольжение средневековых гондол по средневековым волнам, по средневековой зеркальных каналов с висячими фонарями подъездов, сходящих в синюю и черную глубь...

Святой Марк оперся о щит? (Мне не видно снизу!) Его лев, стерегущий Пиацетту и Лидо, нашу быстролетящую жизнь...

С самого въезда в Италию, куда мы не доехали с Борей, нет, и ранее, когда мы туда собирались, я несла в себе, словно второе дитя, мечту и замысел увидеть Нерви -морскую колыбель нашего детства с Мариной, место мамино воскресения к жизни после умиранья, московской болезни и пути, место, где мама встретила с большой любовью своей жизни.

И вот, несмотря на тоску мою, я выполнила замысел, я приехал а!., по т о й же маленькой (кажется, еще меньше) железной дороге Генуя – Нерви (и дальше), над которой мы, дети, прыгали на мостике в саду «Русского пансиона».

...Я – в Нерви! Я готова протирать глаза: Генуя -памятник Гарибальди – Кампосанто позади, я – в Нерви!

Но – горе: я не смогла остановиться в «Русском пансионе», потому что его не существует, хоть дом цел, но теперь им владеет сосед Шиккерт, соединил два пансиона, и все комнаты заняты! Я объяснила причину своего приезда, мне

разрешено пользоваться табльдотом Шиккерта, то жилище я себе сняла в сером чужом доме на Каполунго у хозяйки-итальянки – маленькую высокую полутемную неуютную комнатку. Я чувствую себя совершенно чужой в Нерви и тут, за шиккертским табльдотом. В детстве



нашем, Муси и моем, между А. Е. Миллером и его более фешенебельным соседом Шиккертом реяла ироническая вражда, по крайней мере так казалось нам, детям, и теперь я живу в шиккер-товской победе, поглотившей наш родной «Русский пансион».

Плохая погода. В моей комнатке холодно. Мне нездоровится. Я не могу идти к табльдоту и сижу в серых стенах. Вдруг – стук в дверь. Входит человек средних лет. Русский. Он услышал, что тут соотечественница болеет. Не надо ли мне чего? Чем помочь? Он удивлен моей молодостью. (В комнате, без шляпы и пальто, я еще совсем девочка.) Почему я – одна? Я приехала из России? Нет – да... Видя, что я не расположена к откровенности, гость принимается помогать мне по своему разумению. Он куда-то уходит, о чем-то хлопочет, что-то несет (спиртовку – сварить чаю? согреться в моем неуютном углу?). Он отечески, товарищески заботлив. Он живет поблизости, в Больяско.

Он достигает цели: мне теплее, я веселею. Но почему я одна? Почему Борис не со мной?

Наутро был чудный день, и я поехала в Больяско, где была с мамой, Тигром, с Володей Миллером. Я, как во сне, узнала какие-то домики, какой-то каменный полукруг. Волны плоско бежали, шурша песком.

Нет, надо рассказать по порядку! В нашем детстве, в Тарусе, в маминой комнате висела на стене под стеклом репродукция любимой картины мамы – бёклиновской *Die Willeam Meer* – скалы, море, под пиниями на каменной лесенке – женщина. Ветер, волны.

Еще не зная тогда роли картины Бёклина в маминой жизни, я в 1912 году одинокой тенью прошла по этим знакомым скалам, по Алее дель Пальма, по Променаде над морем, по Гранде Марина. Постояла у ворот кладбища Сант-Иларио, где был схоронен Рёвер с его «*Die Seele fliegt*» - «Душа летит». С этими словами пускал

он когда-то клочок папиросной бумаги для забавы нас, детей, над горячим воздухом от стекла керосиновой лампы. Вскоре он умер. Среди незнакомых людей, не помнящих те времена жарад эмигрантской жизни 1900-х годов в «Русском пансионе» 1 сижу, как мертвая, и кажется, мне не восемнадцатый год а все – сто?!

И за этим столом мне подали телеграмму. От Бориса. Она была по-французски. В ней он звал меня в Москву, чтобы повенчаться, и добавлял, что после можно, если я хочу разойтись. Я улыбнулась странности текста – с точки зрения почтовых чиновников. Венчаться? Ну что ж... Если надо. Видимо, они это там решили – для будущего ребенка? Лишь бы папа дал согласие, и все было бы так, как ему надо, -венчание, мне не нужное, нужное ему – и сыну.

Вскоре после Нерви я направилась в Париж, для встречи с Мариной. Венчаться можно было только после Великого поста. Я не спешила в Москву. Побывать с Мариной было -насущней...

Я не вспомню пути в Париж. Более: «странным образом\* я не помню моих первых ощущений в Париже, моей первой встречи с ним, как не помню от себя отдельно в раннем детстве Москвы: так Париж для моей юности оказался -родным городом. Никакого «ознакомления» с ним. Точно я всегда жила в нем, им дышала! Реалистически можно попытаться объяснить это рассказами мамы о нем, полными и насыщенными, и рассказами Марины, там жившей в 1909 году.

...Среди антикварных лавочек Сены, Елисейских полей, Латинского квартала меня ждало каменное святилище Дома Инвалидов, где покоится Наполеон, Тюльери, Версаль, Нотр-Дам...

Я сошла, сбросив Берлин, Женеву, Трайас, Рим, Венецию, Нерви, на парижском вокзале в ощущении, что пришла домой. Даже Эйфелева башня, «чудо высоты» и рекламы и тот «Париж», куда «приедешь –

угоришь» (нянька, в детстве), был родной, как сарай и кухня, притулившись со своими запахами и температурами за аллеями, того панорамного, нашего детского с Мусей, Булонского леса!

Я поселилась в той же гостинице, что и они, но ни номера своего, ничего бытового – не помню. Были разговоры о вышедшем втором Маринином сборнике, и Марина подарила мне его с нежной надписью – маленький томик в картонном

чехле, страницы – петитом, и бархатная обложка – «Волшебный фонарь». Цвета моей обложки не помню, было издано из разных цветов – малиновых, синих, зеленых. Походили они на молитвенник. Она раскрыла мне книжку на стихах о нас и мне, «Неразлучной», на «В неосвященной передней я молча присела на ларь» (прощанье с Трехпрудным). Еще раз мы вместе вглотнули отрочества и начало юности... Впервые читаю стихи мне Марины – «На катке...»

Мы на Эйфелевой башне! Вагонетка-лифтик ползет по одной из железных дорог башни. Глазищи Сережи лукаво светятся:

– Ася, а вы не боитесь, что мы сорвемся – нога башни ведь вблизи только толстая, а издали вы же видели, как она тонка?

Не давая договорить, подключается к разговору Марина:

– Перестаньте, Сереженька! Не верь ему, он всегда...

– Париж внизу точно из перламутра!

– Подожди, выше еще лучше будет! Ася, помнишь на Воробьевых горах?

– Еще бы! Я так боялась, а ты меня презирала!

– Как, и вы ездили кататься туда? – восхищенно Сережа,

– это называлось то «французские», то «американские» горы! Вверх – вниз, дух захватывало!

- И вы там бывали? (Марина задумчиво и счастливо)  
Ася, и мы могли там тогда встретиться... в детстве еще!

А мы уже высоко над Парижем, и он ширится и тонет внизу, сверкая рыбьей чешуей серых крыш, сбрызнутых солнцем. Его сады - кучки морских водорослей. Больше мы по близорукости ничего не видим. Сережа дразнит нас, рассказывает небылицы, будто бы зримые им.

С этажа на этаж пересаживаемся из вагонетки в вагонетку, все выше. Для чего пересадки эти, мы с Мариной не понимаем. Сережа «объясняет все с тем же лукавым в глазах огоньком», мы сперва доверчиво («из любезности», ибо к технике равнодушны) слушаем и в какой-то момент обе, в один голос: «Заврались, Сереженька, да?» Лицо его более чем серьезно - строго. Брови нахмурены, рот сжат. Но нас уже не поймать на удочку, наш насмешливый смех побеждает обиду Сережиной маски, и смех рушится в три ручья. Из раскрытого бумажного мешка, откуда длинные пальцы Сережи извлекают желтую, на концах подгнившую ветку, мы

открываем себе усладу пустынь - изогнутые турецкой туплей (саблей) мучнистые душистые плоды - бананы.

Париж тихих - и края им нет! - улиц, без магазинов одни дома и сады. Париж платановых и каштановых аллей, Париж площадей, где еще тлеет история именами, колоннами, арками. Этуаль, Площадь Согласия, Триумафальная арка (через одну из арок в час пролетает три тысячи автомобилей... где ты, Париж старины, еще в нашей панораме живущий! Город дам в кринолинах, мужчин в цилиндрах, глядящих в небо на первые воздушные шары...).

И парижские набережные, где я тайком от Марины, одна, переходя от старых как мир «витрин» - деревянных ящиков со стеклом, - выбираю Марине

запоздалый свадебный подарок (ни она не будет на моей свадьбе, ни я не была на ее – как странно судьба устроила в эту зиму нашу рузлуку!). Сколько просмотрено старины! Марина только ее и любит. Сколько раз мое сердце схватывало любованием – узором топазов, бирюзы, хризолитов – ожерелий. И прощаюсь, прощаюсь – то не уверена, что понравится цвет, то не хватает денег, пока вдруг нерушимо решаю: это! Все отдам (только на путь оставлю!), ускорю отъезд, это ожерелье должно перейти к Марине! Не оторву – и она не оторвет! – глаз: сияет вязь лиловых аметистов, спускаясь удлинено на грудь, длиннее к середине, и каждый подвесок окаймлен мелкими стражиками. (В этом ожерелье Марина на фотографии 24-25 лет на фоне инкрустации.) Сиянье перламутровых чешуек... волшебное ожерелье! С трепетом спрашиваю цену. Одолеваю. Выхожу, неся клад. Ступаю шагами счастья...

Я лежу в широкой постели рядом с Мариной, а по другой ее бок лежит Сережа, лежим, уставшие после дня в Париже, и говорим о Москве. Они обвенчались в Палашевской церкви – Рождества Христова, перед иконой «Взыскание погибших». После Парижа они поедут в Палермо. Они приедут в Москву к торжеству открытия Музея, а лето перед родами пробудут где-нибудь под Москвой. Марина ждет ребенка немножко позднее меня... Это будет дочь.

Борис и Сережа!

В добрые дни Борис был ко мне внимателен. Но откровенности душевной, ровной меж нами, – не получалось. Причина лежала в нем: я всегда могла говорить обо всем,

что поняла и почувствовала. Но его сдержанность, отвращавшаяся угрюмо, застенчиво и немного брезгливо от того общения, которое ему было чуждо природно, мне (ответноделикатно, зеркально)

закрывала рот. А Сережа был открыт, горяч, добр, всегда внимателен и стремился к общению. И он любил Марину (значит, в какой-то степени и меня). И он все понимал. И он знал, и ценил, и любил Бориса. В нем, как и в Марине, была та же восхищенность Борисом, как во мне. Меня огорчала отъединенность его, но накал его личности, его талантливость, обаяние всех увлекали. Потому мне было легко с ними. Им ничего не надо было объяснять. Только рассказывать. Они жадно ждали моих рассказов о моей новой жизни, о причинах разлуки с Борисом, поняли меня в каждом шаге и решении и одарили меня – завалили! -тем двойным – мужским, женским, человеческим сочувствием, которое мне было так бесконечно нужно тогда.

Как слушала Марина о Нерви! Ее, нашем... Нет! Это не было «слушать» – она со мной прошла близнеца шагом – по улочке Каполунге, где уже нет «Русского пансиона», как нет тех десяти- и восьмилетних Муси и Аси, бродила со мной по грифельным скалам Средиземного моря, где остыл след наших костров, по каменным ступеням лесенок, шедших к морю. На миг оторвавшись от Сережи, крепко сжав его руку.

И гору Портфино увидела падающим в море, мордой вперед, медведем, как мы за Янычарами в Коктебеле – прыжком по этим горам, близнецовым – назад к Сереже, к его невыпущенной руке (а я стою одна в их номере парижской гостиницы с одной телеграммой Бориса в кармане...).

Рим, Флоренцию и Венецию – все вглотнула Марина, и тот не виденный мною Милан. Как она слушала! Мост Вздохов! Мамины и Эллисовы Данте и Беатриче – Маринины! Как они запылали в ней! Форум, прославленная песнями Пиацетта – Марина Цветаева их на земле не увидела? Не посетила? Так скажут биографы? О ш и б у т с я!..

Лувр! Темно-серый дворец, глубокий колодец, где в тиши – шепотах, осторожных шагах идущих не хватает сил, дыхания, восхищенья обозреть половину. Где мой восемнадцатый год, тайная горесть и недоумения, усталость начала первых месяцев беременности и – природное озорство, подняв голову, еще только ступив на ковер лестницы, заявляю: «Не

буду осматривать знаменитых картин. Только одну Джоконду!» (И что по пути к ней!)

...Вот она, возвратившаяся из странствий украденности, в воровских руках побывавшая, и в руках маньяков, и в земле вновь цветущая (хоть за ней – слух, что не она это-копия! оригинал – «там...»), но и моим в живописи не сведущим глазам ясно: она! Таких не бывает копий! Леонардо, твоя!

Я стою и гляжу, и не могу наглядеться, и кто же наглядится на тебя! Не улыбка, а только ее начало, то самое утро любви – и века печали, встреча и расставание, гордость молчания и кротость сложенных рук...

Кладбище. Часовня: Бастьен Лёпаж и Мария Башкирцева. Стеклянная дверь. Большая комната. Потреты Марии в рамках. Ее мраморный бюст. Мертвенной белизной он пытается повторить ее розовую белизну и сиянье золотово-лосости. На середине пола нечто, указующее спуск вниз: там – склеп, две могилы. Рядом легли учитель и ученица, один за другим, она – вслед за ним, в землю сошедшие. Не коснувшись друг друга. Как Леонардо и Джоконда. Последние слова ее дневника. «И так умереть, в 24 года, на пороге всего...» «Мне слишком трудно подниматься по лестнице...» Стою. Смотрю туда, где во всю стену – последняя картина Марии: углем, огромная, бледная, так не сходная со всем дотоле написанным, реалистическим, ее мальчишеским (известный ее «Митинг»), Нереально (если память не изменяет) –

скамья. Дерево. Не платан ли? В воздухе ли с него листья? На земле. И фигурка женщины. В темноте! Уходящее, тающее, прощающее - отступающее. Оступающее, слабея, в смерть?

...И это вечное парижское утро! Рано. Пласты солнца по широким плитам тротуаров. Ряды платанов, их широколиственная тень. Молочная. У дверей ослик с тележкой и молочными жбанам. Дети, мальчики в фартучках (на спине крест-накрест) играют в волчок. Кто-то приходит с бумажным мешочком горячих каштанов... Тут вечно парижское утро...

Как приезд мой в Париж обертывается обратной стороной бинокля, бледнея и тая, так и отъезд. Я не помню его. Ни прощанья с моими близкими. Слишком острой болью он оборачивается. Боль поглотила вокзал, свертки с бананами, шоколадом, сыром, всем, что совали мне, знаю, Марина,

Сереза наперебой. Книги, чтоб за чтением не думалось... Обещанья писать письма: Палермо - Москва и Москва -Палермо... И мой поезд мчится в Москву.



## ГЛАВА 29. СНОВА МОСКВА

И вот я в Москве, дома. Я живу в маленькой, наверху (где в детстве стояла кровать брата Андрюши и над ней в овальной черной багетной рамке фотография его умершей мамы). Где два-три года юности жила Марина. Мои последние недели в покидаемом отцовском доме! Венчанье – после Пасхи.

Перед венчаньем я прохожу залой, гостиной, вхожу в кабинет папы. Сердце бьется.

– Папа, – говорю я и не могу унять волнение в голосе, – я пришла просить твоего благословения! Благослови меня...

Папа тронут, он не ждал от меня такого старинного в революционные годы. Он встает, идет в спальню, выходит с иконой. Лицо его тепло и взволнованно. Я становлюсь перед ним на колени, наклоняю голову. Папа благословляет меня – истово, как благословил бы его отец, мой дед, отец Владимир. Я встаю и целую папину руку. Ему не удается ее отдернуть, как он хотел. Он нежно целует меня, благодарный за нежданное в новом поколении, кроткое прилежание к старине. И я еще раз целую его руку.

Мы ехали в церковь по-новому, на автомобилях. В ту минуту, когда трогается наш кортеж (папин автомобиль впереди, мой – за ним), я замечаю, что мы забыли розовый атласный коврик, на который должны ступить жених и невеста. В смятении мы велели шоферу повернуть назад! Но с переднего автомобиля усердные и повелительные знаки – не возвращаться: папа, придерживаясь старины, что это – дурная примета для брака, не позволяет. И мы поворачиваем за ним, вперед.

Ранняя весна в лесу. В скромной церкви села Всехсвят-ского «Убежища увечных воинов» тихо и

солнечно. В первый раз я вижу Николая Трухачева, брата Бори (причину нашего раздора и отъезда Бориса в Россию месяца три назад). Он высок, в пенсне, шатен. Лицо строгое. На Борю и похож и не похож. Хуже! Его товарищ, второй шафер Бори Николай Александрович Зубков. Русское простое лицо; оба в студенческом. А мои – как хороши оба! Один лучше другого!

Андрей – в студенческом мундире, стройный, высокий узколицый, карие глаза, темные кудри, красавец! И словно с картины сошедший с детства друг Бориса – Боря Бобылев: тоже высок, волосы тоже волнистые, каштановые, севернее, светлее Андрея. И эта девически юношеская красота черт-Дориан Грей! Но всех их прекраснее – Борис! Во взятом напрокат, сюртуке, впервые в жизни надетом, точно на него сшит, точно всегда в нем ходил, – природная, кровная грация! Цвет его пышных, совсем светлых волос, строго назад зачесанных, строго срезанных у шеи и лежащих легким шатром, того же цвета, что солнечные лучи по церкви. Борис взволнован? И отчего же взволнована я? Я этого не ждала.., Старичок священник соединяет Борисову и мою руки.

Что-то творится с Борисом. Он бледен и очень серьезен. Мы забыли, что над нами шаферы держат венцы, что родные и друзья позади, мы идем за стареньким батюшкой вокруг аналая торжественно, поглощенно. Ни один из нас не заметил, кто первым вступил на белую атласную полоску, церковную, положенную под ноги. Поверье старины: кто первый вступит, тот будет главенствовать в доме... Шлейф, вуаль. Хор. И трепет свечей вокруг.

Свадебный обед – в ресторане «Прага» у Арбатских ворот, Во втором этаже. Смеющееся личико подруги моей Нины Мурзо. Доброе – ее брата Жени, строгое – Николая Сергеевича Трухачева (он беседует с папой об университете). Его и Борина сестра Маруся, его

товарищ Зубков (говорят, гитарист и певец), брат Андрей, наша экономка Александра Олимпиаевна и молоденький граф Татищев, товарищ Бори, знакомый мне по катку, особняк их где-то на Спиридоновке. Он – почти мальчик. Я забываю еще и еще кого-то. Помнится, было 14-15 человек.

Папа подымает тост за дальнейшее успешное учение присутствующей молодежи. Бокалы всех усердно тянутся к нему.

Стол был красив. Цветы, блеск, вина, фрукты, фарфор.

Я не помню еды. Первым, устав, и к прерванному труду поднялся ехать папа. Ему в то время было около 65 лет.

Нам с Борисом подали автомобиль. Весенний ветер треплет вуаль, серебристую, я ее отвожу от лица, запахивая манто, – мы его в Ницце купили, темно-зеленое с черным,

поправляю мой восковой флёрдоранж в волосах. Борис сел рядом.

Автомобиль – открытый. Из распахнутых окон нами покинутой залы – поздравления и приветствия, нам машут руками, цветами, платками...

Автомобиль уже мчится по Поварской, к нашей новой квартире в Предтеченский переулок, я все отвожу от лица вуаль, и ею играет ветер...

## ГЛАВА 30. ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ<sup>1</sup>

После многих сомнений и колебаний день открытия Музея назначен в 1912 году на 31 мая. В те же дни предназначалось открытие памятника Александру Ш-му, над Москва-рекой, близ храма Спасителя и маленькой церковки, слева<sup>2</sup> – у тогдашних Пречистенских ворот. Был год торжеств по поводу 300-летия «дома Романовых» (династии). Я не знаю теперь, какое из этих двух торжеств: памятник или Музей – было раньше: опишу, как удобнее по ходу рассказа.

Позднее теплое, может быть, и жаркое утро. Толпы под строгим наблюдением полицейских, конных и пеших, ждут момента, когда взовьется покрывало, скрывающее от москвичей памятник.

Марина и я, и, вероятно, Сережа и Борис тоже здесь. Томительно-беспокойно и долго. Голубые небеса, блеск Москва-реки и золото кремлевских куполов. Вьются трехцветные флаги. Наконец, по взмаху чьей-то руки в белой перчатке тяжело и не сразу – и кто-то уже, в поте лица, -волнуется о задержке, – разворачивается и подымается, и скользит тяжелая занавесь, окутывающая фигуру (бронзового? каменного? – по помню) царя-великана. И толпам предстает, сидя на постаменте, на троне, широкоплечая фигура Александра Ш-го, с широкой бородой-лопатой. Все помнится мне в памятнике, которым вряд ли заблистало имя скульптора – прямоугольным: трон, плечи, борода, голова и то, что ее украшало (корона? венец?). Было ли портретное

<sup>1</sup> Каталог «Марина Цветаева. Поэт и время / Выставка к 100-летию со дня рождения (1892-1992)». М.: Галарт, 1992. С. 31-35. Публикация С. Айдиняна.

2 Теперь там нет ни памятника, ни обеих церквей. Местность – водный бассейн.

сходство с царем – не знаю, я не видела его. Но памятник видимо, мало понравился москвичам, потому что вскоре пошла из уст в уста, у ворот, на бульварах, среди простого люда сочиненная прибаутка: «Стоит комод, на комодке обормот, на обормоте шапка». Нет, было – длиннее, одно звено ее ускользнуло из памяти.

Был ли военный оркестр? Или звонили колокола? Молебен? Память мне изменяет.

И, увы, многое ускользнуло и из церемонии открытия Музея: прошло более полстолетия. Моя сестра Марина дала художественное (гротескное, как ей свойственно) описание открытия Музея. Я опишу, что помню. Но перед этим я не могу не сказать, каким взволнованным днем было 31-е мая – для нас, Цветаевых.

О папе я не берусь говорить – оно и в слова не ложится. Шестидесятипятилетний, вынеся удар после маминой смерти и последних напряженных лет непосильных трудов по обоим Музеям (Румянцевскому и новому, им создаваемому) и в Университете, на Высших женских курсах, где читал лекции по истории изящных искусств; после нескольких обострений сердечной болезни, вынесший травлю министра просвещения А. Н. Шварца, папа держался только крепостью духа, непостижимым упорством радостного служения делу, высоким счастьем близившегося исполнения непомерного своего замысла и труда, светлой верой в великое назначение Музея, в просвещение грядущих поколений России. Что испытывал он в тот день 31 мая – как описать. Я помню нас, его родных, его близких друзей из младшего ему поколения – профессора-классика Аполлона Аполлоновича Грушка и Алексея Ивановича Яковлева (тоже уже профессора тогда?), часто нас посещавших. Они, как и мы, с трепетом ждали

великого дня. Я знаю, что их было много, и кроме них все папины соратники по Музею, и любимые и любящие ученики (из них я встретила на торжестве пятидесятилетия Музея профессора Алексея Алексеевича Сидорова, Веру Константиновну Андрееву-Шилейко и Ксению Михайловну Малицкую, самих уже старых, сказавших о папе слова сердечной и восхищенной преданности). Знаю, что их было, не названных мною, – множество. Но мне было в те дни только семнадцать лет! И я помню ту сосущую тревогу о папе в нас, его

непослушных и трудных детях, в нас, таких разных от двух папиных браков, в нас четырех.

Папа, безмерно утомленный, ложился уже всегда поздно ночью. Видя его резко постаревшим за последнее время, мы понимали, что он именно теперь может рухнуть, не дожить до открытия Музея!

Ждали ли мы Добротворских? Елена Александровна, кухня папы, с юности тепло входила во все тудности и дела его жизни. Ни первая, нежно любимая жена папина – Варвара Дмитриевна Иловайская, ни мама, Мария Александровна Мейн, его друг и помощница по Музею, не дожили до его дня! Обе ушли на четвертом десятке лет...

Помню Анну Александровну Адлер, Лёрину крестную (подругу ее мамы), Надежду Александровну Сытенко (подругу мамы). Обе еще красавицы, светские женщины. И, конечно, нашу дорогую Драконну, Лидию Александровну Тамбурер.

Но отрывочна моя память – то нездоровилось, то брало время и силы устройство новой жизни в отдельной квартире, то приходилось (занятие Марине и мне ненавистное!) ездить к портнихе: этикет торжества, на коем будет присутствовать царская семья, предписывал: дамам – белое закрытое платье.

А мое венчалное было немного открыто, шитое по моде Первой империи, и были беседы с Елизаветой Евграфовной<sup>1</sup>, с Лидией Александровной, и поездки с Александрой Олим-пиевной<sup>2</sup> к портнихе, преемнице знаменитой Ламановой, с кружевами «велансьен» для высокого воротника – ими было отделано платье. Марина, шившая венчалное уже в мысли о Музее, избегла мучения этих поездок.

Мужчинам этикет предписывал – сюртук (фрак?), тот самый фрак из песенки Беранже, о котором так трогательно пел под гитару Петр Николаевич Лампси, закатывая черные, как маслины, греческие глаза? Но что было делать нашим двум мужьям, столь юным, что они не только не обладали сюртуком, но и не держали его никогда в руках?

Борис было поднявшийся на дыбы против этой враждебной ему (восстание туркменских князей, стоившее им при Петре I владений и княжеского герба) одежды, был усмирен только

1 Цветаева, хена дяди Мити.

2 А.О. Галдина – экономка Цветаевых.

теплым Сережиным юмором, завлекательным, и включился немедленно же в игру. Называя друг друга «дорогой», пародируя Добчинского и Бобчинского, они собрались вместе ехать брать напрокат их первые на свете сюртуки.

Майская синева наполнила стеклянные переплеты потолков белого мраморного здания на площади бывшего Колы-мажного двора на Волхонке. Жара ли – или множество людей и волнение делают тягостным ожидание?

Я не помню ни министра Витте, ни древнего сановитого старичка в золотом мундире, ни Иловайских (Маринины воспоминания). Но я бы хотела не забыть в том дне архитектора Романа Ивановича Клейна и другого сподвижника папы, главного жертвователя, на

средства коего много лет рос Музей, - Юрия Степановича Нечаева-Мальцева. В апофеозе папином, потоком солнечной теплоты освещенном Мариной, этим двум принадлежит заслуженная ими честь. Приезды, приезды. После многих движений приглашенных по главной лестнице цветного мрамора, прилегающим за колоннадами галереям, церемониймейстер расставляет нас, рассекая надвое: мужчин - по одну, дам - по другую сторону близящегося «следования высочайших особ». Душно. Тесно. Томительно. Где папа? Каким светом залиты мрамор, зеленый и розовый, лестницы, торжественная белизна залы. Стекланные потолки стремят в хлад Музея весь блеск весны. Было бы упоительно, если б немножечко больше сил... Как долго!

Как во сне, помню пробежавшее по рядам волнение, напряжение глаз, сердцебиение. Пролетающую фигуру церемониймейстера, - царская фамилия вошла в Музей.

Я помню вдову Александра Ш-го - «царицу-мать» Марию Федоровну (невысокая худоцавая дама в белом. На темных (с проседью?) волосах - маленькая, белая шляпа. Точеность черт, еще более правильных, чем черты отсутствующей сегодня «царицы-жены» - Александры Федоровны).

Царь прошел совсем близко, по красной дорожке ковра. Он очень похож на свои портреты в присутственных местах. Роста не выше среднего, еще молодой, русый. Усы и бородка. В военном мундире. Большие, яркие, длинные «романовские» глаза, о которых Марина позднее:

Помянет потомство  
Еще не раз -  
Византийское вероломство  
Ваших ясных глаз...  
Ваши судьи  
- Гроза и вал.



Царь, не люди!

Вас Бог взыскал!

Эти стихи 1917 года кончались в моей памяти так:

Царь, потомки и предки – сон:

Есть котомка, коль отнят трон.

(Легенда об Александре 1-ом, Федоре Кузьмиче?)

Я вижу папину немного сутулую, уютную фигуру в черном профессорском сюртуке рядом с царским мундиром. Наклоненная круглая седая голова папы выше головы царя. (Так они проходили, после торжественного молебна, весь путь осмотра Музея в то время, как (он позднее нам рассказывал) царь задавал вопросы, и папа на них отвечал.) Почему я не помню четко ни молебна, ни духовенства? Может быть, потому, что мое внимание было привлечено необычайным зрелищем стройного восьмилетнего мальчика на руках (в той позе, как носят двухлетних – высоченного матроса, бережно, как нянька, охватившего его здоровенными своими руками, внесшего его в залу Славы и так державшего наследника все время длившегося торжества). Мальчикова рука на шее дядьки, привязанность «царевича», обреченного на смерть (матерью) к няньке-матросу, вызывала в памяти другого обреченного (отцом) царевича Алексея – сына Петра Первого. И другого мальчика с другим дядькой – Гринева с Савельи-чем. Все знали «наследника» по серии его портретов в витринах магазинов и под каждым – его длинный титул, так не идущий кудрявому младенцу и позднее – мальчику в матроске, по-военному отдающему честь. Видела я его в первый раз. Он был красивее всех царских детей. Тогда усиленно ходили слухи, что он не сможет царствовать, так как болен гемофилией (несвертывание крови) – стоит ему в игре упасть, оцарапаться – кровь идет, и ее останавливают с трудом. Называли имя знаменитого доктора Бадмаева, говорили (позднее, впрочем) о

словах, сказанных Григорием Распутиным, что цесаревич-наследник проживет лишь до 14-ти лет.

Умрет! – Уже в 8 лет не может бегать, играть, как все дети! – думала я, сама неся в себе маленького сына, глядя на большого мальчика на руках дядьки.

Мрамор, свет, блеск под солнечными потоками через стеклянные потолки. Цветные колонные лестницы, белоснежные – в зале Славы...

Два слова о царских дочерях. Мы их с детства знали по календарям. Старшие – Ольга и Татьяна – были примерно нашими с Мариной однолетками. Мария и Анастасия – моложе нас. Ольга более узколица, чем сестры: русское лицо. Своеобразнее – Татьяна: чуть выдающиеся скулы придают ей что-то татарское. Все они в белом, в больших белых шляпах. Мария – ярче, красивее сестер, она еще подросток. Моя тезка, Анастасия, родившаяся в моем раннем детстве – узколица, светлые волосы подрезаны на лбу, как и у Марины, и у меня в детстве, как у девочек тех времен.

Но вот все это – ожившее с календарей, проблеснув, пройдя в двух шагах от нас, двинулось дальше, а затем – торжество освящения, молебен.

Я помню свою усталость, жару майского дня, долгое стояние в рядах дам – и вряд ли это было менее томительным, чем медленное продвижение в толпе по парку Ясной Поляны осенью 1910 года. Тогда страдали мы от холода, теперь – от жары. Близоруко щурясь, искали мы глазами своих среди блиставших орденами, звездами и мундирами сановников, представителей знати и просвещения Москвы, а может быть, и России. И, думаю, все это покрывалось накаленным волнением за папу, за его волнение сегодня, его путь сейчас бок о бок с сильными мира сего, в этот его долгожданный, неповторимый день. И было тихое торжество радости в наших своевольных, своенравных, не в него пошедших сердцах: не папе дарят что-то сейчас сильные сего

мира, а он дарит всем, кто сейчас здесь, всей России – созданный им Музей!

Как мало радости принесли ему – мы... И как много – этот его сын, в мрамор заключивший все сокровища истории. Этот наш, сегодня венчаемый, брат! «Колоссальный младший брат!» – как сказал тогда кто-то из нас. И как принимает царь Музей из рук папы, он, подписавший его несправедливое увольнение из Румянцевского Музея, да еще без пенсии...

...Папа проходил с «высочайшими гостями» по залам Музея, показывая и разъясняя, как всегда поглощенный предметом беседы, а мы, стоя в рядах белоснежных «высокопоставленных» дам, отыскивали близорукими глазами наших юных мужей в их первых на веку сюртуках и

сине-зеленый студенческий – при шпаге – мундир брата Андрея, в котором он казался юным генералом 1812 года, живущим ровно столетие назад...

Увы, я не помню здесь описанную Мариной Анастасию Модестову – дочь папиного друга (полужитаянку, пылкую его поклонницу) – я о ней писала в предыдущих частях – о весне 1909 года.

Жалею, что не помню упомянутые Мариной поднос, нами преподнесенный папе, и лавровый венок, на этот поднос положенный папе в час его апофеоза. Но я помню наш дом в Трехпрудном, залитый солнцем в дневные часы по окончании музейного торжества, обед, куда были приглашены близкие и родные. И помню подарок папе Марины: ко дню открытия заказанную ей золотую медаль с силуэтом Музея и на обороте надпись: «31 мая 1912 года». И мой подарок папе – огромный букет роз. («Такого он не получал никогда»,

– радостно думала я, протягивая папе розы...) И льнут к этому дню слова, папой сказанные (прочтенные мною в его биографии, написанной недавно моей сестрой Лёрой -Валерией Ивановной Цветаевой).

Вспоминая двух спутниц своей жизни, одну за другой уведенных ранней смертью: «Семейная жизнь мне не удалась, - сказал папа, - зато удалось служение родине...»

И я радуюсь, что есть фотография, где, после шума торжеств, наш отец и Нечаев-Мальцев снялись на ступенях Музея. «Дух Музея и тело Музея», как называли их. На ступенях ими завершеного дела.

## ГЛАВА 31. ДОМ НА СОБАЧЬЕЙ ПЛОЩАДКЕ

Он как-то сам пошел в руки, как голубь ручной, – чуть ли не в первый день поисков.

Разгар лета 1912 года, к осени. Мы обе ждем наших первенцев.

Марина и Сережа входят ко мне в samozабвении:

– Ася, нашли! Ты себе не представляешь!

Сережа от радости перебивая:

– Асенька, это такое маленькое чудо!.. Мы уже сняли, на три месяца! Вы сможете с нами пойти туда? Мы – еще раз?

Идем. Лиловый от синевы день. Собачья площадка, напротив Дурновский переулок. Уютная калитка в воротах.

В избытке впечатлений Марина не упомянула о том, чего

даже в Трехпрудном не было, был – камин... Настоящий камин, как в старинных книгах, которые в детстве читаешь.

– Ася, за окнами будут мчаться санки, кони будут отбрасывать снежные комья, а в каминной трубе будет гудеть огонь... Сереженька, мы здесь поставим рояль, будущий... Вот так!

Марина мерила длину стены.

– Тут – тот диван, который мы видели в антикварном арбатском... Это будет ваш кабинет, да? Где вы поставите ваш письменный стол? У окна? Мы повесим тяжелые занавески – чтобы ваши легкие...

– А как вы, Мариночка, хотите, чтобы я занимался при свете окна с тяжелыми спущенными занавесками? –

с неизменным, немного лукавым юмором, отвечал Сережа.

- А где книжный шкаф? (Так получалось, что, еще не ввезя вещи, для них уже не хватало места!)

- Марина! - кричала я из соседней комнаты. - Ты ж мне не сказала, что в этой комнате нет окон!

- Как нет? Есть окно - в потолке! Чудное окно, потолочное! - увлеченно поясняла Марина. - Это будет наша столовая! Только мне подозрительно, Сереженька, - сказала Марина, - как хозяйка говорит: «Ладно, пока сдам... Если отложу капитальный ремонт - до весны». Зачем только эти хозяйки - у таких чудных домиков?..

Мы входили в длинный коридор с истертым дощатым полом, на нем - выношенная поблекшая дорожка, когда-то в - еще еле зримых - узорах. Но стекла в замысловатых переплетах (кое-где в уголках торчали не захотевшие вылезти узенькие цветные осколки) были чисто вымыты, в них сейчас, углом, попадало предвечернее солнце, как кошка лапясь о ноги вошедших.

- Тут чудно будет жить! - сказала Марина. - Сейчас увидишь, какая же детская!

Сережа распахнул тяжелую парадную обитую дверь -черноклеенчатую.

- Узнаешь? - сказала мне Марина. - Как на черном ходу нашего дома...

В ее голосе дрогнула, неуловимо, печаль. Мы стояли в маленькой, но довольно высокой парадной.

- Бра! Видишь? Керосиновое... И шар матовый, как у нас в зале...

Через белые створки двери мы очутились в просторной комнате в два окна на Собачью площадку.

Мы стояли в маленькой квадратной комнатке - в продолжение начатой анфилады. В открытую дверь видно было - насквозь взглядом, проходя, следующее по прямой помещение - и еще одну раскрытую дверь, в

четвертую комнату. Все четыре шли по прямой, все они равнялись длиной – ширине домика. Только та, которую уже назвали столовой, была короче, так как из отрезанной ее длины состояла передняя (поэтому «столовая» была квадратная, остальные же – продолговатые). Полюбовались на мутное потолочное окно, на его стеклянные слои. В стене, противоположной передней, темнел стенной шкаф, начинавшийся не от пола, а на аршин выше: две широкие, красного дерева, полированные, с резными украшениями створки, открывавшие за собой уютную глубину, делившуюся двумя полками.

– Какая прелесть! – сказала Марина. – Тут я поставлю любимые книги: в два ряда. И три бы уставились, но вынимать неудобно...

– Но, Мариночка, это же шкаф – в столовой. Это, вероятно, скорее буфет... – заметил Сережа, закрывая створки шкафа, и повернул воткнутый в одну из них фасонный ключ. Послышался мелодичный, почти музыкальный звон.

– Чтоб в такую волшебную шкатулку ставить – посуду? – негодую отвечала Марина. – Нужели вам нужен -буфет? Тут будут жить – книги!

– Отлично! – сказал Сережа.

Это, «Маринино» окно приходилось к тем двум, «Сережиным», окнам, выходящим на Собачью площадку – под углом. Мимо этого «Маринино» окошка не могли, по идее, ее санки промчаться – за ними была глухота дворика, его мир, его уют и его тишина. Слева от окна – дверка, но она была закрыта.

Сережа тронул крючок, он неожиданно легко откинулся, и мы оказались там, где побывали в начале осмотра.

– Какие-то неожиданности, да, Ася? Вот это мне и понравилось! Прельстило, – увлеченно говорила Марина, – какое-то тут есть волшебство... Не все смогут

жить в такой квартире – ты чувствуешь? Окна, двери, где их не ждешь... Во всем этом есть замысел...

– А вот здесь у вас, Мариночка, непременно должна быть занавеска, от потолка и до полу, – не менее увлеченно говорил Сережа, – и тут она висела, это видно, деля комнату надвое. По этот бок занавески будет, наверное, ваша спальня?

– Ненавижу спальни! – сказала Марина. – Люблю спать на диване. Вид кровати – чужой вид. Тут я диван поставлю. А в эту дверь я буду выскальзывать иногда рано утром, когда не могу спать, во двор – когда встает солнце...

Не шутить Сережа не мог. Глядя на Марину обожающим взглядом огромных, скорее темных, чем светлых глаз, он сказал поддразнивая:

– А вы уверены, что оно с э т о й стороны всходит?

Ответ был вполне неожиданный (не любознательствуя – восток, запад...).

– Когда мне это поднадобится – в з о й д е т!.. – сказала Марина, поднимая на Сережу чуть укоризненный и уже прощающий взгляд.

Анфилада, так любимая нами в Трехпрудном, кончалась: мы стояли в детской. Пройдя Маринину, не остановясь перед топкой печи, незаметной, мы все разом остановились перед объемистой, выступающей изразцовым кубиком печкой, от полу и почти до самого потолка. Она являла собой как бы сердце комнаты.

– Синим обведены изразцы, как наверху, в нашей детской, – счастливо сказала Марина, – наша дочь будет любить эту комнату, как я любила – как себя помню – ту! Ты еще с няней твоей жила в Лериной (Лёра еще не кончила свой Екатерининский институт), а Андрюша еще жил со мной в детской...

Марина стояла у окна (оно, как и в предыдущей комнате в коротком торце, выходило во двор), распахув



большую - в четверть окна - фортку, и, чиркнув спичкой у вынутой папиросы, стала курить в окно.

- Не приучайтесь, Мариночка, курить в этой комнате, - голосом мягким, точно погладил кота, не удержался сказать Сережа.

Неожиданно кроток был краткий ответ:

- Тогда - не буду...

Мы выходили к началу Собачьей площадки - маленькой площадки, продолговатой. Посреди было скромное подобие

скверика. По обе длинные ее стороны - старинные дома, друг с другом не схожие, разного цвета и высоты.

- Тут, в одном из них, Пушкин бывал, - сказала Марина. - Вот по этим камням ходил... В какую входил дверь?

- В тот дом вход, кажется, был с Николопесковского! - сказала Сережа.

Распределив, где чему стоять, Марина так радовалась! Только перевезти и поставить! Но настала чудная погода. Надо было ехать в Тарусу, познакомиться Тьо - с Сережей (он ей так понравится... а Тьо - Сереже, он такой никогда не видел!). И они поехали.

А когда они оттуда приехали (через несколько дней), я узнала: Тьо сказала им, что жить по квартирам - не дело, им нужно купить свой собственный домик, чтобы устроиться в нем на всю жизнь, а не зависеть от какой-то хозяйки! Марина вспомнила про этот ремонт весной: они только что вживутся тут - а хозяйка захочет заново все переделать! Тьо - права...

И когда Тьо обещала им оплатить покупку небольшого особнячка, тогда только они поняли, что это - как в сказке! Они будут жить в подарочном доме, который они сами найдут!

Кто знает, кроме счастья, веселья и молодости, которая фантастична, может быть, в этой вдруг открывшейся жажде своего дома, романтического, -

пружиной этой вспыхнувшей страсти было то, что мы-то с Мариной хоть родились и жили в доме отца, а все же не в нашем, наследники его были Лёра и брат Андрей, дети по первому отцовскому браку, и в какой-то страшный, немыслимый день он должен был стать

- не нашим. А Лёра и Андрей были совсем другие, чем мы, и они этот дом не любили! Они говорили о его недостатках и неудобствах. Об этом они говорили согласно, хотя были совсем друг на друга непохожи. Лёра любила во всем простоту и - чтобы свежий воздух. Андрей хотел стильную, старинную мебель, говорил, что в доме собрано все разных эпох, как на Сухаревке, мечтал все устроить иначе... Обо всем этом было лучше не думать, и пока мы жили там - мы умели не думать. Теперь же, когда Марина с Сережей так одинаково все чувствовали, пусть ищут свой дом...

И тогда первый «Маринин дом» перешел ко мне - по наследству.

## ГЛАВА 32. ПОИСКИ РОМАНТИЧЕСКОГО ГНЕЗДА

- Третьего дня, вчера - весь день! Ничего, - говорила Марина. - Понимаешь, совсем все чужое. В одном доме крыльцо - как в Трехпрудном, так же выступает к мосткам, и крона дерева почти над крышей парадного, и нижние комнаты - немного похожие. Но нет анфилады. А в другом

- Арбат и родной переулок, но вместо антресолей - мезонин... И какая-то затхлая лестница...

- Вы по объявлениям ездили?

- И по объявлениям, и так... люди дают адреса. Ни от одного сердце не загорелось. Придется - в Замоскворечье... Ни одного такого двора, как в Трехпрудном. Есть уютные, точно там в детстве когда-то была. Сереже один домик понравился - но вообще без лестницы - это же не дом!

- Такой, как наш, не найти... Да и велик вам...

- Будем еще искать. Тьо так добро дала деньги! Так поняла нашу мечту - иметь свой волшебный угол... Знаешь, где искали еще? В Неопалимовском, на Плющихе - где Тьо с дедушкой жили...

- Я из того дома помню только собачью будку, - сказала я, - и собаку, и еще - кусок крыши, и на ней сережки тополиные...

- Тебе года три было, наверное, мне - пять. Когда дедушка болеть сильно начал - его повезли за границу. Они дом продали, а потом дедушка Тете стал искать усадьбу в Тарусе, чтобы ей после него там жить... Нет, я дом в Неопалимовском хорошо помню, ну, такой нам не по карману, нам - маленький! Но ты понимаешь, надо чтобы об него душа зажглась...

- Ну еще бы! Но ведь Сережа у тебя сам уютный. Борис. Ему вообще дома не надо! Никакого. Я думаю, в Замоскворечье вы...

Из Замоскворечья Марина с Сережей приехали - восхищенные. Но ничего не найдя. Марина ко мне бросилась:

- Ася, какой кот! Точно сейчас из трубы вылез! Черный!

И такой ласковый... Мурлыкал - как катает орехи, такая крупная вязь... Он так выгибал голову - противоестественно! Он ничего не замечал - он смотрел мне в глаза, понимаешь? Сережа сказал - оборотень... Но этого не может быть! У него же глаза были совсем невинные, небесные...

- Голубоглазый кот?

- Совсем не голубоглазый. Так бывает иногда на закате... Как мое хризолитовое кольцо! И при такой ленивости такое достоинство! Котинное... как в трехпрудном Васе...

- Ты изменила черному трехпрудному Васе... - сказала я укоризненно.

- Ася, как родной брат! Сережа от него увел меня - за руку... Ты сама б от него не ушла!

- Если б ты видела этот дом! - говорила на другой день упоенно Марина. - Двор - маленькая усадьба. В углу, как в нашем детстве, заброшенный домик колодца. Две огромные будки, собачьих, одна пустая, в другой - яростный пес. Но он на меня скоро перестал яроститься, махал хвостом. Я хотела к нему подойти, я уверена, он бы меня не тронул, но Сережа меня не пустил! Дом - с антресолями, сбоку похож на наш. Но большой и парадный. О цене мы и не спорили. Я просто стояла и любовалась. Два флигеля. Деревьев еще больше, чем в нашем дворе. На качелях девочка лет восьми. Сидит, чуть покачивается, ногой в землю, а на коленях - книга, читает. Я бы к ней подошла, но ее

позвали, она убежала. Целый мир! Но девочка не как мы, а с косами. Окна – в шесть стекол. Мы как будто в гостях побывали.

– У собаки? – сказала я.

– Рыжая, большая, дворняга. Но, может быть, кошек гоняет – ни одной во дворе!.. Ася, но помимо домов – какие-то чудные переулочки... Почему-то мало людей – или мне так показалось? И какие-то ласковые, и так смотрят... Знаешь, мне это все напомнило Тулу. Помнишь, в детстве с мамой ездили в Тулу? Какой-то особый уют. Хорошо, правда? Сереженька, если мы в Замоскворечье поселимся? Даже на Тарусу немного похоже – кусты бузины... мальвы под окнами...

Вскоре, может быть – на другой день, Марина пришла усталая.

– Не поедем сегодня! Передохнем. Собственно, один дом остался-в душе, – но, наверное, не по средствам: очень уж какой-то торжественный – правда, Сережа?

– На Ордынке тот? Да, но он очень стар, там ремонт нужен... и слишком уж много комнат, ни к чему. Да и дорог, конечно... А хозяин – в нем что-то от Диккенса, да? Такой

– лорд! И мне кажется, злой... Но – картинный!

– Он на Плюшкина был очень похож, – сказала Марина

– только моложе. А еще в одном – Ася, какая собака! Ты знаешь, мне кажется, я никогда не видела такой собаки!.. Я бы из-за нее одной могла купить тот дом... Но Сережа не согласился: говорит через год – рассыплется...

– Проще было бы собаку купить!

– Они не продавали! Кто же такую собаку продает?!

## **ГЛАВА 33. НАХОДКА. ДОМ В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ**

- Ася, все решено! - сказала однажды в прекрасный день Марина. - Покупаем! Уже и сил нет искать дальше, но главное - мы нашли дом, который похож на трехпрудный! Не все, конечно, но и лестницы, и антресоли, и такие же друг за другом зала и гостиная, и за гостиной - маленький кабинет! Я ненавижу спальни, ты тоже? Сережа будет жить внизу, в кабинете, - а я - наверху, рядом с детской. Тебе понравится, вот увидишь! Моя комната длинная, небольшая, и два окна друг к другу углом, как у тебя в углу в нашей бывшей детской! Сразу видишь все закоулки двора! Там большая береза, и возле нее маленькие, и кусты. Кусты всюду. Сегодня не можешь? Тогда адрес запомни. Может быть, сама к нам приедешь, мы там будем завтра до вечера! Улица Полякова. А дом - в переулках, на углу Первого Казачьего и Екатерининского. Очень тихие. Такая провинциальная старина... Мы будем очень торопиться с перевозкой вещей - ведь из разных мест: у Лили и Веры, из Трехпрудного... Я уже папе сказала, он обещал посмотреть. Лучшее из всего, что мы видели, - и как-то совсем отдельно, как будто маленькая усадьба. Мне даже показалось так: выйдешь, завернешь за угол - и река, косогоры... Сережа сейчас у сестер. Хочет забрать свои книги, учебники. Как только переедем, сразу засядет учиться, хочет скорее сдать экзамен, при округе... Только бы температура не помешала! Но печи - хорошие, туда соседка их заходила, пожилая, уютная. А наверху - три комнаты. Одна даже лишняя - большая, как детская. Но моя странная, узкая и волшебная. Я сразу почувствовала, что - моя...

- Яоченьза тебя рада! Наконец! Завтра приеду.

И во вдохновении, от Марины зачерпнутом, я на другой день окунулась в ее восхищение. Двор, какой двор! Акации и тополя, как в Трехпрудном, а посередине - береза! Кусок

Тарусы. В пустой будке собачьей - увы! - пса не было, но он будет! Дом без пса? Но коты мелькали, разношерстные, дикие, - приручатся!..

...Почему-то двое ворот, под углом! В разные переулки! Так только в детских книжках бывает!

Будущий мой сын не давал быстро взойти на лестницу - Марина еще всходила легко. Наверху, на площадке лестничной, меньше, чем обводили перила, - так в нашем детстве было - три двери: две напротив друг друга, а одна - перед последней ступенькой. Эту раскрыла Марина:

- Детская! Видишь: просторная, чтобы бегать, потом... Тут - кровать, а тут - нянина. Няньки у печей любят!

Выходя, показывая направо:

- В эту комнату я еще ничего не придумала - какая-то без уюта, еще непонятная. А вот эта дверь - в мою! Иди осторожно, не задень за угол перил!

Мы стояли в комнате вдвое уже, чем детская. Чем она казалась странной? Может быть, тем, что окно в ее правом торце расширяло ее ширину, в то время как второе окно, если стоять у торца правого, было почти незаметно, вписано в конец длинной стены. И отчего-то казалось, правда на миг, пока не сообразишь, что наверно, комната не прямая, а с поворотом - поворота же не было.

- Нравится? - увлеченно сказала Марина. - Теперь слушай: книжный шкаф, мамин, будет у Сережи внизу, в кабинете. Мы купили на Арбате, в антикварном, два кресла красного дерева, может быть, их тут... Посмотрим! А вот мечту мою давнюю (мне стало трудно

по антикварным) -Сережа давно уже ищет. Я говорю о шарманке! Я ее так хочу, но вот в этой комнате ей как-то нет места, шарманка должна иметь свой, глубже, чем комната, угол... Чтобы она о т т у д а, из глубины играла...,Раз ее невозможно носить!

Мы спускались.

- Когда научатся по этой лестнице дети спускаться?  
-раздумчиво сказала Марина, пропуская меня вперед.  
-Держись за перила! Наши дети, когда и мы-то не очень... Падать они будут, что ли?

- Мы-то не падали? Отчего-то не падали!

- Да, но та лестница была как стрела, а эта какая-то с поворотами... Тут одна ступенька - вдруг - маленькая, я

чуть не упала вчера, ожидая, что она глубже. Ася! Уборная в углу, под лестницей. А напротив - совсем ненужная комната: никакая и на отлете. Мы, наверное, ее сдадим: пусть кто-нибудь живет, сам по себе. У выхода. Зачем-то такую комнату выдумали?

Мы входили в первый этаж дома - с черного хода, с низа лестничной клетки.

- Полукруглая, понимаешь?

- Очень странная. Никогда полукруглых комнат не видела.

- Во сне видела. Но эта - отчего она темно-желтая?

- И это не обои, по-моему, - сказала я неодобрительно, -это какой-то состав... И как-то пахнет особенно! Марина! Тут же нет окон!

- Да, окон нет... А тут негде им быть: кругом комнаты!

- Я никогда не видела комнат без окон...

- Ты знаешь, она вовсе не полукруглая, у нее углы полукруглые! - сказала с интересом Марина. - Как у багетных рам.

- Я бы не хотела жить в этой комнате!



- Да никто и не будет, - сказала Марина. - Здесь будет столовая...

Дверь, через которую мы вошли, была посередине комнаты. И справа и слева было еще по двери. Впереди стена была цельная, глухая.

- Как ты хочешь обходить низ? - спросила Марина. - Справа, через залу и гостиную, или слева, через Сережин кабинет?

- Через залу! Хочется ко всему приглядеться, свыкнуться! Из столовой - как в Трехпрудном, дверь в залу... Но там зала была высокая, а столовая низкая, под антресолями. Тут - антресоли... Как же так получается, что ровная высота?

- Я этого ничего не понимаю и не пойму! - твердо и без тени любознательности сказала Марина. - Смотри: так же как из залы был выход вправо, в переднюю, а влево тоже идет анфилада: зала, гостиная, кабинет. Если эти комнаты увеличить в лупу - то будет Трехпрудный! Как же я могла не купить этот дом! И ведь не бог весть сколько Ты могла подарить мне - но хватило как раз! Сколько Ты дала мне, столько и назначили. Точно знали, что больше нет! Как во сне!

Мы медленно обходили одну за другой комнаты. Но, в то время как Марина говорила о сходствах двух домов, я молча замечала их различия: зала была не угловая, не выходила, как в отцовском доме, частью окон во двор. Не было той, улетающей к потолкам, высоты, все было сжато, приземисто. Деформировано - но это надо было скрывать от Марины... Раз она так видела... Мне надо было себя тренировать на видение сходства, чтобы хоть приблизиться к ее состоянию счастья. Что-то было грешное в моей зоркости, беспощадности наблюдения. «Я должна раствориться в Маринином состоянии!» - сказала я себе строго.

В зале было, помнится, три окна: в Первый Казачий? Екатерининский? Этого я тогда не знала и - далее будет

ясно почему – не знаю и не узнаю теперь.

– Тут был у нас в Трехпрудном буфет, – сказала Марина и показала на пустой угол между передней и залой.

– А сбоку и над амбразурой окна висел – столько лет! – портрет Варвары Дмитриевны Иловайской...

«Опять о несходстве... – сказала я себе укоризненно, – ни одного слова об этом...» (И точно помогут мне в этом решении). «Переступив порог» – его не было – из залы в гостиную, я остановилась: два полукруга кафельных печей влево по ходу, такое – повторение печей гостиной Трехпрудного, что шаг замер: мы стояли точно в по волшебству уменьшенной, с детства знакомой гостиной – ниже, уже, но макетно повторенной!

– Поняла, как похоже? – радостно сказала Марина. – Как же не купить нам это? Чтобы к чужим людям попало это невероятное сходство? Никому, кроме нас, не нужно? Зала, гостиная – те же! И передняя! Я как вошла... Точно как там поставлю два дивана, напротив друг друга, купим старинные, и столы к ним – овальные, круглые... А возле печей – подставки закажем высокие (канделябры, они есть!). Люстру купим, с подвесками. Помнишь, какой-то упал, хрустальный, и в нем огоньки, разноцветные... Только бы Сережа не надорвался с этими своими экзаменами! Мамина чахотка и к нему прицепилась... (вздых). Хочет в один год все, столько! Разве возможно? Больной с пятнадцати лет.

Но, войдя в кабинет, вы оказывались в совсем другой комнате, решительно непохожей на папин: и не только тем, что папин был большой, по размеру равный гостиной, а тем,

что комната была просто крошечная, в одно окно, выходившее в закоулок двора, в той стене, где у папы были книжные полки – целая стена книг, папины два выходили на улицу как и зала, и гостиной, удлиняя

фасад (в доме Трехпрудного было семь окон фасада, в этом, стало быть, – пять).

Но неожиданный уют был в этом будущем кабинете, заглядывающем в зелень двора узеньким карандашным окном. Собственно, эта крошка слила в себе две комнаты: кабинет и спальню, которой тут – не было. А там, где из спальни Трехпрудного была дверка в маленький коридор к черному ходу, тут, в левом боку этой комнатки, была дверь в ту темно-желтую столовую. Так дом, проглотив спальню, или же ее не родив, являл собой частичное повторение дома в Трехпрудном, пятиоконный фасад вместо семиоконного, бес-спальный дом, но лестничный, антресольный и березовый (в Трехпрудном берез не было!). И была наша молодость, заменив детство, – радость и мощь нам принадлежащего будущего!

Так казалось нам. Кто же умеет видеть будущее? Кто поверил бы в тот час – наш, сегодняшней час, в закон превращения, более могучий, чем явь, нам в тот день так трезво служивший? Только в музыке звучит он, закон катастроф, слияния прошлого с будущим, неожиданностей, грохота черного грома – с арками радуг, глотающих гром, открывающих вход на небо! Но к чему тут метафоры? Я только хочу сказать, что не напрасно детство боком прижато о юность – и кто же их разберет? Не тот же ли закон детского одиночества, льнущего к книгам, к вещам, к животным, открывался Марине в те дни в законе, названном счастье?

В слиянье с другой душой, неожиданной и близкой, ближе даже, чем две наши души? Он уже входил с черного хода, высокий, веселый, все знающий, радостный, – в нем она могла утопить каждый свой вздох. Кто поверил бы тогда в грядущие катастрофы сознания, способные – разлучить?

«Разлука» называется через несколько лет книжка стихов, крик души Ярославны, Психеи и Эвридики!

Всему свое время -и слава закону жизни, умеющей иногда - не спешить...

Был солнечный день. Подводы везли к дому вещи, выгружались сундуки, шкафы, столы, диваны и кресла. Бурно, как громовые раскаты, шла расстановка всего, примерка, перестановка, гремела шагами лестница - это

счастье вселялось в дом, где скоро откроет глаза Ариадна, огромные свои, как у отца, только светлые, сказочно-недетские глаза. Кто посмеет при мне утверждать, что жизнь Марины - трагедия, что Марина была несчастна? Шли не дни, шли годы - и счет я им знаю, - нет, они бесконечны - Марина была счастлива!

## **ГЛАВА 34. ЛЕТО. МАРИНА. СЕРЕЖА. ТЬО**

Мы живем на Средней Пресне, в Предтеченском переулке. Доустраиваю квартиру с охотой. Радость тормозится равнодушием Бориса: уют, мной любимый, ему не нужен. Он помогает вешать, нести вещи, отстраняет меня от тяжелого, вредного, но душой не участвует.

Летний вечер. Устюша отпущена – суббота. Завтра мы сами будем готовить, мы уже составили меню по Молоховцу. Борис упивался странностями названий, предлагал самые невозможные, невыполнимые и так чудно смеялся, так потирал руки, ходя по комнатам и фантазируя, что все тяжести спали с души!

...Марина приехала из Сицилии! Смуглая – и выросла? Они всегда вместе, Марина и Сережа, и ни одних стихов о Сицилии! Они, может быть, поедут в Тарусу – должен же Сережа увидеть места нашего детства!

– А тарусская дача навеки ухнула! Андрей прозевал? Ты писала, конечно с дачей?

– Андрея обманули, чтобы не шел на торги.

– Торги город назначал, а Петров, земский начальник (брат Лоры, за которой Андрей немного ухаживал), ему накануне:

– Какие-то торги... Вы пойдете? Кто к ним пойдет?

– А вы?

– Не собираюсь (коварно)!

Андрей не пошел, и дача досталась Петрову.

– Наша дача! – говорит Марина. Все детство! Господи!

И где умерла мама... Какая подлость города - не нам, почти двадцать лет снимали, столько раз хотели купить, они все оттягивали... Что им профессор? Земский начальник важнее...

...От Марины - письмо из Тарусы. От Тьо. И стих:  
Читаю их - вздох. и

Да, даже Коктебель, даже Нерви Тарусу не могут затмить! И Марина теперь пишет об этом.

В светлом платьице, давно знакомом,  
Улыбнулась я тебе из тьмы.

Старый сад шумит за старым домом.

Почему не маленькие мы?..

Не целуй! Скажу тебе, как другу:

Целовать не надо у Оки!

Почему по скошенному лугу

Не помчатся нам вперегонки?..

И вот - другое, Сереже:

Все твое: тоска по чуду,

Вся тоска апрельских дней,

Все, что так тянулось к небу,

По разумности не требуй,

Я до самой смерти буду

Девочкой, хотя твоей.

Тьо подарила Марине к свадьбе денег на покупку скромного особняка, зная, как Марина любит старые дома. Домик купили за Москвой-рекой.

- А тебе, Ася, Тьо завещает свою усадьбу Тарусскую...

- сказала Марина.

Странно, что я не помню дворника в этом Маринином доме, и могло ли так быть - дом без дворника? Но я положительно не помню ни одного признака дворника, и в этом тоже было отличие от дома в Трехпрудном, неотделимого от Ильи, Антона и Алексея с их гармониками, картузами, тулупами, фонарем и звонками к ним, вроде Алексеева «коровьего

рева», тщившегося вызвать его из глубей младенчески-молодеческих снов.

Из сеней в Маринином доме, купленном за сходство с домом в Трехпрудном, шла лесенка на антресоли, уютная, но на лестницу нашего детства не похожая, так как в этой было два марша под поворотом, а наша была прямая, стрелой вверх.

Когда в распахнутые окна Маринино и Сережиного новоселья шел горячий солнечный день, а в распахнутые двери вносили мебель Трехпрудного или из антикварных магазинов (Маринину и Сережину усладу), верилось, что жизнь здесь настанет надолго и будет настаиваться, как

вино... (Что этого не случилось – в том тайна, быть может, и эпохи, и, конечно, сердец въезжавших...)

Устав от распоряжения мебели, мы садились в уголке двора и начинали выбирать имена будущим детям: Алексей, Андрей, София, Леонид, Адриан (AdrienneLecouvreur), Сара (Бернар), Нина (Джаваха)... Пересыпали их в руках, как нервийские цветные стеклышки, отшлифованные Средиземным морем, как коктебельские сердолики, халцедоны, агаты... И нам не хватало дня!

## ГЛАВА 35. РОЖДЕНИЕ СЫНА

Лето в Москве! Как знакома эта начинающаяся пыль вперемешку с запахом масляной краски – где-то красят дом; крики разносчиков, продающих первые ягоды, первые сливы и яблоки. Сады, сады, скверы; бульвары – их густая, как лес, череда через всю Москву: Сретенский – Рождественский – Петровский – Страстной – Тверской, коронованный памятником Пушкина, – Никитский – Пречистенский, и другой чередой: Новинский – Смоленский – Зубовский, густые, как парки, как лес, как Александровский сад.

Был августовский вечер, когда я сказала Борису:

– Я что-то устала... Вы мне вслух почитаете? Сейчас уж почти вечер!

Я ложусь на диван, а Боря садится рядом, и мы проваливаемся в Ноздрева и Чичикова, в Манилова, Соба-кевича и Коробочку волшебством его мгновенного перевоплощения, неподражаемым талантом чтеца!

И вот в это самое время, прямо в голос отца, прямо в Гоголя, – начал рождаться наш сын.

...Томительная ночь – позади.

– Поздравляю с сыном! (Кто сказал? Акушерка? Доктор?)

Блаженно: я знала, что сын.

Мне к лицу совали большую белую куклу, двигавшуюся под свивальником, розовое личико из белой пеленки, окружавшей его наподобие чепчика. Глаза темно-сизые, резкие ноздри. Рот готовился плакать. «Восемь часов пятнадцать минут!» – сказал кто-то.

– А отец уж который раз приходит! Пойтить сказать...



Помню оживленное, растроганное, будто заострившееся после ночи лицо Бориса, глубину улыбки, смягчающую остроту его черт, и в луче, у плеча, – горящие солнцем светло-золотые волосы, тонкие, как у меня, пышные, как пух. Он сидит, опустив меж колен руки, ко мне нагнувшись. Просит не говорить – устану. Смотрит на сына, и лицо такое взволнованное, точно не я родила, о н родил!

Слышу, как папа проходит по палате, наклонив голову, стоит над своим внуком, первым, от младшей дочери, как подходит ко мне, целует, садится у кровати, как велит не говорить, лежать тихо... (Вспоминает, как Марина родилась, за ней – я? Так вот лежала мама... Или помнит, как восемь дней выздоравливала первая жена его Варвара Дмитриевна после рождения – тоже сына – Андрюши, моего брата, и как на девятый день вдруг стало ей плохо, потеряла сознание, и это был не обморок, как он думал, а смерть...) Только очень строго, добрым своим голосом папа наставляет меня лежать тихо, не подниматься рано, слушаться докторов! Потом он опять подходит к ребенку, долго смотрит, заговаривает с ним, смеется, говорит, что хороший мальчик.

– А Лидия Александровна сказала, что он на тебя похож, папа! – говорю я. – Честное слово, «вылитый Иван Владимирович»!

– Ну, ну, не разговаривай только и не волнуйся. Ты теперь ребенка кормишь, тебе нельзя...

– Папа, ты скоро Маринину дочку увидишь!

– Ну-ну, уж дочь! По заказу вы, что ли, задумали?

– Вот увидишь. Я ж знала, что сын! Может быть, назовем Андреем. От Лёры есть письмо? Марина тебе в музей не звонила? Не пойму, где она, неужели до сих пор на даче? Ей же надо ванны брать...

Как только я смогла сидеть, написала рассказ в палате, где родился мой первенец. Рассказ-сказка о

Пушкине имел странное содержание: от «я\* (мужского) шло повествование: кто-то в одиночестве и печали шел по Москве ночной летом и услышал за спиной шаг, тяжелый, в нем было что-то от металла – его догонял человек. Подошедший был в длинном старомодном пальто, рука заложена за отворот, другая была за спиной, и он ею держал шляпу, высокую, с изогнутыми краями. Они пошли вместе, и их разговор был печален и странен. Пушкин, сошедший с памятника, темно говорил о

с г

том мире, о тоске жить не здесь, о бессилии нарушать запреты – только ночью он может сойти, – перед зарей он должен снова стоять на пьедестале и глядеть на ходящих внизу.

Откуда в те дни была мрачность этой сказки, этот диалог двух бродящих в ночи? Только помню восторг в лице Бориса, когда он прочел.

– Это лучшее, что вы написали! – сказал он.

Слабая, но уже выздоровевшая, я приехала с будущим Андрюшей в старинную квартиру на Собачьей площадке, снятую до покупки дома Мариной (за камин!). Напротив Дурновского переулка, ведущего на Арбат (ныне разрушен при построении Калининского проспекта). Туда, уже без меня, Борис с Александрой Олимпиаевной перевез все из Предтеченского переулка. Номер дома на Собачьей площадке был тоже 8, как дом в Трехпрудном.

## **ГЛАВА 36. ОСЕНЬ И ЗИМА В ДОМИКЕ НА СОБАЧЬЕЙ ПЛОЩАДКЕ. БОРЯ БОБЫЛЕВ**

Почему после венчания, летом так дружно жившие, с переездом в этот уютный домик мы стали отдаляться друг от друга? Борис часто бывал с товарищами. Но не товарищи восстанавливали его против меня, нет. Они были ко мне весело-галантны, внимательны, хоть эта внимательность и была внешняя, как к жене друга. Из них никто не был женат.

А он был моложе их, ему всего девятнадцать.

Из среды этих чужих мне и ненужных людей выделялся %.

Боря Бобылев, тот красивый юноша, друг Бориса с двенадцати лет по 7-й гимназии, бывший на свадьбе моим шафером.

Я тогда, несмотря на пылкие рассказы о нем Бориса, как-то мало обратила на него внимания. Теперь оно рождалось и крепло в моем начинавшемся одиночестве, в чувстве душевной утраты Бориса, мне не подвластном.

Они были однолетки. Одного роста. У них одно имя, одно отчество. И они были необычайно привязаны друг к другу.

Я слушала его молча, с чувством, что я старше его вдвое.

А мне только что минуло восемнадцать. Боря Бобылев был единственный из друзей моего Бориса, кто, не застав его, не уходил, а дожидался, говоря со мною.

Я никогда не рассказывала ему о Борисе – ни о знакомстве нашем, ни о заграничной поездке, ничем не

давала понять наших рушащихся отношений. Все фактическое отсутствовало. Но я не могла играть в веселость. Грусть, одиночество удержанный вздох были ясны. Вот в эту печаль вошел Боря Бобылев, как брат, как нежнейший друг.

Он ни слова не говорил о своем отношении ко мне и не добивался понять мое. Он просто входил ко мне, как домой просто радовался, что я есть. И с каждой встречей мы все глубже погружались в эту радость общения, которому не искали имени.

Что я знала о нем? Что он живет отдельно от родителей в комнатке в Кривоарбатском. Что у него есть отец, которого он любит, мать, которая не любит и не понимает его, своего старшего сына, все внимание отдавая младшему – Юрочке, подростку-спортсмену.

Еще я знала из рассказов моего Бори, что «Бобылш прыгал с третьего этажа и не раз пробовал на себе разные лекарства и снадобья, с которыми ему приходилось иметь дело на занятиях по химии, рискуя желудком и головой, -так, для пробы и интереса. Но приходы Бори Бобылева ко мне начали новую эру в жизни нашего домика: когда возвращался домой Борис, мы переходили к нему, зажигали камин, кто-то из нас шел купить бутылку вина, торт, и мы долго засиживались перед огнем, и все, кто к нам приходили

- его товарищи и приехавшие меня навестить Марина, Сережа, - все присоединялись к нам.

Боря Бобылев восхитил Марину, она приняла его полностью, любовалась им за его отношение ко мне, говорила ему нежные слова, радовалась моему отдохновению. Как всегда, я ей все рассказывала, она слушала с жарким вниманием и сочувствием. Ее единение с Сережей не имело бреши, они принимали все единым дыханием, она была совершенно счастлива им и дочкой, которую назвала Ариадной. Борис приходил, и часто вдвоем с Бобылевым, в 2, 3, 4 часа

утра, после игры на бильярде. Он уходил, не говоря куда, и никогда не отвечал на мой вопрос, когда он вернется. И я перестала спрашивать. Мы почти никогда не бывали наедине. И, запершись в своей комнате, рядом с детской, где няня укачивала Андрюшу, я часами писала дневник, подводя сотый итог моей жизни, которая с ясной насмешливостью рвалась у меня на глазах.

По тому, как сложились сложные отношения всех нас, какое каждый из нас среди других занял место – все не могло иметь впереди никакой, кроме темной, развязки. Но в темную развязку не верилось, мы все были так молоды и, казалось, беспечны, что часто вся эта сложность походила на игру, не более. Уже отношения Бори Бобылева и мои были мучительны и серьезны, в книге бы это было часом какой-нибудь перемены, а у нас все шло, как шло, и ни он, ни я не могли найти слова для названия того, что мы чувствовали. Мы так редко говорили о «любви» – это слово тогда было как-то слабо, невыразительно, оно не шло нам.

Я не могла позабыть того Бориса Сергеевича, который входил медленно, почтительно в мою комнату два года перед тем, с которым у меня до полуночи шли блестящие и нежные разговоры, с которым я мчалась на норвежских коньках! Но этих часов не знал тогда никто, даже и Боря Бобылев. Я не знаю, вдумался ли когда-нибудь Боря Бобылев в мою любовь к Борису. Для него Борис был товарищ, друг, бесконечно интересный и близкий, но что он мог понять в нас двух, видя нас в постоянной легкой вражде, доходившей до грубости? Не казалась ли ему наша любовь ошибкой, как казалась всем?

И когда он входил ко мне, я ни разу не сказала ему, о чем я сейчас думала, он так и не узнал всей смертельной тоски, заключавшейся в моих отношениях

с Борисом. И как только разговор мог коснуться «счастья», «будущего», я становилась еще гораздо надменнее...

О! Начинать новую жизнь! Честно рвать со старой! Идти вперед рука об руку, да еще с ним! Со слушателем моего дневника, с юношей девятнадцати лет, который, как былинка, качался из стороны в сторону. С человеком, прыгавшим с третьего этажа, с человеком глубоким, но совершенно негодным для жизни, в сто раз менее годным, чем я!

Никогда в моей жизни я не испытала таких дней, как с ним, и если все же надо назвать, что это было, я скажу: это было безрассудное, жестокое для обоих, но самое настоящее счастье.

Он был юношей, но для меня не был мужчиной, и удивительно то, что и я не была для него женщиной. Только теперь, оглядываясь назад, я вижу, как все это было

фантастично, более тонких, более нежных, более верных отношений не могло быть, чем были тогда между нами,

...А далее - не такое уж значительное обстоятельство, моя покорность ошибочному совету доктора о моей нервной системе внесла грусть и тайную обиду в единственно твердую точку моей жизни - материнство: фактом приглашения в дом кормилицы у меня был отнят ребенок, не ко мне он теперь тянулся, не на моих руках засыпал! Другая заняла мое место... Я перестала быть нужной моему сыну, другая стала нужна. Два месяца кормления ребенка, умиленных и радостных, стали сном. Я снова, как девушка, тонкая и освобожденная от нежного труда матери, хожу по комнатам от книги к дневнику, захожу в детскую, стою над Андрюшей на руках третьей кормилицы, люблюсь им и, вздохнув, лишняя здесь, ухожу к себе.

...Уже я бываю у моей свекрови, скромной, хорошей женщины, очень меня полюбившей и пристрастившейся к внуку. И она бывает у нас. При первой встрече она бросила мне навстречу:

- Ася! Да вы - девочка... А Андрюшок похож и на вас, и на Борюшку...

## **ГЛАВА 37. ДОМ МАРИНЫ. РАССКАЗ НЯНИ**

Синее небо над желто-зелеными березками Маринино и Серезино двора. Конец сентября 1912 года. Няня вынесла на солнышко маленькую Алю, ходит с ней на руках, одной рукой поправляя висящие на веревке крошечные кофточки, распашонки, пеленки.

Полутьма и уютные запахи старого дома: немножко -печеньем? проходной в Тарусе у Тью, где варился кофе на керосинке?

- Няня, Марина Ивановна наверху?

- Утром была, потом Сергей Яковлевич свел их вниз, у него лежат к кабинете.

- Все болеет?

- Болеют.

Я прохожу столовой в маленький Серезин кабинет. Там на диване лежит с книгой Марина в пышном платье с россыпями цветочных веток по темно-лиловому фону!

- Здравствуй! Ну как? Что читаешь?

- Беттину перечитываю.

- Марина, ты очень желтая.

- Все не проходит. И очень устаю от кормления.

- А Сереза где?

- Скоро придет, у сестер. А ты как, старой няней довольна?

- Чудная! Я же тебе говорила, она у Льва Толстого шестнадцать лет в доме была экономкой, то есть у старшего сына его, Сергея Львовича, в доме в Хамовниках!

Марина откладывает книгу, вытягивается всем телом, руки за голову, в позе отдыха, подвинувшись, чтобы мне было место сесть рядом.



- Что рассказывает? Интересно!.. Ну, а еще что? Расскажи!

Старая няня рассказывала, как, поступив к Сергею Львовичу Толстому в роли экономки в их дом в Хамовниках (где теперь музей), наутро - «Выхожу я во двор сказать, чтоб дрова принесли печи топить, - не видать никого. Идет по двору старичок, борода длинная, из себя неказистый. «Дедушка, - кричу ему, - дровец захвати да тащи в дом, печи топить велю...» А он из себя хоть невидный, а такой вежливый. «Сейчас, говорит, матушка, принесу». И принес! Я себе в дом пошла по другим делам. Ничего я не знаю. А как в комнаты-то вошла, старичок-то тот с господами сидит на диванах... Горничной я: «Кто ж он будет-то им?» А она мне: «Граф это, баринов отец Лев Николаевич...» Я чуть со страху ума не решилась! Сгонют меня теперь, думаю, с места... Ну, ничего, обошлось, - посмеялись они, да и все тут... Они у нас, говорят, завсегда так одеваются...»

- Все больше про Софью Андреевну, - знаешь, ее все-таки жаль, и многие годы ей было очень тяжело с ним. Сама Софья Андреевна ей это рассказывала - за шестнадцать лет, конечно, много узнаешь! И ребенок за ребенком - разве это молодость? Одиннадцать человек, кажется, их было...

- Зачем он на ней женился!

- Старушка - маленькая, худенькая, некрасивая такая уютная - Андрюшу обожает! Да - осуждает Толстого: «От молодой жены - и с цаганками гулять, это разве порядок?»

- Цаганки так чудно поют... Сережа недавно купил пластинки Вари Паниной, - придет - услышишь! Знаешь, Ася, пройди по комнатам, мне хочется, чтобы ты все посмотрела! А потом расскажи, как ты у себя все устроила,

в том особнячке на Собачьей площадке. Мне очень хочет «знать... Я ведь еще не скоро, наверное, смогу приехать к тебе! Папа у меня был, похвалил все. Он такой трогательный! Пройди в гостиную, в залу, посмотри! Явное сходство!

...Странное, как во сне, чувство: меньше и ниже, но это - гостиная Трехпрудного: так же, как там, она проходная - дверь в кабинет и дверь в залу, направо, между двух (меньше) печей, - гостиная мебель, ковер; налево - два окна, Но диван не с мягкой спинкой, из трех серединок, равных, обведенных каймой дерева, а с выгнутой спинкой красного дерева. На стенах - вместо картин маминой кисти - большие гравюры, старинные... Выхожу в залу: похожая, как младшая сестра, скромная и меньше. Не черный рояль, а наш, тарусский, с потерянной дачи, коричневый, на котором мама играла шесть лет назад в вечер нашего возвращения!,, Кронштейн, бра. Но там, где была дверь в низкую столовую, - тут двери нет. Как во сне... Так, через десятилетия, можно, полузабыв, сомневаться о двери - была ли? Так, в старости, может быть, можно спутать, сместить, сдвинуть память о памяти, принять одно за другое... Но я стою - и противлюсь, и сердце сжато тоской: неужели я иначе чувствую, чем Марина? Неужели ей не тоскливо это смещенное сходство? Как тогда в калькоманиях, сильнее подтянув влажную, уже соскальзывающую с изображения оболочку, видишь дрогнувшую, смазанную картинку... Лютый приступ тоски! Нельзя это сказать Марине - больной, - нет, и здоровой нельзя. Что-то тронуло ее в этом доме за сердце, она билась за него, получила, работала над устройством всего, так старалась... Может быть, это я - слепа? Груба, не чувствую, не понимаю! Я должна этот дом полюбить!

Смелая уже смещенность, несходность возвращает реальность яви, ощущение сна тает, я веселею. И, входя

снова к Марине, готовлюсь уже с облегченным сердцем хвалить, но Марина, не подымая головы от книги, что-то мычит на начатую мной фразу, и в этом звуке ее – глухая просьба не помешать, просьба простить, что не слышит – дочитывает! Затем, быстро дочитав (главу? страницу?), сильным хлопком закрывает книгу.

- Чудно пишет Беттина!.. (Забыла про дом, нацело! Молодец!)

- Знаешь, в нашем издательстве, которое мы с Сережей выдумали, – «Оле-Лукойе», я тебе не говорила? – я хочу выпустить маленькую книжку стихов – выбранное из двух моих книг. Обдумываю предисловие. Сережино «Детство»<sup>1</sup>, рассказы, где он пишет о себе и о Котике... – она прерывает себя: – Температура у него не в порядке, я так беспокоюсь, что опять вспыхнет процесс!

В этот миг, все исправляя, освещая, – точно в сумерках зажженную лампу с порога, – Сережа! Высокий, узколицый, родной, добрый, радостный. Снимая шляпу, пожимая мне руку:

- Мариночка! Какую книгу я раздобыл для экзаменов – не представляете! – Он сияет. – То самое издание, о котором говорил тот студент! И атлас, и тригонометрию.

- Да? (Марина, еще раз, как бы просыпаясь.) Как чудно! То самое? (Ответно светясь и переливая радость через край.) Сереженька, будем сейчас есть, ладно? Ася пришла... А потом будем заводить цаганские песни!

- Барыня, как кормить-то будем? Сюда Алечку принести? (Стоя в дверях, няня.)

- Кормить? Уже? Сережа, на черном ходу как? Не холодно? На лестнице? Выйдите, посмотрите! Может быть, сюда Алю можно? Закутаем! А то опять тащить меня на стуле...

И когда Марина, покормив и наглядевшись на Алю, и, поужинав, мы, втроем, у Сережи, слушаем патефон –

Глинку и все то, что в Трехпрудном, и Варя Панина поет своим низким, почти мужским голосом, медленным, темным, о том, что все прошло, все пройдет, – жизнь остановилась, все кануло... Ничего в мире нет, кроме песен!

1 Я помню свое впечатление об этой в 1912 году вышедшей книге, которое и до сих пор не изменилось. Многие ее теперь читавшие согласны со мной: рассказы талантливо, ярко, остры по наблюдательности и памяти; детская психология передана с огромным теплом, умиляет и восхищает. Детство в старой Москве дано отлично. В рассказе «Волшебница» автор, восемнадцатилетний юноша, дал образ Марины. С нежным тонким юмором подмечены ее характерные, странные в быту черты; ее необычность, сила ее поэтических убеждений, отрыв от окружающей ее среды, уничтожающий все привычное, взрывающий все формы будничной ненавистной жизни. Я восхитилась и до сих пор восхищена его проникновением в душу Марины, так недавно ему встретившейся, неподражаемой правдой его психологического анализа – в самом жару его любви к ней. Он остался верен Марине до конца своей жизни.

## **ГЛАВА 38. ЗИМА. ПОВЕСТЬ. КОНЕЦ**

Под Крещение Борис и Боря Бобылев шли по улице. Мела метель. Из нее просияло девичье лицо, и голос спросил: «Как имя?» Они ответили: «Два Бориса!» Прошли. Затем кто-то из них крикнул вслед женскому голосу: «А как ваше имя?» Из метели донеслось: «Анастасия...» Борис мне позднее рассказывал, что на них обоих этот случай произвел какое-то тягостное впечатление...

Папа часто бывал у нас. Заходил, делая крюк, идя из музея, справлялся, не холодно ли с наставшей осенней непогодой, распорядился присылкой березовых дров первого сорта, шел проведать внука и крестника своего, спрашивал, не хочу ли я новое платье. Я благодарила, отказывалась. Спрашивала о музее, что нового...

...С некоторых пор я писала повесть о всех нас в нашем домике. Но что-то грешное я чувствовала в ней. Я в ней предаю – Бориса?

Я сижу на коленях перед горячей печкой и сую в нее лист за листом мою повесть, любимую, росшую, расцветавшую... Я ее кидаю в огонь, не сказав Боре Бобылеву, который ее читал с восхищением, – повесть о всех нас. Я ее жгу, потому что схватила за сердце безрассудная жалость к Борису, холодному, одинокому, которому не могу помочь. Я все реже молюсь, все отчетливее отвергаю Бога, но я чувствую какую-то судьбу вокруг нас и в ее пасть, как непонятное, но несомненное приношение, бросаю то, что мне сейчас всего труднее отдать – эти листки.

Они скрутились в легчайшем танце темной воздушной скорлупкой, их нет. Так не будет и нас.

Тютчевым - «Бесследно все - и так легко - не быть...»

Я встаю, радостная, с колен. «Борис, - думаю я, - в путанице чувств, лиц, взглядов, иронических и нежных слов, я нашла один ясный поступок - отдала ради вас свое любимое создание. Это было так трудно! Но я решила и делала это в восторге. Это должно вам помочь! Вы разлюбили мои писания, которые вы так слушали два года назад (еще нет двух!). Но их любит ваш Боря. (Увы, поступок этот будет удар - ему...)».

?

- Зачем вы сделали это? - сказал мне, узнав, Боря Бобылев. Взволновался, ходит по комнате. Я попросила надписать мне его фотографию. Он надписал: «Пусть все сгорит! Б. Б.».

Это ли было начало нашей размолвки? Как могла меж нас быть размолвка?

...Шестого февраля 1913 года Боря Бобылев покончил с собой. Он пришел от нас к себе домой, долго играл на скрипке. Была ночь. Он выпил цианистый калий - химик! - неверную дозу, слишком большую, и долго поэтому мучился. Когда ему стало плохо, он вышел в комнату соседей-студентов: «Товарищи, я отравился!» Те неумело стали хлопотать. Требовалась кислородная подушка. Не было денег. Должно быть, Боря уже не мог сказать адреса - ни нашего, ни родителей (еще ближе). Мой Борис был так потрясен, что мы за него боялись.

Нам сообщили, когда все было кончено. Марина пережила его смерть, почти как я. На похоронах от меня не отходила. Мой Борис был добр ко мне. Он мне сказал: «Он вас любил». Но когда мы все вместе были после похорон, пришла его сестра Маруся и заперлась с ним в его комнате. После ее ухода Борис оделся и,

ничего не сказав, ушел. Он ушел и пропал. Его мать и я искали его целую неделю. Нашла мать. «Я вам говорила, Ася, что Мария Сергеевна вас разведет с Борюшкой...»

Причина ухода Бориса оказалась в том, что он поверил в версию Маруси, будто Боря покончил с собой из-за связи со мной – женой его друга. Из доблести – ушел...

Мать свела нас, я удивилась странной роли Маруси. «Зачем нужна была эта ложь? Она в нее верила? Будь это так, я бы от вас не скрыла, – сказала я Борису. – Почему же она не спросила меня?»

Борис вернулся ко мне. Ему стало, должно быть, стыдно, что он мог заподозрить меня во лжи. Маруся просила прощения. Мы говорили долго, я простила ее. Она убедила меня побывать у ее матери и летом поехать на хутор к отцу, где давно не была. Уговорила мать, написала отцу, что мы проживем у него лето все вместе. И мы собирались ехать. А на сердце была лютая тоска.

## ГЛАВА 39. ПРИЕЗД В ЯРЦЕВКУ

...Воронеж. Белые двухэтажные и одноэтажные дома пушкинских и гоголевских времен, пирамидальные тополя мощными аллеями вдоль булыжниками мощенных улиц, слепящая небесная синева и щебет птиц в густолиственных ветках. Где это все уже было раз? И такая же расплавленная зеркальность в воздухе? В Феодосии...

В смутных чувствах я еду на хутор отца Бориса: начинать вхождение в семью, меня тогда не знавшую, не хотевшую, когда мне бы не быть в ней совсем! Долг везет меня, молча, безропотно и безрадостно.

Я еду радовать собой и их внуком мать и отца мужа, семью, может быть, ради меня впервые после стольких лет съехавшуюся на хутор, а что я им могу обещать? Борис любит Андюшей, красотой глаз, черт, ранним умом выражений лица, но где же здесь место мне? И поймет ли мой сын, как упрямо я шла на предсказываемую врачами смерть ради того, чтобы не дать смерти ему? Не повторю ли я собой «Жанну» Мопассана из «Истории одной жизни», не будет ли мое дитя, этот маленький красавец, чужим, как его отец?

И вот уже позади и Воронеж, искупавший взгляд в прохладном трепете своих водопадных ветвей, сгнули особняки, подъезды, сады парадных губернских улиц, погасли домики окраин, и пылит под мчащимися колесами дорога, летящая от Воронежа в Задонск. Автомобиль пожирает пространства, любимую Борисову степь, там, впереди, за каким-то их «Животинным лесом», за почтовой станцией Бестужево оазисом посреди степи эта их Ярцевка, где они все росли...

Узкими от тоски глазами оглядываю безотрадную степь, где поколение назад плакала милая моя свекровь



Ирина Евгеньевна Клементьева. Привыкшая к костромским лесам, где росла в имении отца... Глухо бьюсь о непонятность того, зачем я Борису.

- Там, налево, за этими заливными лугами, - Дон... -сказал, указывая рукою, Борис. Его уже чуть тронутое загаром лицо, высунувшееся из окна, было как кистью кинуту на синюю эмаль над степью, золотые волосы шевелил ветерок. У росчерка прямых губ тлела - скорбь? горечь? Как птица, раскинувшая крыла, пронзило меня еще раз сознание

его обреченности! Что и как убедило его в своем близком конце?!

И вдруг, как это бывает, как было тогда, год назад, с парусом у открытого моря, все полотно моих о себе мук перехлестнулось поворотом на 180 градусов, и вся я со своим строем струн повернулась в прожурчавшем степном ветерке страстным вниманием к другой семье, другой крови, все они там, бьющиеся друг о друга, как я о них, ждущие нас на хуторе.

И в огненной жаре донской степи и нашего полета в мозгу пронеслись слова Борисова брата Сергея крестьянам ближних сел: «Когда начнется революция, вы первым сожгите вон то гнездо...» (указывая рукой на свой хутор).

Андрюша просыпался на руках Сони. Ее худощавое немолодое лицо оживилось.

- Приехали! - сказал Борис.

Автомобиль замедлил ход.

Длинный красный дом вдали от шоссе и перед ним пирамидальные тополя. Это - Ярцевка, хутор Борисова отца. За домом - двор и молодой, трепещущий березами и дубами лесок в рост человека.

Зачем их отец свел старый лес? А кто ж его знает, денег от этого в семье мало прибавилось, может быть, из упрямства?

А почему ж не свести? Сыновья не согласны? Но ведь хозяин – он?

Поодаль, по правую сторону от дома, – приготовленный мне с Борисом и Соней с Андрюшей флигель. Сюда мне принесли первое письмо Марины из Коктебеля! О Карадаге, о Сердоликовой бухте, о Максe и Пра, о том, как бесконечно жаль, что я не с ней и Сережей! В общем, я брошена на единственную достоверность – на моего первенца. Ему одиннадцать месяцев. Он великолепен, озирает с Сониного плеча мир темно-серыми большими глазами, поставленными чуть-чуть наклонно, как у Оскара Уайльда. Он очень красив, очень капризен, очень настойчив, очень привязан к Соне – он забыл свое прошлое у моей груди, он не идет ко мне на руки.

А Борис сошел по высоким ступеням крыльца нашего флигеля в этот предвечерний час, винтовка через плечо, посвистывая, и шагает – в лес ли, в эту ли необъятную степь,

от которой пьянеет, вольный, как сокол. И, может быть, мимо избы когда-то любимой девушки, о которой не сказал рот, в мечте сжатый...

День идет. Все ушли, отпив чай, я одна не смею уйти и терплю бесконечный рассказ веселого свекра (за терпение меня презирает свекровь – или мне благодарить?). Мой рот замер в учливой улыбке вниманья, укусом стянувшей мне губы, мозг устал слушать, зубы устали жевать – вкусное, дорогое, запивая крепчайшим чаем, печенье. Сергей Николаевич отодвигает конченную нами коробку, подвигает новую – их счет бесконечен – и велит подогреть самовар, я уже не помню, о чем речь, когда началось, когда кончится, жду только избавленья – ужина, прихода других, но так как мне ясно, что я единственная, кто слушает эти рассказы, то жалость держит стяг моего воспитания и, может быть, я отдыхаю в роли невестки, гостыи, утерев свое «я»?..

## ГЛАВА 40. ПРОЦЕССИЯ

Кто нам сказал об этом? Кто первый увидел процессию, идущую от деревни к хутору? Соня ли прибежала с Андрюшей на руках, или сам отец Бориса пришел нам сказать, чтобы мы были готовы встретить идущих, что они идут к нам, «молодым», что это – обычай? При этом известии Борис сделал тщетную попытку выскочить из окна (поздно – его бы увидели те, от которых хотел ускользнуть!). Уже учат нас, где встать, Сергей Николаевич на крыльце флигеля сыплет нам в руки серебряные монеты, среди них – серебряный рубль. Важно, степенно, ничуть не смутясь, стоит на площадке крыльца Соня, точно ничего другого не делала всю свою жизнь.

И Андрюша независимо и величаво взирает на непонятное.

Изогнувшись змеей, восходя от деревни чуть вверх к шоссе, шла стройная вереница людей, и теперь уже было видно, что это идут – женщины. Длинные платья, разноцветные, колыхались от шага, и, кажется ли мне, было пение? Передние несут что-то...

Зрелище было настолько торжественно, что нам – Борису и мне, росшим в совсем иных настроениях (Сережин совет крестьянам – прежде всего сжечь их гнездо, наше с Мариной революционное в Нерви и Ялте), нам было шествие просто страшно! До того не в духе времени...

Они подходили. Пройдя шоссе, они сошли с него и заворачивают к нашему флигелю. Не веря глазам, я смотрю на красавиц. Они несут на блюде каравай и соль на расшитых полотенцах. А за ними – одна другой лучше?! Как во сне!.. Театральная феерия!.. Они видны мне теперь по крайней мере до трети длины процессии,

сверкающие глаза – очи! Их алые рты (все тонконосы!), и румянец их щек – спелые яблоки! А их бусы! Тяжелые гирлянды лежат на белоснежных рубашках, схваченных стройностью цветных сарафанов, и все это остановилось, шелестя и шепчась, перед нашим крыльцом... Как говорят их взгляды! Они пожирают нас... Борис не знает, куда деться. Я стою, улыбаюсь в мучительном ожидании (тоненькая, в белом платье, длинном, как и они, такая же молодая, только волосы у меня не косами, как у них, без затейливых головных уборов, вьются, недлинные, у плеч...). Сказал ли кто? «Пришли посмотреть молодую... и новорожденного!» Они говорят что-то – шелест и голоса, звон бус, скрещение взглядов, улыбки, весь парад осмотра меня с Соней и сына Борисова, и вдруг все это начинает кланяться дружно и весело, а из голосов, всего громче – передних -несется певуче и патетично: «Мы – ва-а-ши, а вы -на-а-ши...»

И нам в руки передают хлеб-соль.

Уже Борис, чуя избавленье, сыплет в руки передних приготовленное отцом серебро. Сыплю и я? Более полстолетья прошло, не помню. Утонув в изумлении от этой патриархальности, просто невысказанной в революционные годы, восемь лет спустя 1905 года, лейтенанта Шмидта...

Соня высоко держит питомца; теперь взгляды переведены на него, нет конца улыбкам, умилению, похвалам: «Уж и мать хороша!», «И жена и муж хороши, что говорить – пара!», «А сыночек уж всех одолел! Картинка!» Поздравления теперь

– дедушке! Его счастьем, его удаче принимать у себя – таких!

– сноху с внуком... И – поплыла в поклонах и поздравлениях в свой торжественный обратный путь, исполнив обычай отцов, сновиденная процессия красавиц.

И тогда, сузив глаза на мое лицо, восхищенное, Соня -осудительно:

- Все как одна накрашенные! - (Гневно.) Страмота! Нешто в театре служат? Нет, в нашей стороне такого не заведено!

- Страмота? (Я, негодуюя.) Вы же не понимаете, Соня! Я, правда, не догадалась, но если так, то это же замечательно! И как сделано! Такой грим! Все - красавицы! Это же их мечта, Искусство! Сколько труда им было! Я за это нх еще больше люблю...

## **ГЛАВА 41. ИЗ МАРИНИНОГО ДНЕВНИКА ЛЕТА 1913 ГОДА. ЖИЗНЬ В ЯРЦЕВКЕ**

В то лето – из Марининового дневника.

«АЛЯ (записи о моей первой дочери)

Ах, несмотря на гаданье друзей,

Будущее непроглядно!

В платице твой вероломный Тезей,

Маленькая Ариадна.

М.Ц.

Коктебель, 5 мая 1913 г., воскресенье (два года с нашей встречи с Сережей, Коктебель, 5 мая 1911 г.).

Ревность, с этого чуждого и прекрасного слова я начинаю эту тетрадь. Тебе один год, мне – двадцать один. Ты все время повторяешь: «Лиля, Лиля, Лиля» (Елизавета Яковлевна Эфрон, тетя Али), даже сейчас, когда пишу.

Я этим оскорблена в своей гордости, я забываю, что ты еще не знаешь и еще долго не будешь знать, кто я. Я молчу, я даже не смотрю на тебя и чувствую, что в первый раз -ревную.

Это – смесь гордости, оскорбленного самолюбия, горечи, мнимого безразличия и глубочайшего возмущения.

Чтобы понять всю необычность для меня этого чувства, нужно было бы знать меня – лично – до 30 сентября 1913 г».

У Сергея Николаевича – гость, сосед-арендатор. Если бы не этот гротеск драгоценный (перл за перлом его речи – в тетрадь), я бы не высидела на «смотринах» невестки, лопнула бы по швам. Но этот ненужный Борису, как мне, мой экзамен на другой день

оказывается выдержанным: с экс-лицейским щегольством, с насмешливым, но удовлетворенным видом свекор сообщает мне, что, по мнению приехавшего, я «пришлась ко двору».

Часа три спустя я уже не сижу, а медленно - от буфета к двери - отступаю от незамечающего рассказчика, и так в

темпе минутной стрелки мы доходим с ним до дверей в сени, когда уже пали сумерки. Кто-то входит, его зовут. Чье-то личико мне просияло в сенях - темень светлых глаз, лукавство и прелесть улыбки девичьей - Маруся: «Ася, пойдете гулять, хорошо?»

Мы выходим в открытую, как распахнувшееся окно, вечернюю степь. Мне мило идти рядом - она выше меня и еще тоньше - с Марусей, слушать ее гибкий, как стебель, голос, ее рассыпающийся разбившимся стеклом смех, внезапный, как у Бориса. Она рада, что вырвалась со мной из родного дома, изгнавшего ее так много лет назад - за что? да за то же самое «поведение», которым, братьев ее, полон дом, и его не замечают, оно узаконено. Мать прощала все сыновьям - мальчикам, и ничего не прощала ей; и за то, что она, еще девочка, тогда не сумела победить семейные свойства, ее выбросили к хозяйке в нанятую ей комнату, сделали изгоем!..

Вчера мать сделала ей замечание, что она пришла после нашей вечерней прогулки с влажным от росы низом платья, и ее объяснения не помогли. «С мокрым хвостом - девушка...»

Я смеюсь: «Ну, это-то пустяки, Марусенька! Об этом я поговорю с Ириной Евгеньевной! Мой-то хвост будет такой же мокрый, и виновницей - та же роса!» И, свернув из степи через шоссе в лесок, мы бредем по не скошенной еще траве, и этот узкий Дон, без единой лодочки, без плотов, жутко темнеющий под осколком заката среди гоголевских - может быть! - берегов...

Протест! Жесточайший протест «девушек -женщин» стелется сейчас над донскими просторами, две рвущиеся прочь души в оковах тел и платьев с «мокрым хвостом» (у русалок - тоже!) бредут рука в руке по уже павшей мгле...

...И катим на другой день - Маруся и я - в легком шарабанчике в одну гнедую, рысью бегущую лошадку по шоссе к соседям на хутора - ждут нас, желаютзнакомиться. Маруся убедила меня надеть мое лучшее - венчалное -платье. Только волосы я не согласилась поднять с плеч прической - пусть свободно вьются и бьются в ветре: они -это все, что осталось от моей юности! И сама Маруся оделась во все парадное, что есть в ее скромном обиходе, провела пушком пудреницы (тайна, запрет) по чуть загоревшим щекам, худеньким, улыбнулась себе в зеркало - почти

хороша? - да прелестна!.. Отводя газовый шарф, плещущий в ветре, что-то говорит мне беспечное и насмешливое, и катит наша летящая жизнь к случайным встречам, людям, не знающим о нас ничего. И летит наша дружба, уже претерпевшая испытания, о которых не хочу вспоминать... А солнце медленно катится в степь алым шаром, и золотистый туман веет ему навстречу, и Марусин шарф кружится над нами, как птица, и вот уже оазис поместья, кто-то выходит из дому, завидев, - и не знает Маруся... Но не надо забегать вперед! А впрочем, на обратном пути мне сказала моя спутница: «Вы бы не могли полюбить в девушках этого красавца?» - «Красавец» - пустое слово! Этого? Н и когда! У него же нет интеллекта! А - вы?..» Маруся смешалась.

Легко шелестят в радостных пальцах мелко написанные листки прохладной пергаментной бумаги с золотинкой у края и с Марининой любимой фиалкой у левого уголка. О, как чудно падают из них льдинки фотографий - Сережа, Макс, Лиля, Пра, Марина, Майя



Кювилье, Вера Эфрон, «Пудель» (актер Сокол, Володя), Ева и Миша Фельдштейны, Максин дом, лесенка, порыв ветра в молодых тополях, пирамидальных, мой живой, родной, дышать – не надышишься -Коктебель!

Как будто меня тут навек запрятали в безотрадность воронежской степи, как Ирину Евгеньевну четверть века назад, – взрыв! Стою, глаза в 4ютографиях Коктебеля, и их не вижу от слез...

«Дорогая Ася...» – Маринин родной почерк, родные наши слова, родной тон... но я уже не могу больше, строки текут слезами.

Борис! Отпустите меня на волю, я не нужна вам. Вы только от гордости захотели меня вновь рядом, зачем вы меня увезли от Марины и по пути уже забыли меня...

...Таинственно живет вдали, в городе, старший брат Сережа. С этим именем в семье связано равное у всех, таких разных, – уважение. Его любит отец, и иначе, чем тех. К нему не проявляет иронии. Борис говорит о нем мечтательно, бережно. Он – авторитет для Маруси (те брата – нет). С ним считается и второй брат Бориса Николай Сергеевич.

Что я знаю о нем? Жил в Париже. Знает французский. Пишет стихи, феноменальные: с детства способности. Хранил

у себя бомбы и прокламации. Участвовал в вооруженном восстании 1905 года. К нему нагрянули с обыском, но он успел, оповещенный, передать спрятанное в другие руки. Смело спасся прыжком в соседний двор, когда полиция была уже в доме. А теперь – пьет запоем. Здоровье разрушено. Лечится. Ставит на себе крест.

## ГЛАВА 42. РАЗРЫВ И ОТЪЕЗД

Ирина Евгеньевна, еще раз обнаружив «мокрый хвост» у пришедшей с прогулки дочери, заявила ей, что она этого не потерпит, что такое поведение девушки... Маруся бросилась к братьям. К ним, таким «холодносердечным», – и что же? Оба брата приняли ее сторону с такой силой, какой она, может быть, не ждала. Впрочем, если мне память не изменяет, первой пошла для объяснения с ее матерью я, но потерпела фиаско: весь мой ласковый тон, все мое удивление, вся убедительность доводов... «Но, Ирина Евгеньевна, мы с Марусей вместе ходили, не по шоссе же было гулять? Трава у тропинок мокрая, платья длинные, в чем же наша вина? Мое платье точно такое же мокрое было, как...» – разбилось о несокрушимую уверенность моей свекрови:

– Вы, Ася, другое, вы – замужняя женщина, вам я не могу замечания делать. Но Маруся – девушка, и она должна знать...

– Маруся на три года старше меня! – не сдавалась я. Тщетно. Я ушла, может быть, и в слезах.

Николай и Борис оба пошли к матери. Разговор с ней был бурным. На ультиматум их о свободе Маруси мать не пошла. Тогда нашла коса на камень: сыновья объявили, что уезжают из Ярцевки.

– Мы уезжаем, Ася! – просто сказал мне Борис. – Коля, Маруся, я, вы, Андрюша и Соня.

– Уезжаем? Господи! Боря! Мне жаль папу с мамой! Неужели нельзя уладить?

– Уладить? – сказал Борис. – Сережа один раз «уладил»: подпер плечом буфет, раскачал и бросил его об пол, створками вниз, и фарфор, хрусталь – вдребезги! Жаль, его нет!

Я пошла в детскую – встретить лбом бурю Сониного безудержного гнева. Один Андрюша мирно спал, ничего не зная, и над ним спали картинки и погремушки, уставшие за день, как и он.

Я пробую еще раз:

– Боря! Но неужели не жаль вам папу и маму? Их так обидит наш отъезд! Так ждали, все приготовили, так заботились...

– Я вас не неволю! Пожалуйста, оставайтесь! Мы с Колей уедем, мы же сказали! И Маруся не останется тоже, конечно...

Соня плакала и укладывалась, я утешала ее, объясняла... Затем я пошла в большой дом. Оба порознь сперва, затем вместе, Сергей Николаевич и Ирина Евгеньевна, наперебой пытались переубедить меня, остановить мои с Соней сборы:

– Пусть они уезжают! Оба такие упрямые... Маруся кого хотите настроит! Ей ничего не стоит разрушить любой мир! Я вам говорил, что с самого своего детства она...

– Я же вам говорила, Ася, что Марья Сергеевна вас с Борей поссорит, еще осенью говорила вам, вы не поверили, а разве не из-за нее Борюшка ушел из дома, от вас, от меня, жил бог весть где? И теперь...

– Ничего не понимаю! – всплескивает руками Сергей Николаевич. – Ну, поссорились они с матерью! Вожжа им под хвост попала – мальчишки! Вам-то с Андрюшкой зачем уезжать?! (Его голос дрожал.)

Я понимала: и внезапное одиночество – скучно без внука и меня станет, и обида, и что скажут соседи... Жалость к ним двоим, из-за нас съехавшимся, жгла меня.

– Вы, Ася, уговорили меня, просили за Марью Сергеевну, чтобы ей сюда, теперь сами видите, что она в дом добра принести не может. А Борюшка погорячился, но если вы ему скажете: «Я остаюсь...»

- Я просила его, не слушает! А если я тут останусь, он за меня оскорбится! Опять пропадет где-то... Ирина Евгеньевна! Вы же должны понять: он - мой муж, Андрюша - его сын.

Я ушла от них со слезами.

Меж мной и Борисом, как всегда, воздух полон стеклянных перегородок, они не дают мне войти к нему, окликнуть живым, огорченным голосом, положить ему руки на плечи, чтобы мы, молодые гордецы, сильные, пожалели, как детей, тех... им жизнь давших! Мое чувство не будет понято, истолковано как малодушие, сентиментальность... Ничего

объяснять нельзя! У каждого человека - свое безумие, горькое от его одиночества, и мне не к кому сейчас пойти и сказать! Поэтому я стою одна в лесу (чуть выше меня ростом!). В нем - тарусские ветки, в нем - мама, в нем - наше детство с Мариной. Ветки меня понимают, кланяются. Знают по-своему, что завтра я уж не буду здесь...

И вот я в комнате Ирина Евгеньевна перед ее синим, влажным от слез взглядом.

- До свиданья, простите меня, спасибо! Я не хотела вас огорчить, но я должна ехать... (Сердце бьется - как улучу миг? Улучила!) - Схватила руку ее, поцеловала. И - к двери. Чтобы не зареветь. И - другая дверь. Я вхожу. Слезный туман. Усатый, старый, взволнованный - дед Андрюши!

- Простите меня, спасибо за все, я бы хотела остаться, Боря едет, я не могу... - Нагибаюсь. Целую руку. Старческий мужской всхлип.

## ГЛАВА 43. СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

В Воронеже, в меблированных комнатах, дверь открылась, к нам вошел Сергей Сергеевич Трухачев. С этой минуты из меня словно ветром выметает дотоле бывшее, и в бой с моей любовью к Борису, мучительной и бесплодной, вступает с ним разительно сходный брат. Сходный, да! Но – трепет глаз, огромных, с тяжелыми веками, мягкий их взгляд, старших, усталых (он на десятилетие меня старше!..), тяжесть черт, обаятельная улыбка, и над всем – утомленность, застенчивость, никакого внешнего пыла, как в братьях; доброе и стесняющее старшинство.

Он вошел – среднего роста, снял шляпу, но он уже отступает. Он здороваётся, но его нет с нами. Его отгоревший пыл ореолом печали сопровождает его движенья, и в его улыбке нам, младшим (откуда-то примчавшимся, куда-то рвущимся, едущим), – соболезнование и просьба простить, что не может помочь нам, как мог бы, наверное, годы назад, во времена своей мощи. Это все – почти молча, в пожатии рук, в поклоне мне, впервые увиденной жене младшего брата, и в каких-то случайных – веселых? – словах приветствия; в том, как подошел к Андрюше, смотрит, играет с племянником, на него по фотографиям детства похожим; как любит, отступая от возможности брака себе, чужим браком... Сел,

повернулся с вопросом к братьям и сестре... «Что там у вас случилось?»\* Слушает их рассказ. А сам кивает Андрюше.

И все сердце мое, все силы его, вырванные в этот час из Бориса, отданы этому человеку, на него так похожему.

Вечер. Скоро отходит поезд. Как он сказал мне вдруг эти слова, подходя ко мне и Андрюше, слова, которые и теперь никогда не забуду, в которых мне – нестерпимая грусть, и нежность, и родственность, и расставанье, любующеся... (Если бы мы не уезжали сегодня, он бы не сказал так.) «Вы хороши, вы обворожительны, – и эти слова с их «грассирующим» «р» он произносит так медленно, вложив в них больше, чем они выражают, – но ваш сын затмил, – он задержал голос и – как финал в музыке, – даже вас!..» Он стоит рядом, любуясь Андрюшей, переводит взгляд на меня, встречает мою улыбку, и огромное крыло грусти и радости несется над нами, а вокруг колдует вокзал. Откуда-то пришел, спеша, Николай Сергеевич, что-то сказал Борису, он ушел куда-то с Марусей, и Сережа мне: «Жаль, что вы уезжаете вместе с Борей, а то бы могли послать ему вслед телеграмму: «Поезд такой-то, номер вагона, такому-то: «Люблю, тоскую...» Я улыбаюсь ему и молчу. (Если б он знал все обо мне и Боре...) Что-то спрашивает меня Соня. Гудки, суета. Андрюша плачет. Бегут носильщики. И вот мы уже в вагоне. Был первый звонок! Сергей Сергеевич стоит на перроне, положив руку на обод открытого окна, и говорит то с одним, то с другим из нас. Каждый раз как не со мной

– боль... На нем мягкая серая широкополая шляпа. Его глаза улыбаются. Что будет со мной, когда перрон дрогнет и все начнет отступать, а он останется там, а я...

Третий звонок! Поезд дрогнул...

Сергей Сергеевич идет, не снимая руки с окна, ускоряет шаг. Поезд идет быстрее. Тогда, прямо на меня глядя:

– Люблю, тоскую! – Подняв голос над стуком колес и все-таки тихо. Подымает над головой шляпу, снял руку с окна, стал...

Мне говорят что-то, меня окликают, стою, не оглядываясь, чтобы не увидели лица, потрясенная, отсутствуя.

Почему не бросилась я к окну, не протянула ему на прощанье руку?.. Я ведь ни разу не подняла на него – не посмела – глаз.

## ГЛАВА 44. СМЕРТЬ ПАПЫ

Как случилось, что все мы четверо – Лёра, Андрей, Марина и я, папины дети от двух браков, – оказались под Москвой и в Москве, когда грянула весть о папиной болезни?

Это было 23 августа, три недели спустя после приезда папы ко мне в Красково.

Пришло письмо от папы, оповещенного нами о переезде. Он собирается нас навестить. Он живет под Клином, в семье знакомого профессора, у них на пансионе.

В назначенный день мы торжественно встречаем его.

Мы слушаем его добродушные рассказы. Пьем чай.

– Папа, а где Лёра?

– В Англии, голубка.

– В стране ее бонны, старушки мисс Шпайер? Как интересно...

– Ездит, осматривает. Побывала в Британском музее... Пишет, что очень довольна поездкой.

– А Андрей?

– Андрюша предпринял поездку по Швейцарии.

– Все разлетелись! Марина в восторге от Коктебеля... А как ты, папа, устроился? Хоть отдыхаешь немного?

– Отлично. Семья дружная, сын – студент. Сообщение удобное, стол простой и здоровый. Работаю над подбором материалов к задуманной книге...

Брат Бориса вежливо и почтительно спрашивает о теме; папа оживляется, глаза его добро глядят на нас сквозь очки; он рассказывает о древнеримских храмах, об их архитектуре. Он будет писать о них книгу.

Из Андрюшиной комнаты кряхтенье, плач.



- А-а, крестник проснулся... - откликается папа и встает.

- Ну, пойдёмте к нему, поглядим, как он вырос...

Соня, взволнованная присутствием папы, спешит надеть питомцу его первый мальчишеский костюмчик - штанишки и курточку. Расчесала золотистые волосики - наполеоновским мысом на лоб. Большие серые глаза, прямой носик; капризный, но добрый рот. Красив. В отца.

- Ну-ну-ну! - говорит папа ласково и смеется мирным старческим смехом, глядя, как поставленный на пол крестник, без башмачков еще - в них он падает, - в чулках, проходит один-два шажка, колеблясь и очень стараясь.

- Молодец, молодец! - хвалит и умиляется дед. - Ну еще, ну, вот так, за ручку... - И большой рукой своей - два обручальных кольца (как знакомы пальцы и ногти, какие родные...) - бережно берет детскую ручку.

- Ах, уж второй зубок у нас... Ну, совсем молодец молодцом! Но, однако, мне пора, - папа глядит на часы (те самые, с детства, папины!., какая от них боль...). В каких дебрях побывала душа моя с детства, а в папиной жизни, дважды прерванной смертью обеих жен, - чисто и ясно, как в куске хрусталя...

Все мы, растроганные, почтительной семейной толпой, матерью, идем провожать папу на станцию - Борис и брат его Коля, стараясь поддержать, предупредить о корнях деревьев; идем через лесок. Ласково, по-сыновьи, идут они по оба бока его. Я с сестрой их Марусей - то вровень, то отставая. Я:

- Папа, как ты скоро идешь! Ведь доктора не велели тебе ходить быстро...

- Привычка, голубка...

Но до станции далеко, и попался тарантас. Садясь, папа чуть оступился, Борис успел его поддержать, и

папа, садясь, засмеялся над своей неловкостью. Запах знакомый усов, -как поседали... Поцелуй.

Мы возвращались, растроганные, домой.

28 августа с папой сделался припадок грудной жабы. Он был в Клину (под Клином?) в той семье, где устроился на пансион на лето. Испугавшись, видимо, ответственности за исход серьезной болезни, папу отправили в Москву с сыном-студентом. Тряская дорога на лошади до станции, езда в поезде, доставка папы через Москву в Трехпрудный - было все то, чего было нельзя делать. Папа, уложенный в постель, был в тяжелом состоянии, но когда я, узнав 28-го, приехала и пошла к нему в спальню, ему было уже лучше, он разговаривал, и доктор Зеленин (ассистент профессора Плетнева, который пользовал папу) дивился и хвалил папин организм, смогший вынести такие испытания во время сердечного приступа.

Марина и Лёра, брат Андрей - все были в доме. Папа, как всегда, был добр, спокоен и терпелив. В тот же ли день был мой разговор с папой, верней, его разговор со мной? или я еще раз была у него на следующий день, 29 августа?

Папина - мамы с папой когда-то - спальня. Низкие потолки, прохлада, уют десятилетия знакомой комнаты. Папа лежит на давно иначе, чем в детстве нашем, стоящей кровати: если войти из коридорчика - впереди, у правой стены; если из кабинета - направо же, за дверь. Столик, комод, сундук? Почти нет вещей. Четыре окна. Два - напротив папы, во двор, к мосткам, к сараю и кухонному флигелю; два - в акации и тополя, где в детстве качали колодец. Лицо папы, родное, доброе, сейчас больное, с близоруким взглядом от снятых очков. Руки поверх одеяла. Пахнет лекарствами.

- Ася, - говорит папа тихим голосом (мы в комнате были одни - я хожу по комнате медленным шагом, стараюсь ступать бесшумно), - я слышал, что у тебя не

ладится твоя семейная жизнь. Что же, можно и исправлять ошибки. Вот я поправлюсь и в этом году на зиму поеду в Италию. Там я буду писать мою последнюю, вероятно, книгу об архитектуре древнеримских храмов. Поедем со мной – ты, крестник и няня. Там ты сможешь отдохнуть, поправиться. Потом займешься чем-нибудь, что выберешь, – будешь что-нибудь изучать; может быть, поучишься какому-нибудь прикладному художественному ремеслу. Пока я жив, – продолжает он, видя, что я согласно слушаю, не возражаю, – всегда будет у тебя с сыном кров над головой, и все, что вам надо для жизни. Обдумай, голубка...

И я подхожу и целую папу застенчиво и благодарно, и мы говорим об Италии.

Если это было 28 августа, то 29-го я или еще раз приезжала в Москву, или звонила по телефону, и мне ответили, что ничего тревожного нет. 30-го я собиралась ехать, но пошла позвонить. Был полуосенний-полулетний день, зелень веток сверкала солнцем, летели желтые листочки. Я сняла черную, выгнутую колоколом трубку с коричневого выступа телефонного ящика:

– 1-81-08!

Голос Марины:

– Я слушаю!

– Это я, Ася. Как папа?

– Ася, все кончено. Папа скончался.

– Господи!.. Когда, Марина?

– Около четырех часов дня.

Я слышала слова, они были такие отдельные от всего. А их смысл не вмещался. Смысл их был отдельно от звуков, он рухнул и лежал неподвижно, прикрыв дверь.

Голос Марины:

– Ты сейчас приедешь или позднее?

- Сейчас. Только зайду домой, скажу.

- Приезжай.

Я положила трубку на место, рука дрожала, везде была пустота. Идти бы - и понимать. Думать. Вспоминать. Стараться понять. Одной! Но надо было заворачивать в уличку, идти ею к даче, говорить с Соней. Я шла. Я помню ощущение какого-то огромного крыла, покрова, сорванного; физически ли меня мотнуло? Или это было сознание? Но я шла слабыми ногами, шаг медлил, - точно шаг должен был что-то понять... Конечно! Папы нет. Нет папы!.. Слезы бессмысленно подымали грудь, по пути к глазам сбиваясь в какой-то страшный начавшийся беспорядок, непонятность, неоправданность. Кровь ли это была во мне, шатнувшая меня бесприютностью такой ширины и силы, к которым я не была готова? «Около четырех часов дня...» - как мама.

Марина, Лёра, Андрей. Но ведь они не спасли- в мамину смерть. Папа ушел! Никто не может помочь! Его отсутствие только он мог заполнить.

Папа! Музей... «Мою, вероятно, последнюю книгу - о храмах древнего Рима...» Уже не напишет ее!.. Но в том месте, где после этих слов шел вой, - уже делалась каменная пустота, как в тот июльский день за семь лет перед тем, когда Лёра, положив нам руки на плечи, сказала: «Умерла мама...» И мы молча пошли по траве.

Во время похорон и на кладбище чувств не было. И это снова начиналось теперь. Может быть, это была самозащита? Потому что нельзя было думать о папе, помнить все, все вспоминать с детства, все величье его труда, всю трогательную простоту его жизни, его приезд в Красково, и как он оступился о подножку и засмеялся (и бодро, и старчески), и его сборы в Италию, писать о храмах, когда смерть была за плечом... Не верил ей, - ж и з н и верил, что она одолевает! Еще дело успеет он, еще книгу напишет. А кто-то не

захотел, чтобы так. Что-то встало на пути - и остановило. Невинность, детская, человека перед фактом наставшей смерти!

В папе эта невинность, кроткая, была вся, целиком (не часть, как у других...) Поезд, московские улицы. И я даже не помню теперь, как я вошла в дом, где был папа - в спальне еще? Я совсем, нацело позабыла дом в те часы? Я помню папину смерть - в совсем другом доме: он полон людей, неизвестных. Зала? Это она? Вся затянута черным. Гроб стоит высоко, и папа в опекуновском мундире (грудь в золоте), о котором он так огорчился, что он стоит восемьсот рублей... Он должен был оплатить этот чин, ему так ненужный, он, скромнейший человек, вечный труженик... Милый, дорогой папа! Он всю жизнь копил для детей, отказывая себе во всем, ездил во втором классе только в России, за границей - в третьем, редко брал извозчика - конка, трамвай и пешком для моциона - и скопленное за жизнь распределил с трогательной отцовской заботливостью и справедливостью. Я не помню Марину. Лёра плачет. На ней что-то черное. На цыпочках проходит Андрей. Солнце по черной зале.

Елена Александровна Добротворская плачет навзрыд, глядя на папу в гробу, сложившего руки. Ее еле произносящий голос: «Все заботы отошли...»

Лицо папы было не только спокойным - оно почти улыбалось. Выражение почти довольства, почти радости, в морщинках у уголков глаз, в тайне закрытого рта под седыми усами? Папа - спал. Ничего мертвого. Его большой лоб, лысина с добрым ободом седых волос, круглая голова, скромная, легшая на покой в подушку. Я потом долго подолгу десятилетия спустя в это лицо глядела - маска из гипса, в верхнем ящике маминого комода, со мной долго жившая...

Я больше ничего не помню - ни похорон, ни кладбища, Ваганьковского. Призрачная толпа,

призрачный катафалк, призрачная могильная яма. Трафарет торжественных похорон в душе умер.

Папу хоронили слева от могилы мамы – Марии Александровны Цветаевой, урожд. Мейн (тридцать семь лет). Папе было шестьдесят шесть лет.

Свежий песчаный холм, венки.

Это совсем близко от входа, налево, напротив начинающейся (крайняя стена) церкви кладбища.

В сороковой день после смерти папы скончался его соратник по Музею изящных искусств Юрий Степанович Нечаев-Мальцев, на средства коего была воздвигнуто здание Музея.

Снова вспоминаю. Папа часто бывал у нас. Заходил, делая крюк, идя из Музея, справлялся, не холодно ли с наставшей осенней непогодой, распорядился присылкой березовых дров первого сорта. Я показывала ему, как удалось в маленькой столовой, отставив вперед стол, поместить у стены им подаренный мне гарнитур гостиной мебели красного дерева с медными прокладками стиля «жакоб» (им выбранный мне без меня, с экономкой) и за его чинные, строгие очертания мне не нравившийся, о чем я также чинно, из дилекатности, молчала, благодаря и хваля. Позднее я сумела еще с одной перестановкой мебели (при переезде) продать этот гарнитур в уверенности, что папа, раз увидав его утвердившимся у меня, о нем позабудет. Так и вышло. Правда, у меня очень билось сердце, когда он в первый раз после этой продажи, после исчезновения «жакоба», вошел в нашу столовую, но, занятый своими мыслями, он, наоборот, нашел, что у нас все очень хорошо, даже стало как-то просторней, чем ему прежде казалось, а то что-то уж больно густо было наставлено. Я благодарно, в сердечной тронутости, усаживала его за чайный стол.

Борис, не более папы замечавший все бытовое, никогда ни во что не вмешивавшийся в доме и

хозяйстве, оживленно рассказывал папе что-то из прочтенного им в книгах. Папа слушал явно одобрительно и мягко, издали начал разговор о необходимости систематического учения, о выборе факультета.

Теперь я часто бывала у Марины. Мы ездили вместе к папе на кладбище. С этим нельзя было свыкнуться. Сколько раз мы с ним туда ездили к маме, служили панихиду...

Теперь папа сам лег в землю, рядом с мамой. А мы живем на земле... Тетя хочет лечь позади дедушкиной могилы, ее место выступом, длинным, под тою же оградой и часовенкой-крышей ждет ее. И нас ждет земля...

Милый, милый папа! Как мало он увидел от нас ласки, внимания, – как я счастлива, что – за всех нас! – я несколько

раз поцеловала ему руку! Как он смущенно отдергивал ее, скромный...

Мы стоим и смотрим на его могилу, крест с его именем, на высохший песок, на опустившиеся венки. 1847-1913...

## **ГЛАВА 45. ПОСЛЕ ПАПЫ. СНОВА ФЕОДОСИЯ**

Смерть папы провела линию рубежа в нашей жизни. Знаменательно, что Марина и я, каждая по своим семейным причинам, не смогли остаться в Москве – после папы. Надо было уехать куда-то. Из всех городов прошлого сильнее всего позвал нас город, где мы были так счастливы два года тому назад. Утрата отца, как утрата матери за семь лет до того, легла на дно сердца, влилась в кровь, стала частью нас, жила с нами – и так это продолжалось, не изменяясь, всю нашу жизнь. Во все дни и годы жизненных испытаний память о таком отце, о такой матери говорила в нас полным голосом. Их свойства, их стойкость, их доблесть остались опорой как Марине, так и мне во всем, что пришлось пережить.

Но мы были молоды, и жизнь шла, не задержавшись на наших утратах, и мы жили вместе с нею, встречая каждый ее день распахнутым сердцем. Умножая приятие жизни с каждым человеком, в нее входившим, незримо готовясь к тому будущему, которого мы не знали, которое нам готовила жизнь.

Смерть, утраты – это вехи жизни. Жизнь побеждает.

...Феодосия предвоенных лет! Та, через фиту! Еще в памяти Каффа, еще наполовину «Ардавда». Полная уютных семейств, дружеских праздничных сборищ, ожидания гостей, наивного восхищения талантом, готовая с первого взгляда на юный эскиз, с первого звука смычка, с первой строфы стихов венчать дерзновенного – словно Перикла народ, словно Капитолий Коринну.

Пышет жар еще керосиновых ламп. Еще горят в соседней свечи, еще собравшиеся умеют быть полны



единым восторгом, жадно и радостно улыбаясь друг другу в предвкушении желанной амброзии. Еще распахнуты окна в ночь романтическую, еще юноши – застенчивы, мужи – скромны (еще мир юн, еще много лет до непомерных злодейств Гитлера). И вот в эти комнаты с запахом моря и вышитыми картинами, с пузатым комодом и глубокими креслами входит Марина Цветаева. В золотистый фойе сто лет уже исчезнувшей моды

она заключила стройный рост: в узкий лиф с длинными рукавами и от талии в пышность почти кринолинную. Идет с полуулыбкой, ею стараясь потушить непреходящее смущение, и уже полыхает в поднятом лице полунасмешливая

- смотрят? судят? - горделивость, шатер, где привычно укрыться от всех подозрительно-надменному сердцу.

Но ведь только я это знаю – читаю в ней, как в раскрытой книге. Под этой от рождения усвоенной позой, чтоб не осмеливались дразнить – в детстве, чтоб не осмеливались осуждать, не поняв – теперь, – вся тоска, вся беспомощность сердца, одиноче которого нет. О! Но все это совсем «зря» в этом феодосийском доме, где ее так ждут, так ждут стихов, где если не все, то многие ее уже видели и слышали, приняли ее в сердце, гордятся, что она – среди них... Это как дуновение счастья в комнате – несомненность. Как смотрят все! Как слушают, как ждали – как радуются. И, тая, как согревшийся снег, уже вновь вся другая Марина: вспыхнула женственной разнеженностью, ответной – прислушивание – вдыхание любви – почти осязание ее (во второй фазе застенчивости). Это – маленький рай?

Мы не ошиблись, выбрав Феодосию...

## **ГЛАВА 46. МАРИНА, СЕРЕЖА И АЛЯ. ДНЕВНИКИ МАРИНЫ**

Читающие теперь стихи зрелой Марины Цветаевой уносят с ее страниц трагический образ поэта и женщины, не нашедшей себе в жизни счастья. И никто, кроме меня, ее полублизнеца, не помнит тех лет ее жизни, которые это оспаривают. Но я их помню, и я говорю: Марина была счастлива с ее удивительным мужем, с ее изумительной маленькой дочкой – в те предвоенные годы. Марина была счастлива.

Марина жила в минутах десяти от меня, вверх по отлогой горе, на даче Редлих. Садик вокруг низкого длинного домика был густой, уютный, веселый, с холма был вид на море, далеко книзу, как когда-то в Ялте с Дарсановской горки, с дачи Елпатьевского. Это отдаленное сходство придавало моим приходам к Марине невысказываемую печаль.

Комнатки, где жили Марина с Сережей, Алей и няней, были низкие, старенькие: старинная простенькая мебель уютно радовала глаз пуфами, диванчиком, ламповым абажуром, картиной в поблекшей раме. Створки окон, распахнутые

в низкие кусты, впускали запах дрока, – он звал в Коктебель. Под окнами носились маленькие лохматые собаки. Марина выбегала к ним, бросалась перед ними на четвереньки, брала их на руки, несла Але, давала ей гладить их, учила повторять их имена, добавляя к ним «милый, милый». И весь этот веселый надгородный мир, освещенный Мариниными светлыми, подрезанными выше плеч, на концах вьющимися волосами, вместе с теплым осенним днем и сознанием неповторимой молодости, жарко вливался в сияющие глаза Сережи,

стоявшего на пороге с Алей на руках, отражая свои огромные темные, аквамариновые в небесных Алиных.

В то время Марина вела записи об Але. Почти чудом через все события эпохи эти листки сохранились. В них Марина писала:

«Але 5-го исполнилось 1 год 2 месяца... Она прекрасно узнает голос и очаровательно произносит «мама» – то ласково, то требовательно до оглушительности. При слове «нельзя» свирепеет мгновенно... Меня она любит больше всех. Стоит мне только показаться, как она протягивает мне из кровати обе лапы с криком: «На!»...»

О ее глазах: «...когда мы жили в Ялте, наша соседка по камнате, шансонетная певица, все вздыхала, глядя на Алю:

– Сколько народу погибнет из-за этих глаз...»

18 ноября 1913 года Марина записывала:

«Вчера я кончала ей стихи. Завтра ей год и два с половиной месяца. Несколько дней тому назад она определенно начала драться.

Да, теперь она на вопрос «как тебя зовут» отвечает: «Аля».

Аля, маленькая тень На огромном горизонте,  
Тщетно говорю: не троньте,  
Будет день...»

В декабре 1913 года:

«Сегодня я кончила стихи «Век юный»...

Когда промчится этот юный Прелестный век...

30-го мы выступаем с Асей на балу в пользу погибающих на водах. Да, Але это будет интересно...

Когда на втором нашем выступлении я сказала перед стихами Але: «Посвящается моей дочери», вся зала охнула

и кто-то восторженно крикнул: «Браво!» Мне на вид не больше семнадцати лет».

## **ГЛАВА 47. МЫ И МАКС. «УЕДИНЕННОЕ»**

Уже в тот миг, когда без малого два с половиной года тому назад Марина привела в мою комнату Макса, моим тогда шестнадцати годам, перевидавшим на своем кратком веку множество самых разнородных людей, с первого мига вошел мне в душу взгляд, ни на чей не похожий, этого замечательнейшего человека. Но я еще была девочка. Теперь Макс встал на пороге моего – уже не отцовского, а собственного, печально-веселого, одинокого очага – после моего замужества, в мои девятнадцать лет. Он был на семнадцать лет старше меня. Он ни слова не спрашивал о пережитом, будто этих лет не было. Это вошла Душа, вглотившая и мою, и Маринину, и Сережину, душу Пра -любую. Душа, не замечавшая порогов, начал и концов браков, идущая вольно, уверенно, гипнотически ласково по тенетам человеческих ошибок, переводя этот древний взгляд -Пана? – нет, еще древнее, еще р о д н е е! – на каждого, кто шел навстречу, и в его глазах жил, казалось, ответ на все вопросы, отстаивавшиеся в человеке.

Большой кажется (среднего роста), широкоплечий и толстый, как бывают коты и медведи, одетый во что-то напоминающее заграничных мальчиков, – куртка с карманами, короткие, под коленом схваченные подобием обшлага, брюки, гетры, горные башмаки. Он стоит на пороге моей комнаты, улыбаясь в свою пожелтевшую от солнца широкую, короткую, кудрявую бороду, широколицый, загорелый, мускулистый, мощный как дерево, но совершенно лишенный тяжести, упругий и легкий, сросшийся со своим бесконечным

хождением горными тропинками и киммерийской степью. Темно-русое руно его волос, густокудрявых, и такая же борода не дают увидеть границы его лица, большого, как Зевсово. Он ничего не говорит. Он ждет терпеливо, пока я оденусь, отдам распоряжения няне и девушке, наклонюсь над спящим Андрюшей и мы выйдем на вечерние феодосийские улицы, бродить – к морю ли, на мол, к генуэзским ли крепостям Карантина, по цыганской ли слободке или прочь от всего – в степь. Заходя за Мариной или за мной, он привык ждать, хотя иногда и сердился.

\*\*\*

На окраине Феодосии дом Нины Александровны Айвазовской.

Гостеприимнейшая хозяйка, она живет «на широкую ногу» и купается в этой беспечной, позолоченной солнцем жизни, как Феодосия – в закатных лучах.

У рояля палисандрового дерева – полная женщина лет сорока, русоволосая; большие голубые глаза ее полуприкрыты веками, она поет старинный романс. У нее приятный, поставленный голос.

Звонок. Только что хозяйка впустила Макса и меня, как она вновь появляется на пороге передней, встречая новых гостей: Марину и Сережу Эфрон. На Марине светло-синее атласное платье с маленькими алыми розами, шитое по моде прошлого века, – лиф в талию и длинные пышные сборки. Ее светлые, только что вымытые, наспех просушенные волосы отрезаны у конца ушей и сзади прямой чертой, лежат на лбу густым блеском, над бровями – ее обычная теперь прическа пажа.

Как она хороша! Ее чуть розовое лицо с правильными чертами, зелеными близорукими глазами высоко поднято от застенчивости, губы полуулыбкой отвечают на приветствия, она проходит по гостиной. Только я знаю, сколько мучения сейчас испытывает она,

проходя между взглядами. И если она теперь «расцвела» в такую красавицу, вся мука застенчивости не могла пройти. Жало застенчивости все равно в ней – кому это знать, чувствовать, как не мне! Ее родные, все еще неловкие, волей замедленные движения (затишенная буря!) проводят ее между людей, кресел, секретеров, как драгоценную ожившую гравюру. Добрым гением у ее плеча, возвышаясь над ней, – темноволосый узколицый Сережа с его огромными, полыхающими умом, добротой и смехом глазами. В них тоже застенчивость, но ее гасит юмор, и надо всем – теплая грация доброжелательства, с которой он жмет, проходя, руки юношеским теплым приветствием. Облако единения, окутывающее их двоих, полнит комнату каким-то наставшим праздником.

Казалось мне, весь белый свет Наш милый луг и поле... – пела Ариадна Николаевна Латри и, оборвав строку, встала навстречу вошедшим. Но уже приглашала хозяйка в столовую, где сверкали хрусталь и вино. Нина Александровна, хоть была старше Макса, дружила с ним с давних лет, с тех самых ее юности и ее отрочества, феодосийских, когда девицы на бульваре, встречая Макса, просили: «Поэт, скажите экспромт!»

Кто из них знал тогда, что так мало пройдет лет, и в этом самом Крыму разделенной надвое России Нина Александровна Айвазовская в дни братоубийственных битв покинет свой родной город, в то время как Макс, комиссаром над искусством Крыма, будет спасать картины и библиотеки, организовывать народные читальни, музеи...

...Но уже Макс говорит стихи. Рука его, отведенная в сторону аккомпанирует голосу, как некий музыкальный инструмент. В упоенье отдачи себя сотворенным строкам, отдаваемым тем, кто слушает. Стихи веют над комнатой, над раскрытыми в тишь окнами.

В янтарном забыты полуденных минут  
С тобою схожие проходят мимо жены.

В душе взволнованной торжественно поют  
Фанфары Тьеполо и флейты Джиорджоне...

Но мне стихи эти кажутся вычурными. Мне хочется  
других. И, словно почуяв это желание, Макс, dokonчив  
их, начинает совсем другое:

Ясный вечер, зимний и холодный,  
За высоким матовым стеклом,  
Там в окне, в зеленой мгле подводной  
Вьются зори огненным крылом.

Гляжу на Макса, но перестала слышать - так  
бывает. Слышу вновь...

Ночь придет. За бархатною мглою  
Стынут, бледны, полыньи зеркал.  
Я тебя согрею и укурю,  
Чтоб никто не видел, чтоб никто не знал.  
Свет зажгу. И ровный свет от лампы  
Озарит растенья по углам,  
На стенах японские эстампы,  
На шкафу - химеры с Нотр-Дам,  
Барельефы, ветви эвкалипта,  
Полки книг, бумаги на столах  
И над нами тайну тайн Египта  
- Бледный лик царевны Таиах...

- Хорошо дышать в больших комнатах! - радостно  
говорит Макс. - Помнишь, Марина, как у вас в  
антресолях в Москве я не смог быть совсем...

На диване под огромным полотном Богаевского -  
провалом в Киммерию под огнем клубящихся туч,  
Сережа и Михаил Латри - прообразы пылающей Юности  
и сухо тлеющего огня Мужественности. Но уже идет  
наша очередь. В новых платьях (вдвоем выбрали два  
цветных полыханья в лавке для магометанских  
паломников, два шелка) встаем рядом: Маринина  
синева с алыми розами, окунутая в моду сто лет назад,

и мое – скромней, уже, высокая талия Первой Империи, темно-красное, мерцающее золотистым узором – угасив? или умножив? стесненность наших движений...

Ритм – понижения, повышения голоса, волшебство любимых слов. Аплодисменты дружеского восхищения, мы, только переглянувшись (чтобы их прекратить), спешим продолжать стихи:

Сорви себе стебель дикий  
И ягоду ему вслед,  
– Кладбищенской земляники  
Крупнее и слаще нет.  
Но только не стой угрюмо,  
Главу опустив на грудь.  
Легко обо мне подумай,  
Легко обо мне забудь!

Может быть, понимая, как фальшиво звучат нам после таких стихов светские похвалы, Макс говорит: «Марина, «Когда очнулись демоном от сна Вы...»!»

И мы начинаем стихи:

БАЙРОНУ

Я думаю об утре  
Вашей славы,  
Об утре Ваших дней,  
Когда очнулись демоном от сна Вы  
И богом для людей...  
...Я думаю еще о горстке пыли,  
Оставшейся от Ваших губ и глаз...  
О всех глазах, которые в могиле,  
– О них и нас.

Сколько на свете людей бредили Байроном, им восхищались. Но в стихах Марины – проникновение в трагедию его жизни, в его раннюю смерть. «Пушкину потому было суждено пасть от чужой руки, – писала она позднее, – что он сам никогда бы не умер, а жил бы и жил вечно...» Дело Марины было – оплакивание судьбы



поэта, судьбы любимого, плач Ярославны – о каждом князе Игоре на земле. И о себе, заранее, никому не оставив чести так оплакать себя – в разгар юности, в час счастья!

И вот уже ночь, феодосийская ночь – неужели сейчас осень? Откуда же эта теплая синева, почти черная, звездная; -чернота, почти синяя, бездн небесных, льющая на город ветвями деревьев запоздалые летние запахи. И снова, как в Коктебеле, ветер с м о р я, и безумный хмель юности, вместо | того чтобы увянуть за прошедшие два года, рвет голову с • плеч, плещет кудри, и после ощущения счастья – среди друзей и среди стихотворного ритма – хочется мне с Максом

– беседы! Макс идет меня провожать.

\*\*\*

– Макс, – говорю я, – Людвик Квятковский все-таки очень удивительный человек! Как художник он о ч е н ь талантлив?

– Очень. У него есть то, что...

– Я понимаю. Верю. Но он сам ни на кого не похож, то есть он похож на Вергилия и на Данте, но я не о том...

Я хотела спросить: верно, что он жил за границей и оттуда приехал из-за какой-то странной истории?

– Ты называешь странной – любовную историю? Твое определение – странное.

У Макса даже немного обиженный вид.

– Макс, ты – душенька!

– Да совсем нет, Ася! Скорее наоборот даже, – не совсем уверенно говорит Макс.

Мы заворачиваем за угол, и дувший в спину норд-ост волшебю стихает...

Мы стоим у моего парадного. И вдруг ужасная усталость падает на меня. Целый день отвлекаешься, отвлекаешься, ничего не собрать воедино.

- Макс, человек сходит с ума оттого, что он потерял какую-то точку своего сопротивления миру и мир его задавил? Мы когда-то с Борисом чертили схему о гениальности и сумасшествии.

- А ты уверена, что есть грань между сумасшествием и несумасшествием? - говорит Макс. - Так называемые нормальные люди - ведь это только...

- Макс, я же не шучу, а ты всегда...

- Я совсем серьезно говорю, Ася, - удивляется Макс, | и в его удивлении что-то праздничное, парадное. - Нет же

нормальных людей. Каждый человек ненормален! И каждый по-своему! Это и составляет прелесть жизни! - Максово большое, ненормально большое лицо еще ширится от залившей его упоенной улыбки. - Неужели бы ты, Ася, хотела, чтобы все люди обо всем думали - одинаково?

- Ну, Макс, ты - опять?!

- Но послушай, Ася: ведь только отклонения от нормы делают какое-то нужное дело в мире. Если бы Врубель, если бы Жерар де Нерваль...

- Ну, ты и еще нацедишь десятки имен, и ты меня сейчас не понимаешь! Ты говоришь где-то сбоку...

- Это потому, что ты принимаешь за главное - тень явлений, а не сами явления и у тебя сдвигаются представления...

- Какие явления? Какая тень главного? Ты говоришь так туманно...

- Нет, я говорю очень ясно, - с радостной готовностью говорит Макс, и он опять улыбается, и улыбается его борода, и нос, и глаза, близко в меня смотрящие, - почти как в тот первый вечер в Трехпрудном в зале у печки, когда Марина села за рояль и сказала ему, что мама мечтала, что она будет музыкантом, - и оттого, может быть, что все это такое большое, как какой-то Лесной царь, мне вдруг кажется,

что это сама Природа, о которой я так ничего не понимаю и не

' принимаю, сам Мир, в котором я задыхаюсь, мне смотрит в глаза.

- Макс, а человек может - так, вдруг - сойти с ума? (В моем голосе - ужас).

- Может! - удовлетворенно и ласково, почти уютно отзывается Макс. - Если он до того еще не смог сойти. И это самое прекрасное, что может произойти с человеком! Только для этого человек и живет, Ася. Это и есть т е главные вещи, от которых ты видишь тень...

- Какие вещи? Какие главные? - уже рассерженно повторяю я.

- Искусство... философия... религия... - говорит Макс осторожно, почти нежно, почти торжественно. Но он ошибся, наверное, что мне нужны эти его слова, потому что мне кажется - он стоит от меня очень далеко, точно шагнул назад.

- И познание себя - в их свете... - говорит Макс, - самое сокровенное?

Но я окончательно пробудилась в себе - тоже почти торжественное одиночество, и я говорю печально:

- Не понимаю, Макс... Мне это пустые слова...

- Это я и сказал тебе, - отвечает мне Макс убежденнорадостно. - А вот когда ты проснешься в них - тогда все вокруг так наполнится...

- Максик, поздно, иди. Я все равно тебя не понимаю, но я очень тебя люблю...

Трепет пирамидальных тополей, стройных, как свечи.

- Ася, - говорит Макс, - я зайду за тобой завтра, хочешь? Пойдем к морю и в степь... Поговорим... - Мягкая добрая рука Макса тепло сжала мою.

•\*\*

Максовы холмы, пологие, полоса заката и первые звезды. И тот самый сумрак, светло сгущающийся,

который сине-зелено светлеет на Максовых акварелях в его Киммерии. О котором Байрон: «that clear obscurity» (светлая мгла).

Мы бродили, бродили, шли, шли и сейчас уже держим обратный путь.

- А сколько было лет Маргарите Васильевне, когда вы поженились?

Макс отвечает. Его голос тих. Он совсем другой, чем он был там, на море. Он так много мне рассказал о себе. Я взволнована этим новым видением его, таким неожиданным -в нем, из которого фонтаном летят парадоксы, в неутомимом сияющем мистификаторе сквозит, как звезда в зеленом сумраке, душа князя Мышкина, «Идиота». И сам шаг, которым я рядом ступаю, будто светлый от этого рядом, ноги идут по какому-то празднику - не по земле! Что-то священное сейчас над нами.

- А когда мы поселились вместе, ее родные подняли целую бурю: «За кого вышла - богема, разврат... из такой семьи, издателей Сабашниковых, ушла к этому ужасному человеку».

Макс точно передохнул, помолчал минуту. И каким-то отсутствующим голосом:

- А ведь мы никогда не были мужем и женой с Марго...

- Где же теперь она? - говорю я. - Почему?

- Она полюбила другого. И я отдал ее тому человеку...

Идем молча. Это - цикады уже застрекотали?

И низко над холмом дрожащий серп Венеры,

Как пламя воздухом колеблемой свечи.

\*\*\*

Кто дал мне эту удивительную книгу? В моих руках -дневник старика - «Уединенное». Читаю, точно свое. Так знакомо!.. И мы с Мариной не знали, что есть такой

человек!.. Сколько лет мы прожили на земле в то же время и не знали – он о нас, мы – о нем!

«Как ни сядешь, чтобы написать что-то: сядешь и напишешь совсем другое. Между «я хочу сесть» и «я сел» – прошла одна минута. Откуда же эти совсем другие мысли, на новую тему, чем с какими я ходил по комнате, и даже садился, чтобы их и м е н н о записать...»

«Секрет писательства заключается в вечной и невольной музыке в душе. Если ее нет, человек может только «сделать из себя писателя». Но он не писатель...» Читаю не отрываясь.

«Почему я так желаю известности (или влияния) и так (иногда) тоскую (хотя иногда и хорошо бывает от этого на душе), что «ничего не вышло из моей литературной деятельности», никто за мной не идет, не имею школы?..» Больше одна я не захотела читать.

Я бросилась к Марине. Марина отобрала у меня книгу, села за нее – и от нее встала в знакомом мне в ней книжном бреду. Ее глаза были пусты и жалобны. Она отсутствовала. Она была там, в книге, с неведомым от века родным человеком. Но на этот раз право первенства было явно мое. И я тянула Марине мое письмо к Розанову – его зовут Василий Васильевич, и он живет в Петербурге. А сегодня Макс придет из Коктебеля, и я ему расскажу, – он, наверное, знает о нем, может быть, даже его знает?..

«Дорогой Василий Васильевич! Только что кончила Ваше «Уединенное». Вам 59 лет, а мне 19, но никакой разницы потому что Вы пишете о том, что вне возраста, и Ваша книга – родная...» Так начиналось примерно мое письмо.

– Ты нарочно подписываешься не «Цветаева»? – спросила Марина, прочтя мое «А. Трухачева».

– Конечно. Мне не надо вовсе, чтоб он мне ответил как дочери папы. Папу он не может не знать.

Посмотрим, отзовется ли на фамилию ему неизвестную...

- Молодец! Я бы тоже так сделала...

В этот же день пришел Макс. Он выслушал мое волнение и сказал, улыбаясь:

- Мне жаль тебя огорчить, Ася, но я думаю, что он тебе не ответит: Розанов стар, перегружен литературным трудом, большая семья - сама же читала: «Папа, учебнички...», «Папа, башмачки...» - и вряд ли у него станет сил отозваться...

- Ответит! - сказала я.

Прошла неделя. Начала ли я уже поникать? - когда почтальон передал мне два письма со штемпелем «Петербург».

Мелкий, без строк - еще беспорядочней, чем почерк Эллиса, - полупрямые, полукосые буквы, разорванные слова...

Первое, с простой маркой, было коротко. Второе - заказное, длинное - было послано вдогонку первому. «Настя,

- писал он, сделав мне чужое уменьшительное из «Анастасии Ивановны Трухачевой», - как ты? Что ты пережила? Откуда такой глубокий тон в 19 лет?..» И взволнованные текли с его пера повелительно в слова - чернила, рождая каракули откровенья и дружбы, удивления и интереса, беспорядочного рассказа о себе и вспышки вопросов - мое безмерное, без названья, счастье в ответ. Я читала на ходу, вверх по короткой лесенке парадного хода, застыв на какой-то ступеньке, все позабыв, застрянув в таинственном колодезном срубе непонятной, наспех прочтенной фразы; я читала, войдя к себе, держа на коленях Андрюшу, мне переданного няней, читала, когда он заснул, читала и перечитывала, перемежая своим ответным, перечитывала оба и вновь писала - и с трофеем поднималась по горе на дачу Редлих - к Марине.

- Марина! Письмо от Розанова! Два! Сразу! Вот Макс удивится! Помнишь, он говорил, что переписка если и будет,

то что-нибудь вроде Мопассана и Марии Башкирцевой -недоразумение... Читай!

Марина прочла. Ее лицо пылало за меня.

- Теперь ты напишешь ему «Цветаева»? - И уже не мне, а ему: - Молодец!

...Ночь. Я сижу за дневником, отослав мой ответ Розанову, и я счастлива, как только может человек на земле быть счастлив. И другого счастья - не надо! Не хочу любви! Спаянности с одним, терема! Ни с кем! Со всеми! Вдохновенные дружбы, перекличка чувств, мыслей... Свобода! И писать и писать...

Когда Розанов узнал, что Трухачева (фамилия, которой я в первый раз подписалась) я по мужу, что урожденная я Цветаева, он радостно сообщил, что он вправе считать себя учеником папы, что слышал курс его лекций и никогда не забудет его ни как профессора, ни как человека. Это еще более сроднило нас. Он обещал мне прислать свои книги и ждал нашей встречи - я обещала, что осенью, перед задуманным отъездом в Париж, приеду в Петербург. Он писал о своей усталости, старости, загруженности литературным трудом, о том, что везет воз большой семьи, дивясь раннему опыту жизни во мне, не но сомневался во мне, верил и, находя между нами много соответствий, считал меня родным человеком. Я искала и не находила его «Опавшие листья».

\*\*\*

У скольких людей вся жизнь прошла в содружестве с Максом! Скольким он нужен и близок, как нам, как всем, кто его знает. Всем - кроме врагов! О, их много! Все, что есть на свете средненького, косного - никакого! Все, что ползает и кишит, все мещане духа - Макса не принимают на дух! Это - целый мир клеветы,

жаркий поход любопытства и пошлости, смешков и хихиканья, неисчерпаемый, год за годом, рог изобилия лжи, высыпаемый на кудри Макса, на его - в котовой ласковости, в медвежьем уюте сказочности -бычье упорство быть собой. Для этих людей Макс не Пан, не «добрый колдун», не мудрец, не друг - недруг! Он ходит не в длинной парусиновой рубашке, под которой такие же, до колен, от жары, штаны, а в нарочитом «хитоне» (без штанов) и не в самой ноской и легкой обуви (сандалиях), а в сандалиях-котурнах, чему-то подражающих, что-то доказывающих, и весь он - претензия и вымысел, и его глубинная простота - манерность и выверт, и этому выдуманному Максу Волошину объявлена, давно, войн а...

Вот тут и стоят на страже друзья Макса. Александра Михайловна Петрова - верный из верных друг. Легко нашим душам - и голосам - с разбегу в свое, в ее, в Максино, во всех, кто зорек и прост!

Мы быстры я наготове,

Мы остры,

В каждом жесте, каждом взгляде, каждом слове Две сестры!

Своенравна наша ласка

И тонка, Яр

Мы из старого Дамаска Два клинка.

Мы одне на рынке мира Без греха,

Мы из Вильяма Шекспира Два стиха...

Рукоплесканья, просьба читать еще...

И вдруг - это всегда вдруг случается! - оказалось, 1 что - весна! Что зима, так недавно еще, вот-вот вчера тут бывшая, бившаяся за себя бушеваньем норд-остовых крыль- I ев, - скрылась, сникла, никшнула - и с тех же небес, вековечно детских, - нежная, лиловая жара, и город стал Неаполем, и из всех окон, мотыльково блеснувших в стороны сверканьем крыл-



створок, льется сплошная «Санта Лючия», пересиливая все водопады гамм, вырвавшихся на воздух из плена. 1

Передо мной стояло, вплотную подойдя, лето: лето, то ^ есть Коктебель, Коктебель с Мариной, Святой горой, с Сюрию-Кайя, орлами, морским прибоем, с духом вольности, мощи – Пра, Карадаг, Макс, его живой каменный профиль!..

Псы бродячие, дикие; халцедоны и сердолики, скрип гравия под легкой ступней в чувяке – одиночество и молодость, кричащая в ветер, что все прошло, ничего не было – все -заново, все – впереди!..

## **ГЛАВА 48. ВЕЧЕР У БОГАЕВСКИХ. СТИХИ МАРИНЫ И МАКСА**

Сегодня у Богаевских вечер. За нами придет Макс пешком из Коктебеля. Мой дом по пути с горы, и мы вместе зайдем за Мариной.

Друзей у Богаевских – весь цвет Феодосии, Крыма и обеих столиц. Руками трудолюбивой хозяйки, бережливой, умелой, искусной, в скромном доме художника цветут гостеприимство и хлебосольство, два вечно благоуханных цветка.

Мы входим к Богаевским. Уличка темна. Висячий фонарь, как у Пушкина на Страстной площади. Как у венецианских подъездов. Макс еще на пороге:

– Не опоздать нельзя было. Когда за Асей заходишь, она говорит: «Макс, погоди, я только выкупаю Андрюшу». А когда за Мариной зайдешь, она говорит: «Макс, минуточку, я только вымою голову, и пойдем».

Смех. Наши протесты.

Но Маринына голова озарена столь пышными волосами, что мне ясна ее спешка, их только что просушили.

Когда волосы легким шатром рассыпаны вокруг головы, их дуновение – у щек, ты в них как в шапке-невидимке. Они отводят глаза от твоего смущения и неумения идти, здороваться, кланяться, этой дурацкой муки, не проходящей с самого детства. И еще, может быть, оттого, что волосы эти красивы, и пока ими любуются, то не видят тебя – ни глаз, ни рта, которые смущаются и тоскуют. Даже просто идти легче, когда у тебя пышные волосы. Они точно несут тебя.

Как хороша Марина! В темно-лиловом платье, в аметистовом ожерелье. От черты светлых волос над бровями еще зеленее глаза.

И над нею, над всеми нами – тучи, облака, кроны деревьев Богаевского, и если даже скалы, то и они как будто отражены в каких-то небесных озерах. И почему-то помнится римская Кампанья, та, что по пути к катакомбам, та, что словно волшебной кистью рассказана в отрывке романа «Рим» Гоголя, резцом запечатлена в памяти.

Хозяин, Константин Федорович, невысокий, тонкий, в сером костюме; легкая седина тронула его волосы и пышные усы, длиннее, чем носят. Узкое лицо, со впадинами у щек, длинный неправильный нос и большие, карие, печальные глаза под тяжелыми веками, под густыми бровями. Он весь -

скромность и благожелательство, он говорит очень мало, и всегда остроумно и неожиданно. Его шутки очищены от тех привычных иронии и сарказмов, коими блещет век.

Жозефина Густавовна – противоположность мужу. Стройный стан, правильные черты, синева сияющих глаз. Молодость позади, но идет тихая, победоносная зрелость. Еще далеко до заката, и жизнь как полная чаша, поднесенная к благодарным устам.

У Богаевского высокая, просторная мастерская, огромные окна; по стенам словно залетели дымным закатным пожаром и застыли, войдя в тонкие деревянные рамы, клубящиеся лиловые тучи; и, светлея и тая облаками, парит над вошедшим древнее киммерийское небо – над узкими полосками внизу простелившейся смутной земли.

По стенам, как рассыпавшиеся книжные полки, ряды стоящих в скромной замкнутости этюдов всех величин: это заботливая рука жены художника учреждает порядок в бурном творчестве мужа.

Нас зовут к чаю. Я запомнила убранство стола, и изысканное, и простое. Мне чудится флорентийский фаянс, мне видятся темные, тяжелые, изумительной расцветки и узоров цветочные вазы. Шутки парят над трапезой. Здесь парадоксы в ходу, как цвет лип в июне, ими полна беседа, их узор также трудно восстановить.

В уголку дивана двое: темноволосый, худой грек - талантливый, известный художник Михаил Пелapidович Латри - и Сережа Эфрон. Они тихо беседуют. Это прообраз сухо тлеющего огня зрелости и пылающей юности.

У рояля палисандрового дерева жена Латри Ариадна Николаевна. Она поет старинный романс. Мы много раз говорили вдвоем одни стихи Марины, тогда написанные: «Восклицательный знак». Они не сохранились. Только в моей памяти. Увы, время стольких десятилетий унесло две строкЛ Мне пошел восьмидесятый год, и нет надежд вспомнить. Но если я не запишу их, то и остальные строки погибнут.

Сам не ведая как,  
Ты слетел без раздумья,  
Знак любви и безумья,  
Восклицательный знак!  
Застающий врасплох  
Тайну каждого...  
Заключительный вздох!  
В небо кинутый флаг  
- Вызов смелого жеста.  
Знак вражды и протеста  
Восклицательный знак!

Мы читаем любимые слушателями стихи Марины, которые также не напечатаны. Вот одно, запомнившееся:

В огромном липовом саду  
- Невинном и старинном  
- Я с мандолиною иду

В наряде очень длинном.  
Вдыхая теплый запах нив  
И зреющей малины,  
Едва придерживая гриф  
Старинной мандолины.  
Пробором кудри разделив...  
Тугого шелка шорох,  
Глубоко вырезанный лиф  
И юбка в пышных сборах.  
Мой шаг изнежен и устал,  
И стан, как гибкий стержень,  
Склоняется на пьедестал,  
Где кто-то ниц повержен.  
Упавшие колчан и лук  
На зелени так белы!  
И топчет узкий мой каблук  
Невидимые стрелы.  
А там, на маленьком холме  
За каменной оградой,  
Навеки отданный зиме  
И веющий Элладой,  
Покрытый временем, как льдом,  
Живой каким-то чудом -  
Двенадцатиколонный дом  
С террасами над прудом.  
Над каждой колонной в ряд  
Двойной взметнулся локон,  
И бриллиантами горят  
Его двенадцать окон.  
Стучаться в них – напрасный труд:  
Ни тени в галерее.  
Ни тени в залах.  
Сонный пруд  
Откликнется скорее.  
О где вы, где вы, нежный граф?  
О, Дафнис, вспомни Хлою!

Вода волнуется, приняв  
Живое за бывшее.  
И принимает, лепечет,  
В прохладные объятья  
Живые розы у плеча  
И розаны на платье.  
Уста, еще алее роз,  
И цвета листьев – очи...  
И золото моих волос  
В воде еще золоче!  
О, день без страсти и без дум,  
Старинный и весенний!  
Девического платья шум  
О ветхие ступени...

Голоса одобрения. Я помню стоящего Макса, его  
вброшенную на уровень груди, полукругом обнявшую  
воздух ладонь и голос его, гулкий и медленный:

Из страны, где солнца свет  
Льется с неба сух и жарок,  
Я привез тебе в подарок  
Пару звонких кастаньет

...

Тихое, драматическое расставание с тою, которую  
он любил и отдал:

Здесь все теперь – воспоминанье,  
Здесь все мы видели вдвоем,  
Здесь наши мысли, как журчанье  
Двух струй, бегущих в водоем.  
Я слышу Вашими ушами,  
Я вижу Вашими глазами,  
Звук Вашей речи на устах,  
Ваш робкий жест в моих руках.  
Я б из себя все впечатленья  
Хотел по-Вашему понять,  
Певучей рифмой их связать  
И в стих вковать их отраженья.

Но только нет...  
Продленный миг  
Есть ложь...  
И беден мой язык.

Мы выходим от Богаевских толпой. Темная ночь. Ветер с моря рвет дерево и качает висячий фонарь. Первым прощается Людвиг. Он живет где-то у Карантина. У его матери, простой, бедной женщины, домик. Мы с Максом доводим Сережу с Мариной до их горки, Макс идет проводить меня. Но вместо этого оказываемся на молу у бурного моря.

- Макс, скажи мне, что делается с детьми и в отрочестве, что так можно захлебываться безвкусицей?

- Это не только в отрочестве бывает, - уютно, убедительно, с аппетитом, медленным упоенным от юмора голосом

- Макс. - Мы шли по Парижу с Бальмонтом, и я сказал ему: «Константин! Ты же настоящий поэт, почему же ты печатаешь столько, - голос Макса стал мед, - плохих стихов?» Он вспыхнул (в нем же ирландская кровь) - и мне через плечо, уничтожающе: «А ты знаешь, сколько я их не печатаю?»

- Какая прелесть! - кричу я в уют Максиного смеха и в волны, спасаясь от них в Макса, круто заворачивая назад, к земле, из моря. - Он чудный, Бальмонт, да? А знаешь, что я люблю, про море? Как Гончаров вышел на корабле в бурю на палубу («Величественная картина», как в «Девятый вал» Айвазовского) и сказал: «Какое безобразие!» - и ушел в каюту. Тоже был душенька-человек...

Степь, Максovy холмы, пологие, полоса заката и первые звезды. И тот самый сумрак, светло сгущающийся, который сине-зелено светлеет на Максovyх акварелях в его Киммерии.

## ГЛАВА 49. ЧТЕНИЕ СТИХОВ

Это было время расцвета Марининой красоты. Цветком, поднятым над плечами, ее золотоволосая голова, пушистая, с вьющимися у висков струйками легких кудрей, с густым блеском над бровями подрезанных, как у детей, волос. Ясная зелень ее глаз, затуманенная близоруким взглядом, застенчиво уклоняющимся, имеет в себе что-то колдовское. Это не та застенчивость, что мучила ее в отрочестве, когда она стеснялась своей ею не любимой наружности. Встречая восхищение всех на нее глядящих, она излечилась от мук того недуга. Она знает себе цену и во внешнем очаровании, как с детства знала ее – во внутреннем. Но ни тени самоуверенности так лелеемой в себе красавицами «бального», дешевого самодовольства. Ее женское только скользит, только реет.

Освещенный люстрами зал Азовского банка. Литературный вечер. Марина и я читаем стихи. Сиянье восторженных лиц, охваченных такой любовью, что в зале жарко дышать, а за окнами – шум моря. Стоим.

Я знаю, что Марина не терпит сходства с собой – хочет во всем единственности, я подняла волосы кверху и вплела

короной надо лбом мамину косу. Мы сейчас совсем разные, только глаза, носы, рты похожие. И Марина выше меня.

Мы прочли теперь так хорошо известные стихи, начинающиеся строками:

Моим стихам, написанным так рано,  
Что и не знала я, что я поэт...

Читали мы его в первоначальной редакции, где вместо строк:

Ворвавшись, как маленькие черти,



В святилище, где сон и фимиам... -  
было:

Ворвавшись, как маленькие черти,  
В поэзии великолепный храм...

Кончались они четверостишием, позднее в печать  
не попавшим, но не раз читанным нами в унисон:

Моим стихам, подобно поцелуям,  
Раздастся многотысячный ответ,  
Но вынесу ли я хвалу им  
Пятидесяти лет?

Читали еще несколько стихотворений, затем  
недавно написанное, в котором были следующие  
строки:

Да, я, пожалуй, странный человек  
Другим - на диво!  
Быть, несмотря на наш двадцатый век,  
Такой счастливой!

Не слушая о тайном сходстве душ,  
Ни всех тому подобных басен,  
Всем говорить, что у меня есть муж,  
Что он прекрасен!..

Я с вызовом ношу его кольцо,  
Я в вечности жена, не на бумаге...

После стихов горят щеки, голос наш, стал еще  
гибче, еще певучей и под столькими взглядами так  
застенчив...

Взволнованный, пробирается к нам, не сводя глаз с  
Марины, учитель русского языка Дембовецкий,  
выпускающий или уже выпустивший - изменяет память  
- книгу стихов «Волокна и ткани», - рукопожатьям и  
восхищениям нет конца. Но, узнав, что он тоже поэт,  
Марина соглашается читать еще, только взяв с него  
обещание после ее стихов

прочитать свои. Рядом с ним стоит, молча и  
улыбаясь, человек, замеченный мною еще с начала  
вечера. Над плечом Дембовецкого, среднего роста,

некрасивого, широкоплечего, черты которого освещены счастьем, – невысокая фигура человека в учительском вицмундире остро останавливает внимание. Это преподаватель рисунка Хрустачев. У него худое лицо, почти призрачные, тонкие черты, светлые глаза. По темно-русым волосам он провел рукой – это движение смущения, взгляд, на Марину устремленный, полон печали. И весь он застенчив и все-таки смел, почти дерзок в этой явной мечтательности, такой нескрываемой улыбке взгляда, и такой весь сдержанный в ироничной прелести молчания. Он переводит взгляд с Марины на меня. Наши взгляды встречаются.

Стоим, кланяемся неумело, уходим, возвращаемся. Мы всегда читаем на бис. Еще не смолкли голоса восхищения, внимания, растроганности, когда Марина, смущенно улыбаясь, ищет взглядом Дембовецкого: «Теперь вы. Вы обещали». И он, встав, вдруг изменился, весь собирается с мыслями. Стоит, строгий. И он начинает читать. Он, конечно, читал несколько стихотворений, мы просили, но я запомнила одно -и Марина его тоже запомнила, и любила нежно, как что-то свое. И я помню его через шестьдесят лет. И я помню голос: не тембр, не низкий или высокий, а голос души мужской.

Как странно расставаться навсегда!

Держать в руке тебе родную руку

И сознавать, что без следа

Утратишь все: и эту муку,

И этот час, и свет вот этих глаз...

Как страшно просто все в последний раз!

Как тяжело, как легко постичь разлуку,

Как странно расставаться навсегда!

И было так: все остановилось – в комнате, в нас всех, как там, в его строчках, – просто, чисто, без продолжения, как будто кончилось – все. И это было

лучше, вернее голосов похвалы, раздававшихся.  
Похвала была меньше, чем та запинка – молчанья.

## **ГЛАВА 50. У ХУДОЖНИКА ХРУСТАЧЕВА. МАСТЕРСКАЯ ВОЛОШИНА. ВЕРЕСАЕВ**

Я помню день уже почти жаркой весны, панораму Феодосии с горы Карантина. Закат. Я стою на подобию балкона в мастерской Хрустачева, - и, пересекая расстояние между нами, косо лежит на полу его тень. Она не имеет цвета, только яркость, но ее очертание дышит и движется. Она живая. По стенам этюды - кривые улочки Феодосии в солнце, старые домики, за ними море. На деревянной доске стола кисти, роза в стакане, упавшие лепестки. За моим плечом, легко поднятое бесплотным объятием мольберта, светлеет женское очертание, серебрится серое мое платье (жемчужный сумрак), и легкий румянец сгущается в полноту рта, детских по огоньку смеха в углах губ, своенравных, полуженских по какой-то печали. Зеленоватые глаза улыбаются недоверчиво, их пристальная зоркость горько пронзает негу юности. Удивительный портрет. Будет жить и после меня, если пастель долговечнее юности.

Бесплотное дитя чувства, за тобой - фоном - художник бросил осенний ландшафт золотистой кущи, кусок вековечных дубрав. Так и жизнь пролетит, как и век, «юный, прелестный», и весна превратится в осень...

Комната Пра. Как три года назад, отражение солнечного окна решеткой на полу. Все то же кресло, те же скамейки, шкафчик, стол, этюды, фотографии, степной ковыль, блюдо с коктебельскими камнями.

Пра - у окна. Сидит, маленькая, в расшитом шушуне, в шароварах, нога на ногу, в сафьяновых сапожках. Седая грива подрезана у ушей, как у Листа. Бодрая еще

рука стряхивает пепел папиросы. Орлиный профиль на оконном стекле – резцом. Я, как дома, брожу по комнате, беря, раскрывая книгу, рассматривая чье-то лицо на портрете Молчать с Пра так же хорошо, как говорить, – это молчание легкое, дружеское. Она ничего не спросила меня о моей жизни, не упомянуто имя Бориса, но ее сочувствие со мной. Она ничего не скажет. Что могут слова? Будет молчать и курить, посмеется моей шутке, ласково взглянет, и знаю, что она рада приходу, что ее сердце принимает меня. В моей руке фотография, маленькая, визитная, в скромной рамке. Гляжу: молодая женщина невысокого роста, в мужском костюме, верховом, со стеклом в руке. Светлые волосы,

светлый взгляд, горделивая и застенчивая прелесть девичества. Узнаю ее сорок лет назад, неузнаваемую и ту же. Море за окном сверкает средиземной зеленью, ровные взрывы волн, как сто, и тысячу, и сто тысяч лет назад.

Максина мастерская. Пять высочайших полукруглых, узких окон, обходящих пятигранную башню, и в эти окна -море: прибой, грохочущие и пенные, часы синего штиля, вечера розового золота, ночи, обрезающие звездный полушар

о лунные и безлунные горизонты, снова заря, пурпуром летящая в волны, снова штиль, снова прибой, обрушивающийся о кроткую ровность бухты, и вдруг неведомо что вспомнивший час беззвучия и бестелесности, без цвета горизонта, – пропавшее, в преддверии рая, море...

Если подойти к окнам, к крайнему правому – Карадаг: голова великана, утром светлая, в легком дыме голубизны, днем – груды лесистых кудрей, резкие тени лба, щеки, носа и борода у груди, легкой в блеск густой синевы, черноморской. Вечером – китайская

тушь, очертившая на закатном полотне острие великановой головы: Максов профиль!

Я гляжу в левое с краю окно: плавно идут в море далекие и отлогие песчано-лиловые, рыжие, пепельно-сизые, гаснущие хребты и мысы, и один из них, плавнее и смелее других, вытянулся о морскую гладь и затих: Янышары.

- Макс, а наверх к тебе можно? (С Максом все на «ты».)

Свесив голову над перилами лесенки, ведущей по стене

наверх, где деревянная площадка со столом и диваном и узкая галерея перед полками книг, Макс отвечает, что - да, можно, он сейчас не работает, ищет одну книгу, я не помешаю. Я взлетаю наверх.

Как здесь хорошо! Сколько книг! Вязки сухих растений, рыжих и серых, лиловые чертополохи. Как уютно под потолком! Глубоко внизу - мольберт с холстом, начатым, и расставленные у стены акварели. Таи-Ах отсюда не видно -мы прямо над ней. Мы стоим на полу галереи - он над ней потолком.

- А ты здесь не была? - Макс открыл дверь в заднюю верхнюю комнату - я иду за ним, как кот, осматривая комнатные окрестности. Как чудесно! Это же как потайная комната... Величина и тишь... Ковры, скромные, старые в татарские, рыжий холст, и одна из стен целиком из

перекладин и маленьких стекол. Книги, маски Гомера, Гоголя, Пушкина, еще чья? Покой из опустившихся век диктует стенам и полу вокруг - тишину. Максин мягкий в чувяках шаг, рука отводит вбок ставню - и полоса, косая, вдруг рожденного солнечного луча преображает этот книжный одиночный уют: вспыхнула янтарем вся желтая занавесь и, отрезанная, ушла вглубь - опрокинувшись во мглу интерьером наискось легшая часть комнаты. А в окне -

море, вдруг одарившее своей близостью комнату, от него – было! -ушедшую.

– А из того окна, – Макс поднял руку высоко к стене под углом, над книжными полками, – вечером солнце, закатное. Тогда все тут – пылает. Приходи посмотреть.

Летом 1914 года у Макса гостила художница Юлия Леонидовна Оболенская, маленькая, худенькая, некрасивая, умная, обаятельная. Она была и живописец, и график, ученица Бакста, Добужинского, позднее – Петрова-Водкина. Пра прозвала ее Аладдином. Макс высоко ценил ее. Она много знала, писала стихи. Вот что Макс писал о ней своему другу художнику Константину Кандаурову:

«Часто и подробно беседую с Юлией Леонидовной с очень большим интересом. Редкая начитанность по самым разнообразным вопросам. Открываю в ней все новые, неожиданные стороны».

Кандаурова я встретила в Москве у Эфронов, – помню его веселым, смеющимся, яркие глаза, рыжеватая бородка. Кандауров был декоратором Малого театра, секретарем общества «Мир искусств». Приезжал ли он летом 1914 года в Коктебель – не помню, вскоре он женился на Юлии Оболенской и прожил с ней до конца своей жизни.

В те годы на дороге из Феодосии в Новый, к Коктебелю, у самого шоссе стоял домик писателя Викентия Викентьевича Вересаева. Еще в отрочестве я прочла его нашумевшую книгу «Записки врача», где была критика врачей, не всегда исполняющих свой долг. Впервые я увидела Вересаева – у Макса. Высокий плотный человек в потертом синем костюме. Ему понадобилась какая-то книга. Дружески поздоровались. Сквозь пенсне благожелательно, с сердечным вниманием

! смотрели его глаза на говорящего с ним. Мне показалось, | что он похож на Чехова. Нет, сходства в

чертах не было. Разве что в небольшой бородке. Позднее я поняла, в чем было дело: и тот и другой были и писатель и врач, вот эта

И двойная внимательность к собеседнику - и врачебная и | писательская - роднила Вересаева с Чеховым. Гражданская

1 война застала его вместе с женой, верным его другом, в Коктебеле. В дальнейшие годы я встречала его в Москве, в Доме Герцена на Тверском бульваре. Постаревший, удрученный болезнью жены, он все же не оставлял литературный труд. Помню себя с ним стоящей в солнцем освещенной комнате в его квартире, где-то в переулках у Плющихи. «Я сейчас работаю над повестью о детстве нашем с братом, - сказал он. - Уже много написано. Эта работа меня очень увлекает». В тяжелый для меня год, узнав о том, что я, тогда еще не получившая академического пайка, с десятилетним сыном сильно нуждаюсь, Викентий Викентьевич поднялся ко мне на четвертый этаж, таща мне львиную долю своего академпайка - баранью ногу, мешочек с крупой, пакетик жиров, соленую рыбу. Этот поступок его показателен. Я даже не была его другом, мы были только знакомы, встречались в писательских кругах. Долго ли он жил в Коктебеле? В последующие годы мне не удалось узнать. Но мне хочется упомянуть здесь еще об одних записках, напечатанных им в каком-то журнале. Назывались они «О смерти». Это замечательный материал врача и человека, факты, наблюдения и мысли о мужестве, отношении к смерти различных людей, встреченных им в жизни.

...Где жил тогда писатель, чье имя свяжется с этими местами? Еще не были написаны «Алые паруса», еще годы пройдут, пока автор их поселится в Феодосии. И десятилетия - пока в Коктебель придут люди искусства, чтобы тут воссоздать детство и юность Ассоль и, пустив по волнам, взять в объектив алый парусник Грея.



Сказочная коктебельская бухта обняла их горами и морем – чтобы показать их на высоко натянутом над залом и зрителями полотне, освещенном – словно с моря – прожектором.

А в любимой Грином Феодосии, в доме, где он жил, открыт волшебный музей его имени: его портреты, его книги о кораблях и кораблекрушениях, о мужественных суровых людях, о бегущей по волнам Фрэзи Грант. Музей парусников

и шхун, где из угла залы выступает нос корабля, где живут морские фонари и канаты, и подзорные трубы, унося с собой посетителей в карту Гринландии с новыми мысами и проливами, с городами Гель-Гью, Лисс, Зурбаган...

В середине лета Макс уехал в Париж. Те же были горы, так же шумело море в нашей любимой бухте, но Коктебель опустел.

## ГЛАВА 51. БУРЯ В ОТУЗАХ

Поздним летом 1914 года, перед самым объявлением войны, я жила в береговых Отузах. Дачи Отуз были ниже, на берегу. Дни стояли жаркие, мирные. На склоне тихого золотого дня, уложивши сына, я с няней собиралась ужинать. С дачи Сибора таяли длинные звуки скрипки, будя воспоминания о весенних вечерах в Трехпрудном, о любимых Марининых и моих пластинках (патефон с раскрытой, как лепесток лилии, темной деревянной трубой; от деревянности звук был совсем другой, чем с железной, точно труба была сделана из виолончели и звучала только «веленьями страсти», которые не унимались). Я прислушалась – разве не чудо? На скрипке смычок начинал медленно до боли знакомые звуки:

Не ис-ку-шай ме-ня без нужды...

Разведя примус, я только вылила на сковородку яйца, когда вдруг налетевший ветер, засвистав, сорвал парусом надувшиеся шали, смел со стола полетевший горящий примус, сковороду, тарелки, кастрюли. В поднявшемся вое и скрежете, в рухнувшей на дом мгле застучали, ударяясь о стол, топчан, в меня куски снега и льда.

Молния! Загрохотали горы. Я вбежала в комнату, что-то крича насмерть перепуганной няне. Напрягая все силы, мы притянули дверь в дверную коробку. Ключ щелкнул. Беда крепла. Град бил в окно. Град гремел, как камни. Сейчас выбьет стекла, и буря ворвется в комнату.

Молния. Удар. Грохот. Крик няни: вся галдарейка рухнула! Моментальным снимком пустота перед дверью. Вместо веранды на толстых столбах – груда развалин, куски черепичной крыши. Молниеносно в

мозг: продолжение «гал-дарейки» (летней пристройки)  
- наша комнатка! Рухнет

следующим ударом на нас. Я кидаюсь к вешалке, срываю все, что на ней, и, бросив все на ребенка, пытаюсь забрать всю мягкую грудку и его под ней. Спотыкаясь, на что-то свесившееся, сгибаясь от тяжести, бегу к двери.

- Откройте! Дверь! Бежим! Нас задавит.

Причитая, споря, молясь - все вместе, няня, натужась, повернула ключ рвущейся с петель двери, ее швырнуло наотмашь о стену, и мы выбежали в ледяной хаос. Ноги, застревая в сыпавшихся из-под них обломках, пытались бежать, - но куда? Тьма. Вой. (Вспоминаю: не было мысли -куда, только прочь!) Но уже не было сил, ноша гнула меня, комья града два-три раза попали по стриженной голове, мокрое платье облепило ноги. В этот миг блеснула молния, осветив распахнутые бурей двери в капитальную часть дома, где была контора по ломке карадагского камня. Спотыкаясь и падая в наставшей вновь тьме, мы бросились туда, проваливаясь меж обломков галереи. Свист, вой, грохот неслись за нами. Я упала вместе с моей ношей, запутавшись в какой-то одежде, только тут проснулся в ворохах платья мой двухлетний сын.

В это время слышались странные звуки и даже как будто голоса. Или кажется? Нет, кто-то стучится или скребется за стеной конторы.

- Помогите нам расшатать дверь, - глухо неслось. - У нас тоже все рухнуло, нас завалило снегом. - Дачники с задней стороны дома.

- Помогаем! - кричала я, стараясь перекрыть бурю. -Сейчас сделаем.

Вскочив, с зажженным огарком, няня и я отцарапали заклеенную обоями дверь, несколько минут усилий с той и нашей стороны - и в открывшийся ход полувошли-полу-вползли через груды стекла и снега измученная

мать и двое перепуганных детей. Руки их были изрезаны осколками разбитого окна, через которое они, по колени в снегу, прокопались к заклеенной двери.

Гром и град стихали, молнии стали реже. Мы улеглись на полу, кто на чем. Мы уже засыпали, когда издали громче и громче стало раздаваться завывание уже было стихнувшего вихря. Хаос возвращался. Вой ветра креп, переходил в рев. Свет молнии то и дело озарял контору, столы, шкафы и наше цыганское логово. Это была круговая горная буря,

вращающаяся винтом между гор. Мы придвинулись теснее. Как дороги мы были друг другу сейчас. Неизвестность исхода, небывалость происходящего в черно-белом от снега мраке отнимала надежду. Но в этот раз голоса хаоса стали слабеть. Когда, обессиленные, мы стали полусыпать, хаос возвратился в третий раз с не меньшей силой, по закону винтовой бури. Полуживые, в отчаянии от непонятности происходящего, мы уже не верили в то, что это когда-нибудь кончится. Так прошла ночь. Мы уже ничего не ждали. Мы перестали понимать безопасность капитальной постройки. Что могло гарантировать ее в таких громовых раскатах, под такими потоками ливня и ударами льда? Мы ждали конца.

Буря прошла. Еще во мгле рассвета к нам постучались и войти с фонарями трое мужчин в сапогах, в плащах, с горными палками. Один из них был с дачи Сибора. С них струилась вода. Они обходили отдаленные дачи – узнать, все ли живы, не нужна ли помощь. Провожая их, мы, став на пороге, не узнали ландшафта: все серо-желтое, виноградники смыты, море на широкую полосу от берега коричневое, мутное. По развалинам мы добрались до нашей комнаты. Она уцелела и была полна снега. Но когда совсем рассвело – встало солнце! Оно сверкало над опустошенной долиной, где со всех подножий гор исчезли ковры

виноградников. Все залито грязью, сады стоят привидениями, от листвы ни следа. По узкой дороге меж стен садов, по которой нам приносили из верхних Отуз почту, теперь шла бурная коричневая река, и по ней, как в «Медном всаднике», плыла деревянная утварь и обломки жилья и заборов. Но солнце лило сверху свой вечный свет, и все оживало. Море поглотило муть реки побеждающей синевой, и люди, точно не было этой ночи, вновь бились за жизнь: укладывались, ожидая сигнала с уже созданного ввиду беды эвакуационного пункта, записывались кто в Феодосию, кто в Коктебель, кто куда.

# **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ МОСКВА. ПЕТРОГРАД ГЛАВА I. МОСКВА**

Когда в конце лета 1914 года мы вновь оказались в Москве, это была уже другая Москва – военная. Шли маршевые роты. В наш дом в Трехпрудном, № 8, где мы родились и выросли, мы никогда не вернулись. Брат вскоре отдал его под лазарет для раненых, которых уже свозили в Москву. С уходом дома, где еще незримо с нами жили папа и мама, с началом войны, кончилась наша юность.

Ты, чьи сны еще непробудны,  
Чьи движения еще тпхи,  
В переулок сходи Трехпрудный,  
Если любишь мои стихи.

О, как солнечно и как звездно  
Начат жизненный первый том,  
Умоляю – пока не поздно,  
Приходи посмотреть наш дом!  
Будет скоро тот мир погублен,  
Погляди на него тайком,  
Пока тополь еще не срублен  
И не продан еще наш дом.

Этот тополь! под ним ютятся  
Наши детские вечера,  
Этот тополь среди акаций  
Цвета пепла и серебра.

Этот мир невосвратно-чудный  
Ты застанешь еще, спеши!  
В переулок сходи Трехпрудный,  
В эту душу моей души.

В эту осень нам исполнилось – Марине двадцать  
два, мне – двадцать лет.

Мнения о длительности войны, как и отношение к ее «наружности», разделились. Многие тогда считали, что она

скоро кончится, более зоркие умы – негодовали. Выехавший за границу перед самым началом войны М. А. Волошин слал матери, рискуя, – письма могли быть прочитаны – обличительные антивоенные стихи; выступал с той же оценкой войны в Швейцарии Ромен Роллан. Мало сведущие в делах политики, мы ждали конца войны. Но была еще одна причина, по которой Марина не со всей мощью своего восприятия переживала те военные недели: помимо того, что еще никого из близких на войне этой не было, помимо того, что мы недооценивали ее, ожидая скорого конца, Марина, приехав из Коктебеля, застала в Москве смертельно больного брата Сережи, умирающего от туберкулеза, Петра Яковлевича Эфрона, приехавшего из Франции. Он был так похож на Сережу, своего младшего брата, – как будто Сережа умирал на ее глазах! Это горе, горе его последних дней, нежной дружбы их, прерванной смертью, как с детства каждая смерть, пересекавшая путь, поглотило ее. Только это довлекло. Если бы не цикл стихов, этой утрате посвященный, я не знаю, как бы она с собой справилась.

И был еще бытовой вопрос: где жить? Все как-то вокруг рушилось: дома в Трехпрудном не было, в ее доме на Полянке – чужие... Марина приехала с Полянки – расстроенная.

– Знаешь, Ася, оказалось, что эта больница не нервная, а психиатрическая... Они не хотят выселяться, Чровы! Выселить их судом? Кто это будет? Сережа? Я? И въезжать туда после того, как там сумасшедшие жили? Я не хочу там жить! И потом – знаешь, я, когда вошла в этот дом, поняла, что он мне совсем чужой! И совсем он уж не так похож на Трехпрудный. В нашем простор был... было в нем волшебств о... И какие-то запахи там

чужие – мне даже страшно немножко сделалось – как мы там жили? Почему мне так не понравилось? Такое все сжатое, низкое... Ни за что не хочу там жить! Пусть там живут сумасшедшие! Правда? Им – все равно, там каждый в своем мире. А нам с Сережей все эти миры их теперь – на себя... Они будут нам сниться!

Марина близко мне взглянула в лицо. Глаза ее, с расширенными зрачками, глядели близоруко и гипнотически...

– У тебя сейчас глаза как у кота, – сказала я Марине. – Я очень рада, что ты не будешь жить в том доме. Я его никогда не любила, а только терпела, чтобы не огорчать тебя!

– И мне ничего не сказала. Ася, ты – свинья... Ты должна была мне сказать о нем – правду!

– По-моему, Сережа пробовал, чуть-чуть. Но разве ты бы послушала?

– Не послушала бы, конечно, нет... Но сколько можем мы жить у Лили и Веры? Если бы у тебя была квартира, мы временно у тебя пожили и искали бы... Но ты ведь тоже должна искать? Но только не будем искать в Замоскворечье, это совсем чужая Москва! Надо начинать искать. И я так рада, что Сережа сдал экзамены... Но теперь у него другая фантазия – сразу в университет. Смерть Пети так на нем отразилась, ему надо скорее домой куда-то, в покой... Опять затемпературил (вздых). Ну, что же, завтра – начну. В переулках Арбата, Пречистенки, Поварской... Ведь Чровы будут нам платить за этот дом! Как ты думаешь? Не очень аккуратно платят. Но все-таки платят. Вот это и будет идти на плату за квартиру. Зачем этот «собственный» дом?..

И опять началась эпопея поездок, дворов, милых и не милых переулков, переговоров с хозяевами, сравнений, где лучше, где просторней, где есть хоть



тень сходства с Трехпрудным... Знакомства и разлуки с собаками и с котами.

## **ГЛАВА 2. «МОЙ ДОМ!» (ДОМ В БОРИСОГЛЕБСКОМ)**

Я уже перевезла свои вещи со склада Ступина, где они год стояли на хранении, в особнячок у Зоологического сада, когда ко мне ворвалась Марина.

- Ася, нашла! Нет, нашла уж по-настоящему! Вот это будет мой дом! Это тебе понравится! Знаешь где? Борисоглебский переулок на Поварской. Входишь - темно, потому что не горит лампочка. Ну, это вставим! Проходишь площадку - есть ли справа квартира, я не заметила, слева

- есть! Начинается лестница. Первый марш, площадка, поворот, второй марш - и площадка, там горит лампочка. Справа - высокая дверь, двойная. Помоему, она красного дерева (я не видела еще красного дерева дверей). Очень похожа на наши диваны: два в гостиной и Сережин диван. Входишь. Передняя какой-то странной формы, вся из углов, потому что одна дверь впереди, одна как-то наискось, стеклянная. Справа - темный коридор. Потолок высоко... на

\* к

этом месте - все начинается! Дверь открывается - вы в комнате с потолочным окном - сразу волшебно! Справа - камин. И больше ничего нет. Я так вдруг обрадовалась, но знаешь, это не так, как там. Это - серьезно. Я уже в этой комнате почувствовала, что это - мой дом! Понимаешь? Совсем ни на что не похож. Кто здесь мог жить? Только я! Сережа бы и то согласился... Но и ему, и мне есть там другие комнаты - слушай! Проходишь это потолочную комнату - а там темная, маленькая. Ощупью доходишь до двери - двери двойные, высокие - и вдруг ты в зале! Зала,

понимаешь? Справа окна – во двор. Три окна. Это будет Алина детская. Чудно! Они с Андрюшей могут бегать, как мы в зале бегали... И шары воздушные, красные и зеленые будут летать, как у нас – высоко... Помнишь, как у нас улетали?

– Еще бы!

– Тут будет Алино детство. А сперва от высоких белых дверей – надо назад выйти – маленькая темная дверь. Я вошла – моя, понимаешь? Такая странная комната – и такая р о д н а я... У окна, во двор, оно под углом с Алиным (почему получается – непонятно), я поставлю мой письменный стол. Больше ничего, собственно. Люстру повешу. Я еще не купила. Куплю маленькую, не пышную. Да, и диван у стены против двери, справа за спиной, когда за столом буду сидеть. И стена как-то изгибается, непонятно – и справа углубление: здесь станет мамин книжный шкаф, и на нем -бюст Амазонки. Углубление нарочно для шкафа. Но встанет ли Амазонка? – вдруг засомневалась Марина. – Шкаф мамин очень высок... его можно в Алину залу – вот и все! А на секретер – Амазонку. Окно мое – прямо в голубей, их на наружном подоконнике – тьма... Большая фортка. И такой угол в этой комнате, она маленькая, но в ней дух дома! Подожди, еще целый этаж! Да, вот это – мой дом. А Сережа – отдельно, как мы в детстве – наверху, отдельно, тишина – заниматься... Чтобы попасть во второй этаж этой квартиры, – продолжала Марина, – надо пройти маленькую темную комнату: первую, с потолочным окном, позади остаются еще моя, Алина – сколько это? Четыре комнаты -выходишь в переднюю, а она неожиданно изгибается – и не резко, не поворот, а какие-то полукруглые стены – иходишь к лесенке. Ее продолжение вниз – это выход на черный ход, а я говорю про ту, которая вверх поднимается.

Я не помню, совсем прямая она, как у нас было в Трехпрудном, или там есть поворот. Если есть - он не резкий, а как та стена передней - округлый. Ты следишь? Наверху - площадка, верней, пол небольшой комнаты, проходной, направо две двери - к кухне, и влево - две двери, одна за другой. За ними - Сережина комната. Ася, это знаешь что такое? По-моему, это - каюта. Во-первых, туда попадаешь не сразу, к тому же какой-то переход, полутемный, преддверье. Иходишь по ступенькам в разлатое, невысокое антресольное - что? Мне показалось, тут должен быть иллюминатор, за ним - волны. И может быть, все это - корабль... Да, что-то кораблинное есть в этой квартире - и это такая прелесть... Все комнаты - сами по себе, понимаешь? Это сборище комнат, это не квартира совсем! Как будто часть замка. Откуда-то ее пересадили в этот дом № 6! К Сереже надо внести диван - напротив двери, перед ним - стул. Все уже есть. Красное дерево. Справа - окно, такой глубины, амбразурное, и выходит оно на крышу. В голубей. И оно над окнами Али... Но кажется, что очень высоко. Как мама мечтала, для воздуха... Да, и еще кухня! Знаешь какая? Совсем непохожая! Не кухня! Очень большая, тоже разлатая, в два окна - это все направо, и совсем непонятно, куда эти окна выходят - тоже во двор, должно быть, - но не может же двор обходить все комнаты! Там должен быть, другой дом, дом соседей... Ну, это все равно не понять! Такая квартира, будто ты в ней давно живешь так все понятно, точно это все ты сам сделал... Как во сне! Как я давно его искала, этот м о й д о м!..

Я в этот день пошла туда с Мариной. И удивительно: точнее нельзя было описать его! Ходя по комнатам, я все узнавала, точно я здесь уже второй раз. Только внизу, то есть во втором этаже, я спросила Марину, почему она не рассказала о самой первой комнате, которая находилась напротив входной двери.

- А, - равнодушно сказала Марина, - это просто даже лишняя комната. Мы ее, наверное, сдадим. И так хватает! Пять, кроме кухни. Совсем обыкновенная, не вписывается в эту квартиру. Комната-отщепенец...

\*\*\*

Кончался 1914-й. Увы, война не кончалась. В дом в Трехпрудном свозили раненых, в доме Марины на Полянке, с такой любовью найденном, врачи лечили сошедших с ума людей...

Наши дети росли, им уже пошел третий год, они говорили, они столько уже понимали... Обожаемым взаимным дарили друг друга Марина и Аля, Аля знала уже столько стихов! Но над домом их, войной обойденным, хранимым (Серееже, по университету, была отсрочка), притаился другой страх, неумолимым молчанием отвечавший на Маринин вопрос: выживет он? Температура... Как наша мать, не хочет есть ничего, что бьет болезнь эту, не может принудить себя... Грозная память об ушедшем его брате бросала на все - тень.

Неутомимо следила Марина за режимом больного, за открытой форткой его, на самой большой, в квартире возможной, высоте - тут исполнилась мечта нашей матери: «Когда мы вернемся в Москву, - говорила она нам и во Фрейбурге и в Ялте, - я, дети, поселюсь выше, чем ваши комнаты, над крышей парадного, на чердаке, в мансарде. Окно будет открыто и в мороз, как в ТяуНп, там холодом облаков горных лечат туберкулез...»

Сереежина комната воплощала эту мечту, до которой не дожила наша мать, в Тарусе в жару умершая, за полгода до московских морозов.

В комнате, похожей, по Марининым словам, на каюту, роль кровати играл старинный диван с гнутой спинкой красного дерева: с кресел, таких же, сметалась и выбивалась пыль. Любимые его, мальчиком еще, полководцы Суворов, Кутузов, Нахимов, Корнилов,

герои Севастопольской войны глядели со стен, со старинных гравюр багетных рам. Сережа не отрывался от книг. Такие же два дивана стояли внизу в столовой, у правой и у левой стены. Над ними тоже гравюры. Полыхал огонь в камине, за высоким потолочным окном смеркалось, в высоких дверях, из полутемной проходной комнаты выбегала дочка Сережи – так на него похожая, как и он, с огромного разреза глазами. Но в то время, как его лицо, длинное и худое, делало темные его глаза почти неестественной, о болезни напоминая, величины – Аля походила на английское беби светлой гривкой тяжелых

пышных волос, на лбу челкой подрезанных, и, подняв к матери, поправлявшей дрова, глаза, светлее, чем голубые, гортанным голоском говорила:

– Мама, идемте в детскую! Посмотрите, как спит Кусака!..

Я не помню, с каких лет Аля стала звать мать – Мариной.

В детской на трех окнах спущены занавески, и почти во

всю ширь – серый с рыжим узором листьев ковер, ковер из маминой гостиной в Трехпрудном. Мамин книжный, орехового дерева шкаф торжественно стоит в левом углу. Он оказался слишком высок, чтобы на него поместить Амазонку. Амазонка смотрит вниз на Маринину комнату со старинного темного секретера, привезенного из арбатского антикварного магазина. Над кроватью Али картинки сверкают рождественским снегом, как кусок звездного неба.

– Марина, это твоя детская сохранилась?

– Чудом! Второе детство... Алечка, скоро спать пора. Няня где?

– Еще чуточку!.. Няня молоко в кухне греет...

Мы в Марининой комнате. Аля ластится к матери. Напротив дверки, чуть вправо, над спартанским ложем

-пружинный твердый матрац. На дощатой раме, крыт рыжим рядом, висит портрет Сережи, почти в натуральную величину.

- О, Магда закончила (я, отойдя, чтобы лучше охватить взглядом), хорошо... чудная кисть ее! И очень похож.

Сережа смотрел на нас, лежа в шезлонге, и была во взгляде его тишина.

- Марина, все твои мечты о твоём доме исполнены? Какая удивительная люстра, синяя!

- И за грош отдали - в ней по синеве трещина. Но правда - волшебная вещь?

- Секретер точно для этого угла был создан!

- Да, вещи сами идут в руки, когда их ищешь, - оживляясь от моей похвалы, отвечала Марина. - Лисы чучело видела?

- Как кошка свернулась, раковиной?

- Да, так спят...

- Мама, Кусака! - кричала, вырываясь от няни, Аля, отбиваясь от няниных рук, ей не давая, переваливая в руки матери дымчатого серого кота.

- Ася, это не кот, это чудо какое-то... Он все понимает.

Марина целовала в голову Кусаку, выгибавшего шею, как лебедь. Закрывая за дочкой дверь, обещая прийти на ночь проститься.

- А шарманку до сих пор не нашла... Можно подумать, что я идиотка? Война идет, а я шарманку ищу... Но это же душа нашего детства, с ними уже не ходят по улицам, пусть играет Але в этом углу!

- И Амазонка твоя будет слушать, наклонив к ней голову.

- Ах, Ася! - сказала, вдруг вся меняясь, встрепенувшись в свою тоску, Марина. - Я дописала вчера стихи Пете.

Она перебирала бумаги на девическом своем, трехпрудном, ей подаренном папой письменном столе, большом, мужском, нетемного дерева, с темно-красным сукном.

- Слушай. Начало ты уже наизусть знаешь. Вчера я закончила:

...Пусть листья осыпались, смыты и стерты На траурных лентах слова.

И если для целого мира вы мертвы,  
Я тоже мертва.

Я вижу, я чувствую, вижу вас всюду -Что листья от ваших венков!

Я вас не забыла и вас не забуду Во веки веков!

Она передохнула. И угасая:

Таких обещаний я знаю бесцельность,  
Я знаю тщету.

Письмо в бесконечность. - Письмо в беспредельность, Письмо в пустоту.



## **ГЛАВА 3. МАРИНА И ПЕТЯ ЭФРОН-МАРИЯ ИВАНОВНА КУЗНЕЦОВА**

А я живу на новой квартире – на Верхней Прудовой, 6, вбок, влево от входа в Зоологический сад, если встать лицом к Большой Пресне. Особнячок, три комнаты.

Москва полна ран и могил, никому не зримых среди садов, скверов.

Новое ждало меня в Москве и поглотило – в рассказе Марины: ее встреча с Петей Эфрон, старшим братом Сережи. Их короткая, нежная дружба – и его смерть... Маринина рана сочилась. Она говорила мне только о нем. Рассказы смешивались со стихами ему, их цикл рос. Она рассказывала мне

каждое его слово, ей или при ней сказанное, передавая каждую интонацию, и я слушала, замерев, ее боль, все росшую от часа встречи (зачем так поздно!) до часа утраты, до лицезрения посмертной маски, торжествовавшей над жизнью в полуулыбке легших в покое черт – глаз, сомкнувшихся и сдавшихся смерти губ. Он был так похож на Сережу! Могильный холм, в который врезался – прощаньем? – ее лоб, был тоже еще он... И он цвел, в стихах, растая и грозя не умереть вовсе, заполняя ее существо.

Любя Сережу и Бориса, мы не могли не любить их, так на них походивших, братьев, как Нилендер не мог не любить нас двух... Была ли эта любовь изменой? Кому?

Марина рассказывала о том, как она шла к Пете в первый раз, волнуясь и не зная, какой он, и как его увидела, и о чем они говорили, и как трудно ей было –

обедать! у них. О разящей прелести его лица и телодвижений смертельно больного, борющегося, пробовавшего шутить, быть братски-галантным, не показывать, как ему тяжело...

Говорила о женщине, фривольной и бессердечной, бывшей его жене, его бросившей. Об их маленькой дочке, умершей ранней весной (ее-то, крошечную, катал в бедной колясочке тринадцатилетний младший брат Сережи Котик в свою последнюю зиму).

Все это ей было так дорого, что только мне она могла сказать все это, мне – и в стихах, в вечность... О том, как за несколько часов до его смерти она, от него не отходившая, подошла к окну (или вышла на балкон?).

– Ася, в небе стояло огромное облако, и в нем была голова Пети. Его профиль. Как он лежал. Это было не сходство, а тождество, и я стояла и не могла отвести глаз. И некому было показать, чтобы тоже увидел, – я стояла и смотрела одна. Меня трясло. Облако – таяло, не плыло... Я вошла назад к нему, в комнату...

Так она говорила, как в тихом бреде, и нельзя было ее отвести от боли ее никакой радостью.

Я благодарна ей, что она мне подарила себя в этом. До Пети она никогда не делала этого, все таила в себе – об умерших (Наде Иловайской, лейтенанте Шмидте, Анне Ивановне Изачик, и не счесть их числа...).

После ее отъезда в 1922 году из Москвы маска Пети много лет жила в верхнем ящике бабушкиного комода вместе Марина целовала в голову Кусаку, выгибавшего шею, как лебедь. Закрывая за дочкой дверь, обещая прийти на ночь проститься.

– А шарманку до сих пор не нашла... Можно подумать, что я идиотка? Война идет, а я шарманку ищу... Но это же душа нашего детства, с ними уже не ходят по улицам, пусть играет Але в этом углу!

– И Амазонка твоя будет слушать, наклонив к ней голову.

- Ах, Ася! - сказала, вдруг вся меняясь, встрепенувшись в свою тоску, Марина. - Я дописала вчера стихи Пете.

Она перебирала бумаги на девическом своем, трехпрудном, ей подаренном папой письменном столе, большом, мужском, нетемного дерева, с темно-красным сукном.

- Слушай. Начало ты уже наизусть знаешь. Вчера я закончила:

...Пусть листья осыпались, смыты и стерты На траурных лентах слова.

И если для целого мира вы мертвы,  
Я тоже мертва.

Я вижу, я чувствую, вижу вас всюду -Что листья от ваших венков!

Я вас не забыла и вас не забуду Во веки веков!

Она передохнула. И угасая:

Таких обещаний я знаю бесцельность,  
Я знаю тщету.

Письмо в бесконечность. - Письмо в беспредельность, Письмо в пустоту.

## **ГЛАВА 3. МАРИНА И ПЕТЯ ЭФРОН. МАРИЯ ИВАНОВНА КУЗНЕЦОВА**

А я живу на новой квартире – на Верхней Прудовой, 6, вбок, влево от входа в Зоологический сад, если встать лицом к Большой Пресне. Особнячок, три комнаты.

Москва полна ран и могил, никому не зримых среди садов, скверов.

Новое ждало меня в Москве и поглотило – в рассказе Марины: ее встреча с Петей Эфрон, старшим братом Сережи. Их короткая, нежная дружба – и его смерть... Маринина рана сочилась. Она говорила мне только о нем. Рассказы смешивались со стихами ему, их цикл рос. Она рассказывала мне

каждое его слово, ей или при ней сказанное, передавая каждую интонацию, и я слушала, замерев, ее боль, все росшую от часа встречи (зачем так поздно!) до часа утраты, до лицезрения посмертной маски, торжествовавшей над жизнью в полуулыбке легших в покое черт – глаз, сомкнувшихся и сдавшихся смерти губ. Он был так похож на Сережу! Могильный холм, в который врезался – прощаньем? – ее лоб, был тоже еще он... И он цвел, в стихах, растая и грозя не умереть вовсе, заполняя ее существо.

Любя Сережу и Бориса, мы не могли не любить их, так на них походивших, братьев, как Нилендер не мог не любить нас двух... Была ли эта любовь изменой? Кому?

Марина рассказывала о том, как она шла к Пете в первый раз, волнуясь и не зная, какой он, и как его увидела, и о чем они говорили, и как трудно ей было –

обедать! у них. О разящей прелести его лица и телодвижений смертельно больного, борющегося, пробовавшего шутить, быть братски-галантным, не показывать, как ему тяжело...

Говорила о женщине, фривольной и бессердечной, бывшей его жене, его бросившей. Об их маленькой дочке, умершей ранней весной (ее-то, крошечную, катал в бедной колясочке тринадцатилетний младший брат Сережи Котик в свою последнюю зиму).

Все это ей было так дорого, что только мне она могла сказать все это, мне – и в стихах, в вечность... О том, как за несколько часов до его смерти она, от него не отходившая, подошла к окну (или вышла на балкон?).

– Ася, в небе стояло огромное облако, и в нем была голова Пети. Его профиль. Как он лежал. Это было не сходство, а тождество, и я стояла и не могла отвести глаз. И некому было показать, чтобы тоже увидел, – я стояла и смотрела одна. Меня трясло. Облако – таяло, не плыло... Я вошла назад к нему, в комнату...

Так она говорила, как в тихом бреде, и нельзя было ее отвести от боли ее никакой радостью.

Я благодарна ей, что она мне подарила себя в этом. До Пети она никогда не делала этого, все таила в себе – об умерших (Наде Иловайской, лейтенанте Шмидте, Анне Ивановне Изачик, и не счесть их числа...).

После ее отъезда в 1922 году из Москвы маска Пети много лет жила в верхнем ящике бабушкиного комода вместе

с маской нашего отца. Оба улыбались одной улыбкой -полуулыбкой смерти.

Но жизнь берет верх над смертью. Несколько недель спустя:

– Ася! – сказала мне Марина. – Борис ухаживает за одной знакомой Веры Эфрон. Актриса. Талантливая. Вера сказала, а она редко кого похвалит. Я ее видела. Невысокого роста, большие глаза. Прямой нос. Тонкий

рот. Красива. Но я Бориса ей не отдам! Ни за что! Борис – твой. Мария Ивановна Кузнецова. Играла в Эрмитаже, у Суходольской, теперь, кажется, у Таирова.

– Почему же так? – удивилась я. – Ведь мы разошлись! И никогда вместе не будем. Почему же ты...

– Не знаю. Не хочу этого! Он не будет с ней, вот увидишь!

– Марина, ты очень странная! А я, я, может быть, совсем не ревнивая? Мне даже интересно! Ты их видела вместе?

– Нет. Мне говорили. На «Трех сестрах», кажется, а может быть, в другой пьесе, в студии Комиссаржевской, – она так играла, что Борис на весь партер крикнул: «Смотрите же на нее!..»

– Это еще интересней! Борис, такой каменный часто. Мы с ним были у Незлобина (с ним, с Борей Бобылевым...), как Жихарева играла Настасью Филлиповну! Но ничего подобного Борис не... Значит, еще лучше играла! Я бы хотела ее увидеть!

– Да? Правда? Ты хочешь? – удивилась Марина. – Это можно устроить, если хочешь.

Уговорились, когда я встречусь с Марией Ивановной Кузнецовой. В назначенный день я увидела чудесную молодую женщину, русскую красавицу. Маленькая, большеглазая, глаза светлые, веселые, с лукавинкой, а когда рассмеялась – вам друг. Марина ласково к ней приглядывалась. Мы просидели сперва втроем, потом не могли расстаться – вдвоем с ней до утра, я все рассказывала о семье Труха чевых, о трудностях характера Бориса, и мы уснули, как сестры. Этой ночью началась наша многолетняя дружба, продолжавшаяся до глубокой старости. Она, старшая, ушла раньше.

## ГЛАВА 4. ВОЙНА. ВЕСТЬ ИЗ ПЕТРОГРАДА

Как ножом отрезало многих друзей. В каждой семье не хватало кого-то. Толя Виноградов, Сережа и Петя Юркевич, Володя Цветаев, сын папиного брата Петра, Сережины и Борины товарищи – все уже были кто в военных училищах, кто (Володя Павлушков, второй муж Драконны, врач) в действующей армии. Маринин Сережа, как только что поступивший на филологический факультет Московского университета, не был взят, имея отсрочку. («Отсрочку»! Неужели война продлится так долго, что, окончив университет, он еще попадет на войну?) Все кругом плыло, смешавшись в клубок неприятностей. Уже шли первые поезда с ранеными... (Зачем? За что? Кому эти смерти нужны? Победы! Царские! А народы должны гибнуть... Так кружились мысли, не смея искать выражения. Так думали и мать Толи, и мать Сережи, Пети Юркевич, брата Марининой подруги Сони. Но кому сказать об этом?)

И немного прошло дней, когда на звонок, пойдя отворить сама, я впустила Бориса в военной форме. Погоны его были не похожи на те, что я видела на офицерах, и на мой вопрос Борис отвечал мне, что он идет нижним чином – вольноопределяющимся, так как у него законченного гимназического образования нет. (Он был в пятнадцать лет исключен за дерзость и не попросил прощения!)

Я смотрела на Бориса. Жалость была еще острее от невольного любования: он так хорош – тот же! и незнакомый, в гимнастерке, схваченной ремнем, в галифе, сапогах, в новом очертании и цвете, и была

ранящая строгость и чистота в отсутствии пышных волос. Остриженный, он казался еще худее, и бескозырная фуражка странно и страшно, но объединила его с толпами маршевых рот, уходивших мимо по улицам.

Борис в военной форме ходит по моим комнатам.

- Мама в отчаянии, что я пойду нижним чином, буду в солдатских казармах, - сказал он с нотой горькой иронии в голосе, - но я не могу не идти. То есть именно она потому в отчаянии, что я иду до срока, меня еще не призывают, но она не понимает, что я не могу не идти сейчас, зачем мне ждать какого-то там призыва? Умирают те, кто не нужен. Я должен узнать, испытать судьбу!

Он был верен себе! Везде и всегда - бой с жизнью, чувство смерти в ней, зов к поединку, что-то «зловещее и прекрасное,

как музыка Паганини» (по выражению Нилендера). И теперь, когда уже целый год мы были врозь с Борисом, когда он преодолел меня на своем пути, живет вновь один, - как теперь еще по-иному мучительно дорог он был мне, войдя на мой новый порог уже гостем и - прощающимся, избирая себе вместо меня (ему уже в прошлом) - маршевую роту, Иначе идущий, чем призванные, на поле битвы, где ждет смерть.

Иначе идущие! Взятые по призыву. Из них никто не шел «узнать о себе» - годен ли жизни. Они были уверены в том, что годны, и, идя защищать страну, каждый только того и желал, чтобы не умереть (пусть другие умрут?!), чтобы вернуться! К очагу! У Бориса не было очага - ни материнский, ни мой ему не стал опорой. Ни препоной к единственному, что шло в счет: сразиться с судьбой. Узнать свой удельный вес. «Умирает человека тогда, когда он не нужен жизни». Это было credo Бориса.



Спешно, потеряв из-за войны Сорбонну, я вместо Парижа записываюсь на лекции в университете Шанявского по древней и новой философии. Вечерами на Миусской пустой площади большой дом сверкал огнями этажей. Читали профессора Кубицкий, Рачинский, Густав Густавович Шпет, Виноградов. Во мне в мои двадцать лет прочно засела мечта написать книгу о всех неверующих философах с начала мира. А пока я собиралась к Розанову, в только что переименованный Петербург.

В один из осенних дней до моего отъезда в наш особнячок позвонила средних лет дама с молодой спутницей.

Дама как дама, представилась: «Хозяйка квартиры, где живет ваша родственница Мария Степановна Камкова, а это

- моя дочь». Я слушала - и не слушала: восхищенно и нежно глядела я на юное существо, озарившее светлым золотом кудрей мою комнату. Видение с английской гравюры прошлого века! Фарфоровый овал, синий блеск взгляда - и несмелость, несветскость еще при всем праве на то, чтобы осиять лучший бал «света»... Я не запомнила ее имени - жаль (теперь бы ее окликнула...). А мать ее тем временем говорила:

- Я воспользовалась случаем, что в Москве, и зашла к вам, Анастасия Ивановна, от имени Марии Степановны. Она просила вам передать, да и я, собственно, заинтересована

как ее хозяйка... (Она засмеялась, видимо, стесняясь грубости мотивировки?) Знаете, хоть она и знает, что по завещанию вашей покойной матушки, ее племянницы, где она упомянута, она имеет право на завещанные ей суммы, и вы деньги ей высылаете, но, знаете ли...

- Опаздывают, да? Я не всегда в первый день триместра получаю полагающиеся мне по

распоряжению мамы проценты с капитала, – отвечала я смущенно. – Вы знаете, я по ее воле не могу тронуть капитал до сорока лет. Я живу на проценты. И вот, когда я запоздаю получить, то, естественно, и отправить... Но я понимаю, Мария Степановна этих денег ждет, и я постараюсь не запаздывать больше! Мама оставила нам с сестрой еще троих пенсионеров, мы их и поделили и им высылаем их «пенсию».

Как жадно слушала меня «хозяйка»! И как – не участвуя -глядела по сторонам ее спутница.

А ее мать говорила:

– Запаздываете – это ничего... Это мы понимаем! Но, знаете, в жизни всякое бывает! По закону-то по закону, а все-таки – вот я и задумала у вас побывать самой. Убедиться! Чтобы иметь уверенность. И я теперь – вижу... Я ее теперь успокою, старый же человек, беспокоится, и ведь ей ничего ниоткуда больше, вся надежда – на вас! Скажу, что у вас и в мыслях нет...

Только тут я поняла: она не решается выговорить, что я вдруг возьму да и перестану исполнять желание мамы, перестану помогать бедняге Камковой! (после сказочного богатства – 27 домов, – после красоты, тоже сказочной, –жить старухой в восемьдесят лет у «хозяйки» и дрожать, что не виденная ею внучка давно умершего брата, дочь давно умершей племянницы вдруг – бросит! Судись тогда с ней!..)

Стыд душил меня, Я кинулась в жар уверений.

– Да и не будь маминого завещания, разве я бы оставила в старости, в бедности дедушкину сестру? Скажите ей это! Прошу вас! Я как-то не думала, когда позже ехала в банк за процентами, что это промедление может вызвать такие мысли у Марии Степановны! Скажите ей!

Дама уже вставала. Она поняла и поверила. И спешила. Благодарила, прощаясь. Я жала ее полную, крепкую деловую руку и тонкие легкие пальчики ее

дочки. Кивала им, улыбалась... Обещала, что скоро буду в Петрограде и непременно извещу Марию Степановну, чтобы самой ей подтвердить.

## **ГЛАВА 5. БОРИС В КАЗАРМАХ. МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА**

Я у свекрови. «Борюшку поместят в солдатские казармы, там спят на полу, на соломе, там столько солдат... На полу!!!

- Она узнавала. - Только подумайте, Ася! Я объездила сегодня несколько мест - надо же хлопотать! Называла заслуги семьи - безуспешно! Ничего сделать нельзя - закон! Раз он не имеет учебного ценза, не окончил гимназии, он идет нижним чином, вольноопределяющимся! А сегодня я, Ася, была в казармах, и что же я узнала? Боря бунтует солдат! Идти к генералу, требовать, чтобы без всякого учения сейчас же отправляли на фронт!»

Маленькие сухие ее ручки дрожат в моих: «Ася, вы поедете к нему, поговорите?»

- Сегодня же поеду! Сделаю все, что смогу!

- Скажите ему, что за это, за неподчинение, - такое время - возможен военно-полевой суд! А завтра я у него буду...

Тихая, глубокая, как шкатулка, уютная старинная комната слушает нас. Портреты детей в рамах, затененный свет керосиновой лампы и в углу - белая большая кровать под пологом.

И вот я вхожу с картонным футляром большого торта, бумажным мешком крымского винограда в Лефортовские казармы. Запах сырости и смазных сапог. Солдаты... На полу, на соломе, лежит, глаза в потолок, Борис. Встает мне навстречу. Что-то ужаснувшееся, должно быть, в моем взгляде, потому что он усмехается. И учтиво, беря виноград и торт, с юмором: «Не пугайтесь, Асенька. Вы, конечно, такого не видели,

но не это противно (хоть тут есть и мокрицы!). «Дисциплина! – скандирует он непередаваемым голосом, – фельдфебель муштрует! А я хочу теперь же на фронт!»

И он не слушает, что я говорю и что говорит его мать, твердит свое: «Военно-полевой суд? Пусть! Я им скажу...»

Наши друзья, Марины и мои, Герцыки – Аделаида и Евгения Казимировна (их отец был поляк) – жили в Кречетниковском переулке между Арбатом и Новинским бульваром. В их доме цвело слово «соборность», прочно жило уважение к религии, бывали Вячеслав Иванов, Павел Флоренский и другие писатели и философы.

Но только один человек для меня там звучал – Лев Шестов! Услыхав, что он там бывает, я пошла к ним с Мариной и с интересом смотрела издали на пожилого бородатого человека с печальными глазами. Это были очи. Я не хотела знакомиться – в этом было бы что-то нарочитое. Но Евгения Герцык почти против моей воли познакомила нас и сказала ему о моей книге атеистических «Размышлений», которую я готовлю к печати.

– Все очень важно, чтобы вы ее прочли, Лев Исаакович, то есть она не знает, что это ей очень важно, но вы поймете. И вам будет интересно...

Я стояла смущенная, и лицо менялось, вероятно, как у Марины, от протеста – к застенчивости. Шестов попросил прислать ему рукопись; мы условились, и я прислала. Дни, когда он читал ее, стали днями большого волнения для меня.

И не прошло, может быть, двух-трех дней, как раздался телефонный звонок и Шестов сказал, что сам привезет рукопись. Это уж было – событие! И старый, усталый, мыслитель, издавший уже столько книг, проводивший недавно на войну своего сына,

переступил мой порог. Я не помню, о чем мы говорили, как долго. Я помню только несколько фраз:

- Ваша книга не совсем верно названа, - сказал мне Шестов, - это еще не «Королевские размышления». Было бы вернее назвать ее размышлениями королевского пажа... Вы молоды, вы позднее поймете мои слова. Я бы хотел, чтобы ваша рукопись стала известна России, и я предлагаю вам письмо мое о ней в любой толстый журнал. Ее должны прочесть все!

Я смотрела на его старое, скорбное лицо, на печальные глаза. Но мне было двадцать лет, и я ответила пылом строже этого возраста:

- Спасибо вам большое. Но я хотела бы войти в литературу самостоятельно...

Что он еще говорил? Помню: «Я вам оставляю мой телефон, я его не даю обычно - мешают работать... Подумайте о моем предложении!» Он записал номер и дружески жал руку. Больше я его не видела, не позвонила ему. Затем была весть о том, что сын его убит в бою.

## ГЛАВА 6. ПЕТРОГРАД

«Туман, лондонский» – так говорят о Петрограде. Я вступаю в него первый раз.

Нет, это не туман, туман стелется (вечером, над болотом, далеко на лугу в Тарусе). Это спущены завесы сверху, а между этих завес, в них исчезая, снизу стелются им навстречу очертания домов. Не менее волшебны, чем Венеция!

Я не ликую, как многие, что мы, нападающие войска, «захватываем» что-то? Отчего я только вновь и вновь потрясаюсь звуком солдатских песен, уходящих с ними -умирать? Воем баб на вокзалах, провожающих сыновей и мужей... Спешу. Стыдно туда опоздать – к шестидесятилетнему, к восьмидесятилетней Камковой, которая ждет!

Туман и озноб. Еле видны дворцы у остановки трамвая, где его жду, стерегу огонек за поворотом... Дождь? Запахи палто, вытягиваю шею, как птица нахохленная. Гляжу в двери, высокие, пугающие чуждостью, как в квартире того «философа», откуда завиделся издали и шагнул мне навстречу Василий Васильевич Розанов. Молниеносное, вне воли – глаза в душу – наблюдение: выше, чем думалось, среднего роста, ждала меньше, суше. Лоб – вроде папиного. Голова полуголая, как у папы. Те же узенькие золотые очки на старых глазах... Но глаза?! Нет, глаза совсем не похожи. Слаще, но вместо папиного спокойного, почти радостного благожелательства – и у папы шире глядят – уже, острее и хитрее, что ли?? И в этой неизбежной ему «хитрости» – тоска, и уже побарывают смущение, и уже источают ласку – какие путанные, какие исстрадавшиеся глаза!

Из-за них не сразу услышала голос. Из-за них не сразу нашла свой. Задохнулась как-то, будто охрипла вдруг. Кажется, о порог споткнулась? И враждебный свет, яркий, из чьей-то стереотипной столовой, которая оказалась – его. Щурюсь (неприлично, к глазам лорнет не поднимаю) и от этого вижу еще смутнее, чем чувствую. Нескончаемый переполох во мне. Но и не только во мне – в доме! Звуки

шагов? Поспешное двиганье стульев? Отовсюду – люди. Девушки. Мальчик-подросток, головастый, на отца похожий. Но, раздвинув (детей? стулья?) впереди, – женщина. Пожилая, большая, добрая, настороженная, ласковая хозяйка. Мать детей и жена! Не понимающая. Читала ли мои письма? Чем встревожена? Какое глупое положение! И в сердцах на себя, внезапная трезвость... Подымаю глаза «воспитанные». С улыбкой – руку. Великолепно обузданный голос (совсем как Марина! О, ее нет сейчас!):

– Цветаева...

Фамилия ли? Интонация? В нужный миг нужное движение к рукопожатию? Все стало в порядок: вмиг, как в театре, -вверх занавес!

Каждый актер – свое место. Нужные слова, и покой у стола, сразу ставшего столовым, и уже золото чая в светлом фарфоре – в моей руке. Не расплескать бы на блюде, ставя хрупкое сооружение на скатерть. Не потерять бы тон речи... (О, как, как ненавижу мещанство «семейного счастья», как хочется прочь, с ним, из дома, в туман...) Пропустила огонек за поворотом! Уже у плеча звонок трамвая. Еле успела вскочить!

Я ехала по теперь забытому адресу. Была ли это Петербургская (Петроградская) сторона или Васильевский остров? Эти два названия с того первого свидания с Петроградом живут в памяти. С трудом отыскала я нужный мне – многоэтажный серый дом с



мрачной аркой ворот, с унылым колодцем-двором, темным подъездом. Поднялась по грязной черной лестнице, где пахло кошками и мелькали худые тени. С содроганьем думала о том, куда иду. Я еще никогда не говорила с восьмидесятилетним человеком, не знала, как держаться, что говорить. Как я уже писала, и здесь место снова вспомнить об этом, память с детства хранила образ бездушной разодетой красавицы, холодно встретившей младшего брата, приехавшего к ней, единственной сестре (мать умерла, отцы были разные, их тоже давно не было на земле). Он только что вышел их кадетского корпуса. Здесь, в этом городе, у него не было угла. А она спешила с мужем – в гости. Одеваясь, долго заставила брата ждать в пышной гостиной, вошла как видение – улыбка, извинение, что ей некогда, и в надушенной ручке – золотой. Она протянула его юноше-брата, потрепала его по щеке, она уже исчезала в распахнутые высокие двери. Ни приглашения, ни вопроса.

Он вспыхнул. Но военная выправка, дисциплина с детских лет... Вышел за ней следом. Она, кажется, соблаговолила остановиться на площадке мраморной лестницы с золочеными перилами. Он спускался, спеша. Глядела ли она вслед? Видела ли, как единоутробный и бедный брат отдал швейцару подарок богачки-сестры – золотой?

Тяжелые двери, подобострастно распахнутые перед ним, закрылись с тяжелым шумом. Он никогда не переступил их вновь. Этот юноша был мамин отец.

Это все, что я знала. Нет, еще то, что с ее разорения брат стал содержать ее.

Длинная лестница! Но в те годы я летала по лестницам. Однако сейчас я шла, замедляя шаг. Было страшно. В беспомощности своей, хватаясь за молодость, силу, за противоположность тому, что я должна увидеть, вспомнила -ту! То видение

светлокудрое с английской гравюры, хозяйскую дочку, меня в Москве навестившую... Может быть, она дома и я увижу ее?! Я уже тянула ручку звонка. Но если мой визит к Розановым произвел некоторое замешательство, то мое появление в квартире, где снимала комнату Мария Степановна Камкова, разразилось брошенной бомбой!

По коридору (длинному, темному) засновали, кто-то бежал сказать туда, в глубину, мою фамилию, захлопали двери, раздались приглушенные голоса... Появилась хозяйка квартиры. Она была намного скромнее одета, чем когда приезжала ко мне, и было полутемно, но я узнала ее сразу по голосу, медово-взволнованному, которым она приветствовала меня.

Она стояла передо мной, благодаря за посещение, которое так обрадует Марию Степановну, - «Можно сказать, целую жизнь вас ждала, входите, пожалуйста» - и мы толклись, здороваясь, и я не увидела, как и откуда вышла в коридор та, что оказалась Марией Степановной. Оно тоже толклось, существо в чем-то темном, широком и до полу длинном, и щупало воздух руками. Я замерла.

- Где ты, Настенька? - прохрипело, в волнении откашливаясь, страшное видение старости. - Что-то не вижу тебя! Я ведь слепну, - говорило оно глухо, - у меня перед правым

глазом - что черное сукно, а перед левым - что белый туман... Поди ты ко мне, Настенька...

Я шагнула вперед, и дрожащие, в темных рукавах руки нащупали меня. Это было полуобъятие. Я нагнулась и поцеловала морщинистую, обвислую щеку. Но уже руки хозяйки, обхватив нас обеих, уводили от соседей в комнату. Только при дневном свете разглядела Марию Степановну. Это была очень маленькая, очень широкая и тяжелая старуха, одетая в невообразимое, точно снятое с чего-то большого, оно

висело на ней где-то подобранными ворохами материй, темных, и колыхалось при ее движениях, как и тело ее, и это колыханье было самое живое в ней. Остальное уже наполовину перешагнуло – туда.

Лицо? Были складки кожи, остатки черт. Лица не было. Я говорила что-то, рассказывала (что?). Как давно я в Петроград собиралась, как я рада, что мне, наконец, удалось ее навестить... Она слушала, понимала, должно быть, и тоже говорила о чем-то дрожащим, глухим голосом, давно утратившим все приметы, отличия – женского...

Я теперь вспоминаю: мы ведь не сидели. Стояли. Простояли так всю беседу. Сказала ли я, что у меня, к сожалению, мало времени, что меня ждут, я ненадолго приехала в Петроград? Может быть, говорила, что в Москве оставлен маленький сын... Что, может быть, еще приеду? И я, наверно, вспомнила, чтобы ее утешить, мамин рассказ (она-то не помнила, мама была, ей рассказывали, «дедушку» – о брате ее – я не упомянула каким-то звериным чутьем). «Как вы держали на руках маму... Затем вы уехали назад в Петербург и больше в Москве не были...»

Она слушала. Ее ничего не выражающее лицо, если можно назвать лицом сборище морщин с невидящими глазами, могло показаться безучастным... Но только внезапно все ожило, исказилось, всхлипнуло, и я не успела понять... рухнуло передо мной на колени! И вслед за ней я, присев, согнувшись, напрягая все силы и не в силах поднять ее, и из дверей, из-за ширмы, из коридора, – замершие в любопытстве, больше, чем в любопытстве – лица!

– Настенька! – кричала, не подымаясь с колен, в отчаянии.

– И обещай ты мне, обещай, внучка Настенька, похоронить меня, когда помру, в Павлове, где родные мои лежат...

И я, в отчаянии тоже:

- Что вы, Мария Степановна, живите! Да, да, конечно, обещаю, непременно, как вы хотите...

Шелест голосов, шепота... Хозяйкины руки помогают мне поднять с колен невстающую, и я, в ужасе от того, чем может быть жизнь, не в силах более, предчувствуя освобождение ухода, скороговоркой, бодрой, чтобы заглушить бывшее:

- Я буду теперь аккуратно посылать деньги, будьте спокойны, Мария Степановна. Тридцать рублей каждый месяц и сорок пять к Рождеству и Пасхе, я никогда не нарушу волю моей мамы, вашей племянницы. Прошу вас, не волнуйтесь больше ни о чем. (Мы еще говорили? Не помню.)

Поцелуй, прощание, рукопожатие... Ух... точно ветром выметало меня из страшной квартиры (было это? или сои -какое-то обращение из-за ширмы и дверей глядевшим, что, мол, все слышали теперь, чтобы больше не...).

Я летела с лестницы (вспомнив ли уже Василия Васильевича?). О кошку ли споткнулась или наступила на кожуру, из помойного ведра рассыпавшуюся? «Стойте, подождите!»... - кричал знакомый - чей? голос, и, на бегу за рукав пойманная, встала в испуге.

Передо мной хозяйка. Но ее лицо было ново.

- Простите меня! - шептала она (оглядываясь, нет ли кого). - Я вас обманула! Не квартирантка она мне - мать! Дочь я ей... не смела сказать вам, думала, вдруг скажете: есть кому кормить ее! Но вы... В вас я в первый раз поверила человеку! Верю вам! Ох, кабы вы только знали, что мы через нее испытали... Я ведь с детьми осталась от мужа, билась как рыба об лед! Ведь у нас состояние огромное было - все она по ветру пустила, она да папаша мой... Из-за нее маемся! Дочку мою видели? А что она терпит? И я здоровье в нищете

потеряла – все из-за нее, верьте мне! Не сочтите, что я уж какая-нибудь такая. Только сил уж нет больше...

Но и мои кончились. Я жала ей руки, успокаивала, уверяла, благодарила ее за доверие, может быть, просила простить матери... И летела уже вниз с града ступенек, сыпавшихся под рвущимся бегом.

«И еще говорят, что Достоевский выдумывает такое, что бредовый писатель! Вот бред – рухой подать!» – думала я, добираясь по широким и узким вечерним улицам до редакции, где оставался подолгу работать Розанов, ждал меня. И несправедливо я вчера мысленно на его семью обрушилась

за кажущееся благополучие! За что? За любовь, в ней живущую? За заботу всех обо всех и о нем? За прокаленную преданность жены его, матери его детей? Мещанством назвала! Вот это было мещанство во мне – жест дешевый... И мелькнуло перед глазами личико одной из дочек его, запомнившееся. Без красоты милое, умное, худенькое... чем-то похожее – на него? Таня... А он похож – чем-то -на Федора Михайловича...

И вот мы сидим вдвоем в глубокой тихой редакционной комнате; он отбросил рукописи и книги, без конца говорим... Он слушает мой рассказ о моей будущей книге, я ее перепишу, пришлю, и он не прерывает поток моего утверждающегося отчаяния, что нет Бога, мое полное отвержение веры. Все знакомо ему. Понятно. И корни видны. Он не ополчается на мой протест против его веры, не спорит. Он берет мои руки и смотрит в глаза, и его усталый, живучий, старый и молодой, дряблый и закипающий голос говорит мне о том, какие еще перемены меня ждут...

Часы идут, вечер, поздно. А мы все говорим, не можем расстаться.

– А все-таки, Василий Васильевич, я чувствую, что больше вам сил отдаю, чем вы мне! Что до конца, до самой глубины вы меня не поняли. Нет, постойте, дайте

сказать! Если бы поняли по-настоящему, вы были бы счастливы мной! Я была бы вам драгоценной находкой! Весной в вашу старость! А вы...

Он прерывает меня:

- Слушай, Ася, ты не права. Ах, как ты не права! Это -от молодости, от нетерпенья... Пойми же меня: я стар! У меня - семья. Столько людей на мне! Разные возрасты. Столько работы! Не души во мне не хватает, как тебе показалось, а только сил... Времени!..

Я слушала, стараясь понять! Весной в его старость! Эти слова я от него услышала - сказал их мне в наше свидание в 1917-м, три года спустя.

Начало вечера. Мы снова долго сидели с Розановым в редакции. Я рассказала ему вкратце Маринину и свою жизнь.

А теперь он идет показать мне улицу, где жил Достоевский. Он попробовал меня убедить, что счастье женщины - в семье, в любимом мужчине... Не захотела слушать! Я, может быть, мало женщина? Хватит мне, не хочу!

- Ты прочти мое •«Люди лунного света» - понравится. -И еще мне: - Нет, ты - не бархат, ты - шелк. Шелестящий шелк. В тебе есть тончайшая сталь - твой лунный свет!

...Туман - густой. Диккенсовский. Темнота. Он ведет меня под руку. Тяжелый, сырой воздух, неуют мгlistых фонарей, редких. Безлюдье. Узкая улица (мне чудится мостовая - в гору, мост или - Кузнечный переулок). Он говорит: «Тут он жил, вот его дом!» Подымаю голову, и вдруг - трепет озноба. Испуг! Бредовая уверенность: я иду с Достоевским! Туман, огни - я схватила за руку Розанова... (но и почти семьдесят лет спустя я эту минуту помню).

Через два часа я стою у окна в подъезде, ночь, полет... Курю. Петроград тает лунной мглой. |

ГЛАВА 7. МАВРИКИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Случайный знакомый польский архитектор Лев Матвеевич, пан Леон, очень хотел привести своего друга, инженера Маврикия Александровича, много мне о нем рассказав как о [сочетании ума и доброты. Но в назначенный вечер пана Леона вызвали в Варшаву и он уехал, оставив другу мой | телефон. Тот позвонил и сказал, что случилось.!

- Мне жаль, что ваш друг уехал, - сказала я. - А я давно дома и вас ждала.

- И прошу извинить меня за поздний звонок, я не мог исполнить раньше поручение моего друга...

- Вы провожали его?

- Да. Сейчас уже поздно. Вы, верно, ложитесь, но вы разрешите мне быть у вас в другой день, вам удобный?

- Я сейчас не ложусь. Я ведь ждала вас с Львом Матвеевичем. Если можете прийти - я буду рада.

- В таком случае, если вы разрешите, я буду через полчаса.

Слова медленны, от них веет задумчивостью и прохладой.

Он не спешит. Нет тревоги. Тут какая-то сила? Я кладу телефонную трубку. Стою на пороге своей - она одна в доме не спит - комнаты, трогаю шпанечек на стене - и загораюсь люстрой, всеми ее вспыхнувшими свечами (или она - мной?). Лихорадочно, с четкостью сна, я оглядываю стены, картины, книги. Штору левого окна - загнулась. В зеркало лицо - горит. От люстры? Молодо. Ярко. Завивающиеся концы волос у плечей, золотой их изгиб у виска... За плечом в зеркале

нагнулась стена, окунулся в свет пейзаж Коктебеля, корешки книг. Как по-иному тихо, чем десять минут назад!

Ясное ощущение праздника: я вступаю в неведомую желанную душу. Еще раньше, чем человек переступит порог.

Интонации голоса уже мучают! Обаяние чуть польского выговора... «Господи!» – говорю я, не слыша, что зову мне не существующего Бога, но меня прерывает звонок.

– Не надо, не вставайте! – говорю я прислуге, было на звонок заворочавшейся. – Я отопру сама! Спите!

Лунный – или свет фонаря с улицы – мглистый свет, косо, через переплеты коридорных окон, моя тень через путаницу света и тьмы, мой быстрый шаг вниз по ступенькам, острый холод зимы, щелканье замка – и я уже не одна, нас двое. Две улыбки, рукопожатие. Я почти не вижу его.

Свет белого шара матового кронштейна передней освещает входящего невысокого человека в черном – скунсовый воротник – пальто (но я мгновенно отмечаю уют его в длинношерстного меху воротника и высокой шапки, узенькой, в густоте резко опущенных темно-рыжих усов, в бледности щек, каких-то сейчас усталых, худых, чисто выбритых; даже в трепете век, тяжелых, во взгляде больших – серых? – глаз, благожелательных и застенчивых. Слово он пришел меня успокоить из ночи жизни. Ничего не говорит, смотрит. Снял черную шапку – круглый абрис высокого, широкого лба, переходящего в лысину (ему на вид почти сорок, но от его друга знаю – ему тридцать лет). Повесил пальто, за мной входит в комнату, в неожиданный (забыла ее!) блеск люстры. Она не нужна сейчас. Я зажигаю настольную лампу, ее бледно-желтый шелковый абажур тепло озарил мой уют. Люстра увяла, стены вновь полутемные; смутно блестит угол стекла над синезеленым овалом киммерийского Марсова озера. Я приглашаю сесть.

Праздник начат.

Глубокий час ночи. Маврикий Александрович был так разительно не похож ни в чем на своего друга, недавно бывшего в этой комнате, что мне трудно



представить себе их вместе. Это люди разных миров, противоположных восприятий жизни.

Деятельный, энергичный, живописный в каждом выражении лица, в утверждениях своих, жестких Лев Матвеевич так

и просился действующим лицом в роман. И фоном за ним было «общество». Как трудно мысленно увидеть то общество, где Маврикий Александрович был бы – «как дома». И удивительно подходил он к беседе наедине в эти тихие ночные часы с ждавшим его человеком! Словно он и не жил иначе, а только так, на глубинных нотках, в медленных высказываниях о продуманном и пережитом, во внимательном слушании собеседника. (Как мог Лев Матвеевич понять, что мы нужны друг другу? Так нужны...) Был ли он так одинок, как я во всем разнообразии моих друзей? Может быть, и на его душе – просветлело?

В комнате – покой и гармония. В моей жизни такое было в первый раз.

Как долго я жила без него! Как долга и тиха ночь. Но уже свет. Усталые от волшебства беседы, мы расстаемся - для недолгого сна перед днем. В этом сне мы, может быть, вновь будем вместе.

Дружба Марины с Аделаидой все крепла. Со мной о мыслях моих Марина не спорила. Многие из них она разделяла, в другие – не вмешивалась. Она была в те годы особенно нежна ко мне. И в это время, когда я ездила к цензору, пригласившему меня, чтобы выправить некоторые резкие выражения о божественности, которые «не допустит наш батюшка, или книгу придется арестовать, задержать», и с сожалением говорил о моей такой умонаправленности - «дочка Ивана Владимировича...» (но книгу все же пропустил).

Марина писала стихи.

С горечью, еле сдерживая отвращение, рассказывал о войне В. А. Павлушков, врач, второй муж Драконны. Лицо Володи, обрамленное незнакомой выросшей светлой бородкой, постаревшее, измученное, было надменно; за этим выражением отчужденности от живых в тылу была потрясенность фронтом.

- Раненые? - ответил он мне. - Думаете, сострадание, милосердие? Вы, Ася, не были там. Я - хирург. - Он пустил клуб дыма из трубки. - Куча мяса - и лечишь...

Он больше ничего не сказал. Мне показалось, он на краю заболевания. С впечатлениями войны Сережа Юркевич справлялся, Володя - нет.

Ирина Евгеньевна слегла, и ее положили в больницу, лечебницу доктора Герцена на Никитской. Ей сделали операцию язвы желудка, против которой ее предупреждал д-р Ревидцов. Сыновья навещали ее. Увы, она умирала.

Борис рассказывал мне о ней как-то странно. Ее младший, ее «Вениамин», любимец (хоть она глубоко любила и старших двух сыновей), как воспринимал он мать в их последние встречи? Вероятно, он не умел рассказать. В соприкосновении с умиранием матери он был под мрачным ярмом смерти, гипнотически воспринимал смерть. Это, может быть, его отвлекало от сознания и чувства, что умирает его мать. Но произнести какое-то последнее слово уверенности о Борисе и о членах его семьи едва ли возможно: как только являлась уверенность, что ты разобрался в смуте определений и хочешь назвать итог, так этот итог исчезал, побежденный чем-то совсем противоположным, неожиданным, и было стыдно за свою ошибку, такую грубую, куда грубее, чем то, в чем ты готовился кого-нибудь из них упрекнуть.

## **ГЛАВА 8. ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ И ЕГО БРАТ АЛЕКСАНДР**

Когда началось мое знакомство с Осипом Эмильевичем и его братом Александром, Марины уже не было в Коктебеле, ее дружба с Осипом Мандельштамом была позже.

Осип и Александр были крайне бедны, жили на последние гроши, всегда мечтая где-то достать денег, брали в долг у каждого, не имея возможности отдать. Александр делал это кротко, получал с благодарностью. Осип брал надменно, как обедневший лорд: благосклонно, нежно улыбаясь одно мгновение (долг вежливости), но было понятно, что брал как должное – дань дару поэта, дару, коим гордился, и голову нес высоко. Не только фигурально: мой Андрюша (ему в августе исполнялось три года) спрашивал меня тоненьким голоском: «Кто так вставил голову Мандельштаму? Он ходит как царь!»

Оба брата шутили с ним, уверяли, что Осип – Мандельштам, Александр же – Мандельштут, и Андрюша так их и звал.

Осип был среднего роста, худ, неровен в движениях – то медлителен, то вдруг мог сорваться и ринуться чему-то навстречу. Чаще всего стоял, подняв голову, опустив веки на ласковые в шутливой беседе, грустно-высокомерные глаза. Казалось, опустив веки, ему легче жить.

Волос у него было мало – хоть двадцать четыре года! – легкие, темные, лоб уже переходил в лысину, увенчанную пушком хохолка. Горбатость носа давала ему что-то орлиное. И была в нем грация принца в

изгнании. И была жалобность брошенного птенца. И он стал моим терзаньем и утехой. В несчетный раз я просила и слушала его «Аббата»:

Образ твой, мучительный и зыбкий,

Я не мог в тумане осязать.

«Господи!», ~ сказал я по ошибке,

Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,

Вылетело из моей груди.

Впереди густой туман клубится,

И пустая клетка позади...

Александр деликатно и нежно любил брата (думаю, и Осип - его).

Все чаще просили мы Осипа Эмильевича прочесть любимые нам стихи «Бессонница. Гомер...». Крутые изгибы его голоса, почти скульптурные, восхищали слух. Видимо, он любил эти стихи, он читал их почти самозабвенно - позабыв нас...

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.

Я список кораблей прочел до середины:

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,

Что над Элладю когда-то поднялся.

Давно нет ни его, ни почти никого из его слушавших, но как вещь в себе жив в памяти голос, рождающий в воздух, в слух эти колдовские слова.

В быту у братьев все не ладилось, они часто болели, особенно Осип. Был на диете: ему бывали воспрещены обеды в береговой кофейне «Бубны», где встречалась знать Коктебеля за шашлыками, чебуреками, ситро и пивом, и как-то само собой вышло, что Осип стал в смысле каш и спиртовок моим вторым сыном, старшим, а об Александре стала заботиться Лиза, сестра Сони Парнок. Мы с ней пересмеивались дружески-иронически над своей ролью и весело кивали друг другу. Серьезных бесед я не помню. Осип был величаво-шутлив, свысока

любезен – и всегда на краю обиды, так как никакая заботливость не казалась ему достаточной

\*

и достаточно почтительно выражаемой. Он легко раздражался. И, великолепно читая по просьбе стихи, пуская, как орла, свой горделивый голос, даря слушателям (казавшуюся многим вычурной) ритмическую струю гипнотически повелительной интонации, он к нам снисходил, не веря нашему пониманию, и похвале внимал – свысока.

Роль такого слушателя была мне нова и нежно-забавна – мне, росшей среди поэтов, – Марина, Эллис, Макс Волошин, Аделаида Герцык, – но, увлекаясь образом Осипа Мандельштама, я играла в сестру-няню охотно, забываясь в этой целительной и смешной простоте от всех сложностей моей жизни.

\*\*\*

... Когда я сидела на берегу, подошел Мандельштам и сообщил, что надо уезжать, так как вокруг началась холера. Мне сразу стало весело от какой-то перспективы отъезда, быстроты, новизны.

«Но куда ехать?» – решали мы; стали говорить об окрестностях Москвы, где бы можно провести последний летний месяц. Подошли брат Осипа, Александр, и Лиза, стали решать, ехать ли и куда. Они были спокойны и говорили, что отдельные случаи еще не есть эпидемия, что надо узнать, подождать, что у нас мало денег, чтобы срываться с места. Они были правы, я это признавала. Но Осип Эмильевич в возбужденном состоянии настаивал на том, чтобы ехать тотчас же, к вечеру или завтра утром, в Москву, за Москву, в Финляндию. Его брат тоже с ним соглашался, хотя приехал только на днях и ему было жаль расставаться с морем. Они стали мне предлагать ехать в Финляндию, в изумительной красоты местности. Лиза

не хотела спешить, к тому же ее удерживало несколько дел.

С того мига, как Мандельштам сказал, что надо ехать и – «едемте», – я почувствовала в себе целое море галантности, веселья, подъема, в котором я смело бралась утопить последствия своего необдуманного поступка. О холере я не испытывала серьезного страха. Ни за себя, ни за Андрюшу. Мы – умрем? Этого же не может быть!..

В Финляндию? Что же, можно и туда, только немножко далеко от города, где Маврикий Александрович, – но как было бы весело: иностранные говор и деньги, вспомнится

Гельсингфорс... Я сидела на перилах, соглашаясь на все, ободряя Мандельштама и шутя над ним, защищая его от нападок брата и Лизы, стыдивших его за трусость.

– Все равно, – отвечал он, – здесь не смогу прожить этих дней, это будет пытка, да нет, я просто не вынесу!

Брат пожимал плечами. Лиза говорила, что, если бы у нее был такой сын или муж, она сошла бы с ума.

– Да оставьте его, – повторяла я миролюбиво, – это очень понятно: Осип Эмильевич уже видел однажды холерную эпидемию, и у него тяжелые воспоминания. Я понимаю. И к чему рисковать? Холера – болезнь смертельная.

Он же был в состоянии, совсем несхожем с моим, -подавленным, тревожным и требовательным, у него все время падал голос, и он не обращал на нас никакого внимания. Он хотел ехать во что бы то ни стало, и если мы не поедем, поедет один.

Лиза уговаривает меня подождать – поедем вместе, а он пусть едет один. Мандельштам на миг становится милым, и одна его улыбка, такая эгоистичная, но нежная (из-за изгибов губ!), и глаза милые, карие, и

гордый подъем головы, и голос – убедительней слов, еще больше веселья в моих ответах.

Но каждый миг дело может повернуться так, что все решат ехать отдельно. Конечно, в общем – мне все равно... Только так, милое событие жизни, быстрой и преходящей. Как люди мелки, как холодны! И к чему мы сейчас говорим, если так легко каждому ехать – «куда ему надо»!

– Да, я должен сказать, что вы для меня не существуете теперь, а станете существовать с того мига, как мы уедем отсюда, – сказал Осип Эмильевич.

Это было *le comble du bonheur!* (венец всего!)

Мне было смешно и весело. Улыбаясь, он звал меня ехать, предложил разделиться на две партии: я и он, Лиза и брат.

Лиза возмущалась:

– Вы будете исполнять чьи-то капризы?

– Ничего, – мягко ответила я, – это можно – раз в жизни! Жаль же его пустить одного – смотрите, какой он грустный. Бедненький! Ну не печальтесь. Решайте – и едем! Завтра так завтра! А теперь идемте пить вино, на прощание!

Мы пошли в кофейню. Как весело, как прекрасно было у меня на душе! Я вспоминала все отъезды моей жизни –

но ни тени не мелькнуло во мне от жуткого чувства, что столько позади и что никто об этом не думает:

*Dunkle Cupressen,*

*Die weif ist gav zu lustig Es wivd doch Alles Vergessen!*

– Позвольте же вам повторить мою глупую поговорку, что через пятьдесят лет – ведь всюду оспа, скарлатина, холера

– мы наверное будем в земле!

Мы сидим за мраморным столиком, мы решили ехать в Москву, а там уж увидим куда. Я сообщу Маврикию Александровичу, куда я еду, мы поедем в Тарусу, и если

Осипу Эмильевичу там понравится, поселимся там. Ока! Чудно! Там лес. Купанье. Я там провела все детство. Едем? Пьем вино, красное. Шумит море. Мы его называем «шипящей дурой», от которой хотим уехать к тихим водам, которые умеют молчать. Плющ и цветы, обвившие столбики, качаются в ветерке. Жара ослепительная. Какая-то компания, за соседним столом, смотрит на нас.

Я, чуть сощуриив глаза, смотрю вдаль, на море, на изгиб гор, думаю: «Вот этот миг – счастье. Полное. Кто поймет!»

\*\*\*

Затем (чуть шумит от вина в голове, и ноги тонут в песке) идем узнать точно насчет холеры. Да. Тридцать случаев, из них шестнадцать смерти, это начинается эпидемия.

Обедать идем все вместе; я заказываю Мандельштаму кашу и яйца (он больше ничего не хочет, он слаб и взволнован). Прохожу спокойно взад и вперед, меж столиков. Все время идет разговор об ужасном характере Мандельштама. Он мне улыбается. Едем.

\*\*\*

Лиза сидит за соседним столом с Головиными. Они говорят, что все это наши фантазии, что опасности нет, и тон их речи полон жалости к нам. Но жалость моя к ним -еще больше. За обедом происходит еще инцидент. Я предлагаю всем идти в горы, организовываю прогулку. Но Мандельштам говорит, что он слаб и в горы идти не может

- только куда-нибудь совсем близко; да нет, никуда не пойдет. Я тотчас же предлагаю ему поездку на лодке. Брат его возмущен, его раздражает происходящее. Я катаю хлебные шарики, смотрю в окно, где качаются розы, улыбаюсь личику моего странного protege, которое высоко поднято над столом, над нами, над миром – в картинном любовании собой?



Но когда мы идет по саду и он декламирует, вдруг мне кажется – и впрямь он на голову выше этих густых тополей и маслин – мягко падают глубокие и вычурные интонации, и глаза, покрытые веками, чуть мерцают.

О спутник вечного романа,  
Аббат Флобера и Золя, -  
От зноя рыжая сутана  
И шляпы круглые поля,  
Он все еще проходит мимо,  
В тумане полдня, вдоль межи...  
Шуршит гравий.

\*\*\*

Уговорясь с Кафаром о лодке, мы решили ехать на парусах (я четыре года не ездила, после той бури на море смертельно боюсь воды). Я подходила, переодевшись, к балкону обеих братьев, когда появились идущие в горы – они зашли за мной (я же их и звала). Я сказала, что не пойду, так как Осип Эмильевич устал. Иронические улыбки. Но что – я! Как хорош был он, когда на их вопрос, выраженный в форме приличной насмешки, ответил:

– Я слаб и идти не могу.

Он стоял, подняв голову, как всегда, с полузакрытыми веками, глядя на них холодно и спокойно. Чуть блистали глаза из-под век. Я стояла и любовалась.

Переглянувшись, посмеиваясь, поклонясь нам, однако, корректно ушли. Мы остались втроем. Было чуть неловко, чуть скучно. Пили чай.

\*\*\*

Ехали долго. В Сердоликовой бухте я бродила с ним по камням, он говорил о своем друге, композиторе. Я была в этой бухте четыре года назад. Я смотрела на серые полосы моря и на замшевые очертания гор, далеко, золотых от заката,

как на декорации. Ветра не было, и дорогу назад мы сделали на веслах. Баркас был тяжел. Мы глядели на звезды, появляющиеся по одной, затем – сразу, в бездонном, бездонном небе.

Я просила сказать стихи. Он говорил охотно, но равнодушно, не веря моему пониманию, и деликатно молчал об этом. И в этом, новом для меня, положении, что меня считали лютым простым человеком, а кого-то рядом – сложным, я чувствовала себя как в полусне, как в далеком детстве. Но было что-то сладкое в том, что я позволяю другому быть причудливым и не говорю о себе, и не думаю. словно кто-то дал мне волшебного зелья, от которого я забыла, кто я.

И было странно – слушать о Петрограде, который я плохо знаю, который чужд мне, как ледовитый полюс...

Летают валькирии, поют смычки,  
Громоздкая опера к концу идет,  
С тяжелыми шубами гайдуки  
На мраморных лестницах ждут господ.  
Уж занавес наглухо упасть готов,  
Еще рукоплещет в райке глупец.  
Извозчики пляшут вокруг костров.  
Карету такого-то! Разъезд. Конец.  
Волны, тронутые багрянцем – еще недавно,  
померкли.

Брезжился берег.  
В темной арке, как пловцы,  
Исчезают пешеходы.  
И на площади, как воды,  
Глухо плещутся торцы...  
Только там, где твердь светла,  
Черно-желтый лоскут злится,  
Словно в воздухе струится  
Желчь двуглавого орла!..

Мандельштам лежал, в сероватом пальто, скрестив на груди руки, закрыв глаза, – был очень похож на

Пушкина; пышные короткие бачки, бритое, худое лицо, очаровательная улыбка, слабость всего тела и рук, отвращение к могущей утопить воде, и – через весь холод – какая-то детская ласковость, и в холодном голосе мягкие интонации – вот что заставляло меня меньше смотреть на лицо Александра, во многом бывшего ко мне внимательнее его. Прекрасные глаза у Александра – длинные, серо-зеленые, мягкие, близорукие, добрые. И брови, черные, как кистью проведены. Ехали тихо.

Устали и ждали берега, то есть устали они, я – немного. Но день кончался трезво, и я вдруг почувствовала, что мне уже много лет... Двадцать два!

Когда подъезжали, зашел разговор о том, где ужинать. Я знала, что день кончен, но когда услышала, что Мандельштамы идут ужинать с людьми, которых я не люблю, я сказала, что буду ужинать с Лизой. Мне было глубоко наплевать на еду; я жила в эти минуты тончайшими чувствами жалости к ним – и глубоким собственным счастьем. Мы шли домой, а я думала о том, как все скучно, о том, что же это за странная вещь, моя жизнь, в которой я готова сорваться со всякой почвы ради вздора, фантазии, одной фразы – а фразы, суть фразы, вздор-вздор, и упадки вечно тут, со всей густотой своей тени!

Однако у дома Мандельштам сказал, что ему не хочется идти кушать одну кашу, а другого нельзя, я тотчас же предложила сварить ему кашу дома, он согласился. Я пошла домой, но не оказалось молока; не говоря ничего, прячась, через сад, забыв от усталости, я быстро пошла в кофейню, принесла молока и сварила подопечному кашу.

\*\*\*

Ужинали. Пришли Гловины, принесли вина, я достала остаток своего, пили. Говорили вздор, было весело. Мешали вина; уж было поздно. Яркая шаль

Лизы, в цветах; в широком окне встающий Юпитер – и от него, как от луны, в море серебряный блеск.

Гости ушли. Мы собрались пройтись. Была ночь. В небе, черном, высоко стоял Юпитер, и отблеск его в море потух.

Выбегая с балкона, я спросила у Александра, который час. Он вынул часы, уронил и разбил стекло. Я первая подняла часы, но перевернула нечаянно стрелку, и сразу вместо полуночи стала половина второго. Смеясь и продолжая свою витиеватую речь, охваченная пафосом его события, я легла с Аладдином (сеттер) на песок, говоря о том, как чудно сейчас случилась «ошибочка со временем».

\*\*\*

С отъездом Мандельштам решил подождать несколько дней – он был утомлен поездкой.

...Мы не уехали никуда.

Конец лета. Близ феодосийского вокзала, в гостинице «Астория», перед поездом на Москву, отходящим ночью, Андрюша сладко спит на широкой кровати, няня укладывается. Со мной Осип Эмильевич. Он нас провожает на поезд.

Вечер. И в моем номере дверь на балкон, и внизу окна аптеки, весь берег затемнен: от моря, от турок. На столе в тяжелых шандалах, старомодных, горят две свечи. Передо мной в чем-то сером – тоненький силуэт. Голова поднята, он читает стихи. Я его на всю жизнь запомню. Из-под легкой гардины от ветра трепет свечей. Шум волн...

## **ГЛАВА 9. «ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ» ДМИТРИЯ СМОЛИНА**

И вот в какой-то ранний осенний день к Пра приехал на день молодой писатель Дмитрий Смолин. В военной шинели, небрежно накинутой на плечи, – не щегольской шинели тыла, которых так много вокруг, а фронтовой, боевой, надышавшейся смерти, он ехал после ранения, изможденный, из лазарета. Он был белой вороной среди нарядных офицеров тыла. Глаза его глядели светло куда-то мимо. Он мало говорил. Вероятно, возвращался в часть.

И вдруг вся наша жизнь – с дружбами, любовью, стихами, природой – провалилась куда-то. Я потрясенно и жадно глядела на этого человека: он знал больше, чем все мы!

Я не вспомню – прошло более шестидесяти лет – как случилось, что мы заговорили – у Пра? – что я узнала: он пишет книгу о войне. Как он пришел читать ко мне вслух эту книгу – он только ее недавно начал? – но вот что я помню.

Ночь. Он уже давно читает. Няня и Андрюша спят, посапывая, вздрагивая. Рев моря, ветер. Мы – в маленькой, белой, треугольной, почти пустой комнатке в глубине второго от моря дома, дома Пра. Ход к ней через каменную крытую площадку (под навесом второго этажа). Керосиновая лампа мигает от ветра, утлая жестяная лампа. Дмитрий Смолин читает блистательные страницы – книга горит ненавистью к войне. Ее сверкающее сарказмом название – «Триумфальное шествие». Он пишет пером едким, непобедимым, без промаха, подняв завесу над

триумфом побед, он открывает шествие искалеченных – без ног, без рук, без глаз, ползущих и

6P1

стонущих. Книга похожа на книгу Ремарка, много поздней вышедшую, – «На западном фронте без перемен».

Слушаю, замерев. Жизнь остановилась. Голос чтеца беспощаден. Мой восторг растет. Няня вздохнула во сне. Лампа гаснет. По синей коронке огня – красные искры. Лампа ли нас развела? Кончил ли он чтение? Он встал, собирает листки, натянул сползающую шинель.

– Когда ваша книга выйдет? – спрашиваю я наивно.

И тогда кривая улыбка трогает его рот:

– Никогда!

Я ступаю вперед, наклоняюсь, целую его руку. Он не успел отдернуть.

Мы выходим в темные сени. Дверь распахивается в ярый рев моря.

Уже рассвет? Рукопожатие. Человек в шинели исчезает за ближними ветками дерева. 1

Стою, смотрю вслед. 1

t

Много лет спустя – полвека с той ночи! – мне в доме  
• художника Л. Е. Фейнберга передали привет от старого, как и я, Дмитрия Смолина.

## **ГЛАВА 10. АЛЕКСАНДРОВ. РАЗВОД С БОРИСОМ**

Осенью 1915 года я вышла замуж – гражданским браком

– за Маврикия Александровича Минца и переехала к нему в Александров, куда он, инженер, был призван на военную службу.,

И вот я об руку с мужем моим, Маврикием Александре-; вичем, драгоценным другом, таким же ко мне терпеливым, как старая няня к питомцу, моему сыну. Я гляжу на его лицо, чуть осунувшееся за лето военной службы (куда в начале лета был взят). На нем военная гимнастерка цвета хаки (слово из японской войны – бледно-серо-зеленоватое), с теми же не офицерскими погонами вольноопределяющегося, как у Бориса (по причине неоконченной гимназии), на Маврикия они, несмотря на его «три высших образования», тоже не офицерские, потому что он – еврей. (При царской власти евреев-офицеров не было.)

Я счастлива, что я с Маврикием, но его целый день нет, материнские заботы об Андрюше при хорошей няне не

заполняют время, я выхожу бродить одна по серому тоскливому городку, где для меня все чужое. Солдатские песни режут воздух, им вторят железнодорожные гудки...

Городок Александров – бывшая Александровская слобода, где века назад царь Иоанн Грозный убил сына-царевича.

Я стою над серой узенькой речкой, над которой унылые, серые, в ряд, как во сне, избушки, оглядываюсь на скучные ряды лабазов со складами на висячих

огромных замках, на подъем в гору, где за белой оградой – монастырь, а в другую сторону – маленькой базе – навозная застойная жижа базарной площади и редкие прохожие. Вымер город. Одни солдатские песни трепещут и вьются со свистом, и уходят на фронт поезда.

Мне минул двадцать один год, когда я узнала, что буду снова матерью. Лицо Маврикия, казавшееся рядом с моим -лицом отца, сияло не менее моего. Это будет девочка, говорю я, Ирина!

Я вошла с этим счастьем к Марине. Она обрадовалась, поздравила.

– Это вздор, что люди боятся иметь детей из-за войны. Его ребенок будет легче Борисова. Только как теперь быть с Борисом? Разводиться?! Трудно! Напиши сейчас же Борису! Хочешь, я с ним поговорю?

– Ну зачем. Я – сама. Он поймет. Ему понравился Маврикий. Но ведь дело в том, что, если он возьмет вину на себя, ему семь лет запретят жениться! И Мария Ивановна...

– Но ведь нельзя же, чтобы ребенок Маврикия был Трухачев? Развод нужен! – сказала Марина.

Когда в 1915 году летом вышла моя книга, я получила очень глубокий, мастерски написанный отзыв писателя Александра Закржевского (литературный критик, автор статей и книг о разных писателях). Его пленяла смелость моей мысли, как и стилистическая ее форма, заключавшие в себе мои атеистические размышления, отвергавшие идею Божества, утверждавшие трагическое одиночество личности, непознаваемость души каждого.

Переписка наша длилась всю зиму 1914 – 1915 годов в Александрове. Я делилась ею с моим мужем и другом, ценившим все, что я писала, и первую книгу мою, ему посвященную (мои мысли), и лирические странички,



собранные во второй книге (она вышла в 1916 году), посвященной Марине, «Дым, дым и дым».

Закржевский в те годы тяжело болел нефритом. Он был очень беден и одинок, жил он, если я не ошибаюсь сейчас, в Киеве. Он писал мне о своей книге о Лермонтове, тогда вышедшей, и жалел, что не имеет ее, чтобы прислать мне.

Увидимся ли мы когда-нибудь, Закржевский и я? Дружба в письмах все крепла.

Консистерия. Мрачное здание в деловой части Москвы, торжественность лестниц и зал: Диккенс. Мы взлетаем в него со всей грацией иронического озорства наших стилей и лет, для которых все, что закон, – юмор проформы. Борис, я.

Мы молоды, мы хороши. Мы те же, что вошли когда-то в игорный дом Монте-Карло. Мы смеемся и шутим. Но мы подаем торжественное прошение о разводе. И чиновник, пожилой клерк, принимает нас за жениха и невесту того будущего брака, ради которого один из нас собирается расторгнуть «узы прежнего брака».

– Так кто же из вас, – он не договорил...

– Мы! Оба!..

– Позвольте!

Мы позволяем. Смеемся. Мы поняли. И стараемся его убедить. Он не верит.

– Это немыслимо! Небывалый факт!!! Вы хотите расстаться? – Чиновник смотрит на нас во все глаза. – У нас бывает, что супругам по двенадцати лет не удается продвинуть дело, потому что один из супругов не соглашается встретиться с другим на судеговорении!

А мы смеемся, как дети. И, пройдя все формальности, сбегает по лестнице чуть ли не за руку, как на норвежских коньках когда-то, а ошеломленный чиновник стоит у перил лестницы, провожая нас взглядом, как человек, еще недоп-роснувшийся, провожает свой сон.

## **ГЛАВА 11. ОЛЕС ЗАКРЖЕВСКИЙ. МОЕ ГОРЕ**

Переписка с Закржевским продолжалась. Он все тяжелее болел, писал: «Боли, как будто сняли с креста». Его комната была сырая, это обостряло нефрит. Он мечтал, чтобы я прочла

?

его книгу о Лермонтове. Он не расставался с моей первой книгой «Королевские размышления». Потом письма стали реже. Болезнь крепла. Он писал о том, как трудно преодолевать мучения. Об одиночестве. О счастье от моих писем -на краю смерти. «Почувствуйте мою радость», «она, как последняя звезда в ночи...» Затем он смолк.

- Асенька, - сказал однажды Маврикий, неся толстый журнал, - Закржевский умер. Вот некролог о нем. Незадолго до смерти о его бедности, таланте, страданиях узнала великая княгиня, перевезла его в теплое, светлое помещение, окружила заботой. Но было поздно. Не плачьте, Асенька, вы дали ему много радости... В некрологе с кратким очерком жизни Закржевского стояло: «Уже, может быть, тогда больной, всегда одинокий, Олес проводил лето у дальних родственников в маленьком городке над Окой».

«Олес!» Спала завеса с глаз, завеса, его от меня эти годы скрывшая, сделавшая его «Александром Карловичем», писателем, оценившим мою книгу... Олес Закржевский. Я бы хотела знать, больше ли поражает человека физическое ранение, чем душевно была поражена тогда я. Раненная, я металась от журнала - к Маврикию, Марине... Городок, городок над Окой, Таруса! Олес Закржевский. Мои четырнадцать лет!

Что отвело мою память от этого имени. Все эти годы? Ведь оно живет в сердце: лето 1909 года (осенью мне минет пятнадцать). То с Толей Виноградовым, то с подругами мы вечерами на Тарусском бульварчике над Окой, музыканты дуют изо всех сил в старенькие трубы, фаготы, кларнеты; звуки далеко разносятся по реке: «Варяг», «Трансвааль, Трансвааль, страна моя», «Дунайские волны», «На сопках Маньчжурии» и – всегда конечный марш «Тоска по родине», когда уже темнеют река и небо над ней. Сейчас музыканты уйдут, надо и нам уходить! Ватага девочек заворачивает по дорожкам, заросшим ветками высоких деревьев, надо домой, а уж первые звезды блеснули в меркнувшей синеве с Оки -холодок ночи... Так уж не первое лето! Сижу на скамейке с компанией Молчановых, ведающих в тарусском клубе спектаклями и концертами. Иногда мне или моей подруге уступает место их родственник, Олес. Он сидит, опершись на палочку, и смотрит вдаль, бледный, всегда молчаливый. На нем черный берет на светлых волосах и черный плащ. Этот романтический, но подчеркнута скромный облик вошел в сердце. Каждый вечер я мечтаю увидеть его. Я о нем ничего не знаю.

Зимой, ходя с Мариной всегда вниз, к Кремлю, по Тверской (см. ее стихи «Тверская», «Волшебный фонарь», 1912), я однажды встречаю Олеса (он – поляк?). Он узнает меня, приподымает берет с учтивой (не больше?) улыбкой. С тех пор Марина, увидев мое волнение, терпеливо, день за днем ходит со мною на это же место и в тот же час. Мне кажется, мы еще один раз его встретили. Эти встречи и их ожидания могли бы заполнить целый томик девического романа... Годы прошли. Настали другие. Два года я получала письма от писателя Александра Закржевского (где-то в мозгу резонировала когда-то звучащая фамилия, не пробуждая память сердца), так далек был неведомый

мне, невиданный Александр Карлович (я и книг его не читала) – от теплых звуков волшебного имени «Олес» из того заповедного царства «Только утро любви хорошо», в котором купалось четырнадцатилетие... А письма мне писал тот самый Олес, и я пропустила его...

Если бы знал о н, что книга, его потрясшая («и есть в ней еще лазурные просветы, безумный хмель...»), написана той девочкой в очках, в соломенной шляпе на русых кудрях, которой он уступал место на Тарусском бульваре... семь лет назад! Поздно! В руках – некролог! Он этого не узнает никогда!

В июне я уехала в Москву, ожидая рождения дочки. Я жила у Марины в Борисоглебском переулке, а Марина с Алей уехала в Александров к Маврикию Александровичу и Андрюше. К Марине в Александров приезжал Мандельштам.

Когда ко мне в московскую больницу приехал Маврикий и услышал, что сын, он, мною убежденный в Ирине, удивленно воскликнул:

– Да не может быть!.. Сын?!

Так родился мой второй сын Алеша и лег во все розовое, девчоночное, приготовленное для «Ирины» монашенками в Александровском монастыре.

Он был менее красив, чем Андрюша, и весь незаметнее, но доброта отца и кротчайший из характеров передались ему полностью, он почти не плакал, засыпал, не требуя укачивания, был спокоен, здоров и г

О любви же Маврикия к Андрюше можно судить по одному случаю: загорелись дрова, положенные Надей для сушки в протопленную печь. Все спали. Дым повалил в дом. Мы проснулись на крик сонной Нади: «Горим!» Маврикий побежал не к Алешиной, своей крови, кровати, а к Андрюше. Я – к Алеше, и мы бросились в парадное, где воздух был чист. Маврикий

любил Андрюшу, и тот платил ему ответной любовью;  
как они вместе играли!

## **ГЛАВА 12. СОБЫТИЯ. МАЙЯ. МАРИНА И МАНДЕЛЬШТАМ. БОРИС И ФРОНТ**

Жизнь делалась трудна. В лавках пропадали продукты. Все дорожало. Пришлось отпустить прислугу, обходиться няней. Я уставала от работы по дому, готовки еды, топки печей и кормления Алеши. Маврикий, приходя с работы, становился за корыто, мыл полы. Няня стояла в очередях за хлебом, крупой, керосином. С войны шли невеселые вести.

Еще зимой грянула весть об убийстве Григория Распутина, лечившего больного подростка, наследника Алексея. По слухам, его убил вместе с одним из молодых великих князей граф Сумароков-Эльстон. Давно уже в так называемом свете росло недовольство влиянием Распутина на царя и царицу.

В эту зиму Майя Кювилье вышла замуж за молодого князя Кудашева. По рассказам о нем Сережи и Бориса, с ним друживших, он был ничем не похож на Майю: сдержан, молчалив, замкнут, но в высшей степени порядочный, благородный человек.

В Марининой «Истории одного посвящения» рассказан приезд к ней в мое отсутствие Осипа Мандельштама, их беседы и хождения к Александрову. Под чудесным пером ее встает образ Осипа Эмильевича.

Но встречу Марины и Осипа Эмильевича Мандельштама я затрудняюсь расположить в числах. Встретились они в Москве, и он бывал у Марины. О Мандельштаме Марина пишет чудесно в своих воспоминаниях сама и в стихах, ему посвященных.

В 1916 году Борис, скрыв свой белый билет, уехал с помощью друзей на фронт. Конечно, он совсем забыл

там о начатом нами разводе. Незадолго до весны 1917 года он вернулся с фронта. Маврикий привез мне от Марии Ивановны адрес больницы, куда Борис был доставлен в нервном

параличе. У него висела рука, не действовала нога и половина лица отнялась. Таким его навещала Мария Ивановна.

Из всего, что я позже узнала о фронтовой жизни Бориса, я запомнила больше всего то, что из троих – рассказали это его два спутника, вызвавшихся ходить на разведку к врагу, -они двое ходили десять или двенадцать раз, а Борис поднял это тридцать семь раз – нервы его не выдержали.

Я поехала к нему. Борис медленно поправлялся: был худ, нервен, ироничен, все тот же. Лицо начинало двигаться, одной рукой поднимал другую; желчно излагал случаи, когда его бывшие товарищи в чине офицерском давали ему понять, что он – нижний чин.

Марина приезжала ко мне, томясь началом второй беременности, она беспокоилась об уехавшем Сереже. В те смутные дни в России, в разлуке с мужем, в тревоге за него, второй ребенок был не ко времени, но она и физически тяжело переносила беременность, много больше, чем надо, лежала, курила... И, может быть, лучше от всего отдыхала со мной и Маврикием в нашем мирном домике, в тихом городке, вне Москвы. Тут только издали слышались солдатские песни с проходящих на фронт поездов, и не видно было маршевых рот со штыками и котелками, как на московских улицах, и была родная русская природа, благословенная всегда.

Маврикий бывал у Бориса и Марии Ивановны, когда ездил в Москву. Они его тепло принимали. Она много бывала в поездках, даже в Японии, снималась для кинематографа с Мозжухиным и Лысенко. Борис приезжал к нам, был дружелюбен к Маврикию. Да и не

было человека, не признававшего его ум и доброту. Алеша весь в Маврикия. А Андрюша все больше походил на Бориса.

Кормя Алешу, я редко бывала в Москве и видела Марину лишь в ее приезды ко мне. Няня подолгу выстаивала в очередях, принося подтверждение того, что не вслух говорилось, при закрытых дверях, - о недовольстве в народе, громкий ропот против царя и царицы; разговоры о царе, сменившем главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича, дядю своего - собою, при неспособности быть полководцем. Шли поражения. И слухи о царице Александре Федоровне, помогающей родной ей Германии - врагу России.

...Однажды Марина спросила меня:

- Ты поедешь к Розанову? Я понимаю, когда откормишь Алешу. Поезжай непременно... Ася, жизнь проходит совершенно как сон! Такие события... и мне скоро родить... От Сережи нет писем... Это такая ежедневная мука...

- Мариночка, он же ведь брат милосердия. Он не в таких опасных местах, где Борис. Не мучай себя, судьба должна быть к нему милостива...

- Ася! Никто не знает судьбу... Когда ночь подходит, я боюсь ее, как за углом человека. Потому я пишу ночью, так легче, ложусь, когда уж совсем нет сил...

Борис все чаще приезжал к нам, еще больной, засиживался с Маврикием глубоко в ночь, беседуя о фронте и листовках, призывавших солдат бросать оружие, о братании с немцами. Мелькали мне малознакомые имена выступавших в Думе: Родзянко, Милюков, еще кто? Имя Пуришкевича, бывшее до того синонимом фигляра, начало - со смерти Распутина - звучать по-иному. Шли слухи о готовящемся дворцовом перевороте в пользу кого-то из молодых великих



князей. Мне несли покормить на ночь Алешу, я засыпала под разговор о фронте и революции!

Я ехала по Александрову. Извозчик ли, повернувшись на облучке, кое-что рассказывал или прохожий, проходя, кому-то говорил – не вспомню кто: «А до Бога высоко, до царя -далеко»... (пословица). Вдруг молнией, осветив тучи дней, кто-то из них – прохожих? извозчик? – «А царя-то и нет...» (вполголоса). «Как нет?» – оживленно я. Извозчик смешался, стегнул лошадку. А 2 марта 1917 года царь отрекся от трона.

Затем события пошли так, что я их уже не воскрешу. (И о них, в точной последовательности, сколько книг!) А я подхожу к рубежу моих личных потерь.

Весть о недовольстве членами Государственной думы, слившемся со все растущим ропотом народа, проигрываемая война, неспособность правителей, «чехарда» снимаемых и назначаемых министров. Впрочем, все это предшествовало тому дню с извозчиком и прохожими. Затем – весть об отречении царя от престола за себя и за сына в пользу брата, великого князя Михаила. И новая весть: отречение Михаила (того, что был в негласной ссылке за морганатический брак). На заборе – газетный листок: «Бывший царь находится в

городе Пскове. На свободе, но всеми покинутый». И вот стихи Марины – царю:

Помянет потомство  
Еще не раз  
Византийское вероломство  
Ваших ясных глаз.  
Ваши судьи  
– Гроза и вал!  
Царь, не люди,  
Вас Бог взыскал!  
Но нынче Пасха  
По всей стране,

Не видьте красных З  
намен во сне.  
Царь! Потомки  
И предки - сон.  
Есть котомка,  
Коль отнят трон.

13 апреля 1917 года у Марины родилась дочь - вся в  
Эфронов, как и Аля. Марина ее назвала Ириной. От  
Сережи вестей не было. Марина уже несколько месяцев  
не знала, где он.

## **ГЛАВА 13. ПОЕЗДКА В ПЕТРОГРАД. СМЕРТЬ МАВРИКИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА И АЛЕШИ**

В крестные отцы Алеше я выбрала Розанова. Мы переписывались. Откормив Алешу, я поехала в Петроград -отдохнуть. Остановилась у старшей сестры Сережи, Анны Яковлевны Трупчанской.

С Розановым мы не виделись два с половиной года. Встречаемся как родные. В его кабинете беседа нескончаема. Его умиленное лицо, старческая гордость, что к нему, шестидесятидвухлетнему, приехала я, двадцати трех лет! Революция, война, его старость и юность моя – все смешалось.

– Ты – моя весна! – говорит он смеясь и хочет непременно со мной сняться на память, и мы идем к фотографу, но, когда карточки готовы, я ему на них кажусь непохожей.

– Я с тобой как молодой... – удивляется он.

– Вам потому так и хорошо со мной, – отвечаю я, – что я вам товарищ и спутник, и когда мы бродим по улицам -разве вы не чувствуете, что мы как два бурша – старый и молодой, два – мастеровых из гофмановских сказок?

Бродили, говорили о всех переменах в стране. Тогда возлагали большие надежды на Временное правительство -может быть, накормят страну? Но мне надо возвращаться к моим сыновьям, а у Марины – две дочки, как жизнь летит, нам уже двадцать пять и двадцать три года!

Розанов едет проводить меня на вокзал. Мы берем билет. Солдатами забиты поезда. Он волнуется, как я поеду одна. Я езжу одна с шестнадцати лет, я ничего не боюсь. Но Розанов трогательно, как отец, поручает меня кондукторше, поясняя, что «не от мира сего» и чтобы меня никто не обидел...

Тогда же на прощанье он рассказывал мне: «Ася, я для твоего ума исходил вчера пол-Петрограда, ища у букинистов и у друзей первую мою философскую книгу «о понимании» -так я хотел тебе ее подарить, но ее не нашлось - нигде»...

Еще в 1916 году вернулся из Франции Макс Волошин. В руне головы и бороды - серые нити.

Маврикий требует, чтобы я собралась с детьми в Крым, к Максиму, - поправиться после кормления и работы по дому. Я истощена, я худа. Он мечтает взять отпуск и хоть на две недели приехать и самому туда. В Коктебель скоро начнут съезжаться на лето.

Я списалась с Пра, собираюсь. В те дни свиделись мой второй сын Алеша и вторая дочь Марины Ирина. Ему было одиннадцать месяцев, ей - шесть недель.

15 мая я уехала с детьми в Феодосию.

Мне трудно писать о том тяжелом для меня времени.

24 мая 1917 года на зов Мариной телеграммы я выехала из Феодосии в Москву к опасно заболевшему Маврикию -гнойный аппендицит. Но на московском вокзале узнала от Марины, что его накануне похоронили. Он умер по вине врачей, не сделавших ему операции: гной прорвался в брюшину... Марина не оставляла меня.

От могилы его я поехала назад в Феодосию, к оставленным у художника Н. И. Хрустачева детям, и перебралась в Коктебель. Там у Пра и Макса 18 июля 1917 года умер в пять дней от дизентерии Алеша. Макс был со мной неотступно.

Вскоре заболел Андрюша. Приехал на мою телеграмму Борис. Привез мне последнюю тысячу, оставшуюся у матери. Я ее не взяла, разумеется, провожая его к новой семье, к Марии Ивановне, когда кризис болезни Андрюши прошел. Но болезнь Андрюши длилась. «Ася, - писала Марина, - ты идешь сейчас через пустыню. Ее надо пройти, ты пройдешь. Сделаю все, чтобы приехать к тебе, может быть, поселюсь тоже с детьми на зиму в Феодосии. Жди меня. Ты должна жить».

Они приехала, побывала со мной. Уехала навстречу свиданью с Сережей к детям в Москву. События нас разделили на три с половиной года.

## **ЧАСТЬ ВТОРАЯ МОСКВА ГЛАВА I. СНОВА С МАРИНОЙ**

После моего расставания с Мариной прошло три с половиной года. Когда наша письменная связь упрочилась, она в мае 1921 года прислала мне через ехавшего в мои края (друга и поклонника ее стихов, служившего в Красной Армии) Б. А. Бессарабова письмо и бумагу с официальным вызовом меня в Москву на работу. И еще он передал мне машинописный сборник стихов 1913-1917 годов. «Юношеские стихи», мне посвященные, – и пуд белой муки – продать – на дорогу...

В заголовке машинописной книги стояло следующее стихотворение:

Я эту книгу поручаю ветру И встречным журавлям.

Давным-давно – перекричать разлуку – Я голос сорвала.

Я эту книгу, как бутылку в волны,

Кидаю в вихрь войн,

Пусть – странствует она – свечой под праздник – Вот так: из длани в длань.

О ветер, ветер, верный мой свидетель,

До милых донеси,

Что еженощно я во сне свершаю Путь с Севера на Юг.

Путь, загражденный раньше гражданской войной, был свободен, но ехать мне с восьмилетним сыном пришлось девять суток. Ехали в теплушке вместе с другими, кому посчастливилось достать пропуск. Но мой пропуск был дан прямо до Москвы, а по пути, в Мелитополе, как сообщили слухи, требовали добавочного. Нас могли высадить – и куда бы мы делись, сорвавшись с места и не доехав до своего?

Миг был страшен. Зажав в руке бумагу с магическим, на худой конец, словом «Москва», я пригнулась за ворохом багажа, прижав к себе сына, фонарный луч, шаривший по головам, скользнул мимо нас, мы облегченно вздохнули: беда миновала. Москва – наша! В радости мы, успевшие купить, как и спутники, за гроши мешочки соли у соляных берегов, уступили один старику, которому не досталось, горько плакавшему. Увы, наши пищевые ресурсы кончились к Харькову через неделю пути и без малого треть пути мы ехали: сын – впроголодь, я – голодная. За двое суток без хлеба, с одной водой; Андрюша съел кем-то подаренное крутое яйцо. Мы старались не глядеть в сторону нашего старика, роскошествовавшего – на соль умело и жадно выменивавшего хлеб, соль, ветчину... (яйца, кур, огурцы, колбасу – все давали ему за нее на остановках, нами в его плач уступленную), и ни единой крошки он не дал Андрюше в его голод, хоть знал, как давно и задешево отдали мы свою соль и что едем без пищи.

Но не новость было и это за годы скитаний без работы или с работой, еле оплачиваемой в послевоенной разрухе, после выжженных войною и солнцем дорог, с которых мальчик заносил в дом белый порошок для игры (оказавшийся динамитом), после охоты за пресной водой для питья, фурункулезов и лежанья в госпитале – все теперь казалось легко, когда Москва близилась, Москва и Марина! Со смерти Маврикия Александровича и Алеши кончалось четыре года.

22 мая (в Николин день) мы подъехали к Москве.

Поезд остановился за Рогожской заставой. Как помню я этот час! Лил ливень. В просвете меж его струй блеснула искра купола Храма Спасителя, и снова его заволокло, и как чудом на отложенные для этого деньги наняли мы под дождем ломовика, в Москву ехавшего, и,

взгрузив на него наш жидкий багаж, мокрые до нитки, мы въехали в еле видимую за струями ливня Москву.

Может быть, и вспомнилось бы детство и отрочество, въезды осенью из Тарусы на знакомые улицы с золочеными вывесками кренделей у булочных и трактиров Садовой, но ливень, обращавший улицы в реки, отбивал память.

Вперед! вперед! К Марине! Андрюша, как всегда в беде мужественный и легкий, был хороший спутник и друг. И когда мы у подъезда Борисоглебского, втащив свои узлы на

второй этаж, увидели запертую на висячий замок, но видную сквозь дверную щель и цепочку Алю, больше брата ростом, засветились ее дивные<sup>1</sup> голубые глаза, услышали ее гортанный голосок: «Марина скоро придет», – это был миг почти полного счастья... И вот шаги по лестнице – и входит Марина.

– Ася, ты?! Андрюша! – И падает на цепочке замок. Рукопожатие.

Марина! Она стоит под тусклым потолочным окном, и я стою перед ней и смотрю – сквозь невольное смущение встречи, сумятицу чувств и привычку их не показывать – жадно узнаю ее, прежнюю, и ее – новую, неизбежно незнакомую за протекшие годы. Щеки – желтые и опухшие, что ли? Постаревшее ее лицо, стесняющееся своего постарения. Знакомой манерой взгляда светлых, чуть сейчас сощуренных глаз вглядывается в меня. Миг молчания? Но слова уже идут – и ее, и мои, потому что труднее чем говорить – молчать, и никто из нас не хочет обидеть другую, и, может быть, оттого, что дети там, за спиной, встретились проще, высокий голосок Андрюши звенит в рассказе о чем-то – нам легче еще один миг – осваиваться. Но вот уже какая-то интонация прорвала муть стеснения, и знакомая легкость уже начавшегося общения стелет под ноги трап. Да, трап, конечно,



потому что над той глубиной лет, врозь прожитых с людьми, о которых будет только рассказ, когда они – плоть и кровь дней, в нас – наше рукопожатие только проба пера. Оно пойдет, перо, писать по бумаге, наша новая жизнь начинается, уже началась, дети хохочут о чем-то, и мы уже тащим вещи через открытую в эту новую жизнь дверь, но уж скользнули какие-то различия в наших голосах и движениях, в письмах рвавшихся только к сходству, настаивавших на нем. Но уже полный ход вопросов и утверждений, уже я знаю, что меня давно ждут Ланн с женой, друзья моей осени 1919 года в Коктебеле, мы сегодня пойдем к ним, на моей новой работе у меня будет хороший военный паек, завтра я увижу нового друга Марины – старого князя Волконского.

Не терплю это слово. Но оно мне звучит 1) в песне моей юности «Дивный терем стоит\* и 2) здесь, о глазах Али, равных диву, а еще потому, что слово «дивное» мне видится голубое в «ч атр;ным» (от «чудо») заменимо не может быть.

Я не сразу, конечно, увидела трущобу, в какую обратилась за годы голода и разрухи квартира Марины, за семь лет до того любовно устраиваемая ею и Сережей, снятая за странное расположение комнат в разных этажах, показавшаяся им колодцем уюта и волшебства. Но уже грянуло в устах Марины слово «самогонщики» – о жильцах, занявших верхние комнаты, уже в падавшем свете дня я различила темные вороха сдвинутых к стенам вещей? теней? обломков, и уже привыкал шаг к чему-то хрустящему под ступней под великолепно-равнодушный, полный юмора голос Марины: «Не обращай внимания. Давно не мету...» – «А разбитый фонарь потолка?» – «Давно тоже. Не помню уже, что и когда. Но один раз туда провалился – пудель! Как залез -неизвестно. Еле вытащили!» Смех резче прежнего, вольней и

отрывистой, и в его глубине – тоска. Соседняя, без окон, проходная комната была пустей прежнего: «Да, тарусский рояль продала. За пуд черной муки. Пришлось. Тут хаос -не наткнись. Красное дерево все порублено, только Сережин диван сохранила. После смерти Ирины от истощения я с Алей у Лили жила, в ее крохотной комнатке, железную печурку топила, сюда ходила рубить на дрова диваны и кресла. Нет, впрочем, дедушкин диван, круглый, тоже еще цел – у Али».

И мы входим в бывшую залу. Алину детскую, где когда-то горела елка, и на ней встретились шесть с половиной лет назад Борис и Маврикий, Мария Ивановна и я.

Тут тоже просторней, исчез с пола огромный ковер Трехпрудного, серый с темно-желтыми листьями. За серой гладью горы тусклых паркетных дощечек – кровать Али, над ней – картинки. Три высоких окна открыты в еще дующий ливень, и гул летней Москвы. Но вот, повернув назад, мы входим в заветную дверь Марининой комнаты: что изменилось тут? – мало. Нет, что-то ушло – шкаф? Да, мамин книжный шкаф. Но стоит секретер и мужской ореховый письменный стол, к ее шестнадцати годам папой подаренный, стоит у того же окна во двор, и треснувшая синяя люстра с поредевшими хрусталими. Сережин большой портрет, юношеский, – он лежит в шезлонге, бледный, больной, но добра его полуулыбка (работы Магды Нахман). В овале личико герцога Рейштадтского, серая шкура Кусаки. На всем живое

царство сказочной, точно столетней пыли. Над секретером -бюст Амазонки.

– Ася, вы, конечно, голодны. Аля, принеси – там есть хлеб. И поставь на огонь суп с бараньей ногой. Это из академического пайка! И еще есть пшенная каша. Андрюша похож на Бориса! Господи, до сих пор не верю! Не могу свыкнуться. Мария Ивановна еще там?

Приедет? Дочка ее какая? На кого похожа? Светлая, как он?

И, ломая и режа большой кусок хлеба, раздавая, подвигая тарелки с супом, она рассказывала вперемешку, как всегда бывает после разлуки, ближнее, давнее, большое, случайное.

- Не помог никто! Когда умирала Ирина. Бывшие друзья катались в колясках со своими дельцами (дельцы и тогда были). Была одна мороженая капуста. Чтобы детей взяли в красноармейский приют, я должна была подписать бумагу, что это беженские дети, что я их нашла у своей квартиры. Взяли, и там их кормили. Но Ирине уже было поздно...

- Ешь, Андрюша, еще есть. И ты, Ася. Академический паек! Мне дали его после смерти Ирины... Пять раз в день я напихивала Алю пшенной кашей - большей ничего не было. Спасла Алю за счет Ирины. Двоих - не могла. Аля как более крепкая выжила. Три болезни у Али сразу: чесотка, малярия, воспаление легких. Аля, не смей оставлять в тарелке. Ешь все! Кажется, уже солнце!

На Марине был коричневый с татарским узором шушун, такие делала Пра, в талии стянутый ремнем, длинная темная юбка; на ногах - проношенные линялые туфли.

- Мариночка, я умею делать туфли из материи, с подошвой из бечевки - очень крепкие; сделаю тебе непременно! - с восторгом говорю я.

- Правда? Спасибо. Не стоит трудиться, старье - есть... -равнодушно говорит Марина. - Я собираю два сборника лирики - «Версты», «Царь-Девница», сказка в стихах, готова и о Казанове пьеса.

Я слушала. Голова чуть кружилась от давно не испытанной сытости. На Андрюшиных щеках проглянул румянец.

- У него сонные глаза, - весело сказала Марина, - рано уложим их, запрем дом и пойдем к Ланну. Дождь? Чепуха.

Я шла по воде - босиком. Легче. Даже приятно. Так глубоко, как в Оке,ходишь, иначе все равно не пройти...

Странное зрелище являла собой Москва в тот наш первый с Андрюшей день в ней после четырех лет отсутствия! Вряд ли я узнавала улицы, ставшие потоками, оглушительно слетавшими в решетки водостоков, но их бурно заменяли следующие потоки, и им не было конца. Мы шли босиком, как и многие, и был везде смех и взмахи обувью в воздухе, и не помнилось ничего в этой внезапной метаморфозе города - ни разрухи, ни голода, ни пережитых лет гражданской войны, было вдруг настоящее детство: невиданность и веселье.

Мы не шли, а летели. Разорванность туч над нами, мчавшихся, как мы, была провалом в бесконечность. Мы вступали в покатую реку Столешникова переулком, поворачивая вслед за Мариной к Ланну, я упрямо помнила: Николин день! (где Миронов?)

И вот уже чинная лестница давно мной не виданных многоэтажных домов. И в ответ на звонок - господи, существуют звонки! - на пороге тонкий изогнутый силуэт Евгения Ланна, друга нашего, поэта и переводчика. Профиль - извилистость, горбоносость, взлетающая в нежной ироничности над своей радостью бровь; поцелуй, церемонный, Мариной и моей рук, чернота почти до плечей отросших волос, и за ним облик строгого ангела - улыбка золотых глаз, каштановый строгий пробор: Александра Владимировна Кривцова, его жена.

Мы за чистым чайным столом - чашки с блюдцами, тарелочки, хлебница и в молочнике - молоко, все, как встарь. И это, наверное, сон снится - на тарелке горка

хлеба, намазанного – маслом? и другая тарелка – с повидлом. И пьем настоящий, как в детстве и юности, чай. В стаканах -золотым столбиком. Как рады нас угостить! Не «угостить» -кормят! Несет нам жена Ланна на тарелках по куску настоящей яичницы, а чай из золота стал светел, как те опалы, что мы собирали на берегу Коктебеля два года назад, они оба и я, когда мы ничего не знали о Марине тоже уже два года...

Пьем, едим, разогретые – о, не одними едой и питьем, -кейфуем когдатошной изысканной речью, полузабытой за годы разрухи. Глаз пирует видом стройных рядов книг, портрет Диккенса со стены – они оба продолжают учиться

английскому, уже хорошо знают его. Будут переводить Диккенса.

Стихи! Марина читает, и я, занемев, слушаю. Одно за другим.

Благословляю ежедневный труд.

Благословляю еженощный сон.

Господню милость и – господен суд.

Благой закон – и каменный закон.

И пыльный пурпур свой, где столько дыр...

И пыльный посох свой, где все лучи!

Еще, Господь, благословляю – мир

В чужом доме и хлеб в чужой печи.

– Ася, я тебе это не посылала? А это?

Не самозванка – я пришла домой,

И не служанка – мне не надо хлеба.

Я – страсть твоя, воскресный отдых твой.

Твой день седьмой, твое седьмое небо.

Там, на земле, мне подавали грош

И жерновов навешали на шею.

– Возлюбленный! – Ужель не узнаешь?

Я ласточка твоя – Психея!

Марина поднесла ко рту потухшую папиросу, вынула из сумки, висевшей через плечо, зажигалку, долго

крутила рывками колесико - не загоралась. Ланн подносил ей спичку; но уже засинел, заалел жиденький огонек фитилька, Марина нагнулась с папиросой сразу к двум огонькам. Она дунула на спичку и закрыла привычно керосиновый фитилек, передернула ремень у плеча (почти почтальонской сумки) и, затягиваясь, прошла по комнате.

Она продолжала:

Как правая и левая рука

- Твоя душа моей душе близка.

Мы смежены блаженно и тепло,

Как правое и левое крыло,

Но вихрь встает - и бездна пролегла

От правого - до левого крыла!

- Стихи восемнадцатого года! - сказала она отсутствующе, с холодком. Марина замолчала, мы переждали\* не скажет ли еще, заговорили. Просили еще.

- Что-то все давние в голову идут! Тоже восемнадцатого года. (Не затем ли говорит это, подумалось мне, чтобы подчеркнуть: не Ланну - другим...)

Марина уже читала:

Чтобы помнил не часочек, не годок

- Подарю тебе, дружочек, гребешок.

Чтобы помнили подружек мил-дружки

- Есть на свете золотые гребешки.

Чтоб дружочку не пилось без меня

- Гребень, гребень мой, расческа моя!..

- Вот еще что смогу сказать, коротенькое. - И, отведя руку с зажженной папиросой, и над ней шел дымок, совсем другим темпом, другой интонацией, тем же колдовским своим голосом - медленно, после той струнной спешки:

Восхищенной и восхищённой,

Сны видящей средь бела дня,

Все спящей видели меня,  
Никто меня не видел сонной.  
И оттого, что целый день  
Сны проплывают пред глазами,  
Уж ночью мне ложиться – лень.  
И вот, тоскующая тень,  
Стою над спящими друзьями.

Кто-то из нас – не Ланн ли – сказал, что эти последние – лучшие из сказанного сегодня. И было немножко скрытой иронии в движении головы Марины в сторону говорившего. Словно гильз в сумке, был у нее нескончаем запас – лучшего! – на просьбы «еще», но она не сказала ни слова, кроме краткого «хватит!» и села поближе к лампе, раскрыв на коленях свою «почтальонскую» сумку, и под нашу беседу стала набивать табаком – палочкой вроде тампона – гильзы. Стихов Ланна, трудных, нелирических, неуютных, «филологических», – совершенно не помню.

И уже ночь. И, прислушиваясь, не шумит ли дождь, мы из подсунутых теплых туфель согретые в них ноги обуваем в принесенную сухой обувь. И в моих руках пакет «для Андрюши». Хмурясь, чтобы не было слез, и смеясь, чтобы не плакать, уклоняю глаза в тень.

– Теперь адрес наш знаете, Ася, будем вас ждать. С Мариной, с Андрюшей, одну – как и когда захотите. И подумаем о переводе с французского и немецкого, надо как-то начинать жить по-иному... Хватит пережитого?

Рукопожатия, улыбки – и градом ступеней вниз, в ночь. Еще что-то крикнули нам, наш ответ – и уже синяя майская ночь над Москвой, точно не было ни ливня, ни поездов и теплушек, ни войн, ни отрезанных боями городов, ни разлук, от которых годы – у стольких! – замершее сердце, казалось, уже разучилось биться.

Дети спали. Мы легли вместе, но до утра не уснули. Говорили о том, что было, ночь напролет. И хоть в нее

улеглись годы гибели близких, смерти детей наших, разочарования в друзьях и зачарованность новым, – как ночь эта была коротка!

Дети все спят. Тихо. Только тогда Марина спросила меня

о Сереже. Коротко, отведя глаза – слишком страшен ей ответ, – она все-таки вопрос выговорила:

– Сережа в твоих краях был?

– Был.

– Ты его видела?

– Видела. Но – давно.

И тогда то единственное, что довлело:

– Что слыхала о нем? Жив? Только правду говори...

– Говорю правду: не знаю. Достоверного – ничего.

(Недостоверен был слух, что «какой-то Эфрон расстрелян

в Джанкое». Кем? Никто не знал. И не знал никто, который из двух Эфронов, там бывших: оба красавцы и оба темноволосы. Не родственники. Позднее стало известно, что слух был ложен.)

Марина замкнулась в настороженном горе, и о Сереже мы замолчали обе.

Из Марининых ран – всей череды ее юности – судьба книжных стольких героев, кумиров ее, а в 1906 году – судьба лейтенанта Шмидта, эта была самая тайная, кровоточащая в каждом часе. Догадывалась ли она по моей сдержанности, что я что-то слыхала, чего не говорю ей? Так легла между нас молчаливость, имени которой не зналось.

И в стороне и от этого – прямо из котла нужды и заброшенности прожитых без Сережи и меня лет – падали искрой в пепел дома слова о друзьях:

– Понимаешь, жалели за то, что я, пиля дрова, себе прорезала платья. За платья жалели! Не за время, которое



я тратила на дрова, у стихов отнятое! И так многие – стоя жалели и сокрушались, глядя на мой хаос, на всю мою жизнь, вместо того чтобы взять из рук пилу – попилить, пока я допишу акт одной из моих пьес о Казанове... В общем все, почти все оказывались «петухивами». (О Петухине я тебе расскажу.) – И. спешно, то есть так: – Был мальчик, маленький. Отца и мать убили, он стоял один в кровати | (на Украине) и молился за папу и маму – «и за моих петухив» (петухов – по-малороссийски). Это – первоначально. Потом это слово уже стало нарицательным, воплощая все искаженное, ненастоящее: петухивное. Можешь его увидеть у меня | в бывшей столовой – висит на стене, – пойдём!

Мы встали. Марина зажгла коптилку. На стене в | состоянии взметанности торчал невообразимый остаток чего-то: мебели? полки? крючка? держалки для полотенца? покрытое клоком когда-то темно-серого цвета диккенсовского тумана, явление казалось люто воплощенной фантастикой. Фантазией трагического уродства. При свете коптилки от него падала на стену огромная уродливая тень.

– Не узнаешь? Лиса – когда-то! Чучело. Остов. Шкуру продала. Нашлись покупатели! (Интонацией надменной иро- | нии.) Все продала, что брали. Мамин портрет, помнишь! В гробу! Страшный. Хотела я – раму, пыталась выдрать его – | но так вделано, точно склепано. Так и отдала с рамой. Старьевщик брал с сомнением. Все смотрел. «Старик? Нехороший старик!» Не догадался, что лицо мертвое!

Тон Маринин был – как полет с горы. В нем, в смехе, сопровождавшем его, был холодок – к слушателю (в данном случае – ко мне), вызов и – равнодушие.

– Ничего не жаль, не надо! Фотографий наших в рамах – 1 реликвий мне – нет!

Затяжка, другая. (Отрицанье суда над собой!) Я стояла, пораженная зрелищем метаморфозы. И не подымался голос к укору. Ясный императив бесплодности сказать держал мой рот крепко. Как понял наблюдающий глаз Марины мое 1 молчание – не сумею сказать.

И был еще один жест, замеченный днем, – полуотсутств-вующая ужимка? с которой, почти не участвуя в говоримом, Марина, вдруг уставя куда-то глаза, потирая руку о руку, 1 как некое невнятное резюме, звучавшее похоронным маршем, произносила слова, совсем дико в ее рту звучавшие: «...Такие делишки...» В какой дали она была от тех, при ком их впервые сказала, и от тех, при которых шло повторение столь чужеродных «слов».

Мне виделся день осени, почти жаркой, когда четыре года назад, в свой приезд ко мне (в город далекий, где и она хотела со мной остаться, в Максовом городе, где мы жили с ней за несколько лет до того...), мы сидели у маленького пруда в тени дерева, и в луче заходившего солнца был на эмали неба вырисован ее профиль камеи. Легкое – как венецианское золото бус – дуновение волос у виска и легкий румянец щеки. Лепесток розы! Обод маленькой темно-лиловой бархатной шляпы амазонки с серым кругло легшим страусовым пером. Эта розовость! Нежность! Застенчивость! И ее теперь колдовской зоркий взгляд, отеки щек, желтых, за щекой жуется корка. Печать прожитых лет – «такие делишки...».

Та же ночь. Дети спят. В темную, проходную к ним, комнату притворена дверь. Лежим рядом на Маринином диване; когда-то он был крыт рыжим полотном; теперь оно слиняло, смеркло, стало цвета старых шкафов и шкатулок. Над нами – Сережин портрет в богатой раме. Он полулежит в шезлонге, в белой рубашке с отложным воротом, смуглый, юный; яркие, огромные глаза глядят

в комнату, в которую он столько раз входил. Глядят из того неведомого далека, которое зовется разлука, молчание о потерявшейся, затихшей судьбе. Так затихает звук. Так затих наш день.

Спят дети – Сережина дочь и Борисов сын, и в простлавленной темноте майской ночи, успокоившейся после небывалого ливня, все отступило, стало нереально. Какие-то иные измерения скользнули в окно, распахнутое над летним двором и с потухшими окнами.

Голос Марины в ночи кажется глуше, что-то в нем от теней затонувшей в сумраке комнаты:

– Понимаешь, Ася, это были двое чудных юношей. Два друга. Совсем разные! Павлик Антокольский, чем-то напоминающий Павла Первого, некрасивый (прекрасен!), тонкий легкий, стремительный, актер, режиссер. Чудесные стихи у него! А Юрий Завадский, актер, тоже красавец. Высокий, светлый. Талантливый в каждом движении – увидишь его в

«Принцессе Турандот», достану тебе через Павлика контрамарки, пойдем с Андрюшей. Наша дружба – та, тех дней – длилась какие-нибудь недели, но это был совершенный сон! Мы почти не расставались. Просто не выходило расстаться! Мы теперь редко видимся, жизнь метет, как метель, но это были друзья настоящие... Слушай – Завадскому:

Я помню ночь на склоне ноября.

Туман и дождь. При свете фонаря

Ваш нежный лик – сомнительный и странный...

Знобящий грудь, как зимние моря,

Ваш – нежный лик при свете фонаря...

Огонек папиросы жадно загорелся в темноте,  
Марина продолжала:

– А вот это примерно того же времени:

Мой путь не лежит мимо дому – твоего.

Мой путь не лежит мимо дому – ничьего...

А все же с пути сбиваюсь (особо – весной!).

А все же по людям маюсь, как пес под луной.

Она сказала стихи до конца.

И на одном дыхании, просто, как неизбежное  
сейчас, здесь: Сереже -

Писала я на аспидной доске,

И на листочках вееров поблеклых,

И на речном, и на морском песке

Коньками по льду и кольцом на стеклах,

- И на стволах, которым сотня зим...

И, наконец, - чтоб было всем известно!

- Что ты любим! любим! любим! - любим!

Расписывалась - радугой небесной...

Как я хотела, чтобы каждый цвел

В веках со мной!

Под пальцами моими!

И как потом, склонивши лоб на стол,

Крест-накрест перечеркивала имя...

Но ты, в руке продажного писца Зажатое!

Ты, что мне сердце жалишь!

Не проданное мной! Внутри кольца!

Ты - уцелеешь на скрижалях!

- Ну, и, если хочешь, - последнее, недавнее. Из  
цикла «Ученик». (Марина не сказала - Волконскому, но я  
поняла: ему.) Поняла еще в первой, нет, перед первой  
строкой по

насторожившейся своей - ежом - шкуре: из того  
растворенного внимания, в котором молча глотала  
стихи - движением слуха, трезво приготовившегося к  
враждебности.

Быть мальчиком твоим светлоголовым, -О, через все  
века! -

За пыльным пурпуром твоим брести в суровом  
Плаще ученика...

Я дослушала и - через силу:

- Хорошие. Ты - уверена в них?

Ответ? Его не было.

Я не могла простить ему (рассказала Марина) его первого телефонного ответа – сухого, дерзкого (княжеского?). Потом в ней уверился. Она переписывает ему его рукописи...

– Да, моя «Метель». Так я назвала одну свою пьесу, я мало пишу стихов отдельных, тянет к пьесам в стихах, прочту тебе. О Казанове. Там Генриэтта в придорожной гостинице пишет кольцом, алмазом, на стекле окна – вензель... Ах, Ася, разве расскажешь все! Прочтешь мои «Переулочки», искушение плотью, затем – высотой... она превращает и его – в тура. Всех прочтешь...

Комната совсем темна. Лежим, глаза в ночь. Марина говорит. Я слушаю:

– ...Сонечка Голлидэй! Актриса Театра Вахтангова. Разве расскажешь? Это – целая жизнь... Неотразимое обаяние... Благородство! Я тебе покажу – в старый, полупустой альбом вставила ее фотографию: маленькая, худенькая, огромные глаза, светлые, и две длинные великолепные косы. Как талантлива была! Могла бы стать – мировой! Трагическая судьба...

...Борис Бессарабов (он не застал тебя, жаль, через людей передал, – ну, ты его тут увидишь) – юный, мужественный, а румянец детский, или, как бывает у девушек, – «кровь с молоком». Настоящая русская душа! Так ко мне привязался! Красноармеец. Как понимает стихи! Друг. Все сделает, что нужно. Редкий человек. Да. А другие – поживешь, увидишь: я окружена петухивами. Даже не хочется имена называть. Женщины в большинстве, увидав, что трудна жизнь, вышли замуж, поклонились дельцу. Другие сменили мужей на более выгодных... Я в пустыне жила! Изредка – оазис, и все.

Я очень очерствела, и не жалею. Многие чувства оказались, при моем же взгляде на них, сентиментальностью? Я почти совсем разуверилась в людях! А ты?

И тут я начинаю, кинув голос в ночь, а Марина слушает:

- Петухив. Это я понимаю! Но вот ты назвала уже столько! Бессарабов, те двое - ведь люди? Сонечка... В пустыне? ну пусть кто-нибудь не собой оказался, то есть именно собой, а не тем, кому были стихи... Кажется одним, оказался - другим...

О себе говорить странно, но и у меня был смешной случай с татаринком, мне сказавшим: «Мучаешь себя, под окнами ходишь в немецкой колонии, голодная, кофту, платье последние вымениваешь на молоко - сына кормить! Зачем? Приходи вечером, все у тебя и у сына будет - и платья, и яйца, и масло, и молоко...» Так это даже не петухив, дурак просто -он же не виноват!.. Сережу Соколова увидишь - тоже редкость, как Бессарабов. Но они - есть... Ничего не ждал от меня. Я лежала одна в доме, в степи, в ящуре - болванская такая болезнь, от чабанской брынзы, - голова как котел, страшный жар, завеса слюней, как у идиота, и весь рот в пузырях - ни еды, ни питья. И всех заразишь, подойти не даешь никому. Засыпала, теряла сознание... Просыпаюсь -ночь. Горит затененный ночник. Кто зажег? В имении у друзей прислуги боялись заразиться, не шли. В ногах кровати сидит Сережа Соколов, сторожит меня. Встает, наклоняется. «Что Асе дать? Чего хочется? Пить?» (как Маврикий...) И просидел надо мной без сна всю ночь, а ведь устал, издалека приехал на велосипеде... не отошел, пока не привезли ляпис, тогда стало легче. От ящуре умирают, но вот - не судьба. Сережа будет в Москве, поступит в университет. Комсомолец. (Сын священника, у него чудный отец!) Сережа и тебе дров нарубит и паек притащит. Сережа - не петухив...

- Ну, а потом что было? - спросила Марина, шевельнув головой у моей, и ее волосы легли мне на щеку, точно мои. -Ты осталась на зиму в Коктебеле?

- Нет, там было трудно с едой Андрюше и с дровами. И не было зимних комнат. Мы зимовали в Судаке, верст пятьдесят мимо деревни Козы, где нападали зеленые. Там был чехословацкий отряд, им командовал русский. Их было двадцать семь человек: они отбили нападение трехсот зеленых. Они перерезали провода, овладели банком, почтой.

Красный Крест, где мы лежали с Андрюшей, был в самой зоне огня. Пули свистели. Это было так сразу - в палатах захлопнули ставни, но мне надо было идти через двор, и я ощутила страх. Трусость. Я боялась идти мимо пуль. Было много убитых за больницей. Во дворе был убит молодой отец двух детей, приехавший из Феодосии навестить их и больную жену; только выбежал во двор - наповал. Сколько я видела горя в эти годы! В нем притупился мое.

- Чем ты жила в Судаке? Вещи уж ничего не стоили.

- Да их уж и не было! - сказали мы, как встарь, в унисон.

Мы обе прислушались - плач? Я соскочила с дивана.

В

детской Андрюша во сне метался. Я укрыла его. «Кашляет. Может быть, жар? Напрасно я не поставила ему горчичники. Но не буду будить, пусть спит», - и я возвратилась к Марине.

- Продала последние кофты, ночные рубашки, нижние юбки - мамины, выпрашивала Андрюше молоко. Так мало давали! А когда кончились вещи, мы слегли. Соседка носила нам каждый день чайник воды пресной, на вес золота - пресные колодцы были только в колонии, двадцать минут по горной тропинке, я уже не могла носить, фурункулез замучил, вся в нарывах, не могла дотащить ведра. Соседка эта, Екатерина Николаевна Калецкая, из Петербурга, как я, в Крыму застрявшая, умница и красавица, у самой больные мать, дядя и девочка, не отойти от них, а носила нам с питательного

пункта суп (лук и мука; остаток жижи мы оставляли в тарелке, чтоб в нее окунать компрессные тряпки – у Андрюши началось желудочное) (ему было семь лет), а у меня боли справа – помнишь в детстве слепую мою кишку? Друг другу ставили компрессы, приподымаясь, кровати стояли рядом. Жара... Мы воду из чайника (кипяченую) соседкиного цедили по крошке, как серебро, – она же свое нам отдавала, тащила воду семье, и не всегда ей давали в колонии...

– Вы ели один только суп?

– Были еще сухари, но кончались. Картошка (мелкая, зеленая, старая, ушла в хвосты, отростки, как змеи, там уже нечего было есть). Мы лежали двенадцать дней. Мы были на очереди в Красный Крест. И вот – слушай: лежим, и вдруг на лиловом фоне совершенно гемуэзского неба – рука, коричневая, шорох за окном и на подоконнике что-то зеленое.

И рука исчезла. Я кое-как слелпа, дотащилась до окна: просто ослепнуть! Не поверила! На лопухе (и где лопух-то русский, тарусский, нашла на раскаленном морском берегу?) аккуратный овал, как их продают, – фунт сливочного масла! Толстый, свежий. Розоватый. Масло! (Этим маслом мы и спасались, с сухарями – дожили до Красного Креста, нас туда потом свели под руки, и мы там пролежали два месяца.) Что же оказалось? Старушка, русская, няня мальчика, с которым до болезни играл Андрюша, узнала, что мы оба лежим больные и без еды. Она связала носки, понесла их в колонию, продала за фунт масла и поставила его нам на окно...

– Какой такт! Не зашла! Не смутила! – сказала Марина.

– И хоть бы знакомая! И в глаза ее не видала!

– Совершенно святой поступок! – упоенно и строго сказала Марина.



Работы при белых не было (пока не пришел в нашу жизнь Наробраз). После Красного Креста есть было совсем нечего, Я продала все, что было, – корыто, таз, все остатки «хозяйства», и мы прогрузились на пароход «Румянцев» в Феодосию, где я надеялась найти хоть уроки!

– А Герцыки? – спросила Марина.

– А Герцыки нам помогали сколько могли, без них мы бы умерли. Но у них самих было трое детей, и Аделаида, Евгения, и их мачеха, старая няня детей и не встающая с постели много лет, в полиартрите Люба Жуковская. Мы обедали у них каждый раз как бывали, они нам давали сухих груш, сухих яблок.

– Волшебный человек Аделаида, – говорит Марина, – и какая душа: кристалл! Помнишь, как она, первый раз войдя к нам в антресоли в Трехпрудном, восхитилась старинностью, увидев какой-то лоскут ситца – голубой, с розанами, – воскликнула: «И как идет сюда, мал-лая, эт-тот старинный атлас».

– Да, Аделаида, Евгения – чудные... И был еще один человек, в Судаке застрявший, – старый профессор Кудрявцев, геолог. Его статьи – в энциклопедии, петербуржец, старик. Стал совсем нищий, спал где-то на стульях. Голодный... Иногда приходил к Герцыкам, ко мне, я, пока еда была, его угощала. Большой ученый, чудаков. Он пришел проводить меня на пристань вечером, осенью, в жуткий ветер. И принес мне последнее, что имел: новую, тонкую, прежних времен, мужскую рубашку из льнобатиста! Чтобы я ее в

Феодосии продала: «Вам с ребенком на первое время!» Я еле его умолила взять рубашку назад и беречь на свой черный день. Обижался, совал мне ее... Но как я могла взять? Я над этой рубашкой ревела...

– Тебе какие-то другие люди встречались? – сказала Марина.

- Нет, знаешь, это так: два типа людей (я в Судаке шутила): виноторговец, богач, про бутылку (пустую): «О, бутылка стоит триста рублей!» А обнищавшая старуха с горьким смехом мне: «А что теперь деньги стоят? Что такое триста рублей? Это ж одна пустая бутылка!» Как разно люди живут в нужде, и как она показывает человека...

- А как в Феодосии было? При белых? - спрашивает Марина.

- После Судака, до прихода красных, до взятия Крыма, я еле нашла комнатку - бывшая кухня. Кирпичный пол, окно на море, в одну раму. В норд-ост. Жуть... Я на ночь его затыкала матрасом - кто-то дал, пожалел. А дверь так рвало с петель, что я ее, ложась, замазывала замазкой. Хрустачевы дали много - и я ее густо, шлепками, чтобы стихли дыры, оттуда несло и выло. И каждый вечер - блаженная минута, когда, поборовшись, дверь затихала, облепленная, и маленькая железная печь начинала давать тепло... Норд-ост с моря свистел в углы, где отваливался сенник в амбразуре окна, но печь побеждала его, раскаляясь, и мы засыпали вдвоем на единственной койке, прижавшись друг к другу. Это был маленький рай!

- А что вы ели?

- О, это - поэма! Я повесила объявление, что даю уроки языков, и ко мне поползли родители отстававших учеников. Платили натурой: масло, мука, сахар, вязанки дров... Андрюша начал толстеть, розоветь, я пекла на печке оладьи. И пришло твое письмо...

- А как там Макс? - спросила Марина.

- Макс спасал всех. У него есть поэма «Дом поэта». Он теперь над всем Крымом - по охране памятников искусства.

- А Пра?

- Пра болеет. Встретила ее весной, когда проезжала через Коктебель (я поехала на Пасху свидеться с

Екатериной Николаевной в Судак). Пра шла по берегу медленно, тяжело дыша.

- Астма? Как у Макса?

- Нет, эмфизема. Я спросила ее: «Пра, что передать друзьям? Еду в Москву».

- Скажи: дух еще бодр, плоть немощна... Писаньем ответила!

- Как узнаю лаконизм Пра! Я ей напишу непременно. Аля же ее крестная дочь!

- Пусть и она напишет! Пра так обрадуется. Аля же чудно пишет!

- Еще бы в восемь лет плохо писала! Она пишет с четырех лет.

Из детской слышался сонный кашель. Я пошла дать Андрюше лекарство. В темной комнате меня шатнуло. Я вспомнила, что не сплю как надо уже десятую ночь.

- Ася, ответь мне, я понимаю, что тебе трудно говорить об этом, - сказала Марина, - но я же ничего не знаю о Борисе, только то, что умер в первую эпидемию тифа. Какой тиф?

- Сыпной. Я расскажу тебе, но по-настоящему ты узнаешь все от Маруси (Марии Ивановны). «Его бред, - она сказала, -это была целая книга...»

В ответе Маринин голос дрогнул горечью, и в ней была нежность:

- И в бреду верен себе...

- Когда он пошел работать на гончарный завод (первая и последняя его работа), я жила у друзей в Старом Крыму. Мы перевезли Марию Ивановну с Ириной к себе, а Борис приезжал в субботу на воскресенье. И вот однажды - была невероятная погода - дикий мороз с ветром - я шла вечером в коровник что-то сказать Наташе, которая доила их Домаху, меня хлестнуло таким бешеным порывом холода, что я побежала, и мысль: «Вот о таком ненастье народ говорит: «В такую погоду добрый хозяин и собаку на улицу не выгоняет...»

А через час к нам громко застучали, и вошел Борис. Какой-то неузнаваемый. Одет был жидко, лицо странное. Он шагнул и протянул мне пакетик, мягкий, в бумаге и марле: «Тут сахар...» И глухим голосом: «У меня сорок градусов». Не веря, надеясь, что он шутит, я подняла руку к его лбу: лоб был холодный. От сердца отлегло, но Борис сказал беспощадно: «Сорок градусов, может больше. Я больной, все двадцать пять верст ехал снаружи мальпоста, не осталось места внутри».

Больше я ничего тогда не узнала, тайно надеясь, что -преувеличение. Его гиперболы - его стиль, ты знаешь. Мария Ивановна уже раздевала его, ужасалась, хлопотала вокруг него. Я пошла греть еду. Не хотел есть. От Маруси узнала: да, сорок градусов с чем-то, отказался ехать в больницу. Думали, воспаление легких. И наш врач (Кайзер, московский) тоже лечил от него. Сыпь высыпала накануне смерти! И воспаление, и тиф. Он умер через шесть дней: сердце не вынесло жара. До кризиса. Те слова мне: «сорок» - и тот сахар было последнее. С ним была Маруся. В свою комнату она входила только кормить Ирину. Бориса устроили на широком самодельном диване. На диванных подушках. Потом их сожгли во дворе.

- Он без сознания умер?

- Вот в том-то и дело, что, должно быть, - в сознании... Врач говорил: «Не слушайте, не обращайтесь внимания. Он без сознания». - «Вы так думаете?» - отвечал Борис.

На вопрос Маруси доктор Кайзер говорил: «Это тоже из подсознания... С такой температурой больной не сохраняет сознания...» - «Как вы больны, доктор!» - говорил Борис.

Кайзер был на работе, я бежала к другому. Доктор Карга отказался идти, побоялся заразы. Другой, моложе, пришел, сделал укол морфия. Борис стих.

Потом он попросил священника. Кайзер не говорил про смерть, лечил, надеялся. Борис утверждал, что умрет.

«Я буду лежать высоко. На горе. Мне снилось? Я умру. Оставив сына и дочь».

Он бился головой о стенку – такая дикая головная боль. Предсказание исполнилось. Священник отец Иоанн побоялся идти к сыпнотифозному и сказал, что на соборном кладбище нет места. А другое – на горе было. Пришел отец Федор: исповедал и причастил. И после этого Борис стал совсем тихим и все складывал пальцы крестом. И он еще говорил, до болезни еще, играя с Ириной (ей было четыре месяца): «Когда же вам будет пятнадцать лет, чтоб я мог целовать вам церемонно ручку?! Как он Андрюшу любил...

Еще в ту ночь на слова Марины, что ей уже ничего не жаль, я сказала:

б»1

– Вот странно... А у меня, наоборот, чем больше теряю, тем больше ценю воспоминания...

– Да ты и людей еще любишь, а я... Поздно, тебе надо спать. Уже светло, ты с дороги...

– Марина, я хотела еще – о той пустыне. После Маврикия, после Алеши. Мне кажется, эти дни – не пройдут. Они все еще во мне. Тот домик на горке, няня Андрюши, я. Гражданская война. Нищета. Последние запасы еды. Разруха после отъезда Бориса. Длющаяся Андрюшина болезнь. Жара. Лиловое небо, черта моря внизу. Я ежедневно ходила на базар покупать что-нибудь, искать цыпленка – он ел только бульон и блюдечко черничного киселя. Тянул к нему руки – худые как палки. Во дворе старуха катала из антрацитовый пыли и навоза шарики для мангалок. И память о Маврикии и об Алеше день и ночь. И их никогда не будет. И знание (я тогда знала, что нет), что нет Бога! Я жила под землей с ними.

- Похоже наши жизни шли, - сказала Марина, - после смерти Ирины. К тебе дошло мое письмо, где я писала о смерти Ирины? В марте тысяча девятьсот двадцатого?

Они и сейчас перед моими глазами: два письма тех лет -ко мне от 17 декабря 1920 года и к поэтессе Вере Клавдиевне Звягинцевой и ее мужу, написанное в феврале 1920 года, которое привожу неполностью.

«В феврале этого года умерла Ирина - от голоду - в приюте, за Москвой. Аля была сильно больна, но я ее отстояла... Ирине было почти три года - почти не говорила, производила тяжелое впечатление, все время раскачивалась и пела. Слух и голос были изумительные. - Если найдется след С. - пиши, что от воспаления легких... Мы с Алей живем все там же, в столовой. (Остальное - занято.) Дом разграблен и разгромлен. - Трущоба. Топим мебелью. -Пишу. - Не служу, ибо после смерти Ирины мне выхлопотали паек, дающий возможность жить. Служила когда-то 5\*/г мес. (в 1918 г.) - ушла, не смогла. - Лучше повеситься.

Ася! Приезжай в Москву. Ты плохо живешь, у вас еще долго не наладится, у нас налаживается, - много хлеба, частые выдачи детям - и - раз ты все равно служишь - я смогу тебе (великолепные связи!) - устроить чудесное место,

с большим пайком и дровами. Кроме того, будешь членом Дворца Искусств (д. Сологуба), будешь получать за грош три приличных обеда...»

«Москва, 7120 февраля 1920 г.

Друзья мои!

У меня большое горе: умерла в приюте Ирина - 3-го февраля, четыре дня назад. И в этом виновата я. Я так была занята Алиной болезнью (малярия, - возвращающиеся приступы) - и так боялась ехать в приют (боялась того, что сейчас случилось), что понадеялась на судьбу. Помните, Верочка, тогда в моей

комнате, на диване, я Вас еще спросила, и Вы ответили «может быть» – и я еще в таком ужасе воскликнула: – «Ну, ради Бога!» – И теперь это совершилось, и ничего не исправишь. Узнала я это случайно, зашла в Лигу спасения детей на Соб. Площадке, разузнать о санатории для Али – и вдруг: рыжая лошадь и сани с соломой – кунцевские – я их узнала. Я взошла, меня позвали. – «Вы г-жа такая-то?» – Я. – И сказали: Умерла без болезни, от слабости. И я даже на похороны не поехала – у Али в этот день было 40,7... сказать правду?! – я просто не могла. – Ах, господа! – Тут многое можно было бы сказать. Скажу только, что это дурной со мной, я все думаю, что проснусь. Временами я совсем забываю, радуюсь, что у Али меньше жар, или погоде – и вдруг. – Господи, Боже мой! – Я просто еще не верю. – Живу с сжатым горлом, на краю пропасти. – Многие сейчас понимаю: во всем виноват мой авантюризм, легкое отношение к трудностям, наконец, – здоровье, чудовищная моя выносливость. Когда самому легко, не видишь, что другому трудно. И – наконец – я была так покинута! У всех есть кто-то: муж, отец, брат – у меня была только Аля, и Аля была больна, и я вся ушла в ее болезнь – и вот Бог наказал...

Другие женщины забывают своих детей из-за балов – любви – нарядов – праздников жизни. Мой праздник жизни – стихи, но я не из-за стихов забыла Ирину – я 2 месяца ничего не писала! И – самый мой ужас! – что я ее не забыла, не забывала, все время терзалась и спрашивала у Али: – «Аля, как ты думаешь?» И все время собиралась за

ней, и все думала: – «Ну, Аля выздоровеет, займусь Ириной!» – А теперь поздно...»

– Ты Москву год назад не узнала бы. Теперь, увидишь, жить можно. Тогда – ничего не было. Голод. Нас с Алей подкармливали иногда люди. Но Ирину я никуда не могла водить, и чем ее было кормить?

Приносили ей, что иногда удавалось достать, но этим ведь не прокормишь. Няня увозила два раза Ирину к себе в деревню, она оживала на хлебе, лепешках, на каком-то деревенском вареве, начинала ходить, говорить... Но долго она не могла ее держать там, возвращалась и привозила ее, и снова Ирина переставала ходить и говорить, а только раскачивалась, сидя в коляске, и пела - у нее был удивительный слух... В приюте, за Москвой, я их навещала. Но когда Аля заболела сразу тремя болезнями, мне пришлось ее взять (Лиля тогда мне уступила свою комнату в Мерзляковском - там буржуйка, ее топить легче, чем камин у меня, и я привезла Алю и поселилась с ней там). Спасти обеих я не могла - нечем было кормить, я выбрала старшую, более сильную, помочь ей выжить. Ирину в приюте кормили, как красноармейских детей, что-то варили, и я ее там оставила. Алю везла на телеге, укутав во вшивую шинель. Я шагала рядом, долго, далеко, не знаю, сколько верст. В огромных чужих валенках, стоптанных. Снег - глубоко. Голова кружилась. Лошадь была тоже слабая, мне не дали сесть на телегу, да и не села бы, лошадь жалко...

В последний раз я видела Ирину в той большой, как сарай, комнате, она шла, покачиваясь, в длинном халате, горела лучина... В Москве я лечила Алю, топила буржуйку креслами красного дерева, она начала поправляться. И однажды в очереди за содой - мыла в Москве не было, я узнала от бабы, что Ирину накануне похоронили... Подходит, всматривается: «А вы не Ириночкина ли мать будете? Мы ее вчера схоронили...» На могилу ее я не поехала, не могла оставить больную Алю. Потом, когда мне дали академический паек... я сказала Але: «Ешь. И без фокусов. Пойми, что я спасла из двух - тебя, двух не смогла. Тебя выбрала... Ты выжила за счет Ирины».

Что я могла сказать? Я молчала. Потом, отвлекая:



- Да, Марина! Я хотела спросить: так ты подружилась с Бальмонтом? Разве можно было подумать когда-то, после первого его прихода, когда мы притворились дурочками!

- Нет, именно тогда уже можно было понять, что друг. Помнишь, он, уходя, сказал своим мяукающим голосом: «В этот дом я буду приходить...» Очаровательный человек! Умилительный. Ни в чем ни на кого не похожий. Рыцарь! И вся его нищая семья, вторая... Мирра, его жена, - прелестна. Ничего не умеет, практичность - вроде нашей. Но все переносит так грациозно и так его любит... Отдадут последний кусок! В таком неустройстве жили, органическом...

- Что с ними теперь?

- Не знаю, как теперь там живут, на Западе без денег еще трудней, чем у нас без специальности. Хороша «специальность» - поэт!

- А Завадский? А Антокольский? Их тебе упрекнуть не в чем?

- Упрекнуть? (Рассеянно или же углубленно - углубленно в другое, что то же!) Нет... Но проходит, отгорает... Когда так горит! Павлик женат, занят театром. Завадский - уже знаменит...

(Вот и все, что запомнилось из слов Марины о них. После ее отъезда, среди хаоса брошенных ею пачек книг, писем, листов, тетрадей я прочла и запомнила первые строки давнего письма Антокольского - тонким, прямым почерком: «Марина! Вы - золотая птица моей Судьбы»...)

- Чтобы уже все окончить - утро уже! - я тебе не рассказала о нашем Тигре, о Кобылянском! - говорила Марина. - Ты ведь получила его письмо в начале гражданской войны? Проскочило? Но он мне говорил, что ты не ответила. Отчего? Он так ждал... Он умер в прошлом году. В том же своем Метрополе, где жили тогда все царские эмигранты, - от чахотки.

- Умер! Господи! А я-то надеялась его увидеть... Не ответила, да... Не могла. Было очень тогда трудно мне. А он ждал... Видишь, надо себя всегда пересиливать! Трудно - так что? Так и делай, что трудно...

- Ася, ты не грусти, я тебе расскажу о нем. Слушай! Постарел, конечно, но не очень. Облик примерно тот же. Меня его приход взволновал, конечно. Что он так помнит маму, что искал и нашел меня, о тебе так спрашивал. Мама ему, прощаясь, нас поручила, чтобы следил за нами после нее, не упускал из виду. Он не мог, потому что был за границей как эмигрант царский, не мог до революции, а как

приехал, стал искать нас. И пришел. Меня нашел, хоть другая фамилия... Говорил мне по-прежнему «ты». Рассказал, что он после Нерви жил в Париже и что звал туда маму, он хотел, чтобы она оставила папу и стала его женой. Мама любила его, но долг, привязанность к папе и жалость. Как оставить его, бросить такого доброго, старого, благородного... И был день, когда он ее ждал в Цюрихе. Так вот, в этот день он вместо мамы получил ее телеграмму: «Забудьте меня не могу разбить жизнь мужу». И осталась в Нерви. Потом он уже женился на Ольге Осиповне, помнишь ее? (Мне кажется, ты все сползаешь, лежишь на краю, подвинься ко мне.) И родился Казик, и мама их навестила в Париже, шутила, что вот и у него, у орла (он так себя звал -«свободный орел»), - гнездо, «придется углы у стола обрезать, Казик начнет ходить - ушибет головку, и лампу придется подвесить, чтобы он ее не уронил». (Тигр ведь смеялся над круглым столом, над висячей лампой.) Она нам это рассказывала в Лозанне, в девятьсот четвертом году... Помнишь?

- Еще бы! И я ей в восемь лет писала: «Мама, почему Тигр женился, ответь, почему? Он же был «вольный орел».

- Ася, он сказал: «В тяжелые минуты жизни дух твоей мамы витал вокруг меня...»

- Так и сказал?

- Да... Это была большая любовь их обоих.

Где-то ночные стуки, глухие... Кто может сейчас стучать? Папироса чертит огненную дугу, и во тьму падает приглушенный голос:

- Ася, слушай... К тебе через сто лет... недавние:

К тебе, имеющему быть рожденным

Столетие спустя, как отдышу, -

Из самых недр, как на смерть, осужденный,

Своей рукой - пишу:

Друг! Не ищи меня! Другая мода!

Меня не помнят даже старики,

Ртом не достать! Через Летейски воды Протягиваю две руки...

И стихи длились - в вечность... Было тихо. Где-то - в кране? - прожурчала вода.

- Это один из самых сильных твоих стихов, - сказала я, до конца дослушав.

И, выговорив, вся сжалась: зачем сказала? Но Марина ответила просто:

- Я эти стихи люблю... - И вдруг: - Ася! Ты ничего не спросила, и я не сказала: Трехпрудный! Дома нашего давно нет! Разобрали (в восемнадцатом году, кажется) на топливо. Начали соседи, докончила по бревнам типография шестнадцатая, бывшая Левенсон. Стоял брошенный дом... А теперь пустырь. Пройди, постоишь... Я шла, не зная, - случайно. Даже качнуло, так странно. Одни тополя, и тех мало. Какие-то обломки взяла... не знаю, куда засунула...

- Господи! - только сказала я. Слов - не было. Нашего дома нет? Совсем! Нигде...

Было тихо. Все звуки примолкли. Марина уже не курила. Затем мне послышалось что-то невнятное, точно голос издалека.

- Марина, спишь?

Молчанье. Заснула почти на полуслове, как мы всегда засыпали. И только тогда я в трезвости внезапно огляда комнаты увидела, что она почти светла. Уже был утренний четырехугольник окна, и был светлый звук птичьего щебета, и был утренний холодок, только по углам еще таился синий рассвет, и лишь за шкафом, шарманкой, чучелами двух лис, за портретом Сережи и гравюрой Наполеона II в пыли и во мгле упрямилась майская ночь.

Тихо, чтобы не разбудить Марину, я сползла с дивана и вышла через темную комнату в детскую. Там, за тремя голубыми небесными окнами чьей-то когдатой залы, расцветал день, золотя тишиной первых лучей, косо брошенным узором стены, и в двух постелях над крепко спящими детьми ликовал сон. Он был густ, как мед, сомкнувший ресницы и рты. Он был густ, как миновавшая ночь пересказов минувшего. Густ, как густа жизнь, которой не пересказать, сколько ее ни рассказывай...

Я постояла, слушая стук сердца. Но хотелось есть, голова кружилась, я почувствовала, что сейчас упаду. Больше не было в этот час прав длить бдение, подслушивание, подглядывание утра, первого утра в Москве после четырех лет отсутствия. Как тень, я вернулась в полутемную Маринину комнату и легла рядом с ней.

Она шевельнулась. Я подняла голову, чтобы еще раз ее увидеть. Понять, ощутить: Марина! Я - с ней! Мы - вместе, как встарь... После всего, что было! Она лежала на правом боку, волосы со щеки откинута, глаз закрыт, и вокруг него -

тьень. Чуть вздрагивала дыханьем ноздря, равномерно. «Какой гордый рот...» Это была моя последняя мысль. В этом сне в то утро мы были счастливы вместе, как в детстве.

## **ГЛАВА 2. ЖИЗНЬ МАРИНЫ. НАШ ДОМ. ЛЁРА. ДРУЗЬЯ. ДРАКОН НА. АНДРЕЙ**

Может быть, потому, что наш первый день был неразрывен вместе и перешел в ночь, а та в новый день, я не сразу и не знаю когда поняла, что Марина для встречи со мной вышла из своей жизни, что эта жизнь идет - и пойдет, как до меня, сколько она ни писала в письмах ко мне о необходимости встречи и жизни вместе, - пойдет врозь. Правда, мое зоркое зрение души Марины сразу же уловило в ней наставшие перемены, что-то, через что «не преjdeши», 1 Но, может быть, я тут приписала волнению и всегдашней застенчивости больше, чем было надо. И только через много времени поняла, что не только прошедшие врозь годы стоят между нами, хоть мы, казалось, и рассказали друг другу в первые ночи, в наши без малого двадцать девять и двадцать семь лет - «все». Колдовство было, может быть, сильнее и проще: между нами стоял человек. И о нем Марина говорила мне мало и скупно, как бы оберегая тему от моего понимания, } ревниво и гордо желая этого понимания избежать. С этим t человеком она меня познакомила в той же пылью заросшей • комнате (где были когда-то Сережа, Борис, Мандельштам,] Соня Парнок), в комнате, над которой веял образ Маврикия, Александровича. Мне навстречу из кресла встал, чинно, старик князь Волконский.

Это был высокий черно-седой человек, и единственно, что я признала в нем, - это «порода», как бывает она у собак.

Но это и было все. То есть в нем были и ум, и достоинство, и воспитание, но теплоты, души, сердца?

Из краткого рассказа о нем Марины я знала, что начало j знакомства было почти хамством со стороны ее сиятельного! гостя. Как и то, что ее горбом, терпеливо снесшим такое! начало, была куплена эта дружба и его уважение, с которым j он посещал ее, благодарный за ее героический труд -переписывания его сочинений! j

«Родина» звалась его книга - очередная из его книг - {философа и театрала, оригинального, европейского масштаба, j мыслителя и causeur (собеседника). Не оценить Марининой

верности и увлечения его обликом Волконский умом не мог. И воспитание привело его к некоему минимуму отношения (для него - максимуму). С ролью Марины в этом «союзе» я никогда не смирилась, и это (а конечно, не лично моя ущемленность в том, что он у меня отнял Марину) отвратило от него. А Марина не позвала меня в его приход - вторично, и я не сделала ни единой попытки сближения на эту тему и осторожно избегала темы о нем.

Но цикл «Ученик» («Ремесло»), ему посвященный, был написан, конечно, не ему, а воображаемому князю Волконскому.

...А в сердце все тот феодосийский прудок и Маринина красота, протекшая как река Гераклита...

Перед бывшим камином, себя забывшим нацело и навеки, жил маленький очажок огня, печурка, варившая, как колдовское зелье, Маринину фасоль (почти единственную пищу ее, добываемую любой ценой на Смоленском рынке) («кормит мозг»), ее черный кофе в татарском феодосийском медном кофейнике и Алины муки: каши. Посредине, под потолочным окном, пуделевым, за небольшим некрашенным окном, в трущобе, произрастали стихотворные пьесы о Лозэне и Казанове, о Царь-Девиге и о Маринке, колдовавшей в «переулочках» под дым вручную набиваемых табаком гильз. Но видеть

Марину в такой несусветной грязи!.. И я кинулась в первый же ее уход из дома убирать: рьяно, яростно чистить, мыть и гладить маленьким заржавленным утюгом полотенца, наволочки, рубашки, чтобы хоть отдаленно белыми стали! Посуду! Паркет! Я не успела сделать и половину, когда вернувшись Марина – равнодушно? нет, за меня стесняясь (зачем? бесполезно, насильно ей навязывать – что? то, что ей совершенно не нужно!):

– Знаешь, Ася, я тебе благодарна, конечно, ты столько трудилась, но я тебе говорю: мне это совершенно не нужно!.. Тебе еще предстоит столько для себя и Андрюши, и (уже негодуя и протестуя): Не трать своих сил!

И было как привкус душевной тоски за ее каждым движением, рассказом чувство обиды, глухой, ей мной нанесенной в этих наволочках и рубашках, полотенцах, паркете. И я не повторила своего навязанного труда. Еще чуть сжалась, уже предвидя разлуку, близившуюся. И эти

приходы Волконского, и чувство, что я мешаю Марине тем, что не разделяю ее отношения к нему. Но все-таки сквозь все это один вопрос не смолкал: в чем же разница наша? Разве меньше пережила я в огне гражданской войны, в голодных болезнях, в утрате моих самых близких? С какого-то перепутья Марина и я шагнули по разным дорогам – и ужели теперь не шагать по одной, как встарь?..

Военное учреждение, куда меня вызовом на работу устроила Марина, находилось на Никитской, и ходить туда было близко. Школа грамоты, которую мне поручили устроить, не была трудна после работы в Феодосии по организации народных читален. Но и в ней был элемент фантастики, присущий тому времени. Что-то нереальное казалось в сблищах старых и пожилых женщин, которых я должна учить чтению и письму. Мне

было двадцать семь лет. Это мои матери по возрасту, и будь я лучше одета, имей за душой что-нибудь, моя настойчивость в намерении их учить грамоте непременно показалась бы им барством, потому что они, старухи, не хотели учиться. Две трети или три четверти их жизни прошли без участия букв. Буквы представлялись им чем-то столько же ненужным, как и недостижимым, и были юмор и усталость в их голосах, покорно тянувших слоги, из этих букв складываемые. «Мы не рабы» -бесконечно медленно усваивали они, «мы не бары» - гласила следующая строка. Но я, хуже их одетая и очень вежливая, бегло жившая среди недоступных книг, мирила их с буквами, и я, двоившаяся в их глазах между уважением ко мне и жалостью к моей невеселой работе, строила между нас -мост. Сваи же этого моста были реальны, потому что понятны. Но все мы - они за подметанье и мытье полов с часами учебы, я за уроки им - уносили из ворот громко звучащего учреждения, где сновали по глубокому колодцу двора красноармейцы, паек, состоящий из хлеба, талонов на получение овощей, селедок, крупы, жиров, мыла и спичек и обещание к зиме - дров. Это было то, что давало приблизительную сытость, оставляя, однако, часы и часы на поиски приработка.

Марина говорила о друге Маврикия, будто бы узнававшем, устроена ли я (он ведал чем-то в Московской кустарной

промышленности); намечалось свидание с братом Андреем. Марина, сминая быт до крайней возможности, от стихов не отрывалась. Ее согнутость (близорукость) над маленьким столом посреди хаоса всего отодвинутого до сих пор в моей памяти - виденьем тех дней.

«Она так богата, что вообразила, будто - больна», -сказала мне Марина о какой-то знакомой. И в юморе взлетевшая бровь. Часто в рассказе о ком-то, как



горькоумористическое резюме: «Ублюдок». (В более добрые минуты - «Петухив...»)

В своих встречах с Волконским она, как в шалаш из сплетенных дремучих ветвей лирики и романтики, пыталась скрыться от точившей ее тоски о Сереже. Где он? Что с ним? Как он, с пятнадцати лет больной недугом века, уведшим в тридцать семь лет нашу мать и стольких с ней, в те годы лечившихся, как он вынес годы войны, голода? Жив ли он? Этот озноб никогда не оставлял ее - он сжигал. Медно-желтое ее лицо, глаза (никогда теперь не глядевшие прямо и весело - всегда вбок и вдаль), лицо ее, как она писала «в апофеозе папиросы», дымом закрывавшееся, как тучами месяц, казалось, рвалось прочь - от всех.

Этой тоски не могла, конечно, затушить радость свершившейся наконец нашей встречи, давножданной. Мы в те дни споткнулись о реальность некоторых разниц между нами. Но после каждого расхождения, спора (о воспитании детей, о каком-нибудь случае, по-разному воспринятом) - вслед за ними шло чувство вины Марины передо мной за резкость.

И какой-то знак внимания и любви. Как ни упрощала нужда процессы вокруг еды и одежды, я все же старалась бодро и весело (сколько хватало при истощенности и усталости) отстаивать привычный модус. На это уходил сверх работы весь остаток дня.

Марина и день и часть ночи отдавала труду над стихами. Привычный быт вокруг ребенка она давно и безвозвратно забросила, приравнивая Алю к себе. Она требовала от нее большего спартанства, чем я от Андрюши. Упорно и сурово откармливая ее после Ирины, она вернула ей здоровье; чуть моложе Андрюши, Аля выглядела старше и крепче его. Может быть, в разнице, скоро сказавшейся в деле ухода за детьми, сыграл роль еще факт Андрюшиного тяжелого

бронхита, которым он заболел почти сразу после приезда из Крыма.

Так или иначе, несогласия в том, что надо и что не надо, обозначилось с первых же дней. Но крепко стояло на ногах наше сходство, ни с кем иным не разделяемое в такой мере, что из всех знакомых наших только Марина и я давно забыли – отмели, – отменили ночь как сон. Мы не ложились спать, как прежде. Работа шла вне часов. Засыпали глубокой ночью, часто под утро, когда уже руки не двигались, глаза закрывались.

С удивлением смотрели мы на жизнь людей, живущих по-прежнему. Резкая разница в обеспеченности нас окружавших и брошенности нашей держала еще выше наши головы. Казалось, мы не только легко приняли трудности наставших лет, но даже будто охотно сжились с ними. Задор, переходивший в гордыню, был, конечно, у Марины больше – гордость ей всегда была свойственна. Но и я, с детства не очень здоровьем блиставшая, на диво многим, справлялась с полуголодным житьем, скудным сном и тасканьем всего, что тогда на плечах – и только на них – в дом вносилось. Помню, как однажды зашедший к Марине знакомый – широкоплечий, высокий человек – еле поверил, что те два толстых метровых бревна, что лежали на полу, связанные веревкой, были втащены по лестнице и пронесены через часть Москвы – мной, худенькой бледной женщиной.

– Это просто невероятно! – сказал он. – Я бы этого не осилил!

– Я двадцать восемь раз отдыхала, – отвечала я с юмором, – бревна качали меня, как адовы крылья, но я не упала ни разу!

– Ася с Брянского вокзала тащила их, – сказала Марина, – там даром сбрасывают возчики по бревну, потому что тяжело лошадям, и женщины рано утром их в очереди стерегут и потом тащат через Москву...

Яркие, темные глаза Бердяева... имевшего в Москве квартиру, жену, приличный по тем временам быт; вежливо, дружески, сочувственно слушал и смотрел он на чудовищную картину разрухи, явленную в доме у Марины.

Я бывала у Михаила Осиповича Гершензона, известного литературоведа. Он жил с женой, сыном и дочерью. Он дружески, сочувственно встречал меня. Как большинство культурных людей в 1921 году, он жил совсем другой, чем мы, жизнью - лекций, диспутов и докладов, библиотек,

процветающих, несмотря на нелегкий быт. Но у них были семьи. Наши семьи были в прошлом.

На том месте, где когда-то был покрыт травкой двор, - между домом, флигелем и сараем (а в нем - санки, оставшиеся от исчезнувшего коня), где качали, как в деревне, из колодца, куда позднее въезжал водовоз, входил, снимая с плеча станок, точильщик; где, занемев от разлива мелодии шарманочных голосов, мы стояли, уносясь с ними с небо; где проходил по мосткам «князь» в круглой татарской шапочке, крича свое монотонно-волшебной «Старь-я»; где бежала горничная на звонок из бабаягинского кухонного жерла, нес почтальон письма, куда мы выбегали, непослушные и счастливые; где кипела родником жизнь -

Когда мы еще были дома,

Когда тополя цвели,

Когда в дождевой пыли

Мы кружились под рокотом грома -

я стою одна, став старьевщиком, и роюсь в мусоре, древесной пыли, обломанных кусках кирпичей, подбираю - нашла один и другой - блестящий кусочек кирпича (снизу грубо рыжий, сверху - бело облицованный, с синей каемочкой, обрывающейся..) Нет сомненья! Это - клочок нашей печки из детской, только там было синее по краям изразцов, уютных, как

игрушка (в первом этаже печи был один только белый блеск, парадный, торжественный). Бережно, как ювелирную драгоценность, кладу в карман два кусочка: один - Марине, другой - себе. Обломок дерева, маленький, в нем гвоздь...Ком штукатурки, шерстка пакли... Последние могикане когдатошнего уюта - как страшны они в моем накопившемся к ним старьевщицьем одиночестве, посреди всем равнодушного пустыря. Как они, спешащие мимо, так я равнодушна к ним, идущим, к их - может быть, взглянут - недоумению, что я делаю здесь, откуда увезено все! Стою и в воздухе меряю, прикидываю, вычисляю, перемериваю глазную ошибку, где кончался дом и шли трава и мостики, где - наискось -поворачивали они к кухне, где была - деревья исчезли -собачья конура? Вон там были ряды акаций, с желтыми цветочками. Здесь выступ дома, лесенка черного хода? Где же тогда шкатулка парадного, полосатая, белая с красным? Закрываю глаза - все стоит. Открываю их - ничего. «Это кладбище!» - понимаю я вдруг в кажущемся освобождении от тоски безымянности. Легче, когда назовешь!

Летний вечер тих. Призрак залы, люстры, рояля. Кажется, будь ненастье - стало бы легче. В тишине и тепле катастрофа уничтоженья страшней... Хорошо, что есть долг, память о сегодняшнем дне. Что надо куда-то идти, добывать, что-то делать... А то бы - не перенести пустырь! (Много лет спустя на том месте построили четырехэтажный кирпичный дом.) Я, живя с 1921 по 1937 годы в Москве, избегала ходить Трехпрудным. А когда я впервые вновь там прошла, на месте, где мы родились и росли с Мариной, стоял совсем другой дом: в нем было шесть этажей, и его выросший, как во сне, в сторону бок образовал не бывший там переулок. И прошло еще много лет, пока я узнала, что было: в войну тот четырехэтажный был разрушен бомбой. И

построили, не зная, что строят по предсказанию Марины, – дом в шесть этажей.

Домики с знаком породы,

С видом ее сторожей,

Вас заменили уроды Грузные, в шесть этажей...

Предсказание поэта – пророчество.

– Ты, Настаська?

Знакомый, так давно не слышанный голос, смеющийся, и в сумрак под потолочным окном входит – Лёра! Все та же! Нисколько не изменилась, кажется мне, пока я спешу ей навстречу. (Чем объяснить, что некоторые моменты жизни, как поплавки на воде, как плоты, – все плывут бок о бок, будто они не прошли тому назад много лет? Их зеркальное отражение в памяти полнолично властвует над душой, отвергая Гераклитову протекшую реку, в которую не вступаешь дважды. Не вступаешь? – смеется память, – да я стою в ней!..)

Лёра идет мне навстречу, невысокая, в чем-то светлом, и я запоминаю – до моих 88 лет – ее маленькую, кругленькую, из белого тюля шляпу со стоящим над нею эспри. Ее смуглое лицо, родные черты, зеленоватая тень глаз и какая-то неповторимо ее ужимка дразнящего смеха, гримаска рта, через миг становящаяся поцелуем, рукопожатием (как знакома маленькая крепкая рука), тормошение меня похлопыванием по плечу и вопросом – как, что, где – и «Ну, дай-ка я на тебя погляжу, ну, покажись, какая стала... Худущая! А так – ничего, живая, скажите пожалуйста! И твой это такой большой мальчишка? Приехали! Молодец! Знаешь, многие бы не вынесли, что пришлось тебе. Настаська, ты -молодчина...»

Я не помню, была ли при этом Марина. Думается, ее не было. И в протекшие без меня годы – вряд ли я ошибусь, сказав, они если и виделись, то случайно. Друг у друга они не бывали. О брате Андрее Марина – мне:

«Заходил несколько раз. Всегда неожиданно. Так, присядет, поговорит. «Я пошел». Мог ли помочь, когда я с детьми голодала? Не знаю, может быть, и не мог...» – «Где он работает?» – «Точно не знаю. Что-то по картинам, по старине. Говорят, знаток. Ты непременно с Андрюшей к нему сходи, о тебе спрашивал. Тебе-то поможет, думаю. Уж тебе не помочь! Два мужа умерли... Все пропало, и ни кола ни двора! За серебро в закладе твое он, по-моему, первое время вносил, а потом...

О тебе слышно не было – выкупить, может быть, и не мог, Ася! Все прахом летело, я на все махнула рукой! Андрей хоть и скуп, но добр и Андрюшу, наверное, пожалеет. Как-то Але подарил браслет. Покажу. Чудак он, Андрей, и что-то в нем трогает...»

И – подавленный вздох (о Сереже!), и отсутствующий взгляд. И – за стол с тетрадями и листами, с черным кофе и коробкой гильз, с рассыпанным табаком.

...Чердак – каюту.

Моих бумаг божественную смуту...

– Ася, – сказала Марина, – пойдём к Вере Звягинцевой, она зовет завтра. Будут ее друзья. Она – милый человек. Пишет стихи – неплохие. Есть очень хорошие строки. Пойдешь? Ты ведь из-за своего частичного неустройства никуда не ходишь, а в Москве – концертов, вечеров литературных – множество! Сколько кафе, «кабачков» поэтов... Ты Есенина любишь?

– Мало знаю. А ты?

– Талантлив очень. Так пойдём?

Поздний летний вечер; на Поварской пахло цветущими липами, душистая мгла была весома. Мы шли, прорезая ее собой.

– Замечательный поэт Мандельштам, – сказала Марина, – и еще есть один, я его всего раз видела и слышала, как он читает. Пастернак. Ни на кого не

похож. Благороден! И очень талантлив. Запомни: Борис Пастернак.

- Запомню! Беспокоюсь, Марина, - сказала я, - Мария Ивановна не пишет. Она же так хотела вырваться сюда! И в театре она тут устроится, театры у вас цветут, а она так талантлива... С девочкой путь тяжел будет, но, может быть, не одна поедет? Еще Миндлин бился за выезд, есть такой поэт Эмиль Миндлин, похож чуть-чуть на Мандельштама в юности, но красивей и мягче.

- Талантлив?

- Не знаю. Удачные стихи - есть.

Летним цветком был тот вечер похода к Звягинцевой, тоже зачем-то нас звавшей, созывавшей друзей.

Что я помню о Вере? Горячий блеск металлических ярких ее глаз и горячая рука в рукопожатии, близкий взгляд в глаза (близорукость?) и радость увидеть кроме Марины еще одно ее подобие - меня.

Москва тех лет! Полусытые люди, рвущиеся слушать стихи, бегающие на концерты, ломящиеся на доклады, диспуты, лекции, - чудесный русский народ!

Говорили стихи, пили чай, что-то ели, заботливо, с трудом приготовленное. И обратный полет - втроем (она пошла провожать нас). И был над Москвой рассвет.

Марина вела жаркую переписку с Максом Волошиным. Он писал ей о голодающих писателях Крыма, об усилиях хоть как-то наладить им помощь, о трудности справиться с этим своими силами. Наконец он прислал письмо, просящее помощи из Москвы.

Вот отрывки из ответного ему письма Марины:

«Москва, 7 ноября 1921 г. Мой дорогой Макс - оказия в Крым! - сразу всполошилась, бросила все дела, пишу. Во 1-х - дань благодарности и низкий поклон за Сережу. 18 января 1922 г. будет 4 года, как я его не видела... Получив твои письма, подняли с Асей бурю.

Ася читала и показывала их всем. А когда дело дошло до Луначарского, пригласили меня в Кремль. Шла с сердцебиением. Положение было странное, ведь случай был странным: накануне дочиста потеряла голос, ни звука, только «и» вроде верхнего «си» у Патти!.. Но не пойти – обидеть, потерять право возмущаться равнодушием, упустить Крым».

...Большая пустая белая дворянская зала, несколько стульев, рояль, велосипед. Наконец, через секретаря: видаться вовсе не нужно, пусть товарищ напишет. Бумаги нет, чернил тоже. Пишу на чем-то оберточном, собственным карандашом. Доклад, ввиду краткости, слегка напоминающий декрет. Пишу про всех отдельно. Судак и отдельно Коктебель. Дорвалась, наконец, до вас с Прой: «больные, они в пустом доме!» и... вдруг иронический шепот Волькенштейна (моего провожатого): «Вы хотите, чтобы их уплотнили? Если так, вы на верном пути!» Прекращаю. Доклад кончен, хочу вручить мальчишке в куцафейке и вдруг – улыбаюсь прежде, чем осознала! Удивительное чувство (быть в присутствии личности). Ласковые глаза: «Вы о голодающих Крыма? Все сделаю!» Я вдохновенным шепотом: «Вы очень добрый». – «Пишите, пишите, все сделаю!» Я в упоении: «Вы ангельски добры!» – «Имена, адреса, в чем нуждаются, ничего не забудьте, и будьте спокойны, все будет сделано!»

Поварская № 10! Тот самый дом! Он стоит на Поварской так просто, так по-прежнему, точно это не 1921-й, а 1909 год! Точно мне пятнадцатый год, Марине семнадцатый и мы, выскочив из санок, идем к нашей Драконне...

Та же самая лестница, те же высокие входные двери, та же передняя, только она полутемная, и, уже схваченная за руку Драконной (друг наш с Мариной, Лидия Александровна Тамбурер), я вхожу в ту же приемную: синюю! Как она поблекла! Но диван все так



же торжественно вычурен, окружен такими же креслами, и овальный стол блестит темным блеском, будто не замечая лет... Только вместо люстры горит керосиновая лампа, но на ней – абажур. (Абажур! Какое-то непонятное слово.) Миновав кабинет -блеск стекол и сверкание инструментов, – мы в задней, знакомой? Нет, все переставлено, сжато, еще не поняла что... Глаза в глаза смотрим друг другу, и держимся за руки, и смеемся хлынувшей радостью встречи, из тех лет!

Постарела!.. Как-то опущены плечи, поределые волосы полу прижаты к вискам, и как тогда в черных было горение седины, так теперь в седине немножечко темной тени. Вместо

смуглого легкого румянца – ровная желтизна. Но глаза – как в той сказке Эллиса! «Но глаза... но глаза – были те же...»

Стихи! Драконна просит стихов. Начинаю, что помню, Маринино. Говорю:

– Но ведь я спешу на работу...

– Ну, еще одно, Ася, последнее!

– Я опоздаю в мою школу грамоты!

– И куда же вы сейчас пойдете в вашу школу? Политграмоты? Кто же вас там учит? – И медленно, на мое: «Я учу!» – Вы? (с сомнением) Вы учите! И кого же вы учите политграмоте?

– Простой грамоте, буквам!!

– А! – умиротворенно сказала Драконна, точно она только этого слова и ждала – «буквам»! – И они будут читать буквы! Подумайте! И потом – книги... (Совсем уже умиленно...)

– Ну, насчет книг – это я сомневаюсь немного... Они как-то не верят в книги, хоть и полюбили меня...

– То есть как вы сомневаетесь! Вы же их учите!

– Да, но они не очень хотят учиться. А одна говорит: «Все буквы – на одно лицо, почему так сделали?» Они говорят, что без букв прожили век. У меня – все старые

женщины... Меня так матерински жалеют: «Молоденькая, да худенькая, так с нами мучаетесь, ай полегче-то работенки не дали вам?» Но там есть несколько женщин и средних лет. те стараются! Прочтут слово - взволнуются: «И как это так хорошо получается? Даже в пот бросило!» Эти меня трогают, и я тоже очень стараюсь. Но когда старые люди не могут усвоить буквы, а прочтут их - теряют смысл слова, я не знаю, что делать.

- А я знаю! - сказала Драконна, целуя меня. - Вы должны искать другую работу, а им дать - другого учителя, строгого!

Вечером я сказала Марине, что ведь ничего не спросила у Драконны про мужа ее, Володю. Он жив?

- Умер, - ответила Марина. - И хорошо, что не спросила. Тяжело умирал. Я не помню - сыпной тиф? что-то с мозгом.

Все бредил войной. Не перенес - хирург, в самом пекле...

- Ася, слушай, - встретила меня дни спустя Марина, - тут приходила Евгения Максимилиановна Звенигородская, они живут на Плющихе. Уезжают на лето. Узнала о тебе. Предлагает, не поселишься ли в их квартире до их приезда?

к®Конечно, решай как хочешь, живи тут, но тут у тебя нет «Шума, лепишься на диване в детской или под потолочным окном... Там ты могла бы отдохнуть - комнату они тебе оставляют большую и кухню. Балкон - над Москва-рекой... Себе госпожа! Воздух для Андрюши, свет... Подумай! Она завдет за ответом. Еды я тебе дам. Паек получили. Решай.

Что-то больно сжалось внутри. Скрывая, я надавила больнее, сыграла разумность, простосердечие, сказала, что «хорошо». Та женщина спешила. Я собрала свой скраб, и мы понесли его, Марина и я, по Арбату. На углу что-то выпало, мы подобрали. От Марины не скрылось

мое состояние. От меня – что она чувствует себя виноватой... «Но ей будет легче без меня, с Волконским, – сказала я себе, – моя неприязнь к нему мешает Марине в их беседах...»

– Ася, приходи! Слышишь?

Вот жизнь и понеслась снова дальше...

В 7-м Ростовском переулке круто над Москвой-рекой стоит дом, боком сходя по холму. Вход со двора в первый этаж, а окна квартиры – третьего этажа; в кухне – балкон, высоко над горой вдоль реки.

Евгения Максимилиановна, милая, красивая, молодая женщина уехала. Мы остались в квартире одни. Но нужен был приработок, и я стала шить кукол в надежде, что сумею продать их на рынке. Я просиживала глубоко в ночь. Затем за большим окном начали сереть, желтеть, алеть небеса, по реке шел сумрачно цветной блеск. Андрюша спал. Изнемогая от усталости, я любовалась волшебными существами – созданием моих рук.

Марина приходила ко мне и все приносила и приносила что-нибудь из еды, или из одежды, или из хозяйственных вещей. Она садилась на подоконник над Москва-рекой, смотрела на мою жизнь, что-то рассказывала, утешала, обещала сделать ту или иную попытку для лучшего моего устройства в Москве, что-то узнать, кого-то попросить или принести еще что-нибудь из нужного мне, уцелевшего среди хлама и разгрома ее жилья, удерживала вздох (о себе ли? обо мне?), повертывалась к реке под окном, она текла так похоже на нашу Оку в Тарусе, с минуту молчала – и вдруг: «Хочешь? Последние мои стихи, еще не совсем их окончила...» Или внезапно вспомнила, что «надо идти» (она иногда оставляла Алю у Лили или у кого-нибудь из знакомых). Я

ее провожала до Плющихи по коротенькому переулку, и мы шли молча, жалея одна другую и

тщательно это скрывая, не называя случившуюся разлуку еще одним новым маленьким горем. Марина старалась скрыть свою жалость ко мне, но это была рана, и кровь раны сочилась в каждом ее обращении.

- Ася, - сказала она мне однажды, - знаешь, Нилендер живет совсем близко, возле Румянцевского музея. Он дружит с Толей Виноградовым, ты же помнишь, он хорошо устроен, он будет рад увидеть тебя и Андрюшу, встретит гостеприимно. Нилендер живет вместе с Сергеем Михайловичем Соловьевым (с Таней Тургеневой Соловьев давно разошелся, то есть она от него ушла). Он долго болел, Нилендер его приютил. Пойди, непременно. А Таню Тургеневу, его бывшую жену, я как-то встретила - вся такая же, оживленная и как девочка, глаза такие же синие, а сколько перенесла! У них три дочери, все красавицы, две таких крови - тургеневская, соловьев-ская! - и самая из трех красивая, удачная и любимая дочь (а может быть, это теперь так кажется) - умерла...

Я хочу сказать о двух домах, где в ту осень и зиму бывала: о Когане и о Гершензоне, знавшем меня по первой моей книге. С литературоведом профессором Коганом меня познакомила Марина, с ним и его женой дружившая. В этих семьях я отдыхала с сыном от трудов дня.

С помощью Петра Семеновича Когана (худого, некрасивого человека с седеющей головой, пенсне на карих глазах и усами кота), доброго, участливого и переутомленного до последней степени циклами лекций по литературе и количеством хлопот о плохо устроенных людях, с помощью Гершензона, знавшего мою первую книгу, и Вересаева, знавшего меня по Коктебелю, шли хлопоты о принятии меня в члены Союза писателей.

Как забыть уютные, старинные вечера у Лёры и мужа ее, латиниста Сергея Иасоновича Шевлягина в их

скромной квартирке; их вежливые расспросы о годах разлуки (избегая тему о смерти мужа и сына), о Крыме, переездах, местах работы, о болезнях прожитых лет. Они оба слушают молча, со сдержанной – чтоб не обидеть – добротой, и уже крадетя тоска, что сейчас надо стать и идти опять в свою жизнь, в чужую комнату из этого уютного мирка с картинами, скатертью, мелочами прошедшего – бисер, дагерротип, альбом

и та самая – она! – подушка, где на атласе рукой Лёры в детстве масляной краской – цветы... Я уже встаю и прощаюсь, и Лёра все сует и сует в руки пакетики и свертки – Андрюше, и зовет приходить, и хлопает меня по плечу. Зелень ее глаз – цвета Марининых. И стал этот Лёрин мирок моим, хоть и редким, отдохновением, год за годом, несколько раз в год.

Кто-то настойчиво стучал в мою дверь. Я открыла – о отступила на шаг, так неожиданно появление этого человека. Он был все тот же, смуглый, среднего роста, в широкополой черной шляпе, и пристальный взгляд так же улыбался, как в мои 13 лет.

– А-ася... – должно быть, прочувствованно проговорил он, и, улыбаясь все глубже, острее, – теперь я постараюсь дать знать Гале, что Ася – нашлась...

Отец Гали Дьяконовой (давно уже Элюар). Узнав о моей нужде, задумался. Но когда я чуть насмешливо, верней недоверчиво, попросила его мне помочь тем, чтобы купить – достать, может быть, где-нибудь по знакомству? – сапожные инструменты – «я научусь шить обувь, увидите, я и сейчас шью летнюю, из парусины, бечевки... у меня ловкие руки, я с детства всегда что-нибудь мастерила, мать хотела меня в Строгановское училище... это будет мне такой приработок, ремесло такое нужное сейчас...» – гость мой помялся-помялся, почесал фигурально в затылке, больше уже не глядя

так прочувствованно и, по-моему, больше не приходил. Мечта стать сапожником осталась мечтой.

Я не помню, у Марины ли живя в то лето или позже я увиделась с братом Андреем. Увидела Андрюшу, худого и бледного. Брат предложил мне приходить за обедом для сына (и на двоих хватало!), и я долгое время ходила к нему.

Жил он тогда где-то в районе Садовой. Помню, как я раз, спеша, налетела на не замеченную по близорукости веревку, преграждавшую путь, и полетела, разроняв глиняную банку, в которой носила суп, и тарелки – но, должно быть, или чудом не пролила еду, или только шла за ней – потому что урона и горя не помню.

Андрея я часто не заставляла, еду мне наливала его дама – бледная, полная брюнетка. По воскресеньям мы всегда

обедали у них, Андрюша расцвел от сытости и вида красивых старинных вещей, а я наблюдала и не понимала отношений брата и З. Н.: она таила раздраженность, он же был явно небрежен с ней, почти враждебен. Ко мне и Андрюше З. Н. была любезна и даже, может быть, сердечна, хотя наедине со мной говорила о том, что им материально трудно, намекала на какие-то неудобства. Но отказаться от их помощи я не могла.

Андрей больше изменился, чем Лёра. Ему теперь шел тридцать второй год (ей было – тридцать девять). Он стал суше, жестче выражение губ. короче наблюдающий взгляд. Ушла от него юношеская прелесть, придававшая его чертам романтичность и сходство с юными генералами 1812 года – теми, которым Марина посвятила стихи. Волнистые темные волосы его не колеблются при движениях надо лбом, они короче, почти лежат у висков. В его застенчивости появилась угрюмость. Он молчаливее, не поддразнивает, не

шутит, только спрашивает, кратко, и после ответа долго молчит -может быть, подбирая вопрос?

Еще чуждее мы душевно, чем дома были... Эта же даль мешает ему о себе рассказывать, или просто не хочется, но его гостеприимство так малословно, что мне в его присутствии тяжело. Это почти аудиенция, и я невольно стремлюсь к минуте, когда, простясь, перешагну порог, с горечью и недоумением памятуя о стольких годах – все детство и часть отрочества! и часть юности, проведенных под отцовским кровом. Как, да и незачем напоминать ему о моих подругах, им увлекавшихся, о вечерах и нашей зале в мои шестнадцать-семнадцать, его двадцать и двадцать один год... жизнь, только налаживаясь, трудна и для какой-то степени комфорта и сытности требует всех сил человека, а для него еще и необходимости уделить от себя – вот мне и Андрюше... Мне тяжела благодарность, которую я чувствую за обеды Андрюше, и деньги изредка, молча из кармана вынимаемые и даваемые мне. (Я становлюсь Камковой, которой дает помощь брат?) И как жаль мне Андрея, что он усталый, угрюмый...

Слово «паек», из моего рта не выходящее, в его рте не живет. Тип труда, им себе избранный в стране, возвращающейся после разрухи и культурным началам (он работает в музее «сороковых годов» и считается, говорят, знатоком живописи), связан с большой отдачей времени в

Наркомпросе, Главнауке, но дает ему другие возможности, чем мне, – на столе его не роскошно, но добротное, строго, «как должно быть» в возрождающейся стране, те предметы питания, к которым он привык с детства (оно идет, разумеется, с рынка), от которых Марина и я давно отвыкли. Работает он, может быть, не меньше моего, но «по специальности», и это делает его быт совершенно

иным. Мой и Маринин быт с ночами без сна, с хлебом как радость, «жирами» – как достижение и с огромной потерей сил и времени для убогой стирки, для таскания на себе дров, овощей

И к брату Андрею не был на порог впущен. То, что казалось! с улыбкой (в нем, юноше) «вельможным», осталось и ныне,

И тут – «особенным». Зорко исследуя необходимость, он! помогает кому в получении труда, кому – вот мне – и И деньгами. Марине?

Почему он не помог ей в голод, в годы болезни детей и (смерти Ирины? Слыхал ли о них? Мне неясно. Смутен слух (но он при Маринином презрении к законности, может, и явь), что ею была продана к ней на время поставленная мебель его знакомых, слух был и об объяснении Андрея с Мариной, но на эту тему не спрошу ни его, ни ее. Зная, что Сережи нет, где он – неизвестно, зная, что второй муж мой умер в 1917-м скоропостижно, что Борис умер в первую эпидемию сыпного тифа в 1919-м, он не спрашивает меня, но (это, впрочем, пришло несколько месяцев спустя) глухо, должно быть, считает, что мне бы ради Андрюши следовало «устроить свою жизнь». Он не выговаривает этого, а продолжает звать обедать, обещает сшить Андрюше шерстяной костюмчик и поговорить в Музее русской старины, не будет ли мне там работы. И так как за столом в воскресенье нет никогда родственников, о прежнем, бесед, а только что-нибудь об Андрюше, работе, квартире, я эти беседы подымаю, как мешок картошки (два пуда, пайком) или бревна с вокзала, и только стараюсь, чинно улыбаясь доброте к моему сыну, не подпустить – всем усилием воли! Потому что уж давным-давно просят, рвутся – слезы к глазам. А выйдя, еще на лестнице, оживая, сыну: «Наелся?»



## **ГЛАВА 3. ВИНОГРАДОВ. НИЛЕНДЕР И СОЛОВЬЕВ. МОЯ РАБОТА**

- Ася, - сказала мне Марина, - я забыла тебе рассказать про Толю Виноградова. Знаешь, какой пост он сейчас занимает? Помнишь, как его опекал, устраивал на службу в | Румянцевский? Так он теперь директор там! Очень важен | стал. На службе его все боятся. Тебе непременно надо к нему | пойти - противно? Преодолей себя для Андрюши, советую ' тебе. Ему ничего не стоит тебя хорошо устроить, тем более | что ты уже работала в Феодосии в библиотеке - неужели он | посмеет тебе отказать? И походи непременно с Андрюшей!: Он такой красавец, такой «маленький лорд Фаунтлерой»... |

- И Толя так восхищался им... С фронта, в тысяча | девятьсот пятнадцатом писал мне: «Я не знаю более преле- [стного ребенка...» |

- Иди прямо на дом - у него квартира почти рядом с, Музем. Женат... писала тебе - одевает жену как куклу, (недавно сын родился. Должен же он вспомнить, как бедным» студентом его туда папа взял! Продвигал его! Пойдешь?! Интересно, как будет... Вы сколько лет не виделись?

- Лет пять-шесть... |

...Руку на плечо восьмилетнему сыну, подхожу к тяжелому |

каменному зданию близ бывшего Румянцевского музея. | Парадная лестница. Высокие двери. Притишая сердцебиение, | нажимаю кнопку звонка. Эта кнопка, хладная к пережитому, | к годам голоданыя, к взрыву пороховых погребов, обстрелу; берегов из орудий,

битвам армий, нападению «зеленых», | высадке «анархистов», привезших - из Турции - на базар | орехов и турчанок, предлагая их за недорого в домработницы; кнопка звонка в квартиру Толи Виноградова, любившего меня! с моих четырнадцати лет, взрывает во мне не хуже тех [погребов пороховых память о юности... Но уже шаги. | Отпирают. Силуэт плотной, высокой женщины. Говорю, став | на пороге: |

- Могу я видеть Анатолия Корнелиевича. Он дома?;

- Как о вас сказать?

- Анастасия Ивановна Цветаева.

- Сейчас скажу. Подождите. '

Уходит. Стою, замерев. Успела увидеть полный овал щеки, каштановую прядь. «Что-то милое...» За дверью в комнате гуденье голосов. Возвращается.

- Анатолий Корнелиевич просит вас зайти в кабинет.

Вспыхнув прежним (невидимым сейчас!) румянцем: «Не

вышел, не встретил! Смеет меня - официально!» И, не успев додумать, вхожу - рука на плече сына - в кабинет многолетнего друга.

Не хочу обвинить, человека давно нет на свете, - не помню: встал навстречу? привстал? остался сидеть у письменного стола? Помню голос человека, не поднявшего глаз:

- Чем могу служить?

И рука - знакомая рука с длинными холеными ногтями (сколько раз, девочкой, шутила над ним!) перебирает бумаги. И вдруг...

В голове (моей) на мгновенье - смешалось: не узнал? Не расслышал фамилии? Просто не видит меня? Но в настойчивости, с которой не подымалась голова от бумаг, была уже нарочитая дерзость?

Не снимая руку с плеча сына и ни на кого не глядя, слышу мой голос совсем от себя отдаленно:

- Мы недавно вернулись в Москву, я ищу работу. Я в Крыму работала в библиотеке, по устройству народных читален. - Передохнула, глотнув слюну. Может быть, скажи я ему: «Толя...», дальше не пришлось бы говорить? Но я не могла сказать «Толя» - этому человеку. - Может быть, вы могли бы взять меня на работу? Вы ведаете библиотекой? - Пальцы - шесть лет их не видела, как их узнаю... сколько раз они несли мою руку к губам, для поцелуя - переложили бумагу. Человек глядит мимо меня и Андрюши.

- Видите ли, у нас сейчас нет набора работников, штат полон. - Пауза. - Может быть, в будущем...

- Но я ищу работу теперь.

- К сожалению, теперь мне нечего вам предложить. (И в то время как я, уже оживая в юмор, себе: «Аудиенция окончена?» - я слышу из соседней - или соседней с соседней -комнаты тихий колыбельный наплыв. Я встаю. Эта ли напевность размыкает мое состояние потрясенного изумления, рождает в моей интонации свободу и немного игры?)

- У вас, кажется, сын родился, я слышала... Как назвали?

- Георгием.

- А! Из стихов Марины?

Обронил орел залетный перышки,

Родился на свет Егорий -

Свет Егорушка...

Он встает. Я смею, но все больше насмешливости, хоть и теплой от близости детской.

- Может быть, покажете сына?

- Его сейчас кормят... Впрочем, я погляжу!

Он выходит и тотчас же возвращается. Все держа за плечо сына, я вхожу в большую комнату, где высокая женщина встает, держа ребенка. Из пеленки - посапывающее личико с закрытыми (засыпает) глазами. Улыбка матери. Одно доброе слово:

- Спит...

И моя улыбка, и рукопожатие, и - обертываясь - отца нет в комнате. Как? Исчез, не простясь?

Но чтобы жизнь не предстала еще раз сном, страницей из «Элексира сатаны» Гофмана, Анатолий Корнелиевич, директор государственной библиотеки, оказывается, как и я, в передней. Сейчас он не может не видеть меня. Видит и меня, и Андрюшу. С той же грацией отсутствующего чиновного человека он продолжает не осознавать меня. Не узнавать. Как сумел во все время аудиенции не назвать: ни «Ася», ни «Анастасия Ивановна»? И все же в мгновенной щедрости? в свободе освобождения? я протягиваю нечелове-ку - руку. Он молча, знакомо до боли (сделав ладонь -чашечкой, тыльную сторону руки - горбиком), пожимает мою, так и не заметив «прелестнейшего в мире ребенка», как писал мне в письме с фронта.

- Недели через две, если зайдете ко мне на работу, я постараюсь узнать...

Мой кивок, и выходим, и за нами затворяется дверь.

Память ведет меня далее, на несколько лет вперед.

Виноградов пережил неприятности по службе, уже не был директором бывшего Румянцевского музея. От его матери, случайно ее встретив, я узнала, что он тяжело, нервно, болел - но нашел выход в связях с литературой, возобновил юношеские опыты и увлеченно пишет большую историческую вещь.

Однажды я шла по Моховой, после работы. Мне навстречу шел Толя. Кивая, ускоряя шаг, даже раскрыв руки в приветствии, «Асенька! - сказал он, беря меня под руку,

ласково поворачивая идти с ним. - Наши будут так рады... Мама... Увидите моих детей... Идемте пить чай с тарусским вареньем!»

Мы пошли. Он жил в другой квартире, недалеко. Был действительно чайный час, все были в сборе: мать,

сестра, Маринина подруга Нина, жена Толи и двое детей, лет четырех, пяти – сын, дочь. Меня встретили радостно, шумно, – расспросы... Мешая чай с малиновым вареньем, я весело – они привыкли издавна к моим оживленным рассказам – начала очередной о том, как в тяжелые годы я пришла к другу нашей семьи просить работы в учреждении, которым он ведал. И как друг отказал, вроде даже и не узнал меня. «А затем, – сказала я, – годы спустя я шла по улице и встретила того человека, он уже не ведал тем учреждением, и он меня сразу узнал, вспомнил имя и позвал пить чай, как в старые добрые времена, когда еще с Мариной росли и бывали в его семье...»

Лицо сестры шло пятнами. Мать глядела мне прямо в глаза. Жена тревожно взглядывала на мужа. Только дети баловались, толкая друг друга, и их не останавливал Толя...

Над столом царило тяжелое молчанье. Жизнь, наклонясь над нами, глотала неповторимый миг.

...Тот подросток с вышитым воротом парусиновой рубашки, его подлинные голубые глаза... Вечер в саду Добротвор-ских, гирлянды цветных фонарей с зажженной свечой, и я, семилетняя, пьющая этот таинственный взгляд – первая встреча!..

Но уже вскочив, легким шагом окружая сидящих, я трепала по голове Толю.

– Ну, а теперь, – сказала я смеясь, – положите мне варенье из крыжовника! Оно из вашего тарусского сада?

...И годы – до отъезда моего из Москвы – я бывала у Виноградовых.

...И вот еще один нырок мой в прошлое. С восьмилетним сыном вхожу к человеку, которого мы, Марина и я, любили первой любовью в декабре 1909 года (М. Ц. «Вечерний альбом»), – к Нилендеру. Живет вдвоем с Соловьевым.

Вхожу, улыбаюсь, представляю сына, жму руки, какие-то посторонние люди, немое изумление в том, как изменился -мелькнул за дверью Соловьев - за лет... двенадцать? что не видела его: совсем другой человек! ничего даже сходного! Зоркий взгляд (боковой!) в сторону Владимира Оттоновича -вижу, узнаю, тот же!.. А здороваясь, не гляжу и не вижу его: раболепное служение застенчивости. Это бы перенести можно: Тургенев? Лаврецкий и Лиза! (Перенесла же она, в эпилоге, в монастыре - встречу!) О, круче! Непереносимость фальши, ненужность встречи! Отвращение (вся шерсть - дыбом) к любезности, нет, не то слово... к сострадательности, с которой встречает тебя когда-то любивший, тебя, постаревшую, с сыном, прошедшую годы нужды... Это желание - помочь! Накормить! То, что в другом месте тронуло бы, сгорело, тут... как в «Эрос и Психея» - тем канделябром сжечь этот сострадательный дом! Накормить! Тщета. Один раз накормить!!! Не спасая от голода - завтра! Пожалеть! Какая фальсификация чувства! Ту, которую когда-то любил!.. К горлу клубок - цветаевская гордыня... может быть, и бернацкая кровь - той, двадцатисемилетней бабушки?.. Каким-то лассо тоски нежданно обертывается час. И, может, ушла бы до чая, до накрытого нам стола, если б опять не застенчивость (несовпадение накала тайных чувств с нищетой какого-то «действия»).

Но другое зрелище заняло душу - в комнату вошел друг Нилендера - когда-то с Мариной его видели у Виноградовых... но ничего общего с тем обликом!

«Совсем другой человек! Даже ничего сходного!.. С серебряной головой (волосы Владимира Соловьева), с черносеребряной бородой Гаршина, с гаршинскими страдальческими глазами. Видение человеческой муки (умерла дочь, ушла жена) среди стесняющихся, рассуждающих, путающихся в себе - нас... И тогда,

обеда взглядом комнату, вдруг -облегчающий вздох! Окна, двери, стол, полки книг... Словно бы с потолка - свет или музыка? Все размыкается, легко и согласно, просто, и летучей мышью в угол - гордыня! Какой позор только что был во мне! Пылал пламенем... Дружеский хлеб, хлеб сочувствия и помощи, священный - хотеть его оттолкнуть!

Гляжу ясно на соловьевского друга, он уже стоит рядом. В последний раз мы виделись в 1912 году, девять лет назад, на вокзале, мой отъезд в Италию... Он, с гвоздиками мне, вскочив в поезд... два сердца рвались в тот час...

- Ася... - Смотрит проникновенно и просто, неисчерпаемым взглядом... Желтые глаза, те, треугольники бровей, резкая тень у щек... Нилендер!

Горькая ирония, с которой в тот вечер говорили они о Толе Виноградове, показывала, что его песенка среди друзей спета: он был мне рассказан, как отъявленный карьерист, большого самолюбия и душевного тщеславия человек. Уже дошла к ним весть о моем визите к нему, о сказанном им позднее: «Мне в библиотеке нужны не юбки, а штаны». Не помню - Соловьев или Нилендер - старались мне отсоветовать идти к нему, как собиралась, на службу. Но я хотела попытать судьбу. Моя прежняя «власть» над ним в долгие годы нежной нашей дружбы заявляла свои права. С трудом верилось, что Толя действительно откажет мне... в работе! Зная, что я - вдова, что у меня сын. И опять: отказать мне в настоящей беде неустройства после того, как папа много лет продвигал его, студента из бедной семьи!

...И в от ночь, и я пишу сказку. Что я помню о ней, одной из годами потом любимых моих сказок? Увы, ни фабулы, ни хотя бы всех действующих лиц.

...Старинная Германия. (В памяти жива только строчка: «В Гамбурге Людвиг сел на корабль».) Людвиг? Любовь к этому имени (мамин «Людвиг II Баварский»), В

сказке оно было дано персонажу романтическому – скрипачу, который сходил с ума. Его сестра, кроткая диккенсовская Ильзе, и злая колдуньеобразная бабушка, фрау Ленора, шьют на продажу кукол. Дошитые куклы оживают (я это знала по своим ночам с ними!). Глаз – второй, – переглянувшись с первым, зажег только что бывшую бессмертность того – смыслом, и уже не ком тряпок в руке, а существо... Немного жутко перед рассветом в зеленоватом предутреннем небе, с коптилкой. Москва просыпалась, над крышами шли дымки, подымаясь в розовые облака, и Москва-река плыла окской зарею... Но никто (уже раза три была на рынке) – хоть народ любовался моим искусством! (брали в руки, ахали, качали головами, щупали сияющие сказкой платица, камзолы, головные уборы) – никто не открывал кошелька. Чтоб эту сверкающую красу себе в дом – ни одной копейки! И я решила больше не шить кукол ночами и раздать Андрюше и Але к их дням рождения и к елке – всех моих волшебных детей: пары китайцев, принцев, принцесс, крестьянина и

крестьянку – шварцвальдцев, и мальчика с девочкой в старинных нарядах (не то Фрейбург, не то Невшатель, Тироль...) и пуститься в путь с Людвигом – скрипачом, мечтающим продать свое новое пальто, чтобы кинуться в воплощающуюся мечту – Италия и Никколо Поганина! О, он его непременно там встретит, хоть тот уж давно умер, хоть доктора всего мира сказали бы, что Людвиг сошел с ума...

Куклы были готовы. Старуха собиралась их нести на рынок, но корзина, в которую она, их собрав, положила, оказалась пуста! Узнав о своей судьбе быть проданными, куклы бежали...

Сказку пришлось прервать: до утра оставалось немного, а идти завтра не в чем, самодельные тряпичные туфли порвались в лоск, – надо было кончать начатые: уже скроен и сшит верх из двойной



коричневой тряпочки и у картонной толстой подошвы наращены - на нее пришиты шпагатом - в два ряда, чтобы выше подошвы были, - «каблуки». Веревочка, начатая в середине, обходит себя туго, кругами, глаз упоенно следит, через всю усталость, как плавно толстеет «каблук», и радостные руки спешат - игла, наперсток, суровые нитки - благообразить (первая уж к концу!) подошву - все лучше и лучше шью! К Маринину рождению преподнесу ей крепкие, новые туфли! Когда я закончила вторую подошву и пришила к обеим верх, было утро. По Москве-реке шли небывалые краски. «Жизнь трудна, но она прекрасна!» - сказала я себе. И от туфель тоже нельзя было оторвать глаз!

...Я уснула, ненадолго, а сказка во сне продолжалась, за куклами шла погоня... Площадь св. Марка и голуби. Так отчетливо... но скрипач превратился в Толю, мест в библиотеке не было, и там, где стоял только что лев на колонне, была комната красноармейского корпуса, и не злая, а добрая старуха читала, водя пальцем, какое-то незнакомое слово...

Когда я в тот день вошла во двор между военных корпусов и увидела моих старух-учениц, собравшихся вокруг стола с букварями, - это было что-то вроде главы гофмановской сказки - после такого же сна. «Как хорошо, что они это ощущают явью!» - подумала я...

Я шла на службу к Толе Виноградову узнать о приработке... Может быть, писать библиотечные карточки? Ветер

трепыхал летуче-мышьими крылами, а от них множились тени: я (заведя сына к Марининым друзьям Гольдманам) входила в бывшую Румянцевскую библиотеку. Та несомненность, которая есть торжество, глухо и немо очнулась во мне менее всего жданным сердцебиением: «Это все уже было когда-то, ты входила по этим ступеням...» - «Да! - отвечал скачущий ритм сердца, - к папе, лет четырнадцать, пятнадцать».

Справа узкое окно высоко в стене, внизу – явные признаки «гардероба», все – молниеносно, как боль в зубе или в виске. На языке психологии это, видимо, называется «Я узнала окно».

Я уже вверх по лестнице, широкой, знакомой, как солнечным лучом покрытой мимолетающей памятью о папе, о когда-то...

– Анатолий Корнелиевич здесь?

Нет ответа, ибо капельдинеры – в шеренгу: и мимо них начальственно пролетает Анатолий Корнелиевич. Директора ждет очередь, томимая ее медленным таянием... Наконец мой черед: жест руки с длинными ногтями приглашает войти.

Толя! Узнал меня? Скрылся в своем кабинете. Сейчас позовет? Готовлюсь. Но – нет. Нажимаю ручку двери, вхожу.

Свет, окно, книги, стол. Вполоборота ко мне статуя директорского достоинства. Взгляд мимо меня:

– Сожалею, что бессилён помочь вам в работе: штат полон по-прежнему. Ничего не сумею.

Молчание. Стою и молчу. Чуть дрогнувшим голосом – он:

– И мне кажется, работа библиотекаря вам вредна: у вас же сильная близорукость...

Усмехаюсь еле заметно: выдал себя, голубчик! вспомнил! узнал!..

– Ну, знаете ли... когда дело идет о зарплатке... (иронией дрогнула Маринина, моя бровь).

Кивнув, выхожу из директорского кабинета. Процессия людей и бумаг продолжается. Схожу с означенной лестницы – так сходил по такой же разгневанный юноша – Александр Мейн, мой дед, бросив швейцару золотой, подарок... сестры! Добро гляжу я на гардеробщиков. Есть среди них старики, помнящие моего отца.

И снова летняя ночь, не замечаю, что не ко двору льет в окно старинное июльское благоухание.

^ -...Скрипач Людвиг (пьяница? игрок? - позабыла) унес из дома пальто, продал, и горько плачет сестра его, кроткая Ильзе - «Бабушка! Такое новое еще! Такое хорошее! С таким бархатным воротником...» И уже заструились размышления задумчивого Фламинго, только вчера дошитого загадочной фрау Ленорой: перышки из лилового бархата, розового шелка, бисеринки (алмазы) - глаза, только ноги тонки, гнутся на слабой проволоке, от них по всему оперенью - Гамлетова печаль...

Вот тут, в тогдатошной сказке, было: «В Гамбурге Людвиг сел на корабль». Не зная, что плод мастерства его бабушки и сестры - куклы, в сумерках, в суете матросов и пассажиров проскользнули на корабль и плывут вместе с ним... А фламинго! Сколько мудрости он изрек во время начавшейся бури, смешавшей людей с куклами под свист тайфуна... Но и бури проходят, и на площади Марка в Венеции, меж голубей с кукол ростом, кормятся крошечками хлеба высадившиеся на берег куклы.

А над Лидо - лунная ночь!.. Мечется Людвиг со скрипкой, по стене - его тень... Он взмахнул смычком, его мечта превзошла себя: Он - Никколо Паганини!..

Я рассказала Марине о походе в Румянцевскую библиотеку.

- Наплевать на Толю - «Петухив»! Попрошу Петра Семеновича, он тебе достанет перевод, - больше будешь дома с Андрюшей. Подальше будет от беспризорников. У нас на лестнице - и у всех - ночевали. Зима придет, увидишь, все ступени сплошь в беспризорниках, еле пробиралась с Алей между ними. Для мальчика - большой соблазн. А свою службу - храни, ведь не каждый день... Аля, да неужели ты не

видишь, что перекипает фасоль? (Повышая голос)  
Тряпкой! Бери тряпку!

Жалобный голосок Али, повернувшей к печурке головку, нисколько не умилил Марину. Она раздражилась еще больше:

- Ненавижу эту неумелость, это презренное барство - не схватить, не сообразить... Сколько бьюсь с ней над этой ее медлительностью - робость? лень? - не пойму. При ее уме!.. Не моя, не наша порода! Держи. Ставь. Сережа умеет все!

Холодком прошло по мне слово - «умеет»: знаю ведь, она, говоря его, содрогнулась, настояв на нем, оттолкнув слово «умел»...

Спешу в школу грамоты, стараясь, чтобы усталые после дня труда пожилые ученицы мои не успели испытать искушения улизнуть домой, пользуясь темнотой огромного двора между красноармейских корпусов. И вдруг останавливаюсь на узком тротуаре Большой Никитской, и - точно ветром сметает мой день: мне навстречу, волшебным жестом приветствия раздвигая руки - узнала! - идет моя молодость, подруга 1910 года, Москвы довоенной, гимназической, мои шестнадцать лет, - Нина Мурзо! Мы стоим и жмем руки, и смотрим друг другу в глаза: ее, карие, длинные, с тяжелыми веками, мерцают тепло и влажно, и так же мал - меньше глаз - рот...

Но когда мои, не менее меня уставшие сподвижницы, пальцем водят по строке, силятся прочесть и запомнить, что эта вот буква - «ы», а та - такая похожая! - «мягкий знак», я вдруг взвиваюсь в некий талант объяснителя, жар колышет наше собрание, и на крыльях летит урок: оттого ли, что я хорошо пояснила, оттого ли, что меня ждет Нина Мурзо?

## **ГЛАВА 4. У РОДИТЕЛЕЙ ГАЛИ ДЬЯКОНОВОЙ. РАССКАЗ МАРИИ ИВАНОВНЫ. МАЙЯ КУДАШЕВА**

Память обрывается сразу. Ни переезда, ни того, как я оказалась на другой службе, – начинается другой сон.

Мы живем на седьмом этаже (будущего Дома ученых) в Трубниковском переулке, в бывшей квартире семьи Гали Дьяконовой (дружба в третьем и четвертом классах гимназии Потоцкой с 1907 – 1908 годов. Эта квартира их – с 1914 года). Она – теперь коммунальная, но родителям Гали удалось – он юрист – отстоять себе: отцу – его кабинет с колоннами, матери – одну из комнат по коридору и комнатку.

В разрухе еще только создаваемого нового быта полуголодной Москвы отопление не действовала, электричество не горело, сам Дмитрий Ильич и Антонина Петровна (давно уже не муж и жена, сохранившие друг к другу одну только иронию) жили лишь временами в Москве, часть же месяца – за городом, в некоем Марфино, где чем-то ведал ловкий в делах отец Гали. Мать тоже работала там. Как им удалось сохранить за собой ту комнатку, давшую нам приют? Только право их на нее было явное, иначе жильцы не потерпели бы меня с мальчиком и минуты.

к

Лида же, младшая сестра Гали, расцветшая в настоящую красавицу, была замужем за актером МХАТа, пожилым красавцем А. А. Гейротом, и жила у него.

Мы живем в крошечной кухонной комнатке; на столе стоит железная печурка, за дверью – кровать, направо,

за печкой, -окно. Оно безнадежно сломано, заклеено, где нет стекол -бумагой, картоном, и хоть заботливо затянуто тряпками и замазано старой замазкой, от него дует, и Андрюша, жестоко простудившийся, кашляет день и ночь. У него жар. Я ставлю ему горчичники - круговые, и он терпит, потому что слезлив только по пустякам; в беде - мужествен; и ему уже девять лет. Он лежит и вырезает ножом из дерева очертания фламинго, точь-в-точь как на деревянной игрушке, кем-то ему принесенной в 7-м Ростовском.

Нас навещает Антонина Петровна, мать Гали, постаревшая и худая, приносит Андрюше немножко хлеба, репку или моркови. Она рассказывает мне о Гале, ее муже, их вилле в Париже, об их дочке Сесиль (ей шесть лет) - темноглазая, круглолицая, с огромным бантом в темных волосах, с огромным мячиком или с гигантским плюшевым медведем; от фотографии веет щегольским фотоаппаратом.

Пока нет больших морозов, Антонина Петровна ночует в своей нетопленной комнате, предупредив, что когда зимой приезжает в Москву, то спит в нашей комнате, в которой есть печка; в эти ночи мне придется уходить спать в ее комнату.

Из Феодосии приехала наконец Мария Ивановна! Она ютится где-то у сестры, иногда у тетки, везде мешает с трехлетним ребенком. Потеряв весь свой гардероб актрисы (его украли три года назад на пересадке, - в чемодане оказались кирпичи и солома), она с трудом устраивается на работу в театр, ходит встревоженная, угнетенная бессильем спокойно устроить ребенка у неприветливых родных. В театрах новые люди, уже не помнят ее, так шедшую в гору, игравшую с Мозжухиным и Лысенко... Ребенок связал руки, девочка капризна, трудна, мало привязана к матери, которая обожает ее.

С Марией Ивановной приехали Майя и чета Благих -литератор Дмитрий Дмитриевич и его жена Софья Рафаиловна, детский доктор, знакомые мои по Феодосии; и поэт

Эмиль Миндлин. Он быстро и легко заинтересовал стихами Марину, и так как он был бездомным и я ее о нем просила, она приняла его в своем хаотическом жилье.

Мы втроем – Марина, Мария Ивановна и я.

– Маруся, я все слушаю – и не верю, что Бориса – нет... -сказала Марина. – О всех мытарствах ваших после Бориса слушаю, а сквозь ваш рассказ – чувство: Борис жив! Вот откроется дверь – и войдет. Я бы совсем не удивилась... Мне кажется, я никогда не поверю в его смерть!

– Ася, – сказала Мария Ивановна, – знаешь, отец Иоанн умер от сыпного тифа! Удивительно: и врач, побоявшийся заразиться, и священник – умерли от той же болезни, которой испугались в больном! В Старом Крыму только они умерли после Бориса...

– Поразительно, – сказала Марина.

Помолчали.

– Вот что я еще хотела рассказать вам, Марина, – говорит Мария Ивановна, – как Сережа гостил у Айвазовской в имении. Ходил по саду, огромному – фруктовые рощи, большой дом, старинный, и он стал мечтать: «Если бы я мог привезти сюда Марину и ходить с ней по этому саду, все ей показывать, а потом спокойно сказать ей: «И вот это, Мариночка, все – ваше...»

Как раненый зверь, вскочила Марина, не сдержав волнения, – и я не знаю, чтобы она сделала, но Мария Ивановна вскричала со страшной уверенностью:

– Марина! Я бы голову дала отсечь, что Сережа – жив!

И вы встретитесь... Дала бы отсечь – без раздумья!

И Марина благодарно, шутливо:

- Вот эту вашу каштановую, чудную голову... Ну, и чем же все ваши мытарства кончились?

- Я переехала в Феодосию. Вскоре пришли красные. Меня взяли в театр, который начал организовываться при Наробразе. Ох, вот что я еще должна непременно вам рассказать, - говорит она вдруг увлеченно, присаживаясь ближе; глаза ее светлы под тонкими полукругами бровей, и взгляд их остер, и немножко смеха - предчувствия смеха в уголках глаз и у губ, - о моей встрече с Майей у моря. Хотите?

- Еще бы! - всплеснулся Маринин голос, - я так люблю Майю...

- Кончился у меня спектакль, а я после каждого спектакля так соскучусь об Ирусеньке - вечный страх, будто что-то случилось, - она же одна оставалась с глухими старухами (вдовой и дочерью художника Фесслера, ученика Айвазовского); заплачет Ируся - они не услышат! Рвусь домой! Но меня остановила толпа матросов, человек шесть-семь. Слышу

- кому-то назад: «Которая лучше? Эта? Вы! Айда, гражданка, с нами! Играть в наш клуб!» Не слушают, окружили, увлекают меня к тачанке. Пара коней, усадили -и вихрем! В Сарыголь. Версты три. Ввели, усадили в зал: «Подождите, сейчас мы выступлять будем, потом вы!»

«Да где же, - говорю, - пьеса? Скетч, что ли? Ознакомьтесь! Суфлер есть? Будка суфлерская где же? Под суфлера ведь придется играть?!»

Не понимают.

«Ну, пьесу несите!»

«А никакой пьесы! Что хотите - играйте, какую-нибудь роль - знаете? Вы - актриса...»

И вот я сижу целый час, а они выступают. До хрипоты! Ночь... Что с Ирусей? Наконец идут.

«Ну, твоя очередь!»



Полный зал. Матросы и женщины. Шум... Что же мне делать? Такого еще со мной не бывало! Был у них граммофон

- завели его, вышла на сцену, стала частушки петь. Гогот, аплодисменты... Потом стала плясать.

Русскую! Ну, тут такое поднялось в зале, а у меня всего с собой что шалька была на голову, цветная. В неподходящем платье. Но как выхватила белый платочек, пошла - точно весь зал загорелся! И ведь вот, Марина, удивительно: только унывала - откуда что взялось? Никогда, кажется, так не плясала - русская стихия, своя! Ведь свои парнишки -матросы...

Ну, уж успех был! Кричат «бис»... а у меня уже сил нет! Вытолкнули ко мне «актера». Генералом одет. Сидит и молчит. Я подошла, стала играть его кухарку. «Ах, красавчик ты мой!» Чмок его в щеку (отдышалась) - и снова пляшу!

Тут Марина стала так смеяться, что пришлось прервать. Сперва только я вторила, а потом как подкошенная рухнула и Мария Ивановна в наш смех. В какой-то костер смеха! Из него выбираясь, вцеплялся в рассказ голос:

- А потом фук - свет погас! И все разбежались... Шум, топот, крик - и все стихло! А я одна шарю по стенке, где дверь. Куда выйти? И такая меня досада взяла, такая обида -все про меня забыли, а я голодная, усталая, верстах в четырех от дома! И ребенок один... Ползла, ползала по стенам в темноте, наконец вышла наружу. Мрак. Дороги не знаю. Но шум моря, какой-то блеск... На них и пошла. Пойду, думаю, морем, по извилинам берега, - хоть и дальше, но все же дойду! Волны брызжут, усталость, еле переставляю ноги. Вдруг - свистки. Голос: «Стой! Куда идешь? Откуда?» Говорю. Не слушает. «Иди за мной! Проверять личность». Ведет. Солдат за столом сидит. Объясняю:

«Матросы меня увезли, я в их клубе играла, видите, морда в гриме?»

«Не знаю, играли вы или нет, утром выясним!»

Кричу:

«Да у меня ребенок один. Гасилку заденет – сгорит... Вы отвечать будете! Не держите – все равно убегу', всю улицу подыму криком!»

Грим показываю. Ну, отпустил. Иду дальше. Из-за туч луна поднялась. Феодосия. Забрезжилось... Снова свист, окрик: «Кто и куда? До утра задержать!» Сидит брюнет с усиками. На все, что я говорю, он мне:

«Гражданка, вы мне мешаете».

Но я не смолкала:

«Вам хорошо, мужчинам, поработали, покушали – и гулять пошли! А я вот ребенка родила и с ним мучаюсь!»

«Гражданка, вы мне мешаете!»

«И буду мешать! Ребенка вы не рожали, не знаете, что это, а я...»

«Гражданка, вы мне мешаете! – И вдруг как закричит: -Вывести ее вон! Пусть идет!..»

И я побежала. Бегу и реву, а впереди – тоненькая фигурка, ближе – Господи! Неужели – Майя? Нет, не она...

Иду, вся в слезах, до того усталая, и такая тоска по Ирусе, такое отвращение к морю – шипит рядом о камешки; к этой ночи – и вдруг Майин голос:

«Маруся! Ты? Ты откуда? Как чудно, правда? Луна! Море! Ночь... Ты откуда идешь?»

«Матросы увезли с Сарыголь...»

Она восхищенно:

«А я каждую ночь так возвращаюсь. Начальнику уроки французского – он только в двенадцать освобождается... Правда, чудно?..» (И мне так стыдно стало за себя, ноющую рядом с ней. И так весело вдруг!..)

«А почему же ты, Майя, босая?»

«Там ручьи. Разуешься – и опять ручей. Я и пошла так...»

– Узнаю Майину авантюристическую породу, – сказала нежно Марина.

И долго, долго мы говорили с Мариной в тот вечер.

Марина часто приходила ко мне. Парадный вход, как во многих домах в те годы, был забит, ходили по черным ходам – семь этажей вверх. Помню один ее приход ко мне – как встарь, на часы, с долгим разговором о самом главном – о нашем коренном несходстве с детьми нашими, горечь двух поколений. Как ни блестящи были ум Али, ее чувство слова, ее талантливость, ее яркая несравнимость с другими детьми, но в ее реакции на все бытовое так несходна была она с пылкой, суровой, быстрой, как огонь, матерью, так медленна, вяла, раздражение матери перерастало уже в иное – в осуждение, оттолкновение, выражаемые, как и у меня с Андрюшей, в словах жестких, резких, уничтожающих. Это было непедagogично, не похоже на разговор с ребенком, и уж не воспитание тут шло, а бой с противоположным началом, чем в нас, неутомимых, – с ленью, береженьем себя, с взваливанием на другого – с самым презренным в мире и самым враждебным нам. Андрюша был только ленив, но добр, и эгоистом он не был.

Что чувствовали наши дети, все это о себе слыша, под наш горький о них суд? Может быть, ничего вовсе не слушая, отвлекаясь, болтая друг с другом о чепухе, заливаясь смехом...

А над всей этой неглавной Мариной болью безмолвно пылала главная – отсутствие Сережи, неизвестность о нем, ужас допустить, что его уже...

Марина и Аля уходят. Марина стоит на Пороге кухни, мы говорим почти в темноте. Она вышла на площадку, я за ней, Андрюша остался внутри, ждет

горчичников, Аля в теплом пальто, из которого выросла, стоит рядом с Мариной. Договаривая последнее, вся – отрыв, вся – прочь, с к рылами стихов за плечами, не видимыми тем, кто кругом, она поворачивается внезапно – назад, вниз, вокруг, сурово и властно. Миг осознания спешки, позднего часа, холода;

крепче, привычной рукой, Алин башлык вокруг шеи – прощальные слова мне. Рукопожатие. Их drobный шаг вниз, с семи этажей, в подвал, еле светящийся. И моя голова, как нагнутое веткой яблоко, прижатая к перилам, стремящаяся вслед.

Отчетливо помню страшные ночи, когда, приехав, Антонина Петровна шла ночевать к Андрюше, где, дымя, тлела печка. А я шла ночевать в ее нетопленную комнату, от которой она мне давала ключ. Он щелкал – и я входила в мученье! Воздух был густ от холода. Все в нем застывшие предметы – кровать с когда-то красивым дорогим изголовьем, дышащая морозом, беспощадно блестя металлом; стол, заваленный неразобранностью давнего некогда; предметы различного обихода, сваленные между стульев, шкафов, у стен, – все плавало во льду беспощадной несогреваемости. Вещи принимали меня в себя – до утра. Я должна была медленно превращаться в них, стать насквозь холодной, воплотив в себя дух комнаты – неутешность. Я ложилась одетая, в валенках на кровать, покрывалась своей черной, когда-то папой подаренной плюшевой шубой, на которой уже не было лица. Ноги в огромных сбитых валенках еще были немного теплые, но они уже переставали жить – и час за часом, через почти лесное замерзание, делались неподвижны, как чурки, холодея, казалось, кору валенок. И тогда они начинали ныть, как зубы. Я садилась, снимала валенки и растирала ноги по очереди, засовывая растертую назад в ее заскорузлый футляр, пока не задышалась от напряжения. Это продвигало время, ночь укорачивалась с точной

медленностью часовой стрелки. Но это была воображаемая стрелка, у меня не было часов. Иногда я грызла корку, это утешало своей «домашностью» в страшном чужом мире холода. Иногда я забывалась: сон борол холод. С верха шкафа в комнату на меня смотрел ледяной в чугуне, черный бюст Данте. И было в нем что-то сходное с «Вороном», «Never toge» («Никогда более») Эдгара По.

Утром, накормив Андрюшу и блаженно согревшись у печки, что-то поев, я шла на свою новую работу. Я забыла переулочек в центре Москвы, где был Москустпром. Попав туда по протекции человека, помнившего умершего мужа моего, Маврикия Александровича, я занималась какими-то проверочными подсчетами в калькуляционном бюро. Им ведала

. К

женщина в английской кофточке и в пенсне, презиравшая меня и «тонко» скрывавшая это из-за своей подчиненности нашему начальнику – моему покровителю. В плату мы получали паек нержавеющей селедок, мешочки крупы и фунтики давно забытого сахара, хлеб и еще какие-то неожиданные артикулы полузабытой еды, и мы жадно их уносили. Все это (а главное, мое мучение – калькуляции) было так похоже на сон, что недолго оставалось явью: я стала писать сказку обо всем этом (сказка – «Сон»...). И тогда мне стало легко жить. В сказке я была не я, а пятнадцатилетняя девочка, а мой начальник был почти такой, как в яви: маленький, плотный, воплощение энергии (в сказке же – всемогущества), круглолицый, глаза навыкате, шаг пружинный и легкий, почти беззвучный, сапожки черно блестя – было что-то неуловимо-автомобильное во всем этом, и не скоро сказалось, но оказалось, что он – король жуков, автомобильный король, американский король. Единственно, что в сказку вплыло совсем такое, как в

яви, – это была женщина-калькулятор; ее нельзя было ни выдумать, ни преувеличить, так преувеличена и выдумана она была. И еще – действующие лица – были снежинки, верней, буран, заметавший Москву в часы, когда, сжав под мышкой кусок хлеба и селедку, служащие спешили домой по Никольской и исчезали во мгле. А потом, – как автомобильный рожок, был вызов всех служащих в стеклянное бюро начальника (всех, кроме девочки. Она сидела одна с калькуляциями). Экстренно обсуждалось, кого – сократить, – пришло «сокращение». Что было за стеклом – неизвестно. Но девочка, что-то быстро, тайно вписывавшая в тетрадь, спрятанную под калькуляциями, записала (девочка в сказке тоже писала сказку), что король жуков хлопнул! рукой по столу и, оспариваемый всеми (особенно женщиной-калькулятором), о выдвинутой кандидатуре на сокращение – крикнул: «Девочка – останется!»

«И там, где ладонь коснулась, гневно, картона, блеснула зелень сукна». А когда на другой день стали выдавать... макароны! – начальник вдруг с порога крикнул девочке: «У вас есть тара? Вам дадут макароны!» – и исчез. Это были годы, когда Грин писал свой бредовый рассказ о Торговых рядах и о крысах, – было сказочное в нашей стране.

– Знаешь, – сказала я Марине, – все же есть надежда на то, что вещи, оставленные в Александрове, – сохранились. Там же много вещей маминых – и книги, но нет сил (времени нет!) выхлопотать пропуск...

– А ты напиши туда, ведь хозяева дома, где вы жили, – старики честные... Хоть узнаешь, как и что, – может, весной съездишь с кем-нибудь, – сказала Марина.

Я так и сделала. Каково же было Марино и мое изумление, когда в ответ пришло с нашей милой Староконюшенной улицы письмо Лебедевых, перепуганное и взволнованное: «О каких же вещах Вы

пишите, Анастасия Ивановна, когда Ваша сестра Марина Ивановна написала нам, что Вы назад не приедете, потому что убиты горем, и что все Ваши вещи просите передать Наде, Надежде Борисовой, вашей бывшей няне, нам известной. Она и приехала с этим письмом, с отцом своим из уезда, и мы им все отдали, по распоряжению Вашему и Марины Ивановны, и она тогда же с отцом все от нас увезла...» Вдвоем, Марина и я, над этим письмом сперва возмущались подлостью Нади, потом огорчились тем, что все мамино пропало и вот тут, на складе Ступина, куда я поставила почти все из трехкомнатной квартиры на Верхней Прудовой, уезжая к Маврикию в Александров. А потом махнули рукой и смеялись, как ловко Надя обошла Лебедевых, какая же она оказалась! после стольких лет преданности... Какая странная вещь – жизнь!..

– Воровала у меня только твои фотографии, – сказала Марина, – и так вспоминала Алешу, и Ирину мою любила, жалела, возила в деревню два раза, откармливала... Ничего, Ася... проживем, – я уверена, тебе выхлопочут академический паек... вот увидишь!

Сказка длилась. Но девочка в сказке не знала, почему ей покровительствует король американский. А я знала причину такого надо мной покровительства моего начальника: зная моего мужа, услышав о его смерти и о смерти сына его и что я в нужде со старшим сыном, он считал своим долгом поддержать меня. Он ни разу не заговорил со мной о Маврикии, ни о чем интимном; держался совсем официально. Но я чувствовала его руку над собой прочно и радовалась. Такой занятой, четкий, краткий в распоряжениях, до мозга костей деловой, старается помочь мне, своему антиподу! -сказка рождалась из повседневности моей службы совсем

органично, с неизбежностью геометрических чертежей. Он был воплощением НОТа (научной

организации труда); его жесты, неожиданные появления, целесообразность всего, что он делал, сухая элегантность одежды – френч, галифе, щегольство сапожков. А в глазах – крупных, навывкате, была грусть, и она пылала с такой же равно силой, с какой он, от нее на ходу отворачиваясь, старался ее скрыть. Он входил – и сказка входила с ним; она была его тень. Удивительно ли, что она ложилась в тетрадь упоительными страницами?

Я была просто счастлива те месяцы, что прослужила под этим крылом, лицезрела его – в почтительном умилении, огорчаясь только тем, что ничем и никогда не смогу ему оказаться полезной, ему помочь!

Мария Ивановна поведала мне новое материальное горе, горе, коснувшееся и меня: перед отъездом из Москвы Борис, не зная, куда деть вещи их бывшей квартиры (Ирины Евгеньевны), обстановку многих комнат (братья сказали – «девай куда хочешь», сестры Маруси не было в Москве – она жила в Новохоперске в незаконном браке с тем соседом по Ярцевке, который ей летом 1913 года так сразу понравился в наш визит к нему и его жене – в тот летний вечер, когда мы ехали с ним на шарабанчике...), в спешке отъезда с Марией Ивановной и труппой театра, где она служила, Борис поставил все эти вещи к знакомым, предложившим ему бесплатно (оплачивать их хранение на складе он не мог) – большую залу свою. Туда была втиснута вся мебель семикомнатной квартиры на Малой Грузинской: пианино и сундуки Ирины Евгеньевны, полные драгоценных вещей. И вот теперь, когда Мария Ивановна пришла к этим людям, – «понимаешь, какими же негодьями они оказались? Сказали:

«У нас все забрало ГПУ: ничего нет!» И я было поверила, а когда уходила, на черную лестницу выбежала соседка и говорит: «Меня не выдавайте, но врут они, знаю, что они; вам сказали, врут, ГПУ у них



ничего не забрало, они все эти годы жили на ваши вещи, только на днях выносили вот тут ваше пианино!»

- Милый Борис, чистый, отрешенный, - говорила Мару-ся, - как он им верил! Я шла с лестницы, и ноги подкашивались - уж не знаю, оттого ли вдруг ослабела, что не ела давно, или от горя за Борю - что и после смерти

люди с ним расправляются, его детей обездолили, детей Дон-Кихота Ламанчского...

В сказке девочка вошла в бюро короля жуков: «Это правда, что сокращение меня миновало? Она так сердится, кричит, что я ей не нужна...» Король жуков поднял на нее круглые жукиные глаза. Они горели, как фары: «Вы остаетесь». И снял телефонную трубку.

В том, что зовется явь, было так: я вошла (в первый раз) в стеклянные створки круглого сооружения - «точно крылья жука...» - кабинет начальника. Он встал мне навстречу. Его глаза были впервые теплы, как он ни старался быть холодным. Он протянул мне тетрадку.

- Я прочел вашу сказку. Спасибо. Это хорошая сказка. В ней - правда. И наша жизнь действительно - сказочна... Наша страна - авангард человечества...

Я отважилась:

- Простите, вопрос: в деле о сокращении я близка или далека от истины?

- Вы угадали довольно точно. Разговор был очень близок к тому.

Зазвенел телефон. Он снял трубку. Я вышла из кабинета.

## **ГЛАВА 5. НА НОВОМ МЕСТЕ. ВЕСТЬ О СЕРЕЖЕ. ГЛАВКУСТПРОМ. В. ВЕРЕСАЕВ. СЕРЕЖА СОКОЛОВ. ПЕЧЬ**

А Гераклитова река течет, и мы уже не живем в Трубниковском, в кухонной комнатке, а волей судьбы и вниманием брата Андрея переехали в квартиру его знакомых в Мерзляковский переулок. В этот переулок Муся (Марина) ездила в детстве с мамой в музыкальную школу Валентины Юрьевны Зограф-Плаксиной.

Приятель брата Андрея, адвокат (член коллегии защитников), занимается вечерами живописью. Он – поляк, его зовут Казимир Антонович Томашевский. Этот гордый пан -худой, горбоносый, светловолосый когда-то, теперь – посеревший, полон чувства собственного достоинства, подозрительности к другим, юмора по отношению к повседневности, женат на правнучке Рылеева, жгучей брюнетке цыганского типа с раскатистым «р», в первый же день наш у них кричавший на мужа: «Богды-хан! Отдыха-а-а-ет!», но это

был только нрав – шумный; мужа она любила и берегла и жизнь их была колоритна.

На новый 1992 год я купила Андрюше на рынке фунт черного хлеба – в его полное праздничное владение, нарезала его кусочками, положила на тарелку, а соседи (третья семя в нашей четырехкомнатной квартире – Абрам Львович Цыпкин и его жена) дали Андрюше на блюде сахарного песка, и он, жмурясь, как кот, от блаженства, поглощал медленно, чтобы растянуть

наподольше, кусочки темного, как шоколад, хлеба, обваленные в серебристом сладком лакомстве.

Грянул удар грома! Счастье и горе сразу. Марина получила от Эренбурга из-за границы весть: Сережа жив! Кончает университет в Праге... Она прилетела ко мне на крыльях!

- Ася! - сказала она, сияя. - Я уеду к нему! Я уверена, меня выпустят! У меня есть знакомства: Каган, та издательница, кое-кто из писателей... Дадут поручительство, я продам все, что есть, на дорогу! К нему! Ася! Ты подумай - он жив!

- Марина! Как я счастлива за тебя! И за него! Какая с плеч ноша! А ведь я от тебя скрывала - теперь я могу сказать: был слух, что в Джанкое расстрелян некий Эфрон

- Сережа или другой, Петр, однофамилец. Тот - тоже говорили - красавец (хоть, конечно, не такой, как Сережа...). Кто расстрелян - тоже было неясно, потому что там многие были. Анархисты? Красные? Зеленые? Махновцы? Никто ничего не знал...

- Спасибо, что не сказала!

И в празднике нашей радости только одно не было вспомнено: я, остающаяся. Вновь без Марины! Без Маврикия, без Бориса - и без нее...

- Продвину сразу все, что пишу, и будет к весне четыре книги: два сборника лирики, «Царь-Девушка» и «Конец Казановы»! Лозэн сейчас не пойдет...

...Одновременно сломалась моя работа: что-то слилось, разлилось, и я была передана из Москустпрома в Главкуст-пром, где мой начальник уже не смог меня сберечь, надо мной был совсем другой человек: Ной Ноевич.

Я теперь сидела в большой комнате среди других служащих и уже разбиралась в дебрях входящих и исходящих бумаг. Я и сейчас не совсем понимаю, что это было, собственно, за учреждение: называлось

Главкустпром, но почему-то моя там работа относилась к «Компомголу» (Комиссия помощи голодающим). Проходя мимо нас и давая распоряжения, начальник наш пользовался уважением и авторитетом. Ко мне он относился, думаю, вопросительно, то есть не понимал, что я такое в этой смеси кротости и дерзких ответов, нетребовательности и надменности? Но боюсь, что это уже колдовала надо мной моя «дочка» из сказки «Сон»: лучи ее юности, путаности и внезапных, еще полудетских выходов побуждали мою усталость, недосыпание – к чему-то фантастическому в поведении.

Мой шеф передавал мне срочные бумаги, и я мчалась с ними к кому-то на подпись, мне выписывалась путевка в Кремль (комиссия, где я работала, числилась при ВЦИКе), и я ехала с пакетом вниз по Тверской – ныне Горького, к месту, где в детстве моем стояла Иверская часовня. Странно, что я ехала, помнится, не на автомобиле, коих уже была полная деловая Москва, а в коляске, в которую была запряжена лошадь. И была эта лошадь темнее гнедой, и я ужасно ей радовалась, но была ли у меня корка хлеба, чтобы и она мне порадовалась, – не знаю. И мы ехали с ней в Кремль. Тишина площади и строгость зданий, в двери которых входили люди с портфелями. Я вспомнила детство и нас с папой перед Царь-колоколом и Царь-пушкой. Я входила по точному адресу, передавала пакет и ехала назад в Главкустпром. На обед я пекла в железной печке картошку в моем судакском коричневом солдатском котелке и ела ее без хлеба, с одной солью, от усталости и от спешки не снимая с нее шкурки, – горячее, соленое, насыщавшее, – это было все, что нужно.

Ко мне постучался Абрам Львович, сосед, высокий, круглолицый, добродушный, несмотря на деловитость: смущенно, но настойчиво:

- Анастасия Ивановна, от вас ко мне мышь перебежала. Может быть, у вас продукты как-нибудь в незакрытом виде хранятся? Знаете, неудобно... Жена моя... - Продукты? - отвечаю я беспечно в несколько залихва-стом тоне, весело смотря в глаза Абраму Львовичу. - А у меня нет продуктов! Чисто!

Сосед с минуту смотрит на меня, потом уже неуверенно, для очистки совести перед женой:

- Но мышь бежала из-под вашей двери...

- Так она оттого и бежала, что там ничего не нашла! Она к вам бежала, домой! Это ваша мышь, Абрам Львович!

Он улыбается, я улыбаюсь тоже, и мы расходимся по своим углам.

В начале нэпа, после «Компомгола», я переводила с немецкого «От рабочего к астроному» Бруно Бюргеля, и в ожидании гонорара в течение семи месяцев мы с Андрюшей жили без хлеба, с одной сушеной картошкой. Узнав об этом, отец Гали Дьяконовой несколько раз привозил настоящую картошку и в придачу - морковь и свеклу по несколько килограммов. Какой это бы праздник!

Марина, приходя ко мне, теперь приносила кусочки хлеба и часто рассказывала о самогонщиках, занявших верх ее бывшей квартиры, о их ненависти к ней, не пускающей их еще более распространиться... держащей всегда свои комнаты на замке. Домоуправление точило зубы на смелую, надменную жиличку, имевшую охраной Всероссийский Союз писателей, бывший домоуправлению - не по зубам.

Дверь отворяется - и входят Марина и Ланн. Андрюша не видел Ланна более двух лет, с осенних ветров Коктебеля. Тогда его черные волосы были - короткие крылья, теперь это кудри до плеч. И мой девятилетний сын, отступя, как того требует минута,

театральная до мозга костей, -восхищенно и созерцательно, как его отец:

- «Искуситель!»

И я, восхищенно смеясь:

- Сын Бориса встречает Ланна! (широкий сопровождающий жест).

И так как тот, хоть палата ума - и где же такие палаты? -все же поднял брови в недоумении - пантомима! Марина -поясняяще:

- Это он из «Принцессы Брамбиллы» в Камерном! - И, отступив на шаг, мне - мимо Андрюши и Ланна: - А знаешь, ведь действительно похож!.. Спектакль - гордость Москвы.

Этот вечер в моем новом жилье - в памяти, как пушкинское перо (крыло!) из «Пира во время чумы». Как паганиниевский этюд из моего сумасшедшего Скрипача. Стихи - Нежность - Дружба - Вдохновение - Воспоминания - пламень и гул печки - и снова стихи... Это был Вечер в Плаще.

Узнав, что я живу на одном служебной пайке и помощью Марины, не получаю еще академического пайка, что еще только начаты обо мне Гершензоном и Каганом хлопоты перед Секцией научных работников, Викентий Викентьевич Вересаев вдруг принес мне львиную долю своего академического пайка. Он втащил ее на четвертый этаж, сам уже пожилой и слабый, и смущенно, добро тыкал мне в руки что-то большое в бумаге и кусок мешковины, из него -баранью кость с длинным скосом сырого мяса, и мы долго держали под чем-то руки, на которые тонко сыпалась из прорвавшейся газеты крупа.

Вересаев торопился:

- Спешу очень... Поздно... Заходите, договорим о моих воспоминаниях детства, и жена будет рада...

Сходил медленно полутемной лестницей, глуше и глуше шагая, пока не стукнула внизу дверь. А я все

стояла и плакала, облокотясь о перила, каясь, что мало, недостаточно поблагодарила... Ведь у себя отнял, у своих!

И потом – бурно назад, где уже из темного узкого коридорчика сияло, что-то почуяв, оживленное Андриюшино личико – мне навстречу.

...Поздно кончился в тот вечер пир над раскаленной от варки и жаренья печкой, железной, и грел сердце морозный пакет между рам окна – отложенное на завтра Марине. Вересаева я знала по Коктебелю, но знала не близко. Для тех дней (может быть, еще до начала нэпа) – это был редкий поступок!

Приехавший из Крыма Сережа Соколов неотказно помогал мне: пилил дрова, колол, не давал мне тащить их наверх; мастерил игрушечные «канделябры» из крох – жестянок, где горело до семи керосиновых фитилей в трубочках (фитили выдвигались!). Он помог воплощать начало огромного задуманного дела – постановки кирпичной, вместо железной, печки: тащил со мной со Смоленской аршины железных труб другого диаметра (чтобы не дымила печь!), помог «загнать» мои узкие трубы, когда мы их сняли. Успевал забежать к Марине помочь с дровами – и, всегда веселый, с неистощимым юмором, смеялся, закинув маленькую голову на высокой шее, высокий, сильный.

Зачем-то снова оказался в Феодосии Миндлин. Вещи мои, оставшиеся в Феодосии у друзей, Сережа хотел взять, но те не дали: «Возьмет Миндлин, ему поручила Марина». Но ведь он ничего не привез, пожалел свои руки... Сережа Соколов огорчился: «Если б я знал, вырвал у него все ваше, и оно было бы здесь...»

Сережа устроился в крошечной комнатке в Столовом переулке. Притащил мне почти все кирпичи, нужные для печки, потом был вызван на снеговую повинность домоуправом, простудился и слег. Как он горевал, что не успел мне поднять на четвертый этаж

кирпичи! Умолял меня подождать до завтра, сложить их во дворе за угол дома, покрыть старым мешком – а завтра он встанет и мне их внесет!

Разве такие юноши не искупали трудности эпохи? А сколько их было, таких! В той голодной, героической Москве!

Я его успокоила, обещала, дала лекарство и через полчаса начала таскать кирпичи – сколько могла поднять в мешке -вверх по черновой лестнице. Как могла я рискнуть такой драгоценностью и его трудом, на плечах доставившим их издалека во двор... Тяжелы кирпичи! Но когда их несешь для печки... и несешь, чтобы не нес больной... Сколько раз я взошла? Сколько крику я вынесла от «хозяев», что сорю из мешка, разношу грязь!

– Вы как раковая зараза распространяетесь по квартире... – ядовито повторяя раз найденное определение, заявлял Казимир Антонович, и, как на суде – шаг назад, руку к сердцу, и тотчас же перед залой, загибая первый палец: -Сперва – галоши в проходной комнате, затем (загибая второй палец) – из подвешенных банок вам льет «нефтя» на голову с труб. Теперь кирпичная пыль разносится вами по дому! Спрашивается, когда это кончится? Что еще ожидает живущих с вами?

Но я чувствовала, что это больше красноречие адвоката. Что внутренне он куда мягче своих слов...

– Тося, иди ужинать! Сколько я буду ждать?! – звала жена.

Я летела за последней ношей.

Печная эпопея продолжалась. Я нашла печника. Он жил близ моей бывшей военной службы во дворе, в подвале, -большой и странный человек, со своей речью, своими мнениями и особенной своей судьбой; он жил один с шестилетней дочкой (жена умерла? ушла?), и это хозяйство с шестилетней хозяйкой и уходившим на



работу хозяином хватало меня за сердце каждый раз, как я приходила туда. А я ходила несколько раз в надежде, что хозяин – а его все на было – или ушел, скоро придет, или – не возвращался, и я – на часы и часы, бросив Андрюшу и свой «дом», жила с девочкой в чужом доме, ожидая единственного печника, согласившегося поставить – задешево – мне печку. И печь эта благодаря трудности все для нее добыть – дверку, колосники, плиту с кружками и, наконец, – слово, от которого захолонуло в груди, – «духовка», – росла во мне – в Сказку! Это слово «духовка» вымолвил в какой-то счастливый час встречи печник (дочка, успокоясь, что отец, где-то поев, пришел, стала сразу ребенком и, поев с блюдца каши, села рисовать, свесив с плеча косичку и высунув от усердия язычок).

И когда наконец еще через много дней и духовка была добыта (у жестянщика после жестяной эпопеи!), настал, день, торжественный, как – почти – день рождения, когда отец девочки вечером, после работы, наказав дочке спать, ушел ко мне и всю ночь клал печку – и кончил ее класть почти к утру... Эта ночь была – опьянение! Казалось, что дружба наша над кирпичами, чугуном и железом – дружба на всю жизнь... Как рассказать его жалость ко мне и мою – к нему, эту ночь над растущим детищем? Андрюша, усталый от восторга и лицезрения, уснул, и пришло еще много часов печникова труда и моего прислуживания, и в захолодавшей комнате (уже два дня, как старая была вынесена, трубы сняты), в глиной пахнущем сооружении, как на таинственном жертвеннике, запылал огонь... Он пылал и шумел, утихал, накалял печь и трубы. Андрюша спал, блаженно раскинувшись, печник собрал свой мешок с молотком, дощечкой, которой он штукатурил, и еще чем-то, и, остановясь у порога, любуясь:

– Дым-то не идет? Ты боялась...

И мы двое, по коридору, от труб (без банок для «нефты»!) вверху протекшему, крадемся, как воры, чтобы не разбудить спящих, он – идти, я – закрывать за ним дверь.

Лепешки из отрубей пеклись в духовке, волшебной, на другой же день, а после них в ней же сушилась обувь -валенки, поочередно. И однажды я не туда (там еще что-то сохло), а в топленную печь, в глубину, где уже можно держать руку, засунула Андрюшины мокрые (таяло!) башмаки. Он болел, и их не надел бы наутро. А вечером что-то мне упорно мешало класть дрова, но я запихала дрова чуть косо, зажгла – почему пошел дым? Чем-то пахло, но вскоре стихло, а когда я открыла задний кружок, я замерла в отчаянии: там стояли золотые, раскаленные башмаки, миг -и рухнули в пепел...

Так пришла в нашу бедность – беда... Башмаки эти единственные, а купить их было нельзя: в магазинах обувь давно не продавалась, а искать на рынке – откуда же деньги? И было благородство Бориса в его сыне: видя, как я плачу, как себя проклинаяю, – он не упрекнул меня; я не видя его башмаков в комнате, ища их, бранила его за то, что, небрежный, не помнит, куда их засунул, ложась спать, и он покорно искала, а я все бранила. Не упрекнул!

## **ГЛАВА 6. ИСПЫТАНИЕ. АНДРЮША ТРУХАЧЕВ. ПРОЩАНИЕ С МАРИНОЙ**

Что это было - нечто противоестественное. В революционной Москве! И все-таки каждое слово, которое я сейчас расскажу, - правда, чудовищная, и все же - явь, было. Не комментирую. Пишу - и почти полвека спустя - одним удивлением. И мой сын, единственный из со мной бывших, хоть не любит связанные с детством воспоминания, конечно, помнит то, что я расскажу.

После сгоревших Андрюшиных башмаков, золотых, страшным неслышным видением хрупнувших в пепел, он очень долго не мог выходить из дому. Узнав это, Маринина знакомая, ставшая затем моим многолетним другом, Шура Занковская, фантастическое, одержимое, волшебное существо с трагической, невероятной судьбой (теперь давно умершая), повезла нас с Андрюшей в старых чужих сапожках, ему очень свободных, куда-то - в АРА? к знакомой, служившей там?

в надежде, что по ее просьбе, мне в придачу к выданной через Союз писателей посылке АРА (рис, сахар, сало, какао, рыбные консервы, долго кормившие нас) выдадут на босого сына обувь. Ее в тот день там не было, но обещали, а пока дали шерстяные носки и записали фамилию и размер ноги, и мы, простясь с Шурой, на радостях впервые позволили себе роскошь - сесть в недавно появившийся в Москве трамвай.

Выйти мы могли у Никитских ворот, возле нашего переуллка.

Андрюша, с детства не ездивший в такой роскоши, стал, как часто заведено у детей, на сидение на колени, прильнул лицом к запотевшему стеклу, дуя и расчищая себе «окошечко», чтобы видеть полетевшие назад дома. Ногам его в новых толстых носках было тепло в промоченных (стояла оттепель) сапогах, но один из них еле-еле, может быть, и не тронул, а только мог тронуть, двинувшись, пальто рядом сидевшей дамы. Это была именно «дама» (как уцелевшая в буре революционных дней?). Отпихнув мокрый сапожок мальчика, дама вскричала в негодовании, и полились из ее рта слова, сказочные по мракобесию – в трамвае революционной Москвы!

– Убери свои ноги! Этого еще не хватало! Пачкать мужицкими ножищами пальто дамы!

Ее рука со сжатым в ней зонтиком грубо отодвинула Андрюшин сапожок. В ту же минуту моя рука, без единого с моей стороны слова, остановила в воздухе взмахнутый ее зонтик. И – опустила его.

И тогда началось! Я не могу повторить потока. Но это кричала разнуздавшаяся буржуйка – в советском 1921 года транспорте, и вот что я запомнила из потока (которому молча внимал трамвай!): «...пришли со своей Волги, нищие, голодающие! Наводнили Москву! Идите назад, на вашу Волгу! Да знаешь ли ты, – крикнула она мне, – что такое зонтик – дамы? И смеешь ли ты своими грязными руками его хватать?»

Молнеиносное видение Сытинского переуллка, за которым дом отца в Трехпрудном.

– Сударыня, – начала я, – вы...

Но уже сорвавшись со скамьи, стоя в не своих – чужих! -сапожках перед оравшей дамой (которую не остановил -никто!), мой девятилетний сын, мальчик в старом пальтишке

и башлыке, закричал громче дамы, красный, как индейский петух, в гневе прекрасный, сверкая в нее

трухаческими, цветаевскими глазами:

- Как ты смеешь так говорить с моей матерью?! - гремел на весь трамвай его задохнувшийся голосок. - Да знаешь ты, кто она? - И он кричал и кричал, а дамин ор стих, она, как и весь трамвай, как-то охнула от неожиданности, но я всей силой рук - а он вырывается - зажимала ему рот, не видев его никогда в таком состоянии! и боялась за него, за себя, потому что уже раздались голоса: «Остановите трамвай! Высадить их!» (их - нас! - не ее...) В голове мешалось... К счастью, трамвай, подлетев к остановке, на середине бульвара, стал. И, теряя еще полбульвара, оплаченного в нашу первую роскошествующую поездку, я - за плечо Андрюшу, толкая его перед собой, спрыгнула с подножки в густую снежную грязь предвесеннего дня.

Мы шли, я - еще в дрожи пережитой непонятности, смиряя в себе все поднявшееся, а Андрюша, уже отойдя, тянул ноги, отставая, меся грязь, и вид у него был - скучающий.

И мне стыдно сказать, как о многом, мной в жизни сказанном, сделанном, что я, вмиг вознегодовав, не удержала себя, посмела его упрекнуть - в медлительности!..

- Какая ты странная! - сказала, негодуя, Марина. - Почему ты не остановила трамвай, не вызвала милиционера, не составила акт? Был же хоть один красноармеец в трамвае - в шлеме! Не заявила, что ты - член Союза писателей, не повторила ее слова о Волге! Но какой же у тебя молодец Андрюша! Борисов сын...

А Марина была неузнаваема: вся на отлете. Стремительна, как натянутая стрела. Дело о ее отъезде двигалось по инстанциям. Каган помогал и другие. Она увидит Сережу! После - «Плач Ярославны»...

Она яростно откармливала Алю - из протеста против Запада хотела привести ее - толстую! - из «голодающей России», пихала в нее все съестное, что могла

раздобыть, и Аля толстела на глазах. А Марина все так же желта, только глаза никогда не были потухшие, как я замечала у нее летом, до вести от Эренбурга о Сереже, – они блестели сосредоточенным блеском, а когда она от меня уходила, говорила смущенно:

– Ася, мне стыдно, но проводи меня, если сможешь... Пока я была брошенный пес, я ничего не боялась, а теперь, когда он жив, ждет меня, – я стала бояться на улицах...

И мы выходим вдвоем.

Наступила весна. Мать товарища игр Андрюши по соседнему переулку убедила меня, что мальчиков надо отдать в новую школу, куда принимают за художественные наклонности, – сын ее поступил и ходит туда. Она говорила так увлеченно. Я дала себя увлечь и пошла.

Где это было? В больших пустых комнатах сидели заведующие: Наталия Сац и молодой человек, имя которого мною забыто. Не Григорьев ли? Они же – экзаменаторы.

Экзаменов было два. Чем отличился мой сын у Наталии Сац – я не помню. Экзамен второй (у мужчины) был следующий:

– Что бы ты сделал, если бы сюда рвался тигр?

Ранее, чем в «мгновение ока», очутился экзаменуемый наверху высокой распахнутой двери, пригнувшись под потолком.

– Молодец! – ответил экзаменатор. – Он принят.

И он записал: «Трухачев, Андрей, 9 лет».

Но не было башмаков. Ноги промокли, он слег надолго с бронхитом и не поступил в эту школу.

Скоро Пасха 1922 года! (Уже нэп?) Уже у соседей масло, колбасы, уже телефон несет вести о латуни – пеньке, еще о чем-то необычайном... Частная торговля, разрешенная в стране, видоизменяет жизнь

окружающих пластично и быстро. А у нас все по-прежнему: у нас все пропало, ничего нести в Торгсин.

Но в предпасхальный вечер, в страстную субботу, ко мне раздаётся стук, и в комнату входит, как в книге Диккенса, человек, несущий пакеты. Он ставит на стол, сообщая: «От Андрея Ивановича Цветаева». И уходит.

Стою, занемев: кулич! пасха! уйма крашенных яиц! конфеты!

И затем, как в волшебном сне, одно за другим, – да простит Провидение, что я позабыла – откуда, из нескольких мест! Драконна? Лёра? Нина Мурзо? от семьи профессора

Яковлева, Алексея Ивановича, молодого когда-то друга и ученика папы? Шура Занковская? Гольдман? Стол (и откуда, как, когда появился стол?) – завален! Расставляю, смеюсь, плачу, Андрюша пробует, нюхает, сияет...

И на другой день – или ночью еще – входит Марина и Аля, и мы целуемся трижды.

– Ася, это какое-то чудо! Это тебе за терпенье и кротость!

И мы пьем и едим – ветчина, сыр, сдобный пирог, торт,

но превыше всего – куличи! пасхи! яйца!

– Ася! Аля, ведь правда – мы давно ничего подобного не видели, ну ни у кого, у богачей даже! Это просто сон! Смотри, они все перемазались даже... О, я расскажу Сереже про эту Пасху.

Ночевали ли они у нас? Томашевские принимали гостей, несли и нам угощение...

И кто входит ко мне – Катя Калецкая! Судакская Екатерина Николаевна, кипятившая нам (болели) пресную воду, носившая нам суп... Она едет в Ленинград, с матерью и маленькой дочкой! У нее так мало времени, это было так трудно устроить... Мы держимся за руки и смотрим друг другу в глаза, и она,

как всегда, глядя испытующе-вопросительно, глубоко-глубоко, прекрасными голубыми глазами, улыбается добрым и умным ртом, и молчим, потому что всё понимаем... Радость! Сходство! Уверенность: что ни скажи -будет понято сразу, и как может иначе быть, когда она -самая грация, грация ума, грация сердца, не отступающая ни перед какими испытаниями, лишь бы быть верной тому единственному, что в жизни довлеет, - чистоте, неисчерпаемости чувства... (Где же тот человек, что оценит ее по достоинству, неотступающую, неуступающую ее душу, испытывающую и улаждающуюся правдой человеческого общения... Если бы я знала тогда, какой муж, друг ей будет подарен - как бы я за нее ликовала... (Так уже скоро - Олег Александрович Спенглер!)

Вот она стоит передо мной, полная, легкая, женственная, в ореоле каштановых волос, стремительная и неожиданная в каждом движении, как лирическая мелодия, которой нет законов, кроме музыки, которая сама есть закон!

А солнце льется в окна, пасхальное, детское, у нас еще несколько часов на жизнь вместе - до ее неумолимого поезда...

Переутомление мое растет, я худа, и голова часто кружится. Я вчера затеряла на службе бумагу, искала ее полдня. Ной Ноевич мной недоволен.

Стирка - ночами, неприятности из-за нее с Томашевски-ми, пуды картошки и капусты, на которые вдруг выдают талоны, и некогда бежать искать Сережу, и тащить по два пуда приходится самой. Идешь - и качаешься. Глаз дергает мелко-мелко. И иногда кажется, что больше уж - не смогу... И надо Андрюшу учить, а он болен, - и Маринин, Маринин отъезд! И внезапно приходит Андрей, брат:



- Знаешь что? Поезжай-ка ты на лето в Звенигород, у меня там знакомые, отдохни, ты устала, а мне понадобится твоя комната. Я перевезу сюда диван, кресла, стол... А тебе -уговорился с Юлией Федоровной (немка, мать моего знакомого) - будет там картошка, и овощи, и мука. Как-нибудь проживешь. Денег на жиры и на хлеб я дам и уплачу за путь туда и за комнату... Но в неслыханность отдыха и природы - отчаяние: не провожу Марину! Не пробуду с ней ее последние дни тут... Брат торопит... Марина счастлива за меня. А я улыбаюсь, и плачу.

- Ася, ты подумай! река! и деревья! Как Андрюша поправится. А приедешь - тебе передадут ключи от моих комнат, и поселишься у меня, я говорила о тебе в домоуправлении...

И пока она и я собираемся, Марина все приходит и приходит, все будто в последний раз, - и опять и опять идет и несет - «на прощанье»: то книгу, то фотографию, то мешочек крупы, сухарей, то платье, то - «Как же забыла -шушун, Приный (от слова Пра). Носи! Не стесняйся! Пусть дураки смеются! И вот ремень, с ним очень складно...» У меня в руке - и на него мои слезы - коричневый Маринин коктебельский кафтан...

Гляжу на нее - трудно дышать. Уезжает! Снова разлука! Когда увидимся? Увидимся ли...

...Лицо римского отрока. Точно на меди профиль, глаза -светлые, колдовские... А в наследство мне четыре ее книги:

«Царь-девица», «Конец Казановы» и две книжки - ли («Версты», Госиздат, и «Костры»), Ка

Мы простились, Марина ушла. Уж совсем в последний! И вдруг ночью почти - стук:

- Ася, прости, поздно. Я тебе кольцо принесла. Перстень! Смотри - хороший... я его долго носила. Носи!..

Бережный, сдержанный поцелуй, рукопожатие.

- Проводи меня! До угла. Там - не страшно.. Светлей а тут - ни одного фонаря. Раз он жив - я нужна ем? -жутко... Ты прости меня! Ничего не могу с собой сделать...

- Мариночка! Я совсем не боюсь! Я так рада - еще немного с тобой...

В последний наш вечер Андрюша, снимая со стены картинку, сколотую ржавой иголкой, воткнул ее себе в руку -и рука стала краснеть и синеть, пухнуть... он дрожал, не давал к ней коснуться. Глаза в слезах были стеклянные -жар? Брат Абрама Львовича, Моисей Львович, зашел ко мне:

- Вы врача сейчас поздно вечером не найдете. Это начинается заражение крови. Сода у вас есть? Я дам. Ставьте компресс и каждые полчаса - меняйте. Только так спасете ребенка.

Я просидела над сыном до пяти часов утра. К утру ручка была прежняя.

В дни сборов Марины к отъезду она рассказала мне:

- Иду по Кузнецкому, а по другой его стороне -Маяковский. Народу - мало. Увидел, узнал. Кричу ему: «Здравствуйте. Еду на Запад, что передать там?» - «Передайте, что правда - здесь!..»

В Звенигороде мне подали от Марины конверт с надписью; «Але и Андрюше на молоко». Там были деньги. Под надписью была нарисована голова кота, ушастого, - и большие усы у кота.

## **ПОЕЗДКА К ГОРЬКОМУ ВСТРЕЧА С МАРИНОЙ**

В 1926 году я впервые прочла две автобиографических книги Горького, пришла в восхищение (до того знала только рассказы и «Детство»). И я написала ему письмо. Но до того как я расскажу о нашей переписке – два слова о нем.

Максим Горький! Это лицо знаешь с детства. Оно было - в тумане младенческих восприятий – неким первым впечатлением о какой-то новой и чудной, – о которой шумели взрослые, – жизни. Оно мне встает вместе с занавесом Художественного театра, с птицами Дикая утка и Чайка, черненькие дешевые открытки, с которых глядят вот эти самые, вот эти глаза, светло, широко, молодо, дерзко, под упрямым лбом с назад зачесанными волосами над раздвоенным лукавым носом, над воротом косоворотки. Все это плюс широкополая шляпа (на другой открытке) или плюс высокие сапоги (в портрете во весь рост).

Где-то рядом стоят в памяти молодое лицо Скитальца, темная шевелюра Андреева, клочковатая седая борода Толстого, ибсеновские очки.

Но это лицо родней. Отчего? Оттого, что мама так его любит? Оттого, что похож на мальчика? Озорной великан из сказки? В котором не великанье – главное, а великанье его озорство. Вот еще один – из тех, из богатырей моего детства, – Шаляпин! Сказочный голос – громче всех голосов на свете, это я знаю. И что в театре – волшебник: превращается во всех, в кого хочет. И даже они чем-то похожи: у обоих носы сходные, с лукавинкой у ноздрей. И оба они – «из народа». У обоих – дерзкие глаза. (Так Муся глядит, когда сердится.) Да...

И все-таки – Горький роднее Шаяпина. Оттого ли, что мама нам читала «Челкаш»? Что

мама больше говорит о Горьком, чем о Шаяпине? Пытаюсь понять – сейчас, шесть десятилетий спустя. Не шаяпинская разудалость плеч, позы, плоти, движимая «все мне можно» - таланта безмерного. Иная статья у горьковского озорства: совершенно серьезная, – почти жертвенная: бой с миром.

Мне было лет пять. Жизнь, как в театре, раздвигала свои декорации – голоса споривших в кабинете отца сплетались с маминым «Потонувшим колоколом», непонятно кричали: «педель», «сходка», «нагайки», «Лев Николаевич»... Было поздно, мать гнала спать...

День. У осеннего окна я с внезапной ненавистью гляжу на городского, всегда шутившего с нами, детьми, толстяка, и в общей тоске со всем домом жду приезда отца (уехал хлопотать за репетитора брата, студента). По окну серебряно ползут струйки дождя. Вот на фоне этих тревожных серебряных струек стоит в моей памяти ширококостная и легкая фигура юного Горького, непонятная и родная, за годы и годы до первой его прочтенной строки.

Спасибо горьковскому архиву: оно лежит передо мной – это мое первое письмо Горькому – тридцать четыре года спустя. Как странно держать его в руках! Без обращения. Эпиграф: «Радость о человеке, ее так редко испытывают люди, а ведь это – величайшая радость на земле. М.Горький».

Очень трудно говорить о человеке, которого хорошо чувствуешь. Это звучит как парадокс, но это правда. И такие слова, как «Вы – мне родной человек», приходится говорить с чувством испуга: испугать собеседника, – так я начала в 1927 году письмо к Горькому, – очень удивить, во всяком случае. Думала, как написать: Дорогой Алексей Максимович? Да, так и напишу во втором письме – там это слово будет

завоевано и прочно. Для первого – это так мало! И то, что никак не могла начать письма «обращением» (сдержанность хорошего пыла, нечто вроде коня с мундштуком – не подошло мне, я из этого возраста вышла, – из увлечения системой мундштуков). Начала прямо Вами, лесенкой Ваших слов, взошла к Вам. Алексей Максимович, мне было немного томительно, как в жару, или в пыль, или как когда надо мыть окна: когда-то еще вымоешь, столько стекол, и ведь с обеих сторон. Задумчивая обида на железную закономерность: жизни, которую (закономерность) так люблю. Без лесенок! Прямо про то, что я, как и Вы, не люблю луну и люблю

евреев, и что – как чудно у Вас: «розоватый луч солнца -его встретили дружным ревом веселые звери, встряхивая мокрой шерстью» – читать об Изоте, Хохле, Бугрове, Толстом. Про кирасиров, про вселенский собор умников. И «странно, что Вы все-таки добрый, имея право быть злым», и еще про слова Л.Толстого. Помолчав, задумчиво. Ума Вашего я не понимаю, очень запутанный ум, – а вот сердце...

И кто это Вам говорил, – величайший путаник! Плыть с Вами по Волге, печь хлеб, метаться во время пожара, со вздохом (что – кончено) закрыть книгу – и чинно взяв перо, сесть писать письмо Алексею Максимовичу Пешкову.

Сколько людей с Вами говорили завоеванным – дружбой годов и бед – тоном (беды прошли, и уж ни из какой беды я Вас не смогу вытащить!) – и изволь на четвертом десятке лет начинать говорить «сначала» – а Вам, на шестом -слушать... Помните, как Вы увидели (а он Вас не видел) Толстого на берегу моря? Так я Вас вижу. И хоть я поступаю как раз обратно, чем Вы тогда поступили – но от совершенно того же чувства. Алексей Максимович, я Вас ужасно люблю!

А говоря языком современности – я (уже сколько? восемь недель, должно быть) все «ориентирую» на Вас: каждый луч на московском булыжнике, человеку – которого мне дарит, а Вам почему-то нет (несправедливо, – он Ваш) жизнь.

Над корытом, на работе, идя за керосином – грудь ширится: Горький! Читать – часто нет времени. Но сквозь строй дел, по 10 минут в трамвае, по 5 – в булочной, запоем – в амбулатории, в очереди, радуясь, что еще других вызывают, за чаем на работе – я читаю Ваши «Воспоминания и заметки из дневника» и «Мои университеты». Прошу у всех «Дело Артамоновых» и «О тараканах» (любопытно следить – у себя же – мимо тебя идущее – сбивание с одного тона – на другое).

Я всем говорю: «Горький – наш лучший писатель». Не преувеличиваю? – Нет. Ведь не читала Вас более молодого, когда была молода. Я тогда читала По, Роденбаха, Бодлера. Кого я еще люблю? Льва Толстого не выношу как проповедника, жалею, и – раздражает. Люблю Алексея Константиновича Толстого (переписку, стихи), Лермонтова. Достоевский? Хорошо о нем у Вас говорил Л.Толстой. Почти подпишусь. Но его «Идиот» – моя самая любимая книга. (В юности только его любила. Его и Ницше). Гоголя всегда любила. И люблю. «Войну и мир». Но люблю как стилиста и за тонкость

и глубину мысли Розанова, не терплю его за его одержимость полем, за дикости о евреях. Стыдила его за безобразную книжку о деле Бейлиса. Жалею его за – да как раз за то, чего в нем не хватало. Вас! Широты и покоя, тревоги (Вашей широты, Вашей тревоги). Он не писал так о луне, как Вы – а о ней надо было писать именно так, – хоть раз написать за всю ее бытность над землей – правду о бедности и холоде ее – в бешенство дифирамбов. (Не подумайте, что я «ненавижу\* луну – головой ручаюсь, что я ее не люблю ровно столько же, сколько Вы – не больше!) Розанов путался в отношении

к евреям, а я их таинственно и с тоской за судьбу их, сплошным восхищением люблю. Он не так любил людей – мощно и грустно, как Вы, он гениально занимался порой пустяками, и хоть не хочу его предать, но, ведь, я столько спорила с ним: была неверующей, он меня раздражал верой. Теперь было бы обратно, – раздражал бы – сомненьями. И было мне с ним, с его истерической широтой -чуть-чуть узко, точно не на тех веслах шла лодка.

Розанов – зол. Лермонтов – молод. А молодость – это все же порок. Не сердитесь! Не о том ли печалюсь, что все это Вам пишу теперь, а не тогда, когда с Вами с дружеским свысока говорили – вот – Короленки. Этого ни себе, ни жизни простить нельзя. И все, что я сейчас пишу – молодость!.. Я за Вас ручаюсь. Вот. Знаете ли Вы это, как, читая какую-нибудь строку, по постановке слов узнаешь душу, по чудачеству подбора именно этих слов. Вдруг делается весело: домой, а *quatre pattes*!<sup>1</sup> Не могу найти Вашу цитату о «Не сирота я на Земле, пока есть этот человек!» – вот, вот!

Есть именно это сердце, этот ум, это сочетание умственных и душевных качеств, это ухо на мир, эти глаза – есть Горький, тот, – тот самый, на пьесы которого мама доставала билеты в Художественный театр, чеховский, с Чайкой, имя которого вдыхалось с первых лет детства в таинственном слове «На дне...», в московском детстве, Маринином и моем -конца прошлого века. И он не только живет еще, – он еще пишет! И я – какой праздник – я буду читать все, что он написал и напишет! Какое веселье, какая победа пришла в мой – нелегкий – день...

<sup>1</sup> На все четыре ночи! (французская поговорка)

Я иду на работу, в библиотеку Музея изящных искусств (родной с детства, с дней, когда, маленькие, мы с Мариной приезжали с папой, со старшими на полупустую его площадь Колымажного двора,

сверкавшую кусками мрамора, и подбирали его обломочки белоснежные, и спорили, на что они больше похожи: на сахар или на бертолетову соль...). Я работаю тут уж почти три года. Массивное греческое здание стоит перед украшенной газонами и елками лужайкой уже третье десятилетие. Отец, его основатель и первый директор, в последний раз вошел в него в 1913-м. Я пришла работать сюда младшим научным сотрудником одиннадцать лет спустя. О, как счастливо – как в детстве! – я вхожу сейчас в Музей, сжав под мышкой томик Горького.

Я не любила библиотечную работу. Она была мне безмерно скучна. Писать каталог на книги, не имея времени прочесть то, что захочется, выдавать сотрудникам книги (вместо того, чтобы писать – свои...). Но у меня сын, и я не должна задаваться большими планами, ловить журавлей! Зарплата библиотекаря – та синица, которая кормит и греет наш с ним скромный уголок в мире. Но он так скромен, что в час перерыва, когда другие сотрудники библиотеки идут к своему веселому столу пить чай со сдобными хлебцами, я сижу у своего, нацедив в кружку чай, и ем черный хлеб. Зато – эти полчаса я не трачу на разговоры (от чайного стола – взрывы смеха, все они дружны, давно знают друг друга, я мало кого знаю, держусь особняком), – сколько книг я уже прочла – по полчаса, за три года, за моей чайной кружкой! А теперь – о, теперь я уже не одинока, – потому что Горький со мной! Все герои его, знавшие нужду, как и мне довелось, потеряв мужа и сына, очаг, все они со мной, все горьковские герои!

Да, в том мире, где шел мой служебный день, в библиотеке Музея Изящных искусств у меня со всеми были добрые отношения, но друзей не было. Частью потому, может быть, что я всего за три года до этого пришла во много лет до меня сплотившийся коллектив и, общаясь с сотрудниками лишь в часы работы



(«домами» ни с кем из них не была знакома), не делала шагов к сближению. И было еще две причины, стоявшие между нами (одна – с моей, другая – с их стороны): потеряв на складе, быв в отъезде, все, что имела, я ходила плохо одетая, очень плохо, еще не оправясь

от лет разрухи. А у всех них были семьи, их старые квартиры, приличная одежда. Я, покинув Москву в 1915 году, два года прожила со вторым мужем моим в городе Александрове, а когда после его смерти и смерти младшего сына, намаявшись по разным городам со старшим сыном, вернулась с ним, восьмилетним в Москву, жила в квартире знакомых моего брата, как после пожара. И хоть я и ранее никогда не придавала значенья нарядам, тем не менее мой внешний вид, уж очень резко ото всех отличавшийся, делал меня еще более застенчивой. Они же, не зная моей жизни, глядя на эту молчаливую женщину, вдову, набравшую на ночь работу по писанию библиотечных карточек, не понимали, как дочь Ивана Владимировича Цветаева, основателя Музея, не имела никакой специальности по искусству. Только знает языки, что-то пишет, может быть, и нуждается-то по странному своему характеру? Мне сочувствовали, но мы были разные люди и я продолжала среди них быть одинокой. И моя – так внезапно возникшая – переписка с Горьким грела меня тем бшьиим счастьем.

Все кругом, конечно, как образованные люди, читали Горького, знали его как «культурную ценность», но никто из них, прочтя его, не ожил от сознания, что он есть, все отлично совмещали его книги с другими занятиями дня, никто не рвался к этой душе, как рвалась я, никому Горький не был основной радостью дней. Никто не носил с собой его книги, и ни с кем из них я не могла говорить о нем.

И все-таки друзья в Музее у меня были: как в дни первой любви, – нашей общей первой любви с Мариной

к тому же человеку, с юности связавшему себя с Грецией, с древностью переводом фрагментов Гераклита (в тот год Музей еще не был открыт, только строился, и я, приходя к папе, пропадавшему в нем все свободное от Университета и Румянцевского музея время, бродила по залам, по Греческому и Итальянскому дворикам), я теперь выходила порой из бывшего зала Славы, теперь – библиотеки, и деловым, с виду, шагом – точно иду в другой отдел за какой-нибудь справкой, или к сотруднику – шла и шла, по заворачивающимся залам, под тусклым светом потолочных стекол - в средние века, Германию, Италию – порталы, гробницы, мимо знакомого по отрочеству с папой «НеМег^тег 511Бег-fend» (сосуды, треножник пифий), и дальше, и дальше вглубь,

с невидимо идущим рядом Горьким, в летящей свободе уйти от каталогов и ученых читателей, от обязанностей дня – и вот уже Греция, Рим, головы мудрецов и трибунов, их имена. Мне казалось, все они отлично понимают меня...

Отослав письмо Горькому, взяв адрес у Б.М. Зубакина, с восхищения которого «Артамоновыми» Горького и началось мое чтение его (Б.М. Зубакин уже давно был в переписке с Горьким, но я писем ни тех, ни других не читала, и не знала их содержания). Узнав, что Горький переехал с Капри в Сорренто из-за того, что на Капри на сутки позднее приходила почта, я стала считать дни, когда может прийти ответ. Неужели не ответит? Неужели ответит?

И вот оно, это письмо – как и все следующие письма пропавшее у меня в вещах в 1937 году, живущее только в моей памяти. Так и запишу его: начало – наизусть, далее -содержанье страниц. Еще дрожит в моей памяти – 34 года назад – час, когда я развернула два больших, мелко исписанных листа, быть может, дрожавших в тот миг в руках.

Мелкий, кудреватый прямой почерк – все буквы отдельно. Без обращения (тоже!). Это хорошо, – стукнуло сердце. Обращение с его условностью... Начал прямо разговор: «Если б я получил Ваше письмо в какой-нибудь (имя города забыла – Перми или Вятке), я бы приехал к Вам, как к человеку-другу, и сумел бы сказать Вам слова (пропуск памяти) не только писательской, а человеческой благодарности. Ваше письмо улыбнулось всему человеку. Спасибо!» Горький писал, что обо мне слышал. Что знает – «Вы подняли нелегкую жизнь, но сохранили певческую душу», что «даже Владислав Ходасевич, который сделал из злости ремесло, и тот говорит о Вас хорошо».

Еще несколько строк – я перевертываю лист. Кажется, вся вторая страница письма – описание давней ночи в степи, в молодости, в одиночестве, когда над ним, Алексеем Пешковым, промчалась, застигнув его, буря. Мое письмо напомнило ему эту ночь. Собственно, птицу, прибитую к нему грозой. Ее желтый глаз и то, как ее кинуло к нему и как он с ней шел под открытым небом, под разбушевавшейся стихией.

ш 'Ик

1 июня 1927 г,

Алексей Максимович! Ровно две недели с того, когда я спешной почтой отправила Вам письмо, и все не было ответа. И – наконец – «Артамоновы»! Открыла – и сразу домой, в никогда не виденный городок, в блаженный сон когда-то бывшего дня – да, вот что я буду читать, это не значит «читать» – жить! Снова побрела куда-то, с Горьким, снова чувство густой радости – достоверности – ковшом из жизни, из чего-то, о чем только и можно писать, и читать, и думать... Опять эта внимательная доброта, почти строгая в своей широте, это чувство напряженности и покоя. Ни в одном писателе (конечно, это о человеке!) не было этого в упор обо всем, пристальной задумчивости, печали и честности, этого,

вброшенного в берега слов, восторга. Да, Достоевский, да – Гоголь. Да – еще кто? И об обоих, где-то -не совсем так! И вдруг – совсем так, Горький!

А знаете, я рада, что не читала Вас по-настоящему – до 32-х лет! Жадностью за теперь рада. И хожу, открывши Америку, и всем: Горький! – А Вы только теперь? – Да, только теперь! Улыбаются. (А я еще больше их улыбаюсь -удивленно, недобро: Как же так Вы спокойно живете, зная, что – Горький, почему же вы-то не ходите Колумбами? Как это может быть, чтоб в шкафу «Максим Горький» – и все! Как же мне не сказали за столько лет: «Трудно? Читайте Горького!» А они: «Да, Горький, – это колосс, – идемте чай пить!» (И не дали унести полку книжного шкафа -единственно нужное в их квартире, и притом – мою!)

Но так писать – никогда не кончить. А уже голоса вставших, уже кипят в кухне примусы, значит – скоро на службу.

Неумолимый ход часов.

Вот, как я получила Ваше письмо: выходя после странного, важного, взволнованного разговора с одним человеком, вдвое старше меня (когда-нибудь расскажу Вам), вышла в весенний ветреный денек, иду двором, – один из тех часов жизни, когда кто-то взял и открыл тебе, распахнул окно в душу другого, и внезапно жестоко и жалобно распахнул, – иду и несу ответственность за сказанные мне человеком слова о его трудной жизни, дивлюсь тому, почему их сказал, вдруг, мне, нет, – как смог понять, что мне их и можно сказать (я же не знала его самого, не подозревала...). Иду, не чуя ног

от благодарности старому человеку за доверие, в печали, в жалости. Опоздала по делу на полтора часа! Никогда не позволяю себе чего-то не сделать, живу по команде дня. Но такая беседа – редкая дань жизни, и когда эти часы приходят – они неоспоримо движут все в

стороны, разгребают, не замечают, – как смерть. (Пусть мысли об однородной властности жизни и смерти формулирует Марина. Формулы –ее патент. Я только о том, что иногда жизнь становится во весь рост – тогда это неустранимо.) Так я вчера опоздала по нужному делу на полтора часа. Ну, вот. Если б мне сказали, кого в этот час увидеть – я бы сказала: Горького. Выхожу. Мне навстречу голос: «Гражданка, Вам есть письмо». Подает. «Из Швейцарии, что ли?» Еле слышу, сердце – скачет! «Нет, из Италии!» Серый тонкий конверт. Итальянская марка. И – душа через край. Ему читали Горького?

Музейный дворник, в будке, читал Горького, знает имя Алексей, вспоминает отчество. И чудными словами и чудными, конечно, – один из «вселенского собора умников», как сказал Лев Толстой о Ваших героях, говорит мне о том, что «иные – так себе, ни за чем пишут, и не поймешь, к чему, а – Горький...»

Начало третьей страницы, широкий разлив ее узко написанных строчек, опять тает в памяти. Пусть это будет на совести тех, кто сжег или выбросил эту пачку писем –как и мою книгу о Горьком!

Память моя зацветает к концу третьей страницы: Горький зовет меня – приехать в Сорренто. Деньги, паспорт – все это будет устроено. Что-то вроде – «право, подумайте об этом». Затем он пишет о том, что долго писал письмо это, –уже рассвет, уже звезды гаснут. «Приезжайте, увидите, как тут хорошо...»

Было совсем тихо во мне, когда я это письмо дочитала.

Я думаю, таких минут – наперечет в нашей Жизни. Жар писем – и дружб – и все то, что бывает с людьми во встречах, и обоюдные ошибки, и борьба человека с собой, данные себе обещания, – все теперь лежит ясно передо мной. Но и за ясность эту я бы не отдала тогда тех минут тишины над листками письма. Мир им!

Но, ведь, время шага – то мое? Листки письма. Без лишних слов: трепещут, читаю. Дыхание – такое глубокое,

как в ранней юности. Так будет в раю. Это уже кусок рая! Чуть не попала под лошадь. Перебежала рельсы. Лошадь была белая.

Затем со мной сразу расплатилась жизнь, – нет, лгу – она еще смеялась вместе со мной: одно дело еще захватила, главное: отсылка письма Б.М. с идущим туда (в дом отдыха «Узкое» под Москвой) автомобилем, и четверть часа на лестнице с Пастернаком о Вас (он Вас любит!) – а затем уже град: занести долг – занести рукопись Б.М. (его поручение), купить еды, домой к больному сыну – кормить, давать лекарства, убирать, варить, – и уж опаздываю на родительское собрание! Еще раз улыбнулась жизнь – собрание отложено, спешу домой – писать Вам, еще перечитать Ваше. Только закрыла дверь – звонок, и до часу ночи – близкий мне друг – женщина, нужный (не могу ей: «Прости, занята», – человек в горе) разговор. А во время разговора – стенографирую (для практики), мою голову, убираю, снова кормлю сына, перечитала письмо, начала писать – а в окно уже рассвет, – отчаяние! Надо ложиться! Ставлю будильник на семь с четвертью – уворовать у сна один академический час – в письмо к Вам. Будильник звенит – а я уже на ногах (всегда спорю с ним). Это – молодость возвращается: сна – ни в одном глазу! Вот. А пока я сейчас это писала – был звонок, друг Бориса Михайловича, художник – Василий Миллиоти. Помните, в «Золотом Руне»? – о деле, прервала писанье и, говоря с ним, за занавеской спешила одеться, приготовить Андрюше завтрак, дело за делом, и снова в отчаянии: тот ушел – а мне уж идти на службу!

Что говорить, – опоздала бы – ведь отослать Вам письмо – н а д о, – но в миг, когда стояла над столом с грязной посудой, думая: что же я сделала, сын-то

только позавтракал, а на обед, ведь, ничего не сварила, не успела – что он будет есть без меня? Вернусь – в пять... – звонок и – молочница (заходит так редко) – не надо ли молока? Мечусь с кастрюлей, деньгами, и пока молоко закипало – я, законно, дописывала.

А теперь уж пишу незаконно, потому что еще на почту, отослать это письмо Вам – когда же в Музей приду? Опять опоздаю...

Комкаю: соседка мне о том, как в 18-ом, – жестоком! -читала «В людях», – «и так, Анастасия Ивановна, ревела...»

(а человек – деловой). А та, что была у меня до часу ночи –

«Ася, ты читала Горького «Рассказы» 1922-24 годов? Я приехала по делам в Москву, а у мужа на столе – книга. Открыла – и весь день сижу и читаю, и ничего не сделала! Как пишет! Какая душа!»

Бесконечно Вам благодарна за высылку «Артамоновых» и «Тараканов». Если это возможно – очень бы хотела еще «В людях» и «22-24 гг.», но боюсь Вас затруднить, – знаю, как все трудно в дне, а Вам, еще трудней. И подумать, что Вы были (в 1922-м?) в Москве? Могли бы придти ко мне, говорили бы втроем, с Б.М...Я встретила с ним именно в 22-ом, пять лет назад.

Теперь – дела. 1-ое. Пастернак Вам передает привет. Он Вас любит. Горький – «Это единственный человек, который» – дальше его гениальное косноязычие, которое нельзя повторить.

Не труден ли Вам мой почерк? Если хоть сколько-нибудь, напишите, буду писать медленней, четче.

3-е. Спасибо за Птицу! Залетела в «дела». По праву!

4-ое. Б.М. перебивается литературным трудом. Член Союза поэтов, член ЦЕКУБУ, член Союза печатников. Профессор (в 1921 году закрытого) Археологического института. Пишет научный труд. На днях ему выпало

обещание заработка, и он оперился надеждой, согласиен ехать к Вам.

5-ое. Я? Служу в Музее Изящных искусств, в библиотеке. Командировки дают тугу, и особенно мне – я только библиотекарь, один из – получить не удастся. Отпуск мой – двухмесячный; из него две недели я проведу в «Узком», в Доме отдыха ЦЕКУБУ. Остается полтора месяца. Из них на что-нибудь около месяца я бы, пожалуй, могла устроить Андрюшу к знакомым (к той женщине-другу) и ехать.

К 1 сентября нового стиля мне надо быть на работе. Август – мой, к Вам. (Отвечаю подряд на вопросы). О деньгах. Сколько надо на дорогу – не знаю, спрошу. Что стоит на моей дороге, на дороге моего огромного желания увидеть Вас? Ограниченное сентябрем время отпуска, при долгих, может быть, хлопотах о визе и паспорте. Кажется, все. Конечно, пребывание в Сорренто можно и уменьшить – лишь бы свидеться! Да и на меньший срок мне сына даже удобней устроить к родным. Этими – хотя бы двумя неделями у Вас – себя утешаю. Кажется, ответила на все. Да, – член профсоюза работников Просвещения и член ЦЕКУБУ.

Алексей Максимович, до свидания! Но – если смею просить, – до следующего Вашего письма!

Спасибо за Вас, за книги, за все. Буду читать «Артамоновых». Днем. А ночью у меня их берет соседка. У нее бессонница. Читает. Максу передайте мой привет. Он был похож и на Вас, мне кажется? Какой он? Пожалуйста, мне о нем напишите! Я Макса так ясно помню, хоть это и было 21 год назад. Я его очень любила, он был очень особенный. Он кидался камнями и говорил: «Вы – дети тьмы, а мы с папой – дети солнца!» И выговаривал раздельно слога слов. Меня он шутя называл «няней». Ему было восемь, а мне одиннадцать.

Ваша А. Ц.



Были ли это письма? – думаю я теперь. Или дневник, который я слала Горькому? Да, это было одно непрекращавшееся письмо, в ряде конвертов, пролетавших через границы и страны, как многословная телеграмма Москва – Сорренто.

Реальность же была такова. Я уезжала в мой двухмесячный отпуск научного работника, Музей отпускал меня и поручал привезти проспекты и каталоги музеев Италии. Я хотела сделать это по пути к Горькому, а не перед отъездом из Италии, чтобы не отнимать тех будущих драгоценных часов, дней перед расставанием с Горьким. Все деловое, не к нему относящееся, – все чтоб было уже позади в час приезда. В этом была моя «деловитость» – ее тоненькая, другим ненужная, неизвестная им струйка. Те, кто слышал о моей, всем неожиданной, поездке к Максиму Горькому, говорили: увидеть города Италии! «Города Италии»? Я видела их уже два раза, в восемь лет и в семнадцать. Мне они, в тридцать два года мои, не звучали. Из всех них было одно нужное мне – Сорренто. Других городов мне не было. Наоборот: все эти «города Италии» сейчас являлись помехой встречи моей с Горьким: отдаляли ее. Но проспекты и каталоги Флоренции, Венеции, Рима – то единственное, что через меня, от моей поездки, получают мои товарищи по работе, начальство Музея, были – мой долг. Это мое единственное оправданье перед ними, что еду я, со специальным изучением искусства не связанная, а они, с утра до ночи переживающие один – «ренессанс», другой – «средневековье», третий и во сне видящий таинственные мне в

детстве слова «кватроченто», «чинквеченто», – останутся в Москве...

Никогда я не была так равнодушна к мысли о свидании с Италией, как когда меня позвал туда Горький. Сам он был мне безмерно нужней городов и

стран и даже любимого с детских лет Средиземного моря. Пенная зелень, разбег его растопленных в солнце волн вдоль всех этих Неаполей, Монако, Кастелламаре – был только случайный фон за плечами Горького. Даже не поведешь и бровью в эту воспетую серенадами даль (где-то там по пути отражающую дворцы дождей), когда взгляд во взгляд в лицо человеку, через струи строк его почерка, драгоценней и радостней которых мне ничего сейчас нет! Но по щедрости радости этой, через ее край, и на путь к Горькому лилось нежности – сколько-то: Горький освещал все.

Меня бы понял друг моей юности Миронов, писавший о том, как, получив письмо им жданное, не вскрыв его, предвкушая чтение его строк, он пошел полем, сжимая конверт, как руку, слушая звук полевых цветов, стегавших его шаги, – идя по этой траве по колена, жарко счастливый тем, что ждет его впереди. Города Италии в те мои дни были мне той травой и цветами, стегавшими. По колена!

Увы, мне потом сказал Борис Михайлович Зубакин, что Алексей Максимович удивлялся, несколько, моему запаздыванию в Сорренто! Даже и он не знал, что идет со мной по тем итальянским музеям, форуму Рима, по мосту через Арно, вступает со мной в гондолу Canale Grande<sup>1</sup>, проходит по Галерее Уфици, получает от администрации каталоги для il Museo delle bella Arte Москвы...

Ответные письма ко мне Горького погибли.

Мое письмо без даты.

Станция. Гроза. Пучок сирени. Уютно в углу за некрашенным столом. Все это время, живя с Вашими книгами, я определяла так: читать Горького – это как жить.

<sup>1</sup> Большого канала (итал.).

А сегодня вот как было: отвезя сына к родным, в глушь, возвращалась одна в тарантасе – полями, по

шоссе. Печальные дали, шумящая близ кустов, крутых и прохладных, зеленая, политая солнцем, чудесная тишь, – точно нет ни нас, ни городов, точно ничего не было, 2 часа дня. Упоенно вынимаю Ваши «Рассказы» (Артамоновых – закончила вчера), открываю. Трясет, – сплошное подпрыгивание. Неумолимо: «Читать нельзя. Вред глазам». Закрываю, покорно. Как покорно буду уезжать от Вас. Но обида живет той же страстной жизнью, как живет «нельзя»: десять верст, полтора часа времени, то, чего никогда нет. И в руке – закрытая книга Горького!

А ямщик поворачивается на облучке – вековечным, «классическим» движением, и – «классическим» тоном вековечному седоку: «В нынешнем году – сила ягод...». Он говорит это медленным, солнечным голосом, лениво, взмахнув кнутом и, ничего не зная о Вас, о моем сейчасочном горе, он говорит о дачниках, о деревне, о проселочных и шоссейных дорогах, о – о – а солнце выползло из-за тучи, жжет плечи – Господи, еще это есть на земле: что жжет плечи, что везде – синева и зелень, и – тишина... И подумать, что в моей первой книге, 13 лет назад, я писала о том же – я Вам непременно спишу!<sup>1</sup> Мы говорим, солнце перешло на руки, ухабы подбрасывают, пахнет дегтем... Блаженно – как купанье, как сон. И вдруг я говорю себе радостно, четко: «А, ведь, жить – это как читать Горького!»

И сжимаю Вашу закрытую книгу.

В ту эпоху (прошедшие дни), когда я читала «Артамоновых», сын Андрюша приходит домой (14 лет):

– Сейчас к моссельпромщику подходит покупатель, стучит по стеклу (на ларьке), а он – зачитался, не слышит. Я посмотрел книжку – «М. Горький».

Если б у меня были деньги, и если б сын не так часто, в ущерб урокам, ходил в кино, – я бы его за эту весть послала на любой детективный фильм!

Далее: вечером, захожу в один дом по делу. Голос (врач, 35 лет) – «Я обожаю Горького!» (Надо же, – чтоб так – на

1 «Королевские размышления. 1914 год».

ловца бежал зверь! И такое слово – «обожаю» – в устах мужчины – не мало оно стоит! Значит, не уложился – в другое...) Расцветаю, переспрашиваю, и сразу – друзья. Говорим о Вас.

«Алексей Максимович! То что Вы существуете, что все так началось, делалось, стало, что человек с такой душой, через столько душ идет по земле – это огромное (мне) счастье. А то, что этот человек еще обо всем этом пишет – это уже подарок! То, что так пишет – это щедрость жизни, вне мер.

Про толстовцев – «кто лучше подвыл», про их потные руки и фальшивые глаза, про чаадаевское, которое «усмехалось над этими забавами души», про привычное, мучительное, а иногда и уютное одиночество, перед бездонным опытом вопроса»... Хорошо сказал Пасхин: «Горы – это хаос, пустыня – гармония». А Бугров – о труде (о критерии человека). «Очень тихо на реке, очень черно и жутко. И нет конца этой теплой тьме». Пишу, хватая только из 2-ой книги – «Университетов»; «Воспоминания» отдала читать. Пила как воду в горячий день. Она, по-моему, концентрированнее «Университетов», как «Уединенное» – Розанова по отношению к его же «Опавшим листьям».

Л. Андреева я никогда не любила. В моей первой книге (1914 год, мне было 20 лет) я писала о «Елеазаре», что не так надо говорить о смерти – «... всегда только на краю. Так, наверное, надо. Тише, проще, художественней». Во 2-ой моей книге опять случилось написать о нем. «По Андрееву, огонь в ночи опасен. Для того, кто блуждает? Нет, для того, кто зажег». Но бросим Андреева и с ним всех писателей мира. Сейчас 2 часа ночи. До писателей ли?» Он мне

ответил в печати уничтожающей рецензией о «розановщине, облеченной в кимоно». (А я ходила в скромных курточках, надеть кимоно – это как жить на Сатурне!). Много работала и растила своих 2-х детей (младший умер на 2-ом году, Алеша; старшему 14 лет, – Андрей.) Эту андреевскую рецензию мне, смеясь, прислал В.В. Р-ов в 1916 году с припиской: «Не огорчайся. Но такова наша литература». Вашей статьей об Андрееве Вы мне сделали его живым. Я увидела его силу и слабость живыми, – за нестерпимой схематичностью его истерических постижений. И я теперь счастлива, что он имел Вас – это так хорошо. Хоть он был одержим собой, и так и

А сегодня вот как было: отвезя сына к родным, в глушь возвращалась одна в тарантасе – полями, по шоссе. Печальные дали, шумящая близ кустов, крутых и прохладных, зеленая, политая солнцем, чудесная тишь, – точно нет ни нас, ни городов, точно ничего не было, 2 часа дня. Упоенно вынимаю Ваши «Рассказы» (Артамоновых – закончила вчера), открываю. Трясет, – сплошное подпрыгивание. Неумолимо: «Читать нельзя. Вред глазам». Закрываю, покорно. Как покорно буду уезжать от Вас. Но обида живет той же страстной жизнью, как живет «нельзя»: десять верст, полтора часа времени, то, чего никогда нет. И в руке – закрытая книга Горького!

А ямщик поворачивается на облучке – вековечным, «классическим» движением, и – «классическим» тоном вековечному седоку: «В нынешнем году – сила ягод...». Он говорит это медленным, солнечным голосом, лениво, взмахнув кнутом и, ничего не зная о Вас, о моем сейчасочном горе, он говорит о дачниках, о деревне, о проселочных и шоссежных дорогах, о – о – а солнце выползло из-за тучи, жжет плечи – Господи, еще это есть на земле: что жжет плечи, что везде – синева и зелень, и – тишина... И подумать, что в моей первой

книге, 13 лет назад, я писала о том же - я Вам непременно спишу!<sup>1</sup> Мы говорим, солнце перешло на руки, ухабы подбрасывают, | пахнет дегтем... Блаженно - как купанье, как сон. И вдруг <sup>1</sup> я говорю себе радостно, четко: «А, ведь, жить - это как читать Горького!»

И сжимаю Вашу закрытую книгу.

В ту эпоху (прошедшие дни), когда я читала «Артамоновых», сын Андрюша приходит домой (14 лет):

- Сейчас к моссельпромщику подходит покупатель, стучит по стеклу (на ларьке), а он - зачитался, не слышит. Я посмотрел книжку - «М. Горький».

Если б у меня были деньги, и если б сын не так часто, в ущерб урокам, ходил в кино, - я бы его за эту весть \ послала на любой детективный фильм!

Далее: вечером, захожу в один дом по делу. Голос (врач,

35 лет) - «Я обожаю Горького!» (Надо же, - чтоб так - на

<sup>1</sup> «Королевские размышления. 1914 год».

ловца бежал зверь! И такое слово - «обожаю» - в устах мужчины - не мало оно стоит! Значит, не уложился - в другое...) Расцветаю, переспрашиваю, и сразу - друзья. Говорим о Вас.

«Алексей Максимович! То что Вы существуете, что все так началось, делалось, стало, что человек с такой душой, через столько душ идет по земле - это огромное (мне) счастье. А то, что этот человек еще обо всем этом пишет -это уже подарок! То, что так пишет - это щедрость жизни, вне мер.

Про толстовцев - «кто лучше подвыл», про их потные руки и фальшивые глаза, про чаадаевское, которое «усмехалось над этими забавами души», про привычное, мучительное, а иногда и уютное одиночество, перед бездонным опытом вопроса»... Хорошо сказал Пасхин: «Горы - это хаос, пустыня -

гармония». А Бугров – о труде (о критерии человека). «Очень тихо на реке, очень черно и жутко. И нет конца этой теплой тьме». Пишу, хватая только из 2-ой книги – «Университетов»; «Воспоминания» отдала читать. Пила как воду в горячий день. Она, по-моему, концентрированнее «Университетов», как «Уединенное» – Розанова по отношению к его же «Опавшим листьям».

Л. Андреева я никогда не любила. В моей первой книге (1914 год, мне было 20 лет) я писала о «Елеазаре», что не так надо говорить о смерти – «... всегда только на краю. Так, наверное, надо. Тише, проще, художественней». Во 2-ой моей книге опять случилось написать о нем. «По Андрееву, огонь в ночи опасен. Для того, кто блуждает? Нет, для того, кто зажег». Но бросим Андреева и с ним всех писателей мира. Сейчас 2 часа ночи. До писателей ли?» Он мне ответил в печати уничтожающей рецензией о «розановщине, облеченной в кимоно». (А я ходила в скромных курточках, надеть кимоно – это как жить на Сатурне!). Много работала и растила своих 2-х детей (младший умер на 2-ом году, Алеша; старшему 14 лет, – Андрей.) Эту андреевскую рецензию мне, смеясь, прислал В. В. Р-ов в 1916 году с припиской: «Не огорчайся. Но такова наша литература». Вашей статьей об Андрееве Вы мне сделали его живым. Я увидела его силу и слабость живыми, – за нестерпимой схематичностью его истерических постижений. И я теперь счастлива, что он имел Вас – это так хорошо. Хоть он был одержим собой, и так и

А

не понял сокровища, данного ему в Вас, – так верно, что Вы дружили с ним, и я немножко все-таки ему благодарна за Ваши о нем слова: «единственный друг из литературной среды\*». И мне это печать на воспоминаниях далекого детства – «Горький, Андреев» (когда не я, а мама ездила в Художественный театр.

Волшебные слова «Вишневый сад», «На дне», «Потонувший колокол»...). Когда Вы стояли в пожаре и задыхались – «я растерялся», – когда я это слово прочла – сердце забилось и хлынули слезы, и это было глупо, потому что книга была доказательством, что Вы не сгорели! И будет галантно и к месту сказать, что искусство Вашего слова было доказательней, чем факт: пожар еще был. Помните птиц, клюнувших вишни, написанные художником?

Да, а Л.Толстой, которого Вы дали, какой он и был, и о каком я впервые прочла, которого я, как человека, только через Вас и полюбила, – чем-то роднится с В.В.Рым. Не умею сказать. Точно сквозь вас всех протянута нить – гений, что ли? Какой-то его привкус, особый. И стала понятна слабость Толстого: слова о пьяных женщинах (не поднял на улице пьяную!), о безобразии жизни. Это – «интеллигентность» (в кавычках). То, чего абсолютно нет в Б.М. Зубакине: даже вопроса у него не было бы о какой-то – какой? -брезгливости. Маленький, понатужился бы – и поднял бы огромную бабу из лужи. И даже в голову ему не пришло бы, что разрешил какой-то «вопрос», «светленького мальчика». Здесь бы можно вознегодовать о Толстом, не лежи он здесь сам в луже. Да, я постоянно дивлюсь Б.М-чу. Не человек, во многом – больше. Колосс? Но колосс – это просто предмет других измерений. Свойства – разомкнуты. Верно, что уже не в обычной жизни: в обычной – свойства только живут, умирать – не умеют. Выкинуть их за окно? Трудновато. Вот является человек – без них. Очистительное зрелище. Как костер.

Да. И все-таки – нам только и делать что – выкидывать за окно, делать трудное (Бугров). А Толстой противоречил себе, говоря Вам, что у Вас характеров нет, слишком себя даете, а – в другой раз, что у Вас – живые герои (не ошибаюсь?).



Милый Алексей Максимович, как я счастлива, что Вы есть на земле. Когда-то мне было одиннадцать, Максусе - восемь, Катюше - пять, мы играли, вместе, живя на даче

Елпатьевского в Ялте, на Дарсановской горке. Он был чудный мальчик и страшный озорник. Передайте ему мой привет. Звали меня - Ася.

Ваша А.Ц.

P.S. Спасибо вам за Ваш привет. Спасибо за приглашение. Вы зовете и Бориса Михайловича, и меня. По отношению к нему мое сопутствие не лишено некоторой целесообразности: без 2-х секретарей он не сядет благополучно и на трамвай. Когда он уезжал из Карачева и трое провожатых его зазевались, отошли, он так странно повел себя, отправляя деревянную статую, что его задержали - подумали, везет труп. Подоспевшие провожающие с трудом уладили недоразумение. Однако, он почти непоборимо-упрям, и о Вашей чудной идее свидеться с ним (если оно удастся - как я буду радоваться!) он сказал так: «Да, я очень хочу к нему приехать, но если он (Горький) совершит чудеса, и устроит мне лекции, покрывающие расходы, - и если Вы, Анастасия Ивановна, тоже сумеете ехать - Вы выедете, по крайней мере, днем позже, а я Вас потом могу подождать в какой-нибудь Вене? Я хочу испытать ощущение иностранца, одинокого и затерянного в чужом городе. Потом, разыскивая меня, Вы меня найдете погибающим среди лондонских доков».

- Как лондонских? (мой сын из-за перегородки) - ведь Вы будете в Вене?

- Очень просто! Разве я могу ручаться, что меня не завезут в лондонские доки? И оттуда буду спешно телеграфировать: «Алексисо Квисисано, спасите!»

- Квисисано? А кто это?

- Там один, уж он знает, кто!

А затем я дала ему шоколадку (вчера были его именины). Он ее скушал, взял шляпу и, вертя серебряную бумажку:

- А где же шоколад? Неужели я его съел?

Вот кого Вы к себе зовете!

Адрес - Москва, Волхонка 12, Музей Изящных искусств.

В библиотеку, мне.

P.P.S. Вчера он прочел мне из Вашего письма. «Человека не заглушат автомобили и радио и все книжные чудеса этой линии. Не заглушат, ибо человек чудеснее чудес, им творимых». Как Вы чудесно это написали! И как это похоже на Б.М.! О, как я радуюсь вашей встрече...»

Алексею Максимовичу Пешкову - о Борисе Михайловиче Зубакине.

Вместо эпиграфа:

- «На кого похож этот человек? Ужасно на кого-то похож... Да знаете на кого? (на днях один не весьма грамотный). На... ну как его? по театрам его пьесы идут! Английский... Я его фото видел! Похож, право слово! - Шекспир?

Или так:

- Вы напоминаете мне портреты Шекспира!»

Когда я в первый раз увидела этого человека, он сидел

в Общежитии Союза писателей, за столом, среди невообразимого беспорядка: книги, люди, примусы, крики - и писал стихи. Парусиновый балахон с капюшоном... И он очень был похож на монаха. Лысина, темные волосы, ниже ушей, крупные на концах (и легко) вьющиеся. Великолепный (как у греческих философов) лоб! И когда он повернул лицо - зеленоватые, большие, ясные, очень особенные глаза. Любезная, даже слишком, чуть едкая от любезности улыбка. Что-то от испанского гранда. Встал: маленький

рост. Ах, так вот он какой: уютный... Но как губкой стерлась уютность: он стал говорить. Что-то было мне – непонятное? неприятное? в его речи. Апломб? Но кто же из нас не умеет прятать апломба? Если «апломб» – то не наш, не писательский. Неужели серьезность – всерьез? Пламенность? – Саванаролла! Он брал нарочито грубоватые сравнения. Мне не нравилось. Зачем портит такой дар слова? Такую необычайно властно-поставленную философскую мысль? Думала: если б он был художник – он бы писал маслом. Ничего от пера, акварели, пастели. Молодой? Пожилой? Нет, – древний. Вне возраста.

И я долго смеялась (не верила!), что ему – двадцать восемь лет! Влекущее (очень) и (немного) отталкивающее. Маленькое тело, огромный голос, странные словеса. Настраивая себя на недоброжелательство, – нет, не так: на – сомнение-записала, насмешливо: «И его хвала милосердию звучала холодной водопада». (Это я, в себе, стилизовала его «под Калиостро»!) Но когда вышел из комнаты – все померкло; и не стало сил желать другое, чем чтоб он снова был тут...

Вялый, больной, несчастный, неудачник-писатель сказал мне о нем: «Сто тысяч жизней в нем! Прямо что-то

нечеловеческое...». И подозрительно покачал головой: «странный»... – вот общее впечатление. «Чудак». «Балагур». – «Зачем так паясничает?» – «А ведь какой талант!» «Но, знаете, говорят (шепот). Собственно, два отношения: 1. обожание (мало кто, наперечет, но – не вышибешь!). 2. испуг, и – подальше. Не разбойник с дороги -ясно. Но м.б. хуже? М.б. – сумасшедший? Но почему же так бессребрянен? Делится последним куском... или -невероятная способность импровизировать!

С Адама Мицкевича – не бывало. Говорят, и тот не мог столько, и так – свободно (готовился!). Этот – пробегает глазами десятки брошенных публикой слов, чуть бледнеет – и сотни строк, – поэма! на заданные слова. Мастерство так бесспорно, как жонглер в цирке: – невероятно глазу, слуху. Как «воздушные полеты» над ареной. И когда китаец подымает на глазах всего Мюзик-холла на воздух, не касаясь, китаянку, и она ходит по воздуху, у глядящего, кроме чего-то захолонувшего в зрачках – в мозгу мысль: «шарлатанство... трюк!»

Это помогает достоинству зрителя! Он всегда усталый (сразу после постоянного перевозбуждения), больное сердце, переутомление. Выступления, беседы, ночами – писание стихов. Мало сна. Но по улицам ходит почти не тише автомобиля. А за ним – как за Никколо Паганини – легенды. О всевозможных пороках, и назревает – последняя. До прошлого года, пока не подарили друзья, ходил в светло-зеленоватой поддевке одной (не ограбленной, а сердобольной) старушки. Был в ней совершенно волшебен! Трогателен, как игрушка. А кондуктора принимали его сзади за девочку: шапочка с ушами, кудри, и шубка в талию. После чего, нащупав медяки в недрах карманов, к ним оборачивался – Шекспир. Он, действительно, похож на Шекспира. Но, по-моему – лучше. (У Шекспира холоднее, менее выразительно лицо.) Он очень ласков, с каждым. Каждого утешает, находит успокоительные слова. Но психологически людей не понимает. Тут – оговорка: понимает стиль человека, и сущность его. Но лабиринтов свойств – не понимает. Я думаю, из писателей ему всего более чужд – Достоевский. Конечно, читал Экклезиаст – но даже не слышал о –пессимизме! Не то что не знает, но не считается с недоброкачественностью в людях. (Поздняя заметка: «И не

/  
буду считаться!\* – Б.З.). На насмешки не обижается.  
– «Это он так, я его знаю!» Отсутствие многих человеческих свойств.

Что напишешь на 2-х страницах? Легче – фантастический роман! Ему бы писать философский неисчерпаемый труд. А он пишет стихи и пьесы.

– «Какие сказать? Офелию?»

И он начал, как Торама<sup>1</sup> над львами. Он властно смирял слова магией вскипающих интонаций, пустив голос во весь рокот (уже слишком!). Таким голосом можно стулья ломать.

Маленький, в тяжелой шубе, держа шапку в руке, открыв лысину и кудри, со сказочным своим лицом, он походил на какой-то давний портрет. Острый и все же отсутствующий взгляд был взгляд Калиостро. Последнее слово строки потонуло в рукоплесканиях.

Сгустить – до настоящей, его, густоты: такое не вкушенное, не осязанное есть в этом человеке, порой переходящее границы, привычные европейскому глазу – шаблона хоть «высшей марки», и это похоже на то (его жизнь), когда звонарь пытается вложить в «ящик рояля»<sup>2</sup> то, что у него создалось на колоколах.

Вместо подписи: Простите за пафос.

Узнащ что Вы написали «Сорок лет». Есть ли эта книга в России? И все дело, с которым пришла – перепуталось Артамоновыми. Лишний час, – 60 минут! – жду в канцелярии, не сержусь, что опять не застала секретаря. Лукаво вспоминаю, что, ведь, надо еще починить – корыто? С книгой ждать, пока еще будут паять. И можно читать, идя по боковой дорожке бульваров. (Б.М. не любит когда я так читаю, -ох...).

Корыто клином вошло в Артамоновых. С березовой веткой (канун Троицы) иду по улице, жду в аптеке. Никита Артамонов шел в монастырь. Утро перед воскресеньем, еду по делу. Петр едет навестить брата.

На Самотечной площади, уныло закрыв (волей не своей, а трамвая) книгу, схожу.

1 Известный укротитель львов.

2 Слова звонаря Сараджева о рояле.

Смотрю на записке адрес. Переулок за Екатерининским парком. (В этом парке я еще никогда не была. Шла у него, с мамой, маленькая, на какой-то торжественный вечер в Екатерининском Институте, где (уже взрослая) училась моя сестра Валерия. С тех пор прошло более четверти века.) Бегло, восхищенно окидываю глазом мощную густоту парка. И парк тает о страницу, в ней Петр сходит у монастыря. Погружаюсь. Но так как ноги запинаются об огромные корни, невольно подымаю глаза. Гигантские купы деревьев, оглушительный свист птицы. Петр вошел в ворота. Входя в парк, я подумала: почему так давно нет ничего про Никиту. Через страницу - Петр решил навестить брата. (Какая дикая густая листва! Никогда не видала в Москве такого. Это - дубрава!) Вхожу с Петром к Никите. Сзади - равномерный шелест, немного - как звон, упругий, что-то от легких звуков мяча. Обгоняют меня две девочки, держась за руки. Их косы треплются в ветре, в беге - упоенное согласие, удвоенная легкость прыжка. Петр и Никита обнялись, спотыкаюсь о корни, смеюсь: я «опираюсь» - о книгу, в воздухе! Жарко.

Забор. И там, где, ритмично, мелькает в щели - острая полоска света, мерно вспрыгивает и гаснет, пыша жарой, -мгновенная панорама солнечного сада. Пламенные, молниеносные кадры. Чередуюсь с глухотой досок, рвется в душу чужой сад. Вдвое более влекущ от мгновенности пролетанья. Бург Рингштеттен из «Ундины»? Нетерпенье увидеть этот сад неподвижно и сразу - остро, как когда: пить! Сухая глотка! Лечу - и вдруг забор обрезан, раздвинут калиткой: стою - покой лицезренья! Как с зеркала - рукой - пыль. Нет, не Рингштеттен, страннее, другое. Не назвать - только

дышишь. Как в собаку, идет сквозь ноздри, нюхом. Не перескажешь. А память будет этим – гореть...

Шагаю, провалясь в книгу, замерев над лысым Никитиным черепом, – вдруг прошумели года, – (а сбоку, споткнувшись

о корень, зажегшись (как спичка о коробок) – о круто потухшую за забором роскошь – сухость скуки. Пустырь и будка с боржомами. Мой переулочек.

Медленно (счастье, что парадное – светлое) ползу вверх, в шестой. «Подыматься быстро – вредно». (Лукавлю – чтоб оправдать чтение. Всегда лечу!) Начался разговор Никиты с Петром – а палец уже на кнопке звонка: ведь, запаздываю! Неужели ушли на работу?

Г а

Гора с плеч, еще дома! Я вошла, чуждо и вежливо объясняя мотив прихода – а полчаса спустя выходила, счастливая, провожаемая двумя (муж и жена), чудные люди, любят Горького, читают сейчас «Университеты», расстаемся, условясь о днях и часах, когда можем застать друг друга, Иду и смеюсь от радости: много позади тяжелого прожито, столько утрат, разлук – и вот счастье встреч, бесед, пониманья – еще можно жить на свете!

Нежданно-негаданно приобрела друзей. Весна еще жарче. Жизнь – заколдованный круг!.. Этот «чужой» стол, хлебница, сахарница, уже почти час – родные, взгляд глаза в глаза, перебиваем друг друга, на коленях – закрытые до поры «Артамоновы», – это их следующие глаза! Снова иду парком. Опоздаю на службу?! А надо еще забежать домой, накормить сына!..

Петр на ярмарке, вертящийся пол. Иду – иду, вместе с ним, – рояль под женщиной, «как сгущенный кусок ночи». Самотечная площадь. Надо сесть на трамвай. Близоруко ищу остановку, площадь не узнаю, – будто перевернулась, Спрашиваю. Удивление.

- Здесь «Б» не ходит! Здесь - сердясь, что человек путает, спешу - «Б» здесь ходит. Я же на нем приехала.

Улыбка:

- Только не сюда! «Б» ходит по Самотечной! Вам нужно идти назад, повернуть мимо парка - вправо. - Заблудилась! Иду и смеюсь. Мне ж 4-й десяток лет! А человек поучает: «Здесь ходит не «Б», а «Г»... Вам надо доехать до...».

- Спасибо! - Не слушаю. Иду. Снова оперлась о книгу («вперлась в книгу») - шагая. Остановка. Пустая незнакомая площадь. Еще никогда не ездила на «Г». Какие странные улицы! Неужели это - Москва? Чуть испуганно повернулась - а все смеются. Все лица до одного - как в солнце, в смехе. Еще не понимая, (как сон), о чем они? обо мне? - Чистенький, с иголки, милиционер внушает пьяному человеку, что не надо мазать сапоги - из государственного ведерка мазью, пахнувшей дегтем. Правый сапог смазан густо, левый - начат; вокруг ног - черные лужи. Пьяный качается, и убедительно, невинно и нежно уговаривает, ответно, милиционера, что для сапогов - хорошо. Называя его «ты мил-человек», на повторное требование уходить - отвечает изумленно и добро: «Пожалуйста! Я - ппашел... А - ккуда?».

Аі

Веселый праздничный добрый гогот (Троица). Милиционер - рукой - направление (он в юморе - лишь на четверть, иа три четверти - в исполнении служебных обязанностей.)

- Туда? Мможно - туда...

Высоко подымая ноги (одна - недомазана), пьяный идет по невидимой нам горе, ушибаясь о ровную площадь. И вдруг решительно поворачивает назад: - «А я сапог - доммажу! Потому как деготь...» - Я смеюсь счастливее всех: со мною смеется Горький!



Еду на «Г», билет за 11 к. вместо 8-ми. Значит, далеко зашла. Летят незнакомые улицы. Снова - глава Горького (а разве я его прерывала?) Пьяное утро! Кондуктор - добрый: машет, как на птиц, на не туда севших - «Да сходите с задней площадки, проканителиться тут с вами...». Ярмарка. Петр пьет. Разбитое зеркало. Дыханье вдруг стало глубоким - и тихим. Это из тех редких часов, когда все понимаешь, острота и покой. Трамвай окунается в уже знакомые улицы. (Часики - четко: что делать? Опоздала на работу! И - надо к Андрюше, все еще немного болен, - не бросишь, надо дать есть. Крою козырем - в следующее воскресенье, не в свое дежурство - приду. И сегодня и через неделю. Отработаю. Разрешат?)

Грузинская. Тут, 15 лет назад, шла моя жизнь с первым мужем. Уже так давно, что не больно. «Артамоновы» сейчас - больней.

Зорко: «Артамоновы» - жгут, стянута им. Пружина. Изнутри, распирает. Рвали зуб, кокаин, пульс - 125, помню.

У меня не меньше сейчас.

У всех лица - недоуменные, добрые. Как Петр на ярмарке (до ярмарки, после ярмарки). Летит густое кривое дерево. Дом, старый. Тут десяток лет назад Андрюшин отец пил вино у окна у какого-то странного своего друга. Я уже не была с ним. Пролетели. Не успела увидеть, цел ли за деревом дом. Алексей укоряет Петра, что пьяный все говорил вслух: «Что ты как в бане разделся»!

И жалобная шляпка, стоившая дороже, чем сто шестьдесят четыре страницы! Успею дочитать до дома отдыха! Да, это все еще опьянение жизнью. Не знала, что когда ты уже на другом берегу, когда тебе, для с е б я уж н е нужно -можно так, с замираньем следить - жизнь.

Девочка, глаза как у китаянки. Застенчиво. Я их всех сейчас понимаю. Как давно понимаю. Что делать: жить (в щелях между работами) или писать о том, что уже знаю? Дилема неразрешима. Чей голос ее вскроет? Только тот, кто даст (дать не может никто) – время? Не делаю меньше чем по 2-3 дела сразу: стирать – диктовать – варить; слушать немецкое чтение сына – шить – варить; говорить с человеком – стенографировать – бегать к кипящему белью. Так – годы. Иначе бы ничего не успела. У меня пять общественных работ! Работаю и пишу. И читаю. Вижу людей. Времени нет и не будет. Вовсе не оттого что жизнь не станет легче – пусть и станет! – а от той моей жадности к делу и к разнообразным результатам дня, которую я больна все свои зрелые годы, которой трудность эпохи только помогла уплотниться – спасибо! – и которую не утолит никакая «нормальная жизнь». Прерываю, подъезжаем к Москве. Сходя тогда с трамвая, думала, остро:

– Задача – одна – вот сейчас (спешка, тысячи маленьких дел дома и болезненная медленность сына в быту) – не накричать на него, не впасть в отчаянье от беспорядка, усталости и опаздывания, сжать себя, – улыбнуться! Иначе нет права все это писать Горькому! Надо жить так, чтобы от чтения его и писем к нему, и его ко мне – было легче не одной мне, а – соседу. У ярмарки отвоевать хоть одного Петра! Надо делать дело, – Артамонов 1-й прав!

Несколько дней спустя, в день особенной занятости я, обессилев, медленно шла по бульварам – оставалось страниц 20 «Артамоновых». Боковыми дорожками, версту за верстой, с раскрытой книгой. Прохожих – мало. Только пятна солнца в ветре (их древесный шелест, отраженный на странице беззвучной пляской, мешал глазам). Выбора не было. Как приду – день вырвет из рук книгу. Но конец последнего бульвара все

же пришелся раньше последней страницы. Надо идти: намочено белье, не сварена еда, телефонные звонки, тысячи мелких дел! – Хорошо, сказала я себе вдруг резко -быть трудовой машиной, какой ты себя сделала – похвально, – но душа-то у тебя, в конце-то концов есть? Имеешь ты право сказать дню «перестань\* на 20 минут! и дочитать, все отодвинув? Артамоновы умирают. И я дочла, прислонясь о стенку дома, о который кончался Никитский

бульвар. Мимо люди. Смотрят. Не понимают? Не хочу их!

– П р о ч ь!..

Книга Горького «Воспоминания\*». Я точно еще 20 лет прожила на земле: «Артамоновы» – это я прожила жизнь. Дико все еще быть молодой, а Наталья – старая! Как это? В этой книге – та самая волшебность, которой покупает нас жизнь: сжатость при кажущейся разреженности. Безвоздуш-ность и воздух. Тугой мяч тишины – над гулом. Зоркий покой: сверху. Но вот несколько вопросов: 1) начало – добро, конец – нет. Намеренно? (как у Гоголя в «Мертвых душах». Как у Диккенса в «Пикквикском клубе»), 2) Почему четки Алексей и Петр и – туманно, тускло – Мирон и Яков? В начале Вы их всех любите, потом – забываете. Вздох? «Скучно на этом свете, господа...»?

Прекрасно написаны последние страницы о сне Петра, но за ними должны быть еще, они – предпоследние. Спешка в смертях героев, равнодушие к ним. И читатель гипнотически вслед за автором – холоднеет.

Вы окунули в жару вокруг Ильи 1-го, в муку вокруг Петра, в трезвость Ильи 2-го, и вдруг устало спускаете слюдяную пелену между читателем и героем. И хочется эту пелену сорвать. Скажете: время? Да, – и еще что-то. Какой-то разносчет с ним, еле заметный. Ответьте мне. Никто не входит, м.б., так пристально в Ваши страницы

- как я (простите за смелость, глупую, м.б. - это все тот же Колумб, т.е. именно не - Колумб, - открываю уже открытую Америку? Но, ведь, если у Колумба не было Индии (Америки - не в счет!) - то все же было поставлено яйцо!)

Я живу в каждой Вашей странице, отсюда - право писать Вам. Мне предстоит большая радость: медленно, щепотками времени, читать назад, все, что Вы написали. И смеюсь: не бойтесь, что о каждой вещи буду писать так подробно! Меня гнетет мысль о Вашем утомлении. Я стану, если прикажете -краткой. Или же - и совсем замолчу.

Ярок Никита - но почему Вы дали такого монаха? Монахи бывают разные. Я не очень люблю Зосиму - сладок, неубедителен, «интеллигентен», но понятно стремление Достоевского дать каторжности - свет. Это 1-ая Ваша вещь, где Вы себя утаили. Зачем? Спрашиваю Вас, как спросила бы жизнь: ты - не сатира, ты - мудрый подсчет (и тихое течение). И почему не подочлось монаху - монашеского? В

отце Сергии Толстой - Да! «Артамоновы» могли бы осветиться монашеством (как Лиза тургеневская), или - вспыхнуть революцией. Вы не сделали ни того, ни другого. Отчего?

И все это я пишу потому, что зажглась этой книгой, и потому, что больно мне от мест, которые среди горения других не горят. - Я хочу, чтоб горели.

Письмо это я кончаю в Доме отдыха ЦЕКУБУ, в комнате, где умер Владимир Соловьев (висит его портрет) - единственная тихая, к счастью, комната в этом шумном многолюдном доме; портьеры, кресла, книги, не принято говорить вслух, - здесь работают. А там - игры, молодежь, пахнет ветром и масляной краской (ремонт); жгучий солнечный пейзаж, густой парк.

Дело - о бумагах для отъезда к Вам, не для того, конечно, чтоб «учить» Вас, а лишь п.ч. Вы мне написали: «В делах я человек мало практичный, помогите мне». Сообщаю, что узнала. Проведя в д. отдыха 2 недели, я вернусь на работу, и за мной останется еще 1'2 месяца отпуска (научные работники имеют 2 месяца отпуска). Место на лето для сына я тоже уже наметила. Паспорт стоит для обыкновенных граждан 225 р., льготный - 50-75 р. Сделаю все, чтоб получить льготу, но, говорят, - трудно. Вот. Соберите всю Вашу доброту, чтобы простить мне, что я Вас утомила. Это 3-е письмо мое к Вам после Вашего. Как здоровье Ваше?

Ваша А.Ц.

Узкое, 21 июня 1927 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Вчера получила Ваше письмо, 2-ое по счету. Я писала Вам, что для обыкновенных граждан паспорт заграничный стоит 225 р., но что у меня есть все основания - ввиду маленькой зарплаты младшего научного сотрудника быть причисленной к разряду граждан не обыкновенных, паспорт которых стоит 50-75 р. То же и о Борисе Михайловиче, Находясь в санатории, т.е. в д. отдыха членов ЦЕКУБУ до

1 июля, не могу привести точные справки о цене пути; но одновременно с этим письмом шлю письмо Б.М-чу (он уже вернулся из Карачева, где гостил у сестры), - прошу его

а

узнать на Петровке в Дерутре цену ж.д. билета и тотчас же отписать Вам.

Далее: о визе мельком слыхала, что она будто бы оплачивается здесь. О цене визы тоже сейчас напишу друзьям, едущим за границу. Нет, позвонила им по телефону. Узнала, что за визу они платили здесь. Цены не узнала, -каждая страна имеет другую цену. О цене визы в Италию Вам тоже сообщит Борис Михайлович.

Кажется, деловое – все. Куда слать мне «Д е т с т в о»? Лучше всего – на Музей. Напишите мне, о чем – «Сорок лет». Кончено ли, вышло ли. Если есть «Фома Гордеев» или что-либо из старого – была бы счастлива получить.

Перечитываю Ваше письмо: «И еще несколько разных «и». «И хотя Вы пишете, что Вам будто бы 32 года, но восхищаетесь как институтка». Я прочла внимательно, и включив это «и хотя» в разряд разных «и», искренне сочувствую Вашему недовольству. «Широкко», плохой пьесой, и моим институтством. Я бы точно такие писала бы кому-нибудь младшему! Я знаю отца, который на романтически-трагичное письмо сына, что он находит лишь одно достойное в мире: броситься с Исакиевского собора – ответил: «Почему так невысоко? Надо поискать повыше. Наверное, есть тут какое-нибудь такое здание». А Вы боитесь, что я пойду босая по снегу, который не сумел простудить даже институтку! Отослав Вам столько длинных писем, не смею Вас утомлять. О Честертоне совершенно согласна. В нем есть пошлость. Но «Человека» его -люблю (Честертон. «Человек, который был Четвергом»), О Келлермане же – Вы «Т у н н е л ь» читали? Это изумительная по простоте и сердечности книга. Пожалуйста, ответьте мне о ней. Прозу («Детство Люверс») Бориса Леонидовича я тоже люблю больше, чем стихи.

Бесконечно радуюсь встрече, но еще мало верю ей. Так привыкла, что мечты рушатся. Как я буду счастлива увидеть Вас!

Высылайте с визами – вызов с Вашей заверенной подписью: что приглашаете Вы. Что Вы думаете о Марсель Пруст? *A la recherche du tempsperdu* («В погоне за утраченным временем»). Можно ли лечить бронхиальную астму и лечитесь ли Вы?

Ваша А.Ц.

Письмо от, примерно, середины VII.,27,...Несколько часов назад я проводила на вокзал Бориса Михайловича. И – необычайно мне весь вечер. Он сейчас едет к Вам. Я ужасно за него счастлива! Мой отъезд еще далек. Сегодня, со всеми бумагами, мое дело о выезде к Вам подано мной в АОМС, ответ дают на 10-й день, а там еще визные дела промежуточных стран – надо считать, 2 недели, – начало августа. Моего отпуска начало пройдет здесь – так жаль! Но я не об этом. Как было удивительно, чудесно, как голова с плеч – стоять, добежав, в унисон с поездом, до последнего шага перрона – состязание, как в молодости, встарь! – и в густом стуке сердцебиения и колес видеть, как уносятся вагоны (мелькнул в окне профиль Екатерины Павловны, милый (я ее очень люблю! с детства, ведь с моих 11 лет, в Ялте – Марине было 13, и она тайком ходила на собрания, где бывала Е.П.), поезд точно обрезало торцом последнего вагона, серебряно хлынули рельсы – точно бросили тебя с высоты, – или только родился, что ли? – тихо слезы к глазам! Застенчиво перед силой факта (Вы это знаете, – знаю...) – и до дна чистое, вдруг, нутро. Голая чистота волнения, беспомощная в своей строгости. Стояла, ветер дул, было сладко от благодарности жизни. Зачем так щедро дает? Я ее и так люблю... И еще поражает! Чувство неловкости перед жизнью. Правда, это было коротко. Пять минут спустя тихо шла с вокзала, считая, хватит ли на трамвай, – и еще раз вглотнутое, властное как дыхание, чувство: неверно живу! Проще, чище! Спешка, дела, суета, все сгнуло, отъезд как ножом разрубает все! И всегдашнее: ведь будет отъезд (и какой! Каждому – Смерть... В юности – очень боялась.) И весь вечер сегодня тих, – суп варила, и то кротко. И убирала. Да, если очень подумать, очень дочувствовать – смерть это очень хорошо. Только так непомерно огромно, что едва хватает сил обозреть. Переживать ее, верно, очень

трудно: уж так встать во весь рост надо, что – жилы на части. А – надо. Как уважает человека жизнь, что преподносит ему смерть: требование справиться, расчет на величие духа, приказ. Прекрасно.

Варю обед, а в окно – 10 лет не слышанный мотив. Есть песня – я ее очень любила в детстве – «Вернись в Сорренто» " и я ее не слыхала ровно 10 лет! Надо же было ей зазвучать именно сегодня! Я это приняла как предзнаменование. Пишу,

и не покидает меня насмешливое состояние, в котором Вы, вероятно (ну, не насмешливо, чуть вбок, иначе) читаете мое письмо. Все тот же упрек в «восторженности», я его чую, макая перо. И мне от него – тесно! Не потому, что я, действительно, восторжена (это бы еще полбеда – такие вещи с годами проходят), а потому, что я очень аналитический и спокойный в душе человек, но разве непременно надо брать слова совсем уже вялые – чтобы писать о большом? Ведь есть же большое! Рождение, смерть, вот встреча Вас и Б.М-ча – по-моему, я очень сдержанно пишу.

Да даже если б я писала более «пышно» – слова, ведь, это «ходули» (по Ницше), нужные для того, чтобы не дать заметить длинных ног наших... Те три минуты на перроне настолько сильнее, чем все, что я о них напишу! Вот мое «оправдание». Я живу убого на время и силы, мечтала бы планировать каждые полчаса, я не понимаю отдыха, я люблю только распределение дня, редко хожу в театр и на литературные вечера, часто тоскую в обществе – еще будете меня упрекать за обратное, чем «восторженность» (столькие уже упрекают! и, может быть, правы) – но есть мировая струя подлинного волнения, в отзвуке на которую себе нельзя отказать, нося титул «оптимиста» (глупое слово!).

Ваше бытие, Ваша дружба с Б.М-чем, Ваши книги – в этой струе. И настойчиво, хоть кротко, прошу: не



упрекайте меня (всерьез) в «восторженности». Мне будет обидно - непонимание от Вас. Вечная тоска не быть понятым и приучила меня к самозащите. Это дурная привычка, я знаю. Простите меня.

Екатерина Павловна ехала с Борисом Михайловичем до Минска. Когда Б.М. будет дарить Марфиньке куклу, заказанную им мне, помните: от шпаги, им, кажется, смастеренной вопреки моим увещаниям, - я отрекаюсь. И надеюсь, что Макс и его жена шпггу ей не дадут. Читаю «В людях». Как я люблю Вашу жизнь. Ваше обхождение с чертежом привело меня (опять!) в восторг и умиление. Спасибо за «Детство» и «Людей».

Ваша А.Ц.

29 июля 1927 г.

Ночь. Завтра я получаю - сказала Екатерина Павловна - разрешение и тогда дня через 2-3, кончив с билетом, транзитными визами и пр. - трогаюсь в путь. Очень мало спала последнее время, потому - немного бредовое состояние. Сын, которого отправляю к родным на дачу, торопится кончить недопроработанные за зиму темы по обществоведению. Сейчас - шьет (странная способность!) - вышивает (14 лет мальчик) подарок знакомому мальчику 7 лет - «Красную Шапочку» с тщательно задумчивым волком, золотыми птицами, яблоками и атласным лесным прудом (не аппликация, и все - по-своему, сам). Работает медленно, а гоню спать - не хочет: - надо успеть к сроку - вечером без меня, подозреваю, читал «В людях»: странно оживляется при именах героев.

Соседи уже спят. Живем сурово, по часам, но периодически не хватает дня кончить дела (без меня запоем читает об открытиях и приключениях, а потом, спохватясь, поздно садится за сочинение о крепостном праве, мне, лукаво: «Вы же пишете письмо? Ну и я допишу!») Кончила «Детство». Печально, просто и

удивительно, как сама жизнь. Дочтя, | лежала. Очень болела голова.

Думала о Вас. Мне кажется, я Вас так знаю (не обидьтесь!), что даже нечего спрашивать. Читаю, и покой какого-то совершенства. Вашего ли? Их ли? (бабушка! полюбила ее на всю жизнь! Цыганка «Хорошее дело»)? или совершенства каких-то больших вещей, струящихся через сердце, - я не знаю, как это назвать. (М.б., это то, что критики называют «историческим значением» М.Горького? Что ж! Живое касание к «историческому значению»? Оно | переживается удивительно.)!

Мне все кажется, что Вы недоверчивы к исключительности | моего понимания или устали от понимания (непонимания?)! вообще, или другое цените (соглашаюсь!) - словом, мне все ' хочется Вам сказать, чтобы Вы не пытались мне объяснить это, - я, ведь, понимаю! Восхищение - это же скучно. Нечего 1 делать, когда другой восхищен. Поклон исполнителя-творШ на сцене, желание уйти от рукоплесканий. Я не о том. Я; как раз о том, что есть и у зрителя - гордость: просто рукоплескать! \

Ведь зритель не виноват, что скучно от рукоплесканий, что ему уже брезжит следующая вещь, сделанная -сброшенная. И какие глупости я пишу! Я думала о том, что строгость в Вас только от матери, остальное - от отца.

После «Детства» Вы мне яснее, четче. Я бы хотела Вам написать подробно о многих страницах этой книги, но Вам некогда читать, и уже почти утро, все в доме давно спят, надо ложиться. Это письмо, верно, до отъезда - последнее. Если очереди с визами и прочим продлятся - м.б., успею дочесть «В людях».

«...М.б., меня так и оставят навсегда на пустом пароходе?»

О купоросе на пожаре, когда клубок к горлу от волнения и гордости за бабушку. «Ты гляди, не помереть бы мне!» - «Не бойся, догляжу!» Села у окна и, посасывая губы, стала часто сплевывать в платок». «Над ее головой сверкали звезды, на улице было тихо, в комнате - темно». (После побоев.)

«...Что читают священник и дьячок - это дедову богу, а певчие поют - бабушкиному. (Б.М. меня часто корит, что в дне - у меня Бог - Вашего деда. Суровый, - долг, долг. Для Андрюши - безрадостный!)

Скворушка. Беседы с «Хорошее дело», чудесные по недосказанному и важному. Горечь шагнуть дальше бубуш-ки; понять «Хорошее дело» - а она не поняла! Касание к законам жизни, пределам, невинным и тягостным. «В сравнении с матерью все было, жалостное и старое, я тоже чувствовал себя старым, как дед». Плач втроем: дед, бабушка и Вы - «приняли меня в свой плач». Чудный по недоуменности разговор матери и сына о стихах («иди в угол»). Читала Андрюше - залился смехом, как участник. Ваши стихи про нищих. Как Саша прятался от школы и что отвечал деду.

Вы так понимаете мальчиков, эту стихию мудрого идиотизма, уверток, заколдованности мальчишьей головы. (Я перед Андрюшей часто как перед вопросительным знаком.) «У меня была своя задача: сделаться офицером с большой светлой бородой». В «Тараканах» о птицах с проколотым языком - «они рады». Как Вы заглянули в эту вязкую молчащую гущу непонятностей детского возраста! Пастернак в «Детство Люверс» дал организованное сумасшествие, сдвинул планы, навел на них бенгальский огонь. У Вас - удивительно, даже жутко по дневному освещению.

Про яму: «Нехорошо смотреть на нее, ничего весеннее нет в ней, черные головки лоснятся печально, и вся яма раздражающе - ненужна». О свече, которую

задули. «Так свежей и чище, перестали возиться темные теки, на поляну легли голубые пятна. Хорошо».

(Я тоже пишу о детстве. Интересно, одобрите ли.)

«Свинцовые мерзости» – да стоит ли говорить об этом? И с обновленной уверенностью отвечаю себе: стоит...

«Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти!..»

Великолепно! Кто так говорил? Еще – Борис Михайлович, Это очень близко ему. Абсолютно – победная нота при знании всего. Все опускали голову или прятали ее под крыло. Не умеют смотреть на солнце (пусть мрак будет на миг черным солнцем) – слепнут! Не знают, что подобно затмению у светлого солнца – у черного есть потоки света, и их можно видеть (легко!) – промыв закопченные стекла. Спасибо за четкое «да!» Ну, будет! Простите за рукоплесканья. Без 'л

5 утра. Солнце! В 9 надо быть в АОМСЕ – узнавать о выезде. Скажите Б.М., что морем надо 12-13 дней быть на воде плюс два дня до Одессы – потому еду на Вену. Из Италии дам телеграмму. (Из Константинополя, правда, есть экспресс, но ходит раз в неделю и, опоздав, надо 6-7 дней его ждать). Еду сушей. Пишу и еще не верю. Мне помогает усталость и работа. Часы летят, не успеваю думать. Б.М. мой привет и – до свиданья! На дорогу накупила несколько Ваших мелких вещей. 30-го VII. Разрешено. Еду на днях. Вена - Венеция! Привет Максусу.

Ваша А.Ц.

Венеция, 7.VII. 27 (Картолина из Венеции.)

Неудача у меня с венецианскими музеями! Нарочно осталась ждать воскресенья как дарового дня ( № гостиницы обходится дешевле, чем плата за вход в 3-4 музея и в Академию), но так устала от Москвы и с дороги, что встала в 10 часов, не зная, что в 12 уж все

закрыто. И-не попала ни в Академию, никуда. Остаться же еще на 1 1/2 дня (поезд идет вечером) не могу – соскучилась по Вас.

Бросаю «служебный долг» (т.е. то, что надо бы достать – проспекты музеев, – хватит флорентийских и римских!). Бог с ней, с Венецией! Еду нынче во Флоренцию. (Помимо струи Арно, мосты – в юности). Из Рима дам телеграмму.

Перевертываю и смотрю – точно вхожу в Венецианскую картолину: Ponte Vecchio и его отражение в воде, два Понте Веккио! С 1936-37, после Горького пролежавшие в папке Архива – 34 года...

У моего многолетнего друга, Марии Ивановны Гриневой, актрисы, писательницы и драматурга, о которой я рассказывала Горькому и с которой я переписывалась в то время, сохранились листки блокнота, на которых я в пути писала ей о сложном моем путешествии: «Пишу с вокзала Флоренции, где жду поезда на Рим. Поведаю тебе о моих злоключениях. Ты поймешь и не упрекнешь. Маруся, маюсь 7-ой день. Стараясь сократить расходы, еду 3-м классом, конечно, – ни в какой мере не сравнимым здесь – с 3-м классом русских железных дорог. Сидячие места и ночью, узкие коридоры, в которых кидает от стенки к стенке, когда приходится идти по нему. Частые пересадки без носильщика. Так устала, что мечтала бы лежать на твоей деревенской кровати, чтобы тихо – и кринка молока с погребом... А зато -сколько сэкономлено денег! Еду, ведь не на свои!

И все-таки оставила себе наличными слишком мало, на руках чек, по которому дадут только через 3 дня в Риме, а в кармане – 22 лиры (около 3-4 руб.). За сутки съела лишь кило фруктов, которые здесь так дешевы. И от страха, что проголодаюсь не в меру наличных – уже чувство голода. Страшно в чужом городе – с грошами. Это я испытала и 15 лет назад, за границей, когда тоже

что-то не то сделала с чеком. Нет, в 17 лет с чеками было – обратное: – перетратила, чеки кончились в чековой книжке, и была волокита, пока достала. В России никогда не чувствуешь ничего подобного – там от века сочувствие к неимущему человеку. Здесь – отчуждение: человек должен иметь деньги, или – прочь с дороги. Вместо обеда – выпила кофе и молока. От недостатка – сна – качаюсь. Зато вчера, кончив деловое, чтоб отдать честь Венеции – за 1/г рубля проехала 1/г часа в гондоле и подала двум несчастным нищим. Итальянские нищие! Я помню их с моего первого приезда сюда, в 8 лет. Спадает жара – днем дышать нечем. Идешь от киоска к киоску, ненасытно пьешь воду – миндальную, ореховую, апельсинную. Везде спущены жалюзи, – в кафе, в кабачках, в магазинах. Как в России радуются солнцу, так тут – тени. Среди дня в учреждениях долгий перерыв: в такой жаре работать нельзя. В Флорентийском банке отказали выдать деньги. Меня шатало от сна. Шла в галерею Уфици без денег – здесь дорогие билеты в Музей, – пришлось мне идти в дирекцию, предъявив визитную карточку, где по-итальянски сказано, что я – член Союза писателей Москвы и научный сотрудник Музея Изящных искусств, – чтоб дали мне пропуск в галерею и каталог для Москвы. Проверяли паспорт – стеклянно-вежливо держат они красную книжку с золотым серпом – осторожность и отчужденность. Дали. И вот я в прохладе знаменитых зал, без сил глядеть и воспринимать, жаждая только сна и еды. Прошу тебя, если будешь отвечать мне на адрес Алексея Максимовича, не пиши на эту тему. Открытку могут передать Борису Михайловичу (я просила его читать мои письма), но огорчить его или Алексея Максимовича моей невеселой поездкой – никак не хочу. Так вот: после галереи предстояло ехать дальше в 12 ч. ночи (до тех пор на вокзале без денег) и до 8 утра сидеть в

вагоне до Рима, чтоб не платить за эту ночь в гостинице.

Сквозь весь туман усталости – все же хочу сказать: Вена с виду та же, что в моем детстве! Хороша. Движения в ней – меньше, чем в Москве. Удивительно: в самый день моего проезда через нее – от поезда до поезда вышла в город – в Вене произошло восстание. Толком ничего не узнала, но на лицах почуяла волнение. В какие-то районы – не пропускали. В поезде же ничего не знали – так и уехали, не зная что происходит...

Тироль так же чудесен, как когда видала его ребенком – тогда ехали всей семьей, везли маму, больную, в Нерви, под Геную. Думала ли мама, что ее 8-летняя дочь, выросши, будет ехать этим путем – к одному из самых любимых ее писателей, – к Горькому? Странная вещь – жизнь... Стою у окна – летят, кружась, горы, долины – слепящее солнце на перевозданной – как будто тут всегда весна – зелени, пенный извив горной речки, ниточка далекого водопада, отвесная крутизна скалы; у ее подножья – точно детские игрушечные домики, разбросана, пригоршней, деревушка, – и все это срезает туннель, вплотную поезд черной пастью, стрекот

колес по шпалам, несемся, буравя тьму, – и вылетаем в новую сверкающую панораму, в разлив новых горных цепей, вблизи – коричневых и зеленых, лиловых, дымных вдали. А долина – кружится, точно мы летим по гигантской карусели, поезд загибает – (видно впереди паровоз), наш дым сливается с облаками, пролетел водопад – шумом и пенящейся белизной – стадо коз – мостик – речка подбегает почти к самым вагонам, и над этой яростной красотой встреч, поглощенья, прощанья – крик нашего поезда, зовущий куда-то... А в Вене – падают люди на улицах, льется кровь!

Венецию видела во 2-й раз. Их две: голубой провал неба, упавшего в воду, блеск, высота, глубина. Вблизи – темная зелень каналов, скольжение гондол, невероятная форма которых, рожденная фантазией сказочника, не дает наглядеться глазу. Дворцы, уронившие свои отражения в море, как сияющую тень. И – ночь, вторая Венеция, так непохожая на дневную, что никакой между ними связи. Все черно, и пропала даль. Она всплескивается только там, где от луны лунный столб, обрезанный, как ножом, горизонтом, и где, далеко, огни. Круто выгнутый горб мостов, повторенный в воде одним столбиком огонька, утонувший. Мерный всплеск весла -гондольер гребет, стоя, то вправо, то влево. Это видение гондольера в гондоле, возникающее ночью всегда сразу, почти бесшумно, еще фантастичнее, чем синяя бездна дня.

Но есть один час, который перу – не под стать: тот, когда дневная Венеция переходит в Венецию ночи: час сумерек. Это уже удел – кисти. Но и она без сил опускается перед тайной метаморфозы. Голубое, переходя в синюю мглу, роняет свой блеск в сумеречные волны, а они, озарясь гибнущим в них сияньем, медлят поглотить свет... Тогда здесь и там – и везде – медленно? сразу? синюю тьму пронзают золотые, бледные фонари, и волна качает их почти еще серебряные столбики, призрачные, как весь этот час. В этот вечер был какой-то праздник, карнавал на лодках, и я со спутницей по гостинице, молодой немкой, как я, одинокой, взяли места в общественной барке-гондоле, и слушали мандолины, гитары, итальянское пение, уклонялись от серпантинов, пока барка в общем потоке гондол плыла по Canale Grande – к Lido<sup>1</sup>.

1 Большому каналу – к Лидо.

Это – пульс, настоящий, народа, – эта песня на море, кидающаяся с барки на барку, горящая, как воздушный костер над струями каналов, не загасимое ничем –



никаким суровым правительством, древнее и вечное веселье молодости, девичьей и юношеской любви. Шутка, брызжущая из фонтана радости жизни, остроумие, рожденное вековечным протестом, жаркой страстью ничему не подчиняться, вольно дышать, быть!

О чем думала моя спутница-немочка, что вспоминала? А я - я, увы, не участвовала в карнавальном весельи - я глядела, стараясь запомнить - чтоб рассказать - а сама, подрагивая как от ночного ветерка, от своего одиночества, от своих - это так много! тридцати двух лет - про себя считала часы до завтрашнего отхода поезда - поскорей во Флоренцию и в Рим - за каталогами и деньгами (Бог с ним, и с Форумом, когда он еще отдаляет Сорренто...).

(В катакомбах я, 17-ти лет, была - помню. Помню скелет, и над черепом - волна золотистых волос, остаток искусной прически; чудится мне - и гребень, высокий... Две тысячи лет! Почему в катакомбах, христианских - легла эта женщина, по прическе - вероятно знатная и нарядная, вся истлевшая, кроме головного убранства? Я долго стояла над ней, и мои 17 лет вспоминали «Боярина Оршу».)

В Сорренто, в Сорренто! Когда же я буду там? Как жесток этот медленный путь - к Горькому!»

Вот что еще писала я в Москву, в семью, где был оставлен мой 14-летний Андрюша: «В Венеции не видела ни одной лошади, ни одного автомобиля, ни трамвая. Ни одного велосипеда! Но есть тут и пешеходные улочки, в сажень шириной. Кое-где дома, над узкими каналами соединены полумостиками, полугалереями. Ступени крылец сходят прямо в воду. К ним подъезжают гондолы. Самое удивительное, что я увожу отсюда - это зрелище св.Марка. Собор. В первый раз я испытала ощущение вечности. Может быть, это чувство - истории? Древности... Я стояла там всего минут пять: собор закрывали, уже гремели ключи. Сине-

зеленая мозаика стен в сумраке была еще синее и зеленее. Пахло сыростью? Круглые своды, мгла, и гулкая тишина... Я стояла, дышала, слушала. Сердце билось. Это было какое-то приобщение к древности, к Востоку, и дыханию и весу истории... Но у меня совсем уже нет больше сил, после этих бессонных

ночей, и со скудным питанием этих дней. Уже начинается суэта с чемоданами, вокзал оживляется. Снова борьба с жаждой! Последние гроши тают. Я должна дотянуть до Рима.

Не жалея меня, Маруся! Мне предстоит счастье свиданья с Горьким. Оно смоет все. Из Рима я помню – банальность его новых «европейских» улиц, жару, суету. Древний Рим я помню – с 17-ти лет. В усталости и тоске я спешила скорей в Сорренто».

Виадук, дымки поездов, с детства любимый вокзальный -паровозная гарь? – запах, столь слитый с криком уходящих поездов, что он уже почти и звук тоже, и поезд влетает в царство себе подобных – как впускают еще одного льва в львиную клетку зоосада: Неаполь!

Сердце сжато – и ширится, глаза навеки запоминают этот час, этот миг, это утро: от Неаполя до Сорренто пароходом часа два. Сжав ручку чемодана, стою. Да, совершенно как сон проскальзывает Неаполь: вокзал – пристань, такси. Пароход ходит в Сорренто раз в день. Сизая дымка жаркого утра, распускающегося в жару, как распускается роза! Неужели мне тридцать два года? Будто бы мне – двадцать...

И вот еще надо стоять и ходить, на палубе, сто двадцать минут, два часа!.. Почему я всегда знала – помнила -говорила, – что Средиземное море – зеленое? Синий круг маленьких волн, и над ним – голубой шар неба (нет -полшара! Нижнее – водяное полушарие) и посреди них на всех парах пароходного своего устройства, медленно, как по тарелке муха ползет, по

синеве пароход... Мчится? Как измерить, как вспомнить, как воскресить эту текущую вереницу получасов небесной морской тиши, и палубной суеты, которыми моя жизнь, наконец, близится к Горькому? Может быть, мне - шестнадцать? Кто узнает, сколько сейчас лет?..

Крутые скалы, ярко-коричневые - цвет похож на те, на *coted' azur, cheneol' esterel* и что-то еще звалось (ускользает предыдущее слово *d'or* - золотое) в те 17 мои, когда так пахло мимозами! Крики, канаты, трап, люди, люди, - как быстро те, что сошли впереди, разбирают коляски, автомобили, с тревогой смотрю я. Но когда я сошла, все еще остается одна коляска. Ко мне подбегает небольшой человек, смуглый черноглазый. В котелке. Гид? «*Villa Sorito, villa Sorito*»<sup>1</sup>, - Вилла Сорито-вилла, где жил М. Горький.

' 'ч?' говорит он приветливо и берет у меня из руки чемодан, из другой - чемоданчик. Как любезно со стороны Горького - это уж и чрезмерно - он прислал мне коляску! Весело я вскакиваю в нее, спутник - «на облучок», рядом с кучером, и, кивая, что-то говорит мне по-итальянски, - непонятное. Но я знаю этих людей: гид, узнав, что я еду на виллу Сорито, примазался к кучеру - чтоб мне объяснять «*la bellarapogama*»<sup>1</sup> и затем взять с меня денег. Но как отделаться от него? Поздно, мы уже едем по маленькому городку. Ослепительно белая дорога, меловая. Кое-где пальмы. Плоские крыши. Зеленые жалюзи. Ох как жарко!.. Я знаю, что ехать нам долго, - Алексей Максимович живет у конца Сорренто, - и я сажусь поудобней, щурясь от солнца и стараясь увидеть и запомнить этот невозвратимый час. Но внезапно коляска наша с разлету останавливается у невысокого дома. Надпись: «Префектура».

Одним точным движением два карабинера, как заводные, становятся по оба бока коляски. Их форма та же, что в моем детстве в Нерви, - синяя с красным, и

короткие пелерины, и треуголки. Кто-то схватывает мой багаж, и, следуя настойчиво-вежливому приглашению, ничего не понимая, схожу из коляски, не успев еще осмыслить, почему «Префектура», – я уж поднимаюсь по лестнице.

Я одна, в пустой комнате. Багаж – унесен. Никого. Может быть, запах присутственных мест или эта внезапная тишина пустой комнаты? «Арестована...» – понимаю вдруг я. (Только теперь вспоминаю визит ко мне в римской гостинице, беседу на итало-французском? франко-итальянском? языке – о моей визе. Я там смеялась, убеждая гостя, что виза в порядке,! дана на три месяца, что я могу где хочу проживать в Италии, – он допытывался, настаивал: но в Риме я буду недолго? Я же еду к Massimo Gorki? Каким поездом я отъезжаю в Неаполь? Вечерним? Аччелерато? (ускоренным? Да, да, да...)

Ко мне входят. Попросят следовать. Следую. Чувствую только одно: тревогу, что рукописи в маленьком чемоданчике не со мной! Что они русские... Непонятные работникам префектуры! А вдруг они их не отдадут и я не смогу прочесть

1 Прекрасную панораму (итал.).

Горькому ни сказок восточных, ни из романа о детях, ни начала романа «Музей».

Я стою у стола перед плотным, смуглым, средних лет человеком с большими глазами, черными. Высокие круглые брови. Он холодно-вежливо просит сесть. Долго и пристально рассматривает мои документы: огненный паспорт, итальянскую визу, итальянскую визитную карточку. Но говорить друг с другом – не можем: я не понимаю его итальянской речи, он не говорит по-французски. Приглашают переводчика. Он, видимо, вводит в заблуждение свое начальство: по-немецки – tedesco-он, увы, говорить не умеет, как я ни старалась ему помочь. Ведут еще кого-то... (И Горький

не знает, что я - через несколько улиц от виллы Сорито!) Однако настоящей тревоги я не испытываю. Не упускаю и юмор: как ни перевертывает начальник и так и сяк пакет моих рукописей - кто ему их прочтет? Мне переводят на французский вопросы: кто я Горькому? Не sorella<sup>1</sup> ему? Нет. Зачем я еду к нему? Потому что он П grande scrittore<sup>2</sup> русский. А я тоже «scrittore», хоть и не «grande». Вот моя визитная карточка. «О чем вы собираетесь писать тут, в Италии?» - с трудом понимаю я. «О синем море, о красоте итальянской природы!» Я прямо смотрю в глаза. Улыбаюсь. Крыло горьковской славы надо мной. Я его гость. Его имя мне тут защита. Меня спрашивают строго, но вежливо. Отвечаю тоже вежливо, но более весело. (Юмор того, что под окном ругается и кричит мой кучер, ища своего пропавшего седока, говорит мне о скорой свободе.) Мне возвращают рукописи. Выносят мои чемоданы. Гора с плеч!

Улицы, пальмы, сады, меловая дорога...

Она стоит в конце изгибающейся по холму дороги, вилла Сорито, как когда-то стояла в Ялте, на Дарсановской горе, напротив дачи Елпатьевского, - дача Карбоньер: у правого бока дороги, ближе к морю (а дача Елпатьевского, где мы - Марина и я - жили в 1905-06 гг. с мамой, и там же жена Горького, Екатерина Павловна с Максом и Катей - стояла по левый бок дороги, дальше от моря, ближе к горе).

1 Сестра.

2 Великий писатель.

Но прежде всего я хочу сказать еще раз то, что я много раз говорила в ответ на вопросы, вернувшись от Алексея Максимовича: стух, упорный, что он живет в своей вилле, - аберрация. Вилла Сорито - владение итальянского обедневшего герцога (столь обедневшего, и столь старого, и столь скромного, что совсем не верится, что он «герцог»: худенький, серенький старичок).

Горький занимал второй и третий этажи его виллы, хозяин – первый этаж. Почему я так акцентирую этот факт? Что особенного было бы Горькому иметь свою виллу? Ничего особенного, разумеется. Но он ее не имел, и зачем же настойчиво дарить ему эту виллу, ему не принадлежавшую.

Это о фактической стороне слуха. Но есть еще и психологическая сторона: чтобы человек стал владельцем чего-то, надо, чтобы он этого пожелал. И вот именно желания иметь свой дом у Горького, видимо, не было. Ни хозяйственного, ни имущественного интереса в эту сторону у Горького не проявлялось. Что-то было в нем, что уводило его от этого желания, естественного для так многих. Эта естественная склонность быть хозяином стен, тебя окружающих, «не шла» бы Горькому: нечто слишком занятое другим (людьми, перепиской, писательским трудом, беседами, газетами) было в нем; и, с другой стороны, нечто отрешенное от быта, домашних и хозяйственных мероприятий. Просто трудно представить себе его «у своей машины» (как, например, его спортсмена-сына) или за разработкой гряд, клумб. Этот стиль жизни был чужд Горькому. Вот это мне (в психологическом разрезе) только и хотелось сказать.

Когда наконец экипаж остановился наискось от виллы Сорито, у маленького, низкого здания с надписью «Минерва», меня провели в отведенную мне комнату, белую, с окном на поднимающуюся за ним гору; на кровати был полог из белого тюля, ее скрывающий, высокий и широкий, – от москитов.

Сорренто – внизу (мой путь шел, кружась, в гору), внизу, вместе с морем сброшено в светлую бездну дали, зеркальности залива, чуть затуманенного жарой дня. И вот из дома чуть наискось – напротив виллы «Сорито», стоящей ближе к горам как тогда дача Елпатьевского,

выходит – на звук коляски? – я Борис Михайлович Зубакин, гостящий у Горького.

– Вы будете жить здесь, как и я, и другие. Это – отель «Минерва». Тут Алексей Максимович помещает гостей, когда в доме нет места.

Рассказывая о моем приключении, я расплачиваюсь с потерпевшим кучером, Борис Михайлович берет мои вещи, ведет меня в мою комнату. Чисто, бело, нарядно. Тюлевый полог над кроватью – от москитов. Дверь в коридор раскрыта, там окно горит золотистой крутизной отвесно за ним стоящей горы... Я – в Сорренто.

– А когда ж я увижу Горького?

– Скоро. Будет гонг к обеду. До обеда он работает, его беспокоить нельзя. Имейте в виду, что Горький на Вас обижен – ждал Вас раньше. Вам будет очень трудно разубедить его, Анастасия Иоановна (так звал меня Зубакин), – он очень обидчив. О, тонко обидчив, – это такая душа – редчайшая. Мы не ошиблись в нем – это человек изумительный! Глубина – невероятная. Все понимает! Очень горд. Очень застенчив. Это – музыка... И очень одинок, хоть всегда окружен людьми...

Я еще не успела переодеться с дороги, как ко мне постучали: на пороге стоял смуглый худой человек, и лицо его было знакомо. Макс, сын Горького! Я не видела его с 1906 года, двадцать один год. «Отец просит вас к себе, – сказал он после рукопожатия и первых приветственных слов, – сейчас будет гонг, и мы все соберемся к обеду». – «Макс, а меня ведь арестовали! Я думала, я и не выберусь к вам...» – «Я знаю, мне уже сказали. Здесь шпики ведь особенные: стоят на наблюдательных постах совсем открыто.

Я многих из них знаю». Как странно было смотреть на друга детских игр – так изменившегося и такого знакомого; что-то в голосе было то же, глаза были те же и та же застенчивость, принявшая формы взрослости,

какая была в мальчике. «Так мы вас ждем». – «Я сейчас приду, только умоюсь».

И уже слышался гонг.

Стройный, белый, плоскокрыший дом. Три этажа. Террасы.

Сорренто далеко позади (вправо и вниз). Влево – поворот к шоссе, круто кидаящийся в графику стен и садов. Я не знаю, куда вело это шоссе, – в моем восприятии оно здесь кончалось. Здесь живет Горький. Не все ли равно, к каким итальянским селеньям ведет отсюда шоссе?

Вокруг большого стола рассаживались люди. На фоне прикрытого жалюзи окна их лица были неразличимы. Но вот, отделяясь от других, слева, шагая через узенькую полосу, точно через палочку солнца, к нам двинулся кто-то высокий, знакомый по портретам и незнакомый потому, что в светлом, выше – страннее – иной – худее, моложе... Рукопожатие, Сели за стол. Недоосознав первого впечатления, изумленности о молодости и высоком росте, я уже переживала второе и третье. Как волны моря – не взять неводом. Но, беря палитру и кисть, условно и схематично, вот мое впечатление первого дня с Горьким.

Так вот он какой... Сдержанный, почти сухой, почти суровый. В обращении – чинность, пристальная внимательность, деловая серьезность. Между вами и им – дистанция. Это устанавливается сразу, так просто и так повелительно, что невозможно вознегодовать. Безвкусным, легковесным и безответственным предстает вам вдруг всякое иное человеческое общение. Сусальным «русским человеком» с его пресловутой «задушевностью» мне через час показался тот Горький, которого я ждала.

Горький – строг. Этим много, действительно много о нем сказано. (Мысль: строг к другим – как к себе.)



Темы первого разговора? Осмотренный мною по пути музей, что-то о Неаполе. О газетах из Советской России. И больше, чем тема, – в глазах Горького ненависть – суд над Сакко и Ванцетти.

Так вот оно, живое, это лицо, тридцать лет спустя, в первый раз! Вне возраста, – никакой старости! Широкоскулое и худое, в щеках провалы, волосы сбриты, серый пушок. Усы густые, вниз, рыжие. Глаза – синеватые. И мои глаза не верят, что это явь.

Не похож на свои портреты: бесконечное богатство мимики. Но каждый портрет что-то схватил, и перед глядящими, как в кинофильме, мелькает в волшебной смене то один, то другой портрет, – а, и еще этот? – гасимые текущей сменой вовсе новых, аппаратом не виданных лиц.

Он говорит, голос глуховатый, на «о», на мой слух чуть невнятный в своих утиханиях, но когда близко или привыкнешь, в негромких интонациях такая мощь тончайших смысловых переливов, как бывает разве что в музыке. Когда же их не хватает – рассказ переходит в жест. Кто напишет

о его жестах? Я только отмечу в них не виданную мною выразительность. Интеллектуализм? С их длинных, спокойных всплесков, с холодка неуловимых движений этого веющего смычка каплет горячий воск – печать на то волнение рассказа, которое нельзя передать. Это высокая марка волнения.

Лицо – голос – жест. С чего начать дальше? С того, что вокруг стола, где сидим, – люди, давно знающие Горького. Что мне неловко. Что мешают тарелки, ваза с фруктами, стены, окна с каким-то садом и жаркий, равнодушный к моему приезду – как завтра и как вчера – день.

Большая комната с тремя окнами – дверями на балкон. Вид на далекое море с правым крылом гор и Сорренто, с очень бледным треугольником Везувия.

Каменный светлый мозаичный пол. От него ли или от стольких дверей на воздух – впечатление холода и простора. Книжные полки. Никакого беспорядка. Никаких вещей, подчеркивающих индивидуальность хозяина. Серьезно, спокойно. За рабочим креслом большого стола стопка остро очиненных цветных карандашей, над полкой небольшой портрет Пушкина. Две-три картины. В углу за ширмой – кровать.

Что он говорил? Что запомнилось из его слов о писателях? Неожиданность его облика поглотила всю силу внимания. В памяти – случайные отрывки. Их помещаю, извиняясь за хаотичность их: «Бабель – очень серьезен. «Конармия»... Замечательный будет писатель!» Об Ольге Форш – с похвалой («Современники», «Одеты камнем»). Высоко ставит Сергеева-Ценского.

– Мне не понять, как Борис Пастернак так перевоплотился в тринадцатилетнюю девочку («Детство Люверс»). Моему пониманию это недоступно!

И – Борису Михайловичу и мне:

– Хотел бы с ним встретиться. В Москве познакомьте меня с ним!

– Отлично. Он будет рад. Он чудесно, о Вас говорил.

– Вы любите Блока? – спросила я.

– Нельзя ответить на это. Заинтересован был очень. Да. У него никогда нельзя было знать, что он сделает в следующую минуту. Я его и пьяным видел: тело пьяного человека, а слова, мысли, поступки – его обычные. Видал,

как ухаживал за женщинами, видал на заседаниях. Стихи читал как никто...

Еще о поэтах:

– Бориса Садовского уже с 15 лет считал выдающимся талантом. Он и вправду талантлив! Помню его в мундирчике, тонким-тонким голосом читающим

стихи, – как игрушка. Его очень в семье баловали. Был кумиром. Каждое желание исполнялось.

– Перед «Вечерними огнями\* Фета – преклоняюсь. (И о любви Фета, восьмидесяти лет к восемнадцатилетней, смерть после объяснения с ней.)

– Апухтин – пустое место.

Чехова-человека любит. И писателя хвалит. (Из его вещей больше всего отмечает «Степь».)

Лескова горячо чтит.

Об Андрееве говорит с нежностью.

Резко не любит Владимира Соловьева.

– Конечно, есть неплохие места. Но все нехорошо. Циник. О человеке сказать так: «Родился кто-то, потом издох...». О человеке! Неверие прикрывал перед самим собой благочестием. Способность похихикать надо всем, во что веришь. Переписка его с Шлейермахером отвратительна. Как и отношение к Шмидт.

– Боткинские письма из Испании не сравнимы ни с чем в литературе. Единственная книга, написанная русским о другой стране. Вообще мы писать об иностранцах не умеем,

– А почему вы не пишете об Италии? Ведь вы так ее знаете!

– Я написал несколько итальянских сказок – «не вышли».

Заговорил о писателе девятнадцатого века Слепцове. Радостно удивился, что я читала его. «Его ведь так мало знают...»

И беседа идет, идет, уже вечер. Помню его слова о том, что это вот понимал Лев Толстой; часы дня, психологично иные речи, иной тон, иные соотношения вещей в разные часы дня. «Вечером – вечерний разговор, утром – совершенно иная манера говорить у его героев».

– Удивительный мастер. Знал каждую запятую свою! Все учитывал.

- А он знал, Лев Толстой, что он - недобрый?

Горький:

- Знал. О себе говорил: «Старый, глупый старик, злой старик».

Разговор перешел на «Анну Каренину».

- Более безрадостной любви, более скучной, я не знаю. Ни разу при луне не прошлись. Ни одного ласкового слова друг другу не сказали, ни разу не поцеловались при читателе! Да, мы, русские, не умеем этих вещей писать. Это только романцы умеют. У нас - не выходит.

- Вы бы могли? Напишите!

- Нет, я не умею. Русские не умеют. В каждой любви без переписки обойтись не могут. Философствуют же, нельзя же! В том же доме, но хоть одно письмо!

О Гоголе, о конце Гоголя:

- Это мне совсем непонятно. Просто не понимаю, чуждо. Для меня никакого «греха» в творчестве нет.

- Алексей Максимович, кого вы больше любите, Андрия или Остапа?

- В молодости - Андрия, конечно, ну а теперь - Остапа. Все-таки будет посодержательнее: «Батько, слышишь ли...». Это, знаете...

- «Записки сумасшедшего» Гоголя? Нет, не ценю: написано нарочито, слабо... (И что Гоголь не знал России, не был в Великороссии, и фамилия у него не русская.)

Иностранных авторов знает, как русских.

О Гёте не говорит горячо.

- Считаю, что Ломоносов ничем не меньше, чем Гёте, а как ученый - больше. И Пушкин - больше Гёте.

О Марине мне сказал Горький:

- Я читал и некоторые из ее последних, видимо, вещей. Хорошо. Но в одной ее поэме мне одно выражение - не понравилось: «Я любовь узнаю по трели// Всего тела вдоль...» - неудачное выражение. Так

сказать нельзя. Но дарование у нее - большое. Замечательное богатство образов, свободное владение размерами, ритмами... Марина Ивановна сделала очень много для русского языка!

- Анатолий Франс я люблю. Переписывался с ним и видался.

(Настойчиво его хвалит.) Не любит «Баллады Рэдингской тюрьмы» О. Уайльда. Хвалит «Иеста Бёрлинг» Лагерлёф<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Книга, за которую СЛагерлёф получила - первая женщина - Нобелевскую премию.

Помню еще: Бернارد Шоу - ядовитый старик, но любезный. Явился на званый вечер, где все были во фраках, в каком-то эдаком пиджаке невозможного какого-то цвета, табачного, все у него висит, вот эдак... И в скрипучих огромных башмаках.

- А как вы были одеты, позвольте узнать?

С улыбкой:

- Такая куртка была... (И рассказ о сюртуке, который висит в Берлине, в шкафу у друзей.) Очень даже приличным человеком выглядел в сюртуке.

О приходивших к нему американских писателях, вежливо с ним говоривших и высказывавших мнение, что русских надо связать веревками.

- А веревок у вас хватит?

Собственные книги его лежат небольшими стопочками на нижней полке, на самой нижней, у пола. Когда метут пыль, -то на них. Это не поза. В Горьком - ни тени позы. Просто для него естественно: тут Толстой, там - Стендаль, здесь -Пушкин. А Горький как-то лег там, внизу.

Раздает эти книжки, и только один полный комплект, | семнадцать томов, удалось от него спасти, - он у жены его сына Максима, Надежды Алексеевны. Из всех своих вещей Горький больше всего любит «Рождение человека».

Мы вышли на балкон. На соседнем балконе (высоко над садом) купали двухлетнюю внучку Алексея Максимовича, Марфу, в нагретой на солнце морской воде, и она отчаянно плакала, – не любит теплой воды. Увидев деда, закричала сквозь слезы: «Дедука...». Он тут же прошел к ней, сел у ванны на корточках и стал ее уговаривать: «Да, обижают нас. Очень нас обижают...» – и не отходил до конца процедуры. Мы до вечера не уходили к себе. Лиловое небо, медленно тая, тускнея, темнея, опрокинулось почти черным шаром. От сада было видно лишь сухое деревце в луче окна. Мы вышли в этот исчезнувший сад.

Море, весь день стоявшее синей чертой, полосой, широкой вон там, – растаяло в этой огромной ночи, как снежок в горячей руке. В ней же, в этой бездонной ладони, скрылись –

сгорели? – горы. О селениях, шумных и тесных, стихших, кротко повествуют огни. Мы шли вслед за Горьким по невидимой тропинке. Он рассказывал о Капри. Сзади, из светлых провалов дверей и окон, неслась струнная музыка. Неужели – три дня назад я не знала этого голоса? Глуховатого, тихого... Сквозь голос, ночь и огни – горькая настороженность слуха, ловящего звук его кашля.

Кисейный полог от москитов, мозаичный пол с букетами роз, горячая лестничка узких солнечных лучиков сквозь зеленые спущенные жалюзи, – первое утро в Сорренто!

Не «настоящие» – и потому милей – фокстерьеры провожают меня вверх по лестнице в полутемную комнату, где уже все отпили кофе. Гигантские мячи апельсина и персики с хорошим антоновское яблоко, сухой поджаренный итальянский хлеб. Масло во льду. Виноград с кусочками льда. Я одна.

Это – неповторимый час. В гладкой, как зеркало, неизвестности – а уж некие лучи отразились – лежит

передо мной предстоящая жизнь в Сорренто. В окне, полузакрытом ставней, виден кусок выжженного мелового сада, слышен детский голос. Это – Марфа? Дверь отворилась, вошел Горький. В стакане нес скорпиона. Поймал его на своей постели. Взял руками: «Осторожно брать надо. Опасен укус скорпиона только в апреле. Как опасна всякая тварь, когда она занята любовью».

Постоял на пороге.

– Почта еще не пришла?

– Скорпионы – в постели! Нечего сказать – хорошо! «Как живет и работает Максим Горький», – сказал Борис Михайлович.

...Дом высоко над морем, минут семь по крутым тропинкам. Горький работает по десять часов в сутки. У Горького сын, невестка и внучка. Горькому нельзя льду – и постоянно его кладет, кусочками, в воду. Очень жарко. Днем – темные решеточки жалюзи. По каменным мозаичным полам – меленький звук маленьких лап собачьих – два фокса (не чистокровных, «с простонародинкой»). Встречи за столом – в час (утренний кофе без Горького, он пьет раньше всех, один), в четыре, в восемь. Сзывает – через выжженную дорогу – звонок.

...Сидит в голубой рубашке, с расстегнутым отложным воротом, – старик? Не старше своего сына! Густая шерстка волос, худой, легкий – еще ничего не говорит особенного, но так, голову набок, глянул... и человек уж принадлежит ему!

– Тимоша, да побойтесь вы бога! Какие же курицы, ну какие же, на милость, курицы! Да зачем я их буду есть? Да я до смерти их боюсь, ваших куриц! Как увижу – так у меня ноги дрожат! Ну и что ж, что один суп! И превосходно, что один! Живу же? Мало! Что, мало живу? Бросьте, Тимоша, это вы, чорт ее побери, что говорите!

И руки – так, только в плечах где-то двинулись... лицо -ходуном... балуется человек! И все вокруг – расцветает!

– Вот вы, Тимоша, не знаете этого ничего, а говорите... Ну, как же это может быть, чтобы она была мулатка? Негритянка она! Самая настоящая негритянка! Черная, понимаете ли? Черная. А пела-то как? Ах, черт ее побери... «Пускай могила меня накажет...» Как она это пела!.. Таким, знаете ли, эдаким голосом...

Дочери своего приемного сына:

– Вот, Лиза, про меня во всех газетах пишут, а ты меня в бок пальцем пихаешь.

Смеется добро, почти как старик, о Джулии, забывшей ему, – а всем подала, – подать винограда.

– Очень строгая женщина Джулия.

И упоенно мотая головой:

– Не хочет она мне винограду дать, ну не хочет!..

– Нынче Марфа Максимовна очень были милостивы. Сами ручку дали. И еще издали кричали «дедука».

У Марфы бонна. И Марфа начинает лепетать по-немецки. Сердится. Дед ей через стол:

– Не злись, немка!

– Не устали? – спросил Зубакин.

Понте Веккио.

Я хочу еще сказать об Иване Николаевиче Ракицком. Это был человек средних лет. Бритое лицо его напоминало лицо актера. В его комнате, куда мы с Б. М. зашли, было несколько картин его кисти. Он был, несомненно, талантлив. Работы его были фантастичны. К какой школе он принадлежал –

сказать не берусь. Помню радуги, деревья, много света в сумеречном колорите. Пейзажи свои он охотно показывал, но не говорил о них.

Были в Ракицком благожелательство, дружелюбие. В семье Горького его звали



«Соловей». Происхождение этого прозвища мне не известно – но так его звали все. Уже более десяти лет, а может, и все пятнадцать, он жил близ Алексея Максимовича, переехав вместе с ним с Капри в Сорренто. Экономически независимый, он мог уехать, путешествовать – но привязанность к Горькому, видимо, была сильнее художнической тяги к впечатлениям и смене мест. Он неотлучно жил при Горьком. Отношения их, чувствовалось, дружеские, но, как и вообще в обиходе Горького с людьми, так и тут была неизменная сдержанность. Но была еще одна особенность в Соловье, о которой рассказал нам Алексей Максимович, к которой он не раз возвращался – тем более с интересом, что не мог – и не пытался ее объяснить:

– У Соловья есть непонятная способность чувствовать феномены природы, – говорил Б.М-чу и мне Горький, – и не только чувствовать, но – предчувствовать. Он – как барометр. Его организм тесно связан с землетрясениями и с извержениями вулканов. Еще ничто нигде не предсказано – а Соловей уже заболевает. До того, что ложится в постель. Причем он точно ощущает, с какой стороны это идет – и прямо указывает, откуда. Это его состояние всегда подтверждается фактами. Местные газеты с опозданием сообщают о явлениях, от которых уже за два, за три дня слег Соловей.

А ведь Везувий часто дает себя знать, – и Горький показывает на белое облако, тянущееся над Неаполитанским заливом, исток которого, утоньшаясь в струю, исходит из кратера. – Вы сами видели вечером огненный цвет этого пара. И бедный Соловей нередко жестоко страдает...

Алексей Максимович закуривает и проходит по комнате:

– Много непонятного человеку есть в мире, – но человек когда-нибудь поймет... Непременно поймет! –

говорит он убежденно, - и вдруг, сламывая голос в его «чрезмерной» серьезности - в шутку (или замечая следы своей ветрево-женности несовершенством человеческого мышления) он, тем тоном, который напоминает беседы с ним Бабушки в «Детстве», теплым и радостным, - неожиданно Борису Михайловичу:

- Колдуны вы оба с Соловьем, два колдуна!., и некуда мне от вас деться!

Но среди разговора Горький нередко раздражался на чью-нибудь неточность:

- То есть как это - XV, XIV век? Какой же именно?

Глаза его делались недобры, в лице, в голосе - вызывающий холодок. Начинался спор.

- Как Вы сказали? - прервал он, помню, однажды Бориса Михайловича, - в конце века? Позвольте Вам напомнить, что это имело место не в конце, а в середине века!

Он уже встал; шаг к двери. Зная его пристрастие к точности дат, к сверке с Энциклопедией, Борис Михайлович поспешил согласиться, дабы избежать спора. Но это уже не смягчило Горького (может быть, именно уступчивость в споре раздражала его еще более?). Он уже появился с раскрытым томом в руках. Наклоненная голова, - листает, - нашел! (А во мне бесшумно мечется ласковый смех: - Дед, живой дед!.. Бабушки сейчас - ни следа!) Моему любующемуся взгляду и это казалось - прелестным. И, от деда метнувшись к -сыну, вижу ялтинский день, Дарсановскую гору, и прищур застенчиво-озорных глаз Максика, метящего камнем в соседский забор! (Куда исчезло меткое озорство из взрослого 30-летнего Макса! В его отце - живо и на 60-м году!)

Беспощадный палец остановлен на найденном месте справки, ошибившийся - уличен. Сухо блеснув осколком взгляда в его сторону, Горький уносит словарь. Нет сейчас великодушия в нем! Лыко - в

строку! (Потоком двойного великодушия – (так же как и я – любованием ему вслед) его провожает умиленное доброжелательство Бориса Михайловича. Может быть, с веяньем грусти? (ЗиПева? (Кто знает?) Еще раздражало в нем Горького незнание ихтиологии.

– Рыб не знаете! – говорил он с неподражаемым возмущением (Иноков, Иноков... – герой из «Клима Самги-на»), – как можно не знать – рыб? Не знать рыб, не знать разновидностей птиц, среди которых мы живем, о которых есть целая литература? – У него не хватало слов.

Но была еще одна черта в Алексее Максимовиче, говорившая уже не о жреческом бескорыстии в споре. Не навязывая толкования, – расскажу один случай (предваря, однако, что и он тогда меня – умилил. Я даже не посмела поднять глаз, – далеко от торжествующих, – просто улыбнувшихся. Чтоб не понял, что кто-то заметил – но я забежала вперед).

Был шуточный обычай в Сорренто, за столом Горького, класть на стол, у прибора гостя, маленькую булочку, золотистую, с наверно хрустящей корочкой – только что из пекарни. Рука, только коснувшись, отпрыгивала: булочка под пальцами пискнула под общий дружеский смех. Испугалась так и я, как и многие. Но однажды на столе оказалась другая игрушка: была ли она вся из репейника? или ее часть? Взяв ее в руки, в разгар спора, настоящий репей или «сделанный», я, близорукостью своей, разглядела уверенно, что – самый обыкновенный репей.

– Настоящий, – сказала я, мягкостью тона заглушая безапелляционность слова. Игрушка тотчас оказалась в руке Горького. Миг молчания.

– Это репейник искусственный... – невозмутимо сказал Алексей Максимович.

Смутясь, я (неужели зренье ошиблось?):

– Можно, я еще посмотрю?

У самых моих глаз – репейник. Природный, живой. Стесняясь, с забившимся сердцем: «Видите ли, я вряд ли могу ошибиться – я простым глазом на работе вижу сетку на репродукции – другие, с нормальным зрением видят ее только – с лупой». Мой тон в совершенстве – смирение. Но уже немного покруживается азартом – и моя голова...

Отметив в себе змеиную головку этого поднимающегося азарта, налету – юмором – свертывая ему шею, я глядела, как исчезают за высокой дверью плечи Алексея Максимовича. Он вернулся почти тотчас же. Он остановился, и тяжело, жирно сверкнула лупа над зажатой в пальцах игрушкой. Миг молчания. Напряженнейшего. Думаю, что не у одной меня сжалось сердце.

Горький шел к столу. В его потухшем лице было смято несколько чувств – удивление? желание его скрыть? дерзостная его исконная статья – и в поражении? огорченно с т ь, больше всего, почудилось сердцем мне, – и в волну жалости моей жаркой, как рденье румянца, – его голос, упавший – и честный. Честный – и все же упавший, тихий:

– Да, это – настоящий репейник...

Вот это был тот миг, когда я не посмела поднять глаз. Слова-то, конечно, не шли! Но уж, сжигая все, праведно

поднявшийся гнев мой, мысленно поглощал и репейник, его дурацкую «настоящность», стоившую горя – Горькому!

Я бы разорвала репейник в клочки (в колючки, – не заметив, что колется!). Но в свете мы вести себя должны – как полагается, – все скрыть, невидимо зализать рану. Не моргнув глазом. Пальцы смели только мять в крошки кусочек хлеба, – под кем-то уже затеянный разговор. Но уже развеивается все шуткой, светящимися глазами на личике «Тимоши» (жены

Макса, Надежды Алексеевны), – нежном, яйцевццной формы. Прямым пробором разделенные золотистые пышные волосы, легкая ал ость румянца, темная алость полного рта. Как мила! Неуловим цвет глаз – зеленоватокоричневатый? Des yeux noizette<sup>1</sup>. И смуглое суховатое лицо Макса, застенчивое и умное. – «Алексея» – «Максим»... Они очень любят друг друга!

Не сводишь с Горького глаз. Выразительность жеста – необычайная.

Рассказывает о прошлом.

Пытаюсь восстановить несколько из этих рассказов. О том, как поступил в оперу хористом. Там же был и Амфитеатров (пел главные партии).

– А у меня второй тенор. Пел я чертей и индейцев в опере «Христофор Колумб». Начитался я Купера и Майн Рида и очень хотел все по-индейски делать. Умел и ногу особенно ставить, и шел – ну настоящий индеец! А режиссер говорит: «Ну, какой ты, Пешков, индеец! Ты просто, брат, верблюды!..». Так до спектакля и не допустили – только до репетиции.

Толстовец-англичанин пригласил его к себе.

– Богатое эдакое, невероятное какое-то здание. В дверях – человек, и у человека – булава. Человек похож на попугая: желтый, зеленый...

Неимоверное богатство, принятое им за богатство гостиницы, – собственность толстовца. Столовая (в рассказе блеснула тарелка сервиза, блик на тонущей в высотах стене тронул волшебным жестом не то «невероятную эдакую ска<sup>1</sup> Орехового цвета, о котором французы говорят, что эти глаза лукавые, но в Тимоше его не чувствуется совсем.

терть», не то хрусталь) – «и понял я, что это – да, это настоящее место и есть...».

Сели. И начался обед – «не обед, а какое-то упражнение... Чорт его знает, в чем!.. Блюдо за блюдом»... (Описал).

- Ну, потом я рассердился: ну, что в самом деле? Ежели так, так при чем тут толстовство? Ежели так - так уж бросайте все это к чертям! Ну, и выразил это ему.

- Ну, а он что?

- А ему что? Выслушал!

- Ну, а что-нибудь сказал?

- Чудной вы человек! Да что ему говорить? Говорить-то здесь нечего. Ну, что бы он стал говорить? Ну, потом встречались с ним, но уж в холодном таком виде...

О нижегородском губернаторе, однажды севшем рядом с ним на обрыве над Волгой и изложившем ему свой проект устройства государства. Каждому великому князю по губернии - автономное управление. И губернии будут в порядке, и великие князья заняты. Этот же (?) губернатор, приехав в другой город, узнал, что существует городская Дума и что он должен открывать ее заседания. Идея Думы не вместились в него, монархиста. Но Дума была, факт, - распоряжение монарха, губернатор должен был повиноваться: он вошел солдатским шагом в собрание и сказал: «Объявляю заседание городской Думы открытым». Затем повернулся и... тем же шагом - вон из помещения.

Рассказ (один из многих, полуугасших в памяти за дни бесед) о дьяконе, силища голоса которого (октава) тушила свечи на большом расстоянии. «Рожа такая, точно по ней лошади топтались. Вот такого вот роста, маленький, квадратный... Страшно смотреть...»

И метет, и метет жизнь, как метелью... Судьба за судьбой, проходят оживающие тени - а день медленно тянется.

Инженер, пошедший пройтись, сказал жене, что вернется к завтраку. На улице увидел женщину необыкновенной красоты. За ней. Роман. Она - жена

какого-то посла. Едет в Константинополь, еще куда-то. Он с ней. Турецкая тюрьма. Бегство. Погоня. Морское приключение со стрельбой, и

наконец является к жене. К завтраку. Деятнадцать месяцев спустя: ну, вот и я...

Девочка тринадцати лет, история с отчимом, дикое по фантастике бегство. События одно за другим, жизнь в роскоши, отечески ее полюбившего человека, его смерть, ее продают в рабство, в гарем. Еще и еще... Японская война, она - сестра милосердия. Кончается ее след непонятым возложением ею венка на могилу писателей на Волковом кладбище.

За окнами, распахнутыми, - лиловизна неба. Когда встаешь - направо Соррентийский залив. Зеркальный блеск солнца.

Рассказал, как он прыгнул, купаясь, в юности с моста, ударился обо что-то под водой и, теряя кровь, пошел ко дну. Его спас ямщик, проезжавший по мосту.

О пожаре, начавшемся утром - оставил папиросу, горящую:

- Побежал, понимаете ли, на кур глядеть, - куры очень орали! Вернулся, на столе пожар, сгорел только что написанный лист «Самгина»...

- ...Мне было лет шесть тогда. Я был еще маленький (поджигал забор с мальчишками и бежал - за нами гнались)... Страсть к огню всегда была... Кто-то упрекал меня даже в огнепоклонничестве.

...Били меня не раз, и очень много. И я был хороший боец. Теперь уж можно об этом сказать. Хоть и силен был, но брал ловкостью.

Об Америке.

Подъезжая к Нью-Йорку - совершенно сказочное впечатление: весь город, все очертания его невероятных домов - в электрических, фантастически придуманных рекламах. Например, труба сплошь

обведена рядами электрических ламп, – горящая труба. Горящий город.

– Это у них – замечательно...

Об американской прессе: заметка в газете о том, что сенатор такой-то разводится со своей женой. Его опровержение. Опровержение опровержения, – как же, у него взрослые сыновья, и они ненавидят мачеху (она в это время в отъезде).

Ее на вокзале встречают репортеры и спрашивают, плоха ли ее семейная жизнь. Она замахивается зонтиком на дерзкого незнакомца. В это время щелкает аппарат – снимок в газету: характер мачехи. Сыновья идут в редакцию, не в силах больше терпеть эту историю, и колотят виновников. Их снимают, снимок в газету: характер сыновей сенатора. Сенатор бросает деятельность, сыновья – университет, уезжают в другой город.

– В Америке проституции нет, но есть – публичные дома. Публичных домов нет, есть – полицейские, которые, увидя по лицу, что с человеком неладно, направляют: за угол, третий дом. Был разоблачен квартал – девять публичных домов, принадлежащих известной филантропке. В прессе – скандал. На другой день – опровержение: дома были сданы ловким жуликам, которые провели филантропку, а полицейские никогда не служили в полиции – шайка переодетых мошенников.

– Где же правда? – спросил Борис Михайлович.

– Там, где деньги. Как всегда.

Лицемерие: статуя на доме, голый мужчина. Негодование. И в прессе – слова: «Ни одна уважающая себя женщина не будет, конечно, ходить по этой улице». Прочтя это, не ходит ни одна женщина. А на неприлично разрисованную каким-то смельчаком, влезшим на высоту, рекламу женщины в прозрачном одеянии все смотрят, ничего.



О музее уродов, живых. Три с лишним аршина, карлики, женщина с шестью грудями. За доллар можно увидеть, что хотите. Венецию хотите? Пожалуйста, Венеция. Едете в гондоле мимо дворцов. Пьяцетта, собор святого Марка. Хотите в ад, может быть? Пожалуйста. Спускайтесь по головокружительному пути в жаркие красные недра. Котлы с кипящими живыми людьми (подкрашенная вода). Кипит от каких-то химических соединений, но трогать не позволяют. Другие подвешены за ноги, и прочее. Дьявол с зелеными глазами, с хвостом и крыльями смотрит на вас ледяным взглядом.

Рай? Пожалуйста. Полет туда на птице. Ангел курит сигару. Петр с ключами; вдали проходят святые, еще далее - сияние, перед которым ангелы преклоняют (и вы тоже) колена.

- Все это грубовато. У нас бы лучше сделали. Хотите всемирный потоп посмотреть? Пожалуйста. Сцена, древние

евреи, дождь, дождь все больше, вода прибывает все выше, уже выше скал... Матери спасают за ноги детей, крики, мучения, вода прибывает... все тонут. Вода волнами идет на зрителя, но слетает совсем близко от него в особое углубление.

Еще об Америке. О квартале китайцев (самый страшный, туда без охраны нельзя, - они, впрочем, пошли вчетвером без охраны). Полицейские стоят по двое - спина к спине. Китайцы почти не отвечают на вопросы. Страшные люди: ведь они лишены своих китаянок, запрет размножения, дико развиты гомосексуализм и наркомания. Наружность и держимость их жуткая. Но работают превосходно, несмотря на ненормальную жизнь: прачечная, производство коробок и пр.

Самый веселый, это - негритянский квартал. Свои театры. Необычайно оживленные, страшно смешные и

милые дети. Всегда музыка.

- Играют на виолончелях, играют на скрипках, играют на (название какого-то инструмента)... вообще -играю т!..

Они преподают в школах белым детям, но в трамвае не имеют права сесть к белым, у них особенные вагоны. По железным дорогам то же: «для цветных», как для скота. За связь черного с белой его судили за кровосмешение.

После - разговоры о детях:

- Дети - существа замечательные! Как фальшь превосходно чувствуют!.. Они обладают неким шестым чувством. Правда, обладают до тех пор, пока не превратятся во взрослых людей. Я, когда Максим лет четырнадцати-пятнадцати жил у меня на Капри, слушал с интересом его рассказы. Как это у него, чорт его побери, складно выходило? С большим интересом слушал.

Стоим на балконе, над выжженным, точно пустыня, садиком. Под нами несколько агав, какое-то одно драгоценное дерево с мне не известным названием. Вправо от нас плеснут голубоватый туман моря, за ним - еле зримые очертания Везувия: сонным белесым облаком. Сзади нас стучат ложками, подают чай.

- О детях писать трудно. Очень трудно, - говорит задумчиво Горький...

Капри? Его описывали столько раз, сколько его омывают волны. Омыть его словами еще раз?

(«Две волны - одна за другой. Это - Капри», - писал Алексей Лозина-Лозинский, чудесный писатель, в своей предсмертной книге (покончил с собой) «Одиночество».)

Я старалась увидеть эти две волны, подъезжая. Но глаза отвлекались цветом моря, начавшимся еще далеко до Капри: такой морской синевы я никогда не видала: синька! Я еду на Капри по настойчивому совету

Алексея Максимовича, немножечко через силу: я столько видала всего на свете, -мне милее и этот бы день провести с Горьким. Но он там жил - я еду посмотреть его места. (И - забыла спросить, где он там жил? Это я вспоминаю - в пути...)

Подъезжаем. На волнах пляшут лодки, наполненные итальянским товаром: мозаика - изделия из черепахи и всех видов и раскрасок кораллы - от почти огненного до белого. Горы и россыпи безделушек, украшенных всем этим или сделанных из кораллов, черепахи, мозаики.

До Капри ли я осмотрела знаменитую СгоКа Агигга (Лазоревый грот) - или перед отъездом? С того - тридцать пять лет. Мне изменяет память. Думаю - до Капри (от страха не найти бывшего дома Горького - до отхода обратного парохода). В Гротта Азурра въезжаешь на лодке. По морю того самого невероятного цвета, который начался на небольшом расстоянии до Капри: огненная синева.

Наша лодка танцует на волнах. Их несколько, лодок, за нами. Каждая ждет своей очередной волны, которая, приподняв, вбросит ее в узкое (немного шире лодки, в ее танце) отверстие скалы, - и не только узкое, но и низкое, над гребнем волны. Почему и нужны точные, им знакомые, приемы гребцов, и быстрое послушание гребцам едущих. Еще подъезжая к Гротта, они предупреждают пассажиров: при слове «цитто» - мгновенно опуститься на дно или согнуться под прямым углом, убрав с пути скалы голову, плечи (гребцы - весла). Когда моя голова поднялась, было чувство резкого разочарования: никакой синевы! Вот так СгоИаАгигга!

Медленно рассветало по поднимающимся в этом рассвете скалам, серая сизость ползла по уступам. Тая, правда, в сизую синеватость, тусклую. Но когда, в некоей скуке обманутого ожидания, я опустила глаза, -

в том, что было водяным полом грота, сверкнул синий огонь, будто вспыхнула

там сапфировая лампа, гномья... Радость глаз сжала сердце: что это? Показалось? Но уж сверкали вокруг лодки, медленно ехавшей, синие огни, голубые струи. Мы ехали по горящей синеве! Что заставило оторвать взгляд от чуда? Тишина еще большего над нами? Запрокинутая голова пила невозможное на земле зрелище: скалы струились голубыми тенями по синим уступам волшебных сводов. Высоких – как первые на свете горы. Лодка плыла из залы в залу, по синему водяному дворцу.

В детстве, в Лозанне, с французским пансионом Лаказ моя сестра Марина и я ездили в Vex-les-Bains. Там, на одной из экскурсий, мы увидели Grotte aux fees (Грот Фей). В его глубине, под высокими сводами скал, нам показали место, где, по преданию, собирались феи. Вместо обычных факелов бы зажжен бенгальский огонь. Жаркое золото пламени красноватой мглой наполнило высоту и, тая, плыло по темнотам выступов. Под этим праздником пламени мы глядели на Fontaine des fees (Фонтан-Фей). Нам было десять и восемь лет. Мне кончался теперь тридцать третий. Лодка плыла медленно – а, может, стояла – с весел капало, и капли, светясь в этом спрятанном в море рассвете, падали в воду, вспыхивая – в ней? об нее? – и делались частью горячей голубизны, фосфорической волшебной синевы.

Память о Гроте Фей, о розовом и пурпурном золоте, плыла, как сон, со мной, в Лазоревом гроте. Тут не было факелов. Своды сами светились невиденным на земле светом. Не рассветало, нет, – и может быть, даже обратно, – рассвет ведь, имея началом тьму ночи, через синеву голубеет, сереет и превращается в белизну дня. А тут – из сперва разорвавшихся стен грота, вдруг поползших вверх, проструилась легкая высь, голубая, и стала литься вниз, по уступам расступавшихся сводов,

ниже, кругом, вдаль, вглубь. Сбрасывая только что бывший пепел, как кожу змея. Но и ее уже, как ненужную ветошь, сбрасывал разгоревшийся синий огонь, уступая себя еще более синему. Так расцветает, вставая, солнце, – но и солнце, поднимаясь, бледнеет, а это – а это – уже захватило дыхание – почти нестерпим глазам праздник зрения! Разум отказывается верить в этот фантастический цвет.

Не помню где, – может быть, в фуникулере, подымавшем нас на высокую часть острова Капри, – я познакомилась с

молодой русской женщиной, работницей берлинского торгпредства. Она, как и я, ехала осматривать остров. Вместе с ней мы пошли бродить по городу, спрашивая встречных: «Dov'è la casa del illustre scrittore Massimo Gorki»?<sup>1</sup> Нас посылали вперед, назад, налево, направо, – поясняя, что Gorki жил не в одной казе – в разных. Мы шли и шли. Этих «каз» оказалось так много, что мы, должно быть, заодно осмотрели дома, где жили и Андреев и Куприн, все жившие на Капри «скритторе». Понимая безнадежность затеи разобраться во множестве предлагаемых нам домов, мы сидели у чьего-то чужого сада, ели апельсины и смеялись над своей неудачей. Мы убеждали себя, что это уж наверное настоящая «каза». Итальянцы смотрели на нас неодобрительно. На горе величавым упреком стоял замок императора Тиберия, который мы не пошли смотреть.

Уступы, террасы, терпко-сладкие запахи итальянских садов, вечно новая панорама незнакомых улиц, сверкающий день, великолепье древесных куп и синее полукольцо моря. Скоро пароход. Скоро назад в Сорренто!

Отъезд надвигается.

В день Марфиного двухлетия пришел Пульчинелло со своим домиком на колесах. В сад высыпали дети

соседей. Марфа была такая беленькая среди них. Взрослые говорили

о том, что это искусство уже умирает, вспоминали русского Петрушку. В самый патетический момент глаза всех устремились на Марфу: она медленно, осторожно, с совершенной решимостью, отделяясь от всех, шла вперед. Крик пугал ее, но любопытство брало верх. Она чинно дошла до самого места действия и серьезно, испытующе, с видом исследователя, заглянула за угол домика. Она хотела знать, что там!

Этот ее маленький поход в неизведанность, несходство с другими детьми, которые просто смеялись, с детьми, которые тянули руки и чего-то туманно требовали у старших, -какого-то еще более полного пользования красотой, -четкость замысла и самостоятельность выполнения явственно напоминали деда. Это шел маленький Горький.

1 Где находится дача, в которой жил знаменитый писатель Максим Горький?

Поздно вечером я еще раз увидела Пульчинелло. У\*е успев обойти ближние сады, полуслепой старик со своим легким сооружением стоял перед отлогой лестницей «Минервы». Прямо на лестнице сидели зрители; по сторонам мечущихся в воздухе кукол полыхали невиданные мною фосфорические свечи, и картавые, классически крикливые голоса кукол пафосом ролей покрывали окрестность. Они стригли ночь острыми световыми ножницами на черные треугольники теней.

В Сорренто гостил молодой англичанин, писатель. Вечером Горький говорил с ним через переводчика. Спрашивал о жизни в Англии, об отношении к России. О роли женщины у них. Говорил с симпатией о матриархате.

- До сих пор мужчины делали историю, и плохо выходило. Сколько войн! Надо дать женщинам

возможность делать историю!

Говоря о своем необычайном пути к культуре:

- Я этим не хвастаю, не хвастает же человек тем, как его били...

Никогда не видала его удивленным. Слыша цифру раздавленных в Америке автомобилями - столько-то сот тысяч, кажется, - повел усами: «Немного!» (И утомленный, сухой, от себя (?) самозащищающийся глазок из-под брови.) Горд. Когда я прочла ему свое (вещь, по существу, не могшую ему не понравиться и - в меру, конечно, потому что все в опыте жизни в меру - взволновать), - я закрыла тетрадь с этим терпким, стесняющимся и просящим пощады словечком «все» (сердце колотилось, в висках стучало), - он начал мне свой ответ так:

- Д-да... тут в одном месте у вас не поставлен союз. - Потом он сказал вещи дружественные, похвальные, неповторимые по тонкости внимания. - Вы самобытны. Никому не подражаете. Вы должны писать большие беллетристические I вещи. У Вас гибкий, богатый слог, свой словарь. Ваши вещи -«спеты». - Но начать он позволил себе - то есть вменил в обязанность - именно так. Суховатость к рисунку брошенных перед ним - во всем, I что бы ему ни рассказали, - карт. Все кроет козырем. Нет,

нисколько не сентиментален, как о нем говорил кто-то. Рассказ о том, что он будто бы заплакал, публично читая вслух «Страсти-мордасти», сомнителен.

Из России в Италию приехавший наш представитель привез Алексею Максимовичу только что в Москве появившийся фильм «Мать». Горький очень заинтересовался, и, после переговоров с местными властями (велись они, видимо, через Макса) было получено разрешение на просмотр этого советского революционного фильма в соррентийском кино -для Горького и его гостей. Нас в это время было мало, и

когда, в назначенный час, мы заняли места передних рядов (и их середину) – за нами был пустой зал. Только в самом его конце, у стены, выстроились представители местной фашистской власти.

Борис Михайлович, я и еще кто-то сидели в третьем, кажется, ряду. Кто сидел перед нами – не помню. Вероятно, остальные обитатели виллы Сорито, Горький, Макс и полпред сидели впереди всех. Свет потух. Я следила за развитием действия на экране, когда вдруг, наклоняясь к Макс, Горький что-то шепнул ему. Макс тотчас же встал и пересел на один ряд назад. Не обратив на это внимания, я продолжала смотреть на экран, когда Борис Михайлович шепотом сказал мне:

– Поняли, зачем? Не поняли. Обратите внимание, за чьим стулом сел Макс после слов отца. И сейчас не понимаете? Плохой из вас политик... – И еще тише: – Сзади нас – весь фашистский синклит. В случае покушения на советского представителя – теперь поняли? Сына посадил за его головой! Сына Горького, может быть, и задумались бы тронуть? Защитил сыном – своего гостя! Такое сделать мог только Горький...

– Рискнул? – пораженно спросила я шепотом.

– Рискнул. О! Это – высокой чести человек...

А действие на экране развертывалось. Не понимая русских надписей, итальянцы, однако, понимали агитационный смысл фильма. Раз или два кто-то из них, пройдя темный зал, подходил к Макс, спросить непонятное, Макс пояснял. Рука к каскетке – и фашист отходил к своим. Массовые сцены на экране разгорались, но мое внимание было раздвоено: после слов Б.М. я ощутила наэлектризованность часа. Я забыла

сказать, что рядом с советским полпредом сидела женщина с ним приехавшая, – должно быть, его жена. Темнота зала сжимала сердце. Над Москвой – серой, экранной Москвой – по небу развернулось, полоснув



мелко мигающий фон, -огромное знамя. Толпа, ликование, ярко озаренные лица идущих... Победность революционного момента на экране была совершенно ясна. Никто уже не подходил к Макссу - с вопросом. Но фильм шел к концу, и я облегченной дышала: сзади нас было напряженно-тихо. Сейчас вспыхнет свет -избавление!

Он вспыхнул. Мы встали. Делясь впечатлениями, мы шли к выходу. У дверей стояла вся группа местных властей. Они чинно раскланивались с нами, давая дорогу, эскортируя нас. Мы вышли в темную, душистую ночь. Справа - внизу и вдали - огни Сорренто. Над конусом Везувия - столб огненного пара зловещим заревом освещал море и берег.

И вот все мы и Алексей Максимович находимся внизу, в комнатах Макса.

Мы всё смотрим его миниатюрные рисунки - гротески, карикатуры. Они очень талантливы, это и я понимаю с первого взгляда, но не любя этот жанр, не запомнила ни тем, ни особенностей виденного. Но знаю, что Макс не раз выставлял свои работы на выставках. В комнатах Макса помню диваны вроде «турецких», крытых коврами, этюды, наброски (тогда я не знала, что и Надежда Алексеевна -художница). Окна в сад раскрыты, за ними душистая мгла, и - если подойти к ним, - далекие кусты суши, обведенные -по краю моря - огоньками, поднимающимися вверх по побережью звездной россыпью - еще многие не спят, как и мы, в этот час у подножья Везувия, где ежегодно, по рассказам Горького, чьи-то виноградники уничтожаются лавой (и все-таки, на следующий год пострадавший вновь сажает виноградник) - и не вся ли земля - вулкан, никак не желающий потухнуть - как и мы!., думаю я.

Макс ставит на патефон пластинку, и она начинает кружиться тем же плавным закономерным движением, как земля. И из плавного звука кружения, как цветок из

земли, рождается и растет мелодия. Неаполитанская песенка расцветает вокруг нас и над нами, женский голос поет, в свою очередь вырастая из музыки, и под этот знойный трепет, в |

серебряную синеву его голосовой игры открывается дверь и входит к нам Горький. Я видела его за обедом, в столовой, куда он вышел из своей комнаты, из высокой двери, высокий и сдержанный – более! с этим ледком во всей его держимости и взгляде – он шел к нам от чтения газет и деловых писем, от последних известий, почерпнутых, быть может, из эмигрантских газет, к которым он едок и желчен. Но сейчас другой человек вошел к нам. Человек, полный тепла и застенчивости, весь – слух, разнеженность, весь – молчаливость. И когда он почти смущенно сел в уголок, чуть склонив, как на каком-то портрете своем, голову набок, была полу-старческая печаль в нем, печаль так войти – «старику» – в комнату, где «молодые», где кружится, точно в вальсе, чей-то голос и летит, как с обрыва бросаясь в ночь. Потому что все на земле ему, Горькому, ведомо и столько прошло, и столько – уж навсегда... Потому что шестидесятый год он живет на земле с ее песнями, с ее ночами, морем, степями, с вереницей растаявших дружб...

А Макс ставит другую пластинку, другую песню, и, как жаворонок в лазури, вьется дуэт, обводя светлое сопрано темной тенью низкого мужского голоса. И когда пение, достигнув неопикуемой силы и согласия, обрывается на двух последних длящихся нотах, на двойном апогее высокого и низкого голосов, – Горький встает и долго стоит у окна.

Очень редко смеется. Улыбается часто. Улыбка – обаятельная, молодая. А смех – добрый, нежный, стариковский.

Постоянные слова: «полагаю», «сделайте ваше одолжение», «пожалуйста». (Да сколько угодно,

пожалуйста! Да какие хотите, пожалуйста! Почему нет? Да пожалуйста!)

И от глухого голоса выходит «пуж-а-ал...».

Часто: во-от... Горячим улыбнувшимся шепотом: замеча-те-е-ельно... (слышно, как «меча-а...»). Это не слова. Это горячий ветер у губ. И прикроет на миг веки.

Говорит не «умер», а «помер». «О» не грубо, не настойчиво, а – гулкостью голоса.

«Каждый», «Берлин», «с людьми», «Озорничает».

Вечером, в рассказе:

– Женщина дикой красоты.

– Да, эта женщина предсказала мне, что буду сидеть в тюрьме. Пять раз сидел. И что человека убью. Не убивал я еще никого. Не поспел.

...Я дочла «Страсти-мордасти». Вещь грозная в своей голой чистоте, в своей ужасности, очень тихой. Был какой-то особенный вечер. Все ушли, молодежь внизу, мы втроем – и он стал рассказывать. О чем? Разве скажешь? Вечер с ним – это жизнь.

– Хороший человек, между прочим... очень хороший человек... (о ком-то), – и покачал сверху вниз, еле-еле, углубленно в себя – или в эту чью-то хорошость – головой. А пальцы мнут папиросу. Зажег спичку – и рассказ дальше, до следующего случая, когда прорвет в счастье, что:

– Чорт его побери, понимаете ли, чорт его знает, как хорошо...

И широкий, сдающийся на невозможность выразить -всплеск длинных рук.

Но я сегодня в тумане. «Страсти-мордасти». Мне кажется, а может быть, оно так и есть, в литературе нет вещи более сильной: в ней все концы и начала. Мне душно сегодня весь день.

Сквозь условности часа – столовая, Сорренто, Горькому шестьдесят лет – в каждом его слове, в каждом жесте и в немыслимости завтрашнего отъезда

мне повелительно стоит над миром пьяный горем день, когда Горький вышел во двор из подвала с больным мальчиком.

Упрямо, самозабвенно, мне это кажется последним и наибольшим. А Горький, точно зная, что со мной, спокойно -и щедро-жестоко? - кроет козырем и эту карту. Он ведь знает эту нелепую жажду, все бросив, остаться в том | подвале, - не этой ли жаждой был пьян его уход из него? | Он знает нищету подобного разрешения вопроса. Он знает, | что вопрос «эдак нельзя разрешать». Ненавистник споров об\* отвлеченном, он продолжает сказывать жизнь, и волна за волной, жизнь, как волна песок (драгоценна каждая песчин- 1 ка), плещет в вечер судьбу за судьбой. Неповторимо, незаменимо, незабываемо ничто. И именно потому в том подвале нельзя остаться, - силы человека таинственны и огромны, человек - людям нужен, жизнь богаче себя самой.

Не жалостью, не лирическим взрывом единичного героизма лечится его рана. Он презирает кустарничество, самозванство, ё Он всю жизнь борется с этим клубком в горле, с слезной волной в час волнения. Она готова затопить мир, но существо | ее - эмоционально, как дрожь при звуках оркестра. Омывая | в легковесных водах «понимания», эта волна одновременно служит человеку и спасительным от волны кругом, не дающим ему окунуться в настоящую глубину.

«Страсти-мордасти»? Да, это рассказ неплохой. Женщина, рожавшая в степи, «Рождение человека»? Да, был такой день. Помнит, еще был день: у молодого мужика, приехавшего на ярмарку и наторговавшего денег на свое молодое хозяйство, свинья съела бумажник. Мужик пошел под навес и удавился. Жена бросилась к нему, в это время свинья объела лицо

грудного ребенка. Он, Горький, въезжал на телеге в город.

Г Он видел, как навстречу ему бежит женщина, – она так, бежала, точно не по земле, и «лица у нее не было, а так,

И что-то» (он показал какое-то круговое движение вместо лица), она пронеслась мимо него, вбежала на стоявшую у Р берега баржу и – с другого конца – в воду.

Он рассказывает о дефективных детях, с которыми работал в Ленинграде: помнит он девочку исключительной талантливости, красоты и изящества – «Очаровательная девочка.

! Воровка». Подробно, все перипетии ее жизни, – как билась с ней, как ее тянуло к воровству; ловкость – необычайная,

, сцена в трамвае, где она якобы в благодарность за заботы о ней выдала шайку карманных воров, а на самом деле поиздевалась, привела к ответу совершенно невинных людей. Освободила из тюрьмы друга-подростка.

Мальчик-слесарь гениальных способностей: замков не существовало. Из трех головных шпилек делал модель замка, которую никто не мог открыть. Совершенно холодное существо. К людям – презрение. Никогда не работал при ком-нибудь. Вежливо прекращал работу и поддерживал разговор, ожидал ухода. Из так называемой «хорошей семьи». Вор. На мой вопрос, можно ли такого любить?

– Можно.

– Жалость?

– Нет, очень сильным влечением, в котором совсем нет места жалости. Я так скучал по этим двум, когда день не увижу – как-то неловко делается, что их нет...

Об итальянцах, о разнообразных, странных их свойствах, о сдержанности в гневе: будет стоять, побелев, со сжатыми кулаками, – не ударит (когда бы у

нас уже давно драка). О неаполитанцах, безумно любящих удовольствия (небывалые ежегодные суммы на иллюминации). Что жулики, но,

обжулив, в тот же день вам окажут услугу. Прирожденные актеры. Дар. У шестилетней девочки – врожденные манеры актрисы.

Борис Михайлович сказал свое впечатление о Неаполе совершенно сумасшедший город. Даже нельзя понять: музыц из каждого окна, какие-то рояли на колесах на улицах. Тч же пляшут...

– Да. Это – вечером, – сказал Горький, – утром Неаполь спит.

Рассказ о большом актере, с которого ни в магазинах, ни в ресторанах итальянцы не хотели брать денег.

– Мимика! Мимика... Такая игра лица...

Сказал это потрясенно и тихо, недоуменно развел руками.

– А я театр не люблю... – сказала я.

– Да и я не люблю, собственно. И пьесы я писал плохие, «Дно»? Интересно только содержание. А рока – нет. (Стержня, действия.) Да, я не поклонник театра. Но я видел таких актеров – невозможно рассказать это! Из-за них не могу отрицать театр. Видимо, есть люди, которым роль – толчок к перевоплощению. Дузэ, – разве о ней рассказать можно?

О других можно говорить, о ней – нельзя. Это был д у х на сцене. А в Италии трупп – нет: актер. Лучшие театры – в Неаполе.

И с глубоким восхищением об актере Андрееве-Бурлаке.

О том, как он читал гоголевского «Сумасшедшего». Он безумец, да. Но откуда-то на себя смотрит. И это жутко.

– Я бы сказал парадокс; надо быть очень талантливым человеком, чтобы не быть актером.

...Ночь после игры Стрельской (ему было семнадцать лет). Вышел из театра и до утра – а дело зимнее – просидел у фонаря на тумбе, не заметив, как прошла, ночь. Об актере, некрасивом и странном, очень тогда известном. Сцена, как мимо него проезжает с другим его возлюбленной. Никаких жестов. Он смотрит ей вслед. Абсолютное молчание, непередаваемая игра лица. Роняет изо рта папиросу и вдруг тихо начинает петь. С ним боялись играть: в такую минуту следующий шаг был – убить первого попавшегося. Перевоплощался в роль.

О том, как итальянцы молятся в церкви:

– Он с ней говорит, с мадонной. Говорит, понимаете ли?

Показал, как бьет себя в грудь, как смотрит вверх, испуганно. Развел руками, как перед непостижимым. Вечер идет. Плынут воспоминания.

О человеке в тюрьме, который каждый день в предзакатный час, который он долго ждал, когда стена против его окна, тоже тюремная, наконец освещалась солнцем, делал руками тени. Целая жизнь теней. Их смывал вечер.

...О скале на острове, где похоронен Григ. Об исландских сказках, мрачных. Об арфе с голосом. О гусях и плясках мордовских...

– Я сорок лет как бросил пляску. •

Любит Бетховена, Моцарта, Грига. Музыка очень любит. Эта его любовь к музыке стоит возле него всегда, точно вторая тень. Из инструментов – виолончель.

– Струнный звук. Но... не щипком, а...

– Смычком. Ну конечно.

И поняла: он – бытийной струи. Чистой, движущей, радующейся!

Борис Михайлович сравнил его с Рафаэлем. Толстой - Леонардо, Достоевский – Микеланджело. Смеялся,

слушая. Сильно кашлял.

Тревожились...

- Нет, это пустое. Перекурил.

- Да, я много видел так называемого зла. Но я в каждом человеке знаю так называемое добро, и я верю, что оно победит. Люди не умеют жить. Не умеют, понимаете ли... Но когда-нибудь они научатся! Залогом этому то, что они учатся. Когда я каждый день просматриваю русские газеты, мне это совершенно ясно.

- В Ленине было - детское. Подойдет к елке, голову подымет - и улыбается. А на елке, понимаете ли, сойка сидит...

Выразил удивление, что Борис Михайлович мало знает птиц.

Спросил, докуда он прочел «Самгина» - до сома ли? «Там - сома ловят...» (с виноватой, упоенной улыбкой, мгновенно и круто умиляясь и, как всегда в этот миг, став застенчивым).

Я сказала ему, что, наверное, он никогда не охотился и что как это верно, что Лев Толстой был охотником, - а он -

Он скромно и тепло отвечал, вот да, странно, действительно никогда не любил охоты:

- Ведь жалко же их убивать, чорт возьми, зверей этих! Ведь, например, медведь! (Показал, как медведи сосут водку из бутылки, обняв лапами; как ходят, какие милые, - никогда на человека не нападают, если не тронуть, какие мохнатые...)

- Ведь медведь, он удивительно милый человек!

О самке дельфина, у которой убили детеныша. Она подплывала к берегу, где он был убит. Она плакала, слезы, как у человека. Невозможно было глядеть на ее морду.

Подчас, когда слушаю, смотрю на него, загипнотизиро-ванно слежу жесты... и вот так



расскажет что-нибудь до конца! – мне хочется сказать ему, чтоб он не говорил сейчас другого, – нельзя, не надо!!

А он уж ласкает собаку. Собака прыгает к нему на колени.!

– Да что вы, маленький, что ли? Вы собака, старая, зеленая.

Собака прижала голову к его груди.

– Вы бы пошли прогулялись.

Собака не шла.

– А еноты – вот чудно: еноты сдят на деревьях, скатаются шариком, лапами морду закроют (неуловимым движением! скатался весь, показав как)... и висит на ветке эдакий шар, – | не то растение, не то цветок какой-то.!

Утро в Сивашской степи: «Прячась за камнем, смотрим, как суслики просыпаются».

– Молитва у них, что ли, такая... Моление солнцу?

Он делает что-то руками, воздушное умывание у лица.

– И... свистит... тонко... Там свистнул, тут свистнет... позади, там, здесь... (Уже не слова у него, а движения: повел {плечами – и нет спинки стула, ухо – туда, сюда, слушает... (миг тишины совершенной... Степь!)

Взлет руки вверх... ^

– Понимаете ли? Хорошо, чорт их совсем побери! I

– Да, а сусликов ловит лунь. Лунь висит, как повешенный С в воздухе, и качается... – Горький вскинул голову, простер I ' в стороны руки и длинно, медленно качает их. Лицо – I напряженной важности, очертания плеч – воздушны, строги, I легки...

В то мгновенье, когда Горький описал, как ударяет лунь суслика, у него совершенно строгое – чуть сжатые черты –

лицо. Но когда уже суслик мертв и в степи живет трепетной жизнью победы лунь, Горький, не руша на

бедного хищника его грех, говорит, почти восхищенно, о том, как деловито, -в деловитости невинно, - как аккуратно выедает лунь клювом из мертвого черепа мозг. Нам ощутимо слышен этот, после суслика, позднейший степной час, - вот так, в два часа дня, в Сорренто.

«Олени». Ночью шли на водопой. И самец кричал. Крик (разноголосо охнул, руки в воздух, и крик, как олени рога). Олень стучал по деревьям, давая знать задним, что опасности нет. Потом самка, самец и их теленок остановились, и теленок стал объедать ветку, а отец и мать сторожили.

- Замечательно...

Он только одно слово сказал, туша им улыбку, но улыбка потушила его.

Да, он подолгу жил в степи. Один раз не мог уйти от сусликов.

- Дня четыре вот так (вызывающе и смущенно) гулял!

- Когда в Феодосии на стройке железной дороги, - это было в девяностых годах, на виноградниках работал... Это что, работа дешевая, а вот мостили шоссе - это да: сорок пять копеек! Сколько часов? Да сколько хотите! Часов в девять начнешь - обед свой - и так до часов девяти вечера...

А кругом народу сколько хочешь, ждут, когда кто-нибудь упадет или заболит, смотрят сверху, бегут, радостно! (Показал, как хватаются за кирку, как потирают руки...)

Он никогда не снизойдет морализовать. Дышит и с лунем и с сусликом. И в юности никогда не учил. А только молча, порой, когда этого требовала минута, пускал в ход исступленные кулаки (за разбитую на его глазах ночным сторожем об камень кошку). Четко, за описанием брызнувшей крови:

- Ну что было делать? «Мы катались, как два пса, по двору...» («В людях»).

Ночь. Давно смолкла внизу музыка. Дом не спит.

Игра в убежание от Марфиной игрушечной кошки, прячется:

- Кошками мене затравили...

А Марфа требовала, чтобы «дедука» sitzen<sup>1</sup>, и снова пугала его.

1 Сидеть (нем.).

Не любит сладкого.

Каждый день за обедом радостно отказывается от какого-нибудь блюда:

- Нет, Тимоша, не удастся вам меня покормить...

(Страшно мил, кристально чист и в обиходе, в отношениях

с окружающими.) Выходит на минутку, во время занятий, днем из кабинета (кстати, сказала ли я, что его кабинет -одновременно и его спальня). /

- Чорт их побери, этих мух! Жить невозможно. Палкой их надо бить по голове.

Постоянно жжет спички в пепельнице. Не раз - пожары в корзинке для бумаг.

Горький - нумизмат. Но коллекцию (это, кажется, невозможно для нумизмата) раздарил.

Утомляется с людьми. И, побыв один два-три часа, вновь радуется, встречаясь.

Во время пения вечером у молодого населения дома внизу, в большой комнате, окнами и дверями в сад, слушал музыку и стариковски улыбался, тонко, с былой удалью, с уже отступающим чем-то... Склонив голову.

Вечер. Сад. Ужасно темное небо, еле различимые корявые стволы деревьев. В чью-то честь жжем костер. Молодежь принесла стол с вином. Ворох папиросных и спичечных коробок, на них - хворост. На хворост - изношенный костюм моего друга. Смех. Горький мешает костер. (У его сына на стене картинка одного из Бенуа:

костер, и Горький его мешает. Мы сейчас словно провалились в эту картину.)

- Что вы больше любите, огонь или воду?

- Огонь. Я огонь очень люблю.

Согласился, что вода во всех ее видах, и тихая, и бурная, жутка.

Сын и невестка заботливо уговаривали его не стоять близко к огню - ветер свеж, простудится. Шутил. Не слушал.

- Алексей Максимович, вы когда-нибудь думали, - да, конечно, - о том, что двум любящим всегда хочется умереть? - спросил кто-то. - Помните, у Тютчева...

Помолчал. И с оттенком недружелюбия в голосе:

- Ну, не знаю. Не знаю этого.

Я скатала из всех серебряных бумажек, составляющих внутреннее дно папиросных коробок, большой сияющий шар. Горький с улыбкой мне подал раза два: «Вот еще бумажка».

Я подбрасывала в руках этот тяжелый мячик, по нему полыхал свет огня, думала:

«Этот мячик останется мой. Вечер пролетит, все пройдет. Точно сон! Это будет залог, что - было...»

- Вы непременно должны поехать в Помпею, - сказал мне Горький, - я бы и сам с вами поехал, да много накопилось писем - отвечать надо. Макс вас свезет. Автомобиль у него -гоночный, быстро доедете. Работы по раскопке идут давно. А восстановление домов ведется двумя способами. Часть города - в смысле обстановки домов - пуста: все увезено в музей. В другой части Помпеи, наоборот, решено все предметы обихода оставлять в том виде, как они были в домах когда-то, - музей создается на месте. Там охрана.

Вам следует посмотреть и то и другое в Помпее. Не забудьте сказать Максиму, чтоб он показал последнюю находку раскопок: холм за городом, оказавшийся виллой, которая была засыпана пеплом. Ее откопали -

недавно, года, может быть, полтора. В живописи сохранены все краски. Замечательно.

И вот мы несемся в серой длинной гоночной машине (ее страстно любит Марфа!) – по берегу моря.

Дорога идет то близко к волнам, то подымается выше и дальше.

– Вот там – Кастелламаре! – говорит Макс.

В сизой дымке жары справа белеют дома. Слева огромная даль моря, зелено-синяя, горит серебром солнца.

Дорога позволяет, когда крутые извивы ее – чуть реже, Макс пускает машину на наибольший ход, здесь возможный, – девяносто километров! – кричит он, полуобернув к нам лицо. Ветер, схватив с его губ слова, кидает их нам в уши, как мяч. День тих. Ветра нет, это от нас ветер!

Я стараюсь запомнить ощущение быстроты. Как его воскресить потом? Оно похоже на... нет! Просто так: у рта скачка воздуха – как шарф. Как будто шарф прилип к губам, почти нечем дышать. Я пытаюсь уклонить лицо от этого мгновенного задыхания. Но Макс уже тронул акселератор, сбавил ход навстречу повороту, и сразу легче дышать.

Было воскресенье, и та часть Помпеи, где все на месте в порядке двух тысяч лет назад, – оказалось, заперта. Мы

только постояли у решетчатых высоких железных ворот – и повернули обратно. Мы шли по мертвым улицам, мимо мертвых домов, в тишине синего зноя. Травка росла у серых камней стен и ворот, двадцать веков пробывших под корой пепла. В одном месте на улице стояло подобие каменных ларей с огромными круглыми отверстиями. Макс сказал, что тут работали виноделы. Он вскочил в одно из отверстий. С нами был фотоаппарат. Я сняла Макса – на память.

Мы уже за Помпеей. День клонится к вечеру. Рядом с тихой бредовой тоской о том дне Помпеи, о тех, что погибли, - в нас еще добавочная тоска: отсутствие Алексея Максимовича. Его не хватает нам тут. Но он непременно поедет с нами в Неаполь, где часть помпейских гипсов. Он обещал. Мы так спаяны с Горьким, что, когда мы вслед за Максом входим в последние раскопки - помпейские, в тот -бывший холм - виллу, он почти ощутимо стоит между нас в круглой зале, обведенной изогнутой полукругом картиной -жертвоприношение Вакху. Юный, прекрасный, он восседает на троне, а с двух сторон несут ему в дар плоды. Фон -терракотово-алый. Плоды - словно вчера сорваны - кистью художника! Мы проходим из комнаты в комнату. Лучше назвать их - залами. В этих ли залах или в самой Помпее мы видели на столе блюдо с окаменелыми грушами и с окаменелыми хлебцами, которым две тысячи лет?

И еще я помню - ворота. Городские. Высокие, каменные-арку, верней. Мох? Траву? Мы стараемся прочесть надпись. Высеченность букв, - римские цифры? Синяя тишина, зной. Скорбное дыхание Истории. Есть ли в Помпее птицы? Они -поют?

Если ехать вдоль берегов, можно порой при очень тихом море увидеть под водой мраморные лестницы, колонны, целые куски древних жилищ. Здесь были бани такого-то императора, там - знаменитая вилла. Землетрясения необычайно изменяют берег. Здесь, говорят, некогда был кратер: вон та цепь островов - его противоположный край. Все - посеичас (до островов) вода - было огнем вулкана?..

Время от времени море выкидывает остатки былой культуры, статуи, амфоры. Их порой расшибает о скалы, но случается, что дар моря кинут волной на отлогом месте, тогда люди собираются вокруг сокровища,

мокрого и немного, тысячелетия пробывшего под водой. Так из окаменевшего

огня героическими раскопками Помпеи и Геркуланума и беспечной прихотью волн пополняются залы музея в Неаполе. Горький не может говорить спокойно об этих музеях. Ради них, ради радости показать их еще раз, он нарушил ход своих рабочих дней, – он поедет с нами – показать нам Неаполь.

С первого же дня меня захватил талант горьковского устного рассказа. Я не ждала этого, я считала его писателем. Что он изумительный рассказчик, я не знала. И, придя после многих часов у Горького в свой номер в «Минерву», я села ночью писать. Я повторила все сказанное им по свежим следам памяти. Я легла под утро, счастливая, что не опущен в Лету вчерашний день. И это продолжалось во все пребывание мое у Горького. Появилась нежданная книга. Я не говорила ему, что пишу, – не с тем я ехала; книга родилась как подарок всем, кто его не слышал.

Скажи я ему о ней – он не был бы так свободен. Я чувствовала право молчать. Какой я везу подарок в Москву!

Так шли мои бессонные ночи, мои предутренние часы сна и мое пребывание с Алексеем Максимовичем с часу дня (обед) по начало ночи, когда мы – два-три человека его слушателей и собеседников – расходились для ночного отдыха.

Я жила как на крыльях: книга все богатела, ширилась, углублялась.

Горький вставал рано, в семь утра садился писать – до обеда. После обеда он сидел с нами, своими гостями, отрываясь иногда – читать газету, написать письмо. В пять часов был чай, в восемь – ужин. За столом роль хозяйки принадлежала жене Макса, прелестной молодой женщине.

«Сегодня с нас сняли «охрану», – сказал через несколько дней Макс, – мне сообщил это один из шпикив. «Мы наблюдали за вашей русской гостьей – она никуда не ходит, только через дорогу к вашему отцу, даже к морю не спускается!».

– Хотите, может быть, Анастасия Ивановна, – сказал мне Алексей Максимович, – выпишем сюда Марину Ивановну,

на свидание с вами? Это будет проще, чем вам уезжать отсюда.

– Спасибо вам, Алексей Максимович, – сказала я, – но ведь я хочу увидеть и ее мужа, и дочь – Аля одних лет с моим Андрюшей, – и еще маленького сына Марины, который родился в Чехии. Георгий, по-семейному – Мур.

Так и решили. Завязалась переписка о сроках, о визе. Марина с семьей собиралась выехать на часть лета из Парижа в деревушку на Бретонском берегу и звала меня с собой. «Хочешь на океан? – писала она мне. – Поедем!..»

«Милая Марина, – отвечала я, – не сердись, но я сейчас не могу надолго уехать от Алексея Максимовича: мы говорим по многу часов в день, и я хочу читать ему из привезенных моих рукописей, о нашем детстве, и сказки, и начатый роман «Музей», где и о папе и о моем друге, – фантастика, спаянная с действительностью, о которой я рассказывала Борису Пастернаку, он слушал с напряженным вниманием, хвалил, поощрял меня очень. Я приеду к тебе на неделю – до нашего отъезда – повидаться и вернусь сюда. Я думаю, что это не последний мой приезд к Алексею Максимовичу, может быть, на будущий год удастся увидаться на дольше. Кроме того, я пишу о нем».

Я ждала французскую визу и продолжала мои записки.

В последние дни в Сорренто особая теплота в обращении со мной Горького, интимная нота его



рассказов в последние вечера • перед отъездом нашим в Неаполь, какое-то в нем, гордеце, нежданное доброе доверие привязывали меня к нему все сильнее. Словно что-то растаяло меж нас: та невидимая стена – так искусно? природно? привычно? – воздвигаемая Горьким между ним и собеседником, рухнула. Единственно, что было трудно теперь, – это уехать. И как раз оно; предстояло. Не ехать? Это было в моей воле. Нет, не в моей. | То есть такое решение могло мной быть названо только | потворством себе и изменой Марине – радости свидания с! ней после пяти лет разлуки. В свете моей кровной и душевной | связи с Мариной отказ от поездки к ней ради счастья не | расстаться с Горьким – блажь, как ни кинь. На э т о у меня права не было. На неделю поеду к Марине. И кому же! это понять, как не Горькому?

Запер дверь на террасу и пошел нас проводить на лестницу. Может быть, моя последняя ночь в Сорренто до Парижа?

У дверей «Минервы» в черной ночи с желтыми звездами, рассыпанными по мысу Сорренто, мы еще долго говорили о нем.

– Ну что, – сказал мне Борис Михайлович, – видите, я был прав! А говорили – сухой, холодный. Это – музыка, а не человек...

Прощайте, Сорренто, Капри, Кастелламаре, Торре дель Греко, Помпея, где были вчера, – еду?

Лиловое небо. Везувий, из Сорренто видимый в этой лиловости только порой и туманно, оживает тяжелой горой. Наступает на нас. Мы летим ему под ноги. На нем широкие пласты солнца. На его складках что-то от слона. Небо жжет жарче. Когда это солнце сядет, я буду опять мчаться. И Везувий снова станет туманом...

Неаполь! Одно слово это! Napoli! В сизой дымке, почти серебряной от жары, раскинулся он над заливом и оживает навстречу нашему полету в авто.

Переставляя растущие громады кварталов, еще смутные, но уже выступившие из немоты дали, он становится явью – из бледной лиловизны.

Горький чудный сегодня! Он радуется, что покажет нам Неаполь, народ в порту, музеи. Он улыбается, шутит. Застенчивость, растопленность, осуждение своей способности раздражаться – в его смеющемся, греющем голосе... (Точно бабушка из «Детства» обернулась через плечо.) Залитые его любовью, мы будто держимся на ветру за руки, как дети, которым ведь все равно, кроме радости! Мы мчимся к его Неаполю, а город уже обгоняет нас первыми улицами. Разве можно поверить, что Алексею Максимовичу пятьдесят девять лет? Ему столько же, сколько мне! – не больше, чем Максиму!..

Солнцем залитое лицо Горького, родное и милое, в резких тенях худобы под широкополой шляпой, молодо сейчас. Как он чудесно смеется!.. Худоба? Он и в юности был таким же.

«Ну что же, начнем день с осмотра музея». И мы входим в каменную прохладу музейных зал. Неужели мы в городе?

В современном городе? Как косою срезаны гул, говор, плеск, мы, как на некоей заколдованной подводной лодке, опускаемся на дно моря, которому имя – прошлое. И по этому прошлому нас ведет вдохновенный гид – Горький.

Куда девалось солнце с его лица, теплота и застенчивость? Лицо сурово. Глубоки, как на картинах Рембрандта, провалы щек, вдруг ставших старческими, зорки и строги глаза. И не гид ведет нас по тихим залам музея, а жрец – в святилище, О! Если меня упрекнут в чрезмерной патетике, я смолкну. Но за меня заговорят те самые статуи Неаполитанского и Помпейского музеев, которые одни на всем земном шаре имеют право на голос, потому что в каждой из них

человеческий скелет, человеческий череп, гласящий о себе тем гипсом, который окутал их. И об этом рассказывает нам глуховатым голосом Горький, и нет слушателей внимательнее. Незабвенно сентябрьское утро, когда в ранний час, чтобы не мешал приток иностранцев и людей, которые могут узнать Алексея Максимовича, мы еще в другом музее слушаем рассказ об этих статуях, polegших, как целое войско, под стекла музейных витрин. В тех же позах – шага, бега, паденья, как их застало двадцать столетий назад последнее для них извержение Везувия. |

Никто не устоял перед легким огнем летящего и горящего пепла, горевшего и остывавшего, превратившего городские! ворота, площади оживленной торговли, виллы сильных мира | сего в пепельно-серую равнину, плавный холм у берега моря, | по которому, освещенный догоравшим огнем Везувия, плыл корабль и на нем – уцелевший Плиний, рассказавший древним о Помпее... Но Плиний не знал того, что теперь г знаем мы.

Я стою у витрин, под которыми лежат два тысячелетия назад упавшие жители Помпеи.

– Ваш отец издал превосходный атлас помпейских фресок, Анастасия Ивановна, – говорит Горький. – Мне приходилось | видеть... Он, конечно, рассказывал вам о Фиорелли?!

– Да, конечно, но я была ребенком, и если бы вы т е п е р ь | рассказали... |

– Полый звук! Звук пустоты под киркой – вот что создало; этот музей. И помпейский... – глухим своим, окающим | голосом говорит Горький. – Вот в этом и гениальность ученого! Этот звук – среди других, слегка отличающихся, мог пройти совсем незаметным. Незамеченным. Да, но это 1 мало – заметить! Заметив, задуматься – и тотчас остановить

работы. Найти верное объяснение этого акустического изменения. Мало! Найти слова обращения к рабочим, приступив-| Шим к великому делу раскопок, найти такие слова,

И которые каждому движению кирки дарили участие в воссоздании того, что, казалось, кора пепла навсегда поглотила!

Рабочие Фиорелли поняли его замысел, он сумел пере-| дать им свою страсть исследователя! Их рука иначе с тех пор подымала кирку! Сердца рабочих бились вместе с сердцем | ученого, их мозг работал во всю мощь внимания... Неверный удар - и погибнет статуя. - Как волшебник в минуту варки целебного зелья из никому не ведомых трав, Горький понижает голос - и он кажется внятней: - В местах полого звука сверлили отверстие и в него лили гипс. Гипс быстро твердеет. Тогда снимали кору пепла. И представала «помпейская статуя» одного из жителей погибшего города: пепел не сжигал тела, затвердевая вокруг них. Тело человека потом истлевало, оставался один скелет, но гипс, заполняя пустоту истлевшего тела, повторял его под корой пепла - в точности. Воссоздавал!

Слушаю, понимаю: гипс твердел, кору пепла осторожно подымали, раскалывая, - и на улицах Помпеи оказались лежащими все тела людей и животных в позах, в которых застала их смерть. Молодая мать прижала к себе грудного ребенка. Видел ли Брюсов тех двух любящих, сжавших друг друга в объятьях, о которых писал? «Века прошли! И вот из алчной пасти Мы вырвали бывшее у земли, И двое тел, как знак бессмертной страсти, Нетленными в объятиях нашли...»

Я не забуду - собаку. Тонкая, напоминающая наших борзых, но меньше, она подняла кверху мордочку. Задыхается. Мучение гибнуть под огненным снегом, нетающим, смертно густым, беспощадным, гипс

сохранил на тонкой поднятой мордочке этой собаки с беспощадной точностью Мастера.

Мы покинули помпейские залы. «Такие» статуи кончились. Начались вот эти, иные статуи – не воссоздания... Создания! Мы стоим перед мрамором, выброшенным недавно морем. Нике! (Победа.) Без рук, без лица, она и сейчас летит, побеждая – время, море, подводные скалы (может быть, те колонны и лестницы под водой, о которые ее било), побеждая свое ученье и нашу усталость, весь наш человеческий опыт умеющих уже не откликаться! Рассуждать, сравнивать... Не рассуждаем. Не сравниваем. Несрав-н е и н о!

Горький не объясняет и не рассказывает. Когда же по его жесту движемся вперед, мы слышим только одно слово его: «Замеча-атель-но...». Едва слышим! Как вздох. Одними губами.

Стройная, легкая, повторяю, юношеская фигура Горького в черном и в черной шляпе – на фоне стен картинной галереи. За огромным окном – жара. Прохладные анфилады скульптурных зал.

В ответ на мой вопрос о последовательности в его субъективном отношении к искусствам (впрочем, с оговоркой, что вообще такое деление искусственно): 1) музыка, 2) слово, 3) живопись, 4) скульптура.

Канова – изумительный скульптор. Великолепен памятник Колеоне Вероккио. Роден – гениален («Мыслитель», «Граждане Кале»), Коненков – замечателен.

– Голубкина – талант крупный. Женщина-бессребреница, но – да, это всегда было – говорила в лицо неприятности. И всегда было у нее хорошее самоуважение. И ее старуха голая – такая безобразная, что ну прямо некуда ее поставить! Так и осталась у нее в мастерской.

Смотрим любимые его вещи: Геркулес, держащий яблоко, и недавно выкинутая морем у чьей-то виллы статуя юной женщины изумительной работы (и все воспетые чудеса Неаполитанского музея). Мы осматриваем их залу за залой, этаж за этажом. Фрески Помпеи, макеты помпейских домов, гипсовые отливки в судорогах застывших тел. А над гипсовым оттиском предсмертных страданий, на непотускневшей кирпичного цвета фреске летит – легчайшим движением – некая, должно быть, Фортуна! Сыпля цветы. Прозрачный край ее покрывала четок и серебрян, как стрекозиное крыло.

Горький молчит. Это – еще раз – все тот же миг, – когда отводишь глаза, когда не даешь слезам завладеть глазами и горлом.

Выходя из прохлады музея в горячую печь двора, помню, сказал:

– Синьорелли я ставлю очень высоко.

– Пойдете в Аквариум. Там вы увидите рыб и чудовища Средиземного моря! Таких в реках вы не видели. Рыбы...

– Это вы говорите или Иноков? – спросила я, смеясь.

– Вы отождествляете меня, кажется, с Иноковым? – тоже улыбаясь, спросил Алексей Максимович.

Музей подводной жизни! В полусвете мы идем, точно по морскому дну, и не сразу осознаем, что в тусклом освещении этих комнаток-коридоров роль цветных ламп принадлежит самим рыбам, сверкающим по оба бока от нас сине-серебряными, розово-золотыми шарами, опахалами, стрелами. В песочно-травяных водоемах на миг скрываются и вновь, как маленькие фейерверки, торжественно выплывают эти парящие и тонущие фонари. И еще, перечеркивая тишь Аквариума, носятся молнии созданий столь крошечных, что у них, собственно, нет видимой жизни, кроме движения и блистания. Выискав в подводном музее особо

редкостные феномены, Горький ведет нас к ним, и затаив дыхание мы сторожим миг их появления из глуби зеленоватых вод и морских растений. И когда «оно» появилось, вмиг потухли все окружающие чудеса цветного мира, потому что это плыло, сияя, плыло, как маленькое подводное солнце, озаряя себе подобных и тусклую зелень трав...

- Ну, а теперь подойдите ближе, - говорит Алексей Максимович. - Имя этого существа... - следует латинское слово.

Мы подходим к стеклянной стене. Да, да! Это самое, которое издали сверкало бестелесной красотой радуг. У него страшная мясистая голова, тупой нос, бульдожий, зеленокрасные глаза навывкате пожирают нас, как будто мы - крошки хлеба, которые сторож сыплет в аквариуме. Но, ударив воду мускулистым зеленым хвостом, похожим на якорь, чудище делает оборот в сто восемьдесят градусов и плывет от нас в профиль, став вдруг обыкновенной рыбой.

А передо мной тонким, длинным, бледным, как осенний лист, носом уже тычется о стекло чье-то другое бледно-желтое очертание, и совершенно белые глаза, полные остановившейся, недосказанной печали, смотрят мимо меня. Ничего рыбьего - ни профиля, ни хвоста. И оно не плывет, а парит в водном небе без движения.

...А по-латыни... - слышу я голос Горького, словно он услышал мою мысль, и он произносит какое-то древнее имя с итальянским звучанием.

Но вот мы переходим в следующее отделение музея - к мертвым рыбам.

Как у Данте сферы небес разнятся от кругов ада, так молчанье этой части Аквариума было отлично от той качественно. То молчанье была немота живых существ. Немота не ощущалась как недостаток, как

неспособность к звуку, – она была вещь в себе и вещь в вещи.

Здесь... Остановясь в спирту, потеряв стихию движения, стихию дыхания и самую память о них, все стало четко видно до самого дна. Поймано. Не фосфорилось ничто. Не сияло. Жестко выпятив в смертной муке все свои острия, все полукружия, все оттенки цветов в полное владение человека, чудеса моря недвижно парили в бесцветном огне, притворившемся жидкостью, бессильно и безответно предлагая сумасшедшую свою красоту каждому захотевшему посмотреть.

Теперь можно было всласть сочетать эту особь с э т и м латинским названием. Разглядеть все переливы алого, зеленого, золотого. Понять, что казалось (пльвя) шаром, – только вдруг померк Неаполь, музеи его, все музеи на свете!..

– Вы устали, Анастасия, Ивановна! – говорит Горький. – Мы сейчас отдохнем у тетки Терезы на Санта-Лючия! Идемте теперь пообедаем, выпьем лакрима кристи!

Сидим в ресторанчике тетки Терезы, у самой воды. Рыбачьи лодки. Остро пахнет морем. Зеркальная, пылающая гладь гаснет вдали об небо.

– Нет, у меня нет привязанности к одному месту! Уж не тянет меня ни в Тифлис, ни в Царицын, ни в Нижний. На Украине жил – был украинцем.

Горькому подали осьминога. Нам – макароны. Пили лакрима кристи. Горький поднял бокал:

– За ваши встречи в Париже, Анастасия Ивановна! Желаю вам встреч с интересными людьми!

Три музыканта гремели свою струнную красу. Горький говорил, что любит это место на Санта-Лючия, потому что тут собираются самые разные люди, тут по-настоящему демократично. И мальчишески – «понимаете ли, такие хорошие мальчишки. Настоящие».



Рассказ о том, как однажды в распоряжении городского совета в Неаполе осталось несколько тысяч франков -собирались, чтобы решить, на что употребить деньги: основать

Ш

школу или сделать грандиозную иллюминацию. Большинство голосов прошла иллюминация.

Он говорит о том, как итальянцы любят оригинальное в

И человеке, окружают и смотрят.

- Хорошо, знаете, так смотрят.

О том, как ведут себя немцы, когда кто-нибудь не таков, как они. Плохо одет, например: они просто не видят. Идет на человека, никого перед ним нет. Как один его знакомый ' в парижском ресторане стал резать спаржу, которую принято

И не резать, французы держатся этих «правил приличия», музыканты только на миг приостановили музыку, лакей отвернулся, заглянул в окно, и все сделали вид, что другим заняты. Молодцы!

И Торговец поднес книги. Горький купил том Пушкина. Другой, с мелочами, предложил моему другу крошечную черепаховую мандолину.

- А она играет?

- Сейчас нет, - серьезно сказал Горький, - когда подрастет. Что-то нынче Везувий сильно дымит! Вечером, наверное, будет окрашен огнем.

Легкая, высокая, с впалой грудью и прямыми плечами фигура в черном костюме (непривычно: дома ходит в английской рубашке за пояс и в широкополой черной шляпе).

Эта сухонькая, высокая, угловатая и в угловатости грациозная фигура на фоне бледного, подавляющего здесь все Везувия, на фоне раскаленного неба, помпейских музейных зал, зеркальной набережной Санта-Лючия, - стоит предо мною теперь точно так, как

когда-то стояла в детстве, в этой же широкополой шляпе, на фоне московского осеннего окна, в день расправы со студентами.

Этот день никогда не забуду. Не могу его рассказать.

- Останьтесь! - сказал мне Алексей Максимович. -Останьтесь на один день! Мы с вами с вон той горы посмотрим закат над Неаполем, это незабываемая картина! А затем, при луне, поедем назад в Сорренто! А завтра - поедете еще раз на пароходе в Неаполь - а если виза есть, уедете в Париж.

Мне слишком хотелось остаться. Но это были те мои годы, когда я работала над собой, над воспитанием воли, над подавлением каждого нежданного своего хотенья. Искушение согласиться так пробыть этот вечер с Горьким было слишком велико. В моем тогдашнем сознании я должна была устранить искушение. И не открывать своих карт.

- Сделаем так, - сказала я, и мне было больно таи отвечать Горькому, - я поеду сегодня узнать, пришла ли в Представительство виза. Если пришла - я поеду. Если не пришла - вечер мой. Пусть решает судьба!

- Но зачем вам сегодня ехать узнавать в Представительство? - сказал Горький.

Мне было очень трудно, но уже необходимо повторить то же: 1

- Пусть решает судьба!

И я поехала в Представительство.

День уже клонился, удлиняя солнечные лучи, к вечеру, когда я, вернувшись, увидела, у входа в гостиницу, Горького. Его высокий черный силуэт был резок на фоне светлого дома. Мы шли друг другу навстречу.;

- Ну как? - сказал он, вместе со мной поворачивая к дверям гостиницы.

- Еду, Алексей Максимович! Виза пришла. Я взяла билет.

- А! Чорт возьми...

Рука Горького, было взмахнув в воздухе, круто опустилась к карману.

- Спички забыл! - сказал он. - В котором часу отходит ваш поезд?

...Вечер. Вокзал. Отъезд. Плавно, медленно, грациозно снимает широкополую шляпу Алексей Максимович, классическим жестом отводя руку с ней в сторону. Несет мою руку к губам.

- Добрый путь...

Из письма, путевого, к Горькому:

30 августа 1927 г., ночь

Поезд стоит. Рим.

Читала Самгина, и буду читать дальше. Появился Иноков, и мне сразу сделалось весело: Вы! Описывая его, Вы употребляете особый «прием»: это какой-то воздушный прыжок (Ваш голос: «Каждый прыжок - воздушный!») перед каждым его высказыванием. Вы улыбаетесь, и человечески-писательская зоркость течет от улыбки - в перо. (Так Вы улыбаетесь Марфе, когда она кричит: «Nein!»<sup>1</sup>. До чего это хорошо! Его движения. Как курит, как отвечает «Не знаю» - поразительно. «Взгляд голубых глаз часто противоречиво изменялся, то слишком по-женски мягок, то неоправданно суров...» (Это Вы пишете - о себе.)

Вы видели закат с горы, над Неаполем? Мой поезд летел -полем. День в Неаполе - один из лучших дней моей жизни. Как я буду жить, Вас не видя? Вы сказали с иронией, что русские люди не умеют обходиться без переписки даже в книгах, даже из соседнего дома - хоть одно письмо! Но ведь в этом не только указание - на стихию преувеличения? и словесности, - а еще две вещи: 1) легкость большая написать, чем заговорить

(застенчивость), и – 2) молчание вблизи -звучит. Издали – звучат строки. Нет?

А через десять дней я Вас снова увижу! «Десять дней» -это 240 часов! Жму Вашу руку.

Сейчас поезд промчится по местам – Итальянская Ривьера (Больяско, Санта Маргарита, Нерви (близ Генуи), где мы с Мариной жили девочками, в 1902-1903 годах...

Это письмо я отправлю из Турина».

Тут, видимо, мне пришлось прервать письмо Горькому. Даже ему!

Париж приближается. Его свинец, серебро, перламутры -тучи, лучи, дымки над маревом крыш – подступает все ближе, тая вширь, разливаясь и разбегаясь – навстречу летящему поезду. Сердце бьется той настоящей, так в детстве знакомой радостью, хоторой нет ни названия, ни предела. Свидание!

Меня встретил Сережа, Маринин муж. «Марина, Асенька, ждет вас дома! – Она с Муром. Аля помогает ей по хозяйству. Вы не узнаете Алю, – огромная!» – «А Андрюша...» Идем, сияя, перебивая друг друга. Мы не виделись столько лет!

1 Нет! (нем.).

Мы едем с вокзала на вокзал, минуя Париж. Марина с семьей живет за Парижем – в Медоне. Это – маленький городок. На улицах мало народу. Сады. Мы спешим, быть может, удивляя прохожих нашим летящим шагом: Марина нас ждет! Сейчас я увижу ее, не виденную пять лет! Это наша первая такая долгая разлука – мы расставались только раз, ни три с половиной года, и то показались они – десятью!

Avenue Jeanne d'Arc, 2. Дошли!

Подъезд. Лестница. Через три ступени! Но рука не успела дотянуться к звонку – дверь уж открывается навстречу, два лица обозначаются в сумраке входа.

Узнаю Маринины черты – в верхнем; но сразу, точно кто подкосил ноги, – я уж в три погибели, на корточках, перед Муром. Как невероятно хорош! Русые кудри, крупная голова, – маленький великан! Как похож на мать!.. Умиление перехватило голос. Вскакиваю. Рукопожатье. Марина! Какой чудный! Он о ч е н ь похож на тебя! Но, прерывая наш взгляд друг в друге, третье лицо над плечом Марины – голубые огромные глаза, улыбка на две косы: Аля! Алечка! Какая большая! И как на отца; похожа!.. Только глаза светлей! |

Сереза ставит мой чемоданчик, мы проходим по комнатам: их три (ни одной проходной), передняя и маленькая кухня. Газ.

Марина изменилась. Определить чем – трудно. Старше стала – конечно. Ей скоро тридцать пять лет. Отошла желтизна ее трудных лет. Но легкая смуглость – осталась.. Все еще похожа на римского юношу – большой лоб, но с с горбинкой, твердый абрис рта. Вокруг светло-зеленых глаз кожа у нее стала как-то темнее, что делает ярче цвет глаз.

Все так же курит и чуть щурит глаза, но вместо московского (коктебельского) шушуна (кафтана, охваченного у пояса ремнем) и почтальонской сумки через плечо, из-за которой (под презрением полыхнувшим Марининым взглядом) бежали за ней мальчишки по Борисоглебскому переулку, она теперь вынимает папиросу из кармана сизого хозяйственного фартука, в котором она несет из кухни кофейник. Мур, идущий! за ней, ласкающийся и об отца и об Алю, похож на | маленького медведя – плотный, тяжелый, как Марина была в детстве, еще тяжелей и плотней. Тоже в парижском фартучке, сизом. Цвета его и широких и длинных – не

! нагладишься – глаз. Голова – в крутых кудрях, пепельных! Необычаен!

- Его здешний д-р зовет «Le Petit Cossak», - говорит Марина, - а костюмы ему я покупаю на шестилетнего! Парижане - мелкие дети...

Я зорко смотрю на Марину, не видя в ней нашего общего с ней нетерпенья, одинакового у нее и меня к нашим первенцам. Она совершенно другая с Муром: мягкая.

Еще перемена: Марина научилась вязать. Вяжет все прямое: шарфы, даже одеяло, шерстяное. Толстым костяным крючком.

Первые часы - вперемежку рассказы и вопросы обо всем сразу: Москва, Сорренто, родные, Горький, Ока и Средиземное море (год назад, в 1926-м, я ездила с сыном Андрюшей в Тарусу, где не была с 1912 года, с года наших свадеб). О Марфеньке, Соловье, Максе, жене Макса, о последних днях в Москве, о Венеции, Флоренции, Риме, и - через каждые пять минут - «Алексей Максимович»... И Марина мгновенно загорается к нему ответною, интимною, нежною благодарностью - за меня.

- Я ему напишу, - непременно! Поблагодарю за тебя.

- Он твои стихи хвалит. Хотя и спорит со многим. Он все понимает! Восхищается прозой Бориса, «Детством Люверс». Это - волшебный человек, Марина...

- Я понимаю! Помнишь, как его мама любила? - Еще бы! С этого и началось, наверное, мое отношение к нему...

- Сережа тоже очень любит его. Хотел бы с ним встретиться. Мне - не удастся: дети.

- Он ведь хотел тебя пригласить в Сорренто, но я бы тогда не увидала всех вас...

За столом случилось у Марины и Сережи разочарование: была подана с трудом ими купленная, никогда не покупаемая телятина, в мою честь, поджарена, с золотистым картофелем, - а я уже почти пять лет оказалась вегетарианкой.

- Мы едим только конину - дешевле! Знаешь, Ася, непременно свезу тебя в Версаль, - сказала Марина, - может быть, даже завтра. Сережа поедет в Париж, а мы с Алей и Муром - в Версаль.

Так и решили.

На другой день мы поехали в Версаль. Тихий маленький городок. Знаменитые фонтаны в этот день бездействовали - только на открытках я увидела пенистые их взлеты Grandes eaux<sup>1</sup> Мы шли, рассказывая друг другу о пяти годах нашей разлуки, когда вдруг Марина схватила за руки Мура и кого-то из нас - Алю или меня, кто был рядом с ней, и почти бегом кинулась через спокойную площадь: вдали показался автомобиль.

- Марина, что ты? - удивилась я.

- Неужели ты<sup>1</sup> не боишься автомобилей? - спросила она меня с еще большим удивлением, облегченно следя, как машина пронеслась мимо нас. - Я их не выношу! И неужели ты вправду поедешь одна в Париж, если Сережа не сможет ехать? Совсем не боишься движения? Я никогда не бываю одна в городе - не могу. Еще двое так боятся ходить в Париже, как я: Бальмонт и Керенский.

- Керенский? Господи!.. После всего! Так он жив?

- Жив. Ему рассказали про то, как во время дождя какой-то студент перенес на руках через лужу старуху. Она обернулась и сказала: «А я - Вербицкая...» Керенский, не оценив юмора сцены, сказал с горькой грустью: «А меня -уж больше не будут носить на руках...»

- С Бальмонтом встречаешься?

- Дружны. С ним и с его второй женой. Чудные люди! Совершенно сумасшедшая семья. (Тоном одобрения.)

- А он помнит первый приход к тебе в Борисоглебский? Когда мы его разыгрывали.

Представились дурочками.

- Помнит!

- А он понял, что мистификация?

- Может, и понял. А может, почуял что-то. Уходя, он же сказал - помнишь? - своим мяуканьем, - Бальмонт ведь мяукает: «Мне здесь понравилось! Я б у д у приходить в этот дом». Нищая семья. И веселая в нищенстве.

Разговаривая, мы остановились перед дворцовой оградой. Как далекое привидение, стоял дворец. Лиловое августовское - или уж начался сентябрь - небо жгло деревья, камень здания и нас. Мы прошли городком и вышли в горячий и влажный лес. Пахло, как в России, грибами, лесной сыростью.

1 Больше воды фонтанов.

Мур рвал маленькие синеватые цветы, похожие на фиалки. Похожие на его глаза. Когда он подымал их на мать -взглядом доверья медвежонка к медведице, казалось, что на земле - счастье. Что не будет конца лесу, его запахам, дню, той встречи, после пяти лет... Дружба с Горьким, такая внезапная, такая «странная» - в своей высшей естественности!

Вечером Марина лежала на своем диванчике, где спала (в ее комнате я помню только диван, ее стол и книги), и, пуская папиросный дым - а на глазах ее были слезы:

- Ты пойми: как писать, когда с утра я должна идти на рынок, покупать еду, выбирать, рассчитывать, чтоб хватило, - мы покупаем самое дешевое, конечно, - и вот, все найдя, тащусь с кошелкой, зная, что утро - потеряно: сейчас буду чистить, варить (Аля в это время гуляет с Муром), -и когда все накормлены, все убрано - я лежу, вот так, вся пустая, ни одной строки! А утром так рвусь к столу - и это изо дня в день...

Темно-золотые короткие Маринины волосы разбросаны по подушке, голос борется с слезной



судорогой. Я стою у стены, с жадной уйти в нее – бессильная помочь. Пять лет назад, в хаосе борисоглебской квартиры, давя быт своим отлетающим шагом, в дикости послеголодных лет, – насколько она была крепче и бодрее, чем в этих чистых комнатках, в фартуке, у газовой плиты...

В те дни Марина прочла мне незадолго до того написанную «Поэму Воздуха». Она показалась мне поразительной, полной каких-то душевных познаний. Это была самая отвлеченная вещь из всех Марининых стихов. Но Марина сказала о ней слова совершенно конкретные:

– Знаешь, я попыталась описать, что бывает со мной, когда я после черного кофе – засыпаю... Точно куда-то лечу, – это еще не сон, – трудно объяснить словами...

Тогда ли вспомнилось – или теперь вспоминается, как Марина в детстве рассказывала, что во сне – летает. «И никогда на такой высоте, чтобы пугаться, – говорила она позднее, – лечу невысоко над землей, легко... Чудесное состояние!»

Помню рассказы Марины о Мережковском и Гиппиус, о Бунине. Она не любила их.

– Они – в самом правом крыле эмиграции, среди уже тех ограниченных, которые до сих пор решают, какой великий хнязь будет царствовать – Кирилл или еще кто-то. Когда монархов уже не может быть. Они держатся особняком, необычайно гордятся! каждый – собой (хоть бы – друг другом!). – Голос Марины дрожал неуловимой игрой иронии. – Меня – не выносят. Я прохожу – не кланяюсь. Не могу. А Бунин – так высоко несет себя – как на блюде! Сам перед собой благоговееет. Он один «великий писатель земли Русской». Смешно!1 Когда было тут, в Париже, выступление j Маяковского, зал был полон. Но знаешь, как его встретили? | Полным молчанием. Все эти ничтожества! Ни одного апло-;

дисмента. Тогда я встала и одна обратилась к нему, | приветствовала его. Должен же был кто-нибудь такому русскому поэту в зале, где сидят русские, faire les liommages de la maison<sup>2</sup>.

- Ты молодец, Марина!

Чуть ли не на другой день после поездки в Версаль внезапно и бурно заболел Мур. Марина уложила его, вызвала доктора. Скарлатина. Это название звучало нам - ужасом.

И вот оно пало на дом! На Мура, маленького великана. Как взволновалась суровая, стойкая Марина! Как нежно она ухаживала за ним! Отсылая Алю, оберегая ее от заразы. Но, конечно, не уберегла. Через несколько дней слегла Аля. Как я вернусь к Горькому, с опасностью завезти заразу его внучке Марфеньке? Дочка его, Катюша Пешкова, умерла в 1906 году и м е н н о от последствий скарлатины. И, боясь передать инфекцию - письмом, я должна была написать. А писем мне из Сорренто не было, ни ответа на мою телеграмму. Я была как ножом отрезана от Италии и не знала, что делать; близился конец моего отпуска. Еще ближе был срок французской визы. Мне приходилось ездить хлопотать о продлении в Париж и Версаль.

1 Позднее я слышала, что Марина изменила мнение о Бунине, в его семье бывала.

2 Непереводимое французское выражение, обозначающее: выразить уважение, оказать гостеприимство.

Утро в Париже. Длинные тени домов и деревьев, солнечные косоугольники света, синяя, серебряная прохлада над проснувшимся городом, которого голос - гул... В оркестровке его прозрачный трепет всего: крик мальчишек, звон мяча, скрип тележки, запряженной осликом, у дверей молочной, шорох ветвей, свист автомобильных колес, струящихся за поворотом, и шум площадей, бульваров, крик поездов gare du Sud, gare du

Nord... Дожидаясь назначенного мне в учреждении часа, осматриваю город.

Тихо течет в каменных стенках Сена, и в маленьких лавочках по набережной сверкают в чьих-то сомневающих руках настоящие и поддельные драгоценности – как в тот день, когда, за пятнадцать лет назад, я тут купила Марине запоздалый свадебный дар – недорогое ожерелье...

Деревья над рядом садов с чугунными узорами решеток шумят, качаясь, как пинии Нерви, как березы Тарусы. Не вижу ни листьев деревьев, ни названий улиц на перекрестках, ни нарядов людей, к счастью, не различает глаз близорукий, ни призывов реклам на высотах прославленной башни Эйфеля. И когда я, поборов отвращение к высоте, въезжаю по одной из ног башни Эйфеля – в лифте? – над Парижем, – другая синева, туманная, мне, близорукой, видна, чем видят зоркие люди, другая даль, серебристая, как в пустынях – миражи. И не оттого ли в близоруких глазах праздник зренья, что – не видно подробностей, ненужностей, что, как сказала Марина:

И губельно глядеть на мир  
Неблизорукими глазами!

В часы, когда больные Аля и Мур спали, когда не надо было делать для них что-нибудь: «Мне душно среди Сережиных друзей, – говорила Марина, лежа на своем узком диванчике, волосы разбросаны по подушке, струйка папиросного дыма вьется среди ее слов. – Я хочу быть свободной – от всего. Быть одной и писать. Утро – и день. Ну, вечер – уж все равно, силы к вечеру спадают. Тогда – пусть уж и люди, могу с ними говорить, даже слушать, когда дело сделано. Даже оживляюсь (от благодарности, что они не пришли раньше, что дали мне – писать). (Они же -не виноваты!) Но выходит наоборот: жизнь съедает у меня утро и

день, а вечером еще люди! Можно прийти в отчаяние – и я прихожу. И никто не виноват, – не

виноваты же д е т и. Аля и так сейчас не учится, чтобы быть с Муром. Это тоже лежит на мне. Я как будто бы виновата. Но больше, чем я делаю, – я не могу. Ребенок должен гулять утром, днем. Один он на воздухе быть не может. Значит – с Алей. И все должны быть сыты. Значит, я иду на рынок и готовлю. Сережа работает – где и как может. В издательстве. Устает очень. Он все эти годы очень болел, ты же знаешь. – Огненная Точка папиросы вспыхивает, туша пепел. – Заколдованный круг!

– Может быть, в России было бы легче? – пробую я вмешаться в это отчаяние.

– У меня нет сил ехать... все заново? Не могу. Я ненавижу пошлость капиталистической жизни. Мне хочется за предел всего этого. На какой-нибудь остров Пасхи? Но и там уже нет тишины, первозданное™, как на тарусском лугу, на холмах, где березы, в детстве. Всюду уже может прилетать аэроплан – и на остров Пасхи! Н е к у д а от людей укрыться... Ты – добрее меня, наверное. Ты еще любишь людей? (С опаской, как о чем-то непонятном или уж очень молодом, говорит Марина. Полувопрос. И, спеша не упустить мысль.) А я уже давно ничего не люблю, кроме животных, деревьев... Аля – в трудном переходном возрасте. Она очень талантлива. Очень умна. Но она – вся другая. Мур – мой. Он – чудный. (Последнее слово мы сказали в один голос, как в детстве и отрочестве.) – И Марина улыбкою в мою: – Тебе он нравится?

– Еще бы! Он совершенно необычаен.

– Нет, я не знаю, – отвечает Марина, – он менее необыкновенен, чем Аля была в его годы. Аля была – сплошной блеск! Ты же помнишь... Но он – в меня. Родное. И он куда меньше говорит, чем Аля в почти три года, – но он понимает! Кто знает, какой он будет.

- Это самый обаятельный ребенок, Марина, какого я знаю.

Как он глядит! Художник Миллиоти от его карточки - без ума! И он добрый ребенок. Но и Аля очень добра - так она с ним, в ее годы... Дети твои - два чуда. Это ты помни! Подрастут - и тебе будет легче...

Вздых.

Видела я героя «Поэмы Горы» - К. Б. Р.

Таким - немного таким, только с лицом жестче и темнее -я представляю себе Андрея Болконского. Но этот человек

был тронут крылом польской прохладной пленительности., Невысок, тонок. Обращение Марины с ним было дружески равнодушное, она с ним мало говорила. Марина рассказала мне, что она способствовала его браку и подарила невесте

! белое платье.

Еще я помню в тот приезд к Марине, в нашу с Мариной последнюю встречу, в 1927-м (обе мы были уверены, что еще будем вместе...), - слова Марины:

- Последнее, что я приняла из техники, - это поезд. Он мне вошел в пейзаж. С детства. Все следующее, что мне не органично, - мне чуждо. Я должна была жить - сто лет назад. Самое позднее! Я поздно родилась. Может быть, я тогда - могла бы быть счастливою...

Я не сказала, что первую ночь, а может быть, и в не одну, мы легли вместе на Маринин диван и долго говорили, глубоко в ночь. О прошедших пяти годах. О Москве, о друзьях, о Бретани, об океане, куда они еще поедут. О Горьком - о Нерви, через которое я пролетела поездом, где мы жили десяти и восьми лет с мамой, о герое «Поэмы Горы», - о чем только не!

Марина мне рассказала, как она ездила в Лондон дать вечер стихов, как пришли и англичане и русские. Как после окончания к ней подошел высокий светловолосый человек (с бакенбардами?), назвался

родственником, Бернацким. Тогда ли (или это уже в письме позже, если дело шло уже не о Лондоне, а о Париже) она рассказала, что была с ним в семье Бернацких. Там древняя старуха ей рассказала, что бабушка наша Мария Лукинична Бернацкая встретила с дедушкой (Александром Даниловичем Мейном) на балу, что была с ним несчастна...

~ Ася, Лондон – волшебный. Старые дома, улицы, туман, – живой Диккенс.

Марина казалась мне много старше, чем какую я помнила ее в Москве в 1922-м. Кровны были ее строки:

Уж немногих я зову на ты.

Уж улыбки забываю важность;..

То – вдоль всей голосовой версты Разочарования протяжность.

С двумя людьми я в Париже в те дни увиделась: это были Илья Эренбург и муж моей гимназической подруги Поль Элюар. К Эренбургу я поехала с Сережей. Илья Григорьевич

жил в небольшой квартире, скромно. Книжки, книжки. Помню его сходящим по узенькой лесенке (внутри комнаты, как бывает в художественных мастерских, и как было в Коктебеле у М. А. Волошина, где я впервые, давно, видела Эренбурга. Только теперь за окнами было не Черное море, а сизый и радужный в солнце, осенний Париж). Илья Григорьевич был худой и почти такой же, каким я его помнила: тот же пристальный, умный взгляд карих глаз, та же речь, зоркие, бросаемые как бы нехотя, замечания. Думается, курил трубку.

Помню темные прекрасные глаза его жены, грациозной и молчаливой, ее бледное, худое лицо, прическу темных волос. Марина не поехала с нами. Она избегала поездок в город, почти патологически боясь уличного движения.

Моя гимназическая подруга Галя Дьяконова в 1914-1915 годах, двадцати лет, уехала к своему жениху Paul

Eluard (Eugene Grindel) через минированное море; как это ей удалось устроить – не знаю. Редко помню что-нибудь деловое. Но этот факт был. Познакомились они еще в 1912-1913 годах в санатории за границей, куда Галя отец отправил лечиться, у нее начинался туберкулез. Она много рассказывала мне об Элюаре в последующие годы в Москве.

Галя встретила меня у одного из парижских отдаленных вокзалов. Мы не видались около двенадцати лет, но узнали друг друга сразу. Ушла из ее лица девическая стройная тонкость. Вместо кос была незнакомая мне пушистость подвитых волос, ширивших ее узкое лицо. Но голос! Но глаза! Те же – узкие, чуть китайские, карие, с длинейшими ресницами. Этим глазам Поль Элюар посвятил одну из своих молодых книг «Ses yeux» – страницы были полны набросков Галиных глаз. Эту книгу я теперь, приехав к Гале, держала в руках.

Перекидывая страницы, смеясь и задумываясь, я слушала Галин рассказ о их – весьма необычайном – браке. О том, как несколько лет назад ее муж уехал – один – на остров Таити, и она жила в Париже одна. Затем она поехала к нему. Теперь они уже давно снова вместе. Отношения сложные. Не всегда легко. Но расстаться не удалось: вросли друг в друга. Он – необыкновенный человек.

У них дочь Сесиль. Ей двенадцать лет. Сейчас она гостит у бабушки, его матери.

Я рассматриваю альбом, фотографии, где Сесиль во всех видах – дома, в саду, со всеми своими живыми и игрушечными друзьями – зверями. По блеску карточек разбросаны темные кудри Сесиль, ее пышные банты, ее плюшевый гигантский медведь, и чем дальше я листаю, тем она худее и выше, тем таинственнее становится лицо девочки, в котором таятся и Галя и Элюар, смесь

двух наций. У нее круглое - худеет - личико, темные глаза.

Скоро приедет домой Поль Элюар.

Элюар - коммунист.

- Он очень много работает, - говорит Галя, - я много бываю одна или с Сесиль. И знаешь, я устаю: у меня в саду столько роз - я тебе нарву букет, увидишь, какие! С ними очень много возни. Все сама поливаю.

Я слушаю, смотрю вокруг - их комнаты похожи на музей: Элюар - страстный коллекционер редкостей. Остались в памяти деревянные и каменные скульптуры: идолы, божки, статуэтка Будды да прозрачная, как хрусталь, лошадка, но о ней впереди. Я вживаюсь в эту незнакомую, через Галю уже близкую, жизнь, которую я, так случайно встретив, правом двадцатилетней дружбы, завтра, может быть, навсегда покину, стараюсь понять новую, когда-то знакомую Галину жизнь. Элюар - мне через Галю уже родной: я о нем столько и так давно слышала, и он не может обмануть моих ожиданий.

И вот он входит. Ниже ростом и не те волосы - светлей, но чем-то очень сходный с Маяковским. Пронзительный взгляд - ума и печали.

Улыбка. Рукопожатие. И с первых минут - разговор, как с родным. Точно годы друг друга знали!

Я позабыла - не удается прежняя беглость - французский язык; иногда споткнусь, потеряю - ловлю слово, но проходит час, другой, третий, слова летят назад, как птицы в гнездо, мне делается все свободнее, все веселей и родней. Галя, верно, радуется, глядя на нас, - своей, сдержанной, тонкой и гордой радостью - она у нее сейчас двоякая.

В дружественном темном, глубинном взгляде Элюара - внимательность и ума и сердца. Он слушает мой рассказ о Марине, о Горьком. Заинтересованный и ею и им, он ловит мои слова о них, как ловил



обитателей своей коллекции редкостей, которой он населил дом.

- Ваша страна в самом деле удивительна, - сказал он мне среди нашего - без малого сутки длившегося -разговора, - я никогда не мог с французскими женщинами говорить серьезно, свободно, с полным знанием, что понят. Так я говорю - из женщин - всего во второй раз в жизни. В первый раз это было с моей женой, Галей, во второй раз - с вами. И обе вы - русские!

Он показал мне свою коллекцию. Я похвалила светившуюся, хрустящую лошадку. Он протянул ее мне.

Напрасно я, смутясь, отнекивалась, говорила ему, что это - обычай восточный, не западный, что я себе не прощу, что похвалила неосторожно... Он настоял.

Галя нарвала восхитительный букет разноцветных роз, благоухающих, горевших каплями влаги. «Мы тебя отвезем на вокзал на нашей «телеге».

Мур уже выздоравливал, Аля еще болела.

Из Сорренто - молчание, нет визы для въезда в Италию.

На мое дорожное, в Турине собственноручно сданное на почте, письмо я тоже не имела ответа.

В свете этих тревог, неизвестности о ближайшем будущем (может быть, придется, ввиду наступающего конца отпуска и французской визы, ехать в СССР, не заехав в Италию, не увидев Горького...) и болезни в Маринином доме - мимолетный поход в Лувр был тревожен и краток. Серый, как помпейская лава, тяжелый, мрачный дворец впустил в свои просторные лабиринты мой спешный шаг. И я ничего не помню из Лувра, кроме Моны Лизы - Джоконды: возвращенная из своего похищения, реставрированная, она полуулыбалась, и сердце дрогнуло от ее взгляда, как дрожало и

от первого взгляда, в мой первый приезд в Париж... в 1912-м.

В моих поездках в Представительство я встретила Абрама Марковича Эфроса, заместителя директора Музея изящных искусств, знакомого мне еще и ранее, по Союзу писателей.

Он издавна дружески относился ко мне, не раз помогал, как члену Союза, выхлопывал мне в трудные времена пособия, и старался ввести меня в штат Музея (там я с 1924 года и работала внештатной). Когда опасность в доме Марины миновала, дети уже поправлялись, мы пошли по парижским музеям, – он так много знал, в Париже был как дома, и мне

с ним было интересно и спокойно, – тревоги стихали, сложности хлопот и ожиданий таяли, все – на полдня, пока я была с ним, приходило в порядок, все казалось проще, ясней. Его здравый смысл, зоркий, трезвые и твердые советы – делали вдруг терпимой мою странную парижскую жизнь, мое положение птицы на ветке.

Помню этаж под крышей, где в маленьких старых комнатках мы рассматривали модели стариннейших кораблей. Пласты осеннего парижского солнца золотили полы и стены, и модель корабля делалась на миг андерсеновской в штиле солнечного луча.

Где-то пили гренадин. Было жарко, Абрам Маркович расспрашивал о Горьком, о Марине. Был синий осенний день.

Мы побывали и в музее Grevin, где восковые куклы стараются воскресить ушедших в вечность деятелей французской истории. Велика ли их художественная ценность – судить не берусь.

А вестей из Сорренто – все не было. Я пошла в Notre-Dame, поднялась на крышу, обошла в ее глубоких, как колодцы, углах всех химер, глядела с ними на серебристую голубизну парижских далей.

Из внешней жизни Парижа запомнила: через арку Etoile за час в 1927 году проходило 3000 автомобилей.

Марина часто упоминала о Чехии - сердцем возвращалась к ней. Жилось Марине с Сережей там, под Прагой, три (думается) года «не жирней», чем в Париже, может быть еще трудней в смысле работы, еще скудней в смысле пищи.

Но нежность Марины к Чехии осталась до конца ее дней (цикл стихов к Чехии против фашизма). Она говорила мне о доблести чехов, о скромном величии этого народа, о их тихой, мирной жизни, напоминавшей Шварцвальд нашего детства. О их страстной любви к родине. О природе Чехии, которую она полюбила и несет в себе, как - Россию. О их реках, холмах, деревьях. О лесе, где они жили...

А над домом снова назрела туча: Марина слегла. Ее как подкосило: скарлатина! В тридцать пять лет! Сережа и я испугались. Болезнь началась и шла - бурно. Марина стонала, бредила. Аля уже вставала. За Муром надо было смотреть. Марина попросила меня перейти ночами к нему. Я спала на

полу на матрасе перед его кроватью. Мур был уютен и кроток.

- Ты прислана мне в помощь, - сказал мне Сережа, - что бы я делал сейчас без тебя! Работу бросить - нельзя, сестру милосердия нанять - не на что. Какое счастье, что ты - здесь! Удивительно прямо! - как будто нарочно все так сложилось, чтобы ты - из Москвы - через Сорренто! -оказалась в эти трудные для нас дни - тут! После стольких лет разлуки...

Мы в четыре руки ухаживали за больными. Было несколько дней, опасных для Марины. Она болела тяжело, мы боялись: как повернет болезнь? Во внутренней настороженности, стихнув, как-то притаясь перед жизнью, моля о Маринином выздоровлении, прожили мы эти несколько дней, слушая ее стоны, видя,

как она мечется, теряя сознание, или спит, тяжело, лицом в стену.

Но, видно, судьба пожалела нас: как радостно было в эти дни выздоровления! Аля, бледная, уже была на ногах. Осунувшийся Мур, вновь уютный медвежонок, лез на постель к матери.

И вот – так же просто, как ее так долго не было, – I пришла весть: в ответ на мой вопрос к Алексею Максимовичу, не боится ли он моего приезда для внучки! из-за скарлатины, не ехать ли мне прямо в СССР, Горький | просил передать, чтобы я ехала в Сорренто.

А на другой день так же просто, как мне долго отвечали: «Нет визы», – мне ответили: «Виза пришла».

Судьба поворачивала рычаг – вновь. И сразу проснулось то, что дремало в дни ожидания и уже привычки к дому: ужалила страстная боль расставания с Мариной. Вся тревога! Когда вновь увидимся! (Увидимся ли?) Но на это мое нутро, веря в жизнь, отвечало: о, увидимся! (Как хорошо не знать будущего!)

Мне удалось найти дезинфекционное учреждение; с большими хлопотами, потерей времени и сил вещи были обезврежены. Возникал вопрос: а то, что на мне? Я сама?

В заботе и страхе о Марфеньке я придумала способ: перед самым поездом взять в ванном заведении ванну, а то, что на мне, – окунуть в таз с денатурированным спиртом. Выжму и буду спокойна.

Многие смеялись потом над моей – считали это дикой выдумкой.. Но я хотела быть чистой перед Тимошей -Надеждой Алексеевной Пешковой, матерью Марфы.

Солнечное – через парижскую дымку – осеннее утро. Вот он, отъезд...

Марина в первый раз встала. Слаба. Бродит по дому. Может быть, встала, чтоб сделать максимум для моих

проводов. Ехать на вокзал она, конечно, не в силах. Сережа проводит меня. Бродит – еще потому, что так легче скрыть боль расставанья. Ни слова слабости от нее ко мне, от меня -к ней: семейная статья.

Больше балласту -

{Краше осанка!

Аля уклоняет глаза. Мур смотрит печально и взросло. Сережин голос:

- Ну, Асенька...

Я подхожу к Марине. Улыбаемся. Рукопожатия. Чинный, бережный поцелуй.

Потупленные глаза. В висках от страха себя- молот.

Два голоса, теплые, вежливые слова. В унисон:

- Пиши же...

Мы уже у самой выходной двери. Полутьма. В ее ласке я переступаю порог.

В Париже, в ванной комнате, я едва не задохнулась, выполняя мой план: пары литра спирта в жаре наполнили комнату. Этого я не учла. Почти теряя сознание, я рванулась к форточке; шатаюсь, дохнула ветром. Опьянение стало от меня кидаться толчками. Еле помня себя, я, не вытираясь, оделась и с мокрым свертком, с кружащейся головой вышла на улицу. Там меня ждал Сережа. Пытаясь смеяться, я рассказала ему происшедшее. Он крепко вел меня. Мы зашли в кафе Regense, под навесом на воздухе выпили крепкого кофе.

Запах железнодорожной гари, крик поездов. Дорожная лихорадка. Узкое лицо Сережи, его поднятая над головой шляпа, свет его огромных добрых глаз. Улыбка. Высокий его силуэт. Рядом, ниже, - Р. Он в последнюю минуту поспел

к поезду, привез мне от Марины - письмо! Пожелания прощанья.

Поезд дрогнул. Идут рядом. Последние мои им слова:

- Приезжайте в Россию! - Гляжу во все глаза  
-запомнить.

Конверт. И апельсины. (Такая трата, Марина!)

Слезы застилают глаза. Читать не могу. Мешают!

«Милая Ася... - Строчки прыгают... - когда вы ушли, я долго стояла у окна. Все ждала, что еще увижу Тебя, на повороте, - вы должны были там - мелькнуть. Но вы, верно, пошли другой дорогой!.. Бродила по дому, проливая скудные старческие слезы...

Твоя М. Ц.»

Знакомый характерный завиток нашего «Ц» - и пустой низ листка.

«Отъезд - как ни кинь - всегда смерть» - слова Марины. Я совсем не помню дороги Париж - Сорренто. Точно ее не было. Я перечитывала письмо друга из Сорренто, строки о глубокой обиде на меня Алексея Максимовича, не воспринявшего («и не пытайтесь его уверить, не слушает») причин моего молчания. Для Марфеньки я молчала, я бы писала - несчетно!

В те несколько дней, что я еще провела у Алексея Максимовича, я встретила там без меня приехавших Екатерину Павловну Пешкову и Марию Игнатьевну Закревскую, секретаря Горького. О нашей с Мариной любви к Екатерине Павловне я писала. Она была почти совсем та же, что в молодости. Тот же присматривающийся сквозь застенчивость взгляд, то же и бережное и несколько строгое внимание к человеку, та же деловая, целомудренная твердость в той же обаятельной женственности. В то время как Макс из мальчика восьми лет стал мужчиной, художником и спортсменом, она, его мать, только чуть пополнила (полнотой не разнеженности, но - зрелости. Старость еще и не касалась ее).

Я глядела на нового мне человека - Марию Игнатьевну Закревскую. Высокая, статная, тонкая, с,

пожалуй, круглым (но не полным) лицом, с огромным, властным, умным лбом,

с большими темными глазами. Темные волосы зачесаны гладко назад.

Прекрасно воспитанная, светская женщина. Умение владеть собою. Она мне понравилась. Заинтересовала.

Великолепно зная языки, она переводила на английский Горького. (Кажется, и «Детство Люверс» Пастернака.) Кто-то сказал, что Мария Игнатьевна – потомок по боковой линии Петра I. В ответ на просьбу показать предка она хмурила брови, кидала из-под бровей мрачный взгляд, что-то неуловимо менялось в ее лице – и в комнате оживало знакомое по портрету лицо Петра.

Мария Игнатьевна была очень любезна к гостям Горького, но вплотную ни к кому не подходила и к себе не приближала.

Соловей болел – где-то шло землетрясение. Срок отпуска прошел, я спешила в Москву. Я доканчивала зарисовки Горького, радуясь, как прочту о нем друзьям, как буду готовить книгу.

Гонг звал нас к обеду. И после обеда мы, а иногда одна я, как прежде, сидели в комнате Алексея Максимовича и слушали его. И так же белое облако над сопкой Везувия, над зеркально голубым заливом к ночи становилось серым дымом и медленно делалось огненным. Горький рассказывал о том, как каждый год лавою заливают чей-либо виноградник, а на следующий год итальянцы вновь обрабатывают землю. Но тон наших бесед был – другой.

– Скажите мне, Анастасия Ивановна, вы помните Лидию Варава? Считаете ли вы понятным и правильным, если я проведу ее через всевозможные секты? Сектантский дух того времени.

Слушаю, думаю. Я захвачена героями «Самгина». Говорим о Лидии Варава, которую оба мы, Горький –

писав, я -прочтя, помним девочкой... Кажется мне, что такое о ней возможно.

Из тех дней помню еще слова Алексея Максимовича: культура – это наука и искусство Цивилизация – техника и экономика... Люди часто путают эти понятия, очень часто.

Забыла сказать, что Алексей Максимович подарил мне несколько своих книг, надписав их. Одну из них – первый том «Клима Самгина» – давая мне, он сказал с милой, смущенной улыбкой:

Г.Чк

– Тут чепуха получилась... Не с той стороны надписал Пришлось повторить – с верной. Не знаю, вырвать лист, тот или нет...

– Не рвите! Это же чудно! На память...

Я бережно взяла толстую книгу в темно-синем переплете. С обеих ее сторон, на первом и на последнем листе, стояло:

«Анастасии Ивановне Цветаевой  
сердечно

А. Пешков».

Теперь Горький додаривал мне свои книги с надписью, и набралось их более десяти. Я собиралась в путь. Подарил он мне и портрет свой – тот, известный, пожилым, в черной шляпе. Недоразумение, происшедшее между нами из-за моего парижского молчания, из-за бережности к его дому (у себя отняв радость удержанного пера), – давило меня. Не пытаюсь объясниться, стараясь улыбнуться, я, сжав книги, толкнув плечом дверь, вышла.

Я должна была ехать в Неаполь вместе с Екатериной Павловной. Макс уже был там – увез в больницу Надежд}' Алексеевну. Ждали родов. Макс должен был проводить меня на вокзал. Поезд шел ночью.



Алексей Максимович и я стоим на площадке лестницы виллы Сорито. Я передаю ему найденную мной квитанцию моего туринского недошедшего письма, к нему. «Может быть, справитесь, где оно...» Он прячет квитанцию. «Анастасия Ивановна, выберите себе что-нибудь на память!» – говорит он, подзывая проходящего бродячего продавца с его корзинами «воспоминаний об Италии» – изделия из мозаики, коралловые бусы, шелковые шарфы... «О нет, не хочу, не надо... – умоляюще говорю я. – У меня есть ваши книги...»

Мой последний час. Мне хорошо, что еду я не одна – с Екатериной Павловной. Это последнее тепло моего сорреватийского дня. Мы стоим на раскаленной меловой белой дороге (от нее и от солнца больно глазам): Горький, Соловей, Екатерина Павловна, Мария Игнатьевна, Борис Михайлович,

Коляска подана. Я рада, что в этот печальный, дорогой миг – не равнодушная машина (которую, увы, так любит Марфенька!), а запряженная живым конем коляска ждала нас.

Пожелания, приветы. Горький стоит, щурясь от солнца. Чуть склонив голову. В светлой английской рубашке за пояс. Так и не видала его в знаменитых его и Льва Толстого – русских! Серые брюки. Какой высокий!.. Рукопожатье. Мы садимся в коляску, и легкий стук копыт уносит нас от виллы Сорито, повороты дороги, синяя черта моря, Везувий и облако пара над ним.

Я мало помню из последнего неаполитанского дня. На сердце была тяжесть, тоска, но так глубоко, под таким спудом, что я могла улыбаться – солнечным улицам, черноглазым кудрявым детям, Макс, дружку моих далеких одиннадцати лет, жене Горького – как я ее яту и люблю! – Екатерине Павловне. Помню обед в гостинице, где они остановились, залу со столиками,

вкусные итальянские блюда, руку Макса, льющего нам в бокалы вино.

- За здоровье Надежды Алексеевны!

Суэта ночного вокзала, мой багаж в руках Макса. Железнодорожный дым, свистки. Сейчас, когда поезд отойдет, Макс снова поедет в больницу, узнать о состоянии Тимоши.

И он, может быть, уже узнает, кто у него - сын или дочь! Макс, Максик! Отец двух детей!..

...И вот уж мой поезд летит прочь от Неаполя, по черной душистой ночи.

Огоньки позади меркнут.

9 октября 1927 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Недавно поезд отошел от Мюнхена, где была пересадка (до этого - в Болонье). Уже текут северные виды.

Ночью пролетели три границы: итальянская, австрийская и немецкая. Осталось еще две: польская - и наша.

Прочла «Три дня». Жаль, что не длиннее, - о судьбе сына. Если успею дать Борису телеграмму из Варшавы - послезавтра в это время уже буду с ним на московском извозчике пересекать Москву.

Ночь. Познань. Скоро садиться в поезд. Кончила «Коновалов», «Челкаш» и «Озорник». Мне очень мил Коновалов. Впереди - Кожемякин, надолго, в скупые свободными часами московские мои недели. Да! Как близок Коновалов, и как немил сердцу «Проходимец», - правда? Как много есть чудных мест в каждой Вашей вещи, читаю, и душа радуется, и успокаивается тревога о том, что ничего Вам не сказала, -и сколько хотела сказать! Для чего говорить, в конце-то концов? - Но кто отнимет у меня радость вдали от Вас читать Вас? 1

Столбцы. Игрушечно-чинный вокзал маленькой погранич- | ной станции. Это последний кусочек Запада.

Последние ее атрибуты в виде узора иностранных газет, польских, фран- | цузских, немецких; блистающие стопочки швейцарского шоколада... дорожные зеркальца, стаканчики, карнэ, «чудо-ка- 1 рандаши», виды Уяздовской аллеи...

Таможенный осмотр окончен. Чиновники с блестящими пуговицами, в каскетках совершили свой долг. В Варшаве у | билетной кассы я получила удивленный отказ: билет до; Москвы? Билет выдается только до Столбцов, от Стотбцов берешь билет до Нешрелого, в Негорелом уже в русской кассе получаешь билет до Москвы.

Глухой гул. Поезд. Носильщик берет вещи.

Был ветер, хлестал дождь, когда поезд с несколькими пассажирами замедлил ход у последней польской сторожки;! после было темно. Здесь сошли все польские железнодорож-! ные служащие, кроме машиниста и кондуктора. Они доезжают до самых границ неведомой страны, они обжигаются об ее ворота. Таков долг службы.

Эти последние минуты я еще во власти Запада. Еще мой паспорт – иностранен. Еще я – «пани». В молчанье со мной кондуктора – что-то стеклянное. Стоя у окна, я стараюсь за его плечом различить, что за окном. Слева замигали огни. Негорелое. ' Тоска по родине за два с половиной месяца уже так во | мне горела, что я не забуду той радости, какую я испытала, когда, на первом километре русской земли, в наш поезд |

вскочил русский парнишка (красноармеец с винтовкой через плечо). А за ним – чудный пес, с раскрытой радостной пастью, с ходящей на нем, как на щенке, – а был взросл! -шерстью, – как же мы обнимались с ним!

Едущих в вагоне было всего несколько человек, и проверка паспортов заняла мало времени. Узнав, что я

еду от Горького, парнишка необычайно оживился. Он стал возле меня и дружески, точно товарищу в клубе:

- Ну, и как? Прогрессирует в смысле развития?1 - И уже строже: - Когда ж он думает ехать в Советский Союз?

- К весне. Он ведь болеет, от холода... Весной его юбилей - вот он и приедет, - успокоила я юную бдительность пограничника.

- Читал я его книги. Здорово пишет!

Лаконичное сие утверждение было первым приветствием юбилейным Алексею Максимовичу с родины.

Из Негорелого я дала телеграмму Борису Пастернаку. Устав от заграничных поездок с сидячими узкими местами, я выпила крепкого чаю и, как только подошел поезд, влезла на верхнюю лавку, разлеглась на ее ширине и блаженно проспала весь путь.

В Москве меня встретил Пастернак.

Смотрит, глядя на человека, мимо него (через него, может быть). Поглощен не им - чем-то своим (и его в это свое вглатывая. Но можно в это «его» - и не попасть, за целый разговор). (Состояние - сна.)

Узнал! Улыбается. Смеется во всю пасть, радостную! (Как тот пограничный дружок, лохматый...) И глаза - такие же (на миг, правда, но...) преданные. Схватил чемоданы. Поставил. Обнимаемся.

В 1929 году я отдала в «Новый мир» главу из моей книги

о Горьком. Но рукопись я до этого послала на прочтение -ему. За ней поехал мой семнадцатилетний сын Андрей. В то время к Горькому уже было нелегко попасть, его охраняли от лишних людей. Он болел. Но Андрея он принял тотчас и более часа с ним беседовал. Когда-нибудь Андрей, может быть, напишет об этой встрече. Рукопись вернулась без исправлений и

вычеркиваний (я просила вычеркнуть то, что будет излишне).

Доподлинные слова красноармейца.

н Пн\*

«Я никогда не позволял себе критиковать мне посвящен-ное. Не могу отступить от этого правила даже и в данном -Вашем - случае. Желаю Вам всего доброго.

А. Пешков»

1936 год, 18 июня. Весть: Горький умер!

Похороны Горького. Еще не дойдя до Союза писателей, я присоединилась к организации, где преподавала языки, и прошла в очереди людей по залам Дома союзов. Траурная музыка рвала душу. Черные, призрачные чехлы люстр. Цветы... Профиль Алексея Максимовича, заострившийся, похудевший. Последний покой век. Но я не могла расстаться - и я еще раз, выйдя, встав в очередь другого учреждения, прошла - чтобы увидеть еще раз...

Днем, в Доме писателей на улице Воровского, Фадеев говорил долго (я тревожилась, что мы опоздаем к выносу, -мы действительно опоздали - встретили перерезавший нам путь красный лафет с гробом уже у конца Воздвиженки). Конная милиция сомкнулась вокруг шеренги писателей, отделяя нас от беспорядочной толпы. А затем черный дым из трубы крематория.

В 1961 году в Архиве Горького, работая над перепиской, я нашла фотокопию письма ко мне Горького неотосланного. Это единственное сохранившееся из писем ко мне Горького.

«Ай, ай, сударыня! Вам 32 года, а Вы восхищаетесь, точно институтка из благородных девиц, из тех, которые верили, что каждый военный - герой, и всякий поэт - красавец. И вот, одна из эдаких, увидав Апухтина, до того разогорчилась, I что, сняв чулки, босенькая, пошла гулять по снегу, дабы, получив

чахотку, смертью умереть. Теперь я боюсь, что и с Вами будет что-нибудь подобное: приедете в Сорренто, а! Горький-то – угрюмый материалист, говорит фальцетом, нос у него красный, глаза косые, и ни в чем никакой гениальности нету! Тут Вы и прыгнете в Неаполитанский залив.

Но «шутки по-бок!», как любил говорить один полицейский знакомый мой. Во-первых: «Я Вам послал две книги «Артамоновых» и еще какую-то, а в них была вложена «Тараканы», маленькая книжка в издании Универсальной библиотеки. Во-вторых, посылаю «Заметки и рассказы 22-24 года»; а «В людях» у меня нет. (Оказывается, есть и

«Детство»; тоже посылаю). В-третьих: о визах италийских написал послу унижительное прошение. В-четвертых: Максим помнит Вас, это длинный лысый мужчина, весьма женатый, детный и – замечательный: разные художники единодушно говорят, что он очень талантлив. Кроме этого, он ленив, как кит, и совершенно не уважает родителя. (Ну и пусть не уважает, я не боюсь.) В-пятых, так как с визами по нынешним английским дням, вероятно, будет некоторая задержка, так это не должно смущать Вас...

Пастернака очень полюбил за «Детство Люверс». Чудесная книга! А стихи его – увы! – тяжело мне читать, тяжело старику! Каждый раз, когда я его стихи вижу, мне вспоминаются стихи хлыстов:

«Воробьи-пророки Шли по дороге,  
Нашли они книгу,  
Что писано тамо?

Саварсон само Родиша Ирона Мая дива луга» и т. д.

Видите, какой я? А Вы говорите! И у сестры Вашей многого не понимаю, как не понимаю опьянения словами, вообще, ни у кого. Нет, не этим приемом можно поймать неуловимое в чувстве и в мысли, не этим.

Но об этом при встрече. Очень жду ее, конечно. Вы приедете сюда к винограду.

Спасибо Вам, милая Анастасия Ивановна, за Ваше письмо, за радость знать, что Вы есть и такая детски-ясная, хорошая».

Прошли десятилетия с дней, когда я простилась с Горьким.

Мы не только сравнялись с ним в возрасте, но я уже много старше его – тех, соррентийских лет. А все так же нежно вспоминаю этого сложного большого человека, и все так же люблю его книги.

## ПОСЛЕДНЕЕ О МАРИНЕ

Начиная запись о конце жизни моей сестры Марины, я сознаю всю ответственность труда вспомнить, собрать, изложить все с наибольшей точностью: что предшествовало вести о ее смерти, которую от меня два года скрывали, как осторожно, частями мне шла о ней правда, как – когда я смогла – поехать в город ее беды, что я там узнала и как собрала по каплям рассказы о ней – от людей, Марину без меня знавших.

Я обошла всех, кого успела застать, и все тщательно записала.

Лето 1943 года, в разгар войны, я была на Дальнем Востоке. Я пыталась сесть в поезд на станции Известковая. Но не смогла, вернулась назад. И вот тут мне дали письмо. Я давно не имела писем. Оно было от старшей сестры моей Лёры, маленькое письмо из Тарусы. Как я обрадовалась! Сперва об одном, о другом... Потом слова: «Муси, автора «Волшебного Фонаря», нет на свете. Сын ее где-то на Кавказе, с Союзом писателей».

Я прочла, перечла – и в негодовании: «Вздор! С л у х... Марина не могла умереть!»

Не поверила! Все во мне – все живые силы, как мускул, напряглись против этой нелепой вести! Этого не могло быть! Теперь, когда она здесь, на родине, мы будем наконец вместе, – и теперь бы она вдруг – умерла? Просто Лёра от нее далеко, война, все в разброде, мало ли что выдумают!

Я сложила письмо. Но тайная тревога терзала. Я стала писать всем, спрашивать. И пока все – до одного – молчали, я (судьба была по-своему милостива!) – двадцать дней, все более под гипнозом мысли, спрашивала у судьбы одно: Марина ходит по земле –



или... Я глядела на траву, у нее спрашивала. Вертикаль - или... но я договорить не могла. Так я ждала обуха или избавления - двадцать дней.

Если бы я могла наблюдать и думать в те двадцать дней, когда отравы сомнений понемногу проникала в меня, я бы, может быть, сама подготовила себя к той вести, которая, отбрасывая вертикальность Марины, не шла, как и в том сне за два года до этих дней в Хабаровске: в начале сентября 1941 года я увидела сон, от которого проснулась потрясенная. В этом сне была весть о смерти - имени я не произнесла, не в силах признать, что мне такое приснилось, отодвигая весть, наяву усмиряя то, что во сне произвела на меня эта весть. Не называя, я, однако, не смогла определить его иначе, хоть обезопасив отдаленным определением, как «самая близкая женщина». Но я восстала против во сне пережитого, разметала его явью - нет, не явью, не происходившим в яви, в тот день, а состоянием яви, стряхнув его как непереносимое. Назвав недостоверным и невозможным, оттолкнула, чтобы продолжать жить. Это было за два года до вести.

Вся природа моя не приняла этот сон, так не захотела его запомнить, что мне удалось это позабыть на два года, должно быть, когда в 1943 году прорвалась весть в письме Лёры. Я никогда не узнаю наверное, но, может быть, увиденный сон совпал с числом ухода Марины. Так внезапен он был и не вызван ничем, ее касающимся. По трепетной доброте Лили Эфрон я о гибели Марины узнала только два года спустя.

Замерла - потому что, отнегодовав на нелепость неверной вести, я стала в своей уверенности сомневаться: и вот в это двойное ожидание переезда и в ожидании ответа (от тех, кто в ответ - молчал о Марине) жизнь внезапно изменила мою судьбу. Как - здесь не место рассказывать. Вот тогда-то и пришла весть. Телеграмма.

Я раскрыла листок. Он был розов. В нем две строки: «Марина погибла два года назад тридцать первого августа. Целуем ваше сердце. Лиля, Зина». (Лиля – сестра Марины70#

ного мужа Елизавета Яковлевна Эфрон. Зина – ее подруга -Зинаида Митрофановна Ширкевич. Ныне – обеих нет в живых.)

В мой смертный час я не забуду текста этих двух строк. Я стояла, и листок я держала в руке. Глотала и не могла доглотнуть слова текста. Их каменную непоколебимость. Я бы, может быть, долго так простояла, бережа задлившуюся минуту их чтения, над которой стоять было лучше, чем шагнуть куда-то с листком. Но мимо шли, и в невозможности, чтобы спросили, увидели слезы, которые бесполезно текли, я рванулась прочь от дверей, от дома и пошла вбок, на пустой, пологий холм. Ничего еще не поняв, ударенная по голове смыслом листка, я ходила вокруг холма, возвращаясь и возвращаясь.

Только с одним теперь была возможна слиянность – с травой, которая – теперь я узнала – выше Марины, над... Навсегда слита с землей Марина, уже два года... Двадцать дней я запрашивала траву. Трава молчала, берегла.

И меня, и тайну. Судьба хочет, чтобы она мне была открыта теперь.

Нет Марины. Я ее никогда на земле не увижу.

Степень ужаса этого расставания я описала за много лет до того в моей книге «Дым, дым и дым», в дни, когда Марине было двадцать три года, а мне двадцать один и когда она была гораздо здоровее, чем я. Но я не могла предвидеть, что не смогу проститься с Мариной в ее последний час на земле. Что только через девятнадцать лет я смогу вступить ногой на кладбище, где ее положили.

«Маринина смерть будет самым глубоким, жгучим – слова нет – горем моей жизни», – писала я тогда.

«Больше смерти всех, всех, кого я люблю, – и только немного меньше моей смерти.

Как я смогу перенести, что ее глаза, руки, волосы, тело, знакомое мне с первого года жизни, – будет в земле, я не знаю. Это будет сумасшедшее отчаяние. И от этого кто спасет меня! Уж лучше бы ей увидеть мою смерть – она бы, может быть, лучше справилась.

Вот то единственное событие во всей жизни, которое, разбив всю меня, все мои свойства, все мои «ах, что я такое!», «Какая я странная!», рухнет все

Л

в этот час. Полная победа факта над моими свойствами!

Вот когда я смогу ворваться в безумии в комнату, забыть всех, все, биться об пол, целовать ее, будить, не пускать ее гроб в землю.

Мой голос (у нас одинаковые голоса, мы говорили вместе стихи, совпадают все нюансы, как будто говорит один человек) жутко покажется мне половиной расколотого инструмента.

Я с ужасом спрошу себя, как же я буду жить? Как, если бы мы были сросшиеся и ее отрезали от меня.

Я не буду странная. Я буду как все в этот час.

А ко всем остальным умершим я подойду, вполне сохраняя себя. И в то же время – мы удаляемся друг от друга, по дорогам жизни. Но ее лицо и тело я в землю отпустить не смогу».

«Погибла»! Катастрофа автомобильная? – потому так страшилась она автомобилей... Два года! А я жила. Два года-и не догадалась. Когда Лиля что-то плела пером, непонятное,

о Марине, о Муре в редких открытках, кончая на полуслове, будто продолжит в следующей... Но как я могла заподозрить, не зная, когда и теперь, узнав, – не

верю. Я Марину никогда не увижу? Я должна без нее жить?

Но это все – потом. В этот час я все ходила кругами, благодарная, что одна. Каждый шаг – боль. Это помню. Мысли – пришли потом.

...Я перечитывала Лилины письма. Родная, добрая Лиля! Она подарила мне два года жизни – скрыв. Господи, как погибла Марина? Теперь, не поджидая больше ответов от всех (друзей, родных, писателей), умоляя сообщить правду, я писала одной Лиле Эфрон. Я ждала ответа на вопрос, как погибла Марина. Ждала четырнадцать дней. Он пришел. Это была телеграмма. В ней было три слова. Почтальон, несший ее, верно, счел ее выражением дочерней, сыновней заботы о матери – вопросительных знаков в телеграммах не ставят. «Как наша мама». Я прочла их, заледеневая. Они означали: «Повесилась...» («Наша мама» – мать Лили, Веры, Сережи Эфрон, Елизавета Петровна Дурново-Эфрон – повесилась в 1910 году в Париже, пятидесяти четырех лет, на том же крюке, где ее четырнадцатилетний, младший, Котик.)

'О

Теперь я знала все. Так, Судьба не ударила меня обухом, а в тридцать четыре дня постепенно ответила мне на мое смятение, вызванное письмом Лёры: двадцать дней сомнений и страха, подготавливавших. Обух. Я помню мелкую дрожь, наставшую во мне, отразившуюся в розовом листке телеграммы, когда все вдруг рухнуло какой-то отвесной стеной.

И еще четырнадцать дней незнания: погибла! Автомобильная катастрофа? Бомбежка? Отчего уже раз с Мариной бывшее неудачное самоубийство в семнадцать лет, мне тридцать четыре года спустя не приходило и не пришло в голову (что именно так погибла)? Второй обух был меньше, легче. Но он добил какой-то стержень в душе. Теперь я могла ждать вестей

- «подробных». Они не замедлили. От той же Лили - и как я благодарна Судьбе, что из ее рук я получала и получала вести о том, что было с Мариной и ее близкими - с 1939 по 1941 год. Я понимала теперь, что означали в ответ на мои первые требования о правде после Лериного «нет на свете» - Лилины медлившие открытки с нескончаемым содержанием, все еще надеявшиеся от меня -скрыть...

О, это не слабость была! Не ее - и не о моей шло дело!

И не ложь. Будь я в Москве и приди я к ней, она минуты бы не терпела! Схватив и прижав к груди (то, чего не может быть ближе никакого слияния на земле!), она бы тотчас обрушила на меня правду. Но - издалека...

Открытка кончалась: Мура Марина обож... конец глагола был неясен, словно бы стерт расстоянием, - и все мое близорукое зрение, прильнувшее, не могло различить букв: «ала» или «ает»? Зрение было как натянутый лук. А вторая или третья открытка не шла. Я уже знала, что Мур, как все мальчики, бывал с матерью груб, но она все прощала. Что вместе все пробыли два месяца, с июня 1939-го по август, в августе уехала Аля, жили на даче - втроем; в октябре выбыл Сережа. И Марина переехала с Муром в Москву, работала, переводила. Дальше повествование не шло...

Это было месяц назад. Теперь я узнала и дальше, но ничто не кидало луч - на последнее. Ведь его же никто не знал! И, ходя на работу и приходя с работы, научив нескольких взрослых людей каким-то английским правилам и выражениям, ежедневно, как спасательный круг, мне кидаемый, в жаре преподавания (гипнотически, вещь в себе,

во мне жившей) (я теперь учила и десятилетнюю девочку ко мне все более привязывавшуюся в добром доме матери\* отца), шли уже месяцы с первой вести, но

ежедневное просыпанье было все тем прыжком, сознания: Марины, о жизни которой я, как о своей, знала почти полвека, – нет! Что я помню о тех годах?.. Я не помню почти ничего. Была женщина в кино. (Я в первый раз после Марины видела зрелище.) Она сидела передо мной, молодая и тонкая, и фигура ее напоминала Марину. Эта – жива, а Марины – нет и не будет! А на экране пляшут. А Марина никогда не увидит; пляски. Ни этой и, никогда, другой.

И жизнь моя останавливалась. В этой остановленности прошли годы. Их было четыре. I

Я должна рассказать еще о военном времени, о письме.

Внутреннее неистовство, в котором я жила и которое ежедневно боролась, имело в себе одну совсем непонятную точку: вопрос – как через все страдания Марина могла уйти, ушла, не оставив ни одной строчки – мне. Принужденная обстановкой мне не писать последние годы, она ведь уходом своим размыкала причины молчанья! Почему же не написала мне ни одного слова? Не могла же она не знать, чем мне будет ее исчезновение! Протянуть мне один листок! Это же был бы мост между нами, мост через смерть. Я бы жила с ним, с этим листком, ожидая, когда приду, тоже, к ней. В той безутешности, в которой шла моя жизнь, – какое это было бы утешение! Смерть ее не была бы полна. Один уголок ее был бы живой, одна строка бы горела и грела. Она оставила меня среди льда. Это не было ей обвинение. Это был вопрос, и лютость его отнимала дыхание. В этой невозможности додохнуть так и надо будет жить, до смерти? Глаза не просыхали. Была цепь снов о Марине и ее смерти.

Я их записывала и слала Але, с которой у нас теперь шла переписка. Ее, как и меня, долго берегли от страшной вести, скрывали. Она отвечала мне из своего далека, с Севера, во всю мощь эфроновской доброты,

всем талантом цветаевской манеры письма, в нем и после Марины живой.

Мешал неразрешенный вопрос, меня ни на один день не оставляющий: как могла Марина уйти, меня не окликнув? Я ведь теперь знала, что она оставила письма: Муру, Сереже и Але и семье поэта Асеева (поручила им Мура). [

И вот то, что случилось, что я сейчас расскажу, я считаю великим чудом, напоившим мою безысходную жажду узнать

о ее молчании. (Здесь опять, как в тех двадцати + четырнадцать дней, в медленности подготовки к ни с чем не сравнимому горю - ни со смертью матери, ни отца, ни со смертью моего второго мужа, ни со смертью первого мужа, мне Судьба откликнулась.) Произошло невозможное: пришло письмо от Марины. Прощальное. Перед самоубийством... Написанное тридцать четыре года назад, в ее семнадцать лет, - мне, пятнадцатилетней. Это письмо, где-то хранимое ею все годы, неуничтоженное, попавшее в руки второго мужа Марии Ивановны, мне переслала (копию его, дрожа над оригиналом) Мария Ивановна Гринева именно в те дни, когда я вопияла к Судьбе об одной строке, листочке...

И листочек пришел.

Я не сказала о том, что я с вести о Марининой гибели начала увеличивать, в карандаше, пришедшие мне фотографии: двадцати пяти лет в аметистовом ожерелье на фоне инкрустированного (кто говорит - кресло, кто - шкаф) полукруга; тридцати пяти лет, в 3/4, в крупноклетчатом платье с черной овальной брошью: последняя - сорока шести - сорока семи с уже седой головой, с открытой шеей и ниткой граненых бус.

Я работала над ними ночами. Работала с сеткой, точно.

В тот вечер, получив письмо, не имея возможности с ним уйти - и где же читать его? - я должна была его

читать - в доме. Я сделала единственное, что могла. Я стала на колени на своей койке, спиной к комнате, лицом к большому портрету Марины, мной карандашом увеличенному с маленького (это был ее двадцатипятилетний портрет, лицо почти в натуральную величину), и так, плохо видя от слез, прочла, в сорок девять лет, девичье письмо мне Марины. Я о нем (в 1910 году написанном) никогда не слыхала и не знала, что оно было. Прошло с того чтения тридцать девять лет, и Судьба в новом шквале событий эту копию письма и через четыре года полученный оригинал - у меня отняла. Я приведу письмо кратко, по памяти. Я не уверена, но мне кажется, что оно начиналось не «Дорогая», а «Милая Ася!».

Марина писала о невозможности жить далее, о решенности вопроса, прощалась и просила меня раздать ее любимые книги и гравюры - шел список и перечисление лиц. Было названо

имя Драконны (Лидии Александровны Тамбурер), Вали Генерозовой (по мужу Зарембо) и старшей сестры нашей, с которой она уже год была в ссоре (ей, помнится, были гравюры, вывезенные из Парижа), и, наверное, еще были имена, но я их сейчас позабыла. Я не помню и себя, своего имени; определила ли и мне она что-то (может быть, Марина считала, что все, кроме сказанного, будет, естественно, мне?). Но я помню строки, лично ко мне обращенные: «Никогда ничего не жалей, не считай и не бойся, а то и тебе придется так мучиться потом, как мне». (Эти слова я тоже привожу не совсем дословно, но три глагола - не жалеть, не считать, не бояться - б ы л и в этих строках.) Затем следовала просьба в ее память весенними вечерами петь наши любимые песни, в дни «Зимней сказки», нашей первой любви к Нилендеру, - мы пели в то время немецкую наивную любовную песенку: Kein Feuer, Keine Kohle («Никакой огонь, никакой уголь») и другие



немецкие и французские песни. «Никогда не бойся меня, я к тебе никогда не приду». «Только бы не оборвалась веревка! А то – недовеситься – гадость, правда?» Эти строки я помню дословно. Из последующего, из последних строк четвертой узкой длинной странички (Мария Ивановна переписала страницу в страницу, как в оригинале) были слова, росшие, пока я их прочитывала, – до гигантских размеров.

В них и в слезах, хлынувших, в их нечеловеческом уже утешении я утонула, перестав видеть их в схватке блаженства и горя, и не знаю, что было сильнее: «И помни, что я всегда бы тебя поняла, если была бы с т о б о ю». И подпись. Эти слова Мариной даны мне -навечно, я с ними живу сорок лет.

Но я еще скажу о портретах. Самый трудный из них и из всех – их было около двухсот, мною за годы на Дальнем Востоке сделанных (карандаш и пастель – розданы) с натуры и увеличенной фотографии, бггл карандашный в 2/3 человеческих лица – портрет Марины седой. Я делала его ночь напролет и затем вновь и вновь дорабатывала, пока не ожили малейшие складки лица, образовавшие у глаз и у губ улыбку: любезную и страдальческую, застенчивую и тающую – может быть, и не улыбается вовсе? Я работала – до темноты в глазах. Я не могла закончить. Оно все оживало и оживало, лицо, оно втягивало мой взгляд. Я заставила себя отойти, потому что... что-то начиналось такое, что было уже на границе с волшебством?

Я стояла, опустив руки, ночь без сна сияла во мне каким-то хрустальным прикосновением, а может быть, это был звук подошедшей к плечу старости. И уже подымалась из недр моих и ее – Марина:

После бессонной ночи слабеют руки,  
И глубоко равнодушен и враг, и друг,  
Целая оперт в каждом случайном звуке,

И на морозе Флоренцией пахнет вдруг...

После ночи с Мариной я еле шла.

Спустя те дни, я получила первое письмо – короткое, прямым, быстрым, причудливым почерком, незнакомым, но что-то напоминавшим... Оно начиналось:

«Милая Ася!

Вам пишет Мур. Я помню Вас...» (Шло воспоминание о моем приезде в Медон в 1927 году из Италии, от Горького. Ему тогда было без малого три года...)

Это было – окликание. Я ответила Муру радостно и тепло. Пришло второе письмо. (Был ли он уже взят в армию?

1 февраля 1944 года ему исполнилось девятнадцать лет.) Первое было из Москвы (второе – было из армии), он жил у Лили, тетки его по отцу, поступив в Литературный институт и для заработка – художником-оформителем на завод (это я узнала от Лили). Оно было длинней, на трех или четырех, большого формата, страницах, дружественное. Но была в нем непонятная странность: он называл в нем свою мать, умершую, инициалами «М. И.». Повторенные в письме два или три раза, они останавливали внимание и отвращали. Ни одного слова о горе, его постигшем. Меня поразил контраст теплой дружественности ко мне и отсутствие ее – к матери. Поза? Зачем, перед кем, в ответ на мое точащее кровью письмо тоски по Марине!

На какое-то письмо (память мне изменяет) Мур мне ответил словами: «Спасибо, Ася, за Ваши письма. Это – единственные из мной получаемых, которые написаны настоящими чернилами. Остальные все – разбавленной водичкой» (водой? – А Ц.). Следующее его письмо было из армии, описывался ремонт бани, было немного иронического юмора над невоенным этим делом, и – помню, оно или, быть может, четвертое, но последнее

мною полученное, кончалось так: «Мне надоела эта снотворная работа полкового писаря, и я

выступаю на днях пулеметчиком или автоматчиком с маршевой ротой. Моя звезда стоит высоко, я верю в мою судьбу», То же самое он написал сестре своей Але. И замолк навсегда.

Осталось последнее. О слове «Елабуга». Еще задолго до первых слов о Марине и Муре (в письме Лёры) я, в столовой, где было в тот час мало народу, услышала (говорили двое мужчин, что-то рассказывая друг другу) слова: «город Елабуга». Я обратила внимание на звучание, мне что-то в нем понравилось, повеяло какой-то стариной, мягкостью и уютом. Затем – забылось...

Еще раз вышло оно на мой путь. В руки пришла книга в переплете о девице-кавалеристе Дуровой, рассказывавшая всю ее жизнь: кончалась она сообщением, что в старости та жила в породе Елабуге, на реке Каме, где и умерла, и похоронена на елабужском кладбище. «Может быть, на одном – с Мариной?» – подумала я тогда.

При свидании с моей племянницей Алей в 1947 году я предложила ей ехать в Елабугу искать могилу Марины.

- На могиле у мамы я должна сперва побыть одна, -отвечала Аля, - побыть с ней наедине. Но, найдя ее, я обещаю вам свезти вас на мамину могилу. Сейчас ни у вас, ни у меня нет денег, и мне надо устраиваться на работу.

Мне пришлось согласиться.

Жизнь вновь сделала невозможной эту поездку – с 1949 года по 1958-й. В том году мы вновь свиделись. Мне было уже шестьдесят четыре года. Аля жила в Москве, работала, имела с подругой дачу в Тарусе. На мое повторенное ей желание ехать искать могилу Марины Аля ответила мне -стovo в слово – то, что

сказала за одиннадцать лет. Уважая ее желание, я вновь покорила.

Прошло еще два с половиной года. По хлопотам Музея изобразительных искусств, основателем которого был отец, я получила пенсию, и у меня оказались пенсионные деньги за два месяца.

Была осень, шли последние рейсы по Каме. Я решила не ждать больше. Аля в это время в Тарусе болела. Мне шел шестьдесят седьмой год.

Был октябрь 1960 года, когда, наконец, я смогла осуществить давно задуманную поездку в Елабугу.

Со мной согласилась ехать Софья Исаковна Каган, мой давний (с 1922 года) друг.

Елабуга стоит на берегу Камы. Наведя справки, мы поехали поездом до Сарапула, оттуда – пароходом.

В Елабугу мы прибыли под вечер. Встреченный нами на пароходом курсант милицейской службы Иван Х., узнавший цель нашей поездки, проводил нас в гостиницу и устроил там в двух комнатах для приезжающих по служебным делам.

Была ночь. В соседней проходной комнате остановилась женщина, наутро оказавшаяся художницей Татьяной Ради-мовой. Узнав, зачем мы приехали, она взволновалась. О Марине она слыхала; позднее, в Москве, показала нам этюд улицы, где жила в 1941 году Марина. Свинцовое небо, маленькие дома, осенний вид.

А наутро нам в гостинице сказали:

– Вас спрашивает милиционер.

И с улыбкой в парадной форме к нам вошел наш вчерашний пароходный спутник – Иван Х.

Он предложил нам помощь в поисках, очень старался, расспрашивал тех, кто мог помнить.

Но это не привело ни к чему.

Тогда он предложил дать объявление в газету – не помнит ли кто-нибудь из жителей похороны Марины, не

может ли указать могилу.

Не имея на это полномочий от Союза писателей, мы, помнится, это предложение отклонили, решив обойтись своими силами.

То, что мы перед отъездом в Москве узнали от поэта Вадима Сикорского (по телефону), оказалось неточным, пройдя по его указаниям по улицам Елабуги, мы не нашли ничего сходного с его объяснениями. Это было естественно - прошло девятнадцать лет... И, как оказалось потом, улицы были переименованы.

Стояла безотрадная осень. Серое небо, серая Кама, вдали серый город. Отчаявшись найти дом, где жила Марина, мы шли наугад, спрашивая прохожих, давно ли они в городе, были ли тут в 1941-м, в начале войны, не помнят ли о такой смерти приехавшей с Литфондом в эвакуацию писательницы, не знают ли, где она жила.

Ответы были отрицательные. Но судьба помогла - одна из опрошенных женщин, пожилая, задумавшись, припоминая, повела нас за собой.

Мы пришли на старую улицу, зовущуюся теперь Ворошилова, в дом 20 (в 1941 году - улица Жданова, дом 10), Одноэтажный домик, одна квартира, где, как и тогда, жили муж и жена Бродельциковы - высокий, худой, седой Михаил Иванович и его маленькая пожилая жена Анастасия Ивановна (моя тетка). От нее мы узнали, что Марина, спросив ее имя и отчество, сказала: «Анастасия Ивановна? У меня сестра Анастасия Ивановна...» Так за десять дней до смерти Марина в последний раз назвала меня.

Вот что рассказали нам бывшие хозяева Марины: когда точно приехала Марина в Елабугу, они не знают. У них в доме она появилась дней за десять - двенадцать до смерти. Вошла с другими писателями и еще с порога, увидев за занавеской отдельную комнату в два окна, сказала: «Эту комнату беру я!» (значит, у нее еще была воля к жизни...)

Кровать отдала сыну, сама устроилась на диване. Искала работу. Хотела продать столовое серебро. Поехала на пароходе в Чистополь. Оттуда вернулась расстроенная. И дня за два до смерти был у нее с сыном крупный разговор. Что говорили – хозяева не поняли, говорили они не по-русски.

Объявили субботник. Вместо матери, которой было сорок восемь (Георгий был несовершеннолетний, шестнадцать лет), пошел он. Пошла и хозяйка дома. Муж ее собрался на рыбалку. Спросил Марину:

– Подомовничаєте, Марина Ивановна?

Она обещала.

Когда первой в дом вернулась хозяйка, дверь сеней была заперта, хоть не на щеколду. Ее удалось открыть – она была изнутри густо замотана веревкой. Войдя, она увидела Марину. Она висела невысоко над полом, на гвозде, вбитом вбок в поперечную потолочную балку, на тонком крепком шнурке.

Двор наполнился народом. Снял ее с петли прохожий. Положил и пошел дальше.

Когда сын пришел домой, его не пустили. Он спросил -почему? Узнав о самоубийстве матери, он не захотел войти в дом – и ушел.

На похоронах хозяева не были. Был ли сын – они не знают. Марину, покрыв простыней, повезли в морг. В Елабуге он зовется усыпальницей. Там она лежала до похорон.

Узнала: сын пробыл в городе еще дней пять. Разобрал вещи, крупу отдал хозяевам. Взял один мешочек сахара. Много вещей ношенных и белья – оставил, сложив в узел, разрешил взять хозяевам.

– Мы обрадовались – то время трудное было, война, ничего не достать, а у нас был маленький ребенок, – сказала хозяйка, – но я не унесла узел, оставила его там, где он был. А потом пришли какие-то два знакомые Георгия (из-за них сын ссорился с матерью), стали

рыться в вещах и на глазах унесли узел с собой. У меня же не хватило смелости сказать, что вещи обещаны мне. Бог с ними... Мы были очень расстроены этой смертью... и столько ходило людей и милиции, – мы от всего устали...

Хозяин Михаил Иванович, высокий, с правильными чертами лица, любитель чтения, расспрашивал нас о Марине, ее семье, ее стихах.

Когда Марина погибла, на кухне стояла сковородка с жареной рыбой: должно быть, для Мура.

У меня не сохранилось копии письма Марины к Муру и, не решаясь недостоверно его приводить, напишу то, как запомнилось: кажется, оно начиналось: «Дорогой Мур! Прости мне (далее слов не помню). Безумно тебя люблю, но я -тяжело больной человек. Дальше было бы хуже».

Письмо небольшое. В конце были слова: «Если когда-нибудь увидишь Сережу и Алю – скажи им, что я любила их до последней минуты».

«Дорогие Сережа и Аля, – начиналось второе письмо, длинное, – простите мне причиняемое вам горе...»

Мур уехал в Ташкент через Москву, где передал своей тетке Е. Я. Эфрон архив матери.

Сын! Задолго до рождения Мура он был задуман ее горделивой мечтой. Раньше! Еще нашей матерью: сын Александр, именем в деда, в обожаемого ею отца. Но родилась – Марина. За нею – я. Болезнь помешала надеяться на сына. Наша мать умерла в тридцать семь лет. Через поколение Марина повторила путь матери: дочь Ариадна и опять дочь – Ирина.

Прошло восемь лет. Из них четыре Марина не знала, жив ли ее муж.

В 1921 году, услышав, что он жив, собираясь к нему, Марина сказала Марии Ивановне Кузнецовой-Гриневой:

– Еду, Марусенька, у меня будет сын Георгий!

- Сын? А может быть - дочь?

- Нет - сын. Вот увидите!..

1 февраля 1925 года у Марины родился сын Георгий «Мур» - сокращенное от «Мурлыка», уцелевшее до его конца. Так он подписался в девятнадцать лет под своим письмом мне на Дальний Восток, и меня уважением тронуло то, что, выросши, он это имя от себя не отбросил, как обычно отбрасывают интимные детские имена в ложной стыде подростки.

Первую фотографию Мура я получила от Марины из Франции в его годовалом возрасте: голыш, крепкий, он сидел на песке, цветом - негр, на берегу океана, расширив светлые глаза, поразительно недетского взгляда, и рано означенные черты его были красивы и правильны. «Оцени негритянские белые «ладони», - писала Марина, явно имея в виду резко-светлые ступни ног, в сторону повернутых.

Позже, когда детское лицо было уже обрамлено крутыми светлыми кудрями: «Твой Наполеоноид», - писал Марине о нем Пастернак.

Я увидела его - и три недели видела его в Париже в 1927-м, вместе с матерью за ним ухаживая (болел скарлатиной) в два года и восемь месяцев. Об этом я уже рассказала. Он очень походил на Марину, весь в Цветаевых, от Эфронов было обаяние недетской мягкости, Марине в детстве не данной. И рост (Марина покупала на него одежду на шестилетних парижских детей) - «И еще расставляю!»

Как ласков он был к матери, как, мурлыча, лез к ней на диван!.. Куда и когда это исчезло? Сразу ли - и с какой болью - это заметила мать? И совсем - совсем другой, новой матерью к нему была Марина! Ни тени той требовательности, какая была к Але... Вся материнская женственность, незнакомая мне в ней, светилась в ее сдержанно-умиленном, тающем в восхищении взгляде.



Марина была счастлива.

...Не дословно, по памяти привожу о нем рассказы – в письмах Марины.

(\*'Ж

«У него удивительно взрослая речь, – писала она мне несколько лет спустя, – чудно владеет словом. Мужественен. Любит говорить не как дети. И совсем иначе, чем Аля. Хочет всегда стать на что-то, повыше, «чтобы слушали»...»

Когда ему было восемь лет, Марина писала: «Очень зрел. Очень критичен.

«Марина, – сказал мне Бальмонт, – это растет твой будущий прокурор!»

После двух дочерей обретенный сын. Исполнившаяся мечта! Гордость матери. Напоминающий не «Орленка», не сына, на которого походил его отец, Сережа, – на отца, на кумира Франции, о ком песня Гейне «Во Францию два гренадера Из русского плена брели...». Исполненный ума и таланта, родившийся в ее струю! Красавец! Волевой, как она... В тринадцать лет начавший составлять антологию современной французской поэзии...

Да... Но о нем в десять лет мать писала (после похвал уму и познаниям): «Душевно неразвита...»

Ему было четырнадцать, когда он приехал в Россию. Был

1939 год. Я мало знаю о нем в следующие два года. Он проучился до войны в седьмом и восьмом классах. Девятый

– должен был бы учиться в эвакуации. Теперь ему было шестнадцать лет. Был конец августа. На днях начиналось учение. Все в нем возмущалось от этой мысли: здесь, в этой Чухломе, – учиться? Это был бунт.

Слыша мое нерушимое утверждение, что Марина ушла из жизни не потому, что не вынесла сгустившихся

обстоятельств в окружавшей ее жизни, можно подумать, что я не отдаю себе отчет в том, что ее окружало.

Это неверно. Я все понимаю, все учла, все себе представляю отлично: вынужденная разлука с мужем и дочерью (с тех пор прошло уже два года). Война. Эвакуация.

Я имею сведения, что Марина много тяжелее других восприняла объявление войны, нежданно вспыхнувшей на территории ее Родины, где она могла надеяться укрыться от пережитого на Западе. Она ждала, что сюда война не придет. Что она, казалось ей, погубившая ее любимую Чехию, не дойдет до ее России.

Марину охватило то, что зовут панический ужас. Жива память о том, как она подходила к чужим людям, об эвакуации говорившим еще до официального ее объявления,

прося взять ее с сыном с собой: «Я в тяжесть не буду у меня есть продукты, есть заграничные вещи... Я могу быть даже домработницей...»

Она рвалась прочь из Москвы, чтобы спасти Мура от опасности зажигательных бомб, которые он тушил.

Содрогаясь, она сказала Н. Г. Яковлевой: «Если бы я узнала, что он убит, – я бы, ни минуты не медля, бросилась бы из окна» (они жили на седьмом этаже дома 14/5 на Покровском бульваре). Но самая зажигательная сила зрела в Георгии: жажда освободиться от материнской опеки, жить как он хочет.

Моему другу и редактору Маэли Исаевне Фейнберг рассказывал Константин Федин, как к нему пришла Марина Цветаева, умоляя его не допустить, чтобы ее разлучили с сыном, – детей этого возраста отправляли в эвакуацию от родителей отдельно. И вот они вместе. Сына не отняли. Что рядом с этим все трудности жизни? Но он бунтовал. Он не хотел жить в Елабуге. Она против его воли вывезла его из Москвы. У него там был свой

круг, друзья и подруги. Он грубил. Марина переносила его грубости замершим материнским сердцем. Как страшно было его представить себе без ее забот в дни войны! Он же еще часу не жил без ее помощи, Он не понимал людей. Свел в Елабуге дружбу с двумя явно неподходящими, невесть откуда взявшимися молодыми мужчинами, много старше его. Он не желал слушать. Он не хотел лечить хроническое рожистое воспаление ноги. На каждом шагу спорил. К его тону она привыкла за последние два года без отца - терпела. Все видевшие их рассказывают о ее необыкновенном терпении с ним. Все говорят, что «она его рабски любила». Эти слова я слышала от разных людей.

Перед ним ее гордость смирялась. Его надо было дорастить во что бы то ни стало, сжав себя в ком. Она себя помнила в его годы - разве она не была такой же? «Он молодой, это все пройдет», - говорила она на удивленные замечания знакомых, как она, мать, выносит такое обращение с собой. Рядом с их вдвоем среди окружающего - все было легко.

Знаю: приезд Марины в Чистополь был безрадостен (свидетельство Ф. Бархиной, свидетельство К. М. Асеевой). Марина очень хотела остаться в Чистополе, где были все писатели и где был Асеев, с которым она виделась один раз в Москве и к которому она сразу, по приезде в Чистополь,

пришла. (По словам вдовы Н. Асеева, Ксении Михайловны, ее муж был болен и на собрании, где решался вопрос о прописке Марины в Елабуге, не мог быть. Муж ее прислал, по ее словам, записку, в которой он поддерживал просьбу Марины о ее прописке в Чистополе.)

Позднее я узнала, что на том писательском собрании было решено дать ей прописку в Чистополе.

В материальных условиях жизни война уравнила Марину со многими. И до войны она была в тяжелых

условиях, а теперь те, что жили в своих дачах, в комфорте, в эвакуации оказались в равном с нею положении, как она, ютились в чужих комнатках. Но если им эти комнатки были внове, то Марина жила так уже много лет; и в деревнях под Прагой, и летами (когда удавалось выехать из Парижа) на берегу океана в комнате с примусом и без стола, на котором бы можно писать.

Даже двери не было в той комнате, в Елабуге, которую оставила за собой, вместо двери – деревянная занавеска. Но стояли кровать, диван, стол – достаточные ей с сыном в тот час. С сыном! Вот что ей довлело, что осталось ей от всей жизни. Сын, которого она иступленно любила. Он был с ней!

С ней он был и в Голицыне в комнатке в доме Лисициной с одной курсовкой на двоих. С нею он оказался и в эвакуации – она отстояла его от отдельной отправки с писательскими детьми-подростками. Он был с нею.

Рядом с этим все вопросы о внешнем устройстве были второстепенны.

Многие, Марину не знавшие, утверждали, что Марине было отказано в месте судомойки в столовой писателей в Чистополе, и что это послужило толчком к концу. Этого не было! Теперь мы узнали, что и столовой такой не было, что дело происходило совсем иначе: Марина была в чьем-то доме вместе с Верой Васильевной Смирновой, как о том она рассказала М. И. Фейнберг; зашел разговор о том, что надо бы организовать столовую на паях. Каждая из женщин говорила о том, что она умеет делать. Марина сказала:

– А я буду мыть посуду. – И, взяв лист бумаги, тут же написала: «Прошу принять меня в судомойки. – Марина Цветаева» – и отдала ее Вере Васильевне. Почему эта записка

и сохранилась в архиве В. В. Смирновой. (Та же В. В. Смирнова сообщила Марине, что прописка ей разрешена.)

Никакой столовой еще не было.

Марина руки не опускала. «Если не устроюсь в Чистополе, – сказала Марина, вернувшись из Чистополя хозяйке дома, Анастасии Ивановне Бродельцыковой, – поеду в совхоз, там поищу работу!»

Эти слова были ею сказаны почти вплотную к концу.

Что же случилось? Последним решающим толчком была угроза Мура, крикнувшего ей в отчаянии:

«Ну, кого-нибудь из нас вынесут отсюда вперед ногами!»

В этот час и остановилась жизнь.

«Меня!» – ухнуло в ней.

Его смерть! Единственная соперница! Ее одной она испугалась, как вчера хотела для прокорма сына ехать за город, так сегодня прозвучало его: «За предел! Туда! Насовсем!» Дать свободу – единственное, чего он хотел!

В отчаянном крике сына матери открылась его правда: «вместе» их – кончилось! Она уже не нужна ему! Она ему мешае т...

Все связи с жизнью были порваны. Стихов она уже не писала – да и они бы ничего не значили рядом со страхом за Мура. Еще один страх снедал ее: если война не скоро кончится, Мура возьмут на войну.

Да, мысль о самоубийстве шла с ней давно, и она об этом писала. Но между мыслью и поступком – огромное расстояние.

В 1940 году она запишет: «Я у ж е год примеряю смерть. | Но пока я нужна». На этой нужности она и держалась. Марина никогда не оставила бы } Мура, своей волей, как бы ей ни было тяжело. |

Годы Марина примерялась взглядом к крюкам на потолке, | но пришел час, когда надо было не думать, а действовать – | ихватило гвоздя.

Я вижу, как в тот час все стало вдруг просто: скорее' уйти... Перебежать ему путь к смерти! Только это, это одно.

Все сложности жизни кончились. Ни войны, ни стихов, ни отверженности, ни одиночества. Решенность. Неизбежность только этого шага. Он был единственный друг! В ясности, вдруг наставшей, было освобождение от всех дел, всех забот. А сыну без нее станет лучше! Сироту – не оставят...

Перо не дрожит в руке. Марина пишет Асееву. У Асеева есть жена. Есть сестра жены. «Берите его и растите как своего. Он достоин».

Мать подписывает дарственную. Свою последнюю драгоценность. А он им не нужен. С людьми – мир. Пишет прощальные строки сыну. «Прости меня. Безумно тебя люблю, но дальше было бы хуже». О муже и дочери. «Если ты когда-нибудь их увидишь, скажи им, что я любила их до последней минуты».

Третье письмо: «Дорогие Сережа и Аля, простите мне причиняемое вам горе, но...»

– Дальше этого письма не читал никто, – сказала мне Елизавета Яковлевна Эфрон. – Мур увез его с собой, для них.

С 1911 года, когда Сережа ей рассказал о смерти брата и матери, она несла в себе память об этих двоих, ему -значит, ей – самых родных! Не семнадцатый год был брату Сережи, а всего четырнадцать лет, когда он повесился. В ту же ночь мать повторила поступок сына. Исполни Мур свою угрозу – Марина сделала бы то же. Но Марина была много счастливее той матери, счастливее на целую жизнь! Уходя, как та мать, она уходила бесконечно иначе: сохранив сыну жизнь!..

Скажут: «Брошенные в пылу ссоры слова мальчишки дико было принять всерьез!»

Что были бы Марине – прозвучи они ей тогда -рассудочные рассуждения посторонних? Как

сомнамбула прошла бы она в своем горе сквозь их слова... Котик, веселый мальчик, круглолицый и синеглазый, совсем ребенок, шагнул в смерть и увел мать. Что было этим двум матерям: увещанья людей? В нестерпимости дня надо было только одно -спешить!

...Меньше всего я возлагаю вину за смерть Марины на Мура: если бы это было так, я бы не переписывалась с ним (это все, что я тогда, в моем положении, могла делать) - не ждала бы так встречи с ним: я слишком отчетливо понимала жгучий узел, связавший их двух! И можно ли обвинить

человека в шестнадцать лет за слепую страсть поступков и слов?!

Все, что от матери шло, что он органически принимал в детстве - теперь, когда он казался себе взрослей всех, было ему нестерпимо. Оттолкновенье дошло до того, что он уже не звал ее матерью: М. И. Даже в страшное время после Марины, когда ему было восемнадцать лет, все еще болела недолеченная в шестнадцать нога, голодая в Ташкенте в девятнадцать лет, из армии он осмелился о матери мне написать: «М. И. всегда оставляла за собой право на этот поступок». Меня назвал «Милая Ася». (Откуда было в нем это имя? Из туманной памяти двух лет девяти месяцев, в Париже во время его скарлатины?)

Я ответила ему со всей прямоотой, всем пылом Цветаевых, призывая к порядку, прижав к стене, требуя ответа за беззаконие этого называния матери, подняв все слова, посланные мне в тот час в помощь, требуя осознания случившегося - и всем горем моим ожидала - долго - ответа. Не дождалась: его часть перевели в другой адрес, неведомый, и я читала и перечитывала последние слова письма: «Мне надоела снотворная работа полкового писаря, и я на днях выступаю с маршевой ротой... Моя звезда стоит высоко, я верю в мою судьбу».

Над Елабугой, над плавно поднимающейся отлогой горой, темнеет полоска кладбища. Она даже издалека длинна, а когда к ней приближаешься, она, разрастаясь, становится почти лесом и напоминает мне священную рощу на картине, которую Марина и я знали в детстве. «Остров мертвых» Беклина. К нему ведет широкая дорога. Мы шагали по ней - Соня Каган и я, дорога вилась, делаясь уже и уже, пока не превращалась в светлую нить у самого верха горы.

Кругом - домики, под ногами - пыль. Изредка нас обгоняла машина. Мы кончили долгий путь. Узор черной железной решетки, справа - кирпичное здание, полукруглое - видно, часовня. Мы вошли в ворота.

Слева от нас стояли старые деревья, с них ветер рвал листву. Она осыпалась.

Вот и конец кладбища, то есть всего в один ряд несколько могил. И сторожка сторожа. Мы подошли к ней. Вышла женщина средних лет. Ее фамилия оказалась - Кропоткина.

Она пояснила, что работает сторожем после смерти мужа, что в те годы, о которых мы ее спросили, был тут сторожем ее муж и что она не знает, где может быть та могила, которую мы ищем. Но она добавила, что может нам показать могилы 1941 года. Она пошла с нами.

Все кладбище Елабуги простирается влево от входа. Таким образом, настойчивые указания всех, кто был в 1941 году в Елабуге, о правой стороне кладбища, следует понимать так: повернувшись влево от входа и видя всю площадь кладбища перед собой, идешь по правому его боку, вдоль низкой каменной стенки. В левой стороне кладбища - лиственные деревья, в правой - хвоя. Мы шли под соснами.

- Видите, - говорила Кропоткина, - вон в том углу, по задней стене кладбища, - могилы тридцать шестого, тридцать седьмого года. Сюда ближе - тридцать



восьмой, тридцать девятый, сороковой. И вот уже сорок первый – тут и ищите. -Она ушла.

Оттого ли, что страшно было удостовериться, что не находили могилу, мы, мне кажется, прошли до конца кладбища и шли медленно назад по годам захоронения -36-й – 41-й; недалеко от правой стенки возле близлежащих могил – несколько молодых осин, почти кустарник. Листки трепещут. Мы проходим от могилы к могиле, нагибаясь, стараясь угадать, почувствовать, но они почти все одинаково низки и немые, без имен. На одной, помню, камень, снятый, видно, со стенки (за которой в тумане Елабуга); на нем черной краской – имя? инициалы? – Забыла. Если бы так поступил Мур (Георгий) на похоронах Марины – одно «МЦ.», одно «Ц.», мы были бы уже у цели. Я старалась почувствовать, какая из могил, поросших листьями земляники, сейчас уже почти сухими, – какая?.. Но не берусь решить: эта? та? Может быть – эта? Признаков – никаких. Только листья земляники, о которых в стихах Марины «Прохожий»:

Сорви себе стебель дикий И ягоду ему вслед,  
Кладбищенской земляники Крупнее и слаще нет...  
Поэты не говорят зря.

Но земляника разрослась по нескольким могилам. А сейчас мне вспоминается, что, может быть, мы не сразу пошли к Кропоткиной, а сперва одни ходили по кладбищу, надеясь-вдруг – прочесть на какой-то могиле хоть какой-то словесный признак... Отходили друг от друга, бродили и снова сход, лись. Я свою спутницу вижу в длинном темном пальто и глубоко сидящем берете – то над тем крестом, то над той дощечкой. Перекликаемся. Ветер рвет ветки. Мы в сосновой роще.

И снова предсказание Марины:

Веселись душа, пей и ешь,

А настанет срок -Положите меня промеж Четырех  
дорог...

Там, где во поле во пустом Воронье да волк  
-Становись надо мной крестом Раздорожный столб...

Не чуралася я в ночи Окаянных мест,  
Высоко надо мной торчи,  
Безымянный крест...

Но и креста нет. Мы снова в правой стороне, у  
низкой стенки, с которой Мур, шестнадцатилетний  
тогда сын Марины, не снял в тот час камень, забыв, что  
придем мы, Впрочем, говорят, он тут и не был.

Мы спускаемся по отлогой горе, обратный путь  
проще. | Глухая окрестность провинциального города,  
маленькие, низкие домики. Улицы - то широкие и  
пустынные, то узкие, вбок.

Гляжу пустыми потерянными глазами на окна  
домов. Этот | дом стоял, и мимо него шла Марина. Ей,  
которую мы ищем! девятнадцать лет спустя после ее  
тех десяти дней, было | тоскливо, как нам. Она искала  
комнату, потом искала работу. По этой улице она  
прошла в последний раз, решая, что кончена жизнь.

Если бы она знала, что мы приедем и будем искать  
следы ее жизни и смерти, - сколько нас еще будет...  
перерешила бы она? Нас не было... улицы - и она. Мы  
каждый день бывали на кладбище. Сколько имен,  
сколько крестов, памятников, могильных камней! А  
имени, которое мы так ищем, -нет. Марины нет.  
Исчезла.

А может, лучшая потеха Перстом Себастиана Баха  
Органного не тронуть эха,  
...Прокрасться, не оставив праха На урну...  
Все сказано ею самой!

Наши поиски тщетны? Мы не знаем. Мы будем  
искать. Один раз, должно быть в последний, мы  
въехали на кладбище на автомашине. Она прыгала по  
камням, качалась. В первый раз (в последний) мы  
въехали быстро, легко той дорогой, по которой долго,  
устало всходили к исчезнувшей на горе Марине.

С кем ходили мы по уже ставшему почти родным знакомому кладбищу, говоря о возможности вскрывания могил, опознавания? Кто-то сказал нам, что шесть лет тому назад вскрывали могилы, ища кого-то родного, чтобы схоронить рядом.

Мужчина рассказывал:

- Трех отрыли - мужчину и двух мальчиков. Как положены - так и лежат: костюмы, тела, все. Песок, ветер. Высоко...

(Если бы вскрывать могилы, я уверена, что опознала бы... Волосы седые, короткие. Но друг наш, московский профессор Гиллерштейн, говорил, что едва ли... Он с кем-то вез одной матери прах ее сына, без уверенности, что везет его.) Не верится. Разве не узнал бы из пяти, из десяти могил - крайних, хоть в два ряда к правой стенке, - свое, родное, несомненное, которое всю жизнь знал? Неужто мое чутье было бы меньше собачьего? Но не это я говорю Соне Каган - иное: что не чувствую права рыть землю, зарытую, перевозить то, что сошло туда, чудовищно успокоясь. Соня же говорила:

- Надо!..

...А может, лучшая победа Над временем и тяготеньем Пройти, чтоб не оставить следа,

Пройти, чтоб не оставить тени На стенах...

Может быть отказом Взять? Вычеркнуться из зеркал?

Так: Лермонтовым по Кавказу Прокрасться, не встревожив скал...

Всюду, куда мы приходили, я делала снимки, взяв с собой из Москвы мой простенький шкатулочный аппарат. Я

отдавала пленку фотографу, жившему возле моста, пожилому маленькому татарину Гафисову. Он был удивительно вежлив и добр ко мне, узнав причину моего приезда. Он работал и, может быть, жил у моста, через который не раз проходила Марина, идя на свою

квартиру за десять дней своей елабужской жизни. Я благодарна судьбе, что в эти дни она послала мне такого помощника, усердного и почтительного к сути моих скорбных снимков. Казалось, я бы и не смогла отдавать мои пленки в иные руки... На другой день, когда я заходила, он уже нес мне проявленную пленку и отпечатанные снимки, никогда не обманув, не заставив ждать. Спасибо ему.

Не найдя могилу, я написала об этом Але. Я получила неожиданный ответ: «Так Вы все-таки поехали в Елабугу! Так знайте же: я никогда не поеду в Елабугу. Мама для меня там нет. Мама для меня в ее творчестве, в ее книгах».

Я ответила Але: «Почему же ты мне не сообщила, чтобы я более не ждала тебя, что твое отношение к Елабуге изменилось? Это был твой долг. Как жаль, что у твоей матери были такие необыкновенные дети: сын не был на похоронах, дочь никогда не поедет на могилу. Лучше было бы ей иметь обыкновенных детей, которые бы принесли ей на кладбище полевых цветов...»

Теперь Софья Исаковна Каган и я были заняты телефонными разговорами с Москвой. Мы старались получить хоть какие-нибудь добавочные указания в помощь нахождения могилы. Мы шли на почту, маленькую, провинциального типа, и это тоже как-то облегчало разговор. Как могли бы мы вести его, будь вокруг блеск столичной почтовой залы с густой людской суетой! Тут почти никого не было.

Мы звонили Юде, дочери Софьи Исаковны, поручая ей переговорить с тем и тем. На другой день она передавала нам ответы опрошенных. Их было немного; почти никого не было из живших тогда в Елабуге. Но вот ответ женщины, хорошо знавшей Марину. «Удивляюсь, кому нужно ворошить все это, – сказала она, – прошло столько лет...» Писатель Вадим Сикорский помнил только, что у правой кладбищенской

стенки. Всех сердечнее оказался отец Вадима Сикорского, сказавший Юде: «Все мы тогда были в таком состоянии в этой эвакуации... Ничем не отметили могилу – даже цветов не принес никто из нас, – это ужасно...» Как эти слова

сочетать со строками ко мне Али о том, что никто из семьи их, кроме Вадима, тогда в Елабуге не был, – не знаю. Остается предположить, что старшее поколение Сикорских приехало в Елабугу и ходило на могилу? Или и не пошли туда после похорон? Вадим говорил о Марине сердечно.

Из подробных, возбужденного тона по телефону длинных рассказов Вадима (мне, в Москве) я запомнила, что Марина очень отличала его из всех окружающих.

– А мне тогда было девятнадцать лет, я ничего еще не понимал; не понимал, что такое Марина Ивановна и почему она отдает мне внимание и время... Может быть, она предчувствовала, предугадывала, что я потом буду писать стихи? Мы много ходили с ней, и она много со мной говорила... А когда все это случилось (я был в кино), открылась дверь. Голос крикнул: «Кто тут Сикорский? Выйдите сюда!» И мне сказали о гибели Марины Ивановны. Вечером Мур сказал мне, что придет ко мне ночевать. Я сказал ему: «Ты в этой истории играл такую паршивую роль, что следовало бы не пустить тебя к себе... Но приходи, жду». Потому что он был очень груб с Мариной Ивановной... Но эту первую ночь он все время вскрикивал во сне и метался...

Придя вновь на кладбище, я принесла сделанную мне на заказ в мастерской металлическую дощечку, где в пустой мастерской после работы молодой рабочий вывел черной краской по слою белой масляной краски:

«В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева, род. в Москве 26 сентября ст. ст. 1892, + в Елабуге

31 августа 1941 г.».

Придя на кладбище, мы стали искать крест. Удивительно: у церковной стены стоял только один крест, и он был Марининового любимого цвета - старый, зеленоватой бирюзы. Он был из металла - тяжелый, хотя небольшой. Поднять и нести его мы не могли. Кропоткина позвала паренька, который понес его и закопал по нашему указанию между четырех неизвестных могил 1941 года. В месте меж них, узком, где уже не смогут копать могилу, чтобы не задеть чужой.

В этот ли день у нас были принесены цветы или мы принесли их в следующий раз - я не помню. Но на снимке у подножья креста лежат цветы. И есть еще снимок прибежавших с нами за крестом детей (внуки Кропоткиной,

сторожихи). Они стали у креста, и я сняла их на память -и затем из Москвы выслала Кропоткиной фотографии.

Дощечку паренек прикрепил к кресту проволокой. Крест возвышается над уровнем земли на небольшую высоту, вкопанный глубоко для крепости. Что-то в конфигурации перекадин креста напоминало мне староверов, раскольников и боярыню Морозову, о которой Марина писала стихи и которая по духу ей была сродни.

У нас не было ни времени, ни сил поискать на елабужском кладбище, где похоронена девица Дурова, участница наполеоновских войн.

Я сфотографировала у ворот кладбища ставшую с одной стороны Соню Каган, с другой - застывшую на миг, в профиль, собаку, приبلудную. Марина так любила собак, и собака пришла.

Затем Софья Исаковна заболела. Очень впечатлительная с юности, она не вынесла тяжести и напряженности этих дней. Да еще и простуда. Она осталась в гостинице, а я продолжала поиски одна.

Я прошла по всем следам Марины. И все продолжала снимать и носить пленку Гафисову. Я так боялась, что он не успеет к отъезду. Я сняла улицу, вид на дом Бродельщиико-вых, силуэт церкви. И другую церковь, по пути с кладбища, в городе – крупным планом. (Церковь была заперта, ее видела, проходя, Марина.) Я шла в больницу в надежде найти врача, может быть помнившего смерть Марины, кого-нибудь из тех, кто давал справку, составлял акт. Больница была далеко, за какими-то пустотами. Увы, и там тоже не удалось установить ничего. Я прошла путь в усыпальницу – по колеям, мимо старых деревьев. Улицы были почти пусты.

Во дворе я стояла, смотрела. Сюда привезли гроб. Я не помню, говорила ли я с кем-нибудь в этом дворе. Дома по его краям одноэтажные, маленькие.

Стоит телега. Тихо. Дневной час. Было, может быть, так же, когда привезли Марину.

Я искала следы похорон по учреждениям, зарегистрировавшим их. 31 августа была запись о похоронах. Их взял на себя Мур. В графе была его роспись – своеобразный почерк -прямой, довольно узкий, неровный. Почерк много писавшего, а ему было шестнадцать лет. Этот же почерк я нашла в милиции, в паспортном столе. Там рукой Мура была внесена

запись их прописки с Мариной. Это было за десять дней до дня, когда Марина, все обдумав, написав прощальные письма, прекратила свою жизнь.

Мы собирались ехать. Надо было спешить, со дня на день могло прекратиться пароходное сообщение. Я очень боялась, как бы что-нибудь не помешало Гафисову закончить отпечатывание последних снимков к отъезду, и, подойдя, увижу замок. Что я тогда буду делать?

Но Гафисов был на месте, протягивал мне сырую еще пленку. Успел ли он мне ее наутро отпечатать? В

Москве ли я сделала это? Но должна сказать о снимках. Все удались, кроме одного – внутреннего вида сеней. Он не вышел совсем. Начисто чернота. Ее последнее жилище, в которое она вышла из комнат, чтобы не испортить сыну и хозяевам, – его она унесла начисто, не оставила нам. Правильно ли я сделала, что пыталась снять? Думаю, да. Попытаться – было мое право.

Мы простились с Бродельцовыми, с высоким седым Михаилом Ивановичем, с маленькой доброй его женой, в те дни видевшими Марину.

Я ничего не помню: ни как брали билеты, ни как собирались, как ехали. Наш обратный путь был с последним в ту осень 1960 года пароходом «Владимир Короленко».

Я увозила землю с кладбища и песок с пристани Елабуга, чтобы хранить и раздать друзьям. Но кто возьмет – или как предложить такую печальную память? Если зашить – в ладанку? Мы поделили с Соней горсть сухих кладбищенских листьев, среди них – земляничные...

Серая, осенняя Кама, прибрежные птицы чайки, реющие над палубой, косые струи, бегущие от парохода с пенным журчанием, печальные осенние пристани. Крутые ржавые берега, о которые полощется сталь камских вод. Тут девятнадцать лет назад ехала с Муром Марина, еще надеясь на жизнь. Она не вернулась. Соня Каган и я возвращались, ее не найдя.

Столько часов мы ехали, но я ничего не помню. Холод, в пальто и шапках, на палубе, люк, лесенка. Каюты – но память смешала обе (туда и назад) в одну. Нет, в одной очень стучал пароходный винт, сотрясая ночь и сон. Во второй (первой?) винт тише, сон – глубже. Еще была (почему?) пустая столовая, где мы что-то ели, радуясь, что почти одни.

С грузом печали от дней в Елабуге. И пачка фотографий повторивших Маринин путь. '



В Москве мы через Вадима Сикорского позвали к Соне и Юде Каган в Молочный переулок детского писателя А. А. Соколовского, в 1941 году подростком находившегося в Елабуге со своей матерью, детской писательницей Н. Са-конской. О том, что она начинала дружить с Мариной, – мы считали, как и о том, что смерть Марины тяжело повлияла на ее сына. Ему в тот год было тринадцать – четырнадцать лет. Мать его умерла.

Он говорил о теплых отношениях между Мариной и его матерью и о Муре, которого не видел после смерти Марины. Теперь этот давно выросший подросток сидел перед нами. Держался он просто и дружески.

Мур передал ему свои слова к Марине, сказанные в пылу раздражения: «Н у уж, кого-нибудь из нас вынесут отсюда вперед ногами!..»

Беспощадно грубые слова шестнадцатилетнего Мура прозвучали в материнстве Марины – приказом смерти – себе, Услышанные мною через девятнадцать лет, прозвучали мне-откровению настоящего существе ее смерти: ее самоубийство – в сумасшедше завязавшемся узле их, вдвоем, заброшенности в чужое место меж чужих людей, сжатых войной, одиночеством, – было жертвенным.

Е е смерть е г о от смерти – удержит. Наступал деловой час бесстрашия. Кто мог спасти его от него самого, кроме нее? Нельзя было терять ни дня!

Уходила, чтоб не ушел о н!

Искала работы, намеревалась продать столовое серебро, поселясь в найденной комнате. К ней подошла смерть – в неистребимой серьезности. Отвести ее рукой, обойти –означало подвергнуть опасности смерти самого близкого человека – сына. Этого она не могла.

Так меня, верящую, что жизнь надо терпеть до конца, озарило знание тех Марининых дней. Страшным

шагом ответила на неразумные слова сына – чтобы не сделал этого он.

Любовь к сыну помогала ей упорно искать работу. Ей все еще верилось, что, как в детстве его, они – одно. Но когда в роковой час его горделивой угрозы, что, по несогласию его

с их жизнью в Елабуге он может уйти в смерть, – открылись ее глаза на сына: он уже не одно с ней! Оттолкнув мать, он может шагнуть в смерть. С э т о й соперницей – спора нет. Вырос! В отчаянии выбирает себе другую спутницу! Спора – нет. Ей, его заслонив, отдать себя. Устраниться с его пути. Дать полную от себя свободу. Что могло быть полней? Жить без него? Это она не могла. Рассуждать некогда. Выход найден! О, как надо было спешить!

В 1941 году, накануне эвакуации Литфонда, Марина с сыном собиралась к отъезду. Мне передали рассказ подруги ее дочери Али – Нины (фамилии не узнала). Она застала Марину, в смятении укладывающую в чемодан вместе -нужное и ненужное, расстроенную тем, что Мур не хотел ехать, спорит с ней. Она спасала его от смерти. Он же еще был мальчик! Спасала.

Ее просьба, настойчивая, не носить парижского костюма, беречь его до окончания школы, потому что такого по тем временам «не достанешь», раздражала его. Мур давно уже вырос (был ростом с отца) и, вероятно, не рос более, вещь надо было сохранить. Он не хотел. Переходный возраст его не мирился с лишениями и неудобствами, вызванными эвакуацией из Москвы. Наперекор всем окружающим, из Москвы выехавшим в эвакуацию, он стремился из эвакуации в Москву.

Она ему все прощала. Она глядела вперед, на того, кем он б у д е т. Для себя сознавая все – позади, она жила мечтой его будущего. На упреки сына, что она не умеет ничего добиться, устроиться, она в горькой

надменности, на миг вспыхнувшей гордости, бросила сыну: «Так что же, по-твоему, мне ничего другого не остается, кроме самоубийства?» Но это был вызов, на который Мур ответил: «Да, по-моему, ничего другого вам не остается!»

Слова эти были после гибели Марины рассказаны им самим тогдашним товарищам его по Елабуге.

Но слова эти не вызвали в матери реакции: она понимала, что они возникли в пылу разговора. Что в своей глубине он любит ее – она знала. Но «кого-то из нас» – это было совсем другое! Не о ней, а о нем... Это была не просто дерзость мальчишки...

...Так уже не нужна ему мать... Кончено! Огромная усталость должна была в этот миг пасть на Марину.

Потрясенный ее уходом, он не повторит ее шага... Пусть живет он, юная ветвь! Ему открыты все дороги, а ей...

Кончена их жизнь вдвоем, их единство, что оно и было то коротко, только в его младенчестве! С детских лет мужественный, он давно рвался из ее рук. Крайний эгоцентризм, вспоенный всеобщим – и прежде всего ее восхищением, жар таланта (к перу и кисти), холод ума и самосознания, упоенье собой, знание себе цены – отстраняло его от того, что зовется «дом». Уже ничья воля не могла доааеть над ним – только своя.

Будь с ним мужчина – отец его, – может быть, о н помог бы? Но женщину-мать сын уже отметал от себя. Не довлекла. Но она была тут, ее дыхание, ее несогласие со многим в его поведении, ее воля в дне. То, что было ее жизнью с ним, забота, для него было насилие. Он задышался.

«Марина исступленно любила Мура!» – слышала я не раз от видевших ее в 1939-1941 годах в Москве. Она помнила себя в семнадцать лет, свою попытку самоубийства. Он был -скалок с нее. Их сходство, в нем бившееся, и невозможность для него понять это, его

удаление от нее в эти дни – решало все неожиданно и просто. Успеть спасти его, молодое цветущее дерево, от молнии смерти. Я вижу, как все просветлело вокруг нее – в момент решения. Нет, не решения.

В преддверии решения есть всегда колебание – да или нет. Тут ей была неизбежность.

Я чувствую это и теперь всем своим существом, нашей общей душой, поняв сужденность тогда ее шага. Его жертвенность. В э т о т миг, я знаю, какой еще свет тронул ее сердце: после нее его жизнь сразу устроится, его, вдруг осиротевшего, не оставят, ему помогут. Так думала мать о сыне. Но не совсем так решила жизнь: сын два года окончания школы был голоден. О мечте досыта наесться хлеба он две зимы (1941-1943) писал своей сестре.

Меня хотят уверить, что Марина ушла – и оставила сына! – оттого что не вынесла тяжестей жизни.

Но от нищеты Цветаевы не погибают.

Да, ее любовь к сыну была так велика, что если б ее заковали в цепи, а он бы ей говорил: «Ты мне нужна», -она бы и веса цепей не ощутила.

Марина ушла, чтобы не ушел Мур.

Сомневаться в этом могут лишь люди совершенно иного уровня, неспособные понять природы Марины, ее неистовость, ее абсолютизм, – своей меркой мерящие!

Ее усталость росла. Она устала еще во Франции, где от нее отвернулись после ее публичного приветствия Маяковского, – она мне писала об этом; ее мало печатали. Она еще в 1934 году задумывала уйти из жизни, но ее удерживал сын.

«Мне все эти дни хочется написать свое завещание, -писала она А. Тесковой из Вана в, 21 ноября 1934 года. – Мне вообще хотелось бы не быть. Иду с Муром или без Мура, в школу или за молоком, – и, изнутри, сами собой

– слова завещания. Не вещественного – у меня ничего нет

- а что-то, что мне нужно, чтобы люди обо мне знали: разъяснение».

С 1939-го по 1941 годы, оставшись одна с Георгием, она жила блистательными стихотворными переводами. С войной они кончились, лопнули как детский воздушный шар.

Отъезд в неизвестность с людьми незнакомыми, неимение на кого опереться, чужие случайные люди. Елабуга, маленький захолустный город.

Пастернак чувствовал какую-то вину перед Мариной:

Что сделать мне тебе в угоду -Дай как-нибудь об этом весть,

В молчанья твоего ухода Упрек невысказанный есть.

Но если бы не только, а если б все писатели мира захотели бы преградить ей путь к ее шагу - она бы их отстранила.

В э т о т час она прошла бы сквозь них, как сквозь тень...

И я бы не удержала ее. На ходу своем она сжала бы мне руку, молча. Зная все, что я бы рвалась ей сказать. Полная своим рвением, не слыша меня в этот час...

В 1960 году, может быть и позднее, я встретила с Ниной Герасимовной Яковлевой, которую, по словам знавших их дружбу, Марина очень любила. И чтит! Знакомство их началось в Париже. Нина Герасимовна была переводчицей. Помнится, переводила Бальзака.

В те ли годы в Париже встретились и подружались Марина и Нина Герасимовна Яковлева? Не знаю. Но рассказ о Марине ее был - нескончаем, неумолчен. Я приходила к ней в дом, если не ошибаюсь, № 9 по Телеграфному переулку

возле Главпочтамта, и мы проводили вместе вечера. Как много она рассказывала о своей дружбе с Мариной! Тут, в Москве, - о ее последних месяцах. Нина Герасимовна помогла ей устроить переводческую

работу в Гослитиздате. Марина в Москве занялась переводом с тех пор, как рассталась с мужем и дочерью (осенью 1939 года). Одна, с четырнадцатилетним сыном, она жила на свой заработок переводчика. Переводила грузин (Важа Пшавела и других грузинских поэтов) по подстрочникам. Особенно осталась в памяти поэма «Этери» - о любви принца к простой девушке и их смерть - подобная Ромео и Джульетты. Высота мастерства перевода -вне похвал.

После Голицына, где Марина прожила несколько месяцев с Муром - на квартире (Коммунистический проспект, дом Лисициной) она в Москве поселилась у Елизаветы Яковлевны Эфрон, в крошечной проходной комнате; рядом, в такой же маленькой комнате, жила сама Елизавета Яковлевна с подругой - Зинаидой Митрофановной Ширкевич. Затем Марина снимала комнату в квартире по Покровскому бульвару 14/5, квартира 60.

- Марина жила от меня очень близко, - рассказывала мне Нина Герасимовна, - и когда она уходила - как не хотелось расставаться! И я шла ее провожать. А затем - она меня, и снова я... Она очень мне доверяла. Все говорила мне о себе. Сын с ней был груб, но она ему все прощала. Она так любила его! Он был очень красив. Высок, статен. Ему было всего шестнадцать лет, а он выглядел взрослым и соответственно держался. Очень самостоятелен был. Но она всегда страшно за него беспокоилась, а он раздражался на это. У него было хроническое воспаление ноги, рожистое, она настаивала на лечении и сама лечила его, а он не хотел. Конечно, он был эгоист, но кто же не эгоист в его возрасте?

Да, Марина страдала. Но все прощала ему! Она помнила себя в юности, а он был так талантлив и образован. Он знал таких поэтов, как Валери, тонко разбирался в таких писателях, как Кафка и Сартр, знал

их книги... Марина была счастлива, что у нее такой сын, она им гордилась! Он великолепно знал литературу, столько читал... но трудно сказать, какое у него в душе было отношение к матери, понимал ли он, кто она. Он производил впечатление холодного человека. Как она звала меня с собой в

эвакуацию. Как уговаривала. Но я не могла, Анастасия Ивановна, я должна была ехать в Сибирь, куда дочь моя эвакуировалась, и я поехала с ней. Было такое время, мы были так растерянны, так страшно было расстаться мне с дочерью... Но и с Мариной страшно было расстаться. Я только позднее поняла, что этим решением я потеряла и дочь и Марину. Дочь скоро умерла от тифа, а Марины у ж е не было на свете... Я не представляю себе, чтобы она при мне это сделала, - я бы не дала ей сделать это, мы так понимали друг друга...

Я слушала, смотрела и верила: кто, как не Марина, мог оценить и полюбить эту доблестную, талантливую, умную, добрую женщину? В ней была статья, то, что так ценила Марина. И в ней я чувствовала - отвагу. Какое-то особенное свойство смелости и достоинства в ее синих больших глазах, в ее несколько гордом лице. И она уже была сердечно больная, но и к этому она относилась храбро. Это была, несомненно, личность, что не так часто встречается среди женщин, и это восхищало Марину...

...Мне бесконечно жаль, что смерть Нины Герасимовны прервала нашу дружбу. Сколько я бы еще узнала о Марине из этих полных любви воспоминаний.

В 1961 году перед выходом Мариной голубой книги стихов к моей сестре Лёре (ей шел восьмидесятый год) в ее домик в Тарусу пришел студент-киевлянин, поклонник творчества Марины. Он прочел Маринин рассказ «Кирилловны» в сборнике «Тарусские страницы», кончающийся словами (привожу

по памяти): «Если мне суждено умереть в другом месте, я хотела бы, чтобы на одном из тарусских холмов, которыми мы в детстве ходили к Кирилловнам, мне поставили камень из тарусской каменоломни с надписью: «Тут бы хотела лежать Марина Цветаева». И он решил ее мечту выполнить. Накопив в Киеве денег, он приехал в Тарусу, был у властей, рассказал цель своего приезда им и начальнику каменоломни, тот дал, даром, коричневый камень в 3/4 тонны весом. На нем, по его словам, каменотесы вырезают текст, теперь дело за транспортом.

Лёра и я посоветовали студенту ставить камень не на видном месте и не в маленьком кладбище, как он хотел, где могилы художника Борисова-Мусатова и семьи Вульф, а ближе к домам Лёры и Али, как бы семейно. Я советовала

поставить камень в уголку Лериного участка (Аля была в Латвии, без нее было нельзя ставить у нее, но когда вернется – стоило только перенести угол забора, Лёра была согласна – и камень оказался бы в углу Алиного сада).

Но студент – ему было всего двадцать четыре года – упрямо хотел ставить камень возле могилы Борисова-Мусатова, хоть я объясняла ему, что на кладбище такой мемориальный камень ставить нельзя. Того же держалась и наш друг, профессор З. М. Цветкова. Мы опасались и шума вокруг камня, и многолюдства, но – энтузиаст – не послушал и камень перевез (с трудом – часть пути лошадьми, часть машиной). Но когда каменотесы заканчивали надпись, вокруг собралась толпа тарусян, критикуя их работу и замысел студента, стали вносить свои «предложения». «Рабочие хотели бросить работу, я еле их уломал», – рассказывал он, придя к нам тревожный и огорченный. Мы же, этого ожидавшие, жалели, что он нас не послушал...



А в это время в Латвию уже летели Але телеграммы, ее знакомые сообщали, что без нее неизвестные ставят Марине «Памятник».

Это грозило уже – недоразумением.

В дождливый час я с киевлянином и моей четырнадцатилетней внучкой Ритой спешили осмотреть Маринину мечту. Камень – терракотовый гранит (около 3/4 метра длиной, более 1/2 метра шириной, около 1/4 метра высоты) – лежал наискось по неровной земле у входа в ограду маленького кладбища. Надпись, если не ошибаюсь, была в кавычках (как цитата), и под нею – «М. И. Цветаева». Как часовые -хмурые под дождем березы, внизу плыла, как в нашем детстве, Ока.

Назавтра предстояло решить – передвинуть или не передвинуть – в ограду камень.

– У меня такое чувство, что кто-то придет, поставит под камень рычаг, опрокинет его надписью вниз – и станет простой камень! – сказала я студенту.

Видя расстроенность его после стольких трудов и усилий, я пыталась успокоить его:

– Не горюйте, вы сделали, что могли! Вы Маринину мечту – исполнили! Вот же он стоит – камень с тарусской каменоломни на холме над Окой, как она хотела. Он стоит тут уже сколько? Третий день? Еще постоит... Важно что о н

поставлен. Люди об этом знают. А сколько простоит – если не помешают, – уже не так важно!

– Я сфотографировал его, – сказал студент, – чтобы хоть память осталась...

На другой день, по просьбе дочери Марины, Ариадны Сергеевны Эфрон, от цветаевской комиссии, членами коей были Эренбург, Паустовский, пришел в райсовет властям протест по поводу установки камня.

Дальнейшая судьба камня была такова: за ним приехала машина, его с трудом погрузили, повезли по холмистому пути, меняли транспорт (подробно не знаю,

так как я с Ритой уже уехала), снова везли и, наконец, сбросили в какую-то яму – возле не то автостанции, не то гаража. Там он и лежит поныне, должно быть.

...Через двенадцать лет после такой истории с камнем ко мне в Москву приехал из Воронежа еще один энтузиаст и поведал свою мечту: он прочел рассказ Марины «Кирилловны», напечатанный в «Тарусских страницах», и решил попытаться исполнить ее мечту – поставить на тарусских холмах камень с надписью: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева».

- Поскольку, волею судьбы, могила Марины Ивановны так далеко от мест ее детства и юности, пусть хоть такой мемориальный камень будет ей поставлен, по ее желанию, над Тарусой...

- Этот вопрос надо решить с дочерью Марины, – ответила я (помня, что камень первого мечтателя ставили в отсутствие Али). Я не хотела разочаровывать приехавшего: что не удалось тогда, может, удастся теперь? Предупредить о неповторении ошибки студента будет еще время, если дело начнет налаживаться. Сестры Лёры уже не было на свете, я была одна с воспоминанием о неудаче, – пусть попытает счастья, как говорится в русских сказках о добром молодце... После свидания с Алей воронежский поклонник творчества Марины писал мне, что она указала на трудности, ему предстоящие, дала ему ряд советов, и он намеревался начать исполнение своей попытки. Но, видимо, трудности оказались серьезными – о постановке камня не слышно.

Один приезжавший из Елабуги педагог, не раз мне писавший и работавший в Елабужском педагогическом институте, сообщил мне, что уже старые Михаил Иванович и

Анастасия Ивановна Бродельциковы продают дом и новый владелец будет его перестраивать.

- Столько лет, - говорили они, - ходит народ и ходит, приезжают издалека многие, как не пустить... Расспрашивают - а мы что знаем? Всего десять дней она с сыном у нас прожила, время было тяжелое, у каждого своя забота... В сени входят, в дом просятся, и тот гвоздь им покажи, где беда случилась, - так вы уж, пожалуйста, его заберите от нас, мы так и скажем - забрали...

- И я взял и привез его, - сказал приезжавший, - куда мне его передать посоветуете?

- Думаю, дочери. Пусть останется у нее в архиве горькая реликвия<sup>1</sup>.

Так он и поступил!

Весной 1966 года, будучи в Доме творчества в Голицыне (я просила Литфонд устроить меня именно туда, где Марина жила с Муром, и уже много лет езжу туда. Прохожу по саду, которым они шли, поднимаюсь по их лесенке, гляжу на камни, у которых сидела Марина. Родной дом для меня), я решила встретиться с Серафимой Ивановной Фонской, заведовавшей в Маринины дни этим Домом.

Меня проводили до ее дачи. Я вошла в калитку. Навстречу мне двинулась высокая седая женщина. Она ждала меня.

- Как похожа! - воскликнула она. - И та же летящая походка!

Вот что она рассказала мне (здесь запись лета 1966 и лета 1967 годов):

- Когда Марине приносили молоко, она сахару положит в молоко и идет в кухню варить тянучки. Мур любил сладкое. Целую глубокую тарелку наварит и несет. А Мур сразу съедал! Молодой! С матерью Мур резок был. Только требовал! Не помогал матери ни в чем, никогда. Избалованный, да! Красавец! Ходил в синем костюме. Щеки розовые, матовые... Хорош! Но - не понимал мать, груб был. Марина Ивановна

1 5 сентября 1981 года Вячеслав Михайлович Головкин, заведующий кафедрой университета в г. Элиста, написал мне о продаже дома М. И. и

А. И. Ёроделыциковыми и о том, что в свое время он передал на хранение Ариадне Сергеевне Эфрон и домовую книгу, в которой точно указаны даты пребывания в Елабуге М. И. Цветаевой и Г. Эфрона (запись сделана Г. С. Эфроном).

иногда от него плакала - отвернется, тихо... Говорила: «Он - молодой, у меня это все прошло давно, а он ведь еще...» \* Все прощала ему! Мур был совсем другой, чем мать, он был далек от нее, он только требовал. А она была очень хрупкая. Она не возражала, она его слепо любила... Она против него была маленькая, какая-то серая. И уже впалая грудь, но вся летящая как птица! Немножко выше, чем вы Анастасия Ивановна, она была... Нет, нет, не высокая, нет!

- А бывала Марина радостной когда-нибудь? - спросила я Серафиму Ивановну.

- Бывала, когда Мур был веселый. А Мура здесь Крымов сдерживал. Обнимет Мура и пойдет с ним. А она улыбается вслед, радуется, что такой человек, как Крымов, занимается с Муром.

...Был у них страшный скандал с Муром, и он ушел - чтобы уехать в Москву. И она ему вслед крикнула: «Мур! Я не выдержу! Вернись!» Но он ушел. Она металась, как птица в клетке. Он не жалел мать, в этом возрасте нет жалости, она приходит поздней.

Марину Ивановну очень любила сестра Г. Чулкова, Анна Ивановна Ходасевич. И смерть ее тяжело переживала.

А Крымов про нее говорил: «Этот дорогой инструмент пострадал от всех дорог...» (Я не успела записать, как у колодца Крымов, что-то делавший, попросил: «Качните, Марина Ивановна...» - и как она налегла, слабо... И он: «Не надо, я сам...»)

Через год я уже не застала Серафиму Ивановну, как подряд два года. Она умерла от болезни сердца.

В 1967 году вдова Ноя Григорьевича Лурье дала мне написать воспоминания его о Марине. Вот они:

«Зимой 1939-1940 годов, живя в Голицыне, я ежедневно встречался с Мариной Цветаевой, которая, как и я, одно время жила<sup>1</sup>, а затем столовалась в Доме творчества. Марина Ивановна любила говорить, говорила интересно, подчас весьма язвительно. Помню ее импровизированные, совершен<sup>1</sup> Ошибка многих вспоминающих о встречах с Цветаевой в Голицыне. В Доме творчества М. И. не жила, но постоянно бывала в нем, и поэтому многие считали, что она живет в доме.

но блестящие, беспощадные наброски портретов Андрея Белого и Ремизова. У нее была злая хватка мастера, голос -громкий, резкий. Но за уверенностью тона и суждений чувствовалась растерянность и страшное одиночество. Мужа и дочери с ней не было, с сыном у нее, по моим наблюдениям, не существовало общего языка. В глазах этой седой женщины с незаурядным лицом иногда вдруг появлялось такое выражение отчаяния и муки, которое сильнее всяких слов говорило о ее состоянии.

После обеда, после ужина я часто присаживался возле нее. Она рассказывала о жизни русских писателей за границей, о своих встречах с Маяковским, которого считала большим «органически революционным» поэтом, но почему-то не очень счастливым, несмотря на то что у него, казалось, было все, что нужно для счастья: согласие с временем, талант, дерзание.

Марина Ивановна, по-видимому, ценила эти наши беседы, огорчалась, когда я, случалось, проводил досуг не с нею, играл в шахматы и т. п.

Одна наша встреча особенно запомнилась. Как-то проработав с утра часа три, я после завтрака

предложил Марине Ивановне пойти погулять.

День был чудесный: солнечный, безветренный, при легком морозце. Мы долго бродили сначала по террасе, а затем по заснеженному лесу, лишь изредка обмениваясь несколькими словами. Зная по себе, какой целительный покой приносит душе подобная прогулка, я старался не отвлекать мою спутницу разговорами. Но душевная неурядица, тревожившая эту замечательно одаренную женщину, была, видимо, слишком велика, чтобы ее успокоить такими средствами.

- Нехорошо мне, Ной Григорьевич, - неожиданно заговорила она со свойственной ей прямоотой и резкостью. - Вот я вернулась. Душная, отравленная атмосфера эмиграции давно мне опостылела. Я старалась общаться больше с французами. Они любезны, с ними легко, но этого мне было мало. Тянуло домой. Но смотрите, что получилось. Неужели я здесь оказалась тоже чужой, как там?

Я пытался ее успокоить: со временем, надо надеяться, трудности пройдут. Она была безутешна.

- Боюсь, что мне не справиться с этим...

На обратном пути, когда мы уже вступили в поселок, нам встретился старик, очевидно из местных жителей, коренастый, сильный, с очень выразительным умным лицом. И вдруг Марина Ивановна, глубоко задышав, жарко, почти в бредовом состоянии, прошептала: «Какой он зрячий! Я его, как Родину, люблю...»

Вдова писателя Николая Яковлевича Москвина Татьяна Николаевна Кванина вспоминает:

«Мы с Николаем Яковлевичем Москвиным в конце сентября или в октябре 1939 года (точно не помню) приехали в Голицыно.

В день нашего приезда завтракали мы с опозданием и завтракавших было всего два-три человека, а вот к обеду (ели тут всегда все за одним общим большим

столом) собрались почти все обитатели Дома. Когда все уже сидели за столом и начался перекрестный разговор, в комнату вошла немного выше среднего роста худощавая женщина со строгим, чуть замкнутым, но очень выразительным лицом.

Необычны были и широкие серебряные браслеты на запястьях ее рук. Держалась незнакомка как-то подчеркнуто прямо, и во всех ее движениях чувствовалось горделивое достоинство. За ней шел рослый красивый мальчик лет четы рнадцатипяти.

Это была Марина Ивановна Цветаева с сыном Муром.

Марина Ивановна села в середину стола и сразу стала центром всеобщего внимания и интереса. И хотя сама она говорила мало, но все, что говорилось за столом, адресовалось только ей, говорилось только для нее.

Я еще не знала, кто передо мною сидел, но ощущение, что вижу человека, к которому слово «незаурядный» применить мало, родилось тут же: это был человек особый, высочайшей породы. За всю мою жизнь и прежде и потом такого ощущения я не испытывала ни от одной встречи.

После обеда все пошли гулять. Центром всего и всех по-прежнему была Цветаева. Ходили по какой-то заросшей травой дороге, через какие-то небольшие полянки с редкими деревьями. За одним из поворотов я увидела одинокое деревце, – юное, прямое, ровное. Проходя мимо, погладила его (деревья часто кажутся мне очеловеченными). Как

оказалось позже, то, что я погладила дерево, заметила М. И., и это (что для М. И. примечательно) положило начало нашим дружеским отношениям, если можно так назвать стеснительное преклонение с моей стороны и дружеское расположение со стороны М.

Цветаевой, со свойственной ей способностью приукрашивать и идеализировать людей, ей чем-то симпатичных.

В первом же ко мне письме от 17 ноября 1940 г. Марина Ивановна пишет:

«...это письмо идет издалека. Оно пишется целый год - с какой-то прогулки - с каким-то особенным деревом (круглой сосной?) - по которому Вы узнавали den Weg zuruck. «Такое особенное дерево...» Ну вот, Таня, если у Вас хватило Ваших больших глаз - на его особенность, может быть, хватит и на мою. Что касается деревьев, я в полный серьез говорю Вам, что каждый раз, когда человек при мне отмечает: данный дуб - за прямоту, или данный клен - за роскошь, или данную иву - за плач ее, я чувствую себя польщенной, точно меня любят и хвалят, и в молодости моей вывод был скор: этот человек не может не любить меня»<sup>1</sup>.

На другой день или через день после первой прогулки М. И. пригласила Николая Яковлевича и меня к себе. Жила она у кого-то на квартире, а завтракала, обедала и ужинала в Доме творчества.

Комната ее нас поразила своим хаотическим беспорядком: все лежало вперемежку, на виду. Но и тут, в Голицыне, и особенно в Москве, скоро стало понятно, что в этом беспорядке свой порядок и смысл. М. И. прекрасно помнила, где что лежит, не тратила ни секунды, доставая нужное. А лежало все сверху, как я поняла, потому что М. И. не желала тратить времени на открывание и закрывание ящиков и шкафов, на запоминание, что где: тут все было видно. Неопрятности в этом «беспорядке» не было.

А вообще к М. Цветаевой с привычной, обычной меркой и оценкой ее поступков ни в коем случае подходить нельзя, - она стояла над повседневностью. Например, почти не замечала, когда вы ей что-нибудь приносили, даже очень



1 Здесь и ниже привожу только выдержки, точками обозначаю пропуски. Оригиналы писем находятся в ЦГАЛИ.

ей нужное, но так же просто, не придавая этому никакого значения, могла отдать что-то свое, даже ценное.

В этот первый наш приход (впрочем, как и во все последующие) Марина Ивановна читала нам свои стихи. Читал ее стихи наизусть и Н. Москвин – он знал их множество. Одно из его любимых было: «Здравствуй! Не стрела, не камень Я! – Живейшая из жен...»

Позже в письме от 22 марта 1940 года к Н. Москвину М. И. «обыгрывает» строчки из этого стихотворения. Она напишет:

«Ах, жаль Вас нет, потому что -  
Я сегодня в новой шкуре:  
Вызолоченной – седьмой.

А шкура – самая настоящая. Баррранья, только не вызолоченная, а высеребренная, седая, мне в масть, цвет талого снега, купила за 70 р. в местном сельмаге, в мире реальном это воротник, огромный... Я все люблю самое простое, и своего барррана не променяла бы ни на какого бобра.

Эта шкура – Вам в честь.

До свидания – не знаю когда, новсегда-с огромной радостью».

А выше в этом же письме Марина Ивановна пишет Николаю Яковлевичу: «Я о Вас скучаю по-настоящему, я к Вам очень привязалась». И эти слова в письме не простая любезность. Когда мы уже вернулись в Москву, а Цветаева была еще в Голицыне, она доверяла Н. Я. какие-то свои дела, телефонные справки, а когда у нее случилась неприятность с денежными расчетами с Литфондом за питание в Доме творчества (об этом уже писали), то она именно Н. Я. в тот же день (28 марта 1940 г.) послала большое письмо, в котором подробно

описывает все происшедшее, пишет о всех своих сомнениях, о заработках и пр. Марина Ивановна ничего не просит, чувствуется, ей просто нужно поделиться, и вот одним из первых, о ком она вспомнила, был Москвин. А ведь мы были так мало знакомы... Все это говорит об одиночестве, о поисках друзей, но тогда мы этого не поняли.

Я знаю, что Н. Я. и ездил к разным людям, и звонил, пытаюсь добиться, чтобы положение с курсовками, которое быстро, в один день, уладилось, было оформлено официально («М. И. так психологически будет легче», – говорил Н. Я.).

К сожалению, ничего из этого не получилось – помешали какие-то бухгалтерские правила.

М. Цветаева (в конце этого же письма к Н. Я. (от 28 марта 1940 г.), думая, что ей придется уехать из Голицына, пишет (в общем-то опять об одиночестве):

«Этим кончается целый период моей голицынской жизни: вся совместность. Жаль для Мура. Для себя – не очень, последнее время все было очень сухо – не сравнить с нашим временем, просто: у меня не было ни одного человека, которому бы я радовалась, а без этого мне и все сорок не нужны\*.

Николай Яковлевич относился к Марине Ивановне с нежной почтительностью, с оттенком светскости. Со мной у нее отношения складывались более домашние, что ли: иной раз (редко) она просила купить что-то, достать (см. письма М. И. ко мне), и бывала я у М. И. одна чаще, чем вместе с Москвиным. (А в общей сложности всего этого было не так уж и много.)

Как правило, при наших встречах (когда я бывала без Н. Я.) говорила больше М. И. Я слушала. Видела: Марине Ивановне надо выговориться (понимала, что отсюда и письма ее к нам, особенно те, которые передавались мне в руки). Темы же разговоров были разные. Чтобы не быть голословной, привожу, как один

из примеров, выдержки из моего письма к Москвину от 7 декабря 1940 года.

«...Рассказывала о муже, дочери, о Муре, о Париже, о Пастернаке. Обо всем вразброд и поверху. Читала стихи о Маяковском... Рассказывала о своих переводах с польского. О том, как в подстрочнике нашла ошибку, не зная языка... Разговор весь был несвязанный и сильно сдобренный горечью (понятной в ее положении). Вдруг неожиданно спрашивала обо мне: кто у меня есть из родных? Почему много работаю? Кто живет в Казани? Чем занимаюсь?.. «Ну, а где во всем этом радость? Чего вы больше всего бы хотели в жизни? И в какую хотели жить эпоху?..»

Надо сказать, что обычно обо мне и Москвине Марина Ивановна ничего не спрашивала. А если и спрашивала, слушала рассеянно. Она или рассказывала коротко о каких-то заботах дня, или велся разговор, подобно приведенному выше, или на отвлеченные темы (что такое человек? К чему все?

В чем смысл всего?). Создавалось впечатление, что шла

т\*1^

какая-то тревожная переоценка вопросов, давно уже решавшихся еще в те длинные вечера юности с Сонечкой (Софьей Евгеньевной Голлидэй). Кстати, обращение М. И. ко мне в некоторых ее письмах, как к Тане и как к Сонечке, или упоминание имени Сонечки, в какой-то мере, как мне кажется, является отголоском этих наших разговоров с ней: вечера в 40-х годах напоминали ей вечера 20-х («...Вам ведь пишет старая: молодая я, – та, 20 лет назад – точно этих 20 лет и не было! Сонечкина – я!» (письмо от 17 ноября

1940 года). В письме от 25 мая 1941 года: «Милая Таня, Вы совсем пропали – и моя Сонечка тоже – и я бы очень хотела, чтобы Вы обе нашлись».

Иной раз мы просто молчали. Если Мур был дома, шли гулять, чтобы не мешать мальчику заниматься. Но и когда молчали, М. И. меня не отпускала. Видимо, очень уж грустно и одиноко у нее было на душе.

О Муре в этом же письме от 7 декабря 1940 года я пишу Москвину: «Он стал очень высокий, худой, прозрачный какой-то и красивый. Большой такой, что даже на «Вы» называть неудобно. Шутя сказала ему, что прямо хоть новое местоимение выдумывай...»

Мне нравилось, что Мур был учтив: когда я приходила, он никогда не садился, прежде чем не сяду я. Если при разговоре с ним я вставала и подходила к нему, он неизменно вставал.

Ему было, конечно, предельно трудно в этот период. Все новое: страна, уклад жизни, школа, товарищи. Все надо было узнавать вновь, найти свое место. А тут еще переходный возраст: повышенная раздражительность, нетерпимость к советам (не дай Бог, приказаниям!), болезненное отстаивание своей самостоятельности и пр., пр., короче, все то, что, как правило, появляется в эти годы у растущих.

Видела Мура я вообще-то мало: его или не было, или он собирался уходить. Но по разным мелочам нетрудно было понять, что этот мальчик сам не рад своей раздражительности и резкости, стыдится их, жалеет М. И., а вот сдержать себя не может.

Как-то М. И. уходящему Муру хотела поправить кашне (на улице было холодно), Мур вспыхнул, сердито дернулся, резко отвел ее руку и резко сказал: «Не троньте меня!» Но тут же посмотрел на мать, потом на меня, и такое горестное,

несчастное лицо у него было, что хотелось броситься с утешением не к М. И., а к нему, к Муру. Слышала я однажды и как Мур, уходя, в коридоре в ответ на какие-то слова матери (видимо, просьбу

прийти пораньше), сказал: «Вот увидите, уйду и не вернусь!» Ну и, конечно, вернулся.

Марина Ивановна прекрасно понимала все, что происходит с Муром, его характер...)

Для меня теперь ясно (к величайшему сожалению, только теперь!), что у М. И. была страстная, неистребимая потребность в это время чувствовать около себя людей, относящихся к ней добро, ценящих ее, просто проявляющих к ней человеческое участие. В ответ она сразу же загоралась ответным чувством симпатии, вкладывая иной раз в это все свое сердце, идеализируя всё и вся. А вот одиночество для нее было нестерпимым. Вот строки из ее письма ко мне:

«Таня! Не бойтесь меня. Не думайте, что я умная, не знаю что еще, и т. д. и т. д. и т. д. (подавите все свои страхи). Вы мне можете дать бесконечно много, ибо дать мне может только тот, от кого у меня бьется сердце. Это мое бьющееся сердце оно мне и дает. Я, когда не люблю, – не я. Я так давно – не я.

С Вами я – я...Моя надоба от человека, Таня, – любовь. Моя любовь, если уж будет такое чудо, его любовь, но это – как чудо, в чудном, чудесном порядке чуда. Моя надоба от другого, Таня, – его надоба во мне, моя нужность (и если можно, необходимость) – ему, поймите меня раз навсегда и всю – моя возможность любить в м о ю меру, т. е. без меры.

Вы мне нужны как хлеб – лучшего слова от человека и не мыслю. Нет, мыслю: – как воздух... Радость от присутствия, Таня, – страшная редкость... Вы, Ваш голос мне – радость. Этого я, кажется, здесь не могу сказать никому... Мне почти со всеми сосуще-скучно... какое одиночество, когда после такой совместности вдруг оказываешься на улице, с звуком собственного голоса (и смеха) в ушах, не унося ни одного слова, кроме стольких собственных.

Ведь что со мной делают? Зовут читать стихи. Не понимая, что каждая моя строка – любовь, что если бы я всю жизнь вот так стояла и читала стихи – никаких стихов бы не было. «Какие хорошие стихи!» Ах, не стихи – хорошие.

Да, недавно одна такая любительница стихов, глядя мне в лицо широкими глубокими глазами, мне сказал: «Ах, почему Вы такая... равнодушная, такая разумная... Как вы можете писать такие стихи – и быть такой...»

«Я только с Вами такая, – ответила я мысленно. – Потому что я Вас н е люблю. (И что-то очень резонное -вслух)».

А вот в том же письме ко мне (в 1918 году Бальмонт познакомил М. И. с одной поэтессой. Потом они не виделись 22 года. В 1940 году встретились). М. И. пишет:

«Я совсем не знала, кого увижу, и так хотелось – любить! И я просидела с ней три часа, мы говорили с ней о бывших друзьях и временах, мы как будто люди одного мира, она умная, мне очень преданная, пишет стихи, и – Таня! я ничего не почувствовала, ни малейшего волнения, ни притяжения, и у меня был ледяной, разумный, даже резонный голос (Таня, в эту минуту Вам за нее больно. Нет, пусть Вам будет больно за меня, потому что она-то все равно счастливая, потому что она меня любит, а дело в том, все дело в том, чтобы мы любили, чтобы у н а с билось сердце – хоть бы разбивалось вдребезги! Я всегда разбивалась вдребезги, и все мои стихи -те самые серебряные сердечные дребезги).

Таня, у меня с той вчерашней гостьей общие корни, и мы одного возраста, и она тоже пишет стихи, и – Таня, я к ней ничего не почувствовала, а к Вам – с первого раза -все».

Я привожу сама спокойно все эти лестные для меня строки потому, что ко мне они относятся лишь

косвенно: М. И. обладала, как известно, поразительной способностью придумывать людей. Но вот характер М. И. эти строки, как мне кажется, раскрывают довольно четко: и страстную тягу к людям, и ее одиночество, и ни на что и ни на кого не похожее своеобразие. Повторяю еще раз: с привычными мерками к миру Цветаевой, по моему глубокому убеждению, подходить нельзя.

В 1939 году мы с М. И. встречались совсем мало. В 40-м (особенно во второй половине) довольно часто. В 41-м, перед самой войной и в начале войны и совсем не встречались. Последнее письмо от М. И. я получила от 25 мая 1941 года. В эвакуацию поехали в октябре в Казань.

Такие неровные и не очень частые встречи объяснимы. Время было трудное. Разные беды, сложности были в семьях родственников, близких друзей, и моих и Москвина. Была я в это время и очень занята (я преподаватель, работала в одной из военных академий). Все время казалось, что с невероятным напряжением несешься куда-то, и груды забот, недоделанных дел мешали остановиться, подумать не спеша обо всем толком. Поэтому трудно было разобраться и понять в полной мере все стороны жизни М. И., недавней нашей знакомой. Мы знали о ней в общем-то так мало.

Гипнотически действовали и разные знаменитые фамилии писателей, которые М. И. упоминала в разговорах. Казалось, что там есть и прочные дружеские связи, и надежная защита. А ничего этого не было. Марина Ивановна была, как нам стало это понятно слишком поздно, ужасающе одинока. У всех нас были родственники, друзья, близкие по духу, проверенные в разных трудных житейских ситуациях.

У М. И. не было никого. И когда настала такая минута, когда положение показалось безвыходным, когда сил не стало, поддержать было некому.

А одиночество при всем том, что выпало на ее долю, было непереносимо. У нас у всех, так или иначе причастных к судьбе Цветаевой, не хватило настоящей доброты, человечности, внимания, участия, если хотите – ума: потерять, не сберечь такого человека?! Где были все мы?!

Под конец приведу несколько строчек из моего письма от 30 июля 1979 года к товарищу, интересующемуся М. Цветаевой: «Родина для человека – это дом. Для Марины Ивановны несмотря ни на что, Россия была домом. Вернулась она домой и, невзирая ни на что, чувствовала себя дома, хотя и не могла понять многого ни вокруг себя, ни в людях, с которыми встречалась, что понятно».

И вот еще. Однажды, гуляя, мы сели с М. И. на скамеечку (была такая заветная скамеечка). М. И. в этот день была чем-то расстроена, были какие-то трудные хлопоты, возможно был резок Мур. Чтобы отвлечь от всего, я стала рассказывать забавные, и трудные, и трогательные истории из столкновений моих с мальчишками и девчонками вечерней школы, где я недавно по совместительству с основной работой проработала год. Вся эта ребятня (примерно ровесники Мура), кто без отца, кто без матери, кто без тех и других, работали и

учились, опекали младших сестер и братьев, к этому отчаянно озорничали, а иной раз хулиганили, но в общем были чудесным народом. Рассказывала я М. И. не в первый раз (историй было неисчерпаемо много), и она, как и всегда, слушала эти истории с большим вниманием. Потом мы долго молчали. А потом М. И. негромко сказала:

– Хорошо, что я здесь!

– Где? – спросила я (подумав: не в Голицыне, а в Москве, имея в виду сегодняшние ее хлопоты).

– В России! – сказала Марина Ивановна.



Наверное, кому-то конец моих записей покажется нарочитым. Но это правда. Так это было. И слова эти – не только настроение минуты. Но об этом разговор в другой раз.

Летом 1940 года известная пианистка Мария Веняминовна Юдина работала над сборником песен Шуберта. Ей нужны были переводы текста стихов, на которые написана музыка. Узнав от Г. Г. Нейгауза о Цветаевой, Мария Веняминовна решила обратиться к ней. Вот ее краткий рассказ об этой встрече.

«...Темноватая мансарда, нескладная лестница к ней, сразу охватывает атмосфера щемящей печали, неустроенности, катастрофичности. Отчужденное взаимное приветствие; вижу пожилую, надломленную, немощную женщину, стараюсь быть просительной и любезной, учливой; сажусь на кончике стула, показываю Шуберта. «Если уж – то только Гёте», – говорит Цветаева. «О, конечно, это самое прекрасное», – отвечаю я и предлагаю «Песнь Миньоны» и «Арфиста» для начала. Она рассеянно соглашается, я спешу уйти... (А мне бы к ногам ее броситься, целовать ей руки, облить их слезами, горячими, горючими, предлагать взять на себя то или иное ее бремя.) Трудно мне самой понять, почему я была так замкнута, даже равнодушна. Оправдываться ни к чему, то был грех недостатка любви, а также литературной культуры...»

Самой крепкой и нежной дружбой 1940-1941 годов Марины, надо думать, была ее дружба с искусствоведом Еленой Ефимовной Тагер и мужем ее, литературоведом Евгением Борисовичем Тагером. Марина часто у них бывала, они принимали близкое участие в жизни ее и Мура. Глубокое и тонкое душевное понимание, им свойственное, с которым и я два десятилетия позднее радостно столкнулась, не могло

не скрашивать ее смурную и тревожную в то время жизнь. Его краткий рассказ я хочу привести здесь.

«Однажды, в ходе беседы о том, как работает Марина Ивановна над стихотворными переводами, я спросил; «Так Вы стоите за вольный перевод?» – «Вольный? – мгновенно парировала Цветаева. – Значит, существует невольный? В таком случае я, конечно, за вольный\*. Другой раз, послав к нам какую-то девушку с запиской, она приписала в постскриптуме: «Обласкайте девочку, она – душенька, и даже «Душенька» – Психея – Психея».

Я привожу эти высказывания не ради их каламбурного изящества, а потому, что в их молниеносно – как в осколке зеркала – отразился весь внутренний строй Цветаевой, – и как личности, и как поэта.

«Душенька» – слово житейского повседневного обихода. Но Цветаевой этого мало: она раздвигает его смысл – встает «Душенька» с большой буквы (поэма Богдановича) – душа -Психея. Слово вырастает, воздвигается, громоздится, или, быть может, наоборот, разверзается глубь, открывается скрытое дно. И все творчество Цветаевой дышит этой неукротимой жаждой вскрыть корень вещей, добиться глубинной сути, конечной природы явления. Вот в «Поэме Конца»:

...Последний гвоздь

Вбит. Винт, ибо гроб свинцовый.

Обычной гробовой крышки недостаточно для гибельной темы «конца», немислимого разрыва. Необходимо большее, непреодолимое – «свинцовый гроб»!

Вся Цветаева – в этом стремительном беге вглубь, в тайную суть вещей. Как-то, когда зашла речь о ее «Федре», я спросил, сближалась или отталкивалась она в своей пьесе от «Федры» Расина или Эврипида? И неожиданно услышал: «Меня это совершенно не занимало. Для меня существуют лишь две книги: «Русские сказки» Афанасьева и... – она назвала какой-то

немецкий компендиум (забыл автора), -свод античной мифологии». А гораздо позднее я прочел у нее в «Доме у Старого Пимена» следующее многозначительное признание: «...все миф... не мифа – нет, вне мифа -нет... миф предвосхитил и раз навсегда изваял все».

Это не нужно понимать буквально – не в завороченности мифологией и фольклором тут дело (и уж конечно не во

вкусе к стилизации), а в тяге к истокам, к первозданности, к тем основам, что скрыты от обычного взгляда под толщей всевозможных напластований. И это не только черта художественного метода Цветаевой, но и существо ее мировоззрения. Даже словесное обозначение, словесная оболочка скрывает то первичное, «живое» начало, к которому неудержимо рвется Цветаева.

Стихи Цветаевой подчас трудны, требуют вдумчивого распутывания хода ее мысли. Но ничто не было ей более чуждо, чем орнаментальная игра со словом, поэзия смутных намеков, любой вид импрессионистической невнятицы. То же и с ритмом. Мощь и богатство цветаевских ритмов ни с чем не сравнимы. Но как далеки они от зачаровывающей, музыкальной ворожбы. Ее нагромождение ударных слогов, ее тире, ее бесконечные enjambement – переносы – как бы призваны вбить кол в слово, пригвоздить читателя к смыслу, к содержанию.

Начала, казалось бы, противостоящие друг другу, взаимоисключающие – с одной стороны, невероятная, бурная, взрывающаяся эмоциональность, а с другой – столь же невероятно острая, всепроникающая, пронзительная мысль, -все это сплелось в Цветаевой в неразрывное целое. И это не только чета ее творчества, но и всего ее духовного строя и даже внешнего облика.

Я познакомился с Мариной Ивановной в декабре 1939 года, ринувшись в голицынский Дом творчества

формально для работы над книгой, а по существу, чтоб встретиться с Цветаевой. В первый же день я увидел ее в проходной комнате около столовой: «Как я рад приветствовать вас, Марина Ивановна», – сказал я. «А как я рада слышать, когда меня называют Марина Ивановна», – отвечала она.

Никогда раньше не видел я ни самой Цветаевой, ни ее портретов, фотографий. И воображению – довольно наивному, как я сейчас понимаю, – рисовался образ утонченно-изысканный, быть может, по ассоциации с альтмановским портретом Ахматовой. Оказалось – ничего подобного. Никаких парижских туалетов – суровый свитер и перетянутая широким поясом длинная серая суконная юбка. Не изящная хрупкость, а – строгость, очерченность, сила. И удивительная прямизна стана, слегка наклоненного вперед, точно таящего в себе всю стремительность ее натуры.

Должен сказать, что ни на одной фотографии тех лет я не узнаю Цветаеву. Это не она. В них нет главного – того очарования отточенности, которая характеризовала всю ее, начиная с речи, поразительно чеканной, зернистой русской речи, афористической, покоряющей и неожиданными парадоксами, и неумолимой логикой, и кончая удивительно тонко обрисованными, точно «вырезанными», чертами ее лица.

Нет нужды напоминать о тягостной драме, обрушившейся на Цветаеву после возвращения ее на родину. Драматизм этот переоценить невозможно. И тем не менее, парадоксальным образом Цветаева одновременно, впервые пожалуй, оказалась окруженной атмосферой такого восторженного поклонения, которого она была лишена всю свою жизнь. В Голицыне она царила по вечерам среди восхищенной писательской братии, и в Москве к ней тянулись,

знакомства с ней добивались все подлинные ценители поэзии.

Елена Ефимовна Тагер, моя жена, скончавшаяся год назад, приезжала в Голицыно, и после знакомства с ней в заснеженной березовой роще Марина Ивановна сказала врезавшиеся в мою память слова: «Ваша Люся – замечательна: сама сила – сама буря, сама чистота!»

Помню, как однажды позвонила к Елене Ефимовне Лиля Юрьевна Брик и сказала, что Кирсанов страшно хочет увидеть Цветаеву, и поэтому она просит, чтоб Елена Ефимовна позвала к себе в гости и Цветаеву и Кирсанова. Елена Ефимовна так и поступила. Пришел Кирсанов с женой и впился глазами в Цветаеву. К сожалению, собственных слов Цветаевой никто не записывал. Мне уж приходилось сетовать: «Гениев мало, а Эккерманов еще меньше».

Однажды и сама Цветаева написала мне в одном из писем:

«Дорогой!

Меня хвалят и славят, но – ничто не льстит моему самолюбию, и в с е – моему сердцу (ибо последнее у меня есть, а первого – нет). Звоните, зовите, приходите».

Да, самолюбия бездарности, страстно заинтересованной во внешнем признании, у Цветаевой, всегда знавшей цену своему гению, не было. Но сердце не могло не откликаться на несшиеся к ней токи восхищения, благодарности, любви. И некоторым, правда слабым, утешением может нам служить

то обстоятельство, что какое-то время в конце своей жизни Цветаева ощущала себя в «живом русле» этой благодарной любви.

Но – увы! – этот ореол преклонения был слишком воздушным и отнюдь не способствовал улучшению материального положения. Помню иронию, с какой рассказала мне Марина Ивановна об одном известном

поэте, которого просили ходатайствовать о ней в Союзе писателей. «М н е ходатайствовать о ней перед Союзом писателей? – патетически воскликнул поэт в «благородном» самоуничижении. – Это Марина Цветаева может ходатайствовать обо мне перед писательским миром!»

Между тем положение Цветаевой все ухудшалось. Вначале ей давали переводить Важа Пшавела, а затем уже второстепенных белорусских, еврейских поэтов.

Неудачно окончилась и попытка Цветаевой издать сборник собственных стихов; внутренний рецензент издательства его забраковал.

Уже после войны в конце 40-х годов ко мне попал машинописный экземпляр этого сборника. На внутренней стороне переплета Елена Ефимовна записала следующие слова Цветаевой:

«Человек, смогший аттестовать такие стихи как формализм, просто бессовестный.

Я это говорю из будущего.

М. Ц.»

В Голицыне лет пять назад мне рассказала женщина, бывшая в то время в Чистополе, о своей встрече с Мариной незадолго до ее конца. Марина искала, кому продать привезенную из Парижа шерсть.

«Я должна сто рублей, и мне надо срочно их отдать. Кто бы купил у меня? Это очень хорошая шерсть...» – «Она стоит, может быть, и тысячу рублей, – сказала я, увидев шерсть,

– но не знаю, к кому бы вам пойти...» – «Нет, мне нужно хотя бы сто рублей, я их должна заплатить...» Я назвала ей семью, по тем временам более состоятельную, и мы расстались».

Все, что и к а к делала Марина для своей решенной цели, было обдуманно. Собранность, спешка, зоркость видны в ее

действии. Надо ли портить людям – дом? Может быть, был и крюк в доме, но она увидела в сенях крепкий гвоздь с широкой шляпкой и не веревку взяла – они были, а крепкий тонкий шнурок. Чтобы не увидели висящее тело сквозь стекло из сеней в кладовку и параллельное стекло из кладовки во двор, она первое завесила куском материи («А то недоверситься – гадость, правда?» – из ее письма мне в 1910 году...).

Веревками она замотала дверь обо что-то в стене, хотя был запор, но зачем же ломать запор бедным хозяевам – в военное время все так трудно достать. А пока снаружи размотают целый ворох затянутых веревок – смерть доделает свое дело.

Она не ошиблась. Ничего не упустила. Всесторонне, человечно готовилась, и, может, была вдохновенность в ее действиях – она делала только самое нужное.

Оспорить можно – все. Оспорят и это.

Я знаю все, что мне возразят, по-своему искажая и перетолковывая рассказанную здесь правду. Эти люди не знали Марину...

Мур после Елабуги уехал в Ташкент. В Ташкенте Мур голодал: в каждом его письме к сестре тема голода звучала громко. Однако он окончил там девятый и десятый классы отлично и был первым (его сочинение по русскому было лучшее).

Об этих годах Мура мне в 1978 году в Коктебеле рассказал гнавший его в Ташкенте поэт Валентин Берестов. Я попросила – записать. Вот его запись:

«С Муром (Георгием) Эфроном меня познакомила в Ташкенте в начале 1943 года Анна Андреевна Ахматова. Она, как мне помнится, опекала Мура, стараясь делать это незаметно, и ей хотелось, чтобы у него были товарищи среди ровесников, особенно пишущих.

Мур где-то задержался (кажется, он жил в том же дворе, рядом с площадью Карла Маркса, где на первых порах жила и Ахматова), я пробыл у Ахматовой в этот

вечер необычно долго. Видимо, Анна Андреевна не впервые ожидала Мура, беспокоилась о нем и выглядывала во двор. Однажды она увидела там девушку, которая ждала Мура уже несколько часов, и это ей не понравилось. Если он сам не влюблен в эту девушку, то зачем ему, юноше, нужно, чтобы она влюбилась в него? Девушку, конечно, можно понять: Мур красив.

Он читал мне страницы из своих дневников. Он был как-то не по-русски аккуратен, и его рукописи выглядели как книги с пронумерованными страницами, с полями и, помнится, без единой пометки. В дневнике была понравившаяся мне запись об Ахматовой, рассуждения о будущем Европы после победы (Мур надеялся, что дружба между союзниками сохранится и в мирное время). Запись высказываний встреченных им знаменитых людей. Все это должно было пригодиться для его будущей работы. Он писал одновременно два романа, один

- из французской жизни, другой - из русской. Мур мечтал посвятить всю свою жизнь пропагандированию (это его слово) французской культуры в России и русской - во Франции. Мур стремился объективно изображать чью-то чужую жизнь, непохожую на его собственную. Четко, довольно подробно и без тени лиризма.

Запомнился мне порядок в его комнатке в книгах, в бумагах.

В беседах мы совсем не касались наших собственных судеб. Иногда он цитировал стихи своей матери, так же как и стихи других поэтов. Я не говорил с ним о ней.

Однажды мы целой компанией ездили на машине, которую один из нас каким-то образом заполучил на воскресенье, в весеннюю степь за великолепными тюльпанами. Помню, там мы впервые услышали, а



потом и сами запели знаменитую «Землянку» на слова Суркова: «Бьется в тесной печурке огонь».

О своем быте мы с Муром ничего друг другу не рассказывали, но его комнатка, скромная, но незалатанная одежда, талоны в столовую, где можно было встретить немало известных людей, стоящих с судками за супом и вторым блюдом, в которое всегда входила кормовая свекла, по-раз-ному приготовленная, – все это означало, что кто-то похлопотал за сына Цветаевой.

В Муре всегда чувствовались независимость и присущая этому возрасту энергия самоутверждения.

1.X.78.

Валентин Берестов».

Приехав в Москву, Мур поселился у своей тетки по отцу -Лили Эфрон, поступил в Литературный институт на вечернее отделение и для заработка – художником-оформителем на завод. Ему было восемнадцать с половиной лет. У Португа-лова сохранилась пьеса Мура, новаторского типа.

1 февраля 1944 года ему исполнилось девятнадцать лет, и его призвали в армию. Письма от него были до лета 1944 года. Затем он смолк. Позже и Аля, его сестра, и я запрашивали Наркомат обороны. Ответ гласил, что Г. С. Эфрон не числится ни в списках раненых, ни в списках убитых, ни в списках пропавших без вести.

И только в 1975 году в № 8 журнала «Неман» появилась статья подполковника С. В. Грибанова, проделавшего большую работу по следам Георгия Эфрона. Она называется «Строка Цветаевой». И статья С. Викентьева (псевдоним Грибанова) в журнале «Родина» (№ 3 за 1975 г.), там и портрет – скорбное лицо девятнадцатилетнего Мура. Выросши, видимо, переосмыслил уход матери. Вспоминал мать...

Подполковник, военный корреспондент, любитель творчества Цветаевой, С. В. Грибанов поднял все сохранившиеся с тех лет документы, пересмотрев огромное количество бумаг, по многу месяцев сидел в военных архивах, нашел людей, в боях знавших Мура. Их отзыв: «В бою – бесстрашен».

Последний его бой был 7 июля 1944 года – о нем он накануне сообщил своей сестре Але: «Завтра – во бой». Больше от него вестей не было. В этом бою, в лесу, гоня фашистов, он был тяжело ранен и «отбыл в медсанбат». Близ этого места есть могила неизвестного солдата. Были ли другие смертные ранения в бою там? Останется ли имя этого солдата

– неизвестным или там встанет имя Георгия – сына Сергея Эфрона и Марины Цветаевой, покажет время.

Спустя полгода, в 1975 году, я получила письмо от Станислава Грибанова.

В этом письме С. Грибанов писал мне, что сын лейтенанта Якова Хозяинова, участвовавшего в том же бою вместе с Сергеем Эфроном, сообщил ему: «...я побывал недавно в деревне Друйка и Видзах, где в начале июля 1944 года вел боевые действия 437-й стрелковый полк... 17, 18, 19 августа мы находились в г. Браслане, и в военкомате были найдены списки о захороненных и картотека отца со всеми данными. \

Мне сообщили, что на памятнике в Видзах будет выбита фамилия отца...»

В архиве ЦГАЛИ сестра Мура Аля оставила десятки документов и писем этого многотрудного поиска С. Грибанова. С. В. Грибанов свои сведения о Георгии Эфроне передал Витебскому горвоенкомату сначала в областной военкомат, затем в Браславский районный военкомат. Прошло еще три года. И вдруг из Браслава написали, что место захоронения Георгия Эфрона подтвердилось. И была получена справка от районного

военкома, помеченная 13 февраля 1978 года, в которой было написано:

«Уважаемый тов. Грибанов С., по Вашей просьбе высылаю фотографии памятника, установленного на месте захоронения советских воинов и в их числе Г. Эфрона. Имена остальных воинов нам неизвестны».

Вскоре и я получила фотографию: близ деревни Друйка на фоне голых ветвей под снегом стоит обелиск над могилой. На нем надпись:

ЭФРОН Георгий Сергеевич погиб в июле 1944.

Кто захоронен с ним вместе? Может быть, мы еще узнаем эти имена...

...Глаза не отрываются от камня на фотографии. Только сейчас я поверила в его смерть...

Десять лет спустя моей поездки в Елабугу Союз писателей Татарской Республики поставил Марине большой гранитный памятник на елабужском кладбище – на месте, отмеченном мною в 1960 году, с надписью: «В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева...» (следовали даты рождения и смерти). Союз писателей Татарской Республики, к сожалению, первой строки этой надписи не повторил. А ведь в будущем, может быть, будет уточнено настоящее место могилы Марины – у правой стенки кладбища.

Но к символическому памятнику поэта люди давно уже протоптали тропинку по отлогому холму, идут вверх к высоко

лежащему кладбищу, к надписи на граните: «Марина Цв. таева».

Мне восемьдесят восемь лет, а Марине исполнилось бы осенью этого года девяносто.